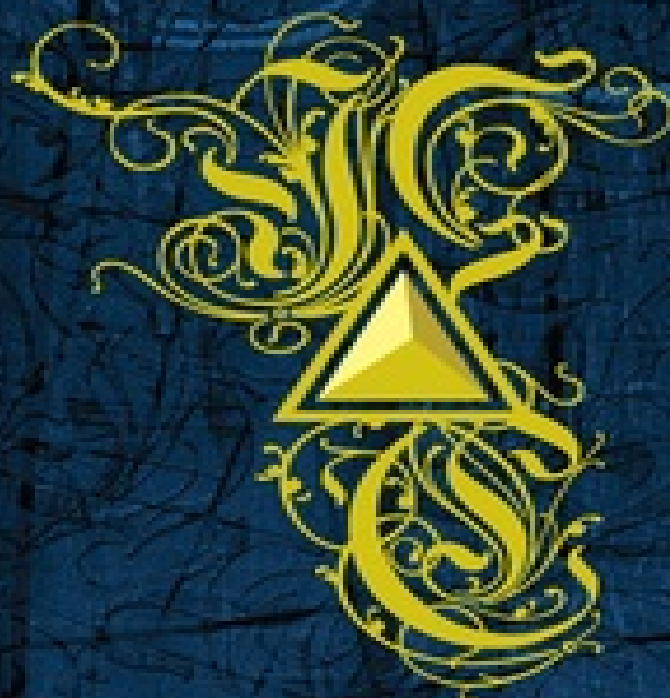

Виктор ГЮГО

✦ ОТВЕРЖЕННЫЕ ✦
главный роман Виктора Гюго
В ОДНОМ ТОМЕ



Знаменитый роман-эпопея Виктора Гюго о жизни людей, отвергнутых обществом. Среди «отверженных» – Жан Вальжан, осужденный на двадцать лет каторги за то, что украл хлеб для своей голодающей семьи, маленькая Козетта, превратившаяся в очаровательную девушку, жизнерадостный уличный сорванец Гаврош. Противостояние криминального мира Парижа и полиции, споры политических партий и бои на баррикадах, монастырские законы и церковная система – блистательная картина французского общества начала XIX века полностью в одном томе.

- [Виктор Гюго](#)
 - [Часть I](#)
 - [Книга первая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
 - [Глава 12](#)
 - [Глава 13](#)
 - [Глава 14](#)
 - [Книга вторая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
 - [Глава 12](#)
 - [Глава 13](#)
 - [Книга третья](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)

- [Глава 5](#)
- [Глава 6.](#)
- [Глава 7](#)
- [Глава 8](#)
- [Глава 9](#)
- [Книга четвертая](#)
 - [Глава 1.](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
- [Книга пятая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
 - [Глава 12](#)
 - [Глава 13](#)
- [Книга шестая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
- [Книга седьмая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
- [Книга восьмая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
- [Часть II](#)
 - [Книга первая](#)
 - [Глава 1](#)

- [Глава 2](#)
- [Глава 3](#)
- [Глава 4](#)
- [Глава 5](#)
- [Глава 6](#)
- [Глава 7](#)
- [Глава 8](#)
- [Глава 9](#)
- [Глава 10](#)
- [Глава 11](#)
- [Глава 12](#)
- [Глава 13](#)
- [Глава 14](#)
- [Глава 15](#)
- [Глава 16](#)
- [Глава 17](#)
- [Глава 18](#)
- [Глава 19](#)
- [Книга вторая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2,](#)
 - [Глава 3,](#)
- [Книга третья](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6,](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
- [Книга четвертая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
- [Книга пятая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)

- [Глава 7](#)
- [Глава 8](#)
- [Глава 9](#)
- [Глава 10,](#)
- [Книга шестая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
- [Книга седьмая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
- [Книга восьмая](#)
 - [Глава 1,](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4,](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7,](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
- [Часть III](#)
 - [Книга первая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8,](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)

- [Глава 11](#)
- [Глава 12](#)
- [Глава 13](#)
- [Книга вторая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
- [Книга третья](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
- [Книга четвертая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
- [Книга пятая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
- [Книга шестая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
- [Книга седьмая](#)
 - [Глава 1](#)

- [Глава 2](#)
- [Глава 3](#)
- [Глава 4](#)
- [Книга восьмая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
 - [Глава 12](#)
 - [Глава 13](#)
 - [Глава 14,](#)
 - [Глава 15](#)
 - [Глава 16,](#)
 - [Глава 17](#)
 - [Глава 18](#)
 - [Глава 19](#)
 - [Глава 20](#)
 - [Глава 21](#)
 - [Глава 22](#)
- [Часть IV](#)
 - [Книга первая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Книга вторая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Книга третья](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)

- [Глава 8](#)
- [Книга четвертая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
- [Книга пятая,](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3,](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
- [Книга шестая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2,](#)
 - [Глава 3](#)
- [Книга седьмая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
- [Книга восьмая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
- [Книга девятая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
- [Книга десятая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
- [Книга одиннадцатая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
- [Книга двенадцатая](#)
 - [Глава 1](#)

- [Глава 2](#)
- [Глава 3](#)
- [Глава 4](#)
- [Глава 5](#)
- [Глава 6](#)
- [Глава 7](#)
- [Глава 8](#)
- [Книга тринадцатая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
- [Книга четырнадцатая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
- [Книга пятнадцатая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
- [Часть V](#)
 - [Книга первая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
 - [Глава 12](#)
 - [Глава 13](#)
 - [Глава 14,](#)
 - [Глава 15](#)
 - [Глава 16](#)
 - [Глава 17](#)
 - [Глава 18](#)
 - [Глава 19](#)
 - [Глава 20](#)
 - [Глава 21](#)

- [Глава 22](#)
- [Глава 23](#)
- [Глава 24](#)
- [Книга вторая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
- [Книга третья](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
 - [Глава 12](#)
- [Книга четвертая](#)
- [Книга пятая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
- [Книга шестая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
- [Книга седьмая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
- [Книга восьмая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
- [Книга девятая](#)

- [Глава 1](#)
- [Глава 2](#)
- [Глава 3](#)
- [Глава 4](#)
- [Глава 5](#)
- [Глава 6](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)

- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)

- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)

- [135](#)
 - [136](#)
 - [137](#)
 - [138](#)
 - [139](#)
 - [140](#)
 - [141](#)
 - [142](#)
 - [143](#)
 - [144](#)
 - [145](#)
 - [146](#)
 - [147](#)
 - [148](#)
 - [149](#)
 - [150](#)
 - [151](#)
 - [152](#)
 - [153](#)
 - [154](#)
 - [155](#)
 - [156](#)
 - [157](#)
 - [158](#)
 - [159](#)
 - [160](#)
-

Виктор Гюго

Отверженные

Часть I
Фантина

До тех пор пока силою законов и нравов будет существовать социальное проклятие, которое среди расцвета цивилизации искусственно создает ад и отягчает судьбу, зависящую от бога, роковым предопределением человеческим; до тех пор пока не будут разрешены три основные проблемы нашего века – принижение мужчины вследствие принадлежности его к классу пролетариата, падение женщины вследствие голода, увядание ребенка вследствие мрака невежества; до тех пор пока в некоторых слоях общества будет существовать социальное удушение; иными словами и с точки зрения еще более широкой – до тех пор, пока будут царить на земле нужда и невежество, книги, подобные этой, окажутся, быть может, не бесполезными.

Отвиль-Хауз, 1862 г.

Глава 1

Господин Мириэль

В 1815 году Шарль-Франсуа-Бьенвеню Мириэль был епископом города Диня. Это был старик лет семидесяти пяти; архиерейский престол в Дине он занимал с 1806 года.

Хотя это обстоятельство никак не затрагивает сущности того, о чем мы собираемся рассказать, будет, пожалуй, небесполезно, для соблюдения полнейшей точности, упомянуть здесь о толках и пересудах, вызванных в епархии приездом г-на Мириэля. Правдива или лжива людская молва, она часто играет в жизни человека, и особенно в дальнейшей его судьбе, не менее важную роль, чем его собственные поступки. Г-н Мириэль был сыном советника судебной палаты в Эксе и, следовательно, принадлежал к судейской аристократии. Рассказывали, что его отец, желая передать ему по наследству свою должность и придерживаясь обычая, весьма распространенного тогда в кругу судейских чиновников, женил сына очень рано, когда тому было лет восемнадцать-двадцать. Однако, если верить слухам, Шарль Мириэль и после женитьбы давал обильную пищу для разговоров. Он был хорошо сложен, хотя и несколько мал ростом, изящен, ловок, остроумен; первую половину своей жизни он целиком посвятил свету и любовным похождениям.

Но вот пришла революция; события стремительно сменялись одно другим; семьи судейских чиновников, поредевшие, преследуемые, гонимые, рассеялись в разные стороны. Шарль Мириэль в первые же дни революции эмигрировал в Италию. Там его жена умерла от грудной болезни, которой давно уже страдала. Детей у них не было. Как же сложилась дальнейшая судьба Мириэля? Крушение старого французского общества, гибель собственной семьи, трагические события 93-го года, быть может, еще более страшные для эмигрантов, следивших за ними издали сквозь призму своего отчаяния, – не это ли впервые заронило в его душу мысль об отречении от мира и одиночестве? Не был ли он в разгаре каких-нибудь развлечений и увлечений, заполнявших его жизнь, внезапно поражен одним из тех таинственных и грозных ударов, которые порой, попадая прямо в сердце, повергают во прах человека, способного устоять перед общественной катастрофой, ломающей его существование и

уничтожающей материальное благополучие? Никто не мог бы ответить на эти вопросы; знали только, что из Италии Мириэль вернулся священником.

В 1804 году г-н Мириэль был приходским священником в Бриньоле. Он был уже стар и жил в глубоком уединении.

Незадолго до коронации какое-то незначительное дело, касающееся его прихода, – теперь уже трудно установить, какое именно, – привело его в Париж. Среди прочих власть имущих особ, к которым он обращался с ходатайством за своих прихожан, ему пришлось побывать у кардинала Феша. Как-то раз, когда император приехал навестить своего дядю, почтенный кюре, ожидавший в приемной, оказался лицом к лицу с его величеством. Заметив, что старик с любопытством его рассматривает, Наполеон обернулся и резко спросил:

– Что вы, добрый человек, так на меня смотрите?

– Государь, – ответил Мириэль, – вы видите доброго человека, а я – великого. Каждый из нас может извлечь из этого некоторую пользу.

В тот же вечер император спросил у кардинала об имени этого кюре, и немного времени спустя г-н Мириэль с изумлением узнал о том, что его назначили епископом в Динь.

Впрочем, насколько достоверны были рассказы о первой половине жизни г-на Мириэля, никто не знал. Семья Мириэля была мало известна до революции.

Господину Мириэлю пришлось испытать судьбу всякого нового человека, попавшего в маленький городок, где много языков, которые болтают, и очень мало голов, которые думают. Ему пришлось испытать это, хотя он был епископом, и именно потому, что он был епископом. Впрочем, слухи, которые люди связывали с его именем, были всего только слухи, намеки, словечки, пустые речи, попросту говоря – околесица, прибегая к выразительному языку южан.

Как бы то ни было, но после девятилетнего пребывания епископа в Дине все эти рассказы и кривотолки, которые всегда занимают вначале маленький городок и маленьких людей, были преданы глубокому забвению. Никто не осмелился бы теперь их повторить, никто не осмелился бы даже вспомнить о них.

Господин Мириэль прибыл в Динь вместе с пожилой девицею, м-ль Батистиной, своей сестрой, которая была моложе его на десять лет.

Их единственная служанка, г-жа Маглуар, ровесница м-ль Батистины, бывшая прежде «служанкой господина кюре», получила теперь двойное звание: «горничной м-ль Батистины» и «экономки его преосвященства».

Мадмуазель Батистина была высокая, бледная, худощавая и кроткая особа. Она олицетворяла собою идеал всего того, что заключается в слове «достоуважаемая», ибо, как нам кажется, одно лишь материнство дает женщине право называться «досточтимой». Она никогда не была хороша собой, но ее жизнь, являвшаяся непрерывной цепью добрых дел, в конце концов придала ее облику какую-то белизну, какую-то ясность, и, состарившись, она приобрела то, что можно было бы назвать «красотой доброты». Что в молодости было худобой, в зрелом возрасте обратилось в воздушность, и сквозь эту прозрачную оболочку просвечивал ангел. Это была девственница, более того – это была сама душа. Она казалась сотканной из тени; ровно столько плоти, сколько нужно, чтобы слегка наметить пол; комочек материи, светящийся изнутри; большие глаза, всегда опущенные долу, словно душа ее искала предлога для своего пребывания на земле.

Госпожа Маглуар была маленькая старушка, седая, полная, даже тучная, хлопотливая, всегда задыхавшаяся, во-первых, от постоянной беготни, во-вторых – из-за мучившей ее астмы.

Когда г-н Мириэль прибыл в город, его с почестями водворили в епископском дворце, согласно императорскому декрету, который в списке чинов и званий ставит епископа непосредственно после генерал-майора. Мэр и председатель суда первые нанесли ему визит;

к генералу же и префекту первым поехал г-н Мириэль.

Когда епископ вступил в должность, город стал ждать, каким он окажется на деле.

Глава 2

Господин Мириэль превращается в монсеньора Бьенвеню

Епископский дворец в Дине примыкал к больнице.

Это было огромное и прекрасное каменное здание, построенное в начале прошлого столетия монсеньором Анри Пюже – доктором богословия Парижского университета, аббатом Симорским, занимавшим архиерейский престол в Дине в 1712 году. Это был поистине княжеский дворец. Все здесь имело величественный вид: и апартаменты епископа, и гостинные, и парадные покои, и двор, весьма обширный, со сводчатыми галереями в старинном флорентийском вкусе, и сады с великолепными деревьями. В столовой – длинной и роскошной галерее, которая была расположена в нижнем этаже и выходила в сад, – монсеньор Анри Пюже дал 29 июля 1714 года парадный обед, где присутствовали монсеньоры: Шарль Брюлар де Жанлис, архиепископ князь Амбренский; Антуан де Мегриньи, капуцин, епископ Грасский; Филипп Вандомский, великий приор Франции; аббат Сент-Оноре Леренский; Франсуа де Бертон Крильонский, епископ, барон Ванский; Сезар де Сабран Форкалькьерский, владетельный епископ Гландевский, и Жан Соанен, пресвитер оратории, придворный королевский проповедник, владетельный епископ Сенезский. Портреты этих семи высокочтимых особ украшали стены столовой, и знаменательная дата – 29 июля 1714 года – была золотыми буквами выгравирована на белой мраморной доске.

Больница помещалась в тесном, низеньком двухэтажном доме, при котором был небольшой садик.

Через три дня после приезда епископ посетил больницу, а затем попросил смотрителя пожаловать к нему.

– Господин смотритель, сколько больных у вас в настоящее время? – спросил он.

– Двадцать шесть, монсеньор.

– Да, я насчитал столько же, – подтвердил епископ.

– Кровати стоят слишком близко одна к другой, – добавил смотритель больницы.

– Да, я это тоже заметил.

– Комнаты не приспособлены для палат, и проветривать их довольно затруднительно.

– Да, и мне показалось, что это так.

– И знаете ли, когда выпадает солнечный день, садик далеко не вмещает всех выздоравливающих.

– И я подумал об этом.

– Во время эпидемий – в нынешнем году это был тиф, а два года тому назад горячка – у нас иногда до сотни больных, и мы просто не знаем, что с ними делать.

– Да, эта мысль тоже пришла мне в голову.

– Ничего не поделаешь, монсеньор, – сказал смотритель, – приходится мириться.

Этот разговор происходил в столовой нижнего этажа, имевшей форму галереи.

С минуту епископ хранил молчание.

– Сударь, – спросил он вдруг смотрителя больницы, – сколько кроватей могло бы, по-вашему, поместиться в одной этой комнате?

– В столовой вашего высокопреосвященства? – с изумлением вскричал смотритель.

Епископ обводил комнату взглядом и, казалось, мысленно производил какие-то измерения и расчеты.

– Здесь можно разместить не менее двадцати кроватей, – сказал он как бы про себя. – Послушайте, господин смотритель, я вот что хочу сказать, – продолжал он громче. – Тут, по-видимому, какая-то ошибка. Вас двадцать шесть человек, и вы ютитесь в пяти или шести маленьких комнатках. Нас же только трое, а места у нас хватит на шестьдесят человек. Повторяю, тут явная ошибка. Вы заняли мое жилище, а я ваше. Верните мне мой дом. Здесь же – хозяйева вы.

На следующий день все двадцать шесть больных бедняков были переведены в епископский дворец, а епископ занял больничный домик.

Господин Мириэль не имел состояния, так как семья его была разорена во время революции. Его сестра пользовалась пожизненной рентой в пятьсот франков, которых при их скромной жизни в церковном доме хватало на ее личные расходы. Как епископ г-н Мириэль получал от государства содержание в пятнадцать тысяч ливров. Перебравшись в больницу, он в тот же день, раз и навсегда, определил расходование этой суммы следующим образом. Приводим смету, написанную им собственноручно:

Смета распределения моих домашних расходов

На малую семинарию – тысяча пятьсот ливров
Миссионерской конгрегации – сто ливров
На лазаристов в Мондидье – сто ливров
Семинарии иностранных духовных миссий в Париже – двести ливров
Конгрегации св. Духа – сто пятьдесят ливров
Духовным заведениям Святой Земли – сто ливров
Обществам призрения сирот – триста ливров
Сверх того, тем же обществам в Арле – пятьдесят ливров
Благотворительному обществу по улучшению содержания тюрем – четыреста ливров
Благотворительному обществу вспомоществования и освобождения заключенных – пятьсот ливров
На выкуп из долговой тюрьмы отцов семейств – тысяча ливров
На прибавку к жалованью нуждающимся школьным учителям епархии – две тысячи ливров
На запасные хлебные магазины в департаменте Верхних Альп – сто ливров
Женской конгрегации в городах Динь, Манок и Систерон на бесплатное обучение девочек из бедных семей – тысяча пятьсот ливров
На бедных – шесть тысяч ливров
На мои личные расходы – тысяча ливров
Итого – пятнадцать тысяч ливров.

За все время своего пребывания в Дине епископ Мириэль ничего не изменил в этой записи. Как мы видим, он называл ее «сметой распределения своих домашних расходов».

Мадмуазель Батистина приняла такое распределение средств с полной покорностью. Для этой святой девушки диньский епископ являлся одновременно и братом и пастырем; другом – по закону кровного родства и наставником – по закону церкви. Она любила его и благоговела перед ним, не мудрствуя лукаво. Когда он говорил, она слушала без возражений; когда он действовал, она безоговорочно одобряла. Одна лишь служанка, г-жа Маглуар, потихоньку

ворчала. Как мы могли заметить, епископ оставил себе только тысячу ливров, что вместе с пенсией м-ль Батистины составляло полторы тысячи ливров в год. На эти-то полторы тысячи и жили две старые женщины и старик.

А когда в Динь приезжал какой-нибудь сельский священник, епископ ухитрялся еще благодаря строгой экономии г-жи Маглуар и умелому хозяйничанью м-ль Батистины угостить его хорошим обедом.

Однажды – это было месяца через три после прибытия в Динь – он сказал:

– А все-таки я очень стеснен в средствах!

– Еще бы! – вскричала г-жа Маглуар. – Ведь ваше преосвященство не требовали с департамента даже разъездных, которые вам ежегодно обязаны выдавать на содержание городского экипажа и на поездки по епархии. Прежние епископы всегда пользовались этими деньгами.

– А ведь и в самом деле! – сказал епископ. – Госпожа Маглуар, вы совершенно правы.

И он написал соответствующее ходатайство.

Через некоторое время генеральный совет, приняв требование епископа во внимание, назначил ему ежегодную сумму в три тысячи франков, занеся ее в следующую статью расхода: «Ассигнование г-ну епископу на содержание экипажа, на почтовые кареты и на разъезды по епархии».

Это произвело большой шум среди местной буржуазии, и один сенатор Империи, бывший член Совета пятисот, выказавший себя сторонником 18 брюмера и получивший в окрестностях Диня великолепное сенаторское поместье, написал по этому случаю министру вероисповеданий, г-ну Биго де Преаме, конфиденциальную, исполненную раздражения записку, из которой мы дословно приводим следующие строки:

«Издержки на содержание экипажа! На что нужен экипаж в городе, где нет и четырех тысяч жителей? Издержки на разъезды по епархии! Да, во-первых, кому они нужны, эти разъезды? А во-вторых, как можно разъезжать на почтовых в этой гористой местности? Здесь нет дорог. Ездить можно только верхом. Мост через Дюрансу у Шато-Арну и тот едва выдерживает тяжесть двухколесной тележки, запряженной волами. Все эти священники на один лад – жадны и скупы. Этот притворился для начала порядочным человеком. Теперь он поступает так же, как остальные. Ему понадобились экипажи и почтовые кареты! Как и прежним епископам, ему понадобилась роскошь. Ох, уж эти мне попы! Поверьте, господин граф, до тех пор пока император не освободит нас от всех этих долгопых, ничего хорошего не будет. Долой папу! (Дела с Римом запутывались.) Что до меня, я за Цезаря, и только за Цезаря. И т. д. и т. д.».

Зато эти деньги очень обрадовали г-жу Маглуар.

– Вот и хорошо, – сказала она Батистине. – Его высокопреосвященство начал с других, но в конце концов пришлось ему подумать и о себе. Все свои благотворительные дела он уладил. А уж эти три тысячи пойдут на нас самих. Наконец-то!

В тот же вечер епископ написал и вручил сестре такого рода памятку:

<i>Сумма на содержание экипажа и на разъезды</i>

На мясной бульон для лазаретных больных – тысяча пятьсот ливров

На общество призрения сирот в Эксе – двести пятьдесят ливров

На общество призрения сирот в Драгиньяне – двести пятьдесят ливров

На подкидышей – пятьсот ливров

*На сирот – пятьсот ливров
Итого – три тысячи ливров.*

Таков был бюджет епископа Мириэля.

Что касается побочных епископских доходов – с церковных оглашений, разрешений, крестин, проповедей, с освящения церквей или часовен, венчаний и т. д., – то епископ с тем большим рвением взимал деньги с богатых, что целиком отдавал их бедным.

В скором времени пожертвования начали стекаться к нему со всех сторон. Как имущие, так и неимущие – все стучались в двери г-на Мириэля; одни приходили за милостыней, другие приносили ее. Не прошло и года, как епископ сделался казначеем всех благотворителей и кассиром всех нуждающихся. Значительные суммы проходили через его руки, но ничто не могло заставить его изменить свой образ жизни и позволить себе хотя бы малейшее излишество сверх необходимого.

Напротив. Так как всегда больше нужды внизу, чем братского милосердия наверху, то, можно сказать, все раздавалось еще до того, как получалось, – так исчезает вода в сухой земле. Сколько бы ни получал епископ, ему всегда не хватало. И тогда он грабил самого себя.

Согласно обычаю, епископы всегда проставляли на заголовках пастырских посланий и приказов все имена, данные им при крещении, и местные бедняки, руководимые любовью к своему епископу, из всех его имен бессознательно выбрали то, которое показалось им наиболее исполненным смысла. Они стали называть его не иначе, как «монсеньор Бьенвеню»^[1]. Мы последуем их примеру и при случае будем называть его так же. Тем более что это прозвище нравилось и ему самому. «Я люблю это имя, – говаривал он. – Бьенвеню служит поправкой к «монсеньору».

Мы не притязаем на то, что портрет, нарисованный нами здесь, правдоподобен; скажем только одно – он правдив.

Глава 3

Доброму епископу трудная епархия

Обратив свою почтовую карету в милостыню для бедных, епископ отнюдь не прекратил своих разъездов. Между тем путешествовать по диньской епархии утомительно. Там мало равнин, много гор и почти нет дорог, о чем мы уже знаем из предыдущей главы; там тридцать два церковных прихода, сорок один викариат и двести восемьдесят пять церквей, подчиненных его преосвященству. Объехать все это – нелегкое дело. Но епископ преодолевал все трудности. Он отправлялся пешком, когда идти было недалеко, в одноколке – если предстояло ехать по равнине, и верхом – в горы. Обе старушки сопровождали его. В тех случаях, когда путешествие оказывалось им не под силу, он уезжал один.

Однажды он прибыл в старинную епископскую резиденцию Сенез верхом на осле. Кошелек его был в ту пору почти совершенно пуст и не позволял ему какого-либо иного способа передвижения. Мэр города, встретивший его у подъезда епископского дворца, смотрел негодующим взглядом, как монсеньор слезает с осла. Несколько горожан вокруг пересмеивались. «Господин мэр и вы, господа горожане, – сказал епископ, – мне понятно ваше негодование. Вы находите, что со стороны такого скромного священника, как я, слишком большая дерзость ездить на животном, на котором восседал сам Иисус Христос. Уверяю вас, я сделал это по необходимости, а вовсе не из тщеславия».

Во время своих объездов он бывал снисходителен, кроток и не столько поучал людей, сколько беседовал с ними. За доводами и примерами для подражания он далеко не ходил.

Жителям одной местности он приводил как образец другую, соседнюю. В округах, где не сочувствовали беднякам, он говорил: «Посмотрите на жителей Бриансона. Они разрешили неимущим, вдовам и сиротам косить луга на три дня раньше, нежели всем остальным. Они даром отстраивают им дома, когда старые разрушаются. И бог благословил эту местность. За целое столетие там не было ни одного убийства».

В деревнях, где все падки до наживы и стремятся поскорее убрать с поля собственный урожай, он говорил: «Посмотрите на жителей Амбрена. Если отец семейства, у которого сыновья находятся в армии, а дочери служат в городе, заболит во время жатвы и не может работать, то священник упоминает о нем в своей проповеди и в воскресенье после обедни все поселяне – мужчины, женщины, дети – идут на поле этого бедняка, собирают его урожай и сносят солому и зерно в его амбар». Семьям, в которых происходили раздоры из-за денег или наследства, он говорил: «Посмотрите на горцев Девольни, этой дикой местности, где ни разу за пятьдесят лет не услышишь соловья. Так вот, когда там умирает глава семьи, сыновья уходят на заработки и все имущество оставляют сестрам, чтобы те могли найти себе мужей». В округах, где любили сутяжничать и где фермеры разорялись на гербовую бумагу, он говорил: «Посмотрите на добрых крестьян Кейрасской долины. Их три тысячи душ. Господи боже! Да это настоящая маленькая республика! Там не знают ни судьи, ни судебного пристава. Мэр все делает сам. Он раскладывает налоги, облагая каждого по совести; бесплатно разбирает ссоры, безвозмездно производит раздел имущества между наследниками; выносит приговоры, не требуя покрытия судебных издержек, и простые люди повинуются ему, как справедливому человеку». В деревнях, где не было школьных учителей, он опять-таки ссылался на кейрасцев. «Знаете, как они поступают? – говорил он. – Маленькое селеньице в двенадцать или пятнадцать дворов не всегда может прокормить учителя, и вот они сообща, всей долиной, нанимают нескольких наставников, которые и учат, переходя из деревни в деревню и проводя недельку в одной, дней десять в другой. Эти учителя бывают на ярмарках, там я и видел их. Вы сразу можете узнать их по гусиным перьям, засунутым за шнурок шляпы. Те из них, которые обучают только грамоте, носят одно перо; те, которые обучают грамоте и счету, – два пера; те, которые обучают грамоте, счету и латыни, – три пера. Эти последние – великие ученые. Ну, не стыдно ли оставаться невеждами! Поступайте же, как кейрасцы».

Таковы были его речи, серьезные и отечески-заботливые; если не хватало ему примеров, он придумывал притчи, прямо ведущие к цели, немногословные, но образные, – этой особенностью отличалось и красноречие самого Иисуса Христа, проникнутое убеждением, а потому убедительное.

Глава 4

Слово не расходится с делом

Его беседа была исполнена приветливости и веселья. Он умел приноровиться к понятиям двух старушек, чья жизнь протекала вблизи него; смеялся он от души, как школьник.

Госпожа Маглуар любила называть его «ваше высокопреподобие». Однажды, поднявшись с кресла, он подошел к книжному шкафу за какой-то книгой. А стояла она на одной из верхних полок. Епископ был мал ростом и не мог достать ее. «Госпожа Маглуар, – сказал он, – принесите мне стул. Мое высокопреподобие недостаточно высоко, чтобы дотянуться до этой полки».

Одна из его дальних родственниц, графиня де Ло, редко упускала случай перечислить при встрече с ним то, что она называла «надеждами» своих трех сыновей. У нее было несколько престарелых и, по всей вероятности, близких к смерти родственников по восходящей линии,

прямыми наследниками которых являлись ее сыновья. Младшему предстояло получить после двоюродной бабушки не менее ста тысяч ливров ренты; средний должен был унаследовать от своего дядюшки герцогский титул; старшего ждал после смерти деда титул пэра. Обычно епископ молча слушал это простодушное и вполне простительное материнское хвастовство. Но как-то раз, когда г-жа де Ло без конца повторяла подробности всех этих наследств и всех этих «надежд», епископ показался ей более рассеянным, чем всегда. Прервав свои излияния, она спросила не без досады: «Ах, бог мой! Да о чем вы задумались, кузен?» – «Я думаю, – ответил епископ, – об одной странной вещи, прочитанной мною, кажется, у блаженного Августина: «Возложите надежды ваши на того, кому никто не наследует»».

В другой раз, получив письмо, в котором его просили присутствовать на погребении одного местного дворянина и где на целой странице торжественно перечислялись не только титулы покойного, но и все ленные и аристократические звания его родных, епископ вскричал: «Ну и крепкая же спина у смерти! Просто удивительно, какой груз титулов беззаботно взвалили на нее люди и как остроумно сумели они использовать для своего тщеславия даже могилу!»

При случае он любил пошутить, но его легкая насмешка почти всегда скрывала серьезную мысль. Однажды во время поста в Динь приехал молодой викарий и произнес в соборе проповедь. Он оказался довольно красноречивым. Темой его проповеди было милосердие. Он увещевал богатых помогать неимущим, дабы избежать ада, который он обрисовал в самых мрачных красках, и заслужить рай, который он изобразил полным блаженства и очарования. В числе прочих прихожан был богатый, удалившийся от дел торговец, немножко ростовщик по имени г-н Жеборан, наживший два миллиона выделкой толстых сукон, разных сортов саржи и фесок. Ни разу в жизни Жеборан не подал милостыни ни одному нищему. После этой проповеди было замечено, что он каждое воскресенье подает одно су старухам нищенкам, стоящим на паперти собора. Эта подачка приходилась на шесть человек. Увидев, как Жеборан совершает свой акт милосердия, епископ с улыбкой сказал сестре: «Посмотри, вон господин Жеборан покупает себе на одно су царствия небесного».

Когда дело касалось милостыни, епископа не обескураживал отказ, и он нередко находил в этих случаях такие слова, которые заставляли призадуматься. Однажды он собирал пожертвования для бедных в одном из городских салонов. В числе гостей был маркиз де Шантерсье, старый богатый и скупой человек, ухитрявшийся быть одновременно и ультрароялистом и ультравольтерианцем – подобная разновидность существовала в то время. Епископ подошел к нему и тронул его за плечо. «Вы должны что-нибудь дать мне, господин маркиз». Маркиз оглянулся и сухо возразил: «Монсеньор, у меня есть свои бедные». – «Так отдайте их мне», – сказал епископ.

Как-то раз он произнес в соборе такую проповедь:

«Возлюбленные мои братья, добрые друзья мои, во Франции есть миллион триста двадцать тысяч крестьянских домов с тремя отверстиями, миллион восьмьсот семнадцать тысяч домов с двумя отверстиями – дверью и окном и, наконец, триста сорок шесть тысяч лачуг, в которых только одно отверстие – дверь. Причиной этому является вещь, называемая налогом на двери и окна. Поселите-ка в этих жилищах семьи бедняков, старых женщин, маленьких детей – вот вам и лихорадка и всякие болезни! Увы! Бог дарит людям воздух, а закон продает его. Я не осуждаю закон, но славлю бога. В Изере, в Варе, в Альпах, и в Верхних и в Нижних, у крестьян нет даже тачек, они переносят навоз на себе; у них нет свечей, они жгут смолистую лучину и обрывки веревок, пропитанные древесной смолой. Так водится в селениях Верхнего Дофине. Хлеб крестьяне пекут раз в полгода; они пекут его на высушенном коровьем помете. Зимой они разрубают этот хлеб топором и целые сутки размачивают в воде, чтобы можно было его есть. Сжальтесь же, братья, взгляните, как страдают люди вокруг вас!»

Будучи уроженцем Прованса, он быстро усвоил все местные говоры Южной Франции и при случае употреблял выражения жителей Нижнего Лангедока, Нижних Альп или Верхнего Дофине. Это очень нравилось простому народу и в значительной степени облегчало епископу доступ ко всем сердцам. В хижинах и в горах он был как у себя дома. О самых возвышенных вещах он умел говорить самыми обычными, понятными народу словами и, владея всеми наречиями, проникал во все души.

Впрочем, он держался одинаково и с простолюдинами и со знатью.

Он никого не осуждал поспешно, не вникнув в обстоятельства дела. Он говорил: «Проследим путь, по которому прошел грех».

«Бывший грешник», как он с улыбкой называл себя сам, он не впадал в крайности ригоризма и вполне открыто, не хмуря бровей, подобно свирепым святошам, проповедовал учение, которое можно было бы вкратце изложить приблизительно так:

«Человек облечен в плоть, которая является для него одновременно и тяжким бременем и искушением. Он влачит ее и покоряется ей.

Он должен строго следить за ней, обуздывать, подавлять ее и подчиняться ей только в крайнем случае. В этом подчинении также может скрываться грех, но, совершенный таким образом, грех простителен. Это падение, но падение коленопреклоненного, которое может завершиться молитвой.

Быть святым – исключение; быть справедливым – правило. Заблуждайтесь, падайте, грешите, но будьте справедливы.

Как можно меньше грешить – вот закон для человека. Совсем не грешить – это мечта ангела. Все земное подвластно греху. Грех обладает силой притяжения».

Когда по какому-нибудь случаю все начинали громко кричать и спешили высказать свое возмущение, он говорил, улыбаясь: «Ого! Тут, как видно, дело идет о крупном прегрешении, в котором повинен каждый. Вот почему те, у кого рыльце в пуху, испугались и так торопятся отвести от себя подозрение».

Он был снисходителен к женщинам и беднякам, на которых лежит тяжкий гнет человеческого общества. Он говорил: «В проступках жен, детей, слуг, слабых, бедняков и невежд виноваты мужья, отцы, хозяева, сильные, богатые и ученые».

Он говорил также: «Учите невежественных людей всему, чему только можете; общество виновно в том, что не дает бесплатного обучения; оно ответственно за темноту, которую насаждает. Когда душа исполнена мрака, в ней зреет грех. Виновен не тот, кто грешит, а тот, кто создает мрак».

Как видите, у него была странная и своеобразная манера судить о различных вещах. Я подозреваю, что он заимствовал ее из Евангелия.

Как-то он услышал в одной гостиной об уголовном деле, по которому велось следствие; вскоре должен был состояться суд. Очутившись без средств, какой-то несчастный, из любви к женщине и к ребенку, которого он имел от нее, стал фальшивомонетчиком. В те времена подделывание денег еще каралось смертью. Женщина была задержана при попытке сбыть первую фальшивую монету, сфабрикованную ее любовником. Ее посадили в тюрьму, но улики имелись только против нее самой. Она одна могла выдать и погубить любовника своим признанием. Она отрицала его вину. Допрос продолжался. Она упорно молчала. И вот королевскому прокурору пришла в голову такая мысль: он оклеветал любовника, обвинив в неверности, и с помощью искусно подобранных выдержек из его писем сумел убедить несчастную женщину в том, что этот человек обманул ее и что у нее есть соперница. Тогда, обезумев от ревности, она изобличила любовника, призналась во всем, подтвердила все. Человека ждала неминуемая гибель. В ближайшем времени его должны были судить в Эксе

вместе с сообщницей. Все говорили об этом происшествии, и каждый восхищался ловкостью прокурора. Пустив в ход ревность, он из гнева извлек истину, а из мести – правосудие. Епископ слушал молча. Потом он спросил:

– Где будут судить этого мужчину и эту женщину?

– В суде присяжных.

– А где будут судить королевского прокурора? – снова спросил епископ.

В Дине произошел трагический случай. Один человек был приговорен к смертной казни за убийство. Этот бедняга, не слишком образованный, но и не вполне невежественный, был ярмарочным фокусником и общественным писцом. Весь город с любопытством следил за процессом. Накануне дня, на который была назначена казнь, заболел тюремный священник. Необходимо было отыскать другого пастыря, который находился бы при осужденном в последние минуты его жизни. Обратились к приходскому священнику. Тот отказался, причем будто бы сказал следующее: «Это меня не касается. С какой стати я возьму на себя такую обузу и стану возиться с этим канатным плясуном? Я тоже болен. И вообще мне там не место». Его ответ был передан епископу, и тот сказал: «Господин кюре прав. Это место принадлежит не ему, а мне».

Он немедленно отправился в тюрьму, спустился в одиночную камеру «канатного плясуна», назвал его по имени, взял за руку и начал говорить с ним. Он провел с ним весь день, забыв о пище и о сне, моля бога спасти душу осужденного и моля осужденного спасти собственную душу. Он рассказал ему о величайших истинах, а они-то и являются самыми простыми. Он был ему отцом, братом, другом и, только для того чтобы благословить его, – епископом. Успокаивая и утешая, он просветил его. Этому человеку суждено было умереть в отчаянии. Смерть представлялась ему бездной. И стоя, трепещущий, у этого зловещего порога, он с ужасом отступал от него. Он был недостаточно невежествен, чтобы оставаться совершенно безучастным. Смертный приговор потряс его душу и словно пробил ограду, отделяющую нас от тайны мироздания и называемую нами жизнью. Беспреданно вглядываясь сквозь эти роковые бреши в то, что лежит за пределами нашего мира, он видел одну лишь тьму. Епископ помог ему увидеть свет.

На другой день, когда за несчастным пришли, епископ был возле него. В фиолетовой мантии, с епископским крестом на шее, он вышел вслед за ним и предстал перед толпой бок о бок со связанным преступником.

Он сел с ним в телегу, он взошел с ним на эшафот. Осужденный, такой угрюмый и подавленный еще накануне, теперь сиял. Он чувствовал, что душа его прониклась миром, и уповал на бога. Епископ обнял его и в тот момент, когда нож гильотины уже готов был опуститься, сказал ему: «Убиенный людьми воскрешается богом; изгнанный братьями вновь обретает отца. Молись, верь, вступи в вечную жизнь! Отец наш там». Когда он спустился с эшафота, в его взгляде светилось нечто такое, что заставило толпу расступиться. Трудно сказать, что больше поражало – бледность его лица или безмятежное его спокойствие. Возвратясь в свое скромное жилище, которое он с улыбкой называл «дворцом», епископ сказал сестре: «Я только что отслужил торжественную панихиду».

Самые высокие побуждения чаще всего остаются непонятыми, и в городе нашлись люди, которые, обсуждая поступок епископа, сказали: «Это желание порисоваться». Впрочем, так говорили только в салонах. Народ же, не склонный подозревать дурное в благих деяниях, был тронут и восхищен.

Что до епископа, то зрелище гильотины явилось для него ударом, от которого он долго не мог оправиться.

Действительно, в эшафоте, когда он воздвигнут и стоит перед вами, есть что-то от

галлюцинации. До тех пор пока вы не видели гильотину своими глазами, вы можете более или менее равнодушно относиться к смертной казни, можете не высказывать своего мнения, можете говорить и «да» и «нет», но если вам пришлось увидеть ее – потрясение слишком глубоко, и вы должны окончательно решить, против нее вы или за нее. Одни восхищаются ею, как де Местр; другие, подобно Беккарии, проклинаят ее. Гильотина – это сгусток закона, имя ее *vindicta* ^[2], она не нейтральна и не позволяет вам оставаться нейтральным. Увидев ее, человек содрогается, он испытывает самое непостижимое из всех чувств. Каждая социальная проблема ставит перед ножом гильотины свой знак вопроса. Эшафот – это виденье. Эшафот не помост, эшафот – не машина, эшафот – не бездушный механизм, сделанный из дерева, железа и канатов. Кажется, что это живое существо, обладающее неведомой зловещей инициативой: можно подумать, что этот помост видит, что эта машина слышит, что этот механизм понимает, что это дерево, это железо и эти канаты обладают собственной волей. Душе, охваченной смертельным ужасом при виде эшафота, он представляется грозным и сознательным участником того, что делает. Эшафот – это сообщник палача. Он пожирает человека, ест его мясо, пьет его кровь. Эшафот – это чудовище, созданное судьей и плотником, это призрак, который живет какой-то страшной жизнью, порождаемой бесчисленными смертями его жертв.

Итак, впечатление было страшное и глубокое; на следующий день после казни и еще много дней спустя епископ казался удрученным. Почти неестественное спокойствие, владевшее им в роковой момент, исчезло; образ общественного правосудия неотступно преследовал его. Этот священнослужитель, который обычно испытывал такое радостное удовлетворение, выполнив любую свою обязанность, на этот раз словно упрекал себя в чем-то. Временами он начинал говорить сам с собой и вполголоса произносил мрачные монологи. Вот один из них, который как-то вечером услышала и запомнила его сестра: «Я не думал, что это так чудовищно. Преступно до такой степени углубляться в божественные законы, чтобы уже не замечать законов человеческих. В смерти волен только бог. По какому праву люди посягают на то, что непостижимо?»

С течением времени эти впечатления потеряли свою остроту и, по-видимому, изгладились из его памяти. Однако люди заметили, что с того дня епископ избегал проходить по площади, где совершались казни.

Епископа Мириэля можно было в любое время дня и ночи позвать к изголовью больного или умирающего. Он понимал, что это и есть важнейшая его обязанность и важнейший его труд. Осиротевшим семьям не приходилось просить его, он являлся к ним сам. Он умел целыми часами просиживать молча рядом с мужем, потерявшим любимую жену, или с матерью, потерявшей ребенка. Но, зная, когда надо молчать, он знал также, когда надо говорить. О чудесный утешитель! Он не стремился изгладить скорбь забвением, а, напротив, старался углубить и просветлить ее надеждой. Он говорил: «Относитесь к мертвым, как должно. Не думайте о тленном. Вглядитесь пристальней, и вы увидите живой огонек в небесах – то душа вашего дорогого усопшего». Он знал, что вера целительна. Он старался наставить и успокоить человека в отчаянии, приводя ему в пример человека, покорившегося судьбе, и преобразить скорбь, обратившую взгляд на могилу, указав на скорбь, взирающую на звезды.

Глава 5

О том, что монсеньор Бьенвеню слишком долго носил свои сутаны

Домашняя жизнь г-на Мириэля так же полно отражала его взгляды, как и его жизнь вне дома. Добровольная бедность, в которой жил диньский епископ, представила бы

привлекательное и в то же время поучительное зрелище для каждого, кто имел бы возможность наблюдать ее вблизи.

Как все старики и как большинство мыслителей, он спал мало. Зато этот короткий сон был глубок. Утром епископ в течение часа предавался размышлениям, потом служил обедню в соборе или у себя дома. После обедни он завтракал ржаным хлебом, запивая его молоком от своих коров. Потом он работал.

Епископ – очень занятой человек. Он должен ежедневно принимать секретаря епархии, обычно это каноник, и почти каждый день – своих старших викариев. Ему приходится наблюдать за деятельностью конгрегаций, раздавать привилегии, просматривать целые вороха духовной литературы – молитвенники, епархиальные катехизисы, часословы и т. д. и т. д., писать пастырские послания, утверждать проповеди, мирить между собой приходских священников и мэров, вести клерикальную корреспонденцию, административную корреспонденцию: с одной стороны – государство, с другой – папский престол; словом, у него тысяча дел.

Время, которое оставалось у него от этой тысячи дел, церковных служб и отправления треб, он в первую очередь отдавал неимущим, больным и скорбящим; время, что оставалось от скорбящих, больных и неимущих, он отдавал работе: вскапывал свой сад или же читал и писал. Для той и другой работы у него было одно название – «садовничать». «Ум – это сад», – говорил он.

В полдень, если погода была хороша, он выходил из дома и пешком гулял по городу или его окрестностям, причем часто заходил в бедные лачуги. Он бродил один, погруженный в свои мысли, с опущенными глазами, опираясь на длинную палку, в фиолетовой мантии, подбитой ватой и очень теплой, в грубых башмаках и фиолетовых чулках, в плоской треугольной шляпе, украшенной на всех трех углах толстыми золотыми кистями.

Всюду, где бы он ни появлялся, наступал праздник. Казалось, он приносил с собою свет и тепло. Дети и старики выходили на порог навстречу епископу, словно навстречу солнцу. Он благословлял, и его благословляли. Каждому, кто нуждался в чем-либо, указывали на его дом.

Время от времени он останавливался, беседовал с маленькими мальчиками и девочками и улыбался матерям. Пока у него были деньги, он посещал бедных; когда деньги иссякали, он посещал богатых.

Так как он подолгу носил свои сутаны и не хотел, чтобы люди заметили их ветхость, он никогда не выходил в город без фиолетовой ватной мантии. Летом это несколько тяготило его.

По возвращении с прогулки он обедал. Обед был похож на завтрак.

Вечером, в половине девятого, он ужинал вместе с сестрой, а г-жа Маглуар прислуживала им за столом. Ничто не могло быть умереннее этих трапез. Однако, если у епископа оставался к ужину кто-нибудь из приходских священников, г-жа Маглуар, пользуясь этим, подавала его преосвященству превосходную озерную рыбу или какую-нибудь вкусную горную дичь. Каждый священник служил предлогом для хорошего ужина, и епископ не препятствовал этому. Обычно же его вечерняя еда состояла из одних только овощей, отваренных в воде, и супа на постном масле. Поэтому в городе говорили: «Когда наш епископ не угощает священника, сам он ест, как монах».

После ужина он с полчаса беседовал с м-ль Батистиной и г-жой Маглуар, потом уходил к себе и снова принимался писать то на отдельных листках бумаги, то на полях какого-нибудь фолианта. Он был человек образованный и даже до известной степени ученый. После него осталось пять или шесть рукописей, довольно любопытных, и среди них рассуждение на стих из Книги Бытия: «Вначале дух Божий носился над водами». Он сопоставляет этот стих с тремя текстами – с арабским стихом, который гласит: «Дули ветры Господни»; со словами Иосифа

Флавия: «Горный ветер устремился на землю» – и, наконец, с халдейским толкованием Онкелоса: «Ветер, исходивший от Бога, дул над лоном вод». В другом рассуждении он подвергает разбору богословские труды Гюго, епископа Птолемаидского, двоюродного прадеда автора настоящей книги, и устанавливает, что различные небольшие произведения, опубликованные в прошлом столетии под псевдонимом Барлейкур, также принадлежат перу этого епископа.

Иногда посреди чтения, независимо от того, какая именно книга была у него в руках, епископ вдруг впадал в глубокое раздумье, очнувшись от которого он неизменно писал несколько строк тут же, на страницах книги. Зачастую эти строки не имели никакого отношения к самой книге, в которую они были вписаны. Вот перед нами заметка, сделанная им на полях тома, озаглавленного: «Переписка лорда Жермена с генералами Клинтон и Корнвалисом и с адмиралами американского военного флота. Продается в Версале у книгопродавца Пуэнсо и в Париже у книгопродавца Писо, набережная Августинцев».

Вот эта заметка:

«О ты, Сущий!

Экклезиаст именует тебя Всемогущим, книга Маккавеев – Творцом, Послание к ефессянам – Свободой, Барух – Необъятностью, Псалмы – Мудростью и Истиной, Иоанн – Светом, Книга царств – Господом, Исход называет тебя Провидением, Левит – Святостью, Ездра – Справедливостью, вселенная – Богом, человек – Отцом, но Соломон дал тебе имя Милосердие, и это самое прекрасное из всех твоих имен».

Около девяти часов вечера обе женщины уходили к себе наверх, и епископ до утра оставался один в нижнем этаже.

Здесь необходимо будет дать точное представление о жилище диньского епископа.

Глава 6

Кому он поручил охранять свой дом

Дом, в котором он жил, как мы уже говорили, был двухэтажный, три комнаты внизу, три комнаты наверху, под крышей – чердак. За домом – сад в четверть арпана. Женщины помещались во втором этаже, епископ жил внизу. Первая комната, дверь которой отворялась прямо на улицу, служила ему столовой, вторая – спальней, а третья – молельней. Выйти из этой молельни можно было только через спальню, а из спальни – только через столовую. В молельне была скрытая перегородкой ниша, где стояла кровать для гостей. Кровать эту епископ предоставлял деревенским кюре, приезжавшим в Динь по делам и нуждам своих приходов.

Бывшая больничная аптека – небольшое строение, которое примыкало к дому и выходило в сад, – превратилась в кухню и в кладовую.

Кроме того, в саду имелся хлев, где прежде была больничная кухня, а теперь помещались две коровы епископа. Независимо от количества молока, которое давали эти коровы, епископ неизменно каждое утро половину отсылал в больницу. «Я плачу свою десятину», – говорил он.

Спальня у него была довольно большая, и зимой натопить ее было нелегко. Так как дрова в Дине стоили очень дорого, епископ придумал сделать в коровнике дощатую перегородку и устроил там себе маленькую комнатку. В сильные морозы он проводил там все вечера. Он называл эту комнатку своим «зимним салоном».

Как в этом «зимнем салоне», так и в столовой не было никакой мебели, за исключением простого четырехугольного деревянного стола и четырех соломенных стульев. В столовой сверх того стоял старенький буфет, выкрашенный розовой клеевой краской. Такой же буфет, приличествующим образом покрытый белыми салфетками и дешевыми кружевами, епископ

превратил в алтарь, который придавал нарядный вид его молельне.

Богатые прихожанки, исповедовавшиеся у епископа, и другие богомольные жительницы города Диня неоднократно устраивали складчину на устройство нового красивого алтаря для молельни монсеньора; он всякий раз брал деньги и раздавал их бедным. «Лучший алтарь, – говорил он, – это душа несчастного, который утешился и благодарит бога».

В молельне стояли две соломенные скамеечки для коленопреклонений; одно кресло, тоже соломенное, стояло в спальне епископа. Если случалось, что он одновременно принимал семь или восемь человек гостей – префекта, генерала, начальника штаба полка местного гарнизона, нескольких учеников духовного училища, то приходилось брать стулья из «зимнего салона», приносить скамеечки из молельни и кресло из спальни епископа. Таким образом набиралось до одиннадцати сидений. Для каждого нового гостя опустошалась одна из комнат.

Бывало и так, что собиралось сразу двенадцать человек, тогда епископ спасал положение, становясь у камина, если это было зимой, или прогуливаясь по саду, если это было летом.

В нише за перегородкой стоял еще один стул, но солома на сиденье наполовину искрошилась, да и держался он всего лишь на трех ножках, так что сидеть на нем можно было, только прислонив его к стене. В комнате у м-ль Батистины было, правда, громадное деревянное кресло, некогда позолоченное и обитое цветной китайской тафтой, но поднять его на второй этаж пришлось через окно, так как лестница оказалась слишком узкой; на него, следовательно, также нельзя было рассчитывать.

Когда-то м-ль Батистина лелеяла честолюбивую мечту приобрести гостиную мебель с диваном гнутого красного дерева, покрытую желтым утрехтским бархатом в веночках. Однако это должно было стоить по меньшей мере пятьсот франков, и, увидев, что за пять лет ей удалось отложить для этой цели только сорок два франка и десять су, она в конце концов отказалась от своей мечты. Впрочем, кто же достигает своего идеала?

Нет ничего легче, как представить себе спальню епископа. Стеклянная дверь, выходящая в сад; напротив двери – кровать, железная больничная кровать с пологом из зеленой саржи; у кровати, за занавеской, – изящные туалетные принадлежности, говорящие о не забытых до сих пор привычках прежнего светского человека; еще две двери: одна возле камина – в молельню, другая возле книжного шкафа – в столовую; книжный шкаф со стеклянными дверцами, полный книг; облицованный деревом камин, выкрашенный под мрамор и, как правило, холодный; в камине две железные подставки для дров, украшенные на переднем конце двумя вазочками в гирляндах и бороздках, некогда покрытыми серебром, и служившие образчиком роскоши в епископском доме; над камином, на черном потертом бархате, – распятие, прежде посеребренное, а теперь медное, в деревянной рамке с облезшей позолотой. Возле стеклянной двери большой стол с чернильницей, заваленный грудой бумаг и толстых книг. Перед столом соломенное кресло. Перед кроватью скамеечка из молельни.

На стене, по обе стороны от кровати, висели два портрета в овальных рамах. Короткие надписи, сделанные золотыми буквами на тусклом фоне полотна, гласили о том, что портреты изображают: один – аббата Шалио, епископа Сен-Клодского, а другой – аббата Турто, главного викария Агдского, аббата Граншанского, принадлежащего к монашескому ордену Цистерцианцев Шартрской епархии. Унаследовав эту комнату от лазаретных больных, епископ нашел здесь эти портреты и оставил их на прежнем месте. Это были священники и, по всей вероятности, жертвователи – два основания для того, чтобы он отнесся к ним с уважением. Об этих двух особах ему было известно лишь то, что король их назначил – первого епископом, а второго викарием – в один и тот же день, 27 апреля 1785 года. Когда г-жа Маглуар сняла портреты, чтобы обтереть с них пыль, епископ обнаружил это обстоятельство, прочтя надпись, сделанную выцветшими чернилами на пожелтевшем от времени листочке бумаги, приклеенном с помощью

четырёх облаток к оборотной стороне портрета аббата Граншанского.

На окне в спальне епископа висела старомодная, из грубой шерстяной материи занавесь, которая с течением времени пришла в такую ветхость, что, во избежание расхода на новую, г-жа Маглуар вынуждена была сделать на самой ее середине большой шов. Этот шов имел форму креста. Епископ часто показывал на него.

– Как хорошо это получилось! – говорил он.

Все без исключения комнаты в доме, и в первом этаже и во втором, были выбелены, как это принято в казармах и больницах.

Правда, в последующие годы, как мы увидим в дальнейшем, г-жа Маглуар обнаружила под побелкой на стенах в комнате м-ль Батистины какую-то живопись. Прежде чем стать больницей, этот дом служил местом собраний диньских горожан. Таково происхождение этой росписи стен. Полы во всех комнатах были выложены красным кирпичом, и мыли их каждую неделю; перед каждой кроватью лежал соломенный коврик. Вообще надо сказать, что весь дом сверху донизу содержался двумя женщинами в образцовой чистоте. Чистота была единственной роскошью, которую допускал епископ. «Это ничего не отнимает у бедных», – говаривал он.

Следует, однако, признаться, что от прежних богатств у него оставалось еще шесть серебряных столовых приборов и разливательная ложка, ослепительный блеск которых на грубой холщовой скатерти всякий день радовал взор г-жи Маглуар. И так как мы изображаем здесь диньского епископа таким, каким он был в действительности, то мы должны добавить, что он не раз говорил: «Мне было бы не так-то легко отказаться от привычки есть серебряной ложкой и вилкой».

Кроме этого серебра, у епископа уцелели еще два массивных серебряных подсвечника, доставшиеся ему по наследству от двоюродной бабушки. Подсвечники с двумя вставленными в них восковыми свечами обычно красовались на камине в спальне епископа. Когда же у него обедал кто-либо из гостей, г-жа Маглуар зажигала свечи и ставила оба подсвечника на стол.

Там же, в спальне епископа, над изголовьем его кровати висел маленький стенной шкафчик, куда г-жа Маглуар каждый вечер убирала шесть серебряных приборов и разливательную ложку. Надо заметить, что ключ от шкафчика всегда оставался в замке.

Сад, вид которого несколько портили неприглядные строения, о которых говорилось выше, состоял из четырех аллей, расходявшихся крестом от сточного колодца; пятая аллея, огибая весь сад, шла вдоль окружавшей его белой стены. Четыре квадрата земли между аллеями были обсажены буксом. На трех г-жа Маглуар разводила овощи, на четвертом епископ посадил цветы. В саду там и сям росло несколько фруктовых деревьев. Как-то раз г-жа Маглуар сказала епископу не без некоторой доли добродушного лукавства: «Вы, ваше преосвященство, хотите, чтобы все приносило пользу, а вот этот кусок земли пропадает даром. Уж лучше бы вырастить здесь салат, чем эти цветочки». – «Вы ошибаетесь, госпожа Маглуар, – ответил епископ. – Прекрасное столь же полезно, как и полезное». И добавил, помолчав: «Быть может, еще полезнее».

Этот квадрат земли, разбитый на три или четыре грядки, пожалуй, не меньше занимал епископа, чем его книги. Он охотно проводил здесь час или два, подрезая растения, выпалывая сорную траву, роя там и сям ямки и сажая в них семена. Но к насекомым он относился менее враждебно, чем этого мог бы пожелать настоящий садовник. Впрочем, он отнюдь не считал себя ботаником: он ничего не понимал в классификации и в солидизме, он вовсе не стремился сделать выбор между Турнефором и естественным методом, он не предпочитал сумчатые семядольным и не высказывался за Жюсье против Линнея. Он не изучал растения, а просто любил цветы. Он глубоко уважал ученых, но еще более уважал ничего не ведающих, и, не переставая отдавать дань уважения тем и другим, он каждый летний вечер поливал свои грядки

из зеленой жестяной лейки.

В доме не было ни одной двери, которая бы запиралась на ключ. Дверь в столовую, выходящая, как мы уже говорили, прямо на соборную площадь, была в прежние времена снабжена замками и засовами, словно ворота тюрьмы. Епископ сразу же приказал снять все эти запоры, и теперь эта дверь закрывалась только на щеколду, и днем и ночью. Всякий прохожий в любой час суток мог открыть дверь – стоило лишь толкнуть ее. Вначале эта вечно отпертая дверь сильно тревожила обеих женщин, но диньский епископ сказал им: «Что ж, велите приделать задвижки к дверям ваших комнат, если хотите». В конце концов они заразились его спокойствием или по крайней мере сделали вид, что это так. Только на г-жу Маглуар время от времени нападал страх. Что касается епископа, то три строчки, написанные им на полях Библии, поясняют или по крайней мере излагают его мысль: «Вот в чем едва уловимое различие: дверь врача никогда не должна запираться, дверь священника должна быть всегда открыта».

На другой книге, озаглавленной «Философия медицинской науки», он сделал еще одну заметку: «Разве я не такой же врач, как они? У меня тоже есть мои больные: во-первых, те, которых они называют своими больными, а во-вторых, мои собственные, которых я называю несчастными».

Где-то в другом месте он написал: «Не спрашивайте того, кто просит у вас приюта, о его имени. В приюте особенно нуждается тот, кого это имя стесняет».

Однажды какой-то достойный кюре – я уже не помню, кто именно: кюре из Кулубру или кюре из Помпьеры – вздумал, должно быть по наущению г-жи Маглуар, спросить у монсеньора Бьенвеню, вполне ли он уверен, что не совершает некоторой неосторожности, оставляя дверь открытой и днем и ночью для каждого, кому бы вздумалось войти, и не опасается ли он все же, что в столь плохо охраняемом доме может случиться какое-либо несчастье. Епископ коснулся его плеча и сказал ему мягко, но серьезно: «Nisi Dominus custodierit domum, in vanum vigilant qui custodiunt eam»^[3]. Затем заговорил о другом.

Он охотно повторял: «Священник должен обладать не меньшим мужеством, чем драгунский полковник. Но только наше мужество, – добавлял он, – должно быть спокойным».

Глава 7

Крават

Здесь уместно будет рассказать об одном случае, который нельзя обойти молчанием, потому что подобные случаи лучше всего показывают, что за человек был диньский епископ.

После уничтожения разбойничьей шайки Гаспара Бэ, который совершенно разорил Олиульские ущелья, один из ближайших его помощников, Крават, бежал в горы. Некоторое время он скрывался со своими товарищами – остатками шайки Гаспара Бэ – в Ниццском графстве, потом ушел в Пьемонт и вдруг снова появился во Франции, в окрестностях Барселонеты. Сначала он заглянул в Жозье, потом в Тюиль. Он укрылся в пещерах Жуг-дел'Эгль и оттуда, ложбинами рек Ибайи и Ибайеты, нередко пробирался к селениям и к деревушкам. Как-то ночью он дошел до самого Амбрена, проник в собор и обобрал ризницу. Его грабежи разоряли весь край. Жандармы охотились за ним, но безуспешно. Он всегда ускользал от них, а иногда оказывал открытое сопротивление. Этот негодяй был смельчаком. И вот в самый разгар вызванной им паники в те края прибыл епископ, который объезжал тогда Шателярский округ. Мэр города явился к нему и стал уговаривать вернуться назад. Крават хозяйничал в горах до самого Арша и далее. Ехать было опасно даже с конвоем – это значило

напрасно рисковать жизнью трех или четырех злосчастных жандармов.

– Поэтому-то, – сказал епископ, – я и полагаю ехать без конвоя.

– Хорошо ли вы обдумали это, монсеньор? – вскричал мэр.

– Настолько хорошо, что решительно отказываюсь от жандармов; я уеду через час.

– Уедете?

– Уеду.

– Один?

– Один.

– О нет, монсеньор! Вы этого не сделаете.

– Послушайте, – сказал епископ, – там, в горах, есть маленький бедный приход, я не видел его уже три года. Там живут мои добрые друзья – смирные и честные пастухи. Из каждой тридцати коз, которых они пасут, им принадлежит только одна. Они плетут из шерсти очень красивые разноцветные шнурки и играют горные песни на маленьких свирелях с шестью отверстиями. Они нуждаются в том, чтобы время от времени им говорили о господе боге. Что бы они сказали про епископа, который всего боится? Что бы они сказали, если бы я не посетил их?

– Но разбойники, монсеньор, разбойники!

– В самом деле, – сказал епископ, – я чуть было не забыл о них. Вы правы. Я могу встретиться с ними. По всей вероятности, и они тоже нуждаются в том, чтобы кто-нибудь рассказал им о господе боге.

– Монсеньор, да ведь их целая шайка! Это стая волков!

– Господин мэр, а может быть, Иисус повелевает мне стать пастырем именно этого стада.

Пути господни неисповедимы!

– Монсеньор, они ограбят вас.

– У меня ничего нет.

– Они убьют вас.

– Убьют старика священника, который идет своей дорогой, бормоча молитвы? Полно!

Зачем им это?

– О боже! Что, если вы повстречаетесь с ними!

– Я попрошу у них милостыню для моих бедных.

– Не ездите, монсеньор, ради бога! Вы рискуете жизнью.

– Господин мэр, – сказал епископ, – неужели в этом все дело? Я для того живу на свете, чтобы о душах людских пещись, а не о собственной жизни.

Пришлось оставить его в покое. Он уехал, сопровождаемый лишь мальчиком, который вызвался быть проводником. Его упорство наделало много шума и вызвало сильное беспокойство во всей округе.

Епископ не пожелал взять с собой ни сестру, ни г-жу Маглуар. Он поднялся в горы на муле, никого не встретил и, здоров и невредим, добрался до своих «добрых друзей» пастухов. Он прожил у них две недели, читая проповеди и совершая требы, наставляя и поучая. Перед отъездом он решил отслужить торжественную мессу. Он сказал об этом приходскому священнику. Но как быть? Не было епископского облачения. Священник мог предоставить в распоряжение епископа лишь убогую деревенскую ризницу с несколькими ветхими ризами из потертой шелковой материи, обшитыми потускневшим галуном.

– Ничего, господин кюре, – сказал епископ, – объявим все-таки с кафедры о нашей мессе. Дело как-нибудь уладится.

Начались поиски в соседних церквях. Однако всех сокровищ этих скромных приходов, соединенных вместе, не хватило бы на то, чтобы приличествующим образом одеть даже

соборного певчего.

Среди всех этих хлопот в дом приходского священника был доставлен большой ящик, предназначавшийся для епископа. Его привезли два неизвестных всадника, которые немедленно усаkali. Ящик открыли; в нем оказалась мантия из золотой парчи, украшенная алмазами митра, архиепископский крест, великолепный посох – все епископское облачение, украденное месяц тому назад из ризницы собора Амбренской Богоматери. В ящике лежал листок бумаги, на котором были написаны следующие слова: «Монсеньору Бьенвеню от Кравата».

– Я ведь говорил, что все уладится! – сказал епископ. И добавил, улыбаясь: – Тому, кто довольствуется простым священническим стихарем, бог посылает архиепископскую мантию.

– Не знаю, монсеньор, – покачивая головой, с усмешкой пробормотал священник, – бог или дьявол.

Епископ пристально взглянул на него и уверенно повторил:

– Бог.

На обратном пути в Шателяр и в самом Шателяре люди сбегались со всех сторон, любопытствуя посмотреть на своего епископа. М-ль Батистина с г-жой Маглуар ждали его в доме священника. Епископ сказал сестре: «Ну что, разве я не был прав? Бедный священник отправился к бедным жителям гор с пустыми руками, а возвращается с полными. Я увез с собой только упование на бога, а привез все сокровища собора».

Вечером, перед тем как лечь спать, он сказал: «Никогда не надо бояться ни воров, ни убийц. Это опасность внешняя, она невелика. Бояться надо самих себя. Предрассудки – вот истинные воры; пороки – вот истинные убийцы. Величайшая опасность скрывается в нас самих. Стоит ли заботиться о том, что угрожает нашей жизни и нашему кошельку! Будем думать лишь о том, что угрожает нашей душе». Потом, обратившись к сестре, он сказал: «Сестра моя, священнику не подобает остерегаться ближнего. Что сделано ближним, то дозволено богом. Если нам кажется, что нас настигает опасность, ограничимся молитвой, но молитвой не за себя, а за нашего брата, чтобы он не впал в грех из-за нас».

Впрочем, в жизни епископа было мало событий. Мы рассказываем лишь о тех, которые нам известны; вообще же жизнь его текла однообразно: изо дня в день в определенное время он делал то же, что накануне. И так велось из года в год, из месяца в месяц.

Что касается сокровищ Амбренского собора, мы затруднились бы ответить на вопрос о том, что с ними случилось. Это были весьма красивые, весьма соблазнительные вещи, весьма пригодные и полезные для тех несчастных, которым вздумалось бы их украсть. Впрочем, они уже были украдены. Половина дела была сделана, оставалось только изменить дальнейший путь похищенных предметов и направить их в сторону бедных. Мы не можем, однако, сказать по этому поводу ничего определенного. Известно только, что в бумагах епископа была найдена одна записка, довольно туманная, но, быть может, имеющая отношение к этому делу; она гласит: «Вопрос в том, куда это должно быть возвращено – в собор или в больницу».

Глава 8

Философия за стаканом вина

Сенатор, о котором мы упоминали выше, был человек неглупый; он пробил себе дорогу с прямолинейностью, не считающейся с какими-либо препятствиями вроде так называемой совести, присяги, справедливости или долга, и шагал прямо к намеченной цели, ни разу не оступившись на пути преуспевания и выгоды. Это был прокурор в отставке, человек отнюдь не злой, умиленный собственным успехом, охотно оказывавший всякие мелкие услуги своим сыновьям, зятьям, родственникам и даже знакомым, человек, мудро пользовавшийся хорошими

сторонами жизни, счастливым случаем, неожиданной удачей. Все остальное представлялось ему сущим вздором. Он был остроумен и начитан ровно настолько, чтобы считать себя последователем Эпикура, хотя в действительности являлся не более как детищем Пиго-Лебрена. Он любил мило подшутить над тем, что бесконечно и вечно, а также над прочими «бреднями простака епископа». Самоуверенно и снисходительно он иногда шутил над этим даже в присутствии самого г-на Мириэля.

Однажды, по случаю какого-то полуофициального приема, графу*** (тому самому сенатору) и г-ну Мириэлю случилось вместе обедать у префекта. За десертом сенатор, бывший слегка навеселе, но не утративший важной своей осанки, вдруг вскричал:

– Черт возьми, господин епископ, давайте поболтаем! Когда сенатор и епископ смотрят друг на друга, они не могут не перемигнуться. Мы с вами – два авгура. Сейчас я сделаю вам одно признание: у меня есть своя философия.

– И вы правы, – ответил епископ. – Какова у человека философия, такова и жизнь. Как постелешь, так и выспишься. Вы покоитесь на пурпурном ложе, господин сенатор.

Поощренный этим замечанием, сенатор продолжал:

– Давайте говорить откровенно.

– И даже чертовски откровенно, – согласился епископ.

– Заявляю вам, – продолжал сенатор, – что маркиз д'Аржанс, Пиррон, Гоббс и Нежон вовсе не плуты. Все мои философы стоят у меня на полке в переплетах с золотым обрезом.

– Они похожи на вас, господин граф, – прервал его епископ.

– Я ненавижу Дидро, – продолжал сенатор. – Это фантазер, болтун и революционер, в глубине души верующий в бога, и еще больший ханжа, чем Вольтер. Вольтер вышутил Нидгема, и напрасно, потому что угри Нидгема доказывают бесполезность бога. Капля уксуса в ложке теста заменяет fiat lux^[4]. Представьте каплю покрупнее, а ложку побольше – и перед вами мир. Человек – это угорь. Если так, кому нужен предвечный бог отец? Знаете что, господин епископ, мне надоела гипотеза о Иегове. Она годна лишь на то, чтобы создавать тощих людей, предающихся пустым мечтаниям. Долой это великое Все, которое мне докучает! Да здравствует Нуль, который оставляет меня в покое! Между нами будь сказано, господин епископ, чтобы выложить все, что есть на душе, и исповедаться перед вами, духовным моим отцом, как должно, признаюсь вам, что я человек здравого смысла. Я не в восторге от вашего Иисуса, который на каждом шагу проповедует отречение и жертву. Это совет скряги нищим. Отречение! С какой стати? Жертва! Чего ради? Я не вижу, чтобы волк жертвовал собой для счастья другого волка. Будем же верны природе. Мы находимся на вершине, так проникнемся же высшей философией. Для чего стоять наверху, если не видишь дальше кончика носа твоего ближнего? Давайте жить весело. Жизнь – это все! Чтобы у человека было другое будущее, не на земле, а там, наверху, внизу, – словом, где-то, – не верю ни на йоту. Ах, так! От меня хотят жертвы и отречения, я должен следить за каждым своим поступком, ломать голову над добром и злом, над справедливостью и несправедливостью, над fas и nefas^[5]. Зачем? Затем, что мне придется дать отчет в своих действиях. Когда? После смерти. Какое заблуждение! После смерти – лови меня, кто может! Заставьте-ка тень схватить рукою горсть пепла. Мы, посвященные, мы, поднявшие покрывало Изиды, скажем напрямик: нет ни добра, ни зла, есть только растительная жизнь. Давайте искать то, что действительно существует. Доберемся до дна. Проникнем в самую суть, черт возьми! Надо учуять истину, докопаться до нее и схватить. И тогда она даст вам изысканные наслаждения. И тогда вы станете сильным и будете смеяться над всем. Что касается меня, я твердо стою на земле, господин епископ. Бессмертие человека – это еще вилами на воде писано. Ох уж мне все эти прекрасные обещания! Положитесь на них, как же! Нечего сказать, надежный вексель выдан Адаму. Сначала вы – душа, потом станете ангелом, голубые крылья

вырастут у вас на лопатках. Напомните мне, кто это сказал, – кажется, Тертуллиан? – что блаженные будут перелетать с одного небесного светила на другое. Допустим. Превратятся, так сказать, в звездных кузнечиков. А потом узрят господа. Та-та-та – чепуха все эти царствия небесные. А бог – чудовищный вздор! Разумеется, я не стал бы печатать этого в «Мониторе», но почему бы, черт побери, не шепнуть об этом приятелю? Inter rosula^[6]. Пожертвовать землей ради рая – это все равно что выпустить из рук реальную добычу ради призрака. Дать одурачить себя баснями о вечности! Ну нет, я не так глуп. Я – ничто. Я господин Ничто, сенатор и граф. Существовал ли я до рождения? Нет. Буду ли я существовать после смерти? Нет. Что же я такое? Горсточка пылинок, соединенных воедино в организме. Что я должен делать на этой земле? У меня есть выбор: страдать или наслаждаться. Куда меня приведет страдание? В ничто. Но я приду туда, настрадавшись. Куда меня приведет наслаждение? В ничто. Но я приду туда, насладившись. Мой выбор сделан. Надо либо есть, либо быть съеденным. Я ем. Лучше быть зубом, чем травинкой. Такова моя мудрость. Ну, а дальше все идет само собой; могильщик уже там, нас с вами ждет Пантеон, все проваливается в эту бездонную дыру. Конец. Finis! Окончательный расчет. Это место полного исчезновения. Поверьте мне – смерть мертва. Чтобы там был некто, кому бы заблагорассудилось что-нибудь мне сказать, да это просто смешно. Бабушкины сказки. Бука – для детей, Иегова – для взрослых. Нет, наше завтра – это мрак. За гробом все мы ничто и все равны между собой. Будь вы Сарданапалом, будь вы Венсен де Полем – все равно, вы придете к небытию. Вот она, истина. Итак, живите, наперекор всему живите. Пользуйтесь своим «я», пока оно в вашей власти. Говорю вам, господин епископ, у меня и в самом деле своя философия и свои философы. Я не дам себя соблазнить ребяческой болтовней. Но, само собой разумеется, тем, кто внизу, всей этой гольтыбе, уличным точильщикам, беднякам, необходимо что-то иметь. Вот им и затыкают рот легендами, химерами, душой, бессмертием, раем, звездами. И они жуют все это. Они приправляют этим свой сухой хлеб. У кого ничего нет, у того есть господь бог. И то хорошо. Ну что ж, я не против, но лично для себя я оставляю Нежона. Милосердный бог мил лишь сердцу толпы.

Епископ захлопал в ладоши.

– Отлично сказано! – вскричал он. – Какая великолепная штука – этот материализм! Поистине чудесная! Он не каждому дается в руки. Да, того, кто овладел им, уже не проведешь; тот не позволит так глупо изгнать себя из родного края, как это сделал Катон, побить себя камнями, как святой Стефан, или сжечь заживо, как Жанна д’Арк. Люди, которым удалось обзавестись этим превосходным материализмом, испытывают приятное чувство полнейшей безответственности и считают, что они могут безмятежно пожирать все: должности, sinecуры, высокие звания, власть, приобретенную как честным путем, так и нечестным; могут разрешать себе все: нарушение слова, когда это выгодно, измену, если она полезна, сделки с совестью, если они обещают наслаждение, и потом, по окончании пищеварительного процесса, спокойно сойти в могилу. Как это приятно! Я говорю не о вас, господин сенатор, но, право же, не могу вас не поздравить. Вы, знатные господа, обладаете, как вы сами сказали, собственной, лично вам принадлежащей философией, изысканной, утонченной, доступной одним только богачам, годной под любым соусом, отличной приправой ко всем жизненным радостям. Эта философия извлечена из неведомых глубин, она вытащена на свет божий специальными исследователями. Но вы – добрые малые и не видите вреда в том, чтобы вера в бога оставалась философией народа, – так гусь с каштанами заменяет бедняку индейку с трюфелями.

Чтобы дать представление о жизни диньского епископа в семейном кругу и о том, как обе благочестивые старушки подчиняли свои поступки, свои мысли, даже свою инстинктивную, чисто женскую робость привычкам и желаниям епископа, причем последнему даже не приходилось для этого высказывать их вслух, лучше всего будет привести здесь письмо м-ль Батистины к виконтессе де Буашеврон, подруге ее детства. Мы располагаем этим письмом.

«Динь, 16 декабря 18...

Моя дорогая, не проходит дня, чтобы мы не говорили о вас. Это вообще вошло у нас в привычку, а сейчас для этого есть особая причина. Представьте себе, что госпожа Маглуар, занимаясь мытьем и чисткой потолков и стен, сделала несколько открытий: теперь обе наши комнаты, которые прежде были оклеены старыми обоями, сверху побеленными, не обезобразили бы и такого дворца, как ваш. Госпожа Маглуар сорвала все обои, и под ними оказалось много интересного. В моей гостиной, где нет никакой мебели и где мы развешиваем белье после стирки, – она пятнадцати футов высотой, а величиной около восемнадцати квадратных футов, – потолок покрыт, по старинной моде, живописью с позолотой, а балки там такие же, как у вас. Когда здесь помещалась больница, то все это было затянуто холстом. Кроме того, там деревянные панели времен наших бабушек. Но что всего интереснее – это моя спальня. Под десятью, если не больше, слоями обоев госпожа Маглуар обнаружила картины – хоть и не особенно хорошие, но вполне сносные. Это Телемак, посвящаемый в рыцари Минервой, он же в каких-то садах – забыла название, ну, в тех, куда римские матроны отправлялись на одну ночь. Что же еще? У меня есть римляне, римлянки (тут какое-то слово, которое нельзя разобрать) и тому подобное. Госпожа Маглуар отмыла все это, летом она исправит кое-какие мелкие повреждения, снова все покроет лаком, и моя спальня превратится в настоящий музей. Кроме того, она нашла где-то на чердаке два маленьких деревянных столика в старинном вкусе. За то, чтобы вызолотить их заново, просят два шестифранковых эю, но лучше отдать эти деньги бедным; к тому же они очень некрасивы, и мне больше хотелось бы иметь круглый стол красного дерева.

Я по-прежнему вполне счастлива. Мой брат так добр. Он отдает все, что у него есть, неимущим и больным. Мы очень стеснены в средствах. Зима здесь суровая, и необходимо хоть чем-нибудь помогать тем, кто нуждается. У нас же почти тепло и светло. Это все-таки большая роскошь, не так ли?

У брата есть свои привычки. Он говорит, что всякий епископ должен быть таким. Представьте себе, что двери нашего дома никогда не запираются. Стоит кому-либо войти, и он сразу попадает в комнату брата. Мой брат ничего не боится, даже ночью. В этом-то и проявляется его храбрость, – так он говорит.

Он не хочет, чтобы я или госпожа Маглуар боялись за него. Он подвергает себя всяческим опасностям и хочет, чтобы мы делали вид, что даже не замечаем этого. Надо уметь понимать его.

Он выходит из дому в дождь, шагает по слякоти, путешествует зимой. Он не боится ни темноты, ни опасных дорог, ни подозрительных встреч.

В прошлом году, совершенно один, он поехал в местность, где хозяйничали грабители. Нас он не пожелал взять с собой. Целых две недели он пробыл в отсутствии. Когда он вернулся, оказалось, что с ним ничего не случилось; его считали мертвым, а он был здоров и невредим. «Посмотрите, как меня ограбили!» – сказал он. И открыл чемодан, набитый драгоценностями из собора Амбренской

Богоматери, которые ему подарили грабители.

На этот раз, по дороге домой, я не могла удержаться, чтобы не побранить его немного, но старалась говорить в то время, когда колеса повозки стучали, чтобы нас не услышал кто-нибудь из посторонних.

В первое время я думала про себя: «Никакие опасности не могут остановить его, это ужасный человек». Теперь я наконец привыкла. Я знаками показываю госпоже Маглуар, чтобы она не прекословила ему. Он рискует собой, сколько хочет. Я увожу госпожу Маглуар, ухожу к себе, молюсь за него и засыпаю. Я спокойна, так как твердо знаю, что, если с ним случится несчастье, это будет и мой конец. Я уйду к господу богу вместе с моим братом и моим епископом. Госпоже Маглуар было труднее, чем мне, привыкнуть к тому, что она называла его «безрассудствами». Но теперь все уже вошло в колею. Мы обе молимся, вместе дрожим от страха и потом засыпаем. Если бы самому дьяволу вздумалось войти к нам в дом, никто не помешал бы ему. В самом деле, чего нам бояться в этом доме? Тот, кто сильнее всех, всегда с нами. Дьявол придет и уйдет, а господь бог обитает здесь постоянно.

Этого с меня довольно. Теперь брату уже не нужно что-либо говорить мне. Я понимаю его без слов, и мы отдаемся на волю providения.

Так надо держать себя с человеком, который велик духом.

Я спрашивала брата относительно семейства де Фо, о котором вы справлялись. Вам известно, как он все знает и как много помнит – ведь он по-прежнему добрый роялист. Это действительно очень старинное нормандское семейство из Каннского округа. Уже пятьсот лет тому назад Рауль де Фо, Жан де Фо и Тома де Фо были дворянами, причем один из них владел Рошфором. Последний в роду, Ги-Этьен-Александр, был командиром полка и еще кем-то в легкой коннице в Бретани. Его дочь, Мария-Луиза, была замужем за Адриеном-Шарлем де Грамоном, сыном герцога Луи де Грамона, пэра Франции, полковника французской гвардии и генерал-лейтенанта армии. Можно писать «Фо» по-разному, меняя окончание: Faux, Fauq и Faoucq.

Моя дорогая, попросите вашего достойного родственника, господина кардинала, молиться за нас. А ваша милая Сильвания хорошо сделала, что не стала тратить те краткие мгновения, которые проводит с вами, на письмо ко мне. Ведь она здорова, работает так, как вы этого хотите, и по-прежнему меня любит. Больше мне ничего и не нужно. Она прислала мне поклон через вас, и я счастлива этим. Здоровье мое не так уж плохо, а между тем я с каждым днем все больше худею. Прощайте, бумаги у меня больше нет, поэтому я вынуждена расстаться с вами. Тысячу добрых пожеланий.

Батистина.

P. S. Ваш внучек прелестен. Вы знаете, ведь ему скоро минет пять лет! Вчера он увидел на улице лошадь с наколенниками и спросил: «Что у нее с коленками?» Этот ребенок так мил! А его младший братишка таскает по полу старую метлу и, воображая, что это карета, кричит: «Н-но!»»

Как явствует из письма, обе старушки хорошо применились к привычкам епископа – это свойственно лишь женщинам, которые понимают мужчину лучше, чем он сам себя понимает. Сохраняя неизменно свой кроткий и простодушный вид, диньский епископ совершал порой высокие, смелые и прекрасные поступки, казалось, даже не сознавая этого. Женщины

трепетали, но не вмешивались. Изредка г-жа Маглуар отваживалась сделать замечание до того, как поступок был совершен, но никогда во время совершения его или после. Если дело было начато, никто никогда не мешал ему даже жестом. В иные минуты – ему не приходилось об этом говорить им, а может быть, он и сам этого не сознавал, до того совершенна была его скромность – обе женщины смутно понимали, что он действует как епископ, и тогда они превращались в две тени, скользящие по дому. Они служили ему, отказавшись от проявления собственной воли; и если повиноваться значило исчезнуть – они исчезали. С изумительной тонкостью инстинкта они чувствовали, что порой заботливость может только стеснять. Поэтому даже тогда, когда им казалось, что он в опасности, они до такой степени проникали если не в мысли его, то в самую сущность его натуры, что переставали опекать его и поручали это богу.

Впрочем, Батистина говорила, как читатель только что узнал из ее письма, что кончина брата будет и ее кончиной. Г-жа Маглуар не говорила этого, но она это знала.

Глава 10

Епископ перед неведомым светом

Спустя некоторое время после того, как было написано письмо, приведенное на предыдущих страницах, епископ совершил поступок, по мнению всего города, еще более безрассудный, нежели его поездка в горы, кишевшие разбойниками.

Недалеко от Диня, в его окрестностях, в полном уединении жил один человек. Человек этот – произнесем сразу это страшное слово – был когда-то членом Конвента. Его звали Ж.

В тесном мирке жителей города Диня о члене Конвента Ж. упоминали почти с ужасом. «Вообразите только – члены Конвента! Они существовали в те времена, когда люди говорили друг другу «ты» и «гражданин»! Этот человек был почти чудовищем. Он не голосовал за смерть короля, но был близок к этому. Чуть не цареубийца. Он был страшен. Каким образом по возвращении законных государей этого человека не предали особому уголовному суду? Может быть, ему бы и не отрубили голову – надо все же проявлять милосердие, – но пожизненная ссылка ему бы не помешала. Чтобы хоть другим было неповадно! И т. д. и т. д. Тем более что он безбожник, как и все эти люди...» Пересуды гусей о ястребе.

Однако был ли Ж. ястребом? Да, был, если судить о нем по непримиримой суровости его уединения. Он не голосовал за смерть короля, поэтому не попал в проскрипционные списки и мог остаться во Франции.

Он жил в сорока пяти минутах ходьбы от города, вдали от людского жилья, вдали от дороги, в забытом всеми уголке дикой горной долины. По слухам, у него был там клочок земли, была какая-то лачуга, какое-то логово. Никого вокруг: ни соседей, ни даже прохожих. С тех пор как он поселился в этой долине, тропинка к ней заросла травой. Об этом месте говорили с таким же чувством, с каким говорят о жилье палача.

Но епископ помнил о нем и, время от времени поглядывая в ту сторону, где группа деревьев на горизонте обозначала долину старого члена Конвента, думал: «Там есть душа, которая одинока».

И внутренний голос говорил ему: «Ты должен навестить этого человека».

Все же надо сознаться, что мысль об этом, казавшаяся столь естественной вначале, после минутного размышления уже представлялась епископу нелепой и невозможной, почти отталкивающей. Ибо, в сущности говоря, он разделял общее мнение, и член Конвента внушал ему, хоть он и не отдавал себе в этом ясного отчета, то чувство, которое граничит с ненавистью и которое так хорошо выражается словом «неприязнь».

Однако разве пастырь имеет право отшатнуться от зачумленной овцы? Нет. Но овца овце

рознь!

Добрый епископ был в сильном затруднении. Он несколько раз направлялся в ту сторону и с полдороги возвращался обратно.

Но вот однажды в городе распространился слух, что маленький пастух, который прислуживал члену Конвента в его норе, приходил за врачом, что старый нечестивец умирает, что его разбил паралич и он вряд ли переживет эту ночь. «И слава богу!» – добавляли при этом некоторые.

Епископ взял свой посох, надел мантию – потому что его сутана, как мы уже говорили, была чересчур изношена, а также и потому, что по вечерам обычно поднимался холодный ветер, – и отправился в путь.

Солнце садилось и почти касалось горизонта, когда епископ достиг места, проклятого людьми. С легким замиранием сердца он убедился, что подошел почти к самой берлоге. Он перешагнул через канаву, проник сквозь живую изгородь, поднял жердь, закрывавшую вход, оказался в запущенном огороде, довольно храбро сделал несколько шагов вперед и вдруг, в глубине этой пустоши, за высоким густым кустарником, он увидел логовище зверя.

Это была очень низкая, бедная, маленькая и чистая хижина; виноградная лоза обвивала ее фасад.

Перед дверью в старом кресле на колесиках, простом крестьянском кресле, сидел человек с седыми волосами и улыбался солнцу.

Возле старика стоял мальчик-подросток, юный пастушок. Он протягивал старику чашку с молоком.

Епископ молча смотрел на эту сцену. В эту минуту старик заговорил. «Благодарю, – сказал он, – больше мне ничего не нужно». И, оторвавшись от солнца, его улыбающийся взгляд остановился на ребенке.

Епископ подошел ближе. Услышав шум шагов, старик повернул голову, и на его лице выразилось самое глубокое изумление, на какое еще может быть способен человек, проживший долгую жизнь.

– За все время, что я здесь, – сказал он, – ко мне приходят впервые. Кто вы, сударь?

Епископ ответил:

– Меня зовут Бьенвеню Мириэль.

– Бьенвеню Мириэль. Мне приходилось слышать это имя. Не вас ли народ называет преосвященным Бьенвеню?

– Да, меня.

Слегка улыбаясь, старик продолжал:

– В таком случае вы мой епископ.

– До некоторой степени.

– Милости просим.

Член Конвента протянул епископу руку, но епископ не пожал ее. Епископ сказал только:

– Я рад убедиться, что меня обманули. Вы вовсе не кажетесь мне больным.

– Сударь, – ответил старик, – я скоро буду здоров. – Помолчав немного, он добавил: – Через три часа я умру. – И продолжал: – Я немного врач и знаю, как наступает последний час. Вчера у меня похолодели только ступни; сегодня холод поднялся до колен; сейчас он уже доходит до пояса, я чувствую это; когда он достигнет сердца, оно остановится. А как прекрасно солнце! Я попросил выкатить сюда мое кресло, чтобы в последний раз взглянуть на мир. Можете говорить со мной, это меня несколько не утомляет. Вы хорошо сделали, что пришли посмотреть на умирающего человека. Такая минута должна иметь свидетеля. У каждого есть свои причуды: мне вот хотелось бы дожить до рассвета. Однако я знаю, что меня едва хватит и на три часа.

Будет еще темно. Впрочем, не все ли равно! Кончить жизнь – простое дело. Для этого вовсе не требуется утро. Пусть будет так. Я умру при свете звезд. – Старик обернулся к пастушку: – Иди ложись. Ты просидел возле меня всю прошлую ночь. Ты устал.

Мальчик ушел в хижину.

Старик проводил его взглядом и добавил, как бы про себя:

– Пока он будет спать, я умру. Сон и смерть – добрые соседи.

Епископа все это тронуло меньше, чем можно было бы ожидать. В этом расставании с жизнью он как-то не ощущал присутствия бога. Скажем прямо – ибо и маленькие противоречия великих сердец должны быть отмечены так же точно, как все остальное, – епископ, который при случае так любил подшутить над своим «высокопреподобием», был слегка задет тем, что здесь его не называли «монсеньором», и ему почти хотелось ответить на это обращением «гражданин». Он почувствовал себя склонным к грубоватой бесцеремонности, довольно обычной для врачей и священников, но самому ему совсем не свойственной. В конце концов, этот человек, этот член Конвента, этот представитель народа был когда-то одним из сильных мира, и, пожалуй, впервые в жизни епископ ощутил прилив суровости.

Между тем член Конвента взирал на него со скромным радушием, в котором, пожалуй, можно было уловить оттенок смирения, вполне уместного в человеке, стоящем на краю могилы.

Епископ же, который обычно воздерживался от любопытства, ибо в его понимании оно граничило с оскорблением, внимательно разглядывал члена Конвента, хотя такое внимание, проистекавшее не из сочувствия, наверное, вызвало бы в нем упреки совести, будь оно направлено на любого другого человека. Член Конвента представлялся ему как бы существом вне закона и даже вне закона милосердия.

Ж., державшийся почти совершенно прямо и говоривший спокойным, звучным голосом, принадлежал к числу тех восьмидесятилетних старцев, которые возбуждают удивление у физиологов. Революция видела немало людей, созданных по образу и подобию своей эпохи. В этом старике чувствовался человек, выдержавший все испытания. Столь близкий к кончине, он сохранил все движения, присущие здоровью. Его ясный взгляд, твердый голос, могучий разворот плеч могли бы привести в замешательство и самое смерть. Магометанский ангел смерти Азраил повернул бы перед ним вспять, решив, что ошибся дверью. Казалось, что Ж. умирает потому, что он сам этого хочет. В его предсмертной агонии чувствовалась свободная воля. Только ноги его были неподвижны. От них начиналась крепкая хватка смерти. Ноги были мертвы и холодны, в то время как голова жила со всей жизненной мощью и, видимо, сохранила полную ясность. В эту торжественную минуту Ж. походил на того царя из восточной сказки, у которого верхняя половина тела была плотью, а нижняя мрамором.

Неподалеку от кресла лежал камень. Епископ сел на него. Вступление было *ex abrupto*^[7].

– Я рад за вас, – сказал епископ тоном, в котором чувствовалось осуждение. – Вы все же не голосовали за смерть короля.

Член Конвента, казалось, не заметил оттенка горечи, скрывавшегося в словах «все же». Однако улыбка исчезла с его лица, когда он ответил:

– Не слишком радуйтесь за меня, сударь, я голосовал за уничтожение тирана.

Этот суровый тон явился ответом на тон строгий.

– Что вы хотите этим сказать? – спросил епископ.

– Я хочу сказать, что у человека есть только один тиран – невежество. Вот за конец этого тирана я и голосовал. Этот тиран породил королевскую власть, то есть власть, источник которой ложь, тогда как знание – это власть, источник которой истина. Управлять человеком может одно лишь знание.

– И совесть, – добавил епископ.

– Это одно и то же. Совесть – это та сумма знаний, которая заложена в нас от природы. Монсеньор Бьенвеню с некоторым удивлением слушал эти речи, совершенно новые для него.

Член Конвента продолжал:

– Что касается Людовика Шестнадцатого, то я сказал: «Нет». Я не считаю себя вправе убивать человека, но чувствую себя обязанным искоренять зло. Я голосовал за уничтожение тирана, то есть за уничтожение проституции женщины, за уничтожение рабства мужчины, за уничтожение невежества ребенка. Голосуя за Республику, я голосовал за все это. Я голосовал за братство, за мир, за утреннюю зарю! Я помогал искоренять предрассудки и заблуждения. Крушение предрассудков и заблуждений порождает свет. Мы низвергли старый мир, и старый мир, этот сосуд страданий, пролившись на человеческий род, превратился в чашу радости.

– Радости замутненной, – сказал епископ.

– Вы могли бы сказать – радости потревоженной, а теперь, после этого рокового возврата к прошлому, имя которого тысяча восемьсот четырнадцатый год, – радости исчезнувшей. Увы, наше дело не было завершено, я это признаю; мы разрушили старый строй в его внешних проявлениях, но не могли совсем устранить его из мира идей. Недостаточно уничтожить злоупотребления, надо изменить нравы. Мельницы уже нет, но ветер остался.

– Вы разрушили. Разрушение может оказаться полезным, но я боюсь разрушения, когда оно сопровождается гневом.

– У справедливости тоже есть свой гнев, господин епископ, и этот гнев справедливости является элементом прогресса. Как бы то ни было и что бы ни говорили, но Французская революция – это самое могучее движение человечества со времен пришествия Христа. Несовершенное – пусть так, – но благороднейшее. Она вынесла за скобку все неизвестные в социальном уравнии; она смягчила умы; она успокоила, умиротворила, просветила; она пролила на землю потоки цивилизации. Она была исполнена доброты. Французская революция – это помазание на царство самой человечности.

Епископ не мог удержаться и прошептал:

– Да? А девяносто третий год?

С почти зловещей торжественностью умирающий приподнялся в своем кресле и, напрягая последние силы, вскричал:

– А! Вот оно что! Девяносто третий год! Я ждал этих слов. Тучи сгущались в течение тысячи пятисот лет. Прошло пятнадцать веков, и они наконец разразились грозой. Вы предъявляете иск к удару грома.

Епископ, быть может, сам себе в этом не признаваясь, почувствовал легкое смущение. Однако он не показал виду и ответил:

– Судья выступает от имени правосудия, священник выступает от имени сострадания, которое является тем же правосудием, но более высоким. Удару грома не подобает ошибаться. – И, в упор глядя на члена Конвента, он добавил: – А Людовик Семнадцатый?

Член Конвента протянул руку и схватил епископа за плечо.

– Людовик Семнадцатый! Послушайте! Кого вы оплакиваете? Невинное дитя? Если так, я плачу вместе с вами. Королевское дитя? В таком случае дайте мне подумать. В моих глазах брат Картуша, невинный ребенок, которого повесили на Гревской площади и который висел там, охваченный веревкой под мышками, до тех пор, пока не наступила смерть, ребенок, чье единственное преступление состояло в том, что он был братом Картуша, – не менее достоин сожаления, нежели внук Людовика Пятнадцатого – другой невинный ребенок, заточенный в Тампль единственно по той причине, что он был внуком Людовика Пятнадцатого.

– Сударь, – прервал его епископ, – мне не нравится сопоставление этих имен.

– Картуша? Людовика Пятнадцатого? За которого из них вы желаете вступиться?

Наступило молчание. Епископ почти сожалел о том, что пришел, и в то же время он смутно ощутил, как что-то поколебалось в его душе.

– Ах, господин священник, – продолжал член Конвента, – вы не любите грубой правды. А ведь Христос любил ее. Он брал плеть и выгонял мытарей из храма. Его карающий бич был отличным вещателем суровых истин. Когда он вскричал «*Sinite parvulos*»^[8], то он не делал различия между детьми. Он не постеснялся бы поставить рядом наследника Вараввы и наследника Ирода. Невинность, сударь, сама по себе есть венец. Невинность не нуждается в том, чтобы быть «высочеством». В рубище она столь же царственна, как и в геральдических лилиях.

– Это правда, – тихо проговорил епископ.

– Я настаиваю на своей мысли, – продолжал член Конвента. – Вы назвали имя Людовика Семнадцатого. Давайте же договоримся. Скажите, кого мы будем оплакивать: всех невинных, всех страдающих, всех детей – и тех, которые внизу, и тех, которые наверху? Если так, я согласен. Но в таком случае, повторяю, надо вернуться к более ранним временам, чем девяносто третий год, и начать лить наши слезы не о Людовике Семнадцатом, а о людях, погибших задолго до него. Я буду оплакивать вместе с вами королевских детей, если вы будете вместе со мной оплакивать малышей из народа.

– Я оплакиваю всех, – сказал епископ.

– В равной мере! – вскричал Ж. – Но если чаши весов будут колебаться, пусть перетянет чаша страданий народа. Народ страдает дольше.

Снова наступило молчание. Его нарушил член Конвента. Он приподнялся на локте и, слегка ущемив щеку между указательным и большим пальцем – машинальный жест, присущий человеку, когда он вопрошает и когда он судит, – вперил в епископа взгляд, исполненный необычайной, предсмертной силы. Он заговорил. Это было похоже на взрыв.

– Да, сударь, народ страдает давно... Но постойте, все это не то. Зачем вы пришли расспрашивать меня и говорить о Людовике Семнадцатом? Я вас не знаю. С тех пор как я поселился в этих краях, я живу один, не делая ни шагу за пределы этой ограды, не видя никого, кроме этого мальчугана, который помогает мне. Правда, ваше имя смутно доходило до меня, и, должен признаться, о вас отзывались не слишком плохо, но это еще ничего не значит. У ловких людей так много способов обойти народ – этого славного простака. Между прочим, я почему-то не слышал шума колес вашей кареты. Очевидно, вы оставили ее там, за рощей, у поворота дороги. Говорю вам – я вас не знаю. Вы сказали, что вы епископ, но это ничего не говорит мне о вашем нравственном облике. Итак, я повторяю свой вопрос: кто вы такой? Вы епископ, то есть князь церкви, один из тех парченосцев и гербоносцев, которые обеспечены ежегодной рентой и имеют огромные доходы с должности. Диньская епархия – это содержание в пятнадцать тысяч франков да десять тысяч франков побочных доходов, всего двадцать пять тысяч в год. Вы – один из тех, у кого отличные повара и ливрейные лакеи, из тех, кто любит хорошо покушать и ест по пятницам водяных курочек, кто выставляет себя напоказ, развалиясь в парадной карете, с лакеями на передке и с лакеями на запятках, кто живет во дворцах и разъезжает в экипажах во имя Иисуса Христа, ходившего босиком! Вы сановник! Ренты, дворцы, лошади, слуги, хороший стол, все чувственные радости жизни – вы обладаете ими, как и ваши собратья, и, подобно им, вы наслаждаетесь всем этим. Да, это так, но этим сказано слишком много или слишком мало. Это ничего не говорит мне о вашей внутренней ценности и сущности, о человеке, который пришел с очевидным намерением преподать мне мудрость. С кем я говорю? Кто вы?

Епископ опустил голову и ответил:

– *Vermis sum*^[9].

– Земляной червь, разъезжающий в карете! – проворчал член Конвента.

Роли переменялись: теперь член Конвента держался высокомерно, а епископ смиренно.

– Пусть будет так, сударь, – кротко сказал он. – Но объясните мне, в какой мере моя карета, которая стоит там, за кустами, в двух шагах отсюда, мой хороший стол и водяные курочки, которых я ем по пятницам, в какой мере мои двадцать пять тысяч годового дохода, мой дворец и мои лакеи доказывают, что сострадание – не добродетель, что милосердие – не долг и что девяносто третий год не был безжалостен?

Член Конвента провел рукой по лбу, словно отгоняя какую-то тень.

– Прежде чем вам ответить, – сказал он, – я прошу вас извинить меня... Я, сударь, виноват перед вами. Вы пришли ко мне, вы мой гость. Мне надлежит быть учтивым. Вы оспариваете мои взгляды, я должен ограничиться возражением на ваши доводы. Ваши богатства и жизненные наслаждения – это мои преимущества против вас в нашем споре, но было бы приличнее, если бы я не воспользовался ими. Обещаю вам больше их не касаться.

– Благодарю вас, – ответил епископ.

– Вернемся к объяснению, которого вы у меня просили, – продолжал Ж. – На чем мы остановились? Что вы мне сказали? Что девяносто третий год был безжалостен?

– Да, безжалостен, – подтвердил епископ. – Что вы думаете о Марате, рукоплескавшем гильотине?

– А что вы думаете о Боссюэ, распевавшем «Te Deum»^[10] по поводу драгонад?

Ответ был суров, но он попал прямо в цель с неумолимостью стального клинка. Епископ вздрогнул; он не нашел возражения, но такого рода ссыла на Боссюэ оскорбила его. У самых великих умов есть свои кумиры, и недостаток уважения к ним со стороны логики вызывает порой смутное ощущение боли.

Между тем член Конвента стал задыхаться, голос его прерывался от предсмертного удушья, обычного спутника последних минут жизни, но в глазах отражалась еще полная ясность духа. Он продолжал:

– Я хочу сказать вам еще несколько слов. Если рассматривать девяносто третий год вне революции, которая в целом является великим утверждением человечности, то этот год – увы! – покажется ее опровержением. Вы, сударь, считаете его безжалостным, но что такое, по-вашему, монархия? Карье – это разбойник, но как вы назовете Монревеля? Фукье-Тенвиль – негодяй, но каково ваше мнение о Ламуаньон-Бавиле? Мальяр ужасен, но не угодно ли вам взглянуть на Со-Тавана? Отец Дюшен кровожаден, но какой эпитет выбрали бы вы для отца Летелье? Журдан-Головорез чудовище, но все же не такое чудовище, как маркиз де Лувау. О сударь, сударь, мне жаль Марию-Антуанетту, эрцгерцогиню и королеву, но мне не менее жаль и ту несчастную гугенотку, которую в 1685 году, при Людовике Великом, сударь, привязали к столбу, обнаженную до пояса, причем ее грудного ребенка держали от нее на расстоянии. Грудь женщины была переполнена молоком, а сердце полно мучительной тревоги. Изголодавшийся и бледный малютка видел эту грудь и надрывался от крика. А палач говорил женщине – матери и кормилице: «Отрекись!», предоставляя ей выбор между гибелью ее ребенка и гибелью души. Что вы скажете об этой пытке Танталя, примененной к матери? Запомните, сударь, Французская революция имела свои причины. Будущее оправдает ее гнев. Лучший мир – вот ее последствия. Из самых страшных ее ударов рождается ласка для всего человечества. Довольно. Я умолкаю, у меня на руках слишком хорошие карты. К тому же – я умираю.

И, отведя взор от епископа, член Конвента закончил свою мысль несколькими спокойными словами:

– Да, грубые проявления прогресса носят название революций. После того как они закончены, становится ясно, что человечество получило жестокую встряску, но сделало шаг

вперед.

Член Конвента не подозревал, что он последовательно сбивает епископа со всех его внутренних позиций. Однако оставалась еще одна, и, опираясь на этот последний оплот сопротивления, монсеньор Бьенвеню возразил почти с тою же резкостью, с какой он начал разговор:

– Прогресс должен верить в бога. У добра не может быть нечестивых слуг. Атеист плохой руководитель человечества.

Старый представитель народа ничего не ответил. По его телу пробежала дрожь. Он посмотрел на небо, и слеза затуманила его взор. Потом она медленно покатилась по мертвенно-бледной щеке, и едва слышно, прерывающимся голосом, словно говоря сам с собой, умирающий произнес, не отрывая глаз от беспредельной небесной глубины:

– О ты! О идеал! Ты один существуешь!

Епископ был охвачен невыразимым душевным волнением.

Немного помолчав, член Конвента поднял руку и, указав на небо, сказал:

– Бесконечное существует. Оно там. Если бы бесконечное не имело своего «я», тогда мое «я» было бы его пределом и оно бы не было бесконечным; другими словами, бесконечное не существовало бы. Но оно существует. Следовательно, оно имеет свое «я». Это «я» бесконечного и есть бог.

Последние слова умирающий произнес громким голосом, трепеща от восторга; казалось, пред ним стоит некто, видимый только ему одному. Когда он кончил, глаза его закрылись. Напряжение истощило его силы. Было ясно, что в одно это мгновение он прожил те несколько часов, которые еще оставались ему. Оно приблизило его к тому, кто ожидал его за порогом смерти. Наступала последняя минута.

Епископ понял это, мешкать долее было нельзя; ведь он пришел сюда как священник. От крайней холодности он постепенно дошел до крайнего волнения; он взглянул на эти сомкнутые глаза, он взял эту старую, морщинистую, похолодевшую руку и наклонился к умирающему.

– Этот час принадлежит богу. Разве вам не было бы прискорбно, если б наша встреча оказалась напрасной?

Член Конвента открыл глаза. Какая-то суровая, как бы подернутая тенью важность лежала теперь на его лице.

– Господин епископ, – сказал он с медлительностью, которая, быть может, проистекала не столько от упадка физических сил, сколько от чувства внутреннего достоинства, – я провел жизнь в размышлении, изучении и созерцании. Мне было шестьдесят лет, когда родина призвала меня и повелела принять участие в ее делах. Я повиновался. Я видел злоупотребления – и боролся с ними. Я видел тиранию – и уничтожил ее. Я провозглашал и исповедовал права и принципы. Враг вторгся в нашу страну – и я защищал ее; Франции угрожала опасность – и я грудью встал за нее. Я никогда не был богат, теперь я беден. Я был одним из правителей государства; подвалы казначейства ломились от сокровищ, пришлось укрепить подпорами стены, которые не выдерживали тяжести золота и серебра, – а я обедал за двадцать су на улице Арбр-Сэк. Я поддерживал угнетенных и утешал страждущих. Правда, я разорвал алтарный покров, но лишь для того, чтобы перевязать раны отечества. Я всегда помогал шествию человечества вперед, к свету, но порой противодействовал прогрессу, если он был безжалостен. Случалось и так, что я оказывал помощь вам, своим противникам. Во Фландрии, в Петегеме, там, где была летняя резиденция меровингских королей, существует монастырь урбанисток, аббатство Святой Клары в Болье, – в 1793 году я спас этот монастырь. Я исполнял свой долг по мере сил и делал добро, где только мог. После чего меня стали гнать, преследовать, мучить, меня очернили, осмеяли, оплевали, проклинали, осудили на изгнание. Вот уже сколько лет, как я,

несмотря на свои седины, чувствую, что есть много людей, считающих себя вправе презирать меня, что в глазах бедной невежественной толпы я – проклятый богом преступник. И я приемлю одиночество, созданное ненавистью, сам ни к кому ее не питаю. Теперь мне восемьдесят шесть лет; я умираю. Чего вы от меня хотите?

– Вашего благословения, – сказал епископ.

И опустился на колени.

Когда епископ поднял голову, лицо члена Конвента было величаво-спокойно. Он скончался.

Епископ вернулся домой, погруженный в глубокое раздумье. Всю ночь он провел в молитве. На другой день несколько любопытных отважились заговорить с ним о члене Конвента Ж.; вместо ответа епископ указал на небо. С этой поры его любовь и братская забота о малых сих и страждущих еще усилились.

Малейшее упоминание об «этом старом нечестивце Ж.» приводило его в состояние какой-то особенной задумчивости. Никто не мог бы сказать, какую роль в приближении епископа к совершенству сыграло соприкосновение этого ума с его умом и воздействие этой великой души на его душу.

Само собой разумеется, что это «пастырское посещение» доставило повод для воркотни местным любителям сплетен. «Разве епископу место у изголовья такого умирающего? – говорили они. – Ведь тут нечего было и ждать обращения. Все эти революционеры – закоренелые еретики. Так зачем ему было ходить туда? Чего он там не видел? Верно, уж очень любопытно было поглядеть, как дьявол уносит человеческую душу».

Как-то раз одна знатная вдовушка, принадлежавшая к разновидности наглых людей, которые мнят себя остроумными, позволила себе следующую выходку. «Монсеньор, – сказала она епископу, – все спрашивают, когда вашему преосвященству будет пожалован красный колпак».

«О! Это грубый цвет, – ответил епископ. – Счастье еще, что люди, которые презирают его в колпаке якобинца, глубоко чтят его в кардинальской шляпе».

Глава 11

Оговорка

Тот, кто заключит из вышеизложенного, что монсеньор Бьенвеню был «епископом-философом» или «священником-патриотом», рискует впасть в большую ошибку. Его встреча с членом Конвента Ж., которую, быть может, позволительно сравнить с встречей двух небесных светил, оставила в его душе чувство какого-то недоумения, придавшее еще большую кротость его характеру. И это все.

Хотя монсеньор Бьенвеню менее всего был человеком политики, все же, пожалуй, уместно в нескольких словах рассказать здесь, каково было его отношение к событиям того времени, если предположить, что монсеньор Бьенвеню когда-либо проявлял к ним какое-либо отношение.

Итак, вернемся на несколько лет назад.

Немного времени спустя после возведения г-на Мириэля в епископский сан император пожаловал ему, так же как и нескольким другим епископам, титул барона Империи. Как известно, арест папы состоялся в ночь с 5 на 6 июля 1809 года; по этому случаю г-н Мириэль был приглашен Наполеоном в синод епископов Франции и Италии, созванный в Париже. Синод этот заседал в соборе Парижской Богоматери и впервые собрался 15 июня 1811 года под председательством кардинала Феша. В числе девяноста пяти явившихся туда епископов был и г-

и Мириэль. Однако он присутствовал всего лишь на одном заседании и на нескольких частных совещаниях. Епископ горной епархии и человек, привыкший к непосредственной близости к природе, к деревенской простоте и к лишениям, он, кажется, высказал в обществе этих высоких особ такие взгляды, которые охладили температуру собрания. Очень скоро он вернулся в Динь. На вопросы о причине столь быстрого возвращения он отвечал: «Я им мешал. Вместе со мной туда проник свежий ветер. Я показался им чем-то вроде распахнутой настежь двери».

В другой раз он сказал: «Что же тут удивительного? Все эти высокопреподобия – князя церкви, а я – всего только бедный деревенский епископ».

Дело в том, что он пришелся не ко двору. Он наговорил там немало странных вещей, и как-то вечером, когда он находился у одного из самых именитых своих коллег, у него вырвались между прочим такие слова: «Какие прекрасные часы! Какие прекрасные ковры! Какие прекрасные ливреи! Все это должно сильно докучать! Нет, я бы ни за что не хотел обладать таким избытком роскоши. Она бы все время кричала мне в уши: «Есть люди, которые голодают! Есть люди, которым холодно! Есть бедняки! Есть бедняки!»

Скажем мимоходом, что ненависть к роскоши – это ненависть неразумная. Она влечет за собой ненависть к искусству. Однако у служителей церкви, если не говорить о парадных службах и празднествах, роскошь является пороком. Она как бы изобличает привычки, говорящие о недостатке истинного милосердия. Богатый священник – это бессмыслица, место священника должно быть подле бедняков. Но возможно ли постоянно, днем и ночью, соприкасаться со всякой нуждой, со всякими лишениями и нищетой, не приняв на себя какой-то доли всех этих бедствий, не запыхавшись, если можно так выразиться, этой трудовой пылью? Можно ли представить себе человека, который находился бы у пылающего костра и не ощущал бы его жара? Можно ли представить себе человека, который постоянно работал бы у раскаленной печи и не имел ни одного опаленного волоса, ни одного почерневшего ногтя, ни капли пота, ни пятнышка сажи на лице? Первое доказательство милосердия священника, а епископа в особенности, – это его бедность.

По-видимому, именно так думал и диньский епископ.

Впрочем, не следует предполагать, чтобы в отношении некоторых щекотливых пунктов он разделял так называемые «идеи века». Он редко вмешивался в богословские распри того времени и не высказывался по вопросам, роняющим престиж церкви и государства; однако, если бы оказать на него достаточное давление, он, по всей вероятности, скорее оказался бы ультрамонтаном, нежели галликанцем. Так как мы пишем портрет с натуры и не имеем желания что-либо скрывать, мы вынуждены добавить, что г-н Мириэль выказал ледяную холодность к Наполеону в период его заката. Начиная с 1813 года он одобрял или даже приветствовал все враждебные императору выступления. Он не пожелал видеть Наполеона, когда тот проезжал через Динь, возвращаясь с острова Эльбы, и не отдал приказа по епархии о служении в церквях молебнов за здоровье императора во время Ста дней.

Кроме сестры, м-ль Батистины, у него было два брата: один – генерал, другой – префект. Он довольно часто писал обоим. Однако он несколько охладел к первому за то, что, командуя войсками в Провансе и приняв начальство над отрядом в тысячу двести солдат, генерал во время высадки в Канне преследовал императора так вяло, словно желал ему дать возможность ускользнуть. Переписка же епископа с другим братом, отставным префектом, достойным и честным человеком, который уединенно жил в Париже на улице Касет, оставалась более сердечной.

Итак, монсеньора Бьенвеню также коснулся дух политических разногласий, у него тоже были свои горькие минуты, своя забота. Тень страстей, волновавших эпоху, задела и этот возвышенный и кроткий ум, поглощенный тем, что нетленно и вечно. Такой человек бесспорно

был бы достоин того, чтобы вовсе не иметь политических убеждений. Да не поймут превратно нашу мысль – мы не смешиваем так называемые «политические убеждения» с возвышенным стремлением к прогрессу, с высокой верой в отечество, в народ и в человека, которая в наши дни должна лежать в основе мировоззрения всякого благородного мыслящего существа. Не углубляя вопросов, имеющих лишь косвенное отношение к содержанию данной книги, скажем просто: «Было бы прекрасно, если бы монсеньор Бьенвеню не был роялистом и если бы его взор ни на мгновение не отрывался от безмятежного созерцания трех чистых светочей – истины, справедливости и милосердия, ярко сияющих над бурной житейской суетой».

Признавая, что бог создал монсеньора Бьенвеню отнюдь не для политической деятельности, мы тем не менее поняли и приветствовали бы его протест во имя права и свободы, гордый отпор, чреватое опасностями, но справедливое сопротивление всемогущему Наполеону. Однако то, что похвально по отношению к восходящему светилу, далеко не так похвально по отношению к светилу нисходящему. Борьба привлекает нас лишь тогда, когда она сопряжена с риском, и уж, конечно, право на последний удар имеет лишь тот, кто нанес первый. Тот, кто не выступал с настойчивым обвинением в дни благоденствия, обязан молчать, когда произошел крах. Только открытый враг преуспевавшего является законным мстителем после его падения. Что касается нас, то, когда вмешивается и наказует провидение, мы уступаем ему поле действия. 1812 год начинает обезоруживать нас. В 1813 году подлое нарушение молчания со стороны Законодательного корпуса, до той поры безмолвного и осмелевшего после ряда катастроф, не могло вызвать ничего, кроме негодования, и рукоплескать ему было бы ошибкой; в 1814 году, при виде предателей-маршалов, при виде сената, который, переходя от низости к низости, оскорблял того, кого он обожествлял, при виде идолопоклонников, трусливо пятящихся назад и оплевывающих недавнего идола, мы сочли своим долгом отвернуться; в 1815 году, когда в воздухе появились предвестники страшных бедствий, когда вся Франция содрогалась, чувствуя их злое приближение, когда уже можно было различить смутное видение разверстого перед Наполеоном Ватерлоо, в горестных приветствиях армии и народа, встретивших осужденного роком, не было ничего смешного, и, при всей неприязни к деспоту, такой человек, как диньский епископ, пожалуй, не должен был закрывать глаза на все то величественное и трогательное, что таилось в этом тесном объятии великой нации и великого человека на краю бездны.

За этим исключением епископ был и оставался во всем праведным, искренним, справедливым, разумным, смиренным и достойным; он творил добро и был доброжелателен, что является другой формой того же добра. Это был пастырь, мудрец и человек. Даже в своих политических убеждениях, за которые мы только что упрекали его и которые мы склонны осуждать весьма сурово, он был – мы должны признать это – снисходителен и терпим, быть может, более, чем мы сами, пишущие эти строки.

Привратник диньской ратуши, когда-то назначенный на свою должность самим императором, был старый унтер-офицер старой гвардии, награжденный крестом за Аустерлиц, и не менее рьяный бонапартист, чем императорский орел. У этого бедняги вырывались порой не совсем обдуманное слова, которые по тогдашним законам считались «бунтовскими речами». После того как профиль императора исчез с ордена Почетного легиона, старик никогда не одевался «по уставу» – таково было его выражение, – чтобы не быть вынужденным надевать и свой крест. Он с благоговением, собственными руками, вынул из креста, пожалованного ему Наполеоном, изображение императора, благодаря чему в кресте появилась дыра, и ни за что не хотел вставить что-либо на его место. «Лучше умереть, – говорил он, – чем носить на сердце трех жаб!» Он охотно и во всеуслышание насмехался над Людовиком XVIII. «Старый подагрик в английских гетрах! Пусть он убирается в Пруссию со своей пудреной косицей!» – говаривал

он, радуясь, что может в одном ругательстве объединить две самые ненавистные для него вещи: Пруссию и Англию. В конце концов он потерял место. Вместе с женой и детьми он очутился на улице без куска хлеба. Епископ послал за ним, мягко побранил и назначил на должность привратника собора.

За девять лет монсеньор Бьенвеню своими добрыми делами и кротостью снискал к себе любовное и как бы сыновнее почтение обитателей Диня. Даже его неприязнь к Наполеону была принята молча и прощена народом: слабовольная и добродушная паства боготворила своего императора, но любила своего епископа.

Глава 12

Одиночество монсеньора Бьенвеню

Подобно тому, как вокруг генерала почти всегда толпится целый выводок молодых офицеров, – вокруг каждого епископа вьется стая подчиненных аббатов. Именно этих аббатов св. Франциск Сальский в старину и назвал где-то «желторотыми священниками». Всякое жизненное поприще имеет своих искателей фортуны, которые составляют свиту того, кто уже преуспел на нем. Нет власть имущего, у которого бы не было своих приближенных; нет баловня фортуны, у которого бы не было своих придворных. Искатели будущего вихрем кружатся вокруг великолепного настоящего. Всякая епархия имеет свой штаб. Каждый сколько-нибудь влиятельный епископ окружен стражей херувимчиков-семинаристов, которые обходят дозором епископский дворец, следят за порядком и караулят улыбку монсеньора. Угодить епископу – значит встать на первую ступень, ведущую к должности иподьякона. Надо же пробить себе дорогу – апостольское звание не брезгует доходным местечком.

Как в миру, так и в церкви есть свои тузы. Это епископы в милости, богатые, с крупными доходами, ловкие, принятые в высшем обществе, умеющие молиться – это бесспорно, – но умеющие также домогаться того, что им нужно; епископы, которые, олицетворяя собой целую епархию, не стесняются дожидаться в чьей-нибудь передней и являются соединительным звеном между ризницей и дипломатией – скорее аббаты, нежели священники, скорее прелаты, нежели епископы. Счастлив тот, кто сумеет приблизиться к ним! Люди с влиянием, они щедро раздают своим приспешникам, фаворитам и всей этой умеющей подделаться к ним молодежи богатые приходы, доходы с церковных имуществ, места архидиаконов, попечителей и другие выгодные кафедральные должности, постепенно ведущие к епископскому сану. Продвигаясь сами, эти планеты движут вперед и своих спутников – настоящая солнечная система в движении. Их сияние бросает пурпурный отсвет и на их свиту. Со стола их благоденствия крошками сыплются на приближенных маленькие теплые местечки. Чем больше епархия покровителя, тем богаче приход фаворита. А Рим так близко. Епископ, сумевший сделаться архиепископом, архиепископ, сумевший сделаться кардиналом, берет вас с собой в качестве кардинальского служки в конклав, вы входите в римское судилище, вы получаете омофор, и вот вы уже сами член судилища, вот вы камерарий, вот вы монсеньор, а от преосвященства до эминенции только один шаг, а эминенцию и святейшество разделяет только дымок сжигаемого избирательного листка и ничего больше. Каждая скуфья может мечтать превратиться в тиару. В наши дни священник – это единственный человек, который может законным путем взойти на престол, и на какой престол! Престол державнейшего из владык! Зато каким питомником упований является семинария! Сколько краснеющих певчих, сколько юных аббатов ходят с кувшином Перетты на голове! Как охотно честолюбие именует себя призванием, и – кто знает? – быть может, даже искренне поддаваясь самообману. Блажен, кто верует!

Монсеньор Бьенвеню, скромный, бедный, чудаковатый, не был причислен к «значительным

особам». На это указывало полное отсутствие вокруг него молодых священников. Все видели, что в Париже он «не принялся». Ни одно будущее не стремилось привиться к этому одинокому старику. Ни одно незрелое честолюбие не было столь безрассудно, чтобы пустить ростки под его сенью. Его каноники и старшие викарии были добрые старики, немного грубоватые, как и он сам, как и он, замуровавшие себя в этой епархии, которая не имела никакого общения с кардинальским двором, и похожие на своего епископа, с той лишь разницей, что они были люди конченные, а он был человеком завершенным. Невозможность расцвести возле монсеньора Бьенвеню была так очевидна, что, едва закончив семинарию, молодые люди, рукоположенные им в сан священника, запасались рекомендациями к архиепископам Экса или Оша и немедленно уезжали. Ибо люди хотят, чтобы им помогали расти, повторяем это. Праведник, чья жизнь полна самоотречения, – опасное соседство: он может заразить вас неизлечимой бедностью, параличом сочленений, необходимых, чтобы продвигаться вперед, к успеху, и вообще большей любовью к самопожертвованию, чем вы этого хотите; от сей чумной добродетели все бегут. Этим и объясняется одиночество монсеньора Бьенвеню. Мы живем в обществе, окутанном мраком. Преуспевать – вот высшая мудрость, капля за каплей падающая из тучи корыстных интересов, нависшей над человечеством.

Заметим мимоходом, какая, в сущности, гнусная вещь – успех. Его мнимое сходство с заслугой вводит людей в заблуждение. Удача – это для толпы почти то же, что превосходство. У успеха, этого близнеца таланта, есть одна жертва обмана – история. Только Ювенал и Тацит немного брюзжат на его счет. В наши дни всякая более или менее официальная философия поступает в услужение к успеху, носит его ливрею и лакействует у него в передней. Преуспевайте – такова теория! Благосостояние предполагает способности. Выиграйте в лотерею, и вы умница. Кто победил, тому почет. Родитесь в сорочке – в этом вся штука! Будьте удачливы – все остальное приложится; будьте баловнем счастья – вас сочтут великим человеком. Не считая пяти или шести грандиозных исключений, которые придают блеск целому столетию, все восторги современников объясняются только близорукостью. Позолота сходит за золото. Будь ты хоть первым встречным – это не помеха, лишь бы удача шла тебе навстречу. Пошлость – это состарившийся Нарцисс, влюбленный в самого себя и рукоплещущий пошлости. То огромное дарование, благодаря которому человек рождается Моисеем, Эсхилом, Данте, Микеланджело или Наполеоном, немедленно и единодушно присуждается толпой любому, кто достиг своей цели, в чем бы она ни состояла. Пусть какой-нибудь нотариус стал депутатом; пусть лже-Корнель написал «Тиридата»; пусть евнуху удалось обзавестись гаремом; пусть какой-нибудь военный Прюдом случайно выиграл битву, имеющую решающее значение для эпохи; пусть аптекарь изобрел картонные подошвы для армии департамента Самбр-и-Маас и, выдав картон за кожу, нажил капитал, дающий четыреста тысяч ливров дохода; пусть уличный разносчик женился на ростовщице, и от этого брака родилось семь или восемь миллионов, отцом которых является он, а матерью она; пусть проповедник за свою гнусавую болтовню получил епископский сан; пусть управляющий торговым домом оказался по увольнению таким богатым человеком, что его назначили министром финансов, – во всем этом люди видят Гениальность, так же как они видят Красоту в наружности Мушкетона и Величие в шее Клавдия. Звездообразные следы утиных лапок на мягкой грязи болота они принимают за созвездия в бездонной глубине неба.

Глава 13

Во что он верил

Нам незачем доискиваться, был ли диньский епископ приверженцем ортодоксальной веры. Перед такой душой мы можем только благоговеть. Праведнику надо верить на слово. Кроме того, у некоторых исключительных натур мы допускаем возможность гармонического развития всех форм человеческой добродетели, даже если их верования и отличны от наших.

Что думал епископ о таком-то догмате или о таком-то обряде? Эти сокровенные тайны ведомы лишь могиле, куда души входят обнаженными. Для нас несомненно одно: спорные вопросы веры никогда не разрешались им лицемерно. Никакое тление не может коснуться алмаза. Г-н Мириэль веровал до глубины души. «Credo in Patrem»^[11], – часто восклицал он. К тому же он черпал в добрых делах столько удовлетворения, сколько надобно для совести, чтобы она тихонько сказала человеку: «С тобою бог!»

Считаем своим долгом отметить, что помимо веры и, так сказать, сверх веры у епископа был избыток любви. Именно поэтому, *quia multum amavit*^[12], его и считали уязвимым среди «серьезных людей», «благоразумных особ» и «положительных характеров», пользуясь излюбленными выражениями нашего унылого общества, где эгоизм беспрекословно повинует педантизму. В чем же выражался этот избыток любви? В спокойной доброжелательности, которая, как мы уже говорили выше, изливалась на людей, а при случае распространялась и на неодушевленные предметы. Он жил, не зная презрения. Он был снисходителен ко всякому творению божию. В душе каждого человека, даже самого хорошего, таится бессознательная жестокость, которую он бережет для животных. В диньском епископе эта жестокость, свойственная, между прочим, многим священникам, отсутствовала совершенно. Он не доходил до таких крайностей, как брамины, но, по-видимому, ему случалось размышлять над следующим изречением из Экклезиаста: «Кто знает, куда идет душа животных?» Внешнее безобразие, извращения инстинкта не смущали и не отталкивали его. Напротив, он чувствовал себя взволнованным, почти растроганным ими. Глубоко задумавшись, он, казалось, искал за пределами видимого причину зла, объяснение его или оправдание. В иные минуты он, казалось, молил бога смягчить кару. Без гнева, невозмутимым оком ученого лингвиста, разбирающего полустертую надпись на пергаменте, он наблюдал остатки хаоса, еще существующие в природе. Углубленный в свои размышления, он иногда высказывал странные вещи. Однажды утром он гулял в саду, думая, что он один, и не замечая сестры, которая шла за ним; внезапно он остановился и стал рассматривать что-то на земле: это был большой паук, черный, мохнатый, отвратительный. И сестра услышала, как он произнес: «Бедное создание! Оно в этом не виновато».

Почему не рассказать об этих детски непосредственных проявлениях почти божественной доброты? Ребячество? Пусть так, но ведь в таком же возвышенном ребячестве повинны были Франциск Ассизский и Марк Аврелий. Как-то раз епископ вывихнул себе ногу, побоявшись раздавить муравья.

Так жил этот праведник. Иногда он засыпал в своем саду, и не было зрелища, которое могло бы внушить большее благоговение.

Если верить рассказам, то в молодости и даже в зрелом возрасте монсеньор Бьенвеню был человек пылких, быть может, даже необузданных страстей. Его всеобъемлющая снисходительность являлась не столько природным его свойством, сколько следствием глубокой убежденности, просочившейся сквозь жизнь в самое его сердце и постепенно, мысль за мыслью, осевшей в нем; ибо в характере человека, так же как и в скале, которую долбит капля воды, могут образоваться глубокие борозды. Эти углубления неизгладимы; эти образования неистребимы.

В 1815 году – мы, кажется, уже упоминали об этом – епископу исполнилось семьдесят пять лет, но на вид ему казалось не более шестидесяти. Он был невысокого роста, имел некоторую

склонность к полноте и, противясь ей, охотно совершал длинные прогулки пешком; он сохранил твердую поступь и почти прямой стан – подробность, из которой мы не собираемся делать каких-либо выводов: Григорий XVI в восемьдесят лет держался очень прямо и постоянно улыбался, что, однако, не мешало ему оставаться дурным епископом. У монсеньора Бьенвеню был, говоря языком простонародья, «осанистый вид», но выражение его лица было так ласково, что вы забывали об этой «осанке».

Когда он вел беседу, детская его веселость, о которой мы уже упоминали, составлявшая одну из самых привлекательных черт его характера, помогала людям чувствовать себя легко и непринужденно; казалось, от всего его существа исходит радость. Свежий румянец и прекрасно сохранившиеся белые зубы, блестевшие при улыбке, придавали ему тот открытый и приветливый вид, когда невольно хочется сказать о человеке: «Что за славный малый!» – если он молод, и «Что за добряк!» – если он стар. Мы помним, что такое же впечатление он произвел и на Наполеона. В самом деле, на первый взгляд, и в особенности для того, кто видел его впервые, это был добряк – и только. Но если вам случалось провести с ним несколько часов и видеть его погруженным в задумчивость, этот добряк преображался на глазах, становясь все значительнее; его высокий спокойный лоб, казавшийся величественным благодаря увенчивавшим его сединам, становился еще величественнее благодаря запечатлевшейся на нем глубокой думе; нечто возвышенное исходило от этой доброты, не перестававшей излучать свое сияние; вы испытывали такое волнение, словно улыбающийся ангел медленно раскрывал перед вами свои крылья, не переставая озарять вас своей улыбкой. Почтение, невыразимое почтение медленно охватывало вас, проникало в сердце, и вы чувствовали, что перед вами одна из тех сильных, искушенных и всепрощающих натур, у которых мысль так глубока, что она уже не может не быть кроткой.

Итак, молитва, исполнение церковных служб, милостыня, утешение скорбящих, возделывание уголка земли, братское милосердие, воздержанность, гостеприимство, самоотречение, упование на бога, наука и труд заполняли все дни его жизни. Именно заполняли, ибо день епископа был до краев полон добрых мыслей, добрых слов и добрых поступков. Однако день этот казался ему незавершенным, если вечером, перед сном, после того как обе женщины удалялись к себе, холодная или дождливая погода мешала ему провести два-три часа в своем саду. Казалось, он выполнял какой-то обряд, когда, готовясь ко сну, предавался размышлениям, созерцая величественное зрелище ночного неба. Иногда, даже в очень поздние часы, старушки, если им не спалось, слышали, как он медленно прохаживался по аллеям. Там, наедине с самим собою, сосредоточенный, спокойный и благоговеющий, он сравнивал ясность своего сердца с ясностью небесного эфира. Взмолванный зримым во мраке великолепием созвездий и незримым великолепием бога, он раскрывал душу мыслям, являвшимся к нему из Неведомого. В такие мгновения, возносясь сердцем в тот самый час, когда ночные цветы возносят к небу свой аромат, весь светящийся, как лампада, зажженная среди звездной ночи, словно растворяясь в экстазе перед всеобъемлющей лучезарностью мироздания, быть может, он и сам не мог бы сказать, что совершалось в душе его; он чувствовал, как что-то излучается из него и что-то нисходит к нему. Таинственный обмен между безднами духа и безднами вселенной! Он думал о величии вездесущего бога, о вечности грядущей – чудесной тайне; о вечности минувшей – тайне, еще более чудесной; обо всем неизмеримом разнообразии бесконечного во всей его глубине; и, не пытаясь постичь непостижимое, он созерцал его. Он не изучал бога, он поражался ему. Он размышлял об удивительных столкновениях атомов, которые придают форму материи, пробуждают силы, обнаруживая их существование, создают своеобразие в единстве, соотношения в пространстве, бесчисленное в бесконечном и порождают красоту с помощью света. Эти столкновения – вечный круговорот завязок и развязок, отсюда

жизнь и смерть.

Он сажился на деревянную скамью, прислоненную к ветхой беседке, обвитой виноградом, и смотрел на светила сквозь чахлые и кривые ветви своих плодовых деревьев. Эта четверть арпана с такой скудной растительностью, вся застроенная жалкими сараями и амбарами, была ему дорога и вполне удовлетворяла его.

Что еще нужно было старику, который все досуги своей жизни, где было так мало досуга, делил между садоводством днем и созерцанием ночью? Разве этого узкого огороженного пространства, где небо заменяло потолок, не было довольно для того, чтобы поклониться богу в его прекраснейших творениях? В самом деле, разве в нем не было заключено все? Чего же еще желать?.. Маленький сад для прогулок и вся беспредельность для грез. У ног его то, что можно возделывать и собирать; над головой – то, что можно обдумывать и изучать. Немного цветов на земле и все звезды на небе.

Глава 14

О чем он думал

Еще несколько слов.

Все эти подробности, особенно в наше время, могли бы, употребляя модные сейчас выражения, внушить мысль о том, что диньский епископ в своем роде «пантеист» и что он придерживался – в похвалу это ему или в порицание, вопрос особый – одной из тех субъективных, присущих нашему веку философских теорий, какие, возникая иногда в одиноких душах, формируются и развиваются, чтобы заступить в них затем место религии. Поэтому мы со всей твердостью заявляем, что никто из лиц, близко знавших монсеньора Бьенвеню, не счел бы себя вправе приписать ему что-либо подобное. Источником познания для этого человека было его сердце, и мудрость его была соткана из того света, который излучало это сердце.

Никаких теорий – и много дел. Туманная философия таит в себе дух заблуждения; ничто не указывало на то, чтобы он когда-либо дерзал углубляться мыслью в ее таинственные дебри. Апостол может быть дерзновенным, но епископу должно быть робким. Видимо, монсеньор Бьенвеню не позволял себе чрезмерно глубокого проникновения в некоторые проблемы, разрешать которые призваны лишь великие и бесстрашные умы. У порога тайны живет священный ужас; эти мрачные врата отверсты перед вами, но что-то говорит вам, страннику, идущему мимо, что входить нельзя. Горе тому, кто проникнет туда! Гении, погружаясь в бездонные пучины абстракции и чистого умозрения, становясь, так сказать, над догматами веры, изъясняют свои идеи богу. Их молитва смело вызывает на спор, их поклонение вопрошает. Эта религия не имеет посредников, и тот, кто пытается взойти на ее крутые склоны, испытывает тревогу и чувство ответственности.

Человеческая мысль не знает границ. На свой страх и риск она исследует и изучает даже собственное ослепление. Пожалуй, можно сказать, что своим сверкающим отблеском она как бы ослепляет самую природу; таинственный мир, окружающий нас, отдает то, что получает, и возможно, что созерцатели сами являются предметом созерцания. Так или иначе, но на земле существуют люди – впрочем, люди ли это? – которые на далеких горизонтах мечты ясно различают высоты абсолюта, люди, перед которыми встает грозное видение необозримой горы. Монсеньор Бьенвеню отнюдь не принадлежал к их числу. Монсеньор Бьенвеню не был гением. Его уstraшили бы эти вершины духа, откуда даже столь великие умы, как Сведенборг и Паскаль, соскользнули в безумие. Бесспорно, эти титанические грезы приносят свою долю нравственной пользы, именно этими трудными путями и приближаются люди к идеальному совершенству. Диньский епископ избрал кратчайшую тропу – Евангелие.

Он не делал никаких попыток расположить складки своего облачения так, чтобы оно походило на плащ Илии, не старался осветить лучом предвидения туманную зыбь совершающихся событий, не стремился слить в единое пламя мерцающие огоньки малых дел, в нем не было ничего от пророка и ничего от мага. Эта смиренная душа любила – вот и все.

Быть может, он и доводил молитву до какого-то сверхчеловеческого устремления ввысь, но как любовь, так и молитва никогда не могут быть чрезмерны, и если бы молитва, которой нет в текстах Священного Писания, являлась ересью, то и св. Тереза и св. Иероним были бы еретиками.

Он склонялся к страждущим и кающимся. Вселенная представлялась ему огромным недугом; он везде угадывал лихорадку, в каждой груди он прослушивал страдание и, не доискиваясь причины болезни, старался врачевать раны. Грозное зрелище вызванных к жизни творений умиляло его. Он стремился лишь к одному – найти самому и передать другим наилучший способ пожалеть и поддержать. Все сущее было для этого редкого по своей доброте священнослужителя неисчерпаемым источником печали, жаждущей утешить.

Есть люди, которые трудятся, извлекая из недр земных золото; он же трудился, извлекая из душ сострадание. Его рудником были несчастья мира. Рассеянные повсюду горести являлись для него лишь постоянным поводом творить добро. «Любите друг друга!» – говорил он, считая, что этим сказано все, и ничего больше не желая; вот в чем и заключалось все его учение. «Послушайте, – сказал ему однажды сенатор, о котором мы уже упоминали, человек, считавший себя философом, – да взгляните же на то, что происходит в мире: война всех против каждого; кто сильнее – тот и умнее.

Ваше «любите друг друга» – глупость». – «Что ж, – ответил епископ, не вступая в спор, – если это глупость, то душа должна замкнуться в ней, как жемчужина в раковине». И он замкнулся в ней, жил в ней и полностью удовлетворялся ею, отстраняя от себя великие вопросы, притягивающие нас и в то же время повергающие в ужас. Он отстранял от себя неизмеримые высоты отвлеченного, бездны метафизики, все те глубины, которые сходятся в одной точке – для апостола в боге, для атеиста в небытии: судьбу, добро и зло, борьбу всех живых существ между собою, самосознание человека и дремотную созерцательность животных, преображение через смерть, повторение существований, берущее начало в могиле, непостижимую власть преходящих чувств над неизменным «я», сущность, материю. Nil и Ens^[13], душу, природу, свободу, необходимость; те острые проблемы, те зловещие толщи, над которыми склоняются гиганты человеческой мысли; те страшные пропасти, которые Лукреций, Ману, св. Павел и Данте созерцают таким сверкающим взором, что, будучи устремлен в бесконечность, он, кажется, способен возжечь там звезды.

Монсеньор Бьенвеню был просто человек, который наблюдал таинственные явления со стороны и, не исследуя их, не подходя к ним вплотную, не тревожа ими свой ум, строго хранил в душе благоговение перед неведомым.

Книга вторая

Падение

Глава 1

Вечером, после целого дня ходьбы

В первых числах октября 1815 года, приблизительно за час до захода солнца, какой-то путник вошел в городок Динь. Те немногочисленные обитатели, которые в это время смотрели в окна или стояли на пороге своих домов, не без тревоги поглядывали на этого прохожего. Трудно было встретить пешехода более нищенского вида. Это был человек среднего роста, коренастый и плотный, в расцвете сил. Ему можно было дать лет сорок шесть, сорок семь. Надвинутая на лоб фуражка с кожаным козырьком наполовину закрывала его загорелое от солнца, обветренное лицо, по которому струился пот. Грубая рубаха из небеленого холста, заколотая у ворота маленьким серебряным якорем, не скрывала его волосатой груди; на нем был скрученный в жгут шейный платок, синие тиковые штаны, изношенные и потертые, побелевшие на одном колене и с прорехой на другом, старая и рваная серая блуза, заплатанная на локте лоскутом зеленого сукна, пришитым бечевкой; за спиной у путника висел туго набитый солдатский ранец, тщательно застегнутый и совершенно новый, в руках он держал огромную суковатую палку; подбитые железными гвоздями башмаки были надеты прямо на босу ногу; голова у него была острижена, а борода сильно отросла.

Пот, зной, усталость после долгого пути и пыль еще усиливали отталкивающее впечатление, которое производил этот оборванец.

Короткие его волосы стояли торчком; видимо, их остригли совсем недавно, и они только начали отрастать.

Никто не знал его. Очевидно, это был случайный прохожий. Откуда он явился? С юга. Может быть, с побережья. Ибо он вошел в Динь той же дорогой, которою семь месяцев назад прошел император Наполеон, направляясь из Канна в Париж. Должно быть, человек этот шагал без отдыха весь день. Он казался очень усталым. Женщины из старинного предместья, расположенного в нижней части города, заметили, как он остановился под деревьями бульвара Гасенди и пил воду из фонтана, что в конце аллеи. Вероятно, его мучила сильная жажда, потому что дети, которые шли за ним следом, видели, как шагов через двести он снова остановился, чтобы напиться из другого фонтана, на Рыночной площади.

Дойдя до угла улицы Пуашвер, он повернул налево и направился к мэрии. Он вошел туда и пробыл там четверть часа. У дверей, на каменной скамье, той самой скамье, встав на которую генерал Друо 4 марта прочел перед толпой изумленных обитателей Диня прокламацию, написанную в бухте Жуан, сидел жандарм. Прохожий снял фуражку и униженно поклонился ему.

Жандарм, не отвечая на поклон, внимательно посмотрел на прохожего, проводил его взглядом и вошел в мэрию.

В те времена в Дине имелся прекрасный постоялый двор под вывеской «Кольбасский крест». Хозяином этого постоялого двора был некто Жакен Лабар, человек, пользовавшийся в городе уважением за родство с другим Лабаром, который держал в Гренобле постоялый двор «Три дельфина» и когда-то служил фланговым в императорских войсках. Во время высадки императора в тех краях немало ходило слухов о постоялом дворе «Три дельфина». Говорили, будто в январе месяце генерал Бертран, переодетый возчиком, приезжал туда несколько раз, причем раздавал кресты солдатам и пригоршни золотых монет горожанам. Но достоверно одно:

вступив в Гренобль, император отказался остановиться в здании префектуры; поблагодарив мэра, он сказал: «Я пойду к одному славному малому, я хорошо его знаю», – и отправился в гостиницу «Три дельфина». Несмотря на расстояние в двадцать пять лье, отсвет славы Лабара из «Трех дельфинов» озарял и Лабара из «Кольбасского креста». В городе о нем говорили: «Это двоюродный брат того, гренобльского».

К этому-то постоялому двору, лучшему в городе, и направился путник. Он вошел в кухню, двери которой открывались прямо на улицу. Все кухонные печи топились, жаркий огонь весело пылал в камине. Трактирщик, он же и старший повар, с озабоченным видом переходил от очага к кастрюлям, наблюдая за приготовлением великолепного обеда, который предназначался для возчиков, чей шумный говор и смех раздавались из соседней комнаты. Всякий, кому приходилось путешествовать, знает, что никто не любит так хорошо поесть, как возчики. Жирный сурок с белыми куропатками и тетеревами по бокам крутился на длинном вертеле перед огнем; на плите жарились два крупных карпа из озера Лозе и форель из озера Алоз.

Услыхав, что дверь отворилась и вошел новый посетитель, трактирщик, не поднимая глаз от плиты, спросил:

– Что вам угодно, сударь?

– Поесть и переночевать, – ответил вошедший.

– Это можно, – сказал трактирщик. Потом обернулся и, смерив вновь прибывшего взглядом, добавил: – Разумеется, за плату.

Пришелец вытащил из кармана блузы туго набитый кожаный кошелек.

– Деньги у меня есть, – сказал он.

– В таком случае к вашим услугам, – ответил трактирщик.

Незнакомец снова сунул кошелек в карман, снял ранец, поставил его на пол у двери и, не выпуская из рук своей палки, присел на низенькую скамейку перед очагом. Динь лежит в горах. Октябрьские вечера там очень холодны.

Между тем трактирщик, продолжая сновать взад и вперед, внимательно разглядывал путника.

– Скоро ли обед? – спросил тот.

– Сейчас будет готов, – ответил трактирщик.

Пока пришелец грелся у огня, повернувшись к хозяину спиной, почтенный трактирщик Жакен Лабар вынул из кармана карандаш и оторвал уголок старой газеты, валявшейся на маленьком столике у окна. Написав на полях несколько слов, он сложил этот клочок бумаги и, не запечатывая, вручил мальчугану, который, как видно, служил ему одновременно и поваренком и рассыльным. Трактирщик что-то шепнул на ухо поваренку, и тот бегом пустился по направлению к мэрии.

Путник ничего не заметил.

Он снова спросил:

– Скоро ли обед?

– Сейчас будет готов, – ответил трактирщик.

Мальчик вернулся. Он принес записку обратно. Хозяин, словно ожидавший ответа, торопливо развернул ее. Внимательно прочитав написанное, он покачал головой и на минуту задумался. Затем он подошел к путнику, который казался погруженным в размышления далеко не веселого свойства.

– Сударь, – сказал он, – я не могу оставить вас у себя.

Незнакомец привстал со своей скамьи.

– Как так! Вы боитесь, что я не заплачу! Хотите, я отдам плату вперед? Говорю вам – у меня есть деньги.

– Дело не в этом.

– А в чем же?

– У вас есть деньги...

– Да, – еще раз подтвердил незнакомец.

– Но у меня-то, – продолжал трактирщик, – нет свободной комнаты.

– Так устройте меня в конюшне, – спокойно возразил незнакомец.

– Не могу.

– Почему?

– Там нет места – все занято лошадьми.

– Ну что ж, – снова возразил незнакомец, – в таком случае отведите мне уголок на чердаке.

Дайте охапку соломы. Впрочем, мы потолкуем об этом после обеда.

– Я не могу дать вам обеда.

Это заявление, сделанное сдержанным, но решительным тоном, заставило незнакомца насторожиться. Он встал.

– Ах, так! – вскричал он. – Но послушайте, я умираю от голода. Я без отдыха иду с самого восхода солнца. Я прошел двенадцать лье. Я плачу деньги. Я хочу есть.

– У меня ничего нет, – сказал трактирщик.

Незнакомец разразился смехом и повернулся к камину и к печам.

– Ничего? А все это?

– Все это мне заказано другими.

– Кем?

– Господами извозчиками.

– Сколько же их?

– Двенадцать.

– Да тут хватит еды на двадцать человек.

– Все это они заказали для себя и уплатили вперед.

Незнакомец сел на прежнее место и сказал, не повышая голоса:

– Я в трактире, я голоден и остаюсь здесь.

Тогда трактирщик наклонился к нему и сказал ему на ухо таким тоном, что тот вздрогнул:

– Уходите отсюда.

В эту минуту путник, нагнувшись, подталкивал в огонь угольки железным наконечником своей палки; он живо обернулся и уже открыл рот, чтобы возразить что-то, но трактирщик пристально посмотрел на него и добавил все так же тихо:

– Послушайте, довольно лишних слов. Сказать вам, как вас зовут? Ваше имя – Жан Вальжан. А теперь – сказать вам, кто вы такой? Когда вы вошли, я кое-что заподозрил, послал в мэрию, и вот что мне ответили. Вы умеете читать?

С этими словами он протянул незнакомцу развернутую записку, которая успела пропутешествовать из трактира в мэрию и из мэрии обратно в трактир. Незнакомец пробежал ее взглядом. Немного помолчав, трактирщик продолжал:

– Я привык вежливо обращаться со всеми. Уходите отсюда.

Незнакомец опустил голову, поднял с пола свой ранец и ушел.

Он направился вдоль главной улицы. Он шагал наудачу, держась поближе к домам, униженный и печальный. Он ни разу не обернулся. Если бы он обернулся, то увидел бы, что хозяин «Кольбасского креста» стоит на пороге своей двери и, окруженный всеми постояльцами своего заведения и всеми уличными прохожими, оживленно говорит им что-то, указывая на него пальцем; и тогда подозрительные, испуганные взгляды всей этой группы людей сказали бы ему, что его появление не замедлит всполошить весь город.

Но ничего этого он не видел. Те, кто удручены горем, не оглядываются назад. Они слишком хорошо знают, что их злая участь идет за ними следом.

Так он брел некоторое время, все вперед, выбирая наудачу улицы, которых не знал, и забыв об усталости, как это бывает в минуты уныния. Вдруг он снова почувствовал сильный голод. Надвигалась ночь. Он осмотрелся по сторонам, надеясь найти какое-нибудь пристанище.

Приличный трактир закрыл перед ним свои двери; теперь он искал какой-нибудь скромный кабачок, какую-нибудь убогую лачугу.

Вдруг в конце улицы мелькнул огонек; сосновая ветка, подвешенная к железной балке, ясно вырисовывалась на бледном фоне сумеречного неба. Он направился к ней.

Это и в самом деле был кабачок – кабачок, что на улице Шафо.

На секунду путник остановился и заглянул через окно в низенькую залу кабачка, освещенную стоявшей на столе маленькой лампой, а также ярким пламенем очага. Несколько человек сидели там и пили. Хозяин грелся у огня. Подвешенный на крюке железный котелок кипел над очагом.

В этом кабачке, являвшемся также и своего рода постоянным двором, были две двери. Одна открывалась на улицу, а другая вела в маленький дворик, заваленный навозом.

Путник не решился войти с улицы. Он проскользнул во двор, опять остановился, потом робко нажал на щеколду и толкнул дверь.

– Кто там? – спросил хозяин.

– Человек, который хотел бы поужинать и переночевать.

– За чем же дело стало? Здесь получите и ужин и ночлег.

Он вошел. Все посетители, пившие за столом, обернулись. Лампа освещала прищельца с одной стороны, огонь очага – с другой. Пока он отвязывал свой ранец, все внимательно разглядывали его.

Кабатчик оказал:

– Вот огонь. В этом котелке варится ужин. Подойдите ближе и погрейтесь, приятель.

Путник сел перед очагом. Он протянул к огню нывшие от усталости ноги; вкусный запах шел от котелка. Лицо прищельца, насколько его можно было разглядеть из-под низко надвинутой на лоб фуражки, приняло выражение смутного довольства, к которому примешивался другой, скорбный оттенок, придаваемый длительной привычкой к страданию.

Впрочем, у него был мужественный, энергичный и грустный вид. Это лицо производило какое-то странное, двойственное впечатление: сначала оно казалось смиренным, а под конец суровым. Глаза из-под бровей сверкали, словно пламя из-под кучи валежника.

Один из посетителей, сидевших за столом, был рыбный торговец; прежде чем прийти в этот кабачок, он заходил к Лабару, чтобы поставить к нему в конюшню свою лошадь. По воле случая утром того же дня он повстречался с этим подозрительным незнакомцем, когда тот шел по дороге между Бра д'Асс и... (забыл название – кажется, Эскублоном). И вот, поравнявшись с ним, прохожий, который уже и тогда казался очень усталым, попросил подвезти его, в ответ на что рыбный торговец лишь подхлестнул лошадь. Полчаса назад этот самый торговец находился среди людей, окружавших Жакена Лабара, и сам рассказывал посетителям «Кольбасского креста» о своей неприятной утренней встрече. Не вставая с места, он сделал незаметный знак кабатчику. Тот подошел к нему. Они шепотом обменялись несколькими словами. Путник тем временем снова погрузился в свои думы.

Кабатчик подошел к очагу, грубо взял незнакомца за плечо и сказал:

– Немедленно убирайся отсюда.

Незнакомец обернулся и кротко ответил:

– Ах, так? Вы знаете?..

- Да.
- Меня прогнали из того трактира.
- А теперь тебя выгоняют из этого.
- Куда же мне деваться?
- Куда хочешь.

Путник взял свою палку, ранец и ушел.

На улице несколько мальчишек, которые провожали его от самого «Кольбассского креста» и, видимо, поджидали здесь, стали бросать в него камнями. Он с гневом повернул назад и погрозил им палкой; детвора рассыпалась в разные стороны, словно птичья стайка.

Он пошел дальше и оказался напротив тюрьмы. У ворот висела железная цепь, прикрепленная к колоколу. Он позвонил.

Окошечко в воротах приоткрылось.

– Господин привратник, – сказал прохожий, почтительно снимая фуражку, – сделайте милость, откройте и дайте мне приют на одну ночь.

Голос ответил ему:

– Тюрьма не постоялый двор. Пусть вас арестуют, тогда откроют.

Окошечко снова захлопнулось.

Он забрел в переулок, где было много садов. Некоторые из них вместо забора были обнесены живой изгородью, что придает улице веселый вид. Посреди этих садов и изгородей путник увидел маленький одноэтажный домик с освещенным окном. Он заглянул в это окно, как раньше в окно кабачка. Перед ним была большая выбеленная комната, с кроватью, затянутой пологом из набивного ситца, детской люлькой в углу, несколькими деревянными стульями и двустольным ружьем, висевшим на стене. Посредине комнаты стоял накрытый стол. Медная лампа освещала грубую белую холщовую скатерть, оловянный кувшин, блестящий, как серебро, и полный вина, и коричневую суповую миску, от которой шел пар. За столом сидел мужчина лет сорока с веселым, открытым лицом; он подбрасывал на коленях маленького ребенка. Сидевшая рядом с ним молоденькая женщина кормила грудью второго ребенка. Отец смеялся, ребенок смеялся, мать улыбалась.

На миг незнакомец остановился в задумчивости перед этой мирной, отрадной картиной. Что происходило в его душе? Ответить на этот вопрос мог бы только он один.

Вероятно, он подумал, что этот радостный дом не откажет ему в гостеприимстве и что там, где он видит столько счастья, быть может, найдется для него крупица сострадания.

Он стукнул в стекло тихо и нерешительно.

Никто не услышал его.

Он стукнул еще раз.

Он услышал, как женщина сказала:

– Послушай, муженек, мне кажется, кто-то стучит.

– Нет, – ответил муж.

Он стукнул в третий раз.

Муж встал, взял лампу, подошел к двери и отворил ее.

Это был мужчина высокого роста, полукрестьянин, полуремесленник. Широкий кожаный передник доходил ему до левого плеча; из-за нагрудника, словно из кармана, торчал молоток, красный носовой платок, пороховница и разные другие предметы, поддерживаемые снизу кушаком. Он стоял, откинув голову назад; открытый ворот расстегнутой рубахи обнажал белую бычью шею. У него были густые брови, огромные черные бакенбарды, глаза навывкате, выступавшая вперед нижняя челюсть и, главное, то не поддающееся описанию выражение лица, которое свойственно человеку, знающему, что он у себя дома.

– Извините, сударь, – сказал путник, – не могли бы вы за плату дать мне тарелку супу и угол для ночлега вон в том сарае, что стоит у вас в саду? Скажите, могли бы? За плату.

– Кто вы такой? – спросил хозяин дома.

Человек ответил:

– Я иду из Пюи-Муасона. Шел пешком целый день. Я прошагал двенадцать лье. Скажите, вы могли бы? За плату.

– Я бы не отказался пустить к себе хорошего человека, который согласен заплатить, – сказал крестьянин. – Но почему вы не идете на постоянный двор?

– Там нет места.

– Ну, этого не может быть. Ведь сейчас не ярмарка и не базарный день. Вы были у Лабара?

– Да.

– И что же?

– Не знаю, право, но он меня не пустил, – с замешательством ответил путник.

– А были вы у этого, как бишь его? Ну, что на улице Шафо?

Замешательство незнакомца возрастало.

– Он тоже не пустил меня, – пробормотал он.

Лицо крестьянина выразило подозрение; он оглядел пришельца с ног до головы и вдруг с каким-то ужасом вскричал:

– Да уж не тот ли вы человек?

Он снова оглядел незнакомца, отступил на три шага, поставил лампу на стол и снял со стены ружье.

Между тем, услышав слова крестьянина: «Да уж не тот ли вы человек?» – женщина вскочила с места, схватила обоих детей на руки и поспешно, даже не прикрыв обнаженную грудь, спряталась за спиной мужа, со страхом уставившись на незнакомца и тихо шепча про себя: «Воровское отродье».

Все это произошло гораздо быстрее, нежели можно себе представить. Несколько секунд хозяин рассматривал незнакомца так, словно перед ним была ядовитая змея, потом снова подошел к двери и сказал:

– Убирайся.

– Ради бога, хоть стакан воды, – попросил путник.

– А не хочешь ли пулю в лоб? – ответил крестьянин. Затем он сильно хлопнул дверью, и путник услышал, как заскрипели один за другим два тяжелых железных засова. Через минуту окно закрылось ставнем, с шумом задвинулся поперечный железный брус.

Между тем мрак все сгущался. С Альп дул холодный ветер. При слабом свете угасавшего дня незнакомец разглядел в одном из садов, окаймлявших улицу, что-то вроде землянки, как ему показалось, крытой дерном. Он смело перепрыгнул через решетчатый забор и очутился в саду. Он подошел к землянке; дверью ей служило узкое, очень низкое отверстие, и она походила на те шалаши, которые обычно сооружают себе шоссейные рабочие на краю дороги. Должно быть, незнакомец решил, что это и в самом деле такой шалаш; он страдал от холода и голода; с голодом он уже примирился, но перед ним было по крайней мере какое-то убежище от стужи. Обычно такого рода жилище по ночам пустует. Он лег на живот и ползком пролез в землянку. Внутри было тепло, и он нашел там довольно сносную соломенную подстилку. С минуту он лежал, вытянувшись на этой подстилке, не в силах сделать ни одного движения, до того он устал. Затем, чувствуя, что ранец на спине мешает ему, и сообразив, что он может заменить ему подушку, путник начал отстегивать один из ремней. В этот момент раздалось грозное рычание. Он поднял глаза. Голова огромного пса показалась в темном отверстии землянки.

Он попал в собачью конуру.

Он и сам был силен и страшен; вооружившись палкой и превратив свой ранец в щит, он кое-как выбрался из землянки, причем прорехи в его рубище сделались еще шире.

Подобным же образом выбрался он из сада, пытаясь к выходу и размахивая палкой; чтобы удержать пса на почтительном расстоянии, он был вынужден прибегнуть к приему, известному среди мастеров фехтовального искусства под названием «закрытая роза».

Когда он не без труда вторично перелез через забор и опять оказался на улице, один, без жилья, без крова, без приюта, лишившись даже этой соломенной подстилки, выгнанный из этой жалкой собачьей конуры, он тяжело опустился на камень, и говорят, что какой-то прохожий слышал, как он вскричал: «Собаке – и той лучше, чем мне!»

Вскоре он встал и снова отправился в путь. Он вышел из города, надеясь найти в поле какое-нибудь дерево, какой-нибудь стог сена, где можно было бы укрыться.

Долго брел он так, низко опустив голову. Наконец, почувствовав себя вдали от всякого человеческого жилья, он поднял глаза и осмотрелся по сторонам. Он был в поле; перед ним простирался пологий холм с коротко срезанным жнивьем – такие холмы после жатвы напоминают стриженую голову.

Горизонт был совершенно черен – и не только из-за ночного мрака: темноту сгущали очень низкие облака, которые, казалось, прилегали к самому холму и, поднимаясь кверху, заволакивали все небо. Но так как вскоре должна была взойти луна, а в зените еще реяли отблески сумеречного света, эти облака образовали в высоте нечто вроде белесоватого свода, отбрасывавшего на землю бледный отсвет.

Земля поэтому была освещена ярче, чем небо, что всегда производит особенно зловещее впечатление, и однообразные, унылые очертания холма мутным сизым пятном вырисовывались на темном горизонте. Все вместе создавало впечатление чего-то отвратительного, убогого, угрюмого, давящего. На все поле и на весь холм – только одно уродливое дерево, которое, качаясь и вздрагивая под ветром, стояло в нескольких шагах от путника.

Человек этот, без сомнения, не принадлежал к числу людей утонченного духовного и умственного склада, чутко воспринимающих таинственную сторону явлений; однако это небо и этот холм, эта равнина и это дерево дышали такой безотрадной тоской, что после минуты неподвижного созерцания он внезапно повернул назад. Бывают мгновенья, когда сама природа кажется враждебной.

Он пустился в обратный путь. Городские ворота были уже закрыты. В 1815 году Динь, выдержавший во времена религиозных войн три осады, был еще окружен старинными крепостными стенами с четырехугольными башнями, которые были снесены лишь впоследствии. Путник отыскал пролом в стене и снова вошел в город.

Было около восьми часов. Не зная улиц, он опять отправился наудачу.

Он дошел таким образом до префектуры, потом очутился у семинарии. Проходя по Соборной площади, он погрозил кулаком церкви.

На углу этой площади находится типография. Именно здесь были впервые отпечатаны воззвания императора и императорской гвардии к армии, привезенные с острова Эльбы и продиктованные самим Наполеоном.

Выбившись из сил и ни на что больше не надеясь, путник растянулся на каменной скамье у дверей типографии.

В это время какая-то старая женщина вышла из церкви. Она заметила лежащего в темноте человека.

– Что вы здесь делаете, друг мой? – спросила она.

– Разве вы не видите сами, добрая женщина? Я ложусь спать, – ответил он резко и злобно.

Добрая женщина, действительно вполне достойная этого имени, была маркиза де Р.

– На этой скамье? – снова спросила она.

– Девятнадцать лет я спал на голых досках, – сказал человек, – сегодня посплю на голом камне.

– Вы служили в солдатах?

– Да, добрая женщина, в солдатах.

– Почему вы не идете на постоянный двор?

– Потому что у меня нет денег.

– Как жаль! – сказала г-жа де Р. – У меня в кошельке только четыре су.

– Все равно. Давайте.

И он взял четыре су. Г-жа де Р. продолжала:

– Этих денег вам не хватит на постоянный двор. Но, скажите, пытались ли вы устроиться где-нибудь? Не можете же вы провести так всю ночь. Вам, наверное, холодно, вы голодны. Кто-нибудь мог бы приютить вас просто из сострадания.

– Я стучался во все двери.

– И что же?

– Меня гнали отовсюду.

«Добрая женщина» прикоснулась к плечу незнакомца и указала ему на маленький низкий домик, стоявший по ту сторону площади, рядом с епископским дворцом.

– Вы говорите, что стучались во все двери? – еще раз спросила она.

– Да.

– А стучались вы в эту?

– Нет.

– Так постучитесь.

Глава 2

Мудрость, предостерегаемая благоразумием

В этот вечер, после своей обычной прогулки по городу, диньский епископ довольно долго сидел, затворившись у себя в комнате. Он был занят обширным трудом на тему «Об обязанностях», который, к сожалению, так и остался незаконченным. Он тщательно собирал все сказанное отцами церкви и учеными по этому важному вопросу. Его труд распадался на две части: в первой говорилось об обязанностях общечеловеческих, во второй – об обязанностях каждого отдельного человека, в зависимости от общественного его положения. Общечеловеческие обязанности – суть великие обязанности. Их четыре. Святой апостол Матфей определяет их так: обязанности по отношению к богу (Матф., VI), обязанности по отношению к самому себе (Матф., V, 29, 30), обязанности по отношению к ближнему (Матф., VII, 12), обязанности по отношению к творениям Божиим (Матф., VI, 20, 25). А что до остальных обязанностей, то епископ нашел их обозначенными и предписанными в других местах: обязанности государей и подданных – в Послании к римлянам; судей, жен, матерей и юношей – у св. Петра; мужей, отцов, детей и слуг – в Послании к ефесянам; верующих – в Послании к евреям; девственниц – в Послании к коринфянам. Все эти предписания он прилежно объединял в одно гармоническое целое, которое ему хотелось сделать достоянием человеческих душ.

В восемь часов вечера он еще работал, держа на коленях раскрытую толстую книгу и ухитряясь при этом делать записи на маленьких четвертушках бумаги; как всегда в это время, вошла г-жа Маглуар, чтобы взять столовое серебро из шкафчика, висевшего над кроватью. Через минуту, вспомнив, что стол накрыт и что сестра, должно быть, уже ждет его, епископ закрыл книгу, встал из-за стола и вышел в столовую.

Столовая представляла собою продолговатую комнату с камином, с дверью, выходявшей прямо на улицу (мы уже говорили об этом), и окном в сад.

Госпожа Маглуар действительно кончала накрывать на стол.

Не отрываясь от дела, она разговаривала с м-ль Батистиной.

На столе горела лампа; стол стоял близко от камина, где был разведен довольно сильный огонь.

Нетрудно представить себе этих двух женщин, из которых каждой было за шестьдесят: г-жу Маглуар – низенькую, полную, подвижную; м-ль Батистину – кроткую, худощавую, хрупкую, немного повыше ростом, чем ее брат, в шелковом платье красновато-бурого цвета, которое было модно в 1806 году в Париже, когда она купила его, и верно служило ей до сих пор. Употребляя простонародное выражение, имеющее ту заслугу, что оно одним словом передает мысль, на которую едва хватило бы целой страницы, скажем, что г-жа Маглуар была «из простых», а м-ль Батистина – «из господ». Г-жа Маглуар носила на голове белый чепец с гофрированными оборками, а на шее золотой крестик – единственное золотое женское украшение, которое можно было найти в этом доме; белоснежная косынка оживляла ее черное платье из толстой шерстяной материи с широкими короткими рукавами; передник из бумажной ткани в красную и зеленую клетку, перехваченный на талии зеленым кушаком, и такой же нагрудник, приколотый сверху по углам двумя булавками, довершали ее туалет; на ногах у нее были грубые башмаки и желтые чулки, какие носят жительницы Марселя. Платье м-ль Батистины было скроено по фасону 1806 года: короткая талия, узкая юбка, рукава с наплечниками, нашивки и пугови. Свои седые волосы она прикрывала завитым париком, причесанным «под ребенка». Г-жа Маглуар производила впечатление смышленной, живой и добродушной женщины, хотя неодинаково приподнятые углы рта и верхняя губа, которая была у нее толще нижней, придавали ей оттенок грубоватости и властности. Пока монсеньор молчал, она разговаривала с ним весьма решительно, с какой-то смесью почтительности и фамильярности, но стоило монсеньору заговорить, и – мы уже убедились в этом – она повиновалась так же беспрекословно, как и ее хозяйка. Сама м-ль Батистина даже не разговаривала. Она ограничивалась тем, что повиновалась и одобряла. Даже в молодости она не отличалась миловидностью: у нее были большие голубые глаза навывкате и длинный, с горбинкой, нос, но все ее лицо, все ее существо – мы уже говорили об этом вначале – дышало невыразимой добротой. Она и всегда была предрасположена к кротости, а вера, милосердие, надежда – эти три добродетели, согревающие душу, – мало-помалу возвысили эту кротость до святости. Природа сделала ее лишь агнцем, религия превратила ее в ангела. Бедная святая девушка! Милое исчезнувшее воспоминание!

Впоследствии м-ль Батистина столько раз рассказывала о том, что произошло в епископском доме в этот вечер, что многие из тех, кто еще остался в живых, помнят все до мельчайших подробностей.

В ту минуту, когда вошел епископ, г-жа Маглуар что-то с горячностью говорила м-ль Батистине. Она беседовала с мадмуазель на свою излюбленную тему, к которой епископ уже успел привыкнуть. Речь шла о щеколде у наружной двери.

По-видимому, г-жа Маглуар, закупая кое-какую провизию для ужина, наслушалась разных разностей. Поговаривали о каком-то бродяге подозрительного вида, о том, что в городе появился опасный незнакомец, что он шатается где-то на улицах и что у тех, кому бы вздумалось поздно вернуться домой этой ночью, может произойти неприятная встреча. Говорили также, что полиция никуда не годится, потому что префект и мэр не ладят между собою и, стараясь подставить друг другу ножку, нарочно устраивают всякие неприятности. И что поэтому люди благоразумные должны сами взять на себя обязанности полиции, быть настороже и

позаботиться о том, чтобы их дома были надлежащим образом закрыты, входы загорожены, а двери снабжены засовами и накрепко заперты.

Госпожа Маглуар особенно подчеркнула последние слова, но епископ, войдя в столовую из своей комнаты, где было холодно, теперь грелся, сидя у камина, да и вообще думал о другом. Он оставил без внимания многозначительную фразу г-жи Маглуар. Она повторила ее. Тогда м-ль Батистина, которой хотелось доставить удовольствие г-же Маглуар, не вызвав при этом недовольства брата, осмелилась робко спросить у него:

– Вы слышите, братец, что говорит госпожа Маглуар?

– Да, я слышал что-то в этом роде, – ответил епископ.

Потом, передвинув несколько свой стул и опершись обеими руками о колени, он обратился к старой служанке свое приветливое, веселое лицо, освещенное снизу пламенем камина, и спросил:

– Ну, в чем дело? Что случилось? Мы, стало быть, находимся в большой опасности?

И г-жа Маглуар начала всю историю сначала, немного прикрашивая ее, незаметно для себя самой. Выходило так, что в городе находится какой-то цыган, какой-то оборванец, какой-то опасный нищий. Он хотел переночевать у Жакена Лабара, но тот не пустил его к себе. Люди видели, что он прошел по бульвару Гасенди и бродил по городу до самых сумерек. Наружность у него самая разбойничья – настоящий висельник.

– В самом деле? – спросил епископ.

Этот снисходительный вопрос ободрил г-жу Маглуар; она решила, что епископ уже близок к тому, чтобы обеспокоиться, и с торжеством продолжала:

– Да, ваше высокопреосвященство. Так оно и есть. Нынешней ночью в городе непременно случится несчастье. Все это говорят. К тому же полиция никуда не годится (полезное повторение). Жить в горной местности и не иметь ночью даже уличных фонарей! Выходишь, а тут тьма кромешная! Вот я и говорю, ваше преосвященство, да и барышня тоже говорит, что...

– Я ничего не говорю, – прервала ее м-ль Батистина. – Все, что делает мой брат, хорошо!

Словно не слыша этого возражения, г-жа Маглуар продолжала:

– Вот мы и говорим, что наш дом совсем ненадежен и что, если его преосвященство позволит, я схожу к Полену Мюзбуа, к слесарю, и скажу ему, чтобы он приладил к дверям те задвижки, что были прежде; они в сохранности, так что это минутное дело; говорю вам, ваше преосвященство, задвижки необходимы, хотя бы на одну только нынешнюю ночь, потому что, говорю вам, нет ничего ужаснее, чем дверь на щеколде, которую может открыть снаружи первый встречный; ну и потом ваше преосвященство имеет привычку всегда говорить: «Войдите», будь это хоть посреди ночи. О господи, да чего уж тут! Никому нет нужды и спрашивать разрешения...

В эту минуту кто-то громко постучал в дверь.

– Войдите, – сказал епископ.

Глава 3

Героизм слепого повиновения

Дверь открылась.

Она открылась широко, настежь; видимо, кто-то толкнул ее решительно и сильно.

Вошел человек.

Мы уже знаем его. Это тот самый путник, который только что блуждал по городу в поисках ночлега.

Он вошел, сделал шаг вперед и остановился, не закрывая за собой двери. На плече у него

висел ранец, в руке он держал палку, выражение глаз было жесткое, дерзкое, усталое и злобное. Огонь камина ярко освещал его. Он был страшен. В этой внезапно появившейся фигуре было что-то зловещее.

У г-жи Маглуар не хватило сил даже вскрикнуть. Она задрожала и словно остолбенела.

Мадмуазель Батистина обернулась, увидела входящего человека и, испугавшись, приподнялась со стула; потом, медленно повернув голову в сторону камина, посмотрела на брата, и лицо ее снова стало безмятежным и ясным.

Епископ устремил на вошедшего пристальный и спокойный взгляд.

Он уже открыл рот, видимо собираясь спросить у пришельца, что ему угодно, но человек обеими руками оперся на палку, окинул взглядом старика и обеих женщин и, не ожидая, пока заговорит епископ, начал громким голосом:

– Вот что. Меня зовут Жан Вальжан. Я каторжник. Я пробыл на каторге девятнадцать лет. Четыре дня назад меня выпустили, и я иду в Понтарлье, по месту назначения. Вот уже четыре дня, как я шагаю пешком из Тулона. Сегодня я прошел двенадцать лье. Вечером, придя в этот город, я зашел на постоялый двор, но меня выгнали из-за моего желтого паспорта, который я предъявил в мэрии. Ничего не поделаешь. Я зашел на другой постоялый двор. Мне сказали: «Убирайся!» Сначала на одном, потом на другом. Никто не захотел впустить меня. Я был и в тюрьме, но привратник не открыл мне. Я был в собачьей конуре. Собака укусила меня и выгнала вон, словно она была человеком. Можно подумать, что она знала, кто я такой. Я вышел в поле, чтобы переночевать под открытым небом. Но небо заволокло тучами. Я решил, что пойдет дождь и что нет бога, который мог бы помешать дождю, и я вернулся в город, чтобы устроиться там хотя бы в какой-нибудь дверной нише. Здесь, на площади, я уже хотел было лечь на каменной скамье, но какая-то добрая женщина показала мне на ваш дом и сказала: «Постучись туда». Я постучался. Что здесь такое? Постоялый двор? У меня есть деньги. Целый капитал. Сто девять франков пятнадцать су, которые я заработал на каторге за девятнадцать лет... Я заплачу. Отчего же не заплатить? У меня есть деньги. Я очень устал, я шел пешком двенадцать лье и сильно проголодался. Вы позволите мне остаться?

– Госпожа Маглуар, – сказал епископ, – поставьте на стол еще один прибор.

Человек сделал несколько шагов вперед и подошел к столу, на котором горела лампа.

– Погодите, – продолжал он, словно не поверив своим ушам, – тут что-то не то. Вы слышали? Я каторжник. Осторожник. Я прямо с каторги.

Он вынул из кармана большой желтый лист бумаги и развернул его.

– Вот мой паспорт. Как видите – желтый. Это для того, чтобы меня гнали отовсюду, куда бы я ни пришел. Хотите прочитать? Я и сам умею читать. Выучился в остроге. Там есть школа для тех, кто желает. Посмотрите, вот что они вписали в паспорт: «Жан Вальжан, освобожденный каторжник, уроженец...» – ну да это вам безразлично... – «пробыл на каторге девятнадцать лет. Пять лет за кражу со взломом. Четырнадцать за четырехкратную попытку к побегу. Человек этот весьма опасен». Ну, вот! Все меня выбрасывали вон. Ну, а вы? Согласны вы пустить меня к себе? Это что, постоялый двор? Согласны вы дать мне поесть и переночевать? У вас найдется конюшня?

– Госпожа Маглуар, – сказал епископ, – постелите чистые простыни на кровати в алькове.

Мы уже говорили о том, какой характер носило повиновение обеих женщин.

Госпожа Маглуар вышла исполнить оба приказания.

Епископ обратился к незнакомцу:

– Сядьте, сударь, и погрейтесь. Сейчас мы будем ужинать, а тем временем вам приготовят постель.

Только теперь смысл сказанного дошел до сознания путника. На его лице, до этой минуты

суровом и мрачном, изобразилось необыкновенное изумление, недоверие, радость. Он стал бормотать, словно помешанный:

– Вправду? Быть этого не может! Вы оставите меня здесь? Не выгоните вон? Меня? Каторжника? Вы называете меня «сударь», вы не тыкаете мне? «Убирайся прочь, собака!» – вот что всегда говорят мне люди. Я был уверен, что вы тоже прогоните меня. Ведь я сразу сказал вам, кто я такой. Вот спасибо той славной женщине, что научила меня зайти сюда. Сейчас я буду ужинать! Кровать с матрацем и с простынями, как у всех людей! Кровать! Вот уже девятнадцать лет, как я не спал на кровати. Вы позволяете мне остаться! Право, вы достойные люди! Впрочем, у меня есть деньги. Я хорошо заплачу вам. Прошу прощения, как вас зовут, господин трактирщик? Я заплачу, сколько потребуется. Вы славный человек. Ведь вы трактирщик, правда?

– Я священник и живу в этом доме, – сказал епископ.

– Священник! – повторил пришелец. – Ох, и славный же вы священник! Вы, значит, не спросите с меня денег? Вы – кюре, не так ли? Кюре из этой вот большой церкви? Гляди-ка, ну и дурень же я, право! Не заметил вашей скуфейки.

С этими словами он поставил в угол ранец и палку, положил в карман паспорт и сел. М-ль Батистина кротко смотрела на него. Он продолжал:

– Вы добрый человек, господин кюре, вы никем не гнушаетесь. Это так хорошо – хороший священник! Вам, значит, не понадобятся мои деньги?

– Нет, – ответил епископ, – оставьте ваши деньги при себе. Сколько у вас? Кажется, вы сказали – сто девять франков?

– И пятнадцать су, – добавил путник.

– Сто девять франков пятнадцать су. А сколько же времени вы потратили, чтобы заработать это?

– Девятнадцать лет.

– Девятнадцать лет!

Епископ глубоко вздохнул.

Путник продолжал:

– У меня покуда все мои деньги целы. За четыре дня я истратил только двадцать пять су, которые заработал в Грасе, помогая разгружать телеги. Вы аббат, поэтому я хочу рассказать вам, что у нас на каторге был тюремный священник. А потом однажды я видел епископа. Его называют: ваше преосвященство. Это был майоркский епископ, в Марселе. Епископ – это такой кюре, который поставлен над всеми кюре. Простите меня, я, знаете, плохо рассказываю про это, но уж очень непонятны мне такие вещи. Вы подумайте только – наш брат и он! Он служил обедню посреди тюремного двора, там устроили престол, а на голове у него была какая-то остроконечная штука из чистого золота. Она так и горела на полуденном солнце. Мы стояли с трех сторон, рядами, и на нас были наведены пушки с зажженными фитилями. Нам было очень плохо видно. Он говорил что-то, но стоял слишком далеко от нас, мы ничего не слышали. Вот что такое епископ.

Не прерывая его, епископ встал и закрыл дверь, которая все это время была открыта настежь.

Вошла г-жа Маглуар. Она принесла прибор и поставила его на стол.

– Госпожа Маглуар, – сказал епископ, – поставьте этот прибор как можно ближе к огню. – И, повернувшись к своему гостю, добавил: – Ночной ветер очень холоден в Альпах. Вы, должно быть, сильно озябли, сударь?

Всякий раз, как он произносил слово *сударь* своим ласковым, серьезным и таким дружелюбным тоном, лицо пришельца озарялось радостью. *Сударь* для каторжника – это все

равно что стакан воды для пассажира, пострадавшего при кораблекрушении на «Медузе». Опозоренные жаждут уважения.

– Как тускло горит эта лампа, – заметил епископ.

Госпожа Маглуар поняла епископа, пошла в его спальню, взяла там с камина два серебряных подсвечника и поставила их с зажженными свечами на стол.

– Господин кюре, – сказал пришелец, – вы добрый человек. Вы не погнушались мною. Вы приютили меня у себя. Вы зажгли для меня свечи. А ведь я не утаил от вас, откуда я пришел, не утаил, что я преступник.

Епископ, сидевший с ним рядом, слегка прикоснулся к его руке.

– Вы могли бы и не говорить мне, кто вы. Это не мой дом, это дом Иисуса Христа. У того, кто входит в эту дверь, спрашивают не о том, есть ли у него имя, а о том, нет ли у него горя. Вы страдаете, вас мучат голод и жажда – добро пожаловать! И не благодарите меня, не говорите мне, что я приютил вас у себя в доме. Здесь хозяин лишь тот, кто нуждается в приюте. Говорю вам, прохожему человеку, этот дом скорее ваш, нежели мой. Все, что здесь есть, принадлежит вам. Для чего же мне знать ваше имя? Впрочем, еще прежде, чем вы успели назвать мне себя, я знал другое ваше имя.

Человек изумленно взглянул на него.

– Правда? Вы знали, как меня зовут?

– Да, – ответил епископ, – вас зовут «брат мой».

– Знаете что, господин кюре, – вскричал путник, – входя сюда, я был очень голоден, но вы так добры, что сейчас я и сам уж не знаю, что со мной – у меня как будто и голод прошел.

Епископ посмотрел на него и спросил:

– Вы очень страдали?

– Ох! Арестантская куртка, ядро, прикованное цепью к ноге, голые доски вместо постели, зной, стужа, работа, галеры, палочные удары! Двойные кандалы за ничтожную провинность. Карцер за одно слово. Даже на больном, в постели, – все равно кандалы. Собаки и те счастливее нас! Девятнадцать лет! А всего мне сорок шесть. Теперь вот желтый паспорт. И все тут.

– Да, – сказал епископ, – вы вышли из юдоли печали. Но послушайте. Залитое слезами лицо одного раскаявшегося грешника доставляет небесам больше радости, чем незапятнанные одежды ста праведников. Если вы вышли из этого горестного места, затаив в душе чувство гнева и ненависти к людям, вы достойны сожаления; если же вы вынесли оттуда чувство доброжелательности, кротости и мира, то вы лучше любого из нас.

Между тем г-жа Маглуар подала ужин: суп на постном масле с хлебным мякишем и солью, немного свиного сала, кусок баранины, несколько смокв, творог и большой каравай ржаного хлеба. Она сама догадалась добавить к обычному меню епископа бутылку старого мовского вина.

На лице епископа внезапно появилось веселое выражение, свойственное радушным людям.

– Милости просим! – с живостью сказал он.

Он усадил гостя по правую руку, как делал всегда, когда у него ужинал кто-либо из посторонних. М-ль Батистина, державшаяся невозмутимо-спокойно и непринужденно, заняла место налево от брата.

Епископ прочел предобеденную молитву и, согласно своему обыкновению, сам разлил суп. Гость жадно набросился на еду.

Вдруг епископ заметил:

– Однако у нас на столе как будто чего-то не хватает.

В самом деле, г-жа Маглуар положила на стол только три прибора, по числу сидевших за столом человек. Между тем, когда у епископа оставался к ужину кто-либо из гостей, в обычае

дома было раскладывать на скатерти все шесть серебряных приборов – невинное хвастовство! Это наивное притязание на роскошь являлось своего рода ребячеством, которое в этом гостеприимном и в то же время строгом доме, возводившем бедность в достоинство, было исполнено особого очарования.

Госпожа Маглуар поняла намек, безмолвно вышла из комнаты, и через минуту три прибора, которые потребовал епископ, сверкали на скатерти, симметрично разложенные перед каждым из трех сотрапезников.

Глава 4

Некоторые подробности о сыроварнях в Понтарлье

А теперь, чтобы дать представление о том, что происходило за этим столом, лучше всего будет привести здесь отрывок из письма м-ль Батистины к г-же де Буашеврон, где с простодушной добросовестностью передана беседа каторжника с епископом:

.....

«...Наш гость ни на кого не обращал внимания. Он ел с прожорливостью изголодавшегося человека. Однако после ужина он сказал:

– Господин кюре, служитель божий, для меня-то все, что здесь на столе, даже слишком хорошо, но, признаться, возчики, которые не разрешили мне поужинать с ними, едят куда лучше вас.

Между нами говоря, это замечание немного задело меня. Мой брат ответил:

– У них больше работы, чем у меня.

– Нет, – возразил человек, – у них больше денег. Вы бедны, я это хорошо вижу. А может быть, вы даже и не священник? Скажите, вы вправду священник? Право же, если господь бог справедлив, вы, конечно, должны быть священником.

– Господь бог более чем справедлив, – ответил мой брат. Затем он спросил: – Скажите, господин Жан Вальжан, вы ведь направляетесь в Понтарлье?

– Да, по принудительному маршруту.

Кажется, этот человек выразился именно так. Потом он продолжал:

– Завтра мне надо выйти чуть свет. Тяжело ходить пешком. Ночи холодные, а дни жаркие.

– Вы идете в хорошие места, – сказал мой брат. – Во время революции семья моя была разорена, и сначала я нашел убежище в Франш-Конте, где некоторое время жил трудами рук своих. Я был полон желания работать. И я нашел, чем заняться. Там есть из чего выбирать. Писчебумажные фабрики, кожевенные заводы, винокурни, маслобойни, крупные часовые фабрики, сталелитейные и меднолитейные заводы, не менее двадцати железоделательных заводов, причем четыре из них, очень значительные, в Лодсе, Шатильоне, Оденкуре и Бере...

По-моему, я не ошибаюсь, и это именно те названия, которые привел мой брат. Затем он прервал свою речь и обратился с вопросом ко мне.

– Сестрица, – сказал он, – мне кажется, у нас есть родственники в этих краях.

Я ответила:

– Были, и при старом режиме один из них, господин де Люсенэ, служил в Понтарлье начальником городской стражи.

– Все это так, – продолжал брат, – но в девяносто третьем году родных больше не было, были только собственные руки. Я работал. В Понтарлье, куда вы направляетесь, господин Вальжан, есть одна отрасль промышленности, весьма патриархальная и просто очаровательная, сестрица. Я говорю об их сыроварнях, которые там называют «сырнями».

Тут мой брат, не забывая усиленно угощать этого человека, очень подробно разъяснил ему,

что такое понтарлийские общественные сыроварни. Он рассказал, что они бывают двух родов: «большие риги», принадлежащие богатым, где держат по сорок-пятьдесят коров и где за лето выдмывают от семи до восьми тысяч сыров, и «артельные сырны», принадлежащие беднякам – то есть крестьянам с предгорий, которые сообща содержат своих коров и делят доход между собой. Они сообща нанимают сыровара, который у них называется «сыроделом»; сыродел по три раза в день принимает от членов артели молоко, отмечая полученное количество нарезками на бирке. Работа сыроварни начинается в конце апреля, а около середины июня сыровары выгоняют коров в горы.

За едой этот человек стал понемногу оживать. Брат подливал ему отличного мовского вина, которое сам он не пьет, говоря, что оно слишком дорого. Все эти подробности он рассказывал с той непринужденной веселостью, которая вам хорошо знакома, и время от времени прерывал свой рассказ, ласково обращаясь ко мне. Он много раз принимался хвалить ремесло «сыродела», словно желая натолкнуть нашего гостя на мысль, что это занятие было бы для него спасением, но не советуя ему это прямо и грубо. Меня поразила одна вещь. Я уже сказала вам, кто был этот человек. Так вот, за исключением нескольких фраз об Иисусе Христе, сказанных сразу по приходе незнакомца, мой брат в продолжение всего ужина и даже всего вечера не обмолвился ни одним словом, которое могло бы напомнить этому человеку о его положении или осведомить его о том, кем является мой брат. Казалось бы, для него как для епископа это был самый подходящий случай сказать небольшую проповедь и воздействовать на каторжника, чтобы навсегда запечатлеть в его душе эту встречу. Возможно, всякий другой на месте брата, увидев этого несчастного у себя в доме, счел бы уместным дать ему пищу не только телесную, но и духовную, заставил бы его выслушать слова укоризны, приправленной советами и моралью, а может быть, уделил бы ему немного сострадания, увещывая в будущем вести лучшую жизнь. Брат не спросил у него даже о том, откуда он родом, не спросил о его жизни. Ведь в ней заключалась и история его проступка, а брат явно избегал всего, что могло бы вызвать это воспоминание. И до такой степени, что, говоря о горных жителях Понтарлье, «которые мирно трудятся под самыми облаками» и которые, добавил он, «счастливы, потому что безгрешны», брат вдруг остановился, испугавшись, как бы эти нечаянно вырвавшиеся у него слова не оскорбили нашего гостя. Хорошенько поразмыслив, я, кажется, поняла, что происходило в сердце моего брата. Очевидно, он решил, что этот человек, по имени Жан Вальжан, и без того слишком много думает о своем позоре и что наилучший способ отвлечь его от этих мыслей и внушить ему, хотя бы на миг, что он такой же человек, как все, – это обращаться с ним так же, как со всеми. Не в этом ли и состоит правильно понятое милосердие? Не находите ли вы, моя дорогая, что в этой деликатности, которая воздерживается от нравоучений, морали и намеков, есть что-то поистине евангельское и что подлинное сострадание заключается именно в том, чтобы вовсе не касаться больного места человека, когда он страдает? Мне кажется, что такова была затаенная мысль моего брата. Так или иначе, я могу сказать только, что если у него и были эти мысли, то он не поделился ими ни с кем, даже со мной; в продолжение всего вечера он был совершенно таким же, как всегда, и, ужиная с этим Жаном Вальжаном, вел себя точно так же, как если бы ужинал с великим библейским судьей Гедеоном или с нашим приходским священником.

К концу ужина, когда мы уже закусывали смоквами, кто-то постучал в дверь. Это пришла тетушка Жербо с малышом на руках. Брат поцеловал малютку в лоб, взял у меня пятнадцать су, случайно оказавшихся при мне, и отдал их тетушке Жербо. Наш гость в это время почти не обращал внимания на окружающее. Он больше не говорил и казался очень утомленным. Когда бедная старушка Жербо ушла, брат прочитал послеобеденную молитву, потом, обращаясь к гостю, сказал: «Вам, наверное, хочется поскорее лечь в постель». Госпожа Маглуар поспешила

убрать со стола. Я поняла, что нам следует уйти, чтобы путник мог лечь спать, и мы обе поднялись наверх. Однако через минуту я послала г-жу Маглуар отнести на постель гостя шкуру шварцвальдской косули, которая обычно лежит в моей спальне. Ночи здесь морозные, а мех хорошо греет. Жаль только, что она такая старая, шерсть из нее так и лезет. Брат купил ее, когда был в Германии, в Тотлингене, у истоков Дуная; там же он купил и ножичек с ручкой слоновой кости, который я употребляю за столом.

Госпожа Маглуар тотчас же вернулась назад, потом мы помолились богу в комнате, где обычно развешиваем белье, и разошлись по своим спальням, ничего не сказав друг другу».

Глава 5

Спокойствие

Пожелав сестре доброй ночи, монсеньор Бьенвеню взял со стола один из серебряных подсвечников, другой вручил своему гостю и сказал:

– Пойдемте, сударь, я провожу вас в вашу комнату.

Путник последовал за ним.

Как уже известно из вышесказанного, расположение комнат в доме было таково, что войти в молельню, где находился альков, или же выйти из нее можно было только через спальню епископа.

В ту минуту, когда они проходили через спальню, г-жа Маглуар убирала столовое серебро в шкафчик, висевший над изголовьем кровати. Она каждый вечер заканчивала этим свои хозяйственные дела, перед тем как лечь спать.

Епископ проводил своего гостя до самого алькова. Там ожидала его постель с чистым и свежим бельем. Путник поставил подсвечник на маленький столик.

– Ну, желаю вам спокойной ночи, – сказал епископ. – Завтра утром, перед уходом, вы выпьете чашку парного молока от наших коров, совсем еще теплого.

– Спасибо вам, господин аббат, – сказал путник.

Не успел он произнести эти исполненные мира слова, как вдруг, без всякого перехода, в нем произошла странная перемена, которая привела бы в ужас обеих достойных женщин, если бы они присутствовали при этом. Даже и сейчас нам трудно отдать себе отчет, какое именно чувство руководило им в ту минуту. Что это было – предостережение или угроза? Или он просто повиновался какому-то безотчетному побуждению, которое не было понятно и ему самому? Он круто обернулся к старику, скрестил руки на груди и, устремив на своего хозяина дикий взгляд, хрипло вскричал:

– Вот оно что! Так вы, значит, укладываете меня в доме, вот здесь, рядом с собой! – Он помолчал, потом прибавил с усмешкой, в которой таилось что-то страшное: – Хорошо ли вы подумали о том, что делаете? Почему знать – может быть, мне случалось на своем веку убить человека?

– Про то ведает только бог, – ответил епископ.

Затем, торжественно подняв руку со сложенными для крестного знаменья пальцами и шевеля губами, словно молясь или разговаривая сам с собой, он благословил путника, даже не наклонившего при этом голову, и, не оглядываясь назад, пошел к себе.

Когда в алькове кто-нибудь спал, широкая саржевая занавеска, протянутая в молельне от стены к стене, закрывала алтарь. Проходя мимо этой занавески, епископ встал на колени и сотворил краткую молитву.

Минуту спустя он был уже в саду и шагал по дорожкам, размышляя, созерцая, отдаваясь душой и мыслью великой тайне, которую ночью бог открывает очам тех, кто бодрствует.

Что касается путника, то он так сильно устал, что даже не порадовался прекрасным чистым простыням. Зажав одну ноздрю и сильно дунув из другой, он погасил свечу, как это делают каторжники, потом, одетый, бросился на кровать и тотчас же заснул крепким сном.

Когда епископ возвращался из сада в свою спальню, пробило полночь.

Через несколько минут в маленьком домике все спало.

Глава 6

Жан Вальжан

Посреди ночи Жан Вальжан проснулся. Жан Вальжан родился в бедной крестьянской семье, в Бри. В детстве он не учился грамоте. Возмужав, он стал подрезальщиком деревьев в Фавероле. Его мать звали Жанной Матье, отца – Жаном Вальжаном, или Влажаном, – по всей вероятности, «Влажан» было прозвище, получившееся от сокращения слов `voil@a@ Jean`^[14].

Жан Вальжан был по характеру задумчив, но не печален, – свойство привязчивых натур. А в общем, этот Жан Вальжан, по крайней мере с виду, казался существом довольно вялым и незначительным. Совсем еще ребенком он потерял отца и мать. Мать его, вследствие дурного ухода, умерла от родильной горячки. Отец, занимавшийся, как и сын, подрезкой деревьев, убится насмерть, свалившись с дерева. У Жана Вальжана не осталось никого, кроме старшей сестры, вдовы с семьей детьми – мальчиками и девочками. Эта-то сестра и вырастила Жана Вальжана. До тех пор пока был жив ее муж, она кормила и содержала брата. Муж умер. Старшему из семерых малышей было восемь лет, младшему – год. Самому Жану Вальжану минуло тогда двадцать четыре года. Он заменил детям отца и в свою очередь поддержал вырастившую его сестру. Это сделалось само собой, как долг, не без некоторого глухого недовольства со стороны Жана Вальжана. Так, в тяжелом и плохо оплачиваемом труде, проходила его молодость. Никто не слыхал, чтобы у него когда-нибудь была подружка. Ему некогда было влюбляться.

Вечером он приходил домой усталый и молча съедал свой суп. Пока он ел, сестра его, тетушка Жанна, частенько вылавливала из его миски лучший кусочек мяса, ломтик сала или капустный лист, чтобы отдать кому-нибудь из своих детей. Казалось, ничего не замечая, он не мешал сестре делать свое дело и, низко согнувшись над столом, продолжал есть, почти уткнувшись носом в свой суп, не убирая длинных волос, падавших ему на глаза и свисавших над миской. В Фавероле, недалеко от хижины Вальжана, на противоположной стороне улочки, жила фермерша по имени Мари-Клод; малыши из семейства Вальжан, почти всегда голодные, иной раз прибегали к Мари-Клод, чтобы занять у нее, якобы от имени матери, кринку молока, которую и выпивали где-нибудь за забором или в глухом уголке аллеи, вырывая друг у друга горшок с такой поспешностью, что больше проливалось молока им на фартучки, чем попадало в рот. Если б мать узнала об этом мошенничестве, она строго наказала бы виновных. Резкий и суровый Жан Вальжан тайком от матери уплачивал Мари-Клод за кринку молока, и дети избегали кары.

В сезон подрезки деревьев он зарабатывал по восемнадцать су в день, а потом нанимался жнецом, поденщиком, волопасом на ферме, чернорабочим. Он делал все, что мог. Сестра его тоже работала, но нелегко прокормить семерых малышей. Постепенно нужда все сильнее зажимала в тиски это злополучное семейство. Одна зима оказалась особенно тяжелой. Жан Вальжан потерял работу. Семья очутилась без хлеба. Без хлеба – в буквальном смысле. Семеро детей без хлеба.

В один воскресный вечер Мобер Изабо, владелец булочной, что на Церковной площади в

Фавероле, уже собиравшись ложиться спать, как вдруг услышал сильный удар в защищенную решеткой стеклянную витрину своей лавчонки. Он прибежал вовремя и успел еще заметить руку, которая просунулась сквозь дыру, пробитую ударом кулака в решетке и в стекле. Рука схватила каравай хлеба и исчезла вместе с ним. Изабо бросился на улицу; вор убегал со всех ног; Изабо погнался за ним и догнал. Вор успел уже бросить хлеб, но рука у него оказалась в крови. Это был Жан Вальжан.

Дело происходило в 1795 году. Жан Вальжан был предан суду «за кражу со взломом, учиненную ночью в жилом помещении». У него оказалось ружье, из которого он отлично стрелял, – он немного промышлял браконьерством, – и это повредило ему. Против браконьеров существует вполне законное предубеждение. Браконьер, так же как контрабандист, весьма недалеко ушел от разбойника. Однако заметим мимоходом, что между этой породой людей и отвратительным типом убийцы-горожанина лежит целая пропасть. Браконьер живет в лесу, контрабандист – в горах или на море. Города создают кровожадных людей, потому что они создают людей развращенных. Горы, море, лес создают дикарей; они развивают суровость характера, не уничтожая подчас его человечности.

Жан Вальжан был признан виновным. Статьи закона имели вполне определенный смысл. Нашей эпохе знакомы грозные мгновения: это те минуты, когда карательная система провозглашает крушение человеческой жизни. Как зловещ этот миг, когда общество отстраняется и навсегда отталкивает от себя мыслящее существо! Жан Вальжан был приговорен к пяти годам каторжных работ.

22 апреля 1796 года в Париже праздновали победу под Монтеноте, одержанную главнокомандующим Итальянской армии, которого в послании Директории к Совету пятисот от 2 флореаля IV года называют Буона-Парте; в тот самый день в Бисетре заковывали в цепи большую партию каторжников. В эту партию попал и Жан Вальжан. Бывший привратник тюрьмы – сейчас ему около девяти лет – все еще хорошо помнит этого беднягу, который был прикован к концу четвертой цепи в северном углу двора. Он сидел на земле, как и все остальные. Казалось, он совершенно не понимал своего положения, сознавая лишь, что оно ужасно. Быть может также, из глубины его смутных представлений – представлений бедного невежественного человека – просачивалась мысль о чрезмерной жестокости его судьбы. Когда сильными ударами молота ему заклепывали железный ошейник на затылке, он плакал; слезы душили его, мешали говорить, и только время от времени ему удавалось произнести: «Я был подрезальщиком деревьев в Фавероле». Затем, не переставая рыдать, он поднимал правую руку и последовательно опускал ее семь раз, с каждым разом все ниже, как бы прикасаясь к семи детским головкам, и по этому жесту можно было догадаться, что преступление, в чем бы оно ни состояло, было совершено для того, чтобы накормить и одеть семерых малышей.

Он был отправлен в Тулон. Его везли туда двадцать семь суток на телеге, с цепью на шее. В Тулоне на него надели красную арестантскую куртку. Все прежнее, что было когда-то его жизнью, перестало существовать, вплоть до имени; он даже перестал быть Жаном Вальжаном, он превратился в номер 24601. Что случилось с его сестрой? Что случилось с ее семерыми детьми? Кому какое дело до этого? Что станет с горсточкой листьев молодого деревца, если подпилить его под самый корень?

Все та же старая история. Эти злополучные живые существа, эти создания божии, потерявшие отныне всякую опору, покровителя, пристанище, разбрелись куда глаза глядят – кто знает, куда именно, быть может, каждый своей дорогой – и понемногу потонули в холодном тумане, поглощающем одинокие существования, в печальной мгле, где постепенно, в безрадостном шествии рода человеческого, исчезает столько несчастных. Они покинули родные места. Колокольня деревенской церкви забыла их; межа их собственного поля забыла их; после

нескольких лет, проведенных на каторге, Жан Вальжан и сам позабыл о них. В сердце, где прежде зияла рана, теперь остался рубец. Вот и все. За то время, пока он был в Тулоне, он всего лишь раз слышал о сестре. Кажется, это случилось в конце четвертого года его заключения. Не знаю, право, каким путем дошло до него это известие. Кто-то, знавший их семью еще на родине, встретил его сестру. Она была в Париже. Она жила на бедной маленькой улице возле Сен-Сюльпис, на улице Хлебопекров. При ней оставался только один ребенок, мальчуган, самый младший. Где были шестеро остальных? Возможно, что этого не знала и она сама. Каждое утро она ходила в типографию, что на Башмачной улице, дом 3, где работала фальцовщицей и брошюровщицей. На работу надо было являться к шести часам утра, в зимнее время – задолго до рассвета. В одном доме с типографией помещалась школа, и она водила в эту школу своего малыша, которому исполнилось семь лет. Но в типографию она приходила к шести часам, а школа открывалась только в семь, и ребенку нужно было ждать во дворе, пока откроется школа, целый час – целый час зимой, на холоде, в темноте. Мальчику не позволяли входить в типографию, «потому что он мешает». Утром, проходя мимо, рабочие видели это бедное маленькое созданище: сидя прямо на мостовой, малыш дремал, а нередко и засыпал тут же во тьме, съежившись в комочек и склонившись над своей корзинкой. Когда шел дождь, старуха привратница из жалости брала его к себе в каморку, где стояла только убогая кровать, прялка да два деревянных стула, и мальчуган спал там, в уголке, прижав к себе кошку, чтобы немного согреться. В семь часов школу отпирали, и он уходил туда. Вот что сообщили Жану Вальжану. Этот рассказ явился для него как бы вспышкой молнии, окном, которое, внезапно распахнувшись и дав ему увидеть судьбу тех, кого он любил когда-то, снова захлопнулось; больше он ничего о них не слышал – ничего и никогда. Никакие вести о них больше не приходили, он никогда больше их не видел, ему ни разу не случилось их встретить; и в дальнейшем нашем горестном повествовании о них не будет больше ни слова.

К концу четвертого года пришла очередь Жана Вальжана бежать с каторги. Товарищи помогли ему, согласно обычаям этого невеселого места. Он бежал. Двое суток он бродил по полям, на свободе, если можно назвать свободой положение человека, которого травят, который оборачивается каждую секунду, вздрагивает от малейшего шума, боится всего: дыма из трубы, человека, проходящего мимо, залаявшей собаки, быстро скачущей лошади, боя часов на колокольне; боится дня – потому что светло, ночи – потому что темно, боится дороги, тропинки, куста, боится, как бы не уснуть. К вечеру второго дня его поймали. Он не ел и не спал тридцать шесть часов. За его проступок морской суд продлил срок наказания на три года, что составило уже восемь лет. На шестой год снова пришла его очередь бежать; он воспользовался этим, но побег не удался. Его хватились на перекличке. Был дан выстрел из пушки, и ночью часовые нашли его под килем строившегося судна; он оказал сопротивление схватившей его страже. Побег и бунт. Это преступление, предусмотренное в специальном пункте кодекса законов, каралось увеличением срока на пять лет, из коих два года Жан Вальжан должен был носить двойные кандалы. Тринадцать лет. На десятом году снова настала его очередь бежать, и он снова воспользовался ею. И опять с тем же успехом. Еще три года за эту новую попытку. Шестнадцать лет. Наконец, кажется, на тринадцатом году, он бежал в последний раз, лишь для того, чтобы быть пойманным через четыре часа. За эти четыре часа отсутствия – три года. Деятнадцать лет. В октябре 1815 года его освободили, а попал он на каторгу в 1796 году за то, что разбил оконное стекло и взял каравай хлеба.

Позволим себе краткое отступление. Изучая вопросы уголовного права и осуждения именем закона, автор этой книги вторично сталкивается с кражей хлеба как с исходной точкой крушения человеческой судьбы. Клод Ге украл хлеб; Жан Вальжан украл хлеб. Английской статистикой установлено, что в Лондоне из каждых пяти краж четыре имеют непосредственной

причиной голод.

Жан Вальжан вошел в каторжную тюрьму дрожа и рыдая; он вышел оттуда бесстрастным. Он вошел туда полный отчаянья; он вышел оттуда мрачным.

Что же произошло в этой душе?

Глава 7

Глубь отчаянья

Попытаемся рассказать это.

Общество обязано взглядеться в такого рода явления, ибо оно само создает их.

Это был, как мы уже говорили, человек невежественный, но далеко не глупый. В нем светился природный ум. А несчастье, которое по-своему просветляет человека, раздуло огонек, тлевший в этой душе. Под ударами палки, в цепях, в карцере, на тяжелой работе, изнемогая под палящим солнцем, лежа на голых досках арестантской койки, он исследовал свою совесть и стал размышлять.

Он объявил себя судьей.

И прежде всего призвал к суду самого себя.

Он признал, что вовсе не был осужден невинно. Он понял, что совершил отчаянный поступок, достойный порицания, что, если бы он попросил, ему, быть может, и не отказали бы в этом хлебе; что, так или иначе, лучше было подождать, чтобы ему дали этот хлеб либо из сострадания, либо за работу; что на слова: «Разве может человек ждать, когда он голоден?» – нетрудно привести множество возражений: что, во-первых, такие случаи, когда умирают от голода, в прямом значении этого слова, крайне редки, а во-вторых, к несчастью или счастью, человек создан так, что он долго и много может страдать физически и нравственно, не умирая; что, следовательно, надо было запастись терпением; что так было бы лучше даже и для бедных его детишек; что он, жалкий, ничтожный человек, совершил безумный поступок, схватив за горло общество и вообразив, что можно уйти от нищеты с помощью кражи; что, так или иначе, выход, который вел из нищеты в бесчестие, – был дурной выход; словом, он признал себя виновным.

Затем он спросил себя:

Один ли он был виновен во всей этой роковой истории? И, прежде всего, не является ли весьма существенным то обстоятельство, что он, рабочий, остался без работы, что он, трудолюбивый человек, остался без куска хлеба? Далее, не слишком ли жестока и чрезмерна была кара для преступника, который открыто сознался в своем преступлении? Не допустило ли правосудие, столь сурово наказав его, большего злоупотребления, нежели сам преступник? Не перевешивает ли одна из чашек весов, и притом именно та, на которой лежит искупление? Не сглаживается ли чрезмерностью наказания совершенный проступок, и не меняет ли этот перевес всего положения вещей, на место вины осужденного подставляя вину карающей власти, превращая виновного в жертву, должника в кредитора и привлекая закон на сторону того, кто его нарушил? И, наконец, не является ли это наказание,отягченное последовательными увеличениями срока за неоднократные попытки убежать, своего рода покушением сильного на слабого, преступлением общества по отношению к личности – преступлением, повторяющимся каждый день, преступлением, длящимся девятнадцать лет?

Он спросил себя, вправе ли человеческое общество в равной мере подвергать своих членов безрассудной своей беспечности, с одной стороны, и беспощадной предусмотрительности – с другой, навсегда зажимая несчастного человека в тиски между недостатком и чрезмерностью – недостатком работы, чрезмерностью наказания?

Он спросил себя, не чудовищно ли, что общество так обращалось именно с теми из своих членов, которые по воле случая, распределяющего жизненные блага, были одарены наименее щедро и, следовательно, были наиболее достойны снисхождения?

Поставив и разрешив все эти вопросы, он подверг общество суду и вынес приговор.

Он приговорил его к своей ненависти.

Он возложил на общество ответственность за свою судьбу и сказал себе, что, быть может, настанет день, когда он отважится потребовать у него отчета. Он заявил себе, что между ущербом, причиненным им, и ущербом, причиненным ему, нет равновесия; наконец, он пришел к выводу, что его наказание, не будучи, правда, незаконным, все же никак не являлось и актом справедливости.

Гнев может быть безрассуден и слеп; раздражение бывает неоправданным; но негодование всегда внутренне обосновано так или иначе. Жан Вальжан был полон негодования.

К тому же человеческое общество причинило ему только зло. Он всегда видел лишь тот разгневанный лик, который оно именует своим правосудием и открывает только тем, кого бьет. Люди всегда приближались к нему только затем, чтобы причинить боль. Всякое соприкосновение с ними означало для него удар. После того как он расстался со своим детством, с матерью, с сестрой, он ни разу, ни одного разу не слышал ласкового слова, не встретил дружеского взгляда. Переходя от страдания к страданию, он постепенно убедился, что жизнь – война и что в этой войне он принадлежит к числу побежденных. Единственным его оружием была ненависть. Он решил отточить это оружие на каторге и унести с собой, когда уйдет оттуда.

В Тулоне существовала школа для арестантов, которую содержали монахи-иньорантинцы и где обучали самому необходимому тех несчастных, у кого была охота учиться. Жан Вальжан принадлежал к числу последних. Он начал ходить в школу сорока лет и выучился читать, писать и считать. Он чувствовал, что, укрепляя свой ум, он тем самым укрепляет и свою ненависть. В иных случаях просвещение и знания могут лишь усилить могущество зла.

Грустно говорить об этом, но, предав суду общество, которое было творцом его несчастья, он предал суду провидение, сотворившее общество, и также вынес ему приговор.

Таким образом, в течение девятнадцати лет пытки и рабства эта душа одновременно возвысилась и пала. С одной стороны, в нее проник свет, а с другой – тьма.

Как мы видели, Жан Вальжан не был от природы дурным человеком. Когда он попал на каторгу, он был еще добрым. Именно там он осудил общество и почувствовал, что становится злым; именно там он осудил провидение и почувствовал, что становится нечестивым.

Здесь мы не можем не задержаться для минутного размышления.

Способна ли человеческая натура измениться коренным образом, до основания? Может ли человек, которого бог создал добрым, стать злым по вине другого человека? Может ли душа под влиянием судьбы совершенно преобразиться и стать злой, если судьба человека оказалась злой? Может ли сердце под гнетом неизбывного горя стать дурным и уродливым, заболев неизлечимым недугом, подобно тому как искривляется позвоночный столб под чрезмерно низким, давящим сводом? Нет ли в душе любого человека, в частности, не было ли в душе Жана Вальжана той первоначальной искры, той божественной основы, которая не подвержена тлению в этом мире и бессмертна в мире ином и которую добро может развить, разжечь, воспламенить и превратить в лучезарное сияние, а зло никогда не может окончательно погасить?

Это важные и неизученные вопросы, причем на последний из них любой физиолог, по всей вероятности, без колебаний ответил бы *нет*, если бы увидел в Тулоне этого каторжника, когда тот в часы отдыха – часы его размышлений, – сунув в карман конец цепи, чтобы он не волочился, и скрестив руки, сидел на колесе какого-нибудь судового ворот, мрачный,

серьезный, молчаливый, задумчивый – пария закона, гневно взиравший на человека, отверженец цивилизации, сурово взиравший на небо.

Да, несомненно, и мы вовсе не хотим скрывать это, наблюдатель-физиолог усмотрел бы здесь неисцелимый недуг; он, возможно, пожалел бы этого больного, искалеченного по милости закона, но не сделал бы ни малейшей попытки его лечить; он отвратил бы свой взгляд от бездн, зияющих в этой душе, и, как Данте со врат ада, он стер бы с этого существования слово, которое перст божий начертал на челе каждого человека, – слово *надежда*.

Понимал ли сам Жан Вальжан свое душевное состояние, в котором мы попытались разобраться, с той ясностью, с какой, быть может, представляет его себе читатель этой книги после наших разъяснений? Вполне ли отчетливо различал Жан Вальжан те элементы, из которых слагался его нравственный недуг, по мере их возникновения и формирования? Мог ли этот неотесанный и безграмотный человек отдать себе точный отчет в последовательной смене мыслей, с помощью которых он, шаг за шагом, поднимался и опускался до мрачных представлений о жизни, составлявших столько лет его умственный кругозор? Сознавал ли он все то, что произошло в его душе и что шевелилось в ней? Мы не смеем утверждать это, и даже больше того – мы в это не верим. Жан Вальжан был чересчур невежествен, и даже после того, как он испытал столько горя, многое в нем самом осталось для него туманным. Порою он с трудом разбирался в собственных ощущениях. Жан Вальжан пребывал во мраке, страдал во мраке, ненавидел во мраке; можно сказать, он заранее ненавидел все и вся. И он брел в этой тьме, ощупью находя свой путь, как слепой или как мечтатель. Однако время от времени, по внутренней ли, или по внешней причине, им овладевал порыв гнева, приступ страдания; мгновенная вспышка молнии озаряла вдруг его душу, и в зловещем отблеске мертвенного света ему внезапно являлись, окружая его со всех сторон, страшные пропасти и мрачные картины будущего.

Но вот молния гасла, и снова воцарялся мрак. Что это было? Он уже не помнил и сам.

Особенностью такого рода наказаний, в которых преобладает беспощадность, то есть нечто, притупляющее разум, является то, что они изменяют человека, мало-помалу превращая его путем какого-то бессмысленного преобразования в дикого зверя, а иногда и в кровожадного зверя. Одни только попытки Жана Вальжана к бегству, последовательные и упорные, с достаточной ясностью говорят о странном воздействии закона на человеческую душу. Жан Вальжан был готов возобновлять эти попытки, такие бесполезные и безумные, столько раз, сколько бы ни представлялся к тому случай, ни на миг не задумываясь над их последствиями или над опытом предыдущих. Он убегал стремительно, как убегает волк, который вдруг замечает, что его клетка открыта. Инстинкт говорил ему: «Беги!» Разум сказал бы ему: «Останься!» Но перед столь сильным искушением разум исчезал, оставался голый инстинкт. Действовал только зверь. Новые жестокости, которым его подвергали после поимки, только способствовали большему его одичанию.

Не следует упускать из вида то обстоятельство, что Жан Вальжан обладал огромной физической силой; ни один из обитателей каторги не мог с ним сравниться в этом отношении. На тяжелой работе, отдавая канат или поворачивая судовой ворот, Жан Вальжан стоил четырех человек. Иногда он поднимал и держал на спине огромные тяжести и при случае заменял орудие, которое теперь называют домкратом, а в старину звали *orgueil* [\[15\]](#), и от которого, упомянем вскользь, произошло название улицы Монторгейль, находящейся недалеко от парижских рынков. Товарищи прозвали его Жан-Домкрат. Однажды, при ремонте балкона тулонской ратуши, одна из чудесных кариатид Пюже, поддерживающих этот балкон, отошла от стены и чуть было не упала. Жан Вальжан, случайно оказавшийся при этом, поддержал кариатиду плечом и простоял так, пока не подросли рабочие.

Гибкость была развита у него еще больше, чем сила. Некоторые из каторжников, беспрестанно мечтая о побеге, в конце концов из умения сочетать ловкость с силой создают своеобразную науку. Это наука управления мускулами. Это таинственное искусство равновесия, ежедневно совершенствуемое арестантами – людьми, которые вечно завидуют насекомым и птицам. Вскрабкаться на отвесную стену и найти точку опоры там, где глаз едва видит крохотный выступ, было детской игрой для Жана Вальжана. Уцепившись за угол стены, напрягая мышцы спины и ног, втискивая локти и пятки в неровности камня, он, словно по волшебству, взбирался на четвертый этаж. Иногда ему случалось таким же способом подняться до самой крыши острога.

Он мало говорил. Он никогда не смеялся. Необходимо было какое-нибудь чрезвычайное душевное потрясение, чтобы вызвать у него раз или два в год злобещий хохот – хохот каторжника, звучащий, как отголосок сатанинского смеха. У него был такой вид, словно он постоянно занят созерцанием чего-то страшного.

И действительно, он был поглощен своими мыслями.

Сквозь дымку болезненных восприятий недоразвитой натуры и угнетенного сознания он смутно ощущал, что над ним тяготеет какая-то чудовищная сила. Пытаясь оглянуться и оторвать свой взгляд от тусклого и унылого полумрака, в котором он прозябал, он всякий раз с яростью и страхом видел, как воздвигается над ним, уступ за уступом, круто вздымаясь в недоступную для глаза высь, какая-то жуткая громада вещей, законов, предрассудков, людей и событий – громада, очертания которой ускользали от него, а давящая масса преисполняла отчаянием; он видел колоссальную пирамиду, называемую нами цивилизацией. В этой полной движения и бесформенной груди он вдруг различал там и сям, то совсем рядом с собой, то вдали, на недостижимых высотах, какую-нибудь ярко освещенную группу или отдельную фигуру: надсмотрщика с палкой, жандарма с саблей или архиепископа в митре, а на вершине – окруженного солнечным нимбом самого императора в ослепительно сияющей короне. И ему казалось, что этот далекий блеск не только не рассеивает, но, напротив, сгущает мрак окружающей его ночи, делает его еще более злобещим. Все это – законы, предрассудки, события, люди, предметы – кружилось, проносилось над его головой, повинуюсь сложному и таинственному велению бога, продиктованному цивилизации, топча и уничтожая его с какой-то невозмутимой жестокостью и неумолимым равнодушием. Души, упавшие в самую глубь бедствия, возможного для человека, несчастливцы, затерянные на самом дне земного чистилища, куда уже не заглядывает ничей глаз, отринутые законом, чувствуют на себе весь гнет человеческого общества, столь грозного для тех, кто вне его, столь страшного для тех, кто внизу.

Таково было умонастроение Жана Вальжана, предававшегося своим думам. В чем же заключалась сущность его размышлений?

Если бы зерно проса, попавшее под мельничный жернов, могло думать, у него, наверно, были бы те же мысли, что и у Жана Вальжана.

В конце концов, все это – действительность, населенная призраками, фантазмагория, населенная образами из реальной жизни, – привело его к особому душевному состоянию, которое почти невозможно выразить словами.

Случалось, в самый разгар своей тяжелой, мучительной работы он вдруг останавливался. Он начинал думать. Его рассудок, более зрелый, чем прежде, но и более смятенный, возмущался. Все, что случилось с ним, казалось ему бессмысленным; все, что окружало его, казалось ему неправдоподобным. Он говорил себе: «Это сон». Он глядел на надсмотрщика, стоявшего в нескольких шагах от него: надсмотрщик казался ему привидением; и вдруг это привидение ударяло его палкой.

Видимый мир почти не существовал для него. Пожалуй, можно сказать, что для Жана Вальжана не было ни солнца, ни чудесных летних дней, ни ясного неба, ни свежих апрельских зорь. Свет проникал в эту душу, словно через какое-то подвальное оконце.

В заключение, подводя итоги и делая выводы из всего вышесказанного, если только возможно сделать из этого какие-либо положительные выводы, мы устанавливаем, что за девятнадцать лет Жан Вальжан, безобидный фаверольский подрезальщик деревьев, Жан Вальжан, опасный тулонский каторжник, стал способен – таким воспитала его каторжная тюрьма – к дурным поступкам двоякого рода: во-первых, к дурному поступку, внезапному, необдуманному, чисто инстинктивному, который совершается в полном беспамятстве и является как бы мстью за все, что он выстрадал; во-вторых – к дурному поступку, серьезному и значительному, который обдуман заранее и основан на ложных понятиях, порожденных его несчастьем. Размышления, предшествовавшие его поступкам, проходили у него через три последовательные фазы, что имеет место только у людей определенного склада характера: через рассудок, через волю, через упорство. Им руководили постоянный протест, душевная горечь, глубокое сознание перенесенных несправедливостей, чувство возмущения даже против добрых, невинных и праведных, если они существуют. Исходной и конечной точкой его мыслей являлась ненависть к человеческим законам – та ненависть, которая, не будучи остановлена какой-нибудь спасительной случайностью в самом начале, превращается с течением времени в ненависть к обществу, затем в ненависть к человеческому роду, затем в ненависть ко всему сущему и выражается в смутном, беспрестанном и животном стремлении вредить – все равно кому, любому живому существу. Как мы видим, паспорт не без оснований определял Жана Вальжана как *весьма опасного человека*.

Из года в год душа его все более черствела – медленно, но непрерывно. Черствое сердце – сухие глаза. К тому времени, когда Жан Вальжан уходил с каторги, исполнилось девятнадцать лет, как он пролил последнюю слезу.

Глава 8

Море и мрак

Человек за бортом!

Ну так что же! Корабль не останавливается. Дует ветер. У этого мрачного корабля свой путь, и он вынужден его продолжать. Он уходит дальше.

Человек исчезает, потом появляется снова, он погружается и снова выплывает на поверхность, он взывает о помощи, он простирает руки; никто не слышит его. Корабль, сотрясаемый ураганом, неуклонно идет вперед; матросы и пассажиры уже не видят тонущего человека; голова несчастного – лишь крошечная точка в необъятной громаде волн.

Он испускает отчаянные крики, которые замирают в глубинах океана. Каким страшным призраком кажется ему этот исчезающий парус! Человек смотрит на него, смотрит безумным, исступленным взглядом. Парус удаляется, бледнеет, уменьшается. Только что человек был еще там, на корабле, он был членом экипажа, он ходил по палубе вместе с другими, он имел право на свою долю воздуха и солнца, он принадлежал к числу живых. Что же такое произошло с ним? Он поскользнулся, он упал – все кончено.

Он в чудовищной пучине. Под ним все уплывает, все рушится. Волны, изодранные и растрепанные ветром, окружают его своим ужасным объятием; бездна уносит его в своей качке, водяные лоскутья валов кружатся над его головой, разнузданная чернь вод оплевывает его, невидимые провалы хотят его поглотить; погружаясь в воду, он видит, как перед ним разверзаются пропасти, полные мрака; отвратительные неведомые растения хватают его,

цепляются за ноги, тянут к себе; он чувствует, как сливается с бездной, становится частицей морской пены; валы перебрасывают его друг другу, он глотает их горечь; гнусный океан с остервенением топит его; беспредельность тешится его предсмертной мукой. Кажется, что вся эта масса воды – воплощенная ненависть.

И все же он борется.

Он пытается сопротивляться, держаться на поверхности, он делает усилие, плывет. Он – это жалкое создание, силы которого истощаются так быстро, – сражается с неистощимым.

А где же корабль? Далеко. Едва заметный в бледном сумраке горизонта.

На человека налетают шквалы, его душит морская пена. Он поднимает глаза – над ним только свинцовые тучи. Расставаясь с жизнью, он присутствует при неописуемом бесновании моря. И он – жертва этого безумия. Он слышит чуждые человеку звуки, которые, кажется, исходят из какого-то потустороннего, страшного мира.

Подобно ангелам, реющим над человеческой скорбью, в облаках реют птицы, но чем они могут помочь ему? Они летают, поют, парят в небе, а он – он изнывает в предсмертной муке.

Он чувствует себя погребенным меж двух бесконечностей – меж океаном и небом: первый – могила, второе – саван.

Надвигается ночь, уже столько часов он плывет, его силы приходят к концу; этот корабль, этот далекий маяк, где были люди, скрылся совсем; он один среди гигантской сумеречной пучины; он тонет, коченеет, корчится, он чувствует под водою движение каких-то бесформенных чудищ невидимого; он зовет на помощь.

Людей больше нет. Где же бог?

Он зовет: «Спасите! Спасите!» Он зовет и зовет.

Ничего не видно на горизонте. Ничего – в небе.

Он взывает к пространству, к волне, к водоросли, к подводному камню – они глухи. Он молит бурю, но безучастная буря послушна лишь бесконечности.

Вокруг него мрак, туман, одиночество, бессмысленное и шумное буйство, бесконечная рябь свирепых вод. В нем самом ужас и изнеможение. Под ним – омут. Ни одной точки опоры. Ему представляются мрачные скитания трупа в безграничной тьме. Смертельный холод сковывает его тело. Судорожно сжимаясь, его руки хватают пустоту. Ветры, тучи, вихри, дуновения, бесполезные звезды! Что делать? Человек, доведенный до отчаяния, отдается на волю судьбы; тот, кто устал, решается умереть; он перестает бороться, он уступает, он сдается; и вот он исчезает, навеки поглощенный темными глубинами океана.

О беспощадное шествие человеческого общества! Уничтожение людей и человеческих душ, оказавшихся на дороге! Океан, куда падает все, чему дает упасть закон! О злое исчезновение поддержки! О нравственная смерть!

Море – это неумолимая социальная ночь, куда карательная система сталкивает тех, кого она осудила. Море – это безграничное страдание.

Душа, попавшая в эту бездну, может превратиться в труп. Кто воскресит ее?

Глава 9

Новые горести

Когда пришло время покинуть острог, когда в ушах Жана Вальжана прозвучали необычные слова: «Ты свободен!» – наступила неправдоподобная, неслыханная минута; луч яркого света, луч истинного света из мира живых внезапно проник в его душу. Однако этот луч не замедлил померкнуть. Жан Вальжан был ослеплен мыслью о свободе. Он поверил в новую жизнь. Но

очень скоро узнал, что такое свобода для человека с желтым паспортом.

У него было немало горьких минут. Он высчитал, что его заработок за время пребывания на каторге должен составить сто семьдесят один франк. Правда, надо добавить, что в своих расчетах он забыл о вынужденном отдыхе по воскресным и праздничным дням, который за девятнадцать лет уменьшил его капитал приблизительно на двадцать четыре франка. Так или иначе, но вследствие всевозможных вычетов его заработок свелся к сумме в сто девять франков пятнадцать су, которая и была ему отсчитана при выходе из острога.

Он ничего в этом не понял и счел себя обиженным. Скажем попросту – обворованным.

На другой день после освобождения, проходя через Грас, он увидел перед воротами завода померанцевых вод людей, выгружавших тюки товара. Он предложил свои услуги. Работа была спешная, и его взяли. Он принялся за дело. Он был сообразителен, силен и ловок, он старался изо всех сил; хозяин, видимо, был доволен им. В то время как он работал, проходивший мимо жандарм заметил его и потребовал у него документы. Пришлось показать желтый паспорт. Затем Жан Вальжан снова взялся за работу. Перед этим он спросил у одного из рабочих, сколько они получают в день; тот ответил: «Тридцать су». Наутро ему предстоял дальнейший путь, и вечером он попросил хозяина рассчитаться с ним. Не говоря ни слова, тот вручил ему пятнадцать су. Жан Вальжан запротестовал. Ему сказали: «Хватит с тебя и этого». Он продолжал настаивать. Посмотрев на него в упор, хозяин сказал ему: «Смотри, как бы на тебя снова не надели колодки».

Он опять счел себя обворованным.

Общество, государство, уменьшив сумму его заработка, обокрало его оптом. Теперь настала очередь отдельных лиц, которые обкрадывали его в розницу.

Освобождение – это еще не свобода. Выйти из острога – еще не значит уйти от осуждения.

Вот что произошло с Жаном Вальжаном в Грасе. Мы уже видели, как его встретили в Дине.

Глава 10

Человек проснулся

Итак, когда на соборной колокольне пробило два часа пополуночи, Жан Вальжан проснулся.

Он проснулся оттого, что постель его была слишком мягка. Почти двадцать лет он не спал в постели, и хотя он лег не раздеваясь, все же это ощущение было слишком ново, чтобы не нарушить его сон.

Он проспал более четырех часов. Усталость его прошла. Он не привык отдыхать подолгу.

Открыв глаза, он с минуту всматривался в окружающую его темноту, потом опять закрыл их, пытаясь уснуть.

Если человек пережил за день много разных впечатлений, если множество мыслей тревожит его ум, он легко засыпает с вечера, но когда проснется, ему уже не уснуть. Первый сон приходит легче, чем второй. Так было и с Жаном Вальжаном. Он больше не мог уснуть и принялся размышлять.

Он находился в таком состоянии духа, когда мысли и представления неясны. В голове у него теснился хаос. Воспоминания о прошлом и только что пережитом беспорядочно носились в его мозгу и, сталкиваясь друг с другом, теряли форму, безмерно разрастались и вдруг исчезали, как во взбаламученной, мутной воде. У него возникало и пропадало множество мыслей, но одна из них упрямо возвращалась, вытесняя все остальные. Вот эта мысль, мы сейчас ее откроем: он заметил шесть серебряных приборов и разливательную ложку, которые г-жа Маглуар разложила за ужином на столе.

Эти шесть приборов не давали ему покоя. Они были здесь... В нескольких шагах... Когда он проходил через соседнюю комнату, направляясь в ту, где находился сейчас, старуха служанка убирала их в маленький шкафчик у изголовья кровати... Он отлично заметил этот шкафчик... С правой стороны, если идти из столовой... Они были тяжелые и притом из старинного серебра... За них, вместе с разливательной ложкой, можно было выручить по меньшей мере двести франков... Вдвое больше того, что он заработал за девятнадцать лет... Правда, он заработал бы больше, если бы начальство не «обокрало» его.

Добрый час он провел в колебаниях и сомнениях, к которым примешивалась какая-то внутренняя борьба. Пробило три. Он снова открыл глаза, резко приподнялся на постели, протянул руку и нащупал ранец, который, ложась, бросил в угол алькова; затем свесил ноги, коснулся ими пола и внезапно сел, почти сам не сознавая, как это произошло.

Некоторое время он сидел, задумавшись, в позе, которая, наверно, показалась бы зловещей всякому, кто разглядел бы в темноте этого человека, одиноко бодрствующего в уснувшем доме. Вдруг он нагнулся, снял башмаки и осторожно поставил их на циновку у кровати; потом принял свое прежнее положение и застыл на месте, снова погрузившись в задумчивость.

Среди этого страшного раздумья та мысль, о которой мы уже говорили, ни на минуту не оставляла его в покое; она появлялась, исчезала и появлялась снова, она словно давила его; и потом, сам не зная почему, он не переставал думать об одном каторжнике по имени Бреве, с которым вместе отбывал наказание и у которого штаны держались только на одной вязаной подтяжке. Шахматный рисунок этой подтяжки с какой-то механической назойливостью мелькал перед его глазами.

Он сидел все в той же позе и, может быть, просидел бы так до рассвета, если бы часы не пробили один раз: четверть или половину. Этот звук словно сказал ему: «Иди!»

Он встал, в нерешительности постоял еще несколько секунд и прислушался: все в доме молчало; тогда мелкими шагами он направился прямо к окну, смутно белевшему перед ним. Ночь была не очень темная; светила полная луна, которую временами заслоняли широкие тучи, гонимые ветром. Поэтому снаружи происходила постоянная смена тени и света, затмение и прояснение, а в комнате стоял какой-то сумеречный полумрак. Этот полумрак, достаточный для того, чтобы различать предметы, перемежающийся из-за набегавших на луну облаков, походил на сизую дымку, просачивающуюся в подвал через отдушину, мимо которой снуют прохожие. Подойдя к окну, Жан Вальжан внимательно осмотрел его. Оно было без решеток, выходило в сад и, по местному обыкновению, запиралось только на маленькую задвижку. Он открыл окно, но холодная, резкая струя воздуха ворвалась в комнату, и он тут же захлопнул его. Он окинул сад тем испытующим взглядом, который не рассматривает, а скорее изучает. Сад окружала невысокая белая стена, через которую легко было перелезть. Позади нее, в отдалении, Жан Вальжан различил верхушки деревьев, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга; это свидетельствовало о том, что за стеной была аллея какого-то бульвара или же обсаженный деревьями переулок.

Покончив с этим осмотром и, по-видимому, приняв окончательное решение, он направился к алькову, взял свой ранец, пошарил в нем, вынул из него какой-то предмет, положил его на кровать, засунул башмаки в карман, снова застегнул ранец, вскинул его на спину, надел фуражку, надвинув козырек на глаза, ощупью достал палку и поставил ее на окно, прислонив к косяку, затем снова подошел к кровати и без колебаний схватил тот предмет, который оставил на ней. Он походил на железный брус, заостренный на одном конце, как копье.

Было бы трудно определить в темноте, для чего мог предназначаться этот кусок железа. Возможно, это был какой-нибудь рабочий инструмент. А возможно – дубинка.

Днем каждому стало бы ясно, что это попросту подсвечник рудокопа. В то время

каторжников посылали иногда в каменоломни, находившиеся на высоких холмах в окрестностях Тулона, и им давали иногда рабочие орудия рудокопов. Подсвечник рудокопа сделан из массивного железа и заканчивается острием, которое вонзают в горную породу.

Он взял подсвечник в правую руку и, задерживая дыхание, бесшумным шагом направился к двери соседней комнаты, как известно, служившей епископу спальней. Подойдя к этой двери, он нашел ее полуоткрытой. Епископ даже не затворил ее как следует.

Глава 11

Что он делает

Жан Вальжан прислушался. Ни малейшего шума.

Он толкнул дверь.

Он толкнул ее кончиком пальца, тихонько, с осторожной и беспокойной мягкостью крадущейся в комнату кошки.

Дверь подалась едва заметным, бесшумным движением, слегка расширившим отверстие.

Он подождал с секунду, потом еще раз толкнул дверь, уже смелее.

Дверь продолжала бесшумно открываться. Теперь отверстие расширилось настолько, что он мог бы пройти. Однако возле двери стоял маленький столик, который углом своим загораживал вход.

Жан Вальжан заметил это препятствие. Надо было во что бы то ни стало сделать отверстие еще шире.

Он решился и в третий раз толкнул дверь, сильнее, чем прежде. На этот раз одна из петель, видимо плохо смазанная, вдруг закрипела во мраке резко и протяжно.

Жан Вальжан затрепетал. Скрип этой петли прозвучал в его ушах с оглушительной и грозной силой, словно трубный глас, возвещающий час Страшного суда.

Охваченный сверхъестественным ужасом, в первую минуту он готов был вообразить, что эта петля внезапно ожила, превратилась в какое-то страшное живое существо и залаяла, как собака, чтобы предостеречь спящих людей и разбудить весь дом.

Он остановился, дрожащий, растерянный, и тяжело переступил с носков на всю ногу. Ему казалось, что кровь стучит у него в висках, как два кузнечных молота, а дыхание вырывается из груди со свистом, словно ветер из пещеры. Он считал невероятным, чтобы ужасный вопль этой разгневанной петли не поколебал весь дом, подобно землетрясению; дверь, которую он толкнул, подняла тревогу и позвала на помощь; сейчас проснется старик, закричат женщины, сбегутся на помощь люди; не пройдет и четверти часа, как в городе подымется шум и будет поставлена на ноги полиция. Одно мгновение он считал себя погибшим.

Он застыл на месте, словно превратившись в соляной столб, не смея шевельнуть пальцем.

Прошло несколько минут. Дверь стояла отворенной настежь. Он отважился заглянуть в комнату. Ничто там не шевельнулось. Он прислушался. Все безмолвствовало в доме. Скрип ржавой петли не разбудил ни единой души.

Первая опасность миновала, но в душе его продолжало бушевать страшное смятение. Однако он не отступил. Он не думал об отступлении даже и в тот момент, когда считал себя погибшим. Теперь он хотел одного – поскорее покончить с задуманным. Сделав шаг вперед, он вошел в комнату.

В комнате царило глубокое спокойствие. Там и сям можно было различить смутные, неясные очертания предметов – днем это просто были разбросанные по столу листы бумаги, раскрытые фолианты, груды книг на табурете, кресло со сложенной на нем одеждой или молитвенный нагой, но теперь, в этот час, все это представлялось лишь темным силуэтом или

белесоватым пятном. Жан Вальжан осторожно подвигался вперед, боясь задеть за мебель. Из глубины комнаты доносилось ровное, спокойное дыхание спящего епископа.

Вдруг он остановился. Он был уже у кровати. Он дошел до нее скорее, чем ожидал.

Иногда природа с помощью своих явлений и эффектов весьма своевременно, с каким-то мрачным и проникновенным искусством вмешивается в наши действия, как бы желая натолкнуть нас на размышления. Уже около получаса большая туча заволакивала небо. В ту минуту, когда Жан Вальжан остановился у кровати, эта туча, словно нарочно, разорвалась и луч луны, проникший сквозь высокое окно, внезапно озарил бледное лицо епископа. Он мирно спал. Ночи в Нижних Альпах холодны, и он лежал в постели почти одетый; рукава коричневого шерстяного подрясника закрывали до кистей его руки. Голова его откинулась на подушку, вся поза говорила о полном и безмятежном отдыхе; рука с пастырским перстнем на пальце, сотворившая столько милосердных поступков и столько добрых дел, свесилась с кровати. Лицо его было озарено каким-то смутным выражением удовлетворения, надежды и покоя. Оно не улыбалось, оно сияло. Чудесное отражение какого-то невидимого света трепетало на челе спящего. Душам праведников во время сна видится таинственное небо.

Отблеск этого неба лежал на лице епископа.

И в то же время оно светилося изнутри, ибо это небо заключено было в нем самом. То была его совесть.

Когда лунный луч коснулся лица епископа и как бы слился с этим внутренним сиянием, спящий предстал словно в сверкающем венце. Однако вся эта картина была смягчена и словно окутана каким-то не поддающимся описанию полусветом. Эта луна в небе, эта уснувшая природа, этот недвижный сад, этот мирный дом, этот ночной час, эта минута, тишина – все вместе придавало невыразимую торжественность священному отдыху этого человека и окружало ореолом величия и покоя эти седые волосы и сомкнутые глаза, это лицо, исполненное надежды и веры, эту старческую голову и этот младенческий сон.

Что-то почти божественное чувствовалось в этом человеке, который был столь величествен, сам того не ведая.

Жан Вальжан стоял в тени неподвижно, держа в руке железный подсвечник, и смотрел, ошеломленный, на этого светлого старца. Никогда в жизни он не видел ничего подобного. Эта доверчивость ужасала его. Нравственному миру неизвестно более высокое зрелище, нежели смущенная, нечистая совесть, стоящая на пороге преступного деяния и созерцающая сон праведника.

Этот сон в таком уединении, рядом с таким человеком, каким был он, заключал в себе нечто возвышенное, и Жан Вальжан ощущал это смутно, но с непреодолимой силой.

Никто не мог бы сказать, что происходило в его душе, – даже он сам. Чтобы разобраться в его ощущениях, надо вообразить себе самое жестокое пред лицом самого кроткого. В глазах его тоже трудно было прочесть что-либо определенное. Какое-то угрюмое изумление – и только. Он смотрел – вот и все. Но о чем он думал? Кто мог разгадать это? Было очевидно, что он взволнован и потрясен. Но что означало это волнение?

Его взгляд не отрывался от старца. Единственно, о чем с полной ясностью говорила его поза и выражение лица, – это о какой-то странной нерешительности. У него был такой вид, словно он колебался между двумя безднами: той, где гибнут, и той, где спасаются. Казалось, он готов размогнуть этот череп или поцеловать эту руку.

Прошло несколько секунд, его левая рука медленно поднялась, и он снял фуражку; потом, все так же медленно, рука опустилась, и Жан Вальжан вновь предался созерцанию, держа в левой руке фуражку, а в правой – свой железный брусок; короткие волосы оцетинились над его нахмуренным лбом.

Епископ все так же спокойно и крепко спал под этим страшным взглядом.

Освещенное лунным бликом, над камином смутно вырисовывалось распятие, которое словно раскрывало им объятия, благословляя одного и прощая другого.

Внезапно Жан Вальжан надел фуражку, затем быстро, не глядя на епископа, прошел вдоль кровати прямо к шкафчику, видневшемуся у изголовья; он поднял свой подсвечник, видимо, желая взломать замок, но ключ торчал в скважине; он открыл дверцу; первое, что он увидел, была корзинка с серебром; он взял ее, прошел крупными шагами, без всяких предосторожностей и не обращая внимания на производимый им шум, через всю комнату, дошел до двери, вошел в молельню, распахнул окно, схватил палку, перешагнул через подоконник, положил серебро в ранец, бросил корзинку на землю, пробежал по саду и, словно тигр перепрыгнув через забор, скрылся.

Глава 12

Епископ за работой

На следующее утро, когда солнце только еще всходило, монсеньор Бьенвеню прогуливался по саду. Вдруг к нему подбежала г-жа Маглуар, сильно встревоженная.

– Ваше преосвященство, ваше преосвященство! – кричала она. – Не знает ли ваша милость, где корзинка, в которой я держу серебро?

– Знаю, – ответил епископ.

– Слава богу! – обрадовалась она. – А то я понять не могла, куда это она делась.

Епископ только что подобрал на клумбе эту корзинку. Он подал ее г-же Маглуар.

– Вот она, – сказал он.

– То есть как? – удивилась она. – Пустая? А серебро?

– Ах, вы беспокоитесь о серебре? – проговорил епископ. – Я не знаю, где оно.

– Господи помилуй! Оно украдено! Это ваш вчерашний гость – вот кто украл его!

В мгновение ока, со всей живостью, на какую была способна эта подвижная старушка, г-жа Маглуар побежала в молельню, заглянула в альков и снова вернулась к епископу. Тот стоял, нагнувшись, и, вздыхая, рассматривал саженец ложечника, сломанный корзинкой при ее падении на клумбу. Услыхав крик г-жи Маглуар, епископ выпрямился.

– Ваше преосвященство! – кричала она. – Он ушел! Серебро украдено!

В то время как она произносила эти слова, ее взгляд упал на дальний конец сада, где виднелись следы бегства. Верхняя обшивка ограды была сорвана.

– Посмотрите! Вот где он перелез. Он спрыгнул прямо в переулок Кошфиле! Какой негодяй! Он украл наше серебро!

Епископ с минуту молчал, потом поднял на г-жу Маглуар свой серьезный взгляд и кротко возразил ей:

– А где сказано, что это серебро было нашим?

Госпожа Маглуар оцепенела от изумления. Снова наступило молчание, потом епископ продолжал:

– Госпожа Маглуар, я был не прав, пользуясь, и так долго, этим серебром. Оно принадлежало бедным. А кто такой этот человек? Несомненно, бедняк.

– Господи Иисусе! Дело ведь не во мне и не в барышне, – возразила г-жа Маглуар. – Нам-то все равно. Все дело в вашем преосвященстве. Чем вы, ваше преосвященство, будете теперь кушать?

Епископ взглянул на нее с удивлением.

– Ах, вот что! Но разве не существует оловянных приборов?

Госпожа Маглуар пожала плечами.

– У олова неприятный запах.

– А железных?

Госпожа Маглуар сделала выразительную гримасу.

– Железные дают привкус.

– В таком случае, – сказал епископ, – мы обзаведемся деревянными.

Через несколько минут он завтракал за тем же столом, за которым накануне сидел Жан Вальжан. За завтраком он весело доказывал сестре, которая слушала его молча, и г-же Маглуар, потихоньку ворчавшей, что нет ни малейшей нужды ни в ложках, ни в вилках, хотя бы и деревянных, чтобы обмакнуть кусок хлеба в чашку с молоком.

– Ведь надо же придумать! – бормотала про себя г-жа Маглуар, суется у стола. – Пустить к себе такого человека! И оставить его на ночь рядом с собой! Счастье еще, что он только обокрал! Господи помилуй! Просто дрожь пробирает, как подумаешь!..

Брат с сестрой собирались уже встать из-за стола, как вдруг раздался стук в дверь.

– Войдите, – сказал епископ.

Дверь открылась. Странная и возбужденная группа людей появилась на пороге. Три человека держали за ворот четвертого. Трое были жандармы, четвертый – Жан Вальжан.

Жандармский унтер-офицер, по-видимому главный над ними, остановился в дверях. Затем он вошел в комнату и, подойдя к епископу, отдал ему честь по-военному.

– Ваше высокопреосвященство... – начал он.

При этих словах Жан Вальжан, стоявший с угрюмым и подавленным видом, изумленно поднял голову.

– Высокопреосвященство! – прошептал он. – Значит, это не простой священник...

– Молчать! – сказал жандарм. – Это его высокопреосвященство господин епископ.

Между тем монсеньор Бьенвеню пошел к ним навстречу с той быстротой, какую только позволял его преклонный возраст.

– Ах, это вы! – вскричал он, обращаясь к Жану Вальжану. – Я очень рад вас видеть. Но послушайте, что же это вы? Ведь я вам отдал и подсвечники. Они тоже серебряные, как все остальное, и вы вполне можете получить за них франков двести. Почему вы не захватили их вместе с вашими приборами?

Жан Вальжан широко раскрыл глаза и взглянул на почтенного епископа с таким выражением, которое не мог бы передать никакой человеческий язык.

– Ваше высокопреосвященство, – сказал жандармский унтер-офицер, – следовательно, то, что нам сказал этот человек, – правда? Мы встретили его. У него был такой вид, словно он убегал от кого-то. На всякий случай мы задержали его. При нем оказалось это серебро.

– И он вам сказал, – улыбаясь, прервал епископ, – что это серебро ему подарил старичок священник, в доме которого он провел ночь? Понимаю, понимаю. А вы привели его сюда? Это недоразумение.

– В таком случае мы можем отпустить его? – спросил унтер-офицер.

– Разумеется, – ответил епископ.

Жандармы выпустили Жана Вальжана, который невольно попятился назад.

– Это правда, что меня отпускают? – произнес он почти невнятно, словно говоря во сне.

– Ну да, отпускают, не слышишь, что ли? – ответил один из жандармов.

– Друг мой, – сказал епископ, – не забудьте перед уходом захватить ваши подсвечники. Вот они.

Он подошел к камину, взял подсвечники и протянул Жану Вальжану. Обе женщины смотрели на это без единого слова, движения или взгляда, которые могли бы помешать

епископу.

Жан Вальжан дрожал всем телом. Машинально, с растерянным видом, он взял в руки оба подсвечника.

– А теперь, – сказал епископ, – идите с миром. Между прочим, мой друг, когда вы придете ко мне в следующий раз, вам не к чему идти через сад. Вы всегда можете входить и выходить через парадную дверь. Она запирается только на щеколду, и днем и ночью.

Затем он обернулся к жандармам:

– Господа, вы можете идти.

Жандармы вышли.

Казалось, Жан Вальжан вот-вот потеряет сознание.

Епископ подошел к нему и сказал тихим голосом:

– Не забывайте, никогда не забывайте, что вы обещали мне употребить это серебро на то, чтобы сделаться честным человеком.

Жан Вальжан, совершенно не помнивший, чтобы он что-нибудь обещал, стоял в полном смятении. Епископ произнес эти слова, как-то особенно подчеркнув их. Он торжественно продолжал:

– Жан Вальжан, брат мой, вы более не принадлежите злу, вы принадлежите добру. Я покупаю у вас вашу душу. Я отнимаю ее у черных мыслей и духа тьмы и передаю ее богу.

Глава 13

Малыш Жерве

Жан Вальжан вышел из города с такой поспешностью, словно убегал от погони. Быстрым шагом он шел по полям, выбирая первые попавшиеся дороги и тропинки и не замечая, что кружится на одном месте. Он пробродил так целое утро, не евши и не ощущая голода. Он был во власти множества новых ощущений. Он чувствовал в себе глухой гнев. Против кого? – он не знал. Он не мог бы сказать, растроган он или унижен. Минутами на него находило какое-то странное умиление, с которым он боролся и которому противопоставлял ожесточение последних двадцати лет своей жизни. Это чувство тяготило его. Он с тревогою замечал, как рушится страшное внутреннее спокойствие, которое даровано было ему незаслуженностью его несчастья. Он спрашивал себя, что же теперь его заменит? Были мгновения, когда он предпочел бы, пожалуй, оказаться в тюрьме среди жандармов, только бы не было того, что произошло; это бы меньше взволновало его. Хотя стояла глубокая осень, кое-где в живых изгородях, мимо которых он проходил, еще попадались запоздалые цветы, и доносившийся до него запах воскрешал в нем воспоминания детства. Эти воспоминания были ему почти невыносимы – столько времени не возникали они перед ним.

Так в течение всего дня накапливались в нем мысли, которые было бы трудно выразить словами.

Когда солнце склонялось к западу и самый крошечный камешек уже отбрасывал длинную тень, Жан Вальжан сидел за кустом на широкой бурой равнине, совершенно пустынной. На горизонте не видно было ничего, кроме Альп. Ничего – даже колокольни какой-нибудь отдаленной деревенской церкви. Жан Вальжан находился приблизительно в трех лье от Диня. В нескольких шагах от куста вилась тропинка, пересекавшая равнину.

Погруженный в свое мрачное раздумье, которое способно было придать еще более устрашающий вид его лохмотьям в глазах случайного прохожего, Жан Вальжан вдруг услышал веселую песенку.

Он обернулся и увидел на тропинке маленького савояра, мальчика лет десяти, который,

напевая, приближался к нему с небольшой шарманкой через плечо и с сурком в ящике за спиной, – одного из тех ласковых и веселых малышей, что ходят из края в край в рваных своих штанишках, сквозь которые светятся голые коленки.

Не прерывая своей песенки, мальчик время от времени останавливался и, словно играя в камешки, подкидывал на ладони несколько мелких монет – должно быть, весь свой капитал. Среди медяков была одна монета в сорок су.

Мальчик остановился у куста и, не замечая Жана Вальжана, подбросил пригоршню монет, которую только что ему удалось подхватить всю целиком тыльной стороной руки.

Однако на этот раз монета в сорок су отскочила и покатилась к кустарнику, по направлению к Жану Вальжану.

Жан Вальжан наступил на нее ногой.

Но мальчик, следивший за монетой взглядом, заметил это.

Он ничуть не удивился и подошел прямо к Жану Вальжану.

Место было совершенно пустынное. Насколько видел глаз, ни на равнине, ни на тропинке не было ни души. Только слабые крики перелетных птиц, летевших стаями где-то на огромной высоте, доносились сверху. Мальчик стоял спиной к солнцу, которое вплетало в его волосы золотые нити и заливало кроваво-красным светом свирепое лицо Жана Вальжана.

– Сударь, – сказал маленький савояр с той детской доверчивостью, которая слагается из неведения и невинности, – а моя монета?

– Как тебя зовут? – спросил Жан Вальжан.

– Мальш Жерве, сударь.

– Убирайся, – сказал Жан Вальжан.

– Сударь, – повторил мальчик, – отдайте мне мою монету.

Жан Вальжан опустил голову и ничего не ответил.

– Мою монету, сударь! – еще раз повторил мальчик.

Взгляд Жана Вальжана был по-прежнему устремлен в землю.

– Мою монету! – кричал ребенок. – Мою светленькую монетку! Мои деньги!

Жан Вальжан, казалось, не слышал. Мальчик схватил его за ворот блузы и начал трясти. В то же время он силился сдвинуть с места толстый, подкованный железом башмак, наступивший на его сокровище.

– Я хочу мою монету! Мою монету в сорок су!

Мальчик плакал. Жан Вальжан поднял голову. Он все еще сидел, не трогаясь с места. Глаза его были тусклы. Он взглянул на мальчика как бы с удивлением, потом протянул руку к палке и крикнул грозным голосом:

– Кто это?

– Я, сударь, – ответил ребенок. – Мальш Жерве! Я! Я! Отдайте мне, пожалуйста, мои сорок су! Отодвиньте ногу, сударь, пожалуйста, отодвиньте!

И вдруг, внезапно рассердившись, этот ребенок, этот мальчуган заговорил почти угрожающим тоном:

– Вот что, отодвинете вы, наконец, вашу ногу? Говорят вам, отодвиньте ногу!

– Ах, ты все еще здесь! – вскричал Жан Вальжан и, вскочив, вытянулся во весь рост; по-прежнему не сдвигая ноги с серебряной монеты, он прибавил: – Уходи, покуда цел!

Мальчуган с испугом посмотрел на него, весь задрожал и после нескольких секунд оцепенения пустился бежать со всех ног, не смея ни оглянуться назад, ни крикнуть.

Однако, отбежав на некоторое расстояние, он до того запыхался, что вынужден был остановиться, и Жан Вальжан, погруженный в свое раздумье, услышал его плач.

Через несколько мгновений ребенок исчез.

Солнце село.

Вокруг Жана Вальжана становилось все темнее. Он ничего не ел целый день; возможно, у него была лихорадка.

Он продолжал стоять на одном месте, не меняя положения с той самой минуты, как убежал мальчик. Прерывистое, неровное дыхание приподнимало его грудь. Его взгляд, устремленный на десять-двенадцать шагов вперед, казалось, с глубоким вниманием изучал очертания синего фаянсового черепка, валявшегося в траве. Вдруг он вздрогнул: только сейчас он почувствовал вечерний холод.

Он глубже надвинул на лоб фуражку, машинально запахнул и застегнул блузу, сделал шаг вперед и нагнулся, чтобы поднять с земли свою палку.

В эту минуту он заметил монету в сорок су, наполовину вдавленную в землю его ногой и блестящую между камнями.

Это произвело на него действие гальванического тока. «Что это такое?» – пробормотал он сквозь зубы. Он отступил шага на три, потом остановился, не в силах оторвать взгляда от этого кружочка, который только что топтала его нога и который теперь блестел в темноте, словно чей-то открытый, пристально устремленный на него глаз.

Так прошло несколько минут. Вдруг он судорожно бросился к серебряной монете, схватил ее, выпрямился, окинул взором равнину и, весь дрожа, стал озираться по сторонам, как испуганный дикий зверь, который ищет убежища.

Он ничего не увидел. Надвигалась ночь, равнина дышала холодом, очертания ее расплылись в густом фиолетовом тумане, поднявшемся из сумеречной мглы.

Он глубоко вздохнул и быстро зашагал в том направлении, в котором исчез ребенок. Пройдя шагов тридцать, он остановился, осмотрелся и опять ничего не увидел.

Тогда он закричал изо всей силы: «Мальш Жерве! Мальш Жерве!»

Потом замолчал и прислушался.

Никакого ответа.

Поле было пустынно и угрюмо. Бесконечность обступала Жана Вальжана со всех сторон. Вокруг был лишь мрак, в котором терялся его взгляд, и молчание, в котором терялся его голос.

Дул ледяной ветер, сообщая всему окружающему какую-то зловещую жизнь. Маленькие деревца с невероятной яростью потрясали своими тощими ветвями. Казалось, они кому-то угрожают, кого-то преследуют.

Он снова пошел, потом пустился бежать; время от времени он останавливался и кричал в этой пустыне самым грозным и самым горестным голосом, какой только можно себе представить: «Мальш Жерве! Мальш Жерве!»

Если бы даже мальчик и услышал его, он бы, несомненно, испугался и поостерегся показаться ему на глаза. Но, по всей вероятности, мальчик был уже далеко.

Дорогой Жан Вальжан встретил ехавшего верхом священника. Он подошел к нему и спросил:

– Господин кюре, не видали вы тут мальчика?

– Нет, – ответил священник.

– Мальчика по имени Мальш Жерве?

– Я никого не видел.

Жан Вальжан вынул из своего кошелька две пятифранковые монеты и протянул священнику.

– Господин кюре, вот вам на ваших бедных. Господин кюре, это мальчуган лет около десяти. Кажется, он был с сурком и шарманкой. Он прошел здесь... знаете, из этих савояров.

– Я не видел его.

– Мальш Жерве! А он не из ближних сел? Вы не можете мне сказать?

– Если этот мальчик такой, как вы его описали, друг мой, то это, наверное, чужестранец. Они иногда бывают в наших краях, но никто их не знает.

Жан Вальжан быстро вынул еще две пятифранковые монеты и передал их священнику.

– На ваших бедных, – сказал он. И вдруг добавил в каком-то исступлении: – Господин аббат, велите меня арестовать. Я вор.

Священник стегнул лошадь и ускорил, очень испуганный.

Жан Вальжан побежал в прежнем направлении.

Он пробежал таким образом довольно большое расстояние, он смотрел, звал, кричал, но никого больше не встретил. Два или три раза он сворачивал с тропинки, бросаясь ко всему, что издали напоминало ему маленькое существо, лежащее на земле или присевшее на корточки: это оказывался небольшой кустик или камень, почти вровень с землей. Наконец, подойдя к месту, где скрещивались три тропинки, Жан Вальжан остановился. Луна уже взошла. Он еще раз взгляделся в даль и прокричал в последний раз: «Мальш Жерве! Мальш Жерве! Мальш Жерве!» Его крик замер в тумане, не пробудив даже эха. Он пробормотал еще раз: «Мальш Жерве!» – но уже слабым и почти невнятным голосом. Это было его последнее усилие; ноги у него вдруг подкосились, словно какая-то невидимая сила внезапно придавила его всей тяжестью его нечистой совести; в полном изнеможении он опустился на большой камень и, вцепившись руками в волосы, спрятав лицо в колени, воскликнул: «Я негодяй!»

Сердце его больше не могло выдержать, и он заплакал. Он плакал в первый раз за девятнадцать лет.

Когда Жан Вальжан вышел от епископа, он отрешился уже – мы видели это – от всего, что занимало его мысли до тех пор. Он не мог отдать себе ясного отчета в том, что происходило в его душе. Он внутренне противился ангельскому поступку и кротким словам старика: «Вы обещали мне стать честным человеком. Я покупаю у вас вашу душу. Я отнимаю ее у духа тьмы и передаю ее господу богу». Слова эти преследовали его неотступно. Он противопоставлял этой небесной снисходительности гордость, живущую внутри нас, как оплот зла. Он смутно сознавал, что милость священника была самым сильным наступлением, самым грозным нападением, какому он когда-либо подвергался; что если он устоит перед этим милосердием, то душа его очерствеет навсегда; что если он уступит, то придется отказаться от той ненависти, которою в течение стольких лет наполняли его душу поступки других людей и которая давала ему чувство удовлетворения; что на этот раз надо было либо победить, либо остаться побежденным и что сейчас завязалась борьба, гигантская и решительная борьба между его злобой и добротой того человека.

Вглядываясь в открывшийся ему туманный просвет, он шагал словно пьяный. Было ли у него отчетливое представление о том, какие последствия могло иметь для него происшествие в Дине, когда он шел так, с блуждающим взором? Слышал ли он те таинственные звуки, которые предупреждают или преследуют нас в иные минуты нашей жизни? Шепнул ли ему на ухо чей-то голос, что он только что пережил торжественный час, решивший его судьбу; что отныне для него уже не может быть середины и если он не станет лучшим из людей, то станет худшим из них; что теперь он должен либо подняться выше епископа, либо пасть ниже каторжника; что, если он хочет стать добрым, ему придется сделаться ангелом, если же он хочет остаться злым, ему надо превратиться в чудовище?

Здесь нужно еще раз задать себе те вопросы, которые мы уже задавали себе ранее: доходила ли до его сознания хотя бы смутная тень того, что творилось в его душе? Разумеется, несчастье воспитывает ум – мы уже говорили об этом; однако сомнительно, чтобы Жан Вальжан был в состоянии разобраться во всем том, о чем здесь упоминалось. Если все эти мысли и приходили ему в голову, то он не останавливался на них, они лишь мелькали в его мозгу, повергая его в

неизъяснимую, почти болезненную тревогу. Когда он вышел из отвратительной черной ямы, носящей название каторги, явился епископ и причинил его душе такую же боль, какую мог бы причинить чрезмерно яркий свет глазам человека, вышедшего из мрака. Будущая жизнь, та возможная для него жизнь, которая открывалась теперь перед ним, лучезарная и чистая, вызывала в нем беспокойство и трепет. Он совсем перестал понимать, что с ним происходит. Подобно сове, увидевшей вдруг восход солнца, каторжник был ошеломлен и как бы ослеплен сиянием добродетели.

Одно было достоверно, в одном он не сомневался: он стал другим человеком, все в нем изменилось, и уже не в его власти было уничтожить звучавшие в нем слова епископа, тронувшие его сердце.

Таково было его душевное состояние, когда он встретил Мальша Жерве и украл у него сорок су. Для чего? Вероятно, он и сам не мог бы объяснить; не было ли это конечным следствием и как бы последним чрезвычайным усилием злых помыслов, вынесенных им из каторги, остатком тяготения к злу, результатом того, что в статике называют «силой инерции»? Да, это было так и в то же время, может быть, не совсем так. Скажем просто: это украл не он, не человек, – украл зверь; послушный привычке, инстинктивно, бессмысленно, он наступил ногой на монету, в то время как разум метался, одержимый столькими идеями, необычными и новыми. Когда разум прозрел и увидел поступок зверя, Жан Вальжан с ужасом отшатнулся, испустив крик отчаяния.

Ибо – странное явление, возможное лишь при тех условиях, в каких находился он, – украв у мальчика эти деньги, он совершил то, на что уже не был более способен.

Так или иначе, но это последнее злодеяние оказало на него решающее действие: оно внезапно прорезало хаос, царивший в его уме, рассеяло его и, отделив все неясное и туманное в одну сторону, а свет – в другую, воздействовало на его душу в том состоянии, в каком она тогда была, так же как некоторые химические реактивы действуют на мутную смесь, осаждая один элемент и очищая другой.

Прежде всего, даже не успев еще осознать и обдумать случившееся, растерянный, словно спасаясь от погони, он бросился искать мальчика, чтобы вернуть ему его деньги; потом, убедившись, что это бесполезно и невозможно, он остановился в отчаянии. В ту минуту, когда он крикнул: «Я негодяй!», он вдруг увидел себя таким, каким он был; но он уже до такой степени отрешился от самого себя, что ему показалось, будто он – только призрак, а пред ним, облеченный в плоть и кровь, с палкой в руках и ранцем, полным краденого добра, за спиной, в рваной блузе, с угрюмым, решительным лицом и с тысячей гнусных помыслов в душе, стоит омерзительный каторжник Жан Вальжан.

Как мы уже говорили, чрезмерность несчастий сделала его в некотором роде ясновидящим. И этот образ был как бы видением. Он действительно увидел перед собой этого Жана Вальжана, его страшное лицо. Он почти готов был спросить себя, кто этот человек, и человек этот внушил ему отвращение.

Его мозг находился в том напряженном и в то же время до ужаса спокойном состоянии, когда задумчивость становится настолько глубокой, что она вытесняет действительность. Человек перестает видеть предметы внешнего мира, зато все, что порождает его воображение, он рассматривает как нечто реальное, существующее вне его самого.

Итак, Жан Вальжан стоял как бы лицом к лицу с самим собой, созерцая себя; и в то же время сквозь этот образ, созданный галлюцинацией, он видел в таинственной глубине какой-то мерцающий огонек, который принял сначала за факел. Однако, вглядываясь более внимательно, Жан Вальжан заметил, что огонек, вспыхнувший в глубине его сознания, имеет человеческий облик и что этим факелом был епископ.

Его мысль попеременно останавливалась на двух людях, стоявших перед его сознанием, — на епископе и Жане Вальжане. Никто, кроме первого, не мог бы смягчить душу второго. Вследствие странной особенности, присущей восторженному состоянию такого рода, по мере того как галлюцинация Жана Вальжана продолжалась, епископ все вырастал и становился все лучезарней в его глазах, а Жан Вальжан становился все меньше и незаметнее. В какое-то мгновение он превратился в тень. И вдруг исчез. Остался один епископ.

Он заполнил всю душу этого несчастного дивным сиянием.

Жан Вальжан плакал долго. Он плакал горячими слезами, он плакал навзрыд, слабый, как женщина, испуганный, как ребенок.

Пока он плакал, сознание его все прояснялось и наконец озарилось необычайным светом, чудесным и в то же время грозным. Его прежняя жизнь, его первый проступок, его длительное искупление, его внешнее одичание и внутреннее очерствение, минута его выхода на свободу, еще более радостная для него благодаря многочисленным планам мести, то, что произошло у епископа, и последнее, что он сделал, — эта кража монеты в сорок су у ребенка, кража тем более подлая, тем более чудовищная, что она произошла уже после прощения епископа, — все это припомнилось ему и предстало перед ним с полной ясностью, но в совершенно новом освещении. Он всмотрелся в свою жизнь, и она показалась ему безобразной; в свою душу — и она показалась ему чудовищной. И все же какой-то мягкий свет сиял над этой жизнью и над этой душой. Ему казалось, что он видит сатану в лучах райского солнца.

Сколько часов проплакал он? Что сделал после того, как перестал плакать? Куда пошел? Это осталось неизвестным. По-видимому, можно считать достоверным лишь то, что в эту самую ночь кучер дилижанса, ходившего в ту пору между Греноблем и Динем и прибывавшего в Динь около трех часов утра, видел, проезжая по Епархиальной улице, какого-то человека, который стоял на коленях прямо на мостовой и молился во мраке у дверей монсеньора Бьенвеню.

Книга третья

В 1817 году

Глава 1

1817 год

А год был годом, который Людовик XVIII с истинно королевским апломбом, не лишенным некоторой надменности, называл двадцать вторым годом своего царствования. То был год славы для г-на Брюгьера де Сорсум. Все парикмахерские заведения, уповая на возврат к пудре и к взбитым локонам, размалевали свои вывески лазурью и усеяли их геральдическими лилиями. То были наивные времена, когда граф Линч восседал каждое воскресенье в церкви Сен-Жермен-де-Пре на почетной скамье церковного старосты в парадной одежде пэра Франции, с красной орденой лентой, привлекая к себе внимание длинным своим носом и тем величественным выражением лица, какое свойственно человеку, совершившему славный подвиг. Славный же подвиг г-на Линча заключался в следующем: будучи мэром города Бордо, он 12 марта 1814 года сдал город герцогу Ангулемскому несколько раньше, чем следовало. За это он и получил звание пэра. В 1817 году мода нахлобучила на головы маленьких мальчиков в возрасте от четырех до пяти лет огромные шапки из сафьяна с наушниками, сильно напоминавшие остроконечные колпаки эскимосов. Французская армия была одета в белое, на манер австрийской; полки именовались легионами; их уже не обозначали номерами, а присвоили им названия департаментов. Наполеон находился на острове Св. Елены, и, так как Англия отказывала ему в зеленом сукне, он перелицовывал свои старые мундиры. В 1817 году Пеллегрини пел, м-ль Биготтини танцевала; царил Потье; Одри еще не успел прославиться. Г-жа Саки заступила место Фориозо. Во Франции продолжали стоять пруссаки. Г-н Делало был важной особой. Законный порядок только что утвердился, отрубив руки, а потом и голову Пленье, Карбоно и Толерону. Обер-камергер князь Талейран и аббат Луи, которого прочили в министры финансов, смотрели друг на друга, подсмеиваясь, как два авгура; оба они 14 июля 1790 года отслужили торжественную мессу в праздник Федерации на Марсовом поле: Талейран в качестве епископа, а Луи в качестве дьякона. В 1817 году в боковых аллеях этого самого Марсова поля мокли под дождем и гнили в траве громадные деревянные столбы, выкрашенные в голубой цвет, с облупившимися изображениями орлов и пчел, с которых слезла позолота. Это были колонны, два года назад поддерживавшие трибуну императора на Майском собрании. Они почернели местами от бивуачных костров австрийцев, построивших свои бараки возле Гро-Кайу. Две-три такие колонны и вовсе превратились в пепел, обогревая ручищи кайзеровцев. Майское собрание было замечательно тем, что оно происходило на Марсовом поле, и не в мае, а в июне [\[16\]](#). Двумя достопримечательностями этого 1817 года были: Вольтер, издания Туке, и табакерка с конституционной хартией. Последним событием, взволновавшим парижан, было преступление Дотена, который бросил голову своего брата в бассейн Цветочного рынка. В морском министерстве только что приступили к расследованию дела злополучного фрегата «Медуза», которое должно было покрыть позором Шомарея и славою – Жерико. Полковник Сельв отправился в Египет, чтобы стать там Сулейман-пашой. Дворец Терм на улице Лагарпа служил лавчонкой какому-то бочару. На площадке восьмиугольной башни особняка Ключи еще можно было видеть маленькую дощатую будку, которая во времена Людовика XVI заменяла обсерваторию Месье, астроному морского ведомства. Герцогиня Дюра в своем небесно-голубом будуаре, обставленном табуретами с крестообразными ножками, читала трем или четырем из

своих друзей еще не изданную «Урику». В Лувре соскабливали отовсюду букву «Н». Аустерлицкий мост отрекся от своего имени и назвался мостом Королевского сада – двойная загадка, ибо в ней одновременно скрывались два прежних названия: Аустерлицкий мост и мост Ботанического сада. Людовик XVIII, по-прежнему читая Горация и делая ногтем пометки на полях, стал, однако, задумываться над судьбой героев, которые превращались в императоров, и башмачников, которые превращались в дофинов; у него было два источника тревоги: Наполеон и Матюрен Брюно. Французская академия объявила конкурс на тему: «Счастье, доставляемое занятиями наукой». Г-н Беллар блистал официальным красноречием. Под его сенью уже созрел будущий товарищ прокурора Броэ, которому суждено было стать мишенью для сарказмов Поля-Луи Курье. Нашелся лже-Шатобриан в лице Маршанжи; лже-Маршанжи в лице д'Арленкура еще не появился. «Клара Альба» и «Малек-Адель» считались образцовыми произведениями; г-жа Коттен была провозглашена лучшим писателем современности. Французский институт вычеркнул из своих списков академика Наполеона Бонапарта. Весь Ангулем королевским указом был превращен в морское училище: ведь герцог Ангулемский был генерал-адмиралом, и, следовательно, Ангулем должен был по праву пользоваться всеми преимуществами морского порта, не то пострадал бы самый принцип монархической власти.

В совете министров обсуждался вопрос о том, можно ли допускать печатанье виньеток, которые изображали акробатические упражнения и, придавая особую остроту афишам Франкони, собирали перед ними целые толпы уличных мальчишек. Г-н Паэр, автор «Агнезы», добряк с квадратным лицом и бородавкой на щеке, дирижировал небольшими камерными концертами у маркизы де Сасене в улице Виль-л'Эвек. Все молодые девушки распевали «Сент-Авельского отшельника», текст которого был написан Эдмоном Жеро. Журнал «Желтый карлик» преобразился в «Зеркало». Кафе «Ламблен» стояло за императора в пику кафе «Валуа», стоявшему за Бурбонов. Герцога Беррийского, которого где-то во мраке уже подстерегал Лувель, только что женили на сицилийской принцессе. Прошел год со смерти г-жи де Сталь. Гвардейцы встречали свистками м-ль Марс. Большие газеты стали совсем маленькими. Формат их был ограничен, зато не ограничена свобода. Газета «Конституционалист» была действительно конституционной. «Минерва» писала фамилию Chateaubriand^[17] так: Chateaubriant. Эта буква t на конце вместо d вызывала у буржуа громкие насмешки над великим писателем. Бесчестные журналисты оскорбляли в продажных газетах изгнанников 1815 года: Давид уже не был талантлив, Арно не был умен, Карно не был честен; Сулыт не выиграл ни одного сражения; Наполеон – и это правда – уже не был гениален. Ни для кого не секрет, что письма, адресованные по почте лицам, высланным за пределы Франции, очень редко до них доходили, ибо полиция считает своим священным долгом перехватывать их. Это факт далеко не новый; еще Декарт жаловался на него, находясь в изгнании. Когда Давид в одной из бельгийских газет высказал некоторое неудовольствие по поводу того, что не получает отправляемых ему писем, это показалось роялистской прессе весьма забавным, и она осыпала изгнанника насмешками. Одни говорили: «цареубийцы», а другие: «голосовавшие за казнь»; одни говорили: «враги», а другие: «союзники», одни говорили: «Наполеон», а другие: «Буонапарте», – и это разделяло людей, словно глубочайшая пропасть. Все здравомыслящие люди сходились на том, что эра революций была навсегда закончена королем Людовиком XVIII, прозванным «бессмертным автором хартии». На береговом откосе у Нового моста, на пьедестале, ожидавшем статую Генриха IV, вырезали слово Redivivus^[18]. Г-н Пье подготовлял в доме № 4 на улице Терезы тайное собрание с целью упрочить монархию. Ультрароялисты говорили в затруднительных случаях: «Надо написать Бако». Канюэль, О'Магони и де Шапделен, слегка поощряемые старшим братом короля, уже намечали то, чему впоследствии предстояло стать «Береговым заговором». Со своей стороны, общество «Черной булавки» тоже

составляло заговор. Делавердри столкнулся с Троговым. Г-н Деказ, до некоторой степени либерал, господствовал над умами. Шатобриан стоял каждое утро у своего окна в доме № 27 по улице Сен-Доминик, в панталонах со штрипками, в домашних туфлях, с шелковым платком на седой голове. Разложив перед собой целый набор инструментов дантиста, он, не отводя глаз от зеркала и заботливо осматривая свои прекрасные зубы, за которыми тщательно ухаживал, одновременно диктовал секретарю г-ну Пилоржу различные варианты «Монархии согласно хартии». Делававшая погоду критика отдавала предпочтение Лафону перед Тальма. Де Фелец подписывался буквой А; Гофман – буквой Z. Шарль Нодье писал «Терезу Обер». Развод был упразднен. Лицеи назывались коллежами. Ученики коллежей, с золотой лилией на воротничках, тузили друг друга из-за римского короля. Дворцовая тайная полиция доносила ее королевскому высочеству герцогине Шартрской о том, что на выставленном повсюду портрете герцог Орлеанский в мундире гусарского генерал-полковника имел более молодцеватый вид, нежели герцог Беррийский в мундире драгунского полковника, – крупная неприятность.

Город Париж за свой счет обновил позолоту на куполе Дома инвалидов. Серьезные люди спрашивали друг у друга, как поступил бы в том или ином случае г-н де Тренкелаг; г-н Клозель де Монталь расходился в некоторых вопросах с г-ном Клозелем де Кусерг; г-н де Салабери был недоволен. Автор комедий Пикар, принятый в члены Академии, куда не мог попасть автор комедий Мольер, ставил пьесу «Два Филибера» в Одеоне, на фронте которого по следам сорванных букв было еще совсем нетрудно прочесть: «Театр императрицы». Одни высказывались за Кюнье де Монтарло, другие против. Фабье был бунтовщиком; Баву был революционером. Книгопродавец Пелисье издавал Вольтера под следующим заголовком: «Сочинения Вольтера, члена Французской академии». «Это привлечет покупателей», – говорил сей наивный издатель. Общее мнение гласило, что г-н Шарль Луазон будет гением века; его уже начинала грызть зависть – признак славы, и про него написали такой стишок:

Луазон, воришка, плут,
Хоть в орла рядится он, —
Ножки сразу выдают,
Что гусенок – Луазон.

Так как кардинал Феш не пожелал добровольно отказаться от своих прав на Лионскую епархию, то ею теперь управлял де Пен, архиепископ Амазийский. Между Швейцарией и Францией возникли трения из-за Дапской долины, начавшиеся с докладной записки капитана Дюфура, впоследствии произведенного в генералы. Еще никому не ведомый Сен-Симон вынашивал величественную свою мечту. В Академии наук восседал знаменитый Фурье, теперь уже давно забытый потомством, а где-то на чердаке ютился другой, неизвестный Фурье, память о котором никогда не исчезнет. Уже начинала всходить звезда лорда Байрона; в примечании к одному из своих стихотворений Мильвуа возвестил о нем Франции, именуя его «неким лордом Байроном». Давид д'Анже делал уже попытки вдохнуть жизнь в мрамор. В узком кругу семинаристов, в безлюдном тупике Фельянтинок, аббат Карон с похвалой отзывался о неизвестном священнике Фелисите Робере, впоследствии превратившемся в Ламенне. Какая-то штука, которая дымила и пыхтела на Сене, издавая при этом такие же звуки, какие издает барахтающаяся в воде собака, сновала взад и вперед под окнами Тюильри от Королевского моста к мосту Людовика XV: это была никчемная механическая игрушка, выдумка пустоголового изобретателя, утопия – словом, это был пароход. Парижане равнодушно смотрели на эту бесполезную затею. Г-н де Воблан, преобразовавший Французский институт с

помощью государственного переворота, приказов и новых назначений, явился почтенным творцом нескольких академиков, но, совершив этот подвиг, сам так и не смог попасть в их число. Сен-Жерменское предместье и Марсанский павильон пожелали себе в префекты полиции г-на Делава по причине его благочестия. Дюпюитрен и Рекамье бранились в анатомическом театре Медицинской школы и, споря о божественном происхождении Иисуса Христа, готовы были надавать друг другу тумачков. Кювье, глядя одним глазом в Книгу Бытия, а другим на природу, стремился угодить реакционным ханжам, пытаясь примирить ископаемых с библейскими текстами и заставляя мастодонтов прославлять Моисея. Франсуа де Нефшато, достойный почитатель памяти Пармантье, усердно хлопотал о том, чтобы слово «картофель» произносилось как «пармантофель», что отнюдь не возымело успеха. Аббат Грегуар, бывший епископ, бывший член Конвента, бывший сенатор, был низведен роялистской полемикой в степень «презренного Грегуара». Оборот речи, который мы только что употребили: «низведен в степень», был объявлен неологизмом г-ном Руайе-Колларом. Под третьей аркой Иенского моста еще можно было отличить, по его белизне, новый камень, которым за два года до того было заложено отверстие пробоины, сделанной Блюхером, собиравшимся взорвать мост пороховой миной. Правосудие посадило на скамью подсудимых человека, который, увидев входящего в собор Парижской Богоматери графа д'Артуа, громко сказал: «Черт возьми! Как мне жаль того времени, когда Бонапарт и Тальма под руку являлись на Бал дикарей». Крамольные речи; полгода тюрьмы. Изменники распоясались; люди, которые накануне сражения перешли на сторону врага, не скрывали полученных наград и бесстыдно разгуливали среди бела дня, цинично хвастаясь богатством и чинами; дезертиры, показавшие себя при Линьи и при Катр-Бра, обнажали свои продажные душонки и верноподданнические чувства, забыв слова, написанные на внутренней стенке общественных уборных в Англии: Please adjust your dress before leaving^[19].

Вот что вперемежку всплывает на поверхности 1817 года, ныне забытого. История пренебрегает почти всеми этими своеобразными подробностями, и иначе поступить она не может: они затопили бы ее бесконечным своим потоком. А между тем эти подробности, несправедливо называемые мелкими, – полезны, ибо для человечества нет чересчур мелких фактов, как для растительного мира нет чересчур мелких листьев. Именно из физиономии отдельных лет и складывается облик столетий.

В этом-то 1817 году четверо юных парижан придумали «забавную шутку».

Глава 2

Двойной квартет

Парижане эти были: один из Тулузы, другой из Лиможа, третий из Кагора и четвертый из Монтобана; но они были студенты, а студент – это парижанин: учиться в Париже – все равно что родиться в Париже.

Эти молодые люди ничего значительного собой не представляли, всякому случалось видеть им подобных; четыре образчика «первого встречного», не добрые и не злые, не ученые и не невежды, не гении и не дураки, все они пленяли очарованием того апреля, имя которому «двадцать лет». То были просто четыре Оскара, ибо Артуров еще не существовало в ту эпоху. «Воскурите для него благовония Аравии, – восклицал романс, – Оскар идет, я увижу Оскара!» Увлечение Оссианом еще не остыло; образцом изящества считались скандинавы и шотландцы; подлинный английский стиль одержал верх лишь значительно позднее, и первый из Артуров, Веллингтон, только недавно выиграл сражение при Ватерлоо.

Этих Оскаров звали: одного – Феликс Толомьес из Тулузы, второго – Листолье из Кагора, третьего – Фамейль из Лиможа и последнего – Блашвель из Монтобана. Разумеется, у каждого из них была любовница. Блашвель любил Фавуритку, получившую это искаженное на английский лад имя после ее поездки в Англию; Листолье обожал Далию, избравшую своей кличкой название цветка; Фамейль боготворил Зефину – уменьшительное от Жозефины; Толомьес обладал Фантиной, прозванной Блондинкой за ее прекрасные волосы цвета солнца.

Фавуритка, Далия, Зефина и Фантина были четыре восхитительные девушки, благоуханные и сияющие, еще не совсем потерявшие облик работниц и не окончательно расставшиеся с иглой, немного выбитые из колеи любовными приключениями, но еще сохранившие на лицах душевную ясность – спутницу труда, а в душе пушок невинности, которая у женщины переживает ее первое падение. Одну из четырех называли молодой, потому что она была младшей, а другую называли старухой. «Старухе» было двадцать три года. Чтобы ничего не утаить, сознаемся, что первые три были более опытные, более легкомысленны и сильнее увлечены шумным потоком жизни, нежели Фантина-Блондинка, переживавшая пору своей первой иллюзии.

Далия, Зефина и в особенности Фавуритка не могли бы сказать о себе того же. Романтическая повесть их юности, едва начавшись, уже насчитывала не один эпизод, и влюбленный, который в первой главе носил имя Адольфа, во второй превращался в Альфонса, а в третьей в Гюстава. Бедность и кокетство – пагубные советчицы: первая брюзжит, а вторая льстит, и обе, каждая о своем, нашептывают что-то красивым девушкам из народа. Души, оставшиеся без присмотра, прислушиваются к этим голосам. В результате – падение, а потом и камни, которыми бросают в падших. Бедняжек подавляют блеском всего, что непорочно и неприступно. Увы, что случилось бы с Юнгфрау, если бы она испытала голод!

У Фавуритки, побывавшей в Англии, были две поклонницы – Зефина и Далия. Уже в ранней юности она жила совсем одна. Отец ее, старый учитель математики, грубиян и любитель прихвастнуть, не был женат и, несмотря на преклонный возраст, бегал по урокам. В молодости этот учитель увидел однажды, как горничная зацепилась юбкой за каминную решетку; этого случая оказалось довольно, чтобы он влюбился. В результате на свет появилась Фавуритка. Время от времени она встречалась с отцом на улице, и он раскланивался с нею. Однажды утром какая-то старая женщина, на вид святоша, вошла к ней в комнату и сказала: «Вы меня не узнаете, барышня?» – «Нет». – «Я твоя мать». Затем старуха открыла буфет, напилась и наелась, послала за своим тюфяком и водворилась у дочери. Эта мать, ворчунья и ханжа, ни о чем не говорила с Фавуриткой, часами сидела молча, завтракала, обедала и ужинала за четверых, а потом спускалась вниз посудачить с швейцаром, которому рассказывала гадости про свою дочь.

Причиной, которая свела Далию с Листолье, – а быть может, и не с одним Листолье, – и бросила ее в объятия праздности, были ее чересчур красивые розовые ногти. Ну как можно портить такие ногти грязной работой? Женщина, которая хочет остаться добродетельной, не должна беречь свои руки. Что касается Зефины, то она завоевала Фамейля своей задорной и вместе с тем ласковой манерой произносить: «Да, сударь».

Молодые люди были приятелями, молодые девушки стали подругами. Подобные любовные связи всегда сопровождаются такого рода дружбой.

Мудрость и целомудрие – вещи разные; доказательством этому служит то, что Фавуритка, Зефина и Далия – разумеется, если принять во внимание все необходимые оговорки относительно этих незаконных супружеств – были девушками мудрыми, а Фантина – девушкой целомудренной.

«Целомудренной? – спросите вы. – А Толомьес?» Соломон ответил бы, что любовь является частицей целомудрия. Мы же скажем только, что любовь Фантины была первой любовью,

любовью единственной и верной.

Из всех четырех лишь к ней одной обращался на «ты» только один мужчина.

Фантина принадлежала к числу тех созданий, какие порой расцветают, так сказать, в самых недрах народа. Выйдя из бездонных глубин социального мрака, она носила на своем челе печать безыменности и безвестности. Родилась она в городе Монрейле-Приморском. Кто были ее родители? Никто не мог бы ответить на это. Никто не знал ее матери, ее отца. Ее звали Фантиной. Почему Фантиной? Другого имени у нее не было. Когда она родилась, еще существовала Директория. У нее не было фамилии, потому что не было семьи; у нее не было имени, которое обычно дают при крещении, потому что в то время не было церкви. Ее стали звать так, как вздумалось окликнуть ее случайному прохожему, который встретил ее на улице босоногой девчонкой. Она приняла свое имя так же покорно, как принимала потоки воды, поливавшие ее непокрытую голову, когда шел дождь. Ее называли малюткой Фантиной. И это было все, что о ней знали. Так вступило в жизнь это человеческое существо. Десяти лет Фантина покинула город и поступила в услужение к каким-то фермерам в окрестностях города. Пятнадцати лет она явилась в Париж «искать счастья». Фантина была красива и оставалась непорочной так долго, как только могла. Это была хорошенькая блондинка с чудесными зубами. Приданое ее состояло из золота и жемчуга: золото – на головке, а жемчуг – во рту.

Она работала, чтобы жить; потом – тоже для того, чтобы жить, – она полюбила, ибо существует и сердечный голод.

Она полюбила Толомьеса.

Для него – любовное похождение, для нее – истинная страсть. Улицы Латинского квартала, кишашие толпами студентов и гризеток, видели начало ее грез. Фантина в этом лабиринте холма Пантеона, где происходит завязка и развязка стольких любовных приключений, долго избегала Толомьеса, но так, что каким-то образом везде встречала его. Есть такой способ избегать, который весьма напоминает способ искать. Короче говоря, пастушеская идиллия началась.

Блашвель, Листолье и Фамейль составляли нечто вроде кружка, главарем которого являлся Толомьес. Он-то и был умнее их всех.

Толомьес олицетворял уже исчезающий тип старого студента; это был богач с четырьмя тысячами франков ренты; четыре тысячи франков ренты – скандально много для горы Св. Женевьевы. Толомьес был тридцатилетний кутила, плохо сохранившийся, морщинистый и беззубый; кроме того, у него намечалась лысина, о которой сам он говорил без тени грусти: «В тридцать лет плешь, а в сорок – колено». У него плохо варил желудок и с некоторых пор начал слезиться один глаз. Но по мере того как угасала его молодость, он разжигал свою веселость; зубы он заменил остротами, волосы – жизнерадостностью, здоровье – иронией, а его плачущий глаз то и дело смеялся. Он был изношен и в то же время цвел пышным цветом. Его молодость, которая снялась с лагеря намного раньше срока, отступала в полном порядке, покатываясь со смеху и ослепляя всех своим блеском. Он сочинил пьесу, которую отверг театр «Водевиль». Время от времени он пописывал посредственные стишки. А главное, он высокомерно сомневался во всем на свете – великая сила в глазах слабых. Итак, обладая иронией и плешью, он был главарем. Iron – по-английски значит железо. Не от него ли произошло и слово ирония?

Однажды Толомьес отвел в сторону остальных трех членов компании и с загадочным видом сказал им:

– Скоро год, как Фантина, Далия, Зефина и Фавуритка просят, чтобы мы сделали им сюрприз. Мы торжественно обещали им это. Они то и дело напоминают нам о нашем обещании, и особенно мне. Как старухи в Неаполе кричат святому Януарию: «Faccia gialluta, fa o miracolo! – Желтолицый, сотвори чудо!» – так и наши красотки беспрестанно твердят мне:

«Толомьес, когда же ты разрешишься своим сюрпризом?» В то же самое время наши родители шлют нам бесконечные письма. Словом, пилят с обеих сторон. Мне кажется, что время пришло. Давайте потолкуем.

Тут Толомьес понизил голос и таинственно произнес нечто столь забавное, что взрыв громкого восторженного смеха одновременно вырвался из всех четырех глоток, и Блашвель вскричал: «Вот так мысль!»

По дороге им попался кабачок, полный табачного дыма, они зашли туда, и завеса мрака покрыла конец совещания.

Следствием этого темного дела явилась блистательная прогулка, которая состоялась в следующее же воскресенье и на которую четверо молодых людей пригласили четырех девиц.

Глава 3

Четыре пары

В наше время мы плохо представляем себе, чем была загородная прогулка студентов и гризеток сорок пять лет назад. Окрестности Парижа сейчас совсем не те; за полвека облик так называемой «околопарижской» жизни совершенно преобразился; прежняя двуколка сменилась вагоном, пакетбот – пароходом, и сегодня съездить в Фекан так же просто, как в Сен-Клу. Париж 1862 года – город, предместьем которого является вся Франция.

Четыре парочки добросовестно проделали все глупости, какие можно было проделать на свежем воздухе в то время. Каникулы только что начались, и стоял жаркий, солнечный летний день. Накануне Фавуритка, единственная из девушек, которая умела писать, написала Толомьесу от имени всех четырех записку следующего содержания: «Кто долго спит, тот счастье праспит». По этой-то причине они и поднялись в пять часов утра. Затем отправились дилижансом в Сен-Клу, осмотрели бездействовавший каскад, вскричав при этом: «Как это должно быть красиво, когда пускают воду», позавтракали в «Черной голове», куда еще не заглядывал отравитель Кастен, угостили себя игрой в кольца на обсаженной косыми рядами деревьев площадке у большого водоема, взобрались на Диогенов фонарь, сыграли в рулетку на миндальное печенье у Севрского моста, нарвали цветов в Пюто, купили дудок в Нельи, ели повсюду яблочные пирожные и были совершенно счастливы.

Девушки шумели и щебетали, словно малиновки, вырвавшиеся на волю. Они были в каком-то чаду. По временам они награждали молодых людей легкими шутивными шлепками. Опьянение утром жизни! Чудесные годы! Трепещущие крылья стрекоз! О, кто бы вы ни были, читатель, вспоминаете ли вы это? Приходилось ли вам сбегать, смеясь, по мокрому от дождя откосу вместе с любимой женщиной, которая восклицает, опираясь на вашу руку: «Ой, мои новые ботинки! На что они стали похожи!»

Надо заметить, что на сей раз веселая помеха в виде ливня миновала нашу жизнерадостную компанию, хотя, отправляясь в путь, Фавуритка и сказала наставительным и материнским тоном: «По дорожкам ползают улитки. Это к дождю, дети мои».

Все четыре девушки были дьявольски хороши собой. Некий поэт классической школы, пользовавшийся в то время большой известностью, шевалье де Лабуис, добродушный старичок, воспевавший свою Элеонору, бродил в тот день, около десяти часов утра, под сенью каштанов в Сен-Клу и, встретив подруг, вскричал, несомненно имея в виду трех граций: «Одна тут лишняя!» Фавуритка, возлюбленная Блашвеля, та, которой было двадцать три года, то есть «старушка», очертя голову неслась впереди всех под густыми зелеными ветвями, перепрыгивала через канавы, перескакивала через кусты и предводительствовала всеобщим весельем с пылом юной дриады. Зефина и Далия, которых случай создал так, что красота одной дополняла красоту

другой, причем каждая только выигрывала от сравнения с подругой, не расставались, побуждаемые не столько дружеской привязанностью, сколько инстинктивным кокетством, и, томно прислонившись друг к другу, принимали позы английских леди; первые «кипсеки» только что появились, меланхолия уже входила в моду у женщин, как несколько позже байронизм стал модой у мужчин, и волосы представительниц прекрасного пола уже начинали свисать грустными прядями; Зефина и Далия укладывали волосы валиком. Листолье и Фамейль занялись спором о своих профессорах и разясняли Фантине, чем г-н Дельвенкур отличался от г-на Блондо.

Блашвель, казалось, был создан исключительно для того, чтобы по воскресным дням носить на руке кашемировую шаль Фавуритки с цветной каймой по краям.

Толомьес шел сзади и руководил всей компанией. Он был очень весел, но в нем чувствовалось сознание власти; в его шутках сказывался диктатор. Главным украшением его особы были нанковые панталоны фасона «слоновой ноги» со штрипками из медных цепочек, в руке у него была массивная трость стоимостью в двести франков, и так как он позволял себе решительно все, то во рту у него торчала странная штука, именуемая сигарой. Для него не было ничего святого – он курил.

«Этот Толомьес просто изумителен! – с почтительным уважением говорили о нем приятели. – Какие панталоны! Какая энергия!»

Что касается Фантины, то это была сама радость. Ее чудесные зубы, несомненно, получили от бога определенное назначение – сверкать при улыбке. Свою шляпку из строченой соломки, с длинными белыми завязками, она охотнее носила не на голове, а на руке. Ее густые белокурые волосы, то и дело рассыпавшиеся и расплетавшиеся, вечно нуждались в шпильках и приводили на память образ Галатеи, бегущей под ивами. Ее розовые губы что-то восторженно лепетали. Уголки губ, сладострастно приподнятые, как на античных масках Эригоны, казалось, поощряли к вольностям, но длинные скромно опущенные ресницы, полные тайны, смягчали вызывающее выражение нижней части лица, словно предостерегая от вольных мыслей. Весь ее наряд производил впечатление чего-то певучего и сияющего. На ней было барежевое платье розовато-лилового цвета, маленькие темно-красные башмачки-котурны, с лентами, перекрещивающимися на тонких белых ажурных чулках, и тот самый муслиновый спенсер, который придумали марсельцы и название которого – «канзу», искаженное на канебьерский лад: quinze août – означало пятнадцатое августа, то есть хорошую погоду, зной, полдень. Остальные три девушки, как мы уже говорили, менее робкие, были откровенно декольтированы, что летом, при шляпках, украшенных цветами, придавало им очень изящный и задорный вид. Однако рядом с этими смелыми костюмами прозрачное канзу белокурой Фантины, с его нескромностью и недомолвками, что-то скрывающее и в то же время что-то обнажающее, казалось дерзкой находкой приличия, и, пожалуй, знаменитый суд любви, где председательствовала виконтесса де Сет, обладавшая глазами цвета морской воды, скорее вручил бы этому канзу приз за кокетливость, нежели за целомудрие, на которое оно претендовало. Нередко наивность оказывается величайшим искусством. Это бывает.

Ослепительный цвет лица, тонкий профиль, темно-голубые глаза, тяжелые веки, изящные маленькие ножки с высоким подъемом, восхитительные линии рук, белая кожа с сетью синих жилок, свежие детские щечки, сильная и гибкая шея эгинских Юнон, крепкий затылок, плечи, словно изваянные резцом Кусту, с двумя просвечивающими сквозь тонкий муслин сладострастными ямочками, веселость, слегка скованная мечтательностью, скульптурные, изысканные формы – вот Фантина; под тканями и лентами вы чувствовали статую и в этой статуе – живую душу.

Фантина была прекрасна, сама того не сознавая. Немногие мечтатели, таинственные

служители культа красоты, которые молча сравнивают с совершенством все, что они видят, уловили бы в юной швее сквозь прозрачную дымку парижского изящества античную и священную гармонию. В этой безвестной девушке чувствовалась порода. Она соединяла в себе и красоту стиля, и красоту ритма. Стил – форма идеала, ритм – его движение.

Мы уже сказали, что Фантина была сама радость; Фантина была также сама стыдливость.

Наблюдатель, внимательно присмотревшись к ней, заметил бы, что сквозь опьянение юностью, весной и любовью в ней просвечивало выражение непреодолимой сдержанности и скромности. Она всегда казалась слегка удивленной. Вот это целомудренное удивление и есть оттенок, отличающий Психею от Венеры. У Фантины были длинные, белые и тонкие пальцы весталки, которая ворошит пепел священного огня золотой булавкой. Хотя, как мы это слишком ясно увидим из дальнейшего, она ни в чем не отказала Толомьесу, лицо ее в минуты покоя выражало чистейшую непорочность; печать какого-то серьезного и почти строгого достоинства внезапно появлялась на нем в иные часы, и нельзя было без удивления и волнения смотреть, как быстро угасала на нем веселость и как, без всякого перехода, безмятежная ясность сменялась вдруг глубокой сосредоточенностью. Эта внезапная серьезность, порой выраженная очень резко, походила на высокомерие богини. Лоб, нос и подбородок представляли ту идеальную линию, совершенно отличную от идеальных пропорций, которая и обуславливает гармонию лица; а в характерном промежутке между основанием носа и верхней губой у нее была та едва заметная и очаровательная ямочка – таинственная примета целомудрия, – благодаря которой Барбаросса влюбился в Диану, найденную при раскопках в Иконии.

Любовь – грех, пусть так! Фантина была невинностью, всплывшей над пучиной греха.

Глава 4

Толомьес так весел, что поет испанскую песенку

Весь этот день от начала и до конца был соткан из лучей утренней зари. Казалось, что всю природу отпустили на каникулы и она ликует. Цветники Сен-Клу благоухали, дыхание Сены едва заметно шевелило листву деревьев, ветви покачивались от легкого ветерка, пчелы безжалостно грабили кусты жасмина, целая ватага бабочек налетела на тысячелистник, клевер и дикий овес; заповедным парком французского короля завладела шумная толпа беспутных бродяг – то были птицы.

Четыре веселые парочки, слившись с солнцем, полями, цветами, с лесом, сияли радостью жизни.

И в этом райском единении с природой молодые девушки болтали, смеялись, бегали взапуски, танцевали, гонялись за бабочками, рвали повилику, промачивая в высокой траве свои розовые ажурные чулки; юные, сумасбродные, отнюдь не строптивые, они то и дело получали поцелуи от каждого из мужчин – все, кроме Фантины, замкнувшейся в своей бессознательной, задумчивой и пугливой неприступности, – кроме той, которая любила. «Ты всегда разыгрываешь из себя недотрогу», – говорила ей Фавуритка.

Таковы истинные радости. Счастливые пары – это могучий призыв к жизни и к природе; при их появлении все сущее брызжет лаской и светом. Некогда жила фея, которая создала рощи и луга только для влюбленных. Так возникла бессмертная школа любовников, которая возрождается вновь и вновь и будет существовать до тех пор, пока будут существовать рощи и школьники. Вот почему весна увлекает мыслителей. Патриций и уличный точильщик, герцог, возведенный в достоинство пэра, и приказный, «придворные и горожане», как говорилось встарь, – все они подвластны этой фее. Все смеются, все ищут друг друга, воздух пронизан сиянием апофеоза – вот как преображает любовь! Жалкий писец нотариуса становится

полубогом. А эти легкие возгласы, это преследование друг друга в зеленой траве, эта девическая талия, которую обнимают на бегу, эти словечки, звучащие, как музыка, это обожание, выдающее себя интонацией одного слога, эти вишни, вырванные губами из губ, – все это искрит, проносясь мимо, в каком-то небесном ликовании. Красавицы сладостно и щедро расточают себя. Всем кажется, что это будет длиться вечно. Философы, поэты, художники взирают на эти восторги и, ослепленные, не знают, как отобразить их. «Отплытие на Киферу!» – восклицает Ватто; Ланкре, живописец, увековечивший разночинцев, созерцает своих горожан, улетающих в лазурь; Дидро раскрывает объятия всем влюбленным, а д'Юрфе видит среди них друидов.

После завтрака четыре парочки отправились в Королевский цветник, как его называли в то время, посмотреть на недавно привезенное из Индии растение, название которого мы не можем сейчас припомнить и которое привлекало тогда в Сен-Клу весь Париж; это было причудливое и прелестное деревцо с высоким стволом, с бесчисленными тонкими, как нити, растрепанными веточками, лишенными листьев, но покрытыми множеством крошечных белых розочек, отчего куст напоминал голову, всю усыпанную цветами. Около него всегда стояла толпа любопытных.

Осмотрев деревцо, Толомьес вскричал: «Угощаю осликами!» – и, договорившись с погонщиком о цене, компания пустилась в обратный путь через Ванв и Исси. В Исси – происшествие. Парк, конфискованный во время революции и перешедший к тому времени во владение поставщика армии Бургена, случайно оказался открытым. Они вошли за ограду, посетили пещеру с куклой-анакоретом, испытали на себе все таинственные эффекты знаменитой зеркальной комнаты – этой западни, достойной похотливого сатира, ставшего миллионером, или Тюркаре, преобразившегося в Приапа. Молодые люди как следует раскачали большую сетку-качели, висевшую меж двух каштанов, воспетых аббатом де Берни. Поочередно качая красавиц, среди дружного смеха и взлета юбок, образовывавших такие складки, которые восхитили бы самого Греза, Толомьес, уроженец Тулузы и немного испанец – ведь Тулуза двоюродная сестра Толозы, – напевал заунывным речитативом старинную испанскую песенку, должно быть тоже навеянную образом какой-нибудь красотки, высоко взлетающей на веревке меж двух деревьев:

Soy de Badajoz.
Amor me llama,
Toda mi alma
Es en mis ojos,

Porque enseñas
A tus piernas^[20].

Одна только Фантина отказалась качаться.

– Терпеть не могу, когда так ломаются, – пробормотала Фавуритка довольно едким тоном.

После катанья на ослах новое развлечение: переехали на лодке Сену и прошли пешком от Пасси до заставы Звезды. Как мы помним, молодежь была на ногах с пяти часов утра, но что из этого! «В воскресенье не устают, – говорила Фавуритка, – по воскресеньям усталость тоже отдыхает». Около трех часов дня четыре парочки, уже совсем ошалевшие от счастья, кубарем слетали с русских гор. Это странного вида сооружение находилось в то время на Божонских холмах, и его извилистая линия виднелась над верхушками деревьев Елисейских полей.

Время от времени Фавуритка восклицала:

- Ну, а сюрприз? Я требую сюрприза.
- Терпение, – отвечал Толомьес.

Глава 5

У Бомбарды

Исчерпав все прелести русских гор, компания стала подумывать об обеде, и сияющая восьмерка, наконец-то немного утомившаяся, осела в кафе «Бомбарда»; то был открытый на Елисейских полях филиал ресторана знаменитого Бомбарды, вывеска которого красовалась в те времена на углу улицы Риволи, рядом с пассажем Делорм.

Большая, но неуютная комната с альковым и кроватью в глубине ее (по случаю воскресенья ресторанчик был переполнен, и пришлось волей-неволей примириться с этим пристанищем), два окна, из которых сквозь листву вязов можно было созерцать набережную и реку; лучи великолепного августовского солнца, заглядывавшего в окна; два стола: на одном – гора пышных букетов вперемежку со шляпами, мужскими и дамскими, за другим – четыре парочки, сидящие перед веселым нагромождением блюд, тарелок, стаканов и бутылок; кружки пива, бутылки вина; не слишком большой порядок на столе и еще больший беспорядок под ним;

Там делали такое ногами под столом,
Что гром гремел, дрожало все кругом, —

как сказал Мольер.

Вот как обстояло дело в половине пятого вечера с пастушеской идиллией, начавшейся в пять часов утра. Солнце уже садилось, аппетит постепенно ослабевал.

Елисейские поля, залитые солнцем и толпой, были полны света и пыли, двух составных частей славы. Мраморные кони Марли взвивались на дыбы и словно ржали в золотистой дымке. Экипажи сновали взад и вперед. Эскадрон блестящих лейб-гвардейцев с горнистом во главе ехал по авеню Нельи; белое знамя, чуть порозовевшее в лучах заката, развевалось над куполом Тюильрийского дворца. Площадь Согласия, вновь переименованную в площадь Людовика XV, заливала радостная толпа гуляющих. У многих были в петлицах серебряные лилии на белых муаровых бантах, еще не совсем исчезнувшие в 1817 году. Хороводы маленьких девочек, окруженные кольцом аплодирующих зрителей, распевали знаменитую в то время песенку, прославлявшую Бурбонов и предназначенную для посрамления Ста дней, с таким припевом:

Верните нам отца из Гента,
Верните нашего отца.

Жители предместий, разодетые по-праздничному, а иногда, по примеру буржуа, тоже украшенные лилиями, шумными группами разбрелись по главной площади и по площади Мариньи, играли в кольца, катались на карусели, пили; типографские ученики разгуливали в бумажных колпаках; раздавались взрывы смеха. Все кругом ликовало. То была эпоха прочного спокойствия и полнейшей безопасности для роялистов; именно в те времена одно из секретных и подробных донесений префекта полиции Ангlesa к королю относительно предместий Парижа заканчивалось следующими словами: «По зрелому размышлению, ваше величество, нет никаких оснований опасаться этих людей. Они беззаботны и ленивы, как кошки. Простонародье

провинций беспокойно, а парижское – ничуть. Все это маленькие человечки. Чтобы выкроить одного гренадера вашего величества, понадобилось бы не менее двух таких карликов. Нет, со стороны столичной черни не предвидится ни малейшей угрозы. Интересно отметить, что за последние пятьдесят лет эти люди стали еще ниже ростом и теперь население парижских предместий мельче, чем до революции. Они совершенно не опасны. В общем – это добродушные каналы».

Префекты полиции не считают возможным, чтобы кошка могла превратиться в льва; однако это бывает, и в этом чудеснейшее свойство парижского народа. Впрочем, кошка, столь презируемая графом Англесом, пользовалась уважением в античных республиках, она являлась там воплощением свободы, и, подобно тому как в Пирее возвышалось изображение бескрылой Афины, в Коринфе на городской площади стояла колоссальная бронзовая статуя кошки. Простодушная полиция эпохи Реставрации видела парижский люд в чересчур розовом свете. Это далеко не «добродушные каналы», как думают некоторые. Парижанин по отношению к французу – то же, что афинянин по отношению к греку, никто не спит слаще его, ничье легкомыслие и лень не проявляются так открыто, никто, казалось бы, не умеет так быстро забывать, как он; и все же не следует слишком полагаться на все эти свойства; он способен на любое проявление беспечности; но когда перед ним забрезжит слава, его яростный пыл преисполняет вас восторженным изумлением. Дайте ему пику – и вы увидите 10 августа, дайте ему ружье – и вы увидите Аустерлиц. Он – точка опоры Наполеона и помощник Дантона. Речь идет об отечестве – он вербует в солдаты; речь идет о свободе – он разбирает мостовую и строит баррикады. Берегитесь! Власы его напоены гневом, словно у эпического героя; его блуза драпируется складками хламиды. Будьте осторожны. Первую попавшуюся улицу, хотя бы улицу Гренета, он превратит в Кавдинское ущелье. Пробьет час, и этот обыватель предместья вырастет, этот маленький человечек поднимется во весь рост, и взгляд его станет грозным, дыханье станет подобным буре, и из этой жалкой тщедушной груди вырвется вихрь, способный потрясти громады Альпийских гор. Именно благодаря жителю парижских предместий революция, соединившись с армией, завоевала Европу. Он поет – в этом его радость. Сообразуйте его песню с его натурой, и тогда вы увидите! Пока его припев всего лишь «Карманьола», он ниспровергает одного Людовика XVI; дайте ему запеть «Марсельезу» – и он освободит весь мир.

Написав на полях донесения Англеса эту заметку, возвращаемся к нашим четырем парам. Обед, как мы уже сказали, подходил к концу.

Глава 6, в которой все обожают друг друга

Застольные речи и любовные речи! Те и другие одинаково неуловимы: любовные речи – это облака, застольные – клубы дыма.

Фамейль и Далия что-то напевали; Толомьес пил; Зефина смеялась, Фантина улыбалась. Листолье трубил в деревянную дудочку, купленную в Сен-Клу. Фавуритка нежно поглядывала на Блашвеля и повторяла:

– Блашвель, я обожаю тебя.

Это вызвало у Блашвеля вопрос:

– А что бы ты сделала, Фавуритка, если бы я тебя разлюбил?

– Я! – вскричала Фавуритка. – Ах, не говори этого, даже в шутку! Если б ты разлюбил меня, я бы бросилась на тебя, искусала, исцарапала, облила бы тебя водой, заставила тебя арестовать.

Блашвель улыбнулся с плотоядным самодовольством фата, самолюбие которого приятно

пощекотали. Фавуритка продолжала:

– Да я бы попросту закричала: «Держи его!» Стану я с тобой церемониться, шельма ты этакая!

Блашвель в полном восторге откинулся на спинку стула и горделиво зажмурился.

Далия, не переставая что-то жевать, шепотом спросила Фавуритку среди общего гама:

– Так ты, значит, здорово влюблена в своего Блашвеля?

– Я-то? Да я его ненавижу, – так же тихо ответила Фавуритка, снова берясь за вилку. – Он скупой. Я люблю мальчика, который живет против меня. Такой милый молодой человек. Ты не знаешь его? И сразу видно, что он будет актером. Я очень люблю актеров. Как только он приходит домой, его мать говорит: «О господи, кончился мой покой! Вот сейчас он начнет кричать. Голубчик, да у меня просто голова разламывается!» Это потому, что он, знаешь ли, ходит по всему дому, забирается на чердаки, где полно крыс, во все темные углы и чуть не на самую крышу, начинает там петь, декламировать и всякое такое, да так громко, что его слышно в самом низу. Он и сейчас уже зарабатывает по двадцать су в день у одного адвоката, пишет ему какие-то кляузные бумаги. Отец его был певчим в церкви Сен-Жак-дю-О-Па. Ах, как он мил! Он до того в меня влюблен! Увидел как-то раз, что я развожу тесто для блинчиков – руки у меня были все в тесте, – да и говорит: «Мамзель, сделайте оладушки из ваших перчаток, и я их съем». Нет, только артисты способны так выражаться. Ах, как он мил! Я прямо готова потерять голову из-за этого мальчика. Но это ничего не значит, я говорю Блашвелю, что обожаю его. Вот врунья, а? Вот врунья! – Фавуритка помолчала немного, потом продолжала: – Знаешь, Далия, такая тоска! Все лето не переставая льет дождь, ветер меня раздражает, никак не унимается, а Блашвель ужасный скупердяй; на рынке ничего нет, один зеленый горошек, просто не знаешь, что и готовить. У меня сплин, как говорят англичане! Масло так дорого; и потом, погляди только, какая гадость, – мы обедаем в комнате, где стоит кровать; это окончательно отбивает у меня охоту жить на свете.

Глава 7

Мудрость Толомьеса

Пока одни пели, другие беспорядочно болтали; все голоса сливались в какой-то нестройный шум. Толомьес прервал его.

– Нечего нести вздор, да еще без передышки! – воскликнул он. – Для блестящей беседы надо обдумывать свои слова. Избыток импровизации понапрасну опустошает ум. Откупоренное пиво не пенится. Не спешите, господа. Давайте внесем в нашу попойку величие; будем есть сосредоточенно, будем пировать медленно. Не надо торопиться. Взгляните на весну: если она поторопится, то прогорит, вернее сказать – замерзнет. Чрезмерное рвение губит персиковые и абрикосовые деревья. Чрезмерное рвение убивает изящество и радость хороших обедов. Не слишком усердствуйте, господа. Гримо де ла Реньер вполне согласен на этот счет с Талейраном.

Глухой гул протеста раздался среди присутствовавших.

– Толомьес, оставь нас в покое, – сказал Блашвель.

– Долой тирана! – заявил Фамейль.

– Да здравствует кабак, кабацкое зелье, кабацкое веселье! – вскричал Листолье.

– На то и воскресенье, – продолжал Фамейль.

– Мы совершенно трезвы, – добавил Листолье.

– Толомьес, – произнес Блашвель, – оцени мою канальскую выдержку.

– Да, поистине монканальмскую, – скаламбурил Толомьес.

Эта посредственная игра слов произвела действие камня, упавшего в болото. Маркиз Монкальм был знаменитый в то время роялист. Все лягушки немедленно умолкли.

– Друзья, – вскричал Толомьес тоном человека, вновь обретшего авторитет, – придите в себя. Право же, этот каламбур, упавший с неба, не стоит того, чтобы его встретили таким оцепенением. Далеко не все, что падает оттуда, достойно восторженного почитания. Каламбур – это помет парящего в высоте разума. Шутка падает куда попало, и разум, разрешившись очередной глупостью, уносится в небесную лазурь. Белесоватое пятно, расплзшееся по скале, не мешает полету кондора. Я не собираюсь оскорблять каламбур. Я уважаю его, но в меру его заслуг, никак не более. Все самое возвышенное, самое прекрасное и самое привлекательное в человечестве, а может быть, и за пределами человечества, забавлялось игрой слов. Иисус Христос сочинил каламбур по поводу святого Петра. Моисей – по поводу Исаака, Эсхил – по поводу Полиника, Клеопатра – по поводу Октавия. Заметьте, что каламбур Клеопатры предшествовал битве при Акциуме и без него никто не вспомнил бы о городе Торине, что по-гречески значит – «поварешка». Установив это, возвращаюсь к моему призыву. Братья мои, повторяю вам: поменьше рвения, поменьше суматохи, поменьше излишеств даже в островах, в радостях, в веселье и в игре слов. Послушайте меня, обладающего благоразумием Амфиарая и лысиной Цезаря. Все хорошо в меру, даже словесные ребусы. *Est modus in rebus*^[21]. Все хорошо в меру, даже обеды. Вы, сударыни, любите яблочные оладьи, так не злоупотребляйте же ими. Даже яблочные оладьи требуют здравого смысла и искусства. Обжорство карает самого обжору – *gula punit gulax*. Расстройство пищеварения уполномочено господом богом читать мораль желудкам. И запомните вот что: каждая наша страсть, даже любовь, обладает своим желудком, который не следует обременять. Нужно уметь вовремя написать на всем слово *finis*^[22], нужно обуздывать себя, когда это становится необходимым, запирайте на замок свой аппетит, загоняйте в кутузку фантазию и отводить собственную особу в участок. Мудрец тот, кто способен в нужный момент арестовать самого себя. Доверьтесь мне хоть немного. Из того, что я, как-никак, занимался юридическими науками – а это подтверждают сданные мною экзамены, – из того, что я знаю разницу между процессом, подлежащим разбирательству, и процессом, находящимся в производстве, из того, что я защищал по-латыни диссертацию на тему о способах казни, применявшихся в Риме во времена, когда Мунаций Деменс был квестором по делам об отцеубийстве, из того, что я, по-видимому, буду доктором права, из всего этого, мне кажется, не так уж безусловно следует, чтобы я был круглым идиотом. Я рекомендую вам умеренность в желаниях. И я прав – это так же верно, как то, что меня зовут Феликс Толомьес. Счастлив тот, кто сумел вовремя принять героическое решение и отречься, как Сулла или как Ориген!

Фавуритка слушала с глубоким вниманием.

– Феликс! – сказала она. – Какое красивое слово! Мне нравится это имя. Оно латинское. Оно значит – Счастливец.

Толомьес продолжал:

– Квириды, джентльмены, кабаллерос, друзья мои! Хотите не чувствовать больше плотского вожделения, обходиться без брачного ложа и пренебречь любовью? Нет ничего проще! Рецепт таков: лимонад, усиленные физические упражнения, тяжелая работа; надрывайтесь, ворочайте каменные глыбы, не спите, бодрствуйте, пейте селитренные напитки и отвары из кувшинки, наслаждайтесь эмульсиями из мака и перца, приправьте все это строгой диетой, умирайте от голода, а ко всему этому прибавьте холодные ванны, пояс из трав, не забудьте свинцовую пластинку, растворы из эссенции Сатурна и примочки из сахарной воды с уксусом.

– Я предпочитаю женщину, – сказал Листолье.

– Женщину! – подхватил Толомьес. – Берегитесь женщины! Горе тому, кто вверит себя ее изменчивому сердцу! Женщина вероломна и изворотлива. Она ненавидит змею из

профессиональной зависти. Змея – это ее конкурент.

– Толомьес, ты пьян! – вскричал Блашвель.

– И еще как! – сказал Толомьес.

– В таком случае будь весел, – продолжал Блашвель.

– Согласен, – отвечал Толомьес.

И, наполнив свой стакан, он встал.

– Слава вину! Nunc te, Vacche, sanam!^[23] Прошу прощения у дам – это по-испански. И вот доказательство, сеньоры: каков народ – такова и посудина. Кастильская арроба вмещает шестнадцать литров, кантаро в Аликанте – двенадцать, альмуд Канарских островов – двадцать пять, куартин Балеарских островов – двадцать шесть, бочка царя Петра – тридцать. Да здравствует этот царь, который был великаном, и да здравствует его бочка, которая была еще больше, чем он! Сударыни, дружеский совет: не стесняйтесь путать своих соседей, сделайте одолжение! Ошибаться – неотъемлемое свойство любви. Любовное приключение создано не для того, чтобы ползать на коленях и доводить себя до оупения, словно английская служанка, которая натирает мозоли на коленках от вечного мытья полов. Оно создано не для того, и оно весело впадает в ошибки, это сладостное любовное приключение!

Кто-то сказал: «Человеку свойственно ошибаться»; я же говорю: влюбленному свойственно ошибаться. Сударыни, я боготворю вас всех. О Зефина, о Жозефина, ваше неправильное личико было бы прелестно, если бы все в нем было на месте. У вашей хорошенькой мордочки такой вид, словно однажды кто-то нечаянно сел на нее. Что касается Фавуритки – о нимфы и музы! – как-то раз, переходя через канаву на улице Герен-Буассо, Блашвель увидал красивую девушку, которая показывала свои ножки в белых, туго натянутых чулках. Этот пролог понравился ему, и он влюбился. Девушка, в которую он влюбился, оказалась Фавуриткой. О Фавуритка, у тебя ионические губы. Некогда существовал греческий живописец по имени Эвфорион, прозванный живописцем уст. Только этот грек был бы достоин нарисовать твой рот. Слушай же! До тебя не было в мире существа, достойного этого имени. Ты создана, чтобы получить яблоко, как Венера, или чтобы съесть его, как Ева. Красота начинается с тебя. Только что я упомянул Еву – это ты сотворила ее.

Ты вполне заслуживаешь патента на изобретение хорошенькой женщины. О Фавуритка, я больше не обращаюсь к вам на «ты», ибо перехожу от поэзии к прозе. Вы упомянули о моем имени. Это растрогало меня, но, кто бы мы ни были, не надо доверять именам. Они обманчивы. Меня зовут Феликс, но я не слишком счастлив. Слова лгут. Не надо слепо верить обозначениям, которые они дают нам. Было бы ошибкой обращаться за беарнскими пробками в Льеж, а за льежскими перчатками в Беарн. Мисс Далия, на вашем месте я бы назвал себя Розой. Цветок должен обладать ароматом, а женщина – умом. Я ничего не скажу о Фантине – это мечтательница, задумчивая, рассеянная, чувствительная; это призрак, принявший образ нимфы и облекшийся в целомудрие монахини, которая сбилась с пути и ведет жизнь гризетки, но ищет убежища в иллюзиях, которая поет, молится и созерцает лазурь, не отдавая себе ясного отчета в том, что она видит или делает; это призрак, который устремил взор в небеса и бродит по саду, где летает столько птиц, сколько не насчитаешь во всем реальном мире! О Фантина, знай: я, Толомьес, – всего лишь иллюзия. Да она и не слушает меня, эта белокурая дочь химер! Итак, все в ней свежесть, пленительность, юность, нежная утренняя прозрачность. О Фантина, дева, достойная называться маргариткой или жемчужиной, вы – сама расцветающая заря. Сударыни, второй совет: не выходите замуж; замужество – это прививка: быть может, она окажется удачной, а быть может, и неудачной; избегайте этого риска. Впрочем, что я! О чем я говорю с ними? Я только даром теряю слова. Там, где речь идет о свадьбе, девушки неизлечимы; и все, что можем сказать мы, мудрецы, не мешает жилетницам и башмачницам мечтать о мужьях,

осыпанных бриллиантами. Ну что ж, пусть будет так, но вот что вам надо запомнить, красавицы: вы едите слишком много сахара. У вас только один недостаток, о женщины, вы вечно грызете сахар! О пол грызунов, твои хорошенькие беленькие зубки обожают сахар! Так вот, слушайте внимательно, сахар – это соль. Всякая соль сушит. А сахар сушит сильнее, нежели все остальные соли. Он высасывает через вены жидкие элементы крови; отсюда свертывание, а затем застой крови; отсюда бугорки в легких; отсюда смерть. И вот почему сахарная болезнь граничит с чахоткой. Итак, не грызите сахар, и вы будете жить! Перехожу к мужчинам. Господа, одерживайте победы. Без зазрения совести отнимайте возлюбленных друг у друга. Как в кадрили, сходитесь, расходитесь с дамами. В любви нет дружбы. Где есть хорошенькая женщина, там открыта дорога вражде. Никакой пощады, война не на жизнь, а на смерть! Хорошенькая женщина – это *casus belli*^[24]; хорошенькая женщина – это повод для преступления. Все набеги, какие знает история, вызваны женской юбкой. Женщина по праву принадлежит мужчине. Ромул похищал сабинянок, Вильгельм – саксонок, Цезарь – римлян. Человек, у которого нет возлюбленной, как ястреб, парит над чужими любовницами; и что касается меня, то я обращаю ко всем этим несчастным бобылям великолепный клич Бонапарта, брошенный им итальянской армии: «Солдаты, у вас ничего нет. У врага есть все».

Толомьес остановился.

– Передохни, Толомьес, – сказал Блашвель.

И тотчас Блашвель затянул, а Листолье и Фамейль дружно подхватили одну из тех песен мастеровых, с жалобным напевом, которые сложены из первых попавшихся слов, рифмованных или даже вовсе без рифмы, столь же бессмысленных, сколь бессмысленны движения древесных веток и шум ветра, песен, которые зарождаются в дыму трубок, улетаая и исчезая с ним вместе. Вот каким куплетом ответила эта троица на речь Толомьеса:

Отцов-глупцов не в меру
Снабжали прихожане,
Чтобы Клермон-Тонеру
Стать папою в Сен-Жане.
Но кто родился шляпой,
Вовек не будет папой.
И у отцов-глупцов приход
Забрал обратно весь доход.

Однако этого оказалось недостаточно, чтобы охладить импровизаторский пыл Толомьеса; он осушил свой стакан, вновь наполнил его и продолжал:

– Долой мудрость! Забудьте все, что я вам говорил. К чему нам благомыслие, благонравие, благопристойность? Предлагаю тост за веселье! Будем веселы! Пополним наш курс юридических наук безрассудством и пищей. Да здравствует процесс судебного разбирательства и процесс пищеварения. Пусть Юстиниан и Пирушка вступят в брак! О радость глубин! Живи, мироздание! Мир – это крупный бриллиант. Я счастлив. Птицы изумительны. Как празднично все кругом! Соловей – это бесплатный Элевю. Приветствую тебя, лето. О Люксембургский сад! О георгики, которые разыгрываются на улице Принцессы и в аллее Обсерватории! О задумчивые солдатики! О прелестные нянюшки! Они пасут детей и попутно забавляются любовью! Мне могли бы понравиться американские пампасы, не будь у меня аркад Одеона. Душа моя уносится в девственные леса и в саванны. Все прекрасно. В сиянии лучей жужжат мухи. Солнце чихнуло, и родился колибри. Поцелуй меня, Фантина!

Он ошибся и поцеловал Фавуритку.

Глава 8

Смерть лошади

– А ведь у Эдона лучше кормят, чем у Бомбарды! – вскричала Зефина.

– Я предпочитаю Бомбарду, – заявил Блашвель. – Здесь больше роскоши. Больше азиатчины. Посмотрите на нижний зал. Стены сверкают зеркалами.

– Лучше б у них так сверкали тарелки, – возразила Фавуритка.

Блашвель настаивал на своем:

– Посмотрите на ножи. У Бомбарды ручки серебряные, а у Эдона костяные. А ведь серебро дороже кости.

– Только не для тех, у кого вставная челюсть из серебра, – заметил Толомьес.

Он смотрел в эту минуту на купол Дома инвалидов, видневшийся из окон ресторанчика.

Наступило молчание.

– Толомьес! – вскричал Фамейль. – Только что у нас с Листолье был спор.

– Спор хорошая вещь, – ответил Толомьес, – но ссора лучше.

– Мы спорили о философах.

– Отлично.

– Ты кому отдаешь предпочтение – Декарту или Спинозе?

– Дезожье, – сказал Толомьес.

Вынеся это безапелляционное решение, он выпил и продолжал:

– Я согласен жить. Не все еще кончено на земле, пока можно молоть вздор. Воздаю хвалу за это бессмертным богам. Мы лжем, но и смеемся. Мы утверждаем, но и сомневаемся. Это прекрасно. Неожиданности выскакивают из силлогизма. Есть еще на земле смертные, которые умеют весело отпирать и запирать потайной ящичек с парадоксами. Знайте, сударыни, вино, которое вы пьете с таким безучастным видом, – это мадера из виноградников, которые находятся на высоте трехсот семнадцати туаз над уровнем моря! Вдумайтесь в эту цифру, когда будете пить его! Триста семнадцать туаз! А господин Бомбарда, наш великолепный трактирщик, отдает вам эти триста семнадцать туаз за четыре франка пятьдесят сантимов!

Тут его опять прервал Фамейль:

– Толомьес, твое мнение – закон. Кто твой любимый автор?

– Бер...

– ...кен?

– Нет... шу.

И Толомьес продолжал:

– Слава Бомбарде! Он мог бы сравниться с Мунофисом Элефантинским, если бы нашел мне алмею, и с Тигелионом Керонейским, если бы раздобыл мне гетеру. Ибо знайте, о сударыни, что в Греции и в Египте тоже имелись свои Бомбарды. Мы знаем об этом от Апулея. Увы! Всегда одно и то же, и ничего нового. Ничего неизведанного не осталось более в творениях творца! «Nil sub sole novum»^[25], – сказал Соломон; «Amor omnibus idem»^[26], – сказал Вергилий; и медикус со своей подружкой, отправляясь в Сен-Клу, садятся в галиот точно так же, как Аспазия с Периклом восходили на одну из галер Самосской эскадры. Еще два слова. Известно ли вам, сударыни, кто такая была Аспазия? Несмотря на то что она жила в те времена, когда женщины еще не обладали душой, у нее, однако, была душа – душа, отливавшая розой и пурпуром, жгучая, как пламя, свежая, как утренняя заря. Аспазия была существом, в котором соединялись

два противоположных женских типа: распутницы и богини. В ней жили Сократ и Манон Леско. Аспазия была создана на тот случай, если бы Прометею понадобилась публичная девка.

Толомьес увлекся, и остановить его было бы нелегко, если бы в эту самую минуту на набережной не упала лошадь. От сотрясения и телега и оратор остановились как вкопанные. Это была старая и тощая кляча, вполне заслуживавшая места на живодерне и тащившая тяжело нагруженную телегу. Поравнявшись с ресторанчиком Бомбарды, одёр, выбившись из последних сил, отказался идти дальше. Это происшествие привлекло толпу любопытных. Едва успел негодующий возчик произнести с подобающей случаю энергией сакраментальное словцо «тварь!», подкрепив его безжалостным ударом кнута, как животное упало, с тем чтобы уже никогда больше не подняться. Отвлеченные шумом, веселые слушатели Толомьеса посмотрели в окно, и Толомьес, воспользовавшись этим, завершил свое краткое выступление следующим меланхолическим четверостишием:

Ей был отчизной мир, где возу и карете
Равно враждебен темный рок.
И, разделив судьбу всех кляч на этом свете,
Она сломилась, как цветок.

– Бедная лошадка! – вздохнула Фантина.

А Даля вскричала:

– Вот те на! Фантина, кажется, собирается оплакивать лошадей. Надо же быть такой дурой!

Тут Фавуритка, скрестив руки и откинув голову назад, посмотрела на Толомьеса и спросила решительным тоном:

– Ну, а где же сюрприз?

– Совершенно верно. Час пробил, – ответил Толомьес. – Господа, время удивить наших дам настало. Сударыни, обождите нас здесь несколько минут.

– Сюрприз начинается с поцелуя, – сказал Блашвель.

– В лоб, – добавил Толомьес.

Каждый запечатлел на лбу своей возлюбленной торжественный поцелуй, потом все четверо гуськом направились к двери, таинственно приложив палец к губам.

Фавуритка захлопала в ладоши.

– Это уже и сейчас интересно, – сказала она.

– Только не уходите надолго, – негромко проговорила Фантина. – Мы вас ждем.

Глава 9

Веселый конец веселья

Оставшись одни, девицы по двое оперлись на подоконники и принялись болтать, высываясь из окон и перебрасываясь шутками.

Они увидели, как молодые люди вышли под руку из кабачка Бомбарды, потом обернулись, с улыбкой кивнули им головой и растворились в пыльной воскресной толпе, ежедневно наводняющей Елисейские поля.

– Возвращайтесь поскорее! – крикнула Фантина.

– Интересно знать, что они принесут нам? – сказала Зефина.

– Уж конечно, что-нибудь красивое, – ответила Даля.

– Мне бы хотелось, – сказала Фавуритка, – чтобы это было что-нибудь золотое.

Вскоре они загляделись на экипажи, проносившиеся по набережной, еле различимые сквозь ветви высоких деревьев и целиком поглощавшие их внимание. Был час отправления почтовых карет и дилижансов. Почти все дорожные кареты, которые держали путь на юг и на запад, проезжали в то время через Елисейские поля. Большей частью они следовали вдоль набережной и выезжали через заставу Пасси. Ежеминутно огромная, желтая с черным, тяжело нагруженная и шумно громыхающая колымага, бесформенная под грудой покрытых брезентом сундуков, над которыми торчало множество тут же исчезающих голов, дробя мостовую и превращая каждый булыжник в огниво, бешено врзалась в толпу; она рассыпала искры, словно горн, окутанная вместо дыма клубами пыли. Этот содом веселил молодых девушек. Фавуритка восклицала:

– Ну и грохот! Можно подумать, что мчится целый ворох железных цепей.

Одна из таких повозок, чуть видная сквозь густую зелень вязов, на миг остановилась и снова понеслась дальше. Это удивило Фантину.

– Как странно! – сказала она. – Я думала, что дилижансы никогда не останавливаются по пути.

Фавуритка пожала плечами.

– Нет, эта Фантина просто поражает меня. Я иной раз захожу к ней просто из любопытства. Ее удивляют самые обыкновенные вещи. Ну, представь себе, что я пассажир и говорю кондуктору дилижанса: «Я пойду вперед, а вы захватите меня на набережной, когда будете проезжать мимо». Кондуктор замечает меня, останавливается, и я еду дальше. Это случается сплошь и рядом. Ты, милочка, совсем не знаешь жизни.

Так прошло некоторое время. Вдруг Фавуритка вздрогнула, словно пробуждаясь от сна.

– Что же это? – произнесла она. – А сюрприз?

– Да, да, – подхватила Далия, – где же этот знаменитый сюрприз?

– Как долго их нет, – вздохнула Фантина.

Не успела она договорить эти слова, как в комнату вошел слуга, подававший им обед. В руке он держал что-то, похожее на письмо.

– Что это? – спросила Фавуритка.

Лакей ответил:

– Это, сударыня, записка, которую изволили оставить для вас те господа.

– Почему же вы не принесли ее сразу?

– Потому, – отвечал слуга, – что господа приказали передать ее вам не раньше чем через час.

Фавуритка быстро вырвала бумагу из его рук. Это и в самом деле было письмо.

– Странно! – сказала она. – Адреса нет. Но вот что здесь написано:

«Это и есть сюрприз».

Она поспешно распечатала письмо, развернула его и прочла (она умела читать):

– «О возлюбленные!

Знайте, что у нас есть родители. Вам не очень хорошо известно, что такое родители. В гражданском кодексе, добропорядочном и наивном, так называют отца и мать. И вот эти родители охают и вздыхают, эти старички призывают нас к себе, эти добрые мужья и жены называют нас блудными сыновьями; они жаждут нашего возвращения и собираются заковать тельцов в нашу честь. Будучи добродетельны, мы повинемся им. В ту минуту, когда вы будете читать эти строки, пять горячих коней уже будут мчать нас к папашам и мамашам. Выразаясь высоким слогом Боссюэ, мы

дали стрекача. Мы уезжаем, мы уехали. Мы несемся в объятия Лафита на крыльях Кальяра. Тулузский дилижанс спасет нас от бездны, а бездна – это вы, о прекрасные наши малютки! Мы возвращаемся в лоно общества, долга и порядка, возвращаемся рысью, со скоростью трех лье в час. Интересы отчизны требуют, чтобы мы, подобно всем остальным людям, стали префектами, отцами семейств, провинциальными судейскими чиновниками и государственными советниками. Отнесите же к нам с глубоким уважением. Мы приносим себя в жертву. Постарайтесь не оплакивать нас долго и поскорее заменить нас другими. Если это письмо разорвет вам сердце, сделайте с ним то же. Прощайте.

Почти два года мы дарили вам счастье. Не поминайте же нас лихом.

Подписались:

Блашвель.

Фамейль.

Листолье.

Феликс Толомьес.

Post-scriptum. За обед заплачено».

Четыре девушки переглянулись.

Фавуритка первая нарушила молчание.

– Что ж! – воскликнула она. – Как-никак, это забавная шутка.

– Да, очень смешно, – подтвердила Зефина.

– Это, должно быть, выдумка Блашвеля, – продолжала Фавуритка. – Если так, я просто готова в него влюбиться. Что пропало, то в сердце запало. Вот так история.

– Нет, – сказала Далия, – это выдумка Толомьеса. Тут не может быть никакого сомнения.

– В таком случае, – возразила Фавуритка, – смерть Блашвелю и да здравствует Толомьес!

– Да здравствует Толомьес! – подхватили Далия и Зефина.

И покатались со смеху.

Фантина смеялась вместе с остальными.

Но часом позже, вернувшись в свою комнату, она заплакала. То была, как мы уже говорили, ее первая любовь; она отдалась Толомьесу, как мужу, и у бедной девушки был от него ребенок.

Глава 1,

в которой одна мать встречает другую мать

В первой четверти нашего столетия в Монфермейле, близ Парижа, стояла маленькая харчевня, ныне уже не существующая. Харчевню эту содержали люди по имени Тенардье, муж и жена. Она находилась в улочке Хлебопеков. Над дверью прямо к стене была прибита доска, а на доске было намалевано что-то похожее на человека, который нес на спине другого человека, причем на последнем красовались широкие золоченые генеральские эполеты с большими серебряными звездами; красные пятна означали кровь; остальную часть картины заполнял дым, и, по-видимому, она изображала сражение. Внизу можно было разобрать следующую надпись: «Ватерлооский сержант».

Нет ничего обыденнее вида повозки или телеги, стоящей у дверей какого-нибудь трактира. И тем не менее колымага, или, вернее сказать, обломок колымаги, заграждавший улицу перед харчевней «Ватерлооский сержант», в один из весенних вечеров 1818 года, несомненно, привлек бы своей громадой внимание живописца, если бы ему случилось пройти мимо.

Это был передок роспусков, какие в лесных районах обычно служат для перевозки толстых досок и бревен. Передок этот состоял из массивной железной оси с сердечником, на который надевалось тяжелое дышло; ось поддерживали два огромных колеса. Все вместе представляло собой нечто приземистое, давящее, бесформенное и напоминало лафет гигантской пушки. Дорожная грязь и глина облепили колеса, ободья, ступицы, ось и дышло толстым слоем замазки, напоминавшей ту отвратительную бурую охру, которой часто окрашивают соборы. Дерево пряталось под грязью, а железо – под ржавчиной. Под осью свисала полукругом толстая цепь, достойная плененного Голиафа. Эта цепь вызывала представление не о тех бревнах, которые ей полагалось поддерживать при перевозках, а о мастодонтах и мамонтах, для которых она вполне могла служить путами; что-то в ней напоминало каторгу, но каторгу циклопическую и сверхчеловеческую; казалось, она была снята с какого-то чудовища. Гомер сковал бы ею Полифема, а Шекспир – Калибана.

Для чего же эти роспуски стояли здесь, посреди дороги? Во-первых, для того, чтобы загородить ее, а во-вторых – чтобы окончательно заржаветь. У ветхого социального строя имеется множество установлений, которые так же открыто располагаются на пути общества, не имея для этого никаких иных оснований.

Середина цепи спускалась почти до земли, и в этот вечер на ней, словно на веревочных качелях, сидели, слившись в восхитительном объятии, две маленькие девочки; одной было года два с половиной, другой – года полтора, и старшая обнимала младшую. Искусно завязанный платок предохранял их от падения. Очевидно, какая-то мать увидела эту страшную цепь и подумала: «Да ведь это отличная игрушка для моих малюток!»

Обе малютки, одетые довольно мило и даже изящно, излучали сияние; это были две розы, распустившиеся среди ржавого железа; глаза их светились восторгом, свежие щечки смеялись. У одной девочки волосы были русые, а у другой – темные. Их наивные личики выражали восторженное изумление; цветущий кустарник, росший рядом, овеивал прохожих своим благоуханием, и казалось, что оно исходит от малюток; полутороговая с целомудренным бесстыдством младенчества показывала свой нежный голенький животик. Над этими нежными головками, осиянными счастьем и окропленными светом, высился гигантский передок телеги,

весь почерневший от ржавчины, почти страшный, напоминавший своими резкими кривыми линиями и углами вход в какую-то пещеру. Сидя поблизости от них на крылечке харчевни, мать, женщина не слишком привлекательного вида, но в эту минуту вызывавшая чувство умиления, раскачивала детей с помощью длинной веревки, привязанной к цепи, и, боясь, как бы они не упали, не сводила с них глаз, в которых было животное и в то же время божественное выражение, свойственное материнству. При каждом взмахе звенья отвратительной цепи издавали пронзительный скрежет, похожий на гневный окрик; малытки были в восторге, заходящее солнце разделяло их радость, и ничто не могло быть очаровательнее этой игры случая, превратившей цепь титанов в качели для херувимов.

Мать раскачивала детей и фальшиво напевала модный в те времена романс:

– Так надо, – рыцарь говорил...

Поглощенная пением и созерцанием своих девочек, она не слышала и не видела того, что происходило на улице.

Между тем, когда она пела первый куплет романса, кто-то подошел к ней, и вдруг, почти над самым ухом, она услышала слова:

– Какие у вас хорошенькие детки, сударыня.

– Прекрасной, нежной Иможине, —

ответила мать, продолжая свой романс, и обернулась.

Перед ней в двух шагах стояла женщина. У этой женщины тоже был маленький ребенок; она держала его на руках.

Кроме того, она несла довольно большой и, видимо, очень тяжелый дорожный мешок.

Ее ребенок был божественнейшим в мире созданием. Это была девочка двух-трех лет. Кокетливостью наряда она смело могла поспорить с двумя другими девочками; поверх чепчика, отделанного кружевцем, на ней была надета тонкая полотняная косыночка; кофточка была обшита лентой. Из-под завернувшейся юбочки виднелись пухленькие белые и крепкие ножки. Цвет лица у нее был чудесно розовый и здоровый. Щечки хорошенькой малытки, словно яблочки, вызвали желание укусить их. О глазах девочки трудно было сказать что-либо, кроме того, что они были, очевидно, очень большие и осенялись великолепными ресницами. Она спала.

Она спала безмятежным, доверчивым сном, свойственным ее возрасту. Материнские руки – воплощение нежности; детям хорошо спится на этих руках.

Что касается матери, то она казалась печальной. Ее убогая одежда выдавала в ней работницу, которая собирается снова стать крестьянкой. Она была молода. Красива ли? Возможно, но в таком наряде это было незаметно. Судя по выбившейся белокурой пряди, волосы у нее были очень густые, но они сурово прятались под монашеским чепцом, некрасивым, плотным, узким и завязанным под самым подбородком. Улыбка обнажает зубы, и вы любуетесь ими, если они красивы, но эта женщина не улыбалась. Глаза ее, казалось, давно уже не просыхали от слез. Она была бледна; у нее был усталый и немного болезненный вид; она смотрела на дочь, заснувшую у нее на руках, тем особенным взглядом, какой бывает только у матери, выкормившей своего ребенка грудью. Большой синий платок, вроде тех, какими утираются инвалиды, сложенный косынкою, неуклюже спускался ей на спину. Ее загорелые

руки были покрыты веснушками, и кожа на исколотом иглой указательном пальце сильно огрубела; на ней была коричневая грубой шерсти накидка, бумажное платье и тяжелые башмаки. Это была Фантина.

Это была Фантина. Почти неузнаваемая. И все же, приглядевшись к ней повнимательней, вы бы заметили, что она все еще была красива. Грустная морщинка, в которой начинала сквозить ирония, появилась на ее правой щеке. Что касается ее наряда, ее воздушного наряда из муслина и лент, казавшегося сотканным из веселья, безумства и музыки, – наряда, словно звучащего трелью колокольчиков и распространявшего аромат сирени, то он исчез, как те блестящие звездочки инея, которые на солнце можно принять за бриллианты; они тают, и обнажается черная ветка.

Десять месяцев прошло со дня «забавной шутки».

Что же произошло за эти десять месяцев? Об этом нетрудно догадаться.

Оказавшись покинутой, Фантина сразу узнала нужду. Она сейчас же потеряла из вида Фавуритку, Зефину и Далию. Узы, расторгнутые мужчинами, были разорваны и женщинами; две недели спустя эти юные особы очень удивились бы, если б кто-нибудь напомнил им о прежней дружбе: для нее уже не было больше никаких оснований. Фантина осталась одна. Когда отец ее ребенка уехал – увы, подобные разрывы всегда бесповоротны, – она оказалась совершенно одинокой, причем привычка ее к трудовой жизни ослабела, а склонность к развлечениям возросла. Связь с Толомьесом повлекла за собой пренебрежение к ее скромному ремеслу, она забросила прежних своих заказчиков, и теперь их двери для нее закрылись. Никаких средств к существованию. Фантина едва умела читать и совсем не умела писать; в деревне ее научили только подписывать свое имя; она обратилась к уличному писцу, который и написал по ее поручению письмо к Толомьесу, затем второе, третье. Ни на одно из них Толомьес не ответил. Как-то раз Фантина услышала, как две кумушки, глядя на ее ребенка, говорили: «Разве кто-нибудь принимает всерьез таких детей? Пожимают плечами и только!» Тогда она подумала о Толомьесе, который пожимал плечами при мысли о своем ребенке и не принимал всерьез это невинное создание, и сердце ее ожесточилось против этого человека. Но что же ей предпринять? Несчастливая не знала, к кому обратиться. Она согрешила, это правда, но в глубине души, мы уже говорили об этом, она была целомудренной и чистой. Она смутно почувствовала, что близка к отчаянию и может соскользнуть в пропасть. Необходимо было мужество: она вооружилась им и обрела силы. Ей пришла в голову мысль вернуться в свой родной город, в Монрейль-Приморский. Быть может, там найдется кто-нибудь из знакомых и ей дадут работу. Да, но придется скрывать свой грех. И у нее возникло неясное предчувствие новой разлуки, еще более тяжелой, чем первая. Сердце ее сжалось, но она не отступила от своего решения. Фантина, как мы увидим дальше, обладала суровым бесстрашием пред невзгодами. Она мужественно отказалась от нарядов, начала носить простые холщовые платья, а все свои шелка, все свои уборы, все ленты и кружева употребила на дочь – единственный оставшийся у нее повод для тщеславия, на сей раз святого. Она продала все, что имела, и получила за это двести франков; после уплаты разных мелких долгов у нее осталось очень мало – около восьмидесяти франков. Ей было двадцать два года, когда в прекрасное весеннее утро она покинула Париж, унося на руках свое дитя. Всякий, кто встретил бы на дороге эти два существа, проникся бы жалостью. У этой женщины не было в мире никого, кроме этого ребенка, а у этого ребенка не было в мире никого, кроме этой женщины. Фантина сама кормила дочь; это надорвало ей грудь, и она немного покашливала.

Нам не придется больше говорить о г-не Феликсе Толомьесе. Скажем только, что двадцать лет спустя, в царствование короля Луи-Филиппа, это был крупный провинциальный адвокат, влиятельный и богатый, благоразумный избиратель и весьма строгий присяжный; такой же

любитель развлечений, как и прежде.

К концу дня Фантина, проделавшая для отдыха часть пути в так называемых «одноколках парижских окрестностей», которые брали от трех до четырех су за лье, очутилась в Монфермейле, на улице Хлебопеков.

Когда она проходила мимо харчевни Тенардье, две девочки, которые с восторгом раскачивались на своих чудовищных качелях, словно ослепили ее, и она остановилась перед этим радостным видением.

Чары существуют. Эти две девочки очаровали эту мать.

Она смотрела на них глубоко взволнованная. Присутствие ангелов возвещает близость рая. Она словно увидела над этой харчевней таинственное ЗДЕСЬ, начертанное провидением. Малютки, несомненно, были счастливы. Она смотрела на них, восхищалась ими и пришла в такое умиление, что, когда мать остановилась, чтобы перевести дыхание между двумя фразами своей песенки, она не выдержала и сказала ей те слова, которые мы уже привели выше:

– Какие у вас хорошенькие детки, сударыня.

Самые свирепые существа смягчаются, когда ласкают их детенышей. Мать подняла голову, поблагодарила и предложила прохожей присесть на скамье перед дверью; сама она сидела на пороге. Женщины разговорились.

– Меня зовут госпожа Тенардье, – сказала мать двух девочек. – Мы с мужем держим этот трактир.

И, вернувшись к своему романсу, она снова замурлыкала:

– Так надо, – рыцарь повторил, —
Я уезжаю в Палестину.

Мамаша Тенардье была рыжая, плотная и неуклюжая женщина, тип «солдата в юбке» во всей его непривлекательности. И странная вещь – на лице ее лежало выражение томности, которым она была обязана чтению романов. Это была мужеподобная жеманница. Старинные романы, зачитанные до дыр не лишенными воображения трактирщицами, иной раз оказывают именно такое действие. Она была еще молода; пожалуй, не старше тридцати лет. Возможно, если бы эта сидевшая на крыльце женщина стояла, то ее высокий рост и широкие плечи, под стать великанше из ярмарочного балагана, с самого начала испугали бы путницу, поколебали бы ее доверие, и тогда не случилось бы того, о чем нам предстоит рассказать. Сидел человек или стоял – вот от чего иногда может зависеть судьба другого человека.

Путешественница рассказала свою историю, несколько изменив ее.

Она работница; муж ее умер; с работой в Париже стало туго, и вот она идет искать ее в другом месте, на родине. Из Парижа она вышла только сегодня утром, но она несла на руках ребенка, поэтому она устала и села в проезжавший мимо вилемонбльский дилижанс; из Вилемонбля до Монфермейля она опять брела пешком; правда, девочка шла иногда ножками, но очень мало – она ведь еще такая крошка. Пришлось снова взять ее на руки, и ее сокровище уснуло.

Тут она поцеловала свою дочку таким страстным поцелуем, что разбудила ее. Девочка открыла глаза, большие голубые глаза, такие же, как у матери, и стала смотреть... На что? Да ни на что и на все, с тем серьезным, а порой и строгим выражением, которое составляет у маленьких детей тайну их сияющей невинности, столь отличной от сумерек наших добродетелей. Можно подумать, что они чувствуют себя ангелами, а в нас видят всего лишь людей. Потом девочка рассмеялась и, несмотря на то что мать удерживала ее, соскользнула на

землю с неукротимой энергией маленького существа, которому захотелось побегать. Вдруг она заметила двух девочек на качелях, круто остановилась и высунула язык в знак восхищения.

Мамаша Тенардье отвязала дочек, сняла их с качелей и сказала:

– Поиграйте втроем.

В этом возрасте легко осваиваются друг с другом, и через минуту девочки Тенардье уже играли вместе с гостьей, роя ямки в земле и испытывая громадное наслаждение.

Эта гостья оказалась очень веселой; веселость малютки лучше всяких слов говорит о доброте матери; девочка взяла щепочку и, превратив ее в лопату, энергично копала могилку, годную разве только для мухи. Дело могильщика становится веселым, когда за него берется ребенок.

Женщины продолжали беседу.

– Как зовут вашу крошку?

– Козетта...

Козетта – читай Эфрази. Малютку звали Эфрази. Но из Эфрази мать сделала Козетту, следуя тому инстинкту изящного, благодаря которому матери и народ любовно превращают Хосефу в Пепиту, а Франсуазу в Силету. Такого рода производные вносят полное расстройство и путаницу в научные выводы этимологов. Мы знавали одну бабушку, которая ухитрилась из Теодоры сделать Ньон.

– Сколько ей?

– Скоро три.

– Как моей старшей.

Между тем три девочки сбились в кучку, позы их выражали сильное волнение и величайшее блаженство; произошло важное событие: из земли только что вылез толстый червяк – сколько страха и сколько счастья!

Их ясные личики соприкасались; все эти три головки, казалось, были окружены одним сияющим венцом.

– Как быстро сходится эта детвора! – вскричала мамаша Тенардье. – Поглядеть на них, так можно поклясться, что это три сестрички!

Это слово оказалось той искрой, которой, должно быть, и ждала другая мать. Она схватила Тенардье за руку, впилась в нее взглядом и сказала:

– Согласны вы оставить у себя моего ребенка?

Тенардье сделала изумленное движение, не означавшее ни согласия, ни отказа.

Мать Козетты продолжала:

– Видите ли, я не могу взять дочурку с собой на родину. Работа этого не позволяет. С ребенком не найдешь места. Они все такие чудные в наших краях. Это сам бог направил меня к вашему трактиру. Когда я увидела ваших малюток, таких хорошеньких, чистеньких, таких довольных, сердце во мне так и перевернулось. Я подумала: «Вот хорошая мать». Да, да, пусть они будут как три сестры. И к тому же я скоро вернусь за нею. Согласны вы оставить мою девочку у себя?

– Надо будет подумать, – ответила Тенардье.

– Я стала бы платить по шесть франков в месяц.

Тут чей-то мужской голос крикнул из харчевни:

– Не меньше семи франков. И за полгода вперед.

– Шестью семь сорок два, – сказала Тенардье.

– Я заплачу, – согласилась мать.

– И сверх того пятнадцать франков на первоначальные расходы, – добавил мужской голос.

– Всего пятьдесят семь франков, – сказала г-жа Тенардье, сопровождая свой подсчет все той

же песенкой:

– Так надо, – рыцарь говорил...

– Я заплачу, – сказала мать, – у меня есть восемьдесят франков. Мне еще хватит и на то, чтобы добраться до места. Конечно, если идти пешком. Там я начну работать и, как только скоплю немного денег, сейчас же вернусь сюда за моей дорогой крошкой.

– Есть у девочки одежда? – раздался снова мужской голос.

– Это мой муж, – сказала Тенардье.

– Разумеется, есть, у нее целое приданое, у дорогой моей бедняжечки. Я сразу догадалась, сударыня, что это ваш муж. И еще какое приданое! Роскошное. Всего по дюжине; и шелковые платица, как у настоящей барышни. Они здесь, в моем дорожном мешке.

– Вам придется отдать все это, – снова сказал мужской голос.

– А как же иначе! – удивилась мать. – Вот было бы странно, если б я оставила свою дочку голенькой!

Хозяин просунул голову в дверь.

– Ладно, – сказал он.

Сделка состоялась. Мать переночевала в трактире, отдала деньги и оставила ребенка; она снова завязала свой дорожный мешок, ставший совсем легким, когда из него были вынуты вещи, принадлежавшие Козетте, и наутро отправилась в путь, рассчитывая скоро вернуться. На такую разлуку с виду решаются спокойно, душа же полна отчаянья.

Соседка супругов Тенардье повстречалась на улице с этой матерью и, придя домой, сказала:

– Я только что встретила женщину, которая так плакала, что просто сердце разрывалось.

Когда мать Козетты ушла, муж сказал жене:

– Теперь я заплачу сто десять франков по векселю, которому завтра срок. Мне как раз не хватило пятидесяти франков. Знаешь, если бы не это, не миновать бы мне судебного пристава и опротестованного векселя. Ты устроила недурную мышеловку, подсунув своих девчонок.

– А ведь я и думать об этом не думала, – ответила жена.

Глава 2

Беглая характеристика двух темных личностей

Пойманная мышка была очень тщедушна, но ведь даже и тощий мышонок радует сердце кошки.

Что представляли собой эти Тенардье?

Пока что скажем о них только два слова. Мы дополним этот набросок несколько позже.

Эти существа принадлежали к тому промежуточному классу, который состоит из людей невежественных, но преуспевших, и людей образованных, но опустившихся, – к классу, который, находясь между так называемым средним и так называемым низшим классом, соединяет в себе некоторые недостатки второго и почти все пороки первого, не обладая при этом ни благородными порывами рабочего, ни порядочностью буржуа.

Это были те карликовые натуры, которые легко вырастают в чудовища, если случайно их подогреет какое-нибудь злое пламя. В характере жены таилось животное начало, в характере мужа – прирожденная подлость. Оба они были в высшей степени одарены той омерзительной способностью к развитию, которая осуществляется лишь в сторону зла. Есть

души, подобные ракам. Вместо того чтобы идти вперед, они непрерывно пятятся к тьме и пользуются жизненным опытом лишь для усиления своего нравственного уродства, все больше развращаясь и все больше пропитываясь скверной. Именно такой душой и обладали супруги Тенардые.

Особенно неприятное впечатление на физиономиста производил сам Тенардые. Некоторые люди с первого взгляда внушают вам недоверие, ибо вы чувствуете, что они темны, так сказать, со всех сторон. Позади себя они оставляют тревогу, а тому, что впереди, несут угрозу. В них таится неизвестность. Невозможно поручиться ни за то, что они уже сделали, ни за то, что будут делать. Их сумрачный взгляд сразу их выдает. Стоит услышать одно слово, сказанное ими, или увидеть хотя бы одно их движение, как вы уже ощущаете темные провалы в их прошлом и темные тайны в их будущем.

Этот Тенардые, если верить его словам, был некогда солдатом – сержантом, как он говорил, – по-видимому, он участвовал в кампании 1815 года и, кажется, даже проявил некоторую отвагу. В свое время мы узнаем, кем именно он был. Вывеска на кабачке намекала на один из его военных подвигов. Он намалевал ее сам, так как с грехом пополам умел делать все, – и намалевал скверно.

То была эпоха, когда старый классический роман уже спустился от «Клелии» к «Лодоиске» и, продолжая оставаться аристократическим, но все более опошляясь и переходя от м-ль де Скюдери к г-же Бурнон-Маларм и от г-жи де Лафайет к г-же Бартеlemi-Адо, воспламенял любвеобильные сердца парижских привратниц и даже распространял свое разрушительное действие на пригороды Парижа. Умственного развития г-жи Тенардые как раз хватало на чтение подобных книг. Они были ее пищей. Она топила в них свой последний разум; именно поэтому в дни ранней молодости, и даже немного позднее, она казалась несколько мечтательной рядом с мужем, мошенником с некоторой долей глубокомыслия и распутником, осилившим кое-какие премудрости, за исключением грамматики, человеком простоватым и в то же время хитрым, а в отношении всяких сантиментов – почитателем Пиго-Лебрена, законченным и беспримерным хамом во всем, что, выражаясь на его жаргоне, «касается женского пола». Жена была лет на двенадцать-пятнадцать моложе мужа. С течением времени, когда ее романтически спускающиеся локоны начали сесть, когда в Памеле проглянула мегера, Тенардые превратилась попросту в толстую злую бабу, голова которой была набита глупыми романами. Но чтение вздора не проходит безнаказанно. Вот почему ее старшая дочь была названа Эпониной. Что до младшей, то бедняжку чуть было не назвали Гюльнаррой, и только благодаря счастливому повороту в ее судьбе, произведенному появлением романа Дюкре-Дюминия, она отделалась именем Азельма.

Впрочем, упомянем мимоходом, не все было смешно и легковесно в ту любопытную эпоху, о которой идет речь и которую можно было бы назвать анархией собственных имен. Наряду с упомянутой выше романтической стороной здесь есть и призрак социального характера. В наше время какого-нибудь мальчишку-волопаса нередко зовут Артуром, Альфредом или Альфонсом, а виконта – если еще существуют виконты – зовут Тома, Пьером или Жаком. Это перемещение имен, при котором «изящное» имя получает плебей, а «мужицкое» – аристократ, есть не что иное, как отголосок равенства. Здесь, как и во всем, сказывается непреодолимое проникновение нового духа. Под этим внешним несоответствием таится нечто великое и глубокое: Французская революция.

Чтобы благоденствовать, еще недостаточно быть негодяем. Дела харчевни шли плохо.

Благодаря пятидесяти семи франкам путешественницы супругу Тенардье удалось избежать протеста векселя и уплатить в срок. Через месяц им снова понадобились деньги; жена отвезла в Париж и заложила в ломбарде гардероб Козетты, получив за него шестьдесят франков. Как только эта сумма была израсходована, Тенардье начали смотреть на девочку так, словно она жила у них из милости, и обращаться с ней соответственным образом. У нее не было теперь никакой одежды, и ее стали одевать в старые юбочки и рубашонки маленьких Тенардье, иначе говоря – в лохмотья. Кормили ее объедками с общего стола, немного лучше, чем собаку, и немного хуже, чем кошку. Кстати сказать, собака и кошка были ее постоянными сотрапезниками: Козетта ела вместе с ними под столом из такой же, как у них, деревянной плоски.

Мать Козетты, поселившаяся, как мы это увидим дальше, в Монрейле-Приморском, ежемесячно писала, или, вернее сказать, поручала писать письма к Тенардье, справляясь о своем ребенке. Тенардье неизменно отвечали: «Козетта чувствует себя превосходно».

Когда истекли первые полгода, мать прислала семь франков за седьмой месяц и довольно аккуратно продолжала посылать деньги из месяца в месяц. Не прошло и года, как Тенардье сказал: «Можно подумать, что она благодетельствовала нас! Что для нас значат ее семь франков?» И он написал ей, требуя двенадцать. Мать, которую они убедили, что ее ребенок счастлив и «растет отлично», покорилась и стала присылать по двенадцать франков.

Есть натуры, которые не могут любить одного человека без того, чтобы в то же самое время не питать ненависти к другому. Мамаша Тенардье страстно любила своих дочерей и поэтому возненавидела чужую. Печально думать, что материнская любовь может принимать такие отвратительные формы. Как ни мало места занимала Козетта в доме г-жи Тенардье, той все казалось, что это место отнято у ее детей и что девочка ворует воздух, принадлежащий ее дочерям. У этой женщины, как и у многих, ей подобных, был в распоряжении ежедневный запас ласк, колотушек и брани. Без сомнения, не будь у нее Козетты, ее собственные дочери, несмотря на всю нежность, которую она к ним питала, получали бы от всего этого свою долю; но чужачка оказала им услугу, приняв на себя все удары. Маленьким Тенардье доставались одни лишь ласки. Каждое движение Козетты навлекало на ее голову град жестоких и незаслуженных наказаний. Нежное, слабенькое созданище! Она не имела еще никакого представления ни об этом мире, ни о боге и, без конца подвергаясь наказаниям, побоям, ругани и попрекам, видела рядом с собой два маленьких существа, которые ничем не отличались от нее самой и в то же время жили, словно купаясь в сиянии утренней зари.

Тенардье дурно обращалась с Козеттой; Эпониная и Азельма тоже стали обращаться с ней дурно. Дети в таком возрасте – копия матери. Формат меньше, вот и вся разница.

Прошел год, потом другой.

В деревне говорили: «Какие славные люди эти Тенардье. Сами небогаты, а воспитывают бедную девочку, которую им подкинули!»

Все думали, что мать бросила Козетту.

Между тем папаша Тенардье, разузнав бог знает какими путями, что, по всей вероятности, ребенок незаконнорожденный и что мать не может открыто признать его своим, потребовал пятнадцать франков в месяц, заявив, что «эта тварь» все растет и *ест*, и пригрозив отправить ее к матери. «Пусть лучше не выводит меня из терпения! – восклицал он. – Не то я швырну ей назад ее отродье и выведу на чистую воду все ее секреты. Мне нужна прибавка». И мать стала платить по пятнадцать франков.

Ребенок рос, и вместе с ним росло его горе.

Пока Козетта была совсем маленькая, она была бессловесной жертвой двух других девочек;

как только она немножко подросла – то есть едва достигнув пятилетнего возраста, – она стала служанкой в доме.

– В пять лет! – скажут нам. – Да ведь это неправдоподобно!

Увы, это правда. Социальные невзгоды постигают людей в любом возрасте. Разве мы не знаем о недавнем процессе некоего Дюмолара, бандита, который, рано осиротев, уже в пятилетнем возрасте, как утверждают официальные документы, «зарабатывал себе на жизнь и воровал».

Козетту заставляли ходить за покупками, подметать комнаты, двор, улицу, мыть посуду, даже таскать тяжести. Тенардые тем более считали себя вправе поступать таким образом, что мать, по-прежнему жившая в Монрейле-Приморском, начала неаккуратно высылать плату. Она задолжала за несколько месяцев.

Если бы по истечении этих трех лет Фантина вернулась в Монфермейль, она бы ни за что не узнала своего ребенка. Козетта, вошедшая в этот дом такой хорошенькой и свеженькой, была теперь худой и бледной. Во всех ее движениях чувствовалась настороженность. «Она себе на уме!» – говорили про нее Тенардые.

Несправедливость сделала ее угрюмой, а нищета – некрасивой. От нее не осталось ничего, кроме прекрасных больших глаз, на которые больно было смотреть, потому что, будь они меньше, в них, казалось, не могло бы уместиться столько печали.

Сердце разрывалось при виде бедной малютки, которой не было еще и шести лет, когда зимним утром, дрожа в старых дырявых обносках, с полными слез глазами, она подметала улицу, еле удерживая огромную метлу в маленьких посиневших ручонках.

В околотке ее прозвали «Жаворонком». Народ, любящий образные выражения, охотно называл так это маленькое созданище, занимавшее не больше места, чем птичка, такое же трепещущее и пугливое, встававшее раньше всех в доме, да и во всей деревне, и выходившее на улицу или в поле задолго до восхода солнца.

Только этот бедный жаворонок никогда не пел.

Книга пятая

По наклонной плоскости

Глава 1

Как было усовершенствовано производство изделий из черного стекла

Что же, однако, случилось с ней, с этой матерью, которая, как полагали жители Монфермейля, бросила своего ребенка? Где она была? Что делала?

Оставив свою маленькую Козетту у Тенардье, она продолжала путь и пришла в Монрейль-Приморский.

То было, как мы помним, в 1818 году.

Фантина покинула родину лет десять назад. С тех пор Монрейль-Приморский сильно изменился. В то время как Фантина медленно спускалась по ступенькам нищеты, ее родной город богател.

Года за два до ее прихода там произошел один из тех промышленных переворотов, которые в небольшой провинции являются крупнейшим событием.

Факт этот имеет большое значение, и мы считаем полезным изложить его со всеми подробностями, даже больше – подчеркнуть его.

Монрейль-Приморский с незапамятных времен занимался особой отраслью промышленности – имитацией английского гагата и немецких изделий из черного стекла. Этот промысел всегда был в жалком состоянии вследствие дороговизны сырья, что отражалось и на зарботке рабочих. Но к тому времени, когда Фантина вернулась в Монрейль-Приморский, в производстве «черного стеклянного товара» совершились неслыханные перемены. В конце 1815 года в городе поселился никому не известный человек, которому пришла мысль заменить при изготовлении этих изделий древесную смолу камедью и, в частности при выделке браслетов, заменить кованые металлические застёжки литыми. Это ничтожное изменение произвело целую революцию.

В самом деле, это ничтожное изменение в огромной степени снизило стоимость сырья, что позволило, во-первых, повысить зарботок рабочих – благодеяние для края, во-вторых – улучшить выделку товара – выгода для потребителя, в-третьих – дешевле продавать изделия, одновременно утроив барыши, – выгода для фабриканта.

Итак, одна идея дала три результата.

Меньше чем за три года изобретатель этого способа разбогател – что очень хорошо, и обогатил всех вокруг себя – что еще лучше. В этом краю он был чужой. Никто ничего не знал о его происхождении; сведения о его прошлом были самые скудные.

Говорили, что, когда он пришел в город, у него было очень мало денег – самое большее несколько сот франков.

Этот-то ничтожный капитал, употребленный на осуществление остроумной идеи и умноженный благодаря разумному употреблению и деятельной мысли, послужил не только к его собственному обогащению, но и к обогащению целого края.

Когда он появился в Монрейле-Приморском, то своей одеждой, речью и манерами ничем не отличался от простого рабочего.

По слухам, в тот самый декабрьский день, когда в сумерки с мешком за спиной и с терновой палкой в руках, никем не замеченный, он вошел в маленький городок Монрейль-Приморский, здание ратуши было внезапно охвачено сильным пожаром. Незнакомец бросился в огонь и, рискуя жизнью, спас двоих детей, которые оказались детьми жандармского капитана;

по этой причине никому не пришло в голову потребовать у него паспорт. Имя его стало известно позднее. Его звали дядюшка Мадлен.

Глава 2

Мадлен

Это был человек лет пятидесяти, с задумчивым взглядом и добрым сердцем. Вот и все, что можно было о нем сказать.

Благодаря быстрым успехам той отрасли промышленности, которую он так изумительно преобразовал, Монрейль-Приморский стал значительным центром торговых операций. Испания, потреблявшая много черного гагата, ежегодно давала на него огромные заказы. Монрейль-Приморский в этом промысле чуть ли не соперничал теперь с Лондоном и Берлином. Дядюшка Мадлен получал такие барыши, что уже на второй год ему удалось выстроить большую фабрику, где были две обширные мастерские: одна для мужчин, другая для женщин. Всякий голодный мог явиться туда с полной уверенностью, что получит работу и кусок хлеба. От мужчин Мадлен требовал усердия, от женщин хорошего поведения, от тех и других – честности. Он отделил мужские мастерские от женских для того, чтобы сохранить среди девушек и женщин добрые нравы. Здесь он был непреклонен. Только в этом вопросе он и проявлял своего рода нетерпимость. Его суровость имела тем большие основания, что Монрейль-Приморский, как гарнизонный город, был местом, полным соблазнов. Словом, его приход туда был благодеянием, а сам он – даром провидения. До дядюшки Мадлена весь край был погружен в спячку; теперь все здесь жило здоровой трудовой жизнью. Могучий деловой подъем оживлял все и проникал повсюду. Безработица и нищета были теперь забыты. Не было ни одного самого ветхого кармана, где бы не завелось хоть немного денег; не было такого бедного жилища, где бы не появилось хоть немного радости.

Дядюшка Мадлен принимал на работу всех. Он требовал одного:

«Будь честным человеком! Будь честной женщиной!»

Как мы уже сказали, посреди всей этой кипучей деятельности, источником и главным двигателем которой был дядюшка Мадлен, он богател и сам, но, как ни странно это для простого коммерсанта, он, видимо, не считал наживу своей основной заботой. Казалось, он больше думал о других, чем о себе. К 1820 году, это все знали, у Лафита на его имя было помещено шестьсот тридцать тысяч франков, но, прежде чем отложить для себя эти шестьсот тридцать тысяч франков, он израсходовал более миллиона на нужды города и на бедных.

Больница нуждалась в средствах. Он содержал в ней за свой счет десять коек. Монрейль-Приморский делится на верхний и нижний город. В нижнем городе, где жил дядюшка Мадлен, была только одна школа – жалкая лачуга, грозившая развалиться; он построил две новых – одну для девочек, другую для мальчиков. Он из собственных средств назначил двум учителям пособие, превышающее вдвое их скудное казенное жалованье; и когда однажды кто-то выразил удивление по этому поводу, он сказал: «Самые важные чиновники в государстве – это кормилица и школьный учитель». Он на свой счет основал детский приют – учреждение, почти неизвестное в то время во Франции, и кассу вспомоществования для престарелых и увечных рабочих. Так как его фабрика сделалась рабочим центром, вокруг нее очень быстро вырос новый квартал, где поселилось немало нуждающихся семей; он открыл там бесплатную аптеку.

В первое время, когда он только начинал свою деятельность, добрые люди говорили: «Это хитрец, который хочет разбогатеть». Когда он занялся обогащением края, прежде чем разбогатеть самому, те же добрые люди сказали: «Это честолубец». Последнее казалось тем

более вероятным, что человек этот был религиозен и даже до известной степени соблюдал обряды, что в ту пору считалось очень похвальным. Каждое воскресенье он аккуратно ходил к ранней обедне. Его набожность не замедлила встревожить местного депутата, которому повсюду чудились конкуренты. Этот депутат, заседавший во времена Империи в Законодательном собрании, разделял религиозные воззрения одного из членов конгрегации, известного под именем Фуше, – герцога Отрантского, который был его другом и покровителем. При закрытых дверях он слегка подсмеивался над богом. Однако, узнав, что богатый фабрикант Мадлен ходит в семь часов утра к ранней обедне, он увидел в нем возможного кандидата на свое место и решил превзойти его; он взял себе в духовники иезуита и стал ходить и к обедне и к вечерне. В те времена честолюбцы добивались у бога земных благ земными поклонами. От этого страха перед соперником выиграл не только господь бог, но и бедняки, ибо почтенный депутат тоже взял на себя содержание двух больничных коек, с прежними их стало двенадцать.

Но вот в 1819 году однажды утром в городе распространился слух, что по представлению г-на префекта и ввиду заслуг, оказанных краю, король назначает дядюшку Мадлена мэром Монрейля-Приморского. Лица, назвавшие пришельца честолюбцем, с восторгом подхватили этот слух, дававший приятную для каждого человека возможность кричать: «Ага! А мы что говорили?» Весь город заволновался. Слух оказался обоснованным. Несколько дней спустя назначение появилось в «Монитере». На следующий день Мадлен от него отказался.

В том же 1819 году изделия, выработанные по новому способу, изобретенному Мадленом, попали на промышленную выставку; согласно заключению испытательной комиссии, король пожаловал изобретателю орден Почетного легиона. Новое волнение в городе. «Так вот чего он хотел! Орденского креста!» Дядюшка Мадлен отказался и от орденского креста.

Решительно, этот человек был загадкой. Добрые люди вышли из затруднения, сказав: «В таком случае это какой-то авантюрист».

Как мы видели, край был обязан ему очень многим, а бедняки были обязаны ему всем; он принес столько пользы, что нельзя было не проникнуться к нему уважением, и был так приветлив, что нельзя было не полюбить его; рабочие его фабрики просто преклонялись пред ним, и он принимал их преклонение с какой-то печальной серьезностью. Когда его богатство стало общепризнанным фактом, «люди из общества» начали раскланиваться с ним и в городе его стали называть «господин Мадлен»; рабочие и детвора по-прежнему звали его «дядюшка Мадлен», и это обращение вызывало у него самую добродушную улыбку. Как только он пошел в гору, приглашения посыпались на него дождем. «Общество» заявляло на него свои права. Маленькие чопорные гостиные Монрейля-Приморского, которые, разумеется, в свое время были закрыты для ремесленника, широко распахнули двери перед миллионером. Ему была сделана тысяча лестных предложений. Он отклонил их.

Добрые люди и на этот раз не остались в долгу. «Это невежественный и невоспитанный человек. Неизвестно еще, откуда он взялся. Он, наверное, не сумел бы держать себя в порядочном обществе. Вполне возможно, что он не знает даже и грамоты».

Когда он начал зарабатывать деньги, про него сказали: «Это торгаш». Когда он начал сорить деньгами, про него сказали: «Это честолюбец». Когда он оттолкнул от себя почести, про него сказали: «Это авантюрист». Когда он оттолкнул от себя общество, про него стали говорить: «Это грубиян».

В 1820 году, через пять лет после его водворения в Монрейле-Приморском, услуги, оказанные им краю, были так очевидны, воля всего населения так единодушна, что король снова назначил его мэром города. Он снова отказался, но префект не принял его отказа, все именитые лица города явились просить его, народ, столпившийся на улице, умолял его согласиться, настояния были так горячи, что в конце концов он уступил. Было замечено, что на его решение,

пожалуй, больше всего повлиял возглас какой-то старухи из простолюдин, которая сердито крикнула ему с порога своего домишки: *«От хорошего мэра может быть большая польза. Как не совестно идти на попятную, если выпал случай сделать добро?»*

Это была третья фаза его восхождения. Дядюшка Мадлен превратился в господина Мадлена; господин Мадлен превратился в господина мэра.

Глава 3

Суммы, депонированные у Лафита

Впрочем, он продолжал держать себя так же просто, как и вначале. У него были седые волосы, серьезный взгляд, загорелая кожа рабочего, задумчивое лицо философа. Обычно он носил широкополую шляпу и длинный редингот из толстого сукна, застегнутый доверху. Обязанности мэра он выполнял добросовестно, но вне этих обязанностей жил отшельником. Он редко разговаривал с кем-либо. Он уклонялся от расточаемых ему учтивостей, кланялся на ходу, быстро исчезал, улыбался, чтобы избежать беседы, и давал деньги, чтобы избежать улыбки. «Что за славный медведь!» – говорили о нем женщины. Больше всего он любил прогулки по окрестным полям.

Он всегда обедал в одиночестве, держа перед собой открытую книгу, которую читал. У него была небольшая, но хорошо подобранная библиотека. Он любил книги; книги – это друзья, бесстрастные, но верные. По мере того как вместе с богатством увеличивались и его досуги, он, видимо, старался употребить их на то, чтобы развивать свой ум. С тех пор как он поселился в Монрейле-Приморском, речь его с каждым годом становилась все более изысканной и более мягкой, что было замечено всеми.

Он часто брал с собой на прогулку ружье, но редко им пользовался. Когда же ему случалось выстрелить, он обнаруживал такую меткость, что становилось страшно. Он никогда не убивал безвредных животных. Никогда не стрелял в птиц.

Он был уже далеко не молод, но о его физической силе рассказывали чудеса. Он предлагал помощь всякому, кто в ней нуждался: поднимал упавшую лошадь, вытаскивал увязшее колесо, останавливал, схватив за рога, вырвавшегося быка. Он всегда выходил из дому с полным карманом денег, а возвращался с пустым. Когда он заходил в деревни, оборванные ребятишки весело бежали за ним следом, кружась возле него, словно рой мошек.

Можно было предположить, что когда-то он жила в деревне, потому что у него был большой запас полезных сведений, которые он сообщал крестьянам. Он учил их уничтожать хлебную моль, обрызгивая амбары и заливая щели в полу раствором поваренной соли, и выгонять долгоносиков, развешивая повсюду: на стенах, на крыше, на пастбищах и в домах – пучки шалфея в цвету. У него были «рецепты», как выводить с полей куколь, журавлиный горох, лисий хвост – все сорные травы, заглушающие хлебные злаки. Он охранял кроличий садок от крыс, сажая туда морскую свинку, запаха которой они не выносят.

Однажды он увидел, что местные жители усердно трудятся над уничтожением крапивы; взглянув на кучу вырванных с корнем и уже засохших растений, он сказал: «Завяла. А ведь, если бы знать, как за нее взяться, она могла бы пойти в дело. Когда крапива еще молода, ее листья – вкусная зелень, а в старой крапиве – такие же волокна и нити, как в конопле и льне. Холст из крапивы ничем не хуже холста из конопли. Мелко изрубленная крапива годится в корм домашней птице, а толченая – хороша для рогатого скота. Семя крапивы, подмешанное к корму, придает блеск шерсти животных, а ее корень, смешанный с солью, дает прекрасную желтую краску. Кроме того, это отличное сено, которое можно косить два раза в лето. А что нужно для крапивы? Немного земли и никаких забот и ухода. Правда, семя ее по мере созревания

осыпается, и собрать его бывает нелегко. Вот все. Приложите к крапиве хоть немного труда, и она станет полезной; ею пренебрегают, и она становится вредной. Тогда ее убивают. Как много еще людей, похожих на крапиву! – И после минутного молчания он добавил: – Запомните, друзья мои: нет ни дурных трав, ни дурных людей. Есть только дурные хозяева».

Дети любили его еще и за то, что он умел делать хорошенькие вещицы из соломы и скорлупы кокосовых орехов.

Когда он видел, что дверь церкви затянута черным, он входил туда; похороны привлекали его так же, как других привлекают крестины. Чужая утрата и чужое горе притягивали его к себе, потому что у него было доброе сердце; он смешивался с толпой опечаленных друзей, с родственниками, одетыми в траур, и священниками, молящимися за усопшего. Казалось, он охотно погружался в размышления, внимая погребальным псалмам, полным видений иного мира. Устремив взгляд в небо, как бы порываясь к тайнам бесконечного, он слушал скорбные голоса, поющие на краю темной бездны, называемой смертью.

Он творил множество добрых дел тайком, как обычно творят дурные. Вечером он украдкой проникал в дома, тихонько пробирался по лестницам. Какой-нибудь бедняга, поднявшись на свой чердак, находил вдруг дверь отпертой, а иной раз даже взломанной. «Здесь побывали воры!» – восклицал несчастный. Он входил к себе, и первое, что бросалось ему в глаза, была золотая монета, кем-то забытая на столе. Побывавшим у него «вором» оказывался дядюшка Мадлен.

Он был приветлив и печален. Народ говорил: «Вот богач, а совсем не гордый. Вот счастливец, а с виду невеселый».

Некоторые предполагали, что это какая-то загадочная личность, и уверяли, что никому и никогда не разрешается входить к нему в спальню, которая якобы представляет собой настоящую монашескую келью, где красуются старинные песочные часы, скрещенные кости и череп. Об этом говорилось так много, что несколько жителей Монрейля-Приморского, молодых и нарядных, однажды явились к нему домой и попросили: «Господин мэр, покажите нам вашу спальню. Мы слышали, что это настоящая пещера». Он улыбнулся и тотчас же ввел их в эту «пещеру». Насмешницы были жестоко наказаны за свое любопытство. Это была комната, обставленная самой обыкновенной мебелью из красного дерева, довольно некрасивой, как и вся мебель такого сорта, и оклеенная обоями по двенадцать су за кусок. Единственное, что привлекло внимание дам, были два старомодных подсвечника, стоявших на камине, по-видимому, серебряных, «потому что на них имелась проба». Замечание, которое было вполне в духе провинциального городка.

Люди тем не менее продолжали говорить, что никому не разрешается входить в эту комнату и что это келья отшельника, молчальня, могила, склеп.

Шушукались также о том, что у него имеются «колоссальные» суммы, лежащие у Лафита, причем будто бы эти суммы вложены с таким условием, что могут быть взяты оттуда полностью и в любое время. «Так что, – добавляли кумушки, – господин Мадлен может в одно прекрасное утро зайти к Лафиту, написать расписку и через десять минут унести с собой свои два или три миллиона». В действительности, как мы уже говорили, эти «два или три миллиона» сводились к сумме в шестьсот тридцать или шестьсот сорок тысяч франков.

Глава 4

Господин Мадлен в Трауре

В начале 1821 года газеты возвестили о смерти диньского епископа г-на Мириэля,

прозванного *монсеньором Бьенвеню* и почившего смертью праведника в возрасте восьмидесяти двух лет.

Диньский епископ – добавим здесь одну подробность, опущенную в газетах, – ослеп за несколько лет до кончины, но не печалился о своей слепоте, так как сестра его была рядом.

Заметим мимоходом, что на этой земле, где все несовершенно, быть слепым и быть любимым – это поистине одна из самых странных и утонченных форм счастья. Постоянно чувствовать рядом с собой жену, дочь, сестру, чудесное существо, которое здесь потому, что вы нуждаетесь в нем, а оно не может обойтись без вас, знать, что вы необходимы той, которая нужна вам, иметь возможность беспрестанно измерять ее привязанность количеством времени, которое она вам уделяет, и думать про себя: «Она посвящает мне все свое время, значит, ее сердце целиком принадлежит мне»; видеть мысли за невозможностью видеть лицо, убеждаться в верности любимого существа посреди затмившегося мира, ощущать шелест платья, словно шум крыльев, слышать, как это существо входит и выходит, двигается, говорит, поет, и знать, что вы центр, к которому направлены эти шаги, эти слова, эта песня; каждую минуту проявлять свою собственную нежность, чувствовать себя тем сильнее, чем слабее ваше тело, стать во мраке и благодаря мраку ярким светилom, к которому тяготеет этот ангел, – все это такая радость, которой нет равных. Высшее счастье жизни – это уверенность в том, что вас любят; любят ради вас самих, вернее сказать – любят вопреки вам; этой-то уверенностью и обладает слепой. В такой скорби видеть заботу о себе – значит видеть ласку. Лишен ли он чего-либо? Нет. Свет для него не погас, если он любим. И какой любовью! Любовью, целиком сотканной из добродетели. Там, где есть уверенность, кончается слепота. Душа ощупью ищет другую душу и находит ее. И эта найденная и испытанная душа – женщина. Чья-то рука поддерживает вас – это ее рука; чьи-то уста прикасаются к вашему лбу – это ее уста; совсем близко от себя вы слышите чье-то дыхание – это она. Обладать всем, что она может дать, начиная от ее поклонения и кончая страданием, никогда не знать одиночества благодаря ее кроткой слабости, которая является вашей силой, опираться на этот негибнущий тростник, касаться своими руками провидения и брать его в объятия – боже великий, какое блаженство! Сердце, этот загадочный небесный цветок, достигает своего полного и таинственного расцвета. Вы не отдали бы этого мрака за весь свет мира. Ангельская душа здесь, все время здесь, рядом с вами; если она удаляется, то лишь затем, чтобы снова вернуться к вам. Она исчезает, как сон, и возникает, как явь. Вы чувствуете тепло, которое все приближается, – это она. На вас нисходит ясность, веселье, восторг; вы – сияние посреди ночи. А тысяча мелких забот! Пустяки, занимающие в этой пустыне огромное место. Самые тонкие, самые неуловимые оттенки женского голоса, убаюкивающие вас, заменяют вам утраченную вселенную. Вы ощущаете ласку души. Вы ничего не видите, но чувствуете, что кто-то боготворит вас. Это рай во тьме.

Из этого-то рая *монсеньор Бьенвеню* и переселился в иной рай.

Извещение о его смерти было перепечатано местной *монрейльской* газетой. На следующий день г-н *Мадлен* появился весь в черном и с крепom на шляпе.

В городе заметили его траур, и начались толки. Обыватели решили, что это проливает некоторый свет на происхождение г-на *Мадлена*. Очевидно, он был в каком-то родстве с почтенным епископом. «Он надел траур по *диньском епископе*», – говорили в салонах; это предположение сильно повысило г-на *Мадлена* в глазах *монрейльской* знати, и все немедленно прониклось к нему уважением. Микроскопическое сен-жерменское предместье городка решило снять карантин с г-на *Мадлена*, по всей видимости, родственника епископа. Г-н *Мадлен* заметил возросшее свое значение по более низким поклонам старушек и более приветливым улыбкам молодых женщин. Как-то вечером одна из видных представительниц этого маленького «большого света», считавшая, что ее преклонный возраст дает ей право на любопытство,

отважилась спросить у него:

– Скажите, господин мэр, покойный диньский епископ был, вероятно, в родстве с вами?

– Нет, сударыня, – ответил он.

– Почему же вы носите по нем траур? – снова спросила старушка.

– Потому что в молодости я служил лакеем у него в доме, – ответил он.

Было замечено еще одно обстоятельство: каждый раз, когда в городе появлялся юный савояр, г-н мэр звал его к себе, справлялся о его имени и давал ему денег. Маленькие савояры рассказывали об этом друг другу, и в городе их перебивало очень много.

Глава 5

Смутные вспышки молний

Мало-помалу и с течением времени всякая неприязнь утихала. Вначале г-н Мадлен, согласно неписаному закону, которому всегда подвластен тот, кто преуспевает, был окружен грязными сплетнями и клеветой, затем их заменили злобные выходки, затем только злые шутки, а затем исчезло и это; уважение сделалось полным, искренним, единодушным, и, наконец, настало время – это было около 1821 года, – когда слова «господин мэр» произносились в Монрейле-Приморском почти с таким же благоговением, с каким слова «монсеньор епископ» произносились в 1815 году в Дине. Люди приезжали за десять лье, чтобы посоветоваться с г-ном Мадленом. Он решал споры, предупреждал тяжбы, мирил врагов. Каждый для защиты своей правоты приглашал его в заступники. Казалось, душа его заключала в себе весь свод естественных законов. Это была какая-то эпидемия преклонения перед ним, которая, переходя в течение шести-семи лет от одного к другому, наконец охватила весь край.

Один только человек в городе и во всем округе оставался чужд этой болезни и, несмотря на все добрые дела дядюшки Мадлена, не поддавался ей, словно какой-то инстинкт, непоколебимый и неподкупный, стоял на страже и не давал ему покоя. Казалось, в некоторых людях и в самом деле таится животный инстинкт; природный и неистребимый, как всякий инстинкт, он подсказывает симпатии и антипатии, неумолимо отделяет одну породу существ от другой, никогда не колеблется, не смущается, не дремлет и не изменяет себе; он ясен в своей слепоте, безошибочен, властен, не подчиняется никаким советам разума, никакому разлагающему воздействию рассудка и, независимо от того, к чему приводит людей судьба, тайно уведомляет человека-собаку о близости человека-кошки и человека-лису – о близости человека-льва.

Нередко, когда г-н Мадлен проходил по улице, спокойный, приветливый, осыпaeмый всеобщими благословениями, какой-то высокий человек в рединготe серо-стального цвета и в шляпе с опущенными полями, вооруженный толстой палкой, внезапно оборачивался ему вслед и провожал его взглядом до тех пор, пока мэр не скрывался из виду; потом, скрестив руки и медленно покачивая головой, он поджимал губы к самому носу – многозначительная гримаса, которую можно было бы истолковать так: «Кто такой этот человек? Я уверен, что где-то видел его прежде. Во всяком случае, меня-то он не проведет».

Этот суровый, почти угрожающе суровый человек принадлежал к числу тех людей, которые даже при беглой встрече внушают наблюдателю тревогу.

Его звали Жавер, и он служил в полиции.

В Монрейле-Приморском он исполнял тягостные, но полезные обязанности полицейского надзирателя. Он не был свидетелем первых шагов Мадлена. Своей должностью он был обязан протекции г-на Шабулье, секретаря графа Англеса – министра, состоявшего в то время префектом парижской полиции. Когда Жавер появился в Монрейле-Приморском, Мадлен успел

уже стать крупным фабрикантом с большим состоянием и из дядюшки Мадлена превратиться в господина Мадлена.

У некоторых полицейских чиновников бывают какие-то своеобразные лица: выражение их представляет странную смесь низости и сознания власти. У Жавера было именно такое лицо, но низость в нем отсутствовала.

Если бы человеческие души были доступны для глаза, то, по нашему глубокому убеждению, все явственно увидели бы одну странность, а именно – соответствие каждого из представителей человеческого рода какому-нибудь виду животного мира; и это помогло бы легко убедиться в истине, пока еще едва прозреваемой мыслителем и состоящей в том, что – от устрицы до орла, от свиньи до тигра – все животные таятся в людях, и каждое в отдельности – в отдельном человеке. А бывает и так, что даже несколько в одном одновременно.

Животные суть не что иное, как прообразы наших добродетелей и пороков, блуждающие пред нашим взором призраки наших душ. Бог показывает их нам, чтобы заставить нас задуматься. Но так как животные – это всего лишь тени, то бог не одарил их восприимчивостью к воспитанию в полном смысле этого слова; да и к чему им она? Наши же души, напротив, существуя реально и обладая конечной своей целью, получили от бога разум, то есть восприимчивость к воспитанию. Правильно поставленное общественное воспитание всегда может извлечь из души, какова бы она ни была, то полезное, что она содержит.

Разумеется, все сказанное верно лишь в отношении видимой земной жизни и не предрешает сложного вопроса о предшествующем и последующем облике существ, которые не являются человеком. Видимое «я» никоим образом не дает мыслителю права отрицать «я» скрытое. Сделав эту оговорку, продолжаем.

Итак, если читатель на минуту предположит вместе с нами, что в каждом человеке таится какой-то представитель животного мира, нам будет легко определить, что представлял собой полицейский чиновник Жавер.

Астурийские крестьяне убеждены, что среди волчат одного помета всякий раз попадается щенок, которого мать сразу же убивает, потому что иначе, выросши, он непременно сожрал бы остальных волчат.

Придайте этому псу, детенышу волчицы, человеческое лицо, и перед вами Жавер.

Жавер родился в тюрьме от гадалки, муж которой был сослан на каторгу. Выросши, он понял, что находится вне общества, и отчаялся когда-либо проникнуть в него. Он заметил, что общество беспощадно устраняет из своей среды два класса людей: тех, кто на него нападает, и тех, кто его охраняет; у него был выбор только между этими двумя классами; в то же время он чувствовал в себе какие-то задатки моральной стойкости, порядочности и честности, которым сопутствовала необъяснимая ненависть к той цыганской среде, откуда он вышел сам. Он поступил в полицию. И преуспел. В сорок лет он был полицейским надзирателем.

В молодости он служил на юге надсмотрщиком на галерах.

Но прежде чем перейти к дальнейшему, давайте уточним, что именно мы имели в виду, употребив выражение «человеческое лицо» в применении к Жаверу.

Человеческое лицо Жавера состояло из вздернутого носа с двумя глубоко вырезанными ноздрями, к которым с двух сторон примыкали огромные бакенбарды. Вам сразу становилось не по себе, когда вы впервые видели эти две чащи и две пещеры. Когда Жавер смеялся, что случалось редко, смех его был страшен: тонкие губы раздвигались и обнажали не только зубы, но и десны, а вокруг носа широко расползались свирепые складки, словно на морде хищного зверя. Когда Жавер бывал серьезен, это был дог; когда он смеялся, это был тигр. Далее: узкий череп, массивная челюсть, волосы, закрывавшие лоб и свисавшие до самых бровей, над переносицей звездообразная неизгладимая морщина, словно печать гнева, мрачный взгляд,

злобно сжатые губы, вид начальственный и жестокий.

Этот человек состоял из двух чувств, очень простых и относительно хороших, но доведенных им до крайности и сделавшихся поэтому почти дурными, – из уважения к власти и из ненависти к бунту; а в его глазах воровство, убийство, все существующие преступления являлись лишь разновидностями того же бунта. Он был проникнут какой-то слепой и глубокой верой во всякое должностное лицо, начиная от первого министра и кончая сельским стражником; он чувствовал презрение, неприязнь и отвращение ко всем тем, кто хоть раз преступил границы закона. Он был непреклонен и не признавал никаких исключений. О первых он говорил: «Чиновник не может ошибаться. Судья никогда не бывает не прав». О вторых он говорил: «Эти погибли безвозвратно. Ничего путного из них выйти не может». Он целиком разделял крайние убеждения тех людей, которые приписывают человеческим законам какой-то дар создавать или, если хотите, обнаруживать этих демонов и которые изгоняют низы общества на берега некоего Стикса. Он был стоически тверд, серьезен и суров, печален и задумчив, скромен и надменен, как все фанатики. Взгляд его леденил и сверлил, как бурав. Вся его жизнь заключалась в двух словах: следить и выслеживать. Он проложил прямую линию на самом извилистом пути в мире; он верил в полезность своего дела, свято чтит свои обязанности, он был шпионом, как бывают священником. Горе тому, кому суждено было попасть в его руки! Он арестовал бы родного отца за побег с каторги и донес бы на родную мать, уклонившуюся от полицейского надзора. И он сделал бы это с тем чувством внутреннего удовлетворения, которое дарует добродетель. Наряду с этим – жизнь, полная лишений, одиночество, самоотречение, целомудрие, никаких удовольствий. Олицетворение беспощадного долга, полиция, понятая так, как спартанцы понимали Спарту, неумолимый страж, свирепая порядочность, сыщик, изваянный из мрамора, Брут в шкуре Видока – вот что такое был Жавер.

Вся его особа изобличала человека, который подсматривает и таится. Мистическая школа Жозефа де Местра, которая в ту эпоху приправляла высокой космогонией стряпню газет так называемого ультрароялистского толка, не преминула бы изобразить Жавера как символ. Вы не видели его лба, прятавшегося под шляпой, вы не видели его глаз, исчезающих под бровями, вы не видели его подбородка, потонувшего в шейном платке, вы не видели его рук, закрытых длинными рукавами, вы не видели его палки, которую он носил под полой редингота. Но вот приходила надобность – и изо всей этой тьмы, словно из засады, вдруг выступал узкий и угловатый лоб, зловещий взгляд, угрожающий подбородок, огромные руки и увесистая дубинка.

В свободные свои минуты, которые выпадали не часто, он, ненавидя книги, все же читал их, благодаря чему не был совершенным невеждой. Это проявлялось в некоторой напыщенности его речи.

Как мы уже сказали, у него не было никаких пороков. Когда он бывал доволен собой, то позволял себе понюшку табаку. Только это и роднило его с человечеством.

Легко понять, что Жавер был грозой для того разряда людей, который в ежегодном статистическом отчете министерства юстиции значится под рубрикой: *Темные личности*. При одном имени Жавера они обращались в бегство, появление самого Жавера приводило их в оцепенение.

Таков был этот страшный человек.

Жавер был недреманным оком, постоянно устремленным на г-на Мадлена. Оком, полным догадок и подозрений. В конце концов г-н Мадлен заметил это, но, видимо, не придавал этому никакого значения. Он ни разу ни о чем не спросил Жавера, не искал с ним встречи и не избегал его; казалось, он с полным равнодушием выносил этот тяжелый и почти давящий взгляд. Обращался он с Жавером, как со всеми, приветливо и непринужденно.

По нескольким случайно вырвавшимся у Жавера словам можно было заключить, что,

побуждаемый характерным для этой породы людей любопытством, которое вызывается столько же инстинктом, сколько и волей, он тайно занимался поисками следов, какие только мог оставить дядюшка Мадлен за собой в прошлом. Очевидно, ему удалось узнать – и иногда он намеками говорил об этом, – что кто-то наводил где-то какие-то справки о некоем исчезнувшем семействе. Как-то раз он сказал вслух, разговаривая сам с собой: «Теперь, кажется, он в моих руках!» После этого целых три дня он ходил, задумавшись, и не произносил ни слова. Должно быть, нить, которую он уже считал пойманной, порвалась.

Впрочем, в человеческом существе нет ничего непогрешимого – такова необходимая поправка к некоторым словам, иначе смысл их мог бы показаться чересчур непреложным, – и сущность инстинкта состоит именно в том, что он может поколебаться, сбиться со следа и потерять дорогу. В противном случае инстинкт одержал бы верх над разумом и животное оказалось бы умнее человека.

Очевидно, Жавер был немного сбит с толку полнейшей естественностью и спокойствием г-на Мадлена.

Но однажды странный образ действий Жавера, видимо, произвел впечатление на г-на Мадлена. И вот при каких обстоятельствах.

Глава 6

Дедушка Фошлеван

Как-то утром г-н Мадлен шел по одному из немощеных монрейльских переулков. Вдруг он услышал шум и увидел на некотором расстоянии кучку людей. Он подошел к ним. У старика крестьянина, которого звали дядюшка Фошлеван, упала лошадь, а сам он очутился под телегой.

Этот Фошлеван принадлежал к числу тех немногих врагов, какие еще оставались у г-на Мадлена в это время. Когда Мадлен поселился в Монрейле, Фошлеван, довольно грамотный крестьянин, бывший прежде сельским писцом, занимался торговлей, но с некоторых пор дела его шли плохо. Фошлеван видел, как этот простой рабочий богател, а он, хозяин, постепенно разорялся. Это наполняло его сердце завистью, и он при всяком удобном случае старался чем-нибудь повредить Мадлену. Затем наступило банкротство, и старик, у которого от всего имущества осталась только лошадь с телегой, не имевший к тому же ни семьи, ни детей, вынужден был стать ломовым извозчиком.

При падении лошадь сломала обе ноги и не могла подняться. Старик оказался между колесами, и упал он так несчастливо, что телега всей своей тяжестью давила ему на грудь. Она была основательно нагружена. Дедушка Фошлеван испускал душераздирающие стоны. Его пытались вытащить, но безуспешно. Неловкое движение, неверное усилие, неудачный толчок – и ему был бы конец. Высвободить его можно было лишь одним способом – приподняв телегу снизу. Жавер, случайно оказавшийся здесь в момент несчастья, послал за домкратом.

Но вот подошел г-н Мадлен. Все почтительно расступились.

– Помогите! – кричал старик Фошлеван. – Добрые люди, спасите старика!

Господин Мадлен обратился к присутствующим:

– Нет ли домкрата?

– За ним пошли, – отвечал один крестьянин.

– А скоро его сюда доставят?

– Да пошли-то в самое ближнее место, в Флашо, к кузнецу, но на это понадобится добрая четверть часа.

– Четверть часа! – вскричал Мадлен.

Накануне шел дождь, земля размокла, телега с каждой минутой все глубже уходила в грунт

и все сильнее придавливала грудь старика Фошлевана. Все понимали, что не пройдет и пяти минут, как у него будут сломаны все ребра.

– Нельзя ждать четверть часа, – сказал Мадлен крестьянам, стоявшим вокруг.

– Ничего не поделаешь!

– Да ведь будет уже поздно! Разве вы не видите, что телега уходит все глубже?

– Как не видеть!

– Послушайте, – продолжал Мадлен, – пока еще под телегой довольно места, можно подлезть под нее и приподнять ее спиной. Всего полминуты, а за это время беднягу успеют вытащить. Найдется здесь человек с крепкой спиной и добрым сердцем? Кто хочет заработать пять луидоров?

Никто в толпе не сдвинулся с места.

– Десять луидоров, – сказал Мадлен.

Присутствовавшие смотрели в землю. Один из них пробормотал:

– Тут нужна дьявольская сила. И рискуешь, что тебя самого придавит!

– Ну же! – настаивал Мадлен. – Двадцать луидоров!

Прежнее молчание.

– Желания-то у них хватает, – произнес чей-то голос.

Господин Мадлен обернулся и узнал Жавера. Он не заметил его, когда подошел.

– А вот силы не хватает, – продолжал Жавер. – Чтобы сделать подобную вещь, поднять на спине такую телегу, как эта, надо быть страшным силачом. – И, пристально глядя на г-на Мадлена, он произнес, отчеканивая каждое слово: – Господин Мадлен, в своей жизни я знал только одного человека, способного сделать то, что вы требуете.

Мадлен вздрогнул.

Равнодушным тоном, но не сводя с Мадлена взгляда, Жавер добавил:

– Это был один каторжник.

– Вот как! – отозвался Мадлен.

– Каторжник из Тулонской тюрьмы.

Мадлен побледнел.

Между тем телега продолжала медленно уходить в землю. Дедушка Фошлеван хрипел и вопил:

– Задыхаюсь! У меня ребра трещат! Домкрат! Сделайте что-нибудь! Ох!

Мадлен оглядел толпу.

– Неужели никто не хочет заработать двадцать луидоров и спасти жизнь бедному старику?

Ни один из присутствовавших не шевельнулся. Жавер продолжал:

– В своей жизни я знал только одного человека, который мог заменить домкрат. Это тот каторжник.

– Ох! Сейчас меня раздавит! – крикнул старик.

Мадлен поднял голову, встретил все тот же ястребиный, не отрывавшийся от него взгляд Жавера, посмотрел на неподвижно стоявших крестьян и грустно улыбнулся. Потом, не сказав ни слова, опустился на колени, и не успела толпа даже вскрикнуть, как он был уже под телегой.

Наступила страшная минута ожидания и тишины.

На глазах у всех Мадлен, почти плашмя лежа под чудовищным грузом, дважды пытался подвести локти к коленям, но тщетно. Ему закричали: «Дядюшка Мадлен! Вылезайте!» Сам старик Фошлеван сказал ему: «Господин Мадлен! Уходите! Видно, уж мне на роду написано так умереть! Оставьте меня! Не то вас и самого задавит!» Мадлен ничего не отвечал.

Зрители тяжело дышали. Колеса продолжали уходить все глубже, и теперь Мадлену было уже почти невозможно вылезти из-под телеги.

Вдруг вся эта громада пошатнулась, телега начала медленно приподниматься, колеса наполовину вышли из колеи. Послышался задыхающийся голос: «Скорей! Помогите!» Это крикнул Мадлен, напрягший последние силы.

Все бросились на помощь. Самоотверженный поступок одного придал силу и мужество остальным. Два десятка рук подхватили телегу. Старик Фошлеван был спасен.

Мадлен встал на ноги. Он был смертельно-бледен, хотя пот лил с него градом. Его одежда была разорвана и покрыта грязью. Все плакали. Старик целовал ему колени и называл самым господом богом. А на лице Мадлена было какое-то странное выражение блаженного неземного страдания, и он спокойно смотрел на Жавера, все еще не спускавшего с него глаз.

Глава 7

Фошлеван становится садовником в Париже

Фошлеван при падении вывихнул себе коленную чашку. Дядюшка Мадлен велел отвезти его в больницу, устроенную им для рабочих в самом здании его фабрики; уход за больными был там поручен двум сестрам милосердия. На следующее утро старик нашел на тумбочке возле кровати тысячефранковый билет и записку, написанную рукой дядюшки Мадлена: «Я покупаю у вас телегу и лошадь». Телега была сломана, а лошадь околела. Фошлеван выздоровел, но его колено перестало сгибаться. Заручившись рекомендациями сестер и местного священника, г-н Мадлен устроил старика садовником при женском монастыре в квартале Сент-Антуан в Париже.

Вскоре после этого случая г-н Мадлен был назначен мэром. Когда Жавер впервые увидел г-на Мадлена, опоясанного шарфом, дававшим ему власть над всем городом, он ощутил такой трепет, какой мог бы ощутить пес, который под одеждой своего хозяина почуял волка. С этой минуты он стал всячески избегать встречи с ним. Но когда служебные обязанности принуждали его являться к г-ну мэру и уклониться от этого было невозможно, он выказывал ему глубочайшее почтение.

На благоденствие, созданное дядюшкой Мадленом в Монрейле-Приморском, кроме видимых признаков, о которых мы уже упоминали, указывал и другой признак, который, не будучи видимым, казался, однако, не менее знаменательным. Признак этот безошибочен. Когда население нуждается, когда работы не хватает, когда торговля идет плохо, налогоплательщик, вынужденный к тому безденежьем, невольно уклоняется от уплаты, пропускает все сроки и государству приходится расходовать большие деньги на принудительные меры по сбору податей. Когда же работы вдоволь, когда край счастлив и богат, налоги выплачиваются легко, и взыскание их обходится государству дешево. Можно сказать, что для определения степени общественной нищеты и общественного богатства имеется один непогрешимый барометр: это расходы по взиманию налогов. За семь лет расходы по взиманию налога сократились в Монрейльском округе на три четверти, благодаря чему г-н де Виллель, тогдашний министр финансов, часто приводил этот округ в пример другим.

Таково было состояние края, когда Фантина вернулась на родину. Все давно забыли ее. К счастью, двери фабрики Мадлена были гостеприимно раскрыты для всех желающих. Она явилась туда, и ее приняли в женскую мастерскую. Ремесло было для Фантины совершенно новым, она не могла проявить в нем особого мастерства и зарабатывала очень мало, но ей хватало и этого; главная задача была разрешена: она жила своим трудом.

Глава 8

Госпожа Виктюрье тратит тридцать пять франков во имя нравственности

Когда Фантина увидела, что может жить самостоятельно, ее охватила радость. Жить честным трудом – какая милость неба! И в самом деле, к ней вернулась любовь к труду. Она купила зеркало, радовалась, глядя на свою молодость, на свои красивые волосы и красивые зубы, о многом забыла, стала думать теперь только о Козетте и возможном будущем и зажила почти счастливо. Она сняла маленькую комнатку и обмобилировала ее в кредит, в расчете на будущий заработок; в этом сказались привычки ее прежней беспорядочной жизни.

Не решаясь выдавать себя за замужнюю женщину, она, как мы уже упоминали, всячески избегала говорить кому-нибудь о своей дочурке.

В первое время она, как известно читателю, аккуратно платила Тенардьё. Но писать она не умела, научившись только подписывать свое имя, поэтому ей приходилось для переписки с ними обращаться к общественному писцу.

Писала она часто. Это было замечено. В женской мастерской начали тихонько поговаривать о том, что Фантина «пишет письма» и что она «завела шашни».

Никто не следит за поступками других так ревниво, как те, кого эти поступки меньше всего касаются. «Почему этот господин выходит только в сумерках? Почему по четвергам господин такой-то никогда не вешает на гвоздь ключ от своей комнаты? Почему он всегда ходит переулками? Почему та дама всегда выходит из фиакра, не доезжая до дому? Почему она посылает за почтовой бумагой, когда дома у нее «полным-полно» этой бумаги?» И т. п., и т. п. Есть особы, которые, ради того чтобы отыскать разгадку этих загадок, в сущности говоря совершенно им безразличных, расходуют больше денег, тратят больше времени, делают больше усилий, чем могло бы понадобиться на десяток добрых дел; и все это бескорыстно, из любви к искусству, получая в награду за свое любопытство только удовлетворение этого самого любопытства и ничего больше. Они готовы следить за такой-то женщиной или за таким-то мужчиной по целым дням, часами простаивать на перекрестках, в подъездах, ночью, в холод и в дождь, подкупать посыльных, подпаивать извозчиков и лакеев, задаривать горничную, давать на чай привратнику. Для чего? Да просто так. Из страстного желания увидеть, узнать, раскопать. Из непреодолимой потребности разболтать. А ведь часто эти разоблаченные секреты, эти обнародованные тайны, эти разгаданные загадки влекут за собой катастрофы, дуэли, банкротства, разоряют целые семейства, разбивают жизни, к великой радости того, кто «раскрыл все» без всякой выгоды для себя, повинувшись одному лишь инстинкту. И это очень печально.

Некоторые особы бывают злыми единственно из-за того, что им хочется поговорить. Их беседы, болтовня в гостиной, пересуды в прихожей напоминают камины, быстро пожирающие дрова; они требуют много топлива, а топливо – это ближний.

Итак, за Фантиной стали наблюдать.

При этом многие завидовали ее белокурым волосам и белым зубам.

Заметили, что в мастерской ей часто случалось отвернуться и смахнуть слезу. Это бывало в те минуты, когда она думала о своем ребенке, а возможно, и о человеке, которого любила когда-то.

Рвать таинственные нити, привязывающие нас к прошлому, – мучительный и трудный процесс.

Было установлено, что она пишет письма не реже двух раз в месяц, всегда по одному и тому же адресу, и оплачивает их почтовым сбором. Ухитрились узнать и адрес: «Милостивому государю, господину Тенардьё, трактирщику в Монфермейле». Выпытали все в кабачке у общественного писца, простодушного старика, который не мог влить в себя бутылочку красного

вина, без того чтобы не выложить при этом весь свой запас чужих секретов. Словом, стало известно, что у Фантины есть ребенок. «Судя по всему, это шлюха». Нашлась кумушка, которая совершила путешествие в Монфермейль, повидалась с Тенардье и, вернувшись, сказала: «Я истратила тридцать пять франков, зато все узнала. Я видела ребенка!»

Кумушка, проделавшая это, была мегера по имени г-жа Виктюрье, блюстительница и опекушка всеобщей добродетели. Г-же Виктюрье было пятьдесят шесть лет, и старость удваивала ее природное безобразие. Голос у нее был дребезжащий, а характер брюзжащий. Как ни странно, но когда-то эта женщина была молода. В молодости, в разгаре 93-го года, она вышла замуж за монаха, который, надев красный колпак, сбежал из монастыря и из бернардинца стал якобинцем. Она была сухая, злая, скупая, упорная, вздорная, ядовитая, но все же не могла забыть своего покойника монаха, который сумел подчинить ее и согнуть. Это была черная душонка, отдававшая чернецом. Во время Реставрации она стала святошей, и столь ревностной, что священники простили ей ее монаха. У нее сохранилась землянка, которую она собиралась отказать какой-то духовной общине, о чем кричала на всех перекрестках. Она была на очень хорошем счету в Аррасском епископстве. Вот эта-то самая г-жа Виктюрье съездила в Монфермейль и вернулась со словами: «Я видела ребенка».

На все это ушло немало времени. Фантина уже больше года работала на фабрике, как вдруг, однажды утром, надзирательница мастерской вручила ей от имени г-на мэра пятьдесят франков и, заявив, что она уволена, посоветовала ей, также от имени г-на мэра, уехать из города.

Это случилось именно в тот месяц, когда супруги Тенардье, которые уже получали двенадцать франков вместо первоначальных шести, только что потребовали пятнадцать франков вместо двенадцати.

Фантина была сражена этим ударом. Уехать из города она не могла, так как задолжала за квартиру и за мебель. Пятидесяти франков не могло хватить на то, чтобы покрыть долг. Она пробормотала несколько умоляющих слов. Надзирательница объявила ей, что она должна немедленно покинуть мастерскую. Фантина к тому же была посредственной работницей. Подавленная отчаянием и еще более стыдом, она ушла из мастерской и вернулась в свою комнату. Итак, теперь ее проступок был известен всем.

Она почувствовала себя не в силах защищаться дальше. Кто-то посоветовал ей повидать г-на мэра; она не посмела. Г-н мэр дал ей пятьдесят франков, потому что он был добр, и выгнал ее, потому что был справедлив. Она покорила этому приговору.

Глава 9

Торжество госпожи Виктюрье

Итак, вдова монаха тоже на что-нибудь да пригодилась.

Между тем сам г-н Мадлен ничего не знал обо всей этой истории. Жизнь изобилует такими сложными сплетениями обстоятельств! Г-н Мадлен, как правило, почти никогда не заходил в женскую мастерскую. Во главе этой мастерской он поставил некую старую деву, рекомендованную ему местным кюре, и вполне доверял этой надзирательнице, которая действительно была вполне почтенной, справедливой и неподкупной особой весьма твердых правил, исполненной милосердия, но того милосердия, которое, умея оделять подающим, не возвысилось, однако, до умения понимать и прощать. Г-н Мадлен во всем полагался на нее. Лучшие из людей часто бывают вынуждены передавать свои полномочия другим. И вот, облеченная полной властью и вполне убежденная в своей правоте, надзирательница произвела следствие, разобрала дело, осудила и наказала Фантину.

Что до пятидесяти франков, то она взяла их из суммы, которая была предоставлена г-ном

Мадленом в ее полное и безотчетное распоряжение для выдачи пособий и для вспомоществования нуждающимся работницам.

Фантина стала искать места служанки; она ходила из дома в дом. Никто не хотел ее брать. Уехать из города она не могла. Старьевщик, которому она задолжала за мебель – и какую мебель! – сказал ей: «Если вы вздумаете сбежать, вас арестуют как воровку». Домохозяин, которому она задолжала за квартиру, сказал ей: «Вы молоды и красивы, значит, можете заплатить». Она разделила между домохозяином и старьевщиком свои пятьдесят франков, вернула торговцу три четверти обстановки, сохранив лишь самое необходимое, и осталась без работы, без всякого общественного положения, не имея ничего, кроме кровати, и все-таки обремененная долгом приблизительно в сто франков.

Она принялась шить грубые рубахи для солдат гарнизона, зарабатывая по двенадцать су в день. Содержание дочери стоило ей десять су. Именно в это время она и начала неаккуратно платить Тенардье.

Тогда же старушка, у которой она, возвращаясь домой по вечерам, зажигала свою свечку, научила ее искусству жить в нищете. Вслед за уменьем жить малым идет уменье жить ничем. Это как бы две комнаты: в первой темно, во второй непроглядный мрак.

Фантина узнала, как зимой обходятся без дров, как отказываются от птички, которая за два дня съедает у вас проса на целый лиар, как превращают юбку в одеяло, а одеяло в юбку, как берегут свечу, ужиная при свете, падающем из окна противоположного дома. Мы и не подозреваем, как много умеют извлечь из одного су некоторые слабые создания, состарившиеся в честности и в нужде. В конце концов такое уменье становится талантом. Фантина приобрела этот высокий талант и немного приободрилась.

В этот период своей жизни она как-то раз сказала соседке: «Знаете что? Если я буду спать не больше пяти часов, а все остальное время заниматься шитьем, мне все-таки удастся кое-как заработать на хлеб. И потом, когда человеку грустно, он и ест меньше. Ну что ж! Страдания, тревога и кусочек хлеба, с одной стороны, огорчения – с другой, все это вполне насытит меня».

Видеть возле себя Козетту было бы для Фантины в ее отчаянном положении величайшим счастьем. Она хотела было поехать за ней. Но разве это возможно? Заставить ребенка разделять ее лишения? И потом она ведь должна Тенардье! Как рассчитаться с ними? А деньги на дорогу! Где взять их?

Старушка по имени Маргарита, которая, если можно так выразиться, давала ей уроки нищенского существования, была святая женщина, истинно набожная, бедная, но всегда готовая помочь беднякам и даже богачам, грамотная ровно настолько, чтобы уметь подписать: *Моргорита*, если была в этом надобность, но верившая в бога, что является высшей ученостью.

Внизу, на дне, есть много таких праведниц: когда-нибудь они будут наверху. Эта жизнь имеет свое «завтра».

В первое время Фантина испытывала такой стыд, что не решалась выйти из дому.

Когда она шла по улице, ей казалось, что люди оборачиваются ей вслед и показывают на нее пальцем; все смотрели на нее, но никто не здоровался; едкое и холодное презрение прохожих пронизывало ее тело и душу, как струя ледяного ветра.

В маленьких городках несчастная женщина чувствует себя словно обнаженной под насмешливыми и любопытными взглядами толпы. В Париже вас по крайней мере никто не знает, и эта безвестность заменяет одежду. О, как бы Фантине хотелось вернуться в Париж! Но это было невозможно.

Волей-неволей пришлось привыкать к потере уважения, как она уже привыкла к нищете. Мало-помалу она примирилась и с этим. Месяца через два или три она отбросила стеснение и начала выходить как ни в чем не бывало. «Мне все равно», – говорила она. И шла, высоко

подняв голову, с горькой улыбкой на губах, чувствуя сама, что становится бесстыдной.

Госпожа Виктюрье иногда видела из окна Фантину, когда та проходила мимо, замечала жалкое состояние «этой твари», поставленной благодаря ей «на надлежащее место», и торжествовала. У злых людей – свои, подлые, радости.

Непосильная работа утомляла Фантину, и легкий сухой кашель, который был у нее и прежде, усилился. Иногда она говорила соседке: «Пощупайте, какие у меня горячие руки».

И все-таки по утрам, когда она расчесывала старым сломанным гребнем свои чудные волосы, пушистые и мягкие, как шелк, она испытывала приятное чувство удовлетворенного женского тщеславия.

Глава 10

Последствия торжества

Она была уволена с фабрики в конце зимы; прошло лето, и снова наступила зима. Чем короче день, тем меньше успеваешь сделать. Зимой нет тепла, нет света, нет полудня, вечер сливается с утром, туман, сумерки, окошко серо, в него ничего не видно. Небо – словно отдушина, а день – как темный подвал. У солнца нищенский вид. Ужасное время года! Зима все превращает в камень – и влагу небесную, и сердце человеческое. Кредиторы не давали Фантине покоя.

Она зарабатывала слишком мало. Долги все росли. Тенардье, неаккуратно получавшие деньги, забрасывали ее письмами, содержание которых приводило ее в отчаянье, а уплата за них почтовых сборов просто разоряла. Однажды они написали, что ее маленькая Козетта ходит в эти холода чуть не голой, что ей необходима шерстяная юбка и что мать должна прислать не меньше десяти франков. Получив это письмо, Фантина весь день не выпускала его из рук. Вечером она зашла к одному цирюльнику, заведение которого находилось на углу, и вынула гребень из прически. Чудесные белокурые волосы покрыли ее до пояса.

– Какие замечательные волосы! – вскричал цирюльник.

– А сколько бы вы дали мне за них? – спросила она.

– Десять франков.

– Стригите.

Она купила вязаную юбку и отослала ее Тенардье.

Эта юбка привела супругов Тенардье в ярость. Они хотели получить деньги. Юбку они отдали Эпонине. Бедный Жаворонок продолжал дрогнуть от холода.

Фантина думала: «Теперь моей детке тепло. Я одела ее своими волосами». Она начала носить маленькие круглые чепчики, закрывавшие ее стриженую голову, и все еще была красива.

Черное дело свершалось в сердце Фантины. Лишившись отрады расчесывать свои волосы, она возненавидела все окружающее. Она долгое время разделяла всеобщее глубокое уважение к дядюшке Мадлену; однако, без конца повторяя про себя, что это он выгнал ее с фабрики и что именно он является причиной всех ее несчастий, она начала ненавидеть и его – его-то больше всех. Проходя мимо фабрики в те часы, когда рабочие толпились у ворот, она нарочно старалась громко смеяться и петь.

Услышав однажды это пение и этот смех, одна старуха работница сказала про нее: «Ну, эта девушка плохо кончит».

И вот, с бешенством в сердце, словно бросая кому-то вызов, она завела любовника, первого встречного, человека, которого она вовсе не любила. Это был негодяй, какой-то бродячий музыкант, проходимец; он бил ее и вскоре бросил с таким же отвращением, с каким она сошлась с ним.

Она обожала своего ребенка.

Чем ниже она опускалась, чем темнее становилось все вокруг нее, тем ярче сиял в глубине ее души образ этого кроткого маленького ангела. Она говорила: «Когда я разбогатею, моя Козетта будет со мной» – и смеялась от радости. Кашель больше не покидал ее, и она часто вся обливалась потом.

Однажды она получила от Тенардье письмо такого содержания: «Козетта заболела заразной болезнью, которая ходит у нас по всей округе. Это сыпная горячка, как ее называют. Нужны дорогие лекарства. Они нас совсем разорили, и мы больше не в состоянии покупать их. Если в течение недели вы не пришлете сорок франков, девочка умрет».

Фантина громко расхохоталась и сказала старухе соседке: «Они сошли с ума! Сорок франков! Сколько это? Два наполеондора! Где же мне взять их? До чего глупы эти крестьяне!»

Однако она вышла на лестницу и, подойдя к слуховому окошку, перечитала письмо еще раз.

Потом она спустилась с лестницы и вприпрыжку побежала по улице, все еще продолжая хохотать.

Прохожий, попавшийся ей навстречу, спросил ее: «С чего это вы так развеселились?»

Она ответила: «Да так, получила глупое письмо из деревни. Просят прислать сорок франков. Одно слово – крестьяне!»

Проходя по площади, она увидела множество людей, окружавших какую-то повозку странной формы; на империале ее стоял и разглагольствовал человек, одетый в красное. Это был шарлатан-дантист, разъезжавший из города в город и предлагавший публике вставные челюсти, разные порошки, мази и эликсиры.

Фантина вмешалась в толпу и принялась, как все, хохотать над его напыщенной речью, уснащенной воровскими словечками для черни и ученой тарабарщиной для чистой публики. Внезапно зубодер заметил эту красивую смеющуюся девушку и крикнул: «Эй ты, хохотунья, у тебя красивые зубки! Уступи мне два твоих резца, и я дам тебе по наполеондору за каждый».

– Что это еще за резцы у меня? – спросила Фантина.

– Резцы, – важно отвечал зубной лекарь, – это передние зубы. Два верхних зуба.

– Какой ужас! – вскричала Фантина.

– Два наполеондора! – прошамкала беззубая старуха, стоявшая сзади. – И выпадает же людям счастье!

Фантина убежала и закрыла уши, чтобы не слышать хриплого голоса дантиста, который кричал ей вслед:

– Поразмысли, красотка! Два наполеондора не валяются на улице. Если надумаешь, приходи вечером в трактир «Серебряная палуба», я буду там.

Фантина вернулась домой рассерженная и рассказала о случившемся своей доброй соседке Маргарите.

– Вы только представьте себе! Это просто какой-то изверг. И как только подобным людям позволяют разъезжать по городам? Вырвать у меня два передних зуба! Да ведь я стану уродом! Волосы могут еще отрасти, но зубы! Какое чудовище! Да я лучше соглашусь броситься вниз головой с шестого этажа! Он сказал, что вечером будет в «Серебряной палубе».

– И сколько он тебе предложил? – спросила Маргарита.

– Два наполеондора.

– Это сорок франков.

– Да, – сказала Фантина, – это сорок франков.

Она задумалась и принялась за работу. Через четверть часа она бросила шитье и вышла на лестницу, чтобы перечитать письмо Тенардье.

Вернувшись, она спросила у Маргариты, работавшей рядом с ней:

– Скажите, вы не знаете, что это такое – сыпная горячка?

– Знаю, – ответила престарелая девица, – это такая болезнь.

– И на нее требуется много лекарств?

– О да. Страшно много.

– А что при этом болит?

– Да все болит, все тело.

– И к детям она, значит, тоже пристаёт?

– О, к детям-то всего чаще.

– А бывает ли, чтобы от нее умирали?

– Сколько угодно, – ответила Маргарита.

Фантина вышла на улицу и еще раз перечитала письмо.

Вечером она вышла из дому, и люди видели, что она направилась в сторону Парижской улицы, где были трактиры.

На следующее утро, когда Маргарита, как обычно, чуть свет вошла в комнату Фантины, где они всегда работали вместе, чтобы не жечь второй свечки, девушка сидела на постели бледная, вся застывшая. Видно было, что она совсем не ложилась. Чепчик лежал у нее на коленях. Свеча горела всю ночь, и от нее остался лишь маленький огарок.

Потрясенная этим чудовищным нарушением обычного порядка, Маргарита остановилась на пороге и вскричала:

– Господи помилуй! Вся свечка сгорела! Видно, случилось что-то недоброе!

И она посмотрела на Фантину, повернувшую к ней свою стриженую голову.

За эту ночь Фантина постарела на десять лет.

– Иисусе! – изумилась Маргарита. – Что это такое с тобой случилось, Фантина?

– Ничего, – ответила Фантина. – Напротив, теперь все хорошо. Моя девочка не умрет от этой ужасной болезни, у нее будут лекарства. Я довольна.

С этими словами она показала старой деве на два наполеондора, блестевшие на столе.

– Господи Иисусе! – снова вскричала Маргарита. – Да ведь это целое богатство! Где же ты взяла эти золотые?

– Достала, – ответила Фантина.

И она улыбнулась. Свеча осветила ее лицо. Это была кровавая улыбка. Красноватая слюна показалась в углах губ, а во рту зияла черная дыра.

Два передних зуба были вырваны.

Она послала в Монфермейль сорок франков.

А между тем со стороны Тенардьё это была хитрость, чтобы выманить деньги. Козетта не была больна.

Фантина выбросила зеркало за окошко. Она давно уже перебралась из своей комнатки на третьем этаже в мансарду под самой крышей, запиравшуюся только на щеколду, в одну из тех конур, где потолок, спускаясь к половицам, образует угол и где на каждом шагу вы ударяетесь об него головой. Бедняк может дойти до конца своей комнаты, так же как и до конца своей судьбы, лишь все ниже и ниже сгибая спину. У Фантины уже не было кровати, у нее оставалась только какая-то рвань, которую она называла одеялом, тюфяк, валявшийся на голом полу, да разодранный соломенный стул. Забытый в углу маленький розан засох. Глиняный кувшин из-под масла, в другом углу, теперь служил для воды; зимой вода замерзала, и различный ее уровень долго оставался отмеченным на его стенках ледяными кольцами. Потеряв стыд, Фантина потеряла и кокетливость. Это была последняя грань. Она стала выходить на улицу в грязных чепчиках. За недостатком времени, а быть может, из равнодушия, она перестала чинить

свое белье. Когда пятки на чулках прорывались, она подворачивала носки, и это было заметно по особым некрасивым сборкам над башмаками. Свой старый изношенный корсаж она чинила лоскутками коленкора, которые рвались при каждом движении. Кредиторы делали ей сцены и ни на минуту не оставляли ее в покое. Они ловили ее на улице, они ловили ее на лестнице. Она проводила в слезах и думах целые ночи. Глаза у нее были теперь очень блестящие, и она ощущала постоянную боль в спине, у верхушки левой лопатки. Она сильно кашляла. Она глубоко ненавидела дядюшку Мадлена и никому не жаловалась. Она шила по семнадцать часов в сутки, но вдруг один подрядчик, ведавший работой заключенных женщин и заставлявший их трудиться за очень низкую плату, сбавил цену на рубашки настолько, что оплата рабочего дня вольной швеи свелась к девяти су. Семнадцать часов работы за девять су! Кредиторы Фантины стали безжалостнее, чем когда-либо. Старьевщик, который забрал у нее обратно почти всю обстановку, без конца повторял: «Когда же ты мне заплатишь, негодная?» Господи боже! Чего хотели от нее все эти люди? Она чувствовала себя затравленной, и в ней стали развиваться инстинкты, присущие дикому зверю. Около этого времени Тенардье написал ей, что он положительно был чересчур добр, ожидая так долго, что ему нужны сто франков, и немедленно; в противном случае он вышвырнет маленькую Козетту, хотя она только еще оправляется от тяжелой болезни, на холод, на улицу, а там – будь что будет, пусть околеваает, это ее дело. «Сто франков, – подумала Фантина. – Но разве есть ремесло, при котором можно заработать сто су в день?»

– Ну что ж! – сказала она. – Продадим остальное.
И несчастная стала публичной женщиной.

Глава 11

Christus nos liberavit^[27]

Что же такое представляет собой история Фантины? Это история общества, покупающего рабыню.

У кого? У нищеты.

У голода, у холода, у одиночества, у заброшенности, у лишений. Горестная сделка. Душу за кусок хлеба. Нищета предлагает, общество принимает предложение.

Святой завет Иисуса Христа руководит нашей цивилизацией, но еще не проник в нее. Говорят, что рабство упразднено европейской цивилизацией. Это заблуждение. Оно все еще существует, но теперь его тяжесть падает только на женщину, и имя его – проституция.

Его тяжесть падает на женщину, то есть на грацию, на слабость, на красоту, на материнство. Это позор для мужчины, и притом величайший позор.

В том акте горестной драмы, к которому мы подошли в нашем повествовании, уже ничего не осталось от прежней Фантины. Окунувшись в грязь, женщина превращается в камень. Прикосновение к ней пронизывает холодом. Она проходит мимо вас, она терпит вас, но она вас не знает; она обесчещена и сурова. Жизнь и общественный строй сказали ей свое последнее слово. С ней уже случилось все то, что было ей отпущено на всю жизнь. Она все перечувствовала, все перенесла, все испытала, все перестрадала, все утратила, все оплакала. Она покорила судьбе с той покорностью, которая так же похожа на равнодушие, как смерть похожа на сон. Она ничего больше не избегает. Она ничего больше не боится. Пусть разверзнутся над ней хляби небесные, пусть прокатит над ней свои воды весь океан! Что ей до того? Она – как губка, насыщенная до предела.

Так по крайней мере кажется ей самой, но человек ошибается, если думает, что возможно

исчерпать свою судьбу и что чаша его выпита до дна.

Увы! Что же представляют собой все эти судьбы, беспорядочно толкаемые вперед? Куда они идут? И почему они такие, а не иные?

Тот, кому ведомо сие, видит весь этот мрак.

Он один. Имя его – бог.

Глава 12

Досуг господина Баматабуа

Во всех маленьких городках, а в частности и в Монрейле-Приморском, всегда имеется особая порода молодых людей, которые в провинции проедают свои полторы тысячи ливров ренты с таким же видом, с каким все им подобные пожирают в Париже двести тысяч франков в год. Это существа, относящиеся к многочисленным видам пустоцветов, – это круглые нули, паразиты, ничтожества, у которых есть немного земли, немного глупости и немного ума; люди, которые в гостинной показались бы деревенщиной, а в кабаке считают себя аристократами, которые говорят: «Мои луга, мои леса, мои крестьяне», освистывают актрис в театре, чтобы показать, что они люди со вкусом, и задевают гарнизонных офицеров, чтобы доказать, что они люди храбрые, охотятся, курят, зевают, пьют, пахнут табаком, играют на бильярде, глазеют на приезжих, когда те выходят из дилижанса, днюют и ночуют в кафе, обедают в трактире, держат собаку, которая грызет кости у них под столом, и любовницу, которая накрывает на стол, торгуются из-за гроша, утрируют моду, восхищаются трагедией, презирают женщин, донашивают до дыр свои старые сапоги, подражают Лондону, глядя на него сквозь призму Парижа, и Парижу, глядя на него сквозь призму Понт-а-Мусон, к старости окончательно тупеют, ничего не делают, ни на что не годны, но особого вреда не приносят.

Господин Феликс Толомьес, несомненно, был бы одним из таких господ, если бы он никогда не выезжал из своей провинции и ни разу не побывал в Париже.

Будь они богаче, про них сказали бы: «Это щеголи». Будь они победнее, про них сказали бы: «Это лодыри». Но, в сущности говоря, это просто тунеядцы. Среди таких тунеядцев есть скучные, есть скучающие, есть мечтатели; попадают и негодяи.

В те времена щеголь состоял из высокого воротничка, широкого галстука, часов с брелоками, трех разноцветных жилетов, одетых один на другой, причем синий и красный надевались снизу, из оливкового фрака с короткой талией, длинными заостренными фалдами и двумя рядами серебряных пуговиц, посаженных очень тесно и достигающих до самых плеч, а также из более светлых, оливковых же, панталон, украшенных по швам неопределенным, но всегда нечетным числом шелковых кантов, менявшихся от одного до одиннадцати – предел, которого никто не преступал. Присоедините к этому полусапожки с железными подковками на каблуках, цилиндр с узкими полями, волосы, взбитые копной, огромную трость и речь, расцвеченную каламбурами Потье. Вдобавок ко всему – усы и шпоры. Усы в те годы являлись отличительным признаком штатских лиц, а шпоры – пешеходов.

У провинциального франта шпоры бывали длиннее, а усы свирепее.

Это происходило во времена борьбы южноамериканских республик с испанским королем, борьбы Боливара с Морильо. Шляпы с узкими полями составляли принадлежность роялистов и назывались «морильо»; либералы облюбовали шляпы с широкими полями, носившие название «боливаров».

Месяцев через восемь или десять после того, о чем было рассказано на предыдущих страницах, в первых числах января 1823 года, вечером, на улице, покрытой только что выпавшим снегом, один из этих франтов, из этих бездельников – человек «благонамеренный»,

ибо голова у него была увенчана «морилью», закутанный в широкий теплый плащ, довершавший в зимнюю пору модный наряд, – забавлялся тем, что поддразнивал некое создание женского пола, разгуливавшее в открытом бальном платье и с цветами на голове перед витриной офицерской кофейни. Франт курил сигару, ибо таково было решительное требование моды.

Всякий раз, как женщина проходила мимо него, он пускал ей в лицо вместе с облаком сигарного дыма какое-нибудь замечание, казавшееся ему верхом остроумия и веселости, как, например: «Вот так уродина! Да убереешься ли ты наконец? Эх ты, беззубая!» И т. п., и т. п. Имя этого франта было господин Баматабуа. Женщина, унылое разряженное привидение, сновавшее взад и вперед по снегу, не отвечала ему, даже не смотрела на него и молча, с мрачной настойчивостью, продолжала свою прогулку, каждые пять минут снова и снова подвергаясь его насмешкам, словно осужденный солдат, прогоняемый сквозь строй. Такое невнимание, должно быть, раздосадовало шалопаю, и, воспользовавшись моментом, когда она повернулась к нему спиной, он подкрался к ней сзади, нагнулся, заглушая смех, схватил пригоршню снега и внезапно сунул его за вырез платья, между ее обнаженными лопатками. Девушка испустила дикий вопль, обернулась и, как пантера, бросилась на мужчину, впиваясь ему в лицо ногтями и обливая его потоком отборной брани, которой могла бы позавидовать пьяная солдатня. Эти ругательства, выкрикиваемые осипшим от водки голосом, вылетали из обезображенного рта, в котором действительно недоставало двух передних зубов. То была Фантина.

На шум из кофейни гурьбой высыпали офицеры, столпились прохожие, и вокруг живого клубка, в котором трудно было разобрать, где был мужчина и где женщина, образовался широкий круг зрителей, которые хохотали, гикали и били в ладоши; мужчина отбивался, шляпа его упала на землю, а женщина колотила его ногами и кулаками, рыча от ярости, беззубая, простоволосая, стриженная, вся посиневшая, страшная.

Внезапно от толпы отделился высокий человек, схватил женщину за лиф ее атласного, забрызганного грязью платья и сказал: «Иди за мной».

Женщина подняла голову, и ее истошный крик внезапно оборвался. Глаза ее остекленели, посиневшее лицо стало мертвенно-бледным, она задрожала от ужаса. Она узнала Жавера.

Франт воспользовался этим обстоятельством и улизнул.

Глава 13

Разрешение некоторых вопросов, находящихся в ведении муниципальной полиции

Жавер раздвинул толпу, прорвал сомкнутый круг и крупным шагом направился к находившемуся на противоположном конце площади полицейскому участку, таща за собой несчастную женщину. Она машинально повиновалась ему. Ни он, ни она не произнесли ни слова. Туча зевак шла за ними следом в полном восторге, отпуская грубые шутки. Чем глубже несчастье, тем больше поводов для сквернословия.

Дойдя до полицейского участка, представлявшего собой отапливаемую печкой и охраняемую постовыми низкую комнату со стеклянной зарешеченной дверью, выходившей прямо на улицу, Жавер отворил дверь и, войдя вместе с Фантиной, закрыл ее за собой, к великому разочарованию любопытных, которые, встав на цыпочки и вытянув шею, заглядывали в мутное стекло караульни, пытаясь что-нибудь увидеть. Любопытство подобно чревоугодию. Увидеть – все равно что полакомиться.

Войдя в комнату, Фантина опустилась на пол в углу, неподвижная и безмолвная, съежившись, как испуганная собачонка.

Караульный сержант принес зажженную свечу и поставил на стол. Жавер сел, вынул из кармана листок гербовой бумаги и принялся писать.

Этот разряд женщин всецело отдан нашим законодательством во власть полиции. Она делает с ними все, что хочет, наказывает их, как ей угодно, и, по своему усмотрению, отнимает у них два печальных блага, которые они называют своим ремеслом и своей свободой. Жавер казался бесстрастным, его суровое лицо не выдавало никаких чувств. Между тем он был серьезно и глубоко озабочен. Наступила одна из тех минут, когда он бесконтрольно, но отдавая полный отчет строгому суду собственной совести, должен был проявить грозную и неограниченную власть. В эту минуту – он сознавал это – табурет простого агента полиции становился судилищем. Он творил суд. Творил суд и выносил приговор. Он напрягал все свои умственные способности, чтобы как можно правильнее разрешить великую задачу, стоявшую перед ним. Чем глубже он вникал в дело этой женщины, тем глубже становилось его возмущение. Только что он сам был свидетелем преступного действия, это было несомненно. Он сам видел там, на улице, как общество в лице домовладельца и избирателя подверглось нападению и оскорблению со стороны какой-то выброшенной за борт твари. Проститутка посягнула на буржуа. И он сам видел это, он, Жавер. Не прерывая молчания, он писал.

Кончив, он поставил свою подпись, сложил бумагу и, вручив ее сержанту, сказал:

– Возьмите трех солдат и отведите эту девку в тюрьму. – Потом, обернувшись к Фантине, добавил: – Ты отсидишь шесть месяцев.

Несчастливая задрожала.

– Шесть месяцев! Шесть месяцев тюрьмы! – вскричала она. – Шесть месяцев зарабатывать по семь су в день! Что же будет с Козеттой? С моей дочкой! С моей дочкой! Но ведь я и так должна Тенардые больше ста франков, знаете ли вы об этом, господин полицейский надзиратель?

Она поползла к нему на коленях по мокрому каменному полу, истоптанному грязными сапогами всех этих людей.

– Господин Жавер, – говорила она, в отчаянии ломая руки, – умоляю вас, пощадите меня. Уверяю вас, я не виновата. Если бы вы были там с самого начала, вы бы сами увидели, что это так! Клянусь вам господом богом, я не виновата. Этот господин, которого я даже не знаю, ни с того ни с сего сунул мне ком снега за ворот платья. Разве разрешается совать нам снег за ворот, когда мы спокойно ходим по улице и никого не трогаем? Меня всю так и перевернуло. Я, видите ли, не совсем здорова! А потом он и до этого довольно долго говорил мне разные обидные слова. Уродина! Беззубая! Я и без того знаю, что у меня нет зубов. Я ничего не делала, я думала про себя: «Ну что ж, этот господин забавляется». Я вела себя с ним по-хорошему, я с ним не разговаривала. Вот тут-то он и сунул мне снег за спину. Господин Жавер, добрый господин надзиратель! Неужели же там, за дверью, не найдется ни одного человека, который видел, как было дело, и мог бы подтвердить, что это правда? Может быть, нехорошо, что я рассердилась. Но знаете, в первую минуту не владеешь собой. Бывает, и погорячишься. И когда вам за спину неожиданно попадает такое холодное... Я виновата, что испортила шляпу этого господина. Зачем он ушел? Я бы попросила у него прощения. О господи, мне это ничего не стоит, я бы попросила у него прощения. Помилуйте меня на этот раз, господин Жавер. Послушайте, вы же знаете, в тюрьме зарабатывают только по семь су в день, правительство в этом не виновато, но там зарабатывают только по семь су в день, а ведь я, вы можете себе представить, я ведь должна выплатить сто франков, или мне привезут мою крошку. Боже великий! Я не могу взять ее к себе. То, что я делаю, так гадко! О моя Козетта, мой маленький святой ангелочек, что только с ней будет, с моей бедной деткой! Вы знаете, эти Тенардые – крестьяне, трактирщики, их не урезонишь. Им нужны деньги, и все тут. Не сажайте меня в

тюрьму! Ведь мою крошку сейчас же выбросят вон, на большую дорогу, иди куда глаза глядят, среди зимы. Вы должны сжалиться над ней, вы добрый, господин Жавер. Если бы она была постарше, она бы сама зарабатывала себе на жизнь, но она еще не может, она ведь совсем маленькая. В конце концов, я не такая уж дурная женщина. Не подлость и не жадность сделали из меня то, чем я стала. Если я пила водку, то с горя. Я совсем ее не люблю, но она как-то оглушает. Когда мне лучше жилось, вам стоило бы только заглянуть в мои шкафы, и вы бы сразу увидели, что я не какая-нибудь ветреница и что я люблю порядок. У меня и белье было, много белья. Сжальтесь надо мной, господин Жавер!

Не поднимаясь с колен, согнувшись чуть не до земли, сотрясаясь от рыданий, ничего не видя от застилавших глаза слез, с полуобнаженной грудью, ломая руки и кашляя сухим отрывистым кашлем, она говорила тихо, словно умирающая. Великая скорбь – это божественный и грозный луч, преображающий лица несчастных. В эту минуту Фантина снова была прекрасна. Время от времени она умолкала и кротко целовала у сыщика полу сюртука. Она смягчила бы каменное сердце; но деревянное сердце смягчить нельзя.

– Ну, – сказал Жавер, – хватит, я выслушал тебя! Ты, кажется, все сказала? Теперь ступай. Ты отсидишь шесть месяцев, и сам господь бог не сможет тут ничего поделывать.

При этих торжественных словах: «Сам господь бог не может тут ничего поделывать», она поняла, что приговор произнесен. Она совсем припала к земле и прошептала:

– Помилуйте!

Жавер повернулся к ней спиной.

Солдаты схватили ее за руки.

За несколько минут до того, никем не замеченный, в комнату вошел какой-то человек. Закрыв за собой дверь и прислонившись к ней, он слышал отчаянные мольбы Фантины.

В тот миг, когда солдаты схватили несчастную женщину, не желавшую подняться с пола, он шагнул вперед, выступил из мрака и сказал:

– Погодите минуту!

Жавер поднял глаза и узнал г-на Мадлена. Он снял шляпу и поклонился ему принужденно и с досадой.

– Извините, господин мэр... – начал он.

Это обращение «господин мэр» произвело на Фантину странное действие. Она сразу встала на ноги, во весь рост, словно привидение, выросшее из-под земли, обеими руками оттолкнула солдат, которые не успели ее удержать, вплотную подошла к г-ну Мадлену и, устремив на него помутившийся взгляд, выкрикнула:

– Ах, вот что! Так это ты – господин мэр?!

И, разразившись хохотом, плюнула ему в лицо.

Господин Мадлен вытер лицо и сказал:

– Инспектор Жавер, отпустите эту женщину на свободу.

Жаверу показалось, что он сходит с ума. В эту минуту он испытал одно за другим, и почти одновременно, самые сильные душевные потрясения, какие ему когда-либо выпадали на долю. Увидеть своими глазами, как публичная женщина плюет в лицо мэру, было столь чудовищно, что даже при самых ужасных своих предположениях он счел бы святотатством одну мысль о возможности такого факта. С другой стороны, в глубине души он смутно и с отвращением сопоставлял то, чем была эта женщина, с тем, чем, может быть, некогда был этот мэр, и тогда, к его ужасу, совершившееся преступление начинало представляться ему вполне естественным. Когда же этот мэр, этот государственный чиновник, спокойно вытер лицо и сказал: «Отпустите эту женщину на свободу», в голове у него все смешалось; он лишился дара мысли и дара речи; доступный ему предел изумления был превзойден. Он онемел.

Не менее странное действие произвела эта фраза и на Фантину. Она подняла обнаженную руку и схватилась за печную заслонку, словно у нее вдруг закружилась голова. Потом оглянулась по сторонам и заговорила тихо, словно про себя:

– На свободу! Меня отпустят! Значит, я не сяду в тюрьму на шесть месяцев! Кто это сказал? Не может быть, чтобы кто-нибудь сказал это. Я, наверно, ослышалась. Этот изверг мэр не мог сказать такую вещь! Дорогой мой господин Жавер, ведь это вы сказали, чтобы меня отпустили на свободу? Знаете что, я расскажу вам все, и тогда вы позволите мне уйти. Этот изверг, этот старый негодяй мэр один виноват во всем. Вообразите только, господин Жавер, что он выгнал меня из мастерской только из-за сплетен нескольких негодниц. Ну, разве это не чудовищно? Уволить бедную девушку, которая честно живет своим трудом! И тогда я стала зарабатывать слишком мало денег, с этого-то и начались все несчастья. Прежде всего вам, господам полицейским, следовало бы ввести одно улучшение – вам бы надо запретить тюремным подрядчикам причинять вред бедным людям. Сейчас я вам объясню, в чем дело. Вы зарабатываете шитьем рубах двенадцать су, вдруг заработок падает до девяти су, и вы никак не можете прожить на это. Ну, и живи как знаешь. А у меня ведь была моя маленькая Козетта, вот мне и пришлось волей-неволей стать дурной женщиной. Теперь вы понимаете, что во всем виноват этот подлый мэр. Правда, я растоптала перед офицерской кофейней шляпу того господина, но ведь он погубил мне снегом все платье. А у нашей сестры только и есть одно шелковое платье, чтобы надевать по вечерам. Поверьте мне, господин Жавер, я никогда нарочно не делала зла, и все-таки кругом я вижу столько женщин, которые гораздо хуже меня, а живут гораздо счастливее. О господин Жавер, ведь это вы сказали, чтобы меня отпустили? Правда? Наведите справки, спросите у моего квартирного хозяина, теперь я вовремя вношу квартирную плату, все скажут вам, что я честная женщина. Ой, господи! Простите меня, я нечаянно дотронулась до заслонки и надымилась.

Господин Мадлен слушал ее с глубоким вниманием. Пока она говорила, он успел пошарить в своем кармане, вытащить оттуда кошелек и открыть его. Кошелек оказался пустым. Он спрятал его обратно в карман и спросил Фантину:

– Как вы сказали, сколько у вас долгу?

Фантина, не сводившая глаз с Жавера, обернулась в его сторону:

– Не с тобой говорят! – И обратилась к солдатам: – А видели вы, ребята, как я плюнула ему в физиономию? Ага, старый мошенник мэр, ты пришел сюда, чтобы напугать меня, а я тебя не боюсь! Я боюсь только господина Жавера, моего доброго господина Жавера!

Сказав это, она снова обратилась к Жаверу:

– Видите ли, господин полицейский надзиратель, надо все-таки быть справедливым. Я понимаю, что вы человек справедливый, господин надзиратель. В самом деле, все это очень просто: мужчина для забавы сунул женщине за ворот немного снегу и насмешил господ офицеров – надо же людям чем-нибудь развлекаться, ведь такие, как я, только для этого и существуют на свете! А потом приходите вы – вы должны ведь навести порядок; вот вы и уводите женщину, которая провинилась; но так как вы человек добрый, то, поразмыслив, вы сказали, чтобы меня отпустили на свободу; это ради малютки, ведь, если бы вы посадили меня на полгода в тюрьму, я не могла бы кормить мою крошку. Но смотри не попадайся снова, чертовка! О, больше я не попадусь, господин Жавер! Пусть теперь делают со мной все, что угодно, я и не пикну. Сегодня, видите ли, я закричала потому, что мне стало нехорошо, я совсем не ожидала, что этот господин сунет мне снег за ворот, и потом, я уже говорила вам, я не совсем здорова, я кашляю, и здесь, в желудке, у меня словно клубок какой-то, так и жжет. Доктор сказал мне: «Лечитесь». Да вот, троньте, дайте руку, не бойтесь, вот здесь...

Она больше не плакала, голос ее звучал кротко, она прижимала к своей нежной белой груди

громадную грубую руку Жавера и смотрела на него с улыбкой.

Вдруг она торопливо поправила платье, опустила задрывшуюся почти до колен юбку и пошла к двери. Дружески кивая головой солдатам, она проговорила вполголоса:

– Ну, ребята, господин надзиратель сказал, чтобы меня отпустили. Я уйду.

Она положила руку на щеколду. Еще один шаг, и она была бы на улице.

До этой минуты Жавер стоял неподвижно, устремив глаза в землю, похожий на сдвинутую с места, поставленную боком статую, которая ждет, чтобы ее куда-нибудь убрали.

Стук щеколды пробудил его. Он поднял голову, лицо его выражало сознание своей неограниченной власти – выражение, тем более пугающее, чем ниже стоит обладатель этой власти: свирепое у дикого зверя, жестокое у ничтожного человека.

– Сержант, – крикнул он, – разве вы не видите, что эта мерзавка уходит? Кто разрешил вам отпустить ее?

– Я, – сказал Мадлен.

Услышав голос Жавера, Фантина задрожала и выпустила щеколду, подобно тому как пойманный вор выпускает из рук украденную вещь. Услышав голос Мадлена, она обернулась и с этой минуты, не произнося ни слова, не осмеливаясь даже вздохнуть полной грудью, попеременно, в зависимости от того, который из них говорил, переводила взгляд с Мадлена на Жавера и с Жавера на Мадлена.

Было очевидно, что Жавер, как говорится, совершенно «спятил», если он позволил себе сказать сержанту то, что он сказал, после приказания мэра отпустить Фантину на свободу. Дошел ли он до того, что забыл о присутствии мэра? Решил ли, что «начальство» не могло отдать такого приказания и что господин мэр попросту оговорился? А может быть, перед лицом чудовищных событий, которые в течение последних двух часов разыгрывались перед его глазами, он убедил себя, что надо решиться на крайние меры, что необходимо низшему стать высшим, сыщику сделаться чиновником, представителю полиции превратиться в представителя юстиции и что при создавшемся исключительном положении порядок, законность, нравственность, правительство – словом, все общество в целом олицетворяется в нем одном, в Жавере?

Как бы там ни было, но когда г-н Мадлен произнес: «Я», полицейский надзиратель Жавер обернулся к господину мэру, бледный, застывший, с посиневшими губами и полным отчаяния взглядом, весь дрожа едва заметной мелкой дрожью, и – неслыханное дело – сказал, опустив глаза, но твердым голосом:

– Господин мэр, это невозможно.

– Как так? – спросил г-н Мадлен.

– Эта дрянь оскорбила почтенного горожанина.

– Полицейский надзиратель Жавер, – возразил г-н Мадлен примирительным и спокойным тоном, – послушайте. Вы честный человек, и мы легко пойдем друг друга. Вот как обстояло дело. Я проходил по площади, когда вы уводили эту женщину; там еще оставались группы людей, я расспросил их и все узнал. Виноват был этот господин, и по-настоящему полиции следовало арестовать именно его.

Жавер ответил:

– Эта мерзавка только что оскорбила вас, господин мэр.

– Это мое дело, – возразил г-н Мадлен. – Оскорбление касается, по-моему, только меня. Я могу отнестись к нему, как мне угодно.

– Прошу прощения, господин мэр, но оскорбление вашей особы касается не только вас, оно касается правосудия.

– Полицейский надзиратель Жавер, – возразил г-н Мадлен, – высшее правосудие – это

совесть. Я слышал рассказ этой женщины и знаю, что я делаю.

– А я, господин мэр, не знаю, верить ли мне своим глазам.

– В таком случае ограничьтесь повинованием.

– Я повинуюсь долгу. Мой долг требует посадить эту женщину в тюрьму на шесть месяцев.

Господин Мадлен мягко ответил ему:

– Запомните хорошенько: она не проведет в тюрьме ни одного дня.

После этого решительного заявления Жавер отважился пристально взглянуть на мэра и сказал ему своим прежним, глубоко почтительным тоном:

– Мне очень жаль, что я должен послушаться господина мэра, это впервые в моей жизни, но осмелюсь заметить, что я действую в пределах своих полномочий. Ограничусь, если так угодно господину мэру, случаем, касающимся этого горожанина. Я был там. Эта самая девка набросилась на господина Баматабуа, избирателя и домовладельца. Именно ему и принадлежит красивый дом с балконом, что на углу площади, четырехэтажный, из тесаного камня. Вот оно что бывает на белом свете! Как хотите, господин мэр, а это проступок, подлежащий ведению уличной полиции, за которую отвечаю я, и я арестую девицу Фантину.

Тогда г-н Мадлен скрестил руки на груди и произнес таким суровым тоном, какого еще никто в городе от него не слышал:

– Проступок, о котором вы говорите, подлежит рассмотрению муниципальной полиции. Согласно статье девятой, одиннадцатой, пятнадцатой и шестьдесят шестой свода уголовных законов, подобные проступки подсудны мне. Приказываю отпустить эту женщину на свободу.

Жавер хотел было сделать еще одну, последнюю попытку:

– Однако, господин мэр...

– Что касается вас, то напоминаю вам статью восемьдесят первую закона от тринадцатого декабря тысяча семьсот девяносто девятого года о произвольном аресте.

– Позвольте, господин мэр...

– Ни слова больше.

– Но я...

– Ступайте, – сказал г-н Мадлен.

Жавер принял этот удар грудью, не дрогнув, не опустив глаза, как русский солдат. Он низко поклонился господину мэру и вышел.

Фантина, посторонившись, застыла у дверей, изумленно глядя ему вслед.

Она тоже была во власти странного смятения. Только что здесь из-за нее происходил как бы поединок двух враждебных сил. На ее глазах боролись два человека, которые держали в руках ее свободу, ее жизнь, ее душу, ее ребенка; один из этих людей тянул ее в сторону мрака, другой возвращал к свету. Она смотрела на борьбу этих людей расширенными от страха глазами, и ей казалось, что перед ней два исполина; один говорил, как ее злой дух, другой – как добрый ангел. Ангел победил злого духа, и этим ангелом – вот что заставляло ее дрожать с головы до ног, – этим освободителем оказался тот самый человек, которого она ненавидела, тот самый мэр, которого она так долго считала виновником всех своих бедствий, тот самый Мадлен! И он спас ее в ту именно минуту, когда она нанесла ему такое ужасное оскорбление! Неужели она ошиблась? Неужели ей предстояло переделать всю свою душу?.. Она не знала, что думать, она трепетала. Она слушала, она смотрела, ошеломленная, растерянная, и чувствовала, как с каждым словом г-на Мадлена в ней тает и рассеивается чудовищный мрак ненависти, как отогревается сердце и как зарождается в нем что-то неизъяснимое, таившее в себе радость, доверие и любовь.

Когда Жавер вышел, г-н Мадлен обернулся к ней и медленно, с трудом выговаривая каждое слово, как сдержанный человек, который не хочет дать волю слезам, сказал ей:

– Я слышал то, что вы рассказали. Я ничего не знал об этом. Думаю, что все это правда, и больше того, чувствую, что все это правда. Я не знал даже, что вы работали в моей мастерской. Отчего же вы не обратились прямо ко мне? Впрочем, теперь уж об этом нечего говорить; я заплачу ваши долги, я пошлю за вашим ребенком или вы сами поедете к нему. Вы будете жить здесь или в Париже, где захотите. Я беру на себя заботу о вашем ребенке и о вас. Вы не будете больше работать, если сами не пожелаете. Я буду давать вам столько денег, сколько понадобится. Вы снова будете счастливы, а став счастливой, снова станете честной. И даже, – слушайте, я утверждаю это, – если только все было так, как вы говорите, а я в этом не сомневаюсь, то вы никогда и не переставали быть чистой и непорочной перед богом. О бедная женщина!

Это было свыше сил бедной Фантины. Взять к себе Козетту! Бросить эту гнусную жизнь! Жить свободно, богато, счастливо, честно и с Козеттой! Внезапно увидеть, как посреди ее горестей расцветает райское блаженство! Она взглянула на человека, который говорил ей все это, почти бессмысленным взглядом и могла лишь простонать: «О-о-о!» Ноги у нее подкосились, она упала на колени перед Мадленом, и, прежде чем он успел помешать ей, он почувствовал, как она схватила его руку и припала к ней губами.

Тут она лишилась сознания.

Господин Мадлен велел перенести Фантину в больницу, устроенную им в том доме, где жил он сам, и поручил ее сестрам, которые сразу же уложили ее в постель. У нее открылась сильнейшая горячка. Почти всю ночь она была без памяти и громко бредила. Однако под утро она все же уснула.

На другой день около полудня Фантина проснулась и услышала у своей постели, совсем близко, чье-то дыхание; она отвернула полог и увидела стоявшего подле нее г-на Мадлена, который устремил взгляд куда-то поверх ее головы. Взгляд этот был полон тревоги и сострадания и молил о чем-то. Она проследила направление этого взгляда и увидела, что он был обращен к висевшему на стене распятию.

Отныне г-н Мадлен совершенно преобразился в глазах Фантины. Ей казалось, что от него исходит сияние. Видимо, он был погружен в молитву. Она долго смотрела на него, не осмеливаясь нарушить его задумчивость. Наконец она робко проговорила:

– Что это вы делаете?

Господин Мадлен стоял здесь уже целый час. Он ждал, когда Фантина проснется. Взяв ее за руку, он пощупал пульс и спросил:

– Как вы себя чувствуете?

– Хорошо, я немного поспала, – ответила она, – кажется, мне лучше. Это скоро пройдет.

Тогда, отвечая на вопрос, который она задала ему вначале, и как будто только что услышав его, он сказал:

– Я молился страдальцу, который там, в небесах.

И мысленно добавил: «За страдальцу, которая здесь, на земле».

Ночь и утро г-н Мадлен провел в розысках. Теперь он знал все. История Фантины стала известна ему во всех ее душераздирающих подробностях. Он продолжал:

– Вы много выстрадали, бедная мать. О, не сетуйте, ваш удел – удел избранных! Ибо именно таким путем люди создают ангелов. Люди не виноваты: они не умеют делать это по-иному. Тот ад, из которого вы вышли, – начало рая. Пройти через него было необходимо.

Он глубоко вздохнул. А она улыбалась ему своей особенной улыбкой, которой недостаток двух передних зубов придавал высшую красоту.

Этой же ночью Жавер написал письмо. Утром он сам сдал это письмо в почтовую контору Монрейля-Приморского. Оно было адресовано в Париж, и надпись на конверте гласила: «Господину Шабулье, секретарю господина префекта полиции». Так как происшествие в полицейском участке получило широкую огласку, почтмейстерша и еще несколько человек, видевшие письмо до того, как оно было отправлено, и узнавшие на конверте почерк Жавера, решили, что он посылает прошение об отставке.

Господин Мадлен поспешил написать супругам Тенардь. Фантина задолжала им сто двадцать франков. Он послал триста, с тем чтобы они взяли себе причитающуюся им сумму, а на остальные немедленно привезли ребенка в Монрейль-Приморский, где его ожидает больная мать.

Тенардь был потрясен. «Черт побери, – сказал он жене, – мы не выпустим из рук ребенка. Вот когда эта пичуга превратится в дойную корову. Я догадываюсь, в чем тут дело. Какой-

нибудь простофиля втюрился в мамашу».

Он прислал в ответ искусно составленный счет на пятьсот с чем-то франков. В этом счете фигурировали два других неоспоримых счета, один от врача, другой от аптекаря, которые лечили и снабжали лекарствами Эпониноу и Азельму, перенесших длительную болезнь. Что касается Козетты, то, как мы уже говорили, она не была больна. Пришлось сделать лишь маленькую подтасовку имен. Под счетом Тенардьё приписал: «Получено в счет долга триста франков».

Господин Мадлен немедленно послал еще триста франков и написал: «Поскорее привезите Козетту».

– Черта с два! – сказал Тенардьё. – Нет, мы не выпустим из рук ребенка.

Между тем Фантина все не поправлялась. Она по-прежнему лежала в больнице.

Вначале сестры приняли «эту девку» и ухаживали за ней с каким-то брезгливым чувством. Кто видел барельефы в Реймском соборе, тот помнит, как презрительно оттопырены губы дев мудрых, взирающих на дев неразумных. Это извечное презрение весталок к блудницам вытекает из чувства женского достоинства. Сестры оказались во власти этого глубочайшего инстинкта, еще усиленного в них набожностью. Однако Фантина очень быстро обезоружила их. Все ее слова были проникнуты кротостью и смирением, а страстная материнская любовь невольно смягчала сердце. Однажды сестры слышали, как она громко бредила в жару: «Я была грешницей, но когда ко мне вернется мое дитя, это будет означать, что бог простил меня. Пока я вела дурную жизнь, мне не хотелось, чтобы моя Козетта была со мной, я не могла бы вынести ее удивленного и грустного взгляда. Но ведь я и грешила ради нее одной, вот почему бог прощает меня. Когда Козетта будет здесь, я почувствую на себе благословение господа бога. Я взгляну на нее, и при виде этого невинного создания мне станет легче. Она ничего еще не знает. Понимаете, сестрицы, ведь это ангел. Пока они такие маленькие, крылышки у них еще не отпали».

Господин Мадлен навещал ее по два раза в день, и всякий раз она спрашивала его:

– Скоро ли я увижу мою Козетту?

Он отвечал:

– Возможно, что завтра утром. Я жду ее приезда с минуты на минуту.

И бледное лицо матери сияло.

– О, как я буду счастлива! – говорила она.

Мы уже сказали, что она не поправлялась. Напротив, состояние ее как будто ухудшалось с каждой неделей. Этот ком снега, попавший ей на голую спину между лопаток, вызвал внезапное исчезновение испарины, и болезнь, назревавшая в ней в течение нескольких лет, вдруг разразилась с необычайной силой. В то время при исследовании и лечении грудных болезней уже начинали руководствоваться полезными советами Лаэнека. Врач выслушал Фантину и покачал головой.

Господин Мадлен спросил врача:

– Ну, как?

– У нее, кажется, есть ребенок, которого она хочет видеть? – ответил врач вопросом.

– Да.

– Так поторопитесь с его приездом.

Господин Мадлен вздрогнул.

Фантина спросила у него:

– Что сказал врач?

Сделав над собой усилие, г-н Мадлен улыбнулся.

– Он сказал, что надо поскорее послать за вашим ребенком и что это вылечит вас.

– О да! – вскричала она. – Он прав. Почему только эти Тенардые так долго держат у себя мою Козетту? Но она придет. О, наконец-то счастье близко, оно тут, я уже вижу его!

Тенардые, однако, «не выпускал ребенка из рук» и отвиливал всевозможными способами. То Козетта не совсем здорова и нельзя ей пускаться в путь посреди зимы. То ему надо получить в деревне мелкие просроченные долги и т. д., и т. д.

– Я пошлю кого-нибудь за Козеттой, – сказал дядюшка Мадлен. – А если понадобится, поеду сам.

Под диктовку Фантины он написал следующее письмо, которое дал ей подписать:

*«Господин Тенардые,
Отдайте Козетту подателю сего письма. Все мелкие расходы будут вам
оплачены. Остаюсь с уважением*

Фантина».

Тем временем произошло важное событие. Тщетно пытаемся мы как можно искуснее обтесывать таинственную глыбу, которую мы называем нашей жизнью. Черная жилка рока неизменно проступает на ее поверхности.

Глава 2

Каким образом Жан может превратиться в Шан

Однажды утром, когда г-н Мадлен сидел у себя в кабинете и занимался приведением в порядок некоторых срочных дел мэрии на случай своей поездки в Монфермейль, ему сказали, что с ним желает говорить полицейский надзиратель Жавер. Услышав это имя, г-н Мадлен не мог подавить в себе неприятное чувство. Со времени происшествия в полицейском участке Жавер избегал его более, чем когда-либо, и с тех пор г-н Мадлен ни разу его не видел.

– Пусть войдет, – сказал он.

Жавер вошел.

Господин Мадлен продолжал сидеть у камина, с пером в руке, не поднимая глаз от папки с протоколами о нарушении правил распорядка на общественных дорогах, которую он просматривал, делая пометки. При появлении Жавера он даже не пошевелинулся. Совершенно невольно он вспомнил о бедной Фантине и счел уместным проявить холодность.

Жавер почтительно поклонился г-ну мэру, который сидел к нему спиной. Г-н мэр не обернулся и продолжал делать пометки на бумагах.

Жавер сделал два-три шага вперед и, не прерывая молчания, остановился.

Физиономист, хорошо знакомый с натурой Жавера и в течение долгого времени изучавший этого дикаря, состоявшего на службе у цивилизации, это странное сочетание римлянина, спартанца, монаха и капрала, этого неспособного на ложь шпика и непорочного сыщика, – физиономист, которому была бы известна его затаенная и давняя ненависть к г-ну Мадлену и его столкновение с мэром из-за Фантины, наблюдая Жавера в эту минуту, непременно сказал бы себе: «Что-то случилось». Всякому человеку, знающему его совесть, непоколебимую, ясную, искреннюю, честную, суровую и свирепую, стало бы ясно, что во внутренней жизни Жавера только что произошло какое-то крупное событие. Все, что лежало на душе у Жавера, немедленно отражалось и на его лице. Как все люди с сильными страстями, он был подвержен резким сменам настроения, но никогда еще выражение его лица не было так необычно и так странно. Войдя, он поклонился г-ну Мадлену, причем во взгляде его не было сейчас ни злобы,

ни гнева, ни подозрительности; он остановился в нескольких шагах от мэра, позади его кресла, и теперь стоял почти навтыжку, с безыскусственным и суровым хладнокровием человека, который никогда не отличался кротостью, но всегда обладал терпением; он ждал без единого слова или жеста, полный непритворного смирения и спокойной покорности, когда г-ну мэру угодно будет обернуться к нему, ждал невозмутимый, серьезный, сняв шапку и опустив глаза, словно солдат перед офицером или преступник перед судьей. Все чувства и все воспоминания, какие можно было в нем предположить, исчезли. На этом лице, простом и непроницаемом, как гранит, не было теперь ничего, кроме угрюмой печали. Все его существо выражало приниженность, решимость и какое-то мужественное уныние.

Наконец г-н мэр положил перо и, полуобернувшись, спросил:

– Ну! Что такое? В чем дело, Жавер?

Жавер с минуту молчал, словно собираясь с мыслями, потом заговорил с грустной торжественностью, не лишенной, однако, простоты:

– Дело в том, господин мэр, что совершено преступное деяние.

– Какое?

– Один из низших чинов администрации проявил неуважение к важному должностному лицу, и притом самым грубым образом. Считаю своим долгом довести об этом до вашего сведения.

– Кто этот низший чин администрации? – спросил г-н Мадлен.

– Я, – сказал Жавер.

– Вы?

– Я.

– А кто то должностное лицо, которое имеет основания быть недовольным этим низшим чином?

– Вы, господин мэр.

Господин Мадлен приподнялся со своего кресла. С суровым видом, по-прежнему не поднимая глаз, Жавер продолжал:

– Господин мэр, я пришел просить вас, чтобы вы потребовали у начальства моего увольнения.

Господин Мадлен, изумленный, хотел было что-то сказать, но Жавер прервал его:

– Вы скажете, что я мог бы подать в отставку и сам. Но этого недостаточно. Подать в отставку – это почетно. Я совершил проступок, я должен быть наказан. Надо, чтобы меня выгнали.

И, помолчав, он добавил:

– Господин мэр, в прошлый раз вы были несправедливы, когда обошлись со мной так строго. Сегодня это будет справедливо.

– Да почему? За что? – вскричал г-н Мадлен. – Что за вздор! Что все это значит? В чем же оно состоит, это ваше преступное деяние, направленное против меня? Что вы мне сделали? В чем ваша вина передо мной? Вы обвиняете себя, вы хотите, чтобы вас сместили...

– Выгнали, – поправил его Жавер.

– Хорошо, выгнали. Пусть будет так. Но я не понимаю...

– Сейчас поймете, господин мэр.

Жавер глубоко вздохнул и продолжал все так же холодно и печально:

– Господин мэр, полтора месяца назад, после истории с той девкой, я был вне себя от ярости, и я донес на вас.

– Донесли?

– Да. В полицейскую префектуру Парижа.

Господин Мадлен, смеявшийся немногим чаще, чем Жавер, вдруг рассмеялся:

– Как на мэра, вмешавшегося в распоряжения полиции?

– Нет, как на бывшего каторжника.

Мэр сделался бледен, как полотно.

Жавер, все еще не поднимая глаз, продолжал:

– Я думал, что это так. У меня давно уже были кое-какие подозрения. Сходство, справки, которые вы навели в Фавероле, ваша необыкновенная физическая сила, история со стариком Фошлеваном, ваше искусство в стрельбе, нога, которую вы слегка волочите, – не знаю и сам, что еще... разные пустяки! Но так или иначе, а я принимал вас за некоего Жана Вальжана.

– За некоего... Как вы его называли?

– За Жана Вальжана. Это каторжник, которого я видел двадцать лет назад, когда служил помощником надзирателя на тулонских галерах. Говорят, что по выходе из острога этот Жан Вальжан обокрал епископа, потом совершил еще одно вооруженное нападение – ограбил на большой дороге маленького савояра. Восемь лет тому назад он каким-то образом скрылся, его разыскивали. Я и вообразил себе... Словом, я сделал это. Гнев подтолкнул меня, и я донес на вас в префектуру.

Господин Мадлен, который уже несколько минут снова занимался своими протоколами, спросил с выражением полнейшего равнодушия:

– И что же вам там ответили?

– Что я сошел с ума.

– Ну?

– Ну, и они были правы.

– Хорошо, что вы сами сознаете это!

– Еще бы не сознавать, когда настоящий Жан Вальжан нашелся.

Листок бумаги, который держал г-н Мадлен, выскользнул у него из рук; он поднял голову, пристально посмотрел на Жавера и сказал с неизъяснимым выражением:

– Ах, так!

Жавер продолжал:

– Вот как это было, господин мэр. Говорят, что в нашем округе, возле Альи-Высокая-Колокольня, жил какой-то старикашка, по имени Шанматье. Это был настоящий голяк, и никто не замечал его. Неизвестно, на что живет этот народец. И вот недавно, нынешней осенью, дядю Шанматье арестовали за кражу яблок, из которых готовят сидр, совершенную им у... впрочем, это неважно. Там имели место кража, проникновение в сад через забор и повреждение веток на дереве. И вот нашего Шанматье поймали с поличным: ветка яблони так и осталась у него в руке. Негодяя сажают в кутузку. Пока что дело пахло исправительным домом, не больше. Но тут-то и вмешивается провидение. Местная тюрьма была в плохом состоянии, и судебный следователь счел нужным перевести Шанматье в Аррас, в департаментскую тюрьму. В этой самой аррасской тюрьме сидит бывший каторжник Бреве. Не знаю, право, за что его там держат, но за хорошее поведение он назначен старостой камеры. Так вот, господин мэр, не успел этот Шанматье войти туда, как Бреве закричал: «Эге! Да я знаю этого человека. Это старый острожник. Погляди-ка на меня, дружище! Ты – Жан Вальжан!..» – «Жан Вальжан? Какой Жан Вальжан?» – Шанматье прикидывается удивленным. «Не валяй дурака, – говорит тогда Бреве. – Ты – Жан Вальжан! Двадцать лет назад ты был на каторге в Тулоне. И я был там вместе с тобой». Шанматье отпирается. Черт возьми! Вы, конечно, понимаете, почему! Начинается расследование. Раскапывают всю эту историю. И вот что обнаружилось. Тридцать лет назад этот самый Шанматье был подрезальщиком деревьев в разных местах и в том числе в Фавероле. Тут его след пропадает. Однако спустя долгое время он снова появляется в Оверни, потом в Париже, где,

по его словам, он был тележником и где у него дочь-прачка, что не доказано, и, наконец, он оказывается в этих краях. Ну-с, кем же был Жан Вальжан до того, как попал на каторгу за кражу? Подрезальщиком деревьев. Где? В Фавероле. Еще одно обстоятельство. Крестное имя этого Вальжана было Жан, а мать его носила до замужества фамилию Матье. Вполне естественно будет предположить, что по выходе из острога он, чтобы скрыть прошлое, принял фамилию матери и назвался Жан Матье. Он отправляется в Овернь. Имя Жан местное произношение превращает в Шан, и его начинают называть Шан Матье. Наш приятель не возражает, и вот вам – Шанматье! Вы ведь следите за моим рассказом? Навели справки в Фавероле. Семьи Жана Вальжана там уже не оказалось. Где она – неизвестно. Знаете, среди людей этого класса нередко такие исчезновения целого семейства. Вы ищете – и никого уже не находите. Если эти люди не грязь, то они – пыль. И так как от начала этих событий прошло тридцать лет, в Фавероле нет теперь никого, кто бы помнил Жана Вальжана. Тогда обращаются за справками в Тулон. Кроме Бреве, остались только два каторжника, которые когда-то видели Жана Вальжана. Это приговоренные к пожизненной каторге Кошпайль и Шенильдье. Их выписывают из острога и привозят в Аррас. Устраивают им очную ставку с так называемым Шанматье. У них нет сомнений. Для них, как и для Бреве, это Жан Вальжан. Тот же возраст – ему пятьдесят четыре года, – тот же рост, та же наружность – словом, тот же человек, тот самый. Вот в это-то время я и послал донос в парижскую префектуру. Мне ответили, что я сошел с ума и что Жан Вальжан находится в Аррасе в руках полиции. Вы понимаете, как это удивило меня? Ведь я-то считал, что этот Жан Вальжан здесь и что я держу его в руках! Я написал судебному следователю. Он вызвал меня, мне показали Шанматье...

– И что же? – прервал его г-н Мадлен.

Лицо Жавера, не умеющего лгать, было печально. Он ответил:

– Господин мэр, правда есть правда. Мне очень досадно, но этот человек несомненно Жан Вальжан. Я тоже узнал его.

– Вы уверены в этом? – спросил г-н Мадлен очень тихо.

Жавер рассмеялся тем горьким смехом, который невольно вырывается у человека, глубоко убежденного в своей правоте.

– Еще бы!

Задумавшись, он с минуту машинально перебирал пальцами в песочнице, стоявшей на столе, мелкий песок для просушки чернил, затем добавил:

– И теперь, когда я увидел настоящего Жана Вальжана, я и сам не понимаю, как это я мог думать иначе. Простите меня, господин мэр.

Обращая эти значительные, молящие о прощении слова к тому, кто полтора месяца тому назад унизил его в полицейском участке, сказав в присутствии всех: «Ступайте!» – Жавер, этот высокомерный человек, был, сам того не зная, исполнен простоты и достоинства. Г-н Мадлен ответил на его просьбу лишь следующим внезапным вопросом:

– А что говорит этот человек?

– Да что уж, господин мэр, его дело плохо! Если это Жан Вальжан, тут рецидив. Перепрыгнуть через забор, сломать ветку, стянуть несколько яблок: для ребенка – это шалость, для взрослого – проступок, для каторжника – преступление. Это кража, и притом за оградой владения. Тут уж пахнет не исправительной полицией, а судом присяжных. Не несколькими днями тюрьмы, а пожизненной каторгой. К тому же имеется еще история с маленьким савояром, которая, надеюсь, всплывет наружу. Черт побери, тут уж есть от чего открещиваться, не так ли? Да, для всякого другого, но не для Жана Вальжана. Жан Вальжан хитрая бестия! Вот еще одна черта, по которой я его узнаю. Другой почуял бы, что тут можно обжечься, стал бы бесноваться, кричать – и котелок закипает, когда ставишь его на огонь, – другой не согласится

быть Жаном Вальжаном и так далее, и тому подобное. А этот делает вид, что ничего не понимает, и говорит: «Я Шанматье, я не был на каторге!» Он прикидывается удивленным, он разыгрывает из себя тупицу, и это куда умнее. О, это ловкая шельма! Ну, да все равно, доказательства налицо. Его опознали четыре человека. Старый мошенник будет осужден. Дело передано в arrasский суд! Я еду туда. Меня вызывают свидетелем.

Между тем г-н Мадлен снова отвернулся к своему письменному столу и спокойно разбирал бумаги, читая их и делая пометки с видом сильно занятого человека. Наконец он обратился к Жаверу:

– Ну, довольно, Жавер. В сущности говоря, меня все эти подробности мало интересуют. Мы теряем время, а у нас есть срочные дела. Вот что, Жавер, немедленно сходите к тетушке Бюзоппе, которая торгует зеленью на углу улицы Сен-Сольв, и скажите ей, чтобы она подала жалобу на возчика Пьера Шенелонга. Этот скот едва не раздавил своей телегой и ее и ее ребенка. Он должен понести наказание. Затем вы пойдете к господину Шарселе, улица Монтр-де-Шампиньи. Он жалуется, что дождевая вода из водосточной трубы соседа стекает прямо под фундамент его дома и размывает его. Затем проверьте, действительно ли имеют место нарушения полицейских правил в домах вдовы Дорис на улице Гибур и госпожи Рене ле Босе на улице Гаро-Блан, и составьте протоколы. Впрочем, я даю вам слишком много поручений. Вы ведь, кажется, собираетесь уезжать? Если не ошибаюсь, вы сказали, что дней через восемь или десять едете в Аррас по этому делу?..

– Нет, господин мэр, раньше.

– Когда же?

– Мне казалось, что я уже сказал вам, господин мэр, – дело разбирается в суде завтра, я еду сегодня с вечерним дилижансом.

Господин Мадлен сделал едва уловимое движение.

– И сколько времени оно продлится?

– Самое большее – день. Приговор будет вынесен не позже чем завтра вечером. Но я не буду ждать приговора. Тут дело верное. Дам показание и сейчас же вернусь сюда.

– Хорошо, – сказал г-н Мадлен.

И он жестом отпустил Жавера.

Однако Жавер не уходил.

– Простите, господин мэр, – сказал он.

– Что еще? – спросил г-н Мадлен.

– Господин мэр, мне остается еще напомнить вам об одном обстоятельстве.

– О каком?

– О том, что я должен быть уволен со службы.

Господин Мадлен встал.

– Жавер, вы честный человек, и я уважаю вас. Вы преувеличиваете свою вину. К тому же это оскорбление опять-таки касается одного меня. Жавер, вы заслуживаете повышения, а не понижения. Я настаиваю на том, чтобы вы остались на своем месте.

Жавер взглянул на г-на Мадлена своим правдивым взглядом, сквозь который словно просвечивала его немудрая, но чистая и неподкупная совесть, и спокойно возразил:

– Господин мэр, я не могу согласиться с вами.

– Повторяю, это касается меня одного, – сказал г-н Мадлен.

Но Жавер, поглощенный все той же мыслью, продолжал:

– Что до преувеличения, то нет, я ничего не преувеличил. Вот как я рассуждаю. Я несправедливо заподозрил вас. Однако это еще терпимо. Подозревать – наше право, право полиции; хотя подозревать лиц, стоящих выше себя, – в этом уже, пожалуй, кроется некоторое

беззаконие. Но вот, не имея доказательств, в порыве гнева, из мести, я донес на вас как на каторжника, на вас, почтенного человека, мэра, на должностное лицо! Это предосудительно, весьма предосудительно. В вашем лице я, представитель власти, оскорбил власть! Если бы кто-либо из моих подчиненных сделал то, что сделал я, я счел бы его недостойным служить в полиции и выгнал бы со службы. «И что же?» – спросите вы. Так вот, послушайте, господин мэр, еще два слова. Я в своей жизни частенько бывал строг. По отношению к другим. Это было справедливо. Я поступал правильно. И если бы теперь я не оказался строг по отношению к самому себе, все то справедливое, что я делал, стало бы несправедливым. Разве я имею право щадить себя больше, нежели других? Нет. Как! Я, значит, был годен лишь на то, чтобы карать всех, кроме самого себя? Но в таком случае я был бы презренным человеком! Но в таком случае все те, которые говорят: «Что за подлец этот Жавер!» – оказались бы правы! Господин мэр, я не хочу, чтобы вы были добры ко мне; ваша доброта испортила мне немало крови, когда она была обращена на других, и я лично отказываюсь от нее. Доброта, отдающая предпочтение публичной девке перед почтенным горожанином, агенту полиции перед мэром, тому, кто внизу, перед тем, кто наверху, – такую доброту я считаю дурной добротой. Именно эта доброта и разрушает общественный строй. Господи помилуй! Быть добрым очень легко, быть справедливым – вот что трудно! Окажись вы тем, за кого я вас принимал, – ого! Я бы уж не был добр с вами; вы бы тогда увидели! Господин мэр, я обязан поступить с самим собой так же, как поступил бы со всяким другим. Преследуя злодеев и расправляясь с негодьями, я часто повторял себе: «Смотри у меня! Если ты споткнешься, если только я поймаю тебя на каком-нибудь промахе, пощады не жди!» И я споткнулся, я совершил промах. Тем хуже для меня! Уволен, прогнан, вышвырнут! Пусть, так и надо. У меня есть руки, пойду работать землепашцем, кем угодно. Господин мэр, интересы службы требуют, чтобы был показан пример. И я прошу об увольнении полицейского надзирателя Жавера.

Все это было произнесено смиренным, гордым, безнадежным и убежденным тоном, придававшим какое-то своеобразное величие этому странному носителю чести.

– Посмотрим, – проговорил г-н Мадлен.

И протянул ему руку.

Жавер отступил и произнес непримиримо суровым тоном:

– Прошу прощения, господин мэр, но это недопустимо. Мэр не подает руки доносчику.

И он добавил сквозь зубы:

– Да, доносчику! С той минуты, как я употребил во зло полицейскую власть, я не более как доносчик.

Затем он низко поклонился и направился к двери.

Здесь он обернулся и сказал, по-прежнему не поднимая глаз:

– Господин мэр, я не оставлю службы до тех пор, пока мне не назначат заместителя.

Он вышел. Г-н Мадлен сидел в задумчивости, прислушиваясь к звуку твердых и уверенных шагов, постепенно затихавших на каменных плитах коридора.

Книга седьмая

Дело Шанматье

Глава 1

Сестра Симплиция

Не все происшествия, о которых сейчас пойдет речь, стали известны в Монрейле-Приморском, но и то немногое, что проникло туда, оставило в этом городе такое потрясающее воспоминание, что в нашей книге оказался бы большой пробел, если бы мы не рассказали о них в мельчайших подробностях.

Среди этих подробностей читатель встретит два или три обстоятельства, которые покажутся ему неправдоподобными, но мы сохраним их из уважения к истине.

После посещения Жавера, около полудня г-н Мадлен, как обычно, отправился навестить Фантину.

Прежде чем войти в ее палату, он вызвал к себе сестру Симплицию.

Две монахини, служившие сиделками в больнице, были, как и все сестры милосердия, лазаристками. Одну из них звали сестра Перепетуя, другую – сестра Симплиция.

Сестра Перепетуя, попросту сиделка, была самая обыкновенная крестьянка, поступившая в услужение к господу богу, как она поступила бы на всякое другое место. Она пошла в монахини, как идут в кухарки. Подобный тип далеко не редкость. Монашеские ордена охотно прибирают к рукам эту грубую мужицкую глину, из которой нетрудно вылепить что угодно: и капуцина и урсулинку. Эту деревенщину обычно посылают на черную работу благочестия. Превращение волопаса в кармелита совершается очень просто; первый становится вторым без особых затруднений; невежество, объединяющее деревню и монастырь, быстро подготавливает почву для сближения и сразу ставит сельского жителя на один уровень с монахом. Блуза пошире – вот вам и ряса. Сестра Перепетуя была здоровенная монахиня, родом из Марина близ Понтуазы; дерзкая, честная и краснощекая, она говорила на языке простонародья, бормотала псалмы, брюзжала, подслащала лекарственный отвар, в зависимости от степени ханжества или лицемерия пациента, грубила больным, ворчала на умирающих, почти насильно навязывала им бога и сердито глушила их агонию молитвами.

Сестра Симплиция была бела чистейшей белизною воска. Рядом с сестрой Перепетуей она напоминала восковую свечу, стоящую возле сальной. Венсен де Поль превосходно запечатлел образ сестры милосердия в тех прекрасных словах, где слиты воедино безграничная свобода и полное порабощение: «Не будет у них иной обители – как больница, иной кельи – как наемный угол, иной часовни – как приходская церковь, иного монастырского двора – как улицы города или же больничные палаты, иной ограды – как послушание, иной решетки – как страх божий, иного покрывала – как скромность». Сестра Симплиция являлась олицетворением этого идеала. Никто не знал возраста сестры Симплиции; она никогда не была молода и, казалось, никогда не будет старой. Это была особа – мы не смеем сказать «женщина» – кроткая, строгая, хорошо воспитанная, холодная и не солгавшая ни разу в жизни. Она была до того кротка, что казалась хрупкой, и в то же время была крепче гранита. Она прикасалась к страждущим чудесными пальцами, тонкими и прозрачными. От ее речей словно веяло тишиной; она говорила ровно столько, сколько было необходимо, и звук ее голоса в одинаковой степени мог бы наставить грешника в исповедадьне и очаровать слушателя в светской гостиной. И это нежное создание охотно мирилось с грубым шерстяным платьем, чувствуя в его жестком прикосновении постоянное напоминание о небесах и о боге. Подчеркнем одну особенность. Полная

неспособность солгать, никогда в жизни не сказать, даже по необходимости, даже невольно, чего бы то ни было, не соответствующего истине, – такова была отличительная черта характера сестры Симплиции, такова была высшая ее добродетель. Эта непоколебимая правдивость снискала ей славу чуть ли не во всей конгрегации. Аббат Сикар упоминает о сестре Симплиции в письме к глухонемому Масье: «Как бы искренни, как бы чисты мы ни были, в нашей правдивости всегда можно найти трещинку – трещинку мелкой невинной лжи. Но только не у сестры Симплиции». Мелкая ложь, невинная ложь – да полно, существует ли она! Ложь – это воплощение зла. Солгать немного – невозможно; тот, кто лжет, лжет до конца; ложь – это олицетворение дьявола; у Сатаны есть два имени: он зовется Сатаной, и он зовется Ложью. Так думала она. И как думала, так и поступала. Отсюда и проистекала та чистейшая белизна, о которой мы уже говорили, – белизна, сияние которой распространялось даже на ее уста и глаза. У нее была сияющая чистотой улыбка, у нее был сияющий чистотой взгляд. В окне этой совести не было ни одной паутинки, ни одной пылинки. Вступая в общину Сен-Венсен де Поль, она приняла имя Симплиции, и выбор ее был не случаен. Как известно, Симплиция Сицилийская – это та святая, которая дала вырвать себе обе груди, но, будучи уроженкой Сиракуз, не согласилась сказать, что родилась в Сежесте, хотя эта ложь спасла бы ее. Она была подходящей заступницей для этой святой души.

У сестры Симплиции, когда она вступала в общину, были две слабости, от которых она постепенно избавилась: она питала пристрастие к сладостям, и она любила получать письма. Она никогда ничего не читала, кроме молитвенника, написанного крупным шрифтом и полатыни. Она не понимала латыни, но понимала молитвенник.

Благочестивая девушка привязалась к Фантине, очевидно чувствуя в ней скрытую добродетель, и посвятила себя почти исключительно уходу за ней.

Господин Мадлен отвел сестру Симплицию в сторону и каким-то странным тоном, который припомнился сестре несколько позже, попросил ее позаботиться о Фантине.

Переговорив с сестрой, он подошел к Фантине.

Фантина каждый день так ждала появления г-на Мадлена, как ждут солнечного луча, несущего с собой тепло и радость. Она говорила сестрам: «Я только тогда и живу, когда приходит господин мэр».

В этот день ее сильно лихорадило. Увидев г-на Мадлена, она сейчас же спросила:

– А Козетта?

– Скоро, – ответил он, улыбаясь.

Господин Мадлен держал себя с Фантиной так же, как обычно. Только вместо получаса он, к великому удовольствию Фантины, просидел целый час. Он тысячу раз повторил окружающим, что больная ни в чем не должна нуждаться. Все заметили, что на минуту лицо его стало очень мрачным. Однако это объяснилось, когда узнали, что врач, нагнувшись, шепнул ему на ухо: «Ей значительно хуже».

Затем он вернулся в мэрию, и конторщик видел, как он, внимательно изучив дорожную карту Франции, висевшую у него в кабинете, карандашом записал на клочке бумаги какие-то цифры.

Глава 2

Проницательность дядюшки Скофлера

Из мэрии он направился на другой конец города, к некоему фламандцу Скауфлеру, а на французский лад – Скофлеру, который отдавал внаем лошадей и «кабриолеты по желанию».

Чтобы кратчайшим путем добраться до этого Скофлера, надо было идти по безлюдной улице, где находился церковный дом того прихода, к которому принадлежал г-н Мадлен. По слухам, священник этого прихода был человек достойный и почтенный, умевший при случае подать добрый совет. В ту минуту, когда г-н Мадлен поравнялся с церковным домом, на улице был только один прохожий, и этот прохожий заметил следующее: уже миновав дом священника, г-н мэр остановился, немного постоял на месте, потом вернулся обратно и дошел до ворот этого дома; в воротах была калитка с железным стукальцем; он быстро взялся за стукальце и приподнял его, потом снова остановился и как бы замер в раздумье; однако по прошествии нескольких секунд, вместо того чтобы громко постучать, он тихонько опустил стукальце и пошел дальше с поспешностью, которой до того не обнаруживал.

Господин Мадлен застал Скофлера дома, за починкой конской сбруи.

– Дядюшка Скофлер, – сказал он, – есть у вас хорошая лошадь?

– У меня все лошади хороши, господин мэр, – возразил фламандец. – Что значит, по-вашему, «хорошая лошадь»?

– Такая, которая могла бы пробежать двадцать лье за один день.

– Черт возьми! – воскликнул фламандец. – Двадцать лье!

– Да.

– Запряженная в кабриолет?

– Да.

– А сколько времени она будет отдыхать после такого конца?

– Если понадобится, она должна быть в состоянии выехать обратно на следующий же день.

– И проделать такой же путь?

– Да.

– Черт возьми! Черт возьми! Как вы сказали? Двадцать лье?

Господин Мадлен вынул из кармана листок бумаги, на котором было карандашом набросано несколько цифр. Он показал их фламандцу. Это были цифры: пять, шесть и восемь с половиной.

– Видите? – оказал он. – Всего девятнадцать с половиной, то есть все равно что двадцать лье.

– Господин мэр, – сказал фламандец, – у меня есть то, что вам нужно. Моя белая лошадка. Вам, наверно, как-нибудь случалось ее видеть. Это коняшка из нижнего Булонэ. Горяча, как огонь. Сперва ее думали объездить под седло – куда там! Брыкается, скидывает всех на землю. Решили, что она с пороком, не знали просто, что с ней и делать. Я купил ее и запряг в кабриолет. И что же вы думаете, сударь? Этого-то ей и надо было. Послушна, как овечка, быстра, как ветер. Дело в том, что не надо было садиться ей на спину. Не желала она ходить под седлом. У каждого свой норов. Везти – согласна, нести на себе – ни за что. Видно, уж так она про себя и порешила.

– И она пройдет такое расстояние?

– Пройдет все ваши двадцать лье. Крупной рысью и меньше чем за восемь часов, но только при некоторых условиях.

– При каких же?

– Во-первых, на полдороге вы дадите ей часок передохнуть; она поест, и пока она будет есть, кто-нибудь должен побыть при этом, чтобы работник постоянного двора не отсыпал у нее овса, а то я замечал, что на постоянных дворах конюхи пропивают больше овса, чем лошади его съедают.

– За этим последят.

– Во-вторых... А что, этот кабриолет нужен вам самим, господин мэр?

– Да.

– А умеете ли вы, господин мэр, править?

– Да.

– Хорошо, но только, господин мэр, вы должны ехать один и без поклажи, чтобы не перегружать лошадь.

– Согласен.

– Но послушайте, господин мэр, ведь, если с вами никого не будет, вам самим придется потрудиться и присмотреть за кормежкой.

– Об этом мы уже договорились.

– В-третьих... Я возьму с вас по тридцать франков в сутки. Простойные дни оплачиваются так же. Ни на грош меньше, и прокорм коня за ваш счет, господин мэр.

Господин Мадлен вынул из кошелька три наполеондора и положил их на стол.

– Вот вам за два дня вперед.

– И в-четвертых, для такого конца кабриолет будет слишком тяжел и утомит лошадь. Лучше бы вы, господин мэр, согласились ехать в моем маленьком тильбюри.

– Согласен.

– Экипаж легкий, но открытый.

– Это мне безразлично.

– Но подумали ли вы, господин мэр, о том, что у нас зима?

Господин Мадлен не ответил.

– И что на улице стоит сильный холод? – продолжал фламандец.

Господин Мадлен хранил молчание.

– И что может пойти дождь?

Господин Мадлен поднял голову и сказал:

– Завтра, в половине пятого утра, тильбюри вместе с лошадью должны стоять у моих дверей.

– Слушаю, господин мэр, – ответил Скофлер; потом, соскабливая ногтем большого пальца пятно на деревянном столе, добавил тем равнодушным тоном, каким фламандцы так искусно прикрывают хитрость: – Да! Только сейчас вспомнил! Ведь вы, господин мэр, еще не сказали, куда вы едете. Куда это вы едете, господин мэр?

Он только об этом и думал с самого начала разговора, но, сам не зная почему, не решался задать этот вопрос.

– Надежны ли передние ноги у вашей лошади? – спросил г-н Мадлен.

– О да, господин мэр. Только немного придерживайте ее на спусках. Много ли спусков будет по дороге отсюда до вашего места?

– Не забудьте: быть у моих дверей точно в половине пятого утра, – ответил г-н Мадлен и вышел.

Фламандец остался «в дураках», как он сам признавался впоследствии.

Не прошло и двух-трех минут после ухода г-на мэра, как дверь отворилась снова; это был г-н мэр.

У него был все тот же бесстрастный и рассеянный вид.

– Господин Скофлер, – спросил он, – во сколько вы цените лошадь и тильбюри?

– А разве вы, господин мэр, хотите купить их у меня?

– Нет, но на всякий случай я хочу обеспечить вам их стоимость. Когда я приеду, вы вернете мне эти деньги. Во сколько вы цените кабриолет и лошадь?

– В пятьсот франков, господин мэр.

– Вот они.

Господин Мадлен положил на стол банковый билет, затем вышел и на этот раз больше не вернулся.

Скофлер горько пожалел о том, что не запросил тысячу франков. Впрочем, лошадь с тильбюри вместе стоила не больше ста экю.

Фламандец позвал жену и рассказал ей всю историю. Куда бы это, черт возьми, мог ехать господин мэр? Они начали обсуждать этот вопрос.

– Он едет в Париж, – сказала жена.

– Не думаю, – возразил муж.

Господин Мадлен забыл на камине клочок бумаги, где были записаны цифры. Фламандец взял его и внимательно исследовал.

– Пять, шесть, восемь с половиной. Да это, должно быть, означает расстояние между почтовыми станциями.

Он обернулся к жене.

– Понял.

– Ну?

– Пять миль отсюда до Эсдена, шесть от Эсдена до Сен-Поля, восемь с половиной от Сен-Поля до Арраса. Он едет в Аррас.

Тем временем г-н Мадлен вернулся домой.

Обратно он пошел самой дальней дорогой, словно дверь церковного дома представляла для него искушение и он хотел избежать его. Он сразу поднялся в свою комнату и заперся там, что было в порядке вещей; он любил рано ложиться. Тем не менее фабричная привратница, являвшаяся одновременно и единственной служанкой г-на Мадлена, заметила, что свет у него погас в половине девятого, и сказала об этом возвращавшемуся домой кассиру, добавив:

– Уж не захворал ли господин мэр? У него сегодня был какой-то странный вид.

Комната этого кассира приходилась как раз под комнатой г-на Мадлена. Он не обратил на слова привратницы никакого внимания, лег и заснул. Около полуночи он внезапно проснулся: сквозь сон он услышал над головой какой-то шум. Он прислушался. Это был шум шагов: казалось, кто-то ходил взад и вперед в верхнем этаже. Он прислушался более внимательно и узнал шаги г-на Мадлена. Это удивило его: обычно в спальне г-на Мадлена было совершенно тихо до самого утра, то есть до тех пор, пока он не вставал. Через минуту до кассира снова донесся какой-то звук, похожий на стук открывшейся и снова захлопнувшейся дверцы шкафа. Затем передвинули что-то из мебели, наступила тишина – и вот снова раздались шаги. Кассир приподнялся на постели, совсем проснулся, огляделся по сторонам и увидел через стекло красноватый отблеск освещенного окна на противоположной стене. Судя по направлению лучей, это могло быть только окно спальни г-на Мадлена. Отблеск дрожал; казалось, его отбрасывала туда не лампа, а скорее топящийся камин. Тень оконной рамы не вырисовывалась на стене, и это указывало на то, что окно было широко открыто. При таком холоде это открытое окно вызывало чувство недоумения. Кассир снова заснул, но спустя час или два опять проснулся. Те же медленные размеренные шаги раздавались над его головой.

Отблеск света все еще вырисовывался на стене, но теперь уже бледный и ровный, как от лампы или свечи. Окно было по-прежнему открыто.

Вот что происходило в комнате г-на Мадлена.

Глава 3

Буря в душе

Читатель, вероятно, догадался, что г-н Мадлен был не кто иной, как Жан Вальжан.

Мы уже однажды заглядывали в тайники этой совести; пришел час заглянуть в нее еще раз. Приступаем к этому не без волнения и не без трепета. Ничто в мире не может быть ужаснее такого рода созерцания. Духовное око никогда не найдет света ярче и мрака глубже, чем в самом человеке; на что бы ни обратилось оно, нет ничего страшнее, сложнее, таинственнее и беспредельнее. Есть зрелище более величественное, чем море, – это небо; есть зрелище более величественное, чем небо, – это глубь человеческой души.

Создать поэму человеческой совести, пусть даже совести одного человека, хотя бы ничтожнейшего из людей, это значит слить все эпопеи в одну высшую и законченную героическую эпопею. Совесть – это хаос химер, вожделений и дерзаний, горнило грез, логовище мыслей, которых мы сами стыдимся, это пандемониум софизмов, это поле битвы страстей. Попробуйте в иные минуты проникнуть в то, что кроется за бледным лицом какого-либо человеческого существа, погруженного в раздумье, и загляните вглубь, загляните в эту душу, загляните в этот мрак. Там, под этой видимостью спокойствия, происходят поединки гигантов, как у Гомера, схватки драконов с гидрами, там сонмища призраков, как у Мильтона, и фантазмагорические круги, как у Данте. Как темна бесконечность, которую каждый человек носит в себе и с которою в отчаянье он соразмеряет причуды своего ума и поступки своей жизни!

Алигьери встретил однажды на своем пути зловещую дверь, отворить которую не решился. Перед нами сейчас такая же дверь, и мы стоим в нерешимости на пороге. Войдем, однако ж.

Нам осталось немного добавить к тому, что уже знает читатель о судьбе Жана Вальжана после его встречи с Мальшом Жерве. Как мы видели, с этой минуты он стал другим человеком. Он стал таким, каким его хотел сделать епископ. Произошло нечто большее, чем превращение, – произошло преображение.

Он сумел исчезнуть, продал серебро епископа, оставив себе лишь подсвечники – как память; незаметно перебираясь из города в город, он исколесил всю Францию, попал в Монрейль-Приморский, где ему пришла в голову счастливая мысль, о которой мы уже говорили, совершил там то, о чем мы уже рассказали, ухитрился стать одновременно неуловимым и недоступным, и отныне, обосновавшись в Монрейле-Приморском, счастливый сознанием, что совесть его печалится лишь о прошлом и что первая половина его существования уничтожается второю, зажил мирно и покойно, полный надежд, затаив в душе лишь два стремления: скрыть свое имя и освятить свою жизнь; уйти от людей и возвратиться к богу.

Эти два стремления так тесно переплелись в его сознании, что составляли одно; оба они в равной степени поглощали все его существо и властно управляли малейшими его поступками. Обычно они дружно руководили его поведением: оба побуждали его держаться в тени, оба учили быть доброжелательным и простым, оба давали одни и те же советы. Бывало, однако ж, что между ними возникал разлад. И в этих случаях, как мы помним, человек, которого во всем Монрейле-Приморском и его окрестностях называли г-ном Мадленом, не колеблясь жертвовал первым ради второго, жертвовал своей безопасностью ради добродетели. Так, например, вопреки всякой осторожности и всякому благоразумию он хранил у себя подсвечники епископа, открыто носил по нем траур, он расспрашивал всех маленьких савояров, появлявшихся в городе, наводил справки о семьях, проживающих в Фавероле, и спас жизнь старику Фошлевану, несмотря на внушающие тревогу намеки Жавера. Очевидно, руководясь примером мудрецов, святых и праведников, он считал, и мы уже упоминали об этом, что в первую очередь следует заботиться о благе ближнего, а потом уже о своем собственном.

Правда, надобно заметить, что никогда еще с ним не случалось чего-либо подобного тому, что произошло сейчас. Никогда еще два помысла, управлявшие жизнью несчастного человека, о страданиях которого мы рассказываем, не вступали в столь жестокую борьбу между собою. Он

смутно, но глубоко ощутил это после первых же слов, которые произнес Жавер, войдя в его кабинет. В ту секунду, как было названо имя, погребенное им в такой непроницаемой тьме, он впал в оцепенение и словно опьянел от роковой своенравности своей судьбы, но вскоре его пронизала дрожь, та дрожь, которая предшествует сильным потрясениям; он склонился, как дуб под напором урагана, как солдат под натиском врага. Он почувствовал, как нависли над его головой тучи, несущие в себе громы и молнии. Когда он слушал Жавера, первой его мыслью было идти, бежать, донести на себя, освободить этого Шанматье из тюрьмы и сесть туда самому; эта мысль была такой мучительной и такой острой, словно его резнули по живому телу; но потом она исчезла, и он сказал себе: «Нет! Нет! Что это я!» Он подавил в себе первый великодушный порыв и отступил перед подвигом.

Разумеется, было бы прекрасно, если бы после святых напутствий епископа, после стольких лет раскаяния и самоотречения, посреди чудесно начатого искупления, этот человек ни на миг не дрогнул даже пред лицом столь ужасного стечения обстоятельств и продолжал все той же твердой поступью идти к разверстой бездне, в глубине которой сияло небо; это было бы прекрасно; но этого не случилось. Мы обязаны дать здесь полный отчет о том, что свершалось в этой душе, и должны говорить лишь о том, что имело место в действительности. В первую минуту инстинкт самосохранения одержал в ней верх над всеми другими чувствами; г-н Мадлен поспешил собраться с мыслями, подавил свое волнение, осознал присутствие Жавера и всю сопряженную с этим опасность; с твердостью отчаянья, отложив решение вопроса, он постарался отвлечься от того, что предстояло сделать, и призвал обратно свое спокойствие – так борец подбирает с земли щит, выбитый из его рук.

Весь остаток дня он провел в том же состоянии: вихрь в душе, внешне – глубокое бесстрашие; он сделал лишь одно: принял так называемые «предварительные меры». Все было еще беспорядочно и неопределенно в его мозгу; смятение, царившее там, было настолько сильно, что ни одна мысль не имела отчетливой формы, и он мог бы сказать про себя только одно – что ему нанесен жестокий удар. Он, как обычно, отправился в больницу навестить Фантину и, движимый инстинктом доброты, затянул свое посещение, подумав, что должен был поступить так и попросить сестер хорошенько позаботиться о ней на тот случай, если бы ему пришлось отлучиться. Смутно предчувствуя, что, может быть, ему придется поехать в Аррас, но далеко еще не решившись на эту поездку, он сказал себе, что, будучи вне всяких подозрений, беспрепятственно может присутствовать в суде при разборе дела, и заказал у Скофлера тильбюри, чтобы на всякий случай быть готовым.

Он пообедал с недурным аппетитом.

Придя в себя, он стал размышлять.

Он вдумался в положение вещей и нашел его чудовищным, до такой степени чудовищным, что вдруг среди своего раздумья он, под влиянием какого-то почти необъяснимого чувства тревоги, встал и запер дверь на задвижку. Он боялся, как бы еще что-нибудь не вторглось к нему. Он ограждал себя от возможного.

Еще через минуту он задул свечу. Свет смущал его.

Ему казалось, что кто-то может его увидеть.

Кто же был этот «кто-то»?

Увы! То, что он хотел прогнать, вошло в комнату; то, что он хотел ослепить, смотрело на него. То была его совесть.

Его совесть, иначе говоря – бог.

Однако в первую минуту ему удалось обмануть себя: его охватило чувство безопасности и одиночества; заперев дверь на задвижку, он счел себя неприступным; погасив свечу, он счел себя невидимым. Тогда он овладел собой и, облокотившись на стол, закрыв лицо руками, начал

думать во мраке.

«Что же это случилось? Не сплю ли я? Что такое мне сказали? Правда ли, что я видел Жавера и что он так говорил со мной? Кто такой этот Шанматье? Говорят, он похож на меня. Ужели это возможно? Подумать только, что еще вчера я был так спокоен и так далек от каких бы то ни было подозрений. Что я делал вчера в это время? Чем мне грозит это происшествие? Чем окончится все это? Как быть?»

Вот такая буря бушевала в его душе. Мозг его утратил способность удерживать мысли, они убежали, как волны, и он обеими руками сжимал лоб, чтобы остановить их.

Этот потрясавший его волю и рассудок ураган, посреди которого он пытался отыскать просвет и твердое решение, рождал лишь мучительную тревогу.

Голова его горела. Он подошел к окну и распахнул его. На небе не было ни одной звезды. Он вернулся к столу и сел на прежнее место. Так прошел первый час.

Мало-помалу, однако, расплывчатые очертания его мыслей стали принимать более определенные и устойчивые формы, и он мог представить себе в истинном свете свое положение если не в целом, то хотя бы в некоторых деталях. И прежде всего он понял, что, несмотря на всю исключительность и всю рискованность этого положения, он оставался полным его господином.

Но это открытие только усилило его растерянность.

Независимо от суровой и священной цели, направлявшей его поступки, все, что он делал до сего дня, было лишь ямой, которую он рыл для того, чтобы похоронить в ней свое имя. В часы глубокой сосредоточенности, в бессонные ночи он больше всего в мире боялся одного – услышать когда-нибудь, как произнесут это имя; он говорил себе, что эта минута будет означать конец всему, что в день, когда снова раздастся это имя, рассыплется в прах его новая жизнь и – кто знает? – быть может, также и его новая душа. Он содрогался при одной мысли о том, что это возможно. Право, если бы в одну из таких минут кто-нибудь сказал ему, что придет час, когда это имя вновь прозвучит в его ушах, когда эти омерзительные два слова – «Жан Вальжан», внезапно выплыв из мрака, встанут перед ним; что этот грозный свет, предназначенный рассеять тайну, которой он себя окружил, блеснет вдруг над его головой, но лишь сгустит эту тьму; что это имя уже не будет для него страшным, что эта разорванная завеса лишь углубит тайну, что это землетрясение лишь упрочит фундамент его здания, что в результате этого ужасного происшествия его жизнь станет, если он того захочет, более светлой и в то же время более непроницаемой и что после сличения с призраком Жана Вальжана добрый и почтенный гражданин «господин Мадлен» окажется еще более уважаемым, более почитаемым и более спокойным, чем прежде, – если бы кто-нибудь сказал ему это, он бы покачал головой и счел эти слова бессмыслицей. И вот все это случилось на самом деле; все это нагромождение невероятностей стало реальным фактом, и бог допустил, чтобы этот бред превратился в действительность.

Мысли его продолжали проясняться. Он все более и более отчетливо понимал свое положение.

Ему казалось, что он проснулся от какого-то страшного сна и теперь, среди ночи, скользит, дрожа и тщетно силясь удержаться, по откосу, на самом краю бездны. И он ясно различал во мраке незнакомого, чужого человека, которого рок принимал за него и толкал в пропасть. Для того чтобы пропасть снова закрылась, кто-то из них неизбежно должен был упасть в нее – либо он сам, либо тот, другой.

От него требовалось лишь одно: не мешать судьбе.

Теперь в его сознании воцарилась полная ясность, и он сказал себе, что место его на галерах пусто, что оно все время ждет его, независимо ни от чего, что ограбление Мальша

Жерве должно привести его туда, что это пустое место будет ждать его и притягивать к себе до тех пор, пока он его не займет, что это неминуемо и неизбежно. И он сказал себе также, что в эту минуту у него нашелся заместитель, что, по-видимому, некоему Шанматье выпало на долю это несчастье; что же касается его самого, то, отбывая каторгу под именем Шанматье и живя в обществе под именем г-на Мадлена, он может отныне быть спокоен, если только сам не вздумает помешать людям обрушить на голову этого Шанматье камень позора – тот камень, который, подобно могильному камню, опустившись раз, не поднимется никогда.

Все это было так мучительно и так необычно, что в глубине его души вдруг возникло одно из тех неопишуемых ощущений, которые человеку дано испытать не более двух-трех раз в жизни, нечто вроде судорог совести, будоражащих все, что есть в сердце неясного, смесь иронии, радости и отчаянья, – нечто такое, что, пожалуй, можно было бы назвать взрывом внутреннего смеха.

Внезапно он снова зажег свечу.

«Что же это? – сказал он себе. – Чего мне бояться? Зачем об этом думать? Я спасен. Все кончено. Существовала лишь одна полуоткрытая дверь, через которую прошлое могло ворваться в мою жизнь; теперь эта дверь замурована, и навсегда! Этот Жавер, который так долго мучил меня, этот опасный, облекшийся в плоть инстинкт ищейки, который, кажется, разгадал меня – да, наверное, разгадал, можно поклясться в этом! – и преследовал неотступно, этот страшный охотничий пес, который вечно делал надо мной стойку, наконец-то запутался, потерял след и погнался за другой дичью! Отныне Жавер удовлетворен и оставит меня в покое, он поймал своего Жана Вальжана! Кто знает, быть может даже, он захочет переехать в другой город! И все это совершилось помимо меня! Я тут ни при чем! Да в конце концов, что же во всем этом плохого? Честное слово, люди, увидев меня, могли бы подумать, что у меня случилось какое-то несчастье! Но ведь если кто и попал в беду, то никак не по моей вине. Это дело рук providения. Очевидно, такова его воля! Разве я имею право расстраивать то, что устроено им? Так чего же я теперь добиваюсь? Во что собираюсь вмешаться? Ведь это не мое дело. Как? И я еще недоволен? Чего же мне еще надо? Цель, к которой я стремился в течение стольких лет, мечта моих бессонных ночей, то, о чем я молил небо, безопасность – я достиг ее! Так угодно богу. Я не должен противиться его воле. А почему ему угодно это? Чтобы я мог продолжать начатое, чтобы я мог творить добро, чтобы я мог в будущем стать высоким и поощряющим примером, наконец, чтобы наложенная на меня эпитимья и вновь обретенная мной добродетель дали мне хоть немного счастья! Не понимаю, право, отчего я побоялся зайти к этому славному кюре и, поведав ему все, как на исповеди, попросить у него совета. Без сомнения, он сказал бы мне то же самое. Решено, пусть все идет своим чередом! Пусть все вершит господь!»

Так беседовал он с сокровенными глубинами своей совести, наклонясь над краем того, что можно было назвать бездной его собственной души. Он встал со стула и начал шагать по комнате. «Вот что, – сказал он, – довольно думать об этом. Решение принято!» Но он не испытал при этом ни малейшей радости.

Напротив.

Нельзя запретить мысли возвращаться к определенному предмету, как нельзя запретить морю возвращаться к своим берегам. Моряк называет это приливом, преступник – угрызениями совести. Бог вздымает душу, как океан.

Через несколько секунд он опять помимо воли возобновил свой мрачный диалог, в котором он один и говорил и слушал, высказывая то, о чем бы ему хотелось умолчать, выслушивая то, чего ему не хотелось бы слышать, подчиняясь той таинственной силе, которая приказывала ему: «Думай!», как две тысячи лет назад приказала другому осужденному: «Иди!»

Чтобы нас правильно поняли, мы должны, прежде чем продолжать рассказ, остановиться на

одном необходимом замечании.

Люди, конечно, разговаривают сами с собой; нет такого мыслящего существа, с которым не случилось бы этого. Быть может даже, слово никогда не представляет собой более чудесной тайны, нежели тогда, когда оно, оставаясь внутри человека, переходит от мысли к совести и вновь возвращается от совести к мысли. Только в этом смысле и следует понимать часто встречающиеся в этой главе выражения вроде: «он сказал», «он воскликнул». Мы говорим, мы беседуем, мы восклицаем в глубине своего «я», не нарушая при этом нашего безмолвия. Все внутри нас в смятении; все говорит, за исключением уст. Реальные душевные движения невидимы, неосязаемы, но тем не менее они реальны.

Итак, он спросил себя: к чему же он пришел? Он задал себе вопрос: что же представляло собой это «принятое решение»? Он признался перед самим собой, что уловки, допущенные его умом, были чудовищны, что слова «пусть все идет само собой, пусть все вершит господь» были попросту ужасны. Допустить ошибку, свершаемую судьбою и людьми, не помешать этому, участвовать в ней своим молчанием – словом, ничего не делать – значило все делать! Это была последняя ступень недостойного лицемерия! Это было преступление, низкое, подлое, коварное, мерзкое, гнусное!

Впервые за восемь лет несчастный ощутил горький привкус злого помысла и злого дела.

И он плюнул с отвращением.

Он продолжал себя допрашивать. Он сурово спросил, что означали его собственные слова: «Я достиг цели!» И заявил себе, что его жизнь действительно имела цель. Но какую? Скрыть свое имя? Обмануть полицию? Ужели ради такой мелочи сделал он все то, что сделал? Разве не было у него иной – высокой, истинной цели? Спасти не жизнь свою, но душу. Снова стать честным и добрым. Быть праведником! Ведь только этого, одного лишь этого всегда хотел он сам, и именно это повелел ему епископ! Закрывать дверь в прошлое? Боже великий, да разве таким образом он закроет ее? Совершив подобный поступок, он снова откроет ее настежь! Он вновь станет вором, и притом самым презренным из воров! Он украдет у другого его существование, жизнь, спокойствие, его место под солнцем! Он станет убийцей! Он убьет, убьет душу этого жалкого человека, он обречет его на ту ужасную смерть заживо, на ту смерть под открытым небом, которая называется каторгой! И напротив, донести на себя, спасти этого человека, ставшего жертвой столь роковой ошибки, вновь принять свое имя, выполнить свой долг и превратиться вновь в каторжника Жана Вальжана – вот это действительно значило завершить свое обновление и навсегда закрыть перед собой двери ада, из которого он вышел. Попад туда физически, он выйдет оттуда морально. Да, он должен сделать это! Если он не сделает этого – значит, он никогда ничего не сделал! Вся его жизнь окажется бесполезной, раскаяние – бесплодным, и ему останется сказать лишь одно: к чему было все, что было? Он почувствовал, что епископ здесь, возле него; что, мертвый, он присутствует тут еще более ощутимо, нежели живой; что он пристально смотрит на него; что отныне мэр Мадлен со всеми его добродетелями станет ему отвратителен, а каторжник Жан Вальжан станет чист и достоин восхищения в его глазах; что все видели лишь его личину, а он, епископ, видит истинное его лицо; что люди видели его жизнь, а он, епископ, видит его совесть. Итак, надо ехать в Аррас, освободить мнимого Жана Вальжана и выдать настоящего. Увы! Вот она, величайшая из жертв, горчайшая из побед, самое тяжелое из усилий, но так надо. Горестный удел! Он может стать праведным перед лицом бога, только опозорив себя в глазах людей!

– Что ж, – сказал он, – надо решиться! Надо исполнить свой долг! Надо спасти этого человека!

Он произнес эти слова громко, даже не заметив, что говорит вслух.

Он собрал свои счетные книги, проверил их и привел в порядок. Он бросил в огонь пачку

долговых расписок от нескольких мелких торговцев, находившихся в стесненных обстоятельствах. Он написал письмо, запечатал его, и тот, кто находился бы в комнате в эту минуту, мог бы прочесть: «Г-ну Лафиту, банкиру, улица Артуа, Париж».

Он вынул из ящика бумажник, где лежало несколько банковых билетов и паспорт, с которым он ездил на выборы еще в нынешнем году.

Наблюдая, как г-н Мадлен, погруженный в глубокое раздумье, занимался всеми этими делами, никто не мог бы догадаться, что происходило в его душе. Только губы его порой шевелились, да время от времени он вдруг поднимал голову и устремлял пристальный взгляд в какую-нибудь точку стены, как будто именно там находилось нечто, от чего он ждал ответа и разъяснения.

Кончив письмо к Лафиту, он положил его вместе с бумажником в карман и снова начал шагать по комнате.

Мысли его не отклонялись от прежнего направления. Он все так же ясно видел свой долг, начертанный сверкающими буквами, которые пламенели перед его глазами и перемещались вместе с его взглядом: *«Ступай! Назови свое имя! Донеси на себя!»*

Он видел также перед собой, словно ожившими и принявшими осязаемую форму, два помысла, которые до сих пор составляли двойное правило его жизни: скрыть свое имя, освятить свою душу. Впервые они появились перед ним каждый в отдельности, и он увидел, что их рознило. Он понял, что один из них был безусловно добрым, тогда как другой мог стать дурным; что один означал само отречение, а другой – себялюбие; что один говорил: *ближний*, а другой говорил: *я*; что источником одного был свет, а другого – тьма.

Они боролись между собой, и он наблюдал их борьбу. По мере того как он размышлял, они все росли перед его умственным взором; они приобрели теперь исполинские размеры, и ему казалось, что в глубине его сознания, в той бесконечности, о которой мы только что говорили, среди проблесков, перемежавшихся с темнотою, какое-то божество сражается с каким-то великаном.

Он был исполнен ужаса, но ему казалось, что доброе начало берет верх.

Он чувствовал, что для его совести и его судьбы вновь наступила решительная минута; что епископ отметил первую фазу его новой жизни, а Шанматье отмечает вторую. После великого перелома – великое испытание.

Между тем стихшее на миг лихорадочное возбуждение снова стало овладевать им. В мозгу его проносились тысячи мыслей, но они лишь продолжали укреплять его в принятом решении.

Была минута, когда он сказал себе, что, пожалуй, принимает все происходящее слишком близко к сердцу, что, в сущности говоря, этот Шанматье ничего собой не представляет и что как-никак он совершил кражу.

И он ответил себе: «Если этот человек действительно украл лишь несколько яблок, это грозит месяцем тюрьмы и только. Отсюда еще далеко до каторги. Да и кто знает, украл ли он? Доказано ли это? Имя Жана Вальжана тяготеет над ним и, видимо, исключает необходимость доказательств. Королевские прокуроры всегда поступают так. Каторжник – значит вор».

Мгновением позже ему пришла в голову другая мысль; быть может, если он выдаст себя, героизм его поступка и безупречная жизнь в течение семи лет, а также все то, что он сделал для края, будет принято во внимание и его помилуют.

Но это предположение быстро исчезло, и он горько улыбнулся, вспомнив, что кража сорока су у Мальша Жерве превращает его в рецидивиста, что это дело, несомненно, всплывет наружу и, согласно строгой букве закона, его приговорят к бессрочным каторжным работам.

Он отогнал от себя все иллюзии и, отдаляясь все больше от земного, стал искать утешения и силы в другом. Он сказал себе, что надо исполнить свой долг; что, быть может даже, исполнив

его, он будет менее несчастен, нежели уклонившись от его исполнения; что, если он даст всему идти «своим чередом» и останется в Монрейле-Приморском, уважение, которым его окружают, его добрая слава, его добрые дела, общее почтение и благоговение, его милосердие, богатство, известность, его добродетель – все это будет отравлено горечью преступления; и чего стоили бы все его благие дела, завершённые таким гнусным делом! Если же он принесет себя в жертву, то все – каторга, позорный столб, железный ошейник, зелёный колпак, непрерывная работа, беспощадные оскорбления – все будет проникнуто небесной благодатью!

И наконец он сказал себе, что обязан так поступить, что такова его судьба, что не в его власти нарушить то, что предназначено свыше, что так или иначе, но приходится выбирать: либо кажущаяся добродетель и подлинная мерзость, либо подлинная святость и кажущийся позор.

Перебирая в уме такое множество мрачных мыслей, он не терял мужества, но мозг его начал утомляться. Невольно он начал думать о другом, о совершенно безразличных вещах.

В висках у него стучало. Он все ещё ходил взад и вперед. Пробило полночь – сначала в приходской церкви, потом в ратуше. Он сосчитал двенадцать ударов на тех и других башенных часах и сравнил звук обоих колоколов. Ему вспомнилось, что несколько дней назад он видел у торговца старым железом дряхлый колокол с надписью: «Антуан Альбен из Роменвиля».

Ему стало холодно. Он растопил камин, но не догадался закрыть окно.

Между тем им опять начало овладевать оцепенение. Он сделал над собой усилие, чтобы припомнить, о чем он думал до того, как пробило полночь. Наконец ему это удалось.

«Ах, да, – подумал он, – я решил донести на себя».

И вдруг он вспомнил о Фантине.

– Как же так? – оказал он. – А что будет с этой несчастной?

И тут на него снова нахлынули сомнения.

Образ Фантины, внезапно всплывший в его мыслях, вдруг пронизал их, словно луч света. Ему показалось, что все вокруг него переменялось, он воскликнул:

– Что же это такое? Ведь до сих пор я принимал в расчет одного себя! Что мне делать – молчать или донести на себя; скрыть себя или спасти свою душу; быть достойным презрения, но всеми уважаемым должностным лицом или опозоренным, но достойным уважения каторжником? Все это относится ко мне, только ко мне, ко мне одному! Но, господи боже, ведь все это себялюбие! Не совсем обычные формы себялюбия, но все же себялюбие! А что, если я немного подумаю и о других? Ведь высшая святость состоит в том, чтобы заботиться о ближнем. Посмотрим, вникнем поглубже. Если исключить меня, вычеркнуть меня, забыть обо мне – что тогда получится из всего этого? Предположим, я доношу на себя. Меня арестуют, Шанматье выпускают на свободу, меня снова отправляют на каторгу, все это хорошо, а дальше? Что происходит здесь? Да, здесь! Здесь – целый край, город, фабрики, промышленность, рабочие, мужчины, женщины, дети, весь этот бедный люд! Все это создал я, это я дал им всем средства к существованию; повсюду, где бы ни дымилась труба, топливо для очага и мясо для котелка даны мною; я создал довольство, торговый оборот, кредит, до меня не было ничего; я пробудил, ободрил, оплодотворил, обогатил весь край, вдохнул в него жизнь; если исчезну я, исчезнет его душа. Если уйду я, все замрет. А эта женщина, которая столько выстрадала, которая стоит так высоко, несмотря на свое падение, и причиной несчастья которой невольно явился я! А этот ребенок, за которым я думал поехать, которого обещал вернуть матери! Разве я не обязан что-нибудь сделать и для этой женщины, чтобы искупить зло, причиненное ей мною? Если я исчезну, что будет тогда? Мать умрет. Ребенок останется без призора. Вот что произойдет, если я доношу на себя. Ну, а если я не доношу на себя? Что же будет, если я не доношу на себя?

Задав себе этот вопрос, он остановился; на миг им овладела какая-то нерешительность, какие-то сомнения; но это длилось недолго, и он спокойно ответил самому себе:

– Ну что ж, человек этот пойдет на каторгу, это правда, но ведь, черт возьми, он вор! Сколько бы я ни говорил себе, что он не украл, – он украл! А я, я останусь здесь и буду продолжать начатое. Через десять лет у меня будет десять миллионов, и я раздам их всему краю – мне самому ничего не надо, на что мне деньги? Все, что я делаю, я делаю не для себя! Общее благоденствие все возрастает, промышленность пробуждается и оживает, заводов и фабрик становится все больше, семьи, сотни семейств, тысячи семейств счастливы! Население увеличивается, на месте отдельных ферм рождаются деревни, на месте голых пустырей рождаются фермы; нужда исчезнет, а вместе с нуждой исчезнут разврат, проституция, воровство, убийство, все пороки, все преступления! И эта бедная мать воспитает своего ребенка! И весь край заживет богато и честно! Да нет, с ума я, что ли, сошел, совсем потерял рассудок, что пойду доносить на себя? Право же, надо все обдумать и не ускорять событий. Как? Только потому, что мне хочется разыграть великого и благородного человека – да ведь это, в конце концов, настоящая мелодрама! – только потому, что я думаю лишь о себе, о себе одном, и собираюсь спасти от наказания, может быть чрезмерно сурового, но, в сущности говоря, справедливого, неведомо кого, какого-то вора, какого-то негодяя, – должен погибнуть целый край! Несчастливая женщина должна околеть в больнице, а бедная малютка – на мостовой, как собака! Но ведь это чудовищно! И мать даже не увидит своего ребенка! А ребенок так и погибнет, почти не зная матери! И все это ради старого плута и вора, который крадет яблоки и, несомненно, заслужил каторгу, если не этим проступком, то каким-нибудь другим! Хороша ж эта совесть, если она спасает преступника и жертвует невинными, спасает старого бродягу, которому в конечном счете и жить-то осталось всего несколько лет, которому на каторге к тому же будет, несомненно, лишь немногим хуже, чем в его лачуге, и приносит в жертву население целого края, матерей, жен, детей! Бедняжка Козетта! У нее ведь никого нет в мире, кроме меня, а сейчас она, наверное, посинела от холода в берлоге Тенардье! Какие, должно быть, негодяи эти люди! И я не выполню своего долга по отношению ко всем этим несчастным! Я пойду доносить на себя! Сделаю эту неслыханную глупость! Представим все в худшем свете. Предположим, что в этом поступке кроется нечто дурное и что когда-нибудь совесть упрекнет меня. Пойти для блага других на эти укоры совести, которые будут мучить меня одного, на этот дурной поступок, который пятнает лишь мою собственную душу, – да ведь это и есть самопожертвование, это и есть добродетель.

Он встал и снова зашагал по комнате. На этот раз ему показалось, что он удовлетворен.

Алмазы можно отыскать лишь в недрах земли; истины можно отыскать лишь в глубинах человеческой мысли. Ему казалось, что, опустившись на самое дно этой мысли, роясь ощупью в этих темных недрах, он наконец отыскал один из таких алмазов, одну из таких истин, что он держит ее в руках, и он смотрел на нее, ослепленный ее блеском.

«Да, – думал он, – это так. Я на правильном пути. Я нашел решение. Пора на чем-нибудь остановиться. Выбор сделан. Пусть все идет своим чередом! Не надо больше колебаться, не надо пятиться назад. Этого требуют не мои, а общие интересы. Я – Мадлен и останусь Мадленом. Горе Жану Вальжану! Это уже не я. Я не знаю этого человека, ведать о нем не ведаю. Если есть сейчас кто-то, кого зовут Жан Вальжан, пусть устраивается как хочет! Я тут ни при чем. Это роковое имя, реющее среди мрака; и если случится так, что вдруг оно остановится и обрушится на чью-то голову, что ж, тем хуже для этой головы!»

Он посмотрелся в маленькое зеркальце, стоявшее на камине, и сказал:

– Ну вот! Я принял решение, и мне стало легче. У меня теперь совсем другой вид.

Он походил еще немного, потом внезапно остановился.

– Вот что! – сказал он. – Не следует отступать перед каким бы то ни было последствием принятого решения. Есть нити, которые еще связывают меня с Жаном Вальжаном. Надо порвать их. Здесь, в этой самой комнате, есть вещи, которые могли бы выдать меня, немые предметы, которые могли бы заговорить, как живые свидетели. Решено: все это должно исчезнуть!

Он пошарил в кармане, достал из него кошелек, открыл его и вынул маленький ключ.

Он вставил этот ключ в едва заметную замочную скважину, затерянную в темном узоре обоев, которыми были оклеены стены. Открылся тайничок, нечто вроде незаметного снаружи шкафа, вделанного в стену между углом комнаты и железным колпаком камина. В этом тайничке лежали какие-то лохмотья, синяя холщовая блуза, потертые штаны, старый ранец и толстая терновая палка с железными наконечниками на обоих концах. Кто видел Жана Вальжана в ту пору, когда он проходил через Динь в октябре 1815 года, легко узнал бы все принадлежности этого нищенского одеяния.

Он сохранил их, как сохранил и серебряные подсвечники, чтобы навсегда запомнить то, с чем он начал новую жизнь. Но вещи, вынесенные им еще с каторги, он прятал, а подсвечники, подаренные епископом, стояли у него на виду.

Он украдкой оглянулся на дверь, словно боясь, что она вдруг откроется, несмотря на задвижку, потом резким и быстрым движением схватил все в охапку и, даже не взглянув на предметы, которые так благоговейно и с таким риском для себя хранил в течение стольких лет, бросил в огонь все – лохмотья, палку и ранец.

Затем он снова запер потайной шкаф и с величайшими предосторожностями, уже ненужными теперь, когда шкаф был пуст, заслонил дверцу высоким креслом.

Через несколько секунд комната и стена противоположного дома озарились дрожащим багровым отблеском сильного пламени. Все пылало. Терновая палка трещала, и от нее почти до середины комнаты летели искры.

Ранец, вместе с лежавшими в нем отвратительными тряпками, догорел, и в золе блеснул какой-то кружок. Нагнувшись, можно было легко узнать в нем серебряную монету. Вероятно, это была та самая монета в сорок су, которая была украдена у маленького савояра.

Но он не смотрел в огонь и продолжал все тем же мерным шагом ходить по комнате из угла в угол.

Вдруг взгляд его упал на серебряные подсвечники, которые смутно поблескивали на камине в отсветах огня.

«Ах, да! – подумал он. – В этом тоже сидит Жан Вальжан. Надо уничтожить и это».

Он взял подсвечники.

Огня было еще довольно, чтобы быстро расплавить их и превратить в бесформенную массу.

Нагнувшись над очагом, он с минуту погрелся. Ему стало очень хорошо. «Как славно! Тепло!» – проговорил он.

Он помешал горящие угли одним из подсвечников.

Еще секунда, и они очутились бы в огне.

Но в это самое мгновение ему почудилось, что какой-то голос внутри его крикнул: «Жан Вальжан! Жан Вальжан!»

Волосы у него встали дыбом, словно он услышал нечто ужасное.

«Да, да, кончай свое дело! – говорил голос. – Заверши его! Уничтожь эти подсвечники! Истреби это воспоминание! Забудь епископа! Забудь все! Погуби Шанматье! Это будет отлично. Можешь поздравить себя! Итак, это решено окончательно и бесповоротно. Вот человек, вот старик, который не понимает, чего от него хотят, который, быть может, ничего не сделал дурного, невинный человек, чье несчастье заключается лишь в твоём имени, невинный, над которым твоё имя тяготеет, как преступление. Его примут за тебя, его осудят, и остаток его

жизни пройдет в мерзости и позоре! Отлично! Ты же будь честным человеком. Оставайся мэром, продолжай пользоваться уважением и почетом, обогащай город, корми неимущих, воспитывай сирот, живи счастливо, исполненный добродетели и окруженный восхищением; а в это время, пока ты будешь здесь, среди радости и света, кто-то, на кого наденут твою красную арестантскую куртку, будет носить твое обесчещенное имя и влачить на каторге твою цепь! Да, ты ловко устроил все это! О, презренный!»

Пот градом катился у него со лба. Он смотрел на подсвечники диким взглядом. Однако тот, кто говорил внутри его, еще не кончил. Голос продолжал:

«Жан Вальжан! Множество голосов будут благодарить и благословлять тебя, и притом очень громко; но раздастся один голос, которого не услышит никто и который проклянет тебя из мрака. Так слушай же, низкий человек! Все эти благословения падут вниз, не достигнув неба, и только проклятие дойдет до господа бога!»

Этот голос, вначале совсем слабый, исходивший из самых темных тайников его души, постепенно становился громче и теперь, оглушительный и грозный, гулко отдавался в его ушах. Ему казалось, что, выйдя из глубины его существа, голос звучал теперь уже вне его. Последние слова он услышал так явственно, что с ужасом оглянулся по сторонам.

– Кто здесь? – спросил он вслух, в полной растерянности.

Потом с каким-то бессмысленным смехом ответил себе:

– Как я глуп! Кому же здесь быть?

И все же здесь был некто; но этот «некто» не принадлежал к числу тех, кого может видеть человеческий глаз.

Господин Мадлен поставил подсвечник на камин.

И снова начал он то монотонное и злоеющее хождение, которое тревожило сон человека, спавшего в нижнем этаже, и заставляло его испуганно вскакивать с постели.

Это хождение облегчало и в то же время как бы опьяняло его. Когда с нами случается что-либо необычное, мы стараемся двигаться, словно предметы, встречаемые нами на пути, могут подать нам благой совет. Но через несколько секунд он совсем запутался.

Оба решения, которые он принял – сперва одно, потом другое, – внушали ему теперь одинаковый ужас. Оба помысла, руководившие прежде его жизнью, казались ему теперь одинаково пагубными. Какая роковая случайность этот Шанматье, которого приняли за него! То самое средство, которое, как ему казалось сначала, было ниспослано судьбой, чтобы упрочить его положение, разверзло перед ним пропасть!

На миг он заглянул в будущее. Донести на себя, боже великий! Выдать себя! С безмерным отчаяньем он перебрал в памяти все то, с чем ему предстояло расстаться, все то, к чему предстояло вернуться. Итак, ему предстояло сказать «прости» этому существованию – такому мирному, чистому, радостному, этому всеобщему уважению, чести, свободе! Он не будет больше гулять по полям, не услышит, как запоют птицы в мае, не будет раздавать милостыню детям! Не почувствует больше сладости обращенных на него признательных и любящих взоров! Расстанется с этим домом, который выстроил он сам, с этой маленькой комнаткой! Все казалось ему сейчас таким чудесным. Он не будет больше читать эти книги, не будет писать за этим маленьким некрашеным столом. Старуха привратница, его единственная служанка, не будет приносить ему больше утренний кофе. И вместо этого – боже правый! – каторга, железный ошейник, арестантская куртка, цепь на ноге, тяжелая работа, карцер – все эти ужасы, уже изведенные! И это в его возрасте, после того как он был тем, кем он был! Если бы еще он был молод! Но на старости лет слышать «ты» от первого встречного, давать себя обыскивать надзирателю, получать от надсмотрщика палочные удары! Ходить в подбитых железом башмаках, надетых на босые ноги! Каждое утро и каждый вечер подставлять ногу под молоток

из пальмового дерева, проверяющий звенья цепи! Терпеть взгляды любопытных, которым будут говорить: «Вот это знаменитый Жан Вальжан, тот самый, что был прежде мэром в Монрейле-Приморском!» А вечером, обливаясь потом, изнемогая от усталости, в зеленом колпаке, надвинутом на глаза, подниматься под кнутом сержанта, в паре с другим каторжником, по судовой лестнице, возвращаясь в плавающий острог! О, какая мука! Ужели судьба может быть зла, как мыслящее существо, и так же уродлива, как человеческое сердце!

И все время, снова и снова, он возвращался к мучительной дилемме, лежащей в основе его тяжелого раздумья: остаться в раю и там превратиться в демона или же вернуться в ад и стать там ангелом.

Что делать, боже великий, что делать?

Буря, укрошенная с таким трудом, снова забушевала в его мозгу. Мысли его опять начали мешаться. В них появились какая-то неподвижность и тупость, свойственные отчаянию. В мозгу его назойливо звучало слово «Роменвиль» и вместе с ним два стиха из песенки, которую он слышал когда-то. Ему вспомнилось, что Роменвиль – это рощица близ Парижа, куда влюбленные ходят в апреле рвать сирень.

Он потерял равновесие – не только духовное, но и физическое. Он ступал, словно маленький ребенок, которого пустили ходить одного.

Минутами, борясь с усталостью, он силился вновь овладеть своим рассудком. Он пытался в последний раз, и уже навсегда, поставить перед собой вопрос, который довел его почти до полного изнеможения. Должен ли он донести на себя? Должен ли молчать? Ему никак не удавалось мыслить отчетливо. Всевозможные доводы, которые намечало его воображение, словно теряли форму и, колеблясь, рассеивались, как дым. Он чувствовал только, что, какое бы решение из этих двух он ни принял, некая часть его существа непременно и неизбежно умрет; что – направо ли, налево ли – перед ним равно зияет могила; что сейчас он переживает предсмертную агонию, агонию своего счастья или агонию своей добродетели.

Увы! Все сомнения вновь завладели им. Он был так же далек от решения, как и вначале.

Так билась под гнетом мучительной тревоги эта злополучная душа. За тысячу восьмьсот лет до того, как жил этот несчастный человек, когда оливковые деревья дрожали под жестоким ветром, дувшим из бесконечности, таинственное существо, воплотившее в себе все страдания и всю святость человечества, тоже долго отстраняло рукою страшную чашу, полную мрака, которая предстала пред ним, изливая тьму, в звездных глубинах неба.

Глава 4

Страдание принимает во сне странные образы

Пробило три часа полуночи; он шагал так, почти без отдыха, уже пять часов подряд и наконец в изнеможении опустился на стул.

Здесь он заснул, и ему приснился сон.

Сон этот, как и большинство снов, не имел прямого отношения к действительности и соприкасался с ней лишь тем, что было в нем зловещего и мучительного, но он произвел на него большое впечатление. Этот кошмар поразил его так сильно, что впоследствии он его записал. В числе бумаг, написанных его рукою, сохранилась и эта рукопись. Считаю нужным привести здесь дословно ее содержание.

Без описания этого сна, каков бы он ни был, история той ночи оказалась бы неполной. Это эпизод из мрачных скитаний больной души.

Вот он. На конверте мы читаем следующую надпись: *Сон, который приснился мне в ту ночь.*

«Я находился в поле. В широком и унылом поле, где не было травы. Я не мог понять, когда это происходило – днем или ночью.

Я гулял с братом, с товарищем моих детских лет, с тем братом, о котором, признаться, я никогда не вспоминаю и которого почти совсем забыл.

Мы разговаривали, встречали прохожих. Мы говорили об одной нашей соседке, которая когда-то жила рядом с нами и, с тех пор как поселилась в комнате, выходящей на улицу, всегда сидела у открытого окна. Продолжая разговор, мы почувствовали, что нам стало холодно, оттого что это окно было открыто.

В поле не было ни одного дерева.

Мимо нас проехал всадник. Это был совершенно голый человек, тело у него было цвета пепла, и сидел он верхом на лошади цвета земли. У человека не было волос; мы видели его голый череп и на черепе жилы. В руках он держал хлыст, гибкий, как виноградная лоза, и тяжелый, как железо. Всадник проехал мимо, не сказав ни слова.

Брат сказал мне: «Пойдем ложбиной».

Мы пошли ложбиной, где не увидели ни кустика, ни горсточки мха. Все было цвета земли, даже небо. Пройдя несколько шагов, я заметил, что мои слова остаются без ответа. И понял, что брата уже нет со мной.

Заметив деревню, я вошел в нее. Мне подумалось, что, должно быть, это Роменвиль (почему Роменвиль?)^[28].

Первая улица, по которой я пошел, была пустынна. Я пошел по другой улице. На перекрестке этих улиц стоял человек, прислонясь к стене. Я спросил у человека: «Что это за местность? Где я?» Человек ничего не ответил. Я заметил, что дверь одного из домов открыта, и вошел в дом.

Первая комната была пуста. Я вошел во вторую. За дверью этой комнаты стоял человек, прислонясь к стене. Я спросил у человека: «Чей это дом? Где я?» Человек ничего не ответил.

При доме был сад. Я вышел из дома и вошел в сад. Сад был пуст. За первым же деревом я увидел стоящего человека. Я спросил у него: «Что это за сад? Где я?» Человек ничего не ответил.

Я блуждал по этой деревне и тут заметил, что это город. Все улицы были пустынными, все двери отворены. Ни одно живое существо не проходило по улицам, не шагало по комнатам, не гуляло в садах. Но за каждым выступом стены, за каждой дверью, за каждым деревом стоял человек, который молчал. И везде было только по одному человеку. Эти люди смотрели, как я проходил мимо.

Я вышел из города и стал бродить по полям.

Спустя некоторое время я обернулся и увидел целую толпу, шедшую за мной следом. Я узнал всех тех людей, которых видел в городе. У них был странный взгляд. Незаметно было, чтобы они торопились, и все же они шли быстрее меня. Они шли совершенно бесшумно. Через минуту эта толпа настигла меня и окружила. Лица у этих людей были цвета земли.

И вот первый из тех, кого я видел и к кому обращался с вопросом, войдя в город, спросил меня: «Куда вы идете? Разве вы не знаете, что вы давно уже умерли?»

Я хотел было ответить, но увидел, что возле меня никого нет».

Он проснулся. Он весь продрог. Створки все еще открытого окна раскачивались на своих петлях от холодного утреннего ветра. Огонь погас. Свеча догорала. Было еще совсем темно.

Он встал и подошел к окну. Ни одна звезда не светила в небе.

Из окна видны были двор его дома и улица. Сухой и резкий стук, внезапно прозвучавший

по мостовой, заставил его опустить глаза.

Он увидел внизу две красные звезды, лучи которых то причудливо удлинялись, то укорачивались во мраке.

Мысли его еще не совсем выплыли из мглы сновидения. «Как странно! – подумал он. – Их нет в небе, теперь они спустились на землю».

Однако мгла эта рассеялась: другой звук, подобный первому, окончательно разбудил его, – он всмотрелся и понял, что это были не звезды, а фонари экипажа. Отбрасываемый ими свет помог ему различить очертания этого экипажа. То было тильбюри, запряженное маленькой белой лошастью. Услышанный им шум – был топот конских копыт по мостовой.

«Что это за экипаж? – подумал он. – Кто мог приехать так рано?»

В эту минуту кто-то тихонько постучался к нему в дверь. Он весь задрожал и крикнул страшным голосом:

– Кто там?

Чей-то голос ответил:

– Это я, господин мэр.

Он узнал голос старушки, своей привратницы.

– Что такое? – спросил он. – Что вам нужно?

– Господин мэр, только что пробило пять часов утра.

– Ну и что же?

– Господин мэр, кабриолет подали.

– Какой кабриолет?

– Тильбюри.

– Какое тильбюри?

– А разве вы не заказывали тильбюри, господин мэр?

– Нет, – ответил он.

– А кучер говорит, что приехал за господином мэром.

– Какой кучер?

– Кучер от господина Скофлера.

– От Скофлера?

Услышав это имя, он вздрогнул, словно перед его глазами сверкнула молния.

– Ах, да! – сказал он. – От Скофлера.

Если бы старуха могла видеть его в эту минуту, она бы ужаснулась.

Наступило довольно длительное молчание. Он бессмысленно смотрел на пламя свечи и, собирая вокруг фитиля горячий воск, мят его между пальцами. Старуха ждала. Наконец она отважилась спросить еще раз:

– Что прикажете ответить ему, господин мэр?

– Хорошо, скажите, что я сейчас сойду вниз.

Глава 5

Палки в колесах

В ту эпоху почтовое сообщение между Аррасом и Монрейлем-Приморским еще осуществлялось при помощи маленьких кареток времен Империи. Эти каретки представляли собой двухколесные экипажи на спиральных рессорах, обитые внутри бурой кожей; в них было только два места – одно для нарочного, другое для пассажира. Колеса были снабжены очень длинными, угрожающего вида ступицами, которые удерживали все другие экипажи на почтительном расстоянии; такие ступицы еще и сейчас можно встретить на проезжих дорогах

Германии. Ящик для писем, огромный и продолговатый, помещался позади кузова и составлял с ним одно целое. Он был выкрашен в черный цвет, а сама каретка – в желтый.

Эти повозки, не имевшие ни малейшего сходства с нынешними, казались какими-то уродливыми и горбатыми; издали, когда они медленно ползли по дороге, отчетливо вырисовываясь на горизонте, они напоминали насекомых, называемых, кажется, термитами, которые, при короткой передней части туловища, тащат за собой огромную заднюю его часть. Впрочем, они двигались весьма проворно. Каретка, ежедневно выезжавшая из Арраса в час ночи, после прихода парижской почты, прибывала в Монрейль-Приморский около пяти часов утра.

В эту ночь почтовая карета, следовавшая в Монрейль-Приморский по эсденской дороге, въезжая в город, задела на повороте одной из улиц маленькое, запряженное белой лошастью тильбюри, которое направлялось в противоположную сторону и где сидел только один пассажир, закутанный в широкий плащ. Колесо тильбюри получило довольно чувствительный толчок. Почтарь крикнул этому пассажиру, чтобы он остановился, но путешественник не послушал его и продолжал ехать дальше крупной рысью.

– Вот человек, которому чертовски некогда! – заметил почтарь.

Человек, который так спешил, был тот самый, кого мы только что видели в единоборстве с самим собою, в душевной муке, вполне достойной сострадания.

Куда он ехал? Он и сам не мог бы ответить на этот вопрос. Почему так спешил? Он и сам не знал. Он ехал вперед наудачу. Куда? Конечно, в Аррас; но, быть может, он ехал и не только туда. Мгновениями он чувствовал это, и его охватывала дрожь. Он погружался в эту ночь, как в пучину. Что-то подталкивало его, что-то влекло. Никто не мог бы передать словами, что происходило в его душе, но всякий поймет это. Кому из людей не приходилось хотя бы раз в жизни вступать в эту мрачную пещеру неведомого?

Однако он ни к чему не пришел, ничего не решил, ни на чем не остановился, ничего не сделал. Ни одно из его умозаключений не было окончательным. Сильней, чем когда бы то ни было, им владела нерешительность самых первых минут.

Зачем он ехал в Аррас?

Он повторил себе все, о чем думал, когда заказывал кабриолет у Скофлера: что, каковы бы ни были последствия, не мешает видеть все собственными глазами и самому в этом разобраться; что этого требует даже и простая осторожность, ибо ему необходимо знать обо всем происходящем; что, не проследив и не изучив всех обстоятельств, ничего нельзя решать; что издали всегда делаешь из мухи слона; что, быть может, увидев этого Шанматье, вероятно, негодяя, он перестанет терзать себя и спокойно допустит, чтобы тот занял на каторге его место; что там, правда, будет Жавер, будут Бреве, Шенильдье и Кошпайль, но разве они узнают его? – какая нелепость! – а Жавер теперь далек от всяких подозрений; что все предположения и все догадки сосредоточены сейчас вокруг этого Шанматье, а ведь ничего нет упрямее предположений и догадок; что, следовательно, никакой опасности и не существует.

Он повторял себе, что, разумеется, ему предстоят тяжелые минуты, но он найдет в себе силы перенести их; что, как бы ни была жестока его судьба, но, в конце концов, она в его руках, что он сам волен в ней. Он жадно цеплялся за эту мысль.

Однако, если говорить откровенно, он предпочел бы не ехать в Аррас.

И все же он ехал туда.

Не отрываясь от своих дум, он подстегивал лошадь, которая бежала отличной, мерной и уверенной рысью, делая по два с половиной лье в час.

По мере того как кабриолет подвигался вперед, он чувствовал, как в нем самом что-то отступает назад.

Перед восходом солнца он был в открытом поле; город Монрейль-Приморский уже остался далеко позади. Он наблюдал, как светлеет горизонт; он смотрел, не видя, как перед его глазами проносятся холодные картины зимнего рассвета. У утра есть свои призраки, так же как и у вечера. Он не видел их, но помимо его сознания эти мрачные силуэты деревьев и холмов, путем какого-то почти физического проникновения, добавляли что-то унылое и зловещее к хаосу, царившему в его душе.

Проезжая мимо уединенных домиков, изредка попадавшихся близ дороги, он всякий раз говорил себе: «А люди спокойно спят там, внутри!»

Топот лошади, позвякивание бубенчиков на сбруе, стук колес по мощеной дороге сливались в приятный однообразный звук. Все это кажется полным очарования, когда человеку весело, и тоскливым – когда ему грустно.

Было уже совсем светло, когда он прибыл в Эсден. Он остановился у постоялого двора, чтобы покормить лошадь овсом и дать ей передохнуть.

Эта лошадь, как и говорил Скофлер, принадлежала к мелкой булонской породе, которая отличается чрезмерно большой головой и брюхом, короткой шеей, но вместе с тем и широкой грудью, широким крупом, крепкими бабками и поджарыми сильными ногами, – некрасивая, но здоровая и выносливая порода. Хотя славная лошадка пробежала за два часа пять лье, на ней не было заметно ни малейшего следа испарины.

Он не вышел из тильбюри. Конюх, принесший овес, вдруг нагнулся и начал рассматривать левое колесо.

– И много вы проехали так? – спросил он.

– А что? – ответил путник, по-прежнему погруженный в свои мысли.

– Я говорю – вы издалека? – повторил конюх.

– Я проехал пять лье.

– Ого!

– Почему «ого»?

Конюх снова нагнулся, с минуту помолчал, не отрывая глаз от колеса, потом выпрямился и сказал:

– Потому что, если это колесо и проехало пять лье, то сейчас уж наверняка не проедет и четверти лье.

Путник выскочил из тильбюри.

– Что вы говорите, друг мой?

– Говорю, что вы просто чудом проехали пять лье, не свалившись вместе с лошастью в какую-нибудь придорожную канаву. Да вы взгляните сами.

Колесо было в самом деле сильно повреждено. От толчка почтовой кареты сломались две спицы; ступица тоже пострадала: гайка на ней едва держалась.

– Скажите, друг мой, – спросил путник у конюха, – нет ли здесь у вас тележника?

– Как не быть, сударь.

– Так я попрошу вас, сходите за ним.

– Да он здесь, в двух шагах. Эй! Дядюшка Бургальяр!

Дядюшка Бургальяр, тележник, стоял на пороге своего дома. Он подошел, осмотрел колесо и скорчил гримасу, как хирург, увидевший сломанную ногу.

– Вы можете немедленно починить это колесо?

– Могу, сударь.

– Когда мне можно будет выехать?

– Завтра.

– Как завтра?

– Тут хватит работы на целый день. А что, сударь, разве вы так спешите?

– Очень спешу. Мне необходимо выехать не позже чем через час.

– Это никак нельзя, сударь.

– Я не постою за деньгами.

– Никак нельзя.

– Ну, хорошо. Через два часа.

– Нет, сегодня нельзя. Ведь надо сделать заново две спицы и ступицу. Нет, сударь, вы никак не сможете выехать до завтра.

– Но дело, по которому я еду, не терпит до завтра. А что, если не чинить это колесо, а просто заменить его новым?

– Это как же?

– Да ведь вы тележник?

– Точно так, сударь.

– Разве у вас не найдется продажного колеса? Тогда я мог бы отправиться в путь сейчас же.

– Колеса взамен вот этого?

– Да.

– Нет, у меня нет готового колеса для вашего кабриолета. Колеса ведь делаются под пару. Два разных колеса невозможно подогнать друг к другу.

– Так продайте мне пару колес.

– Не всякое колесо, сударь, подойдет к вашей оси.

– Да вы попробуйте.

– Напрасный труд, сударь. Я торгую только тележными колесами. У нас ведь здесь глухое место.

– А нет ли у вас кабриолета напрокат?

Каретный мастер с первого же взгляда распознал, что тильбюри было наемное. Он пожал плечами.

– Недурно же вы разделяетесь с кабриолетами, которые берете напрокат. Да если бы у меня и был экипаж, я бы вам все равно его не дал.

– А не найдется ли у вас продажного кабриолета?

– Нет, не найдется.

– Как? Даже и двуколки? Как видите, я не привередлив.

– У нас здесь глухое место. Правда, – добавил тележник, – есть у меня в сарае одна старая коляска. Хозяин ее, из наших городских, поставил ее ко мне на хранение, а сам, почитай, никогда на ней и не ездит, разве что раз в год по обещанию. Я бы дал вам ее напрокат, мне не жалко, да как бы хозяин не заметил, когда вы будете проезжать мимо, и, кроме того, это ведь коляска, тут потребуется не одна лошадь, а пара.

– Я найму пару почтовых лошадей.

– А вы куда едете, сударь?

– В Аррас.

– И хотите добраться туда за один день?

– Непременно.

– Это на почтовых-то лошадях?

– Почему бы и нет?

– А ничего, если вы приедете туда часа этак в четыре утра?

– Нет, это поздно.

– Тогда я должен сказать вам вот что. Видите ли, на почтовых лошадях... А разрешение на это при вас, сударь?

– Да.

– Так вот, на почтовых лошадях вы, сударь, будете в Аррасе не раньше завтрашнего дня. У нас ведь тут проселочная дорога. На станциях лошадей мало, все они заняты в поле. Сейчас начинается пахота, требуются сильные упряжки, лошадей нанимают где только можно – и у почты тоже. Вам, сударь, придется ожидать по три-четыре часа на каждой станции. Да и повезут вас шагом. На этой дороге много пригорков.

– Хорошо, я поеду верхом. Отпрягите лошадь. Ведь найдется же у вас здесь продажное седло.

– Найдись-то найдется, да ходит ли ваша лошадь под седлом?

– Правда, я совсем забыл об этом. Нет, под седлом она не ходит.

– Ну, значит...

– Да неужели я не найду в деревне наемную лошадь?

– Лошадь, которая без передышки добежит до самого Арраса?

– Да.

– В наших краях нет таких лошадей. Конечно, вам пришлось бы купить ее, потому что здесь никто вас не знает. Но ни купить, ни нанять такую лошадь вам не удастся ни за пятьсот, ни даже за тысячу франков.

– Как же быть?

– Сказать по чести, самое лучшее будет, если я починю ваше колесо и вы отложите поездку до завтра.

– Завтра будет уже поздно.

– Ничего не поделаешь!

– Кажется, здесь проходит почтовая карета на Аррас. Когда она должна прибыть?

– Завтра ночью. Обе почтовые кареты ездят по ночам, и туда и оттуда.

– Скажите, неужели на починку этого колеса вам необходим целый день?

– Целый день, да еще какой работы!

– А если взять помощника?

– Хоть десятерых.

– Нельзя ли связать спицы веревками?

– Спицы-то можно, а вот ступицу нельзя. Да и обод еле держится.

– Нет ли в городе человека, который отдает внаем лошадей?

– Нет.

– Нет ли другого тележника?

Конюх и тележник отрицательно покачали головами и в один голос ответили:

– Нет.

Он почувствовал невыразимую радость.

В дело вмешалось провидение – это было очевидно. Это оно сломало колесо тильбюри и задержало его в дороге. Он сдался не сразу, он сделал все, что мог, чтобы продолжать путь; он честно и добросовестно исчерпал все возможные средства; он не отступил ни перед холодом, ни перед усталостью, ни перед издержками; ему не в чем было упрекнуть себя. Если же он все-таки не поедет дальше, то уже не по своей вине; это не его воля, это воля провидения.

Он вздохнул. Впервые после посещения Жавера он вздохнул свободно и полной грудью. Ему показалось, что железная рука, в течение двадцати часов сжимавшая его сердце, вдруг разжалась.

Он решил, что теперь бог на его стороне и что этим он явил ему свое присутствие.

Он сказал себе, что сделал все возможное и что сейчас ему остается лишь одно: спокойно вернуться обратно.

Если бы беседа с тележником происходила в зале трактира, она не имела бы свидетелей, никто не услышал бы ее, дело тем бы и кончилось, и, вероятно, нам не пришлось бы рассказывать ни об одном из событий, которые предстоит узнать читателю; но разговор этот происходил на улице. Всякая беседа на улице неизбежно привлекает кружок любопытных. Всегда найдутся люди, жаждущие стать зрителями. Пока путник расспрашивал тележника, около них остановилось несколько случайных прохожих. Послушав немного, какой-то мальчуган, на которого никто не обратил внимания, отделился от группы и убежал.

В ту минуту, как путник закончил свои размышления, о которых мы только что рассказали, и решил повернуть обратно, этот мальчуган вернулся. Его сопровождала пожилая женщина.

– Сударь, – сказала она, – правду ли говорит сын, что вы хотите нанять кабриолет?

При этих самых обыкновенных словах, произнесенных пожилой женщиной, которую привел мальчик, путник весь покрылся холодным потом. Ему почудилось, что отпустившая его рука снова появилась во мраке за его спиной и сейчас снова схватит его.

Он ответил:

– Да, голубушка, я хочу нанять кабриолет.

И поспешил добавить:

– Но здесь его нет.

– Есть, – ответила старуха.

– У кого же это? – спросил тележник.

– У меня, – ответила старуха.

Путник вздрогнул. Роковая рука опять сдавила его.

У старухи действительно оказалось в сарае нечто вроде двуколки с кузовом, сплетенным из ивовых прутьев. Тележник и трактирный слуга, раздосадованные тем, что путешественник ускользает из их рук, вмешались в дело:

– И не двуколка это, а настоящая трясучка, кузов у нее стоит прямо на оси; сиденье, правда, подвешено на кожаных ремнях, но внутри она так отсырела, что с нее прямо течет; колеса все проржавели; и уедешь на ней ненамного дальше, чем на этом тильбюри, – настоящая рухлядь! Несдобровать тому, кто на ней поедет, и т. д., и т. д.

Они говорили правду, но эта трясучка, эта рухлядь, эта плетенка, какова бы она ни была, стояла все же на двух целых колесах и на ней можно было ехать в Аррас.

Он заплатил столько, сколько с него потребовали, оставил тильбюри у тележника для починки, условившись, что заедет за ним на обратном пути, велел запрячь в двуколку белую лошадь и поехал по той же самой дороге, по которой ехал с раннего утра.

Когда двуколка тронулась в путь, он признался самому себе, что минуту назад испытал некоторую радость при мысли о том, что не поедет туда, куда собирался ехать. Теперь он рассердился на себя за эту радость и нашел ее нелепой. Чему тут было радоваться? В конце концов, он едет совершенно добровольно. Никто его не принуждает.

И, разумеется, с ним не случится ничего такого, чего не захочет он сам.

Выезжая из Эсдена, он вдруг услышал чей-то голос, кричавший: «Стойте! Стойте!» Он остановил двуколку быстрым движением, в котором еще было что-то лихорадочное и судорожное, что-то похожее на надежду.

Это был сын той старухи.

– Сударь, – сказал он, – ведь это я раздобыл двуколку.

– Ну и что же?

– А вы мне ничего не дали.

Человек, дававший всем и каждому, дававший так охотно, счел это требование чрезмерным, почти дерзким.

– Ах, это ты, негодный мальчишка? – крикнул он. – Ты ничего не получишь!

Он стегнул лошадь и пустил ее крупной рысью.

Он потерял много времени в Эсдене, и теперь ему хотелось наверстать его. Лошадка была бодрая и везла за двоих, но стоял февраль месяц, дороги были размыты дождями. И к тому же двуколка – не тильбюри. Она была неуклюжа и очень тяжела. А вдобавок еще множество подъемов в гору.

Чтобы добраться от Эсдена до Сен-Поля, он потратил около четырех часов. Четыре часа на пять лье!

В Сен-Поле он распряг лошадь у первого попавшегося трактира и велел отвести ее в конюшню. Верный обещанию, данному им Скофлеру, он сам стоял возле яслей, пока лошадь ела. Мысли его были печальны и смутны.

Трактирщица вошла в конюшню.

– Не угодно ли вам будет позавтракать, сударь?

– В самом деле, – сказал он, – я действительно сильно проголодался.

Он последовал за женщиной; у нее было свежее и веселое лицо. Она проводила его в низенькую залу, где стояли столы, покрытые вместо скатерти клеенкой.

– Только поскорее, – сказал он, – мне надо сейчас же ехать. Я спешу.

Толстуха фламандка торопливо поставила ему прибор. Он смотрел на служанку с чувством удовольствия.

«В этом все дело, – подумал он, – я не завтракал сегодня».

Ему подали еду. Он набросился на хлеб, откусил кусок, потом медленно положил хлеб на стол и больше не дотронулся до него.

За другим столом завтракал ломовой извозчик. Путник сказал ему:

– Отчего это хлеб у них такой горький?

Извозчик был немец и не понял вопроса. Путник вернулся в конюшню к своей лошади.

Через час он выехал из Сен-Поля, направляясь в Тенк, откуда до Арраса было только пять лье.

Что он делал во время этой поездки? О чем думал? Как и утром, он смотрел на мелькавшие перед ним деревья, соломенные крыши, вспаханные поля, на пейзаж, менявшийся при каждом новом повороте дороги. Такое созерцание иногда целиком поглощает душу и почти освобождает ее от необходимости думать. Видеть тысячу предметов в первый и последний раз – что может быть печальнее этого и вместе с тем глубже! Путешествовать – значит рождаться и умирать каждую секунду. Быть может, в самом туманном уголке своего сознания он сопоставлял эти изменчивые горизонты с человеческим бытием. Все жизненные явления непрерывно бегут от нас. Сумрак чередуется со светом. После яркой вспышки – тьма; вы смотрите, спешите, вы протягиваете руки, чтобы схватить мимолетное видение; каждое событие – это поворот дороги; и вдруг приходит старость. Вы чувствуете какой-то толчок, вокруг темно; вы смутно различаете перед собой темные врата, угрюмый конь жизни, который привез вас сюда, останавливается, и некто с закрытым лицом, некто, неведомый вам, распрягает его во мраке.

Вечерело, уже дети выходили из школы, когда путник въехал в Тенк. Правда, дни в это время года были еще короткие. Он не остановился в Тенке. Когда он выезжал из деревни, рабочий, мостивший щебнем дорогу, поднял голову и сказал:

– До чего заморили лошадь.

В самом деле, бедное животное уже плелось шагом.

– Вы куда едете, в Аррас? – спросил рабочий.

– Да.

– Ну, таким ходом вы не скоро туда попадете.

Путник остановил лошадь и спросил у рабочего:

– Сколько еще отсюда до Арраса?

– Добрых семь лье.

– Как же так? По почтовому расписанию значится только пять с четвертью.

– А-а! Вы, стало быть, не знаете, что сейчас чинят дорогу, – сказал рабочий. – В четверти часа отсюда она загорожена, и проезда нет.

– В самом деле?

– Сверните влево, на дорогу, которая ведет в Каранси, потом переправьтесь через реку и, когда доедете до Камблена, возьмите вправо. Это и будет дорога на Аррас, через Мон-Сент-Элуа.

– Но ведь скоро стемнеет. Я могу заблудиться.

– Так вы не здешний?

– Нет.

– Это хуже. Тем более что тут у нас все проселочные дороги. Знаете что, сударь, – сказал рабочий, – я вам дам совет. Лошадь у вас устала, воротитесь-ка вы в Тенк. Там есть хороший постоянный двор, переночуете там. А завтра поедете в Аррас.

– Я должен быть в Аррасе сегодня вечером.

– Это другое дело. Но все-таки ступайте на постоянный двор и возьмите там пристяжную. А конюх проводит вас по проселочной дороге.

Путник послушался совета, повернул обратно и через полчаса снова проехал той же дорогой, но уже крупной рысью, с хорошей пристяжной. Конюх, величавший себя почтарем, сидел на передке двуколки.

Между тем времени было потеряно много – путник чувствовал это.

Стало уже совсем темно.

Они свернули на отвратительную проселочную дорогу. Двуколка переваливалась из одной колеи в другую. Путник сказал почтарю:

– Гони рысью, получишь на выпивку вдвойне.

На одной из рытвин переломился валец.

– Сударь, – сказал почтарь, – сломался валец. Я не знаю, как припрягу теперь свою лошадь. Ночью очень трудно ехать по этой дороге. Не вернуться ли вам ночевать в Тенк? А завтра мы могли бы рано утром быть в Аррасе.

– Есть у тебя веревка и нож? – спросил путник.

– Есть, сударь.

Он срезал с дерева ветку и сделал валец.

На это ушло еще двадцать минут, зато дальше поехали вскачь.

Равнина была окутана мраком. Короткие и черные клочья тумана снизу наплывали на холмы и вдруг отрывались от них, словно клубы дыма. В тучах мерцали белесоватые отблески. Сильный ветер, дувший с моря, грохотал во всех концах горизонта, словно кто-то невидимый передвигал тяжелую мебель. Все вокруг застыло от страха. Все трепещет пред этим могучим дыханием ночи!

Холод пронизывал путника до костей. Он не ел со вчерашнего дня. Ему смутно припоминалось другое ночное странствие – по широкой равнине в окрестностях Диня. С тех пор прошло восемь лет, но, казалось, это было вчера.

Пробили часы на какой-то отдаленной колокольне. Он спросил у конюха:

– Который это час?

– Семь часов, сударь. В Аррасе мы будем в восемь. Нам осталось только три лье.

В эту минуту ему впервые пришло в голову – и его удивило, как мог он не подумать об этом раньше, – что, возможно, все его усилия напрасны; что он даже не знает, на какой час назначено слушание дела; что он должен был осведомиться хотя бы об этом; что опрометчиво было ехать наобум, не зная, послужит ли это к чему-либо. Затем, прикинув в уме, он рассчитал, что обычно судебные заседания начинаются в девять часов утра; что это дело не могло затянуться надолго – вопрос о краже яблок должен был отнять очень мало времени; что после него оставалось только установить тождество личности, то есть пять-шесть свидетельских показаний, не дающих адвокатам материала для длинных речей; словом, что он приедет, когда все уже будет кончено.

Конюх гнал лошадей во всю мочь. Они переправились через реку и оставили за собой Мон-Сент-Элуа.

Становилось все темнее и темнее.

Глава 6

Испытание сестры Симплиции

Между тем Фантина в эту самую минуту была преисполнена радости.

Ночь она провела очень дурно. У нее был страшный кашель, сильнейшая лихорадка; ее мучили какие-то сны. Утром, во время посещения врача, она была в бреду. Врач заметно встревожился и попросил, чтобы ему тотчас дали знать, как только придет г-н Мадлен.

Все утро она была уныла, неразговорчива и, комкая пальцами простыню, бормотала про себя какие-то цифры, словно вычисляя расстояние. Глаза у нее совсем ввалились и смотрели в одну точку. Они казались почти потухшими, но временами вдруг загорались и начинали сиять, как звезды. Должно быть, при приближении роковой минуты небесный свет озаряет взоры тех, кто не увидит больше земного света.

Когда сестра Симплиция спрашивала у нее, как она себя чувствует, она всякий раз неизменно отвечала: «Хорошо. Но мне хотелось бы видеть господина Мадлена».

Несколько месяцев назад, когда Фантина потеряла свой последний стыд и свою последнюю радость, она была собственной тенью, теперь она стала собственным призраком. Физический недуг довершил дело недуга нравственного. У этой двадцатипятилетней женщины был морщинистый лоб, дряблые щеки, заострившийся нос, обнажившиеся десны, свинцовый цвет лица, костлявая шея, торчащие ключицы, хилое тело, землистая кожа, а в отравивших белокурых волосах появилась седина. Увы! Как искусно болезнь надевает на нас личину старости!

В полдень врач пришел еще раз, сделал несколько предписаний, осведомился, приходил ли в больницу г-н мэр, и покачал головой.

Обычно г-н Мадлен навещал больную в три часа. Он был точен, ибо точность здесь была проявлением его доброты.

Около половины третьего Фантина начала волноваться. На протяжении двадцати минут она чуть не десять раз спросила у монахини: «Сестрица, который час?»

Но вот пробило три часа. После третьего удара Фантина, которая в обычное время лежала почти неподвижно, села на постели, судорожно стиснула свои худые, желтые руки, и монахиня услышала, как из ее груди вырвался тот глубокий вздох, который говорит, что с сердца свалился камень. Потом Фантина обернулась и посмотрела на дверь.

Однако никто не вошел, дверь оставалась закрытой.

Четверть часа больная сидела в той же позе, устремив взгляд на дверь, не шевелясь, затаив дыхание. Сестра не решалась заговорить с ней. На церковной колокольне пробило четверть

четвертого. Фантина снова откинулась на подушку.

Она ничего не сказала и снова начала собирать простыню в складки.

Прошло полчаса, прошел час. Никто не приходил. Каждый раз, когда били часы, Фантина приподнималась и смотрела на дверь, потом снова падала на подушку.

Все понимали, о чем она думает, но она не произносила ничего имени, не жаловалась, никого не обвиняла. Она только кашляла страшным, зловещим кашлем. Казалось, на нее нисходил какой-то мрак. Она была бледна, как смерть, и губы у нее совсем посинели. Время от времени она улыбалась.

Пробило пять часов. И сестра расслышала, как она сказала тихо и очень кротко: «Завтра я ухожу, и он нехорошо поступил, что не пришел сегодня!»

Сестра Симплиция была и сама удивлена тем, что г-н Мадлен запаздывал.

А Фантина смотрела теперь вверх, на полог своей постели, и словно искала или вспоминала что-то. Вдруг она запела слабым, подобно дуновению ветерка, голосом. Монахиня стала прислушиваться. Вот что пела Фантина:

Чудесных вещей мы накупим, гуляя
По тихим предместьям в воскресный денек.
Ах, белая роза, малютка родная,
Ах, белая роза, мой нежный цветок!
Вчера мне Пречистая Дева предстала —
Стоит возле печки в плаще золотом
И молвит мне: «Ты о ребенке мечтала —
Я дочку тебе принесла под плащом».
— Скорей, мы забыли купить покрывало,
Беги за иголкой, за ниткой, холстом.
Чудесных вещей мы накупим, гуляя
По тихим предместьям в воскресный денек.
«Пречистая, вот колыбель, поджидая,
Стоит в уголке за кроватью моей.
Найдется ль у бога звезда золотая,
Моей ненаглядной дочурки светлей?»
— Хозяйка, что делать с холстом? — Дорогая,
Садись, для малютки приданое шей!
Ах, белая роза, малютка родная,
Ах, белая роза, мой нежный цветок!
— Ты холст постирай. — Где же? — В речке
прохладной.
Не пачкай, не порть — сядь у печки с иглой
И юбочку сделай да лифчик нарядный,
А я на нем вышию цветок голубой.
— О горе! Не стало твоей ненаглядной!
Что делать? — Мне саван готовь гробовой.
Чудесных вещей мы накупим, гуляя
По тихим предместьям в воскресный денек.
Ах, белая роза, малютка родная,
Ах, белая роза, мой нежный цветок!

Это была старинная колыбельная песенка, которой она убаюкивала когда-то свою маленькую Козетту и которая ни разу не приходила ей на память за все пять лет разлуки с ребенком. Она пела ее таким грустным голосом и с таким кротким видом, что могла разжалобить всякого, даже монахиню. Сестра милосердия, закаленная строгой, суровой жизнью, почувствовала, что на глаза у нее навернулись слезы.

На башенных часах пробило шесть. Фантина как будто не слышала. Казалось, она больше не обращала внимания на происходившее вокруг нее.

Сестра Симплиция послала служанку к фабричной привратнице справиться, не пришел ли домой г-н мэр и скоро ли он будет в больнице. Через несколько минут служанка вернулась.

Фантина по-прежнему лежала неподвижно, казалось, она вся ушла в свои мысли.

Служанка шепотом сообщила сестре Симплиции, что г-н мэр уехал сегодня утром, когда еще не было и шести часов, в маленьком тильбюри, запряженном белой лошадью, – уехал, несмотря на холод, один, без кучера, и никто не знает куда. Некоторые видели, как он свернул на аррасскую дорогу, а другие уверяют, что встретили его по дороге на Париж. Уезжая, он был такой же, как всегда, очень ласковый, и только сказал привратнице, чтобы нынешней ночью его не ждали.

Женщины шептались, стоя спиной к постели Фантины, причем сестра задавала вопросы, а служанка высказывала свои догадки. Тем временем Фантина, с присущей некоторым органическим недугам лихорадочной живостью, при которой ужасающая худоба смерти сочетается с полной свободой движений, свойственной здоровью, встала на колени и, опершись сжатыми кулаками на подушку, прислушивалась, просунув голову в отверстие между занавесок. Внезапно она вскричала:

– Вы говорите о господине Мадлене! Почему вы шепчетесь? Что с ним? Отчего он не приходит?

Голос ее прозвучал так резко и так хрипло, что обеим женщинам показалось, будто это говорит мужчина, и они обернулись в испуге.

– Отвечайте же! – кричала Фантина.

Служанка пролепетала:

– Привратница сказала, что он не может прийти сегодня.

– Дитя мое, – сказала сестра, – успокойтесь, лягте.

Не меняя позы, Фантина громко продолжала властным и в то же время раздирающим душу тоном:

– Не может прийти? Почему же? Вы знаете причину. Сейчас вы шептались об этом между собой. Я хочу все знать.

Служанка торопливо проговорила на ухо монахине: «Скажите, что он в муниципальном совете».

Сестра Симплиция слегка покраснела: служанка посоветовала ей солгать. С другой стороны, она и сама понимала, что сказать больной правду – значило нанести ей тяжелый удар, очень опасный в том положении, в каком находилась Фантина. Но краска быстро сбежала с ее лица. Сестра подняла на Фантину свой спокойный, грустный взгляд и сказала:

– Господин мэр уехал.

Фантина приподнялась на подушках и села. Глаза ее засверкали. Безмерной радостью засияло ее страдальческое лицо.

– Уехал! – вскричала она. – Он поехал за Козеттой!

Она протянула обе руки к небу, вся преображенная неизъяснимым чувством. Губы ее шевелились; она тихо читала молитву.

Помолившись, она сказала:

– Сестрица, сейчас я лягу, я буду делать все, что мне прикажут; я была дурной, простите меня за то, что я говорила так громко, я знаю, что нехорошо говорить громко; но, видите ли, милая сестрица, я так рада. Господь бог так добр, господин Мадлен так добр, подумайте только, он поехал в Монфермейль за моей маленькой Козеттой!

Она улеглась, помогла монахине поправить подушки и поцеловала висевший у нее на шее маленький серебряный крестик, подаренный ей сестрой Симплицией.

– Дитя мое, – сказала сестра, – теперь постарайтесь успокоиться и не говорите больше.

Фантина взяла в свои влажные от пота руки руку сестры, и та с огорчением ощутила эту испарину.

– Сегодня утром он уехал в Париж. А ведь ему даже незачем проезжать через Париж. Монфермейль немного левее. Помните, как вчера, когда я говорила ему про Козетту, он ответил: «Скоро, скоро!» Он решил сделать мне сюрприз. Знаете, он дал мне подписать письмо, чтобы забрать у Тенардье ребенка. Они ведь не посмеют возражать, правда? Они отдадут Козетту. Им же уплачено сполна. Власти не позволят им задерживать ребенка, раз все уплачено. Сестрица, не останавливайте меня, позвольте мне говорить. Я так счастлива, я здорова, у меня больше нигде ничего не болит, я увижу Козетту... я даже захотела есть. Ведь я не видела ее около пяти лет. Вы не можете себе представить, как тянет к ребенку! И потом она так мила, да вот вы увидите сами! Если бы вы знали, какие у нее пальчики – хорошенькие, розовые! У нее будут очень красивые руки. А когда ей был годик, до чего ручонки у нее были потешные! Такие вот! Теперь она уже, наверно, совсем большая. Шутка ли сказать, ей семь лет. Настоящая барышня. Я зову ее Козеттой, но ее правильное имя Эфрази. Послушайте, сегодня утром я посмотрела на пыль на камине, и вдруг мне пришло в голову, что я скоро увижу Козетту. Господи, как дурно годами не видеть своих детей! Надо бы людям всегда помнить, что жизнь у нас не вечная! О, какой добрый господин мэр, что сам поехал за ней! Правду ли говорят, что на дворе так холодно? По крайней мере взял ли он с собой плащ? Как вы думаете, он придет завтра? Завтра будет праздник. Напомните мне, сестрица, чтобы завтра утром я надела тот чепчик, который с кружевами. Монфермейль – это целый округ. Когда-то я проделала весь этот путь пешком. Мне он показался таким длинным. Но дилижансы ходят очень быстро! Завтра он будет здесь с Козеттой. Скажите, сколько отсюда до Монфермейля?

Сестра, не имевшая ни малейшего понятия о расстояниях, ответила:

– О, я уверена, что завтра он уже может быть здесь.

– Завтра! Завтра! – повторяла Фантина. – Завтра я увижу Козетту! Вы знаете, добрая сестрица, я уже совсем здорова. Я схожу с ума от радости. Я готова танцевать, если угодно.

Тот, кто видел ее за четверть часа до этого, не мог бы понять совершившейся в ней перемены. Она вся порозовела, голос ее звучал естественно и живо, лицо сияло улыбкой. Она то и дело смеялась и тихо разговаривала сама с собой. Радость матери – это почти то же, что радость ребенка.

– Вот что, – сказала монахиня, – теперь вы счастливы, так будьте же послушны и перестаньте разговаривать.

Фантина положила голову на подушку и вполголоса говорила:

– Да, да, ложись, будь умницей, ведь завтра тебе привезут твое дитя. Сестра Симплиция права. Все те, кто здесь, правы.

Затем, не шевелясь, не поворачивая головы, она принялась оглядывать комнату широко раскрытыми веселыми глазами и не проронила больше ни слова.

Сестра задернула полог, надеясь, что она задремлет.

Между семью и восемью часами пришел врач. Не слыша никакого шума, он решил, что Фантина спит, тихонько вошел в палату и на цыпочках приблизился к кровати. Раздвинув полог,

он увидел при свете ночника устремленные на него большие и спокойные глаза Фантины.

Она сказала ему:

– Господин доктор, мне ведь позволят поставить ее маленькую кроватку рядом с моей?

Врач решил, что она бредит. Она добавила:

– Посмотрите, тут как раз хватит места.

Врач отозвал в сторону сестру Симплицию, и она объяснила ему, в чем дело: г-н Мадлен уехал на день или два, и, не зная точно, куда он уехал, она не сочла нужным разуверять больную, решившую, что г-н мэр отправился в Монфермейль; в сущности говоря, это могло оказаться и правдой. Врач одобрил сестру.

Он снова подошел к кровати Фантины, и та продолжала:

– Видите ли, утром, когда она проснется, я смогу сразу поздороваться с моим бедным котенком, а ночью я буду слушать, как она спит, – ведь я-то все равно не сплю по ночам. Мне так приятно будет прислушиваться к нежному дыханию моей крошки.

– Дайте руку, – сказал врач.

Она протянула руку и вскричала со смехом:

– Ах, да! Ведь и правда, вы не знаете еще! Я выздоровела. Завтра приезжает Козетта.

Врач был поражен. Ей в самом деле было лучше. Одышка уменьшилась. Пульс стал полнее. Внезапный прилив жизненных сил воскресил это жалкое, истощенное тело.

– Господин доктор, – продолжала она, – сказала ли вам сестрица, что господин мэр уехал за моим сокровищем?

Врач запретил ей разговаривать и велел окружающим оберегать ее от каких бы то ни было тяжелых впечатлений. Он прописал ей хинную настойку без всякой примеси и успокоительное питье, на случай если бы лихорадка возобновилась ночью. Уходя, он сказал сестре:

– Ей лучше. Если бы, на счастье, господин мэр действительно приехал завтра с ее ребенком – как знать? – бывают иногда такие изумительные переломы; известны случаи, когда сильная радость останавливала развитие болезни. Правда, тут заболевание органическое и очень запущенное, но в человеческих недугах так много тайн! Быть может, мы еще и спасем ее.

Глава 7

Приезжий обеспечивает себе обратный путь

Было около восьми часов вечера, когда оставленная нами в дороге двуколка въехала в ворота Почтовой гостиницы в Аррасе. Из нее вышел человек, которого мы сопровождали вплоть до этого момента; отослав пристяжную лошадь и рассеянно отвечая на вопросы услужливой гостиничной прислуги, он сам отвел в конюшню свою белую лошадку; затем он вошел в бильярдную, находившуюся в нижнем этаже, и уселся там, облокотившись на стол. Он потратил четырнадцать часов на поездку, которую рассчитывал проделать за шесть. Ему не в чем было себя упрекнуть – здесь не было его вины. И в глубине души он не досадовал на это.

Вышла хозяйка гостиницы.

– Изволите переночевать, сударь? Изволите поужинать?

Он отрицательно покачал головой.

– А конюх говорит, что ваша лошадь очень устала.

При этих словах он нарушил молчание.

– Вы думаете, что ей не под силу пуститься в обратный путь завтра утром?

– Помилуйте, сударь! Ей надобно отдохнуть по крайней мере двое суток.

Он спросил:

– Кажется, здесь помещается почтовая контора?

– Да, сударь.

Хозяйка проводила его в эту контору, он показал свой паспорт и справился, есть ли возможность сегодня же ночью вернуться в Монрейль-Приморский с почтовой каретой; место рядом с почтарем оказалось еще не занятым; он оставил его за собой и заплатил за него. «Сударь, – сказал конторщик, – только не опаздывайте, карета отправляется ровно в час ночи».

Покончив с этим делом, путник вышел из гостиницы и пошел по городу.

Он совсем не знал Арраса; улицы были малолюдны, он шел наугад. Однако он почему-то упорно не спрашивал дорогу у прохожих. Перейдя мост через небольшую речку Креншон, он очутился в таком лабиринте узеньких улиц, что совсем запутался. По дороге шел какой-то горожанин с большим фонарем. После некоторого колебания путник решился обратиться к этому человеку, причем предварительно оглянулся по сторонам, словно опасаясь, как бы кто-нибудь не услышал, о чем он будет спрашивать.

– Сударь, – сказал он, – скажите, пожалуйста, где находится здание суда?

– Вы, должно быть, нездешний, сударь, – ответил прохожий, уже почти старик, – пойдемте со мной. Я как раз иду в ту сторону, где находится суд, то есть, собственно говоря, где находится префектура, так как здание суда сейчас ремонтируется и судебные заседания происходят в префектуре.

– И суд присяжных тоже заседает там? – спросил он.

– Конечно. Видите ли, сударь, нынешнее здание префектуры было до революции епископским дворцом. Монсеньор де Конзьё, который был епископом в восемьдесят втором году, выстроил там большой зал. В этом-то зале и заседает суд.

Дорогой старик сказал ему:

– Если вы, сударь, хотите присутствовать на каком-нибудь процессе, то сейчас немного поздновато. Обычно заседания кончаются в шесть часов.

Однако, когда они вышли к широкой площади, старик показал ему на четыре высоких освещенных окна, выделявшихся на темном фасаде огромного здания.

– Право, сударь, вам везет, вы не опоздали. Видите эти четыре окна? Это-то и есть судебный зал. Там светло. Значит, еще не все кончено. Очевидно, дело затянулось и назначено вечернее заседание. А что – вас интересует это дело? Это, должно быть, уголовный процесс? Вас вызвали в качестве свидетеля?

Он ответил:

– Я приехал не ради какого-либо дела. Просто мне надо повидать одного адвоката.

– Ах, так? – сказал старик. – Да вот и дверь, сударь. Та, возле которой стоит часовая. Вам надо будет только подняться по главной лестнице.

Он последовал указаниям прохожего и несколько минут спустя очутился в какой-то комнате, где было много народа и где отдельные группы людей вперемешку со стряпчими в судейских мантиях перешептывались между собой.

Сердце всегда невольно сжимается при виде этих фигур в черном, которые тихо переговариваются друг с другом на пороге судилища. Слова милосердия и сострадания редко срываются с их уст. Чаще всего это обвинительные приговоры, предусмотренные заранее. Все эти группы кажутся наблюдателю, задумчиво проходящему мимо, какими-то темными ульями, где жужжащие духи сообща замышляют мрачные козни.

Эта просторная комната, освещенная единственной лампой, была прежде одним из приемных залов епископского дворца, а теперь служила залом ожидания. Двустворчатая дверь, в эту минуту закрытая, отделяла ее от большого зала, где заседал суд присяжных.

Было так темно, что путник не побоялся обратиться к первому попавшемуся стряпчему.

– Сударь, – спросил он, – в каком положении дело?

– Дело кончено, – ответил стряпчий.

– Кончено!

Это слово было повторено таким тоном, что стряпчий обернулся.

– Извините, сударь, вы, вероятно, родственник?

– Нет. Я никого здесь не знаю. И каков приговор – обвинительный?

– Конечно. Ничего иного нельзя было и ждать.

– Каторжные работы?..

– Пожизненная каторга.

– Значит, тождество личности установлено? – произнес путник таким слабым голосом, что его с трудом можно было расслышать.

– Какое там тождество? – ответил стряпчий. – Об этом не было и речи. Дело совсем простое. Эта женщина убила своего ребенка, детоубийство было доказано, но присяжные отклонили предположение о заранее обдуманном намерении, и она приговорена к пожизненной каторге.

– Так это женщина? – проговорил он.

– Разумеется, женщина. Девушка Лимозен. А вы о чем говорите?

– Да так, ни о чем. Но если дело кончено, то почему же зал все еще освещен?

– Сейчас там слушается другое дело. Оно началось часа два назад.

– Какое же дело?

– О, тоже очень простое. Какой-то бродяга, рецидивист, каторжник совершил кражу. Я забыл его имя. Вот уж поистине разбойничья физиономия. За одну эту физиономию я бы сослал его на галеры.

– Сударь, – спросил путник, – есть ли возможность попасть в зал?

– Не думаю. Очень много народа. Правда, сейчас перерыв. Многие вышли. Попробуйте, когда заседание возобновится.

– Где вход?

– Здесь. Через эти большие двери.

Стряпчий отошел. За несколько секунд путник пережил почти одновременно, почти слившиеся воедино все чувства, какие только доступны душе человека. Равнодушные слова стряпчего то пронзали его сердце, как ледяные иглы, то жгли его, как раскаленное железо. Узнав, что ничего еще не кончено, он вздохнул; но он и сам не мог бы сказать, испытывал он чувство облегчения или же глубокой скорби.

Он подходил то к одной, то к другой группе людей и прислушивался к тому, что говорилось. Эта сессия была перегружена делами, и потому председатель назначил на один и тот же день два несложных и коротких дела. Начали с детоубийства, а теперь разбиралось дело каторжника, рецидивиста, «обратной кобылки». Последний украл несколько яблок, но это, кажется, не вполне доказано; зато доказано, что он уже побывал на каторге в Тулоне. Это-то ему и повредило. Допрос с обвиняемого уже снят, и свидетельские показания тоже, но остается еще речь защитника и заключительная речь прокурора, так что дело кончится не ранее полуночи. По всей вероятности, преступник будет осужден: товарищ прокурора очень искусен и никогда не «упускает» своих подсудимых; это человек с умом, он даже стихи пишет.

У двери в зал заседаний стоял судебный пристав. Путник спросил у него:

– Скажите, скоро ли откроют двери?

– Их совсем не откроют, – ответил пристав.

– Как! Не откроют, когда снова начнется заседание? Ведь сейчас перерыв?

– Заседание уже началось, – ответил пристав, – но дверей открывать не будут.

– Почему?

– Потому что зал полон.

– Как? Неужели нет ни одного места?

– Ни одного. Дверь заперта, и никого больше в зал не пустят.

Помолчав, судебный пристав добавил:

– Правда, за креслом господина председателя есть еще два или три свободных места, но господин председатель разрешает занимать их только должностным лицам.

С этими словами пристав повернулся к нему спиной.

Опустив голову, путник отошел от него и, пройдя через зал ожидания, начал медленно спускаться по лестнице, останавливаясь на каждой ступеньке и словно раздумывая. Быть может, он советовался с самим собой. Жестокий поединок, завязавшийся в его душе со вчерашнего дня, еще не кончился и каждую секунду лишь вступал в какой-нибудь новый фазис. Дойдя до площадки лестницы, он прислонился к перилам и скрестил руки. Внезапно он расстегнул сюртук, вынул бумажник, достал из него карандаш, оторвал клочок бумаги и при свете фонаря быстро набросал на нем одну строчку: «Г-н Мадлен, мэр Монрейля-Приморского». Затем быстрым шагом он снова поднялся по лестнице, протолкался сквозь толпу, подошел прямо к судебному приставу, протянул ему записку и сказал повелительным тоном:

– Передайте господину председателю.

Тот взял записку, пробежал ее взглядом и пошел исполнять поручение.

Глава 8

Вход для избранных

Сам того не подозревая, мэр Монрейля-Приморского был в некотором роде знаменитостью. За семь лет молва о его добродетели разнеслась по всему Нижнему Булонэ, вышла в конце концов за пределы края и распространилась на два или три соседних департамента. Он оказал значительную услугу не только главному городу, где основал фабрику изделий из черного стекла: из всех ста сорока одной общины Монрейльского округа не нашлось бы такой, которая бы не была ему чем-либо обязана. Он умудрялся даже, если в том была нужда, оказывать помощь промышленным предприятиям других округов и способствовал их процветанию. Так, были случаи, когда он поддержал своим кредитом и средствами тюлевую фабрику в Булони, механическую льнопрядильню во Фреване и полотняную мануфактуру на водяном двигателе в Бубере-на-Канше. Повсюду с благоговением повторяли имя г-на Мадлена. Аррас и Дуэ завидовали счастливому городку Монрейлю-Приморскому, которым управляет такой мэр.

Член королевского суда в Дуэ, председательствовавший на этой сессии суда присяжных в Аррасе, не хуже других знал это имя, окруженное столь глубоким и столь единодушным уважением. Когда судебный служитель, осторожно приоткрыв дверь из совещательной комнаты в зал заседаний, наклонился над креслом председателя и, вручив ему записку, содержание которой уже известно читателю, добавил: «Этот господин хочет присутствовать на заседании суда», председатель живо повернулся, с готовностью схватил перо, быстро написал на той же записке несколько строчек и передал ее служителю со словами: «Пропустите».

Несчастный человек, историю которого мы рассказываем, продолжал стоять у дверей зала на том же месте и в той же позе, как его оставил судебный пристав. Словно сквозь сон, он услышал чьи-то обращенные к нему слова: «Покорнейше прошу вас, сударь, следовать за мной». Тот самый пристав, который несколько минут назад повернулся к нему спиной, теперь стоял перед ним, кланяясь чуть не до земли. Одновременно он протягивал ему записку. Путник развернул ее и, так как рядом с ним оказалась лампа, смог прочесть: «Председатель суда свидетельствует свое почтение господину Мадлену».

Он скомкал записку в руке, словно в этих немногих словах таился для него какой-то странный и горький привкус.

Он последовал за приставом.

Через несколько минут он оказался один в обшитом панелями строгом кабинете, освещенном двумя свечами, стоявшими на покрытом зеленым сукном столе. В его ушах еще звучали слова судебного служителя, с которым он только что расстался: «Сударь, это совещательная комната. Стоит вам повернуть медную ручку вот этой двери, и вы окажетесь в зале заседаний позади кресла господина председателя». Эти слова сливались у него в уме с неясным воспоминанием об узких коридорах и темных лестницах, которыми он только что проходил.

Судебный пристав оставил его одного. Решительная минута настала. Он пытался сосредоточиться, но это не удавалось ему. Когда особенно необходимо связать все нити размышления с мучительными подробностями действительной жизни, тогда-то эти нити и рвутся чаще всего. Он находился сейчас именно в том помещении, где судьи совещаются и выносят обвинительные приговоры. С каким-то тупым спокойствием он рассматривал эту мирную и одновременно грозную комнату, где было разбито столько жизней, где через несколько мгновений должно было прозвучать его имя и куда привела его в эту минуту судьба. Он оглядывал стены, оглядывался на себя и не верил, что это именно та комната, не верил, что это именно он.

Он ничего не ел более суток, он был весь разбит от тряски экипажа, но не чувствовал этого; ему казалось, что он вообще ничего не чувствует.

Он подошел к стене, где под стеклом в черной рамке висело старинное собственноручное письмо Жана-Никола Паша, парижского мэра и министра, которое было помечено, должно быть по ошибке, девятым *июня* II года и в котором Паш посылал местной общине список министров и депутатов, находящихся под домашним арестом. Посторонний свидетель, которому случилось бы увидеть его и наблюдать за ним в эту минуту, без сомнения, подумал бы, что это письмо сильно его заинтересовало, так как он не отрывал от него глаз и перечел его два или три раза кряду. В действительности же он читал его машинально, не вникая в смысл. Он думал о Фантине и о Козетте.

Все еще погруженный в размышления, он рассеянно отвернулся и увидел медную ручку двери, отделявшей его от зала заседаний. Он почти совсем забыл об этой двери. Взгляд его, вначале спокойный, остановился на этой медной ручке и уже не отрывался от нее; потом он сделался напряженным, растерянным, и в нем все яснее стал проступать ужас. Волосы у него стали влажными от пота, и крупные капли потекли по вискам.

Вдруг он сделал решительный и возмущенный жест – тот не поддающийся описанию жест, который должен означать и так ясно означает: «Черт возьми! Да кто же может меня заставить?» Затем он быстро повернулся, увидел перед собой дверь, через которую только что вошел сюда, приблизился к ней, открыл ее и вышел. Он покинул эту комнату; теперь он был вне ее: в коридоре, в длинном и узком коридоре со ступеньками и переходами, образующем множество углов и поворотов, скупо освещенном фонарями, напоминавшими ночники у изголовья больного, – словом, в том самом коридоре, через который он проходил, направляясь в совещательную комнату. Он вздохнул свободнее и прислушался: ни малейшего шума ни впереди, ни позади него; он пустился бежать, словно спасаясь от погони.

Миновав несколько поворотов этого коридора, он снова прислушался. Вокруг все та же тишина, тот же полумрак. Задышавшись, шатаясь от усталости, он прислонился к стене. Камень был холодный, пот на его лбу стал ледяным; он выпрямился, весь дрожа.

И тогда, один, стоя в темноте, вздрагивая от холода, а быть может, и не только от холода, он

задумался.

Перед этим он думал всю ночь, думал весь день; теперь внутри его раздавался лишь один голос, и этот голос говорил: «Увы!»

Так прошло с четверть часа. Наконец он понурил голову, тяжело вздохнул, опустил руки и той же дорогой пошел назад. Шел он медленно, словно изнемогая. Казалось, кто-то настиг его во время бегства и теперь ведет обратно.

Он снова вошел в совещательную комнату. Первое, что бросилось ему в глаза, была дверная ручка. Круглая, медная, полированная, она сверкала перед ним, словно какая-то грозная звезда. Он смотрел на нее, как овца смотрит в глаза тигру.

Он не мог отвести от нее взгляда.

Время от времени он делал шаг вперед и приближался к двери.

Если бы он прислушался, то услышал бы смутный, неясный говор, неясный шум, доносившийся из соседнего зала; но он не слушал и не слышал.

Внезапно, сам не зная как, он оказался у самой двери. Он судорожно схватился за ручку; дверь отворилась.

Он был в зале заседаний.

Глава 9

Место, где слагаются убеждения

Он шагнул вперед, машинально закрыл за собой дверь и остановился, озираясь кругом.

Перед ним было просторное, скудно освещенное помещение, то полное неясного гула, то полное тишины; здесь на глазах у толпы разворачивались перипетии уголовного процесса во всей их убогой и зловещей торжественности.

В том конце зала, где он сейчас находился, – судьи в потертых мантиях, грызущие ногти с рассеянным видом или просто сидящие, полузакрыв глаза; в другом конце – толпа оборванных людей; стряпчие в самых разнообразных позах; солдаты с честными и суровыми лицами; стены, обитые старыми панелями и все в пятнах; грязный потолок, столы, покрытые саржей, которая из зеленой сделалась желтой; почерневшие захватанные двери; на гвоздях, вбитых в обшивку стен, кенкеты, какие горят в кабачках и дают больше копоти, нежели света; сальные свечи в медных подсвечниках на столах; полумрак, неприглядность, тоска; и тем не менее все вместе создавало впечатление строгости и величия, ибо здесь ощущалось присутствие того высокого человеческого начала, которое зовется законом, и того высокого божественного начала, которое зовется правосудием.

Никто в этой толпе не обратил на него внимания. Все взоры сходились в одной точке, все смотрели на деревянную скамью, прислоненную к маленькой дверке в стене, по левую руку от председателя; на этой скамье, освещенной несколькими свечами, меж двух жандармов сидел человек.

Это был тот самый человек.

Вошедший не искал его: он увидел его сразу. Его глаза сами собой остановились на этой фигуре, как будто они заранее знали ее место.

Ему показалось, что он видит самого себя, только сильно постаревшего; разумеется, это лицо не было точной копией его лица, но манера держать себя, общий вид были поразительно схожи: те же всклокоченные волосы, тот же беспокойный звериный взгляд, блуза, точно такая же, какая была на нем самом в тот день, когда, исполненный ненависти и схоронив в душе отвратительный клад страшных помыслов, накопленных им в течение девятнадцати лет каторги, он вошел в Динь.

И, содрогнувшись, он сказал себе: «О боже! Неужели я опять стану таким?»

Судя по внешнему виду, этому человеку было по меньшей мере шестьдесят лет. В нем чувствовалось что-то грубое, тупое и растерянное.

При скрипе отворившейся двери все посторонились, чтобы пропустить его, председатель повернул голову и, догадавшись, что вошел мэр Монрейля-Приморского, поклонился ему. Товарищ прокурора, который встречался с г-ном Мадленом в Монрейле-Приморском, куда ему неоднократно приходилось ездить по делам службы, узнал его и тоже поклонился. Новоприбывший едва заметил все это. Он был во власти какой-то галлюцинации; он смотрел на другое.

Судьи, секретарь, жандармы, множество физиономий с написанным на них выражением жестокого любопытства – все это уже было однажды, двадцать семь лет тому назад. Он вновь увидел перед собой эти зловещие образы, они были здесь, они шевелились, они существовали. Это был уже не результат усилия памяти, не мираж мысли – нет, теперь это были настоящие жандармы и настоящие судьи, настоящая толпа, настоящие люди из плоти и крови. Свершилось: чудовищные призраки прошлого вновь обступили его; они воскресли со всей грозной силой реальности.

Зияющая бездна разверзлась перед ним.

Он ужаснулся ей, закрыл глаза и вскричал в самой сокровенной глубине своей души: «Никогда!»

И благодаря трагической шутке судьбы, будоражившей все его мысли и доводившей его почти до безумия, он видел здесь свое второе «я». Человека на скамье подсудимых все присутствовавшие звали – Жан Вальжан!

У него на глазах происходило нечто невероятное: перед ним воспроизводился самый ужасный момент его жизни, и его роль играл его собственный призрак.

Все, все было здесь: та же обстановка, тот же ночной час, почти те же лица судей, солдат и зрителей. Только теперь над головой председателя висело распятие, которого не было в трибуналах тех времен, когда судили его. Когда выносили ему приговор, бог отсутствовал.

Позади него был стул; он почти упал на него, ужаснувшись при мысли, что его могут увидеть. На судейском столе лежала целая груда папок, и он воспользовался этим, чтобы спрятать за ней лицо от всего зала. Теперь он получил возможность видеть, не будучи видимым. Мало-помалу он начал приходить в себя. К нему полностью вернулось ощущение действительности; он достиг той степени спокойствия, при которой уже можно слушать.

Господин Баматабуа был в числе присяжных.

Новоприбывший взглядом поискал Жавера, но не увидел его. Стол секретаря заслонял свидетельскую скамью. И кроме того, как мы уже упоминали, зал был освещен очень скудно.

В ту минуту, когда он вошел, защитник обвиняемого заканчивал свою речь. Всеобщее внимание было возбуждено до крайности; дело тянулось уже три часа. Уже три часа кряду толпа наблюдала за тем, как сгибался под бременем страшного подобия правды какой-то человек, какой-то неизвестный, какое-то жалкое существо, необычайно тупое или необычайно хитрое. Как мы уже знаем, это был бродяга, которого поймали в поле по соседству с участком, именуемым «левадой Пьерона»; в руках у него была ветка со спелыми яблоками, отломленная от яблони, росшей на этой леваде. Кто был этот человек? Произвели дознание, выслушали свидетелей, все показания совпали, судебное разбирательство пролило полную ясность на это дело. Обвинение гласило: «Перед нами не только вор, укравший несколько яблок, не простой мародер; перед нами разбойник, бывший каторжник, неисправимый, опаснейший негодяй, скрывавшийся от полицейского надзора, злоумышленник по имени Жан Вальжан, которого уже давно разыскивает правосудие и который восемь лет назад, возвращаясь с тулонских галер,

совершил на большой дороге вооруженное нападение на некоего маленького савояра по имени Малыш Жерве; это преступление предусмотрено статьей 383 Уголовного кодекса, и мы оставляем за собой право судить за него впоследствии, когда тождество личности будет установлено судебным порядком. Теперь он совершил новую кражу. Мы имеем дело с рецидивистом. Судите его за новую провинность, а за старую он будет предан суду позднее». Слушая эти обвинения, видя единодушные свидетельских показаний, подсудимый прежде всего казался удивленным. Иногда он принимался жестикулировать, словно хотел сказать знаками: «Нет, нет», иногда же тупо смотрел в потолок. Говорил он плохо, отвечал сбивчиво, но вся его фигура с головы до пят являлась олицетворенным отрицанием. Он выглядел каким-то идиотом рядом с этими ополчившимися против него учеными людьми, совсем чужим посреди этого общества, крепко державшего его в своих руках. А между тем ему угрожало самое страшное будущее; справедливость обвинения становилась с каждой минутой все более и более явной, и толпа с большим беспокойством, нежели он сам, ждала этого приговора, все более и более неотвратимого и чреватого для него бесчисленными бедами. В случае если бы тождество личности было установлено, а дело Малыша Жерве в дальнейшем тоже бы закончилось обвинением, можно было предвидеть не только каторгу, но и смертную казнь. Что представляет собой этот человек? Почему он так безучастен? Что это – слабоумие или притворство? Понимает он слишком хорошо или ничего не понимает? Вот вопросы, которые разделяли публику, да, пожалуй, и самих присяжных, на два лагеря. В этом процессе было нечто пугающее и в то же время загадочное; драма была не только мрачной, она была темной.

Защитник произнес неплохую речь, пользуясь тем провинциальным языком, который в течение долгого времени считался образцом судебного красноречия и когда-то употреблялся не только где-нибудь в Роморантене или в Монбризоне, но и в Париже, а ныне, став классическим, сделался достоянием лишь официальных представителей правосудия, которых он привлекает своей торжественной звучностью и напыщенностью. На этом языке муж именуется *супругом*, а жена *супругой*. Париж – *средоточием искусств и цивилизации*, король – *монархом*, монсеньор епископ – *святым прелатом*, помощник прокурора – *красноречивым представителем обвинения*, защитительная речь – *словесами, коим мы только что внимали*, век Людовика XIV – *великим веком*, театр – *храмом Мельпомены*, царствующая фамилия – *августейшей нашей династией*, концерт – *музыкальным празднеством*, начальник военного округа – *доблестным воином, который и пр.*, воспитанники семинарии – *нашими кроткими левитами*, ошибки, вменяемые прессе, – *клеветой, изливающей свой яд на столбцах печатных органов*, и пр., и пр. Итак, адвокат начал с выяснения вопроса о краже яблок, что являлось предметом, мало подходящим для высокого стиля, но ведь и сам Бенинь Боссюэ в своей надгробной речи вынужден был упомянуть о некоей курице и с честью вышел из этого затруднения. Адвокат установил, что явных доказательств кражи яблок не было. Никто не видел, как его клиент, которого он, в качестве защитника, упорно называл Шанматье, перелезал через стену и обламывал ветку. Когда его задержали, при нем оказалась эта ветка (которую адвокат предпочитал именовать «ветвью»), но он сказал, что нашел ветку на дороге и подобрал ее. Имелось ли хоть одно доказательство противного? Конечно, эта ветка была сломана и похищена путем вторжения в огороженный участок, а потом брошена испугавшимся мародером; конечно, вор существовал; но где доказательство, что этим вором был именно Шанматье? Только одно: предположение, что он бывший каторжник. Адвокат не отрицал, что, к несчастью, это предположение было как будто бы подкреплено вескими доводами: подсудимый когда-то жил в Фавероле, подсудимый занимался там подрезкой деревьев, имя Шанматье вполне могло произойти из Жана Матье, – все это совершенно справедливо; наконец, четыре свидетеля, не колеблясь, самым определенным образом признали в Шанматье каторжника Жана Вальжана.

Всем этим заявлениям, всем этим показаниям он, адвокат, может противопоставить лишь одно – заперательство своего подзащитного, заперательство заинтересованного лица; но, если даже допустить, что подсудимый действительно является каторжником Жаном Вальжаном, доказывает ли это, что именно он совершил кражу яблок? Это не более как презумпция, но отнюдь не доказательство. Правда, обвиняемый – и защитник «чистосердечно» признает это – избрал «дурную систему самозащиты». Он упорно отрицает все – и кражу, и тот факт, что был когда-то на каторге. Признавшись в последнем, он, без сомнения, поступил бы более благоразумно и снискал бы этим благосклонность своих судей; защитник и советовал ему поступить так, но подсудимый решительно отказался, очевидно надеясь скрыть все, не признаваясь ни в чем. Он поступал нехорошо, но разве не следовало принять во внимание узость его кругозора? Этот человек явно тупоумен. Длительные несчастья на каторге, длительная нищета после каторги – все это привело его к одичанию и т. д., и т. д. Он плохо защищает самого себя, но разве это причина, чтобы осудить его? Что до обвинения по делу Малыша Жерве, то он, адвокат, не собирается обсуждать его, оно не имеет касательства к данному процессу. В заключение защитник обратился к присяжным и к судьям с просьбой применить к подсудимому, в случае если его тождество с Жаном Вальжаном покажется им несомненным, обычное полицейское взыскание, которое налагается на освобожденного каторжника, самовольно покинувшего указанное ему место жительства.

Товарищ прокурора выступил с ответной речью. Он говорил горячо и цветисто, как все товарищи прокурора.

Он похвалил защитника за его «лояльность» и весьма искусно использовал эту лояльность. Он обратил против подсудимого все уступки, сделанные защитником. Защитник, по-видимому, признавал и сам, что подсудимый – это Жан Вальжан. Что и было принято к сведению. Итак, этот человек – Жан Вальжан. Этот пункт обвинения признан и не подлежит опровержению. Затем прокурор обратился к первоисточникам и первопричинам преступности вообще и, прибегнув к искусной антономазии, обрушился на безнравственность романтической школы, бывшей тогда в расцвете и носившей название «сатанинской школы», которым ее наградили критики из «Еженедельника» и из «Орифламмы»; влиянию этой-то извращенной литературы он и приписал, не без некоторой доли правдоподобия, проступок Шанматье, или, вернее сказать, проступок Жана Вальжана. Исчерпав эти рассуждения, он перешел к самому Жану Вальжану. Что представляет собой этот Жан Вальжан? Тут следовала характеристика Жана Вальжана. Чудовище, исчадие ада и т. д., и т. д. Образчик подобного рода характеристик можно найти в рассказе расиновского Ферамена, который не имеет существенного значения для самой трагедии, но ежедневно оказывает немалые услуги любителям судебного красноречия. Публика и присяжные «содрогнулись». Прокурор покончил с характеристикой и, в порыве ораторского вдохновения, рассчитанного на то, чтобы возбудить восторги читателей завтрашнего номера «Ведомостей префектуры», продолжал: «И подобный человек и пр., и пр., бродяга, нищий, не имеющий никаких средств к существованию и пр., и пр., приученный своей прошлой жизнью к преступным деяниям и мало исправленный пребыванием на каторге, как это доказывает нападение на Малыша Жерве, совершенное им, и пр., и пр, пойманный на большой дороге с поличным, с украденной ветвью в руках, в нескольких шагах от ограды, через которую он перелез и пр., и пр., отрицает очевидность, кражу, отрицает факт перелезания через ограду, отрицает все, вплоть до своего имени, вплоть до своего тождества с Жаном Вальжаном. Помимо сотни других улик, которые мы не будем повторять здесь, его опознали четыре свидетеля: неподкупный полицейский надзиратель Жавер и трое из его прежних сотоварищей по бесчестию, каторжники Бреве, Шенильдье и Кошпайль. Что же противопоставляет он этому сокрушительному единодушию? Заперательство. Какая закоренелость! Господа присяжные

заседатели, творите правосудие и пр., и пр.».

В то время как товарищ прокурора говорил, подсудимый слушал его разинув рот, с каким-то удивлением, не лишенным и некоторой доли восхищения. Видимо, его поражало, что человек может говорить так красиво. Время от времени, в наиболее патетических местах обвинительного заключения, в те минуты, когда красноречие выходит из берегов, изливаясь в потоке позорящих эпитетов, и поражает подсудимого настоящими раскатами грома, он медленно качал головой справа налево и слева направо, как бы в знак печального и немого протеста, которым он и ограничился с самого начала прений. Зрители, сидевшие от него ближе других, слышали, как он сказал вполголоса два или три раза: «А все оттого, что они не спросили у господина Балу!» Товарищ прокурора обратил внимание присяжных на этот его придурковатый вид, явно рассчитанный заранее, обличавший отнюдь не слабоумие, но ловкость, хитрость, привычку обманывать правосудие, и указывающий со всей очевидностью на «глубокую испорченность» этого человека. Он закончил, оговорив, что еще займется делом Малыша Жерве, и потребовал сурового приговора.

Как мы уже упоминали, в данную минуту этот приговор грозил пожизненными каторжными работами.

Защитник встал, поздравил «господина товарища прокурора» с его «изумительной речью», потом привел все возражения, какие мог, но силы изменяли ему; было ясно, что почва ускользает у него из-под ног.

Глава 10

Система запирательства

Пора было прекратить прения сторон. Председатель велел подсудимому встать и обратился к нему с обычным вопросом:

– Подсудимый, имеете ли вы что-нибудь добавить в свое оправдание?

Человек стоял на месте, комкая в руках свой безобразный колпак, и, казалось, не слышал вопроса.

Председатель повторил его еще раз.

На этот раз человек услышал. Видимо, до его сознания дошел смысл сказанного; он сделал такое движение, словно только что проснулся, огляделся по сторонам, обвел глазами публику, жандармов, своего защитника, присяжных, судей, положил свой чудовищный кулак на деревянный барьер, находившийся перед его скамьей, еще раз огляделся по сторонам и вдруг заговорил, устремив взгляд на товарища прокурора. Это было настоящее извержение. Слова вылетали у него изо рта бессвязно, стремительно, отрывисто, вперемешку и теснили друг друга, словно хотели вырваться все одновременно.

Он сказал:

– Вот что. Я был тележником в Париже и служил у господина Балу. Это тяжелое ремесло. В тележном деле всегда работаешь на вольном воздухе, во дворах. Если попадется хороший хозяин, то под навесом, а в закрытом помещении – никогда, потому что для этого, понимаете ли, требуется много места. Зимой до того промерзнешь, что бьешь руку об руку, только бы согреться; но хозяева этого не любят – по-ихнему, это лишняя проволочка времени. Орудовать с железом, когда мостовая насквозь промерзла, дело нелегкое. Тут быстро надорвешься. На этой работе и молодой становится стариком. В сорок лет ты конченный человек. А мне уж стукнуло пятьдесят три, и приходилось трудно. К тому же в Париже все такой нехороший народ! «Старый хрыч, старый дурак!» – только и слышишь, как твое дело к старости подойдет. Я стал зарабатывать не больше тридцати су в день, мне платили дешевле дешевого, хозяева

пользовались моими годами. Правда, у меня была дочь-прачка, занималась стиркой на речке. Она тоже немного прирабатывала, и вдвоем мы все-таки кое-как перебивались. Но и ей приходилось нелегко. Целый день по пояс в бадье, ветер хлещет прямо в лицо; мороз не мороз – все равно приходится стирать; у некоторых людей белья мало, и они не могут ждать подолгу; а если не выстираешь в срок, потеряешь заказчиков. Доски в бадье сколочены плохо, и брызги так и обдают вас со всех сторон. Юбка намокает снизу доверху. Все мокро насквозь. Она работала и в прачечной, в приюте Красных сирот, где вода идет прямо из кранов. Там не приходится стирать в бадье. Стираешь под краном, а полощешь рядом, в лохани. Помещение закрытое, и не так мерзнешь. Зато от горячей воды валит густой пар, а это большой вред для глаз. Она, бывало, придет вечером, часов около семи, и сразу завалится спать – уж очень сильно она уставала. Муж бил ее. Она умерла. Не было нам счастья в жизни. Честная была девушка, не бегала по танцулькам. Такая уж смиренная уродилась. Помнится мне, был вторник на Масленой неделе, а она все равно легла спать в восемь часов. Вот оно что! Думаете, вру? Спросите кого хотите. Да что это я – «Спросите»! Какой я дурень! Ведь Париж – что омут, кто знает там дядюшку Шанматье? А все-таки я вам опять скажу про господина Балю, вот съездили бы вы к господину Балю. А то я уж и вовсе не понимаю, что вам от меня нужно.

Подсудимый умолк, но продолжал стоять. Все это он проговорил громким, хриплым, грубым, осипшим голосом, очень быстро, с каким-то наивным и диким раздражением. Один раз он прервал свою речь и поздоровался с каким-то человеком, сидевшим в публике. Своеобразные показания, которые он выкрикивал словно наобум, походили на икоту, и каждое из них он сопровождал таким жестом, какой делает дровосек, раскалывая полено. Когда он кончил, слушатели разразились смехом. Взглянув на публику и видя, что все хохочет, он, не понимая причины этого смеха, стал смеяться и сам.

Это было страшно.

Председатель, человек участливый и благожелательный, взял слово.

Он напомнил «господам присяжным», что «ссылка на упомянутого Балю, бывшего тележного мастера, у которого будто бы служил подсудимый, была совершенно бесполезной. Он обанкротился, и разыскать его так и не удалось». Затем, обращаясь к подсудимому, он попросил его внимательно выслушать его слова и добавил:

– Вы находитесь в таком положении, когда вам следует хорошенько поразмыслить. Над вами тяготеют серьезнейшие обвинения, могущие повлечь за собой самые тяжелые последствия. Подсудимый, я обращаюсь к вам в последний раз и призываю вас в ваших собственных интересах ясно высказаться по следующим двум пунктам: во-первых, действительно ли вы перелезли через стену левады Пьерона, действительно ли сломали ветку и украли яблоки – другими словами, совершили кражу с вторжением в чужие владения? Во-вторых, действительно ли вы являетесь освобожденным каторжником Жаном Вальжаном, отвечайте – да или нет?

Подсудимый тряхнул головой с видом смышленного человека, который отлично все понял и знает, что ответить. Он открыл рот, повернулся к председателю и сказал:

– Для начала...

Потом он посмотрел на свой колпак, посмотрел на потолок и замолчал.

– Подсудимый, – снова начал товарищ прокурора суровым тоном, – будьте осторожны. Вы не отвечаете ни на один из обращенных к вам вопросов. Ваше смущение изобличает вас. Совершенно очевидно, что ваше имя не Шанматье, что вы каторжник Жан Вальжан, укрывавшийся вначале под именем Жана Матье – девичьим именем вашей матери, что вы были в Оверни и что вы родились в Фавероле, где были подрезальщиком деревьев. Совершенно очевидно, что вы перелезли через стену левады Пьерона и совершили там кражу спелых яблок. Господа присяжные войдут в рассмотрение этих фактов.

Теперь подсудимый уже сидел; но, когда товарищ прокурора замолчал, он неожиданно вскочил с места и крикнул:

– Вы злой человек, очень злой! Вот что я хотел сказать. Только сначала я растерялся. Я ничего не крал. Мне и поесть случается не каждый день. Я возвращался из Альи, шел после проливного дождя, и вся земля была совсем желтая, лужи, знаете, разлились тогда, и только с краю дороги из песка торчали травинки. Я нашел на земле обломанную ветку, на которой были яблоки, и поднял ее. Знал бы я тогда, что с ней беды не оберешься, не поднял бы. Вот уже три месяца, как я сижу в тюрьме и меня таскают по судам. Больше я ничего не могу сказать, а все наговаривают на меня и твердят: «Отвечайте!» Вон и жандарм – он, видно, славный малый – толкает меня под локоть и тихонько шепчет: «Да отвечай же». А я не умею все как следует объяснить, я ведь совсем неученый, я бедный человек. Зря вы этого в толк не возьмете. Я ничего не крал, я поднял то, что валялось на земле. Вы говорите: «Жан Вальжан, Жан Матье!» – а я и знать не знаю этих людей. Это, должно быть, крестьяне. А я работал у господина Балу, на Госпитальном бульваре, и зовут меня Шанматье. Очень уж вы хитрые, если знаете, где я родился. Я и сам-то этого не знаю. Ведь не у всякого есть свой дом, чтоб там родиться. А оно было бы неплохо. Я думаю, что отец с матерью попросту бродяжничали по дорогам. По правде сказать, мне и самому это неизвестно. Когда я был мальчиком, меня звали Мальшом, а теперь кличут Стариной. Вот и все мои крестные имена, хотите – верьте, хотите – нет. Я жил в Оверни, жил в Фавероле. Ну так что же из этого, черт побери! Разве нельзя жить в Оверни или в Фавероле, не побывав при этом на каторге? Говорю вам, я ничего не крал, я – дядюшка Шанматье. Я работал у господина Балу, не бродяжничал, а проживал на квартире. Надоели мне все ваши глупости, да и все тут! Что это вы все накинулись на меня, точно с цепи сорвались?

Продолжая стоять, товарищ прокурора обратился к председателю:

– Господин председатель, ввиду сбивчивых, но весьма искусных отпирательств подсудимого, которому очень хотелось бы прослыть дурачком, что ему никак не удастся – об этом мы предупреждаем его заранее, – мы обращаемся к вам и к суду с покорнейшей просьбой вновь пригласить в этот зал арестантов Бреве, Кошпайля и Шенильдье, а также полицейского надзирателя Жавера, чтобы в последний раз снять с них допрос касательно тождества личности подсудимого с каторжником Жаном Вальжаном.

– Я вынужден заметить господину товарищу прокурора, – ответил председатель, – что полицейский надзиратель Жавер, призванный служебными обязанностями в главный город соседнего округа, покинул судебное заседание и даже город немедленно после дачи показаний. Мы дали ему разрешение на это с согласия самого господина товарища прокурора, а также защитника подсудимого.

– Совершенно верно, господин председатель, – продолжал товарищ прокурора. – И ввиду отсутствия съёра Жавера я считаю долгом напомнить господам присяжным слова, произнесенные им в этом самом зале несколько часов назад. Жавер – это человек, пользующийся всеобщим уважением. Суровой и безукоризненной честностью он возвышает свою пусть скромную, но весьма важную службу. Вот вкратце его показание: «Я не нуждаюсь ни в отвлеченных догадках, ни в вещественных уликах, чтобы опровергнуть заpiresательство подсудимого. Я прекрасно узнал его. Этого человека зовут не Шанматье; это бывший каторжник по имени Жан Вальжан, опаснейший негодяй. По истечении срока наказания его освободили крайне неохотно. Деятнадцать лет он отбывал каторжные работы при усугубляющих его вину обстоятельствах. Пять или шесть раз совершил попытки к бегству. Помимо кражи у Мальша Жерве и на леваде Пьерона, я подозреваю его еще в краже, совершенной у его преосвященства, покойного епископа диньского. В бытность мою помощником надзирателя на тулонских галерах мне случалось видеть его очень часто.

Повторяю, я прекрасно узнал его».

Это определенное показание, видимо, произвело сильное впечатление и на публику, и на присяжных. Заканчивая свою речь, товарищ прокурора настоятельно потребовал, чтобы ввиду отсутствия Жавера были снова вызваны и допрошены по всей форме остальные три свидетеля – Бреве, Шенильдье и Кошпайль.

Председатель отдал приказание одному из судебных служителей, и через минуту дверь из свидетельской комнаты отворилась. Судебный пристав, сопровождаемый жандармом, готовым в случае надобности оказать ему помощь, ввел арестанта Бреве. Публика ждала с замиранием сердца; все, как один, сидели, затаив дыхание.

На бывшем каторжнике Бреве была надета черная с серым куртка – обычная одежда заключенных в центральных тюрьмах. Это был человек лет шестидесяти, с физиономией не то дельца, не то плута. Такое сочетание не редкость. В той тюрьме, куда его привели новые провинности, он сделался чем-то вроде тюремного сторожа. Начальство говорило о нем: «Он старается быть полезным». Священники одобрительно отзывались о его набожности. Не следует забывать, что все это происходило в эпоху Реставрации.

– Бреве, – сказал председатель, – вы подверглись позорящему вас приговору и не можете быть приведены к присяге.

Бреве опустил глаза.

– Тем не менее, – продолжал председатель, – даже в человеке, осужденном законом, может оставаться, если того хочет божественное милосердие, чувство справедливости и чести. К этому-то чувству и взываю я в этот решительный час. Если оно еще не исчезло в вас, а я надеюсь на это, поразмыслите хорошенько, прежде чем мне ответить. Подумайте об этом человеке, которого вы можете погубить одним своим словом, и о правосудии, которому одно ваше слово может помочь в раскрытии истины. Это торжественная минута, и для вас еще не поздно взять обратно свои показания, если вы считаете, что ошиблись. Подсудимый, встаньте! Бреве, хорошенько взгляните в подсудимого, напрягите память и скажите, повинуюсь голосу совести, продолжаете ли вы настаивать на том, что этот человек – ваш бывший товарищ по каторге Жан Вальжан.

Бреве взглянул на подсудимого, потом повернулся к судьям.

– Да, господин председатель. Я первый узнал его и стою на своем. Этот человек – Жан Вальжан. Он прибыл в Тулон в тысяча семьсот девяносто шестом году и освободился оттуда в тысяча восемьсот пятнадцатом году. Меня освободили годом позже. Сейчас у него придурковатый вид – может, он поглупел с годами, а на каторге он был себе на уме. Я узнаю его, и у меня нет сомнений.

– Садитесь, – сказал председатель, – а вы, подсудимый, продолжайте стоять.

Ввели Шенильдье. Это был бессрочный каторжник, о чем говорили его красная куртка и зеленый колпак. Он отбывал наказание в Тулоне, и его вызвали оттуда нарочно ради этого дела. Это был человек лет пятидесяти, вертлявый, морщинистый, тщедушный, желтый, наглый, лихорадочно возбужденный; вся его фигура производила впечатление слабости и болезненности, но взгляд – выдавал огромную внутреннюю силу. Товарищи по каторге прозвали его Шельмадье.

Председатель обратился к нему приблизительно с теми же словами, что и к Бреве. При напоминании о том, что позорное наказание лишает его права приносить присягу, Шенильдье вскинул голову и вызывающе посмотрел на публику. Председатель попросил его сосредоточиться и спросил у него, так же как спрашивал у Бреве, продолжает ли он узнавать в подсудимом Жана Вальжана.

Шенильдье покатылся со смеху.

– Вот тебе и раз! Узнаю ли я его! Да мы пять лет были прикованы с ним к одной цепи. Ты что от меня воротишь нос, старина?

– Садитесь, – сказал председатель.

Судебный пристав ввел Кошпайля. Этот второй бессрочный каторжник, прибывший, как и Шенильдье, с галер и тоже одетый в красное, был лурдский крестьянин, настоящий пиренейский медведь. Когда-то он пас стадо в горах и из пастуха незаметно превратился в разбойника. Кошпайль был не менее дик и казался еще более тупоумным, чем сам подсудимый. Он принадлежал к числу тех несчастных, которых природа создает вчерне, делая их дикими зверьми, а общество довершает ее работу, превращая их в каторжников.

Сделав попытку растрогать его несколькими патетическими и торжественными словами, председатель спросил у него, как и у первых двух свидетелей, продолжает ли он без колебаний и сомнений настаивать на том, что в стоящем перед ним человеке узнает Жана Вальжана.

– Это Жан Вальжан, – сказал Кошпайль. – У нас его даже звали Жан Домкрат, такой это был силач.

Каждое показание этих трех людей, несомненно говоривших искренне и чистосердечно, вызывало со стороны слушателей ропот, являвшийся дурным предзнаменованием для подсудимого, – ропот, который все возрастал и становился все более длительным всякий раз, как новое свидетельство добавлялось к предыдущему. Что до подсудимого, то он выслушивал их с тем удивленным выражением лица, которое, по мнению обвинителя, служило ему главным орудием защиты. После первого показания жандармы, ближайшие его соседи, слышали, как он пробормотал сквозь зубы: «Вот так так! Тоже нашелся!» После второго он сказал несколько громче и почти одобрительно: «Ловко!» После третьего он вскричал: «Ну и брехун!»

Председатель обратился к нему:

– Подсудимый, вы все слышали. Что вы скажете теперь?

Он ответил:

– Я ведь говорю: «Ну и брехун!»

Громкий ропот поднялся в публике и даже среди части присяжных. Очевидно было, что участь этого человека решена.

– Приставы, – сказал председатель, – водворите тишину. Я закрываю прения.

В эту минуту рядом с председателем возникло какое-то движение. Чей-то голос прокричал:

– Бреве, Шенильдье, Кошпайль! Взгляните-ка сюда!

Все, услышавшие этот голос, почувствовали леденящий ужас, так он был скорбен и так страшен. Все взгляды устремились в ту сторону, откуда он раздался. Какой-то человек, сидевший среди привилегированных посетителей, позади судей, поднялся с места, распахнул низенькую дверцу в перегородке, отделявшей судейскую трибуну от публики, и теперь стоял посреди зала. Председатель, товарищ прокурора, г-н Баматабуа, еще два десятка человек узнали его и воскликнули в один голос:

– Господин Мадлен!

Глава 11

Удивление Шанматье возрастает

Это и в самом деле был он. Лампа на столе секретаря освещала его лицо. Шляпу он держал в руке, в его одежде не было заметно ни малейшего беспорядка, редингот его был тщательно застегнут. Он был очень бледен и слегка дрожал. Волосы его, которые к моменту приезда в Аррас только начинали седеть, были теперь совсем белые. Они побелели за тот час, что он находился здесь.

Все головы обратились в его сторону. Впечатление было неописуемое. В первую минуту присутствовавшие не поняли, что происходит. Голос прозвучал такой мукой, но человек, выступивший вперед, казался таким спокойным, что сначала все были в недоумении. Все спрашивали себя, кто это крикнул. Никто не мог поверить, чтобы этот страшный возглас мог вырваться из груди этого тихого человека.

Однако неуверенность длилась лишь несколько мгновений. Не успели председатель и товарищ прокурора вымолвить слово, не успели жандармы и служители двинуться с места, как человек, которого в эту минуту все называли еще господином Мадленом, подошел к свидетелям Кошпайлю, Бреве и Шенильдье.

– Вы не узнаете меня? – спросил он.

Все трое остолбенели от изумления и только отрицательно покачали головой. Кошпайль, оробев, отдал честь по-военному. Повернувшись к присяжным и к судьям, г-н Мадлен кротко сказал им:

– Господа присяжные, прикажите освободить подсудимого. Господин председатель, прикажите арестовать меня. Человек, которого вы ищете, не он, а я. Я – Жан Вальжан.

Все замерли. Поднявшийся было ропот изумления сменился гробовым молчанием. В зале ощущался тот почти благоговейный трепет, какой охватывает толпу, когда у нее на глазах совершается нечто великое.

Лицо председателя выразило печаль и сочувствие; он обменялся с товарищем прокурора быстрым взглядом и шепотом сказал несколько слов заседателям. Затем он обратился к публике и спросил тоном, который поняли все:

– Нет ли здесь врача?

Потом заговорил товарищ прокурора.

– Господа присяжные, – сказал он, – необычный и непредвиденный случай, взволновавший всех присутствующих, внушает нам, так же как и вам, лишь одно чувство, называть которое нет надобности. Все вы знаете, хотя бы понаслышке, достопочтенного господина Мадлена, мэра Монрейля-Приморского. Если в зале присутствует врач, мы присоединяемся к просьбе господина председателя оказать помощь господину Мадлену и проводить его домой.

Господин Мадлен не дал товарищу прокурора договорить. Он прервал его мягким, но не допускающим возражений тоном. Вот подлинные слова, которые он произнес, – слова, которые были записаны одним из свидетелей этой сцены немедленно после судебного заседания и которые до сих пор звучат в ушах тех, кто их слышал, хотя это было около сорока лет назад.

– Благодарю вас, господин товарищ прокурора, но я в здравом уме. Сейчас вы убедитесь в этом. Вы чуть было не совершили большую ошибку. Отпустите на свободу этого человека, я выполняю свой долг, несчастный осужденный – это я. Я единственный человек, кому ясно все то, что происходит здесь, и я говорю вам правду. То, что я делаю в эту минуту, видит всевышний, и этого для меня довольно. Можете меня арестовать, я здесь. А ведь я старался делать все, что было в моих силах. Я укрылся под вымышленным именем; я разбогател, стал мэром, я хотел вернуться в среду честных людей. Видимо, это невозможно. Есть многое, о чем я не могу говорить сейчас, я не собираюсь рассказывать вам свою жизнь; когда-нибудь о ней узнают. Я обокрал монсеньора епископа – это правда; я обокрал Мальша Жерве – это правда. Вам сказали, что Жан Вальжан был опасным негодяем, – и сказали не напрасно. Но, быть может, не он один виноват в этом. Послушайте, господа судьи, человек, так низко павший, как я, не имеет права укорять провидение или давать советы обществу; но, видите ли, позорное существование, из которого я пробовал выбраться, губительно само по себе. Каторга создает каторжника. Вдумайтесь в это, прошу вас. До галер я был бедным крестьянином, очень неразвитым, почти совсем темным; каторга переделала меня. Я был тупым – я стал злым; я был

поленом – я стал раскаленной головней. Впоследствии снисходительность и доброта спасли меня, подобно тому как суровость погубила раньше. Но, простите, вы ведь не можете понять всего того, о чем я говорю с вами. Дома у меня, в камине, в куче золы вы найдете монету в сорок су, которую я украл у Мальша Жерве семь лет назад. Больше мне нечего добавить. Арестуйте меня. О боже! Господин помощник прокурора качает головой, вы говорите: «Господин Мадлен сошел с ума». Вы не верите мне! Как это мучительно! Но по крайней мере не осуждайте этого человека! Как? Эти люди не узнают меня? Хотел бы я, чтобы здесь был Жавер. Вот кто узнал бы меня сразу!

Невозможно передать оттенок добродушной и безнадежной грусти, прозвучавшей в этих словах.

Он обернулся к трем каторжникам:

– А вот я вас сразу узнал! Бреве! Помните ли вы...

Он запнулся, с минуту молчал, колеблясь, потом сказал:

– Помнишь ли ты вязанные подтяжки шашками, которые ты носил на каторге?

Бреве вздрогнул от удивления и испуганно осмотрел говорившего с головы до ног. Тот продолжал:

– Шенильдье или Шельмадье, как ты называешь себя, у тебя сожжено все правое плечо, потому что как-то раз ты прислонился плечом к жаровне с раскаленными углями, чтобы уничтожить три буквы: П.К.Р.^[29] Однако они видны до сих пор. Отвечай, правда это?

– Правда, – ответил Шенильдье.

Он обратился к Кошпайлю:

– Кошпайль, на сгибе левой руки у тебя выжжена порохом синяя надпись. Это дата высадки императора в Канне, *первое марта тысяча восемьсот пятнадцатого года*. Засучи рукав.

Кошпайль засучил рукав, все взгляды устремились на его обнаженную руку. Жандарм ближе поднес лампу; дата была видна.

Несчастный человек обернулся к публике и к судьям с улыбкой, которую все, видевшие ее, до сих пор не могут вспомнить без содрогания.

То была улыбка торжества, то была также улыбка отчаянья.

– Теперь вы видите, что я Жан Вальжан, – сказал он.

В этом зале не было больше ни судей, ни обвинителей, ни жандармов; здесь были только напряженные взгляды, растроганные сердца. Ни один человек не помнил о той роли, которую ему надлежало играть; товарищ прокурора забыл, что он здесь для того, чтобы обвинять, председатель – что он здесь для того, чтобы председательствовать, защитник – что он здесь для того, чтобы защищать. Поразительная вещь: ни один вопрос не был задан, ни один из представителей власти не вмешался. Особенность возвышенных зрелищ состоит в том, что они захватывают все души и всех свидетелей превращают в зрителей. Никто, быть может, не отдавал себе отчета в своих чувствах; никто, конечно, не понимал, что перед ним сияет свет великой души; но все чувствовали себя внутренне ослепленными.

Теперь уже не было сомнений в том, что перед судом стоял настоящий Жан Вальжан. Это было ясно как день.

Его появление немедленно рассеяло мрак, окутывавший дело еще несколько минут назад. Никакие объяснения были уже не нужны, все присутствовавшие, словно пронзенные электрической искрой, словно по наитию, поняли сразу и с первого взгляда простую, но изумительную историю человека, который пришел донести на себя, чтобы другой человек не был осужден вместо него. Подробности, колебания, мелкие трудности, могущие возникнуть, потонули во всепоглощающем сиянии этого поступка.

Это впечатление длилось недолго, но в то мгновение оно было неотразимо.

– Я не хочу больше нарушать порядок судебного заседания, – продолжал Жан Вальжан. – Никто не задерживает меня, и я ухожу. У меня еще много дела. Господин товарищ прокурора знает, кто я, знает, куда я еду, и может арестовать меня, когда ему будет угодно.

Он направился к выходу. Ни один голос не раздался ему вслед, ни одна рука не поднялась, чтобы ему помешать. Толпа расступилась, давая ему дорогу. В эту минуту в нем было что-то божественное, что-то такое, благодаря чему тысячи людей почтительно расступаются перед одним человеком. Он медленно прошел сквозь толпу. Неизвестно, кто отворил ему дверь, но достоверно одно – что она распахнулась перед ним, когда он подошел к ней. На пороге он обернулся и сказал:

– Господин товарищ прокурора, я в вашем распоряжении.

Затем он обернулся к публике:

– Вы все – все, кто находится здесь, – наверное, считаете меня достойным сожаления, не так ли? Боже мой! А я, когда подумаю о том, чего я чуть было не сделал, считаю себя достойным зависти. И все-таки я предпочел бы, чтобы всего этого не случилось.

Он вышел, и дверь затворилась за ним так же, как и отворилась, ибо тот, кто совершает высокие деяния, может быть уверен в том, что в толпе всегда найдутся люди, готовые ему услужить.

Менее чем через час вердикт присяжных снял всякое обвинение с лица, именуемого Шанматье, и Шанматье, немедленно выпущенный на свободу, ушел пораженный, решив, что все сошли с ума, и ничего не понимая во всем этом бреде.

Книга восьмая

Удар рикошетом

Глава 1

В каком зеркале господин Мадлен видит свои волосы

Начало светать. Фантина провела всю ночь в жару, не смыкая глаз, однако бессонница ее была полна радостных видений; под утро она заснула. Воспользовавшись этим сном, сестра Симплиция, ни на шаг не отходившая от больной, пошла приготовить ей новую порцию хинной настойки. Почтенная сестра уже несколько минут находилась в больничной аптеке и, низко нагнувшись над своими снадобьями и пузырьками, напряженно всматривалась в предметы, еще окутанные предутренней мглой. Вдруг она повернула голову и слегка вскрикнула – перед ней стоял г-н Мадлен. Он вошел в комнату совершенно бесшумно.

– Как! Это вы, господин мэр? – воскликнула она.

Он спросил вполголоса:

– Как здоровье этой бедной женщины?

– Сейчас ничего. Но, знаете, вчера она порядком напугала нас.

И она рассказала ему о том, что произошло накануне, о том, что Фантине было очень худо, а теперь лучше, так как она думает, что г-н мэр уехал в Монфермейль за ее дочуркой. Сестра не решилась расспрашивать г-на мэра, но по его виду она сразу поняла, что он приехал не оттуда.

– Это хорошо, – сказал он, – вы правильно поступили, что не разуберяли ее.

– Да, господин мэр, – продолжала сестра, – но что мы ей скажем теперь, когда она увидит вас одного, без ребенка.

На минуту он задумался.

– Бог наставит нас, – сказал он.

– Однако нельзя же солгать, – прошептала сестра.

В комнате стало уже совсем светло. Лицо г-на Мадлена было теперь ярко освещено. Случайно сестра подняла глаза.

– О боже! – вскричала она. – Что это с вами случилось, сударь? Ваши волосы совсем побелели.

– Побелели? – повторил он.

У сестры Симплиции не было зеркала; она порылась в сумке с инструментами и вынула оттуда маленькое зеркальце, которым обычно пользовался больничный врач, чтобы удостовериться, что больной умер и уже не дышит. Г-н Мадлен взял зеркальце, взглянул на свои волосы и сказал: «В самом деле!»

Он произнес эти слова с полным равнодушием, видимо думая о другом.

От всего этого на сестру пахнуло чем-то леденящим и неведомым.

Он спросил:

– Можно мне повидать ее?

– А что, господин мэр, разве вы не пошлете за ее ребенком? – произнесла сестра, едва отважившись на такой вопрос.

– Непременно, но на это понадобится не менее двух или трех дней.

– Если бы до тех пор вы не показывались ей, господин мэр, – робко продолжала сестра, – то она так и не узнала бы о том, что вы вернулись, и было бы нетрудно убедить ее потерпеть еще немного, а когда ребенок приедет, то, разумеется, она решит, что вы приехали вместе с ним. И тогда не пришлось бы прибегать ко лжи.

Господин Мадлен задумался на несколько минут, потом сказал с присущей ему спокойной серьезностью:

– Нет, сестрица, я должен ее увидеть. Быть может, мне надо будет поторопиться.

Монахиня, видимо, не заметила этого «быть может», придававшего словам г-на мэра непонятный и странный смысл. Опустив глаза, она почтительно ответила ему, понизив голос:

– Она спит, но, раз это нужно, господин мэр, войдите к ней.

Он сделал замечание относительно какой-то двери, которая закрывалась со скрипом и могла разбудить больную, затем вошел в комнату, где лежала Фантина, подошел к кровати и приоткрыл полог. Она спала. Дыхание вылетало у нее из груди со зловещим шумом, характерным для болезней такого рода и раздирающим сердце бедных матерей, когда они бодрствуют ночью у постели своего спящего ребенка, приговоренного к смерти. Однако это затрудненное дыхание почти не нарушало невыразимой ясности, разлитой на ее лице и преобразившей ее во сне. Бледность превратилась у нее в белизну, щеки алели легким румянцем. Длинные золотистые ресницы, сомкнутые и опущенные, единственное украшение, оставшееся ей от былой невинности и молодости, слегка трепетали. Все ее тело дрожало, словно от движения каких-то невидимых шелестящих крыльев, готовых раскрыться и унести ее ввысь. Увидев ее сейчас, никто не поверил бы, что перед ним почти безнадежно больная. Она походила на существо, собирающееся улететь, а не умереть.

Ветка вздрагивает, когда рука человека приближается к ней, чтобы сорвать цветок; она и уклоняется, и поддается. В человеческом теле бывает что-то похожее на это содрогание, когда таинственная рука смерти готовится унести душу.

Некоторое время г-н Мадлен стоял неподвижно у этого ложа, глядя то на больную, то на распятие, точно так же, как это было два месяца назад, в тот день, когда он впервые пришел навестить ее в этом убежище. Они снова были тут, и оба делали то же, что тогда: она спала, он молился. Но только за эти два месяца в ее волосах проступила седина, а его совсем побелели.

Сестра не вошла к Фантине вместе с ним, но он стоял у кровати, приложив палец к губам, словно в комнате был еще кто-то, кого надо было просить о молчании.

Вдруг она открыла глаза, увидела его и сказала совершенно спокойно и с улыбкой:

– А Козетта?

Глава 2

Фантина счастлива

Она не сделала ни одного движения, говорившего об удивлении или радости; она вся была воплощенная радость. Этот простой вопрос: «А Козетта?» – задан был с таким глубоким доверием, с таким спокойствием, с таким полным отсутствием тревоги или сомнения, что г-н Мадлен не нашелся, что ответить. Она продолжала:

– Я знала, что вы здесь. Я спала и видела вас. Я вижу вас уже давно. Всю ночь я следила за вами взглядом. Вы были в каком-то сиянии, и вас окружали фигуры ангелов.

Он поднял глаза к распятию.

– Но скажите же мне, где Козетта? – продолжала она. – Почему вы не положили ее прямо ко мне в постель? Тогда я увидела бы ее сразу, как только проснулась.

Он бессознательно ответил ей что-то, но никогда впоследствии не мог припомнить, что именно.

К счастью, в эту минуту вошел врач, которого успели предупредить. Он пришел на помощь к г-ну Мадлену.

– Голубушка, – сказал врач, – успокойтесь. Ваш ребенок здесь.

Глаза у Фантины заблестели, осветив все ее лицо. Она сложила руки с выражением самой горячей и самой нежной мольбы.

– О, принесите же мне ее! – вскричала она.

Трогательная иллюзия матери! Козетта все еще была для нее маленьким ребенком, которого носят на руках.

– Нет еще, – возразил врач, – не сейчас. Вас еще немного лихорадит. Вид ребенка взволнует вас, а вам это вредно. Сначала мы вылечим вас.

Она стремительно перебила его:

– Но ведь я уже здорова, говорю вам, здорова! До чего он глуп, этот доктор! Слышите вы! Я хочу видеть моего ребенка, и все тут!

– Вот видите, как вы горячитесь, – сказал врач. – До тех пор пока вы будете вести себя так, я не разрешу вам держать возле себя вашу дочку. Недостаточно еще увидеть ребенка, надо жить для него. Когда вы будете благоразумны, я сам приведу его к вам.

Бедная мать опустила голову.

– Простите меня, господин доктор, очень прошу вас, простите меня. В прежнее время я бы не стала так разговаривать, как сейчас, но со мной случилось столько несчастий, что иной раз я и сама не знаю, что говорю. Я понимаю, вы боитесь, чтобы я не взволновалась, я буду ждать, сколько вы захотите, но, клянусь вам, мне не причинило бы вреда, если бы я взглянула на мою дочурку. Все равно я вижу ее; она так и стоит у меня перед глазами с самого вчерашнего вечера. Знаете что? Если бы мне принесли ее сейчас, я бы стала тихонечко разговаривать с ней, и все. Разве не понятно, что я хочу видеть своего ребенка, за которым нарочно для меня ездили в Монфермейль? Я не сержусь. Я уверена, что скоро буду счастлива. Всю ночь я видела что-то белое и какие-то фигуры, которые мне улыбались. Когда господин доктор захочет, тогда он и принесет мне мою Козетту. У меня уже нет жара, я ведь выздоровела. Я чувствую, что у меня все прошло, но я буду вести себя так, как будто еще больна, и не стану двигаться, чтобы сделать приятное здешним сестрицам. Когда все увидят, что я спокойна, то скажут: надо дать ей ее ребенка.

Господин Мадлен сидел на стуле рядом с кроватью. Она повернулась к нему. Видно было, что она изо всех сил старается казаться спокойной и «быть умницей», как она выражалась в своем болезненном бессилии, похожем на детскую слабость, – старается для того, чтобы все увидели ее спокойствие и позволили привести к ней Козетту. Однако, как она ни сдерживалась, она все же не могла не задать г-ну Мадлену тысячи вопросов:

– Хорошо ли вы съездили, господин мэр? О, какой вы добрый, что поехали за ней! Скажите мне только одно: как ее здоровье? Хорошо ли она перенесла дорогу? Она и не узнает меня. Как это грустно! Она забыла меня за столько времени, бедная крошка! Дети ведь такие беспамятные. Все равно что птички. Сегодня видят одно, завтра другое и сразу все забывают. По крайней мере чистое ли было на ней белье? Аккуратно ли держали ее эти Тенардье? Как они кормили ее? О, если бы вы знали, как я мучилась, когда задавала себе все эти вопросы в дни нужды! Теперь все прошло. Я так рада! Ах, как бы мне хотелось увидеть ее! Скажите, господин мэр, понравилась вам моя дочурка? Ведь, правда, она красавица? Вы, наверно, очень озябли в этом дилижансе? Скажите, неужели нельзя принести ее сюда, хотя бы на одну минуточку? А потом сейчас же унести обратно? Вы ведь здесь хозяин, и если бы вы захотели...

Он взял ее за руку.

– Козетта красавица, – сказал он, – Козетта здорова, вы скоро увидите ее, только успокойтесь. Вы говорите слишком быстро и к тому же высовываете руку из-под одеяла, а от этого у вас кашель.

В самом деле, приступы удушливого кашля прерывали Фантину чуть не на каждом слове.

Фантина не стала возражать; она испугалась, что нарушила чересчур пылкими мольбами то доверие, которое ей хотелось внушить окружающим, и принялась болтать о посторонних вещах:

– Не правда ли, Монфермейль – это довольно красивое место? Летом туда ездят на прогулку. Как идут дела у Тенардьё? В тех краях бывает мало народу. Это не постоянный двор, а какая-то харчевня.

Не выпуская ее руки, г-н Мадлен смотрел на нее с тревогой; очевидно было, что он пришел сказать ей нечто такое, перед чем теперь мысленно отступал. Врач, навестив больную, ушел, и с ними оставалась только сестра.

Внезапно среди наступившей тишины раздался возглас Фантины:

– Я слышу ее! Боже мой, я слышу ее!

Она протянула руку, чтобы все помолчали, и, затаив дыхание, стала прислушиваться.

Во дворе играл ребенок – девочка привратницы или какой-нибудь из работниц. Подобные случайности всегда имеют место в разворачивающемся таинственном спектакле трагических происшествий, словно играя в нем свою роль. Девочка резвилась, бегала, чтобы согреться, смеялась и звонко пела. Увы! В какие только человеческие переживания не вторгаются иногда детские игры! Песенку этой-то девочки и услышала Фантина.

– О! – вскричала она. – Это моя Козетта! Я узнаю ее голосок!

Ребенок исчез так же быстро, как появился; голосок умолк; Фантина прислушивалась еще некоторое время, потом лицо ее омрачилось, и г-н Мадлен услышал, как она прошептала: «Какой дурной человек этот доктор, что не позволяет мне увидеть мою дочку! У этого человека и лицо злое».

Однако радостные мысли снова вернулись к ней. Откинув голову на подушку, она продолжала говорить сама с собой: «Какие мы будем с ней счастливые! Во-первых, у нас будет небольшой садик! Господин Мадлен обещал мне это. Моя дочурка будет играть в саду. Она уже, наверно, знает азбуку. Я заставлю ее читать по складам. Она станет бегать по траве за бабочками. А я буду смотреть на нее. А потом она пойдет к причастию. Кстати! Когда же она в первый раз пойдет к причастию?»

Она начала считать по пальцам.

– ...Один, два, три, четыре... сейчас ей семь. Значит, через пять лет. Она наденет белую вуаль и ажурные чулочки, она будет похожа на маленькую женщину. О добрая моя сестрица, вы еще не знаете, до чего я глупа – я думаю о том, как моя дочь пойдет к первому причастию!

И она рассмеялась.

Он уже не держал руку Фантины. Он слушал эти слова, как слушают дуновение ветерка, опустив глаза в землю, углубившись в свои бездонные думы. Вдруг она замолчала, и он машинально поднял глаза. Вид Фантины испугал его.

Она больше не говорила, она больше не дышала; она приподнялась на своем ложе, ее худое плечо показалось из-под спустившейся сорочки; лицо, такое сияющее за минуту перед тем, было теперь мертвенно-бледно, и расширенными от ужаса глазами она как будто пристально вглядывалась во что-то страшное, находившееся на другом конце комнаты.

– Боже мой! – вскричал он. – Что с вами, Фантина?

Она не ответила, она не отрывала глаз от того, на что смотрела; она коснулась одной рукой его плеча, а другой сделала ему знак взглянуть назад.

Он обернулся и увидел Жавера.

Глава 3

Жавер доволен

Вот что произошло.

Пробило половину первого ночи, когда г-н Мадлен вышел из зала аррасского суда. Вернувшись в гостиницу, он как раз успел сесть в почтовую карету, в которой, как мы помним, он заранее заказал себе место. Около шести часов утра он приехал в Монрейль-Приморский и первым делом отправил по почте свое письмо к Лафиту, а затем зашел в больницу навестить Фантину.

Едва он успел покинуть зал заседаний суда присяжных, как товарищ прокурора, оправившись от первоначального потрясения, выступил с речью, в которой, оплакивая внезапное помешательство почтенного мэра города Монрейля-Приморского, заявил, что его уверенность в виновности подсудимого ничуть не поколебалась в связи с этим странным происшествием, которое, конечно, должно было объясниться в свое время, и пока что требует осуждения Шанматье, несомненно являющегося истинным Жаном Вальжаном. Упорство товарища прокурора находилось в явном противоречии с мнением всех – публики, судей и присяжных. Защитник с легкостью опроверг его слова и установил, что благодаря признаниям г-на Мадлена – другими словами, истинного Жана Вальжана – все дело в корне изменилось и что перед присяжными находится невинный. Он извлек из этого несколько сентенциозных замечаний, к сожалению, уже не новых, относительно судебных ошибок и т. д., и т. д.; председатель в заключительной речи присоединился к защитнику, и через несколько минут присяжные объявили Шанматье непричастным к делу.

Однако товарищу прокурора требовался ведь какой-нибудь Жан Вальжан, и, потеряв Шанматье, он ухватился за Мадлена.

Немедленно после освобождения Шанматье товарищ прокурора уединился с председателем. Они обсудили вопрос «касательно нового обвиняемого, касательно особы г-на мэра города Монрейля-Приморского и касательно необходимости его задержать». Эта коллекция «касательных» принадлежит перу г-на товарища прокурора и собственноручно включена им в подлинник его донесения главному прокурору. Волнение председателя уже улеглось, и он не стал особенно возражать. Как-никак, а правосудие должно было вершиться своим порядком. К тому же, если уж договаривать до конца, председатель, человек незлой и довольно неглупый, был в то же время правоверным роялистом, почти фанатиком, и его покорило то, что мэр Монрейля-Приморского, говоря о высадке в Канне, употребил слово *император*, а не *Буонапарте*.

Итак, приказ об аресте был изготовлен. Товарищ прокурора послал его в Монрейль-Приморский с нарочным, наказав последнему мчаться во весь опор и передать пакет полицейскому надзирателю Жаверу.

Как известно, Жавер вернулся в Монрейль-Приморский немедленно после дачи показаний.

Жавер только что встал, когда нарочный вручил ему постановление об аресте и приказ о доставке арестованного.

Нарочный тоже был из агентов полиции, человек весьма опытный, и он в двух словах осведомил Жавера обо всем, что произошло в Аррасе. Приказ об аресте, подписанный товарищем прокурора, гласил: «Полицейскому надзирателю Жаверу предписывается задержать съёра Мадлена, мэра Монрейля-Приморского, в лице коего суд на заседании от сего числа опознал отпущенного на волю каторжника Жана Вальжана».

Если бы при входе Жавера в переднюю больницы его увидел человек посторонний, то никогда не догадался бы по его внешнему виду о том, что в нем происходит, и не заметил бы ничего необыкновенного. Жавер был холоден, спокоен, серьезен, его седые волосы были аккуратно приглажены на висках, и по лестнице он поднялся своим обычным неторопливым

шагом. Однако человек, изучивший его насквозь, внимательно присмотревшись к нему, ощутил бы трепет. Застежка его кожаного воротничка, вместо того чтобы быть сзади, как полагалось, приходилась под левым ухом. Это выдавало невероятное возбуждение.

Жавер был цельной натурой и не допускал ни одного пятнышка ни на обязанностях своих, ни на мундире; он был методически строг в обращении с преступниками и непреклонно суров в отношении пуговиц своей одежды.

Если ему случилось неправильно застегнуть воротничок – значит, в душе его произошла такая буря, какую можно было бы назвать разве только внутренним землетрясением.

Захватив с собой одного капрала и четырех солдат с ближайшего полицейского участка, он без всяких околичностей явился в больницу, оставил солдат во дворе и попросил ничего не подозревавшую привратницу, привыкшую к тому, что вооруженные люди спрашивают г-на мэра, указать ему, где лежит Фантина.

Дойдя до палаты Фантины, Жавер повернул ключ, с осторожностью сиделки или полицейского шпика отворил дверь и вошел.

Точнее сказать, не вошел, а остановился на пороге полуоткрытой двери, не снимая шляпы и засунув левую руку за борт наглухо застегнутого сюртука. Под мышкой у него виднелся свинцовый набалдашник его огромной трости, конец которой исчезал за его спиной.

С минуту он простоял так, не замеченный никем. Внезапно Фантина подняла глаза, увидела его и заставила обернуться г-на Мадлена.

В тот миг, когда взгляд Мадлена встретился со взглядом Жавера, Жавер стал страшен, хоть и не двинулся с места, не шевельнулся, не приблизился ни на шаг. Никакому человеческому чувству не дано порой вселять такой ужас, как это дано радости.

То было лицо сатаны, который вновь обрел своего грешника.

Уверенность в том, что наконец-то Жан Вальжан находится в его власти, вызвала наружу все чувства, скрывавшиеся в душе Жавера. Вся тина со дна взбаламученных вод всплыла на поверхность. Чувство унижения, вызванное тем, что он было потерял след и в течение нескольких минут принимал Шанматье за другого, исчезло, вытесненное гордостью сознания, что он угадал истину с самого начала и что его безошибочный инстинкт так долго сопротивлялся обману. Жавер был доволен, и его повелительная осанка ясно говорила об этом. Все, что есть уродливого в торжестве, распустилось пышным цветом на его узком лбу. Здесь во всей своей наготе явило себя все ужасное, чем веет от самодовольной человеческой физиономии.

Жавер в эту минуту был на седьмом небе. Не отдавая себе ясного отчета, но бессознательно и смутно ощущая свою полезность и свой успех, он, Жавер, олицетворял сейчас свет, истину и справедливость в их священной функции – в уничтожении зла. За ним, вокруг него, где-то в бесконечной дали, стояли власть, здравый смысл, судебное решение, совесть по мерке закона, общественная кара – все звезды его неба. Он защищал порядок, он извлекал из закона громы и молнии, он мстил за общество, он оказывал поддержку абсолюту; он словно вырастал, окруженный ореолом; в его победе еще жил отзвук вызова и поединка; надменный, блистательный, он стоял, выставляя напоказ среди бела дня сверхъестественное животное начало какого-то свирепого ангела мщения; в грозной тени свершаемого им дела неясно проступал пламенеющий меч социального правосудия, который судорожно сжимала его рука; счастливый и негодующий, он топтал каблуком преступление, порок, бунт, грех, ад; он сиял, он искоренял, он улыбался, и было какое-то неоспоримое величие в этом чудовищном архангеле Михаиле.

Жавер был страшен, но в нем не было ничего низкого.

Честность, искренность, прямотушие, убежденность, преданность долгу – это свойства,

которые, свернув на ложный путь, могут стать отталкивающими, но и тут они остаются значительными; величие, присущее человеческой совести, не покидает их даже тогда, когда они внушают ужас. У этих добродетелей есть лишь один порок – заблуждение. Безжалостная искренняя радость фанатика, при всей ее жестокости, излучает некое сияние, зловещее, но требующее уважения. Сам того не сознавая, Жавер в своем непомерном восторге был достоин жалости, как всякий торжествующий невежда. И ничто не могло бы произвести более мучительное и более страшное впечатление, чем это лицо, на котором, если можно так выразиться, отразилась вся скверна добра.

Глава 4

Законная власть восстанавливает свои права

Фантина ни разу не видела Жавера с того самого дня, когда г-н мэр вырвал ее из рук этого человека. Но хотя ее больной мозг и не был в состоянии разобраться в происходящем, она ни на секунду не усомнилась в том, что он пришел за ней. Она не могла вынести вида ужасной этой фигуры, она почувствовала, что силы ее угасают, и, закрыв лицо руками, закричала в томительной тревоге:

– Господин Мадлен, спасите меня!

Жан Вальжан – отныне мы уже не будем называть его иначе – поднялся со стула. Самым ласковым, самым спокойным тоном он сказал Фантине:

– Успокойтесь. Он пришел не за вами.

Затем он повернулся к Жаверу и сказал ему:

– Я знаю, что вам нужно.

Жавер ответил:

– Живо! Идем!

В тоне, каким были произнесены эти два слова, слышалось что-то исступленное, что-то дикое. Жавер не сказал: «Живо! Идем!» Он сказал: «Живидем!» Никакое правописание не могло бы точно передать эти звуки; то была уже не человеческая речь, то было рычание.

На сей раз он поступил не так, как обычно: он не объявил о цели своего прихода, он не предъявил даже приказа о доставке арестованного. Для него Жан Вальжан являлся своего рода противником, таинственным и неуловимым, загадочным борцом, которого он держал в своих тисках на протяжении пяти лет, но свалить не мог. Этот арест был не началом, а концом. Он ограничился тем, что сказал: «Живо! Идем!»

Произнеся эти слова, он не сделал ни шагу; он только метнул на Жана Вальжана тот взгляд, который он закидывал, как крюк, насильственно притягивая им к себе свои несчастные жертвы.

Этот самый взгляд пронзил Фантину до мозга костей за два месяца перед тем.

При окрике Жавера Фантина открыла глаза. Но ведь г-н мэр был здесь. Чего же ей было бояться?

Жавер шагнул на середину комнаты и крикнул:

– Эй, как тебя там! Пойдешь ты или нет?

Бедняжка оглянулась. В комнате не было никого, кроме монахини и г-на мэра. К кому же могло относиться это омерзительное «ты»? Только к ней. Она задрожала.

И вот она увидела нечто невероятное, нечто до такой степени невероятное, что ничего подобного не могло бы померещиться ей даже в самом тяжелом горячечном бреду.

Она увидела, как сыщик Жавер схватил за шиворот г-на мэра; она увидела, как г-н мэр опустил голову. Ей показалось, что рушится мир.

Жавер, действительно, взял за шиворот Жана Вальжана.

– Господин мэр! – вскричала Фантина.

Жавер разразился смехом, своим ужасным смехом, обнажавшим его зубы до десен.

– Никакого господина мэра здесь больше нет!

Жан Вальжан не сделал попытки отстранить руку, державшую его за воротник редингота.

Он сказал:

– Жавер...

– Я для тебя «господин полицейский надзиратель», – перебил его Жавер.

– Сударь, – снова начал Жан Вальжан, – мне хотелось бы сказать вам несколько слов наедине.

– Громко! Говори громко! – ответил Жавер. – Со мной не шепчутся!

Жан Вальжан продолжал, понизив голос:

– Я хочу обратиться к вам с просьбой...

– А я приказываю тебе говорить громко.

– Но этого не должен слышать никто, кроме вас...

– Какое мне дело? Я не желаю слушать!

Жан Вальжан повернулся к нему лицом и проговорил торопливо и очень тихо:

– Дайте мне три дня! Только три дня, чтобы я мог съездить за ребенком этой несчастной женщины! Я уплачу все, что будет нужно. Вы можете меня сопровождать, если захотите.

– Да ты шутишь! – крикнул Жавер. – Право же, я не считал тебя за дурака! Ты просишь дать тебе три дня. Сам задумал удрать, а говорит, что хочет поехать за ребенком этой девки! Ха-ха-ха! Здорово! Вот это здорово!

Фантина затрепетала.

– За моим ребенком! – вскричала она. – Поехать за моим ребенком! Значит, ее здесь нет? Сестрица, отвечайте мне: где Козетта? Дайте мне моего ребенка! Господин Мадлен! Господин мэр!

Жавер топнул ногой.

– И эта туда же! Замолчишь ли ты, мерзавка! Что за негодная страна, где каторжников назначают мэрами, а за публичными девками ухаживают, как за графинями! Ну, нет! Теперь все это переменится. Давно пора!

Он пристально посмотрел на Фантину и добавил, снова ухватив галстук, ворот рубашки и воротник редингота Жана Вальжана:

– Говорят тебе, нет здесь никакого господина Мадлена, и никакого господина мэра здесь нет. Есть вор, разбойник, есть каторжник по имени Жан Вальжан! Его-то я и держу! Вот и все!

Фантина вдруг приподнялась, опираясь на застывшие руки; она взглянула на Жана Вальжана, на Жавера, на монахиню, открыла рот, словно собираясь что-то сказать, какой-то хрип вырвался у нее из глубины груди, зубы застучали, она в отчаянье протянула вперед обе руки, ловя воздух пальцами, словно утопающая, которая ищет, за что бы ей ухватиться, и опрокинулась на подушку. Голова ее ударилась об изголовье кровати и упала на грудь; рот и глаза остались открытыми, взор погас.

Она была мертва.

Жан Вальжан положил свою руку на руку державшего его Жавера и разжал ее, словно руку ребенка, потом сказал Жаверу:

– Вы убили эту женщину.

– Хватит! – с яростью крикнул Жавер. – Я пришел сюда не за тем, чтобы выслушивать нравоучения. Обойдемся без них. Стража внизу. Немедленно иди за мной, не то – наручники!

В углу комнаты стояла старенькая железная расшатанная кровать, на которой спали сестры во время ночных дежурств; Жан Вальжан подошел к этой кровати, в мгновение ока оторвал от

нее изголовье, уже и без того еле державшееся и легко уступившее его могучим мускулам, вынул из него прут, служивший основанием, и взглянул на Жавера. Жавер попятился к двери.

Жан Вальжан, с железным брусом в руках, медленно направился к постели Фантины. У постели он обернулся и едва слышно сказал Жаверу:

– Не советую вам мешать мне в эту минуту.

Достоверно известно одно: Жавер вздрогнул.

У него мелькнула мысль позвать стражу, но Жан Вальжан мог воспользоваться его отсутствием и бежать. Поэтому он остался, сжал в руке свою палку, держа ее за нижний конец, и прислонился к косяку двери, не сводя глаз с Жана Вальжана.

Жан Вальжан оперся локтем о спинку кровати и, опустив голову на руку, стал смотреть на неподвижно распростертую Фантину. Он долго стоял так, погруженный в свои мысли, безмолвный, видимо забыв обо всем на свете. Его лицо и поза выражали одно только беспредельное сострадание. После нескольких минут этой задумчивости он нагнулся к Фантине и начал что-то тихо говорить ей.

Что он ей сказал? Что мог сказать человек, который был осужден законом, женщине, которая умерла? Какие это были слова? Никто в мире не слышал их. Слышала ли их умершая? Существуют трогательные иллюзии, в которых, может быть, заключается самая возвышенная реальность. Несомненно лишь одно: сестра Симплиция, единственная свидетельница всего происходившего, часто рассказывала впоследствии, будто в тот момент, когда Жан Вальжан шептал что-то на ухо Фантине, она ясно видела, как блаженная улыбка показалась на этих бледных губах и забрезжила в затуманенных зрачках, полных удивления перед тайной могилы.

Жан Вальжан взял обеими руками голову Фантины и удобно положил ее на подушку, как это сделала бы мать для своего дитяти; он завязал тесемки на вороте ее сорочки и подобрал ей волосы под чепчик. Потом закрыл ей глаза.

Лицо Фантины в эту минуту, казалось, озарило какое-то непостижимое сияние.

Смерть – это переход к вечному свету.

Рука Фантины свесилась с кровати. Жан Вальжан опустил на колени перед этой рукой, осторожно поднял ее и приложил к ней губами.

Потом он встал и обернулся к Жаверу.

– Теперь я в вашем распоряжении, – сказал он.

Глава 5

По мертвецу и могила

Жавер доставил Жана Вальжана в городскую тюрьму.

Арест г-на Мадлена произвел в Монрейле-Приморском небывалую сенсацию, или, вернее сказать, небывалый переполох. Нам очень грустно, но мы не можем скрыть тот факт, что при этих словах – *бывший каторжник* – почти все отвернулись от него. За какие-нибудь два часа все добро, сделанное им, было забыто и он стал только «каторжником». Правда, подробности происшествия в Аррасе еще не были известны. Целый день повсюду в городе слышались такого рода разговоры:

– Вы еще не знаете? Он каторжник, отбывший срок. – Кто это он? – Да наш мэр. – Как! Господин Мадлен? – Да. – Неужели? – Его и звали-то не Мадлен, у него какое-то жуткое имя – не то Бежан, не то Божан, не то Бужан... – Ах, бог мой! – Его посадили. – Посадили! – В тюрьму, в городскую тюрьму, покамест его не переведут. – Покамест не переведут! Так его переведут? Куда же это? – Его еще будут судить в суде присяжных за грабеж на большой дороге, совершенный им в былые годы. – Ну вот! Так я и знала! Слишком уж он был добрый, слишком

хороший, до приторности. Он отказался от ордена и раздавал деньги всем маленьким озорникам, которые попадались ему навстречу. Мне всегда казалось, что тут дело нечисто.

Особенно возмущались им в так называемых салонах.

Одна пожилая дама, подписчица газеты «Белое знамя», высказала замечание, измерить всю глубину которого почти невозможно.

– Меня это нисколько не огорчает. Это хороший урок бонапартистам!

Так рассеялся в Монрейле-Приморском миф, называвшийся когда-то г-ном Мадленом. Только три или четыре человека во всем городе остались верны его памяти. Старуха привратница, которая служила у него в доме, относилась к их числу.

Вечером того же дня эта почтенная старушка сидела у себя в каморке, все еще не оправившись от испуга и погруженная в печальные размышления. Фабрика была закрыта с самого утра, ворота на запоре, улица пустынна. Во всем доме не было никого, кроме двух монахинь – сестры Перепетуи и сестры Симплиции, бодрствовавших у тела Фантины.

Около того часа, когда г-н Мадлен имел обыкновение возвращаться домой, добрая старушка машинально поднялась с места, достала из ящика ключ от комнаты г-на Мадлена и подсвечник, который он всегда брал с собой, поднимаясь по лестнице к себе наверх, повесила ключ на гвоздик, откуда он снимал его обычно, и поставила подсвечник рядом, словно ожидая хозяина. После этого она опять села на стул и погрузилась в свои мысли. Бедная славная старушка проделала все это совершенно бессознательно.

Только часа через два с лишним она очнулась от своей задумчивости и вскричала:

– Господи Иисусе! Подумать только! А я-то повесила его ключ на гвоздик!

В эту самую минуту окно ее каморки отворилось, в отверстие просунулась рука, взяла ключ и подсвечник и зажгла восковую свечу от сальной, горевшей на столе.

Привратница подняла глаза и застыла с разинутым ртом, заглушая готовый сорваться крик.

Она узнала эти пальцы, эту руку, рукав этого редингота.

То был г-н Мадлен.

В течение нескольких секунд она не могла вымолвить ни слова, сердце у нее прямо «захолонуло», как выразилась она, рассказывая впоследствии о своем приключении.

– О господи, это вы, господин мэр! – вскричала она наконец. – А я-то думала, что вы...

Она запнулась, конец ее фразы был бы непочтительным по отношению к началу. Жан Вальжан все еще оставался для нее господином мэром.

Он dokonчил ее мысль.

– В тюрьме, – сказал он. – Я и был там. Я выломал железный прут в решетке окна, спрыгнул с крыши, и вот я здесь. Сейчас я поднимусь к себе наверх, а вы пришлите ко мне сестру Симплицию. Она, наверное, сидит у тела той бедной женщины.

Старуха поспешно повиновалась.

Он не стал предостерегать ее; он был уверен, что она позаботится о его безопасности лучше, чем он сам.

Никто так и не узнал впоследствии, каким образом ему удалось проникнуть во двор, не открывая ворот. У него всегда был при себе запасной ключ от калитки, но ведь при обыске у него должны были отобрать ключ. Это обстоятельство так и осталось невыясненным.

Он поднялся по лестнице, которая вела в его комнату.

Дойдя до верхней площадки, он оставил подсвечник на последней ступеньке, бесшумно открыл дверь, нащупал в темноте и закрыл окно и ставень, затем воротился за свечой и снова вошел в комнату.

Эта предосторожность была не лишней; как мы помним, окно выходило на улицу, и на него могли обратить внимание.

Он осмотрелся по сторонам, бросил взгляд на стол, на стул, на постель, которую не раскрывал уже трое суток. Нигде не было никаких следов беспорядка позапрошлой ночи. Привратница «прибралась в комнате», но, в отличие от прочих дней, аккуратно разложила на столе вынутые из золы два железных наконечника его палки и монету в сорок су, почерневшую от огня.

Он взял листок бумаги, написал на нем: *«Вот два железных наконечника моей палки и украденная у Малыша Жерве монета в сорок су, о которой я говорил в суде присяжных»*, потом переложил на этот листок серебряную монету и два куска железа так, чтобы они сразу бросились в глаза каждому, кто вошел бы в комнату. Он вынул из шкафа старую рубаху и разорвал ее. Получилось несколько кусков полотна, в которые он завернул оба серебряных подсвечника. Кстати сказать, в нем не было заметно ни торопливости, ни волнения, и, заворачивая подсвечники епископа, он в то же время жевал кусок черного хлеба. Возможно, что это была тюремная порция, захваченная им с собой при побеге.

Последнее было обнаружено по хлебным крошкам, найденным на полу комнаты при обыске, произведенном несколько позже.

Кто-то два раза тихо постучал в дверь.

– Войдите, – сказал он.

Вошла сестра Симплиция.

Она была бледна, глаза ее были заплаканы. Свеча дрожала в ее руке. Жестокие удары судьбы обладают той особенностью, что, до какой бы степени совершенства или черствости мы ни дошли, они извлекают из глубины нашего «я» человеческую природу и заставляют ее показаться на свет. Потрясения этого дня снова превратили монахиню в женщину. Она проплакала весь день и теперь вся дрожала.

Жан Вальжан написал на листке бумаги несколько строк и протянул ей записку со словами:

– Сестрица, передайте это нашему кюре.

Листок не был сложен. Она мельком взглянула на него.

– Можете прочесть, – сказал он.

Она прочитала: «Я прошу господина кюре распорядиться всем тем, что я оставляю здесь. Покорно прошу оплатить судебные издержки по моему делу и похоронить умершую сегодня женщину. Остальное – бедным».

Сестра хотела что-то сказать, но едва могла произнести несколько бессвязных звуков. Наконец ей удалось выговорить:

– Не угодно ли вам, господин мэр, повидать в последний раз эту несчастную страдальницу?

– Нет, – сказал он, – за мной погоня, меня могут арестовать в ее комнате, а это потревожило бы ее покой.

Едва он успел договорить эти слова, как на лестнице раздался сильный шум. Послышался топот ног на ступеньках и голос старухи привратницы, громко и пронзительно кричавшей:

– Клянусь господом богом, сударь, что во весь день и во весь вечер сюда не входила ни одна душа, а я ведь ни на минуту не отлучалась от дверей!

Мужской голос ответил:

– Однако в этой комнате горит свет.

Они узнали голос Жавера.

Расположение комнаты было таково, что дверь, открываясь, загораживала правый угол. Жан Вальжан задул восковую свечу и встал в этот угол.

Сестра Симплиция упала на колени возле стола.

Дверь отворилась.

Вошел Жавер.

Из коридора послышалось перешептывание нескольких человек и заверения привратницы.

Монахиня не поднимала глаз. Она молилась.

Свеча, поставленная ею на камин, едва мерцала.

Жавер увидел сестру и в замешательстве остановился на пороге.

Вспомним, что сущностью Жавера, его основой, его родной стихией было глубокое преклонение перед всякой властью. Он был цельной натурой и не допускал ни возражений, ни ограничений. И разумеется, духовная власть стояла для него превыше всего: он был набожен, соблюдал обряды и был так же педантичен в этом отношении, как и во всех остальных. В его глазах священник был духом, не знающим заблуждения, монахиня – существом, не ведающим греха. То были души, жившие за глухой оградой, и единственная дверь ее открывалась лишь затем, чтобы пропустить в наш грешный мир истину.

Когда он увидел сестру, первым его побуждением было удалиться.

Однако в нем говорило и другое чувство, чувство долга, владевшее им и властно толкавшее его в противоположную сторону. И вторым его побуждением было – остаться и по крайней мере отважиться на вопрос.

Перед ним была та самая сестра Симплиция, которая не солгала ни разу в жизни. Жавер знал об этом и именно по этой причине особенно преклонялся перед ней.

– Сестрица, – сказал он, – вы одна в этой комнате?

Наступила ужасная минута, бедная привратница едва не лишилась сознания.

Сестра подняла глаза и ответила:

– Да.

– Значит, – продолжал Жавер, – простите меня за настойчивость, но я выполняю свой долг, – значит, вы не видели сегодня вечером одну личность, одного человека? Он сбежал, мы ищем его. Вы не видели человека по имени Жан Вальжан?

– Нет, – ответила сестра.

Она солгала. Она солгала два раза кряду, раз за разом, без колебаний, без промедления, с такой быстротой, с какой человек приносит себя в жертву.

– Прошу прощения, – сказал Жавер и, низко поклонившись, вышел.

О святая девушка! Вот уже много лет, как тебя нет в этом мире; ты уже давно соединилась в царстве вечного света со своими сестрами-девственницами и братьями-ангелами. Да зачтется тебе в раю эта ложь!

Свидетельство сестры было столь убедительно для Жавера, что он даже не заметил одного странного обстоятельства: на столе стояла другая свеча, только что потушенная и еще чадившая.

Час спустя какой-то человек, пробираясь сквозь деревья и густой туман, быстро удалялся от Монрейля-Приморского по направлению к Парижу. Этот человек был Жан Вальжан. Показаниями двух или трех возчиков, встретивших его дорогой, было установлено, что он нес какой-то сверток и что на нем была надета блуза. Где он взял ее? Неизвестно. Впрочем, за несколько дней до того в фабричной больнице умер старик рабочий, который не оставил после себя ничего, кроме своей блузы. Не была ли это та самая блуза?

Еще одно слово о Фантине.

У всех нас есть одна общая мать – земля. Этой-то матери и возвратили Фантину.

Кюре считал, что хорошо поступил, – и может быть, действительно поступил хорошо, – сохранив возможно большую часть денег, оставленных Жаном Вальжаном, для бедных. В конце концов, о ком тут шла речь? Всего лишь о каторжнике и о публичной женщине. Вот почему он крайне упростил погребение Фантины, ограничившись самым необходимым – то есть общей могилой.

Итак, Фантину похоронили в том углу кладбища, который принадлежит всем и никому, в углу, где хоронят бесплатно и где бесследно исчезают бедняки. К счастью, богу известно, где отыскать душу. Фантину опустили в гробовую тьму, среди костей, неведомо кому принадлежавших; прах ее смешался с чужим прахом. Она была брошена в общественную могилу. Ее могила была подобна ее ложу.

Часть II

Козетта

Книга первая

Ватерлоо

Глава 1

Что можно встретить по дороге из Нивеля

В прошлом (1861) году, солнечным майским утром прохожий, рассказывающий эту историю, прибыв из Нивеля, направлялся в Ла-Гюльп. Он шел по широкому, обсаженному деревьями шоссе, которое тянулось по цепи холмов, то поднимаясь, то опускаясь как бы огромными волнами. Он миновал Лилуа и Буа-Сеньер-Исаак. На западе уже виднелась шиферная колокольня Брен-л'Алле, похожая на перевернутую вазу. Он оставил позади себя раскинувшуюся на холме рощу и на повороте проселка, около какого-то подобия виселицы, источенной червями, с надписью: «Старая застава № 4», – кабачок, фасад которого украшала вывеска: «На вольном воздухе. Частная кофейная Эшабо».

Пройдя еще четверть лье, он спустился в небольшую долину, куда из-под мостовой арки в дорожной насыпи струился ручей. Группы не густых, но ярко-зеленых деревьев, оживлявших долину по одну сторону шоссе, разбегались с противоположной стороны по лугам и в изысканном беспорядке тянулись к Брен-л'Алле.

Направо, на краю дороги, виднелся постоялый двор, четырехколесная тележка перед воротами, большая вязанка жердей для хмеля, плуг, куча хворосту возле живой изгороди, дымящаяся в квадратной яме известь, лестница, прислоненная к старому открытому сараю с соломенными перегородками внутри. Молодая девушка полола в поле, где трепалась по ветру огромная желтая афиша, возвещавшая, по всей вероятности, о ярмарочном представлении по случаю храмового праздника. За углом постоянного двора, около лужи, в которой плескалась стая уток, вела в кустарники скверно вымощенная дорожка. Туда и направился прохожий.

Пройдя около сотни шагов вдоль ограды пятнадцатого столетия, увенчанной острым щипцом из цветного кирпича, он очутился перед большими каменными сводчатыми воротами, с прямым поперечным брусом над створками в суровом стиле Людовика XIV и двумя плоскими медальонами по сторонам. Фасад здания, такого же строгого стиля, возвышался над воротами; стена, перпендикулярная фасаду, почти вплотную подходила к воротам, образуя прямой угол. Перед ними на поляне валялись три бороны, сквозь зубья которых пробивались вперемежку всевозможные весенние цветы. Ворота были закрыты. Затворялись они двумя ветхими створками, на которых висел старый заржавленный молоток.

Ярко светило солнце; ветви деревьев тихо покачивались с тем нежным майским шелестом, который, кажется, исходит скорее от гнезд, нежели от листвы, колеблемой ветерком. Маленькая смелая птичка, видимо влюбленная, звонко заливалась меж ветвей раскидистого дерева.

Прохожий нагнулся и внизу, с левой стороны правого упорного камня ворот, разглядел довольно широкую круглую впадину, похожую на внутренность шара. В эту минуту ворота распахнулись, и появилась крестьянка.

Она увидела прохожего и догадалась, на что он смотрит.

– Сюда попало французское ядро, – сказала она. Потом добавила: – А вот здесь повыше на воротах, около гвоздя, – это след картечи, но она не пробила дерева насквозь.

– Как называется это место? – спросил прохожий.

– Гугомон, – ответила крестьянка.

Прохожий выпрямился, сделал несколько шагов и заглянул за изгородь. На горизонте, сквозь деревья, он заметил пригорок, а на этом пригорке нечто, похожее издали на льва.

Он находился на поле битвы при Ватерлоо.

Глава 2

Гугомон

Гугомон – вот то зловещее место, начало противодействия, первое сопротивление, встреченное при Ватерлоо великим лесорубом Европы, имя которого Наполеон; первый неподатливый сук под ударом его топора.

Некогда это был замок, ныне – всего только ферма. Гугомон для знатока старины – «Гюгомон». Этот замок был воздвигнут Гюго, сиром де Сомерель, тем самым, который сделал богатый дар шестому капелланству аббатства Вилье.

Прохожий толкнул ворота и, задев локтем стоявшую под их сводом старую коляску, вошел во двор.

Первое, что поразило его на этом внутреннем дворе, были ворота в стиле шестнадцатого века, похожие на арку, ибо все вокруг них обрушилось. Развалины часто производят впечатление величия. Близ арки в стене находились другие сводчатые ворота, времен Генриха IV, сквозь которые видны были деревья фруктового сада. Около этих ворот – навозная яма, мотыги и лопаты, несколько тачек, старый колодец с каменной плитой на передней его стенке и железной вертушкой на воротах, резвящийся жеребенок, индюк, распускающий веером хвост, часовня с маленькой звонницей, шпалерное грушевое дерево в цвету, осеняющее ветвями стену этой часовни, – таков этот двор, завоевать который было мечтой Наполеона. Если бы он сумел овладеть им, то, быть может, этот уголок земли сделал бы его владыкой мира. Тут куры ворошат клювами пыль. Слышится рычание большой собаки, она щерит клыки и заменяет теперь англичан.

Англичане здесь достойны были изумления. Четыре гвардейские роты Кука в течение семи часов выдерживали ожесточенный натиск целой армии.

Гугомон, изображенный на карте в горизонтальном плане, включая все строения и огороженные участки, представляет собой неправильный прямоугольник со срезанным углом. В этом углу, под защитой стены, с которой можно было обстреливать в упор атакующих, и находятся южные ворота. В Гугомоне двое ворот: южные – ворота замка, и северные – ворота фермы. Наполеон направил против Гугомона своего брата Жерома; здесь столкнулись дивизии Гильемино, Фуа и Башлю; почти весь корпус Рейля тут был введен в бой и погиб, Келлерман потратил весь свой запас ядер на эту героическую стену. Отряд Бодюэна лишь с трудом проник в Гугомон с севера, а бригада Суа хоть и ворвалась туда с юга, но овладеть им не могла.

Строения фермы окружают двор с юга. Часть северных ворот, разбитых французами, висит, зацепившись за стену. Это четыре доски, приколотенные к двум перекладам, и на них отчетливо видны шрамы, полученные во время атаки.

В глубине двора видны полуоткрытые северные ворота с заплатой из досок на месте вышибленной французами и висящей теперь на стене створки. Они проделаны в кирпичной с каменным основанием стене, замыкающей двор с севера. Это обыкновенные четырехугольные проходные ворота, какие можно видеть на всех фермах: две широкие створки, сколоченные из необтесанных досок. За ними расстилаются луга. Яростен был бой за этот вход. На косяках ворот долго оставались следы окровавленных рук. Именно здесь был убит Бодюэн.

Еще до сей поры ураган боя ощущается на этом дворе; здесь запечатлен его ужас; неистовство рукопашной схватки словно застыло в самом ее разгаре; это живет, а то умирает; кажется, все это было вчера. Рушатся стены, падают камни, стонут бреши; проломы похожи на

раны; склонившиеся и дрожащие деревья будто силятся бежать отсюда.

Этот двор в 1815 году был застроен теснее, чем ныне. Постройки, которые позже были разрушены, образовали в нем выступы, углы, резкие повороты.

Англичане укрепились там; французы ворвались туда, но не смогли удержаться. Рядом с часовней сохранилось обрушившееся, вернее, развороченное крыло здания – все, что осталось от Гугомонского замка. Замок послужил крепостью, часовня – блокаузом. Здесь происходило взаимное истребление. Французы, обстреливаемые со всех сторон – из-за стен, с чердачных вышек, из глубины погребов, из всех окон, из всех отдушин, из всех щелей в стенах, – притащили фашины и подожгли стены и людей. Пожар был ответом на картечь.

В разрушенном крыле замка сквозь забранные железными решетками окна видны остатки разоренных покоев главного кирпичного здания; в этих покоях засела английская гвардия. Винтовая лестница, вся рассеявшаяся от нижнего этажа до самой крыши, кажется внутренностью разбитой раковины. Эта лестница проходила сквозь два этажа; осажденные на ней и загнанные наверх англичане разрушили нижние ступени. И теперь эти широкие плиты голубоватого камня лежат грудой среди разросшейся крапивы. Десяток ступеней еще держится в стене, на первой из них высечено изображение трезубца. Эти недостижимые ступени крепко сидят в своих гнездах. Вся остальная часть лестницы похожа на челюсть, лишенную зубов. Тут же высятся два дерева. Одно засохло, другое повреждено у корня, но каждую весну зеленеет вновь. Оно начало прорасти сквозь лестницу с 1815 года.

Резня происходила в часовне. Теперь там снова тихо, но у нее странный вид. Со времени этой бойни богослужений в ней не совершали. Однако аналой там уцелел – грубый деревянный аналой, прислоненный к необтесанной каменной глыбе. Четыре стены, выбеленные известкой, против престола дверь, два маленьких полукруглых окна, на двери большое деревянное распятие, над распятием четырехугольная отдушина, заткнутая охапкой сена, в углу, на земле, старая разбитая оконная рама – такова эта часовня. Около аналая прибита деревянная, пятнадцатого века, статуя святой Анны; голова младенца Иисуса оторвана картечью. Французы, на некоторое время овладевшие часовней и затем вытесненные из нее, подожгли ее. Пламя охватило это ветхое строение. Оно превратилось в раскаленную печь. Сгорела дверь, сгорел пол, не сгорело лишь деревянное распятие. Пламя обуглило ноги Христа, превратив их в почерневшие обрубки, но дальше не пошло. По словам местных жителей, это было чудо. Младенцу Иисусу, которого обезглавили, посчастливилось меньше, чем распятию.

Стены все испещрены надписями. У ног Христовых можно прочесть: «Henquines»^[30]. А дальше: «Conde de Rio Maïor»^[31]. Marques y Marquesa de Almagro (Habana)»^[32]. Встречаются и французские имена с восклицательными знаками, говорящими о гневе. В 1849 году стены выбелили: здесь нации поносили друг друга.

Именно возле двери этой часовни подобрали труп, державший в руке топор. Это был труп подпоручика Легро.

Выходишь из часовни и направо замечаешь колодец. На этом дворе их два. Спрашиваешь: почему у этого колодца нет ведра и блока? А потому, что из него не черпают более воды. Почему же из него не черпают более воды? Потому что он набит скелетами.

Последний, кто брал воду из этого колодца, был Гильом ван Кильсом. Этот крестьянин проживал в Гугомоне и работал в замке садовником. 18 июня 1815 года его семья бежала и укрылась в лесу.

Лес, окружавший аббатство Вилье, давал в продолжение многих дней и ночей приют всему несчастному разбежавшемуся населению. Еще доньше сохранились ясные следы в виде старых обгоревших пней, отмечающих места этих жалких становищ, скрывавшихся в зарослях кустарника.

Гильом ван Кильсом, оставшийся в Гугомоне, чтобы «стеречь замок», забился в погреб. Англичане обнаружили его, вытащили из убежища и, избивая ножами сабель, заставили этого запуганного насмерть человека служить себе. Их мучила жажда, и Гильом должен был приносить им пить, черпая воду из этого колодца. Для многих то был последний глоток в жизни. Колодец, из которого пило столько обреченных на гибель, должен был и сам погибнуть.

После сражения очень торопились предать трупы земле. Смерть обладает повадкой, присущей ей одной, – дразнить победу, вслед за славой насылая болезни. Тиф – непременно дополнение к триумфу. Колодец был глубок, и его превратили в могилу. В него сбросили триста трупов. Быть может, это сделали слишком поспешно. Все ли были мертвы? Предание гласит, что не все. Говорят, что в ночь после погребенья из колодца слышались слабые голоса, взывавшие о помощи.

Этот колодец расположен особняком посередине двора. Три стены, наполовину из камня, наполовину из кирпича, поставленные наподобие ширм и напоминающие четырехугольную башенку, окружают его с трех сторон. Четвертая сторона свободна, и отсюда черпали воду. В задней стене имеется что-то вроде неправильного круглого оконца – вероятно, пробоина от разрывного снаряда. У башенки была когда-то крыша, от которой сохранились лишь балки. Железные подпорки правой стены образуют крест. Наклонишься, и взгляд тонет в глубине кирпичного цилиндра, наполненного мраком. Подножия стен вокруг колодца заросли крапивой.

Широкая голубая каменная плита, которая в Бельгии служит передней стенкой колодцев, заменена скрепленными перекладиной пятью или шестью бесформенными обрубками дерева, узловатыми и кривыми, похожими на огромные кости скелета. Нет больше ни ведра, ни цепи, ни блока, но сохранился еще каменный желоб, служивший стоком. В нем скапливается дождевая вода, и от времени до времени из соседних роц залетает сюда какая-нибудь пичужка, чтобы попить из него и тут же улететь.

Единственный жилой дом среди этих развалин – ферма. Дверь дома выходит во двор. Рядом с красивой, в готическом стиле, пластинкой дверного замка прибита наискось железная ручка в виде трилистника. В то мгновение, когда ганноверский лейтенант Вильда взялся за нее, чтобы укрыться на ферме, французский сапер отсек ему руку топором.

Семья, ныне живущая в этом доме, является потомством давно умершего садовника ван Кильсома. Седая женщина рассказывала мне: «Я была свидетельницей происходившего. Мне исполнилось в ту пору три года. Моя старшая сестра боялась и плакала. Нас отнесли в лес. Я сидела на руках у матери. Чтобы лучше расслышать, все припадали к земле ухом. А я повторяла за пушкой: «Бум, бум».

Ворота во дворе, те, что налево, как мы уже говорили, выходят в фруктовый сад.

Вид фруктового сада ужасен.

Он состоит из трех частей, вернее сказать – из трех актов драмы. Первая часть – цветник, вторая – фруктовый сад, третья – роца. Все они обнесены общей оградой: со стороны входа – строения замка и ферма, налево – плетень, направо – стена, в глубине – стена. Правая стена кирпичная, стена в глубине – каменная. Прежде всего входишь в цветник. Он расположен в самом низу, засажен кустами смородины, зарос сорными травами и заканчивается огромной, облицованной тесаным камнем террасой с круглыми балясинами. Это был господский сад в том раннем французском стиле, который предшествовал Ленотру; ныне же это руины и терновник. Пилястры увенчаны шарами, похожими на каменные ядра. Еще теперь насчитывают сорок три уцелевшие балясины на подставках, остальные валяются в траве. Почти на всех видны следы картечи. А одна, поврежденная, держится на перебитом своем конце, точно сломанная нога.

Вот в этот-то цветник, находящийся ниже фруктового сада, проникли шесть солдат первого пехотного полка и, не имея возможности выйти оттуда, настигнутые и затравленные, словно

медведи в берлоге, приняли бой с двумя ганноверскими ротами, из которых одна была вооружена карабинами. Ганноверцы расположились за этой балюстрадой и стреляли сверху. Неустрашимые пехотинцы, стреляя снизу, шесть против сотни, и не имея иного прикрытия, кроме кустов смородины, продержались четверть часа.

Поднимаешься на несколько ступеней и выходишь из цветника в фруктовый сад. Здесь, на пространстве в несколько квадратных саженей, в течение какого-нибудь часа пали тысяча пятьсот человек. Кажется, что стены тут и сейчас готовы ринуться в бой. Тридцать восемь бойниц, пробитых в них англичанами на различной высоте, еще уцелели. Против шестнадцатой бойницы находятся две могилы англичан с надгробными гранитными плитами. Бойницы есть лишь на южной стене, со стороны которой велось главное наступление. Снаружи эта стена скрыта высокой живой изгородью. Французы, наступая, предполагали, что им придется брать приступом лишь эту изгородь, а наткнулись на стену, на препятствие и на засаду – на английскую гвардию, на тридцать восемь орудий, паливших одновременно, на ураган ядер и пуль; и бригада Суа была разгромлена. Так началась битва при Ватерлоо.

Однако фруктовый сад был взят. Лестниц не было, французы карабкались на стены, цепляясь ногтями. Под деревьями завязался рукопашный бой. Вся трава кругом обагрилась кровью. Батальон Нассау в семьсот человек был весь уничтожен. Наружная сторона стены, против которой стояли две батареи Келлермана, вся источена картечью.

Но и этот фруктовый сад, как всякий иной сад, не остается безучастным к приходу весны. И в нем распускаются лютики и маргаритки, растет высокая трава, пасутся рабочие лошади; протянутые между деревьями веревки с сохнувшим на них бельем заставляют прохожих пригибаться; ступаешь по этой целине, и нога то и дело попадает в кротовые норы. В густой траве можно разглядеть сваленный, с вывороченными корнями, зеленеющий ствол дерева. К нему прислонился, умирая, майор Блакман. Под высоким соседним деревом пал немецкий генерал Дюпла, француз по происхождению, эмигрировавший с семьей из Франции после отмены Нантского эдикта. Совсем рядом склонилась старая, больная яблоня с повязкой из соломы и глины. Почти все яблони пригнулись к земле от старости. Нет ни одной, в которой не засела бы ружейная или картечная пуля. Этот сад полон сухостоя. Среди ветвей летают вороны; вдали виднеется роща, где цветет множество фиалок.

Здесь убит Бодюэн, ранен Фуа, здесь были пожар, резня, бойня, здесь яростно бурлил смешанный поток английской, немецкой и французской крови; здесь колодец, битком набитый трупами; здесь уничтожены полк Нассау и полк Брауншвейгский, убит Дюпла, убит Блакман, искалечена английская гвардия, погублены двадцать французских батальонов из сорока, составлявших корпус Рейля, в одних только развалинах замка Гугомон изрублены саблями, искрошены, задушены, расстреляны, сожжены три тысячи человек, – и все это лишь для того, чтобы ныне какой-нибудь крестьянин мог сказать путешественнику: «Сударь, дайте мне три франка, и, если хотите, я расскажу вам, как было дело при Ватерлоо!»

Глава 3

18 июня 1815 года

Возвратимся назад – это право каждого повествователя – и перенесемся в 1815 год и даже несколько ранее того времени, с которого начинаются события, рассказанные в первой части этой книги.

Если бы в ночь с 17 на 18 июня 1815 года не шел дождь, то будущее Европы было бы иным. Несколько лишних капель воды сломили Наполеона. Чтобы Ватерлоо послужило концом Аустерлица, провидению оказался нужным лишь легкий дождь; достаточно было тучи,

пронесшейся по небу вопреки этому времени года, чтобы вызвать крушение целого мира.

Битва при Ватерлоо могла начаться лишь в половине двенадцатого, и это дало возможность Блюхеру прибыть вовремя. Почему? Потому что почва размокла и необходимо было переждать, пока дороги обсохнут, чтобы подвезти артиллерию.

Наполеон был артиллерийским офицером, он и сам это чувствовал. Вся сущность этого изумительного полководца сказалась в одной фразе его доклада Директории по поводу Абукира: «Такое-то из наших ядер убило шесть человек». Все его военные планы были рассчитаны на артиллерию. Стянуть в назначенное место всю артиллерию – вот что было для него ключом победы. Стратегию вражеского генерала он рассматривал как крепость и пробивал в ней брешь. Слабые места подавлял картечью, завязывал сражения и разрешал исход их пушкой. Его гений – гений точного прицела. Рассекать каре, распылять полки, разрывать строй, уничтожать и рассеивать плотные колонны войск – вот его цель; разить, разить, разить непрестанно – и это дело он доверил ядру. Устрашающая система, которая в союзе с гениальностью за пятнадцать лет сделала непобедимым этого мрачного мастера ратного дела.

18 июня 1815 года он тем более рассчитывал на артиллерию, что численное ее превосходство было на его стороне. В распоряжении Веллингтона было всего лишь сто пятьдесят девять орудий, у Наполеона – двести сорок.

Представьте себе, что земля была бы суха, артиллерия подошла бы вовремя и битва могла бы начаться в шесть утра. Она была бы закончена к двум часам дня, то есть за три часа до прибытия пруссаков.

Велика ли доля вины Наполеона в том, что битва была проиграна? Можно ли обвинять в кораблекрушении кормчего?

Не осложнился ли явный упадок физических сил Наполеона в этот период упадком и его душевных сил? Не изнасились ли за двадцать лет войны клинок и ножны, не утомились ли его дух и тело? Не стал ли в полководце, как это ни прискорбно, брать верх уже отслуживший воин? Одним словом, не угасал ли уже тогда этот гений, как полагали многие видные историки? Не впадал ли он в неистовство лишь для того, чтобы скрыть от самого себя свое бессилие? Не начинал ли колебаться в предчувствии неверного будущего, дуновение которого ощущал? Перестал ли – что так важно для главнокомандующего – сознавать опасность? Не существует ли и для этих великих людей реальности, для этих гигантов действия возраст, когда их гений становится близоруким? Над совершенными гениями старость не имеет власти; для Данте, для Микеланджело стареть – значило расти; неужели же для Аннибала и Наполеона это означало увядать? Не утратил ли Наполеон верного чутья победы? Не дошел ли он уже до того, что не распознавал подводных скал, не угадывал западни, не видел осыпающихся краев бездны? Не лишился ли он дара предвидения катастрофы? Неужели он, кому когда-то были ведомы все пути к славе и кто с высоты своей сверкающей колесницы перстом владыки указывал на них, теперь, в гибельном ослеплении, увлекал свои шумные, послушные легионы в бездну? Не овладело ли им в сорок шесть лет полное безумие? Не превратился ли этот подобный титану возникший судьбы просто в беспримерного сорвиголову?

Мы этого отнюдь не думаем.

Намеченный им план битвы был, по общему мнению, образцовым. Ударить в лоб союзным войскам, пробить брешь в рядах противника, разрезать неприятельское войско надвое, англичан оттеснить к Галю, пруссаков к Тонгру, разъединить Веллингтона с Блюхером, овладеть плато Мон-Сен-Жан, захватить Брюссель, сбросить немцев в Рейн, а англичан в море – вот что для Наполеона представляла собой эта битва. Дальнейший образ действий подсказало бы будущее.

Мы, конечно, не собираемся излагать здесь историю Ватерлоо; одно из основных действий рассказываемой нами драмы связано с этой битвой, но история самой битвы не является

предметом нашего повествования; к тому же она описана, и мастерски описана, Наполеоном – с одной точки зрения, и целой плеядой историков [\[33\]](#) – с другой. Что же касается нас, то мы, предоставляя историкам спорить между собою, сами останемся лишь отдаленным зрителем, идущим по долине любознательным прохожим, который наклоняется над этой землей, удобренной трупами, и принимает, быть может, видимость за реальность. Мы не вправе пренебречь во имя науки совокупностью фактов, в которых, несомненно, есть нечто иллюзорное; мы не обладаем ни военным опытом, ни знанием стратегии, которые могли бы оправдать ту или иную систему воззрений. Мы полагаем лишь, что действия обоих полководцев в битве при Ватерлоо были подчинены сцеплению случайностей. И если дело идет о роке – этом загадочном обвиняемом, – то мы судим его, как судит народ – этот простодушный судия.

Глава 4

А

Тем, кто желает ясно представить себе сражение при Ватерлоо, надо лишь вообразить лежащую на земле громадную букву А. Левая палочка этой буквы – дорога на Нивель, правая – дорога на Женап, поперечная черточка буквы А – проложенная в ложбине дорога из Оэна в Брен-л'Алле. Верхняя точка буквы А – Мон-Сен-Жан, там находился Веллингтон; левая нижняя точка – Гугомон, там стояли Рейль и Жером Бонапарт; правая нижняя точка – Бель-Альянс, там находился Наполеон. Немного ниже, где поперечная черта пересекает правую палочку буквы А, расположен Ге-Сент. В центре поперечной черты находился пункт, где был решен исход сражения. Именно там позднее и водрузили льва – символ высокого героизма императорской гвардии.

Треугольник, заключенный в верхушке А, между двумя палочками и поперечной чертой, – это плато Мон-Сен-Жан. В борьбе за это плато и заключалось все сражение.

Фланги обеих армий тянулись вправо и влево от дорог на Женап и Нивель. Д'Эрлон стоял против Пиктона, а Рейль – против Гиля.

За вершиной буквы А, позади плато Мон-Сен-Жан, находится Суаньский лес.

Что же касается самой равнины, то вообразите себе обширное волнообразное пространство, где каждый последующий вал встает над предыдущим, а все вместе поднимаются к Мон-Сен-Жан, доходя до самого леса.

Два неприятельских войска на поле битвы – это два борца. Это схватка врукопашную. Один старается повалить другого. Цепляются за все: любой куст – опора, угол стены – защита; отсутствие самого жалкого домишки для прикрытия тыла заставляет иногда отступать целый полк. Впадина в долине, неровность почвы, вовремя пробежавшая наперерез тропинка, лесок, овраг – все может задержать шаг исполина, именуемого армией, и помешать его отступлению. Покинувший поле битвы – побежден. Вот откуда вытекает обязанность командующего тщательно всматриваться во всякую группу деревьев, проверять малейший холмик.

Оба полководца внимательно изучили равнину Мон-Сен-Жан, ныне именуемую равниной Ватерлоо. Еще за год до того Веллингтон ее исследовал с мудрой предусмотрительностью, на случай большого сражения. В этой местности и в этом бою лучшие условия оказались на стороне Веллингтона, худшие – на стороне Наполеона. Английская армия находилась наверху, а французская внизу.

Почти излишне изображать здесь Наполеона в утро 18 июня 1815 года, на коне, с подозрительной трубой в руках, на возвышенности Россом. Его облик и так всем давно известен. Этот спокойный профиль под маленькой форменной шапочкой Бриеннской школы, этот зеленый

мундир, белые отвороты, скрывающие орденскую звезду, редингот, скрывающий эполеты, кончик красной орденской ленты в вырезе жилета, лосины, белый конь под алым бархатным чепраком, по углам которого вышиты буквы N с короной и орлы, на шелковых чулках ботфорты для верховой езды, серебряные шпоры, шпага Маренго, – весь образ этого последнего Цезаря, превозносимого одними и осуждаемого другими, еще стоит у всех перед глазами.

Долгое время образ этот был окружен ореолом, что являлось следствием легендарного помрачения умов, вызываемого блеском славы многих героев и затмевающего на тот или иной срок истину; но в настоящее время вместе с историей наступает и прояснение.

Ясность истории неумолима. История таит в себе то странное и божественное свойство, что, будучи сама светом, и именно в силу того, что она свет, она бросает тень туда, где до этого видели сияние. Одного человека она превращает в два различных призрака, один нападает на другого, вершит над ним правосудие, и мрачные черты деспота сталкиваются с обаянием полководца. Это дает народам более правильное мерило при решающей оценке. Опозоренный Вавилон умаляет славу Александра, поработенный Рим умаляет славу Цезаря, разрушенный Иерусалим умаляет славу Тита. Тирания переживает тирана. Горе тому, кто позади себя оставил мрак, воплощенный в своем образе.

Глава 5

Quid obscurum^[34] сражений

Всем хорошо известен первый этап этого сражения. Начало неустойчивое, неясное, нерешительное, угрожающее для обеих армий, но для англичан – в большей степени, чем для французов.

Всю ночь шел дождь. Земля была размыта ливнем. Там и сям в углублениях долины скопилась вода, словно в бассейнах; в некоторых местах вода заливала оси обозных повозок; с подпруг лошадей капала жидкая грязь. Если бы колосья пшеницы и ржи, примятые беспорядочным потоком этихдвигающихся повозок, не заполнили выбоин и не образовали бы своего рода настил под колесами, то всякое движение, особенно в небольших долинах со стороны Папелота, оказалось бы невозможным.

Сражение началось поздно. Наполеон, как мы уже говорили, имел обыкновение сосредоточивать в своих руках всю артиллерию, целясь, словно из пистолета, то в одно, то в другое место поля битвы; и теперь он поджидал, когда батареи, поставленные на колеса, смогут быстро и свободно передвигаться; для этого необходимо было выглянуть солнцу и обсушить землю. Но солнце не выглянуло. Под Аустерлицем оно встретило его по-другому! Когда раздался первый пушечный залп, английский генерал Кольвиль, взглянув на часы, отметил, что было тридцать пять минут двенадцатого.

Нападение левого французского фланга на Гугомон, более ожесточенное, быть может, чем того желал сам император, открыло сражение. Одновременно Наполеон атаковал центр, бросив бригаду Кио на Ге-Сент, а Ней двинул правый французский фланг против левого английского, имевшего в своем тылу Папелот.

Атака на Гугомон была до некоторой степени ложной. Заманить туда Веллингтона и заставить его отклониться влево – таков был план Наполеона. План этот удался бы, если бы четыре роты английских гвардейцев и мужественные бельгийцы дивизии Перпонше не стояли так твердо на своих позициях, благодаря чему Веллингтон, вместо того чтобы стянуть туда основные силы своих войск, послал им для подкрепления всего лишь еще четыре роты английских гвардейцев и один брауншвейгский батальон.

Атака правого французского крыла на Папелот имела целью опрокинуть левое английское крыло, отрезать путь на Брюссель, загородить дорогу на случай появления пруссаков, захватить Мон-Сен-Жан, оттеснить Веллингтона к Гугомону, оттуда к Брен-л'Алле, оттуда к Галю, – ничего не могло быть яснее этого плана. За исключением некоторых несчастных случайностей, атака удалась. Папелот был отбит, Ге-Сент взят приступом.

Отметим следующую подробность. В английской пехоте, в частности в бригаде Кемпта, было много новобранцев. Эти молодые солдаты отважно сопротивлялись нашим грозным пехотинцам; отсутствие опыта восполняла неустрашимость; особенно блестяще проявили они себя как стрелки; солдат-стрелок, предоставленный отчасти собственной инициативе, является, так сказать, сам себе генералом; новобранцы выказали здесь чисто французскую сообразительность и боевой пыл. Новички пехотинцы сражались с воодушевлением. Это не понравилось Веллингтону.

После взятия Ге-Сента исход битвы стал сомнительным.

В этом дне от двенадцати до четырех часов есть темный промежуток; середина этой битвы почти неуловима и напоминает мрачный хаос рукопашной схватки. Вдруг наступают сумерки. В тумане виднеется какая-то зыбь, какое-то причудливое марево: части военного снаряжения того времени, ныне почти уже не встречающиеся, высокие меховые шапки, ташки кавалеристов, перекрещенные на груди ремни, сумки для гранат, доломаны гусар, красные сапоги с набором, тяжелые кивера, украшенные витым шнуром, почти черная пехота Брауншвейга, смешавшаяся с ярко-красной английской, у солдат которой вместо эполет были толстые белые валики вокруг проймы рукавов, легкая ганноверская кавалерия в удлинённых кожаных касках с медными полосками и султанами из рыжего конского волоса, шотландцы с голыми коленками и в клетчатых пледах, высокие белые гетры наших гренадер, – все это представляется рядом картин, но не рядами войск, построенных по правилам стратегии, и интересно для Сальватора Розы, но не для Грибоваля.

Во всякой битве всегда есть что-то общее с бурей. *Quid obscurum, quid divinum!* ^[35] Каждый историк изображает несколько поразивших его в этой схватке черт. Каким бы ни был расчет полководцев, при столкновении вооруженных масс неизбежны бесчисленные отступления от первоначального замысла; приведенные в действие планы обоих полководцев вклиниваются один в другой и искажают друг друга. На поле боя вот это место пожирает большее количество сражающихся, чем вон то, как рыхлый грунт – здесь быстрее, а там медленнее – поглощает льющуюся на него воду. Это вынуждает бросать туда больше солдат, чем предполагалось. Вот издержки, которые нельзя предвидеть.

Линия расположения войск колышется и извивается, словно нить; бесцельно проливаются потоки крови; фронт армий колеблется; выбывающие или прибывающие полки образуют в нем заливы или мысы, людские рифы непрерывно перемещаются, одни впереди других; там, где только что была пехота, появляется артиллерия; туда, где находилась артиллерия, примчалась кавалерия. Батальоны словно дымки: только сейчас здесь было что-то, теперь ищите – его уж нет. Просветы в рядах передвигаются; черные валы налетают и откатываются назад. Какой-то могильный ветер гонит, отбрасывает, вздувает и рассеивает эти трагические скопища людей. Что такое рукопашная схватка? Колебание. Устойчивость математического плана выражает лишь минуту, а не целый день. Чтобы изобразить битву, нужен один из тех могучих художников, кисти которых был бы послушен хаос. Рембрандт напишет ее лучше Вандермелена, ибо Вандермелен, точный в полдень, лжет в три часа пополудни. Геометрия обманывает, только ураган правдив. Это-то и дает право Фолару противоречить Полибию. Добавим, что всегда наступает минута, когда битва словно мелькает, переходя в стычку, она дробится и распыляется на множество мелких фактов, которые, по выражению самого

Наполеона, «относятся скорее к биографии полков, чем к истории армий». В таком случае историк имеет неоспоримое право на краткое общее изложение. Он может схватить лишь основные контуры борьбы, и ни одному повествователю, каким бы добросовестным он ни был, не дано запечатлеть полностью облик той грозной тучи, имя которой – битва.

Замечание это, справедливое по отношению ко всем великим вооруженным столкновениям, особенно применимо к Ватерлоо.

Но все же после полудня, в известный момент, исход битвы начал определяться.

Глава 6

Четыре часа пополудни

К четырем часам положение английской армии стало серьезным. Принц Оранский командовал центром, Гиль – правым крылом, Пиктон – левым. Смелый принц Оранский, вне себя, кричал бельгийцам и голландцам: «Нассау! Брауншвейг! Не смей отступать!» Уже слабевший Гиль стал под защиту Веллингтона, Пиктон был убит. В ту самую минуту, когда англичане захватили у французов знамя 105-го линейного полка, французы сразили пулей в голову навылет генерала Пиктона. У Веллингтона в этой битве были две точки опоры: Гугомон и Ге-Сент: Гугомон еще держался, но весь пылал; Ге-Сент был взят. От защищавшего его немецкого батальона осталось в живых только сорок два человека; все офицеры, за исключением пяти, были убиты или захвачены в плен. Три тысячи сражающихся перебили друг друга на этом молотильном току. Сержант английской гвардии, лучший боксер своей страны, слывший среди товарищей непобедимым, был убит маленьким французским барабанщиком. Беринг был вынужден оставить свои позиции, Альтен зарублен. Множество знамен было потеряно, в том числе знамя дивизии Альтена и знамя Люнебургского батальона, которое нес принц из рода де Пон. Серых шотландцев не существовало более; могучие драгуны Понсонби были искрошены. Эту храбрую кавалерию смяли уланы Бро и кирасиры Траверса; от тысячи двухсот коней уцелело шестьсот; из трех полковников двое погибли. Гамильтон был ранен, Матер убит. Понсонби пал, пронзенный семью ударами копья. Гордон умер, Марх умер. Две дивизии – пятая и шестая – разгромлены.

Гугомон был обречен, Ге-Сент взят, – оставался еще один оплот, центр. Он держался непоколебимо. Веллингтон усилил его. Он туда вызвал Гиля, находившегося в Мерб-Брене, он туда вызвал Шассе, находившегося в Брен-л'Алле.

Центр английской армии, слегка вогнутый, очень плотный и мощный, был расположен на сильно укрепленной позиции. Он занимал плато Мон-Сен-Жан, имея в тылу деревню, а впереди – откос, в ту пору довольно крутой. Он опирался на массивное каменное здание, которое в описываемую эпоху было государственным имуществом, принадлежавшим Нивелю, и отмечало пересечение дорог. Вся эта постройка шестнадцатого века была такая крепкая, что пушечные ядра отскакивали, не пробивая ее. Вокруг всего плато там и сям англичане поставили изгороди, сделали амбразуры в боярышнике, установили пушку между ветвей, в кустах устроили бойницы. Их артиллерия была помещена в засаде, в густом кустарнике. Этот вероломный прием, безусловно допускаемый войной, разрешающей западню, был так искусно осуществлен, что Гаксо, посланный в девять часов утра для разведки неприятельских батарей, ничего не заметил и, вернувшись, доложил Наполеону, что никаких препятствий нет, за исключением двух баррикад, преграждающих путь на Нивель и на Женап. В эту пору рожь уже начинала колоситься; на краю плато в высоких хлебах залег 95-й батальон бригады Кемпта, вооруженный карабинами.

Таким образом, центр англо-голландской армии, укрепленный и обеспеченный

поддержкой, был в выгодном положении.

Уязвимое место этой позиции представлял Суаньский лес, смежный в то время с полем боя и перерезанный прудами Гренандаля и Буафора. Армия, отступая, должна была расколоться, полки – расстроиться, артиллерия – погибнуть в болотах. По мнению многих специалистов, правда, оспариваемому, отступление здесь явилось бы беспорядочным бегством.

Веллингтон присоединил к своему центру бригаду Шассе, снятую с правого крыла, бригаду Уинки, снятую с левого крыла, и, сверх того, дивизию Клинтон. Своим англичанам, бригаде Митчела, полкам Галкета и гвардии Метленда, он дал как прикрытие и фланговое подкрепление брауншвейгскую пехоту, нассауские части, ганноверцев Кильмансегге и немцев Омптеды. Благодаря этому у него под рукой оказалось двадцать шесть батальонов. Правое крыло, как говорит Шарас, было отведено за центр. Мощную батарею замаскировали мешками с землей в том месте, где ныне помещается так называемый «Музей Ватерлоо». Кроме того, в резерве у Веллингтона оставались укрытые в ложине тысяча четыреста гвардейских драгун Сомерсета. Это была другая половина заслуженной прославленной английской кавалерии. Понсонби был уничтожен, зато оставался Сомерсет.

Батарея эта, которая представляла бы собой почти редут, будь она закончена, находилась за низкой садовой оградой, наскоро укрепленной мешками с песком и широким земляным откосом. Но работа над этим укреплением не была завершена; не хватило времени обнести его палисадом.

Веллингтон, встревоженный, но внешне бесстрашный, верхом на коне, не трогаясь с места, весь день простоял чуть впереди существующей и доныне старой мельницы Мон-Сен-Жан, под вязом, который впоследствии какой-то англичанин, вандал-энтузиаст, купил за двести франков, спилил и увез. Веллингтон сохранял героическое спокойствие. Вокруг сыпались ядра. Рядом с ним был убит адъютант Гордон. Лорд Гиль, указывая на разорвавшуюся вблизи гранату, спросил: «Милорд, каковы же ваши инструкции и какие распоряжения вы нам даете, раз вы сами ищете смерти?» – «Поступать так, как я», – ответил Веллингтон. Клинтону он коротко приказал: «Держаться до последнего человека». Было очевидно, что день кончится неудачей. «Можно ли думать об отступлении, ребята? Вспомните о старой Англии!» – кричал Веллингтон своим старым боевым товарищам по Талавере, Виттории и Саламанке.

Около четырех часов английские войска дрогнули и отошли назад. На гребне плато остались только артиллерия и стрелки, все другое вдруг исчезло; полки, преследуемые французскими гранатами и ядрами, отступили в глубину, туда, где и теперь еще пролегает тропинка для рабочих фермы Мон-Сен-Жан; произошло попятное движение, фронт английской армии скрылся, Веллингтон подался назад. «Начало отступления!» – воскликнул Наполеон.

Глава 7

Наполеон в духе

Император, хотя ему и нездоровилось и трудно было держаться в седле, никогда не был в таком великолепном расположении духа, как в этот день. С раннего утра он, обычно непроницаемый, улыбался. 18 июня 1815 года эта глубокая, скрытая под мраморной маской душа беспричинно сияла. Человек, который был мрачен под Аустерлицем, в день Ватерлоо был весел. Самые высокие избранники судьбы часто поступают противно здравому смыслу. Наши земные радости призрачны. Последняя, блаженная наша улыбка принадлежит богу.

«*Ridet Caesar, Pompeius flebit*»^[36], – говорили воины легиона *Fulminatrix*^[37]. На этот раз Помпею не суждено было плакать, но достоверно, что Цезарь смеялся.

Накануне, в час ночи, под грозой и дождем, объезжая с Берtrandом холмы, смежные с Россомом, удовлетворенный видом длинной линии английских огней, озарявших весь горизонт от Фришмона до Брен-л' Алле, Наполеон не сомневался, что судьба его, которую в назначенный день он вызвал на поле сражения при Ватерлоо, придет в срок; он придержал коня и несколько минут стоял неподвижно, глядя на молнии, прислушиваясь к громам; и спутник его слышал, как этот фаталист бросил в ночь загадочные слова: «Мы заодно». Наполеон ошибался. Они уже не были больше заодно.

Ни на секунду он не сомкнул глаз, каждое мгновение этой ночи было отмечено для него радостью. Он объехал всю линию кавалерийских полевых постов, задерживаясь время от времени, чтобы поговорить с часовыми. В половине третьего ночи около Гугомонского леса он услышал шаг движущейся вражеской колонны; ему показалось, что это отступает Веллингтон. Он пробормотал: «Это снялся с позиций аррьергард английских войск. Я захвачу в плен шесть тысяч англичан, которые только что прибыли в Остенде». Он говорил с жаром, он вновь обрел то одушевление, которое владело им 1 марта, во время высадки в бухте Жуан, когда, указывая маршалу Берtrandу на восторженно встретившего его крестьянина, он воскликнул: «Ну что, Берtrand, вот и подкрепление!» В ночь с 17 на 18 июня он трунил над Веллингтоном. «Этот маленький англичанин нуждается в уроке!» – говорил Наполеон. Дождь усиливался, и все время, пока император говорил, гремел гром.

В половине четвертого утра он лишился одной из своих иллюзий: посланные в разведку офицеры донесли, что в неприятельском лагере никакого движения не наблюдается. Все спокойно, ни один из бивуачных костров не погашен. Английская армия спала. На земле царила глубокая тишина, гул стоял лишь в небесах. В четыре часа лазутчики привели к нему крестьянина, который был проводником у бригады английской кавалерии, по всей вероятности, бригады Вивьена, отправившейся на позиции в деревню Оэн, в самом конце левого крыла. В пять часов два бельгийских дезертира донесли, что они сейчас бежали из своего полка и что английская армия ожидает боя. «Тем лучше! – воскликнул Наполеон. – Мне гораздо больше по душе разбитые полки, чем отступающие».

Утром на откосе, там, где дорога поворачивает на Плансенуа, спешившись прямо в грязь, он приказал доставить себе с россомской фермы кухонный стол и простой стул, уселся, с охапкой соломы под ногами вместо ковра, и, развернув на столе карту, сказал Сульту: «Вот забавная шахматная доска!»

Вследствие ночного дождя обоз с продовольствием, увязший в размытых дорогах, не мог прибыть к утру, солдаты не спали, промокли и были голодны, однако это не помешало Наполеону весело крикнуть Нею: «У нас девяносто шансов из ста». В восемь часов императору принесли завтрак. Он пригласил нескольких генералов. Во время завтрака кто-то рассказал, что третьего дня Веллингтон был в Брюсселе на балу у герцогини Ричмонд, и Сульт, этот суровый воин, лицом похожий на архиепископа, заметил: «Настоящий бал – сегодня». Император подсмеивался над Неем, который сказал ему: «Веллингтон не до такой степени прост, чтобы дожидаться вашего величества». Впрочем, то была манера Наполеона. «Он охотно шутил», – говорит о нем Флери де Шабулон. «В сущности, у него был веселый нрав», – говорит Гурго. «Он так и сыпал шутками, скорее своеобразными, нежели остроумными», – говорит Бенжамен Констан. Эти шутки исполина стоят того, чтобы на них остановиться. Это он называл своих гренадер «ворчунами»; он щипал их за уши, дергал за усы. «Император только и делал, что шутки шутил над нами», – вот фраза одного из них. Во время тайного переезда с острова Эльбы во Францию, 27 февраля, военный французский бриг «Зефир», встретив в открытом море бриг «Неверный», на котором скрывался Наполеон, спросил, как чувствует себя император. Наполеон, все еще сохранявший на своей шляпе белую с красным кокарду, усеянную пчелами,

которую он стал носить на острове Эльба, смеясь, схватил рупор и сам ответил: «Император чувствует себя отлично». Кто способен на подобную шутку, тот запанибрата с судьбой. Во время завтрака под Ватерлоо Наполеоном несколько раз овладевал приступ смеха. Позавтракав, он с четверть часа предавался размышлениям, а затем два генерала уселись на соломенную подстилку, вооружившись перьями и положив лист бумаги на колени, и Наполеон продиктовал им план сражения.

В девять часов, в ту минуту, когда французская армия, построенная пятью колоннами, развернулась и двинулась вперед, сохраняя боевой порядок в две линии, с артиллерией между бригадами, с играющим походный марш оркестром во главе, барабанной дробью, звучаньем сигнальных труб, могучая, огромная, ликующая, – император, взволнованный видом этого моря касок, сабель и штыков, заколыхавшихся на горизонте, дважды воскликнул: «Великолепно! Великолепно!»

С девяти часов и до половины одиннадцатого вся армия, что может показаться невероятным, успела занять позиции и выстроилась в шесть линий, образуя, по выражению самого императора, «фигуру шести римских цифр V». Несколько мгновений спустя после приведения фронта войск в боевой порядок, среди глубокого предгрозового затишья, этого предвестника большого сражения, видя, как проходят три батареи из двенадцатифунтовых орудий, отведенные по его приказу от трех корпусов – д'Эрлона, Рейля и Лобо и предназначенные открыть бой, ударив на Мон-Сен-Жан в том месте, где пересекались дороги на Нивель и Женап, император, ударив по плечу Гаксо, сказал: «Вот двадцать четыре прелестные девушки, генерал».

Не сомневаясь в исходе сражения, он подбодрял улыбкой проходивших мимо него саперов первого корпуса, которые должны были окопаться в Мон-Сен-Жан, как только деревня будет взята. Вся эта безмятежность была только один раз нарушена высокомерными словами сожаления: заметив влево от себя, в том месте, где ныне возвышается большой могильный курган, этих изумительных, строящихся сомкнутой колонной серых шотландцев на великолепных лошадях, он промолвил: «Как жаль».

Затем, вскочив на коня, он направился к Россому и выбрал себе наблюдательным пунктом узкий гребень поросшего травой холмика, вправо от дороги из Женапа в Брюссель; это была вторая его стоянка за время битвы. Третья – в семь часов вечера – между Бель-Альянс и Ге-Сент была очень опасна; это довольно высокий пригорок, существующий еще и теперь; позади него, в ложбине, расположилась гвардия. Вокруг пригорка ядра, падая на мощенную камнем дорогу, отскакивали рикошетом к ногам Наполеона. Как и при Бриенне, над его головой свистели пули и картечь. Впоследствии, почти на том самом месте, где стоял его конь, нашли словно источенные червями ядра, старые сабельные клинки и исковерканные гранаты, изъеденные ржавчиной – *scabra rubigine*. Несколько лет тому назад здесь откопали невзорвавшийся шестидесятисантиметровый снаряд, запальная трубка которого была сломана у своего основания. Именно на этой последней остановке император сказал проводнику Лакосту, враждебно настроенному, испуганному и привязанному к седлу гусара крестьянину, который вертелся при каждом залпе картечи, стараясь спрятаться за спиной всадника: «Дурачина, как тебе не стыдно? Ведь ты получишь пулю в спину». Пишущий эти строки, разрывая песок, нашел сам в сыпучем грунте откоса остатки горлышка бомбы, изъязвленные сорокашестилетней ржавчиной, и старые обломки железа, ломавшиеся между пальцами, как веточки бузины.

Теперь холмистых неровностей долины, где состоялась встреча Наполеона и Веллингтона, уже не существует, но всем известно, каковы они были 18 июня 1815 года. Взяв у этого мрачного поля материал для возведения ему памятника, его тем самым лишили характерного рельефа, и приведенная в замешательство история не могла в нем более разобраться. Чтобы

прославить это поле, его обезобразили. Два года спустя Веллингтон, увидев поле Ватерлоо, воскликнул: «Мне подменили мое поле боя». Там, где ныне высится огромная земляная пирамида, увенчанная фигурой льва, тогда тянулись холмы, переходившие в отлогий откос по направлению к нивельской дороге, но почти отвесный со стороны женапской дороги. Высоту его можно определить и теперь еще по высоте двух холмов, двух огромных могильных курганов, стоящих по обе стороны дороги из Женапа в Брюссель; слева могила англичан, справа – немцев. Могилы французов нет вовсе. Для Франции вся эта равнина – усыпальница. Благодаря тысячам и тысячам возов земли, употребленной для насыпи, высотой в сто пятьдесят футов и около полумили в окружности, взобраться по отлогому откосу на плато Мон-Сен-Жан сейчас нетрудно, а в день битвы подступ к нему, особенно со стороны Ге-Сента, был крут и неровен. Склон его в этом месте был так обрывист, что английские пушкари не видели фермы, расположенной внизу, в глубине долины, и являвшейся средоточием битвы. К тому же 18 июня 1815 года ливни так сильно изрыли эту крутизну, грязь так затрудняла подъем, что взбираться на нее означало тонуть в грязи. Вдоль гребня плато тянулось нечто вроде рва, о существовании которого издали нельзя было и подозревать.

Что же это был за ров? Поясним. Брен-л'Алле – одна бельгийская деревня. Оэн – другая. Обе деревушки, скрытые в глубоких извилинах местности, соединены дорогой длиной мили в полторы, которая пересекает волнообразную поверхность равнины и часто, словно борозда, прорезает холмы, вследствие чего во многих местах превращается в овраг. В 1815 году дорога, как и теперь, перерезала гребень плато Мон-Сен-Жан между женапским и нивельским шоссе; сейчас она в этом месте на одном уровне с долиной, а в ту пору пролежала глубоко внизу. Оба ее откоса были скрыты, и земля оттуда пошла на возвышение для памятника. На большей части протяжения эта дорога, как и когда-то, представляет собою траншею, доходящую порой до двенадцати футов глубины; слишком крутые откосы ее местами оползали, особенно зимой, во время проливных дождей. Иногда там происходили несчастные случаи. При въезде в Брен-л'Алле дорога так узка, что однажды какой-то прохожий был там раздавлен проезжавшей телегой, о чем напоминает каменный крест на погосте, с указанием имени погибшего: «Господин Бернар Дебри, торговец из Брюсселя» и даты его гибели: «февраль 1637» [\[38\]](#). Дорога настолько глубоко прорезала плато Мон-Сен-Жан, что в 1783 году там погиб под обвалившимся откосом крестьянин Матье Никез, о чем свидетельствует второй каменный крест, верхушка которого исчезла в распаханной земле, но опрокинутое подножье можно и сейчас различить на скате, поросшем травой, с левой стороны дороги между Ге-Сент и фермой Мон-Сен-Жан.

В день битвы эта дорога, на присутствие которой тогда ничего не указывало, идущая вдоль гребня Мон-Сен-Жан и напоминающая ров на вершине крутого откоса или глубокую колею, скрытую среди пашен, была невидима, – иначе говоря, страшно опасна.

Глава 8

Император задает вопрос проводнику Лакосту

Итак, утром в день Ватерлоо Наполеон был доволен.

Он имел для этого все основания: разработанный им план сражения, как мы уже отмечали, был действительно великолепен.

И вот сражение началось; однако все его разнообразнейшие перипетии – упорное сопротивление Гугомона и Ге-Сента; гибель Бодюэна; Фуа, выбывший из строя; непредвиденное препятствие в виде стены, о которую разбилась бригада Суа; роковое легкомыслие Гильемино, не запасшегося ни петардами, ни пороховницами; увязшие в грязи

батареи; пятнадцать орудий без прикрытия, сброшенные Угсбриджем на пролегающую внизу дорогу; слишком слабое действие бомб, которые, попадая в место расположения англичан, зарывались в размытую ливнем землю, вздымая грязевые вулканы и превращая картечь в брызги грязи; бесполезный маневр Пирэ при Брен-л'Алле, почти полностью уничтоженные пятнадцать эскадронов его кавалерии; сорвавшаяся атака против правого английского крыла, неудавшийся прорыв левого; странная ошибка Нея, сосредоточившего в одной колонне четыре дивизии первого корпуса, вместо того чтобы построить их эшелонами, уплотненность их двадцати семи рядов по двести человек каждый, обреченных в тесном строю стоять под огнем картечи, страшные бреши, произведенные ядрами в этих плотных рядах; разъединение штурмовых колонн; внезапная демаскировка фланговой, расположенной наискосок, батареи; замешательство Буржуа, Донзело, Дюрюта; отброшенный назад Кио; ранение лейтенанта Вье – этого геркулеса, воспитанника Политехнической школы – как раз в тот момент, когда он, под навесным огнем с баррикады противника, преграждавшей дорогу из Женапа на повороте ее к Брюсселю, ударами топора взламывал ворота Ге-Сента; дивизия Марконье, зажата между пехотой и кавалерией, в упор расстрелянная во ржи Бестом и Пактом и изрубленная Понсонби, заклепанные семь орудий его батареи; принц Саксен-Веймарский, взявший и, несмотря на усилия графа д'Эрлона, удерживавший Фришмон и Смоэн; захваченные знамена 105-го и 45-го полков; тревожное сообщение черного гусара-пруссак, пойманного разведчиками летучей колонны из трехсот стрелков, разъезжавших между Вавром и Плансенуа; опоздание Груши; тысяча пятьсот человек, убитых в гугомонском фруктовом саду менее чем за час; тысяча восемьсот человек, павших в еще более короткий срок вокруг Ге-Сента, – все эти бурные события, словно грозовые облака, пронесившиеся перед Наполеоном в урагане сражения, почти не затуманили его взор и нисколько не омрачили царственно-спокойное чело. Наполеон привык глядеть войне прямо в глаза. Он никогда не занимался сложением, цифра за цифрой, прискорбных подробностей; цифры слагаемых были ему безразличны, лишь бы они составили нужную ему сумму – победу. Пусть неудачным оказалось начало, это его нисколько не тревожило, ибо он мнил себя господином и владыкой исхода битвы; он умел, не теряя веры в свои силы, выжидать и стоял перед судьбой, как равный перед равным. «Ты не посмеешь!» – казалось, говорил он року.

Представляя собою сочетание света и тьмы, Наполеон, творя добро, чувствовал покровительство высшей силы, а творя зло – ее терпимость к себе. Он имел – или верил в то, что имеет, – на своей стороне потворство, можно почти сказать сообщничество обстоятельств, равноценное древней неуязвимости.

Однако тому, у кого были позади Березина, Лейпциг и Фонтенебло, казалось, не надлежало бы доверять Ватерлоо. Уже зловеще хмурилось небо над его головой.

В тот момент, когда Веллингтон двинул войска назад, Наполеон вздрогнул. Он вдруг заметил, что плато Мон-Сен-Жан как бы облысело и что фронт английской армии исчезает. Стягиваясь, она скрывалась. Император привстал на стременах. Победа молнией сверкнула перед его глазами.

Загнать Веллингтона в Суаньский лес и там разгромить – вот что было бы окончательной победой французов над англичанами. Это явилось бы мщением за Креси, Пуатье, Мальплаке, Рамильи. Победитель при Маренго зачеркивал Азенкур.

Тогда император, обдумывая эту грозную развязку, в последний раз оглядел в подзорную трубку все поле битвы. Его гвардия, стоя позади него с ружьями к ноге, взирала на него снизу вверх с каким-то благоговением. Он размышлял; он изучал откосы, отмечал склоны, внимательно вглядывался в группы деревьев, в квадраты ржи, тропинки; казалось, он считал каждый куст. Особенно пристально он всматривался в английские баррикады на обеих дорогах,

в эти широкие засеки из сваленных деревьев – одну на женапской, повыше Ге-Сента, снабженную двумя пушками, единственными во всей английской артиллерии, которые могли простреливать насквозь все поле битвы, и другую – на нивельской дороге, где поблескивали штыки голландской бригады Шассе. Около этой баррикады Наполеон заметил старую, выкрашенную в белый цвет часовню Святого Николая, что на повороте дороги в Брен-л’Алле. Наклонившись, он о чем-то вполголоса спросил проводника Лакоста. Тот отрицательно покачал головой, по всей вероятности, тая коварный умысел.

Император выпрямился и задумался.

Веллингтон отступил.

Это отступление оставалось лишь довершить полным разгромом.

Внезапно обернувшись. Наполеон спешно отправил в Париж нарочного с эстафетой, извещавшей, что битва выиграна.

Наполеон был одним из гениев-громовержцев.

И вот теперь молния ударила в него самого.

Он отдал приказ кирасирам Мило взять плато Мон-Сен-Жан.

Глава 9

Неожиданность

Их было три тысячи пятьсот человек. Они растянулись по фронту на четверть мили. Это были люди-гиганты на конях-исполинах. Их было двадцать шесть эскадронов, а в тылу за ними, как подкрепление, стояли: дивизия Лефевра-Денуэта, сто шесть отборных кавалеристов, гвардейские егеря – тысяча сто девяносто семь человек, и гвардейские уланы – восемьсот восемьдесят пик. У них были каски без султанов и кованые кирасы, седельные пистолеты в кобурах и кавалерийские сабли. Утром вся армия любовалась ими, когда они в девять часов, под звуки рожков и гром оркестров, игравших «Будем на страже», появились сомкнутой колонной, с одной батареей во фланге, с другой в центре, и, развернувшись в две шеренги между женапским шоссе и Фришмоном, заняли свое боевое место в той могучей, столь искусно задуманной Наполеоном второй линии, которая, сосредоточив на левом своем конце кирасир Келлермана, а на правом – кирасир Мило, обладала, так сказать, двумя железными крылами.

Адъютант Бернар передал им приказ императора. Ней обнажил шпагу и стал во главе их. Громадные эскадроны тронулись.

Тогда представилось грозное зрелище.

Вся эта кавалерия, с саблями наголо, с развевающимися по ветру штандартами, с поднятыми вверх трубами, сформированная в колонны по дивизионам, единым духом, как один человек, с точностью бронзового тарана, пробивающего брешь, спустилась по холму Бель-Альянс, ринулась в роковую глубину, поглотившую уже столько людей, скрылась там в дыму, потом, вырвавшись из этого мрака, появилась на противоположной стороне долины, такая же сомкнутая и плотная, и стала подниматься крупной рысью, сквозь облако сыпавшейся на нее картечи, по страшному, покрытому грязью склону плато Мон-Сен-Жан. Они поднимались, сосредоточенные, грозные, непоколебимые; в промежутках между ружейными залпами и артиллерийским обстрелом слышался тяжкий топот. Состоя из двух дивизий, они двигались двумя колоннами: дивизия Ватье – справа, дивизия Делора – слева. Издали казалось, будто на гребень плато вползают два громадных стальных ужа. Они возникли в битве словно некое чудо.

Ничего подобного не было видано со времени взятия тяжелой кавалерией большого московского редута. Недоставало Мюрата, но Ней был тут. Казалось, что вся эта масса людей превратилась в сказочного дива и обрела единую душу. Эскадроны, видневшиеся сквозь

разорванное местами огромное облако дыма, извивались и вздувались, как кольца полипа. Среди пушечных залпов и звуков фанфар – хаос касок, криков, сабель, резкие движения лошадиных крупов, страшная и вместе с тем послушная воинской дисциплине сумятица. А над всем этим – кирасы, как чешуя гидры.

Можно подумать, что описываемое зрелище принадлежит иным векам. Нечто подобное этому видению являлось, вероятно, в древних орфических эпopeях, повествовавших о полулюдях-полуконях, об античных гипантропах, этих титанах с человеческими головами и лошадиным туловищем, которые вскачь взбирались на Олимп, страшные, неуязвимые, великолепные; боги и звери одновременно.

Странное совпадение чисел: двадцать шесть батальонов готовились к встрече этих двадцати шести эскадронов. За гребнем плато, в тени скрытой батареи, английская инфантерия, построенная в тринадцать каре, по два батальона в каждом, и в две линии: семь каре на первой, шесть – на второй, взяв ружья на изготовку и целясь в то, что должно было перед ней появиться, ожидала спокойная, безмолвная, неподвижная. Она не видела кирасир, кирасиры не видели ее. Она прислушивалась к нараставшему приливу этого моря людей. Она все яснее различала топот трех тысяч лошадей, бежавших крупной рысью, попеременный и мерный стук их копыт, бряцанье сабель, звяканье кирас и какое-то могучее, яростное дыхание. Наступила грозная тишина, потом внезапно над гребнем возник длинный ряд поднятых рук, потрясающих саблями, каски, трубы, штандарты и три тысячи седоусых голов, кричавших: «Да здравствует император!» Вся эта кавалерия обрушилась на плато. Это походило на начинающееся землетрясение.

Вдруг – о ужас! – налево от англичан, направо от нас, среди раздавшегося страшного вопля, кони кирасир, мчавшиеся во главе колонны, встали на дыбы. Очутившись на самом гребне плато, кирасиры, отдавшиеся необузданной ярости и готовые к смертоносной атаке на неприятельские каре и батареи, внезапно увидели между собой и англичанами провал, пропасть. То была пролежавшая в ложбине дорога на Оэн.

Мгновение это было ужасно. Перед ними, непредвиденный, круто обрываясь вниз под самыми копытами лошадей, меж двух своих откосов зиял овраг глубиной в две туазы. Второй ряд конницы столкнул туда передний, а третий столкнул туда второй; кони взвивались на дыбы, откидывались назад, падали на круп, скользили по откосу ногами вверх, сбрасывали и подминали под себя всадников. Отступить не было никакой возможности, вся колонна словно превратилась в метательный снаряд; сила, собранная для того, чтобы раздавить англичан, раздавила самих французов. Преодолеть неумолимый овраг можно было, лишь набив его доверху; всадники и кони, смешавшись, скатывались вниз, давя друг друга, образуя в этой пропасти сплошное месиво тел, и только когда овраг наполнился живыми людьми, то, ступая по ним, перешли все уцелевшие. Почти треть бригады Дюбуа погибла в этой пропасти.

Это было началом проигрыша сражения.

Местное предание, которое, вероятно, преувеличивает потери, гласит, что на этой оэнской дороге нашли себе могилу две тысячи коней и полторы тысячи всадников. Цифры эти включают, по-видимому, и все прочие трупы, сброшенные в овраг на следующий день.

Заметим мимоходом, что это была та самая, так жестоко пострадавшая бригада Дюбуа, которая за час перед тем, самостоятельно атакуя Люнебургский батальон, захватила его знамя.

Наполеон, прежде чем отдать кирасирам Мило приказ идти в атаку, тщательно исследовал местность, но дорогу в ложбине, ничем не выдававшую себя на поверхности плато, он увидеть не мог. Однако, предупрежденный видом маленькой белой часовни на пересечении этой дороги с нивельским шоссе, он насторожился и спросил проводника Лакоста о возможности какого-либо препятствия. Проводник отрицательно покачал головой. Можно почти с уверенностью

сказать, что безмолвный ответ этого крестьянина породил катастрофу Наполеона.

Суждено было последовать и другим роковым обстоятельствам.

Мог ли Наполеон выиграть это сражение? Мы отвечаем: нет. Почему? Был ли тому помехой Веллингтон? Блюхер? Нет. Помехой тому был бог.

Победа Бонапарта при Ватерлоо не входила больше в расчеты девятнадцатого века. Подготавливался другой ряд событий, где Наполеону уже не было места. Немилость рока давала о себе знать задолго до того.

Пробил час падения этого необыкновенного человека.

Чрезмерный вес его в судьбе народов нарушал общее равновесие. Его личность сама по себе значила больше, чем все человечество в целом. Этот избыток жизненной силы человечества, сосредоточенной в одной голове, целый мир, представленный, в конечном итоге, мозгом одного человека, стали бы губительны для цивилизации, если бы такое положение продолжалось. Наступила минута, когда высшая, неподкупная справедливость должна была обратить на это свой взор. Возможно, к этой справедливости вопияли те правила и те основы, которым подчинены постоянные силы тяготения как в нравственном, так и в материальном порядке вещей. Дымящаяся кровь, переполненные кладбища, материнские слезы – все это грозные обвинители. Когда мир страдает от чрезмерного бремени, мрак испускает таинственные стенания, и бездна внемлет им.

На императора вознеслась жалоба небесам, и падение его было предрешено.

Он мешал богу.

Ватерлоо отнюдь не битва. Это изменение облика всей вселенной.

Глава 10

Плато Мон-Сен-Жан

Почти в то же самое мгновение, когда обнаружился овраг, обнаружилась и батарея.

Шестьдесят пушек и тринадцать каре открыли огонь в упор по кирасирам. Неустрашимый генерал Делор отдал военный салют английской батарее.

Вся английская конная артиллерия галопом вернулась к своим каре. Кирасиры не остановились ни на мгновение. Катастрофа во рву сократила их ряды, но не лишила мужества. Они были из тех людей, доблесть коих возрастает с уменьшением их численности.

Колонна Ватье одна пострадала от бедствия. Колонна Делора, которой Ней, будто предчувствуя западню, приказал идти стороной, влево, пришла в целости.

Кирасиры ринулись на английские каре.

Они неслись во весь опор, отпустив поводья, с саблями в зубах, с пистолетами в руках, – такова была эта атака.

В сражениях бывают минуты, когда душа человека до того ожесточается, что превращает солдата в статую, и тогда вся эта масса плоти становится гранитом. Английские батальоны не дрогнули перед отчаянным натиском.

Тогда наступило нечто страшное.

Весь фронт английских каре был атакован сразу. Неистовый вихрь налетел на них. Но эта стойкая пехота оставалась непоколебимой. Первый ряд, опустившись на колено, встречал кирасир в штыки, второй расстреливал их; за вторым рядом канониры заряжали пушки; фронт каре разверзлся, пропуская шквал картечного огня, и смыкался вновь. Кирасиры отвечали на это новой атакой. Огромные кони вздымались на дыбы, перескакивали через ряды каре, перепрыгивали через штыки и падали, подобные гигантам, среди этих четырех живых стен. Ядра пробивали бреши в рядах кирасир, а кирасиры пробивали бреши в каре. Целые шеренги

солдат исчезали, раздавленные лошадьми. Штыки вонзались в брюхо кентавров. Вот причина тех уродливых ран, которых, быть может, никогда не видали при других битвах. Каре, как бы прогрызаемые этой бешеной кавалерией, стягивались, но не поддавались. Их запасы картечи были неистощимы, и взрыв следовал за взрывом среди самой массы штурмующих. Чудовищна была картина этого боя! Каре были уже не батальоны, а кратеры; кирасиры – не кавалерия, а ураган. Каждое каре превратилось в вулкан, атакованный тучей; лава боролась с молнией.

Крайнее каре справа, лишенное защиты с двух сторон и подвергшееся наибольшей опасности, было почти полностью уничтожено при первом же столкновении. Оно состояло из 75-го полка шотландских горцев. В то время как вокруг шла резня, в центре атакуемых вольтер, сидевший на барабане, в глубоком спокойствии опустил меланхолический взор, полный отражений родных озер и лесов, играл песни горцев. Шотландцы умирали с мыслью о Бен Лотиане, подобно грекам, вспоминаям об Аргосе. Сабля кирасира, отсекая вольтеру вместе с державшей ее рукой, заставила смолкнуть песню, убив певца.

Кирасирам, сравнительно немногочисленным, к тому же понесшим потери при катастрофе в овраге, противостояла чуть ли не вся английская армия, но они словно умножились, ибо каждый из них стоил десяти. Между тем несколько ганноверских батальонов отступило. Веллингтон заметил это и вспомнил о своей кавалерии. Если бы Наполеон в этот же момент вспомнил о своей пехоте, он выиграл бы сражение. То, что он забыл о ней, было его великой, роковой ошибкой.

Атакующие внезапно превратились в атакуемых. В тылу у кирасир оказалась английская кавалерия. Впереди – каре, позади – Сомерсет; Сомерсет означал тысячу четыреста гвардейских драгун. У Сомерсета по правую руку был Дорнберг с немецкой легкой кавалерией, по левую – Трип с бельгийскими карабинерами; кирасиры, атакуемые с фланга и с фронта, спереди и с тыла пехотой и кавалерией, должны были отбиваться во все стороны. Но не все ли равно им было? Они стали вихрем. Их доблесть перешла границы возможного.

Кроме того, в тылу у них непрерывно гремела батарея. Только при таком условии эти люди могли быть ранены в спину. Одна из их кирас, пробитая у левой лопатки, находится в коллекции музея Ватерлоо.

Против таких французов могли устоять только такие же англичане.

То была уже не сеча, а мрак, неистовство, головокружительный порыв душ и доблестей, ураган сабельных молний. В одно мгновение из тысячи четырехсот драгун осталось лишь восемьсот; их командир, подполковник Фуллер, пал мертвым. Ней подоспел с уланами и егерями Лефевра-Денуэта. Плато Мон-Сен-Жан было взято, отбито и взято вновь. Кирасиры оставляли кавалерию, чтобы снова обрушиться на пехоту, – вернее говоря, в этой ужасающей давке люди сошлись грудь с грудью, схватились врукопашную. Каре продолжали держаться.

Они выдержали двенадцать атак. Под Неем было убито четыре лошади. Половина кирасир полегла на плато. Битва длилась два часа.

Войска англичан были сильно потрепаны. Без сомнения, не будь кирасиры ослаблены при первой же своей атаке катастрофой на дороге в ложбине, они опрокинули бы центр и одержали бы победу. Эта необыкновенная кавалерия поразила Клинтона, видевшего Талаверу и Бадахос. Веллингтон, на три четверти побежденный, героически отдавал им должное, повторяя вполголоса: «Великолепно!»^[39]

Кирасиры уничтожили семь каре из тринадцати, захватили или заклепали шестьдесят пушек и отняли у англичан шесть знамен, которые были отнесены императору, к ферме Бель-Альянс, тремя кирасирами и тремя гвардейскими егерями.

Положение Веллингтона ухудшилось. Это страшное сражение было похоже на поединок между двумя остервенелыми ранеными бойцами, когда оба они, продолжая нападать и

отбиваться, истекают кровью. Кто падет первый?

Борьба на плато продолжалась.

Докуда дошли кирасиры? Никто не мог бы определить этого. Достоверно лишь одно: на следующий день после сражения, в том месте, где перекрещиваются четыре дороги – на Нивель, Женап, Ла-Гюльп и Брюссель, на площадке монсенжанских весов для взвешивания повозок были найдены трупы кирасира и его коня. Этот всадник пробился сквозь английские линии. Один из людей, поднявших труп, до сих пор проживает в Мон-Сен-Жан. Его зовут Дегаз. Тогда ему было восемнадцать лет.

Веллингтон чувствовал, что почва ускользает из-под его ног. Развязка приближалась.

Кирасиры не достигли желаемой цели в том смысле, что не прорвали центра. Так как плато принадлежало тем и другим, то оно не принадлежало никому, однако большая часть его оставалась в конечном счете за англичанами. Веллингтон удерживал деревню и верхнюю часть плато. Ней держал только гребень и склон. Обе стороны словно пустили корни в эту могильную землю.

Но поражение англичан казалось неизбежным: армия ужасающим образом истекала кровью. Кемпт на левом крыле требовал подкреплений. «Их нет, – отвечал Веллингтон, – пусть даст себя убить!» Почти в ту же самую минуту – и это странное совпадение свидетельствует об истощении обеих армий – Ней требовал у Наполеона пехоты, и Наполеон восклицал: «Пехоты! А где я ее возьму? Сотворить мне ее, что ли!»

Однако английская армия была более истощена. Яростные броски этих исполинских эскадронов в кованых кирасах со стальными нагрудниками смяли пехоту. Лишь по кучке солдат, окружавших знамя, можно было судить о том, что здесь был полк; иными батальонами командовали теперь только капитаны или лейтенанты; дивизия Альтена, уже сильно пострадавшая при Ге-Сенте, была почти истреблена; неустрашимые бельгийцы из бригады Ван-Клузе устилали своими трупами ржаное поле вдоль нивельской дороги. Не оставалось почти ни единого человека от тех голландских гренадер, которые в 1811 году в одних рядах с французами сражались с Веллингтоном в Испании, а в 1815 году, примкнув к англичанам, сражались с Наполеоном. Потери среди командиров были очень значительны. У лорда Угсбриджа, который на другой день велел похоронить свою отрезанную ногу, было раздроблено колено. Если у французов во время атаки кирасир выбыли из строя Делор, Леритье, Кольбер, Дноп, Траверс и Бланкар, то у англичан Альтен был ранен, Барн ранен, Делансе убит, Ван-Меерен убит, Омштеда убит, генеральный штаб Веллингтона опустошен, и на долю Англии выпала горшая участь в этом кровавом равновесии. 2-й полк гвардейской пехоты лишился пяти подполковников, четырех капитанов и трех прапорщиков; первый батальон 30-го пехотного полка потерял двадцать четыре офицера и сто двенадцать солдат; у 79-го полка горцев было ранено двадцать четыре офицера, убито восемнадцать офицеров, уничтожено четыреста пятьдесят рядовых. Целый полк ганноверских гусар Камберленда, с полковником Гаке во главе, – его впоследствии судили и разжаловали, – повернул вспять, испугавшись рукопашной схватки, и бежал Суаньским лесом, сея смятение до самого Брюсселя. Увидев, что французы продвинулись вперед и приближаются к лесу, фурштат, фуражные повозки, обозы, фургоны, переполненные ранеными, тоже ринулись назад; голландцы под саблями французской кавалерии вопили: «Спасите!» От Вер-Куку до Гренандаля, на протяжении почти двух миль в направлении Брюсселя, вся местность, по свидетельству очевидцев, которые живы еще и теперь, была запружена беглецами. Паника была так сильна, что докатилась до принца Конде в Мехельне и Людовика XVIII – в Генте. За исключением слабого резерва, построенного эшелонами позади лазарета на ферме Мон-Сен-Жан, и бригад Вивиана и Ванделера, прикрывавших левый фланг, у Веллингтона кавалерии больше не было. Целые батареи валялись на земле, сбитые с лафетов.

Эти факты подтверждены Сиборном, а Прингль, преувеличивая бедствие, говорит даже, будто численность англо-голландской армии была сведена к тридцати четырем тысячам человек. Железный герцог оставался невозмутимым, однако губы его побледнели. Австрийский кригс-комиссар Винцент, испанский кригс-комиссар Алава, присутствовавшие при сражении в английском генеральном штабе, считали герцога погибшим. В пять часов Веллингтон вынул часы, и окружающие слышали, как он прошептал мрачные слова: «Блюхер или ночь!»

Именно в эту минуту и сверкнул ряд штыков вдалеке на высотах, в стороне Фришмона.

И тут наступил перелом в этой исполинской драме.

Глава 11

Дурной проводник у Наполеона, хороший у Бюлова

Трагическое заблуждение Наполеона всем известно; он ждал Груши, а явился Блюхер – смерть вместо жизни.

Судьба порой делает такие крутые повороты: человек рассчитывал на мировой трон, а перед ним возникает остров Св. Елены.

Если бы пастушок, служивший проводником Бюлову, генерал-лейтенанту при Блюхере, посоветовал ему выйти из лесу повыше Фришмона, а не ниже Плансенуа, быть может, судьба девятнадцатого века была бы иной. Наполеон выиграл бы сражение при Ватерлоо. Следуя любым иным путем, кроме пролегающего ниже Плансенуа, прусская армия встретила бы непроходимый для артиллерии овраг, и Бюлов не подоспел бы вовремя.

Между тем один лишь час промедления (так говорит генерал Мюфлинг) – и Блюхер не застал бы уже прежнего Веллингтона: «Битва при Ватерлоо была бы проиграна».

Как явствует из всего, Блюхеру пора было явиться. Однако он сильно запоздал. Он стоял бивуаком на Дион-ле-Мон и выступил с зарей. Но дороги были непроезжие, и его дивизии застревают в грязи. Пушки вязли в колеях по самые ступицы. Кроме того, пришлось переправляться через реку Диль по узкому Ваврскому мосту; улица, ведущая к мосту, была подожжена французами; зарядные ящики и артиллерийский обоз не могли пробиться сквозь двойной ряд пылающих домов и должны были ждать, пока кончится пожар. К полудню авангард Бюлова все еще не достиг Шапель-Сен-Ламбер.

Если бы сражение началось двумя часами ранее, оно окончилось бы к четырем часам, и Блюхер подоспел бы к победе Наполеона. Таковы эти великие случайности, соразмерные с бесконечностью, которую мы не в силах постичь.

Еще в полдень император первый в зрительную трубу заметил на горизонте нечто, приковавшее его внимание. «Я вижу там вдали облако, мне кажется, это войско», – сказал он. Затем, обратившись к герцогу Дальматскому, спросил: «Сульт, что вы видите в направлении Шапель-Сен-Ламбер?» Маршал, приставив к глазам свою зрительную трубу, ответил: «Четыре или пять тысяч человек, ваше величество. Очевидно, Груши!» Между тем все это хранило неподвижность, утопая в тумане. Зрительные трубы генерального штаба внимательно изучали «облако», замеченное императором. Некоторые утверждали: «Это колонны на бивуаке». Большинство же говорило: «Это деревья». Несомненно было лишь то, что облако не двигалось. Император отправил на разведку к этому темному пятну дивизион легкой кавалерии Домона.

Бюлов действительно не двигался. Его авангард был очень слаб и не мог принять боя. Он принужден был дожидаться главных сил корпуса и получил приказ сосредоточить войска, прежде чем построиться в боевом порядке; но в пять часов, при виде бедственного положения Веллингтона, Блюхер приказал Бюлову наступать и произнес знаменитые слова: «Надо дать передышку английской армии».

Вскоре дивизии Лостена, Гиллера, Гаке и Рисселя развернулись перед корпусом Лобо, кавалерия принца Вильгельма Прусского выступила из Парижского леса, Плансенуа запылало, и прусские ядра посыпались градом, залетали даже в ряды гвардии, стоявшей в резерве позади Наполеона.

Глава 12

Гвардия

Остальное известно: вступление в бой третьей армии, дислокация сражения, восемьдесят шесть внезапно загрохотавших пушечных жерл, появление вместе с Бюловым Пирха 1-го, предводительствуемая самим Блюхером кавалерии Цитена, оттесненные французы, сброшенный с оэнского плато Марконье, выбитый из Папелота Дюрют, отступающие Донзело и Кио, окруженный Лобо, стремительно разворачивающаяся к ночи новая битва, наши беззащитные полки, переходящая в наступление и двинувшаяся вперед вся английская пехота, огромная брешь во французской армии, дружные усилия английской и прусской картечи, истребление, разгром фронта, разгром флангов, и среди этого ужасного развала – вступающая в бой гвардия.

Идя навстречу неминуемой смерти, гвардия кричала: «Да здравствует император!» История не знает ничего более волнующего, чем эта агония, исторгающая приветственные клики.

Весь день небо было пасмурно. Вдруг, в тот самый момент – а было восемь часов вечера, – тучи на горизонте разорвались и пропустили сквозь ветви вязов, росших вдоль нивельской дороги, зловещий ярко-багровый отблеск заходящего солнца. Под Аустерлицем оно всходило.

Каждый гвардейский батальон к развязке этой драмы был под началом генерала. Фриан, Мишель, Роге, Гарле, Мале, Поре де Морван – все были тут! Когда высокие шапки гренадеров с изображением орла на широких бляхах показались во мгле этой сечи стройными, ровными, невозмутимыми, величественно-гордыми рядами, неприятель почувствовал уважение к Франции. Казалось, двадцать богинь победы с развернутыми крылами вступили на поле боя, и те, что были победителями, считая себя побежденными, отступили; но Веллингтон крикнул: «Ни с места, гвардейцы, и целься вернее!» Полк красных английских гвардейцев, залегших позади плетней, поднялся, туча картечи пробила трехцветное знамя, реявшее над нашими орлами, солдаты сшиблись друг с другом, и началась беспримерная резня. В темноте императорская гвардия почувствовала, как дрогнули вокруг нее войска, как всколыхнулась огромная волна беспорядочного отступления, услышала крики: «Спасайся кто может!» – вместо прежнего: «Да здравствует император!» и, зная, что за ее спиной бегут, все же продолжала наступать, осыпаясь все возрастающим градом снарядов, теряя все больше людей с каждым своим шагом. Тут не было ни робких, ни нерешительных. Всякий солдат в этом полку был героем, равно как и генерал. Ни один человек не уклонился от самоубийства.

Ней, вне себя, величественный в своей решимости принять смерть, подставлял грудь всем ударам этого шквала. Под ним убили пятую лошадь. Весь в поту, с пылающим взором, с пеной на губах, в расстегнутом мундире, с одной эполетой, полуотсеченной сабельным ударом английского конногвардейца, со сплюснутым крестом Большого орла, окровавленный, забрызганный грязью, великолепный, со сломанной шпагой в руке, он восклицал: «Смотрите, как умирает маршал Франции на поле битвы!» Но тщетно: он не умер. Он был растерян и возмущен. «А ты? Неужели ты не хочешь, чтобы тебя убили?» – крикнул он Друэ д'Эрлону. Под этим сокрушительным артиллерийским огнем, направленным против горсточку людей, он кричал: «Значит, на мою долю ничего? О, я хотел бы заполучить в живот все эти английские

ядра!» Несчастный, ты уцелел, чтобы пасть от французских пуль!

Глава 13

Катастрофа

Отступление в тылу гвардии носило зловеющий характер.

Армия вдруг дрогнула со всех сторон одновременно – у Гугомона, Ге-Сента, Папелота, Плансенуа. За криками: «Измена!» раздалось: «Спасайся!» Разбегающаяся армия подобна оттепели. Все оседает, дает трещины, колеблется, ломается, катится, рушится, сталкивается, торопится, мчится. Это неописуемый распад целого. Ней хватает у кого-то коня, вскакивает на него и, без шляпы, без шейного платка, без шпаги, становится поперек брюссельского шоссе, задерживая и англичан и французов. Он пытается остановить армию, он призывает ее вернуться, он оскорбляет ее, он цепляется за убегающих, он рвет и мечет. Солдаты, обегая его, кричат: «Да здравствует маршал Ней!» Два полка Дюрюта мечутся в замешательстве, как мяч, перебрасываемый то туда, то сюда, между саблями уланов и огнем бригад Кемпта, Беста, Пакка и Риландта. Опаснейшая из схваток – это бегство; друзья убивают друг друга ради собственного спасения, эскадроны и батальоны разбиваются друг о друга и рассеиваются, словно гигантская пена битвы. Лобо на одном конце, Рейль на другом втянуты в этот поток. Тщетно Наполеон ставит ему преграды с помощью остатков своей гвардии, напрасно в последнем усилии жертвует последними эскадронами личной охраны. Кио отступает перед Вивианом, Келлерман – перед Ванделером, Лобо – перед Бюловым, Моран – перед Пирхом, Домон и Сюбервик – перед принцем Вильгельмом Прусским. Гийо, который повел в атаку императорские эскадроны, падает, затоптанный конями английских драгун. Наполеон галопом проносится вдоль верениц беглецов, увещевает, настаивает, угрожает, умоляет. Все уста, еще утром кричавшие: «Да здравствует император!» – теперь безмолвствуют; его почти не узнают. Только что прибывшая прусская кавалерия налетает, несется, сечет, рубит, режет, убивает, истребляет. Упряжки сталкиваются, орудия мчатся прочь, обозные выпрягают лошадей из артиллерийских повозок и бегут, фургоны, опрокинутые вверх колесами, загромождают дорогу и служат причиной новой бойни. Люди давят, теснят друг друга, ступают по живым и по мертвым. Руки разят наугад, что и как попало. Несметные толпы наводняют дороги, тропинки, мосты, равнины, холмы, долины, леса – все запружено этой обращенной в бегство сорокатысячной массой людей. Вопли, отчаяние, брошенные в рожь ружья и ранцы, расчищенные ударами сабель проходы; нет уже ни товарищей, ни офицеров, ни генералов, – царит один невообразимый ужас. Там – Цитен, крошащий Францию в свое удовольствие. Там – львы, превращенные в ланей. Таково было это бегство!

В Женапе сделали попытку задержаться, укрепиться, дать отпор врагу. Лобо собрал триста человек. Построили баррикады при входе в селение; но при первом же залпе прусской артиллерии все снова бросились бежать, и Лобо был взят в плен. До сих пор видны следы этого залпа на коньке полуразвалившегося кирпичного дома по правую сторону дороги, в нескольких минутах езды от Женапа. Пруссак ринулись на Женап, разъяренные, по-видимому, такой бесславной победой. Преследование французов приняло чудовищные формы. Блюхер отдал приказ о поголовном истреблении. Мрачный пример подал этому Роге, угрожавший смертью всякому французскому гренадеру, который привел бы к нему прусского пленного. Блюхер превзошел Роге. Дюгем, генерал молодой гвардии, прижатый к двери одной женапской харчевни, отдал свою шпагу гусару смерти, тот взял оружие и убил пленного. Победа закончилась резней побежденных. Вынесем же приговор, коль скоро мы олицетворяем собою историю: старик Блюхер опозорил себя. Эта жестокость довершила бедствие. Отчаявшиеся

беглецы миновали Женап, миновали Катр-Бра, миновали Госели, Фран и Шарлеруа, миновали Тюэн и остановились лишь на границе. Увы! Но кто же это так позорно бежал? Великая армия.

Неужели эта растерянность, этот ужас, это крушение величайшего, невиданного в истории мужества были беспричинны? Нет. Громадная тень десницы божьей простирается над Ватерлоо. Это день свершения судьбы. Сила нечеловеческая предопределила этот день. Оттого-то в ужасе склонились все эти головы; оттого-то все эти великие души сложили оружие. Победители Европы пали, повергнутые во прах, не зная ни что сказать, ни что предпринять, ощущая во мраке присутствие чего-то страшного. Нос erat in fatis^[40]. В этот день перспективы всего рода человеческого изменились. Ватерлоо – это тот стержень, на котором держится девятнадцатый век. Исчезновение великого человека необходимо было для наступления великого столетия. И это взял на себя тот, кому не прекословят. Паника героев объяснима. В сражении при Ватерлоо появилось нечто более значительное, нежели облако: появился метеор. Там побывал бог.

В сумерки, в поле, неподалеку от Женапа, Бернар и Бертран схватили за полу редингота и остановили угрюмого, погруженного в думы, мрачного человека, который, будучи занесен до этого места потоком беглецов, только что спешил и, сунув поводья под мышку, брел одиноко, с блуждающим взглядом, назад к Ватерлоо. То был Наполеон, еще пытавшийся идти вперед, – великий лунатик, влекомый этой погибшей мечтой.

Глава 14

Последнее каре

Несколько каре гвардии, неподвижные в бурлящем потоке отступающих, подобно скалам среди водоворота, продолжали держаться до ночи. Наступала ночь, а с нею вместе смерть; они ожидали этого двойного мрака и, непоколебимые, дали ему себя окутать. Каждый полк, оторванный от другого и лишенный связи с разбитой наголову армией, умирал одиноко. Чтобы свершить этот последний подвиг, одни каре расположились на высотах Россомы, другие на равнине Мон-Сен-Жан. Там, покинутые, побежденные, грозные, эти мрачные каре встречали страшную смерть. С ними умирали Ульм, Ваграм, Иена и Фридланд.

В сумерках, около девяти часов вечера, у подошвы плато Мон-Сен-Жан все еще держалось одно каре. В этой зловещей долине у подножия склона, преодоленного кирасирами, а сейчас занятого войсками англичан, под перекрестным огнем победоносной неприятельской артиллерии, под плотным ливнем снарядов, каре продолжало бороться. Командовал им незаметный офицер по имени Камброн. При каждом залпе каре уменьшалось, но продолжало отбиваться. На картечь оно отвечало ружейной пальбой, непрерывно стягивая свои четыре стороны. Останавливаясь на мгновение, запыхавшиеся беглецы прислушивались издали, в ночной тьме, к этим затихающим мрачным громовым раскатам.

Когда от всего легиона осталась лишь горсть людей, когда их знамя превратилось в лохмотья, когда их ружья, расстрелявшие все пули, превратились в простые палки, когда количество трупов превысило количество оставшихся в живых, тогда победителей объял некий священный ужас перед этими полными божественного величия умирающими воинами, и английская артиллерия, словно переводя дух, умолкла. То была как бы отсрочка. Казалось, вокруг сражавшихся толпились призраки, силуэты всадников, черные профили пушек; сквозь колеса и лафеты просвечивало белесоватое небо. Чудовищная голова смерти, которую герои всегда смутно различают сквозь дым сражений, надвигалась на них, глядела им в глаза. В сумеречной темноте они слышали, как заряжают орудия; зажженные фитили, похожие на глаза тигра в ночи, образовали вокруг их голов кольцо, к пушкам всех английских батарей

приблизилась запальники. И тогда английский генерал Кольвиль – по словам одних, а по словам других – Метленд, задержав смертоносный меч, уже занесенный над этими людьми, крикнул, взволнованный: «Сдавайтесь, храбрецы!» Камброн ответил: «Merde!»

Глава 15

Камброн

Из уважения к французскому читателю это слово, быть может самое прекрасное, которое когда-либо было произнесено французом, не должно повторять. Свидетельствовать в истории о сверхчеловеческом воспрещено.

На свой страх и риск мы преступим этот запрет.

Итак, среди этих исполинов был титан – Камброн.

Крикнуть это слово и затем умереть, что может быть величественнее? Ибо желать умереть – это и есть умереть, и не его вина, если этот человек, расстрелянный картечью, пережил себя.

Человек, выигравший сражение при Ватерлоо, – это не обращенный в бегство Наполеон, не Веллингтон, отступавший в четыре часа утра и пришедший в отчаяние в пять, это не Блюхер, который совсем не сражался; человек, выигравший сражение при Ватерлоо, – это Камброн.

Поразить подобным словом гром, который вас убивает, – это значит победить!

Дать такой ответ катастрофе, сказать это судьбе, заложить такое основание для будущего льва, бросить эту реплику дождю, ночи, предательской стене Гугомона, оэнской дороге, опозданию Груши, прибытию Блюхера, иронизировать даже в могиле, не пасть, будучи поверженным наземь, в двух слогах утопить европейскую коалицию, предложить королям известное отхожее место цезарей, сделать из последнего слова первое, придав ему весь блеск Франции, дерзко завершить Ватерлоо карнавалом Леонидаса, дополнить Рабле, подвести итог этой победе тем грубейшим словом, которое не произносят вслух, утратить свое место на земле, но сохранить его в истории, после такой бойни привлечь на свою сторону насмешников – это непостижимо!

Это оскорбить молнию. В этом эсхилловское величие.

Слово Камброна подобно звуку, сопровождающему образование трещины. Это треснула грудь под напором презрения; это избыток смертной муки, вызвавший взрыв. Кто же победил?

Веллингтон? Нет. Без Блюхера он бы погиб. Блюхер? Нет. Если бы Веллингтон не начал сражения, Блюхер не закончил бы его. Камброн, этот пришелец последнего часа, этот никому не ведомый солдат, эта бесконечно малая частица войны, чувствует, что здесь скрывается ложь, ложь в самой катастрофе, вдвойне непереносимая; и в ту минуту, когда он дошел до бешенства, ему предлагают это посмешище – жизнь. Как не выйти из себя? Вот они, все налицо, эти короли Европы, удачливые генералы, Юпитеры-громовержцы, у них сто тысяч победоносного войска, а позади этих ста тысяч еще миллион, их пушки с зажженными фитилями уже разверзли свои пасти, императорская гвардия и великая армия у них под пятой, они только что сокрушили Наполеона, – и остался один Камброн; чтобы протестовать, остался только этот жалкий земляной червь. Он будет протестовать! И вот он подбирает слово, как подбирают шпагу. Рот его наполняется слюной, эта слюна и есть нужное ему слово. Перед лицом этой величайшей и жалкой победы, перед этой победой без победителей, он, отчаявшийся, воспрянул духом; он несет на себе ее чудовищное бремя, но он же подтверждает всю ее ничтожность; он не только плюет на нее, больше того, изнемогая под гнетом численности, силы и грубой материи, он находит в душе слово, обозначающее мерзкий отброс. Повторяем, сказать это, сделать это, найти это – значит быть победителем!

В роковую минуту дух великих дней проник в этого неизвестного человека. Камброн нашел

слово, воплотившее Ватерлоо, как Руже де Лиль нашел «Марсельезу», – это произошло по вдохновению свыше. Дыхание божественного урагана долетело до этих людей, пронзило их, они затрепетали, и один запел священную песнь, другой испустил чудовищный вопль. Свое свидетельство титанического презрения Камброн бросает не только Европе от имени Империи, – этого было бы недостаточно, – он бросает его прошлому от имени революции. Его слышали, и в Камброне распознали душу гигантов былых времен. Казалось, будто снова заговорил Дантон или зарычал Клебер.

В ответ на слово Камброна голос англичанина скомандовал: «Огонь!» Сверкнули батареи, дрогнул холм, все эти медные пасти изрыгнули последний залп губительной картечи; за клубился густой дым, слегка посеребренный восходящей луной, и когда он рассеялся, все исчезло. Остатки грозного воинства были уничтожены, гвардия умерла. Четыре стены живого редута лежали недвижимо, лишь кое-где среди трупов можно было заметить последнюю судорогу агонии. Так погибли французские легионы, еще более великие, чем римские легионы. Они пали на плато Мон-Сен-Жан, на промокнувшей от дождя и крови земле, среди почерневших колосьев, на том месте, где ныне, в четыре часа утра, посвистывая и весело погоняя лошадь, проезжает Жозеф, кучер почтовой кареты, направляющейся в Нивель.

Глава 16

Quot libras in duce?^[41]

Сражение при Ватерлоо – загадка. Оно одинаково непонятно и для тех, кто выиграл его, и для тех, кто его проиграл. Для Наполеона – это паника^[42], Блюхер видит в нем лишь сплошную пальбу; Веллингтон ничего в нем не понимает. Просмотрите рапорты. Сводки туманны, пояснительные примечания сбивчивы. Одни запинаятся, другие что-то невнятно лепечут. Жомини разделяет битву при Ватерлоо на четыре фазы; Мюфлинг расчленяет ее на три эпизода; один Шарас – хотя в оценке некоторых вещей мы с ним и расходимся – уловил своим острым взглядом характерные черты этой катастрофы, которую потерпел человеческий гений в борьбе со случайностью, предначертанной свыше. Все прочие историки как бы ослеплены, и, ослепленные, они движутся ощупью. Действительно, то был день, подобный вспышке молнии, то была гибель военной монархии, увлекшей за собой, к великому изумлению королей, все королевства, то было крушение силы, поражение войны.

В этом событии, отмеченном высшей необходимостью, человек не играл никакой роли.

Разве отнять Ватерлоо у Веллингтона и Блюхера – значит лишить чего-то Англию и Германию? Нет. Ни о прославленной Англии, ни о величественной Германии нет и речи при обсуждении проблемы Ватерлоо. Благодарение небу, величие народов не зависит от мрачных походов меча и шпаги. Германия, Англия и Франция славны не силой оружия. В эпоху, когда Ватерлоо не более как бряцание сабель, в Германии над Блюхером возвышается Гете, а в Англии над Веллингтоном – Байрон. Нашему веку присуще широкое возникновение идей; в сияние этой утренней зари вливают свой сверкающий луч и Англия и Германия. Они полны величия, ибо они мыслят. Повышение уровня цивилизации является их прирожденным свойством, оно вытекает из их сущности и нисколько не зависит от случая. Возвышение их в девятнадцатом веке отнюдь не имело своим источником Ватерлоо. Лишь народы-варвары внезапно вырастают после победы. Так вздувается после грозы ненадолго поток. Цивилизованные народы, особенно в современную нам эпоху, не возвышаются и не падают из-за удачи или неудачи полководца. Их удельный вес среди рода человеческого является следствием чего-то более значительного, нежели сражение. Слава богу, их честь, их

достоинство, их просвещенность, их гений не являются выигрышным билетом, на который герои и завоеватели – эти игроки – могут рассчитывать в лотереях сражений. Случается, что битва проиграна, а прогресс выиграл. Меньше славы, зато больше свободы. Умолкает дробь барабана, и возвышает свой голос разум. Это игра, в которой выигрывает тот, кто проиграл. Обсудим же хладнокровно Ватерлоо с двух точек зрения. Припишем случайности то, что было случайностью, и воле божьей то, что было волей божьей. Что такое Ватерлоо? Победа? Нет. Квинта в игре.

Выигрыш достался Европе, но оплатила его Франция.

Водружать там льва не стоило.

Впрочем, Ватерлоо – это одно из самых своеобразных столкновений в истории. Наполеон и Веллингтон. Это не враги – это противоположности. Никогда бог, которому нравятся антитезы, не создавал контраста более захватывающего и очной ставки более необычайной. С одной стороны – точность, предусмотрительность, математический расчет, осторожность, обеспеченные пути отступления, сбереженные резервы, непоколебимое хладнокровие, невозмутимая методичность, стратегия, извлекающая выгоду из местности, тактика, согласующая действия батальонов, резня, строго соблюдающая предписанные правила, война, ведущаяся с часами в руках, никакого упования на случайность, старинное классическое мужество, безошибочность во всем; с другой – интуиция, провиденье, своеобразие военного мастерства, нечеловеческое чутье, блистающий взор, нечто, обладающее орлиной зоркостью и разящее подобно молнии, чудесное искусство в сочетании с высокомерной пылкостью, все тайны глубокой души, союз с роком, река, равнина, лес, холм, собранные воедино и словно принужденные к повиновению, деспот, доходящий до того, что подчиняет своей тирании даже поля брани, вера в свою звезду, соединенная с искусством стратегии, возвеличенным ею, но в то же время смущенным. Веллингтон – это Барем войны, Наполеон – ее Микеланджело; и на этот раз гений был побежден расчетом.

Один и другой кого-то поджидали. И тот, кто рассчитал правильно, восторжествовал. Наполеон ждал Груши – тот не явился. Веллингтон ждал Блюхера – тот прибыл.

Веллингтон – это война классическая, мстящая за давний проигрыш. На заре своей военной карьеры Наполеон столкнулся с такой войной в Италии и одержал тогда блистательную победу. Старая сова спасовала перед молодым ястребом. Прежняя тактика была не только разбита наголову, но и посрамлена. Кто был этот двадцатилетний корсиканец, что представлял собой этот великолепный невежда, который, имея все против себя и ничего за себя, без провианта, без боевых припасов, без пушек, без обуви, почти без армии, с горстью людей против целых полчищ, обрушивался на все объединенные силы Европы и самым нелепым образом одерживал победы там, где это казалось совершенно невозможным? Откуда явился этот грозный безумец, который, почти не переводя дыхания и с теми же картами в руках, расплыл одну за другой пять армий германского императора, опрокинув за Альвицем Болье, за Болье Вурмсера, за Вурмсером Меласа, за Меласом Макка? Кто был этот новичок в боях, обладавший дерзкой самоуверенностью небесного светила? Академическая школа военного искусства отлучила его, доказав этим собственную несостоятельность. Вот откуда вытекает неукротимая злоба старого цезаризма против нового, злоба вымуштрованной сабли против огненного меча, злоба шахматной доски против гения. 18 июня 1815 года за этой упорной злобой осталось последнее слово, и под Лоди, Монтебелло, Монтенотом, Мантуей, Маренго и Арколем она начертала: «Ватерлоо». То был приятный большинству триумф посредственности. Судьба допустила эту иронию. На закате своей жизни и славы Наполеон снова встретился лицом к лицу с молодым Вурмсером.

Чтобы получить настоящего Вурмсера, было бы достаточно выбелить волосы Веллингтона.

Ватерлоо – это первостепенная битва, выигранная второстепенным полководцем.

Но кем следует восхищаться в сражении при Ватерлоо – это Англией, английской твердостью, английской решимостью, английским темпераментом. Самое великолепное, что было в этой битве, – это, не во гнев ей будь сказано, сама Англия. Не ее полководец, но ее армия.

Веллингтон с поразительной неблагодарностью заявляет в своем письме к лорду Батгерсту, что его армия, армия, сражавшаяся 18 июня 1815 года, была «отвратительной армией». Что думает об этом мрачное скопище человеческих костей, зарытых на полях Ватерлоо?

Англия была слишком скромна по отношению к Веллингтону. Возвеличить подобным образом Веллингтона – это умалить Англию. Веллингтон такой же герой, как и прочие, не больше. Эти серые шотландцы, эти конные гвардейцы, эти полки Метленда и Митчела, эта пехота Пакка и Кемпта, эта кавалерия Понсонби и Сомерсета, эти горцы, играющие на волынке под картечью, эти батальоны Риландта, эти только что призванные новобранцы, едва умеющие владеть оружием, но давшие отпор испытанным рубакам Эслинга и Риволи, – вот кто велик. Веллингтон был стоек, в этом его заслуга, и мы этого не оспариваем; но самый незаметный из его пехотинцев и кавалеристов был не менее тверд, чем он. Железные солдаты стоили своего железного герцога. Что же касается нас, то все наши хвалы мы отдадим английскому солдату. Если кто и заслуживает памятника в честь победы, то это Англия. Было бы правильнее, если бы колонна Ватерлоо вместо фигуры одного человека возносила к облакам статую, символизирующую народ.

Но наши слова возмутят эту великую Англию. Несмотря на свой 1688 и наш 1789 годы, она все еще не утратила феодальных иллюзий. Она продолжает верить в право наследования и в иерархию. Этот народ, которого никто не превзошел в могуществе и славе, уважает себя как нацию, но не как народ. Как народ он добровольно подчиняется лорду, признавая его своим господином. Как рабочий он позволяет презирать себя; как солдат он позволяет бить себя палкой.

Припомним, что после сражения при Инкермане сержант, который, как известно, спас армию, не мог быть упомянут лордом Рагланом, ибо английская военная иерархия не позволяет вносить в рапорт имена героев, не имеющих офицерского чина.

Но что всего сильнее поражает нас в сражении при Ватерлоо – это изумительное искусство, проявленное случаем. Ночной дождь, стена в Гугомоне, оэнская дорога, Груши, не слышавший пушечной пальбы, проводник, обманувший Наполеона, проводник, указавший правильный путь Бюлову, – все это стихийное бедствие было превосходно подготовлено и проведено.

В итоге, следует это отметить, в битве при Ватерлоо преобладала резня, а не бой.

Из всех битв, подготовленных согласно принятым правилам, Ватерлоо отличалось наименьшим протяжением фронта сравнительно с числом сражавшихся. У Наполеона три четверти мили, у Веллингтона полмили; по семьдесят две тысячи сражающихся с каждой стороны. Следствием этой тесноты и явилась резня.

Был сделан подсчет, и установлено следующее соотношение. Потеря людьми при Аустерлице: у французов четырнадцать процентов, у русских тридцать процентов, у австрийцев сорок четыре процента; при Ваграме: у французов тринадцать процентов, у австрийцев четырнадцать; под Москвой: у французов тридцать семь процентов, у русских сорок четыре; при Бауцене: у французов тринадцать процентов, у русских и пруссаков четырнадцать; при Ватерлоо: у французов пятьдесят шесть процентов, у союзников тридцать один. Общий итог потерь для Ватерлоо – сорок один процент. Сто сорок четыре тысячи сражавшихся; шестьдесят тысяч убитых.

Поле Ватерлоо ныне дышит тем покоем, который присущ земле – этой бесстрастной опоре

человека, и оно похоже теперь на любую равнину.

Но по ночам встает над ней какой-то призрачный туман, и если там окажется какой-либо путник, если он вглядывается, если он вслушивается, если грезит, подобно Вергилию на мрачных Филиппских полях, то им овладевает галлюцинация, он словно присутствует при этой катастрофе. Перед ним вновь оживает страшное 18 июня: исчезает искусственный курган-памятник, пропадает лев, поле битвы вновь обретает свой настоящий облик; колышутся на равнине ряды пехоты, на горизонте стремительно проносится конница; потрясенный мечтатель видит сверкание сабель, блеск штыков, вспышки взрывающихся бомб, чудовищную переключку громов; ему слышится хрипение в глубине могилы, смутный гул призрачной битвы. Вот эти тени – гренадеры; вон те мерцающие огоньки – кирасиры; этот скелет – Наполеон; тот скелет – Веллингтон. Все уже давно истлело, но продолжает сшибаться и бороться, и овраги обагрятся кровью, и дрожат деревья, и до самых облаков вздымается неистовство битвы, и смутно возникают во мраке все эти зловещие высоты, Мон-Сен-Жан, Гугомон, Фришмон, Папелот и Плансенуа, покрытые роями истребляющих друг друга привидений.

Глава 17

Следует ли считать Ватерлоо событием положительным?

Существует весьма почтенная либеральная школа, которая отнюдь не осуждает Ватерлоо. Мы к ней не принадлежим. Для нас Ватерлоо – лишь поразительная дата рождения свободы. То, что из подобного яйца мог вылупиться подобный орел, было полной неожиданностью.

В сущности, Ватерлоо по замыслу должно было явиться победой контрреволюции. Это Европа – против Франции; Петербург, Берлин, Вена – против Парижа; это status quo^[43] – против дерзання; это штурм 14 июля 1789 года путем атаки 20 марта 1815 года; это сигнал к боевым действиям монархических держав против не поддающегося обузданию мятежного духа французов. Унять, наконец, этот великий народ, погасить этот вулкан, действующий уже двадцать шесть лет, – такова была мечта. Здесь проявилась солидарность Брауншвейгов, Нассау, Романовых, Гогенцоллернов, Габсбургов с Бурбонами. Ватерлоо несло на своем хребте «священное право». Правда, если Империя была деспотической, то королевская власть, в силу естественной реакции, должна была по необходимости стать либеральной, и невольным следствием Ватерлоо, к великому сожалению победителей, явился конституционный порядок. Ведь революция не может быть побеждена до конца; будучи predetermined и совершенно неизбежной, она возникает снова и снова: до Ватерлоо – в лице Бонапарта, опрокидывающего старые троны, а после Ватерлоо – в лице Людовика XVIII, дарующего хартию и подчиняющегося ей. Бонапарт сажает на неаполитанский престол фореятора, а на шведский – сержанта, используя неравенство для доказательства равенства; Людовик XVIII подписывает в Сент-Уэне декларацию прав человека. Если вы желаете уяснить себе, что такое революция, назовите ее Прогрессом; а если вы желаете уяснить себе, что такое прогресс, назовите его Завтра. Это Завтра неотвратимо творит свое дело и начинает его с сегодняшнего дня. Пусть самым необыкновенным образом, но оно всегда достигает своей цели. Это Завтра, пользуясь Веллингтоном, делает из Фуа, бывшего всего только солдатом, – оратора. Фуа повержен наземь у Гугомона – и вновь поднимается на трибуне. Так действует прогресс. Для этого рабочего не существует негодных инструментов. Не смущаясь, он приспособливает для божественной своей работы и человека, перешагнувшего через Альпы, и немощного старца, нетвердо стоящего на ногах, исцеленного ветхозаветным Елисеем. Он пользуется подагриком, равно как и завоевателем: завоевателем вовне, подагриком – внутри государства. Ватерлоо, одним ударом

покончив с мечом, разрушающим европейские троны, имело следствием лишь то, что дело революции перешло в другие руки. Воины кончили свое дело, наступила очередь мыслителей. Тот век, движение которого Ватерлоо стремилось остановить, перешагнул через него и продолжал свой путь. Эта мрачная победа была в свою очередь побеждена свободой.

Одним словом, бесспорно лишь одно: все, что торжествовало при Ватерлоо, все, что весело ухмылялось за спиной Веллингтона, что поднесло ему маршальские жезлы всей Европы, включая, как говорят, и маршальский жезл Франции, что радостно катило полные тачки земли, смешанной с костями убитых, чтобы воздвигнуть холм для льва, и победно начертало на этом пьедестале «18 июня 1815 года», все, что поощряло Блюхера рубить саблями отступающих, что с высоты плато Мон-Сен-Жан наклонялось над Францией, словно над своей добычей, – все это было контрреволюцией, бормочущей гнусное слово: «расчленение». Прибыв в Париж, контрреволюция увидела кратер вблизи, она почувствовала, что пепел жжет ей ноги, и тогда она одумалась. Она вновь обратилась к косноязычному лепету хартии.

Будем же видеть в Ватерлоо лишь то, что есть в Ватерлоо. Завоевание свободы отнюдь не было преднамеренной его целью. Контрреволюция была поневоле либеральной, так же как Наполеон благодаря сходному феномену был поневоле революционером. 18 июня 1815 года этот новый Робеспьер был выбит из седла.

Глава 18

Восстановление священного права

Конец диктатуре. Вся европейская система рухнула.

Империя погрузилась во тьму, подобную той, в которой исчез гибнущий античный мир. Можно восстать даже из бездны, как это бывало в варварские времена. Но только у варварства 1815 года, уменьшительное название которого – контрреволюция, не хватило дыхания, оно быстро запыхалось и остановилось. Надо сказать, что Империю оплакивали, и оплакивали герои. Если слава заключается в мече, превращенном в скипетр, то Империя была сама слава. Она распространила по земле весь свет, на какой только способна тирания; но то был мрачный свет. Скажем больше: черный свет. В сравнении с днем – это ночь. Но когда эта ночь исчезла, казалось, наступило затмение.

Людовик XVIII вернулся в Париж. Хороводы 8 июля изгладил из памяти восторг 20 марта. Корсиканец стал антитезой Беарнца. Над куполом Тюильри взвился белый флаг. Настало царство изгнанников. Еловый стол из Гартвелла занял место перед украшенным лилиями креслом Людовика XIV. Так как Аустерлиц устарел, стали говорить о Бувине и Фонтенуа, словно эти победы были только вчера одержаны. Трон и алтарь торжественно вступили в братский союз. Одна из самых общепризнанных в девятнадцатом веке форм общественного благоденствия водворилась во Франции и на континенте. Европа надела белую кокарду. Трестальон прославился. Девиз *non pluribus impar* ^[44] вновь появился в ореоле лучей, высеченных из камня, на фасаде казармы Орсейской набережной, изображая солнце. Там, где прежде помещалась императорская гвардия, теперь разместились мушкетеры. Сбитая с толку всеми этими новшествами, триумфальная арка на Карусельной площади, сплошь уставленная словно занемогшими изображениями побед, быть может, даже испытывая некоторый стыд перед Маренго и Арколем, выпуталась из положения с помощью статуи герцога Ангулемского.

Кладбище Мадлен, страшная братская могила 93-го года, украсилось мрамором и яшмой, ибо с его землей был смешан прах Людовика XVI и Марии-Антуанетты. В Венсенском рву поднялась из глубины надгробная колонна с усеченным верхом, напоминающая о том, что

герцог Энгиенский умер в тот самый месяц, когда был коронован Наполеон. Папа Пий VII, совершивший это помазание на царство незадолго до этой смерти, благословил падение с тем же спокойствием, с каким благословил возвышение. В Шенбрунне появился маленький четырехлетний призрак, именовать которого Римским королем считалось государственным преступлением. И все это свершилось, и все короли снова заняли свои места, и властелин Европы был заточен в тюрьму, и старая форма правления была заменена новой, и все, что было светом, и все, что было мраком на земле, переместилось, потому что однажды летом, после полудня, пастух сказал в лесу пруссаку: «Пройдите здесь, а не там».

Этот 1815 год походил на хмурый апрель. Старая, ядовитая и нездоровая действительность приняла вид весеннего обновления. Ложь сочеталась браком с 1789 годом, «священное право» замаскировалось хартией, то, что было фикцией, прикинулось конституцией, предрассудки, суеверия и тайные умыслы, уповая на 14-ю статью, перекрасились и покрылись лаком либерализма. Так змеи меняют кожу.

Наполеон одновременно и возвысил и унизил человека. Во время этого блистательного владычества материи идеал получил странное название идеологии. Какая неосторожность со стороны великого человека отдать на посмеяние будущее! А между тем народ – это пушечное мясо, так влюбленное в своего канонира, – искал его глазами. Где он? Что он делает? «Наполеон умер», – сказал один прохожий инвалиду, участнику Маренго и Ватерлоо. «Это он – да умер? – воскликнул солдат. – Много вы знаете!» Народное воображение обожествляло этого поверженного во прах героя. Фон Европы после Ватерлоо стал мрачен. С исчезновением Наполеона долгое время ощущалась какая-то огромная, зияющая пустота.

И в эту пустоту, как в зеркало, гляделись короли. Старая Европа воспользовалась ею для своего преобразования. Возник Священный союз. «Прекрасный союз!» – как было заранее предсказано роковым полем Ватерлоо^[45].

Перед лицом этой старинной преобразованной Европы наметились очертания новой Франции. Будущее, осмеянное императором, вступило в свои права. На челе его сияла звезда – Свобода. Молодое поколение обратило к нему свой восторженный взор. Странное явление: увлекались одновременно и этим будущим – Свободой, и этим прошедшим – Наполеоном. Поражение возвеличило пораженного. Бонапарт в падении казался выше Наполеона в славе. Те, кто торжествовал победу, ощутили страх. Англия приказала сторожить Бонапарта Гудсону Лоу, а Франция поручила следить за ним Моншеню. Его спокойно скрещенные на груди руки внушали тревогу тронам. Александр прозвал его: «моя бессонница». Страх этот внушало им то, что было в нем от революции. Именно в этом находит свое объяснение и оправдание бонапартистский либерализм. Этот призрак заставлял трепетать старый мир. Королям не любо было и царствовать, когда на горизонте маячила скала Св. Елены.

Пока Наполеон томился в Лонгвуде, шестьдесят тысяч человек, павших на поле Ватерлоо, мирно истлевали в земле, и что-то от их покоя передалось всему миру. Венский конгресс, пользуясь этим, создал трактаты 1815 года, и Европа назвала это Реставрацией.

Вот что такое Ватерлоо.

Но какое дело до него вечности? Весь этот ураган, вся эта туча, эта война, затем этот мир, весь этот мрак ни на мгновение не затмили сияния того великого ока, перед которым травяная тля, переползающая с одной былинки на другую, равна орлу, перелетающему с башни на башню Собора Парижской богоматери.

Вернемся – этого требует наша книга – на роковое поле битвы.

18 июня 1815 года было полнолуние. Светлая ночь благоприятствовала яростной погоне Блюхера, она выдавала следы беглецов и, предавая злосчастные войска во власть озверевшей прусской кавалерии, помогала резне. В бедствиях можно проследить иногда это ужасное сообщничество ночи.

Когда последний пушечный залп умолк, равнина Мон-Сен-Жан опустела.

Англичане заняли лагерную стоянку французов; ночевать в лагере побежденного – обычай победителя. Свой бивуак они разбили по ту сторону Россомы. Пруссак, увлекшись преследованием, ушел дальше. Веллингтон направился в деревню Ватерлоо составлять рапорт лорду Баттерсту.

Изречение «Sic vos non vobis»^[46] как нельзя более удачно применимо к деревушке Ватерлоо. Там не происходило никакого сражения; деревня расположена на расстоянии полумили от поля битвы. Мон-Сен-Жан был обстрелян из пушек, Гугомон сожжен, Папелот сожжен, Плансенуа сожжено, Ге-Сент взят приступом. Бель-Альянс был свидетелем дружеского объятия двух победителей; однако названия всех этих мест смутно удержались в памяти, а на долю Ватерлоо, стоявшего в стороне, достались все лавры.

Мы не принадлежим к числу поклонников войны. При случае мы всегда говорим ей правду в глаза. Есть у войны своя устрашающая красота, о которой мы не умалчиваем, но есть у нее, признаемся в том, и свое уродство. Одна из самых невероятных его форм – это поспешное ограбление мертвых вслед за победой. Утренняя заря, занимающаяся после битвы, освещает обычно обнаженные трупы.

Кто совершает это? Кто подобным образом порочит торжество победы? Чья подлая рука украдкой скользит в ее карман? Кто те мошенники, которые обделяют свои делишки за спиной славы? Некоторые философы, в том числе и Вольтер, утверждали, будто ими являются сами же творцы славы. Это все те же солдаты, говорят они, и никто другой; оставшиеся в живых грабят мертвых. Днем – герой, ночью – вампир. Они, мол, имеют некоторое право слегка обшарить того, кого собственной рукой превратили в труп. Мы держимся иного мнения. Пожинать лавры и стаскивать башмаки с мертвецов – на это не способна одна и та же рука.

Достоверно лишь то, что вслед за победителями всегда крадутся грабители. Однако солдаты к этому непричастны, и особенно солдаты современные.

За каждой армией тянется хвост, и вот где следует искать виновников. Существа, родственные летучим мышам, полуразбойники, полулакеи, все разновидности нетопырей, возникающие в тех сумерках, которые именуются войной, люди, облаченные в военные мундиры, но никогда не сражавшиеся, мнимые больные, злобные калеки, подозрительные маркитанты, разъезжающие в тележках, иногда даже со своими женами, и воруящие то, что сами продали, нищие, предлагающие себя офицерам в проводники, обозная прислуга, мародеры – весь этот сброд волочился во время похода вслед за армией прежнего времени (мы не имеем в виду армию современную) и даже получил на специальном языке кличку «ползунов». Никакая армия и никакая нация не ответственны за них. Они говорили по-итальянски – и следовали за немцами; говорили по-французски – и следовали за англичанами. Именно один из таких подлецов, испанский «ползун», болтавший по-французски на тарабарско-пикарском наречии, и обманул маркиза де Фервака, полагавшего, что это француз. Маркиз был убит и ограблен на самом поле битвы при Серизоле в ночь после победы. Узаконенный грабеж породил грабителя. Следствием отвратительного принципа: «жить на счет врага» – явилась язва, исцелить которую могла лишь суровая дисциплина. Существуют обманчивые репутации; порой трудно понять, чему приписать необыкновенную популярность иных полководцев, хотя бы и великих. Тюренн был любим своими солдатами за то, что допускал грабеж; дозволенное зло является одним из

проявлений доброты; Тюренн был настолько добр, что разрешил предать Палатинат огню и мечу. Количество присосавшихся к армии мародеров зависело от большей или меньшей строгости главнокомандующего. В армиях Гоша и Марсо «ползунов» совсем не было; следует отдать справедливость Веллингтону, что и в его армии их было мало.

Тем не менее в ночь с 18 на 19 июня мертвецов раздевали. Веллингтон был суров; он издал приказ беспощадно расстреливать каждого, кто будет пойман на месте преступления. Но привычка грабить пускает глубокие корни. Мародеры воровали на одном конце поля, в то время как на другом их расстреливали.

Зловеще светила луна над этой равниной.

Около полуночи какой-то человек брел, вернее, полз по направлению к оэнской дороге. Это был, по-видимому, один из тех, о которых мы только что говорили: не француз, не англичанин, не солдат, не землепашец, не человек, а вурдалак, привлеченный запахом мертвечины и пришедший обогреть Ватерлоо, понимая победу как грабеж.

На нем была блуза, смахивающая на солдатскую шинель, он был труслив и дерзок, он продвигался вперед, но то и дело оглядывался назад. Кто же был этот человек? Вероятно, ночь знала о нем больше, чем день. Мешка при нем не было, очевидно, его заменяли вместительные карманы шинели. От времени до времени он останавливался, оглядывал поле, словно желая убедиться в том, что за ним не следят, быстро нагибался, ворошил на земле что-то безмолвное и неподвижное, затем выпрямлялся и незаметно уходил. Его скользящая походка, его позы, его быстрые и таинственные движения придавали ему сходство с теми злыми духами ночи, которые водятся среди развалин и которых древние нормандские предания окрестили «шатунами».

Иные голенастые ночные птицы такими же силуэтами вырисовываются на фоне болот.

Внимательно взглядевшись в окружающий туман, можно было заметить на некотором расстоянии неподвижную и как бы спрятанную за лачугой, стоящей у нивельского шоссе, на повороте дороги из Мон-Сен-Жан в Брен-л'Алле, небольшую повозку маркитанта, с верхом, крытым просмоленными прутьями ивняка. В повозку впряжена была тощая кляча, щипавшая через удила крапиву. Внутри фургона на ящиках и узлах сидела какая-то женщина. Быть может, существовала какая-то связь между этой повозкой и этим бродягой.

Ночь была ясная. Ни облачка в вышине. Пусть обгаренная кровью лежала внизу земля, луна все так же отливала серебром. В этом проявлялось безучастие неба. В лугах ветви деревьев, подбитые картечью, но удерживаемые корой от падения, тихо покачивались на ночном ветру. Легкое дуновение, почти дыхание, шевелило густые кустарники. По траве пробегала зыбь, словно последнее содрогание отлетающих душ.

Издали смутно доносились шаги ходивших взад и вперед патрулей да оклики дозорных в лагере англичан.

Гугомон и Ге-Сент все еще пылали, образуя на западе и на востоке два ярких зарева, связанных между собою цепью сторожевых огней английского лагеря, растянувшейся по холмам громадным полукругом на горизонте, напоминая развернутое рубиновое ожерелье с двумя карбункулами на концах.

Мы уже говорили о бедствии на оэнской дороге. При одной мысли о том, сколько храбрецов там погибло и какою смертью, сердце содрогается от ужаса.

Если существует на свете что-либо ужасное, если есть действительность, превосходящая самый страшный сон, то это: жить, видеть солнце, быть в расцвете сил, быть здоровым и радостным, смеяться над опасностью, лететь навстречу ослепительной славе, которую видишь впереди, ощущать, как дышат легкие, как бьется сердце, как послушна разуму воля, говорить, думать, надеяться, любить, иметь мать, иметь жену, иметь детей, обладать знаниями, – и вдруг, даже не вскрикнув, в мгновение ока рухнуть в бездну, свалиться, скатиться, раздавить кого-то,

быть раздавленным, видеть хлебные колосья над собой, цветы, листву, ветви и быть не в силах удержаться за что-нибудь, сознавать, что сабля твоя бесполезна, ощущать под собой людей, над собой лошадей, тщетно бороться, чувствовать, как, брыкаясь, лошадь в темноте ломает тебе кости, как в глаз тебе вонзается чей-то каблук, яростно хватать зубами лошадиные подковы, задыхаться, реветь, корчиться, лежать внизу и думать: «Ведь только что я еще жил!»

Там, где во время этого ужасного бедствия раздавались хрипение и стоны, теперь царила тишина. Дорога в ложбине была доверху забита трупами лошадей и всадников. Жуткое зрелище! Откосы исчезли. Трупы сровняли дорогу с полем и лежали в уровень с краями ложбины, как плотно утрясенный четверик ячменя. Груда мертвецов на более возвышенной части, река крови в низменной – такова была эта дорога вечером 18 июня 1815 года. Кровь текла даже через нивельское шоссе, образуя огромную лужу перед засекой, преграждавшей шоссе в том месте, на которое до сей поры обращают внимание путешественников. Как помнит читатель, кирасиры обрушились в овраг оэнской дороги с противоположной этому месту стороны – со стороны женапского шоссе. Количество трупов на дороге зависело от большей или меньшей ее глубины. Около середины, где дорога становилась ровной и где прошла дивизия Делора, слой мертвых тел был тоньше.

Ночной бродяга, виденный нами мельком, шел в этом направлении. Он рылся в этой огромной могиле. Он разглядывал ее. Он делал какой-то отвратительный смотр этим мертвецам. Он шагал по крови.

Вдруг он остановился.

В нескольких шагах от него, на дороге, там, где кончалось нагромождение трупов, из-под груды лошадиных и людских останков выступала рука, освещенная луной.

На одном из пальцев этой руки что-то блестело; то был золотой перстень.

Бродяга нагнулся, присел на мгновение на корточки, а когда встал, то перстня на пальце уже не было.

Собственно, он не встал, а остался на коленях, в неловкой и испуганной позе, спиной к мертвецам, всматриваясь в даль, всей тяжестью тела навалившись на пальцы, которыми упирался в землю, настороженный, с приподнятой над краем рва головой. Повадки шакала вполне уместны при свершении некоторых действий.

Затем он выпрямился, но тут же подскочил на месте. Он почувствовал, как кто-то ухватил его сзади. Он оглянулся. Вытянутые пальцы руки сжались, вцепившись в полу его шинели.

Честный человек испугался бы, а этот ухмыльнулся.

– Гляди-ка! – сказал он. – Это, оказывается, покойничек! Ну, мне куда милее выходец с того света, чем жандарм.

Рука между тем ослабела и выпустила его. Усилие не может быть длительным в могиле.

– Вон оно что! – пробормотал бродяга. – Мертвец-то жив! Ну-ка, посмотрим!

Он снова наклонился, разбросал кучу, отвалил то, что мешало, ухватился за руку, высвободил голову, вытащил тело и спустя несколько минут поволок во тьме дороги если не бездыханного, то, во всяком случае, потерявшего сознание человека. Это был кирасир, офицер и даже, как видно, в высоком чине: из-под кирасы виднелся толстый золотой эполет; каски на нем не было. Глубокая рана от удара саблей пересекала лицо, залитое кровью. Впрочем, руки и ноги, по-видимому, у него остались целы благодаря тому, что по какой-то счастливой, если это слово употребимо здесь, случайности мертвецы образовали над ним что-то вроде свода, предохранившего его от участи быть раздавленным. Глаза его были сомкнуты.

На кирасе у него висел серебряный крест Почетного легиона.

Бродяга сорвал этот крест, исчезнувший тут же в одном из глубоких тайников его шинели.

Затем он нащупал карман для часов, обнаружил часы и взял их. Потом обшарил жилетные

карманы, нашел кошелек и присвоил его себе.

Когда его старания помочь умирающему достигли этой стадии, офицер внезапно открыл глаза.

– Спасибо, – пробормотал он слабым голосом.

Резкость движений прикасавшегося к нему человека, ночная прохлада, свободно вдыхаемый свежий воздух вернули ему сознание.

Бродяга ничего не ответил. Он насторожился. В отдалении послышался шум шагов: вероятно, приближался какой-нибудь патруль.

– Кто выиграл сражение? – чуть слышным от смертельной слабости голосом спросил офицер.

– Англичане, – ответил грабитель.

Офицер продолжал:

– Поищите в моих карманах. Вы найдете там часы и кошелек. Возьмите их себе.

Это было уже сделано.

Однако бродяга сделал вид, что ищет, потом ответил:

– Карманы пусты.

– Меня ограбили, – сказал офицер, – жаль. Это досталось бы вам.

Шаги патрульных слышались все отчетливее.

– Кто-то идет, – прошептал бродяга, собираясь встать.

Офицер, с трудом приподняв руку, удержал его:

– Вы спасли мне жизнь. Кто вы?

Грабитель быстро, шепотом, ответил:

– Я, как и вы, служу во французской армии. Сейчас я должен вас оставить. Если меня здесь схватят, я буду расстрелян. Я спас вам жизнь. Теперь сами выпутывайтесь из беды, как знаете.

– В каком вы чине?

– Сержант.

– Ваша фамилия?

– Тенардье.

– Я не забуду ее, – сказал офицер. – А вы запомните мою. Моя фамилия Понмерси.

Книга вторая

Корабль «Орион»

Глава 1

Номер 24601 становится номером 9430

Жан Вальжан был опять арестован.

Читатель не посетует, если мы не станем задерживаться на печальных подробностях этого события. Мы ограничимся лишь тем, что приведем здесь две краткие заметки, опубликованные газетами того времени несколько месяцев спустя после поразительного происшествия в Монрейле-Приморском.

Эти заметки несколько кратки, но не следует забывать, что в то время еще не существовало «Судебной газеты».

Первую заметку мы заимствуем из газеты «Белое знамя». Она датирована 25 июля 1823 года:

«Один из округов Па-де-Кале явился ареной довольно необычайного происшествия. Неизвестно откуда появившийся человек по имени Мадлен несколько лет тому назад благодаря новым способам производства возобновил старинный местный промысел — выделку искусственного гагата и мелких изделий из черного стекла. На этом он нажил значительное состояние и, не будем скрывать, обогатил одновременно округ. В благодарность за его заслуги его избрали мэром. Полиция обнаружила, что Мадлен был не кто иной, как нарушивший распоряжение о месте жительства бывший каторжник, приговоренный в 1796 году за кражу, по имени Жан Вальжан. Жан Вальжан был снова заключен в острог. По-видимому, до своего ареста ему удалось получить в банкирской конторе г-на Лафита свой вклад, превышавший полмиллиона, который он нажил, впрочем, как говорят, вполне законно, из доходов от своего производства. Узнать, куда спрятал он эти деньги, после того как его отправили на галеры в Тулон, установить не удалось».

Вторая заметка, несколько более подробная, взята из «Парижской газеты» от того же числа:

«Отбывший срок и освобожденный каторжник по имени Жан Вальжан предстал перед уголовным судом Вара при обстоятельствах, заслуживающих внимания. Этому негодяю удалось обмануть бдительность полиции; он переменял свое имя и добился того, что его избрали мэром одного из наших северных городков. В этом городе он открыл довольно крупное предприятие. Но в конце концов он был разоблачен и задержан благодаря неутомимому усердию прокурорского надзора. Он сожительствовал с публичной женщиной, которая в момент его ареста от потрясения скончалась. Этот негодяй, обладающий геркулесовской силой, нашел способ бежать, но спустя три-четыре дня полиция вновь задержала его, уже в Париже, в тот момент, когда он садился в один из небольших дилижансов, курсирующих между деревней Монфермейль (округ Сены и Уазы) и столицей. Говорят, что он воспользовался этими тремя-четырьмя днями свободы и вынул значительную сумму денег, помещенную им у одного из наших виднейших банкиров. Эту сумму исчисляют в шестьсот-семьсот тысяч франков. Согласно обвинительному акту, он запрятал эти деньги в таком месте, которое было известно лишь ему одному, и захватить деньги не удалось. Как бы там ни было, вышеупомянутый Жан Вальжан был доставлен в уголовный суд Варского округа, где ему было предъявлено обвинение в вооруженном нападении на большой дороге, около восьми лет тому назад, на одного из тех славных малых, которые, как говорит в своих бессмертных строках фернейский патриарх, —

Приходят из Савойи каждый год
И сажею забитый дымоход
Искусно в вашем доме прочищают.

Этот бандит отказался от защиты. В мастерски построенном и красноречивом выступлении государственного прокурора было установлено, что кража совершена при содействии сообщников и что Жан Вальжан является членом воровской шайки, орудующей на юге. На основании этого Жан Вальжан был признан виновным и приговорен к смертной казни. Преступник отказался подать кассационную жалобу. Король, в бесконечном милосердии своем, пожелал смягчить наказание, заменив смертную казнь бессрочной каторгой. Жан Вальжан был тотчас же направлен в Тулон на галеры».

Еще не было забыто, что у Жана Вальжана в Монрейле-Приморском существовали связи с духовными лицами. Некоторые газеты, и среди них «Конституционалист», изобразили это смягчение приговора как торжество партии духовенства.

Жан Вальжан переменил на каторге номер. Он стал зваться номером 9430.

Чтобы уже более не возвращаться к этому вопросу, заметим, однако, что вместе с господином Мадленом из Монрейля-Приморского исчезло и благосостояние города. Во всяком случае, все то, что предвидел он в тревожную, полную сомнений ночь, сбылось; не стало его, не стало и души города. После его падения в Монрейле начался тот жестокий дележ, неизбежный при жизненном крушении выдающегося человека, тот роковой распад процветающих дел, который ежедневно втихомолку совершается в обществе и который история заметила только однажды, ибо произошел он после смерти Александра Великого. Лейтенанты возводят себя в сан королей; подмастерья объявляют себя хозяевами. Возникли зависть и соперничество. Обширные мастерские г-на Мадлена были закрыты, строения превратились в руины, рабочие разбрелись. Одни оставили страну, другие оставили ремесло. Отныне все начало делаться в малых, а не в больших масштабах; для наживы, но не для всеобщего блага. Связующее начало исчезло; всюду возникли конкуренция и ожесточение. Г-н Мадлен стоял во главе всего и всем управлял. Он пал – и каждый принялся тянуть в свою сторону. Дух созидания сразу сменился духом борьбы, сердечность – черствостью, благожелательное ко всем отношение организатора – взаимной ненавистью. Нити, завязанные г-ном Мадленом, спутались и порвались, способ производства подменили, продукцию обесценили, доверие убили; с уменьшением заказов снизился и сбыт, заработок рабочих упал, мастерские остановились, наступило разорение. И ничего больше не делалось для бедных. Исчезло все.

Само государство заметило, что где-то кого-то не стало. Менее чем через четыре года после приговора уголовного суда, который засвидетельствовал в интересах каторжных тюрем тождество г-на Мадлена с Жаном Вальжаном, издержки по взиманию налогов в округе Монрейля-Приморского удвоились, и г-н де Виллель сделал об этом публичное заявление в феврале 1827 года.

Глава 2, в которой прочтут двестише, сочиненное, быть может, дьяволом

Прежде чем продолжить нашу повесть, будет кстати рассказать с некоторыми подробностями об одном странном случае, происшедшем в Монфермейле приблизительно в то

же время и, быть может, подтверждающем некоторые предположения государственного прокурора.

В окрестностях Монфермейля сохранилось старинное поверье, тем более примечательное и любопытное, что народное поверье в такой непосредственной близости от Парижа – это то же, что алоэ в Сибири. Мы принадлежим к числу тех, кто почитает все, что можно рассматривать как редкое растение. Вот оно, это монфермейльское поверье. Дьявол с незапамятных времен избрал монфермейльский лес местом, где он укрывал свои сокровища. Кумушки утверждали, будто не диво встретить здесь в сумерки, в глуши леса, черного человека, в сабо, в холщовых шароварах и блузе, похожего не то на ломового извозчика, не то на дровосека. Приметен он тем, что на голове у него вместо колпака или шляпы – огромные рога. Это действительно важная примета. Обычно этот человек занят тем, что роет яму. Существуют три способа извлечь выгоду из этой встречи. Первый – приблизиться к нему и заговорить с ним. Тогда ты замечаешь, что этот человек – обыкновенный крестьянин, что черным он кажется от сгустившихся сумерек, что никакой ямы он не роет, а косит траву для своих коров; то же, что принимают за его рога, – просто-напросто торчащие у него за спиной навозные вилы, зубья которых в измененной вечерним освещением перспективе кажутся рогами на его голове. Ты возвращаешься домой и умираешь в течение недели. Второй способ – наблюдать за ним, дожидаться, когда он выроет яму, опять засыплет ее и уйдет; тогда надо быстро подбежать к ней, разрыть и овладеть «сокровищем», которое туда, без сомнения, спрятал черный человек. В этом случае ты уже умрешь в течение месяца. Наконец, третий способ – совсем не заговаривать с черным человеком, не глядеть на него, а убежать со всех ног. Тогда ты проживешь до года.

Поскольку все три способа равно имеют свои неудобства, то второй представляет по крайней мере то преимущество, что, правда, всего лишь на месяц, но ты овладеешь сокровищем, и потому этот способ считается предпочтительным. Смелчаки, которые всюду пытаются удачу, нередко, как уверяют люди, раскапывали ямы, вырытые черным человеком, и пробовали обокрасть дьявола. По-видимому, результаты подобных действий оказывались весьма скромными, если доверять преданию и особенно двум загадочным стихам на варварской латыни, которые по этому поводу сочинил злобредный нормандский монах по имени Трифон, кое-что смекавший в колдовстве. Этот Трифон погребен в аббатстве Сен-Жермен в Бошервиле, близ Руана, и на его могиле родятся жабы.

Итак, приходится затрачивать огромные усилия, ибо эти ямы обычно очень глубоки; потеешь, роешь, трудишься целую ночь (потому что это делается именно ночью), рубаха вся взмокнет, свеча сгорит, мотыга зазубрится, и когда наконец докопаешься до дна ямы, когда «сокровище» – твое, что же ты находишь? Что представляет собой это сокровище дьявола? Иногда су, иногда экю или камень, а то скелет или окровавленный труп; порой это привидение, сложенное вчетверо, как лист бумаги, лежащий в бумажнике, а бывает и так, что вообще ничего не находишь. Вот обо всем этом, по-видимому, и сообщают нескромным и любопытным людям стихи Трифона:

Fodit, et in fossa thesauros condit opaca
As, nummos, lapides, cadaver, simulacra, nihilque^[47].

Как будто и доныне там находят то пороховницу с пулями, то старую засаленную и порыжевшую колоду карт, которой, несомненно, играл сам дьявол. О последних двух находках Трифон не упоминает ни слова, но следует принять во внимание, что Трифон жил в двенадцатом веке и что вряд ли у дьявола хватило бы ума изобрести порох до Роджера Бэкона, а

карты – до Карла VI.

Впрочем, тот, кто будет играть в эти карты, может быть уверен, что он проиграется в пух и прах; что же касается пороха из пороховницы, то он обладает свойством взрывать ружья вам в лицо.

Так вот, вскоре после того как прокурорскому надзору показалось, что бывший каторжник Жан Вальжан во время своего кратковременного побега бродил вблизи Монфермейля, люди в этой самой деревушке заметили, что один старый шоссейный рабочий, по прозвищу Башка, частенько «делает вылазки» в лес. В той местности ходили слухи, будто Башка был когда-то на каторге; он состоял под наблюдением полиции, и так как он нигде не находил себе работы, то администрация нанимала его за пониженную плату на починку шоссейной дороги между Ганьи и Ланьи.

На этого Башку все местные жители поглядывали косо. Он был слишком почтительный, слишком смиренный, перед каждым ломал шапку, трепетал перед жандармами и заискивающе им улыбался. Поговаривали, что он, видимо, связан с разбойничьей шайкой, его подозревали и в том, что он с наступлением темноты устраивает засады в кустах. В его пользу говорило лишь то, что он был пьяницей.

А заметили за ним вот что.

С некоторых пор Башка очень рано кончал настилку щебня и починку дороги и уходил в лес со своей киркой. Его встречали под вечер на самых пустынных лужайках, в самой дикой лесной чаще, где он как будто что-то искал, а иногда рыл ямы. Проходившие мимо кумушки принимали его с первого взгляда за Вельзевула, а потом хоть и узнавали Башку, но это отнюдь не успокаивало их. Такие встречи, казалось, сильно раздражали его. Не было сомнений, что он избегал чужих глаз и что в его поступках кроется какая-то тайна.

В деревне говорили: «Ясно, как божий день, что где-то появился дьявол. Башка видел его и теперь разыскивает. По правде сказать, у него хватит смекалки заграбастать кубышку Люцифера». А вольнодумцы добавляли: «Еще посмотрим, кто кого надует: Башка сатану или сатана Башку». Старухи при этом усиленно крестились.

Однако блуждания Башки по лесу кончились, он вернулся к своей обычной работе на шоссе. Люди стали судачить о другом.

Все же некоторые продолжали любопытствовать, полагая, что за этим, вероятно, что-то кроется, – отнюдь не баснословные сокровища, упоминаемые в легенде, но какая-нибудь неожиданная находка, более основательная и осязаемая, чем банковые билеты дьявола, и что в какой-то степени тайну ее этот шоссейный рабочий, несомненно, узнал. Больше всех заинтересованы были школьный учитель и трактирщик Тенардьё, друживший с кем попало и не погнушавшийся сблизиться с Башкой.

– Правда, он был на каторге, – говорил Тенардьё. – Но, господи боже мой, никогда нельзя знать, кто там сейчас и кому там быть суждено!

Однажды вечером школьный учитель заявил, что в былое время правосудие занялось бы вопросом о том, что делал Башка в лесу, и, конечно, принудило бы его заговорить, а в случае необходимости подвергло бы его пытке водой.

– Подвергнем его пытке вином, – сообразил Тенардьё.

Приложили все старания и заставили старого бродягу пить. Башка выпил очень много, но сказал очень мало. С изумительным искусством и в точной пропорции он сумел сочетать жажду пропойцы со сдержанностью судьи. Все же, упорно возвращаясь к интересующему их предмету, а также соединяя и сопоставляя некоторые вырвавшиеся у него туманные слова, Тенардьё и школьный учитель представили себе следующую картину.

Однажды Башка, отправившись рано утром на работу, очень удивился, заметив в лесу под

кустом лопату и кирку, «вроде как припрятанные». Но он решил, что эти лопата и кирка принадлежат водовозу, дядюшке Шестипечному, и на этом успокоился было. Однако вечером того же дня, притаившись за большим деревом так, что сам не мог быть никем замечен, он увидел, как по дороге, ведущей в лесную глубь, шел «один человек, не из местных жителей, которого он, Башка, прекрасно знал». В переводе Тенардые это означало: *товарищ по каторге*. Башка наотрез отказался назвать его имя. Этот его знакомец нес какой-то сверток четырехугольной формы, вроде большой коробки или маленького сундучка. Башка удивился. Однако только спустя семь-восемь минут ему пришло на ум последовать за «знакомцем». Но было уже поздно, тот скрылся в лесной чаще, тьма сгустилась, и Башка не мог бы догнать его. Тогда он решил наблюдать за лесной опушкой. «Ночь была месячная». Спустя два или три часа Башка заметил, как тот человек выходил из кустарников, неся с собой уже не сундучок, а кирку и лопату. Башка дал ему возможность удалиться, не подумав даже заговорить с ним, ибо знал, что тот втрое сильнее его, вооружен киркой и, конечно, убьет его, если припомнит и если увидит, что и его самого узнали. Трогательное излияние чувств у двух повстречавшихся старых друзей! Но лопата и кирка были для Башки как бы лучом света. Он помчался к тому кусту, где был утром, но не нашел там ни того, ни другого. Из этого он заключил, что знакомец его, углубившись в лес, вырыл киркой яму, запрятал в нее сундучок и закопал яму лопатой. Так как сундучок был слишком мал для того, чтобы в нем мог поместиться труп, значит, в нем были деньги. Вот почему Башка предпринял свои розыски. Он обследовал, изрыл и обыскал весь лес, обшарил все места, где ему казалось, что земля свежевскопана. Напрасно!

Он ничего не «добыл». В Монфермейле стали забывать об этом. Только некоторые бесстрашные кумушки все еще повторяли: «Уж будьте уверены, что шоссейный рабочий из Ганьи всю эту кутерьму не зря затеял: тут наверняка объявился дьявол».

Глава 3, из которой видно, что надо предварительно поработать над звеном цепи, чтобы разбить его одним ударом молотка

В конце октября того же, 1823 года жители Тулона увидели, как после жестокой бури в их гавань вошел корабль «Орион», чтобы исправить некоторые повреждения. Впоследствии этот корабль нес службу учебного судна в Бресте, а в то время он еще числился в средиземноморской эскадре.

Это судно, как оно ни было разбито, ибо море основательно потрепало его, все же произвело впечатление, выйдя на рейд. На нем развевался – не вспомню уже какой – флаг, и в его честь по уставу полагался салют из одиннадцати пушечных залпов, на которые «Орион» отвечал выстрелом на выстрел; итого двадцать два выстрела. Было подсчитано, что вместе с орудийными залпами для воздания королевских и военных почестей, для обмена изысканно вежливыми приветствиями, согласно с правилами этикета, а также с установленным порядком на рейдах и цитаделях, вместе с ежедневными пушечными салютами всех крепостей и всех военных кораблей при восходе и закате солнца, при открытии и закрытии ворот и пр., и пр., цивилизованный мир на всем земном шаре каждые двадцать четыре часа производит сто пятьдесят тысяч холостых выстрелов. Считая по шести франков каждый пушечный выстрел, это составляет девятьсот тысяч франков в день, триста миллионов в год, превращающихся в дым. Это только небольшая подробность. Тем временем бедняки умирают с голоду.

1823 год был годом, который Реставрация окрестила «эпохой Испанской войны».

Эта война заключала в себе одной много событий и множество особенностей. Здесь дело

шло о важнейших семейных интересах дома Бурбонов; о его французской ветви, помогающей и покровительствующей ветви мадридской, – иначе говоря, выполняющей долг старшинства; об очевидном возврате к нашим национальным традициям, осложненным зависимостью и подчинением северным кабинетам; о господине герцоге Ангулемском, прозванном либеральными газетами «героем Андюжара», который в позе триумфатора, идущей несколько вразрез с его безмятежным обликом, укрощал старый реальный терроризм инквизиции, схватившийся с химерическим терроризмом либералов; о воскресших, к великому ужасу знатных вдов, санкюлотах под именем descamisados^[48]; о монархизме, ставящем препону прогрессу, получившему название анархии; о внезапно прерванной подспудной деятельности теорий 89-го года; о запрете, наложенном Европой на совершающую свое кругосветное путешествие французскую мысль; о стоящем рядом с престолонаследником Франции генералиссимусе принце Кариньяне – впоследствии Карле-Альберте, который принимал участие в этом крестовом походе королей против народов, пойдя добровольцем и пристегнув гренадерские красной шерсти эполеты. Здесь дело шло о вновь выступивших в поход солдатах Империи, постаревших после восьмилетнего отдыха, грустных и уже под белой кокардой; о трехцветном знамени, развевающемся на чужбине над героической горсточкой французов, подобно тому как развевалось тридцать лет тому назад в Кобленце белое знамя; о монахах, присоединившихся к нашим ветеранам; об усмиренном штыками духе свободы и нововведений; о принципах, уничтоженных пушечными выстрелами; о Франции, разрушающей своим оружием то, что было создано собственной ее мыслью. Наконец, здесь дело шло о продажности вражеских генералов, о нерешительности солдат, о городах, осажденных не столько тысячами штыков, сколько миллионами франков; о полном отсутствии военной опасности, наряду с возможностью взрыва, как это случается во внезапно захваченном и занятом неприятелем минированном подкопе. Здесь было мало пролитой крови, мало чести для завоевателей, позор для некоторых, а славы – ни для кого. Такова была эта война, затеянная принцами королевской крови, потомками Людовика XIV, и руководимая полководцами, преемниками Наполеона. Ей выпала печальная участь: она не осталась в памяти ни как пример великой войны, ни как пример великой политики.

В ней было совершено несколько смелых нападений – взятие Трокадеро является среди них одной из блестящих военных операций; но в целом, повторяем, трубы этой кампании звучали надтреснуто, все вместе внушало сомнение, и история одобряет то, что Франция не сразу согласилась признать этот ложный триумф. Бросалось в глаза, что некоторые испанские офицеры, обязанные сопротивляться, сдавались слишком поспешно, к победе примешивалась мысль о лихоимстве: казалось, здесь скорее имеет место подкуп генералов, чем выигранные сражения, и солдаты-победители возвращались униженными. Эта война действительно умаляла достоинство нации, в складках ее знамени читалось: «Французский банк».

Солдаты войны 1808 года, на которых так страшно обрушилась осажденная ими Сарагосса, в 1823 году хмурились от того, что перед ними так легко распахивались ворота крепостей, и начинали жалеть о Палафоксе. Таков нрав французов, предпочитающих лучше видеть перед собой Растопчина, чем Баллестероса.

С точки зрения еще более серьезной, должно также подчеркнуть, что, оскорбляя во Франции дух армии, эта война возмущала и дух демократии. То был замысел порабощения. В этой кампании конечной целью французского солдата, этого сына демократии, было завоевание рабства для других. Отвратительное противоречие. Франция рождена для того, чтобы пробуждать дух народов, а не подавлять его. С 1792 года все революции в Европе – это французская революция: сияние свободы излучает Франция. Это излучение подобно солнечному. «Слепец, кто этого не видит!» – воскликнул Бонапарт.

Таким образом, война 1823 года была одновременно покушением на великодушную испанскую нацию и покушением на французскую революцию. И именно Франция творила это чудовищное насилие; правда, по принуждению, ибо, исключая войны освободительные, все, что совершают армии, они совершают по принуждению. «Пассивное повиновение» – вот слово, определяющее их действия. Армия представляет собою необычайный и мастерской образчик расчета, при котором сила извлекается из огромной суммы бессилия. Так объясняется война, затеянная человечеством против человечества вопреки человечеству.

Что же касается Бурбонов, то война 1823 года была для них роковой. Они приняли ее за успех. Они совершенно упустили из виду, какая опасность таится в удушении идеи путем запрета. В своей наивности они забылись до такой степени, что, придя к власти, узаконили, как одну из основ своей силы, широчайшую терпимость к преступлению. Дух злого умысла вторгся в их политику. 1830 год зародился в 1823 году. Испанский поход в их решениях стал аргументом в пользу насилия и рискованных авантур «священного права». Франция, восстановив *el rey neto*^[49] в Испании, легко могла восстановить неограниченную королевскую власть и у себя. Приняв послушание солдата за согласие нации, Бурбоны совершили опасную ошибку. Подобное легкоеверие губит троны. Не следует дремать ни под тенью мансенилового дерева, ни под крылом армии.

Но возвратимся к кораблю «Орион».

Во время маневров армии под командованием принца-генералиссимуса в Средиземном море крейсировала эскадра. Мы уже упоминали, что «Орион» принадлежал к этой эскадре и что буря вынудила его зайти в Тулонский порт.

Появление военного корабля в гавани таит в себе какую-то притягательную силу и занимает воображение толпы. Это зрелище – величественно, а толпа любит все величественное.

Линейный корабль, борющийся со стихией, – пример одного из самых великолепных столкновений человеческого гения с могуществом природы.

Линейный корабль представляет собой сочетание частей, от самых тяжелых, какие только существуют, до самых невесомых, ибо ему приходится сталкиваться сразу с тремя состояниями вещества – твердым, жидким и газообразным – и бороться против всех трех. У него есть одиннадцать железных когтей, чтобы цепляться за гранит на дне морском, и больше крыльев и надкрылий, чем у летучих насекомых, чтобы ловить в облаках попутный ветер. Его дыхание вылетает из ста двадцати пушек, словно из чудовищных оркестровых труб, и надменно вторит грому. Океан пытается сбить его с пути устрашающим однообразием своих волн, но у корабля есть душа – компас, дающий ему совет и неизменно указывающий на север. В темные ночи его сигнальные фонари заменяют звезды. Итак, против ветра у него есть канат и парус, против волн – дерево, против скал – железо, медь и свинец, против мрака – свет, против беспредельного простора – магнитная стрелка.

Чтобы получить представление о гигантских размерах всех этих отдельных частей, которые в совокупности составляют линейный корабль, достаточно в гавани Бреста или Тулона войти внутрь шестизэтажного стапеля. Это, так сказать, защитный колпак над строящимся судном. Вон та огромная балка – рея; эта массивная деревянная колонна, лежащая на земле и видная, насколько хватает глаз, – грот-мачта. Ее длина, если считать от основания в трюме до верхушки, теряющейся в облаках, равна шестидесяти саженьям, а ее диаметр у основания равен трем футам. Английская грот-мачта возвышается на двести семнадцать футов над грузовой линией судна. Во флоте наших предков употреблялись якорные канаты, у нас – якорные цепи. Обыкновенный круг корабельных цепей с одного стопушечного судна имеет четыре фута в высоту, двадцать футов в ширину и восемь футов в толщину. А сколько требуется строительного материала, чтобы построить такой корабль? – спросите вы. Три тысячи кубических метров. Это настоящий

плавающий лес.

Кроме того, необходимо заметить, что здесь идет речь о военном судне, построенном сорок лет тому назад, о простом парусном судне; паровой двигатель, находившийся в те времена еще в младенческом состоянии, добавил позднее новые чудеса к этому диковинному сооружению, именуемому военным кораблем. В нынешнее время, например, смешанного типа винтовое судно представляет собою изумительную машину под парусами, поверхность которых равна трем тысячам квадратных метров, и с паровым котлом в две тысячи пятьсот лошадиных сил.

Не говоря уже об этих поразительных новинках в судостроительном искусстве, даже старинное судно Христофора Колумба или Рюитера представляет собою один из величайших образцов человеческой изобретательности. Силы его так же неистощимы, как неистощимы дуновения воздуха, посылаемые бесконечностью; оно собирает ветер в свои паруса, оно не теряется среди необъятного разлива волн, оно плывет, оно царит.

Но наступает час, когда буря переламинает эту рею длиною в шестьдесят футов, словно соломинку, когда ветер гнет, словно тростник, эту грот-мачту вышиною в четыреста футов, когда этот якорь, который весит десять тысяч фунтов, ломается в пасти волн, как крючок рыболова в челюстях щуки, когда эти чудовищные пушки испускают жалобный и бессильный рев, уносимый ветром в мрак и пустоту, когда вся эта мощь и все это величие исчезают перед лицом высшего величия и высшей мощи.

Зрелище величайшей силы, пришедшей в состояние величайшей слабости, всегда заставляет людей задумываться. Вот почему в гаванях наблюдается такое множество любопытных, которые, сами хорошо не понимая зачем, толкуются около этих удивительных орудий войны и мореходства.

И вот ежедневно, с утра до вечера, набережные, мол и откосы шлюза Тулонской гавани были усеяны толпами празднующихся и «зевак», как говорят в Париже, у которых только и было дела, что глазеть на «Орион».

Корабль был поврежден уже давно. Во время предшествовавших плаваний на его подводную часть налипли такие толстые слои раковин, что скорость его наполовину уменьшилась. В прошлом году корабль вытащили на сушу, чтобы соскоблить эти раковины, и затем он вновь ушел в море. Но соскабливание повредило крепления подводной части. Вблизи Балеарских островов наружная обшивка судна пострадала от ветра и отстала, а так как внутреннюю обшивку тогда не делали из листового железа, то судно дало течь. Бешено налетевший на него полуденный ветер пробил пушечный порт на бакборте и решетчатый помост на галюне, а также повредил руслени фок-мачты. Вследствие этих повреждений «Орион» и возвратился в Тулонскую гавань.

Он бросил якорь около Арсенала. Судно снаряжали и чинили. Со стороны штирборта корпус корабля поврежден не был, но несколько досок обшивки были, как это обычно делается, кое-где оторваны, чтобы внутрь мог проникнуть свежий воздух.

Однажды утром толпа, глазевшая на корабль, оказалась свидетельницей несчастного случая.

Экипаж занят был креплением парусов. Марсовой, который должен был взять верхний угол грот-марселя на штирборте, потерял равновесие. Он вдруг покачнулся, толпа, собравшаяся на набережной Арсенала, испустила крик; голова перевесила туловище, и человек повернулся вокруг реи, простирая руки к бездне. Падая, он успел ухватиться за перты под реей, сначала одной, а затем и другой рукой, и повис в воздухе. Под ним, на головокружительной глубине, расстилалось море. От сильного толчка при его падении перты стали раскачиваться, словно качели. Человек летал на этой веревке из стороны в сторону, подобно камню в праще.

Помочь ему – значило подвергнуться страшному риску. Ни один матрос – все это были

недавно призванные на военную службу местные рыбаки – не отважился на это. Тем временем несчастный марсовый начал уставать; разглядеть его лицо, искаженное смертельным ужасом, было нельзя, но по всем его движениям ясно было, что силы его иссякают. Руки его словно вывертывались в страшных судорогах. Каждое усилие, которое он делал, чтобы подтянуться вверх, только усиливало колебание снасти. Он не кричал, опасаясь утратить остаток сил. Все ожидали, что он вот-вот выпустит веревку, и иногда отворачивались, чтобы не видеть его падения. Бывают такие минуты, когда конец веревки, жердь, ветка дерева олицетворяют собою жизнь, и страшно наблюдать, как отделяется от них живое существо и падает наподобие спелого плода.

Вдруг все заметили человека, карабкавшегося по снастям с ловкостью оцелота. Человек этот был в красной одежде – значит, каторжник; на нем была зеленая шапка – значит, приговорен к каторге пожизненно. Когда он достиг марса, порыв ветра сорвал с него зеленую шапку и обнажил седую голову; человек этот не был молод.

Действительно, один из каторжников, посланных из острога работать на судне, сразу же подбежал к вахтенному офицеру и, среди смятения и суматохи экипажа, в то время как все матросы дрожали и не двигались с места, попросил офицера разрешить ему рискнуть жизнью для спасения марсового. По утвердительному знаку офицера он одним ударом молотка разбил цепь, прикованную к кольцу на его ноге, взял веревку и бросился на ванты. В ту минуту никто не заметил, с какой легкостью была разбита эта цепь. Об этом вспомнили лишь впоследствии.

В мгновение ока он был уже на рее. На несколько секунд приостановившись, он, казалось, взглядом измерял ее длину. Эти секунды, пока ветер раскачивал марсового на конце веревки, показались вечностью тем, кто смотрел на него. Наконец каторжник взглянул на небо, потом сделал шаг вперед. Толпа перевела дыхание. Он бегом побежал по рее. Добравшись до ее края, он привязал к ней один конец веревки, которую он захватил с собою, другой же оставил висеть свободным, затем начал на руках скользить по этой веревке вниз. Всеми овладела невыразимая тревога: вместо одного человека теперь над бездной висели двое.

Казалось, паук готовился схватить муху; только здесь паук нес жизнь, а не смерть. Десять тысяч глаз были прикованы к этим людям. Ни единого возгласа, ни единого слова, все испытывают тот же трепет, у всех одинаково сдвинуты брови. Все затаили дыхание, словно боясь усилить малейшим дуновением ветер, который раскачивал двух несчастных.

Между тем каторжнику удалось спуститься к матросу. И как раз вовремя: еще минута, и изнемогший, отчаявшийся человек сорвался бы в бездну. Каторжник одной рукой крепко обвязал его веревкой, за которую сам держался другою, и вот все увидели, как он снова взобрался на рею и подтянул к себе наверх матроса. С минуту он подержал его там, чтобы дать ему собраться с силами, потом схватил его на руки и понес по рее до эзельгофта, а оттуда до марса, где передал на руки товарищей.

Толпа принялась рукоплескать; некоторые из старых надзирателей смены каторжников заплакали, женщины на набережной обнимались, слышен был единодушный, звучавший какой-то яростью умиления крик: «Помиловать его!»

А он, считая своим долгом немедленно сойти вниз, чтобы присоединиться к партии каторжников, и желая побыстрее это сделать, скользнул по такелажу и побежал по нижней рее. Все взоры устремились на него. Было мгновение, когда толпу охватил страх: то ли от усталости, то ли по причине головокружения, но он вдруг приостановился и как будто покачнулся. Вдруг толпа испустила громкий вопль – каторжник упал в море.

Падение это грозило ему гибелью. Фрегат «Альжезирас» стоял на якоре возле «Ориона», и несчастный упал между двух кораблей. Боялись, как бы он не попал под один из них. Четыре человека поспешно бросились к шлюпке. Толпа подбадривала их, всех снова охватила тревога.

Человек не выплывал. Он канул в море, не возмутив поверхности, словно упал в бочку с маслом. Погружали лот, ныряли. Тщетно! Искали до самого вечера, но ни живым, ни мертвым его не нашли.

На следующий день в тулонской газете появилась заметка: «17 ноября 1823 года. Вчера каторжник из партии, работавшей на борту «Ориона», спасая матроса, упал в море и утонул. Тело его найти не удалось. Предполагают, что он попал между свай головной части Арсенала. В тюремных списках человек этот числился под № 9430, имя его – Жан Вальжан».

Книга третья

Исполнение обещания, данного умершей

Глава 1

Вопрос о водоснабжении в Монфермейле

Монфермейль расположен между Ливри и Шелем, на южном конце высокого плато, отделяющего Урк от Марны. Ныне это довольно большое торговое местечко, украшенное выбеленными виллами, а по воскресным дням – и жизнерадостными горожанами. В 1823 году в Монфермейле не было ни такого количества белых вилл, ни такого множества довольных горожан: это была затерянная в лесах деревенька. Правда, там и сям в ней попадались дачи в стиле минувшего столетия, которые легко можно было узнать по их барскому виду, по характерным для той эпохи балконам витого железа и продолговатым окнам, маленькие стекла которых переливались на белом фоне закрытых внутренних ставней всевозможными зелеными оттенками. Тем не менее Монфермейль был только деревенькой. Ни ушедшие на покой торговцы сукном, ни отдыхающие на даче стряпчие еще не набрели на нее. Это был тихий, прелестный уголок, ничего более собой не представлявший. Там вели сельский образ жизни, привольный, дешевый и простой. Только воды было мало, так как местечко находилось на возвышенности.

За ней приходилось идти довольно далеко. Конец деревни, который поближе к Ганьи, черпал воду из великолепных лесных прудов; противоположный конец, со стороны Шеля, там, где была церковь, питьевую воду мог брать только из небольшого родника на склоне косогора, близ дороги на Шель, приблизительно в четверти часа ходьбы от Монфермейля.

Таким образом, запасти воду было для каждой семьи довольно тяжелой обязанностью. Зажиточные дома, аристократия, в том числе и хозяин трактира Тенардье, платили по лиару за ведро воды одному старичку, который занимался ремеслом водовоза в Монфермейле и этим зарабатывал около восьми су в день. Но старичок летом работал до семи часов вечера, а зимой до пяти, и как только темнело, как только закрывались ставни в нижних этажах, тот, у кого не оставалось воды для питья, должен был идти за ней сам или обходиться без воды до утра.

Это и было постоянным источником ужаса для несчастного создания, которое читатель, быть может, не забыл, – для маленькой Козетты. Вспомните, что держать Козетту было выгодно для супругов Тенардье по двум причинам: они брали плату с матери и заставляли работать дитя. И когда мать перестала присылать деньги, а из предыдущих глав читатель знает почему, Тенардье все же оставили девочку у себя. Она заменяла им служанку. Когда воды не хватало, за ней посылали Козетту. И девочка, умиравшая от страха при одной только мысли о том, что ей придется ночью идти к роднику, тщательно следила, чтобы в доме всегда была вода.

Рождество 1823 года праздновалось в Монфермейле особенно оживленно. В первую половину зимы погода стояла мягкая: не было еще ни морозов, ни снегопада. Приехавшие из Парижа фокусники получили от мэра разрешение поставить свои балаганы на главной улице села, а компания странствующих торговцев, в силу такой же льготы, построила будки на церковной площади до самой улицы Хлебопекров, где находилась, как известно, харчевня Тенардье. Весь этот люд наводнял постоянные дворы и кабаки, внося шумную и веселую струю жизни в эту глухую, спокойную деревушку. В качестве добросовестного историка мы должны даже упомянуть о том, что среди всевозможных диковин, появившихся на площади, был зверинец, где уродливые шуты в лохмотьях, неизвестно откуда взявшиеся, показывали крестьянам Монфермейля в 1823 году одного из тех ужасных бразильских кондоров, которых

королевский музей приобрел лишь в 1845 году и у которых глаза похожи на трехцветную кокарду. Если не ошибаюсь, зоологи называют эту птицу *Caracara Polyborus*; она принадлежит к разряду хищников и семейству ястребиных. Несколько бравых старых солдат-бонапартистов, живших на покое в деревушке, приходили с благоговением поглядеть на эту птицу. Шуты уверяли, что такая трехцветная кокарда – исключительный феномен, созданный господом богом специально для их зверинца.

В рождественский сочельник несколько возчиков и странствующих торговцев сидели вокруг стола, на котором горело четыре или пять свечей, в низкой зале харчевни Тенардье. Эта зала ничем не отличалась от залы любого кабака: столы, оловянные жбаны, бутылки, пьяницы, курильщики, мало света, много шума. Впрочем, два модных в ту пору среди горожан предмета на другом столе свидетельствовали о том, что это был 1823 год, а именно: калейдоскоп и лампа из узорчатой белой жести. Кабатчица присматривала за ужином, поспевавшим в ярко пылавшей печи; супруг ее пил с гостями, толкуя о политике.

Кроме разговоров политических, главной темой которых были война в Испании и господин герцог Ангулемский, среди громкого гомона слышались замечания, имевшие чисто местный интерес, вроде:

– Вон сколько выжали вина кругом Нантера и Сюрена, – кто считал, что получит бочек десять, получил все двенадцать. Из-под давила ручьями текло. – Как же так? Виноград-то ведь еще не поспел? – В этих местах не к чему ждать, пока он поспеет. Если собираешь спелый, так вино, чуть весна, и загустело. – Стало быть, это совсем слабое вино? – У них вина еще послабее, чем тут. А виноград собирать нужно, когда он зеленый.

И т. д.

Потом слышались выкрики мельника:

– Разве мы можем отвечать за то, что насыпано в мешки? Там попадается пропасть мелких зерен, копать с ними нам недосуг, вот и приходится пускать все как есть под жернов. Там и куколь, и медунка, и ржавинка, и вика, и журавлиный горох, и конопля, и лисий хвост, и видимо-невидимо всякой другой дряни, не считая мелких камешков, которых другой раз полно в зерне, особенно в бретонском. Мне такая же охота молоть эту бретонскую рожь, как пильщику распиливать бревна, в которые набито гвоздей. Посудите сами, сколько скверной трухи попадает в помол. А потом народ жалуется на плохую муку. И зря! Мы в этом не виноваты.

В простенке между окнами косарь, сидевший за столиком с землевладельцем, который торговался с ним из-за цены на весенние луговые работы, говорил:

– Что трава сырая, беды никакой нет. Ее даже спорей косить. Роса полезна, сударь. Но все одно, трава эта ваша молоденькая да неподатливая пока что. Уж очень нежна, так и клонится под косой.

И т. д.

Козетта сидела на своем обычном месте, на перекладине кухонного стола около очага. Одета в лохмотья, в деревянных башмаках на босу ногу, она, при свете очага, вязала шерстяные чулки для маленьких девочек Тенардье. Под стульями играл котенок. Из соседней комнаты доносились смех и болтовня звонких детских голосов: то были Эпонины и Азельма.

В углу, возле печи, на гвозде висела плетень.

Порой пронзительный плач ребенка, находившегося где-то в доме, врывался в шум харчевни. Это кричал маленький сын хозяйки, родившийся в одну из предыдущих зим, «неизвестно почему, – говорила она, – вероятно, из-за холода». Ему шел четвертый год. Мать хотя и выкормила его, но не любила. Когда отчаянные вопли малыша становились слишком докучными, Тенардье говорил жене: «Слышишь, как твой сын развизжался. Пойди-ка погляди,

чего ему там надо». – «А ну его! Надоел он мне!» – отвечала мать. И покинутый ребенок продолжал кричать в потемках.

Глава 2

Два законченных портрета

До сей поры в этой книге чета Тенардые была обрисована лишь в профиль; пришло время рассмотреть их со всех сторон и под всеми их личинами.

Самому Тенардые только что перевалило за пятьдесят. Г-жа Тенардые приближалась к сорока годам, что для женщины равно пятидесяти; таким образом, между мужем и женой было полное соответствие возраста.

Быть может, читатель со времени своего первого знакомства с нею сохранил еще некоторое воспоминание об этой высокой, белокурой, румяной, жирной, мясистой, широкоплечей, огромной и подвижной супруге Тенардые. Она происходила, как мы уже говорили, из породы тех дикарок-великанш, что ломаются в ярмарочных балаганах, привязав булыжники к волосам. Она одна делала все по дому: стлала постели, убирала комнаты, мыла посуду, стряпала – одним словом, была и грозой, и ясным днем, и домовым этого трактира. Ее единственной служанкой была Козетта, мышонок в услужении у слона. Все дрожало при звуке голоса Тенардые: стекла, мебель, люди. Ее широкое лицо, усеянное веснушками, напоминало шумовку. У нее росла борода. Это был настоящий крючник, переодетый в женское платье. Она мастерски умела ругаться и хвалилась тем, что ударом кулака разбивает орех. Если бы не романы, которые она читала и которые порой самым странным образом пробуждали в кабатчице жеманницу, то никому никогда не пришло бы в голову назвать ее женщиной. Эта Тенардые являлась как бы сочетанием рыночной торговли с мечтательной девицей. Услышав, как она разговаривает, вы бы сказали: «Это жандарм»; заметив, как она пьянствует, вы бы сказали: «Это извозчик»; увидев, как она обращается с Козеттой, вы бы сказали: «Это палач». Когда она молчала, изо рта у нее торчал зуб.

Сам Тенардые был худой, бледный, костлявый, тощий и тщедушный человек, казавшийся болезненным, хотя обладал отменным здоровьем, – с этого начиналось присущее ему плутовство. Обычно он из предосторожности улыбался и был вежлив почти со всеми, даже с нищими, которым отказывал в милостыне. У него был взгляд хорька и вид литератора. Он очень был похож на портреты аббата Делиля. Он рисовался тем, что пил вместе с возчиками. Никому никогда не удавалось напоить его пьяным. Он не выпускал изо рта большую трубку, носил блузу, а под блузой – старый черный сюртук. Он старался произвести впечатление человека начитанного и материалиста. Чтобы придать вес своим словам, он часто упоминал имена Вольтера, Реналля, Парни и даже, как это ни странно, святого Августина. Он утверждал, что у него есть своя «система». Сверх того он был отъявленный мошенник. Мошенник-философ. Подобного рода разновидность существует. Читатель помнит, что он выдавал себя за солдата. Несколько приукрашивая, он рассказывал, что в бытность свою сержантом не то 6-го, не то 9-го легиона он один, против эскадрона гусар смерти, прикрыл своим телом от картечи «опасно раненного генерала» и спас ему жизнь. Этот случай послужил ему поводом украсить стену дома блистательной вывеской, а окрестному люду – прозвать его харчевню «кабачком сержанта при Ватерлоо». Он был либерал, классик и бонапартист. Он внес свое имя в список жертвователей на «Убежище». В деревне толковали, что он когда-то готовился в священники.

Мы же полагаем, что готовился он всего-навсего в трактирщики. Этот негодяй смешанной масти был, по всей вероятности, во Фландрии каким-нибудь фламандцем из Лилля, в Париже – французом, в Брюсселе – бельгийцем и чувствовал себя в своей тарелке как по эту, так и по ту

сторону границы. Его подвиг при Ватерлоо известен. Как видит читатель, он его слегка приукрасил. Смена удач и неудач, хитрые уловки, рискованные предприятия составляли содержание его жизни; нечистая совесть влечет за собой неупорядоченное существование. Не лишено вероятности, что в бурное время 18 июня 1815 года Тенардье принадлежал к той разновидности маркитантов-мародеров, о которых мы упоминали выше и которые, разъезжая повсюду, продавали одним, грабили других и, руководимые чутьем, следовали обычно всей семьей – муж, жена и дети – в какой-нибудь хромоногой тележке за движущимися впереди частями армии-победительницы. Завершив кампанию, заработав, как он выражался, «малость деньжат», он поселился в Монфермейле, где и открыл харчевню.

Эти «деньжата», состоявшие из кошельков и часов, золотых перстней и серебряных крестов, собранных им во время жатвы на бороздах, усеянных трупами, не представляли все же собою настолько значительных средств, чтобы обеспечить надолго этого солдатских вин раздатчика, превратившегося в кабатчика.

В движениях Тенардье было нечто прямолинейное, что отдавало казармой, когда бранился, и семинарией, когда он крестился. Он был краснобай и выдавал себя за ученого. Однако школьный учитель заметил, что разговор у него «с изъянцем». Счета проезжающим он составлял превосходно, но опытный глаз обнаружил бы в них иногда орфографические ошибки. Тенардье был скрытен, жаден, ленив и хитер. Он не брезговал служанками, и потому его жена их больше не держала. Великанша была ревнива. Ей казалось, что этот тщедушный желтый человечек является предметом соблазна для всех женщин.

Сверх того Тенардье, человек коварный и хорошо владеющий собой, был мошенником из породы осторожных. Этот вид – наихудший; ему свойственно лицемерие.

Это не означает, что при случае Тенардье не был способен прийти в такую же ярость, как и его жена, хотя бывало это с ним редко. Но так как он злобился на весь род людской, так как в нем постоянно пылало горнило глубочайшей ненависти, так как он принадлежал к числу людей, которые постоянно мстят, которые обвиняют все окружающее во всех своих неудачах и несчастьях и, словно их обиды вполне законны, всегда готовы взвалить на первого встречного весь груз разочарований, банкротств и бедствий своей жизни, то в иные минуты, когда все эти чувства, поднимаясь подобно дрожжам, пенились у него на губах и застилали ему глаза, он становился ужасен. Горе тому, кто вставал на его пути в это мгновение!

Помимо всех своих прочих свойств, Тенардье был наблюдателен и проницателен, болтлив или молчалив, в зависимости от обстоятельств, и всегда чрезвычайно смьшлен. В его взгляде было нечто, напоминавшее взгляд моряка, привыкшего щурить глаза в подозрную трубу. Тенардье был государственным мужем.

Всякий входящий в первый раз в харчевню, глядя на жену Тенардье, говорил себе: «Вот кто хозяин дома». Заблуждение! Она не была даже хозяйкой. И тем и другим был ее супруг. Она исполняла, он придумывал. Путем какого-то магнетического воздействия, незаметного, но постоянного, он управлял всем. Ему достаточно было слова, а иногда только знака, и мастодонт повиновался. Для жены Тенардье, хотя она и не отдавала себе в этом отчета, ее муж являлся каким-то особенным, высшим существом. Ей можно было поставить в заслугу ее поведение: никогда, даже если б и возникло у нее какое-либо разногласие с «господином Тенардье» (гипотеза, впрочем, недопустимая), она «при чужих людях» ни в чем бы не перечила ему. Она никогда не совершала той ошибки, которую так часто совершают жены и которую на парламентском языке именуют «подрывом власти». Хотя единодушие их конечной целью имело одно лишь зло, но в покорности жены Тенардье своему мужу таилось какое-то благоговейное поклонение. Эта гора мяса, этот ураган повиновался мановению мизинца тщедушного деспота. В этом проявлял себя, пусть в искаженной и причудливой форме, великий, всеобщий закон:

преклонение материи перед духом; некоторые формы уродства имеют право существовать даже в самых недрах вечной красоты. В Тенардье таилось что-то загадочное, отсюда и вытекало неограниченное господство этого мужчины над этой женщиной. Бывали минуты, когда он казался ей зажженным светильником; в иные – она чувствовала лишь его когти.

Эта женщина была ужасным существом; она любила только своих детей и боялась только своего мужа. Матерью она была потому, что относилась к млекопитающим. Впрочем, ее материнское чувство сосредоточивалось только на дочерях и, как мы увидим в дальнейшем, не распространялось на сыновей. А мужчина – тот был поглощен только одной мыслью: разбогатеть.

Однако ему это не удавалось. Для такого великого таланта, каким он был, не находилось достойного поприща. Тенардье в Монфермейле разорялся, если только возможно разорение для круглого нуля; в Швейцарии или в Пиренеях этот голяк сделался бы миллионером. Но куда бы трактирщика ни забросила судьба, ему надо прокормиться.

Само собою разумеется, что слово «трактирщик» мы употребляем здесь в ограниченном смысле, и оно, конечно, не простирается на все это сословие в целом.

В 1823 году Тенардье имел около полутора тысяч франков неотложного долга, и это очень его тревожило.

Несмотря на упорную немилость судьбы, Тенардье был из числа тех людей, которые прекрасно понимали, в самом глубоком и современном значении этого слова, то, что является у дикарей добродетелью, а у народов цивилизованных – предметом торговли, – иначе говоря, гостеприимство. Вдобавок он был удивительно ловким браконьером, славившимся меткостью своего ружья. Иногда он смеялся спокойным и холодным смехом, который бывал особенно опасен.

Порой у него вырывались, словно вспышками света, исповедуемые им теории кабацкого ремесла. У него были свои профессиональные правила, которые он вдабливал жене. «Обязанность кабатчика, – толковал он ей однажды яростным шепотом, – уметь продавать первому встречному еду, покой, свет, тепло, грязные простыни, служанку, блох, улыбки; останавливать прохожих, опустошать тощие кошельки и честно облегчать толстую кошину, почтительно предлагать приют путешествующей семье, содрать с мужчины, ошипать женщину, слупить с ребенка; ставить в счет окно открытое, окно закрытое, угол около очага, кресло, стул, табурет, скамейку, перину, матрац, охапку соломы; знать, насколько повреждают зеркало отражения гостей, и брать за это деньги и, черт подери, любым способом заставить путника платить за все, даже за мух, которых проглотила его собака!»

Этот мужчина и эта женщина были хитрость и злоба, сочетавшиеся браком, – омерзительный и ужасный союз.

В то время как муж раздумывал и соображал, жена и не вспоминала о далеких кредиторах, не заботилась ни о вчерашнем, ни о завтрашнем дне, а жадно жила настоящей минутой.

Таковы были эти два существа. Козетта, находясь между ними, испытывала двойной гнет: ее словно дробили мельничным жерновом и терзали клещами. Муж и жена мучили ее каждый по-своему: Козетту избивали до полусмерти – в этом виновата была жена; она ходила зимой босая – в этом виноват был муж.

Козетта носилась вверх и вниз по лестнице, мыла, чистила, терла, мела, бегала, выбивалась из сил, задыхалась, передвигая тяжести, и, как ни была тщедушна, выполняла самую тяжелую работу. И ни капли жалости к ней; свирепая хозяйка, злобный хозяин! Харчевня Тенардье была словно паутина, в которой запуталась и билась Козетта. В этой злосчастной маленькой служанке как бы воплотился образ самого рабства. Это была муха в услужении у пауков.

Бедный ребенок терпел все и молчал.

Что же происходит в этих душах, лишь недавно покинувших божье лоно, когда на самой заре своей жизни они, такие беззащитные, такие маленькие, оказываются среди подобных людей?

Глава 3

Людям вино, а лошадям вода

Приехали еще четыре новых путешественника.

Козетта погрузилась в печальные размышления; ей было только восемь лет, но она уже так много выстрадала, что в минуты горестной задумчивости казалась маленькой старушкой.

Одно веко у нее почернело от тумака, которым наградила ее Тенардье, время от времени восклицавшая по этому поводу: «Ну и уродина же эта девчонка с фонарем под глазом!»

Итак, Козетта думала о том, что настала ночь, темная ночь, что ей, как на беду, неожиданно пришлось наполнить свежей водой все кувшины и графины в комнатах для новых постояльцев и что в кадке нет больше воды. Только одно соображение немного успокаивало ее: в харчевне Тенардье редко пили воду. Страдающих жаждой здесь всегда было достаточно, но это была та жажда, которая охотней вызывает к жбану с вином, чем к кружке с водой. Если бы кому-нибудь вздумалось потребовать стакан воды вместо стакана вина, то такого гостя все сочли бы дикарем. И все же было мгновение, когда девочка испугалась: тетка Тенардье приподняла крышку одной из кастрюлек, в которой что-то кипело на очаге, потом схватила стакан, быстро подошла к кадке с водой и открыла кран. Ребенок, подняв голову, следил за ее движениями. Из крана потекла жиденькая струйка воды и наполнила стакан до половины.

– Вот тебе и на! – проговорила хозяйка. – Воды больше нет! – и помолчала.

Девочка затаила дыхание.

– Ба! – продолжала Тенардье, рассматривая стакан, наполненный до половины. – Хватит и этого.

Козетта снова взялась за работу, но больше четверти часа еще чувствовала, как сильно колотится у нее в груди сжавшееся в комок сердце.

Она считала каждую протекшую минуту и страстно желала, чтобы поскорее наступило утро.

Время от времени кто-нибудь из посетителей поглядывал в окно и восклицал: «Ну и тьма! Хоть глаз выколи!» Или: «В такую пору без фонаря только кошке по двору шататься». И, слыша это, Козетта дрожала от страха.

Вдруг вошел один из странствующих торговцев, остановившихся в харчевне, и грубо крикнул:

– Почему моя лошадь не поена?

– Как не поена? Ее поили, – ответила Тенардье.

– А я вам говорю нет, хозяйка! – возразил торговец.

Козетта вылезла из-под стола.

– О сударь, право же, ваша лошадь напилась, она выпила ведро, полное ведро, я сама принесла ей воды и даже разговаривала с ней.

Это была неправда. Козетта лгала.

– Вот тоже выискалась, сама от горшка два вершка, а наврала с целую гору! – воскликнул торговец. – Говорю тебе, мерзавка, лошадь не пила! Когда ей хочется пить, она по-особому фыркает, уж я-то ее повадки отлично знаю.

Козетта настаивала на своем и охрипшим от тоскливой тревоги голосом еле слышно повторяла:

– Пила, даже вволю пила.

– Хватит! – гневно возразил торговец. – Ничего не пила. Сейчас же дать ей воды, и дело с концом!

Козетта залезла обратно под стол.

– Что верно, то верно, – сказала трактирщица, – если скотина не поена, то ее следует напоить.

Она огляделась по сторонам:

– А где же другая скотина?

Заглянув под стол, она разглядела Козетту, забившуюся в угол, в противоположном его конце, почти под самыми ногами посетителей.

– Ну-ка вылезай! – крикнула она.

Козетта выползла из своего убежища.

– Ты, собачье отродье! Ступай напои лошадь!

– Но, сударыня, – робко возразила Козетта, – ведь больше нет воды.

Тенардье настезь распахнула дверь на улицу:

– Так беги принеси. Ну, живо!

Козетта понурила голову и пошла за пустым ведром, стоявшим в углу около очага.

Ведро было больше ее самой, девочка могла бы свободно поместиться в нем.

Трактирщица снова стала к очагу, зачерпнула деревянной ложкой похлебку, кипевшую в кастрюле, отведала ее и проворчала:

– Хватит еще воды в роднике. Подумаешь, какое дело. А зря я лук-то не отцедила.

Пошарив в ящике стола, где валялись вперемешку мелкие деньги, перец и чеснок, она добавила:

– На, жаба, держи! На обратном пути купишь в булочной большой хлеб. Вот тебе пятнадцать су.

На Козетте был передник с боковым кармашком; она молча взяла монету и сунула ее в этот карман.

С ведром в руке неподвижно стояла она перед распахнутой дверью, словно ждала, не придет ли кто-нибудь на помощь.

– Ну, пошла живей! – крикнула трактирщица.

Козетта выбежала. Дверь захлопнулась.

Глава 4

На сцене появляется кукла

Ряд будок, выстроившихся на открытом воздухе, начинался от церкви, как помнит читатель, и доходил до харчевни Тенардье. Все будки стояли на пути богомольцев, направлявшихся на предстоявшую полунощную службу, поэтому они были ярко освещены свечами в бумажных воронках, что представляло «чарующее зрелище», по выражению школьного учителя, сидевшего в это время в харчевне Тенардье. Зато ни одна звезда не светила на небе.

Будка, находившаяся как раз против двери харчевни, торговала игрушками и вся блистала мишурой, мелкими стекляшками и великолепными изделиями из жести. В первом ряду витрины, на самом видном месте, на фоне белых салфеток, торговец поместил огромную куклу, вышиной приблизительно в два фута, наряженную в розовое креповое платье, с золотыми колосьями на голове, с настоящими волосами и эмалевыми глазами. Весь день это чудо

красовалось в витрине, поражая прохожих не старше десяти лет, но во всем Монфермейле не нашлось ни одной настолько богатой или расточительной матери, чтобы купить эту куклу своему ребенку. Эпониная и Азельма часами любовались ею, и даже Козетта, правда украдкой, нет-нет да и взглядывала на нее.

Даже в ту минуту, когда Козетта вышла с ведром в руке, мрачная и подавленная, она не могла удержаться, чтобы не посмотреть на дивную куклу, на эту «даму», как она называла ее. Бедное дитя замерло на месте. Козетта еще не видала этой куклы вблизи. Вся лавочка казалась ей дворцом, а кукла – сказочным видением. Это был восторг, великолепие, богатство, счастье, возникшее в каком-то призрачном сиянии перед маленьким жалким существом, поверженным в бездонную, черную, леденящую нужду. Козетта с присущей детям простодушной и прискорбной проникательностью измеряла пропасть, отделявшую ее от этой куклы. Она говорила себе, что надо быть королевой или по меньшей мере принцессой, чтобы играть с такой «вещью». Она любовалась чудесным розовым платьем, роскошными блестящими волосами и думала: «Какая счастливица эта кукла!» И девочка не могла отвести глаз от волшебной лавки. Чем больше она смотрела, тем сильнее изумлялась. Она вообразила, что видит рай. Позади большой куклы сидели еще куклы, поменьше; и ей представлялось, что это феи и ангелы. Торговец, который прохаживался в глубине лавочки, казался ей чуть ли не самым господом богом.

Она так углубилась в благоговейное созерцание, что забыла обо всем, даже о поручении, которое должна была выполнить. Внезапно грубый голос трактирщицы вернул ее к действительности.

– Как! Ты все еще тут торчишь, бездельница? Вот я тебе задам! Скажите, пожалуйста! Чего ей тут нужно? погоди у меня, уродина! – кричала Тенардьё, которая, выглянув в окно, увидела застывшую в восхищении Козетту.

Схватив ведро, Козетта со всех ног помчалась за водой.

Глава 5

Малютка одна

Харчевня Тенардьё находилась в той части деревни, где была церковь, поэтому Козетта должна была идти за водой к лесному роднику, в сторону Шеля.

Она больше не глядела ни на одну витрину. Пока она шла по улице Хлебопекров и вблизи церкви, ее путь освещали огни лавчонок, но вскоре исчез и последний огонек в оконце последней палатки. Бедная девочка очутилась в темноте и потонула в ней. Ею стало овладевать какое-то волнение, поэтому она на ходу изо всей силы гроыхала дужкой ведра. Этот шум разгонял ее одиночество.

Чем дальше она продвигалась, тем гуще становился мрак. На улицах не было ни души. Все же ей встретиась одна женщина, которая, поравнявшись с ней, пробормотала сквозь зубы: «Куда это идет такая крошка? Уж не оборотень ли это?» Потом, всмотревшись, женщина узнала Козетту. «Гляди-ка! – сказала она. – Да это Жаворонок!»

Таким образом, Козетта прошла лабиринт извилистых безлюдных улиц, которыми заканчивается местечко Монфермейль со стороны Шеля. Пока ее путь лежал между домами или даже заборами, она шла довольно смело. От времени до времени сквозь щели ставен она видела отблеск свечи – то были свет, жизнь, там были люди, и это успокаивало ее. Однако по мере того как она подвигалась вперед, она бессознательно замедляла шаг. Завернув за угол последнего дома, Козетта остановилась. Идти дальше последней лавочки было трудно; идти дальше последнего дома становилось уже невозможным. Поставив ведро на землю, она запустила

пальцы в волосы и принялась медленно почесывать голову, как свойственно напуганным и робким детям. Монфермейль кончился, начинались поля. Темная и пустынная даль расстилалась перед нею. Безнадежно глядела она в этот мрак, где уже не было людей, где хоронились звери, где бродили, быть может, привидения. Она глядела все пристальнее, и вот она услышала шаги зверей по траве и ясно увидела привидения, шевелившиеся среди деревьев. Тогда она схватила ведро, страх придав ей мужества. «Ну и пусть! – воскликнула она. – Я ей скажу, что там нет больше воды». И она решительно повернула в Монфермейль.

Но едва сделав сотню шагов, Козетта снова остановилась и снова принялась почесывать голову. Теперь представилась ей тетка Тенардьё, отвратительная, страшная, с пастью гиены и сверкающими от ярости глазами. Ребенок беспомощно огляделся по сторонам. Что делать? Куда идти? Впереди – призрак хозяйки, позади – все духи тьмы и лесов. И она отступила перед хозяйкой. И вновь пустилась бежать по дороге к роднику. Из деревни она выбежала бегом, в лес вбежала бегом, ни на что больше не глядя, ни к чему больше не прислушиваясь. Она только тогда замедлила бег, когда начала задыхаться, но и тут не остановилась. Охваченная отчаянием, продолжала она свой путь.

Она бежала бегом, еле сдерживая рыдания.

Ночной шум леса охватил ее со всех сторон. Она больше ни о чем не думала, ничего не замечала. Беспредельная ночь глядела в глаза этому крошечному созданию. С одной стороны всеобъемлющий мрак; с другой – пылинки.

От опушки леса до родника было не больше семи-восьми минут ходьбы. Дорогу Козетта знала, так как ходила по ней несколько раз в день. Странное дело, она не заблудилась. Остаток инстинкта смутно руководил ею. Впрочем, она не смотрела ни направо, ни налево, боясь увидеть что-нибудь страшное в ветвях деревьев или в кустарниках. Так она дошла до родника.

Это было узкое природное углубление, размытое водой в глинистой почве, около двух футов глубиной, окруженное мхом и высокими гофрированными травами, которые называют «воротничками Генриха IV», и выложенное несколькими большими камнями. Из него с тихим журчанием вытекал ручеек.

Козетта даже не передохнула. Было очень темно, но она привыкла ходить за водой к этому роднику. Нашупав в темноте левой рукой молодой дубок, наклонившийся над ручьем и служивший ей обычно точкой опоры, она отыскала ветку, ухватилась за нее, нагнулась и погрузила ведро в воду. Она была так возбуждена, что силы ее утроились. Нагибаясь над ручьем, она не заметила, как из кармашка ее фартука выскользнула монета и упала в воду. Козетта не видела и не слышала ее падения. Она вытащила почти полное ведро и поставила его на траву.

Сделав это, она почувствовала, что изнемогает от усталости. Ей очень хотелось тотчас же вернуться обратно, но наполнить ведро стоило ей таких усилий, что она больше не могла сделать ни шагу. Волей-неволей ей надо было отдохнуть. Она опустилась на траву и замерла, присев на корточки.

Козетта закрыла глаза, затем открыла их вновь, не понимая почему, но не в силах сделать иначе. Рядом с нею в ведре колыбалась вода, разбегаясь кругами, похожими на жестяных змеек.

Над ее головой небо было затянуто тяжелыми темными тучами, напоминавшими дымные полотнища. Трагическая маска ночи, казалось, смутно нависла над ребенком.

Юпитер склонялся к закату в бездонных глубинах неба. Девочка глядела растерянным взглядом на эту огромную неведомую ей звезду, которая пугала ее. Планета действительно в эту минуту стояла очень низко над горизонтом, прорезая густой слой тумана, придававшего ей страшный багровый оттенок. Зловещий красный туман увеличивал размеры светила. Чудилось, то была пламенеющая рана.

Холодный ветер дул с равнины. Мрачен был лес, не шелестели в нем листья, и не брезжил

там тот неуловимый и живой отблеск, который присущ лету. Угрожающе торчали огромные сучья. Чахлый, уродливый кустарник шуршал в прогалинах. Высокие травы извивались под северным ветром, словно угри. Ветки терновника вытягивались, как вооруженные когтями длинные руки, старающиеся схватить добычу. Сухой вереск, гонимый ветром, быстро пролетал мимо, словно в ужасе спасаясь от чего-то. Вокруг расстилались унылые дали.

От темноты кружится голова. Человеку необходим свет. Кто углубляется в мрак, чувствует, как у него замирает сердце. Когда перед глазами тьма, затемняется и сознание. В ночи, в непроницаемой мгле даже для самого мужественного человека таится что-то жуткое. Никто ночью один не проходит по лесу без страха. Тени и деревья – два опасных сгустка темноты. Призрачная действительность возникает в смутной глубине. Непостижимое намечается в нескольких шагах от вас с отчетливостью привидения. Видишь, как в пространстве – или в собственном мозгу – проплывает нечто смутное и неуловимое, словно грезы задремавших цветов. На горизонте возникают какие-то страшные очертания. Вдыхаешь испарения огромной черной пустоты. И боязно, и хочется оглянуться. Провалы в ночи, какие-то тени, вселяющие ужас, безмолвные фигуры, которые рассеиваются при вашем приближении, купы качающихся деревьев, свинцовые лужи – отражение скорби во мраке, могильная глубина безмолвия, присутствие всевозможных неведомых существ, таинственное покачивание ветвей, жуткие стволы деревьев, длинные пряди шелестящей травы, – против всего этого чувствуешь себя беззащитным. Нет такого отважного сердца, которое не дрогнуло бы, не почувствовало тревоги. Испытываешь отвратительное ощущение, словно душа сливается с тьмой. Это растворение во мраке невыразимо страшно для ребенка.

Леса – обители тайны и ужаса, и трепет крыл младенческой души подобен предсмертному вздоху под их чудовищным сводом.

Не разбираясь в своих ощущениях, Козетта чувствовала, как ее обволакивает этот безмерный мрак природы. Ее охватил даже не ужас, а нечто более страшное, чем ужас. Она вся дрожала. Слова бессильны передать то необычайное, что таила в себе эта дрожь и от чего замирало ее сердце. В глазах у нее появилось что-то дикое. Ей стало казаться, что, наверно, она не сможет противостоять желанию снова прийти сюда завтра, в тот же час.

Тогда, как бы инстинктивно, чтобы освободиться от этого странного состояния, которого она не понимала, но которое пугало ее, она принялась считать вслух: «Раз, два, три, четыре», и так до десяти, а затем опять сначала. Это вернуло ее к правильному восприятию действительности. Она почувствовала, как заоченели ее руки, которые она замочила, черпая воду. Она встала. Страх вновь охватил ее, страх естественный и непреодолимый. Одна лишь мысль владела ею – бежать, бежать без оглядки, через лес, через поля, к домам, к окнам, к зажженным свечам. Ее взгляд упал на ведро, стоявшее перед нею. И так сильна была боязнь перед хозяйкой, что она не осмелилась убежать без ведра. Она ухватила обеими руками за дужку ведра и с трудом приподняла его.

Так сделала она шагов двенадцать, но полное ведро было тяжелым, она принуждена была опять поставить его на землю. Переведя дух, она снова ухватила за дужку. На этот раз она шла дальше, но пришлось опять остановиться. Отдохнув несколько секунд, она продолжала путь. Козетта шла согнувшись, понуриив голову, словно старуха; тяжелое ведро оттягивало и напрягало ее худенькие ручонки; железная дужка ведра леденила онемевшие пальцы; от времени до времени Козетта останавливалась, и каждый раз холодная вода, выплескиваясь из ведра, обливала ее голые ножки. Это происходило в глубине леса, зимней ночью, вдали от людского взора; девочке было восемь лет. Один лишь бог взирал на это раздирающее душу зрелище.

Видела это, конечно, и мать ее, увы!

Ибо в мире происходят вещи, которые заставляют усопших пробуждаться в могилах.

Козетта дышала с каким-то болезненным хрипом, рыдания сжимали ей горло, но плакать она не смела, так сильно боялась она своей хозяйки даже вдали от нее. Она привыкла всегда и везде представлять ее рядом с собою.

Однако, идя очень медленно, она мало подвигалась вперед. Напрасно старалась она сокращать время своих стоянок и проходить как можно больше от одной до другой. С мучительной тревогой думала она о том, что ей потребуется больше часу, чтобы вернуться в Монфермейль, и что Тенардье опять прибудет ее. Эта тревога примешивалась к ее ужасу перед тем, что она одна в лесу в ночную пору. Достигнув знакомого ей старого каштанового дерева, она остановилась передохнуть в последний раз, на более длительный срок, и, собрав остаток сил, мужественно двинулась в путь. И все же бедная малютка не могла удержаться, чтобы не простонать в отчаянии: «Боже мой, боже мой!»

В это мгновение она почувствовала, что ведро стало легким. Чья-то рука, показавшаяся ей огромной, схватила дужку ведра и легко приподняла его. Она вскинула голову. Высокая черная прямая фигура шагала рядом с ней в темноте. Это был мужчина, неслышно догнавший ее. Человек молча взял за дужку ведра, которое она несла.

Во всех случаях жизни человек слышит предупреждающий голос инстинкта.

Ребенок не испугался.

Глава 6, которая, быть может, доказывает сообразительность Башки

После полудня того же самого рождественского сочельника 1823 года какой-то человек довольно долго прохаживался по самой пустынной части Госпитального бульвара в Париже. Казалось, он подыскивал себе квартиру и, видимо, предпочитал самые скромные дома этой пришедшей в упадок окраины предместья Сен-Марсо.

В дальнейшем мы узнаем, что этот человек действительно снял комнату в этом уединенном квартале.

Как по своей одежде, так и по всему своему облику он воплощал тот тип, который можно назвать благородным нищим. Крайняя нужда соединялась у него с крайней опрятностью – довольно редкое сочетание, внушающее чутким сердцам двойное уважение к тому, кто столь беден и столь полон достоинства. На нем была круглая шляпа, очень старая и тщательно вычищенная, протертый до ниток редингот из грубого темно-желтого сукна – этот цвет не казался в те времена слишком странным, – закрытый старомодный жилет с карманами, черные панталоны, посеревшие на коленях, черные шерстяные чулки и грубые башмаки с медными пряжками. Он был похож на возвратившегося из эмиграции бывшего гувернера в аристократическом доме. По его совершенно седым волосам, по морщинистому лбу, бледным губам, по его скорбному, усталому лицу можно было предположить, что ему гораздо больше шестидесяти лет. Но по его уверенной, хотя и медленной походке, по удивительной силе, сквозившей во всех движениях, ему не дали бы и пятидесяти. Морщины на его лбу были такого благородного рисунка, что расположили бы в его пользу всякого, кто внимательно пригляделся бы к нему. Его сомкнутые губы хранили странное выражение не то суровости, не то смирения. В глубине его взгляда таилось какое-то скорбное спокойствие. В левой руке он нес маленький сверток, завязанный в носовой платок, а правой опирался на палку, видимо выдернутую из плетня. Палка была довольно тщательно отделана и не казалась слишком грубой: сучки были обрублены, а набалдашник сделан из красного сургуча – под коралл. Это была дубинка, но казалась она тростью.

Госпитальный бульвар довольно безлюден, особенно зимой. Человек, без всякого, впрочем, желания подчеркнуть это, казалось, скорее избегал людей, чем искал встречи с ними.

В те времена король Людовик XVIII почти ежедневно ездил в Шуази-ле-Руа. Это была одна из его излюбленных прогулок. Около двух часов дня почти всегда можно было видеть королевский экипаж и свиту, мчавшиеся во весь опор мимо Госпитального бульвара. Беднякам квартала их появление заменяло и карманные часы и стенные. Они говорили: «Уже два часа – вон король возвращается в Тюильри».

И одни выбегали навстречу, другие отходили в сторону, ибо проезд короля всегда вызывает суматоху. Впрочем, появление и исчезновение Людовика XVIII на улицах Парижа производило даже известное впечатление. Это было мимолетно, но величественно. Этот увечный король любил быструю езду; не в силах ходить, он хотел мчаться; этот хромо́й человек охотно взнуздывал молнию. Он проезжал, спокойный и суровый, среди обнаженных сабель охраны. Тяжелая вызолоченная карета, на дверцах которой были нарисованы большие стебли лилий, катилась с грохотом. Люди лишь мельком успевали заглянуть в нее. В глубине, в правом углу, на подушках, обитых белым шелком, виднелось широкое, крепкое, румяное лицо, свеженапудренные волосы с взбитым хохолком, надменный, жесткий и хитрый взгляд, тонкая улыбка, два густых эполета с золотой бахромой, свисающей на штатское платье, орден Золотого руна, крест Святого Людовика, крест Почетного легиона, серебряная звезда ордена Св. Духа, огромный живот и широкая голубая орденская лента: это был король. За чертой города он держал шляпу с белым плюмажем на коленях, обтянутых высокими английскими гетрами; въезжая в город, надевал ее, редко отвечая на приветствия. Холодно глядел он на народ, отвечавший ему тем же. Когда король в первый раз появился в квартале Сен-Марсо, то весь успех, который он там стяжал, выразился в словах одного мастерового, обращенных к товарищу: «Вот этот толстяк и есть правительство».

Появление короля в один и тот же час было, таким образом, ежедневным событием на Госпитальном бульваре.

Прохожий в желтом рединготе не принадлежал, очевидно, к числу жителей квартала и, вероятно, не был даже жителем Парижа, ибо не подозревал об этой подробности. Когда в два часа королевская карета, окруженная эскадроном гвардейцев в серебряных галунах, выехала к бульвару, обогнув Сальпетриер, он, казалось, был изумлен и даже испуган. Кроме него, на боковой аллее никого не было, и он отступил за угол ограды, что не помешало герцогу д'Авре его заметить. В этот день герцог д'Авре, как начальник личной охраны, сидел в карете против короля. Он сказал его величеству: «Вот довольно подозрительная личность». Полицейские, зорко следившие за проездом короля, также заметили его, и одному из них дан был приказ проследить за прохожим. Но человек углубился в пустынные улицы предместья, и так как уж начинало смеркаться, то полицейский потерял его из виду, о чем и было донесено в тот же вечер в рапорте на имя министра внутренних дел и префекта полиции, графа Англеса.

Сбив с толку полицейского, человек в желтом рединготе ускорил шаги, но не раз еще оглядывался, желая убедиться, что за ним никто не следует. В четверть пятого, то есть когда уже стало совсем темно, он проходил мимо театра Порт-Сен-Мартен, где в этот день давали пьесу «Два каторжника». Афиша, освещенная театральными фонарями, видимо, поразила его: хотя он и шел торопливо, однако остановился прочитать ее. Спустя мгновение он уже был в Дровяном тупике и входил в гостиницу «Оловянное блюдо», где в ту пору помещалась контора дилижансов, отправлявшихся в Ланьи. Дилижанс отъезжал в половине пятого. Лошади были уже впряжены, и пассажиры, окликаемые кучером, поспешно взбирались по высокой железной лесенке старого рыдвана.

Пешеход спросил:

– Есть свободное место?

– Только одно, рядом со мной, на козлах, – ответил кучер.

– Я беру его.

– Садитесь.

Но прежде чем отъехать, кучер оглядел скромную одежду пассажира, его легкий багаж и потребовал плату вперед.

– Вы едете до Ланьи? – спросил кучер.

– Да, – ответил человек.

Он уплатил за проезд до Ланьи.

Тронулись в путь. Миновав заставу, кучер попытался было завязать разговор, но пассажир отвечал односложно. Кучер принялся насвистывать и понукать своих лошадей.

Он закутался в свой плащ. Было холодно. Но пассажир, казалось, не замечал ничего. Таким образом проехали Гурне и Нельи-на-Марне.

Около шести часов вечера подъехали к Шелю. Перед трактиром, помещавшимся в старом здании королевского аббатства, кучер остановился, чтобы дать отдых лошадям.

– Я сойду здесь, – сказал пассажир.

Он взял свой сверток и палку и соскочил с дилижанса.

Минуту спустя он пропал из виду.

В трактир он не вошел.

Когда через некоторое время дилижанс снова тронулся в путь, держа на Ланьи, то не повстречал этого человека и на главной улице Шеля.

Кучер обернулся к пассажирам, сидевшим внутри дилижанса.

– Этот человек не здешний, я не знаю его, – сказал он. – У него такой вид, точно он без гроша в кармане, а между тем он не скаречничает: заплатил до Ланьи, а доехал только до Шеля. Уже ночь, все двери заперты в домах, в харчевню он не вошел, но его нигде не видно. Не иначе как сквозь землю провалился.

Но человек не провалился сквозь землю, а торопливо шагал в темноте по главной улице Шеля, потом, не доходя до церкви, свернул влево, на проселочную дорогу, ведущую в Монфермейль, как будто он очень хорошо знал его окрестности и уже не раз бывал здесь.

Он быстро пошел по этой дороге. В том месте, где ее пересекает старое, окаймленное деревьями шоссе, ведущее из Ганьи в Ланьи, он услышал шаги прохожих. Пospешив укрыться во рву, он выждал, пока люди прошли мимо. Эта предосторожность была, пожалуй, излишней, ибо, как мы уже сказали, стояла темная декабрьская ночь. Лишь две или три звезды светились на небе.

Именно в этом месте и начинается подъем на холм. Но путник не пошел по дороге в Монфермейль. Он взял направо, пересек поля и быстрым шагом дошел до леса.

Оказавшись в лесу, он замедлил шаги и стал внимательно присматриваться к каждому дереву, медленно подвигаясь вперед, словно искал что-то, и держался таинственной, ему одному известной дороги. Было мгновение, когда ему показалось, что он сбился с пути, и он в нерешительности остановился. Наконец ошупью добрался он до прогалины, где лежала груда больших, белевших в темноте камней. Пospешно подойдя к ним, он окинул их внимательным взглядом сквозь ночной туман, точно делал им смотр. Большое дерево, покрытое наростами, являющимися признаком старости, высилось в нескольких шагах от груды камней. Путник направился к этому дереву и провел рукой по стволу, словно хотел нащупать и пересчитать все наросты на его коре.

Против дерева – это был ясень – рос каштан, болевший отпаданием коры. К нему взамен повязки была прибита полоска цинка. Человек приподнялся на цыпочки и дотронулся до этой

цинковой полоски.

Затем он потоптался на месте, словно желая убедиться, что земля между деревом и грудой камней не была свежевзрытой.

Сделав это, он осмотрелся и продолжал свой путь через лес.

Это и был тот самый человек, который только что встретился с Козеттой.

Пробираясь сквозь лесную поросль по направлению к Монфермейлю, он заметил маленькую движущуюся тень, которая то ставила свою ношу на землю, то с жалобным стоном подымала ее вновь и брела дальше. Он подошел ближе и увидел, что это была совсем маленькая девочка, еле тащившая огромное ведро с водой. Он тут же очутился возле нее и молча взялся за дужку ведра.

Глава 7

Козетта в темноте бок о бок с незнакомцем

Козетта, как мы уже сказали, не испугалась.

Человек заговорил с ней. Голос его был тих и серьезен.

– Дитя мое, твоя ноша слишком тяжела для тебя.

Козетта подняла голову и ответила:

– Да, сударь.

– Дай мне, – сказал он, – я понесу.

Козетта выпустила дужку ведра. Человек пошел рядом с ней.

– Это действительно очень тяжело, – пробормотал он сквозь зубы. Потом спросил: – Сколько тебе лет, малютка?

– Восемь лет, сударь.

– И ты идешь издалека?

– От ручья, который в лесу.

– А далеко тебе еще идти?

– Добрых четверть часа.

Путник помолчал немного, потом вдруг спросил:

– Значит, у тебя нет матери?

– Я не знаю, – ответила девочка. И прежде чем он успел вновь заговорить, она добавила: – Думаю, что нет. У других есть. А у меня нет. – И помолчав, продолжала: – Наверно, никогда и не было.

Человек остановился. Он поставил ведро на землю, наклонился и положил обе руки на плечи ребенка, стараясь в темноте разглядеть лицо.

Худенькое и жалкое личико Козетты смутно проступало в белесовато-сером свете неба.

– Как тебя зовут?

– Козетта.

Прохожий вздрогнул, словно от электрического тока. Он снова взглянул на нее, затем снял свои руки с плеч Козетты, схватил ведро и зашагал вперед.

Спустя мгновение он спросил:

– Где ты живешь, малютка?

– В Монфермейле, – может, вы знаете, где это?

– Мы идем туда?

– Да, сударь.

Немного погодя он снова спросил:

– Кто же это послал тебя в такой поздний час за водой в лес?

– Госпожа Тенардые.

Незнакомец продолжал голосом, которому силился придать равнодушие, но который, однако, странно дрожал:

– А чем эта твоя госпожа Тенардые занимается?

– Она моя хозяйка, – ответил ребенок. – Она содержит постоялый двор.

– Постоялый двор? – переспросил путник. – Хорошо, там я и переночую сегодня. Проводика меня.

– А мы туда идем, – ответила девочка.

Человек шел довольно быстро. Козетта легко поспевала за ним. Она больше не чувствовала усталости. Время от времени она посматривала на него с каким-то спокойствием, с каким-то невыразимым доверием. Ее никто никогда не учил молиться богу. Однако она испытывала нечто похожее на чувство радости и надежды, обращенное к небесам.

Прошло несколько минут. Незнакомец заговорил снова:

– Разве у госпожи Тенардые нет служанки?

– Нет, сударь.

– Разве ты у нее одна?

– Да, сударь.

Вновь наступило молчание. Потом Козетта сказала:

– Правда, у нее есть еще две маленькие девочки.

– Какие маленькие девочки?

– Понина и Зельма.

Так упрощала Козетта романтические имена, столь любезные сердцу трактирщицы.

– Кто же это Понина и Зельма?

– Это барышни госпожи Тенардые. Ну, просто ее дочери.

– А что же они делают?

– О! – воскликнул ребенок. – У них красивые куклы, разные блестящие вещи, у них много всяких дел. Они играют, забавляются.

– Весь день?

– Да, сударь.

– А ты?

– А я работаю.

– Весь день?

Девочка подняла свои большие глаза, в которых угадывались слезы, скрытые ночным мраком, и кротко ответила:

– Да, сударь. – С минуту помолчав, Козетта добавила: – Иногда, когда я кончу работу и когда мне позволят, я тоже могу поиграть.

– Как же ты играешь?

– Как могу. Мне не мешают. Но у меня мало игрушек. Понина и Зельма не хотят, чтобы я играла их куклами. У меня есть только оловянная сабелька, вот такой длины. – И девочка показала на мизинец.

– Ею ничего нельзя резать?

– Можно, сударь, – ответила девочка, – например, салат и головы мухам.

Они дошли до деревни; Козетта повела незнакомца по улицам. Они прошли мимо булочной, но Козетта не вспомнила о хлебе, который должна была принести. Человек перестал расспрашивать ее и хранил теперь мрачное молчание. Когда они миновали церковь, незнакомец, видя все эти разбитые под открытым небом лавчонки, спросил:

– Тут что же, ярмарка?

– Нет, сударь, это Рождество.

Когда они подходили уже к постоялому двору, Козетта робко дотронулась до его руки:

– Сударь.

– Да, дитя мое?

– Вот мы уже совсем близко от дома.

– И что же?

– Можно мне теперь у вас взять ведро?

– Зачем?

– Если хозяйка увидит, что мне помогли его донести, она меня прибьет.

Человек отдал ей ведро. Минуту спустя они были у дверей харчевни.

Глава 8

Как неприятно впустить в дом бедняка, который может оказаться богачом

Козетта не могла удержаться, чтобы украдкой не взглянуть на большую куклу, все еще красовавшуюся в витрине игрушечной лавки, затем она постучала в дверь. На пороге показалась трактирщица, держа в руке свечу.

– А, это ты, бродяжка! Наконец-то! Куда это ты запропастилась? По сторонам глазела, срамница!

– Сударыня, – сказала, задрожав, Козетта, – вот господин, который хотел бы переночевать у нас.

Угрюмое выражение на лице тетки Тенардье быстро сменилось любезной гримасой – это мгновенное превращение свойственно кабатчикам. Она жадно всматривалась в темноту, желая разглядеть вновь прибывшего.

– Это вы, сударь?

– Да, сударыня, – ответил человек, притронувшись рукой к шляпе.

Богатые путешественники не бывают столь вежливы. Этот жест, а также осмотр одежды и багажа путешественника, который бегло произвела хозяйка, заставили исчезнуть ее любезную гримасу, снова сменившуюся угрюмым выражением. Она сухо произнесла:

– Входите, милейший.

«Милейший» вошел. Тенардье вторично окинула его взглядом, уделив особенное внимание его изрядно потертому сюртуку и слегка помятой шляпе, потом, кивнув в его сторону головой, сморщила нос и, подмигнув, вопросительно взглянула на мужа, продолжавшего бражничать с возчиками. Супруг ответил незаметным движением указательного пальца, одновременно оттопырив губы, что в подобном случае обозначает: «голь перекатная». Тогда трактирщица воскликнула:

– Ах, любезный, мне очень жаль, но у меня нет ни одной свободной комнаты.

– Поместите меня, куда вам будет угодно – на чердак, в конюшню. Я заплачу, как за отдельную комнату, – сказал путник.

– Сорок су.

– Сорок су? Ладно.

– В добрый час.

– Сорок су! – шепнул один из возчиков кабатчице. – Но ведь комната стоит только двадцать су.

– А с него сорок, – ответила она тоже шепотом. – Дешевле я не беру с бедняков.

– Правильно, – кротким голосом заметил ее муж, – пускать к себе такой народ – только портить добрую славу заведения.

Тем временем человек, положив на скамью свой узелок и палку, присел к столу, на который Козетта поспешила поставить бутылку вина и стакан. Торговец, потребовавший ведро воды для своей лошади, отправился сам напоить ее. Козетта опять уселась на обычное место под кухонным столом и взялась за свое вязание.

Человек налил себе вина и, едва пригубив из стакана, с каким-то странным вниманием разглядывал ребенка.

Козетта была некрасива. Возможно, будь она счастливой, она была бы миловидной. Мы уже набросали в общих чертах этот маленький печальный образ. Козетта была худенькая, бледная девочка, на вид лет шести, хотя ей шел восьмой год. Ее большие глаза, окруженные синевой, казались почти тусклыми от постоянных слез. Уголки ее рта были опущены с тем выражением привычного страдания, которое наблюдаешь у приговоренных к смерти и у безнадежно больных. Руки ее, как предугадала мать, «потрескались от мороза». Огонь, освещавший Козетту в это мгновение, выдавал ее резко выступающие кости и подчеркивал ее ужасную худобу. Так как ее постоянно знобило, то у нее образовалась привычка тесно сжимать колени. Вся ее одежда представляла собой лохмотья, которые летом возбуждали сострадание, а зимой внушали ужас. Ее прикрывала лишь дырявая холстина; ни лоскутка шерсти. Там и сям просвечивало тело, на котором можно было разглядеть синие или черные пятна – следы прикосновения хозяйской длани. Голые тонкие ножки покраснели от холода. Глубокие впадины над ключицами были жалостны до слез. Весь облик этого ребенка, его походка, его движения, звук его голоса, прерывистая речь, его взгляд, его молчание, малейший жест – все выражало и обличало лишь одно: страх.

Козетта была вся проникнута этим страхом, он ее как бы окутывал. Страх вынуждал ее тесно прижимать к себе локти, прятать под юбку ноги, стараться занимать как можно меньше места, еле дышать; страх сделался, если можно так выразиться, привычкой ее тела, способной лишь усиливаться. В глубине ее зрачков притаился ужас.

Этот страх был так велик, что, возвратясь домой совершенно изможденной, Козетта не посмела приблизиться к очагу, чтобы обсушиться, а тихонько уселась за свою работу.

Взгляд этого восьмилетнего ребенка был всегда так печален, а порой так мрачен, что в иные мгновения казалось, что она на пути к слабоумию или к помешательству.

Никогда, мы уже упоминали об этом, не знала она, что такое молитва, никогда не переступала порога церкви. «Разве у меня есть для этого время?» – говорила ее хозяйка.

Человек в желтом рединготе не спускал глаз с Козетты.

Вдруг трактирщица воскликнула:

– Постой! А хлеб где?

Козетта, как всегда, стоило только хозяйке повысить голос, быстро вылезла из-под стола.

Она совершенно забыла об этом хлебе. Она прибегла к обычной уловке запуганных детей. Она солгала:

– Сударыня, булочная была уже заперта.

– Надо было постучаться.

– Я стучалась, сударыня.

– Ну и что же?

– Мне не отперли.

– Завтра я проверю, правду ли ты говоришь, – сказала Тенардье, – и если ты соврала, то попляшешь у меня как следует. А покамест дай-ка сюда пятнадцать су.

Козетта сунула руку в карман фартука и помертвела. Монетки в пятнадцать су там не было.

– Ну, – крикнула трактирщица, – ты оглохла, что ли?

Козетта вывернула карман. Пусто. Но куда могла деться денежка? Несчастная малютка не

находила слов. Она окаменела.

– Ты, значит, потеряла деньги, потеряла целых пятнадцать су? – прохрипела Тенардье. – А может, ты вздумала их у меня украсть?

С этими словами она протянула руку к плетке, висевшей на гвозде возле очага.

Это грозное движение вернуло Козетте силы, она закричала: «Простите! Простите! Я больше не буду!»

Тенардье сняла плеть.

В это время человек в желтом рединготе, незаметно для окружающих, пошарил в жилетном кармане. Впрочем, остальные посетители пили, играли в кости и ни на что не обращали внимания.

Козетта в смертельном страхе забилась в угол за очагом, стараясь сжаться в комочек и как-нибудь спрятать свое жалкое полуобнаженное тельце. Трактирщица занесла руку.

– Виноват, сударыня, – вмешался неизвестный, – я сейчас видел, как что-то упало из кармана этой малютки и покатилося по полу. Не эти ли деньги?

Он тут же наклонился, делая вид, будто что-то ищет на полу.

– Так и есть, вот она, – сказал он, выпрямляясь.

И он протянул тетке Тенардье серебряную монетку.

– Та самая! – воскликнула тетка Тенардье.

Отнюдь не «та самая», а монета в двадцать су, но для трактирщицы это было выгодно. Она положила деньги в карман и удовольствовалась тем, что, злобно взглянув на ребенка, сказала: «Чтоб это было в последний раз!»

Козетта опять забралась в свою «нору», как называла это место тетка Тенардье, и ее большие глаза, устремленные на незнакомца, мало-помалу приобретали совершенно несвойственное им выражение. Пока это было лишь наивное удивление, но к нему примешивалась уже какая-то безотчетная доверчивость.

– Ну как, вы будете ужинать? – спросила трактирщица у приезжего.

Он ничего не ответил. Казалось, он глубоко задумался.

– Кто он, этот человек? – процедила она сквозь зубы. – Уверена, что за ужин ему заплатить нечем. Хоть бы за ночлег расплатился. Все-таки мне повезло, что ему не пришло в голову украсть деньги, валявшиеся на полу.

Тут открылась дверь, и вошли Эпониная и Азельма.

Это были две прехорошенькие девочки, скорее горожаночки, чем крестьяночки, очень миленькие, одна – с блестящими каштановыми косичками вокруг головы, другая – с длинными черными косами, спускавшимися по спине. Оживленные, чистенькие, полненькие, свежие и здоровые, они радовали глаз. Девочки были тепло одеты, но благодаря материнскому искусству плотность материи нисколько не умаляла кокетливости их туалета. Одежда приноровлена была к зиме, не теряя вместе с тем изящества весеннего наряда. Эти две малютки излучали свет. Сверх того они были здесь повелительницами. В их одежде, в их веселости, в том шуме, который они производили, чувствовалось сознание своей верховной власти. Когда они вошли, трактирщица сказала ворчливым, но полным обожания голосом: «А, вот, наконец, и вы пожаловали!»

Притянув поочередно каждую к себе на колени, она пригладила им волосы, поправила ленты и, потрепав с материнской нежностью, отпустила, воскликнув: «Нечего сказать, хороши!»

Девочки уселись в углу, возле очага. В руках они держали куклу, которую тормозили на все лады, укладывая ее то у одной, то у другой на коленях, и весело щебетали. От времени до времени Козетта поднимала глаза от вязанья и печально глядела на них.

Эпонины и Азельма не замечали Козетту. Она была для них чем-то вроде собачонки. Этим трем девочкам всем вместе не было и двадцати четырех лет, а они уже олицетворяли собой человеческое общество: с одной стороны – зависть, с другой – пренебрежение.

Кукла сестер Тенардьё была совсем полинявшая, совсем старая и вся поломанная, но тем не менее она казалась Козетте восхитительной: ведь у нее за всю жизнь не было куклы, настоящей куклы, – употребляя выражение, понятное для всех детей.

Вдруг тетка Тенардьё, продолжавшая ходить взад и вперед по комнате, заметила, что Козетта отвлекается и, вместо того чтобы работать, глядит на играющих детей.

– А вот я тебя и поймала! – закричала она. – Так-то ты работаешь? погоди, вот возьму плетку, она-то уж заставит тебя поработать!

Незнакомец, не вставая со стула, повернулся к трактирщице.

– Сударыня, – промолвил он, улыбаясь почти робко, – чего уж там, пусть ее поиграет!

Со стороны любого посетителя, съевшего кусок жаркого, выпившего за ужином две бутылки вина и не производящего впечатления оборванца, подобное желание равносильно было бы приказу. Но чтобы человек, обладающий такой шляпой, позволил себе высказать какое бы то ни было пожелание, чтобы человек, у которого был подобный редингот, смел бы выражать свою волю, – этого трактирщица допустить не могла. Она резко возразила:

– Девчонка должна работать, раз она ест мой хлеб. Я кормлю ее не для того, чтобы она бездельничала.

– А что же это она делает? – спросил незнакомец мягким голосом, странно противоречившим его нищенской одежде и широким плечам носильщика.

Трактирщица снизошла до ответа:

– Чулки вяжет, если вам угодно знать. Чулочки для моих дочурок. Прежние, можно сказать, все износились, и дети скоро останутся совсем босыми.

Человек взглянул на жалкие, красные ножки Козетты и продолжал:

– А когда же она окончит эту пару?

– Она будет над ней корпеть по крайней мере дня три, а то и четыре, этакая лентяйка!

– И сколько могут стоять эти чулки, когда они будут готовы?

Трактирщица окинула его презрительным взглядом.

– Не меньше тридцати су.

– А уступили бы вы их за пять франков? – снова спросил человек.

– Черт возьми! – грубо засмеявшись, вскричал один возчик, слышавший этот разговор. – Пять франков? Тьфу ты пропасть! Я думаю! Целых пять монет!

Тут Тенардьё решил, что пора вмешаться в разговор.

– Хорошо, сударь, ежели такова ваша прихоть, то вам отдадут эту пару чулок за пять франков. Мы не умеем ни в чем отказывать путешественникам.

– Но денежки на стол! – резко и решительно заявила его супруга.

– Я покупаю эти чулки, – ответил незнакомец, затем, вынув из кармана пятифранковую монету и протянув ее кабатчице, добавил: – И плачу за них. – Потом он повернулся к Козетте: – Теперь твоя работа принадлежит мне. Играй, дитя мое.

Возчик был так потрясен видом пятифранковой монеты, что бросил пить вино и подбежал взглянуть на нее.

– И вправду, гляди-ка! – воскликнул он. – Настоящий пятифранковик! Не фальшивый!

Тенардьё подошел и молча положил деньги в жилетный карман.

Супруге возразить было нечего. Она кусала себе губы, лицо ее исказилось злобой.

Козетта вся дрожала. Она отважилась, однако, спросить:

– Сударыня, это правда? Я могу поиграть?

– Играй! – бешеным голосом ответила тетка Тенардые.

– Спасибо, сударыня, – ответила Козетта.

И в то время как ее уста благодарили хозяйку, вся ее маленькая душа возносила благодарность приезжему.

Тенардые снова уселся пить. Жена прошептала ему на ухо:

– Кем он может быть, этот желтый человек?

– Мне приходилось встречать миллионеров, – величественно ответил Тенардые, – которые носили такие же рединготы.

Козетта перестала вязать, но не покинула своего места. Она всегда старалась двигаться как можно меньше. Она вытащила из коробки, стоявшей позади нее, какие-то старые лоскутики и свою оловянную сабельку.

Эпониная и Азельма не обращали никакого внимания на происходящее вокруг. Они только что успешно завершили очень ответственное дело – завладели кошкой. Бросив на пол куклу, Эпониная, которая была постарше, пеленала котенка в голубые и красные лоскутья, невзирая на его мяуканье и судорожные движения. Поглощенная этой серьезной и трудной работой, она болтала с сестрой на том нежном, очаровательном детском языке, обаяние которого, как и великолепие крыльев бабочки, исчезает, лишь только хочешь его запечатлеть.

– Знаешь, сестричка, эта вот кукла смешнее той. Смотри, она шевелится, пищит, она тепленькая. Знаешь, сестричка, давай с ней играть. Она будет моей дочкой. Я буду дама. Я приду к тебе в гости, а ты на нее посмотришь. Потом ты понемножку увидишь ее усики и удивишься. А потом ты увидишь ее ушки, а потом ты увидишь ее хвостик, и ты очень удивишься. И ты мне скажешь: «О боже мой!» А я тебе скажу: «Да, сударыня, это у меня такая маленькая дочка. Теперь все маленькие дочки такие».

Азельма с восхищением слушала Эпониину.

Между тем пьяницы затянули непристойную песню и так громко хохотали при этом, что дрожали стены. А Тенардые подзадоривал их и вторил им.

Как птицы из всего строят гнезда, так дети из всего мастерят себе куклу. Пока Азельма и Эпониная пеленали котенка, Козетта пеленала свою саблю. Потом она взяла ее на руки и, тихо напевая, стала ее убаюкивать.

Кукла – одна из самых настоятельных потребностей и вместе с тем воплощение одного из самых очаровательных женских инстинктов в девочке. Лелеять, наряжать, украшать, одевать, раздевать, переодевать, учить, слегка журить, баюкать, ласкать, укачивать, воображать, что нечто – есть некто, – в этом все будущее женщины. Мечтая и болтая, заготавливая игрушечное приданое и маленькие пеленки, нашивая платица, лифчики и крошечные кофточки, дитя превращается в девочку, девочка – в девушку, девушка – в женщину. Первый ребенок – последняя кукла.

Маленькая девочка без куклы почти так же несчастна и точно так же невыносима, как женщина без детей.

Козетта сделала себе куклу из сабли.

Тем временем тетка Тенардые подошла к «желтому человеку». «Мой муж прав, – решила она, – может быть, это сам господин Лафит. Бывают ведь на свете богатые самодуры!»

Она облокотилась на стол.

– Сударь... – сказала она.

При слове «сударь» мужчина обернулся. Трактирщица до сих пор называла его или «милейший», или «любезный».

– Видите ли, сударь, – продолжала она со своей слащавой вежливостью, которая была еще неприятней, чем ее грубость, – мне очень хочется, чтобы этот ребенок играл, я не возражаю,

если вы так великодушны, но это хорошо один раз. Видите ли, ведь у нее никого нет. Она должна работать.

– Значит, это не ваш ребенок? – спросил человек.

– Бог с вами, сударь! Это нищенка, которую мы приютили из милости. Она вроде как дурочка. У нее, должно быть, водянка в голове. Видите, какая у нее большая голова. Мы делаем для нее все, что можем, но мы сами небогаты. Вот уже шесть месяцев, как мы напрасно пишем к ней на родину, нам не отвечают ни слова. Ее мать, надо думать, умерла.

– Вот как? – ответил человек и снова задумался.

– Хороша была эта мать, – добавила трактирщица. – Бросила собственное дитя.

В продолжение всей этой беседы Козетта, словно ей подсказал инстинкт, что речь шла о ней, не сводила глаз со своей хозяйки. Но слушала она рассеянно, до нее долетали лишь обрывки фраз.

Между тем гуляки, почти все захмелевшие, с удвоенным азартом повторяли свой гнусный припев. То была крайняя непристойность, куда приплели Пресвятую Деву и младенца Иисуса. Трактирщица направилась к ним, чтобы принять участие в общем веселье. Козетта, сидя под столом, глядела на огонь, отражавшийся в ее неподвижных глазах; она опять принялась укачивать то подобие младенца в пеленках, которое соорудила себе, и, укачивая, тихо напевала: «Моя мать умерла!.. Моя мать умерла!.. Моя мать умерла!»

После новых настояний хозяйки желтый человек, «миллионер», согласился наконец поужинать.

– Что прикажете подать, сударь?

– Хлеба и сыру, – ответил он.

«Наверно, нищий», – решила тетка Тенардье.

Пьяницы продолжали петь свою песню, а ребенок под столом продолжал петь свою.

Вдруг Козетта умолкла: обернувшись, она заметила куклу маленьких Тенардье, которую девочки позабыли, занявшись кошкой, и бросили в нескольких шагах от кухонного стола.

Тогда она выпустила из рук запеленутую саблю, лишь наполовину удовлетворявшую ее сердце, затем медленно обвела глазами комнату. Тетка Тенардье шепталась с мужем и пересчитывала деньги; Эпониная и Азельма играли с кошкой; посетители кто ужинал, кто пил вино, кто пел, – на нее никто не обращал внимания. Каждая минута была дорога. Она на четвереньках выбралась из-под стола, еще раз удостоверилась в том, что за ней не следят, затем быстро подползла к кукле и схватила ее. Мгновение спустя она снова была на своем месте и сидела неподвижно, но повернувшись таким образом, чтобы кукла, которую она держала в объятиях, оставалась в тени. Счастье поиграть куклой было столь редким для нее, что таило в себе все неистовство наслаждения.

Никто ничего не заметил, кроме проезжего, медленно поглощавшего свой скудный ужин.

Это блаженство длилось с четверть часа.

Но как осторожна ни была при этом Козетта, она не заметила, что одна нога куклы выходит из тени и ярко освещена огнем очага. Эта розовая и блестящая нога, выступавшая из темноты, вдруг поразила взгляд Азельмы, которая сказала Эпонине: «Погляди-ка, сестрица!»

Обе девочки остолбенели. Козетта осмелилась взять куклу!

Эпониная встала и, не выпуская кошки, подошла к матери и стала дергать ее за юбку.

– Да оставь ты меня в покое. Ну, что тебе надо? – спросила мать.

– Мама, – ответила девочка, – да посмотри же!

И указала пальцем на Козетту.

А Козетта, вся охваченная восторгом, ничего не видела и ничего не слышала.

Лицо кабатчицы приняло то особенное выражение, которое вызывается сильнейшей

яростью по поводу мелочей жизни и которое заслужило подобного рода женщинам прозвище «мегеры».

На этот раз уязвленная гордость еще сильнее разожгла ее гнев. Козетта преступила все границы, Козетта совершила покушение на куклу «барышень»! Русская царица, которая увидела бы, что мужик примеряет синюю орденскую ленту ее августейшего сына, была бы разгневана не больше.

Охрипшим от возмущения голосом она крикнула:

– Козетта!

Козетта так вздрогнула, словно под ней заколебалась земля. Она обернулась.

– Козетта! – повторила кабатчица.

Козетта взяла куклу и с каким-то благоговением, смешанным с отчаянием, осторожно положила ее на пол. Потом, не сводя с куклы глаз, она сжала ручки, и – страшно было видеть этот жест у восьмилетнего ребенка – она заломила их. Наконец пришло то, к чему ни одно переживание дня не могло вынудить ее, – ни ее путешествие в лес, ни тяжесть полного ведра, ни потеря денег, ни вид плетки, ни даже мрачные, услышанные ею слова хозяйки, – пришли слезы. Она захлебывалась от рыданий.

Приезжий встал из-за стола.

– Что случилось? – спросил он.

– Да разве вы не видите? – воскликнула кабатчица, указывая пальцем на вещественное доказательство преступления, лежавшее у ног Козетты.

– Ну, и что же? – снова спросил человек.

– Эта сквернавка осмелилась дотронуться до куклы моих детей! – ответила Тенардье.

– И только-то? – сказал человек. – Что ж тут такого, если она и поиграла этой куклой?

– Но она трогала ее своими грязными руками! Своими отвратительными руками! – продолжала кабатчица.

При этих словах рыдания Козетты усилились.

– Ты замолчишь или нет! – крикнула тетка Тенардье.

Незнакомец направился прямо к выходной двери, открыл ее и вышел.

Лишь только он скрылся, кабатчица воспользовалась его отсутствием и так ткнула под столом ногой Козетту, что девочка громко вскрикнула.

Дверь отворилась, человек появился вновь. Он нес в руках ту самую чудесную куклу, о которой мы уже говорили и на которую все деревенские ребятишки любовались весь день. Он поставил ее перед Козеттой и сказал:

– Возьми, это тебе.

По всей вероятности, в продолжение того часа, который он пробыл здесь, погруженный в задумчивость, он успел смутно разглядеть эту игрушечную лавку, так ярко освещенную плашками и свечами, что сквозь окна харчевни это обилие огней казалось иллюминацией.

Козетта подняла глаза. Человек, приближавшийся к ней с этой куклой, казался ей надвигавшимся на нее солнцем, ее сознания коснулись неслыханные слова: «Это тебе», – она поглядела на него, поглядела на куклу, потом медленно отступила и забилась под стол в самый дальний угол, к стене.

Она больше не плакала, не кричала, – казалось, она не осмеливалась даже дышать.

Кабатчица, Эпониная и Азельма стояли истуканами. Пьяницы и те умолкли. В харчевне воцарилась торжественная тишина.

Тетка Тенардье, окаменевшая и онемевшая от изумления, снова принялась строить догадки: «Кто же он, этот старик? То ли бедняк, то ли миллионер? А может быть, и то и другое – то есть вор?»

На физиономии супруга Тенардые появилась та выразительная складка, которая так подчеркивает характер человека всякий раз, когда господствующий инстинкт проявляется в нем во всей своей животной силе. Кабатчик поочередно смотрел то на куклу, то на путешественника; казалось, он прощупывал этого человека, как ощупывал бы мешок с деньгами. Но это продолжалось одно мгновение. Подойдя к жене, он шепнул: «Кукла стоит по меньшей мере тридцать франков. Не дури! Распластывайся перед этим человеком!»

Грубые натуры имеют общую черту с натурами наивными: у них нет постепенных переходов от одного чувства к другому.

– Ну что же, Козетта, – сказала Тенардые кисло-сладким голосом, свойственным злой бабе, когда она хочет казаться ласковой, – почему же ты не берешь свою куклу?

Тогда Козетта осмелилась выползти из своего угла.

– Козетточка, – ласково подхватил Тенардые, – господин дарит тебе куклу. Бери ее. Она твоя.

Козетта глядела на волшебную куклу с чувством какого-то ужаса. Ее лицо было еще залито слезами, но глаза, словно небо на утренней заре, постепенно светлели, излучая необычайное сияние счастья. Если бы ей вдруг сказали: «Малютка, ты королева Франции», она испытала бы почти такое же чувство, как в это мгновение.

Ей казалось, что, лишь только она дотронется до куклы, раздастся удар грома.

До некоторой степени это было верно, так как она не сомневалась, что хозяйка прибьет ее и выругает.

Однако сила притяжения победила. Козетта наконец приблизилась к кукле и, повернувшись к кабатчице, застенчиво прошептала:

– Можно, сударыня?

Нет слов передать этот тон, одновременно отчаянный, испуганный и восхищенный.

– Понятно, можно! – ответила кабатчица. – Она твоя. Ведь господин дарит ее тебе.

– Правда, сударь? – переспросила Козетта. – Разве это правда? Она моя, эта дама?

У проезжего глаза были полны слез. Он, видимо, находился на той грани волнения, когда молчат, чтобы не разрыдаться. Он кивнул Козетте головой и вложил руку «дамы» в ее ручонку.

Козетта быстро отдернула свою руку, словно рука «дамы» жгла ее, и потупилась. Мы вынуждены отметить, что в эту минуту язык у нее высовывался самым неумеренным образом. Внезапно она обернулась и порывистым движением схватила куклу.

– Я буду звать ее Катериной, – сказала она.

Странно было видеть, как лохмотья Козетты коснулись и перемешались с лентами и ярко-розовым муслиновым платицем куклы.

– Сударыня, – спросила она, – а можно мне посадить ее на стул?

– Да, дитя мое, – ответила кабатчица.

Теперь пришел черед Азельмы и Эпонины с завистью глядеть на Козетту.

Козетта посадила Катерину на стул, а сама села перед нею на пол и, неподвижная, безмолвная, погрузилась в созерцание.

– Играй же, Козетта, – сказал проезжий.

– О, я играю! – ответил ребенок.

Этот проезжий, этот неизвестный, которого, казалось, само провидение ниспослало Козетте, был в эту минуту тем, кого кабатчица ненавидела больше всего на свете. Однако надо было сдерживаться. Как ни привыкла она скрывать свои чувства, стараясь подражать всем поступкам мужа, но сейчас это было свыше ее сил. Поспешно отправила она дочерей спать и спросила у желтого человека «позволения» отправить и Козетту. «Она сегодня здорово утомилась», – с материнской заботливостью добавила кабатчица. Козетта отправилась спать,

унося в объятиях Катерину.

Время от времени тетка Тенардье удалялась в противоположный угол залы, где сидел ее муж, чтобы, по собственному ее выражению, «отвести душу». Она обменивалась с ним несколькими словами, тем более яростными, что не решалась произносить их громко.

– Старая бестия! Какая муха его укусила? Только растревожил нас! Он, видите ли, хочет, чтобы эта маленькая уродина играла! Хочет подарить ей куклу! Куклу в сорок франков этой паршивой собачонке, которую, всю как есть, я отдала бы за сорок су! Еще немного, и он начнет величать ее «ваше величество», словно герцогиню Беррийскую! Да в здравом ли он уме? Рехнулся он, что ли, этот непонятный старикашка?

– Ничего не рехнулся! Все это очень просто, – возразил Тенардье. – А если ему так нравится? Тебе вот нравится, когда девчонка работает, а ему нравится, когда она играет. Он имеет на это право. Путешественник, если платит, может делать все, что хочет. Если этот старичина – филантроп, тебе-то что? Если он дурак, тебя это не касается. Чего ты суешься, раз у него есть деньги?

Это была речь главы дома и доводы трактирщика; ни тот ни другой не терпели возражений. Неизвестный облокотился на стол и вновь задумался. Все прочие посетители, торговцы и возчики, отошли подальше и перестали петь. Они взирали на него издали с каким-то почтительным страхом. Этот бедно одетый чужак, вынимавший столь непринужденно из кармана пятифранковики и щедро даривший огромные куклы маленьким замарашкам в сабо, был, несомненно, удивительный, но и опасный человек.

Протекло несколько часов. Полуночная служба отошла, ужин рождественского сочельника закончился, бражки разошлись, кабак закрылся, нижняя зала опустела, огонь потух, а незнакомец продолжал сидеть все на том же месте, в той же позе. Порой он менял только руку, на которую опирался. Вот и все. Но с тех пор как ушла Козетта, он не произнес ни слова.

Супруги Тенардье из любопытства и приличия оставались в зале. «Он всю ночь, что ли, собирается этак провести?» – ворчала Тенардье. Когда пробило два, она сдалась, заявив мужу: «Я иду спать. Делай с ним что хочешь». Супруг уселся около стола в углу, зажег свечу и принялся читать «Французский вестник».

Так прошел добрый час. Достойный трактирщик прочел по крайней мере раза три «Французский вестник» от даты газеты до имени издателя включительно. Проезжий не трогался с места.

Тенардье шевельнулся, кашлянул, сплюнул, высморкался, скрипнул стулом. Человек оставался неподвижен. «Уж не заснул ли он?» – подумал Тенардье. Человек не спал, но ничто не могло пробудить его от дум.

Наконец Тенардье, сняв свой колпак, осторожно подошел к нему и отважился спросить:

– Не угодно ли вам, сударь, идти почивать?

Сказать «идти спать» казалось ему слишком грубым и фамильярным. В слове «почивать» ощущалась какая-то пышность и одновременно почтительность. Подобные слова обладают таинственным и замечательным свойством раздувать на следующий день сумму счета. Комната, где «спят», стоит двадцать су; комната, где «почивают», стоит двадцать франков.

– Да, – сказал незнакомец, – вы правы. Где ваша конюшня?

– Сударь, – усмехаясь, произнес Тенардье, – я провожу вас, сударь.

Он взял подсвечник, незнакомец взял свой сверток и палку, и Тенардье повел его в комнату первого этажа, убранную с необыкновенной роскошью: там была мебель красного дерева, кровать в форме лодки и занавески из красного коленкора.

– Это что такое? – спросил путник.

– Это наша собственная спальня, – ответил трактирщик. – Мы с супругой теперь спим в

другой комнате. Сюда входят не чаще двух-трех раз в год.

– Мне больше по душе конюшня, – резко сказал незнакомец.

Тенардье сделал вид, что не расслышал этого неучтивого замечания.

Он зажег две неначатые восковые свечи, украшавшие камин, внутри которого пылал довольно сильный огонь.

На каминной доске под стеклянным колпаком лежал женский головной убор из серебряной проволоки и померанцевых цветов.

– А это что такое? – спросил проезжий.

– Сударь, – ответил Тенардье, – это подвенечный убор моей супруги.

Незнакомец окинул этот предмет взглядом, который словно говорил: «Значит, даже это чудовище когда-то было невинной девушкой!»

Но Тенардье лгал. Когда он снял в аренду этот жалкий домишко, чтобы открыть в нем кабак, то уже нашел эту комнату подобным образом обставленную; он купил эту мебель и сторговал померанцевые цветы, рассчитывая, что все это окружит ореолом изящества его «супругу» и придаст его дому то, что у англичан называется «респектабельностью».

Когда путешественник обернулся, хозяин уже исчез. Тенардье скрылся незаметно, не осмелившись пожелать спокойной ночи, так как не желал выказывать оскорбительную сердечность человеку, которого предполагал на следующее утро ободрать как липку.

Трактирщик удалился в свою комнату. Жена уже лежала в постели, но не спала. Услыхав шаги мужа, она обернулась и сказала:

– Знаешь, завтра я выгоню Козетту вон.

– Прыткая какая! – холодно ответил Тенардье.

Больше они не обменялись ни словом, и несколько минут спустя их свеча потухла.

Путешественник же, лишь только хозяин ушел, положил в угол свой сверток и палку, опустился в кресло и несколько минут сидел задумавшись. Потом он снял ботинки, взял одну из свечей, задул другую, толкнул дверь и вышел, осматриваясь вокруг, словно что-то искал. Он двинулся по коридору, который вывел его на лестницу. Тут он услышал чуть слышный звук, напоминавший дыхание ребенка. Он пошел на этот звук и очутился возле какого-то трехугольного углубления, устроенного под лестницей или, точнее, образованного самой же лестницей. Это углубление было не чем иным, как обратной стороной ступеней. Там, среди всевозможных старых корзин и битой посуды, в пыли и паутине, находилась постель, если только можно назвать постелью соломенный тюфяк, такой дырявый, что из него торчала солома, и одеяло, такое рваное, что сквозь него виден был тюфяк. Простыней не было. Все это валялось на каменном полу. На этой-то постели и спала Козетта.

Незнакомец подошел ближе и стал смотреть на нее.

Козетта спала глубоким сном. Она спала в одежде: зимой она не раздевалась, чтобы было теплее.

Она прижимала к себе куклу, большие открытые глаза которой блестели в темноте. От времени до времени Козетта тяжело вздыхала, словно собиралась проснуться, и почти судорожно обнимала куклу. Возле ее постели стоял только один из ее деревянных башмаков.

Рядом с каморкой Козетты сквозь открытую дверь виднелась довольно просторная темная комната. Проезжий вошел в нее. В глубине, сквозь стеклянную дверь, видны были две одинаковые маленькие, очень беленькие кровати. Это были кровати Эпонины и Азельмы. Позади этих кроваток, наполовину скрытая ими, виднелась ивовая люлька без полога, в которой спал маленький мальчик, кричавший весь вечер.

Проезжий предположил, что эта комната была смежной с комнатой супругов Тенардье. Он хотел уже уйти, как вдруг взгляд его упал на камин, один из тех огромных трактирных каминов,

в которых всегда горит такой скудный огонь, если он вообще горит, и от которых веет холодом. В этом камине не было огня, в нем не было даже золы; но то, что стояло в нем, привлекло, однако, внимание путешественника. То были два детских башмачка изящной формы и разной величины. Проезжий вспомнил прелестный старинный обычай детей ставить в камин в рождественский сочельник свой башмачок, в надежде, что ночью добрая фея положит в него какой-нибудь ослепительный подарок. Эпони́на и Азельма не упустили такого случая, и каждая поставила в камин по башмачку.

Проезжий нагнулся.

Фея, то есть мать, уже побывала здесь, и в каждом башмачке блестела великолепная монета в десять су, совершенно новенькая.

Человек выпрямился и уже собирался удалиться, но заметил в глубине, в сторонке, в самом темном углу очага, какой-то предмет. Он взглянул и узнал сабо, самое грубое, ужасное деревенское сабо, наполовину разбитое, все в засохшей грязи и в золе. Это было сабо Козетты. Козетта, с той трогательной детской доверчивостью, которая, никогда не отчаиваясь, способна постоянно терпеть разочарования, поставила – и она тоже – свое сабо в камин.

Как божественна и трогательна была эта надежда в ребенке, который знал одно лишь горе!

В этом сабо ничего не лежало.

Проезжий пошарил в кармане, нагнулся и положил в сабо Козетты луидор.

Затем, неслышно ступая, вернулся в свою комнату.

Глава 9

Тенардьё за делом

На другое утро, по крайней мере за два часа до рассвета, Тенардьё, сидя в нижней зале трактира за столом, на котором горела свеча, с пером в руке, составлял счет путешественника в желтом рединготе.

Жена стояла, слегка наклонившись над ним, и следила за его пером. Они не произносили ни слова. Он сосредоточенно размышлял, она же испытывала то благоговейное чувство, с которым человек взирает на возникающее и расцветающее перед ним чудесное творение человеческого ума. В доме слышался шорох: то Жаворонок подметала лестницу.

Спустя добрых четверть часа, после нескольких поправок, Тенардьё создал следующий шедевр:

Счет господину из № 1

Ужин – 3 фр.

Комната – 10 фр.

Свеча – 5 фр.

Топка – 4 фр.

Услуги – 1 фр.

Итого – 23 фр.

Вместо «услуги» написано было «услуги».

– Двадцать три франка! – воскликнула жена с восторгом, к которому все же примешивалось

некоторое сомнение.

Тенардье, как все великие артисты, не был, однако, удовлетворен.

– Пфа! – пыхнул он.

То было восклицание Кастьери, составлявшего на Венском конгрессе счет, по которому должна была уплатить Франция.

– Ты прав, господин Тенардье, он действительно нам столько должен, – пробормотала жена, вспомнив о кукле, подаренной Козетте в присутствии ее дочерей. – Это справедливо, но многовато. Он не захочет платить.

Тенардье засмеялся своим холодным смехом и ответил:

– Заплатит.

Этот смех был высшим доказательством уверенности и превосходства. То, о чем говорилось подобным тоном, не могло не сбыться. Жена не возражала. Она начала приводить в порядок столы; супруг расхаживал взад и вперед по комнате. Немного погодя он добавил:

– Ведь долгу-то у меня полторы тысячи франков!

Он уселся возле камина и, положив ноги на теплую золу, отдался размышлениям.

– Кстати, – опять заговорила жена, – ты не забыл, что сегодня я собираюсь вышвырнуть Козетту за дверь? Вот гадина! У меня прямо сердце разорвется из-за этой ее куклы! Мне легче было бы выйти замуж за Людовика Восемнадцатого, чем лишний день терпеть ее в доме!

Тенардье закурил трубку и сказал между двумя затяжками:

– Ты подашь счет этому человеку.

Затем он вышел.

Только он скрылся за дверью, как в залу вошел проезжий.

Тенардье тут же показался за его спиной и стал в полураскрытых дверях таким образом, что виден был только жене.

Желтый человек держал в руке свою палку и сверток.

– Так рано и уже на ногах? – воскликнула кабатчица. – Разве вы покидаете нас, сударь?

Она в замешательстве вертела в руках счет, складывая его и проводя ногтями по сгибу. Ее грубая физиономия выражала несвойственные ей чувства смущения и беспокойства.

Представить подобный счет человеку, похожему «точь-в-точь на нищего», казалось ей неудобным.

У проезжего был озабоченный и рассеянный вид. Он ответил:

– Да, сударыня, я ухожу.

– Значит, у вас, сударь, не было никаких дел в Монфермейле?

– Нет. Я здесь мимоходом. Вот и все. Сколько я вам должен, сударыня?

Тенардье молча подала ему сложенный счет.

Человек расправил его, взглянул, но, видимо, думал о чем-то ином.

– Сударыня, – спросил он, – а хорошо ли идут ваши дела здесь, в Монфермейле?

– Так себе, сударь, – ответила кабатчица, изумленная тем, что счет не вызвал взрыва возмущения. – Ах, сударь, – продолжала она жалобным и плаксивым тоном, – тяжелое время теперь! Вдобавок и людей-то зажиточных в нашей округе очень мало. Все, знаете, больше мелкий люд. К нам только изредка заглядывают такие щедрые и богатые господа, как вы, сударь. Мы платим пропасть налогов. А тут, видите ли, еще и эта девчонка влетает нам в копеечку!

– Какая девчонка?

– Ну, девчонка-то, помните? Козетта. Жаворонок, как ее тут в деревне прозвали.

– А-а! – протянул незнакомец.

Она продолжала:

– И дурацкие же у этих мужиков клички! Она больше похожа на летучую мышь, чем на жаворонка. Видите ли, сударь, мы сами милостыни не просим, но и подавать другим не можем. Мы ничего не зарабатываем, а платить должны много. Патент, подати, обложение дверей и окон, добавочные налоги! Вы сами знаете, сударь, какие ужасные деньги дерет с нас правительство. А кроме того, у меня ведь есть свои дочери. Очень мне надо кормить чужого ребенка.

Тогда незнакомец, стараясь говорить равнодушно, хотя голос его слегка дрожал, спросил:

– А что, если бы вас освободили от нее?

– От кого? От Козетты?

– Да.

Красная и свирепая физиономия кабатчицы расплылась в омерзительной улыбке.

– О, возьмите ее, сударь, оставьте у себя, уведите ее, унесите, осыпьте ее сахаром, начините трюфелями, выпейте ее, скушайте, и да благословит вас Пресвятая Дева и все святые угодники!

– Хорошо.

– Правда? Вы возьмете ее?

– Я возьму ее.

– Сейчас?

– Сейчас. Позовите ребенка.

– Козетта! – закричала Тенардье.

– А пока, – продолжал путник, – я уплачу вам по счету. Сколько с меня следует?

Взглянув на счет, он не мог скрыть удивления:

– Двадцать три франка! – Он посмотрел на трактирщицу и повторил: – Двадцать три франка? – В том, как произнесены были во второй раз эти три слова, скрывался оттенок, проводящий грань между восклицанием и вопросом.

У трактирщицы было достаточно времени, чтобы приготовиться к удару. Она ответила твердо:

– Ну да, сударь! Двадцать три франка.

Незнакомец положил на стол пять монет по пяти франков.

– Приведите малютку, – сказал он.

В это мгновение на середину комнаты выступил сам Тенардье.

– Этот господин должен двадцать шесть су, – сказал он.

– Как двадцать шесть су? – вскричала жена.

– Двадцать су за комнату, – холодно ответил Тенардье, – и шесть су за ужин. Что же касается малютки, то на этот счет мне надо потолковать немного с господином проезжим. Оставьте нас одних, жена.

Тетка Тенардье ощутила нечто подобное тому, что испытывает человек, ослепленный внезапным проявлением большого таланта. Она почувствовала, что великий актер вступил на подмостки, и, не возразив ни слова, удалилась.

Как только они остались одни, Тенардье предложил проезжему стул. Проезжий сел; Тенардье остался стоять, и лицо его приняло непривычно добродушное и простоватое выражение.

– Сударь, – сказал он, – послушайте, скажу вам прямо: я обожаю это дитя.

Незнакомец пристально взглянул на него.

– Какое дитя?

Тенардье продолжал:

– Смешно просто! А вот привязываешься к ним. На что мне все эти деньги? Можете забрать обратно ваши монетки в сто су. Этого ребенка я обожаю.

– Да кого же? – переспросил незнакомец.

– А нашу маленькую Козетту. Вы ведь, кажется, собираетесь увезти ее от нас? Так вот, говорю вам откровенно, я не соглашусь расстаться с ребенком, и это так же верно, как то, что вы честный человек. Я не могу на это согласиться. Когда-нибудь девочка упрекнула бы меня. Я видел ее совсем крошкой. Правда, она стоит нам денег, правда, у нее есть недостатки, правда, мы не богаты, правда, я заплатил за лекарства только во время одной ее болезни более четырехсот франков! Но ведь надо что-нибудь делать во имя божье. У бедняжки нет ни отца, ни матери, я ее вырастил. У меня хватит хлеба и на нее, и на себя. Одним словом, я привязан к этому ребенку. Понимаете, постепенно привыкаешь любить их; моя жена вспыльчива, но и она любит ее. Девочка для нас, видите ли вы, все равно что родной ребенок. Я привык к ее лепету в доме.

Незнакомец продолжал пристально глядеть на него.

– Прошу меня простить, сударь, – продолжал Тенардье, – но своего ребенка не отдают ведь ни с того ни с сего первому встречному. Разве я не прав? Конечно, ничего не скажешь, вы богаты, у вас вид человека очень порядочного. Может быть, это принесло бы ей счастье... но мне надо знать. Вы понимаете? Предположим, я отпущу ее и пожертвую собой, но я желал бы знать, куда она уедет, мне не хотелось бы терять ее из виду. Я желал бы знать, у кого она находится, чтобы время от времени навещать ее: пусть она чувствует, что ее добрый названный отец недалеко, что он охраняет ее. Одним словом, есть вещи, которые превышают наши силы. Я даже имени вашего не знаю. Вы уведете ее, и я скажу себе: «Ну, а где же наш Жаворонок? Куда он перелетел?» Я должен видеть хоть какой-нибудь клочок бумажки, хоть краешек паспорта, так ведь?

Незнакомец, не спуская с него пристального, словно проникающего в глубь его совести взгляда, ответил серьезным и решительным тоном:

– Господин Тенардье, отъезжая из Парижа на пять лье, паспорта с собой не берут. Если я увезу Козетту, то увезу ее, и баста! Вы не будете знать ни моего имени, ни моего местожительства, вы не будете знать, где она, и мое намерение таково, чтобы она никогда в жизни не видела вас больше. Я порываю нити, связывающие ее с этим домом, она исчезает. Согласны вы? Да или нет?

Как демоны и гении по определенным признакам познают присутствие высшего существа, так и Тенардье понял, что имеет дело с кем-то очень сильным. Он понял это как бы по наитию, мгновенно, со свойственной ему сообразительностью и проницательностью. Накануне, выпивая с возчиками, куря и распевая непристойные песни, он весь вечер наблюдал за неизвестным, подстерегая его, словно кошка, и изучая его, словно математик. Он выслеживал его из личного расчета, ради удовольствия и следуя инстинкту; одновременно он шпионил за ним, как будто должен был получить за это вознаграждение. Ни один жест, ни одно движение человека в желтом рединготе не ускользали от него. Еще до того, как неизвестный так явно проявил свое участие к Козетте, Тенардье уже угадал его. Он перехватил задумчивый взгляд старика, непрестанно обращаемый на ребенка. Но чем могло быть вызвано это участие? Кто был этот человек? Почему, имея такую толстую мошну, он был так нищенски одет? Вот вопросы, которые напрасно задавал себе Тенардье, не будучи в силах разрешить их, и это его раздражало. Он размышлял об этом всю ночь. Незнакомец не мог быть отцом Козетты. Может быть, дедом? Но тогда почему же он не открылся сразу? Если твои права законны, предъяви их! Этот человек, видимо, не имел никаких прав на Козетту. Но тогда кем же он был? Тенардье терялся в догадках. Он предполагал все и не знал ничего. Как бы там ни было, завязав разговор с этим человеком и, уверенный в том, что тут кроется какая-то тайна, что проезжий не без умысла желает остаться в тени, он чувствовал себя сильным. Но когда по ясному и твердому ответу

незнакомца Тенардье понял, что эта загадочная фигура была проста при всей ее загадочности, кабатчик почувствовал себя слабым. Ничего подобного он не ожидал. Это было полное крушение всех его догадок. Он собрал свои мысли, он взвесил все это в одну секунду. Тенардье принадлежал к людям, умеющим в мгновение ока уяснить себе положение. Заключив, что пришло время действовать прямолинейно и быстро, он поступил так, как поступают великие полководцы в решающий момент, который им одним дано угадать: он внезапно сорвал прикрытия со всех своих батарей.

– Сударь, – заявил он, – мне нужны полторы тысячи франков.

Незнакомец вынул из бокового кармана старый черный кожаный бумажник, достал три банковых билета и положил их на стол. Затем, прикрыв широким большим пальцем билеты, сказал:

– Приведите Козетту.

Что же делала все это время Козетта?

Проснувшись, она побежала к своему сабо. В нем она нашла золотую монету. Это был не наполеондор, а монета времен Реставрации, стоимостью в двадцать франков, совершенно новенькая, и на лицевой ее стороне вместо лаврового венка изображен был прусский хвостик. Козетта была ослеплена. Ее судьба начинала опьянять ее. Она не знала, что такое золотой, она никогда их не видела, и поспешно спрятала монету в карман передника, словно украла ее. Между тем она чувствовала, что этот золотой – неоспоримая ее собственность, она догадалась, чей дар это был, однако испытывала какое-то смешанное чувство и радости, и страха. Она была довольна; еще более она была поражена. Подарки, такие великолепные, такие красивые, казались ей ненастоящими. Кукла возбуждала в ней страх, золотой возбуждал в ней страх. Она бессознательно трепетала перед всем этим великолепием. Только незнакомец не внушал ей страха. Напротив, одна мысль о нем уже успокаивала ее. Со вчерашнего дня, сквозь все потрясения, сквозь сон, она своим маленьким, детским умом размышляла об этом человеке, на вид таком старом, жалком и печальном, а на самом деле – таком богатом и добром. С момента встречи с этим стариком в лесу все для нее словно изменилось. Козетта, испытывавшая счастья меньше, чем самая незаметная птичка небесная, никогда не знала, что значит жить, приютившись под крылышком матери. С пятилетнего возраста, то есть с тех пор, как она себя помнила, бедная малютка дрожала от страха и холода. Она всегда была беззащитна перед пронизывающим студеным ветром беды, теперь же ей казалось, что она укрыта. Прежде ее душе было холодно, теперь – тепло. Она уже не так боялась Тенардье. Она уже не была одинока; кто-то стоял подле нее.

Она проворно принялась за свою ежедневную утреннюю работу. Луидор, лежавший в том же кармашке, из которого накануне выпала монета в пятнадцать су, отвлекал ее. Дотронуться до него она не смела, но минут по пять любовалась им, и, надо сознаться, высунув язык. Подметая лестницу, Козетта вдруг останавливалась и застывала на месте, неподвижная, позабыв о своей метелке, обо всем на свете, уйдя в созерцание этой звезды, блистающей в глубине ее кармашка.

В такую-то минуту и застигла ее тетка Тенардье.

По приказанию мужа она отправилась за девочкой. Потрясающее событие! Хозяйка не наградила ее ни одним тумакон и не обругала ее.

– Козетта, – сказала она почти кротко, – иди скорее.

Спустя минуту Козетта входила в нижнюю залу.

Незнакомец взял принесенный им сверток и развязал его. В свертке лежали детское шерстяное платьице, фартучек, бумазейный лифчик, нижняя юбка, косынка, шерстяные чулки, башмаки – одним словом, полное одеяние для семилетней девочки. Все вещи были черного цвета.

– Дитя мое, – сказал незнакомец, – возьми все это и пойдя скорее переоденься.

День еще только занимался, когда те из жителей Монфермейля, которые начали отпирать свои двери, увидели, как по Парижской улице шел бедно одетый старик, ведя за руку маленькую девочку в трауре, державшую розовую куклу. Они шли по направлению к Ливри.

Это были наш незнакомец и Козетта.

Никто не знал этого человека, а так как Козетта сбросила свои лохмотья, то многие не узнали и ее.

Козетта уходила. С кем? Она не ведала. Куда? Она не знала. Лишь одно ей было понятно: она покидала харчевню Тенардье. Никто не подумал проститься с ней, как и она не простилась ни с кем. Козетта уходила из этого дома ненавидящая и ненавидимая.

Бедное, кроткое существо, чье сердце до сей поры знало одно лишь горе!

Козетта шла степенно, широко открыв большие глаза и глядя на небо. Свой луидор она положила в кармашек нового передника. От времени до времени она наклонялась и смотрела на него, потом переводила взгляд на старика. Ей казалось, будто рядом с нею сам господь бог.

Глава 10

Кто ищет лучшего, может найти худшее

Тетка Тенардье, по обыкновению, предоставила действовать мужу. Она ожидала великих событий. Когда проезжий и Козетта ушли, то Тенардье, подождав добрых четверть часа, отвел жену в сторону и показал ей полторы тысячи франков.

– И только-то? – удивилась она.

Впервые за всю их супружескую жизнь она осмелилась критиковать действия своего владыки.

Удар попал в цель.

– Ты права, конечно! – ответил он. – Я дурак! Дай-ка мне мою шляпу.

Сложив три банковых билета, он сунул их в карман и поспешно вышел, но сначала ошибся, взяв вправо. Соседи, которых он расспросил, направили его по верному следу; они видели, как Жаворонок и незнакомец шли в сторону Ливри. Он быстро зашагал по указанному ему пути.

«Этот человек, очевидно, миллион, одетый в желтое, а я – болван, – рассуждал он сам с собой. – Начал он с того, что дал двадцать су, затем пять франков, затем пятьдесят, затем полторы тысячи франков, и все с одинаковой легкостью. Он дал бы и пятнадцать тысяч франков. Но я нагоню его. А узелок с платьем, заранее заготовленный для девчонки, – все это весьма странно; под этим скрывается немало тайн. Но уловленную тайну из рук не выпускают. Секреты богачей – это губки, пропитанные золотом, надо только уметь их выжимать. – Все эти мысли вихрем кружились в его голове. – Я болван», – повторял он.

Когда выходишь из Монфермейля и достигаешь поворота, образуемого дорогой, ведущей в Ливри, то далеко вперед видно, как эта дорога бежит по плато. Дойдя до этого места, Тенардье рассчитывал увидеть старика и девочку. Он всматривался в даль, сколько хватал глаз, но никого не заметил. Тогда он вторично обратился за указаниями. А время между тем шло. Встречные ответили ему, что старик и ребенок, о которых он спрашивал, направились к лесу в сторону Ганьи. Он поспешил в ту же сторону.

Правда, они опередили его, но ведь ребенок идет медленно, а Тенардье шел быстро. К тому же местность была ему хорошо знакома.

Вдруг он остановился и ударил себя по лбу, как человек, забывший самое главное и готовый повернуть обратно.

– Надо было захватить с собой ружье, – пробормотал он.

Тенардье принадлежал к числу тех двойственных натур, которые иногда незаметно появляются среди нас и исчезают непонятыми, потому что судьба показала их нам лишь с одной стороны. Удел множества людей именно таков: проявлять себя лишь наполовину. При спокойной и ровной жизни Тенардье обладал всеми данными, чтобы «прослыть» – мы не говорим «быть» – честным, как принято выражаться, торговцем, порядочным гражданином. И в то же время, при иных условиях, при некоторых потрясениях, пробуждавших скрытые его инстинкты, он обнаруживал все данные негодяя. Это был лавочник, в котором таилось чудовище. Должно быть, сам сатана в иные мгновения, сидя на корточках в каком-нибудь углу трущобы, где жил Тенардье, предавался размышлениям перед этим высочайшим образцом человеческой низости.

После минутного колебания Тенардье подумал: «Ну нет! А то они успеют скрыться!»

И он продолжал свой путь вперед быстрым, уверенным шагом, с безошибочным чутьем лисицы, которая выследила стайку куропаток.

И в самом деле, когда он, миновав пруды, пересек наискосок большую прогалину, что направо от лесной дороги на Бельвю, и достиг той заросшей травой аллеи, которая окружает почти весь холм, скрывая под собою своды старинного водопровода Шельского аббатства, он разглядел над кустарниками шляпу, по поводу которой он мысленно нагромоздил уже такое множество догадок. Эта шляпа принадлежала незнакомцу. Кустарник был низкорослый. Тенардье догадался, что путник и Козетта присели под ним отдохнуть. Ребенок был так мал, что его не было видно, зато видна была голова куклы.

Тенардье не ошибся. Незнакомец уселся там, чтобы дать Козетте немного передохнуть. Кабатчик обогнул кустарник и внезапно предстал перед теми, кого искал.

– Прошу прощения, сударь, – проговорил он, запыхавшись, – извольте получить ваши полторы тысячи франков.

С этими словами он протянул незнакомцу три банковых билета.

Тот взглянул на него.

– Что это значит?

Тенардье ответил почтительно:

– Сударь, это значит, что я беру Козетту обратно.

Козетта вздрогнула и прижалась к старику.

А он, глядя пристально в глаза Тенардье, сказал, отделяя каждый слог:

– Вы бе-ре-те об-рат-но Козетту?

– Да, сударь, я беру ее. Сейчас я объясню вам, почему. Я передумал. В самом деле, я не имею права отдавать ее вам. Видите ли, я честный человек. Это не мое дитя, оно принадлежит своей матери. И мать доверила его мне, поэтому я могу вернуть его только матери. Вы ответите мне: «Но мать умерла». Допустим. В таком случае я доверю ребенка только тому, кто представит мне записку с подписью матери, где будет сказано, что я должен отдать ребенка предьявителю этой записки. Ясно?

Человек, не отвечая, порылся в кармане, и Тенардье снова увидел бумажник с банковыми билетами.

Трактирщик задрожал от радости.

«Прекрасно! – подумал он. – Держись, Тенардье! Он хочет меня подкупить».

Прежде чем открыть бумажник, путник огляделся. Место было совершенно пустынное. В лесу и в долине не видно было ни души. Он открыл бумажник и, достав из него не пачку банковых билетов, как ожидал Тенардье, а простой клочок бумаги, развернул его и протянул трактирщику, сказав: «Вы правы. Прочтите».

Тенардье взял бумажку и прочел:

*«Монреиль-Приморский, 25 марта 1823 года.
Господин Тенардье,
Отдайте Козетту подателю сего письма. Все мелкие расходы будут вам
оплачены. Остаюсь с уважением*

Фантина».

– Вам знакома эта подпись, – добавил путник.

Подпись действительно принадлежала Фантине. Тенардье узнал ее.

Возражать было нечего. Он был сильно и вдвойне раздосадован: тем, что приходится отказаться от денег, на которые он рассчитывал, и тем, что был побежден.

– Эту бумажку вы можете сохранить как оправдательный документ, – сказал незнакомец.

Тенардье пришлось отступить по всем правилам.

– Подпись довольно ловко подделана, – проворчал он сквозь зубы. – Ну да ладно!

Затем он сделал еще одну безнадежную попытку.

– Пускай будет так, сударь, – сказал он, – поскольку вы являетесь подателем этого письма.

Но надо оплатить мне «все мелкие расходы». А должок-то порядочный.

Человек встал и, счищая щелчками пыль с потертого рукава, ответил:

– Господин Тенардье, в январе мать считала, что должна вам сто двадцать франков; но в феврале вы послали ей счет на пятьсот франков; вы получили триста франков в конце февраля и триста франков в начале марта. С той поры прошло девять месяцев; согласно условию, вы за каждый месяц должны получать пятнадцать франков; это составляет всего сто тридцать пять франков. Вы получили лишних сто. Остается долгу тридцать пять франков. А я только что дал вам тысячу пятьсот.

Тенардье испытал то же чувство, что волк, схваченный стальными челюстями капкана.

«Что за черт этот человек!» – подумал он.

И поступил так, как поступает волк: рванулся вон из капкана. Ведь однажды его уже выручило нахальство.

– Господин-имени-которого-не-имею-чести-знать, – сказал он решительно, оставляя на этот раз в стороне вежливые свои приемы, – я забираю Козетту, или вы дадите мне тысячу экю.

Незнакомец спокойно сказал:

– Идем, Козетта.

Левую руку он протянул Козетте, а правой подобрал свою палку, лежавшую на земле.

Тенардье отметил про себя увесистость дубинки и уединенность местности.

Человек углубился с девочкой в лес; озадаченный кабатчик не тронулся с места.

Они уходили все дальше. Тенардье глядел на его широкие, слегка согбенные плечи и на его внушительные кулаки.

Потом он перевел взгляд на себя, на свои слабые, худые руки. «Выходит, я и вправду отпетый дурак, – подумал он, – пошел на охоту без ружья!»

И все же он не хотел сдаваться до конца.

– Мне надо знать, куда он пойдет, – пробормотал он. И, держась все время поодаль, последовал за ними. В руках у него оставались две вещи: насмешка – клочок бумажки с подписью «Фантина», и утешение – полторы тысячи франков.

Человек уводил Козетту по направлению к Ливри и Бонди. Он шел медленно, понуриив голову, задумчивый и грустный. Зима сделала лес сквозным, и потому Тенардье не мог потерять их из виду, хоть и держался от них на довольно значительном расстоянии. От времени до времени человек оборачивался, чтобы удостовериться, не следит ли кто за ними. Внезапно он

заметил Тенардье. Тогда он быстро углубился с Козеттой в лесную поросль, среди которой им легко было скрыться.

– Тьфу ты пропасть! – воскликнул Тенардье и ускорил шаг.

Густота лесной чащи принудила его близко подойти к ним. Когда человек вошел в самую ее глубь, то обернулся. Напрасно Тенардье старался укрыться среди кустов, ему не удалось спрятаться от старика. Тот бросил на него беспокойный взгляд, покачал головой и продолжал путь. Трактирщик возобновил преследование. Так прошли они шагов двести-триста. Вдруг человек снова оглянулся и снова заметил трактирщика. На этот раз его взгляд, обращенный на Тенардье, был так мрачен, что тот счел «бесполезным» дальнейшее преследование. Тенардье круто повернулся домой.

Глава 11

Номер 9430 появляется снова, и Козетта выигрывает его в лотерею

Жан Вальжан не умер.

Упав в море, точнее бросившись туда, он был, как известно, без кандалов. Он поплыл под водой до стоявшего на рейде корабля, к которому было принайтовано гребное судно. Ему удалось спрятаться на нем до вечера. Ночью он снова пустился вплавь и достиг берега неподалеку от мыса Брен. Денег у него было достаточно, и он раздобыл себе там одежду. Кабак в окрестностях Балагье был в ту пору гардеробной беглых каторжников, что являлось для него прибыльной специальностью. Затем Жан Вальжан, подобно всем этим несчастным беглецам, старающимся обмануть бдительность закона и уйти от злой участи, уготованной им обществом, избрал сложный, беспокойный маршрут. Первый приют он нашел в Прадо близ Боссе. Затем он направился к Гран-Вилару, около Бриансона в Верхних Альпах. То было лихорадочное бегство вслепую, путь крота, подземные ходы которого никому не ведомы. Впоследствии можно было обнаружить некоторые следы его пребывания в Эне, находящемся в области Сивриэ; в Пиренеях, в Аконе, расположенном в местности, называемой Гранж-де-Думек; около деревушки Шавайль и в окрестностях Периге в Брюни, кантоне Шапель-Гонаге. Наконец он добрался до Парижа. Мы только что видели его в Монфермейле.

Первой его заботой в Париже было купить траурную одежду для девочки семи-восьми лет и подыскать себе жилье. Сделав это, он направился в Монфермейль.

Читатель, вероятно, припомнит, что перед своим предыдущим бегством он уже предпринимал в самом Монфермейле или в его окрестностях таинственное путешествие, о котором правосудие имело некоторые сведения.

Впрочем, его считали умершим, и это еще сильнее сгущало опустившуюся на него тьму. В Париже ему попала в руки газета, устанавливавшая факт его смерти. Он почувствовал себя успокоенным, почти умиротворенным, словно действительно умер.

Вечером того же дня, когда Жан Вальжан вырвал Козетту из когтей Тенардье, он в сумерки вошел с ребенком в Париж через заставу Монсо. Здесь он сел в кабриолет, доставивший его к эспланаде Обсерватории, где он сошел. Уплатив кучеру, он взял Козетту за руку, и оба, уже глубокой ночью, направились по пустынным улицам, прилегавшим к Урсин и Гласьер, в сторону Госпитального бульвара.

Для Козетты это был необычайный и полный впечатлений день. Они ели под плетнями купленные в уединенных харчевнях хлеб и сыр, часто пересаживались из одного экипажа в другой, часть дороги шли пешком. Она не жаловалась, но устала, и Жан Вальжан заметил это по своей руке, которую она сильнее тянула на ходу. Он посадил ее к себе за спину. Козетта, не выпуская Катерины из рук, положила головку на плечо Жана Вальжана и уснула.

Книга четвертая

Лачуга Горбо

Глава 1

Хозяин Горбо

Если бы сорок лет тому назад одинокий прохожий, вздумавший углубиться в глухую окраину Сальпетриер, поднялся бы вдоль бульвара до Итальянской заставы, то он дошел бы до одного из тех мест, где, так сказать, исчезает Париж. Нельзя сказать, чтобы это была совершенная глушь, – здесь попадались прохожие; нельзя сказать, чтобы это была деревня, – здесь попадались городские домики и улочки. Но это не был и город – на улицах пролегали колеи, как на больших проезжих дорогах, и росла трава; это не было и село – дома были слишком высоки. Тогда что же представляла собой эта окраина, одновременно и обитаемая и безлюдная, пустынная и в то же время кем-то населенная? То был бульвар большого города, парижская улица, ночью более жуткая, чем лес, а днем более мрачная, чем кладбище.

Это был старый квартал Конного рынка.

Если прохожий отваживался выйти за пределы четырех обветшалых стен Конного рынка, если он решался тем более миновать Малую Банкирскую улицу и, оставив вправо от себя конопляник, обнесенный высокими стенами, потом луг, где высились кучи молотой дубовой коры, похожие на жилища гигантских бобров, затем огороженное место, заваленное строевым лесом, грудями пней, опилок и щепы, на верхушке которых лаял сторожевой пес, затем длинную низкую развалившуюся стену с маленькой черной грязной дверью, покрытую мхом, который весной прорастал цветами, и далее, уже в самом глухом месте, отвратительное ветхое строение, на котором большими печатными буквами было выведено: ВОСПРЕЩАЕТСЯ ВЫВЕШИВАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ, то этот отважный прохожий достигал конца улицы Винь-Сен-Марсель, весьма мало известной. Там, вблизи завода и между двумя оградами садов, виднелась в ту пору лачуга, которая казалась с первого взгляда маленькой, словно хижина, а на самом деле была огромной, как собор. На проезжую дорогу она выходила боковым своим фасадом – отсюда и обманчивое представление о ее величине. Почти весь дом был скрыт. Видны были только дверь и окно.

Лачуга эта была двухэтажной.

Внимательный глаз прежде всего заметил бы такую странность: тогда как дверь годилась бы разве только для чулана, окно, будь оно пробито в тесаном камне, а не в песчанике, могло украшать какой-нибудь особняк.

Эта дверь представляла собой ряд полусгнивших досок, соединенных поперечными перекладинами, похожими на плохо обтесанные поленья. Она открывалась непосредственно на крутую лестницу с высокими, покрытыми грязью, пылью и осыпавшейся штукатуркой ступеньками той же ширины, что и сама дверь. С улицы видно было, как эта лестница, совершенно прямо, словно приставная, уходила между двух стен куда-то в темноту. Верхняя часть грубого проема, в котором ходила дверь, скрывалась за узкой доской с выпиленным в середине ее треугольным отверстием, служившим одновременно и слуховым оконцем, и форточкой, когда дверь была закрыта. На внутренней стороне двери кистью, обмакнутой в чернила, двумя мазками была изображена цифра 52, а над дверью той же кистью намалевана цифра 50; это ставило вас в тупик. Куда же вы попали? Закрытая дверь утверждала, что номер дома 50; она же, открытая, возражала: нет, это номер 52. На треугольной форточке, заменяя занавеску, висели какие-то грязные тряпки.

Окно было широкое и довольно высокое, с решетчатыми ставнями и большими стеклами. Однако эти стекла отличались самыми разнообразными повреждениями, которые были скрыты и одновременно подчеркнуты искусно наложенным пластырем из бумажных наклеек, а полуоторванные и расшатанные ставни скорее служили угрозой для прохожих, чем защитой для обитателей лачуги. То там, то тут на этих жалюзи не хватало поперечных планок, их простодушно заменили прибитыми перпендикулярно досками; таким образом, то, чему предназначалось быть жалюзи, превратилось в ставни.

Дверь, казавшаяся отвратительной, и это окно, казавшееся благопристойным, несмотря на его обветшалость, выступая на фоне одного и того же дома, производили впечатление двух случайно встретившихся нищих, которые пошли бы вместе, шагая бок о бок, но, прикрытые одинаковыми лохмотьями, обладали бы различной внешностью: один – напоминая профессионального попрошайку, другой – бывшего дворянина.

Лестница вела в главную, очень обширную часть здания, похожую на сарай, превращенный в жилой дом. Внутренним каналом этого здания служил длинный коридор, по правую и левую сторону которого расположены были разнообразных размеров клетушки, в случае крайней необходимости годные для жилья, но скорее похожие на кладовки, чем на каморки. Окнами они выходили на соседние пустопорожние участки. Все это темное, скучное, тусклое, печальное и унылое строение, в зависимости от того, в крыше или в дверях оказывались щели, пронизывал бледный луч солнца или ледяной северный ветер. Своеобразную и живописную подробность такого рода жилищ составляют громадные пауки.

Налево от входной двери, со стороны бульвара, на высоте человеческого роста находилось замурованное слуховое оконце, образовавшее квадратное углубление, полное камешков, которые туда забрасывали проходящие мимо дети.

Часть этого здания была недавно разрушена. Другая, уцелевшая доньше, позволяет судить о том, чем оно было когда-то. Всему зданию в целом – не более ста лет. Для собора сто лет – юность, для жилого дома – старость. словно людскому жилью свойственна человеческая бренность, а жилищу бога – его бессмертие.

Почтальоны называли эту лачугу номером 50–52, но в квартале она известна была как дом Горбо.

Поясним происхождение этого названия.

Любители мелких происшествий, собирающие для собственного удовольствия целые коллекции анекдотов и хранящие в своей памяти, словно посаженные на булавки, самые мимолетные даты, знают, что в прошлом столетии, около 1770 года, в Шатле были два прокурора. Одного звали Корбо, другого Ренар^[50] – два имени, предугаданные Лафонтеном. Этот случай был слишком соблазнительным, чтобы судебские писцы не сделали его поводом для зубоскальства. По всем галереям Дворца правосудия тотчас же разошлась составленная в стихах, хотя и довольно нескладных, сия пародия:

На груди папок раз ворона взобралась,
Арестный лист она во рту зажала.
Лиса, приятным запахом прельстясь,
Из лесу прибежала
И перед ней такую речь держала:
«Здорово, друг!..» и т. д.

Почтенные законники, смущенные плоской шуткой и уязвленные в своем достоинстве

хохотом, раздававшимся им вслед, решили отделаться от своих фамилий и обратились с ходатайством к королю. Челобитие подано было Людовику XV как раз в тот момент, когда папский нунций справа, а кардинал Ларош Эмон – слева, оба набожно коленопреклоненные, надевали в присутствии его величества туфли на босые ножки г-жи Дюбарри, встававшей со своего ложа. Король, который заливался смехом, глядя на двух епископов, стал теперь весело смеяться над двумя прокурорами и милостиво разрешил этим судейским крючкам переменить – вернее, слегка изменить их фамилии. Так, господину Корбо от имени короля разрешено было к заглавной букве его фамилии добавить хвостик и прозываться Горбо; господину Ренару посчастливилось меньше, он только получил разрешение приставить к букве Р букву П и именоваться Пренар^[51], так что новая фамилия не менее подходила к нему, чем старая.

Итак, согласно местному преданию, этот самый Горбо и был владельцем здания под № 50–52 на Госпитальном бульваре. Он же был и творцом этого огромного окна.

Вот почему лачуга называлась домом Горбо.

Напротив дома № 50–52, среди других деревьев бульвара, рос большой вяз, почти на три четверти засохший; прямо перед ним начиналась улица заставы Гобеленов, в ту пору не застроенная, не вымощенная, обсаженная чахлыми деревьями, то зелеными, то бурыми, в зависимости от времени года, и резко обрывающаяся у самой парижской окружной стены. Клубы дыма из труб соседней фабрики распространяли по всему кварталу запах купороса.

Застава была близко. Стена, опоясывающая Париж, еще существовала в 1823 году.

Эта застава уже сама по себе вызывала в воображении мрачные образы. Здесь пролегла дорога, ведущая в Бисетр. Именно через эту заставу во времена Империи и Реставрации, в день своей казни, входили в Париж приговоренные к смерти. Именно здесь произошло в 1829 году таинственное убийство, именуемое «убийством у заставы Фонтенебло», виновников которого не могло обнаружить правосудие, – темное дело, оставшееся неразъясненным, страшная загадка, оставшаяся неразгаданной. Сделайте несколько шагов, и вы окажетесь на той роковой улице Крульбарб, где Ульбах поразил кинжалом пастушку из Иври под раскаты грома, как в мелодраме. Еще несколько шагов, и вы подойдете к безобразным, с обрезанными верхушками, вязам заставы Сен-Жак, к этому детищу филантропов, пытающихся скрыть эшафот, к этой жалкой и позорной Гревской площади лавочников и мещан, отшатнувшихся перед зрелищем смертной казни, не дерзнув ни мужественно отменить ее, ни открыто выступить ее сторонниками.

Тридцать семь лет тому назад, если не упоминать о площади Сен-Жак, которой словно предопределено было всегда внушать ужас, возможно, самым мрачным уголком на всем этом мрачном бульваре была эта столь мало привлекательная и в наше время часть его, где стояла лачуга № 50–52.

Только двадцать пять лет спустя здесь начали появляться дома горожан. Это было угрюмое место. Скорбные мысли овладевали вами, вы чувствовали, что находитесь между Сальпетриер, чей высокий купол можно было разглядеть оттуда, и Бисетром, близ ограды которого вы находились; то есть между безумием женщины и безумием мужчины. На всем доступном глазу расстоянии виднелись только бойни, окружная стена и редкие фасады фабрик, похожих на казармы или монастыри. Повсюду бараки, строительный мусор, старые стены – черные, словно траурный покров, новые стены – белые, словно саван; повсюду параллельные ряды деревьев, вытянутые в струнку постройки, длинные и холодные линии плоских фасадов и гнетущее уныние прямых углов. Ни признака складки, неровности почвы, никакой архитектурной прихоти. Все вместе – леденящее, однообразное, отвратительное зрелище. Ничто так не удручает сердца, как симметрия. Ибо симметрия – это скука, а скука и есть сущность печали. Отчаяние зевает. Если можно вообразить себе что-нибудь страшнее ада, где страдают, то это ад,

где скучают. Если бы такой ад действительно существовал, то эта часть Госпитального бульвара могла бы служить аллеей, к нему ведущей.

Однако с приближением ночи, в час, когда меркнет день, особенно зимой, чье леденящее дыхание срывает с вязов последние бурые листья, когда мрак непроницаем и небо беззвездно или когда ветер пробьет в облаках луне оконце, бульвар становится вдруг страшным. Черные его линии уходят во мрак и пропадают в нем, словно отрезки бесконечности. Прохожий невольно вспоминает все связанные с виселицей бесчисленные предания об этом месте. В уединенности квартала, где совершено было столько преступлений, таилось что-то жуткое. Чудилось, будто в этой темноте всюду расставлены западни, смутные очертания теней внушали подозрение, а длинные четырехугольные углубления между деревьев напоминали могилы. Днем это было безобразно; вечером это было мрачно; ночью это было зловеще.

Летом в сумерках кое-где на замшелых, старых скамьях у подножия вязов сидели старухи. Они назойливо выпрашивали милостыню.

Впрочем, этот квартал, на вид скорее старый, чем старинный, стремился уже тогда преобразиться. Кто хотел его видеть, должен был поспешить это сделать. Ежедневно из общей картины исчезала какая-нибудь деталь. В настоящее время, как и все последние двадцать лет, вокзал Орлеанской железной дороги, расположенный рядом с этим старым предместьем, непрерывно его видоизменяет. Всюду, где на окраине столицы появляется железнодорожная станция, умирает предместье и рождается город. Кажется, что вокруг этих крупных средоточий движения людей от грохота этих мощных машин, от дыхания этих чудовищных коней цивилизации, пожирающих уголь и изрыгающих пламя, земля, полная новых ростков, дрожит и разверзается, готовая поглотить древние жилища человека и породить новые. Старые дома рушатся, новые дома воздвигаются.

С тех пор как станция Орлеанской железной дороги вторглась во владение Сальпетриер, старинные узкие улицы, граничащие со рвами Сен-Виктор и Ботаническим садом, дрогнули под стремительным потоком дилижансов, фиакров и омнибусов, который проносится по ним три-четыре раза в день в определенное время, оттеснив дома вправо и влево. Есть явления, на первый взгляд неправдоподобные, тем не менее они вполне отвечают действительности: как верно то, что в крупных городах солнце заставляет появляться дома, обращенные фасадом на юг, так же несомненно и то, что непрерывное движение экипажей расширяет улицы. Признаки новой жизни очевидны. В этом старинном провинциальном квартале, в самых глухих закоулках, возникает мостовая, повсюду расползаются и тянутся тротуары, даже там, где нет еще прохожих. Однажды утром, в памятное июльское утро 1845 года, там вдруг задымились черные котлы с асфальтом; можно считать, что в этот день цивилизация добралась до улицы Урсин и что Париж вступил в предместье Сен-Марсо.

Глава 2

Гнездо совы и славки

Именно здесь, перед лачугой Горбо, и остановился Жан Вальжан. Он, словно дикая птица, выбрал это пустынное место, чтобы свить себе тут гнездо.

Пошарив в жилетном кармане, он вынул что-то вроде отмычки, открыл дверь, вошел, затем тщательно запер ее за собой и поднялся по лестнице, продолжая нести на руках Козетту.

Наверху лестницы он вынул из кармана другой ключ и отпер им другую дверь. Комната, войдя в которую он тотчас же заперся, напоминала довольно просторное чердачное помещение. Убранство ее состояло из матраца, лежавшего на полу, стола и нескольких стульев. В углу стояла топившаяся печь, в которой виднелись раскаленные уголья. Фонарь, горевший на

бульваре, тускло освещал это убогое жилье. В глубине комнаты был маленький чулан, где стояла складная кровать. Жан Вальжан так бережно опустил ребенка на эту кровать, что тот не проснулся.

Он высек огонь и зажег свечу – все это заранее было приготовлено на столе; затем, как и накануне, устремил на Козетту восторженный взгляд, выражавший доброту и умиление, почти граничившие с безумием. Девочка, исполненная той спокойной доверчивости, которая присуща лишь величайшей силе или величайшей слабости, уснула, даже не зная, с кем она, и продолжала спать, не ведая, где она.

Жан Вальжан нагнулся и поцеловал ручку этого ребенка.

Девять месяцев тому назад он целовал руку матери, тоже уснувшей, но навеки.

То же горестное, благоговейное, щемящее чувство наполняло его сердце.

Он опустился на колени перед кроватью Козетты.

Наступил день, а ребенок продолжал спать. Бледный луч декабрьского солнца проник сквозь чердачное оконце и протянул по потолку длинные волокна света и тени. Вдруг тяжело нагруженная телега каменщика, проехавшая по бульвару, словно громовой раскат, потрясла и заставила задрожать всю лачугу сверху донизу.

– Да, сударыня! – внезапно проснувшись, вскрикнула Козетта. – Сейчас! Сейчас!

Она спрыгнула с кровати и со слипавшимися еще ото сна глазами протянула руки в угол комнаты.

– Боже мой! А где же моя метла? – воскликнула она.

Она широко раскрыла глаза и увидела перед собой улыбающееся лицо Жана Вальжана.

– Ах, да! Ведь я и забыла! – сказала она. – С добрым утром, сударь.

Дети сразу и непринужденно осваиваются со счастьем и радостью, ибо они сами по природе своей – радость и счастье.

В ногах своей постели Козетта заметила Катерину и занялась ею. Играя, она задавала тысячу вопросов Жану Вальжану. Где она находится? Велик ли Париж? Достаточно ли далеко от нее госпожа Тенардьё? Не придет ли она за ней? и т. д. Вдруг она воскликнула: «Как здесь красиво!»

Это была отвратительная конура; но Козетта чувствовала себя в ней свободной.

– Надо мне ее подмести? – спросила она наконец.

– Играй, – ответил Жан Вальжая.

Так прошел весь день. Ничего не пытаясь уяснить себе, Козетта была невыразимо счастлива возле этой куклы и этого человека.

Глава 3

Слившись, два несчастья дают счастье

На рассвете следующего дня Жан Вальжан снова был у постели Козетты. Он стоял неподвижно и, глядя на нее, ждал ее пробуждения.

Что-то неизведанное проникало в его душу.

Жан Вальжан никогда никого не любил. Уже двадцать пять лет он жил один на свете. Ему не довелось стать отцом, любовником, мужем, другом. На каторге это был злой, мрачный, целомудренный, невежественный и нелюдимый человек. Сердце старого каторжника было нетронуто. О сестре и ее детях он сохранил смутное и отдаленное воспоминание, которое в конце концов почти совершенно изгладилось. Он приложил все усилия к тому, чтобы отыскать их, и, не сумев найти, забыл их. Таково свойство человеческой природы. Все прочие сердечные

привязанности его юности, если только он когда-либо имел их, канули в бездну.

Когда он увидел Козетту, когда он взял ее с собою, увел, освободил, он ощутил, как вся душа его дрогнула. Все, что было в ней страстного и нежного, вдруг пробудилось и устремилось навстречу этому ребенку. Подходя к кровати, на которой она спала, он дрожал от радости; он был подобен молодой матери, чувствующей родовые схватки и не понимающей, что это такое; ибо смутно и сладостно великое, таинственное движение сердца, начинающего любить.

Бедное, старое, неискушенное сердце!

Но ему было пятьдесят пять лет, а Козетте восемь, поэтому вся любовь, какую он мог бы испытать в жизни, устремившись к ребенку, обернулась каким-то неизъяснимым сиянием.

Это было второе светлое видение, представшее перед ним. Епископ зажег на его горизонте зарю добродетели; Козетта зажгла зарю любви.

Первые дни протекли в этом ослеплении любовью.

Сама того не замечая, изменилась и Козетта, бедная крошка! Она была так мала, когда мать покинула ее, что совсем ее не помнила. Как все дети, подобно молодым побегам виноградной лозы, цепляющимся за все, она пыталась любить. Но это ей не удавалось. Все ее оттолкнули – и Тенардье, и их дети, и другие дети. Она любила собаку, но та издохла; после этого никому и ничему не нужна была ее привязанность. Страшно сказать, но мы уже упоминали об этом; в восемь лет у нее было холодное сердце. Винить ее нельзя, она не утратила способности любить, но – увы! – лишена была этой возможности. И потому с первого же дня все ее мысли и чувства стали любовью к этому старому человеку. Она испытывала неизвестное ей доселе ощущение сердечной радости.

Этот добрый человек даже не казался ей больше ни стариком, ни бедняком. Она находила Жана Вальжана прекрасным, так же как находила красивой эту конуру.

Таково действие зари, детства, юности, радости. Новизна места и жизни имела здесь немалое значение. Нет ничего краше розового отблеска счастья на чердаке. У каждого из нас в прошлом есть такой светлый уголок.

Природа воздвигла между Жаном Вальжаном и Козеттой огромную преграду: между ними лежало полвека. Но эту преграду смела жизнь. Судьба внезапно столкнула и с неодолимой силой обручила эти два лишенные корней существования, столь различные по возрасту, но столь похожие по скорби. И действительно, эти жизни дополняли одна другую. Инстинкт Козетты искал отца, инстинкт Жана Вальжана – ребенка. Встретиться – значило обрести друг друга. В таинственный миг, когда соприкоснулись их руки, они словно срослись. Увидевшись, эти души словно осознали, как они необходимы друг другу, и слились неразборчиво.

Отделенные от всего мира могильной стеной, Жан Вальжан и Козетта словно олицетворяли собою Вдовство и Сиротство, если понимать эти слова в их наиболее общем и доступном для всех значении. И Жан Вальжан как бы велением неба стал отцом Козетты.

Таким образом, таинственное ощущение, которое возникло в Козетте, когда Жан Вальжан в темноте взял ее за руку в чаще леса Шель, было порождено не иллюзией, а действительностью. Вмешательство этого человека в судьбу ребенка было проявлением воли господней.

Итак, Жан Вальжан удачно выбрал свое убежище. Казалось, он был здесь в полной безопасности.

Комната с чуланом, которую он занимал с Козеттой, выходила окном на бульвар. Это было единственное окно в доме, и нечего было опасаться нескромного взгляда соседей, живущих как напротив, так и рядом.

Нижний этаж дома № 50–52 представлял собою нечто вроде обветшавшего сарая с навесом, который служил складом для огородников и не имел никакого сообщения с верхним. Отделяясь от него дощатым потолком, в котором не было ни люка, ни лестницы, он являлся как бы глухой

перегородкой между этажами этой лачуги. Как мы уже говорили, второй этаж состоял из множества комнатушек и нескольких чердаков, и лишь один из них был занят старухой, согласившейся вести хозяйство Жана Вальжана. Все остальные помещения пустовали.

Старуха именовалась «главной жилищей», а в сущности была привратницей; она-то в рождественский сочельник и сдала комнату Жану Вальжану. Выдав себя за разорившегося на испанских ценных бумагах рантье, он выразил желание поселиться здесь с внучкой. Уплатив за шесть месяцев вперед, он поручил старухе обставить комнату и чулан так, как мы уже видели. Это она с вечера протопила печь и все приготовила к их приходу.

Неделя шла за неделей, а старик и дитя вели в этой жалкой конуре счастливое существование.

С самого раннего утра Козетта смеялась, болтала, пела. У детей, как у птиц, есть своя утренняя песенка.

Случалось, что Жан Вальжан брал ее маленькую красную, потрескавшуюся от холода ручку и целовал. Бедняжка, привыкшая только к побоям, не понимала, что это означает, и отходила смущенная.

Иногда, умолкнув, она с серьезным видом глядела на свое черное платье. Козетта не носила больше лохмотьев; она носила траур. Она уходила от нищеты и вступала в жизнь.

Жан Вальжан начал учить ее грамоте. Нередко, заставляя ее разбирать по складам, он вспоминал, что научился на каторге читать с целью творить зло. Теперь эта цель стала иною: он учил читать ребенка. И старый каторжник улыбался задумчивой ангельской улыбкой.

В этом он чувствовал предначертание свыше, волю кого-то, кто стоит над человеком, и он отдавался мечтам. У добрых мыслей, как и у дурных, есть свои бездонные глубины.

Учить грамоте Козетту и не мешать ей вволю играть – в этом и заключалась почти вся жизнь Жана Вальжана. Иногда он говорил ей о матери и заставлял молиться.

Она звала его «отец», иного имени его она не знала.

Он проводил целые часы, глядя, как она одевает и раздевает куклу, и слушая ее лепет. Отныне жизнь казалась ему исполненной интереса, люди представлялись добрыми и справедливыми; он никого больше мысленно не упрекал теперь, когда его полюбил ребенок; ему хотелось дожить до глубокой старости. Перед ним рисовалась будущность, вся освещенная Козеттой, словно лучезарным сиянием. Даже лучшим людям свойственны эгоистические мысли. Иногда он с какою-то радостью думал о том, что она будет некрасива.

Правда, это только наше личное мнение, но если уж говорить до конца, то мы полагаем, что Жан Вальжан, когда он полюбил Козетту, нуждался в любви, чтобы укрепить в своем сердце стремление к добру. Он только что увидел людскую злобу и ничтожность общества в их новых проявлениях. Но то, что предстало пред ним, роковым образом ограничивало действительность, выявляя лишь одну ее сторону: женскую судьбу, воплощенную в Фантине, и общественное мнение, олицетворенное в лице Жавера. На этот раз Жан Вальжан отправлен был на каторгу за то, что поступил хорошо; его сердце вновь исполнилось горечи; отвращение и усталость вновь овладели им; даже воспоминание об епископе порой как бы начинало тускнеть, хотя позже оно возникало вновь, яркое и торжествующее; но в конце концов и это священное воспоминание поблекло. Кто знает, быть может, Жан Вальжан был на пороге отчаяния и полного падения? Но он полюбил и вновь стал сильным. Увы! В действительности он был несколько не крепче Козетты. Он ей оказал покровительство, а она вселила в него бодрость. Благодаря ему она могла пойти вперед по пути жизни; благодаря ей он мог идти дальше по стезе добродетели. Он был поддержкой ребенка, а ребенок этот был его точкой опоры. Неисповедима и священна тайна равновесия твоих весов, о судьба!

Из осторожности Жан Вальжан никогда не выходил из дому днем. Каждый вечер в сумерки он гулял час или два, иногда один, но чаще с Козеттой, выбирая боковые аллеи самых безлюдных бульваров и заходя в какую-либо церковь с наступлением темноты. Он охотно посещал ближайшую церковь Сен-Медар. Если он не брал Козетту с собой, то она оставалась под присмотром старухи, но для ребенка было радостью пойти погулять с добрым стариком. Она предпочитала час прогулки с ним даже восхитительным беседам с Катериной. Он шел, держа ее за руку, и ласково говорил с нею.

Козетта оказалась очень веселой девочкой.

Старуха хозяйничала, готовила и ходила за покупками.

Они жили скромно, хотя и не нуждались в самом насущном, как люди с весьма ограниченными средствами. Жан Вальжан ничего не изменил в той обстановке, которую застал в первый день; только застекленную дверь, ведущую в каморку Козетты, он заменил обыкновенной.

Он носил все тот же желтый редингот, те же черные панталоны и старую шляпу. На улице его принимали за бедняка. Случалось, что сострадательные старушки, оглянувшись на него, подавали ему су. Жан Вальжан принимал это су и низко кланялся. Случалось также, что, встретив какого-нибудь несчастного, просящего подаяние, он, оглянувшись, не следит ли за ним кто-нибудь, украдкой подходил к бедняку, клал ему в руку медную, а нередко и серебряную монету и быстро удалялся. Это имело свои отрицательные стороны. В квартале его стали примечать и прозвали «нищим, подающим милостыню».

Старуха, «главная жилица», существо хитрое, снedaемое завистливым любопытством к ближнему, тщательно следила за Жаном Вальжаном, хотя он об этом и не подозревал. Она была глуховата и оттого болтлива. От всей ее прежней красоты у нее осталось только два зуба во рту, верхний и нижний, которыми она постоянно пощелкивала. Старуха допрашивала Козетту, но та, ничего не зная, ничего не могла ей сказать, кроме того, что она из Монфермейля. Однажды этот неусыпный страж заметил, что Жан Вальжан вошел в одно из нежилых помещений лачуги, что показалось любопытной кумушке подозрительным. Ступая бесшумно, словно старая кошка, она последовала за ним и принялась сквозь щель находящейся как раз против него двери незаметно наблюдать за ним. Жан Вальжан, видимо для большей предосторожности, повернулся к этой двери спиной. Старуха увидела, что, порывшись в кармане, он вынул оттуда игольник, ножницы и нитки, затем вспорол подкладку у полы редингота и, вытащив оттуда какую-то желтоватую бумажку, развернул ее. Старуха с ужасом разглядела банковый билет в тысячу франков. То был второй или третий тысячефранковый билет, который ей довелось увидеть в жизни. Она убежала в сильном испуге.

Минуту спустя Жан Вальжан пришел к ней и попросил разменять этот билет, объяснив, что это его рента за полугодие, которую он вчера получил. «Где же? – подумала старуха. – Ведь на улицу он вышел только в шесть часов вечера, а касса казначейства в это время должна быть заперта». Старуха отправилась разменять деньги, строя всяческие предположения. Эта история с тысячефранковым билетом, обогащенная новыми подробностями, превратившими тысячу франков в несколько тысяч, вызвала множество толков среди всполошившихся кумушек квартала Винь-Сен-Марсель.

Несколько дней спустя Жан Вальжан, в одном жилете, пилил в коридоре дрова. Старуха занималась хозяйством в комнате, а Козетта побежала смотреть, как пилят дрова. Оставшись

одна и заметив висевший на гвозде редингот, старуха принялась основательно исследовать его. Подкладка была уже зашита. Женщина тщательно прощупала редингот, и ей показалось, что в полах и в проймах рукавов защиты толстые пачки бумаги. Вне всякого сомнения, другие билеты по тысяче франков.

Кроме того, она обнаружила, что в карманах лежит множество разных предметов. Не только иголки, ножницы и нитки, что она уже видела, но объемистый бумажник, большой нож и – подозрительная подробность – несколько париков разного цвета. Казалось, каждый карман этого редингота являлся вместилищем предметов «на случай», для всяких непредвиденных обстоятельств.

Так дожили обитатели лачуги до конца зимы.

Глава 5

Пятифранковая монета, падая на пол, издает звон

Неподалеку от церкви Сен-Медар, на краю заделанного общественного колодца, обычно сидел нищий, которому Жан Вальжан охотно подавал милостыню. Он редко проходил мимо него, не протянув ему нескольких су. Иногда он с ним разговаривал. Завистники нищего утверждали, что он из полицейских. Это был старый, семидесятипятилетний псаломщик, все время бормотавший молитвы.

Однажды вечером Жан Вальжан, проходя мимо, один, без Козетты, увидел нищего на его привычном месте под уличным фонарем, который только что зажгли. Казалось, этот сильно сгорбившийся человек, как всегда, бормочет свои молитвы. Жан Вальжан приблизился к нему и протянул свое подаяние. Вдруг нищий в упор взглянул на Жана Вальжана и быстро опустил голову. Движение было молниеносным, однако Жан Вальжан вздрогнул. Ему почудилось, что перед ним, при свете уличного фонаря, мелькнуло не кроткое и набожное лицо старого псаломщика, но знакомый и грозный образ. У него было такое чувство, словно он вдруг оказался во мраке лицом к лицу с тигром. Оцепенев от ужаса, он отпрянул назад, не смея ни дышать, ни говорить, ни оставаться на месте, ни бежать, и глядел на нищего, который, как будто не замечая присутствия Жана Вальжана, сидел, опустив обвязанную тряпкой голову. В эту необычайную минуту, руководимый инстинктом, быть может, таинственным инстинктом самосохранения, Жан Вальжан не произнес ни слова. У нищего был тот же рост, те же лохмотья, тот же облик, как обычно. «Ба! – подумал Жан Вальжан. – Я сумасшедший! Мне померещилось! Это невозможно!» И он вернулся домой, глубоко потрясенный.

Он не смел признаться даже самому себе, что мелькнувшее перед ним лицо было лицом Жавера.

Ночью, обдумывая происшедшее, он пожалел, что не заговорил с нищим, – это заставило бы его еще раз поднять голову.

На следующий день, при наступлении сумерек, он снова отправился туда же. Нищий сидел на своем месте. «Здравствуй, милый человек», – решительно обратился к нему Жан Вальжан, подавая су. Нищий поднял голову и жалобно произнес: «Спасибо, добрый господин». Это, несомненно, был старый псаломщик.

Жан Вальжан совершенно успокоился. «Где, черт возьми, я увидел тут Жавера? – подумал он, сам над собой подсмеиваясь. – Не начинается ли у меня портиться зрение?» Больше он об этом не думал.

Спустя несколько дней, часов около восьми вечера, Жан Вальжан, сидя у себя в комнате, учил Козетту читать вслух по складам. Вдруг он услышал, как отворилась и опять закрылась входная дверь. Это показалось ему странным. Старуха, единственная жилища, кроме него,

проживающая в доме, ложилась всегда спать в снаступлением темноты, чтобы не жечь свечу. Жан Вальжан знаком приказал Козетте замолчать. Он слушал, как кто-то подымается по лестнице. Конечно, это могла быть и старуха, возможно, почувствовавшая недомогание и отправившаяся в аптеку. Жан Вальжан прислушался. Шаги были тяжелые и шумные, как у мужчины, но старуха ходила в грубых башмаках, к тому же ничто так не напоминает мужские шаги, как шаги старой женщины. Однако Жан Вальжан задул свечу.

Шепнув Козетте: «Ложись тихонько», он послал ее спать; пока он целовал ее в лоб, шаги остановились. Жан Вальжан продолжал сидеть молча и неподвижно на своем стуле, спиной к двери, в темноте, затаив дыхание. Спустя довольно продолжительное время, не слыша ничего более, он бесшумно обернулся и, взглянув на дверь своей комнаты, увидел сквозь замочную скважину свет. Этот свет казался какой-то зловещей звездой на черном фоне двери и стены. Несомненно, кто-то стоял за дверью и, держа свечу в руке, подслушивал.

Прошло несколько мгновений, и свет исчез. Но Жан Вальжан не услышал ни малейшего шума шагов; по всей вероятности, тот, кто подслушивал у дверей, снял сапоги.

Жан Вальжан бросился, не раздеваясь, на кровать и всю ночь не мог сомкнуть глаз.

На рассвете, когда он от усталости задремал, его разбудил скрип открывавшейся двери в одной из пустовавших комнаток в глубине коридора. Затем он услышал знакомые шаги мужчины, накануне поднимавшегося по лестнице. Шаги приближались. Он соскочил с кровати и, приложив глаз к замочной скважине, пытался разглядеть человека, который ночью вошел в дом и подслушивал у его дверей. Действительно, это оказался мужчина, который на сей раз прошел мимо комнаты Жана Вальжана не останавливаясь. В коридоре было еще слишком темно, чтобы можно было различить его лицо; но когда человек дошел до лестницы, луч света, падавший снаружи, обрисовал его силуэт, и Жан Вальжан ясно увидел его со спины. Он был высокого роста, в длинном рединготе, с дубинкой под мышкой. То была страшная фигура Жавера!

Жан Вальжан мог бы попытаться взглянуть на него еще раз через окно, выходившее на бульвар. Но для этого окно надо было открыть, на что он не осмелился.

Несомненно, этот человек вошел со своим ключом и как к себе домой. Но кто дал ему этот ключ? Что все это означало?

В семь часов утра, когда старуха пришла убирать комнату, Жан Вальжан окинул ее проницательным взглядом, но ни о чем не спросил. Старуха вела себя как всегда.

Подметая комнату, она сказала:

– Вы, наверное, сударь, слышали, как сегодня ночью к нам в дом кто-то входил?

В те времена в этом квартале восемь часов вечера уже считалось глубокой ночью.

– А ведь правда, слышал. Кто же это был? – спросил он самым естественным тоном.

– Это новый жилец, который поселился в доме.

– А зовут его?..

– Толком не знаю. Не то Дюмон, не то Домон. Вроде этого, – ответила старуха.

– А кто же он, этот господин Дюмон?

Старуха взглянула на него своими проницательными глазками и ответила:

– Такой же рантье, как и вы.

Может быть, у нее не было никакой задней мысли, но Жан Вальжан решил, что сказано это было неспроста.

Когда старуха ушла, он сложил стопкой сотню франков, хранящихся у него в шкафу, и, завернув их в бумагу, положил в карман. Как ни осторожно он это делал, чтобы не слышно было звяканья денег, одна монета все же выскользнула у него из рук и со звоном покатилась по полу.

При наступлении сумерек, спустившись вниз, он внимательно оглядел бульвар из конца в

конец. Нигде не было ни души. Бульвар оказался совсем пустынным. Правда, там можно было спрятаться за деревьями.

Он снова поднялся к себе.

– Идем, – сказал он Козетте.

И, взяв ее за руку, он вышел из дома.

Книга пятая

Ночная охота с немой сворой

Глава 1

Стратегические ходы

К этим страницам, а также и к другим, с которыми встретится читатель в дальнейшем, необходимо дать пояснение.

Уже много лет, как автор этой книги, вынужденный, к сожалению, упомянуть о себе самом, не живет в Париже. С той поры как он его покинул, Париж изменил свой облик. На его месте возник новый город, во многих отношениях автору незнакомый. Ему нет нужды говорить о своей любви к Парижу; Париж – его духовная родина. Вследствие разрушения старых домов и возведения новых Париж его юности, тот Париж, память о котором он благоговейно хранит, ныне уже ушел в прошлое. Но да будет ему дозволено говорить об этом прежнем Париже, как если бы он существовал еще. Быть может, там, куда автор поведет читателя, со словами: «Вот на такой-то улице стоял такой-то дом», – нет теперь ни улицы, ни дома. Читатели проверят, если захотят взять на себя труд это сделать. Самому же ему современный Париж неведом, и он пишет, видя перед собой Париж былых времен, отдаваясь дорогой его сердцу иллюзии. Ему отрадно представлять себе, будто сохранились еще следы того, что он когда-то видел на родине, будто еще не все исчезло безвозвратно. Когда живешь в родном городе, то кажется, что эти улицы тебе безразличны, окна, кровли, двери ничего не значат для тебя, эти стены чужды, деревья – случайность на твоём пути, что дома, в которые неходишь, не нужны тебе, а мостовые, по которым ступаешь, простой бульжник. Только впоследствии, когда тебя там уже нет, ты чувствуешь, что эти улицы тебе дороги, что этих кровель, этих окон, этих дверей тебе недостает, что стены эти тебе необходимы, что деревья эти горячо любимы тобой, что в тех домах, где ты никогда не бывал, ты все равно ежедневно присутствовал, и что частицу души своей, крови своей, сердца своего ты оставил на этом бульжнике. Все эти места, которых не видишь больше и не увидишь, быть может, никогда, но образ которых хранишь в памяти, приобретают какую-то мучительную прелесть и непрестанно возникают перед тобой, словно печальные видения. Они как бы становятся для нас землей обетованной, как бы воплощением самой Франции. Мы их любим, мы упорно воскрешаем их в своей памяти такими, какими они были когда-то, не желая ничего изменить в них, ибо лик нашей отчизны так же дорог нам, как лицо матери.

Итак, да будет нам дозволено говорить о минувшем так, как о настоящем. Предупредив об этом читателя, мы продолжаем.

Жан Вальжан тотчас же покинул бульвар и углубился в улицы, как можно чаще меняя направление и нередко возвращаясь назад, чтобы удостовериться, что за ним не следят.

Так ведет себя олень во время облавы. На мягком грунте, сохраняющем отпечаток его копыт, такой прием имеет, кроме прочих преимуществ, еще и то, что обратным следом он запутывает охотников и свору гончих. В охотничьей травле этот прием называется «ложным уходом в логово».

Стояло полнолуние. Это было на руку Жану Вальжану. Луна низко висела над горизонтом, широкими полосами тени и света перерезая улицу. Жан Вальжан мог красться вдоль домов и заборов по теневой стороне и наблюдать за освещенной. Ему, быть может, не приходило в голову, что эта теневая сторона ускользает от его внимания. Но все же он был уверен, что по всем пустынным улочкам, смежным с улицей Поливо, за ним никто не следует.

Козетта шла молча, не задавая никаких вопросов. Испытания первых шести лет ее жизни сообщили какую-то пассивность ее натуре. Кроме того – и к этой присущей ей особенности нам придется еще не раз возвращаться, – она, не слишком разбираясь в них, привыкла к странностям старика и к причудам судьбы. К тому же с ним она чувствовала себя в безопасности.

Жан Вальжан знал не более Козетты, куда они идут. Он уповал на бога, как Козетта уповала на него. Ему, как и ей, казалось, что его ведет за руку кто-то более могущественный, чем он сам; он чувствовал, что кто-то невидимый направляет его шаги. Таким образом, не было у него никакой четкой мысли, никакой цели, никакого плана. Он даже не был уверен в том, что видел Жавера: это, конечно, мог быть и Жавер, но Жавер, не знавший, что сам он – Жан Вальжан. Ведь он был переодет. Ведь его считали умершим. Однако в последние дни произошли события, которые стали ему казаться странными. Этого было для него достаточно: он решил не возвращаться более в лачугу Горбо. словно поднятый из берлоги зверь, он искал какую-нибудь нору, где мог бы схорониться, пока не найдет надежного жилья.

Жан Вальжан покружил в разных направлениях по кварталу Муфтар, уже погруженному в сон, точно были еще в силе строгие порядки Средневековья и давался сигнал о тушении огня. Различными способами, согласно с требованиями высокой стратегии, он пробрался из Податной улицы на Стружечную, оттуда на Батуар-Сен-Виктор и на Пюи л'Эрмит. На этих улицах имелись ночлежки, но Жан Вальжан туда даже не заходил, он искал другое. Кстати сказать, он не сомневался, что если даже случайно и попали на его след, то сейчас уже утеряли.

Когда на башне Сент-Этьен-дю-Мон пробило одиннадцать, он пересекал улицу Понтуаз против бюро полицейского пристава, помещавшегося в доме № 14. Спустя несколько мгновений тот инстинкт, о котором мы упоминали выше, заставил его оглянуться. И тут, на довольно близком от себя расстоянии, он ясно увидел трех следовавших за ним мужчин, которые один за другим прошли по теневой стороне улицы мимо фонаря полицейского бюро – их выдал свет фонаря. Один из них направился по аллейке, ведущей к дому № 14. Шедший во главе показался ему безусловно подозрительным.

– Идем, дитя, – сказал он Козетте и поспешил покинуть улицу Понтуаз.

Он сделал круг, обогнул уже запертый по случаю позднего времени Патриарший пассаж, миновал улицу Деревянного меча, Самострельную и углубился в Почтовую улицу.

Там есть перекресток, где в настоящее время находится коллеж Ролен и откуда ответвляется Новая Сент-Женевьевская улица.

(Само собою разумеется, что Новая Сент-Женевьевская улица – старая улица, и по Почтовой улице разве только раз в десять лет проезжает почтовая карета. В тринадцатом столетии эта Почтовая улица заселена была горшечниками, и ее настоящее название – Горшечная.)

Луна ярко освещала этот перекресток. Жан Вальжан укрылся за воротами, полагая, что если эти люди будут продолжать преследование, то он непременно увидит их, когда они будут пересекать полосу лунного света.

И действительно, не прошло и трех минут, как они появились вновь. Теперь их было уже четверо, все высокого роста, в долгополых темных рединготах, круглых шляпах и с толстыми дубинками в руках. Их зловещее шествие в темноте вызывало не меньшую тревогу, чем их огромный рост и внушительные кулаки. Можно было подумать, что это четыре призрака в обличье горожан.

Они собрались кучкой на середине перекрестка, словно для совещания. Вид у них был нерешительный. Тот, кто казался их вожаком, обернулся и быстрым движением руки указал направление, в котором скрылся Жан Вальжан, другой довольно настойчиво указывал в противоположную сторону. В ту минуту, когда первый обернулся, луна ярко осветила его лицо.

Глава 2

К счастью, по Аустерлицкому мосту проезжают повозки

Неизвестность для Жана Вальжана кончилась; по счастливой случайности, она длилась еще для этих людей. Он воспользовался их нерешительностью: это было потерянное для них время, но выигранное для него. Выйдя из-под ворот, где он притаился, он пошел вперед по Почтовой улице, в сторону Ботанического сада. Козетта начала уставать, он взял ее на руки и понес. Ему не встретилось ни одного прохожего; уличные фонари не были зажжены, так как светила луна.

Он ускорил шаг.

Быстро достиг он горшечной фабрики Гoble, на фасаде которой была отчетливо видна освещенная лунным светом старинная надпись:

Здесь фабрика Гoble и сына.
Прохожий, покупать спеши!
Горшки, тазы, котлы, кувшины —
Все предлагаем от души.

Оставив позади себя Ключевую улицу и фонтан Сен-Виктор, он направился вдоль Ботанического сада по сбегаящим вниз улицам до набережной. Здесь он оглянулся. Набережная была пустынна. Улицы были пустынные. Никто не шел за ним. Он облегченно вздохнул.

Он достиг Аустерлицкого моста.

В ту пору еще взимали мостовую пошлину.

Жан Вальжан подошел к будке сборщика пошлыны и протянул су.

— С вас полагается два су, — сказал ему старик инвалид. — Вы несете ребенка, который сам может ходить. Платите за двоих.

Жан Вальжан уплатил, досадуя, что его переход через мост привлек чье-то внимание. Беглец должен проскользнуть незаметно, как уж.

Одновременно с ним через мост проезжала большая повозка, направляясь также к правому берегу. Это было кстати. Он мог пройти весь мост, скрывшись в ее тени.

На середине моста у Козетты затекли ноги, и она пожелала идти сама. Он спустил ее на землю и повел за руку.

Перейдя мост, он заметил вправо от себя дровяные склады и направился к ним. Чтобы дойти до них, необходимо было пересечь довольно обширное открытое и освещенное пространство. Жан Вальжан не колебался. Преследователи, видимо, потеряли его след, и он считал себя в безопасности. Его искали, правда, но погони за ним не было.

Между двумя деревянными складами, обнесенными стеной, затерялась улочка Зеленая дорога. Она была узкая, темная, словно нарочно созданная для него. Прежде чем войти в нее, он оглянулся.

С того места, где он стоял, ему виден был Аустерлицкий мост во всю его длину.

Четыре темные тени только что появились на мосту.

Тени эти направлялись от Ботанического сада на правый берег.

Эти четыре тени были его четыре преследователя.

Жан Вальжан задрожал, как пойманный зверь.

В нем лишь брезжила надежда, что, может быть, эти люди не успели еще взойти на мост в

то время, когда он, держа Козетту за руку, пересекал освещенное пространство, и не заметили его.

В таком случае, если, углубившись в маленькую, лежавшую перед ним улицу, ему удастся достичь дровяных складов, огородов, полей и пустырей, они будут спасены.

Ему показалось, что он может довериться этой тихой улочке. Он пошел по ней.

Глава 3

Смотри план Парижа 1727 года

Пройдя шагов триста, Жан Вальжан дошел до того места, где улица разветвлялась, расходясь вправо и влево. Перед Жаном Вальжаном лежали как бы две ветви буквы Y. Которую же избрать?

Не колеблясь, он выбрал правую.

Почему?

Потому, что левое ответвление вело в предместье, то есть в заселенную местность, а правое – в поля, то есть в безлюдье.

Однако они шли уже не так быстро. Козетта замедляла шаг Жана Вальжана.

Он снова взял ее на руки. Она молча прижалась головкой к плечу старика.

От времени до времени он оглядывался назад. Он старался держаться теневой стороны прямо тянувшейся перед ним улицы. Первые два-три раза, когда он оглянулся, он ничего не увидел, кругом царила глубокая тишина, и он, немного успокоившись, продолжал путь. Вдруг, снова обернувшись, он в какой-то миг заметил в глубине улицы, где-то далеко позади, в темноте, неясное движение.

Жан Вальжан уже не пошел, а стремительно бросился вперед, надеясь найти боковую улицу и, проскользнув в нее, еще раз сбить преследователей со следа.

Он добежал до какой-то стены.

Эта стена, однако, нисколько не мешала двигаться дальше; она тянулась вдоль поперечного переулка, примыкавшего к улице, по которой шел Жан Вальжан.

Снова надо было решать, куда идти: направо или налево.

Он взглянул направо. Улочка проходила между какими-то строениями, не то сараями, не то амбарами, и заканчивалась тупиком. В глубине этого глухого переулка можно было ясно разглядеть высокую белую стену.

Он взглянул влево. С этой стороны улочка была открыта и приблизительно через сто шагов вливалась в ту улицу, приток которой собой представляла. Вот где было спасение!

В ту минуту, когда Жан Вальжан намеревался свернуть влево, чтобы попасть на ту улицу, которую смутно различал в конце переулка, он заметил впереди на перекрестке что-то неподвижное, вроде темной статуи.

Это был человек, очевидно поставленный здесь, чтобы преградить кому-то путь, и кого-то подстерегавший.

Жан Вальжан отпрянул назад.

Та часть Парижа, где находился Жан Вальжан, расположенная между предместьем Сент-Антуан и Винной пристанью, в числе других коренным образом изменена недавними строительными работами, которые, по мнению одних, обезобразили ее, по мнению других – преобразили. Вспаханные поля, дровяные склады и старые дома исчезли. Теперь там уж появились широкие новые улицы, площади, цирки, ипподромы, железнодорожные вокзалы, тюрьма Мазас: прогресс, как мы видим, и его исправительное средство.

Полвека тому назад, на обиходном народном языке, который весь основан на преданиях и

именует Институт «Четырмя нациями», а Комическую оперу – «Федо», то место, куда попал Жан Вальжан, называлось «Малый Пикпюс». Ворота Сен-Жак, Парижские ворота, застава Сержантов, Свинари, Галиот, Целестинцы, Капуцины, Молотки, Грязи, Краковское древо, Малая Польша, Малый Пикпюс – все эти старинные названия уцелели и до сей поры. Эти обломки прошлого еще сохранились в памяти народа.

Малый Пикпюс, который, кстати, существовал недолго и лишь отдаленно напоминал парижский квартал, носил монастырский отпечаток испанского города. Дороги там были почти не мощеные, улицы почти не застроенные. Кроме двух-трех, о которых речь будет впереди, всюду тянулись заборы или пустыри. Нигде ни лавчонки, ни проезжающего экипажа; изредка кое-где мерцали в окнах огоньки свеч; после десяти вечера все огни гасились. Всюду сады, монастыри, дровяные склады, огороды, кое-где – низкие домишки и длинные, высотой с дом, ограды.

Таков был этот квартал в минувшем веке. Его облик резко изменился уже во времена Революции. Распоряжением республиканских властей он был просверлен, пробит, разрушен и отведен под склады щебня. Тридцать лет тому назад этот квартал оказался окончательно погребенным под выросшими новыми зданиями. В настоящее время он не существует более. Малый Пикпюс, от которого на современных планах не осталось и следа, довольно ясно обозначен на плане 1727 года, выпущенном в Париже у Дени Тъери в улице Сен-Жак, что напротив Штукатурной улицы, и в Лионе, у Жана Жирена в Торговой улице, в Прюданс. Квартал Малый Пикпюс, как мы упоминали, по своей форме был похож на букву Y, образуемую разветвлением улицы Зеленая дорога, левая ветвь которой носила название улочки Пикпюс, а правая – улицы Полонсо. Обе ветви этой буквы Y на своих концах были соединены как бы перекладиной. Перекладина эта называлась улицей Прямой стены. Здесь заканчивалась улица Полонсо, а улочка Пикпюс шла дальше, вплоть до рынка Ленуар. У того, кто шел со стороны Сены и достигал конца улицы Полонсо, слева оказывалась улица Прямой стены, сворачивающая под прямым углом, впереди – стена этой улицы, а направо – продолжение той же улицы, переходившей в глухой переулок, называемый тупиком Жанро.

Здесь-то и остановился Жан Вальжан.

Мы уже сказали, что, увидев темный силуэт, занимавший наблюдательный пост на углу улицы Прямой стены и улочки Пикпюс, Жан Вальжан отступил. Сомнений не было. Этот призрак подстерегал его.

Что делать?

Возвращаться обратно было уже поздно. То, что он заметил мгновение назад и что двигалось в темноте на некотором расстоянии позади него, были, несомненно, Жавер и его помощники. По всей вероятности, Жавер находился уже в начале той улицы, в конце которой был Жан Вальжан. Видимо, Жавер был хорошо знаком с этим маленьким лабиринтом и принял свои меры, отрядив человека стеречь выход. Эти догадки, столь отвечавшие действительности, словно клубы пыли, вздымаемые внезапно налетевшим ветром, закружились в разгоряченном мозгу Жана Вальжана. Он посмотрел на тупик Жанро: там преграда. Он взглянул на улочку Пикпюс: там часовой. Он различал эту темную фигуру, выступавшую черным силуэтом на светлой, залитой лунным сиянием мостовой. Идти вперед – попасть в руки этого человека. Идти назад – попасть в лапы Жавера. Жану Вальжану казалось, что его медленно затягивает петля. С отчаянием взглянул он на небо.

Чтобы понять все дальнейшее, следует точно представить себе переулок Прямой стены и, в частности, тот угол, который при выходе туда из улицы Полонсо оставался налево. Почти весь этот переулок с правой стороны, до улочки Пикпюс, был застроен убогими домишками; с левой же виднелось лишь одно строение строгих очертаний, состоящее из нескольких особняков, которые постепенно повышались то на один, то на два этажа, по мере своего приближения к улочке Пикпюс. Таким образом, будучи очень высоким со стороны улочки Пикпюс, это здание было значительно ниже со стороны улицы Полонсо. На том углу, о котором мы упоминали, оно очень понижалось и переходило в стену. Но стена не обрывалась на улице; она окружала сильно срезанный конец квартала, скрытая в этом месте своими двумя углами от двух наблюдателей, если бы один из них находился на улице Полонсо, а другой – в переулке Прямой стены.

От этих двух углов стена по улице Полонсо доходила до дома № 49, а по улице Прямой стены, где отрезок ее был много короче, – до мрачного здания, о котором мы уже упоминали и боковой фасад которого она срезала, образуя новый вдававшийся вглубь угол. Этот боковой фасад выглядел угрюмо, в нем было только одно окно или, точнее, две ставни, обитые цинковым листом и постоянно закрытые.

Облик местности, восстанавливаемой здесь нами с величайшей точностью, несомненно, пробудит самое живое о ней воспоминание в старожилах этого квартала.

Стену на срезанном углу целиком занимало нечто вроде огромных обветшалых ворот. Они состояли из множества досок, пригнанных вкось и вкривь друг к другу, причем верхние были шире нижних, и скрепленных длинными поперечными железными полосами. Рядом были другие ворота, обычного размера, пробитые, очевидно, не более как лет пятьдесят тому назад.

В этом месте стену осеняли ветви липы, а со стороны улицы Полонсо ее обвивал плющ.

Жана Вальжана, находившегося на грани неминуемой гибели, это здание привлекло к себе своей мрачностью и уединенностью. Он быстро окинул его взглядом, подумав, что если ему удастся проникнуть внутрь, то, возможно, он будет спасен. Вначале это было только мыслью и надеждой, но не намерением.

В средней части переднего фасада этого здания, выходившего на улицу Прямой стены, возле всех окон на всех этажах имелись старые свинцовые воронки. Разнообразные разветвления водосточных труб, которые тянулись от верхнего желоба ко всем этим воронкам, образовали на фасаде рисунок какого-то странного дерева. Сотней своих изгибов они напоминали высохшие, лишенные листы виноградные лозы, выющиеся вверх по фасадам старинных ферм.

Это своеобразное шпалерное дерево с жестяными и железными сучьями было первое, что бросилось в глаза Жану Вальжану. Он усадил Козетту спиной к уличной тумбе, велел ей молчать, а сам подбежал к тому месту, где водосточная труба спускалась до мостовой. А вдруг он сумеет взобраться по ней и проникнуть в дом! Но труба была расшатана, испорчена и еле держалась на стене. Кроме того, все окна безмолвного этого жилья, даже и слуховые, были забраны толстой железной решеткой. Вдобавок луна ярко освещала весь фасад, и человек, наблюдавший с другого конца улицы, увидел бы поднимавшегося по стене Жана Вальжана. И как быть с Козеттой? Как поднять ее на высоту трехэтажного здания?

Он отказался от намерения карабкаться вверх по водосточной трубе и двинулся вдоль стены, чтобы вернуться на улицу Полонсо.

Достигнув срезанного угла квартала, где сидела Козетта, он обнаружил, что здесь его никто не сможет заметить. Здесь, как мы уже говорили, он был недоступен ничьему взгляду, откуда бы ни велось наблюдение. К тому же он находился в тени. И, наконец, перед ним было двое ворот. Может быть, удастся их взломать? Стена, над которой виднелись липа и стебли плюща, была, несомненно, стеной сада, где, хотя деревья еще не покрылись листвой, он может по крайней

мере спрятаться и провести там остаток ночи.

Время шло. Медлить было опасно.

Он быстро ощупал ворота и тут же обнаружил, что они забиты как снаружи, так и изнутри.

С большей надеждой на успех он подошел к другим, громадным воротам. Они были ужасающе ветхи, а их непомерная величина делала их даже менее крепкими; доски в них сгнили; железные полосы – их было всего три – заржавели. Ему показалось возможным прошибить эту источенную червями преграду.

Осмотрев их повнимательней, он обнаружил, что это не были ворота. На них не видно было ни петель, ни петельных крюков, ни замка, ни щели посередине. Соединенные друг с другом железные полосы пересекали их от края до края. Сквозь щели досок он разглядел грубо скрепленные цементом кирпичи и камни, которые прохожий мог заметить там еще десять лет назад. Потрясенный, он вынужден был признать, что это подобие двери – не что иное, как деревянная обшивка какого-то строения. Отодрать доску было нетрудно, но он оказался бы лицом к лицу со стеной.

Глава 5

Что было бы немыслимо при газовом освещении

В эту минуту до него донесся отдаленный глухой и мерный шум. Жан Вальжан отважился осторожно выглянуть из-за угла. Взвод солдат из семи-восьми человек выходил на улицу Полонсо. Он видел, как сверкали их штыки. Все это надвигалось на него.

Солдаты, во главе которых он различал высокую фигуру Жавера, приближались медленно, с опаской. Они часто останавливались. Очевидно, они обыскивали все углубления в стенах, все пролеты дверей и проходные аллеи.

По безошибочному предположению Жана Вальжана, это был какой-то ночной патруль, встреченный Жавером и взятый им себе в помощь.

Среди солдат были также два помощника Жавера.

Чтобы таким медленным шагом, то и дело останавливаясь, дойти до места, где находился Жан Вальжан, им требовалось около четверти часа. То было ужасное мгновение! Лишь несколько минут отделяли Жана Вальжана от страшной пропасти, которая в третий раз разверзалась перед ним. Но теперь каторга означала для него не только каторгу, но и утрату навек Козетты, – иначе говоря, жизнь, подобную пребыванию в могиле.

У него оставалась лишь одна возможность.

Особенностью Жана Вальжана было то, что он всегда имел при себе, если можно так выразиться, две суммы: в одной из них заключались мысли святого, в другой – опасные таланты каторжника. Он пользовался то одной, то другой, смотря по обстоятельствам.

Вследствие своих многократных побегов с тулонской каторги он, как припомнит читатель, был также и непревзойденным мастером взбираться без лестницы, без крючьев, при помощи только мускульной силы, упираясь затылком, плечами, бедрами и коленями в сходящиеся под прямым углом отвесные стены, в случае нужды, – даже до высоты шестого этажа, только изредка пользуясь выступающими в них камнями. Это было то же искусство, что стяжало столь страшную и громкую славу тому уголку двора Консьержери в Париже, откуда двадцать лет тому назад бежал приговоренный к смертной казни Батмоль.

Жан Вальжан измерил глазами стену, над которой виднелась липа. В ней было приблизительно восемнадцать футов высоты. Угол, образуемый этой стеной и боковым фасадом большого здания, был заполнен массивной каменной кладкой в форме треугольника, вероятно, с целью уберечь этот уголок, весьма удобный для тех останавливающихся за нуждой двуногих,

которые зовутся прохожими. Такая предусмотрительная закладка углов в стенах очень распространена в Париже.

Эта каменная кладка была около пяти футов высоты, а в том расстоянии, которое надо было преодолеть от его верхушки до гребня стены, – не более четырнадцати футов.

Стена заканчивалась гладким камнем, без карниза.

Но как быть с Козеттой? Ведь Козетта не умела взбираться на стены. Бросить ее? Но это даже и в голову не приходило Жану Вальжану. Тащить ее на себе было невозможно. Чтобы успешно совершить это удивительное восхождение, человеку нужна вся его сила. Малейший груз, нарушив равновесие, вызвал бы его падение.

Необходима была веревка. У Жана Вальжана ее не оказалось. Где же достать веревку в полночь, на улице Полонсо? Владей Жан Вальжан в этот миг королевством, несомненно, он отдал бы его за веревку.

Крайним жизненным обстоятельствам свойственно озарять все кругом, словно вспышкой молнии, которая нас то ослепляет, то просветляет.

Отчаявшийся взор Жана Вальжана упал на столб уличного фонаря, стоявшего в тупике Жанро.

В ту пору газовых рожков на улицах Парижа не было. При наступлении темноты зажигали уличные фонари, находившиеся на определенном расстоянии друг от друга. Их поднимали и опускали при помощи веревки, пересекавшей улицу из конца в конец и закрепленной в выемке прибитой к столбу перекладки. Катушка, на которую наматывалась эта веревка, была прикреплена под фонарем и находилась в маленьком железном шкафчике, ключ от которого хранился у фонарщика. Сама же веревка помещалась в металлическом футляре.

Нечеловеческим напряжением сил, одним прыжком, Жан Вальжан оказался в тупике, открыл острием ножа замок маленького шкафа и мгновение спустя вернулся к Козетте. В руках у него была веревка. В борьбе с роком они действуют стремительно, эти мрачные изобретатели отчаянных средств.

Мы уже говорили, что в эту ночь уличных фонарей не зажигали. Таким образом, фонарь в тупике Жанро тоже не горел, и можно было пройти мимо, даже не заметив, что он висел ниже обычного.

А между тем поздний час, безлюдие, темнота, озабоченный вид Жана Вальжана, его исчезновения и возвращения, его странное поведение – все это начинало беспокоить Козетту. Другой ребенок на ее месте уже давно бы громко плакал. Она же ограничилась только тем, что дернула Жана Вальжана за полу его редингота. Шаги приближающегося патруля раздавались все отчетливее.

– Отец, мне страшно! – сказала она тихонько. – Кто это там идет?

– Тише! – ответил несчастный. – Это Тенардье.

Козетта задрожала. Он добавил:

– Молчи. Не мешай мне. Если ты будешь кричать, если будешь плакать, помни: Тенардье за тобой следит, она придет и заберет тебя.

Затем, не торопясь, но и не теряя времени, уверенными и точными движениями – это было тем более удивительно, что с минуты на минуту мог появиться патруль во главе с Жавером, – он снял свой шейный платок, обернул его вокруг тела Козетты под мышками, стараясь, чтобы он не причинил ей боли, привязал к платку морским узлом один конец веревки, взял в зубы другой, разулся, перебросил чулки и башмаки через стену, влез на каменный треугольник в углу между стеной и боковым фасадом дома и так уверенно и ловко начал взбираться, словно под его ногами были ступеньки, а под рукой – перила. Не более как через полминуты он уже стоял на коленях на самом верху стены.

Козетта с изумлением глядела на него, не произнося ни слова. Просьба Жана Вальжана и имя Тенардьё ввергли ее в какое-то оцепенение.

Вдруг она услышала, как Жан Вальжан тихонько окликнул ее:

– Прислонись к стене!

Она повиновалась.

– Не говори ни слова и не бойся, – продолжал Жан Вальжан.

И она почувствовала, что ее поднимают.

Прежде чем она успела опомниться, она уже была на стене.

Жан Вальжан схватил Козетту, посадил ее к себе на спину, взял обе ее маленькие ручки в свою левую руку, затем лег плашмя и ползком добрался до срезанного угла стены. Как он и предполагал, там действительно было строение, крыша которого, начинаясь от верха деревянных ворот, довольно отлого спускалась почти до самой земли, слегка задевая липу.

Это оказалось удачным совпадением, ибо стена была с этой стороны значительно выше, чем со стороны улицы. Жан Вальжан видел землю глубоко внизу под собой.

Едва успел он достичь наклонной плоскости крыши, едва собрался сойти с гребня стены, как сильнейший шум возвестил о приближении патруля. Раздался громовый голос Жавера:

– Обыщите тупик! За улицей Прямой стены следят, за переулком Пикпюс тоже. Ручаюсь, что он в тупике!

Солдаты ринулись к тупику Жанро.

Жан Вальжан, поддерживая Козетту, скользнул вдоль крыши, добрался до липы и спрыгнул на землю. Страх ли был тому причиной, или присутствие духа, но Козетта не издала ни звука. Руки ее были слегка оцарапаны.

Глава 6

Начало загадки

Жан Вальжан очутился в каком-то очень большом и странном саду – в одном из тех унылых садов, которые кажутся созданными для того, чтобы глядеть на них только зимой и ночью. Сад был продолговатой формы, в глубине его находилась тополевая аллея, по углам – купы высоких старых деревьев, а посередине – открытая полянка, на которой можно было различить огромное одиноко стоящее дерево, несколько кривых и взъерошенных плодовых деревьев, похожих на высокий кустарник, грядки овощей, парник для дынь с блестящими в лунном свете стеклянными колпаками и заброшенный сточный колодец. Там и сям стояли каменные скамьи, казавшиеся черными от покрывавшего их мха. Низкие темные прямые кусты окаймляли дорожки. Часть дорожек заросла травой, другие – покрылись зеленой плесенью.

Рядом с Жаном Вальжаном было строение, крыша которого послужила ему спуском, куча хворосту, и за нею, возле самой стены, каменная статуя – ее изувеченное лицо казалось лишь смутно белевшей во мраке бесформенной маской.

Это строение представляло собой какие-то развалины, где можно было различить разрушенные комнаты, одна из которых, загроможденная хламом, служила, видимо, сараем. Большое здание, выходившее на улицу Прямой стены и в переулок Пикпюс, обращено было двумя своими внутренними фасадами, стоявшими под прямым углом, в сад. Эти внутренние фасады выглядели еще мрачнее, чем главный. Все окна были зарешечены, нигде ни одного огонька. В верхних этажах над ними выступали навесы, как в тюрьмах. Одно крыло здания отбрасывало на другое свою тень, стлавшуюся по саду, словно огромное черное покрывало.

Других домов не было видно. Глубь сада уходила в туман и мрак. Однако можно было смутно разглядеть какие-то стены, скрещивавшиеся друг с другом, как будто за ними

находились другие участки обработанной земли, и низкие крыши домов на улице Полонсо.

Трудно было вообразить себе что-нибудь более дикое и пустынное, чем этот сад. В нем не было ни души, что естественно для такого позднего времени, но, видимо, это место даже и днем не предназначалось для прогулок.

Первой заботой Жана Вальжана было отыскать свои башмаки и надеть их, а затем войти с Козеттой в сарай. Беглец никогда не бывает уверен, что он надежно укрыт. Девочка, все еще продолжавшая думать о тетке Тенардье, разделяла его желание спрятаться как можно лучше.

Козетта дрожала и прижималась к Жану Вальжану. Слышен был беспорядочный шум, который производил патруль, обшаривая тупик и улицу, стук прикладов о камни мостовой, оклики Жавера, обращенные к полицейским агентам, расставленным на посты, его проклятия вперемежку со словами, разобрать которые было трудно.

Через четверть часа этот похожий на громовые раскаты грохот стал понемногу стихать. Жан Вальжан затаил дыхание.

И тихонько закрыл рукой рот Козетте.

Впрочем, уединенное место, где находились они, дышало таким необычайным спокойствием, что даже этот ужасающий шум, такой неистовый и близкий, не мог его встревожить. Казалось, что стены здесь сложены из тех глухих камней, о которых говорит Священное писание.

Вдруг среди этой глубокой тишины возникли иные звуки. Звуки дивные, божественные, невыразимые, настолько же сладостные, насколько прежние были ужасны. Это был гимн, лившийся из мрака, ослепительный свет молитвы и гармонии: в черном и устрашающем безмолвии ночи пели женские голоса, звучавшие девственной чистотой и детской наивностью, – те неземные голоса, которые еще слышит новорожденный и уже различает умирающий. Пение доносилось из мрачного здания, возвышавшегося над деревьями сада. По мере того как удалялся оглушительный шум скопища демонов, казалось, хор ангелов приближался в темноте.

Козетта и Жан Вальжан упали на колени.

Они не понимали, что происходит, не знали, где они, но оба, мужчина и ребенок, кающийся и невинная, чувствовали, что надо склониться ниц.

В этих голосах было что-то странное: невзирая на них, здание продолжало казаться безлюдным. Словно то было нездешнее пение в необитаемом жилище.

Пока пели эти голоса, Жан Вальжан ни о чем не думал. Он видел уже не темную ночь: он видел голубой небосвод. Ему казалось, что душа его расправляет крылья – те крылья, которые чувствует в себе каждый из нас.

Пение умолкло. Быть может, оно длилось долго. Этого Жан Вальжан сказать не мог. Часы экстаза пролетают как мгновение.

Все снова погрузилось в тишину. Ни звука на улице, ни звука в саду. Что угрожало, что ободряло – все исчезло. Только с гребня стены доносился тихий, унылый шелест сухих травинок, колеблемых ветром.

Глава 7

Продолжение загадки

Дул прохладный ночной ветер – значит, было около двух часов ночи. Бедняжка Козетта молчала. Она сидела возле Жана Вальжана, прислонившись к нему головкой, и он решил, что она уснула. Он наклонился и взглянул на нее. Глаза Козетты были широко раскрыты, и их сосредоточенное выражение встревожило Жана Вальжана.

Она вся дрожала.

– Тебе хочется спать? – спросил он.

– Мне очень холодно, – ответила девочка.

Спустя мгновение она спросила:

– А она все еще здесь?

– Кто? – спросил Жан Вальжан.

– Госпожа Тенардье.

Жан Вальжан уже забыл о средстве, к которому прибегнул, чтобы заставить Козетту молчать.

– А, вот оно что! Она уже давно ушла, – ответил он. – Не бойся ничего.

Ребенок облегченно вздохнул, словно с души его спала тяжесть.

Земля была влажная, сарай открыт со всех сторон, ветер с каждой минутой свежел. Старик снял свой редингот и укутал им Козетту.

– Теперь тебе теплее? – спросил он.

– О да, отец!

– Хорошо, подожди меня минутку. Я сейчас вернусь.

Выйдя из сарая, он пошел вдоль большого здания, отыскивая лучшее пристанище. Ему попадались двери, но они были заперты. На всех окнах первого этажа были решетки.

Миновав внутренний угол здания, он подошел к овальным окнам, в которых виднелся слабый свет. Он встал на цыпочки и заглянул в одно из окон. Все они выходили из довольно обширного, вымощенного широкими плитами и разделенного арками и колоннами зала, где ничего нельзя было различить, кроме тусклого огонька и длинных теней. Свет лился из ночника, горевшего в углу. Зал этот был пуст, все в нем было недвижимо. Однако, всмотревшись, он заметил на полу что-то, казалось, покрытое саваном и походившее на человеческую фигуру. Это существо лежало ничком, прижавшись лицом к каменным плитам, крестообразно раскинув руки, не шевелясь, словно в смертном покое. Возле него на полу тянулось что-то похожее на змею, и можно было подумать, что шею этой зловещей фигуры обвивала веревка.

Весь зал тонул в густом тумане, как бывает в больших, едва освещенных помещениях, и это придавало всему еще более жуткий характер.

Жан Вальжан часто говорил впоследствии, что хотя он в своей жизни бывал свидетелем множества мрачных зрелищ, однако ничего более ужасного и леденящего душу, чем эта неожиданно возникшая перед ним загадочная фигура, выполнявшая какой-то таинственный ночной обряд в этом неведомом месте, он не видал. Страшно было подумать, что это мертвец, но еще страшнее вообразить себе, что это был живой человек.

У него хватило присутствия духа, прильнув к оконному стеклу, поглядеть, не шевельнется ли это существо. Напрасно ожидал он некоторое время, показавшееся ему очень долгим: распростертая на полу фигура хранила неподвижность. Внезапно его охватил невыразимый ужас, и он пустился бежать. Он мчался по направлению к сараю, не смея оглянуться. Ему казалось, что если он обернется, то увидит, как за ним, размахивая руками, поспевает это существо.

Задыхаясь, он добежал до развалин. Колени его подгибались; он обливался потом.

Где он находился? Кто мог бы вообразить, что нечто подобное этой усыпальнице существует в самом центре Парижа? Что это за странный дом? Что это за здание, полное ночных тайн, – здание, которое ангельскими голосами созывает души во мраке, а когда те идут на призыв, вдруг показывает им это страшное видение? Оно обещало открыть им сияющие врата рая, а открывало отвратительные двери склепа! Тем не менее это было настоящее здание, настоящий дом, имевший свой номер по улице. Это не был сон. Чтобы поверить этому, Жан

Вальжан должен был прикоснуться руками к камням развалин.

Холод, волнение, тревога, переживания вечера – все это вызвало у него настоящую лихорадку, мысли его путались.

Он подошел к Козетте. Она спала.

Глава 8

Загадка усложняется

Ребенок уснул, положив голову на камень.

Жан Вальжан сел подле и начал смотреть на девочку. Глядя на нее, он постепенно успокаивался и обретал обычную гибкость мысли.

Он ясно осознавал истину, которая отныне легла в основу его жизни: до тех пор пока Козетта с ним, ничего ему не будет нужно для себя, а только для нее; ничто не вызовет в нем страха за себя, а только за нее. Он даже не ощущал, что продрог, хотя сбросил свой редингот, чтобы прикрыть ее.

Однако среди овладевшего им раздумья его слух поразил какой-то странный шум. Будто где-то звенел колокольчик. Звук доносился из сада и хотя был негромким, но слышался явственно. Он напоминал бессвязную ночную песенку бубенчиков, которые подвешивают скоту на пастбищах.

Звук этот заставил Жана Вальжана обернуться.

Вглядевшись в темноту, он заметил, что в саду кто-то есть.

Существо, похожее на человека, двигалось между стеклянными колпаками дынных грядок и то наклонялось, то вставало, то останавливалось, делая равномерные движения, словно тащило что-то или расстилало по земле. Казалось, что существо это хромает.

Жан Вальжан вздрогнул; его охватил привычный для всех гонимых трепет страха. Им все враждебно, все внушает подозрение. Дневного света они боятся потому, что он может их выдать, а ночной темноты – потому, что она помогает застичь их врасплох. Только что его пугала пустынность сада, а сейчас – то, что в саду кто-то есть.

От ужасов призрачных Жан Вальжан перешел к ужасам реальным. Он говорил себе: «Может быть, Жавер и полицейские агенты не ушли отсюда; наверное, они оставили на улице засаду; если человек в саду обнаружит мое присутствие, то закричит и тем выдаст меня». Тихонько поднял он на руки уснувшую Козетту и отнес ее в самый дальний угол сарая, положив за грудой старой, ненужной мебели. Козетта не шевельнулась.

Он начал наблюдать оттуда за поведением человека, ходившего среди дынных гряд. Странно было то, что бубенчик звенел при каждом его движении. Когда человек приближался, то приближался и звон, когда он удалялся, то и звон удалялся; когда он делал какое-нибудь резкое движение, его сопровождало тремоло бубенчика; когда он останавливался, звук затихал. По-видимому, бубенчик был привязан к этому человеку; но что же это могло означать? Кем мог быть этот человек, которому подвесили колокольчик, словно быку или барану?

Задавая себе мысленно эти вопросы, Жан Вальжан тронул руки Козетты. Они были как лед. – О боже! – пробормотал он и тихо позвал ее: – Козетта!

Она не открыла глаз.

Он сильно встряхнул ее.

Она не проснулась.

«Неужели она умерла?» – подумал он и встал, дрожа с головы до ног.

Самые мрачные мысли беспорядочно закружились в его голове. Бывают минуты, когда чудовищные предположения осаждают нас, точно сонмы фурий, и силой проникают во все

клеточки нашего мозга. Если вопрос касается тех, кого мы любим, то чувство тревоги за них рисует нам всякие ужасы. Жан Вальжан припомнил, что сон на открытом воздухе холодной ночью может быть смертельно опасным.

Козетта, бледная, неподвижная, лежала на земле у его ног.

Он прислушался к ее дыханию; она дышала, но так слабо, что ему показалось, будто дыхание ее вот-вот остановится.

Как согреть ее? Как разбудить? Только об этом он и думал. Обезумев, выбежал он из сарая.

Во что бы то ни стало, не позднее чем через пятнадцать минут Козетта должна быть у огня и в постели.

Глава 9

Человек с бубенчиком

Он пошел прямо к человеку, которого заметил в саду. Предварительно он вынул из жилетного кармана сверток с деньгами.

Человек стоял, наклонив голову, и не заметил его приближения. В мгновение ока Жан Вальжан оказался около него.

– Сто франков! – крикнул он, обратившись к нему.

Человек подскочил и уставился на него.

– Вы получите сто франков, только приютите меня на сегодняшнюю ночь!

Луна ярко освещала встревоженное лицо Жана Вальжана.

– Как! Это вы, дядюшка Мадлен? – воскликнул человек.

Это имя, произнесенное в этот ночной час, в этой незнакомой местности, этим незнакомым человеком, заставило Жана Вальжана отшатнуться.

Он был готов ко всему, но только не к этому. Перед ним стоял сгорбленный, хромой старик, одетый наподобие крестьянина. На левой ноге у него был кожаный наколенник, к которому был привешен довольно большой колокольчик. Так как лицо его находилось в тени, то разглядеть его было невозможно.

Между тем старик снял шапку и воскликнул, трепеща от волнения:

– Ах, боже мой! Как вы очутились здесь, дядюшка Мадлен? Господи Иисусе, как вы сюда вошли? Не упали ли вы с неба? Хотя ничего особенного в этом и не было бы; откуда же еще, как не с неба, попасть вам на землю? Но какой у вас вид! Вы без шейного платка, без шляпы, без сюртука. Ведь если не знать, кто вы, то можно испугаться. Без сюртука! Владыка небесный, неужто и святые нынче теряют рассудок? Но как же вы вошли сюда?

Вопросы так и сыпались. Старик болтал с деревенской словоохотливостью, в которой, однако, не было ничего угрожающего. Все это говорилось тоном, выражавшим одновременно изумление и детское простодушие.

– Кто вы и что это за дом? – спросил Жан Вальжан.

– Черт возьми! Вот так история! – воскликнул старик. – Да ведь я же тот самый, кого вы сюда определили, а этот дом – тот самый, в который вы меня определили. Как, вы разве не узнаете меня?

– Нет, – ответил Жан Вальжан. – Но вы-то каким образом меня знаете?

– Вы спасли мне жизнь, – ответил человек.

Он повернулся, и луна ярко осветила его профиль. Жан Вальжан узнал старика Фошлевана.

– Ах, это вы! Теперь я вас узнал.

– Слава богу! Наконец-то! – с упреком проговорил старик.

– А что вы здесь делаете? – спросил Жан Вальжан.

– Как что делаю? Прикрываю дыни, конечно.

И действительно, в ту минуту, когда Жан Вальжан обратился к старику Фошлевану, тот держал в руках конец рогожки, которой намеревался прикрыть дынную грядку. Он уже успел расстелить несколько таких рогожек за то время, пока находился в саду. Это занятие и заставляло его делать те странные движения, которые наблюдал Жан Вальжан, сидя в сарае.

Старик продолжал:

– Я сказал себе: «Луна светит ярко, значит, ударят заморозки. Наряжу-ка я мои дыни в теплое платье!» Да и вам, – добавил он, глядя на Жана Вальжана с добродушной улыбкой, – право, не мешало бы тоже одеться. Но как же вы здесь очутились?

Жан Вальжан, удостоверившись, что этот человек знает его, хотя и под фамилией Мадлен, говорил с ним уже с некоторой осторожностью. Он стал сам задавать ему множество вопросов. Как ни странно, роли, казалось, переменились. Спрашивал теперь он, непрощенный гость.

– А что это у вас висит за звонок?

– Этот-то? А для того, чтобы от меня убегали, – ответил Фошлеван.

– То есть как это, чтобы от вас убегали?

Старик Фошлеван подмигнул с загадочным видом.

– А вот так! В этом доме живут только женщины; много молодых девушек. Им сдается, что встретиться со мною опасно. Звоночек предупреждает их, что я иду. Когда я прихожу, они уходят.

– А что это за дом?

– Вот тебе и на! Вы сами хорошо знаете.

– Нет, не знаю.

– Но ведь это вы определили меня сюда садовником.

– Отвечайте мне так, будто я ничего не знаю.

– Ну, хорошо! Это монастырь Малый Пикпюс.

Жан Вальжан начал понемногу вспоминать. Случай, вернее, провидение неожиданно забросило его именно в этот монастырь квартала Сент-Антуан, куда два года тому назад старик Фошлеван, изувеченный придавившей его телегой, был по его рекомендации принят садовником.

– Монастырь Малый Пикпюс, – повторил он про себя.

– Ну, а все-таки как же это вам, черт возьми, удалось сюда попасть, дядюшка Мадлен? – снова спросил Фошлеван. – Пусть вы святой, вы все равно мужчина, а мужчин сюда не пускают.

– Но вы-то живете здесь?

– Только я один и живу.

– И все же мне надобно здесь остаться, – сказал Жан Вальжан.

– О господи! – вскричал Фошлеван.

Жан Вальжан подошел к старику и сказал ему серьезно:

– Дядюшка Фошлеван, я спас вам жизнь.

– Я первый вспомнил об этом, – заметил старик.

– Так вот. Вы можете сегодня сделать для меня то, что я когда-то сделал для вас.

Фошлеван схватил своими старыми, морщинистыми, дрожащими руками могучие руки Жана Вальжана и несколько мгновений не в силах был вымолвить ни слова. Наконец он проговорил:

– О! Это было бы милостью божьей, если бы я хоть чем-нибудь мог отплатить вам! Мне спасти вам жизнь! Располагайте мною, господин мэр!

Радостное изумление словно преобразило старика, его лицо засияло.

– Что я должен сделать? – спросил он.

– Я вам объясню. У вас есть комната?

– Я живу в отдельном домишке, вон там, за развалинами старого монастыря, в закоулке, где его никто не видит. В нем три комнаты.

Действительно, домишко этот был настолько хорошо скрыт за развалинами и настолько недоступен для взгляда, что Жан Вальжан даже не заметил его.

– Хорошо, – сказал он. – Теперь исполните мои две просьбы.

– Какие, господин мэр?

– Во-первых, никому ничего обо мне не рассказывайте. Во-вторых, не старайтесь узнать обо мне больше, чем знаете.

– Как вам угодно. Я знаю, что вы не можете сделать ничего нечестного и что вы всегда были божьим человеком. А к тому же вы сами меня определили сюда. Значит, это ваше дело. Я весь ваш.

– Решено! Теперь идите за мной. Мы пойдем за ребенком.

– А-а! Тут, оказывается, еще и ребенок? – пробормотал Фошлеван.

Он больше ничего не сказал и последовал за Жаном Вальжаном, как собака за своим хозяином.

Спустя полчаса Козетта, порозовевшая от жаркого огня, спала в постели старого садовника. Жан Вальжан надел свой шейный платок и редингот. Шляпа, переброшенная через стену, была найдена и подобрана. Пока Жан Вальжан облачался, Фошлеван снял свой наколенник с колокольчиком; повешенный на гвоздь, рядом с корзиной для носки земли, он украшал теперь стену. Мужчины отогревались, облокотясь на стол, на который Фошлеван положил кусок сыру, ситный хлеб и поставил бутылку вина и два стакана. Тронув Жана Вальжана за колено рукой, старик сказал:

– Ах, дядюшка Мадлен, вы сразу не узнали меня! Вы спасаете людям жизнь и забываете о них! Это нехорошо. А они помнят о вас. Вы – неблагодарный человек!

Глава 10, в которой рассказано, как Жавер сделал ложную стойку

События, закулисную, так сказать, сторону которых мы только что видели, произошли при самых простых обстоятельствах.

Когда Жан Вальжан, арестованный у смертного ложа Фантины, в ту же ночь скрылся из городской тюрьмы Монрейля-Приморского, полиция предположила, что бежавший каторжник должен был направиться в Париж. Париж – водоворот, в котором все теряется. Все исчезает в этом средоточии мира, как в глуби океана. Нет чащи, которая надежней укрывала бы человека, чем толпа. Это известно беглецам всякого вида. Они погружаются в Париж, словно в пучину; существуют пучины, спасающие жизнь. Полиции это тоже известно, и она ищет в Париже тех, кого потеряла в другом месте. Искала она там и бывшего мэра Монрейля-Приморского. Жавера вызвали в Париж, чтобы руководить розысками. Он действительно оказал большую помощь в поимке Жана Вальжана. Его усердие и сообразительность в этом деле были замечены господином Шабулье, секретарем префектуры при графе Англесе. Поэтому господин Шабулье, и прежде покровительствовавший Жаверу, теперь перевел полицейского надзирателя Монрейля-Приморского в парижскую префектуру. Там Жавер оказался человеком полезным в самых разнообразных отношениях и, мы должны это отметить, внушающим к себе уважение, хотя это последнее слово и кажется несколько неожиданным, когда речь идет о подобных услугах.

Он уже забыл о Жане Вальжане – ведь гончие, начав травлю нового волка, забывают о вчерашнем, – как вдруг, в декабре 1823 года, он заглянул в газету, хотя вообще не читал их; на этот раз Жавер, как монархист, пожелал узнать обо всех подробностях торжественного въезда принца-генералиссимуса в Байону. Когда он уже дочитывал интересовавшую его статью, в конце страницы одно имя привлекло его внимание – это было имя Жана Вальжана. В газете сообщалось, что каторжник Жан Вальжан умер; форма этого сообщения была настолько официальной, что Жавер не усомнился в его правдивости. Он только ограничился замечанием: «Вот уж где запирают накрепко». Затем он отбросил газету и больше о нем не думал.

Спустя некоторое время префектура Сены и Уазы прислала в парижскую полицейскую префектуру донесение о том, что в Монфермейле похищен ребенок, причем, по слухам, это сопровождалось странными обстоятельствами. Девочка семи или восьми лет, говорилось в донесении, доверенная матерью местному трактирщику, была похищена каким-то незнакомцем; имя девочки Козетта, и она является дочерью девицы Фантины, умершей неизвестно когда и в какой больнице. Донесение попало в руки Жавера и заставило его призадуматься.

Имя Фантины было ему хорошо знакомо. Он припомнил, что Жан Вальжан заставил его, Жавера, расхохотаться, попросив три дня отсрочки, чтобы поехать за ребенком этой девки. Он вспомнил также, что Жан Вальжан был арестован в Париже в тот момент, когда собирался сесть в дилижанс, отъезжавший в Монфермейль. Некоторые наблюдения, сделанные тогда, наводили даже на мысль, что он воспользовался этим дилижансом вторично и что еще накануне он совершил свою первую поездку в окрестности этой деревушки, ибо в самой деревушке его не видели. Что ему надо было в Монфермейле, никто не мог угадать. Теперь Жавер понял это. Там жила дочь Фантины. Жан Вальжан ездил за ней. И вот ребенок был похищен незнакомцем. Кто мог быть этот незнакомец? Жан Вальжан? Но Жан Вальжан умер. Никому не говоря ни слова, Жавер сел в омнибус, отъезжавший от гостиницы «Оловянное блюдо» в Дровяном тупике, и отправился в Монфермейль. Он надеялся найти там полное разъяснение этого дела, но нашел полную неизвестность.

В первые дни раздраженные Тенардье болтали о происшедшем. Исчезновение Жаворонка наделало в деревушке шуму. Сейчас же появились всевозможные версии их рассказа, превратившегося в конце концов в историю о похищении ребенка. Следствием этого и было донесение, полученное парижской префектурой. А между тем, когда первая досада улеглась, Тенардье благодаря своему удивительному инстинкту очень скоро понял, что не всегда полезно беспокоить господина прокурора его величества и что жалобы на «похищение ребенка» прежде всего направят на него самого и на множество темных его дел зоркое полицейское око. Свет – вот то, чего больше всего страшатся совы. И потом как объяснит он получение тысячи пятисот франков? Он круто изменил свое поведение, заткнул жене рот и притворялся удивленным, когда его спрашивали об «украденном ребенке». Что такое? Он ничего не понимает. Ну конечно, в первое время он жаловался, что у него так быстро «отняли» его дорогую крошку; он любил ее, и ему хотелось, чтобы она побыла у него еще денек-другой; но за ней приехал ее «дедушка», что вполне естественно. Он придумал дедушку, и это производило хорошее впечатление. Именно в таком виде и услышал эту историю приехавший в Монфермейль Жавер. «Дедушка» заслонил собою Жана Вальжана.

Однако Жавер некоторыми вопросами, словно зондом, проверил рассказ Тенардье. «Кто был этот дедушка и как его звали?» Тенардье простодушно отвечал: «Это богатый земледелец. А имя его, кажется, Гильом Ламбер. Я видел его паспорт».

Ламбер – имя добропорядочное и вполне внушающее доверие. Жавер возвратился в Париж. «Этот Жан Вальжан действительно умер, а я простофиля», – сказал он себе.

Он стал уже забывать обо всей этой истории, как вдруг, в марте 1824 года, до него дошел слух о какой-то проживающей в квартале Сен-Медар странной личности, которую окрестили «нищий, что подает милостыню». Болтали, будто эта личность – богатый рантье; имени его никто в точности не знал; жил он вдвоем с восьмилетней девочкой, которая только и помнит, что она из Монфермейля. Опять Монфермейль! Это слово заставило Жавера насторожиться. Бывший псаломщик, а сейчас полицейский шпион под личиной нищего, которому этот человек подавал милостыню, добавил и несколько других подробностей. «Этот рантье нелюдим, выходит на улицу только по вечерам, ни с кем не разговаривает, разве только с бедными, ни с кем дела не имеет. На нем ужасный старый желтый редингот стоимостью в несколько миллионов, так как он весь подбит банковыми билетами». Последнее особенно подстрекнуло любопытство Жавера. Чтобы увидеть вблизи этого фантастического рантье и вместе с тем чтобы не вспугнуть его, он занял однажды у псаломщика его лохмотья и устроился на том месте, где старый шпион, сидя каждый вечер на корточках и гнусая свои псалмы, следил за прохожими.

«Подозрительная личность» действительно подошла к переодетому таким образом Жаверу и протянула ему подаяние. В эту минуту Жавер поднял голову и вздрогнул, думая, что узнал Жана Вальжана, так же как вздрогнул Жан Вальжан, когда предположил, что узнал Жавера.

Но он мог ошибиться в темноте; ведь о смерти Жана Вальжана было объявлено официально; у Жавера все еще оставались серьезные сомнения, а в таких случаях, будучи человеком щепетильным, Жавер никогда никого не задерживал.

Он последовал за стариком до лачуги Горбо, где без особого труда заставил разговориться старуху. Та подтвердила, что желтый редингот подбит миллионами, и рассказала ему о случае с билетом в тысячу франков. Она «сама его видела»! Она «сама его трогала»! Жавер снял комнату и в тот же вечер в ней водворился. Он подошел к двери таинственного жилья в надежде услышать звук его голоса, но Жан Вальжан, заметив сквозь замочную скважину огонек его свечи, не произнес ни слова, чем расстроил планы сыщика.

На следующий день Жан Вальжан решил переехать. Звук падения оброненной им пятифранковой монеты привлек внимание старухи, которая, услышав звон денег, подумала, что жилец собирается съезжать с квартиры, и поспешила предупредить об этом Жавера. Ночью, когда Жан Вальжан вышел, Жавер поджидал его, спрятавшись со своими двумя помощниками за деревьями на бульваре.

Жавер попросил в префектуре дать ему в помощь людей, но не назвал имени того, кого надеялся изловить. Это была его тайна, и он не хотел открывать ее по трем причинам: во-первых, малейшее неосторожное слово могло возбудить подозрение Жана Вальжана; во-вторых, наложить руку на старого беглого каторжника, считающегося умершим, на преступника, который в полицейских записях числился в рубрике *самых опасных злодеев*, было таким блестящим делом, которое старые ищейки парижской полиции, безусловно, не уступили бы новичку, и Жавер боялся, что у него отнимут его каторжника; наконец, артист своего дела, Жавер любил неожиданность. Он ненавидел заранее возвещенные удачи, которые утрачивают благодаря разговорам о них всю свежесть и новизну. Он предпочитал обрабатывать свои коронные дела в тиши, чтобы затем внезапно объявлять о них.

Жавер следовал за Жаном Вальжаном от дерева к дереву, а далее от угла одной улицы до угла другой, ни на минуту не теряя его из виду. Даже тогда, когда Жан Вальжан считал себя в полной безопасности, Жавер не спускал с него глаз.

Почему же он не арестовал Жана Вальжана? Потому что он все еще сомневался.

Не следует забывать, что как раз в ту эпоху полиция не чувствовала себя независимой в своих действиях: ее стесняла свободная печать. Несколько самовольных арестов, о которых было напечатано в газетах, наделали шуму, дойдя до сведения палат и внушив робость

префектуре. Посягнуть на свободу личности считалось делом серьезным. Полицейские боялись ошибиться; префект возлагал всю вину на них; промах вел за собой отставку. Можно вообразить себе, какое впечатление произвела бы в Париже следующая коротенькая заметка, перепечатанная двадцатью газетами: «Вчера гулявший со своей восьмилетней внучкой седовласый старец, почтенный рантье, был арестован как беглый каторжник и препровожден в арестный дом»!

Кроме того, повторяем, Жавер и сам отличался большой щепетильностью; требования его совести вполне совпадали с требованиями префекта. Он действительно сомневался.

Жан Вальжан шел в темноте, повернувшись к нему спиной.

Печаль, беспокойство, тревога, усталость, это несчастье, это новое вынужденное бегство ночью и поиски в Париже случайного убежища для себя и Козетты, необходимость принаравливать свои шаги к шагам ребенка незаметно для него самого настолько изменили походку Жана Вальжана и придали ему такой старческий вид, что даже полиция, в лице Жавера, могла ошибиться и ошиблась. Невозможность подойти поближе, одежда старого эмигранта-наставника, заявление Тенардье, превратившее Жана Вальжана в дедушку, наконец уверенность в смерти его на каторге – все вместе усиливало нерешительность Жавера.

На мгновение у него возникла мысль потребовать, чтобы старик немедленно предъявил документ. Но если этот человек не Жан Вальжан и не старый почтенный рантье, то это, вероятно, был один из молодцов, глубоко и искусно впутанных в темный заговор парижских преступлений, один из главарей опасной шайки, творящий милостыню, чтобы заслонить этим другие свои таланты, – старый, испытанный прием. Конечно, у него есть сообщники, соучастники преступления, есть запасные квартиры, где он намеревался скрыться. Все петли, которые он делал по улицам, доказывали, что это не простой старик. Задержать его слишком поспешно – значило бы «зарезать курицу, несущую золотые яйца». Почему бы не повременить с этим? Жавер был совершенно уверен, что он от него не уйдет.

Итак, он шел несколько озадаченный, сотни раз спрашивая себя, кем же могла быть эта загадочная личность?

И лишь на улице Понтуаз, при ярком свете, вырывавшемся из кабачка, он узнал Жана Вальжана; ошибки быть не могло.

В этом мире есть два существа, испытывающие равный по силе глубокий внутренний трепет: это мать, нашедшая своего ребенка, и тигр, схвативший свою добычу. Жавер ощутил такой трепет.

Как только он уверился, что перед ним Жан Вальжан, опасный каторжник, он сразу подумал о том, что взял с собой всего лишь двух помощников, и послал за подкреплением к полицейскому приставу улицы Понтуаз. Прежде чем сорвать ветку терновника, надевают перчатки.

Это промедление и остановка в переулке Ролен для совещания со своими агентами чуть было не заставили Жавера потерять след. Однако он быстро сообразил, что Жан Вальжан постарается положить между собою и своими преследователями препятствие, реку. Он склонил голову и задумался, подобно ищейке, обнюхивающей землю, чтобы не сбиться с пути. С присущим ему непогрешимым инстинктом Жавер пошел прямо к Аустерлицкому мосту и спросил сборщика пошлины: «Видели вы мужчину с маленькой девочкой?» – «Да, я заставил его заплатить два су», – ответил сборщик. Этот ответ осветил положение. Жавер вступил на мост как раз в ту минуту, когда Жан Вальжан, держа Козетту за руку, переходил освещенное луной пространство. Увидев, что он направился в улицу Зеленая дорога, Жавер вспомнил о тупике Жанро, служившем там как бы ловушкой, вспомнил и о единственном выходе из улицы Прямой стены на улочку Пикпюс. Он, как выражаются охотники, «обложил зверя», поспешно,

обходным путем, послав одного из своих помощников стеречь этот выход. Он задержал направлявшийся в арсенал для смены караула патруль и заставил его следовать за собой. В подобной игре солдаты – козыри. Кроме того, есть правило: хочешь загнать кабана – будь опытным псовым охотником и имей побольше собак. Приняв все эти меры и зная, что Жан Вальжан зажат между тупиком справа, полицейским агентом слева, а сзади им самим, Жавером, он взял понюшку табаку.

И вот началась игра. Это был момент упоительной сатанинской радости; он позволил человеку идти впереди себя, зная, что тот уже в его власти, желая, насколько возможно, отдалить момент ареста и наслаждаясь сознанием, что этот с виду свободный человек на самом деле уже пойман. Он обволакивал его сладострастным взглядом паука, позволяющего мухе немного полетать, или кота, позволяющего мыши побегать. Когти и клешни ощущают чудовищную чувственную радость, порождаемую барахтаньем животного в мертвой их хватке. Какое наслаждение – душить!

Жавер ликовал! Петли его сети были надежны. Он был уверен в успехе; оставалось только сжать кулак.

Как бы ни был решителен и силен, как бы ни был охвачен отчаянием Жан Вальжан, Жаверу, при его свите, даже и самая мысль о сопротивлении беглеца казалась невозможной.

Он медленно подвигался вперед, обыскивая и обшаривая по пути все углы и закоулки улицы, словно карманы вора.

Когда же он достиг центра паутины, то мухи уже там не оказалось.

Легко представить его ярость.

Он расспросил своего дозорного, стерегшего улицы Прямой стены и Пикпюс. Тот, находясь безотлучно на своем посту, не видел, чтобы там проходил мужчина.

Случается иногда, что олень вот уже взят за рога – и вдруг его как не бывало; иными словами, он уходит, пусть даже вся свора собак повисла у него на боках. Тогда самые опытные охотники разводят руками. Даже Дювивье, Линьивиль и Депрез и те не знают, что сказать. В минуту подобной неудачи Артонж воскликнул: «Это не олень, а оборотень!»

Жавер охотно повторил бы этот возглас.

Его разочарование в эту минуту больше походило на отчаяние и бешенство.

Как Наполеон допустил ошибки в войне с Россией, Александр – в войне с Индией, Цезарь – в африканской войне, Кир – в скифской, так, несомненно, и Жавер допустил ошибки в этом походе против Жана Вальжана. Жавер, быть может, сделал промах, медля признать в нем бывшего каторжника. Ему следовало довериться своему первому впечатлению. Жавер сделал промах, не арестовав его прямо на месте, в лачуге Горбо. Он сделал промах, не арестовав его на улице Понтуаз, когда окончательно признал его. Он сделал промах, совещаясь на перекрестке Ролен со своими помощниками, стоя в ярком лунном свете. Конечно, обмен мнениями полезен, и не мешает знать и выпросить, что думают ищейки, заслуживающие доверия. Но охотник, преследующий таких беспокойных животных, как волк и каторжник, должен быть очень предусмотрительным. Жавер, слишком озабоченный тем, чтобы пустить гончих по правильному следу, испугнул зверя, дав ему учуять свору и скрыться. Основной же промах Жавера заключался в том, что, напав на Аустерлицком мосту на след Жана Вальжана, он повел эту ужасную и ребяческую игру, стараясь удержать такого человека, как Жан Вальжан, на кончике нити. Он мнил себя сильнее, чем был на самом деле, и решил, что может поиграть в кошки-мышки со львом. В то же время он думал, что недостаточно силен, когда счел необходимым взять себе подкрепление. Роковая предусмотрительность, повлекшая за собою потерю драгоценного времени. Хотя Жавер и совершил все эти ошибки, однако же он оставался одним из самых знающих и исполнительных сыщиков, когда-либо существовавших. Он в полном

смысле слова был тем, что на охотничьем языке называется «выжлец». Но кто же без греха?

И на великих стратегов находит затмение.

Подобно тому, как множество свитых вместе бечевки образуют канат, нередко огромная глупость является всего лишь суммой мелких глупостей. Разберите канат, бечеву за бечевой, возьмите в отдельности каждую из мельчайших решающих причин, приведших к большой глупости, и вы без труда справитесь со всеми.

«И только-то!» – скажете вы. Но скрутите, свейте их вместе – и тогда это страшная вещь. Это Аттила, который медлит в нерешительности между Марцианом на Востоке и Валентинианом на Западе; это Аннибал, который замешкался в Капуе; это Дантон, засыпающий в Арсисе-на-Обе.

Но как бы там ни было, когда Жавер увидел, что Жан Вальжан ускользнул от него, он не потерял головы. Полный уверенности, что бежавший от полицейского надзора каторжник не мог уйти далеко, он расставил стражу, устроил западни и засады и всю ночь рыскал по кварталу. Первое, что ему бросилось в глаза, это непорядок уличного фонаря, веревка которого была обрезана. Однако эта важная улика ввела его в заблуждение и заставила направить все розыски в сторону тупика Жанро. В этом тупике встречаются довольно низкие стены, выходящие в сады, которые прилегают к огромным неводеланным участкам земли. По-видимому, Жан Вальжан должен был бежать в этом направлении. Несомненно, если бы он проник поглубже в тупик Жанро, он, вероятно, так и сделал бы, и это было бы его гибелью. Жавер так тщательно обшарил эти сады и участки, словно искал иголку.

На рассвете он оставил двух сметливых людей на страже, а сам вернулся в префектуру, пристыженный, словно сыщик, пойманный вором.

Книга шестая

Малый Пикпюс

Глава 1

Улица Пикпюс, номер 62

Полвека назад ворота дома номер 62 по улице Малый Пикпюс ничем не отличались от любых ворот. За этими воротами, по обыкновению гостеприимно полуоткрытыми, не было ничего особенно печального: там виднелся двор, окруженный стенами, увитыми виноградом, да физиономия слонявшегося по двору привратника. Над стеной, в глубине, можно было заметить высокие деревья. Когда луч солнца оживлял двор, а стаканчик вина оживлял привратника, то трудно было пройти мимо дома номер 62 по улице Малый Пикпюс, не унося с собой представления о чем-то радостном. Однако место, промелькнувшее перед вашими глазами, – было мрачное место.

Порог улыбался; дом молился и стenal.

Если вам удавалось пройти мимо привратника – что было отнюдь не просто, а для всех даже почти невозможно, ибо существовало некое «Сезам, отворись!», которое следовало знать, – итак, если вам удавалось миновать привратника, то вы входили направо, в маленькие сени, откуда ведет наверх лестница, словно сдавленная между двумя стенами и такая узкая, что подниматься по ней мог только один человек; если эта лестница не отвращала вас своей канареечного цвета окраской и коричневым плинтусом, если вы отваживались подняться по ней, то, пройдя первую площадку, затем вторую, вы попадали в коридор второго этажа, где клеевая желтая краска и коричневый плинтус продолжали вас преследовать с каким-то спокойным ожесточением. Лестница и коридор освещались двумя великолепными окнами. Коридор делал поворот и становился темным. Если вы огибали этот мыс, то, пройдя несколько шагов, оказывались перед дверью, тем более таинственной, что она не была заперта. Толкнув ее, вы попадали в маленькую квадратную комнату размером около шести футов, с плиточным полом, вымытую, чистую, холодную, оклеенную светло-желтыми обоями с зелеными цветочками, по пятнадцати су за кусок. Бледный хмурый свет проникал слева, сквозь маленькие стекла большого решетчатого окна, занимавшего почти всю ширину стены. Вы оглядываетесь, но никого не видите; прислушиваетесь, но ни шороха шагов, ни звука человеческого голоса не слышите. Стены там голы, комната ничем не обставлена; даже стула, и того нет.

Вы снова оглядываетесь и замечаете в стене, напротив двери, четырехугольное отверстие приблизительно в квадратный фут, забранное железной решеткой из пересекающихся черных крепких узловатых прутьев, образующих мелкие квадраты, я даже сказал бы, почти петли, примерно дюйма полтора по диагонали. Маленькие зеленые цветочки светло-желтых обоев спокойно и ровно тянутся до этих железных прутьев, не пугаясь соседства и не удирая от него вихрем во все стороны. Если предположить, что нашлось бы живое существо такой удивительной худобы, которая позволила бы ему попытаться влезть и вылезть сквозь это квадратное отверстие, то решетка все равно помешала бы этому. Но если она служила преградой телу, то не препятствовала взгляду, иными словами, душе. Казалось, это было предусмотрено, ибо за решеткой, но не совсем вплотную к ней была вделана в стену жестяная пластинка, вся пробитая дырочками, более мелкими, чем в шумовке. Внизу в этой пластинке была прорезана щель, точь-в-точь как в почтовом ящике. Направо от зарешеченного отверстия висел проволочный шнур, прикрепленный к рычажку звонка.

Если за этот шнурок дергали, то звонил колокольчик, и тогда где-то совсем близко

раздавался голос, заставлявший вас вздрогнуть.

– Кто там? – спрашивал голос.

Это был нежный женский голос, такой нежный, что казался скорбным.

Но здесь необходимо было знать магическое слово. Если вы его не знали, то голос умолкал, и стена вновь погружалась в безмолвие, словно по другую ее сторону царила могильная, потревоженная вами на мгновение тьма.

Если же магическое слово вам было известно, то голос говорил:

– Войдите направо.

Тогда вы замечали направо от себя, против окна, стеклянную дверь, с застекленной верхней рамой, покрашенную в серый цвет. Вы нажимали дверную ручку, переступали порог и испытывали точно такое же впечатление, как если бы вошли в ложу бенуара, когда решетка еще не опущена, а люстра не зажжена. Действительно, вы как будто попадали в узкую театральную ложу, еле освещенную скудным светом, льющим сквозь стеклянную дверь, с двумя старыми стульями и растрепанной циновкой, – в настоящую ложу с высоким, по грудь, барьером, кончавшимся сверху пластинкой черного дерева. Эта ложа была забрана решеткой; только не деревянной позолоченной решеткой, как в Опере, а безобразной решетчатой рамой из железных брусьев, отвратительно перепутанных и прикрепленных к стене огромными скрепами, похожими на сжатые кулаки.

Спустя несколько мгновений, когда вы начинали привыкать к этому полумраку подвала, вы пытались проникнуть взглядом за решетку. Но не дальше как в шести дюймах за нею пред вами вставала преграда из черных ставен, связанных и укрепленных деревянными перекладинами желтовато-коричневого цвета. То были складные ставни, разделенные на длинные тонкие полосы, прикрывавшие всю решетку целиком. Они всегда бывали закрыты.

Через несколько минут за этими ставнями раздавался голос, который окликал вас и говорил:

– Я здесь. Что вам угодно?

Это был голос той, которую вы любили, а порою той, которую вы обожали. Но вы никого не видели. Слышно было лишь едва уловимое дыхание. Казалось, вам вещает дух, заклинаниями вызванный из могилы.

При благоприятных для вас условиях, что случалось очень редко, одна из узких полос какой-нибудь ставни приоткрывалась, и дух воплощался в видение. За решеткой, за ставнями, вы различали, насколько это допускала решетка, чью-то голову, вернее, рот и подбородок; все остальное было скрыто черным покрывалом. Вы видели черный апостольник и смутные очертания фигуры, закутанной в черный саван. Эта голова говорила с вами, но никогда не смотрела на вас, никогда не улыбалась вам.

Падающий из-за вашей спины свет был рассчитан на то, чтобы вы видели эту фигуру светлой, а она вас темным. Это освещение было символическим.

Тем временем ваш взор жадно силится проникнуть сквозь отверстие, приоткрывшееся в этом месте, недоступном для взгляда. Плотная мгла окутывает фигуру в трауре. Ваши глаза ищут в этой мгле, стараясь разглядеть, что окружает это видение. Но вскоре вы обнаруживаете, что разглядеть ничего нельзя. То, что вы видите, – ночь, пустота, тьма, зимний туман, смешанный с могильными испарениями; вокруг жуткий покой, тишина, в которой ничего не уловить, даже вдоха, мрака, в котором ничего не различить, даже призрака.

То, что вы видите, – внутренность монастыря.

Это внутренность угрюмого и сурового дома, именуемого монастырем бернардинок Неустанного поклонения. Эта ложа, в которой вы находитесь, – приемная. Голос, первый, который вы здесь слышали, – голос дежурной послушницы, всегда неподвижно сидящей за

стеной, возле квадратного отверстия, и защищенной, словно двойным забралом, железной решеткой и жестяной пластинкой с тысячью отверстий.

Темнота, в которую погружена забранная решеткой ложа, объяснялась тем, что в приемной было окно, выходившее на свет божий, но ни одного окна внутрь монастыря. Взоры мирских людей не смели проникать в это священное место.

Однако по ту сторону этого мрака скрывалось нечто – скрывался свет; в этой смерти таилась жизнь. Хотя монастырь этот был самым замкнутым из всех, мы постараемся проникнуть в него, поможем проникнуть туда читателю и расскажем, не переступая границ дозволенного, о том, чего никогда ни один рассказчик не видал, а потому и не мог рассказать.

Глава 2

Устав Мартина Верга

Этот монастырь, существовавший задолго до 1824 года на улице Малый Пикпюс, был общиной бернардинок устава Мартина Верга.

Бернардинки эти, следовательно, принадлежали не к Клерво – как бернардинцы, но к Сито – как бенедиктинцы, иными словами, они были подчинены не святому Бернару, а святому Бенедикту.

Тот, кто когда-либо перелистывал фолианты, знает, что Мартин Верга основал в 1425 году конгрегацию бернардинок-бенедиктинок, главная церковь которой находилась в Саламанке, а подчиненная ей – в Алкале.

Эта конгрегация разветвилась по всем католическим странам Европы.

Подобное слияние одного ордена с другим не представляло ничего необычайного для латинской церкви. Только с одним орденом св. Бенедикта, о котором идет речь, связаны, не считая конгрегации устава Мартина Верга, еще четыре конгрегации: две в Италии – Монте-Кассини и св. Юстины Падуанской; две во Франции – Ключи и Сен-Мор, а также девять других орденов – Валомброза, Грамон, целестинцы, камальдульцы, картезианцы, смиренные, орден Масличной горы, орден св. Сильвестра и, наконец, Сито; ибо Сито, являвшийся для других орденом-стволом, представлял собою лишь отпрыск ордена св. Бенедикта. Основание Сито св. Робертом, аббатом Модемским в епархии Лангр, восходит к 1098 году. Однако св. Бенедикт, еще в 529 году, в возрасте семнадцати лет, изгнал дьявола, жившего в древнем Аполлоновом храме и удалившегося потом в пустыню Субиако (он был тогда стар; уж не пожелал ли он стать отшельником?).

После устава кармелиток, которые должны ходить босыми, носить нагрудники, сплетенные из ивовых прутьев, и никогда не садиться, самым суровым является устав бернардинок-бенедиктинок Мартина Верга. Они носят черную одежду и апостольник, который, согласно предписанию св. Бенедикта, доходит им до подбородка. Саржевое платье с широкими рукавами, широкое шерстяное покрывало, апостольник, доходящий до подбородка и срезанный четырехугольником на груди, головная повязка, спускающаяся до самых глаз, – вот их одежда. Все это черное, кроме белой головной повязки. Послушницы носят такую же одежду, но только белую. Принявшие монашеский обет, помимо того, носят на поясе четки.

Бернардинки-бенедиктинки Мартина Верга соблюдают «неустанное поклонение», так же как бенедиктинки, называемые сестрами Святого причастия, которым в начале этого столетия принадлежали в Париже два монастыря: один в Тампле, другой на Новой Сент-Женевьевской улице. Однако орден бернардинок-бенедиктинок Малого Пикпюса, о которых идет речь, был совершенно не похож на орден сестер Святого причастия, обосновавшихся на Новой Сент-Женевьевской улице и в Тампле. В их уставе было множество различий; различна была и

одежда. Бернардинки-бенедиктинки Малого Пикпюса носили черные апостольники, бенедиктинки Святого причастия и с Новой Сент-Женевьевской улицы – белые; кроме того, у них на груди висело серебряное или медное позолоченное изображение чаши со святыми дарами, приблизительно в три дюйма длиной. Монахини Малого Пикпюса этого изображения чаши со святыми дарами не носили. Общее для монастыря Малый Пикпюс и для монастыря Тампль неустанное поклонение отнюдь не мешает этим двум орденам быть совершенно отличными друг от друга. Только в соблюдении одного этого правила и заключалось сходство сестер Святого причастия и бернардинок Мартина Верга, подобно двум другим, резко отличающимся и порой даже враждующим, орденам: итальянской Оратории, основанной Филиппом де Нери во Флоренции, и французской Оратории, основанной Пьером де Берюлем в Париже, которые тем не менее сходны были в ревностном изучении и прославлении всех тайн, относящихся к детству, жизни и смерти Иисуса Христа, а также Святой Девы. Оратория парижская притязала на первенство, ибо Филипп де Нери был всего только святым, тогда как Пьер де Берюль был еще и кардиналом.

Вернемся к суровому испанскому уставу Мартина Верга.

Бернардинки-бенедиктинки этого устава едят весь год постное, воздерживаются вообще от пищи постом и в многие другие показанные им дни, встают, прерывая свой первый крепкий сон, чтобы между часом и тремя ночи читать требник и петь утреню. Весь год спят на грубых простынях и на соломе, никогда не топят печей, не моют свое тело, каждую пятницу подвергают себя бичеванию, соблюдают обет молчания, разговаривают между собой лишь во время короткого своего отдыха и в течение шести месяцев – от 14 сентября, дня Воздвиженья, и до Пасхи – носят рубашки из колючей шерстяной материи. Шесть месяцев – это послабление, по уставу их следует носить весь год; но эта шерстяная рубашка, невыносимая во время летней жары, вызывала лихорадку и нервные судороги. Потребовалось ограничить пользование ими. Но даже при этом послаблении, когда монахини 14 сентября вновь облачаются в эти рубашки, их все равно лихорадит дня три-четыре. Послушание, бедность, целомудрие, безвыходное пребывание в монастырских стенах – вот их обеты, отягченные к тому же уставом.

Настоятельница избирается сроком на три года монахинями, которые называются «матери-изборщицы», ибо они имеют в капитуле право решающего голоса. Настоятельница может быть избрана вновь только дважды; таким образом, самый долгий допустимый срок правления настоятельницы – девять лет.

Они никогда не видят священника, совершающего богослужение, так как он всегда закрыт от них саржевым занавесом девяти футов высотой. Во время проповеди, когда священнослужитель находится в часовне, они опускают на лицо покрывала. Они всегда должны говорить тихо, ходить, опустив глаза долу, с поникшей головой. Лишь один мужчина пользуется правом доступа в монастырь – это епархиальный архиепископ.

Впрочем, есть еще и другой – садовник; но это всегда старик; чтобы он всегда оставался в саду один, а монахини были предупреждены о его присутствии, дабы избежать с ним встречи, к его колену привязывают бубенчик.

Монахини подчинены настоятельнице, и подчинение их беспредельно и беспрекословно. Это каноническая духовная покорность во всем ее самоотречении. Они покоряются, словно голосу Христа, *ut voci Christi*, жесту, малейшему знаку, *ad nutum, ad primum signum*, немедленно, с радостью, с решимостью, со слепым послушанием, *prompte, hilariter, perseveranter et caeca quadam obedientia*, словно подпилоч в руке рабочего, *quasi limam in manibus fabri*, не имея права ни читать, ни писать чего бы то ни было без особого разрешения, *legere vel scribere non addiscerit sine expressa superioris licentia*.

Поочередно каждая из них совершает то, что называется *искуплением*. Искупление – это

молитва за все грехи, за все ошибки, за все провинности, за все насилия, за все несправедливости, за все преступления, совершаемые на земле. Последовательно, в продолжение двенадцати часов, от четырех часов пополудни и до четырех часов утра или от четырех часов утра до четырех часов пополудни, сестра-монахиня, совершающая «искупление», стоит на коленях на каменном полу перед святыми дарами, скрестив на груди руки, с веревкой на шее. Когда она уже больше не в силах преодолеть усталость, она ложится ничком, лицом к земле, крестообразно раскинув руки; вот все, чем может она себя облегчить. В таком положении она молится за всех грешников мира. В этом величие, почти божественное.

Так как обряд этот выполняется у столба, на верхушке которого горит свеча, то в монастыре так же часто говорится «совершать искупление», как и «стоять у столба». Монахини из смирения даже предпочитают последнюю формулу, заключающую в себе мысль о каре и унижении.

«Совершать искупление» является делом, поглощающим всю душу. Сестра, стоящая у столба, не обернется, даже если позади нее ударит молния.

Кроме того, перед святыми дарами постоянно находится другая коленопреклоненная монахиня. Стояние это длится час. Они сменяются, как солдаты на карауле. В этом-то и заключается неустанное поклонение.

Настоятельницы и матери носят почти всегда имена, отмечающие какое-нибудь исключительно важное событие из жизни Иисуса Христа, а не имена святых или мучениц, например: мать Рождество, мать Зачатие, мать Введение, мать Страсти господни. Впрочем, имена в честь святых не воспрещены.

Если смотришь на них, то видишь только их рот. У всех у них желтые зубы. Зубная щетка никогда в монастырь не проникала. Чистить зубы – это значит ступить на вершину той лестницы, у подножия которой начертано: погубить свою душу.

Они не говорят *моя* или *мой*. У них ничего нет своего, и они ничем не должны дорожить. Всякую вещь они называют *наша*, например: наше покрывало, наши четки; даже о своей рубашке они сказали бы «наша рубашка». Иногда они привыкают к какому-нибудь небольшому предмету, молитвеннику, реликвии, образку. Но как только они замечают, что начинают дорожить этим предметом, они тотчас же обязаны отдать его. Они вспоминают слова св. Терезы, которой некая знатная дама в момент своего пострижения сказала: «Позвольте мне, матушка, послать за святой Библией, которой я очень дорожу». – «А! У вас есть что-то, чем вы дорожите? Тогда не идите к нам».

Любой монахине воспрещается затворять свои двери, иметь *свой уголок, свою комнату*. Их кельи должны быть всегда открыты. Когда одна монахиня обращается к другой, то произносит: «Хвала и поклонение пресвятым дарам престола». А другая отвечает: «Во веки веков». То же самое повторяется, когда одна монахиня стучит в келью другой. Едва она прикоснется к двери, а уж из кельи кроткий голос поспешно отвечает: «Во веки веков!» Как всякий обряд, это, в силу привычки, делается машинально; и часто одна отвечает: «Во веки веков» – еще до того, как первая успела произнести: «Хвала и поклонение пресвятым дарам престола», что, впрочем, является довольно длинной фразой. У визитандинок входящая произносит: «Ave Maria» ^[52], а та, к кому входят, отвечает: «Gratiâ plena» ^[53]. Это их приветствие, которое действительно «исполнено прелести».

Каждый час в монастырской церкви слышатся еще три дополнительных удара колокола. По этому сигналу настоятельница, матери-изборщицы, сестры, принявшие монашеский обет, послушницы, служки, белицы прерывают свою речь, мысль, дела и все вместе одновременно произносят, если пробило, например, пять часов: «В пять часов и всякий час хвала и поклонение пресвятым дарам престола!» Если пробило восемь: «В восемь часов и всякий час» и т. д., смотря

по тому, который час отзвонил колокол.

Этот обычай, преследующий цель прервать мысль и неустанно направлять ее к богу, существует во многих общинах; видоизменяется лишь его форма. Так, например, в общине Младенца Иисуса говорят: «В этот час и всякий час да пламенеет в сердце моем любовь к Иисусу!»

Бенедиктинки-бернардинки Мартина Верга, затворницы Малого Пикпюса, вот уже пятьдесят лет совершают службу торжественным напевом, придерживаясь строгого церковного пения, и всегда полным голосом в продолжение всей службы. Повсюду, где в требнике стоит звездочка, они делают паузу и тихо произносят: «Иисус, Мария, Иосиф». Заупокойную службу они поют на таких низких нотах, какие едва доступны женскому голосу. Впечатление получается захватывающее и трагическое.

Монахини Малого Пикпюса устроили под главным алтарем церкви склеп, чтобы хоронить в нем сестер своей общины. Однако «правительство», как они говорят, не разрешило, чтобы туда опускали гробы. Таким образом, после смерти они покидали монастырь. Это огорчало и смущало их, как нарушение устава.

Они выхлопотали право, хоть и в слабое себе утешение, быть погребенными в особый час, в особом уголке старинного кладбища Вожирар, расположенного на земле, некогда принадлежавшей общине.

По четвергам эти монахини выстаивают позднюю обедню, вечерню и все церковные службы точно так же, как и в воскресенье. Кроме того, они тщательно соблюдают все малые праздники, о которых люди светские и понятия не имеют, установленные щедрой рукою церкви когда-то во Франции и до сих пор еще устанавливаемые ею в Испании и Италии. Часы стояния монахинь в часовне бесконечны. Что же касается количества и продолжительности их молитв, то лучшее представление о них дают наивные слова одной монахини: «Молитвы белиц тяжки, молитвы послушниц тяжелее, а молитвы принявших постриг еще тяжелее».

Один раз в неделю созывается капитул, где председательствует настоятельница и присутствуют матери-изборщицы. Каждая монахиня поочередно опускается перед ними на колени на каменный пол и кается вслух в тех провинностях и грехах, которые совершила в продолжение недели. После каждой исповеди матери-изборщицы совещаются и во всеуслышание налагают епитимью.

Кроме этой исповеди вслух, в которой перечисляются все сколько-нибудь серьезные грехи, существует так называемый *повин* для малых прегрешений. Повиниться – значит пасть ниц перед настоятельницей во время богослужения и оставаться в этом положении до тех пор, пока та, которую величают не иначе, как «матушка», не даст понять кающейся, постучав пальцем по церковной скамье, что та может встать. Несут повин по всевозможным пустякам: разбили стакан, разорвали покрывало, случайно опоздали на несколько секунд к богослужению, сфальшивили во время церковного пения и т. д. – этого достаточно, чтобы нести повин. Повин совершается добровольно; *повинница* (слово это здесь этимологически вполне оправданно) сама обвиняет себя и сама накладывает на себя наказание. В праздники и воскресные дни четыре матери-певчие поют псалмы перед большим налоем с четырьмя столешницами. Однажды какая-то мать-певчая при пении псалма, начинавшегося со слова Ессе ^[54], громко взяла вместо Ессе три ноты – ut, si, sol; за свою рассеянность она должна была нести повин в продолжение всей службы. Грех ее во много крат усугубило то, что весь капитул рассмеялся.

Когда какую-нибудь монахиню вызывают в приемную, то, будь это даже сама настоятельница, она, как мы уже упоминали, опускает покрывало так, что виден только ее рот.

Одна настоятельница имеет право общаться с посторонними. Все прочие могут видаться лишь с ближайшими родственниками, и то редко. Если изредка какой-либо посторонний

человек выражает желание повидать монахиню, которую знал или любил в миру, то приходится вести длительные переговоры. Если разрешения о свидании просит женщина, то его иногда дают; монахиня приходит, и с ней беседуют сквозь ставни, которые открываются лишь для матери или для сестры. Само собой разумеется, что мужчинам в подобной просьбе всегда отказывают.

Таков устав св. Бенедикта, еще более отягченный Мартином Верга.

Эти монахини не веселы, не свежи, не румяны, какими часто бывают монахини других орденов. Они бледны и суровы. Между 1825 и 1830 годом три из них сошли с ума.

Глава 3

Строгости

В этом монастыре надо по крайней мере два года, а иногда даже четыре, пробыть в белицах и четыре года послушницей. Очень редко кто принимает большой постриг ранее двадцати трех – двадцати четырех лет. Бернардинки-бенедиктинки из конгрегации Мартина Верга не допускают в свой орден вдов.

В своих кельях они разнообразными, неведомыми способами предаются умерщвлению плоти, о чем никогда не должны говорить.

В тот день, когда послушница принимает схиму, она облачается в свой лучший наряд, голову ей убирают белыми розами, помадят волосы, завивают их; затем она простирается ниц; на нее набрасывают большое черное покрывало и поют над ней отходную. После этого монахини разделяются на два ряда: один, проходя мимо нее, печально поет: «Наша сестра умерла», а другой отвечает ликующе: «Жива во Иисусе Христе!»

В описываемую нами эпоху при монастыре существовал закрытый пансион. Воспитанницы этого пансиона были в большинстве девушки благородного происхождения и почти все богатые; среди них находились девицы Сент-Олер, Белиссен и одна англичанка, носившая знатную католическую фамилию Тальбот. Этим молодым девушкам, воспитываемым монахинями в четырех стенах, прививалось отвращение к миру и к светским интересам. Одна из них как-то сказала нам: «При виде мостовой я содрогалась с головы до ног». Они носили голубые платья и белые чепчики, на груди у них приколото было изображение святого духа из золоченого серебра или меди. По большим праздникам, в особенности в день св. Марты, им разрешали в знак высокой милости величайшее счастье – облачаться в монашескую одежду и в продолжение целого дня выстаивать церковные службы и совершать обряды по уставу св. Бенедикта. Вначале монахини ссужали их своими черными рясами. Но это показалось нечестивым и было настоятельницей запрещено. Такое заимствование одеяния разрешали только послушницам. Интересно отметить, что исполнение роли монахинь, допускаемое и поощряемое в монастыре, несомненно, с тайной целью вербовать новообращенных и вызывать в этих детях некое влечение к монашеской жизни, доставляло воспитанницам настоящее удовольствие и душевный отдых. Они просто-напросто забавлялись. *Это было ново, это развлекало их.* Наивная детская забава бессильна, однако, убедить нас, мирян, в том, что держать в руках кропильницу и часами стоять перед налоем, самозабвенно распевая псалмы, – высочайшее блаженство.

Воспитанницы исполняли все монастырские правила, за исключением умерщвления плоти. Нередко молодые женщины по выходе из монастыря и будучи уже несколько лет замужем не могли отвыкнуть от того, чтобы не проговорить поспешно «Во веки веков!» всякий раз, когда постучатся к ним в дверь. Как и монахини, воспитанницы виделись с родными только в приемной. Даже матери и те не имели права целовать их. Вот образец подобной строгости. Как-то одну воспитанницу посетила ее мать в сопровождении трехлетней дочери. Воспитанница

плакала, ей очень хотелось обнять свою сестренку. Нельзя. Она умоляла позволить девочке хотя бы просунуть ручку сквозь прутья решетки, чтобы она могла ее поцеловать. Но и в этом ей было отказано, и почти с возмущением.

Глава 4

Веселье

И все же эти молодые девушки оставили множество очаровательных воспоминаний о себе в суровой обители.

В определенные часы монастырь словно начинал искриться детским весельем. Звонили к рекреации. Одна из дверей поворачивалась на своих петлях. Птицы щебетали: «Чудесно! А вот и дети!» Поток юности заливал сад, выкроенный крестом, точно саван. Сияющие личики, белые лобики, невинные глазки, блещущие радостным светом, – все краски утренней зари расцветали повсюду в этом мраке. После псалмопений, колоколов, благовеста, похоронного звона, богослужений внезапно раздавался шум, более нежный, чем гуденье пчелок, – то шумели маленькие девочки! Распахивался улей веселья, и каждая несла в него свой мед. Играли, перекликались, собирались кучками, бегали; в уголках стрекотали прелестные белозубые ротки; черные рясы издали надзирали за смехом, тени наблюдали за солнечными лучами. Ну и пусть себе! Кругом все лучилось и все смеялось. На долю этих мрачных стен тоже выпадали свои ослепительные минуты. Они присутствовали при этом кружении пчелиного роя, как бы слегка посветлев от бьющей ключом радости. Точно дождь розовых лепестков проливался над этим трауром. Девочки резвились под оком монахинь: взор праведных не смущает невинных. Благодаря этим детям в веренице строгих часов был час простодушного веселья. Младшие прыгали, старшие плясали. Небесной чистотой веяло от этих ребяческих игр. Нет очаровательнее и величественнее зрелища свежих, распускающихся душ. Гомер вместе с Перро охотно пришли бы поохотаться сюда, в этот мрачный сад, где царили юность, здоровье, шум, крики, беспечность, радость и счастье, способные развеселить всех прабабок – из эпopeи и побасенок, из дворцов и хижин, начиная с Гекубы и кончая бабусей стародавних сказок.

В этой обители, быть может чаще, чем где бы то ни было, слышались те детские «словечки», в которых так много очарования и которые заставляют нас задумчиво улыбаться. Именно в этих четырех мрачных стенах однажды пятилетний ребенок воскликнул: «Матушка, одна старшая только что сказала, что мне осталось пробыть здесь только девять лет и десять месяцев. Какое счастье!» Здесь же произошел следующий памятный разговор:

Мать-изборщица. Что ты плачешь, дитя мое?

Ребенок (*шести лет, рыдая*). Я сказала Алисе, что знаю урок по истории Франции. А она говорит, что я не знаю, когда я знаю!

Алиса (*старшая, девяти лет*). Нет, не знает.

Мать-изборщица. Как же так, дитя мое?

Алиса. Она велела мне открыть книгу где попало и задать ей оттуда какой-нибудь вопрос и сказала, что ответит на него.

– Ну и что же?

– И не ответила.

– Постой! А о чем ты ее спросила?

– Я открыла книгу где попало, как она сама велела, и задала ей первый вопрос, который увидела.

– И какой это был вопрос?

– А вот какой: *Что же произошло потом?*

Там же было сделано глубокомысленное замечание по поводу довольно прожорливого попугая, принадлежавшего одной монастырской постоялице:

«Ну не милашка ли? Она склевывает верх тартинки, словно настоящий человек!»

Это там на одной из монастырских плит найдена была следующая исповедь, заранее записанная для памяти семилетней грешницей:

«Отец мой, я грешна в скупости.

Отец мой, я грешна в прелюбодеянии.

Отец мой, я грешна в том, что смотрела на мужчин».

Это там, на дерновой скамейке сада, маленький розовый ротик шестилетней девочки пролепетал сказку, которой внимало голубоглазое дитя лет четырех или пяти:

«Жили-были три петушка, у них была своя страна, где росло много-много цветов. Они сорвали цветики и спрятали их в свой кармашек. А потом сорвали листики и спрятали их в игрушки. В стране жил волк; и там был большой лес; и волк жил в лесу; и он съел петушков».

А вот и другое произведение:

«Раз как ударят палкой!

Это Полишинель дал по голове кошке.

Ей от этого было совсем не приятно, а только больно.

Тогда одна дама посадила Полишинеля в тюрьму».

Там же бездомная девочка-найденш, которую воспитывали в монастыре из милости, произнесла трогательные, раздирающие душу слова. Она слышала, как другие девочки говорили о своих матерях, и прошептала, сидя в своем углу:

«А когда я родилась, моей мамы со мной не было!»

В монастыре жила толстая сестра-привратница, которая постоянно куда-то спешила по коридорам со связкой ключей. Звали ее сестра Агата. Старшие – то есть те, которым было больше десяти лет, прозвали ее «Агата-ключ».

Трапезная, большая продолговатая четырехугольная комната, получала свет лишь из крытой, с резными арками, галереи, находившейся на одном уровне с садом. Это была сумрачная комната, сырая и, как говорили дети, полная зверей. Все близлежащие помещения наградили ее своей долей насекомых. Каждому углу трапезной воспитанницы дали свое выразительное название. Был угол Пауков, угол Гусениц, угол Мокриц и угол Сверчков. Угол Сверчков был рядом с кухней, и его особо почитали. Там было всего теплее. От трапезной эти прозвища перешли к пансиону, и по ним различали, как некогда в коллеже Мазарини, четыре землячества. Каждая воспитанница принадлежала к одному из этих четырех землячеств, в зависимости от того, в каком углу она сидела за трапезой. Однажды архиепископ во время своего пастырского посещения монастыря заметил входящую в класс хорошенькую румяную девочку с великолепными белокурыми волосами; он спросил у другой воспитанницы, очаровательной брюнеточки со свежими щечками, стоявшей возле него:

– Кто эта девочка?

– Это паук, ваше высокопреосвященство.

– Вот оно что! А вон та, другая?

– Сверчок.

– А эта?

– Гусеница.

– Неужели? Ну, а ты?

– А я мокрица, ваше высокопреосвященство.

У каждого такого закрытого пансиона есть свои особенности. В начале этого столетия

Экуан был одним из тех суровых и почти торжественных мест, где в уединении протекало детство молодых девушек. Для крестного хода в день св. причастия в Экуане их делили на «дев» и на «цветочниц». Там были также «балдахинщицы» и «кадильщицы»; первые несли кисти от балдахина, а вторые кадили, шествуя перед чашей со святыми дарами. Цветы, разумеется, несли «цветочницы». Впереди выступали четыре «девы». Утром этого торжественного дня нередко можно было слышать в спальне такой вопрос:

– А кто у нас дева?

Госпожа Кампан приводит следующие слова одной «младшей», семилетней воспитанницы, обращенные к «старшей», шестнадцати лет, возглавлявшей процессию, тогда как младшая шла в хвосте: «Так ты же дева, а я нет».

Глава 5

Развлечения

Над дверью трапезной крупными черными буквами была написана молитва, называемая воспитанницами «Беленькое отчешаш» и обладавшая свойством вводить людей прямо в рай:

«Миленькое беленькое отчешаш, господь его сотворил, господь его говорил, господь его в рай посадил. Вечером, как я спать ложилась, у постели трех ангелов находила, одного в изножье, двух в изголовье, преблагую деву Марию посредине. Преблагая дева мне приказывала ложиться, ничего не страшиться. Отец мой – господь, мать – богородица, братья – три апостола, сестрицы – три девы пречистые. Младенца Христа сорочка мое тело прикрывает, святой Маргариты крестик мою грудь осеняет. Уходит госпожа наша мать божия на поля, о сыне рыдает, святого Иоанна встречает. «Сударь мой, святой Иоанн, откуда идете?» – «От Ave salus^[55] иду». – «А не видали вы милосердного бога, там ли он?» – «Он на дереве крестовом, руки-ноги пригвождены, малый венчик терний белых на челе». Кто молитву эту скажет трижды ввечеру, трижды поутру, будет в раю».

В 1827 году эта своеобразная молитва исчезла под тройным слоем известки. А в наши дни сглаживается ее последний след и в памяти молодых девушек тех времен, а ныне уже старух.

Большое распятие на стене довершало украшение трапезной, единственная дверь которой, как мы уже, кажется, упоминали, выходила в сад. Два узких стола, каждый с двумя деревянными скамьями по бокам, тянулись параллельными линиями из конца в конец во всю длину трапезной. Стены были белые, столы черные; только эти два траурных цвета и чередовались в монастыре. Еда была непривлекательная, даже детей кормили скудно. К столу подавалось одно блюдо: мясо с овощами или соленая рыба – вот и вся роскошь. Однако и это грубое дежурное блюдо, предназначенное только для пансионеров, составляло исключение в монастырской пище. Дети ели молча, под присмотром сменяющейся еженедельно монахини, которая время от времени с шумом открывала и закрывала деревянный ларец в форме книги, если муха, нарушая устав, осмеливалась летать и жужжать. Эта тишина была приправлена чтением вслух жития святых с небольшой кафедры под распятием. Чтицей была дежурившая в эту неделю взрослая воспитанница. На голом столе там и сям стояли муравленные миски, в которых воспитанницы сами мыли свои чашки и тарелки, а иногда бросали туда же остатки пищи, жесткое мясо или тухлую рыбу; за это полагалось наказание. Миски назывались «круговыми чашами».

Ребенок, нарушивший молчание, должен был сделать «крест языком». Где? На полу. Он лизал пол. Прах, это завершение всех земных радостей, призван был карать эти бедные розовые лепесточки за то, что они шелестели.

В монастыре хранилась книга, которую всегда печатали только в одном экземпляре и которую запрещалось читать. Это был устав св. Бенедикта. Ничей непосвященный взор не смел касаться этой тайны. «Nemo regulas, seu constitutiones nostras, externis communicabit»^[56].

Однажды воспитанницам удалось похитить эту книгу, и они жадно принялись читать ее. Но страх быть застигнутыми на месте преступления часто заставлял их поспешно захлопывать книгу и прерывать чтение. Из этой чрезвычайно рискованной затеи они вынесли весьма умеренное удовольствие. Несколько туманных страниц «о грехах отроков» – вот что показалось им «самым интересным».

Они играли в аллее сада, обрамленной чахлыми фруктовыми деревьями. Невзирая на зоркую бдительность и на строгость наказаний, им удавалось, когда ветер качал деревья, украдкой поднять упавшее недозрелое яблоко, гнилой абрикос или червивую сливу. Пусть вместо меня говорит письмо, лежащее передо мной, – письмо, написанное двадцать пять лет тому назад бывшей пансионеркой, ныне герцогиней, одной из самых элегантных женщин Парижа. Привожу текст письма дословно: «Грушу или яблоко стараешься спрятать как можно лучше. Когда перед ужином поднимаешься наверх, чтобы положить на кровать свое покрывало, то засовываешь их поглубже под подушку и вечером съедаешь уже лежа в кровати, а если это не удастся, то съедаешь в ретиреде». Это было одним из самых жгучих наслаждений воспитанниц.

Однажды – произошло это опять-таки в одно из посещений монастыря архиепископом – молодая девушка, мадемуазель Бушар, приходившаяся несколько сродни Монморанси, держала пари, что попросит у него день отпуска – поблажка, совершенно немыслимая в такой строгой общине. Пари было принято, но ни та, ни другая сторона не верили в возможность успеха. И вот, когда архиепископ проходил мимо воспитанниц, мадемуазель Бушар, к неописуемому ужасу своих товарок, выступила из ряда и сказала: «Ваше высокопреосвященство, прошу отпустить меня на один день!» Мадемуазель Бушар была цветущая, статная девушка, с прелестным румяным личиком. Г-н де Келен улыбнулся и ответил: «Как, милое дитя, всего на один день? На три, если вам угодно! Я даю вам три дня!» Настоятельница ничего не могла сделать – ведь это сказал архиепископ. Скандальное происшествие для монастыря, но что за радость для воспитанниц! Судите сами, каково было впечатление!

Однако угрюмый монастырь не был так наглухо замурован, чтобы мир страстей, бурливший за его стенами, чтобы драмы и даже романы не проникали туда. В доказательство мы лишь приведем, рассказав его вкратце, одно действительное происшествие, не имеющее, впрочем, само по себе никакого касательства к нашему повествованию и никак с ним не связанное. Мы упомянем о нем лишь для того, чтобы дать читателю более полное представление о монастыре.

Итак, приблизительно в это же время в обители проживала таинственная особа, к которой, хотя она и не была монахиней, все относились с глубоким почтением, величая ее «госпожой Альбертиной». О ней было известно лишь, что она потеряла рассудок и что в свете ее считали умершей. Говорили, что вся эта история имела своей подоплекой какие-то денежные соображения, необходимые для осуществления блестящего брака.

Эта женщина, едва достигшая тридцати лет, была довольно красивая брюнетка с темными большими глазами и затуманенным взглядом. Видела ли она что-нибудь? Сомнительно. Она скорее скользила, чем ходила; она никогда не говорила; нельзя было даже с уверенностью сказать, что она дышит. Ее ноздри были сжаты и мертвенно бледны, как у покойницы. Прикасаясь к ее руке, вы словно касались снега. Она обладала какой-то странной грацией призрака. Где она появлялась, веяло холодом. Как-то, видя, как она проскользнула мимо, одна монахиня сказала другой: «Ее считают мертвой». – «А может, она и мертвая», – ответила ей та.

О г-же Альбертине ходило множество рассказов. Она непрерывно возбуждала любопытство

воспитанниц. В часовне были хоры, прозванные «бычий глаз». И вот на этих-то хорах, где единственным источником света было круглое окно – «бычий глаз», и отстаивала службы г-жа Альбертина. По обыкновению, она находилась там в одиночестве, так как с этих хор, расположенных в верхней части часовни, можно увидеть проповедника или священника, совершающего богослужение, что монахиням возбранялось. Однажды с амвона проповедовал молодой священник знатного рода, герцог де Роган, пэр Франции, командир красных мушкетеров в 1815 году, когда он еще именовался принцем Леонским, впоследствии кардинал и архиепископ в Безансоне, где он и скончался в 1830 году. В этот день герцог де Роган в первый раз говорил проповедь в монастыре Малый Пикпюс. Г-жа Альбертина обычно держалась во время богослужений и проповедей совершенно спокойно, храня полную неподвижность. В этот же день, увидев герцога де Рогана, она слегка выпрямилась и среди абсолютной тишины, царившей в часовне, громко произнесла: «Вот как? Огюст?» Вся община в изумлении взглянула на нее, но г-жа Альбертина впала вновь в обычную свою оцепенелость. Дуновение внешнего мира, отблеск жизни на мгновение осветил это угасшее неподвижное лицо, затем все исчезло, и безумная вновь превратилась в труп.

Однако эти два слова развязали языки многим, кто только способен был в монастыре болтать. Чего-чего только не таило в себе это восклицание: «Вот как? Огюст?» Чего только оно не скрывало! Герцога де Рогана действительно звали Огюст. Было очевидно, что г-жа Альбертина принадлежала к самому избранному обществу, раз она знала г-на де Рогана; что и сама занимала в нем высокое положение, раз о таком вельможе говорила так фамильярно; что была, возможно, в родственных с ним отношениях, и, наверное, достаточно близких, раз ей было известно его «крестное имя».

Две весьма суровые герцогини, г-жа де Шуазель и де Серан, часто посещали общину, куда имели свободный доступ, по всей вероятности, в силу привилегии *Magnates mulieres*^[57], и нагоняли на воспитанниц неодолимый страх. Когда эти две старые дамы проходили мимо них, то бедные молодые девушки дрожали и опускали глаза.

Впрочем, герцог де Роган, сам того не подозревая, являлся центром внимания воспитанниц. В ту пору он, в ожидании епископского сана, получил назначение главного викария при архиепископе Парижском. У него была привычка петь на клиросе во время богослужения в часовне монастыря Малый Пикпюс. Ни одна из молодых затворниц не могла его видеть сквозь саржевый занавес, но он обладал мягким, довольно высоким голосом, который они научились узнавать и различать. Когда-то он был мушкетером; говорили, что он очень следит за своей внешностью и замечательно причесан, что его великолепные каштановые волосы изумительными завитками обрамляют его лоб, что опоясан он дивным широким муаровым поясом и что черная сутана его – самого элегантного покроя в мире. Он сильно занимал воображение всех этих шестнадцатилетних девушек.

Ни один звук из внешнего мира не проникал в монастырь. Тем не менее выпал год, когда долетели до монастыря звуки флейты. То было настоящее событие, и тогдашние пансионерки еще до сих пор помнят об этом.

Кто-то по соседству играл на флейте. Флейтист исполнял всегда одну и ту же арию, теперь уже устаревшую: «Моя Зетюльбе, приди царить в душе моей!», и ее можно было услышать два-три раза в день. Молодые девушки часами слушали эту арию, матери-изборщицы впали в отчаяние, юные умы работали, наказания так и сыпались. Это продолжалось несколько месяцев. Все воспитанницы в большей или меньшей степени были влюблены в неведомого музыканта. Каждая воображала себя этой «Зетюльбе». Звуки флейты доносились со стороны улицы Прямой стены. Пансионерки отдали бы все, пошли бы на все, рискнули всем, лишь бы хоть на секунду поглядеть на «молодого человека», разглядеть, наглядеться на того, который так восхитительно

играл на флейте и, сам того не ведая, играл на струнах их сердец. Нашлись среди них воспитанницы, которые, проскользнув в дверь черного хода, взобрались на четвертый этаж, надеясь через оконце, выходящее на улицу Прямой стены, увидеть хоть что-нибудь. Невозможно. Одна дошла даже до того, что, подняв руку над головой и просунув ее сквозь решетку оконца, стала махать белым платком. Двое оказались еще более смелыми. Они придумали способ взобраться на крышу, не побоялись это сделать и увидели наконец «молодого человека». Это был старый, слепой, разорившийся дворянин-эмигрант, от скуки игравший на флейте в своей мансарде.

Глава 6

Малый монастырь

В ограде Малого Пикпюса было три совершенно отдельных здания: большой монастырь, населенный монахинями, пансион, где помещались воспитанницы, и, наконец, так называемый малый монастырь. Это был особый флигель, с садом, где жили одной семьей всевозможные старые монахини различных орденов, живые обломки монастырей, уничтоженных революцией: пестрая смесь всяких инокинь, черных, серых и белых, принадлежавших к самым разным общинам и самого разного толка. Это был, если позволительно употребить подобное выражение, лоскутный монастырь.

Со времени Империи этим бедным, рассеянным по всей стране и лишенным права женщинам дозволено было приютиться здесь, под крылышком бенедиктинок-бернардинок. Правительство выдавало им скромное пособие; монахини Малого Пикпюса с готовностью приняли их. То было самое причудливое смешение. Каждая гостья соблюдала свой устав. Иногда воспитанницам разрешали в качестве особенного развлечения посещать их; вот почему многие юные головки навсегда запомнили мать св. Василию, мать св. Схоластику и мать св. Якобу.

Одна из таких пришлых монахинь оказалась почти дома. Это была монахиня из Сент-Ор, единственная, которая пережила свой орден. Бывший монастырь сестер Сент-Ор занимал в начале восемнадцатого века как раз то самое здание Малого Пикпюса, которое впоследствии перешло к бенедиктинкам конгрегации Мартина Верга. Эта старая монахиня, слишком бедная, чтобы носить роскошную одежду своего ордена – белое платье с пурпуровым наплечьем, благоговейно возложила ее на маленький манекен, который охотно показывала, и, на случай своей смерти, завещала монастырю. В 1824 году от этого ордена оставалась лишь одна монахиня; ныне же остался один манекен.

Кроме этих достойных сестер, несколько старых светских женщин, вроде г-жи Альбертины, также получили от настоятельницы разрешение поселиться на покое в малом монастыре. К числу их принадлежали г-жа де Босфор д'Отпуль и маркиза Дюфрен. Была там еще одна обитательница, известная только тем, что она необыкновенно звучно сморкалась. Воспитанницы прозвали ее «мадам Шумихины».

Около 1820 или 1821 года г-жа Жанлис просила разрешения стать постоялицей монастыря. Она издавала в то время небольшой периодический сборник под названием «Неустрасимый». За нее ходатайствовал герцог Орлеанский. Великое смятение в улье! Матери-изборщицы затрепетали. Г-жа де Жанлис писала романы! Но она же заявила, что первая ненавидит их, а к тому же она достигла тогда того периода жизни, когда ее обуяло свирепое благочестие. С помощью божьей, а также герцогской, она поселилась в монастыре. Но месяцев через шесть или семь покинула его под тем предлогом, что в саду нет тени. Монахини были в восторге. Хотя она была уже очень стара, но она все еще играла на арфе, и играла чудесно.

Покидая монастырь, она оставила память о себе в келье, где жила. Г-жа де Жанлис была суеверкой и латинисткой. Несколько лет тому назад еще можно было видеть в небольшом шкафчике, где она обыкновенно хранила деньги и драгоценности, наклеенную изнутри маленькую записочку со стихами, написанными ее рукой красными чернилами на желтой бумаге. Эти пять латинских стихотворных строк, по ее мнению, обладали свойством отпугивать воров:

Imparibus meritis pendent tria corpora ramis:
Dismas et Gesmas, media est divina potestas;
Alta petit Dismas, infelix, infima, Gesmas.
Nos et res nostras conservet summa potestas.
Nos versus dicas, ne tu furto tua perdas^[58].

Эти вирши на латыни VI века возбуждают вопрос: как же звали двух распятых на Голгофе разбойников – Димас и Гестас, как думают обычно, или же Дисмас и Гесмас? Это правописание могло бы опровергнуть все притязания виконта Гестаса в прошлом столетии на происхождение от нераскаявшегося разбойника. Впрочем, в полезное свойство, приписываемое этим стихам, орден госпитальерок твердо верит.

Монастырская церковь, построенная так, что она отделяла, словно настоящим крепостным валом, большой монастырь от пансиона, была, само собой разумеется, общей и для большого монастыря, и для пансиона, и для малого монастыря. В церковь допускалась даже и посторонняя публика через сделанный на улицу вход в лазарет. Но все было расположено таким образом, что ни одна из обитательниц монастыря не могла видеть прихожан. Вообразите себе церковь, клирос которой, как бы схваченный и согнутый исполинской рукой, не продолжается, как в обыкновенных церквях, за престолом, а образует род залы или темной пещеры направо от священника, совершающего богослужение; вообразите далее, что эта зала скрыта занавесом высотой в семь футов, о котором мы уже упоминали, и что там, за этим занавесом, на деревянных скамьях, налево скучены монахини-клирошанки, направо – воспитанницы, а в центре – послушницы и белицы, и вы получите некоторое представление о том, как монахини Малого Пикпюса присутствовали при богослужениях. Эта темная пещера, именуемая клиросом, сообщалась с монастырем посредством коридора. Свет проникал туда со стороны сада. Во время служб, на которых, согласно уставу, монахини обязаны были хранить молчание, публика узнавала об их присутствии по стуку поднимавшихся и опускавшихся полочек с нижней стороны сидений, на которые те, кто устал стоять, могли незаметно опереться.

Глава 7

Несколько силуэтов среди мрака

В течение шести лет, с 1819 и по 1825 год, настоятельницей монастыря Малый Пикпюс была мадемуазель де Блемер, в иночестве – мать Непорочность. Происходила она из рода Маргариты Блемер, автора «Жития святых ордена св. Бенедикта». Ее избрали вторично. Это была женщина лет шестидесяти, приземистая, дородная, с голосом, дребезжащим, точно «надтреснутый горшок», как говорится в письме, о котором мы уже упоминали выше, впрочем, добрейшая душа, единственное веселое существо во всем монастыре, и за это любимая до обожания.

Мать Непорочность унаследовала качества прабабки Маргариты, этой Дасье своего ордена.

Она была образованна, начитанна, учена, книжница, своеобразный знаток истории, нашпигована латынью, напичкана греческим, начинена еврейским – скорее бенедиктинец, чем бенедиктинка.

Помощницей настоятельницы была старая, почти слепая, монахиня-испанка, мать Синерес.

Самыми почитаемыми среди матерей-изборщиц были: мать св. Гонория, казначея; мать св. Гертруда, начальница послушниц; мать св. Ангела, ее помощница; мать Благовещение, заведовавшая ризницей; мать св. Августина, заведовавшая лазаретом, единственная злая женщина во всем монастыре; затем мать св. Мехтильда (девица Говэн), совсем еще молодая, обладавшая чудным голосом; мать Святые ангелы (девица Друэ), уже побывавшая в монастыре сестер Странноприимного ордена и в монастыре Священных сокровищ, что между Жизором и Маньи; мать св. Иосифа (девица Коголлудо); мать св. Аделаида (девица д'Оверне); мать Милосердие (девица де Сифуентес), которая не в состоянии была вынести строгостей устава; мать Сострадание (девица де Мильтиер), принятая в общину шестидесяти лет, вопреки уставу, очень богатая; мать Провидение (девица де Лодиньер); мать Введение (девица Сигенца), ставшая в 1847 году настоятельницей; наконец, мать св. Селина (сестра скульптора Черакки), сошедшая с ума, и мать св. Шанталь (девица де Сюзон), тоже сошедшая с ума.

В числе красивейших была также прелестная двадцатитрехлетняя девушка с острова Бурбон, правнучка кавалера Роз. В миру она носила бы имя мадемуазель Роз, а в схиме называлась мать Вознесение.

Мать Мехтильда, руководившая пением на клиросе, охотно привлекала в свой хор пансионеров. Она обычно набирала полную гамму, то есть семь девочек от десяти до шестнадцати лет включительно, подбирая голоса и рост и заставляя их петь, выстроившись в ряд, от самой низенькой до самой высокой. Казалось, перед вами свирель из молодых девушек, род живой флейты Пана, составленной из ангелов.

Среди послушниц больше всего любили сестру св. Эфразию, сестру св. Маргариту, сестру св. Марфу, впавшую в детство, и сестру св. Михаилу – всех смешил ее длинный нос.

Все эти женщины относились кротко к детям. Они были суровы только к самим себе. Печи топились лишь в пансионе, а пища воспитанниц, по сравнению с монашеской, была изысканной. И сверх всего этого – бесконечные попечения о них. Но если ребенок, проходя мимо монахини, заговаривал с ней, она никогда не отвечала.

Устав молчания привел к тому, что во всем монастыре дар слова отнят был у существ живых и передан предметам неодушевленным. То гудел церковный колокол, то звенел бубенчик садовника. Очень звонкий колокол, помещавшийся около привратницы и звучащий на весь дом, возвещал при помощи разнообразных звонов, словно некий акустический телеграф, о разных событиях повседневной жизни и призывал в приемную, по мере надобности, ту или иную обительницу монастыря. Каждому человеку и каждому предмету был присвоен особый звук. Для настоятельницы – один и один удар; для ее помощницы – один и два. Шесть и пять ударов означали: «время идти в класс», и воспитанницы вместо «идти в класс» всегда говорили: «идти в шесть-пять». Четыре-четыре были звоном для г-жи де Жанлис. Он звучал очень часто. «Это бесовский звон для бесовки», – говорили пансионеры, не отличавшиеся милосердием. Девятнадцать ударов возвещали о важном событии: это означало, что распахивалась настежь «монастырская дверь» – ужасная железная доска, вся оцетиненная засовами, которая поворачивалась на своих петлях только перед особой архиепископа.

Кроме него, а также садовника, как мы уже говорили, ни один мужчина не имел доступа в монастырь. Впрочем, пансионеры видели еще двух мужчин: один из них – священник, старый и безобразный аббат Банес, которым они могли любоваться сквозь решетку клироса; другой – учитель рисования, г-н Ансио, упомянутый в вышеприведенном письме как «ужасный старый

горбун Ансьошка».

Отсюда явствует, что все мужчины были подобраны тщательно.

Такова была эта любопытная обитель.

Глава 8

Post corda lapides^[59]

Обрисовав внутренний облик монастыря, не лишне в нескольких словах описать и его наружный вид. О нем читатель уже имеет некоторое представление.

Сент-Антуанский монастырь Малый Пикпюс заполнял почти всю площадь обширной трапеции, образуемой пересечением улицы Полонсо, улицы Прямой стены, улочки Пикпюс и глухого переулка, носящего на старинных планах название улицы Омарэ. Эти четыре улицы окружали трапецию, подобно рву. Монастырь состоял из нескольких зданий и сада. Главный корпус здания, взятый в целом, представлял собою группу строений смешанного характера, которые с высоты птичьего полета довольно точно воспроизводили очертания виселицы, положенной наземь плашмя. Столб виселицы тянулся вдоль того отрезка улицы Прямой стены, который находился между улочкой Пикпюс и улицей Полонсо; перекладину же заменял высокий, строгий серый фасад за решеткой, выходящий на улочку Пикпюс; ворота № 62 помещались в конце этой перекладины. У середины фасада находились другие, низкие, побелевшие от слоя пыли и золы, ворота, под сводом которых пауки ткали паутину; ворота эти отпирались на час или на два по воскресеньям и в тех редких случаях, когда из обители выносили гроб с умершей монахиней. Это был вход в церковь для мирян. Угол, образуемый столбом и перекладиной, занимала квадратная зала, служившая буфетной, которую воспитанницы прозвали «кладовкой». В столбе виселицы помещались кельи матерей, сестер и послушниц. В перекладине – кухни, трапезная, бывшая филиалом монастырской, и церковь. Между воротами под № 62 и углом тупика Омарэ находился пансион, который был незаметен снаружи. Остальную часть трапеции занимал сад, уровень которого был значительно ниже улицы Полонсо, вследствие чего его стены с внутренней стороны оказывались еще выше, чем с внешней. На середине сада возвышался пригорок; на самой верхушке пригорка росла прекрасная остроконечная конусообразная ель, от которой, словно от навершья щита, расходились четыре большие аллеи и восемь маленьких, расположенных попарно между разветвлениями больших так, что, будь этот сад круглым, геометрический план аллей представлял бы тогда крест, положенный на колесо. Все аллеи, примыкавшие к крайне неправильной линии садовых стен, были разной длины. Их окаймляли смородинные кусты. В глубине сада, от развалин старого монастыря, помещавшегося на углу улицы Прямой стены, и до здания малого монастыря на углу переулка Омарэ, тянулась аллея тополей. Перед малым монастырем находился так называемый «малый сад». Прибавьте ко всему этому двор, разнообразные углы, образуемые внутренними строениями, тюремные стены, а вместо всякого соседства, вместо всякой перспективы – длинную черную линию крыш, окаймлявшую противоположную сторону улицы Полонсо, – и вы получите довольно точное представление о том, каков был сорок пять лет тому назад монастырь бернардинок Малого Пикпюса. Эта обитель построена как раз на том месте, где с четырнадцатого и до шестнадцатого века находилось помещение со знаменитым залом для игры в мяч, прозванное «вертепом одиннадцати тысяч чертей».

Все эти улицы принадлежали к числу самых старинных в Париже. Названия – Прямая стена и Омарэ – очень давние, а улицы, носящие их, еще старше. Тупик Омарэ назывался тупиком

Мальгу; улица Прямая стена называлась улицей Шиповника, ибо господь стал растить цветы много раньше, чем человек стал тесать камень.

Глава 9

Сто лет под апостольником

Теперь, когда мы ознакомились в подробностях с тем, что собою представлял монастырь Малый Пикпюс в прошлом, и осмелились бросить взгляд внутрь этого ревниво охраняющего свою тайну убежища, да позволит нам читатель еще одно небольшое отступление, не относящееся к сути этой книги, но характерное и полезное в том смысле, что оно показывает, с какими своеобразными личностями можно было встретиться в самой обители.

В малом монастыре жила столетняя старуха, поступившая туда из аббатства Фонтевро. До революции она даже принадлежала к светскому обществу. Она часто рассказывала о г-не Миромениле, хранителе печати при Людовике XVI, и о г-же Дюпла, супруге председателя суда, с которой была близко знакома. Поминая то и дело этих людей, она испытывала удовольствие и чувство удовлетворенного тщеславия. Об аббатстве Фонтевро она рассказывала всевозможные чудеса: будто оно похоже было на город и будто в монастыре были проложены настоящие улицы.

Она говорила на пикардийском наречии, что очень забавляло воспитанниц. Всякий год она торжественно возобновляла свои обеты и, прежде чем произнести их, говорила священнику: «Монсеньор святой Франсуа вручил свой обет монсеньору святому Евсевию, монсеньор святой Евсевий – монсеньору святому Прокопию... и т. д., и т. д., а мой я вручаю вам, пресвятой отец». И воспитанницы смеялись исподтишка, или, вернее, из-под покрывала, прелестным сдержанным смешком, заставлявшим матерей-изборщиц хмурить брови.

Иногда эта столетняя монахиня рассказывала разные истории. Она утверждала, что во времена ее молодости «бернардинцы не уступали мушкетерам». Ее устами говорил целый век, но век восемнадцатый. Она рассказывала об обычае «четырёх вин», существовавшем до революции в Шампани и Бургундии. Когда какое-нибудь именитое лицо – маршал Франции, принц, герцог или пэр – проезжало через один из городов Шампани или Бургундии, то городской совет выходил его приветствовать и подносил в четырех серебряных чашах в виде ладьи четыре различных сорта вина. На первом кубке красовалась надпись: «обезьянье вино», на втором – «львиное вино», на третьем – «баранье вино» и на четвертом – «свиное вино». Эти четыре надписи обозначали четыре ступени, по которым спускается пьяница. Первая ступень опьянения веселит, вторая – раздражает; третья – оглушает; наконец, четвертая – оскотинивает.

Она хранила у себя в шкафу под ключом какой-то таинственный предмет, которым очень дорожила. Устав аббатства Фонтевро не воспрещал этого. Она никому не хотела его показывать. Она запиралась у себя, что также не было воспрещено уставом, когда желала им тайком полюбоваться. Лишь только раздавался звук чьих-нибудь шагов в коридоре, она запирала шкаф с поспешностью, на какую только были способны ее дряхлые руки. Стоило кому-нибудь заговорить с ней об этом, как она, обычно такая болтливая, тотчас же умолкала. Самые любопытные не в силах были сломить ее молчание, а самые настойчивые отступали перед ее упорством. Это, разумеется, давало пищу для пересудов всем праздным или скучающим обительницам монастыря. Что ж это был за предмет, столь драгоценный и столь таинственный, – предмет, являвшийся сокровищем столетней старухи? Может быть, какая-нибудь священная книга? Редкостные четки? Чудодейственные мощи? Все терялись в догадках. Когда бедная старушка умерла, то бросились к шкафу, быть может поспешнее, чем то позволяло приличие, и отперли его. Предмет этот нашли завернутым в тройной полотняный покров, как

освященный дискос. Это оказалось фаэнцское блюдо, на котором изображены были улетающие амуры, преследуемые аптекарскими учениками с огромными клистирными трубками. Эта сцена преследования изобиловала всякими гротескными гримасами и комическими позами. Например, один из очаровательных маленьких амуров уже попался; он отбивается, трепещет маленькими крылышками и пытается взлететь, но клистирщик хохочет сатанинским смехом. Мораль: любовь, побежденная резью в желудке! Это блюдо, кстати, чрезвычайно интересное и, быть может, вдохновившее Мольера, существовало еще в сентябре 1845 года: оно продавалось у антиквара на бульваре Бомарше.

Добрая старушка не желала, чтобы ее посещали миряне, «потому что приемная слишком мрачна», – говорила она.

Глава 10

Происхождение «неустанного поклонения»

Впрочем, эта почти загробная приемная, о которой мы старались дать некоторое понятие, – явление местное, оно не повторяется с тою же строгостью в других монастырях. В частности, на улице Тампль, в монастыре, принадлежавшем, правда, другому ордену, вместо черных ставен были кофейного цвета шторы, а сама приемная представляла собой гостиную с паркетным полом и окнами, на которых висели белые кисейные занавески; на стенах красовались различные картины – например, портрет бенедиктинки с открытым лицом, букеты цветов и даже изображение головы турка.

В монастырском саду на улице Тампль рос знаменитый индийский каштан, слывший самым красивым и высоким во Франции. В восемнадцатом веке его называли патриархом всех каштановых деревьев королевства.

Мы уже говорили, что монастырь на улице Тампль был занят бенедиктинками ордена Неустанного поклонения, совершенно отличными от тех, которые были подчинены цистерьянцам. Этот орден Неустанного поклонения не принадлежит к числу очень древних, он насчитывает всего двести лет. В 1649 году святые дары на протяжении нескольких дней были дважды осквернены в двух храмах Парижа: Сен-Сюльпис и Сен-Жан-ан-Грев – неслыханное и страшное святотатство, взволновавшее весь город. Старший викарий, он же настоятель монастыря Сен-Жермен-де-Пре, назначил торжественный крестный ход всего духовенства обители, причем богослужение совершал папский нунций. Но этот искупительный обряд не удовлетворил двух достойных женщин – г-жу Куртен, маркизу де Бук, и графиню Шатовье. Оскорбление, нанесенное «высокочтимой святыне алтаря», хотя и мимолетное, не изглаживалось из памяти этих двух благочестивых душ и, по их мнению, могло быть смыто лишь «неустанным поклонением» в какой-либо женской обители. Обе они, одна в 1652 году, другая в 1653-м, пожертвовали крупные суммы бенедиктинской монахине из конгрегации Святых даров, матери Катерине де Бар, на основание, с этой благочестивой целью, монастыря ордена св. Бенедикта. Первое разрешение основать такой монастырь было дано Катерине де Бар г-ном де Мецом, аббатом Сен-Жерменским, с тем чтобы ни одна из девиц не принималась в него иначе, как при условии уплаты трехсот ливров в год за содержание, которые являлись бы доходом с шести тысяч ливров основного взноса. Вслед за аббатом Сен-Жерменским король дал жалованную грамоту, а все вместе – аббатская хартия и королевская грамота – было в 1654 году утверждено счетной палатой и парламентом.

Таково происхождение узаконенной церковью и государством парижской конгрегации бенедиктинок «Неустанного поклонения святым дарам». Их первый монастырь был «заново

воздвигнут» в улице Кассет на средства г-жи де Бук и г-жи Шатовье.

Этот орден, как мы видим, не имел ничего общего с орденом бенедиктинок Сито, именовавшихся цистерьянками. Он находился под главенством аббата Сен-Жермен-де-Пре, подобно тому, как монахини ордена Сердце Иисусово подчинялись генералу ордена иезуитов, а монахини ордена Милосердие – генералу ордена лазаристов.

Он нисколько не походил и на общину бернардинок Малого Пикпюса, внутреннюю жизнь которой мы только что описали. В 1657 году папа Александр VII особой грамотой разрешил бернардинкам Малого Пикпюса неустанное поклонение, по примеру бенедиктинок ордена Святых даров. Но тем не менее оба ордена сохранили за собой все присущие им особенности.

Глава 11

Конец Малого Пикпюса

С самого начала Реставрации монастырь Малый Пикпюс стал хиреть, что было одним из проявлений общего упадка ордена, который после восемнадцатого века сошел на нет, как и все монашеские ордена той эпохи. Созерцание, как и молитва, – потребность человечества; но, подобно всему, чего коснулась революция, оно преобразится и из враждебного станет благоприятствующим прогрессу.

Монастырь Малый Пикпюс быстро обезлюдел. В 1840 году малый монастырь исчез, пансион исчез также. Уже не было там больше ни дряхлых старух, ни юных девушек. Первые умерли, вторые рассеялись. Volaverunt^[60].

Устав конгрегации Неустанного поклонения настолько суров, что отпугивает всех; все меньше и меньше желающих принять постриг; орден не пополняется. В 1845 году еще находились охотницы идти в сестры-послушницы, но в монахини-клирошанки – ни одной. Сорок лет тому назад монахинь было более ста; пятнадцать лет тому назад их осталось всего двадцать восемь. Сколько их теперь? В 1847 году настоятельница была молодая – признак того, что выбор суживался. Ей не было и сорока лет. С уменьшением числа монахинь возрастает тяжесть искуса, обязанности каждой становятся все более непосильными; недалек уже момент, когда останется не более двенадцати согбенных и измученных спин, способных нести тяжкий крест устава св. Бенедикта. Это бремя неумолимо и остается неизменным вне зависимости от того, мало их или много. Прежде оно угнетало, теперь оно сокрушало. И монахини стали умирать. В то время, когда автор этой книги жил в Париже, умерли две монахини. Одной было двадцать пять лет, другой двадцать три. Последняя могла сказать о себе, как Юлия Альпинула: «Hic jaseo. Vixi annos viginti et tres»^[61]. По причине этого упадка монастырь и отказался от воспитания девушек.

Мы не в силах были пройти мимо этого своеобразного неизвестного темного дома, чтобы не проникнуть в него и не ввести туда всех, кто следует за нами, внимая, быть может, не без пользы для себя, грустной истории Жана Вальжана, которую мы рассказываем. Мы вошли в эту обитель, сохранившую древние обряды, которые ныне представляются нам столь новыми. Это запертый сад. Hortus conclusus. Мы рассказали об этом странном месте подробно, но с уважением, – с тем уважением по крайней мере, которое совместимо с подробным рассказом. Мы понимаем не все, но мы ничего не хулим. Мы одинаково далеки как от осанны Жозефа де Местра, дошедшего до прославления палача, так и от насмешки Вольтера, шутившего даже над распятием.

Заметим, между прочим, что со стороны Вольтера это не логично, ибо он защищал бы Иисуса, как защищал Жана Каласа; даже для тех, кто отрицает воплощение божества, – что

представляет собой распятие? Убиение праведника.

В девятнадцатом веке религиозная идея переживает кризис. Люди от многого отучаются, и хорошо делают, – лишь бы, отучившись от одного, научились бы другому. Сердце человеческое не должно пустовать. Происходит известное разрушение, и пусть происходит, – но при условии, чтобы оно сопровождалось созиданием.

А пока изучим те явления, которых не существует более. С ними необходимо ознакомиться хотя бы для того только, чтобы их избежать. Подделки прошлого принимают чужое имя и охотно выдают себя за будущее. Прошлое, это привидение, способно подчистить свой паспорт. Остережемся ловушки. Будем начеку! У прошлого свое лицо – суеверие и своя маска – лицемерие. Откроем же это лицо, сорвем с него маску.

Что касается монастырей, то это вопрос сложный. Цивилизация осуждает их, а свобода защищает.

Книга седьмая

В скобках

Глава 1

Монастырь как отвлеченное понятие

Эта книга – драма, в которой главное действующее лицо – бесконечность.

Человек в ней лицо второстепенное.

Посему, встретив на пути своем монастырь, мы проникли в него. Зачем? Потому что монастырь – достояние как Востока, так и Запада, как мира древнего, так и мира современного, как язычества, буддизма, магометанства, так и христианства – является одним из оптических приборов, применяемых человеком для познания бесконечности.

Здесь отнюдь не место слишком подробно развивать некоторые идеи. Однако же, нисколько не поступаясь нашей сдержанностью, нашими мысленными оговорками и даже нашим негодованием, мы должны признаться, что всякий раз, когда мы встречаем в человеке стремление к бесконечности, хорошо ли, дурно ли понятой, мы чувствуем к нему уважение. В синагоге, в мечети, в пагоде, в вигваме есть сторона отвратительная, которой мы гнушаемся, и есть сторона величественная, которую мы почитаем. Какой предмет для созерцания, для глубоких дум это отражение бога на экране, которым служит ему человечество!

Глава 2

Монастырь как исторический факт

С точки зрения истории, разума и истины монашество подлежит осуждению.

Монастыри, в изобилии расплодившиеся у какой-нибудь нации и загромаждающие страну, являются помехами для движения и средоточиями праздности там, где надлежит быть средоточиям труда. Монашеские общины по отношению к великим общинам социальным – это то же, что омела по отношению к дубу или бородавка – к телу человека. Их процветание и благоденствие означает обнищание страны. Монастырский уклад, полезный в младенческую пору цивилизации, смягчающий своим духовным воздействием грубость нравов, вреден в период возмужалости народов. Кроме того, с появлением в обителях распущенности, в период их упадка, уклад этот, поскольку он все еще продолжает служить примером, становится пагубным по тем же причинам, по которым был благотворным в период его чистоты.

Затворничество отжило свое время. Монастыри, полезные во времена появления современной цивилизации, препятствовали дальнейшему ее росту и стали губительны для ее развития. Как институты, как способ формирования человека, эти монастыри, благотворные в десятом веке, спорные в пятнадцатом, отвратительны в девятнадцатом. Монашеская проказа разъела почти до костей две прекрасных нации – Италию и Испанию, олицетворявших одна – светоч, другая – великолепие Европы в течение ряда веков. И если в современную нам эпоху эти две прославленные нации начинают излечиваться, то лишь благодаря целительной и здоровой гигиене 1789 года.

Обитель, старинная обитель, особенно женская, в том виде, в каком мы находим ее еще на рубеже нашего столетия в Италии, Австрии, Испании, является одним из самых мрачных воплощений Средних веков. Подобный монастырь – средоточие всех ужасов. Монастырь католический, в подлинном значении этого слова, залит зловещим сиянием смерти.

Особенно мрачен испанский монастырь. Там, в темноте, под сводами, полными мглы, под куполами, тонущими в мути теней, громоздятся массивные исполинские алтари, высокие, как соборы; там, в потемках, свисают на цепях огромные белые распятия; там вытягиваются на черном дереве большие нагие Иисусы из слоновой кости, окровавленные, более того – кровоточащие, безобразные и в то же время великолепные, с обнажившимися на локтях костями, с содранной на коленях кожей, с открытыми ранами, увенчанные серебряными терниями, пригвожденные золотыми гвоздями, с рубиновыми каплями крови на лбу и алмазными слезами в глазах. Эти алмазы и рубины кажутся влажными и заставляют рыдать у подножия распятия существа, окутанные покрывалами, у которых тело истерзано власяницей и плетью с железными наконечниками, грудь сдавлена плетением из ивовых прутьев, колени изранены от стояний на молитве. То женщины, которые мнят себя супругами Христовыми; призраки, которые мнят себя серафимами. Мыслят ли эти женщины? Нет. Есть ли у них желания? Нет. Любят ли они? Нет. Живут ли они? Нет. Их нервы превратились в кость; их кости превратились в камень. Их покрывала сотканы из ночи. Их дыхание под покрывалами подобно какому-то трагическому веянию смерти. Игуменья, кажущаяся привидением, и благословляет их, и держит их в трепете. Здесь бдит непорочность во всей своей свирепости. Таковы старинные испанские монастыри. Гнездилища грозного благочестия; вертепы девственниц; дикие места.

Католическая Испания была более римской, чем самый Рим. Испанский монастырь был по преимуществу монастырем католическим. В нем чувствовался Восток. Архиепископ, небесный кизляр-ага, шпионил за этим сералем душ, уготованных для бога, и держал его на запоре. Монахиня была одалиской, священник – евнухом. Наиболее ревностные в вере становились во сне избранницами и супругами Христа. Ночью прекрасный юноша сходил нагой с креста и повергал в экстаз келью. Высокие стены охраняли от всех впечатлений живой жизни мистическую султаншу, которой распятый заменял султана. Единственный взгляд, брошенный на внешний мир, почитался изменой. In-rase^[62] заменяло собой кожаный мешок. То, что на Востоке кидали в море, на Западе бросали в недра земные. И там и тут женщины ломали себе руки; на долю одних – волны, на долю других – могила; там утопленницы, здесь – погребенные. Чудовищная параллель!

Ныне защитники старины, не будучи в состоянии отрицать эти факты, отделяются усмешкой. В моду вошла удобная и своеобразная манера устранять разоблачения истории, уничтожать комментарии философии и обходить все щекотливые факты и мрачные вопросы. «Предлог для пышных фраз», – говорят люди ловкие. «Это пышные фразы», – вторят им простаки. Жан-Жак – фразер; Дидро – фразер; Вольтер, защищавший Каласа, Лабара и Сирвена, – фразер. Некто – кто именно, не помню – недавно доказывал, что Тацит был фразером, что Нерон – жертва и что решительно надо пожалеть «этого бедного Олоферна».

А факты между тем нелегко сбить с толку, они упорны. Автор этой книги собственными глазами видел в восьми лье от Брюсселя – вот подлинное Средневековье, имеющееся под рукой у всех у нас, – в аббатстве Вилье, ямы от «каменных мешков» среди луга, который когда-то был монастырским двором, а на берегу Диля – четыре каменные темницы, наполовину под землей, наполовину под водой. Это были in-rase. В каждой из таких темниц целы остатки железной двери, отхожее место и зарешеченное оконце, которое с наружной стороны находится в двух футах от воды, а с внутренней – в шести футах от земли. Река протекает вдоль стен на высоте четырех футов. Пол в темнице всегда мокрый. Эта мокрая земля заменяла ложе заключенному в in-rase. В одной из таких темниц сохранился обломок железного ошейника, вделанного в стену; в другой – подобие квадратного ящика из четырех кусков гранита, – ящика, слишком короткого, чтобы в нем можно было лежать, слишком низкого, чтобы в нем можно было стоять. В него

помещали живое существо, прикрывая гранитной крышкой. Так было. Это можно видеть. Можно осязать. Эти in-расе, эти темницы, эти железные крючья, эти ошейники, это высоко прорезанное слуховое окно, в уровень с которым протекает река, этот каменный ящик, прикрытый гранитной плитой, словно могила, с той только разницей, что здесь мертвецом был живой человек, эта грязь, заменяющая пол, эта дыра отхожего места, эта стена, сквозь которую просачивается вода! Каковы фразеры!

Глава 3

При каких условиях можно уважать прошлое

Монашество в том виде, в каком оно существовало в Испании, и в том виде, в каком до сих пор еще существует в Тибете, – род чахотки для цивилизации. Оно совершенно останавливает жизнь. Оно просто-напросто опустошает страну. Монастырское заточение – оскотление. Оно было бичом Европы. Добавьте к этому насилие, так часто применяемое над совестью, принудительное пострижение, феодальный строй, опирающийся на монастырь, право первородства, разрешающее старшим отсылать в монастыри младших членов слишком больших семей, те жестокости, о которых мы только что упоминали, in-расе, замкнутые уста, заточенные мысли, такое множество несчастных душ, брошенных в темницу монашеских обетов, принятие схимы, погребение заживо. Добавьте к захирению всей нации муки этих людей, и, кто бы вы ни были, вы содрогнетесь перед рясой и покрывалом, этими двумя саванами, изобретенными человечеством.

Однако, вопреки философии, вопреки прогрессу, в некоторых местах и в некоторых отношениях дух монашества стойко держится в самый разгар девятнадцатого века, и непонятное усиление аскетизма изумляет в настоящее время цивилизованный мир. Упорное желание отживших установлений продлить свою жизнь похоже на назойливость затхлых духов, которые требовали бы, чтобы мы все еще душили ими наши волосы, на притязание испорченной рыбы, которая захотела бы, чтобы ее съели, на надоедливые просьбы детского платья, которое пожелало бы, чтобы его носил взрослый, и на нежность покойника, который бы вернулся на землю, чтобы обнимать живых.

«Неблагодарный! – говорит одежда. – Я прикрывала вас в непогоду, почему же теперь я вам больше не нужна?» – «Я родилась в морском просторе», – говорит рыба. «Мы были розой», – твердят духи. «Я любил вас», – говорит покойник. «Я просвещал вас», – говорит монастырь.

На это есть один ответ: «То было когда-то».

Мечтать о бесконечном продлении того, что истлело, и об управлении людьми с помощью этого забальзамированного тлена, укреплять расшатавшиеся догматы, освежать позолотой раки, подновлять монастыри, вновь освящать ковчеги с мощами, восстанавливать суеверия, подкармливать фанатизм, приделывать новые ручки к кропилам и рукоятки к шпагам, возрождать монашество и милитаризм, веровать в возможность спасти общество путем размножения паразитов, навязывать прошлое настоящему – все это кажется странным. Однако находятся теоретики, развивающие подобные теории. Эти теоретики, впрочем, люди умные, применяют весьма простой прием: они покрывают прошлое штукатуркой, которую именуют общественным порядком, божественным правом, моралью, семьей, уважением к предкам, авторитетом веков, священной традицией, законностью, религией и шествуют, крича: «Вот вам, получайте, добрые люди!» Но подобная логика была знакома еще древним. Ее применяли аруспии. Они натирали мелом черную телку и заявляли: «Она белая». Vos cretatus^[63]. Что касается нас, то мы в иных случаях почитаем прошлое, щадим его всюду, лишь бы оно

соглашалось мирно покоемся в могиле. Если же оно упорно хочет восстать из мертвых, мы нападаем на него и стараемся убить.

Суеверия, ханжество, пустосвятство, предрассудки – эти призраки, несмотря на всю свою призрачность, цепляются за жизнь: они зубасты и когтисты, хоть и эфемерны; с ними надо вступить врукопашную и воевать с ними, не давая им передышки, ибо одним из роковых предназначений человечества является вечная борьба с привидениями. Трудно схватить за горло тень и повергнуть ее наземь.

Монастырь во Франции в середине девятнадцатого века – это сборище сов среди бела дня. Монастырь, открыто исповедующий аскетизм в центре города, пережившего 1789, 1830 и 1848 годы, этот Рим, пышно распустившийся в Париже, – настоящий анахронизм. В обычное время, чтобы обнаружить анахронизм и заставить его исчезнуть, надо только разобраться в годе его чеканки. Но мы живем не в обычное время.

Будем бороться!

Будем бороться, но осмотрительно. Свойство истины – никогда не преувеличивать. Ей нет в этом нужды! Существует нечто, подлежащее уничтожению, иное же надо только осветить и в нем разобраться. Великая сила таится в благожелательном и серьезном изучении предмета! Не надо языков пламени там, где достаточно простого луча.

Итак, живя в девятнадцатом веке, мы вообще относимся враждебно к аскетическому затворничеству, у каких бы народов оно ни существовало, будь то в Азии или в Европе, в Индии или в Турции. Кто говорит: «монастырь» – говорит: «болото». Их способность к загниванию очевидна, их стоячие воды вредоносны, их брожение заражает лихорадкой и изнуряет народы; их размножение становится казнью египетской. Мы без ужаса не можем помыслить о тех странах, где кишат, как черви, всевозможные факиры, бонзы, мусульманские монахи-отшельники, калугеры, марабуты, буддистские священники и дервиши.

И все же религиозный вопрос существует. В нем есть таинственные, почти грозные стороны. Да будет нам дозволено взглянуть в них пристальней.

Глава 4

Монастырь с точки зрения принципов

Люди собираются и живут сообща. В силу какого права? По праву объединения.

Они запираются у себя. В силу какого права? По праву каждого человека отворять или запирать свою дверь.

Они не покидают своих четырех стен. В силу какого права? По праву свободного передвижения, включающего также право оставаться у себя.

Но что делают они там, у себя?

Они говорят шепотом; они опускают глаза долу; они работают. Они отрекаются от мира, от городов, от чувственных наслаждений, от удовольствий, от суетности, от гордыни, от корысти. Они облачены в грубую шерсть или грубый холст. Никто из них не владеет никакой собственностью. Вступая в подобную общину, богатый становится бедным. То, чем он владеет, он отдает всем. Тот, кто был так называемого благородного происхождения, дворянин, вельможа, равен теперь простому крестьянину. Келья одна и та же для всех. Все подвергаются тому же обряду пострижения, носят одинаковые рясы, едят тот же черный хлеб, спят на той же соломе, на одинаковом пепле умирают. То же вместище на спине, то же вервие вокруг чресел. Если положено ходить босыми, все ходят босые. Среди них может быть князь, но и князь – такая же тень, как и другие. Титулов больше нет. Даже фамилии исчезают. Остаются лишь имена. Крестное имя равняет всех. Люди отторгаются от семьи кровной и создают в своей общине

семью духовную. У них нет иной родни, кроме всего человечества. Они помогают бедным, ухаживают за больными. Они сами избирают тех, кому повинуются. Они называют друг друга «брат».

Вы прерываете меня, восклицая: «Но ведь это идеальный монастырь!»

Да, если бы такой монастырь существовал, я должен был бы принять его в расчет.

Потому-то в предыдущих главах книги я говорил об одном монастыре с почтением. Если забыть о средних веках, забыть об Азии, отложить до другого времени вопросы исторический и политический, то, с точки зрения чистой философии, оставляя в стороне требования воинствующей политики, я, при условии совершенно добровольного пострижения и пребывания в монастыре, всегда готов относиться к общинному началу монашества с известного рода вдумчивой, а в некоторых отношениях даже и с благожелательной серьезностью. Где налицо община – там коммуна; где налицо коммуна – там право. Монастырь является продуктом формулы: Равенство, Братство. О величие свободы! Какое блистательное преобразование! Достаточно одной свободы, чтобы монастырь превратить в республику.

Продолжаем.

Эти мужчины или эти женщины, заключенные в четырех стенах, носят грубые рясы, они все равны, они зовут друг друга братьями, все это так; но ведь они еще что-то делают?

Да.

Что же?

Они устремляют взор во мрак, становятся на колени и складывают руки.

Что это означает?

Глава 5

Молитва

Они молятся.

Кому?

Богу.

Молиться богу – что это значит?

Существует ли какая-нибудь бесконечность вне нас? Едина ли она, перманентна, имманентна ли? Непременно ли субстанциональна, поскольку она бесконечна, и была ли бы она ограниченной там, вне нас, не обладая субстанцией? Непременно ли разумна, поскольку она бесконечна, и была ли бы она конечной там, вне нас, не обладая разумом? Пробуждает ли в нас эта бесконечность идею сущности мироздания, в то время как мы самим себе можем приписать только идею личного существования? Иными словами, не является ли она абсолютным понятием, по отношению к которому мы – лишь понятие относительное?

И нет ли, одновременно с бесконечностью вне нас, другой бесконечности, внутри нас самих? Не наслаиваются ли эти две бесконечности (какое страшное множественное число!) друг на друга? Не лежит ли, так сказать, эта вторая бесконечность под первой? Не является ли она зеркалом, отражением, отголоском, бездной, имеющей общий центр с другой бездной? Обладает ли эта вторая бесконечность разумом, как первая? Мыслит ли она? Любит ли? Желает ли? Если эти обе бесконечности одарены разумом, то у каждой из них есть волевое начало, и есть свое «я» как в высшей, так и в низшей бесконечности. Это низшее «я» – душа; это высшее «я» – бог.

Мысленно приводить в соприкосновение низшую бесконечность с высшей и значит молиться.

Не будем ничего оспаривать у человеческого духа; упразднить – дурно. Следует преобразовывать и преображать. Некоторые способности человека направлены к Неведомому: мысль, мечта, молитва. Неведомое – это океан. Что такое сознание? Это компас в Неведомом. Мысль, мечта, молитва – могучее свечение тайны. Будем уважать их. К чему тяготеет это величественное лучеиспускание души? К мраку; то есть к свету.

Величие демократии заключается в том, чтобы ничего не отвергать, ничего не отрицать у человечества. Наряду с правом Человека – по меньшей мере, возле него – стоит право Души.

Сокрушить фанатизм и благоговеть перед бесконечным – таков закон. Не будем ограничиваться тем, что, коленопреклоненные перед древом мироздания, мы созерцаем его несметные разветвления, униженные светилами. У нас есть долг: трудиться над душой человеческой, защищать тайное от чудесного, чтить непостижимое и отвергать нелепое, допускать в области необъяснимого лишь необходимое, оздоравливать верования, освобождать религию от суеверий; уничтожать все, что паразитирует во имя бога.

Глава 6

Неоспоримая благодать молитвы

Что же до способа молиться, то хорош всякий, лишь бы молитва была от души. Переверните ваш требник вверх ногами и слейтесь с бесконечностью.

Мы знаем, что существует философия, отрицающая бесконечность. Существует также философия, отрицающая солнце; эту философию, относящуюся к области патологии, именуют слепотой.

Возводить недостающее нам чувство в источник истины – на это способна лишь дерзкая самоуверенность слепца.

Любопытны те замашки высокомерия, превосходства и снисхождения, которые эта бредущая ощупью философия усваивает по отношению к философии, зрящей бога. Она напоминает крота, восклицającego: «Как они жалки со своим солнцем!»

Мы знаем, что есть прославленные, мудрые атеисты. Приведенные к познанию истины самой своей мудростью, они, в глубине души, не слишком уверены в собственном атеизме; остается лишь дать им другое название. Но во всяком случае, если они и не верят в бога, то уже само величие их разума подтверждает существование бога.

Мы приветствуем в них философов, неумолимо осуждая их философию.

Продолжаем.

Достойна восхищения и та легкость, с какою иные отделяются словами. Одна северная школа метафизики, отличающаяся некоторой туманностью, вообразила, что произвела переворот в человеческих умах, заменив слово «сила» словом «воля».

Сказать «растение хочет», вместо того чтобы сказать «растение произрастает», было бы действительно очень плодотворно, если бы добавляли: «вселенная хочет». Почему? Потому что вывод был бы такой: растение хочет, значит, у него есть свое «я», вселенная хочет, значит, у нее есть свой бог.

Что же касается нас, то хотя мы, в противоположность этой школе, и ничего не отмечаем а priori^[64], все же присутствие воли в растении, признаваемое этой школой, нам труднее допустить, нежели присутствие воли во вселенной, ею отрицаемое.

Отрицать волю бесконечности, то есть волю бога, возможно лишь при условии отрицания бесконечности. Мы это доказали.

Отрицание бесконечности ведет непосредственно к нигилизму. Все становится

«измышлением разума».

Всякий спор с нигилизмом бесполезен. Ибо нигилист, если он логичен, сомневается в существовании своего собеседника и не совсем уверен в собственном существовании.

С его точки зрения, допустимо, что он сам для себя – «измышление разума».

Однако он не замечает того, что все, отрицавшееся им, принимается им же в совокупности, как только он произносит слово «разум».

Словом, всякий путь для мысли закрыт той философией, которая сводит все к односложному «нет».

На «нет» есть лишь один ответ: «да».

Нигилизм заводит в тупик.

Небытия нет. Нуля не существует. Все представляет собой нечто. Ничто – есть что-то.

Человек живет утверждением еще более, чем хлебом.

Видеть и показывать – недостаточно. Философия должна быть действенной; ее стремлением и целью должно быть совершенствование человека. Сократ должен воплотиться в Адама и воспроизвести Марка Аврелия, другими словами – должен выявить в человеке-жизнелюбце человека-мудреца, заменить Эдем Аристотелевым Ликеем. Наука должна быть живительным средством. Наслаждаться – какая жалкая цель и какое суетное тщеславие! Наслаждается и скот. Мыслить – вот подлинное торжество души. Протянуть жаждущему человечеству чашу мышления, дать всем людям в качестве эликсира познание бога, заставить в их душах совесть побрататься со знанием, сделать их справедливыми в силу этого таинственного союза – таково назначение реальной философии. Нравственность – это цветение истин. Созерцание приводит к действию. Абсолютное должно быть целесообразным. Надо, чтобы идеал можно было вдыхать, впивать, надо, чтобы он стал удобоварим для ума человеческого. Именно идеал и вправе сказать: «Приимите, ядите, сие есть тело мое, сие есть кровь моя». Мудрость – это святое причастие. Лишь при этом условии она перестает быть бесплодной любовью к науке, и, став единственным и главным средством объединения людей, она из философии превращается в религию.

Философия не должна быть башней, воздвигнутой для того, чтобы созерцать оттуда тайну в свое удовольствие и ради одного только любопытства.

Мы же, откладывая подробное развитие нашей мысли до другого случая, лишь скажем: нам непонятны ни человек как точка отправления, ни прогресс как цель без двух движущих сил – веры и любви.

Прогресс есть цель, идеал есть образец.

Что такое идеал? Это бог.

Идеал, абсолют, совершенство, бесконечность – слова тождественные.

Глава 7

Порицать следует с осторожностью

На истории и философии лежат обязанности, вечные и в то же время простые; бороться против Кайафы-первосвященника, против Дракона-судьи, против Тримальхиона-законодателя, против Тиверия-императора, – все это ясно, определено, четко и ничего туманного в себе не содержит. Но право жить обособленно, при всех неудобствах и злоупотреблениях, связанных с этим, требует признания и пощады. Отшельничество – проблема чисто человеческая.

Говоря о монастырях, этих местах заблуждения, но вместе с тем и непорочности, самообмана, но и добрых намерений, невежества, но и самоотвержения, мучений, но и мученичества, следует почти всегда и допускать их, и отвергать.

Монастырь – противоречие. Его цель – спасение; средство – жертва. Монастырь – это предельный эгоизм, искупаемый предельным самоотречением.

Отречься, чтобы властвовать, – вот, по-видимому, девиз монашества.

В монастыре страдают, чтобы наслаждаться. Выдают вексель, по которому платить должна смерть. Ценой земного мрака покупают лучезарный небесный свет. Принимают ад как залог райского блаженства.

Пострижение в иноки или инокини – самоубийство, вознаграждаемое вечной жизнью.

По-нашему, тут насмешки неуместны. Здесь все серьезно: и добро и зло.

Человек справедливый нахмурится, но никогда не позволит себе язвительной улыбки. Нам понятен гнев, но не злоба.

Глава 8

Вера, закон

Еще несколько слов.

Мы осуждаем церковь, когда она преисполнена козней, мы презираем хранителей даров духовных, когда они алчут даров мирских; но мы всюду чтим того, кто погружен в размышление.

Мы приветствуем тех, кто преклоняет колени.

Вера! Вот что необходимо человеку. Горе не верующему ни во что!

Быть погруженным в созерцание не значит быть праздным. Есть труд видимый, и есть труд невидимый.

Созерцать – все равно что трудиться; мыслить – все равно что действовать. Руки, скрещенные на груди, – работают, сложенные пальцы – творят. Взгляд, устремленный к небесам, – деяние.

Фалес оставался четыре года неподвижным. Он заложил основы философии.

В наших глазах затворники – не праздные люди, отшельники – не тунеядцы.

Размышлять о Сокровенном – в этом есть величие.

Не отказываясь ни от чего сказанного нами выше, мы полагаем, что живым никогда не следует забывать о могиле. В этом вопросе и священник и философ сходятся. *Смерть неизбежна.* Аббат ордена трапистов перекликается тут с Горацием.

Вкрапывать в свою жизнь мысль о смерти – правило для мудреца и правило для аскета. В этом и мудрец, и аскет согласны друг с другом.

Существует материальное развитие – и его мы хотим. Существует также нравственное величие – и к нему мы стремимся.

Легкомысленные и скорые на заключения люди говорят:

– Какой смысл в этих неподвижных фигурах, обращенных своей мыслью к тайне? Для чего они? Что они делают?

Увы! Перед лицом той тьмы, которая окружает нас и ожидает нас, и в неведении того, во что превратит нас великий конечный распад, мы отвечаем: «Быть может, нет деяния выше того, что творят эти души». И добавляем: «Быть может, нет труда более полезного».

Нужны ведь людям вечные молещики за тех, кто никогда не молится.

По-нашему, весь вопрос в том, сколько мысли примешивается к молитве.

Молящийся Лейбниц – это величественно; Вольтер, поклоняющийся божеству, – это прекрасно. Deo erexit Voltaire^[65].

Мы стоим за религию против религий.

Мы принадлежим к числу тех, кто уверен в ничтожестве молитвословий и в возвышенности молитвы.

Впрочем, в переживаемое нами время, которое, к счастью, не наложит своего отпечатка на девятнадцатый век, – время, когда существует столько людей с низкими лбами и низменными душонками, когда столько людей возводят наслаждение в моральный принцип и поглощены скоропреходящими и отвратительными материальными благами, – всякий удаляющийся от мира заслуживает в наших глазах почета. Монастырь – отречение. Жертва, в основе которой лежит ошибка, все же жертва. Поставить себе долгом суровую ошибку – это не лишено высокого благородства.

Если взять истину и беспристрастно исследовать ее до конца, со всех сторон, то нельзя не признать, что монастырь, сам по себе и как отвлеченное понятие, бесспорно, обладает некоторым величием. И особенно женская обитель, ибо в нашем обществе больше всего страдает женщина, а в этом добровольном уходе в иночество звучит протест.

Столь суровое и столь безотрадное монастырское существование, отдельные черты которого мы только что обрисовали, – не жизнь, ибо в нем нет свободы, и не могила, ибо в нем нет успокоения; это странное место, откуда, как с вершины высокой горы, по одну сторону видна бездна, где мы находимся, а по другую – бездна, где будем находиться. Это грань, узкая и туманная, разделяющая два мира, освещаемая и омрачаемая обоими одновременно, – здесь угасающий луч жизни сливается с мглистым лучом смерти; это полумрак гробницы.

Мы же, не веруя в то, во что веруют эти женщины, но живя, как и они, верой, – мы никогда не могли смотреть без некоторого священного и нежного трепета, без страдания, смешанного с какой-то завистью, на эти самоотверженные существа, трепещущие и доверчивые, на эти смиренные и возвышенные уповающие души, осмеливающиеся жить на самом краю тайны, между миром, который замкнут для них, и небом, которое для них не отверсто. Обратившись душой к невидимому свету, обладая лишь счастьем думать, что им известно, где этот свет находится, ищущие бездны и неведомого, они вперяют взор в неподвижный мрак, коленопреклоненные, исступленные, изумленные, трепещущие, в иные часы полувознесенные могучим дуновением вечности.

Именно в такую обитель Жан Вальжан и «упал с неба», как выразился Фошлеван.

Он перелез через садовую ограду, на углу улицы Полонсо. Этот гимн ангелов, донесшийся до него среди глубокой ночи, был хор монахинь, певших утрению; эта зала, представшая перед ним во мраке, была часовня; этот призрак, который он увидел простертым на полу, была сестра, «совершающая искупление»; этот бубенчик, звук которого столь поразил его, был бубенчик садовника, привязанный к колену дедушки Фошлевана.

Уложив Козетту спать, Жан Вальжан и Фошлеван, как мы уже упоминали, поужинали куском сыра и стаканом вина перед ярко пылающим очагом; затем они быстро улеглись на двух охапках соломы, так как единственная постель в сторожке занята была Козеттой. Улегшись, Жан Вальжан сказал: «Я должен остаться здесь навсегда». Эти слова всю ночь вертелись в голове Фошлевана.

Говоря по правде, ни тот, ни другой не сомкнули глаз до самого утра.

Жан Вальжан, чувствуя, что Жавер узнал его и идет по горячим следам, понимал, что если он и Козетта вернутся в Париж, то погибнут. Но налетевший на него новый шторм забросил их в этот монастырь, и Жан Вальжан теперь помышлял лишь об одном: остаться здесь. Сейчас для несчастного в его положении этот монастырь был одновременно и самым опасным, и самым безопасным местом, самым опасным, ибо ни один мужчина не имел права ступить за его порог; если его там обнаруживали, то считали застигнутым на месте преступления, – таким образом, для Жана Вальжана этот монастырь мог оказаться дорогой к тюрьме; самым безопасным, ибо если человеку удавалось проникнуть сюда и остаться, то кому же взбретет в голову искать его здесь? Поселиться там, где поселиться невозможно, – вот спасение.

Ломал себе над этим голову и Фошлеван. Начал он с признания в том, что ровно ничего не понимает. Каким образом г-н Мадлен оказался здесь, когда кругом стены? Через монастырские ограды так просто не пролезть. Как же так он оказался здесь да еще с ребенком? По отвесным стенам не карабкаются с ребенком на руках. Что это был за ребенок? Откуда они оба появились? С той поры как Фошлеван находился в монастыре, он никогда ничего не слышал о Монрейле-Приморском и ни о чем происшедшем там не знал. Дядюшка Мадлен держал себя так, что подступиться к нему с вопросами нельзя было; к тому же Фошлеван и сам говорил себе: «Святых не расспрашивают». В его глазах г-н Мадлен продолжал оставаться значительной особой. Единственно, что мог заключить садовник из нескольких слов, вырвавшихся у Жана Вальжана, это что г-н Мадлен по причине тяжелых времен, видимо, разорился и его преследуют кредиторы, или же замешан в каком-нибудь политическом деле и скрывается; но это отнюдь не отвратило от него Фошлевана, который, как многие из наших северных крестьян, был старой бонапартистской закваски. Скрываясь, г-н Мадлен избрал убежищем монастырь и, само собою разумеется, захотел в нем остаться. Но что для Фошлевана было необъяснимым, к чему он постоянно возвращался и перед чем становился в тупик, это – каким образом г-н Мадлен очутился здесь, и не один, а с малюткой. Фошлеван видел их, касался их, говорил с ними – и не мог этому поверить. Впервые в сторожку Фошлевана вступило непостижимое. Фошлеван терялся в догадках и ничего ясно себе не представлял, кроме того, что г-н Мадлен спас ему жизнь. В этом он был уверен твердо, и это повлияло на его решение. Он сказал себе: «Теперь

моя очередь». А совесть его добавила: «Господин Мадлен столько не раздумывал, когда нужно было кинуться под повозку меня оттуда вытаскивать». Он решил спасти г-на Мадлена.

Он задал себе все же несколько вопросов и сам дал на них ответы: «А что, если б он оказался вором, стал бы я его спасать, помня, кем он был для меня? Конечно. Если бы он был убийцей, стал бы я его спасать? Конечно. Но он святой, стану я его спасать? Конечно».

Однако как помочь ему остаться в монастыре? Какая трудная задача! Перед такой попыткой, почти не осуществимой, Фошлеван тем не менее не отступил. Скромный пикардийский крестьянин решил преодолеть крепостной вал монастырских запретов и сурового устава св. Бенедикта, имея взамен штурмовой лестницы лишь преданность, искреннее желание и некоторую долю старой крестьянской смекалки, призванной на этот раз сослужить ему службу в великодушном его намерении. Дедушка Фошлеван был старик, проживший всю свою жизнь эгоистом, и вот, на склоне дней, хромой, немощный, ничем уже в жизни не интересующийся, он нашел отраду в чувстве признательности и, увидев возможность совершить добродетельный поступок, с такой жадностью накинулся на это, с какой умирающий, найдя под рукой стакан хорошего вина, никогда им не отведенного, хватает его и пьет. Добавим к этому, что атмосфера монастыря, которой он дышал вот уже несколько лет, уничтожила в нем себялюбие и привела к тому, что в душе его возникла потребность проявить милосердие, совершив хоть какое-нибудь доброе дело.

Итак, он решился отдать себя в распоряжение г-на Мадлена.

Мы только что назвали его «скромным пикардийским крестьянином». Определение правильное, но не исчерпывающее. Мы дошли до того места нашего рассказа, где полезно дать некоторую психологическую характеристику дедушке Фошлевану. Он был из крестьян, но когда-то служил письмоводителем у нотариуса, и это придало некоторую гибкость его уму и проницательность его простодушью. Потерпев по множеству разнообразных причин крушение в своих делах, он из письмоводителя превратился в возчика и поденщика. И все же, вопреки ругани и щелканью кнутом, что составляло его занятие и без чего, по-видимому, не могли обходиться его лошади, в нем был еще жив письмоводитель. Он обладал природным умом; его речь была правильной; он, что редко встречается в деревне, умел поддерживать разговор, и крестьяне говорили про него: «Он что твой барин в шляпе». Фошлеван действительно принадлежал к тому разряду простолюдинов, которые на дерзком и легкомысленном языке прошлого столетия назывались «полугорожанин, полудеревенщина» и которые в метафорах, употребляемых во дворцах по адресу хижин, именовались так: «Не то мещанин, не то мужик; в общем, ни то ни се». Фошлеван, этот жалкий старик, дышавший на ладан, хоть и много претерпел от судьбы и был изрядно ею измучен, все же оставался человеком, повинующимся, и совершенно добровольно, первому побуждению, – драгоценное качество, никогда не допускающее человека творить зло. Его недостатки и его пороки, ибо он таковыми обладал, были поверхностны; словом, он принадлежал к числу людей, которые при ближайшем соприкосновении с ними выигрывают. На этом старческом лице отсутствовали те неприятные морщины, которые, покрывая верхнюю часть лба, свидетельствуют о злобе или тупости.

Открыв глаза на рассвете, Фошлеван, размышлявший всю ночь напролет, увидел, что г-н Мадлен, сидя на своей охапке соломы, глядит на спящую Козетту. Фошлеван приподнялся и сказал:

– Теперь, когда вы здесь, как вы думаете поступить, чтобы войти сюда уже по всем правилам?

Эти слова определили положение вещей и вывели Жана Вальжана из задумчивости.

Старики принялись совещаться.

– Прежде всего, – сказал Фошлеван, – вы не переступите порога этой комнаты, ни вы, ни

девочка. Стоит вам выйти в сад, мы пропали.

– Это верно.

– Господин Мадлен, вы попали сюда в очень хорошее время, то есть я хочу сказать, в очень плохое. Одна из этих преподобных здорово больна. Значит, на нас не будут обращать особенного внимания. Сдается, она уже при смерти. Ее соборуют. Вся обитель на ногах. Они заняты. Та, что отходит, – святая. Сказать правду, все мы тут святые. Между ними и мною только и разницы, что они говорят: «наша келья», а я говорю: «мой закуток». Сначала будут служить отходную, а потом заупокойную. Сегодня мы можем не беспокоиться, но за завтра я не ручаюсь.

– Однако, – заметил Жан Вальжан, – эта хижина стоит в углублении стены, она скрыта чем-то вроде развалин, окружена деревьями, из монастыря ее не видно.

– А я прибавлю еще, что монахини никогда к ней и не подходят.

– Так в чем же дело? – воскликнул Жан Вальжан.

Вопросительный знак, которым заканчивалась его фраза, означал: «Мне кажется, что здесь можно жить незамеченным». Именно на это Фошлеван и возразил:

– А девочки?

– Какие девочки? – удивился Жан Вальжан.

Только что Фошлеван собрался ответить, как раздался удар колокола.

– Монахиня скончалась, – сказал он. – Слышите похоронный звон?

Он сделал знак Жану Вальжану, чтобы тот прислушался.

Колокол прозвучал вторично.

– Это похоронный звон, господин Мадлен. Колокол будет звонить ежеминутно целых двадцать четыре часа, до самого выноса тела из церкви. А девочки, видите ли, играют; если во время перемены у них закатится сюда мячик, так они, несмотря на запрещение, все равно прибегут сюда и будут совать свой нос повсюду. Эти херувимчики – настоящие дьяволята!

– Кто? – спросил Жан Вальжан.

– Девочки. Вас мигом обнаружат, не сомневайтесь. А потом станут кричать: «Глядите-ка, мужчина!» Но сегодня опасаться нечего. Никакой перемены у них не будет. Весь день уйдет на молитвы. Вы слышите колокол? Я вам уже говорил – по удару в минуту. Это похоронный звон.

– Понимаю, дедушка Фошлеван. Здесь, значит, есть воспитанницы?

А про себя он подумал: «Воспитание Козетты было бы обеспечено».

Фошлеван воскликнул:

– Еще бы! Конечно, тут есть маленькие девочки! Ну и подняли же бы они тут около вас пискотню! И задали же бы стрекача! Здесь мужчина – все равно что чума. Вы сами видите, что мне к лапе привязывают бубенчик, словно я дикий зверь.

Жан Вальжан глубоко задумался.

– Этот монастырь – наше спасение, – шептал он про себя. Затем сказал вслух: – Да, самое трудное – это остаться здесь.

– Нет, – ответил Фошлеван, – выйти отсюда.

Жан Вальжан почувствовал, что вся кровь отхлынула у него от сердца.

– Выйти?

– Да, господин Мадлен, для того чтобы вы могли сюда вернуться, необходимо сначала отсюда выйти.

И, переждав очередной удар колокола, Фошлеван продолжал:

– Никак нельзя, чтобы вас тут застали. Сейчас же спросят, откуда вы появились. Я-то могу считать, что вы упали с неба, потому что я вас знаю. А что касается монахинь, так им требуется, чтобы вы вошли в ворота.

Вдруг послышался более замысловатый звон другого колокола.

– Ага! – сказал Фошлеван. – Это сбор капитула. Зовут матерей-изборщиц. Так бывает всегда, когда кто-нибудь умирает. Она скончалась на рассвете. Все обыкновенно умирают на рассвете. А вы не могли бы выйти тем же путем, каким вошли? Слушайте, это не потому, что я хочу вас допрашивать, но скажите, как вы сюда вошли?

Жан Вальжан побледнел. Одна мысль о том, чтобы спуститься через стену обратно на эту страшную улицу, приводила его в трепет. Вообразите себе, что вы выбрались из леса, полного тигров, и, когда вы в безопасности, вдруг вы слышите дружеский совет вновь возвратиться туда же. Жан Вальжан представил себе весь квартал, еще кишачий полицией, агентов, ведущих наблюдение, дозоры, руки, протянутые к его вороту, и, быть может, на углу перекрестка – сам Жавер.

– Невозможно! – воскликнул он. – Дедушка Фошлеван, считайте, что я упал сюда с неба.

– Ну, я-то верю этому, охотно верю, вам незачем говорить мне, – отвечал Фошлеван. – Господь бог, наверное, взял вас на руки, чтобы разглядеть поближе, а потом выпустил. Только он хотел, чтобы вы попали в мужской монастырь, да ошибся. Ну вот, опять звонят. Этим звоном предупреждают привратника, чтобы он пошел предупредить муниципалитет, а уж тот предупредит врача покойников, чтобы пришел посмотреть покойницу. Так уж водится, когда умирают. Наши преподобные недолгобливают такие осмотры. Ведь врачи – это народ, который ни во что не верит. Врач приподымает покрывало. Иногда он даже приподымает кое-что другое. Что это они так поспешили на этот раз предупредить врача? Что такое случилось? А ваша малютка все еще спит. Как ее зовут?

– Козетта.

– Это ваша девочка? Вернее сказать, вы будете ее дед?

– Да.

– Ей-то выйти отсюда будет легко. Есть тут служебная калитка прямо во двор. Я постучусь. Привратник откроет. У меня за спиной корзина, в ней малютка. Я выхожу. Дедушка Фошлеван вышел с корзиной – ничего странного в этом нет. Вы скажете девочке, чтобы она сидела смирно. Ее не будет видно под чехлом. На столько времени, сколько потребуется, я помещу ее у моей старой приятельницы, глухой торговки фруктами на улице Зеленая дорога, у нее есть детская кроватка. Я крикну ей в ухо, что это моя племянница и что я ее оставлю до завтра у нее. А потом малютка вернется уже с вами, потому что я устрою так, что вы вернетесь. Это непременно надо сделать. Но вы-то как отсюда выйдете?

Жан Вальжан покачал головой.

– Лишь бы меня никто не видел, дедушка Фошлеван, в этом все дело. Найдите способ, чтобы я мог выбраться отсюда в какой-нибудь корзине и под чехлом, как Козетта.

Фошлеван принялся чесать у себя за ухом, что служило признаком серьезного замешательства.

Третий удар колокола придал другой оборот его мыслям.

– Это уходит врач покойников, – сказал Фошлеван. – Он поглядел и сказал: «Она умерла, так и есть». После того как доктор заверил пропуск в рай, бюро похоронных процессий присылает гроб. Если скончалась игуменья, то ее в гроб обряжают игуменьи; если сестра-монахиня, то обряжают сестры. Потом я заколачиваю гроб. Это тоже мое дело, дело садовника. Садовник, он всегда немножко могильщик. Гроб ставят в нижнюю, выходящую на улицу, церковную залу, куда не имеет права входить ни один мужчина, кроме доктора. Меня да факельщиков за мужчин не считают. В этой самой зале я забиваю гроб. Факельщики приходят, выносят гроб – и с богом! Таким-то манером и отправляются на небеса. Вносят пустой ящик, а выносят уже с грузом внутри. Вот что такое похороны. «De profundis»^[66].

Косой утренний луч слегка касался личика Козетты; она спала с чуть приоткрытым ртом и казалась ангелом, пьющим солнечное сияние. Жан Вальжан загляделся на нее. Он больше не слушал Фошлевана.

Если тебя не слушают, то это еще не значит, что ты должен замолчать. Добряк садовник спокойно продолжал переливать из пустого в порожнее:

– Могилу роют на кладбище Вожирар. Говорят, что кладбище Вожирар собираются закрыть. Это старинное кладбище, никаких уставов оно не соблюдает, мундира не имеет и должно скоро выйти в отставку. Жаль, потому что оно удобное. У меня там есть приятель, могильщик, дядюшка Метьен. Здешним монахиням дают там поблажку – их отвозят на это кладбище в сумерки. Префектура насчет этого издала особый приказ. Но чего-чего только не случилось со вчерашнего дня! Матушка Распятие скончалась, а дядюшка Мадлен...

– Погребен, – сказал Жан Вальжан с грустной улыбкой. Фошлеван подхватил это слово.

– Ну, разумеется, если бы вы здесь остались навсегда, это было бы настоящим погребением!

Звон колокола раздался в четвертый раз. Фошлеван поспешно снял с гвоздя наколенник с колокольчиком и снова пристегнул его к колену.

– На этот раз звонят мне. Меня требует мать-настоятельница. Так и есть, я укололся ипсеньком от пряжки. Господин Мадлен, не трогайтесь с места и ждите меня. Видно, есть какие-то новости. Если проголодаетесь, то вот вино, хлеб и сыр.

И он вышел из сторожки, приговаривая: «Иду! Иду!»

Жан Вальжан видел, как он быстро, насколько ему позволяла хромая нога, направился через сад, оглядывая мимоходом свои дынные грядки.

Не прошло и десяти минут, а дедушка Фошлеван, бубенчик которого обращал в бегство встречавшихся на его пути монахинь, уже тихонько стучался в дверь, и нежный голос ответил ему: «Во веки веков», что означало: «Войдите».

Эта дверь вела в приемную, отведенную для разговоров с садовником по делам его службы. А приемная примыкала к залу заседаний капитула. На единственном стоящем в приемной стуле сидела настоятельница и ожидала Фошлевана.

Глава 2

Фошлеван в затруднительном положении

При некоторых критических обстоятельствах людям известного склада характера, а также людям известных профессий свойственно принимать взволнованный и одновременно значительный вид – особенно священнослужителям и монахам. В ту минуту, когда вошел Фошлеван, именно такое двойственное выражение озабоченности и лежало на лице настоятельница – некогда очаровательной и ученой мадемуазель Блемер, а ныне матушки Непорочность, обычно такой веселой.

Садовник боязливо поклонился, остановившись на пороге кельи. Настоятельница, перебиравшая четки, взглянула на него и сказала:

– А, это вы, дедушка Фован?

Этим сокращенным именем принято было называть его в монастыре.

Фошлеван снова поклонился.

– Дедушка Фован, я приказала позвать вас.

– Вот я и пришел, честная мать.

– Мне нужно поговорить с вами.

– И мне тоже, – сам испугавшись своей дерзости, сказал Фошлеван. – Мне тоже надо кое-что сказать вам, пречестная мать.

Настоятельница поглядела на него.

– Вы хотите сообщить мне что-то?

– Нет, попросить.

– Хорошо, говорите.

Добряк Фошлеван, бывший письмоводитель, принадлежал к тому типу крестьян, которые не лишены самоуверенности. Невежество, приправленное хитрецей, – сила; его не страшатся, и поэтому на него попадают. Прожив около двух с лишним лет в монастыре, Фошлеван добился признания в общине. Если не считать его работу по садоводству, ему, в постоянном его одиночестве, больше ничего не оставалось делать, как всюду совать свой нос. Держась на расстоянии от всех этих скрытых монашескими покрывалами женщин, снующих взад и вперед, Фошлеван сначала видел перед собой одно лишь мелькание каких-то теней. Но наблюдательность и проницательность помогли ему в конце концов облечь эти призраки в плоть и кровь, и все эти мертвецы ожили для него. Он был словно глухой, глаза которого приобрели дальнзоркость, или слепой, слух которого обострился. Он старался разобраться в значении всех разновидностей колокольного звона и преуспел в этом настолько, что загадочная и молчаливая обитель уже не таила в себе для него ничего непонятного. Этот сфинкс выбалтывал ему на ухо все свои тайны. Фошлеван обо всем знал и обо всем молчал. В этом заключалось его искусство. В монастыре все считали его дурачком. Это большое достоинство в глазах религии. Матери-изборщицы дорожили Фошлеваном. Это был удивительный немой. Он внушал доверие. Кроме того, он знал порядок и выходил из своей сторожки только тогда, когда того явно требовала необходимость быть либо в огороде, либо в саду. Подобная сдержанность была ему поставлена в заслугу. Тем не менее Фошлеван заставил проболтаться двух людей: в монастыре – привратника, и потому знал подробности всего происходившего в приемной; а на кладбище – могильщика, и потому знал все особые обстоятельства похорон. Таким образом, он получал двойного рода сведения о монахинях: одни проливали свет на их жизнь, другие – на их смерть. Но он не злоупотреблял ничем. Община ценила его. Старый, хромым, решительно ничего не смыслящий, без сомнения, глуховатый – какое множество достоинств! Заменить его было бы трудно.

С уверенностью человека, знающего себе цену, добряк обратился к почтенной настоятельнице с весьма глубокомысленной и по-деревенски многословной речью. Он пространно говорил о своем возрасте, хворостях, о бремени лет, удвоившемся для него отныне благодаря возрастающей трудности работы, обширности сада и бессонным ночам, – к примеру, нынешней, когда ему из-за того, что светила луна, пришлось накрывать соломенными матами дынные грядки, – и договорился до следующего: у него есть брат (настоятельница сделала движение), – брат отнюдь не молодой (настоятельница опять сделала движение, но уже более спокойное), и если пожелают, то этот брат мог бы поселиться с ним и помогать ему в работе; это превосходный садовник, и для общины он будет очень полезен, полезнее его самого; а если этого брата взять не согласятся, в таком случае он, Фошлеван-старший, чувствуя упадок сил и видя, что ему не справиться с работой, вынужден будет, как это ни обидно, уйти отсюда; наконец, у его брата есть дочка, которую тот привел бы с собой, девочка выросла бы здесь в страхе божьем и, как знать, может статься, в один прекрасный день постриглась бы в монахини.

Когда он умолк, настоятельница бросила перебирать четки и сказала:

– Можете ли вы сегодня же, до наступления вечера, раздобыть крепкий железный брус?

– Для чего?

– Чтобы можно было употребить его вместо рычага.

– Да, честная мать, – ответил Фошлеван.

Не сказав больше ни единого слова, настоятельница встала и удалилась в соседние покои,

бывшие залом заседаний капитула, где, по всей вероятности, собрались матери-изборщицы. Фошлеван остался один.

Глава 3

Мать Непорочность

Прошло приблизительно четверть часа. Настоятельница вернулась и вновь села на стул. Оба собеседника казались озабоченными. Записываем со всей тщательностью их диалог.

– Дедушка Фован!

– Да, честная мать?

– Знаете вы часовню?

– У меня там есть свое местечко, откуда я слушаю обедню и прочие службы.

– А заходили вы на клирос по служебным надобностям?

– Два или три раза.

– Вот в чем дело. Там надо приподнять камень.

– Тяжелый?

– Каменную плиту возле алтаря.

– Которая закрывает вход в склеп?

– Да.

– Вот случай, когда бы пригодился еще один мужчина.

– Матушка Вознесение вам поможет, она сильна, как мужчина.

– Женщина никогда не заменит мужчину.

– Мы можем дать вам в помощь только женщину. Каждый делает то, что в его силах.

Только потому, что отец Мабильон приводит четыреста семнадцать посланий святого Бернара, а Мерлонус Горстиус всего триста шестьдесят семь, я ведь не отношусь презрительно к Мерлонусу Горстиусу.

– И я так не отношусь.

– Заслуга в том, чтобы работать сообразно со своими силами. Монастырь – не дровяной склад.

– А женщина – не мужчина. Вот брат мой, тот силен!

– А кроме того, у вас будет рычаг.

– Только такой ключ и подходит к таким дверям.

– В плите есть кольцо.

– В него я продену рычаг.

– А плита устроена так, что можно ее повернуть.

– Хорошо, честная мать. Я отворю склеп.

– А четыре матери-певчие вам помогут.

– И когда склеп будет отворен?..

– Тогда его придется вновь закрыть.

– И это все?

– Нет.

– Приказывайте, пречестная мать.

– Фован, мы доверяем вам.

– Я здесь, чтобы исполнять все приказания.

– И соблюдать молчание.

– Да, честная мать.

– Когда склеп будет открыт...

- То я его опять закрою.
- Но сначала...
- Что, честная мать?
- В него надо будет кое-что опустить.

Настоятельница молчала. Настоятельница поджала нижнюю губу, точно сомневаясь в чем-то, затем, прервав молчание, заговорила:

- Дедушка Фован!
- Да, честная мать?
- Вам известно, что сегодня утром скончалась монахиня?
- Нет.
- Разве вы не слышали колокольного звона?
- В глубине сада ничего не слышно.
- Правда?
- Я даже с трудом слышу звон, которым вызывают меня.
- Она скончалась на рассвете.
- А кроме того, ветер сегодня дул не в мою сторону.
- Преставилась матушка Распятие. Праведница.

Настоятельница умолкла, пошевелила губами, словно мысленно произнося молитву, и продолжала:

– Три года тому назад госпожа Бетюн, янсенистка, приняла истинную веру только потому, что видела, как молится мать Распятие.

- А, верно! Вот теперь я слышу похоронный звон, честная мать.
- Монахини перенесли ее в покойницкую, смежную с церковью.
- Я знаю, где это.
- Ни один мужчина, кроме вас, не смеет и не должен входить в эту комнату. Следите за этим. Каково было бы, если бы в покойницкую проник какой-нибудь мужчина!

- Как бы не так!
- Что?
- Как бы не так!
- Что вы говорите?
- Я говорю, что как бы не так!
- Что как бы не так?
- Честная мать, я не говорю «что как бы не так!», а говорю «как бы не так!».
- Я вас не понимаю. Почему вы говорите «как бы не так»?
- Чтобы подтвердить то, что вы сказали, честная мать.
- Но я не говорила «как бы не так!».
- Вы этого не говорили, но я это сказал, чтобы подтвердить то, что вы сказали.

В эту минуту пробило девять часов.

– В девять часов и во всякий час хвала и поклонение пресвятым дарам престола, – произнесла настоятельница.

– Аминь, – сказал Фошлеван.

Часы пробили очень кстати. Они пресекли это «как бы не так». Не пробей они, вполне вероятно, что настоятельница и Фошлеван никогда бы не выпутались из этого дела.

Фошлеван отер пот со лба.

Настоятельница опять что-то пробормотала про себя, наверное, из Святого Писания, потом, повысив голос, изрекла:

– При жизни матушка Распятие творила обращения; после смерти она будет творить

чудеса.

– Уж она-то будет их творить! – подтвердил Фошлеван, подделываясь к настоятельнице и стараясь больше не сплеховать.

– Дедушка Фован, для общины матушка Распятие была благословением божьим. Конечно, не всякому дана такая кончина, как кардиналу Берюлю, который, служа обедню, со словами «Hanc igitur oblationem»^[67] на устах, отдал богу душу. Но, хотя наша усопшая и не была удостоена такого счастья, кончина ее все же достойна зависти. Она до последней минуты была при полном сознании. Она говорила с нами, потом говорила с ангелами. Она сообщила нам свою последнюю волю. Если бы вы были крепче в вере и если бы могли тогда быть у нее в келье, то она одним своим прикосновением исцелила бы вашу ногу. Она улыбалась. Так и чувствовалось, что она воскресает в боге. Блаженная кончина!

Фошлеван решил, что настоятельница заканчивает молитву.

– Аминь, – сказал он.

– Дедушка Фован, волю умерших надо исполнять.

Настоятельница пропустила сквозь пальцы несколько зерен на четках. Фошлеван молчал. Она продолжала:

– По этому вопросу я справлялась у многих духовных лиц, трудившихся во Христе над подвигами монашеской жизни. Плоды их усилий удивительны.

– Честная мать, отсюда похоронный звон слышен много лучше, чем из сада.

– Кроме того, она больше, чем просто усопшая, она – святая.

– Как и вы, честная мать.

– Она двадцать лет спала в своем гробу, с особого разрешения святого нашего отца папы Пия Седьмого.

– Того самого, который короновал импе... Буонапарта.

Для такого смышленного человека, каким был Фошлеван, подобное воспоминание было неудачным. К счастью, настоятельница, всецело поглощенная своей мыслью, не расслышала его. Она продолжала:

– Дедушка Фован!

– Да, честная мать?

– Святой Диодор, архиепископ Каппадокийский, пожелал, чтобы на его склепе было написано единственное слово: «Asarus», что значит червь земляной; это было исполнено. Не так ли?

– Так, честная мать.

– Блаженный Меццокан, аквилейский аббат, пожелал быть преданным земле под виселицей; это было исполнено.

– Верно.

– Святой Теренций, епископ города Порты, расположенного при впадении Тибра в море, пожелал, чтобы на его надгробной плите была вырезана такая же надпись, как у отцеубийц, надеясь, что все прохожие будут плевать на его могилу; это было сделано. Волю усопших следует исполнять.

– Да будет так.

– Тело Бериара Гвидония, родившегося во Франции близ Рош-Абейль, было, как он приказал и вопреки королю Кастилии, перенесено в церковь доминиканцев, в городе Лиможе, хотя Бернар Гвидоний был епископом испанского города Тюи. Можно ли на это что-нибудь возразить?

– Никак нет, честная мать.

– Этот случай засвидетельствован Плантавием де ла Фос.

Молча пропустив еще несколько зерен, настоятельница продолжала:

– Дедушка Фован, матушка Распятие будет погребена в том гробу, в котором спала двадцать лет.

– Это правильно.

– Это будет продолжение ее сна.

– Значит, мне придется заколотить ее в этот самый гроб?

– Да.

– А казенный гроб мы так и оставим без дела?

– Именно.

– Я к услугам пречестной общины.

– Четыре матушки-певчие вам помогут.

– Это чтобы заколотить гроб? И без них обойдусь.

– Не заколотить, а спустить.

– Куда?

– В склеп.

– В какой склеп?

– Под алтарем.

Фошлеван так и подскочил на месте.

– В склеп под алтарем!

– Под алтарем.

– Но...

– У вас будет железный брус.

– Да, но...

– Вы приподнимете плиту за кольцо, продев в него этот брус.

– Но...

– Воле усопших надо повиноваться. Быть погребенной в склепе под алтарем часовни, не лежать в неосвященной земле, остаться после смерти там, где молилась при жизни, – это предсмертная воля матери Распятие. Она просила нас об этом, иначе говоря, приказала.

– Но ведь это запрещено.

– Запрещено людьми, повелено богом.

– А если об этом узнают?

– Мы вам доверяем.

– Ну, я-то нем, как камень из вашей ограды.

– Капитул собрался. Матери-изборщицы, с которыми я только что опять советовалась и которые продолжают еще обсуждение, решили, что матушка Распятие, согласно ее желанию, будет похоронена в своем гробу под нашим алтарем. Вы только подумайте, дедушка Фован, сколько здесь будет твориться чудес! Как прославится во имя господа наша обитель! Из могил и исходят чудеса.

– Но, честная мать, а если уполномоченный санитарной комиссии...

– Святой Бенедикт Второй расхаживал по вопросам погребения с Константином Погонатом.

– А полицейский пристав...

– Хонодмер, один из семи королей германских, вторгшихся в Галлию при императоре Констанции, именно за монахами признал право быть погребенными в лоне религии, то есть под алтарем.

– Но инспектор префектуры...

– Все мирское есть прах перед лицом церкви! Мартин, одиннадцатый генерал картезианцев, дал ордену своему такой девиз: «Stat crux dum volvitur orbis»^[68].

– Аминь, – сказал Фошлеван, неизменно выходивший подобным образом из затруднительного положения, в какое его всякий раз ставила латынь.

Для того, кто слишком долго молчал, годятся любые слушатели. В тот день, когда ритор Гимнасторас вышел из тюрьмы, с множеством вбитых там в него новых дилемм и силлогизмов, то, остановившись перед первым попавшимся ему по дороге деревом, он обратился к нему с речью и затратил огромные усилия, чтобы его убедить. Настоятельница, обычно соблюдавшая обет строгого молчания, но обуреваемая желанием высказаться, поднялась и разразилась речью с неудержимостью потока, хлынувшего в открытый шлюз.

– По правую руку мою – Бенедикт, по левую – Бернар. Кто такой Бернар? Он первый настоятель Клерво-Фонтен в Бургундии – место благословенное, ибо там он появился на свет. Отца его звали Теселином, а мать Алетой. Свой подвиг он начал в Сито, а закончил в Клерво; в настоятели он был рукоположен епископом Шалона-на-Соне, Гильомом де Шампо. У него было семьсот послушников, он основал сто шестьдесят монастырей; он поверг во прах Абеяра на Санском соборе в тысяча сто сороковом году, а также Пьера де Брюи и его ученика Генриха и других заблудших, которые именовались «апостольскими учениками»; он смутил Арно из Брешии, разгромил монаха Рауля, убийцу евреев; в тысяча сто сорок восьмом году он диктовал свою волю собору в Реймсе, осудил Жильбера де ла Поре, епископа Пуатье, осудил Зона де л'Этуаль, уладил распри между принцами, обратил в истинную веру Людовика Младшего, давал советы папе Евгению Третьему, руководил монастырем Тамплъ, проповедовал крестовый поход, сотворил двести пятьдесят чудес в течение своей жизни, творя иногда по тридцати девяти чудес в день. Кто такой Бенедикт? Это патриарх Монте-Кассини; это второй основоположник монастырских уставов, это Василий Великий Запада. Учрежденный им орден дал сорок пап, двести кардиналов, пятьдесят патриархов, тысячу шестьсот архиепископов, четыре тысячи шестьсот епископов, четырех императоров, двенадцать императриц, сорок шесть королей, сорок одну королеву, три тысячи шестьсот канонизированных святых и существует уже тысячу четыреста лет. С одной стороны, святой Бернар; с другой – уполномоченный санитарной комиссии! С одной стороны, святой Бенедикт; с другой – инспектор городских свалок! Государство, инспекция, бюро похоронных процессий, правила, администрация – какое нам до этого дело? Любой встречный был бы возмущен, если бы увидел, как с нами обходятся. Мы не имеем даже права отдавать прах наш Иисусу Христу! Ваша санитарная комиссия – это революционная выдумка. Господь, подчиненный полицейскому приставу, – вот наш век! Молчите, Фован!

Под этим ливнем слов Фошлеван чувствовал себя не в своей тарелке. Настоятельница продолжала:

– В праве монастыря на погребение никто не сомневается. Только фанатики и еретики отрицают его. Мы живем в эпоху страшных заблуждений. То, о чем следует знать, никому не ведомо, а ведомо то, о чем знать не следует. Люди невежественны и нечестивы. В наше время находятся среди них такие, что не делают различия между Бернаром, величайшим из святых, и так называемым Бернаром Бедных католиков, добрым священником, жившим в тринадцатом веке. А иные доходят до такого богохульства, что сравнивают казнь Людовика Шестнадцатого на эшафоте с казнью Иисуса Христа на кресте. Людовик Шестнадцатый был всего только королем. Убоимся же гнева господня! Нет больше ни праведного, ни неправедного. Все знают имя Вольтера, но никто не знает имени Цезаря де Бюса. Между тем Цезарь де Бюс был блаженный, а Вольтер – просто блажной. Последний архиепископ, кардинал Перигор, не знал даже, что Шарль де Гондран был преемником Берюля, а Франсуа Бургуэн – преемником Гондрана, а Жан-Франсуа Сэно – преемником Бургуэна, а отец Сент-Март – преемником Жана-Франсуа Сэно. Все знают имя отца Котона, но не потому, что он был одним из трех основателей

Оратории, а потому, что дал предлог для бранной поговорки короля-гугенота Генриха Четвертого. Сердцу мирских людей святой Франсуа Сальский любезен потому, что он плутовал в карточной игре. А после этого нападают на религию. Почему? Потому что были дурные пастыри, потому что епископ Гапский был братом Салона, епископа Амбреноского, и потому что оба они были последователями Момоля. Ну и что же? Разве это помешало Мартину Турскому остаться святым и отдать половину своего плаща нищему? Святых преследуют. Закрывают глаза на истину. Привыкли к мраку. А самые свирепые звери – звери слепые. Никто всерьез не думает об аде. О негодный народ! «Именем короля» означает ныне «именем революции»; люди забыли свой долг и в отношении живых, и в отношении мертвых. Умирать, как должно праведнику, воспрещено. Погребение стало делом гражданских властей. Это ужасно. Его святейшество Лев Второй написал по этому поводу два обращения – одно к Пьеру Нотеру, другое к королю вестготов, с целью оспорить и низвергнуть главенство экзарха и верховную власть императора в вопросах, касающихся усопших. Готье, епископ Шалонский, дал по этому же поводу отпор Отону, герцогу Бургундскому. Прежде магистратура держалась того же мнения. В былое время, в капитуле, мы имели право высказываться и по мирским делам. Аббат Сито, генерал ордена, был почетным советником в бургундской судебной палате. Мы поступаем с нашими усопшими так, как считаем нужным. Разве прах святого Бенедикта не покоится во Франции в аббатстве Флери, именуемом Сен-Бенуа-на-Луаре, хотя он скончался в Италии, в Монте-Кассини, в субботу двадцать первого марта пятьсот сорок третьего года? Все это неоспоримо. Я презираю гнусавых псалмопевцев, терпеть не могу приоров, питаю отвращение к еретикам, но еще больше я возненавижу того, кто станет мне противоречить. Довольно перелистать Арну Виона, Габриэля Буселена, Тритема, Мороликуса и Люка д'Ашери, чтобы всякий согласился со мною.

Настоятельница перевела дух и обратилась к Фошлевану:

– Решено, дедушка Фован?

– Решено, честная мать.

– Можно на вас рассчитывать?

– Я буду повиноваться.

– Отлично.

– Я всей душой предан монастырю.

– Хорошо. Вы заколотите гроб. Сестры отнесут его в часовню. Там отслужат панихиду.

Затем все вернутся в монастырь. Между одиннадцатью и двенадцатью часами ночи вы придете с вашим железным брусом. Все будет совершено в величайшей тайне. В часовне будут находиться только четыре матери-певчие, мать Вознесение и вы.

– А сестра, которая стоит у столба?

– Она не обернется.

– Но она услышит.

– Она не будет слушать. Кроме того, что ведомо монастырю, то неизвестно миру.

Вновь наступила пауза. Затем настоятельница продолжала:

– Вы снимете ваш бубенчик. Сестре у столба незачем знать о вашем присутствии.

– Честная мать!

– Что, дедушка Фован?

– А врач покойников был здесь?

– Он придет сегодня, в четыре часа. Уже прозвонили, чтобы пришел врач. Но вы ведь не слышите никакого звона?

– Я прислушиваюсь только к своему.

– Это похвально, дедушка Фован.

– Честная мать, рычаг должен быть по крайней мере шести футов длины.

– Где же вы найдете такой?

– Там, где есть железные решетки, найдутся и железные брусья. У меня куча всякого железного лома в глубине сада.

– Примерно без четверти двенадцать; не забудьте же.

– Честная мать!

– Что?

– Если у вас еще когда-нибудь встретится надобность в такой работе, то вспомните о моем брате. Вот это силач! Настоящий турок!

– Вы сделаете все это как можно быстрее.

– Я-то не очень проворен. Я калека; потому мне бы нужен был помощник. Я хромаю.

– Хромота не недостаток, она может быть даже благодатью. У императора Генриха Второго, который ниспроверг лжепапу Григория и восстановил Бенедикта Восьмого, было два имени: «Святой» и «Хромой».

– Конечно, очень хорошо иметь два имени, – пробормотал Фошлеван, который действительно был туговат на ухо.

– Дедушка Фован, пожалуй, возьмем на все это час времени. Это не так уж много. Будьте у главного алтаря с вашим железным брусом в одиннадцать часов ночи. Заупокойная служба начинается в полночь. Надо, чтобы все было кончено по крайней мере за четверть часа до того.

– Я сделаю все, что в моих силах, чтобы доказать общине мое усердие. Мое слово крепко. Я заколочу гроб. Ровно в одиннадцать я буду в часовне. Там уже будут матери-певчие. Там будет и мать Вознесение. Двое мужчин со всем этим управились бы лучше. Ну да ладно, как-нибудь! У меня будет рычаг. Мы откроем склеп, спустим туда гроб и опять закроем склеп. И никаких следов! Начальство об этом и подозревать не будет. Честная мать, значит, все в порядке?

– Нет.

– Что же еще?

– А пустой гроб?

Это замечание послужило причиной паузы в диалоге. Фошлеван раздумывал. Раздумывала и настоятельница.

– Дедушка Фован, что же делать с гробом?

– Его понесут на кладбище.

– Пустым?

Снова молчание. Фошлеван сделал жест левой рукой, словно отмахиваясь от назойливой мысли.

– Честная мать, но ведь я один заколачиваю гроб в нижней церковной комнате, и туда, кроме меня, никто не может войти, я и накрою гроб покровом.

– Да, но когда носильщики будут поднимать гроб на похоронные дроги, а потом опускать его в могилу, они непременно почувствуют, что он пустой.

– Ах, дья...! – воскликнул Фошлеван.

Настоятельница подняла руку, чтобы осенить себя крестным знамением, и пристально взглянула на садовника. Окончание «вол» застряло у него в глотке.

– Честная мать, я насыплю в гроб земли. Будет казаться, что в нем кто-то лежит.

– Вы правы. Земля – то же, что человек. Значит, вы уладите дело с пустым гробом?

– Я беру это на себя.

Лицо настоятельницы, до сей поры мрачное и встревоженное, прояснилось. И начальническим жестом она отпустила своего подчиненного. Фошлеван направился к двери. Когда он переступал порог, настоятельница тихонько окликнула его:

– Дедушка Фован, я вами довольна; завтра после похорон придите ко мне с вашим братом и

скажите ему, чтобы он привел с собой девочку.

Глава 4, в которой может показаться, что Жан Вальжан читал Остена Кастильхо

Шаг хромого похож на подмигивание кривого: они не скоро достигают цели. Кроме того, Фошлеван был растерян. Он потратил около четверти часа, чтобы достигнуть садовой сторожки. Козетта уже проснулась. Жан Вальжан усадил ее возле огня. В то мгновение, когда Фошлеван входил в сторожку, Жан Вальжан, указывая ей на висевшую на стене корзинку садовника, говорил:

– Слушай меня хорошенько, маленькая моя Козетта. Мы должны уйти из этого дома, но мы опять вернемся сюда, и нам здесь будет очень хорошо. Старичок, который тут живет, вынесет тебя отсюда в этой корзине на своей спине. Ты будешь поджидать меня у одной женщины. Я приду за тобой. Главное, если не хочешь, чтобы Тенардье опять тебя забрала, будь послушна и ничего не говори!

Козетта серьезно кивнула головой.

На скрип отворяемой Фошлеваном двери Жан Вальжан обернулся.

– Ну как?

– Все устроено, а толку мало, – ответил Фошлеван. – Мне разрешили привести вас; но прежде чем привести, надо вас отсюда вывести. Вот в чем загвоздка! С малюткой это просто.

– Вы унесете ее?

– А она будет молчать?

– Ручаюсь.

– Ну, а как же вы, дядюшка Мадлен?

После некоторого молчания, в котором чувствовалось беспокойство, Фошлеван воскликнул:

– Да выйдите отсюда той же дорогой, какой вошли!

Как и в первый раз, Жан Вальжан коротко ответил:

– Невозможно.

Фошлеван, обращаясь больше к самому себе, чем к Жану Вальжану, пробурчал:

– Еще и другая вещь беспокоит меня. Я ей сказал, что наложу туда земли. Но мне кажется, что земля в гробу вместо тела... – нет, тут не обманешь, ничего не выйдет, она будет передвигаться, пересыпаться. Носильщики это почувствуют. Понимаете, дядюшка Мадлен, начальство непременно догадается.

Жан Вальжан пристально поглядел на него и подумал, что он бредит.

Фошлеван продолжал:

– Но как же вам, дья... шут его возьми, выйти отсюда? Главное, все это надо уладить до завтрашнего дня! Как раз завтра мне велено привести вас. Настоятельница будет ждать.

И он объяснил Жану Вальжану, что это было вознаграждением за услугу, которую он, Фошлеван, оказывал общине: что в круг его обязанностей входит участие в похоронах, что он заколачивает гробы и помогает могильщику на кладбище; что умершая сегодня утром монахиня завещала положить ее в гроб, который при жизни служил ей ложем, и похоронить в склепе под алтарем часовни; что это воспрещено полицейскими правилами, но усопшая принадлежала к того рода праведницам, предсмертной просьбе которых перечить нельзя; что поэтому мать-настоятельница и прочие монахини намеревались исполнить волю усопшей; что тем хуже для правительства; что он, Фошлеван, заколотит гроб в келье, поднимет в часовне плиту и опустит усопшую в склеп; что в благодарность настоятельница согласна принять в монастырь его брата

садовником, а племянницу воспитанницей; что его брат – это он, г-н Мадлен, а племянница – Козетта; что настоятельница приказала привести к ней брата на следующий день вечером, после мнимых похорон на кладбище; что он не может привести в монастырь г-на Мадлена, если тот уже находится внутри монастыря; что в этом заключается первое затруднение; что, наконец, есть и другое затруднение – пустой гроб.

– Какой такой пустой гроб? – спросил Жан Вальжан.

– Казенный гроб.

– Почему гроб? И почему казенный?

– Умирает монахиня. Приходит врач из мэрии, потом он говорит: «Умерла монахиня».

Городское начальство присылает гроб. Назавтра оно присылает катафалк и факельщиков, чтобы взять гроб и отвезти его на кладбище. Факельщики придут, поднимут гроб, а внутри – ничего.

– Так положите в него что-нибудь.

– Покойника? Его у меня нет.

– Нет, не покойника.

– А кого?

– Живого.

– Какого живого?

– Меня, – сказал Жан Вальжан. Фошлеван вскочил с места так стремительно, словно под его стулом взорвалась петарда.

– Вас?

– А почему бы нет?

И Жан Вальжан улыбнулся одной из своих редких улыбок, походившей на солнечный луч на зимнем небе.

– Помните, Фошлеван, вы сказали: «Матушка Распятие скончалась», и я добавил: «А дядюшка Мадлен погребен». Так оно и будет.

– Ну, ну, вы шутите, вы это не всерьез говорите!

– Очень даже всерьез. Выйти отсюда надо?

– Ну конечно.

– Говорил я вам, чтобы вы нашли корзину с чехлом и для меня?

– Ну, говорили.

– Корзина будет сосновая, а чехол из черного сукна.

– Во-первых, белого сукна. Монахинь хоронят в белом.

– Пусть будет белое.

– Вы не похожи на других людей, дядюшка Мадлен.

Увидеть, как подобная игра воображения, являющаяся лишь примером дикарской и смелой изобретательности каторги, возникает среди окружающей его мирной обстановки и посягает на то, что он именовал «жизнем-бытием монастырским», было для Фошлевана так же необычайно, как для прохожего увидеть морскую чайку, вылавливающую рыбу из канавы на улице Сен-Дени.

Жан Вальжан продолжал:

– Все дело в том, чтобы выйти отсюда незамеченным. А это и есть такой способ. Но раньше расскажите мне подробности. Как это происходит? Где гроб?

– Пустой гроб?

– Да.

– Внизу, в комнате, которую называют покойницей. Он стоит на двух подставках и накрыт погребальным покровом.

– Какова длина гроба?

– Шесть футов.

– А какая она, эта покойницкая?

– Это комната в нижнем этаже; в ней есть окно с решеткой, которое выходит в сад и закрывается снаружи ставнями, да двое дверей – одна в монастырь, другая – в церковь.

– В какую церковь?

– В церковь, что на этой улице, в общую церковь.

– У вас есть ключи от этих двух дверей?

– Нет. У меня ключ от двери, ведущей в монастырь; а ключ от двери в церковь у привратника.

– А когда привратник отворяет эту дверь?

– Когда приходят факельщики за гробом. Как вынесут гроб, так сейчас дверь и запирается.

– А кто заколачивает гроб?

– Я.

– Кто накладывает погребальный покров?

– Я.

– Вы бываете один в это время?

– Никто, кроме врача, не может войти в покойницкую. Это даже на стене написано.

– Могли бы вы сегодня ночью, когда все в обители уснут, спрятать меня в этой комнате?

– Нет. Но я могу вас спрятать в темной маленькой каморке рядом с покойницей, я там держу мои инструменты для погребения, я за ней присматриваю, и у меня есть ключ от нее.

– В котором часу приедет завтра катафалк за гробом?

– В три часа пополудни. Хоронят на кладбище Вожирар, когда свечерее. Кладбище довольно далеко отсюда.

– Я спрячусь в вашей каморке с инструментами на всю ночь и на все утро. Но как быть с едой? Ведь я проголодаюсь.

– Я принесу вам что-нибудь.

– Вы могли бы прийти заколотить меня в гроб часа в два ночи.

Фошлеван отшатнулся и хрустнул пальцами.

– Это невозможно!

– Ба! Трудно ли взять молоток и вбить несколько гвоздей в доски!

То, что Фошлевану казалось неслыханным, для Жана Вальжана было, повторяем, делом простым. Ему приходилось проскальзывать в любые щели. Кто бывал в тюрьме, познал искусство уменьшаться в соответствии с выходом, ведущим на волю. Заключение так же неизбежно приходит к попытке бегства, как больной к кризису, который исцеляет его или губит. Исчезновение – это выздоровление. А на что только не решаются, лишь бы выздороветь! Дать себя заколотить в ящик и унести, как тюк с товаром, лежать в такой коробке долгое время, находить воздух там, где его нет, часами сберегать дыхание, уметь задышаться, не умирая, – вот один из мрачных талантов Жана Вальжана.

Впрочем, эта уловка каторжника – гроб, в который ложится живое существо, – была также и уловкой короля. Если верить монаху Остену Кастильхо, то к такому способу, желая в последний раз повидать г-жу Пломб, прибегнул после своего отречения Карл Пятый, чтобы ввести ее в монастырь святого Юста и затем вывести оттуда.

Придя немного в себя, Фошлеван воскликнул:

– Но как же вы будете дышать там?

– Уж как-нибудь буду.

– В этом ящике! Только подумаю об этом, и я уже задыхаюсь.

– У вас, конечно, найдется буравчик, вы просверлите около моего рта несколько дырочек, а

верхнюю доску приколотите не слишком плотно.

– Ладно. Ну, а если вам случится кашлянуть или чихнуть?

– Тот, кто спасается бегством, не кашляет и не чихает.

И Жан Вальжан добавил:

– Дедушка Фошлеван, необходимо решиться: дать себя захватить здесь, или выехать отсюда на погребальных дрогах.

Всем известна повадка кошек останавливаться у приотворенной двери и прохаживаться меж ее двух створок. Кто из нас не говорил кошке: «Ну, входи же!» Есть люди, которые, попав в неопределенное положение, так же склонны колебаться между двумя решениями, рискуя быть раздавленными судьбой, внезапно закрывающей для них всякий выход. Слишком осторожные, при всех их кошачьих свойствах и именно благодаря им, иногда подвергаются большей опасности, чем смельчаки. Фошлеван и был человеком такого нерешительного склада. Однако, вопреки его воле, хладнокровие Жана Вальжана покоряло его. Он пробормотал:

– И вправду, другого тут средства не найдешь.

Жан Вальжан продолжал:

– Одно только меня беспокоит, как все это пройдет на кладбище.

– А вот это меня как раз и не тревожит! – воскликнул Фошлеван. – Если вы уверены в том, что выберетесь живым из гроба, то я уверен, что вытащу вас из ямы. Могильщик тамошний – пьяница. Это мой приятель, дядюшка Метъен. Старый пропойца. Мертвец у могильщика в яме, а сам могильщик у меня в кармане. Я вам объясню, как оно все будет. На кладбище мы приедем незадолго до сумерек, за три четверти часа до закрытия кладбищенских ворот. Похоронные дроги доедут до могилы. Я пойду следом; это моя обязанность. У меня с собой будут молоток, долото, клещи. Дроги останавливаются, факельщики обвязывают ваш гроб веревкой и спускают в могилу. Священник читает молитву, крестится, брызгает святой водой – и поминай как звали. Мы остаемся вдвоем с дядюшкой Метъеном. Повторяю, он мой приятель. Одно из двух: или он уже будет пьян, или он еще не будет пьян. Если он не пьян, то я говорю ему: «Идем выпьем по стаканчику, пока не заперли «Спелую айву». Я его увожу, угощаю, – а дядюшку Метъена напоить недолго, он и так-то всегда под мухой, – потом укладываю его под стол, забираю его пропуск на кладбище и возвращаюсь один. Тогда вы уже имеете дело только со мной. Ну, а если он будет уже пьян, то я скажу ему: «Ступай себе, я сам все за тебя сделаю». Он уходит, а я вытаскиваю вас из ямы.

Жан Вальжан протянул ему руку, Фошлеван схватил ее с трогательной сердечностью крестьянина.

– Договорились, дедушка Фошлеван. Все будет хорошо!

«Только бы прошло гладко, – подумал Фошлеван. – А вдруг какая беда стряется!»

Глава 5

Быть пьяницей еще не значит быть бессмертным

Назавтра сильно поредевшие к вечеру прохожие обнажали головы, встретив на Менском бульваре старинные похоронные дроги, украшенные изображениями черепов, берцовых костей и стеклянными слезками. На дрогах стоял гроб под белым покровом, на котором виднелся большой черный крест, напоминавший огромную покойницу со свисающими по обе стороны руками. Сзади следовала парадная траурная карета, в которой можно было разглядеть священника в стихаре и маленького певчего в красной скуфейке. Два факельщика в серой одежде с черными галунами шли по левую и по правую сторону похоронных дрог. Сзади плелся хромым старик в одежде рабочего. Шествие направлялось к кладбищу Вожирар.

Из кармана рабочего высовывались ручка молотка, лезвие простого долота и концы клещей.

Кладбище Вожирар представляло исключение среди парижских кладбищ. У него были свои особые порядки, были свои ворота и своя калитка, которые у старожилов квартала, придерживающихся старинных наименований, назывались воротами для всадников и воротами для пешеходов. Как мы уже говорили, бернардинки-бенедиктинки Малого Пикпюса получили разрешение хоронить своих покойниц вечером и в отдельном углу кладбища, так как этот участок земли некогда принадлежал их общине. Для могильщиков, которые по этой причине работали там летом по вечерам, а зимой по ночам, были установлены особые правила. В те времена ворота парижских кладбищ запирались при закате солнца, а так как приказ этот исходил от городского управления, он распространялся и на кладбище Вожирар. Ворота для всадников и ворота для пешеходов решетками своими соприкасались с двух сторон с павильоном работы архитектора Перроне, в котором жил кладбищенский привратник. Эти решетки неумолимо повертывались на своих петлях в ту самую минуту, когда солнце опускалось за купол Инвалидов. Если к этому времени какой-нибудь могильщик задерживался на кладбище, то у него оставалась только одна возможность выйти оттуда: предъявить свой пропуск, выданный ему бюро похоронных процессий. В ставню окна привратничьей вделано было нечто вроде почтового ящика. Могильщик бросал туда свой пропуск, привратник слышал звук падения, дергал за шнур, и ворота для пешеходов отворялись. Если у могильщика пропуска не было, то он называл свое имя, и тогда привратник, иногда уже спавший, вставал с постели, опознавал могильщика и отпирал ключом ворота; могильщик выходил, уплачивая, однако, пятнадцать франков штрафа.

Это кладбище, со всеми его особенностями, выходящими за рамки общих правил, нарушало административное единообразие. Вскоре после 1830 года кладбище Вожирар закрыли. На его месте возникло кладбище Мон-Парнас, унаследовавшее заодно и граничивший с кладбищем Вожирар знаменитый кабачок, увенчанный нарисованной на доске айвой. Он стоял под углом к столикам посетителей одной своей стороной, а к могилам – другой. На вывеске его значилось: «Под спелой айвой».

Кладбище Вожирар, что называется, отмирало. Им переставали пользоваться. Его завоевывала плесень, цветы покидали его. Буржуа не стремились быть похороненными на кладбище Вожирар; это говорило бы о бедности. Кладбище Пер-Лашез – дело другое! Покоиться на кладбище Пер-Лашез – все равно что иметь обстановку красного дерева. В этом сказывался изящный вкус. Кладбище Вожирар, разбитое по образцу старинных французских садов и обнесенное оградой, было уголком, который внушал чувство почтения. Прямые аллеи, буксы, туи, остролистники, старые могилы, осененные старыми тисами, высокая трава. Вечером от него веяло чем-то трагическим. В его очертаниях чувствовалась мрачная печаль.

Солнце еще не успело зайти, когда катафалк с гробом, под белым сукном и черным крестом, появился на аллее, ведущей к кладбищу Вожирар. Следовавший за ним хромым старик был не кто иной, как Фошлеван.

Погребение матери Распятие в склепе под алтарем, выход Козетты из монастыря, проникновение Жана Вальжана в покойницкую – все прошло благополучно, без малейшей заминки.

Заметим мимоходом, что погребение матери Распятие в склепе под алтарем кажется нам поступком вполне простительным. Это одно из тех прегрешений, которые походят на выполнение долга. Монахини совершили его, не только не смущаясь, но с полного одобрения их совести. В монастыре действия того, что именуется «правительством», рассматриваются лишь как вмешательство в чужие права, – вмешательство, всегда требующее отпора.

Превыше всего монастырский устав; что же касается закона – там видно будет. Люди,

сочиняйте законы, сколько вам заблагорассудится, но берегите их для себя! Последняя подорожная кесарю – всегда лишь крохи, оставшиеся после уплаты подорожной богу. Земной властитель перед лицом высшей власти – ничто.

Фошлеван, очень довольный, ковылял вслед за колесницей. Его два тесно связанных друг с другом заговора – один с монахинями, другой с г-м Мадленом, один – в интересах монастыря, другой – в ущерб этим интересам, – удались на славу. Невозмутимость Жана Вальжана была сродни тому нерушимому спокойствию, которое сообщается и другим. Фошлеван больше не сомневался в успехе. То, что теперь оставалось сделать, было пустяком. В течение двух лет Фошлеван раз десять угощал могильщика, этого славного толстяка, дядюшку Метьена. Он обводил его вокруг пальца, этого дядюшку Метьена. Он делал с ним, что хотел. Он вбивал ему в голову все, что вздумается. И дядюшка Метьен поддакивал всякому его слову. У Фошлевана была полная уверенность в успехе.

В ту минуту, когда похоронная процессия достигла аллеи, ведущей к кладбищу, счастливый Фошлеван взглянул на дроги и, потирая свои ручищи, пробормотал:

– Вот так комедия!

Внезапно катафалк остановился; подъехали к решетке. Надо было предъявить разрешение на похороны. Служащий похоронного бюро вступил в переговоры с кладбищенским привратником. Во время этой беседы, обычно останавливающей кортеж на две-три минуты, подошел какой-то незнакомец и стал позади катафалка, рядом с Фошлеваном. По виду это был рабочий, в блузе с широкими карманами, с заступом под мышкой.

Фошлеван взглянул на незнакомца.

– Вы кто будете? – спросил он.

Человек ответил:

– Могильщик.

Если, получив пушечное ядро прямо в грудь, человек остался бы жив, то у него, наверное, было бы такое же выражение лица, как у Фошлевана в эту минуту.

– Могильщик?

– Да.

– Вы?

– Я.

– Могильщиком работает здесь дядюшка Метьен.

– Работал.

– Как это работал?

– Он умер.

Фошлеван приготовился к чему угодно, но только не к тому, что могильщик может умереть. А между тем это так; могильщики тоже смертны. Копая могилу другим, приоткрываешь и свою собственную.

Фошлеван остолбенел. Он насилу пролепетал, заикаясь:

– Не может этого быть!

– Это так.

– Но, – слабо возразил Фошлеван, – могильщик – это же дядюшка Метьен.

– После Наполеона – Людовик Восемнадцатый. После Метьена – Грибье. Моя фамилия Грибье, деревенщина.

Весь побледнев, Фошлеван всматривался в этого Грибье.

То был высокий, тощий, землисто-бледный, весьма мрачный человек. Он походил на неудачливого врача, который взялся за работу могильщика.

Фошлеван расхохотался.

– Ну что за потешные вещи случаются на свете! Дядя Метъен умер. Умер добрый дядюшка Метъен, но да здравствует добрый дядюшка Ленуар! Вы знаете, кто такой дядюшка Ленуар? Это кувшинчик запечатанного красного винца в шесть су. Кувшинчик сюреньского, будь я неладен! Настоящего парижского сюрена. А! Он умер, старина Метъен! Да, жаль; он был не дурак пожить. Ну, а вы? Вы ведь тоже не дурак пожить? Не правда ли, приятель? Мы сейчас отправимся вместе пропустить стаканчик.

Человек ответил:

– Я получил образование. Я окончил четыре класса. Я никогда не пью.

Погребальные дроги снова тронулись в путь и покатали по главной аллее кладбища.

Фошлеван замедлил шаги. От волнения он стал еще сильнее прихрамывать.

Могильщик шел впереди.

Фошлеван принялся снова оглядывать этого свалившегося с неба Грибье.

Новый могильщик принадлежал к тому сорту людей, которые, несмотря на молодость, кажутся стариками и, несмотря на худобу, бывают очень сильны.

– Приятель! – окликнул его Фошлеван.

Человек обернулся.

– Я могильщик из монастыря.

– Мой коллега, – ответил человек.

Фошлеван, хотя и малограмотный, но очень проницательный малый, понял, что имеет дело с опасной породой человека, то есть с краснобаем.

Он проворчал:

– Значит, дядюшка Метъен умер.

Человек ответил:

– Окончательно. Господь бог справился в своей вексельной книге. Увидел, что пришел черед расплачиваться дядюшке Метъену. И дядюшка Метъен умер.

Фошлеван повторил машинально:

– Господь бог...

– Да, господь бог, – внушительно заявил человек. – Для философов он – отец предвечный; для якобинцев – верховное существо.

– Разве мы не познакомимся с вами поближе? – пролепетал Фошлеван.

– Мы уже это сделали. Вы деревенщина, я парижанин.

– Пока не выпьешь вместе – по-настоящему не познакомишься. Раскупоришь бутылочку, раскупоришь и душу. Идем выпьем. От этого не отказываются.

– Нет, дело прежде всего.

«Я пропал», – подумал Фошлеван.

До маленькой аллейки, ведущей к уголку, где хоронили монахинь, оставалось всего лишь несколько шагов.

Могильщик заговорил снова:

– Деревенщина, у меня семеро малышей, которых надо прокормить. Чтобы они могли есть, я не должен пить.

И с удовлетворенным видом мыслителя, нашедшего нужное выражение, он присовокупил:

– Их голод – враг моей жажды.

Похоронные дроги обогнули купу кипарисов, свернули с главной аллеи и направились по боковой, затем, проехав прямо по траве, они углубились в чащу деревьев. Это указывало на непосредственную близость места погребения. Фошлеван замедлял свои шаги, но не в силах был замедлить движение катафалка. К счастью, рыхлая и размытая зимними дождями земля налипала на колеса и затрудняла их ход.

Он приблизился к могильщику.

– Там есть такое отличное аржантейльское вино, – прошептал он.

– Поселянин, – снова заговорил человек, – мне бы не могильщиком быть. Мой отец был привратником в Пританэ. Он предназначал меня к литературной карьере. Но на него свалились всякие несчастья. Он проигрался на бирже. Я должен был отказаться от литературного поприща. Однако я и сейчас работаю общественным писцом.

– Значит, вы не могильщик? – воскликнул Фошлеван, цепляясь за эту, столь хрупкую, веточку.

– Одно не мешает другому. Я совмещаю.

Фошлеван не понял последнего слова.

– Идем выпьем, – сказал он.

Тут необходимо сделать замечание. Фошлеван, как ни велика была его тревога, предлагая выпить, насчет одного пункта умалчивал, а именно: кто будет платить? Обычно Фошлеван предлагал выпить, а дядюшка Метьен платил. Предложение выпить со всей очевидностью вытекало из нового положения, созданного новым могильщиком; сделать подобное предложение, конечно, было необходимо, но старый садовник преднамеренно оставлял пресловутые, так называемые раблезианские четверть часа во мраке неизвестности. Что касается его самого, Фошлевана, то, несмотря на все свое волнение, он и не думал раскошеливаться.

Могильщик продолжал, высокомерно улыбаясь:

– Ведь есть-то надо! Я согласился стать преемником дядюшки Метьена. Когда получаешь почти законченное образование, становишься философом. К работе пером я добавил работу заступом. Моя канцелярия на рынке, на Севрской улице. Вы его знаете? На Зонтичном рынке. Все кухарки из госпиталей Красного Креста обращаются ко мне. Я стряпаю им нежные послания к солдатам. По утрам сочиняю любовные цидулки, по вечерам – копаю могилы. Такова-то жизнь, селянин!

Похоронные дроги подвигались вперед. Фошлеван, тревога которого дошла до последнего предела, озирался по сторонам. Со лба у него катились крупные капли пота.

– А между тем, – продолжал могильщик, – нельзя служить двум господам. Придется сделать выбор между пером и заступом. Заступ портит мне почерк.

Дроги остановились.

Из траурной кареты вышел маленький певчий, за ним священник.

Одно из передних колес катафалка слегка задело кучку земли, по другую сторону которой виднелась отверстая могила.

– Вот так комедия! – растерянно повторил Фошлеван.

Глава 6

Меж четырех досок

Кто лежал в гробу? Мы знаем. Жан Вальжан.

Жан Вальжан устроился в нем так, чтобы сохранить жизнь, чтобы можно было пусть с трудом, но дышать.

Удивительно, до какой степени от спокойствия совести зависит спокойствие человека вообще. Вся затея, придуманная Жаном Вальжаном, удавалась, и удавалась отлично со вчерашнего дня. Он, как и Фошлеван, рассчитывал на дядюшку Метьена. В благополучном исходе Жан Вальжан не сомневался. Нельзя вообразить положение более критическое; нельзя вообразить спокойствие более безмятежное.

От четырех гробовых досок веяло каким-то умиротворением. Казалось, спокойствие Жана Вальжана восприняло нечто от мертвого покоя усопших.

Из глубины этого гроба он мог следить, и следил, за всеми этапами той опасной игры, которую он вел со смертью.

Вскоре после того как Фошлеван приколотил верхнюю доску, Жан Вальжан почувствовал, что его понесли, а затем повезли. По более редким толчкам он почувствовал, что с мостовой съехали на утоптанную землю, то есть проехали улицы и достигли бульваров. По глухому стуку он догадался, что переезжает Аустерлицкий мост. При первой остановке он понял, что подъехали к кладбищу; при второй он сказал себе: «Вот могила».

Внезапно он почувствовал, что гроб приподнят руками, потом послышалось какое-то резкое трение о доски; он сообразил, что гроб обвязывают веревкой, чтобы спустить его в яму.

Затем у него как будто закружилась голова.

По всей вероятности, факельщик и могильщик покачнули гроб и опустили его вниз изголовьем. Жан Вальжан пришел окончательно в себя, когда почувствовал, что лежит прямо и неподвижно. Гроб коснулся дна могилы.

Он ощутил какой-то особенный холод.

Леденящий торжественный голос раздался над ним. Он услышал, как медленно – так медленно, что он мог уловить каждое из них, – над ним произносились латинские слова, которых он не понимал:

«Qui dormiunt in terrae pulvere, evigilabunt: alii in vitam aeternam et alii in opprobrium; ut videant semper»^[69].

И детский голос ответил:

«De profundis»^[70].

Суровый голос продолжал:

«Requiem aeternam dona ei, Domine»^[71].

Детский голос ответил:

«Et lux perpetua luceat ei»^[72].

Он услышал, как по крышке гроба что-то мягко застучало, словно дождевые капли. Вероятно, гроб окропили святой водой.

Он подумал: «Это должно скоро кончиться! Еще немного терпения. Священник сейчас уйдет. Фошлеван уведет Метьена выпить. Меня оставят. Потом Фошлеван вернется один, и я выйду. На все это уйдет добрый час времени».

Суровый голос возгласил вновь:

«Requiescat in pace»^[73].

И детский голос ответил:

«Amen»^[74].

Жан Вальжан, напрягши слух, уловил нечто вроде звука удаляющихся шагов.

«Вот они и уходят, – подумал он, – я один».

Вдруг он услышал над головой звук, показавшийся ему раскатом грома.

То был ком земли, упавшей на гроб.

Упал второй ком.

Одно из отверстий, через которые он дышал, забилося землей.

Упал третий ком.

Затем четвертый.

Есть вещи, превосходящие силы самого сильного человека. Жан Вальжан лишился чувств.

Глава 7, из которой читатель уяснит, как возникла поговорка: «Не знаешь, где найдешь, где потеряешь»

Вот что происходило над гробом, в котором лежал Жан Вальжан.

Когда похоронные дроги удалились, когда священник и маленький певчий уселись в траурную карету и отъехали, Фошлеван, не спускавший глаз с могильщика, увидел, что тот нагнулся и схватил воткнутую в кучу земли лопату.

Тогда Фошлеван принял отчаянное решение.

Он стал между могилой и могильщиком, скрестил руки и сказал:

– Я плачу!

Могильщик удивленно взглянул на него.

– Что такое, деревенщина?

Фошлеван повторил:

– Я плачу!

– За что?

– За вино.

– Какое вино?

– Аржантейльское.

– Где оно, твое аржантейльское?

– В «Спелой айве».

– Пошел к черту! – выругался могильщик.

И сбросил в могилу лопату земли.

Гроб ответил глухим звуком. Фошлеван почувствовал, что земля уходит у него из-под ног и что он сам готов упасть в могилу. Он крикнул сдавленным, хриплым голосом:

– Приятель, поторопимся же, пока «Спелая айва» еще не закрыта!

Могильщик снова набрал на лопату земли. Фошлеван продолжал:

– Я плачу!

И он схватил могильщика за локоть.

– Послушайте-ка, приятель. Я монастырский могильщик, я пришел подсобить вам. Это дело можно сделать и ночью. А сначала пойдем глотнем стаканчик.

И, продолжая говорить, продолжая упорно, безнадежно настаивать, он в то же время мрачно раздумывал над следующим: «А вдруг он и выпьет, да не охмелеет?»

– Провинциал, если вам так этого хочется, я согласен, – сказал могильщик. – Выпьем. Но после работы, никак не раньше.

И он взялся за лопату. Фошлеван удержал его.

– Это аржантейльское вино, по шесть су которое!

– Ах, вы, звонарь! – сказал могильщик. – Динь-дон, динь-дон, только одно и знаете. Пойдите прогуляйтесь.

И он сбросил вторую лопату земли.

Фошлеван дошел до такого состояния, что сам уже не понимал, что говорит:

– Да идемте же выпьем, – крикнул он, – ведь платить-то буду я!

– После того как уложим ребенка спать, – ответил могильщик.

И он сбросил третью лопату земли.

Затем, воткнув ее в землю, он добавил:

– Видите ли, сегодня ночью будет холодно, и покойница начнет звать нас, если мы бросим

ее здесь без одеяла.

В это мгновение, набирая лопатой землю, могильщик нагнулся, и карман его блузы раскрылся.

Блуждающий взгляд Фошлевана случайно упал на этот карман и задержался на нем.

Солнце еще не скрылось за горизонтом; было достаточно светло, чтобы можно было разглядеть в глубине этого кармана что-то белое. Глаза Фошлевана блеснули так ярко, насколько это мыслимо для пикардийского крестьянина. Его вдруг осенила одна мысль.

Осторожно, чтобы могильщик, занятый лопатой, ничего не заметил, он запустил сзади руку к нему в карман и вытащил из этого кармана лежавший в нем белый предмет.

Могильщик сбросил в могилу четвертую лопату земли.

Когда он обернулся, чтобы набрать пятую, Фошлеван, взглянув на него с самым невозмутимым видом, сказал:

– Кстати, новичок, а пропуск у вас при себе?

Могильщик остановился.

– Какой пропуск?

– Но ведь солнце-то заходит.

– Ну и хорошо, пусть напяливает на себя ночной колпак.

– Сейчас запрут кладбищенскую решетку.

– И что же дальше?

– А пропуск у вас при себе?

– Ах, пропуск! – понял могильщик.

И стал шарить в кармане.

Обшарив один карман, он принялся за другой. Затем перешел к жилетным карманам, обследовал один, вывернул второй.

– Нет, – сказал он, – у меня нет пропуска... Должно быть, забыл его дома.

– Пятнадцать франков штрафа, – заметил Фошлеван.

Могильщик позеленел. Зеленоватый оттенок означает бледность у людей с землистым цветом лица.

– О-Иисусе-Христе-сверни-шею-луне! – воскликнул он. – Пятнадцать франков штрафа!

– Три монеты по сто су, – уточнил Фошлеван.

Могильщик выронил лопату.

Теперь настал черед Фошлевана.

– Ну, ну, юнец, – сказал Фоншлеван, – не горюйте. Из-за этого самоубийством не кончают, даже если готовая могила под боком. Пятнадцать франков – это всего-навсего пятнадцать франков, а кроме того, можно их и не уплачивать. Я стреляный воробей, а вы еще желторотый. Мне тут прекрасно известны все ходы, выходы, приходы, уходы. Я дам вам дружеский совет. Ясно одно: солнце заходит, оно достигло уже купола Инвалидов, через пять минут кладбище закроют.

– Это верно, – ответил могильщик.

– За пять минут вы не успеете засыпать могилу, она чертовски глубокая, эта могила, и не успеете выйти до того, как запрут решетку.

– Правильно.

– В таком случае, с вас пятнадцать франков штрафа.

– Пятнадцать франков!

– Но время не потеряно... Где вы живете?

– В двух шагах от заставы. Четверть часа ходьбы отсюда. Улица Вожирар, номер восемьдесят семь.

– Время не потеряно, если вы возьмете ноги в руки и уйдете отсюда немедленно.

– Это точно.

– Как только вы окажетесь за воротами, вы мчитесь домой, хватаете ваш пропуск, бежите обратно, привратник впускает вас. А раз у вас будет пропуск, ничего платить не придется. И тогда уже вы зароете вашего покойника. А я пока что постерегу его, чтобы он не сбежал.

– Я обязан вам жизнью, провинциал.

– Убирайтесь-ка поскорей, – сказал Фошлеван.

Вне себя от радости, могильщик потряс ему руку и пустился бежать.

Когда он скрылся в чаще деревьев и последний звук его шагов замер, Фошлеван нагнулся над могилой и сказал вполголоса:

– Дядюшка Мадлен.

Никакого ответа.

Фошлеван вздрогнул. Он не слез, а прямо скатился в могилу, припал к изголовью гроба и закричал:

– Вы здесь?

В гробу царила тишина.

Фошлеван, еле переводя дух, так его трясло, вынул из кармана долото и молоток и оторвал верхнюю доску у крышки гроба. В сумеречном свете перед ним появилось лицо Жана Вальжана, бледное, с закрытыми глазами.

У Фошлевана волосы на голове встали дыбом. Он поднялся, но вдруг, едва не упав на гроб, осел, привалившись к внутренней стенке могилы. Он взглянул на Жана Вальжана.

Жан Вальжан лежал недвижимо, мертвенно-бледный.

Фошлеван тихо, точно вздохнув, прошептал:

– Он умер!

И, снова выпрямившись, он так яростно скрестил на груди руки, что сжатые кулаки ударили его по плечам.

– Так вот как я спас его! – вскричал он.

Бедняга принялся всхлипывать и разговаривать с самим собой. Ошибочно думать, что монолог не свойственен человеческой природе. Сильное волнение нередко говорит о себе во всеуслышание.

– В этом виноват дядюшка Метъен, – причитал он. – С какой стати он умер, этот дуралей? Ну зачем понадобилось ему околевать, когда никто этого не ждал? Это он уморил господина Мадлена. Дядюшка Мадлен! Вот он лежит в гробу! Он достиг всего. Кончено! Ну разве во всем этом есть какой-нибудь смысл? Господи боже! Он умер! А его малютка, что мне с ней делать? Что скажет торговка фруктами? Чтобы такой человек и так умер! Господи, возможно ли это? Только подумать, что он подлез под мою телегу! Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Ей-богу, он задохся, я ведь говорил. Он не хотел мне верить. Нечего сказать, хороша шуточка для-ради конца! Он умер, такой славный человек, самый добрый из всех божьих людей. А его малютка! Ах! Во-первых, я не вернусь туда. Я остаюсь здесь. Отколоть такую штуку! И ведь надо же было двум старым людям дожить до таких лет, чтобы оказаться двумя старыми дураками. Как же он все-таки попал в монастырь? С этого и началось. Не следует проделывать такие вещи. Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Мадлен! Господин Мадлен! Господин мэр! Он не слышит. Ну попробуйте-ка теперь из этого выкрутиться!

И он стал рвать на себе волосы.

Издали из-за деревьев послышался пронзительный скрип. Запирали кладбищенскую решетку.

Фошлеван наклонился над Жаном Вальжаном и вдруг подскочил и отшатнулся назад,

насколько это возможно было в могиле. У Жана Вальжана глаза были открыты, и они смотрели на него.

Видеть смерть жутко, видеть воскресение – почти так же жутко. Фошлеван точно окаменел: бледный, растерянный, потрясенный всеми этими чрезмерными волнениями, он не понимал, покойник перед ним или живой, и глядел на Жана Вальжана, а тот глядел на него.

– Я уснул, – сказал Жан Вальжан.

И он привстал на своем ложе.

Фошлеван упал на колени.

– Пресвятая дева! Ну и напугали вы меня!

Затем он поднялся и крикнул:

– Спасибо, дядюшка Мадлен!

Жан Вальжан был только в обмороке. Свежий воздух привел его в сознание.

Радость – это отлив ужаса. Фошлевану надо было затратить почти столько же сил, сколько Жану Вальжану, чтобы прийти в себя.

– Так вы не умерли! Ну, до чего ж вы умный! Я так долго звал вас, что вы вернулись! Когда я увидел ваши закрытые глаза, то я сказал себе: «Так, ну вот он и задохся!» Я помешался бы, стал бы настоящим буйным помешанным, на которого надевают смирительную рубашку. Меня бы посадили в Бисетр. А что мне было еще делать, если бы вы умерли? А ваша малютка? Вот уж кто ничего не понял бы, так это торговка фруктами. Ей сбрасывают на руки ребенка, а дедушка умирает. Ну что за история! Святители, что за история! Ах, вы живы, вот счастье-то!

– Мне холодно, – сказал Жан Вальжан.

Эти слова окончательно вернули Фошлевана к действительности, настойчиво о себе напоминавшей. Эти двое людей, даже придя в себя, продолжали, сами того не понимая, испытывать душевное смятение, в них говорило какое-то необычайное чувство, порожденное мрачной затерянностью этого места.

– Уйдем скорее отсюда! – воскликнул Фошлеван.

Он пошарил у себя в кармане и вытащил флягу, которой запасся заранее.

– Но сначала хлебните водочки, – сказал он.

Фляга довершила то, что начал свежий воздух. Жан Вальжан отпил глоток и вполне овладел собой.

Он вылез из гроба и помог Фошлевану снова заколотить крышку.

Через три минуты они выбрались из могилы.

Впрочем, Фошлеван был спокоен. Он не спешил. Кладбище было заперто. Неожданного возвращения могильщика Грибье опасаться было нечего. Этот «юнец» находился у себя дома и разыскивал свой пропуск, который ему довольно трудно было найти, ибо он лежал в кармане у Фошлевана. Без пропуска вернуться на кладбище он не мог.

Фошлеван взял лопату, Жан Вальжан заступ, и оба закопали пустой гроб.

Когда могила была засыпана, Фошлеван сказал Жану Вальжану:

– Идем. Я беру лопату, а вы несите заступ.

Дело шло к ночи.

Жану Вальжану нелегко было двигаться и ходить. В этом гробу он окостенел и сам почти уподобился трупу. Среди четырех гробовых досок им овладела неподвижность смерти. Ему надо было, так сказать, оттаять от могилы.

– Вы окоченели? – спросил Фошлеван. – Как жаль, что я хромаю, а то мы потопали бы ногами, чтобы согреться.

– Пустяки! – ответил Жан Вальжан. – Два-три шага, и я снова научусь ходить.

Они направились теми же аллеями, по которым ехали погребальные дроги. Дойдя до

запертой решетки и павильона привратника, Фошлеван, державший в руке пропуск могильщика, бросил его в ящик, привратник дернул за шнур, дверь открылась, и они вышли.

– Как все хорошо устраивается! Какая хорошая мысль пришла вам в голову, дядюшка Мадлен! – сказал Фошлеван.

Они спокойно миновали заставу Вожирар. В окрестностях кладбища лопата и заступ служат паспортами.

Улица Вожирар была пустынна.

– Дядюшка Мадлен, – сказал Фошлеван, подвигаясь вперед и всматриваясь в дома, – вы видите лучше моего. Покажите-ка мне, где номер восемьдесят седьмой?

– Вот как раз и он, – сказал Жан Вальжан.

– На улице никого нет, – продолжал Фошлеван. – Дайте мне заступ и подождите здесь минутку.

Фошлеван вошел в дом, поднялся на самый верхний этаж, повинуясь инстинкту, неизменно ведущему бедняка к чердачному помещению, и постучался в темноте в дверь мансарды. Чей-то голос ответил:

– Войдите.

То был голос Грибье.

Фошлеван толкнул дверь. Квартира могильщика, как все эти убогие жилища, представляла собою лишенную мебели тесную каморку. Какой-то ящик для упаковки товара – может быть, и гроб – служил комодом, горшок из-под масла – посудой для воды, соломенный тюфяк – постелью, вместо стульев и стола – плитчатый пол. В углу на дырявом обрывке старого ковра сидели, сбившись в кучку, худая женщина и несколько детей. Все в этой жалкой комнате носило следы домашней бури. Можно было подумать, что здесь произошло какое-то «комнатное» землетрясение. Крышки с кастрюль были сдвинуты с места, лохмотья разбросаны, кружка разбита, мать заплакана, дети, по-видимому, избиты; всюду следы безжалостного, грубого обыска. Было очевидно, что могильщик совсем потерял голову, разыскивая свой пропуск, и возложил ответственность за пропажу на все, что находилось в каморке, – от кружки до своей жены. Всем своим видом он выражал отчаяние.

Но Фошлеван слишком торопился к развязке приключения, чтобы обращать внимание на печальную сторону своего успеха.

Войдя, он заявил:

– Я принес вам ваши заступ и лопату.

Грибье изумленно взглянул на него.

– Это вы, поселянин?

– А завтра утром у кладбищенского привратника вы получите ваш пропуск.

И он положил на пол лопату и заступ.

– Что это значит? – спросил Грибье.

– Это значит, что вы вырвали из кармана ваш пропуск, что, когда вы ушли, я его нашел на земле, что я похоронил покойницу, что я засыпал могилу, что я выполнил вашу работу, что привратник вернет вам ваш пропуск и что вы не будете платить пятнадцать франков штрафа. Так-то, новичок!

– Благодарю, провинциал! – вскричал восхищенный Грибье. – В следующий раз за выпивку плачу я!

Час спустя, поздним вечером, двое мужчин и ребенок подошли к дому номер 62 по улочке Пикпюс. Старший из мужчин поднял молоток и постучал.

Это были Фошлеван, Жан Вальжан и Козетта.

Оба старика зашли за Козеттой к торговке фруктами на улицу Зеленая дорога, куда Фошлеван доставил ее накануне. Все эти двадцать четыре часа Козетта провела, дрожа втихомолку от страха и ничего не понимая. Она так боялась, что даже не плакала. Она не ела, не спала. Почтенная фруктощица задавала ей тысячу вопросов, получая в ответ лишь все тот же угрюмый взгляд. Козетта ничего не выдала из того, что видела и слышала в течение этих двух дней. Она догадывалась, что происходит какой-то перелом в ее жизни. Она всем своим существом ощущала, что надо «быть умницей». Кто не испытал могущества трех слов, произнесенных с определенным выражением на ухо маленькому, напуганному существу: «Не говори ничего!» Страх нем. Впрочем, лучше всех хранят тайну дети.

Но когда после этих мрачных суток она вновь увидела Жана Вальжана, то испустила такой восторженный крик, что, услышь его человек вдумчивый, он угадал бы в нем счастье спасения из бездны.

Фошлеван жил в монастыре, и ему были известны условные слова. Все двери перед ним открылись.

Так была разрешена двойная и страшная задача: выйти и войти.

Привратник, которому дано было особое распоряжение, отпер маленькую служебную калитку со двора в сад, которую еще двадцать лет тому назад можно было видеть с улицы, в стене, в глубине двора, как раз против входных ворот. Привратник впустил всех троих через эту калитку, и они дошли до той внутренней, отдельной приемной, где накануне Фошлеван выслушал распоряжения настоятельницы.

Настоятельница ожидала их, перебирая четки. Одна из матерей-изборщиц, с опущенным на лицо покрывалом, стояла возле нее. Робкий огонек единственной свечи освещал, вернее, силится осветить приемную.

Настоятельница произвела смотр Жану Вальжану. Всего зорче – взгляд из-под опущенных век.

Затем она стала его расспрашивать:

– Вы его брат?

– Да, честная мать, – ответил Фошлеван.

– Ваше имя?

Фошлеван ответил:

– Ультим Фошлеван.

У него действительно был когда-то брат Ультим, давно умерший.

– Откуда вы родом?

Фошлеван ответил:

– Из Пикиньи, близ Амьена.

– Сколько вам лет?

Фошлеван ответил:

– Пятьдесят.

– Какова ваша профессия?

Фошлеван ответил:

– Садовник.

– Добрый ли вы христианин?

Фошлеван ответил:

– В нашей семье все добрые христиане.

– Это ваша малютка?

Фошлеван ответил:

– Да, честная мать.

– Вы ее отец?

Фошлеван ответил:

– Я ее дедушка.

Мать-изборщица заметила настоятельнице вполголоса:

– Он отвечает разумно.

Жан Вальжан не произнес ни слова.

Настоятельница внимательно оглядела Козетту и тихонько сказала матери-изборщице:

– Она будет дурнушкой.

Обе монахини тихо побеседовали в углу приемной, затем настоятельница обернулась и проговорила:

– Дедушка Фован, вам дадут второй наколенник с бубенчиком. Теперь нужны будут два.

И правда, на следующий день в саду уже раздавался звон двух бубенчиков, и монахини не могли побороть искушения приподнять кончик своего покрывала. В глубине сада, под деревьями, двое мужчин бок о бок копали землю – Фован и кто-то другой. Событие из ряда выходящее! Молчание было нарушено до такой степени, что монахини даже стали сообщать друг другу: «Это помощник садовника».

А матери-изборщицы присовокупляли: «Это брат дедушки Фована».

Действительно, Жан Вальжан вступил в должность, согласно всем правилам; у него был кожаный наколенник и бубенчик; отныне он стал лицом официальным. Его звали Ультим Фошлеван.

Решающей причиной согласия принять его на службу явилось соображение настоятельницы относительно Козетты: «Она будет дурнушкой».

Предсказав это, настоятельница тотчас же почувствовала расположение к Козетте и зачислила ее бесплатной монастырской пансионеркой.

Это было вполне последовательно. Пусть в монастырях нет зеркал, но внутреннее чувство подсказывает женщинам, какова их внешность; поэтому девушки, сознающие свою красоту, неохотно постригаются в монахини. Так как степень склонности к монашеству обратно пропорциональна красоте, то больше надежд возлагается на уродов, чем на красавиц. Отсюда и вытекает живой интерес к дурнушкам.

Все это происшествие возвеличило добряка Фошлевана; он имел тройной успех: в глазах Жана Вальжана, которого он приютил и спас; в глазах могильщика Грибье, говорившего себе: «Он избавил меня от штрафа»; в глазах монастырской обители, которая, сохранив благодаря ему гроб матушки Распятие под своим алтарем, обошла кесаря и воздала «богово богу». Гроб с телом усопшей покоился в монастыре Малый Пикпюс, а пустой гроб – на кладбище Вожирар. Конечно, общественный порядок был серьезно подорван, но никто этого не заметил. Что же касается монастыря, то его благодарность Фошлевану была очень велика. Фошлеван стал считаться лучшим из служителей и исправнейшим из садовников. При ближайшем же посещении монастыря архиепископом настоятельница рассказала обо всем его преосвященству, как будто бы и каясь слегка, но вместе с тем и похваляясь. Архиепископ, покинув монастырь, с одобрением шепнул об этом г-ну де Латиллю, духовнику его высочества, впоследствии архиепископу Реймскому и кардиналу. На этом слава Фошлевана не остановилась, она дошла и до самого Рима. Мы собственными глазами видели записку папы Льва XII, адресованную к одному из его родственников, архиепископу, парижскому нунцию, носившему ту же фамилию делла Женга; в ней можно прочесть следующие строки: «Говорят, что в одном из парижских

монастырей есть замечательный садовник и святой человек по имени Фован». Но ни единого отзвука этой славы не достигло сторожки Фошлевана; он продолжал прививать, полоть, прикрывать от холода дынные грядки, не подозревая о своих высоких достоинствах и о своей святости. Он столько же знал о собственной славе, сколько знает о своей дургемский или сюррейский бык, изображение которого красуется в «Illustrated London News»^[75], со следующей подписью: «Бык, получивший первый приз на выставке рогатого скота».

Глава 9

Жизнь в заточении

Козетта и в монастыре продолжала молчать.

Козетта, что было вполне естественно, считала себя дочерью Жана Вальжана. Но ничего не зная, она ничего и не могла рассказать, а если б и знала, все равно никому не сказала бы. Ничто так не приучает детей к молчанию, как несчастье, – мы недавно упомянули об этом. Козетта так много страдала, что боялась всего, даже говорить, даже дышать. Как часто из-за одного только слова на нее обрушивалась страшная лавина! Она понемногу начала приходить в себя лишь с тех пор, как попала к Жану Вальжану. Довольно быстро освоилась она с монастырем. Тосковала только по Катерине, но говорить об этом не осмеливалась. Как-то раз она все же сказала Жану Вальжану: «Если бы я знала, отец, то взяла бы ее с собой».

Сделавшись воспитанницей монастыря, Козетта обязана была носить форму пансионерок. Жану Вальжану удалось упросить, чтобы ему отдали сброшенную ею одежду. Это был тот самый траурный наряд, в который он передел ее, когда увел из харчевни Тенардье. Она его еще не совсем износила. Жан Вальжан запер это старое платье вместе с ее шерстяными чулками и башмачками в маленький чемодан, который умудрился себе раздобыть, пересыпав все камфорой и благовонными веществами, столь распространенными в монастырях. Этот чемодан он поставил на стул возле своей кровати, а ключ от него всегда носил при себе. «Отец, – однажды спросила его Козетта, – что это за ящик, который так хорошо пахнет?»

Дедушка Фошлеван, кроме славы, о которой мы только что говорили и о которой он не подозревал, был вознагражден за свое доброе дело: во-первых, он был счастлив, что оно удалось, а во-вторых, у него намного убавилось работы благодаря помощнику. Наконец, питая сильное пристрастие к табаку, он теперь мог нюхать его втрое чаще и с гораздо большим наслаждением, так как платил за него г-н Мадлен.

Имя Ультим у монахинь не прикилось; они называли Жана Вальжана «другой Фован».

Если бы эти святые души обладали хотя бы долей проницательности Жавера, то заметили бы в конце концов, что всякий раз, когда приходилось отправляться за пределы монастыря по каким-нибудь надобностям, касающимся садоводства, то шел дряхлый, хворый, хромою Фошлеван-старший, а другой – никогда. Но потому ли, что взор, всегда устремленный к богу, не умеет шпионить, потому ли, что монахини предпочтительно были заняты тем, что следили друг за другом, они на это не обращали внимания.

Впрочем, счастье Жана Вальжана, что он оставался в тени, нигде не показываясь. Жавер целый месяц наблюдал за кварталом.

Этот монастырь для Жана Вальжана был словно окруженный безднами остров. Отныне эти четыре стены представляли для него вселенную. Там он мог видеть небо – этого было достаточно для душевного спокойствия, и Козетту – этого было достаточно для счастья.

Для него вновь началась жизнь, полная отрады.

Он жил со стариком Фошлеваном в глубине сада, в сторожке. Этот домишко, построенный

из всяких строительных отходов и еще существовавший в 1845 году, состоял, как известно, из трех совершенно пустых, с голыми стенами, комнат. Самую большую Фошлеван отдал, несмотря на упорное, но тщетное сопротивление Жана Вальжана, г-ну Мадлену. Стена этой комнаты, кроме двух гвоздей, предназначенных для наколенника и корзины, украшена была висевшим над камином роялистским кредитным билетом 1793 года, изображение которого мы здесь приводим.

КАТОЛИЧЕСКАЯ

Именем короля

Равноценно десяти ливрам.

За предметы, поставляемые
армии.

Подлежит оплате по установлении мира.

серия 3

№ 10390

Стоффле

И КОРОЛЕВСКАЯ АРМИЯ

Эта вандейская ассигнация была прибита к стене прежним садовником, умершим в монастыре старым шуаном, которого и заместил Фошлеван.

Жан Вальжан работал в саду ежедневно и был там очень полезен. Когда-то он работал подрезальщиком деревьев и охотно взялся снова за садоводство. Вспомним, что он знал множество разнообразных способов и секретов ухода за растениями. Он воспользовался ими. Почти все деревья в саду одичали; он привил их, и они вновь стали приносить превосходные плоды.

Козетте разрешено было ежедневно приходить к нему на час. Так как сестры были всегда мрачны, а он приветлив, то ребенок, сравнивая его с ними, обожал его. В определенный час девочка прибегала в сторожку. С ее приходом там воцарялся рай. Жан Вальжан расцветал, чувствуя, что его счастье возрастает от того счастья, которое он дает Козетте. Радость, доставляемая нами другому, пленяет тем, что она не только не бледнеет, как всякий отблеск, но возвращается к нам еще более яркой. В рекреационные часы Жан Вальжан издали смотрел на игры и беготню Козетты и отличал ее смех от смеха других детей.

Ибо Козетта теперь смеялась.

Даже личико Козетты изменилось. Оно утратило мрачное свое выражение. Смех – это солнце: оно прогоняет зиму с человеческого лица.

Когда по окончании рекреации Козетта убегала, Жан Вальжан глядел на окна ее класса, а по ночам вставал, чтобы поглядеть на окна ее дортуара.

Пути господни неисповедимы; монастырь, подобно Козетте, помог укрепить и завершить в Жане Вальжане тот переворот, доброе начало которому положил епископ. Не подлежит сомнению, что одной из своих сторон добродетель соприкасается с гордыней. Их связывает мост, построенный дьяволом. Быть может, Жан Вальжан бессознательно был уже близок именно к этой стороне и к этому мосту, когда провидение забросило его в монастырь Малый Пикпюс. Пока он сравнивал себя только с епископом, он чувствовал себя недостойным и был полон смирения; но с некоторых пор он начал сравнивать себя с прочими людьми, и в нем пробуждалась гордость. Кто знает? Быть может, он незаметно для себя научился бы вновь ненавидеть.

На этой наклонной плоскости его задержал монастырь.

Это было второе место неволи, которое ему пришлось увидеть. В юности, в те времена, которые можно назвать зарею его жизни, и позже, еще совсем недавно, он видел другое место, – отвратительное, ужасное место, суровость которого всегда казалась ему несправедливостью правосудия, беззаконием закона. Ныне после каторги перед ним предстал монастырь, и, размышляя о том, что он жил жизнью каторги, а теперь стал как бы наблюдателем монастырской жизни, он с мучительной тоской мысленно сравнивал их между собою.

Порой, облокотившись на заступ, он медленно, точно спускаясь по бескрайней винтовой лестнице, погружался в пучину раздумья.

Он вспоминал былых своих товарищей. Как они были несчастны! Поднимаясь с зарей, они трудились до глубокой ночи; им едва оставалось время для сна; они спали на походных кроватях с тюфяками не больше чем в два пальца толщиной, в помещениях, отапливаемых только в самые жестокие морозы; одеты они были в красные, ужасные куртки; из милости им позволяли надевать холщовые панталоны в сильную жару и шерстяные блузы в сильные холода; они пили вино и ели мясо только в те дни, когда отправлялись на особо тяжелые работы. Утратив свои имена, обозначенные лишь номером и как бы превращенные в цифры, они жили, не поднимая глаз, не повышая голоса, обритые, под палкой, заклеянные позором.

Потом мысль его возвращалась к тем существам, которые были перед его глазами.

И эти существа также были острижены, жили также не поднимая глаз, не повышая голоса, и если не позор был их уделом, то людские насмешки, если спина их не была изранена палкой, то плечи истерзаны бичеванием. Их имена были также утрачены для мира; существовали они лишь под суровым условным прозвищем. Никогда не вкушали они мяса, никогда не пили вина; часто до самого вечера ничего не ели; одеты они были не в красные куртки, а в шерстяной черный саван, слишком тяжелый для лета, слишком легкий для зимы, и не имели права ничего от своей одежды убавить и ничего к ней добавить; не имели даже, в зависимости от времени года, ни холщового одеяния, ни шерстяной верхней одежды в запасе; и шесть месяцев в году они носили грубую шерстяную сорочку, от которой их лихорадило. Они жили не в помещениях, которые все же отапливались в жестокие морозы, а в кельях, где никогда не разводили огня; они спали не на тюфяках толщиной в два пальца, а на соломе. Наконец им даже не оставляли времени для сна; каждую ночь, когда, закончив дневные труды, изнеможенные, они, кое-как согревшись, начинали дремать, им надо было прерывать первый свой сон, чтобы молиться, преклонив колена, на каменном полу холодной темной часовни.

Бывали дни, когда каждое из этих созданий обязано было, поочередно, двенадцать часов подряд стоять коленопреклоненным на каменных плитах пола или лежать, распростершись ниц на земле, крестом раскинув руки.

Те существа были мужчины; эти – были женщины.

Что сделали мужчины? Они воровали, убивали, нападали из-за угла, насиловали, резали. Это были бандиты, фальшивомонетчики, отравители, поджигатели, убийцы, отцеубийцы. Что сделали эти женщины? Они ничего не сделали.

Там – разбой, мошенничество, воровство, насилие, разврат, человекоубийство, все виды кощунства, все разнообразие преступлений; здесь же – только невинность.

Нevinность чистейшая, почти вознесенная в таинственном успении, еще тяготеющая к земле своей добродетелью, но уже тяготеющая к небу своею святостью.

Там – признания в преступлениях, поверяемые друг другу шепотом; здесь – исповедание в грехах, во всеуслышание. И какие преступления! И какие грехи!

Там – миазмы, здесь – благоухание. Там – нравственная чума, которую неусыпно стерегут, которую держат под дулом пушек и которая медленно пожирает зачумленных; здесь – чистое пламя душ, возженное на едином очаге. Там – мрак, здесь – тень; но тень, полная озарений, и

озарения, полные лучезарного света.

Одно и другое – места рабства; но в первом – возможность освобождения, предел, всегда predetermined законом, наконец, побег. Во втором – рабство пожизненное; единственная надежда – и лишь в самом отдаленном будущем – тот брезжащий луч свободы, который люди называют смертью.

К первому прикованы лишь цепями; ко второму прикованы своей верой.

Что исходит из первого? Неслыханные проклятия, скрежет зубовный, ненависть, отчаявшаяся злоба, яростный вопль против человеческого общества, хула на небеса.

Что исходит из второго? Благословение и любовь.

И вот в этих столь схожих и столь различных местах два вида существ, столь разных, совершали одно и то же дело – искупление.

Жан Вальжан хорошо понимал необходимость искупления для первых, – искупления личного, искупления собственного греха. Но он не мог понять искупления чужих грехов, взятого на себя этими безупречными, непорочными созданиями, и, содрогаясь, спрашивал себя: «Искупление чего? Какое искупление?»

И голос его совести отвечал: «Самый высокий пример человеческого великодушия – искупление чужих грехов».

Собственное наше мнение по этому поводу мы оставляем про себя, ибо являемся здесь лишь рассказчиком; мы просто становимся на точку зрения Жана Вальжана и передаем его впечатления.

Перед ним была высшая ступень самоотверженности, высочайшая вершина возможной добродетели; невинность, прощающая людям их грехи и несущая за них покаяние; добровольное рабство, принятие мученичества, страдание, о котором призывают души безгрешные, чтобы избавить от него души заблудшие; любовь к человечеству, поглощенная любовью к богу, но в ней не исчезающая и молящая о милосердии; кроткие, слабые существа, испытывающие муки тех, кто несет кару, и улыбающиеся улыбкой тех, кто взыскан милостью.

И тогда Жан Вальжан думал о том, что он осмеливался еще роптать!

Нередко он вставал среди ночи, чтобы внимать благодарственному песнопению этих невинных душ, несущих бремя сурового устава, и холод пробежал по его жилам, когда он вспоминал, что если те, кто был наказан справедливо, и обращали свой голос к небу, то лишь для богохульства и что он, несчастный, тоже восставал когда-то против бога.

Его поражало то, что и подъем по стене, и преодоленные ограды, и рискованная затея, сопряженная со смертельной опасностью, и тяжелое, суровое восхождение – все усилия, совершенные им для того, чтобы выйти из первого места искупления, были им повторены, чтобы проникнуть во второе. Не символ ли это судьбы его? Он глубоко размышлял над этим, словно внимая тихому, предупреждающему голосу самого провидения.

Этот дом был тоже тюрьмой и имел мрачное сходство с другим жилищем, откуда он бежал, однако никогда он не мог себе представить ничего подобного.

Он увидел вновь решетки, замки, железные засовы; кого же должны были они стеречь? Ангелов.

Он видел некогда, как эти высокие стены окружали тигров; теперь он видит их опять, но вокруг овец.

Это было место искупления, а не наказания; между тем оно было еще суровее, угрюмее, еще беспощаднее, чем то, другое. Эти девственницы были еще безжалостней согнуты жизнью, чем каторжники. Студеный, резкий ветер, – ветер, леденивший когда-то его юность, пронизывал забранной решеткой, запертый на замок ястребиный ров; северный ветер, еще более жестокий и мучительный, дул в клетке голубиц. Почему?

Когда он думал над этим, то все существо его склонялось перед тайной непостижимо высокого.

При подобных размышлениях гордость исчезает. Он со всех сторон разбирал себя и, осознав свое ничтожество, не раз плакал над собой. Все, что вторглось в его жизнь в течение этих шести месяцев, возвращало его к святым увещаниям епископа: Козетта – путем любви, монастырь – путем смирения.

Порой, по вечерам, в сумерки, когда в саду никого не было, его можно было видеть в аллее, что возле часовни, стоящим на коленях под тем окном, в которое он заглянул в ночь своего прибытия, и повернувшимся в ту сторону, где, как он знал, лежала распростертой в искупительной молитве сестра-монахиня. И он молился, коленопреклоненный перед нею.

Казалось, перед богом он не осмеливается преклонить колена.

Все, что окружало его, – этот мирный сад, эти благоухающие цветы, эти дети, эти радостные возгласы, эти серьезные и простые женщины, этот тихий монастырь, – медленно овладевало им, и постепенно в душу его проникли тишина этого монастыря, благоухание этих цветов, мир этого сада, простота этих женщин, радость этих детей. И он думал, что то были два божьих дома, один вслед за другим приютивших его в роковые минуты его жизни: первый – когда все двери были закрыты для него и человеческое общество оттолкнуло его; второй – когда человеческое общество вновь стало преследовать его и вновь открывалась перед ним каторга; не будь первого, он вновь опустился бы до преступления, не будь второго, он вновь опустился бы в бездну страданий.

Вся душа его растворялась в благодарности, и он любил все сильнее и сильнее.

Так протекло много лет; Козетта подрастала.

Часть III

Мариус

Книга первая

Париж, изучаемый по атому

Глава 1

Parvulus^[76]

У Парижа есть ребенок, а у леса – птица; птица зовется воробьем, ребенок – гаменом.

Сочетайте оба эти понятия – печь огненную и утреннюю зарю, дайте обоим этим искрам – Парижу и детству – столкнуться, – возникнет маленькое существо. Номинсio^[77], сказал бы Плавт.

Это маленькое существо жизнерадостно. Ему не всякий день случается поесть, но в театр, если вздумается, этот человечек ходит всякий вечер. У него нет рубашки на теле, башмаков на ногах, крыши над головой; он как птица небесная, у которой ничего этого нет. Ему от семи до тринадцати лет, он всегда в компании, день-деньской на улице, спит под открытым небом, носит старые отцовские брюки, спускающиеся ниже пят, старую шляпу какого-нибудь чужого родителя, нахлобученную ниже ушей; на нем одна подтяжка с желтой каемкой; он вечно рыщет, что-то ищет, кого-то подкарауливает; бездельничает, курит трубку, ругается на чем свет стоит, шляется по кабачкам, знает с ворами, на «ты» с мамзелями, болтает на воровском жаргоне, поет непристойные песни, но в сердце у него нет ничего дурного. И это потому, что в душе у него жемчужина – невинность, а жемчуг не растворяется в грязи. Пока человек еще ребенок, богу угодно, чтобы он оставался невинным.

Если бы спросили у огромного города: «Кто же это?» – он ответил бы: «Мое дитя».

Глава 2

Некоторые отличительные его признаки

Парижский гамен – это карлик при великане.

Не будем преувеличивать: у нашего херувима сточных канав иногда бывает рубашка, но в таком случае она у него единственная; у него иногда бывают башмаки, но в таком случае они без подметок; у него иногда есть дом, и он его любит, так как находит там свою мать, но он предпочитает улицу, так как находит там свободу. У него свои игры, свои проказы, в основе которых лежит ненависть к буржуа; свои метафоры: умереть на его языке называется «сыграть в ящик»; свои ремесла: приводить фиакры, опускать подножки у карет, взимать с публики во время сильных дождей дорожный сбор за переход с одной улицы на другую, что он называет «сооружать переправы», выкрикивать содержание речей, произносимых представителями власти в интересах французского народа, шарить на мостовой между камнями; у него свои деньги: подбираемый на улице мелкий медный лом. Эти курьезные деньги именуются «пуговицами» и имеют у маленьких бродяг хождение по строго установленному твердому курсу.

Есть у него также и своя фауна, за ней он прилежно наблюдает по закоулкам: божья коровка, тля «мертвая голова», паук «коси-сено», «черт» – черное насекомое, которое угрожающе крутит хвостом, вооруженным двумя рожками. У него свое сказочное чудовище; брюхо чудовища покрыто чешуей – но это не ящерица, на спине бородавки – но это не жаба; живет оно в заброшенных ямах для гашения извести и пересохших сточных колодцах; оно черное, мохнатое, липкое, ползает то медленно, то быстро, не издает никаких звуков, а только

смотрит, и такое страшное, что его еще никто никогда не видел; он зовет это чудовище «глухачом». Искать глухачей под камнями – удовольствие из категории опасных. Другое удовольствие – быстро приподнять булыжник и поглядеть, нет ли мокриц. Каждый район Парижа славится интересными находками, на какие там можно набрести. На дровяных складах монастыря урсулинок водятся ухвертки, близ Пантеона – тысяченожки, во рвах Марсова поля – головастики.

Что касается «словечек», то у этого ребенка их не меньше, чем у Талейрана. Он не уступит последнему в цинизме, но порядочней его. Он подвержен неожиданным порывам веселости и может ни с того ни с сего ошарашить лавочника сумасшедшим хохотом. Гамма его настроений легко переходит от высокой комедии к фарсу.

Проходит похоронная процессия. Среди провожающих покойника – доктор. «Гляди-ка, – кричит гамен, – с каких это пор доктора сами доставляют свою работу?»

Другой затесался в толпу. Солидный мужчина в очках, при брелоках, возмущенно оборачивается: «Негодяй, как ты смеешь «хватать талию» моей жены?» – «Что вы, сударь! Можете обыскать меня».

Глава 3

Он не лишен привлекательности

По вечерам, располагая несколькими су, которые он всегда находит способ раздобыть, хотипсио отправляется в театр. Переступив за волшебный его порог, он преображается. Он был гаменом, он становится «тютю»^[78]. Театры представляют собой подобие кораблей, перевернутых трюмами вверх. В эти трюмы и набиваются тютю. Между тютю и гаменом такое же соотношение, как между ночной бабочкой и ее личинкой; то же существо, но только летающее, парящее. Достаточно одного его присутствия, его сияющего счастьем лица, его бьющих через край восторгов и радостей, его рукоплесканий, напоминающих хлопанье крыльев, чтобы этот тесный, смрадный, темный, грязный, нездоровый, отвратительный, ужасный трюм превратился в парадиз.

Одарите живое существо всем бесполезным и отнимите у него все необходимое – и вы получите гамена.

Гамен не лишен литературного чутья. Однако, к крайнему нашему сожалению, классический стиль не в его вкусе. По природе своей гамен мало академичен. Так, например, м-ль Марс пользовалась у этих юных и буйных театралов популярностью, сдобренной некоторой дозой иронии. Гамен называл ее «мадемуазель Шептунья».

Это существо горланит, насмешничает, зубоскалит, дерется; оно обмотано в тряпки, как грудной младенец, одето в рубище, как философ. Этот оборвыш что-то удит в сточных водах, за чем-то охотится по клоакам; в самых нечистотах находит предмет веселья; вдохновенно сыплет руганью на всех перекрестках; издевается, свистит, язвит и напевает; равно готов и обласкать, и оскорбить; способен умерить торжественность «Аллилуйи» какой-нибудь залихватской «Матантюрюретой»; петь на один лад все существующие мелодии, от «упокой господи» до озорных куплетов включительно. Он за словом в карман не лезет, знает и то, чего не знает, обнаруживает спартанскую непреклонность даже в плутнях, легкомыслие – даже в благоразумии, лиризм – даже в сквернословии. С него стало бы присесть под кустик и на Олимпе; он мог бы вывалиться в навозе, а встать осыпанным звездами. Парижский гамен – это Рабле в миниатюре.

Он недоволен своими штанами, если в них нет кармашка для часов.

Он редко бывает удивлен, еще реже – испуган. Высмеивает в песенках суеверия, разоблачает всякую ходульность и преувеличение, подтрунивает над таинственным, показывает язык привидениям, не находит прелести в пафосе, смеется над эпической напыщенностью. Отсюда не следует, однако, что он совсем лишен поэтической жилки; нисколько! Он просто склонен рассматривать торжественные видения как шуточные фантасмагории. Предстань пред ним Адамастор, гамен, наверное, сказал бы: «Вот так чучело!»

Глава 4

Он может быть полезным

Париж начинается зевакой и кончается гаменом – двумя существами, каких неспособен породить никакой иной город; пассивное восприятие, удовлетворявшееся созерцанием, и неиссякаемая инициатива; Прюдом и Фуйу. Только в истории Парижа и можно найти нечто подобное. Зевака – воплощение монархического начала. Гамен – анархического.

Это бледное дитя парижских предместий живет и развивается, «зацветает» и «расцветает» в страданиях, в гуще социальной действительности и людских дел, вдумчивым свидетелем происходящего. Сам ребенок мнит себя беззаботным, но он не беззаботен. Он смотрит, готовый рассмеяться, но готовый и к другому. Кто бы вы ни были, вы, что зоветесь Предрассудком, Злоупотреблением, Подлостью, Угнетением, Насилием, Деспотизмом, Несправедливостью, Фанатизмом, Тиранией, берегитесь гамена, хотя он и глазеет, разинув рот.

Этот малыш вырастет.

Из какого теста он вылеплен? Из первого попавшегося комка грязи. Берут пригоршню земли, дунут – и Адам готов. Нужно только божественное прикосновение. А в нем никогда не бывает отказано гамену. Сама судьба принимает на себя заботу об этом маленьком создании. Под словом «судьба» мы подразумеваем отчасти случайность. Этот пигмей, вылепленный из грубой общественной глины, темный, невежественный, ошеломленный окружающим, вульгарный, дитя подонков, станет ли он ионийцем или беотийцем? Дайте срок, *currit rota* ^[79], и дух Парижа, этот демон, равно создающий и людей жалкой судьбы, и людей высокого жребия, в противоположность римскому горшечнику, превратит кружку в амфору.

Глава 5

Границы его владений

Гамен любит город, но, поскольку в гамене живет мудрец, он любит также и уединение. *Urbis amator* ^[80], как Фуск; *ruris amator* ^[81], как Гораций ^[82].

Бродить, предаваясь раздумью, то есть прогуливаться прогулки ради, – самое подходящее времяпрепровождение для философа. В особенности же бродить по этому подобию деревни, по этой ублюдочной, достаточно безобразной, но своеобразной и обладающей двойственным характером местности, что окружает многие большие города и в частности Париж. Наблюдать окраины – все равно что наблюдать амфибию. Конец деревьям – начало крышам, конец траве – начало мостовой, конец полям – начало лавкам, конец мирному житью – начало страстям, конец божественному шепоту – начало людскому говору, – вот что придает окраинам особый интерес.

Вот что заставляет мечтателя совершать свои с виду бесцельные прогулки в эти малопривлекательные окрестности, раз и навсегда заклеянные прохожими эпитетом «печальные».

Пишущий настоящие строки и сам когда-то любил бродить за парижскими заставами, что служит ныне для него источником неизгладимых воспоминаний. Этот подстриженный газон, эти каменистые тропинки, эта меловая, мергелевая или гипсовая почва, эта суровая монотонность лежащих под паром или невозделанных полей, эти огороды с грядками ранних овощей, неожиданно возникающие где-нибудь на заднем плане, эта смесь дикости с домовитостью, эти обширные и безлюдные задворки, где полковые барабаны, отбивая громкую дробь, пытаются напомнить о громах сражений, эти пустыри, превращающиеся по ночам в разбойничьи притоны, неуклюжая мельница с вертящимися на ветру крыльями, подъемные колеса каменоломен, кабачки на углах кладбищ, таинственная прелесть высоких мрачных стен, замыкающих в своих квадратах огромные пустые пространства, залитые солнцем и полные бабочек, – все это привлекало его.

Мало кому известны такие необычные места, как Гласьер, Кюнет, отвратительная, испещренная пулями стена Гренель, Мон-Парнас, Фос-о-Лу, Обье на крутом берегу Марны, Мон-Сури, Томб-Исуар, Пьер-Плат в Шатильоне, со старой истощенной каменоломней, где теперь лишь растут грибы и куда ведет откидной трап из сгнивших досок. Римская Кампанья есть некое обобщенное понятие; парижское предместье является таким же обобщенным понятием. Не видеть ничего, кроме полей, домов и деревьев, в открывающихся нашим взорам картинах – значит скользить по поверхности. Все зримые предметы суть мысли божьей. Местность, где равнина сливается с городом, всегда проникнута какой-то скорбной меланхолией. Здесь слышатся одновременно и голос природы, и голос человека. Здесь все полно своеобразия.

Тем, кому, подобно нам, доводилось бродить по примыкающим к нашим предместьям пустынным окрестностям, которые можно было бы назвать преддвериями Парижа, наверное, не раз случалось видеть в самых укромных и неожиданных местах, за каким-нибудь ветхим забором, или в углу у какой-нибудь мрачной стены, шумные ватаги дурно пахнущей, грязной, запыленной, оборванной, нечесаной, но в венках из васильков, детворы, играющей в денежки. Все это – дети бедняков, покинувшие свой дом. За чертой города им легче дышится. Предместье – их стихия. Они вечно пропадают здесь, болтаясь без дела. Здесь простодушно расппевают они весь свой репертуар непристойных песен. Это завсегдатаи предместья; вернее, тут, вдали от посторонних взоров, в легкой ясности майского или июньского дня, и протекает по-настоящему их жизнь. Вырвавшись на волю, ни перед кем не обязанные держать ответ, свободные, счастливые, они, собравшись в кружок, катают каменные шарики, загоняя их ударом большого пальца в ямку, и препираются из-за поставленной на кон полушки. Завидя вас, они тотчас же вспоминают, что у них есть ремесло, что им надо зарабатывать свой хлеб насущный, и предлагают вам купить у них то старый шерстяной чулок, набитый майскими жуками, то пучок сирени. Эти необычные встречи с детьми придают особую и вместе с тем горькую прелесть прогулкам по парижским окрестностям.

Иногда в толпе мальчиков попадаются и девочки – их сестры, быть может? – почти уже взрослые девушки, худенькие, возбужденные, с загорелыми руками и веснушчатыми лицами, веселые, пугливые, босоногие, с колосьями ржи и маками в волосах. Некоторые из них, забравшись в рожь, едят вишни. По вечерам можно услышать их смех. Группы детей, то ярко освещенные знойными лучами полуденного солнца, то едва различимые в сумерках, надолго завладевают мечтателем, и эти картины примешиваются к его грезам.

Париж – центр, его предместья – окружность; вот, в представлении детей, и весь земной шар. Ничто не заставит их переступить за эти пределы. Им так же не обойтись без парижского воздуха, как рыбе без воды. За два лье от заставы для них уже пустота; Иври, Жантильи, Аркейль, Бельвиль, Обервилье, Менильмонтан, Шуази-ле-Руа, Билянкур, Медон, Исси, Ванвр,

Север, Пюто, Нельи, Женевилье, Коломб, Роменвиль, Шату, Аньер, Буживаль, Нантер, Энгьен, Нуази-ле-Сэк, Ножан, Гурне, Дранси, Гонес – этим кончается вселенная.

Глава 6

Немножко истории

В эпоху, когда происходят описываемые в настоящей книге события, – кстати сказать, почти нам современную, – на углу каждой улицы (благоденствие, о котором здесь не время распространяться) не стоял, как ныне, постовой, и Париж кишел тогда маленькими бродягами. Из статистических данных видно, что полицейскими облавами на неотгороженных пустырях, в строящихся зданиях и под сводами мостов ежегодно задерживалось в среднем до двухсот шестидесяти бесприютных детей. В одном из таких стяжавших себе известность гнезд вывелись «ласточки Аркольского моста». Вообще же говоря, это самый грозный из симптомов всех общественных болезней. Все преступления взрослых людей берут свое начало в бродяжничестве детей.

Однако для Парижа надо сделать исключение. Несмотря на вышеприведенную справку, Париж до известной степени имеет на это право. Тогда как во всяком другом большом городе маленького бродягу можно уже заранее считать человеком погибшим, тогда как почти везде ребенок, предоставленный самому себе, как бы уже самой судьбой обречен погрязнуть в пороках нашего общества, отнимающих у него честь и совесть, парижский гамен, такой искушенный и испорченный с виду, остается – мы настаиваем на этом – внутренне почти нетронутым. Это замечательное явление особенно ярко выражено в изумительной честности наших народных революций, и как в водах океана – соль, так в воздухе Парижа растворены некие идеи, предохраняющие от порчи. Дышишь парижским воздухом и сохраняешь душу.

Но, что бы мы ни говорили, сердце болезненно сжимается всякий раз, когда встречаешь этих детей, за которыми, кажется, так и видишь концы оборванных нитей, связывавших их с семьей. При нынешнем столь еще несовершенном состоянии цивилизации существование таких распадающихся семей, которые стараются потихоньку освободиться от лишних ртов, равнодушны к участи собственных детей и выбрасывают свое потомство на улицу, не представляется чем-то из ряда вон выходящим. Отсюда происхождение безродных людей. Это печальное явление стало настолько обыденным, что сложилось даже особое выражение «быть выкинутым на парижскую мостовую».

Укажем попутно, что старую монархию отнюдь не беспокоило подобное небрежение к детям. Существование некоторого количества праздношатающихся и бродяг в низших слоях общества устраивало высшие сферы и было на руку власти имущим. «Вред» распространения образования среди детей простого народа был возведен в догму. «Нам не нужны недоучки» – стало требованием дня. А детская невежественность логически вытекает из детской бесприютности.

Впрочем, по временам монархия испытывала нужду в детях и в таких случаях производила очистку улиц.

При Людовике XIV, чтоб не заходить слишком далеко, – по желанию короля, и желанию весьма разумному, – было решено создать флот. Идея сама по себе хорошая, но посмотрим, какими средствами она осуществлялась. Флот немислим, если наряду с парусными судами, являющимися игрушкой ветра, нет в помощь им также судов, свободно передвигающихся в любом направлении с помощью весел или пара. Место нынешних пароходов в те времена занимали во флоте галеры. Следовательно, нужно было обзавестись галерами. Но галеры не могут плавать без гребцов. Следовательно, нужно было обзавестись гребцами. Кольбер, при

посредстве провинциальных интендантов и парламентов, увеличивал, сколько мог, число каторжников. Судейские весьма услужливо шли ему в этом навстречу. Человек не снял шляпы перед проходившей мимо церковной процессией – гугенотская повадка – его отправляли на галеры. Попадался мальчишка на улице, и если только оказывалось, что он уже достиг пятнадцатилетнего возраста и у него нет приюта, – его отправляли на галеры. Великое царствование, великий век!

При Людовике XV в Париже наблюдались случаи исчезновения детей. Полиция похищала их в каких-то неведомых, таинственных целях. Люди с ужасом перешептывались и строили чудовищные предположения относительно ярко-алого цвета королевских ванн. Барбье простодушно повествует об этом. Случалось, что полицейские из-за нехватки детей забирали и таких, у которых были родители. Отцы в отчаянии набрасывались на полицейских. Тогда вмешивался в дело парламент и приговаривал к повешенью. Кого? Полицейских? Нет, отцов!

Глава 7

Гамены могли бы образовать индийскую касту

Парижские гамены – это почти что каста. И, надо сказать, не всякому открыт в нее доступ. Слово «гамен» впервые попало в печать и перешло из простонародного языка в литературный в 1834 году. Оно появилось в первый раз на страницах небольшого рассказа, озаглавленного «Клод Ге». Разыгрался шумный скандал. Но слово привилось.

Основания, на которых зиждется уважение гаменов друг к другу, весьма разнообразны. Мы близко знали одного гамена, который пользовался большим почетом и вызывал необыкновенный восторг товарищей, потому что он видел, как человек упал с колокольни собора Парижской Богоматери. Другой добился такого же почета потому, что ему удалось пробраться на задний двор, где временно были сложены статуи с купола Дома инвалидов, и «стибрить» там малую толику свинца. Третий – потому, что видел, как опрокинулся дилижанс. Еще один – потому, что «знавал» солдата, который чуть было не выколол глаз какому-то буржуа.

Вот почему становится понятным восклицание одного парижского гамена – глубокомысленное восклицание, над которым по неведению смеются непосвященные: *«Господи, боже мой! Какой же я несчастный! Подумать только, ведь мне еще ни разу не пришлось видеть, как падают с шестого этажа!»* (Причем мне произносилось, как мне, а этаж, как *етаж*.)

Надо заметить, что недурно сказал и один крестьянин: «Послушай, отец, твоя жена хворала и умерла от болезни; почему ты не позвал доктора?» – «Воля ваша, сударь, мы люди бедные, нам приходится умирать *самосильно*». Но если в этих словах отражена вся крестьянская пассивность, то все вольнодумство и анархизм мальчонки из предместья нашли полное отражение в нижеследующем: преступник, приговоренный к смертной казни, слушает в тележке, везущей его к месту казни, напутствие духовника. «Он разговаривает с попом! – негодуяще восклицает дитя Парижа. – Экий трус!»

Некоторая смелость в вопросах религии придает гамену авторитет. Очень важно быть свободомыслящим.

Присутствовать при казнях – его долг. Гамены разглядывают гильотину, со смехом обмениваются замечаниями, дают ей разные шутливые прозвища: «Прощай, суп», «Ворчунья», «Голубая (небесная) мамаша», «Последний глоточек» и т. д. и т. д. Чтобы ничего не упустить из предстоящего зрелища, они влезают на стены, взбираются на балконы, карабкаются на деревья,

виснут на решетках, цепляются за трубы. Гамен – прирожденный кровельщик, как и прирожденный моряк. Ни крыша, ни мачта ему не страшны. Никакое празднество не может для него сравниться с Гревской площадью. Сансон и аббат Монтез – поистине самые популярные имена. Чтобы подбодрить осужденного, его встречают гиканьем. Иногда им восхищаются. Ласнер, будучи гаменом и глядя, как мужественно умирал страшный Дотен, произнес слова, исполненные предчувствия собственной судьбы: «Я ему завидовал». Никто среди гаменов не слышал о Вольтере, но зато все отлично знают Папавуана. В этом сонме героев не делают различия между «политиками» и убийцами. Предание о том, кто какой вид имел в свой последний час, одинаково сохраняется обо всех. Известно, что Толерон был в шапке кочегара, Авриль – в меховой фуражке, Лувель – в круглой шляпе, что лысый старик Делапорт оставался с непокрытой головой, что Кастен был румян и очень красив, Бориес носил короткую романтическую бородку, Жан Мартен не снял подтяжек, а мать и сын Лекуфе ссорились между собой. «Хватит вам делить вашу корзину!» – крикнул им какой-то гамен. Другой, желая посмотреть, как повезут Дебакера, но из-за малого своего роста ничего не видя в толпе, облюбовывает себе фонарный столб на набережной и лезет на него. Стоящий возле на посту жандарм хмурит брови. «Позвольте мне влезть, господин жандарм, – просит гамен. И, чтобы задобрить служителя власти, добавляет: – Я не свалюсь». – «А мне-то что, свалишься ты или нет», – отвечает жандарм.

Большое значение придается среди гаменов несчастным случаям. Высший почет обеспечен тому, кому случится, например, глубоко, «до самой кости», порезаться.

Немалым уважением пользуется у гаменов также кулак. Излюбленная фраза гамена: «Я здорово сильный. Во!» Быть левшой считается очень завидным свойством, а косить на оба глаза – весьма ценным качеством.

Глава 8, в которой прочтут об одной милой шутке последнего короля

С наступлением лета гамен превращается в лягушку. По вечерам, когда стемнеет, с какой-нибудь угольной баржи или плота, где стирают прачки, в полное нарушение всех законов стыдливости и полицейских правил он бросается вниз головой в Сену, прямо против Аустерлицкого или Иенского моста. Но, поскольку полицейские не дремлют, положение частенько становится крайне драматичным, что и породило раздавшийся в один прекрасный день достопамятный братский клич. Клич этот, получивший славную известность около 1830 года, является стратегическим предостережением, передаваемым от гамена к гамену. Он скандируется, как строфы Гомера, почти с такими же малодоступными пониманию ударениями, как мелопеи элевзинских празднеств, и в нем слышится античное «Эвоз!». Вот этот клич: «Гей, тютый, ге-эй, не заразись! Фараоны близко, шевелись, собирай свои пожитки, живо, сточной трубы держись!»

Иногда эта мошकारа, как они сами себя называют, умеет читать, иногда писать, но рисовать, с грехом пополам, умеет всегда. Какими-то таинственными путями взаимного обучения гамен приобретает таланты, которые могут оказаться полезными общественному делу. С 1815 по 1830 год он подражал крику индюка. С 1830 по 1848-й – малевал на всех стенах груши. Раз летним вечером Луи-Филипп, возвращаясь пешком во дворец, заметил карапуза, который, обливаясь потом и приподнимаясь на цыпочках, старался нарисовать углем огромную грушу на одном из столбов решетки в Нельи. С присущим ему добродушием, унаследованным от Генриха IV, король помог ребенку и сам нарисовал грушу, а затем дал ему луидор, пояснив: «Тут тоже груша». Гамен любит шум и гам, рад всякому скандалу. Он терпеть не может

«попов». Как-то на Университетской улице одного из таких шельмецов засталирисующим нос на воротах дома № 69. «Зачем ты это делаешь?» – спросил его прохожий. «Здесь живет поп», – ответил ребенок. В доме действительно жил папский нунций. Но как бы ни был в гамене силен вольтерьянский дух, он не прочь при случае вступить в церковный хор, и тогда он добросовестно выполняет во время службы свои обязанности. Две вещи, которых он, страстно желая, никак не может достигнуть, обрекают его на муки Тантала, – это низвергнуть правительство и отдать починить свои штаны.

Гамен в совершенстве знает всех парижских полицейских и, встретившись с любым, безошибочно назовет его имя. Он может перечислить их всех по пальцам. Изучает их повадки, имеет о каждом определенное мнение. Как в открытой книге, читает он в душе полицейских и живо, без запинки, отрапортует вам: «Вот этот – ябеда; этот – злюка; этот – задавака; этот – сущая умора (все эти слова: ябеда, злюка, задавака, умора – имеют в его устах особый смысл); а вот тот вообразил себя хозяином Нового моста и не дает публике прогуливаться по карнизам по ту сторону перил; а вот у этого прескверная привычка драть людей за уши» и т. д., и т. д.

Глава 9

Древний дух Галлии

Что-то родственное с этим ребенком было у Поклена – сына рынка; было оно и у Бомарше. Гаменство – разновидность галльского характера. Примешанное к здравому смыслу, оно придает ему порой крепость, как алкоголь вино, иногда же является недостатком. Если можно допустить, что Гомер пустословит, то про Вольтера можно сказать, что он гаменствует. Камилл Демулен был жителем предместий. Шампигоне, весьма невежливо обращавшийся с чудесами, вырос на парижской мостовой. Еще мальчишкой он «орошал» паперти церковей Сен-Жан-де-Бове и Сент-Этьен-дю-Мон. А взяв себе привычку бесцеремонно «тыкать» раке святой Женевьевы, он, не задумываясь, отдал команду и фиалу святого Януария.

Парижский гамен одновременно почтителен, насмешлив и нагл. У него скверные зубы, потому что он плохо питается, и желудок его всегда не в порядке, но прекрасные глаза – потому что он умен. В присутствии самого Иеговы он не постеснялся бы вприпрыжку, на одной ножке, взбираться по ступенькам райской лестницы. Он мастер ножного бокса. Пути его развития неисповедимы. Вот он играет, согнувшись, в канавке, а вот уже выпрямляет спину, вовлеченный в восстание. Картечи не сломить его дерзости: миг – и сорвиголова становится героем. Подобно маленькому фиванцу, потрясает он львиной шкурой. Барабанщик Барá был парижским гаменом. Как конь Священного Писания подает голос: «Гу-гу!», так он кричит: «Вперед!», и мгновенно мальчонка вырастает в великана.

Это дитя не только скверны, но и высоких идеалов. Измерьте всю широту размаха от Мольера до Бара.

Итак, резюмируем: гамен – существо, которое забавляется, потому что оно несчастно.

Глава 10

Esse Paris, esse homo^[83]

А теперь резюмируем еще раз: парижский гамен является ныне тем же, чем был некогда римский graeculus^[84]. Это народ-дитя с морщинами старого мира на челе.

Гамен – краса нации и одновременно – ее недуг. Недуг, который нужно лечить. Но чем? Учением.

Учение оздоравливает.

Учение просвещает.

Единственным источником всего благородного в сфере социальных отношений является наука, литература, искусство, образование. Воспитывайте же, воспитывайте людей. Дайте им свет знаний, чтобы они могли согревать вас. Рано или поздно великий вопрос всеобщего обучения завоюет признание непреложной истины, и тогда тем, кто будет стоять у власти, придется под давлением французской прогрессивной мысли решать, на ком остановить свой выбор: на истинном ли сыне Франции, или на гамене Парижа; на ярком ли пламени, зажженном лучами просвещения, или на болотном огоньке, мерцающем во мраке невежества.

Гамен – олицетворение Парижа, а Париж – олицетворение мира.

Ибо Париж всеобъемлющ. Париж – мозг человечества. Этот изумительный город представляет собою изображение в миниатюре всех отживших и всех существующих нравов. Глядя на Париж, кажется, что видишь изнанку всеобщей истории, человечества, а в разрывах – небо и звезды. У Парижа есть свой Капитолий – городская ратуша, свой Парфенон – Собор Парижской богородицы, свой Авентинский холм – Сент-Антуанское предместье, свой Азинарий – Сорбонна, свой Пантеон – тоже Пантеон, своя Священная дорога – бульвар Итальянцев, своя Башня ветров – общественное мнение; и он не сбрасывает с Гемоний – он отдает на посмешище. Его мажорант^[85] зовется хлыщом, транстеверинец – жителем предместья, hammal^[86] – крючником, ладзарони – мазуриком, кокней – фатом. Все, что существует где бы то ни было, есть и в Париже. Рыбная торговка Дюмарсе сумела бы подать реплику Еврипидовой зеленщице; дискобол Вейан оживает в канатном плясуне Фориозо; воин Ферапонтигон мог бы пройтись под ручку с гренадером Вадебонкером, антикварий Дамасип, наверно, чувствовал бы себя как дома у парижских торговцев старым хламом; Сократ, конечно, был бы брошен в Венсенский замок, а Дидро засажен Агорой в тюрьму; и если Куртилу принадлежит такое изобретение, как жареный еж, то Гримо де ла Реньеру – такое, как ростбиф в сале; в шарообразном куполе арки Звезды мы видим возрожденной трапецию Плавта; повстречавшийся Апулею пожиратель мечей с афинского портика Пойтиле теперь глотает шпаги на Новом мосту; племянник Рамо и прихлебатель Куркульон составили бы превосходную парочку; д'Эгрфейль не преминул бы познакомить Эргасила с Камбасересом; четырех римских щеголей – Алкесимарха, Федрома, Диабола и Аргириппа – в наши дни можно видеть возвращающимися из Куртиль в почтовой карете Лабатю; Авл Гелий задерживался перед Конгрионом не дольше, чем Шарль Нодье перед Полишинелем; правда, Мартон нельзя назвать неумолимой, но и Пардалиска не была недоступной; весельчак Пантолаб и сейчас потешается в английском кафе над гулякой Номентаном; Гермоген стал тенором на Елисейских полях, а плут Фразий, нарядившись Бобешем, расхаживает возле него и собирает пожертвования; назойливый субъект, который останавливает вас в Тюильри, схватив за пуговицу сюртука, заставляет вас через две тысячи лет повторить апострофу Фесприона: «Quis properantem me prehendit pallio?»^[87]; сюренское вино – подделка албанского, а налитый до краев бокал Дезожье ничем не уступает полной чаше Балатрона; в дождливые ночи от Пер-Лашез исходит такое же свечение, как от Эсквилина, и купленная на пять лет могила бедняка стоит взятого напрокат гроба рабов.

Попробуйте отыскать что-либо такое, чего бы не было в Париже. Содержимое чана Трофония найдется в сосуде Месмера; Эргафил воскресает в Калиостро; брамин Вазафанта воплощается в графа Сен-Жермен; чудеса Сен-Медарского кладбища ничуть не менее поразительны, чем чудеса мечети Умумие в Дамаске.

У Парижа есть свой Эзоп – Майе, своя Канидия – девица Ленорман. Как некогда Дельфы, и его покой смущают явления светящихся духов, и он занимается верчением столов, как Додона – верчением треножников. Пусть Рим возводил на трон куртизанок – он возводит на него

гризеток; в конце концов, если Людовик XV и хуже Клавдия, то г-жа Дюбарри лучше Мессалины. Сочетая греческую ясность с еврейской уязвленностью и гасконским краснобайством, Париж создает небывалый тип человека, который, однако, существовал и с которым нам приходилось сталкиваться. Сделав месиво из Диогена, Иова и Паяца, нарядив призрак в старые номера «Конституционалиста», он производит на свет божий Шодрюка Дюкло.

Хотя Плутарх и говорит, что «тирана ничто не смягчит», при Сулле и Домициане Рим был смирен и безропотно разбавлял свое вино водой. Тибр, если верить несколько доктринерской похвале Вара Вибиска, играл в данном случае роль Леты: «Contra Gracchos Tiberim habemus. Bibere Tiberim, id est seditionem oblivisci»^[88], говорит Вар. Париж выпивает ежедневно миллион литров воды, что не мешает ему, однако, при случае бить в набат и поднимать тревогу.

А при всем том Париж – добрый малый. Он царственно приемлет все и не слишком щепетилен в любовных делах; его Венера – из готтентоток; он готов все простить, только бы посмеяться; физическое уродство его веселит, духовное забавляет, порок развлекает; ежели ты затейник – будь хоть мошенник; его не возмущает даже лицемерие – эта последняя степень цинизма; он достаточно начитан, чтобы не зажимать нос при появлении дона Базилио, а молитва Тартюфа шокирует его не больше, чем Горация «икота» Приапа. Чело Парижа повторяет все черты вселенского лика. Разумеется, бал в саду Мабиль – не полимнийские пляски на Яникулейском холме, но торговка галантереей вразнос выслеживает там лоретку, точь-в-точь как сводня Стафила – девственницу Планесию. Разумеется, застава Боев не Колизей, но и там проявляют кровожадность, как некогда в присутствии Цезаря. Надо думать, что сирийские трактирщицы отличались большей миловидностью, чем тетушка Саге; однако если Вергилий был завсегдатаем римских трактиров, то Давид Д’Анже, Бальзак и Шарле сживали за столиками парижских кабачков. Париж царит. Там блещут гении и процветают шуты. Там на своей колеснице о двенадцати колесах в громах и молниях проносится Адонай; и сюда же въезжает на своей ослице Силен. Силен – читай Рампоно.

Париж – синоним космоса. Париж – это Афины, Рим, Сибарис, Иерусалим, Пантен. Здесь вкратце представлены все виды культур и все виды варварства. Отнять у Парижа гильотину – значило бы сильно его раздосадовать.

Гревская площадь в небольшой дозе не вредна. Мог ли такой вечный праздник без подобной приправы быть в праздник? Наши законы мудро это предусмотрели, и кровь с ножа гильотины капля по капле стекает на этот нескончаемый карнавал.

Глава 11

Глумясь, властвовать

Границ Парижа не укажешь, их нет. Из всех городов лишь ему удавалось утверждать господство над своими подъяремными, осмеивая их. «Понравиться вам, о афиняне!» – воскликнул Александр. Париж не только создает законы, он создает нечто большее – моду; и еще нечто большее, чем мода, – он создает рутину. Вздумается ему, и он вдруг становится глупым, он разрешает себе иногда такую роскошь; и тогда весь мир глупеет вместе с ним; а потом Париж просыпается, протирает глаза и со словами: «Ну не дурак ли я!» – раздражается оглушительным смехом прямо в лицо человечеству. Что за чудо-город! Самым непостижимым образом здесь грандиозное уживается с шутовским, пародия с подлинным величием, одни и те же уста могут нынче трубить в трубу Страшного суда, а завтра в детскую дудочку. У Парижа царственный веселый характер. В его забавах – молнии, его проказы державны. Здесь гримасе

случается вызвать бурю. Гул его взрывов и битв докатывается до края вселенной. Его шедевры, диковины, эпопеи, как, впрочем, и весь его вздор, становятся достоянием мира. Его смех, вырываясь, как из жерла вулкана, лавой заливают землю. Его буффонады сыплются искрами. Он равно навязывает народам и свои нелепости, и свои идеалы; высочайшие памятники человеческой культуры покорно сносят его насмешки и отдают ему на забаву свое бессмертие. Он великолепен; у него есть беспримерное 14 июля, принесшее освобождение миру; он зовет все народы произнести клятву в Зале для игры в мяч; его ночь на 4 августа в какие-нибудь три часа свергает тысячелетнюю власть феодализма. Природное здравомыслие он умеет обратить в мускул согласованного действия людской воли. Он множится, возникая во всех формах возвышенного; отблеск его лежит на Вашингтоне, Костюшко, Боливаре, Боццарисе, Риго, Беме, Манине, Лопеце, Джоне Брауне, Гарибальди. Он всюду, где загорается надежда человечества: в 1779 году – он в Бостоне, в 1820-м – на острове Леоне, в 1848-м – в Пеште, в 1860-м – в Палермо. Он повелительно шепчет на ухо пароль: *Свобода* и американским аболиционистам, толпящимся на пароме в Харперс-Ферри, и патриотам Анконы, собирающимся в сумерках в Арчи на берегу моря, перед таверной Гоцци. Он родит Канариса, Квиругу, Пизакане; от него берет начало все великое на земле; им вдохновленный Байрон умирает в Миссолонги, а Мазе в Барселоне; под ногами Мирабо – он трибуна, под ногами Робеспьера – кратер вулкана; его книги; его театр, искусство, наука, литература, философия служат учебником, по которому учится все человечество; у него есть Паскаль, Ренье, Корнель, Декарт, Жан-Жак, Вольтер для каждой минуты, а для веков – Мольер; он заставляет говорить на своем языке все народы, и язык этот становится глаголом; он закладывает во все умы идеи прогресса, а выкованные им освободительные теории служат верным оружием для поколения; с 1789 года дух его мыслителей и поэтов почиет на всех героях всех народов. Все это нисколько не мешает ему повесничать, и исполинский гений, именуемый Парижем, видоизменяя своей мудростью мир, может в то же время рисовать углем нос Бужинье на стене Тезеева храма и писать на пирамидах: «Кредевилъ – вор».

Париж всегда скалит зубы: он либо рычит, либо смеется.

Таков Париж. Дымки над его крышами – идеи, уносимые в мир. Груда камней и грязи, если угодно, но прежде всего и превыше всего – существо, богатое духом. Он не только велик, он необъятен. Вы спросите, почему? Да потому, что смеет дерзать.

Дерзать! Ценой дерзаний достигается прогресс.

Все блистательные победы являются в большей или меньшей степени наградой за отвагу. Чтобы революция совершилась, недостаточно было Монтескье ее предчувствовать, Дидро проповедовать, Бомарше провозгласить, Кондорсе рассчитать, Аруэ подготовить, Руссо провидеть, – надо было, чтобы Дантон дерзнул.

Смелее! Этот призыв – тот же *Fiat lux*^[89]. Человечеству для движения вперед необходимо постоянно иметь перед собой на вершинах славные примеры мужества. Подвиги храбрости заливают историю ослепительным блеском, и это одни из ярчайших светочей людей. Заря дерзает, когда занимается. Пытаться, упорствовать, не покоряться, быть верным самому себе, вступать в единоборство с судьбой, обезоруживать опасность бесстрашием, бить по несправедливой власти, клеймить захмелевшую победу, крепко стоять, стойко держаться – вот уроки, нужные народам, вот свет, их воодушевляющий. От факела Прометея к носогрейке Камбронна змеится все та же грозная молния.

Глава 12

Будущее, таящееся в народе

Что касается простого парижского люда, то и в зрелом возрасте он остается гаменом. Дать изображение ребенка – значит дать изображение города; вот почему для изучения этого орла мы воспользовались обыкновенным воробышком.

Наилучшие представления о парижском племени – мы настаиваем на этом – можно получить в предместьях; тут самая чистая его порода, самое подлинное его лицо; тут весь этот люд трудится и страдает, а в страданиях и в труде и выявляются два истинных лика человека. Тут, в несметной толпе никому не ведомых людей, кишмя кишат самые необычайные типы, начиная от грузчика с Винной пристани и кончая живодером с монфоконской свалки. Fex urbis^[90], – восклицает Цицерон; mob^[91], – добавляет негодующий Берк; сброд, масса, чернь – эти слова произносятся с легким сердцем. Но пусть так! Что за важность? Что из того, что они ходят босые? Они неграмотны, тем хуже. Неужели вы бросите их за это на произвол судьбы? Их несчастья вы превратите в проклятие? Неужели просвещению не дано проникнуть в народную гущу? Так повторим же наш призыв к просвещению. Так не устанем же твердить: «Просвещения! Просвещения!» Как знать, быть может, тьма эта и рассеется. Разве революции не несут преобразования? Слушайте же меня вы, философы: обучайте, разъясняйте, просвещайте, мыслите вслух, говорите во всеуслышание, радостные духом, действуйте открыто, при блеске дня, братайтесь с площадями, возвещайте благую весть, щедро оделяйте букварями, провозглашайте права человека, пойте марсельезы, пробуждайте энтузиазм, срывайте зеленые ветки с дубов. Обратите идеи в вихрь. Толпу можно возвысить. Сумеем же использовать ту неукротимую бурю, какою в иные минуты разражается, бушует и шумит мысль и моральное чувство людей. Эти босые ноги, эти голые руки, эти лохмотья, это невежество, эта униженность и темнота – все это может быть направлено на завоевание великих идеалов. Вглядитесь поглубже в народ, и вы увидите истину. Киньте грязный песок из-под ваших ног в горнило, дайте этому песку плавиться и кипеть, и он превратится в дивный кристалл, благодаря которому Галилей и Ньютон откроют небесные светила.

Глава 13

Маленький Гаврош

Примерно восемь или девять лет спустя после событий, рассказанных во второй части настоящей повести, на бульваре Тампль и близ Шато-д’О можно было часто видеть мальчика лет одиннадцати-двенадцати, который вполне подошел бы под нарисованный нами выше портрет гамена, не будь у него так пусто и мрачно на сердце, хотя, как всякий в его возрасте, он не прочь был и посмеяться. Ребенок этот был наряжен в мужские брюки, но не отцовские, и в женскую кофту, но не материнскую. Чужие люди одели его из милости в лохмотья. А между тем у него были и отец, и мать. Но отец не желал его знать, а мать его не любила. Он принадлежал к тем заслуживающим особого сострадания детям, которые, имея родителей, живут сиротами.

Лучше всего ребенок этот чувствовал себя на улице. Мостовая была для него менее жесткой, чем сердце матери.

Родители пинком ноги выбросили его в жизнь. Он, не прекословя, покорился.

Это был шумливый, бойкий, смысленый, задорный мальчик, с живым, но болезненным выражением бледного лица. Он шнырял по городу, напевал, играл в бабки, рылся в канавках, поворовывал, но делал это весело, как кошки и воробы, смеялся, когда его называли постреленком, и обижался, когда его называли бродяжкой. У него не было ни крова, ни пищи, ни тепла, ни любви, но он был радостен, потому что был свободен.

Когда эти жалкие создания вырастают, они почти неизбежно попадают под жернов существующего социального порядка и размалываются им. Но пока они дети и малы, они ускользают. Любая норка может укрыть их.

Однако, как ни заброшен был этот ребенок, изредка, раз в два или три месяца, он говорил себе: «Пойду-ка я повидаться с мамой!» И он покидал бульвар, минуя цирк и Сен-Мартенские ворота, спускался на набережную, переходил мосты, добирался до предместий, шел мимо больницы Сальпетриер и приходил – куда? Да прямо к знакомому уже читателю дому под двойным номером 50–52, к лачуге Горбо.

В ту пору лачуга № 50–52, обычно пустовавшая и неизменно украшенная билетиком с надписью: «Сдаются комнаты», оказалась – редкий случай – заселенной несколькими личностями, впрочем, как это водится в Париже, не поддерживавшими между собой никаких отношений. Все они принадлежали к тому неимущему классу, что начинается с мелкого, стесненного в средствах буржуа и, спускаясь от бедняка к бедняку все ниже, до самого дна общества, кончается двумя существами, к которым стекаются одни лишь отбросы материальной культуры: золотарем, возящим нечистоты, и тряпичником, подбирающим рвань.

«Главная жилица» времен Жана Вальжана уже умерла, и ее сменила совершенно такая же. Кто-то из философов, не припомню кто, сказал: «В старухах никогда не бывает недостатка».

Эта новая старуха звалась тетушкой Бюргон, и в жизни ее не было ничего примечательного, если не считать династии трех попугаев, последовательно царивших в ее сердце.

Из всех живущих в лачуге в самом бедственном положении находилась семья, состоявшая из четырех лиц: отца, матери и двух уже довольно взрослых дочерей. Все четверо помещались в общей конуре, в одном из трех чердаков, которые были уже нами описаны.

На первый взгляд семья эта ничем особенным, кроме своей крайней бедности, не отличалась. Отец, нанимая комнату, назвался Жондретом. Немного времени спустя после своего водворения, весьма напоминавшего, по столь памятному выражению главной жилицы, «въезд пустого места», Жондрет сказал этой женщине, которая, как и ее предшественница, одновременно исполняла обязанности привратницы и мела лестницу: «Матушка, как вас там, если случайно будут спрашивать поляка или итальянца, а может быть, и испанца, то знайте – это я».

Это и была семья веселого оборвыша. Он приходил сюда, но видел здесь лишь нищету и уныние и – что еще печальнее – не встречал ни единой улыбки: холодный очаг, холодные сердца. Когда он входил, его спрашивали: «Ты откуда?» Он отвечал: «С улицы». Когда уходил, спрашивали: «Ты куда?» Он отвечал: «На улицу». Мать попрекала его: «Зачем ты сюда ходишь?»

Этот ребенок, лишенный ласки, был как хилая травка, что вырастает в погребе. Он не страдал от этого и никого в этом не винил. Он по-настоящему и не знал, какими должны быть отец и мать.

Впрочем, мать любила его сестер.

Мы забыли сказать, что на бульваре Тампль этого мальчика называли маленьким Гаврошем. Почему звался он Гаврошем? Да, вероятно, потому же, почему отец его звался Жондретом.

Инстинктивное стремление разорвать родственные узы свойственно, по-видимому, некоторым бедствующим.

Комната в лачуге Горбо, в которой жили Жондреты, была в самом конце коридора. Каморку рядом занимал небогатый молодой человек, которого звали г-н Мариус.

Расскажем теперь, кто такой этот г-н Мариус.

Книга вторая

Важный буржуа

Глава 1

Девяносто лет и тридцать два зуба

Среди давних обитателей улиц Бушера, Нормандской и Сентонж еще и теперь найдутся люди, помнящие и поминающие добрым словом старичка по имени г-н Жильнорман. Старичок этот был стар уже и тогда, когда сами они были молоды. Для всех, кто предается меланхолическому созерцанию смутного роя теней, именуемого прошлым, этот образ еще не совсем исчез из лабиринта улиц, соседних с Тамплем, которым при Людовике XIV присваивали названия французских провинций совершенно так же, как в наши дни улицам нового квартала Тиволи присваивают названия всех европейских столиц. Явление, кстати сказать, прогрессивное, свидетельствующее о движении вперед.

Господин Жильнорман, в 1831 году еще совсем бодрый, принадлежал к числу людей, возбуждающих любопытство единственно по причине своего долголетия, и если в свое время они ничем не выделялись из общей массы, то теперь казались незаурядными, так как ни на кого не походили. Это был очень своеобразный старик – в полном смысле слова человек иного века, с головы до ног настоящий, чуть-чуть надменный буржуа XVIII столетия, носивший свое старинное и почтенное звание буржуа с таким видом, с каким маркизы носят свой титул. Ему уже перевалило за девяносто лет, но он держался прямо, говорил громко, хорошо видел, любил выпить, сытно поесть, во сне богатырски храпел. Он сохранил все свои тридцать два зуба. Надевал очки, только когда читал. Был влюбчив, но утверждал, что уже свыше десяти лет решительно и бесповоротно отказался от женщин. По его словам, он больше не мог уже нравиться. Однако он никогда не прибавлял к этому: «Потому что слишком стар», но всегда: «Потому что слишком беден». «Не разорись я... ого-го!» – говорил он. Он и на самом деле располагал не более чем пятнадцатью тысячами ливров годового дохода. Его мечтой было получить наследство, иметь сто тысяч франков ренты и завести любовниц. Как видим, его отнюдь нельзя было причислить к тем немощным восьмидесятилетним старцам, которые, подобно господину Вольтеру, умирают всю жизнь. И долговечность его не была долговечностью битой посуды. Этот бодрый старик всегда отличался прекрасным здоровьем. Он был человеком неглубоким, порывистым и очень вспыльчивым. Из-за любого пустяка он мог разбушеваться, и по большей части – будучи совершенно неправым. Если же ему перечили, он замахивался тростью и давал людям таску не хуже, чем в «великий век». У него была незамужняя дочь в возрасте пятидесяти с лишком лет, которую он в сердцах пребольно колотил и рад был бы высечь. Она все еще казалась ему восьмилетней девочкой. Он отпускал увесистые оплеухи своим слугам, приговаривая: «Ну и стервецы!» Одним из излюбленных его ругательств было: «Эх вы, *пентюхи, перепентюхи!*» Вместе с тем ему была присуща редкая невозмутимость; он каждодневно брился у полупомешанного цирюльника, который ненавидел его, ревнуя к нему свою хорошенькую кокетливую жену. Г-н Жильнорман очень высоко ставил свое умение судить обо всем на свете и хвастался своей проницательностью. Вот одна из его острот: «Ну, я ли не догадлив? Стоит блохе меня укусить, и я тотчас знаю, с какой женщины она на меня перескочила». Его речь постоянно пересыпалась словами: «чувствительный человек» и «природа». Он не вкладывал, впрочем, в это последнее такого широкого смысла, какое ему стали придавать в наше время, однако любил как-то по-своему ввернуть его в свои шуточки у камелька. «Природа, – говаривал он, – желая наделить цивилизованные страны всем

понемножку, ничего для них не жалеет, вплоть до забавных образцов варварства. В Европе существует, но в малом формате, все, что встречается в Азии и в Африке. Кошка – это домашний тигр, ящерица – карманный крокодил. Танцовщицы из Оперы – те же людоедки, только розовенькие. Они съедают человека не сразу, они гложут его понемножку. А то – о волшебницы! – вдруг возьмут и превратят его в устрицу и проглотят. Караибы оставляют одни кости, они – одни черепки. Таковы уж наши нравы. Мы не пожираем пищу мигом, а смакуем. Мы не приканчиваем добычу одним ударом, а медленно рвем на части».

Глава 2

По хозяину и дом

Он жил в квартале Марэ на улице Сестер страстей господних, в доме № 6. Дом был его собственный. Он давно снесен, и теперь на его месте выстроен другой, а при постоянных изменениях, которые претерпевает нумерация домов парижских улиц, изменился, вероятно, и его номер. Г-н Жильнорман занимал просторную старинную квартиру во втором этаже, выходившую на улицу и в сады и увешанную до самого потолка огромными коврами, изделиями Гобеленовой и Бовеской мануфактур, изображавшими пастушеские сцены; сюжеты плафонов и панно повторялись в уменьшенных размерах на обивке кресел. Кровать скрывали большие девятистворчатые ширмы коромандельского лака. Длинные и пышные занавеси широкими величественными складками спадали с окон. В сад, расположенный прямо под окнами комнат г-на Жильнормана, попадали через угловую застекленную дверь, по лестнице в двенадцать-пятнадцать ступеней, по которым наш старичок весьма проворно бегал вверх и вниз. Кроме библиотеки, смежной со спальней, у него был еще будуар – предмет его гордости, изысканный уголок, обтянутый великолепными соломенными шпалерами в геральдических лилиях и всевозможных цветах. Шпалеры эти были исполнены в эпоху Людовика XIV каторжниками на галерах, по распоряжению г-на де Вивона, заказавшего их для своей любовницы. Они достались г-ну Жильнорману по наследству от двоюродной бабки с материнской стороны – сумасбродной старухи, дожившей до ста лет. Он был дважды женат. Своими манерами он напоминал отчасти придворного, хотя никогда им не был, а отчасти судейского, кем мог бы быть. При желании он бывал приветливым и радушным. В юности он принадлежал к мужчинам, которых постоянно обманывают жены и никогда – любовницы, ибо, будучи пренеприятными мужьями, они являются вместе с тем премилыми любовниками. Он понимал толк в живописи. В его спальне висел чудесный портрет неизвестного, кисти Иорданса, сделанный в широкой манере, как бы небрежно, в действительности же выписанный до мельчайших деталей. Костюм Жильнормана не был ни костюмом эпохи Людовика XV, ни даже Людовика XVI; он одевался как щеголь Директории, – до той поры он считал себя молодым и следовал моде. Он носил фрак из тонкого сукна, с широкими отворотами, с длиннейшими заостренными фалдами и огромными стальными пуговицами. К этому – короткие штаны и башмаки с пряжками. Руки он всегда держал в жилетных карманах и авторитетно утверждал, что «французская революция дело рук отъявленных шалопаев».

Глава 3

Лука-Разумник

В шестнадцать лет он удостоился чести быть однажды вечером лорнированным в Опере сразу двумя знаменитыми и воспетыми Вольтером, но к тому времени уже перезревшими

красавицами – Камарго и Сале. Попав, таким образом, между двух огней, он храбро ретировался, направив свои шаги к маленькой, никому не ведомой танцовщице по имени Наанри, которой, как и ему, было шестнадцать лет и в которую он был влюблен. Он сохранил бездну воспоминаний. «Ах, как она была мила, эта Гимар-Гимардини-Гимардинетта, – восклицал он, – когда я ее видел в последний раз в Лоншане, в локонах «неувядаемые чувства», в бирюзовых побрякушках, в платье цвета новорожденного младенца и с муфточкой «волнение»!» Охотно и с большим увлечением описывал он свой ненлондреновый камзол, который носил юношей. «Я был разряжен, как турок из восточного Леванта», – говорил он. В двадцатилетнем возрасте он случайно попался на глаза г-же де Буфле, и она дала ему прозвище «очаровательный безумец». Он возмущался именами современных политических деятелей и людей, стоящих у власти, находя эти имена низкими и буржуазными. Читая газеты, «ведомости, журналы», как он их называл, он едва удерживался от смеха. «Ну и люди, – говорил он, – Корбьер, Гюман, Казимир Перье! И это, изволите ли видеть, министры! Воображаю, как бы выглядело в газете: «Господин Жильнорман, министр»! Вот была бы потеха. Впрочем, у таких олухов и это сошло бы!» Он, не задумываясь, называл все вещи, пристойные, равно как и непристойные, своими именами, нисколько не стесняясь присутствия женщин. Грубости, гривуазности и сальности произносились им спокойным, невозмутимым и, если угодно, не лишенным некоторой изысканности тоном. Такая бесцеремонность в выражениях была принята в его время. Надо сказать, что эпоха парафраз в поэзии являлась вместе с тем эпохой неприкрытых откровенностей в прозе. Крестный отец Жильнормана, предсказывая, что из него выйдет человек не бесталанный, дал ему двойное многозначительное имя: Лука-Разумник.

Глава 4

Претендент на столетний возраст

В детстве он не раз удостоивался награды в коллеже своего родного города Мулена и однажды получил ее даже из рук самого герцога Нивернезского, которого он называл герцогом Неверским. Ни Конвент, ни смерть Людовика XVI, ни Наполеон, ни возвращение Бурбонов – ничто не могло изгладить из его памяти воспоминание об этом событии. В его представлении «герцог Неверский» являлся самой крупной фигурой века. «Что это был за очаровательный вельможа! – рассказывал он. – И как к нему шла голубая орденская лента!» В глазах г-на Жильнормана Екатерина II искупила вину раздела Польши тем, что приобрела у Бестужева за три тысячи рублей секрет изготовления золотого эликсира. Тут он воодушевлялся. «Золотой эликсир, – восклицал он, – флакон в пол-унции желтой бестужевской тинктуры и капель-генерала Ламота стоил в XVIII веке луидор и служил великолепным средством от несчастной любви и панацеей от всех бедствий, насылаемых Венерой! Людовик XV послал двести флаконов этого эликсира папе». Старик был бы страшно разгневан и взбешен, если бы ему сказали, что золотой эликсир не что иное, как хлористое железо. Г-н Жильнорман боготворил Бурбонов и питал сильнейшее отвращение к 1789 году; без конца готов он был повествовать о том, как ему удалось спастись при терроре и сколько ума и присутствия духа потребовалось от него, чтобы уберечь свою голову. Если кто-нибудь из молодежи осмеливался хвалить при нем республику, он приходил в такую ярость, что едва не терял сознания. Иной раз, намекая на свои девяносто лет, он говорил: «Я льщу себя надеждой, что мне не придется дважды пережить девяносто третий год». А иной раз признавался домашним, что рассчитывает прожить до ста лет.

Глава 5

У него были собственные теории. Вот одно из его рассуждений: «Если мужчина питает большую слабость к прекрасному полу, а сам имеет жену, к которой равнодушен, безобразную, угрюмую, преисполненную сознания своих прав, восседающую на кодексе законов, как на насесте, и при всем том еще ревнивую, у него остается только один способ развязать себе руки и обрести покой: это отдать жене на растерзание кошелек. Такая добровольная отставка возвратит ему свободу. Теперь жене будет чем заняться. Она скоро войдет во вкус ворочать деньгами, мараить пальцы о медяки, школить арендаторов, муштровать фермеров, теребить поверенных, верховодить нотариусами, отчитывать письмоводителей, водиться с разными канцелярскими крысами, сутяжничать, сочинять контракты, диктовать договоры, чувствовать себя полновластной хозяйкой, продавать, покупать, вершить дела, командовать, обещать и надувать, сходиться и расходиться, уступать, отступать и переуступать, налаживать, разлаживать, экономить гроши, проматывать сотни; она совершает – что составляет особое и главное ее счастье – глупость за глупостью и так развлекается. Меж тем как супруг пренебрегает ею, она находит себе утешение, разоряя этого супруга». Г-н Жильнорман испробовал эту теорию на собственной практике, и с ним произошло все как по писаному. Жена, а именно вторая из них, столь усердно вела его дела, что когда в один прекрасный день он оказался вдовцом, у него едва набралось на жизнь около пятнадцати тысяч ливров в год, да и то лишь при помещении почти всего капитала в пожизненную ренту, на три четверти не подлежащую выплате после его смерти. Он, не задумываясь, пошел на эти условия, относясь безразлично к тому, останется ли после него наследство. Впрочем, он имел возможность убедиться, что и с родовым имуществом случаются всяческие истории. Оно может, например, сделаться национальным имуществом; он был свидетелем некоего чудесного превращения французского государственного долга, вдруг уменьшившегося на целую треть, и не слишком доверял книге росписей государственных долгов. «Все это – одна лавочка», – говорил он. Как мы уже указывали, дом на улице Сестер страстей господних, в котором он жил, был его собственным. Он всегда держал двух слуг: «человека» и «девушку». Когда к г-ну Жильнорману нанимался новый слуга, он считал необходимым окрестить его заново. Мужчинам он давал имена, соответствующие названиям провинций, из которых они были родом: Ним, Контуа, Пуатевен, Пикар. Его последний лакей, страдавший одышкой толстяк лет пятидесяти пяти, с больными ногами, не мог пробежать и двадцати шагов, но, поскольку он был уроженцем Байоны, г-н Жильнорман именовал его Баском. Что касается служанок, то они все именовались у него Николеттами (даже сама Маньон, о которой речь будет впереди). Как-то раз к нему пришла наниматься знатная стряпуха, мастерица своего дела, из славной породы поварих. «Сколько вам угодно получать в месяц?» – спросил ее г-н Жильнорман. «Тридцать франков». – «А как вас зовут?» – «Олимпия». – «Ну так вот, ты будешь получать пятьдесят франков, а зваться Николеттой».

Глава 6, в которой промелькнет Маньон с двумя своими малютками

У г-на Жильнормана горе выражалось гневом; огорчения приводили его в бешенство. Он был полон предрассудков, а в поведении позволял себе любые вольности. Как мы уже отмечали, больше всего старался он показать всем своим внешним видом, черпая в этом и глубокое внутреннее удовлетворение, что продолжает еще оставаться усердным поклонником женщин и прочно пользуется репутацией такового. Он называл это своей «высочайшей славой». Но эта

«высочайшая слава» преподносила ему подчас самые неожиданные сюрпризы. Однажды ему принесли в продолговатой корзине, напоминающей корзину для устриц, запеленутого по всем правилам искусства и оравшего благим матом пухленького, недавно появившегося на свет божий мальчугана, которого служанка, прогнанная полгода назад, объявляла его сыном. Г-ну Жильнорману было в ту пору ни много ни мало восемьдесят четыре года. Это вызвало взрыв возмущения окружающих: «Кого эта бесстыжая тварь думала обмануть? Кто может ей поверить? Какая наглость! Какая гнусная клевета!» Но сам г-н Жильнорман несколько не рассердился. Он поглядел на младенца с ласковой улыбкой старичка, польщенного подобного рода клеветой, и сказал как бы в сторону: «Ну что? Что тут такого? Что тут такого особенного? Вы совсем рехнулись, мелете вздор, как сущие невежды! Герцог Ангулемский, побочный сын короля Карла Девятого, женился восьмидесяти пяти лет на пятнадцатилетней пустельге; г-ну Виржиналю, маркизу д'Алюи, брату кардинала Сурди, архиепископа Бордоского, было восемьдесят три года, когда у него родился сын от горничной президентши Жакен – истинное дитя любви, впоследствии кавалер Мальтийского ордена и государственный советник при шпаге. Один из выдающихся людей нашего века – аббат Табаро – сын восьмидесятисемилетнего старика. Таких случаев сколько угодно. Вспомним, наконец, Библию! А засим заявляю, что сударик сей не мой. Все же позаботиться о нем надо. Его вины тут нет». Этому поступку нельзя отказать в сердечности. Через год та же особа, звали ее Маньон, прислала ему второй подарок. Опять мальчика. На этот раз г-н Жильнорман сдался. Он возвратил матери обеих малышей, обязуясь давать на их содержание по восемьдесят франков ежемесячно, при условии, что вышеупомянутая мать не возобновит своих притязаний. «Надеюсь, – добавил он, – что она обеспечит детям хороший уход. Я же стану время от времени навещать их». Так он и делал. У него был когда-то брат священник, занимавший в течение тридцати трех лет должность ректора академии в Пуатье и умерший семидесяти семи лет от роду. «Я потерял его, когда он был еще молодым», – говорил г-н Жильнорман. Этот брат, оставивший по себе недолгую память, был безобидным, но скупым человеком; как священник, он считал своей обязанностью подавать милостыню встречным нищим, но подавал только изъятые из употребления монеры да стертые су и, таким образом, умудрился по дороге в рай попасть в ад. Что касается г-на Жильнормана-старшего, то он не старался выгадать на милостыне и охотно и щедро подавал ее. Он был доброжелательный, горячий, отзывчивый человек, и будь он богат, его слабостью являлась бы роскошь. Ему хотелось, чтобы все, имеющее к нему отношение, вплоть до мошенничества, было поставлено на широкую ногу. Как-то раз, когда он получал наследство, его обобрал самым грубым и откровенным образом один из поверенных. «Фи, какая грязная работа! – высокомерно воскликнул он. – Мне просто стыдно за такое жалкое жульничество. Все измельчало нынче, даже плуты. Черт побери, можно ли подобным образом обманывать людей такого сорта, как я! Меня ограбили, как в дремучем лесу, но ограбили никуда не годным способом. Sylvae sint consule dignae!»^[92]

Мы уже сказали, что он был дважды женат. От первого брака у него была дочь, оставшаяся в девицах, от второго – тоже дочь, умершая примерно в тридцатилетнем возрасте и в свое время, по любви ли, случайно, или по какой-либо иной причине, вышедшая замуж за офицера из рядовых, служившего в республиканской и императорской армии, получившего крест за Аустерлиц и чин полковника за Ватерлоо. «Это – позор моей семьи», – говорил старый буржуа. Он беспрестанно нюхал табак и с каким-то особым изяществом приминал тыльной стороной руки свое кружевное жабо. В бога он почти совсем не верил.

Вот каков был г-н Лука-Разумник Жильнорман. Он сохранил еще свои волосы, скорее с проседью, нежели седые, и всегда носил одну и ту же прическу «собачьи уши». В общем, даже при всех своих слабостях, это была личность весьма почтенная.

Все в нем носило печать XVIII века, фривольного и величавого.

В первые годы Реставрации г-н Жильнорман, тогда еще молодой – в 1814 году ему исполнилось только семьдесят четыре года, – жил в Сен-Жерменском предместье, на улице Сервандони, близ церкви Сен-Сюльпис. Он переехал на покой в Марэ уже много времени спустя, после того как ему стукнуло восемьдесят лет.

Но и покинув свет, он продолжал придерживаться прежних своих привычек. Главная из них, которую он никогда не нарушал, состояла в том, чтобы держать днем свою дверь на замке и никого ни под каким видом не принимать у себя раньше вечера. В пять часов он обедал, и лишь засим двери его дома отворялись. Так было модно в его время, и он отнюдь не желал отступать от этого обычая. «День вульгарен, – говаривал он, – и ничего, кроме закрытых ставен, не заслуживает. У светских людей ум загорается вместе со звездами в небесах». И он накрепко запирался ото всех, будь то сам король. В этом сказывалась старинная изысканность его века.

Глава 8

Две, но не пара

Мы уже упоминали о двух дочерях г-на Жильнормана. Между ними было десять лет разницы. В юности они очень мало походили друг на друга и ни характером, ни лицом нисколько не напоминали сестер. Младшую – чудесной души создание – влекло ко всему светлому. Она любила цветы, поэзию, музыку; уносясь мыслями в лучезарные края, восторженная, невинная, с ранних детских лет, как нареченная невеста, ожидала она героя, смутный образ которого витал пред нею. У старшей также была своя мечта. В голубой дали ей мерещился поставщик, какой-нибудь добродушный, очень богатый толстяк, подряжавший провиант для армии, муж восхитительно глупый, человек-миллион или хотя бы префект; приемы в префектуре, швейцар с цепью на шее в прихожей, торжественные балы, речи в мэрии, она – «супруга г-на префекта» – все это вихрем носилось в ее воображении. Итак, каждая из сестер предавалась в юности своим девичьим грезам. У обеих были крылья, но у одной – ангела, а у другой – гусыни.

Однако ни одно желание на этом свете полностью не осуществляется. Рай невозможен нынче на земле. Младшая вышла замуж за героя своих мечтаний, но вскоре умерла. Старшая вовсе не вышла замуж.

К моменту появления последней в нашей повести она была уже старой девой, закоренелой недотрогой, на редкость остроносой и тупоголовой. Характерная подробность: вне узкого семейного круга никто не знал ее имени. Все звали ее «мадемуазель Жильнорман-старшая».

По части чопорности мадемуазель Жильнорман-старшая могла бы дать несколько очков вперед любой английской мисс. Ее стыдливость не знала пределов. Над ее жизнью тяготело страшное воспоминание: однажды мужчина увидел ее подвязку.

С годами эта неукротимая стыдливость еще усилилась. М-ль Жильнорман все казалось, что шемизетка ее недостаточно непроницаема для взоров и недостаточно высоко закрывает шею. Она усеивала бесконечным количеством застёжек и булавок такие места своего туалета, куда никто и не помышлял глядеть. Таковы всегда недотроги: чем меньше их твердые угрожает

опасность, тем большую они проявляют бдительность.

Однако да объяснит, кто может, сии тайны престарелой невинности: она охотно позволяла целовать себя своему внучатому племяннику, поручику уланского полка Теодюлю.

И все же, несмотря на особую благосклонность к улану, этикетка «недотроги», которую мы на нее повесили, необыкновенно подходила к ней. М-ль Жильнорман представляла собою какое-то сумеречное существо. Быть недотрогой – полудобродетель, полупорок.

Неприступность недотроги соединялась у нее с ханжеством – сочетание весьма подходящее. Она состояла членом Общества пресвятой девы, надевала иногда в праздник белое покрывало, бормотала себе под нос какие-то особые молитвы, почитала «святую кровь», поклонялась «святому сердцу Иисусову», проводила целые часы перед алтарем в стиле иезуитского рококо, в молельне, закрытой для простых верующих, предаваясь созерцанию и возносясь душою ввысь к мраморным облачкам, плывущим меж длинных деревянных лучей, покрытых позолотой.

У нее была приятельница по молельне, такая же старая дева, как и она сама, – м-ль Вобуа, круглая дура, рядом с которой м-ль Жильнорман имела удовольствие казаться себе ума палатой. Кроме всяких «agnus dei» и «ave Maria»^[93] да различных способов варки варенья, м-ль Вобуа решительно ни о чем не имела понятия. Являясь в своем роде феноменом, она блистала глупостью, как горностаи – белизной, только без единого пятнышка.

Надо сказать, что, состарившись, м-ль Жильнорман скорее выиграла, нежели проиграла. Это судьба всех пассивных натур. Она никогда не была злой, что можно условно считать добротой, а годы сглаживают углы, и вот со временем она мало-помалу смягчилась. Ее томила какая-то неясная печаль, причины которой она сама не знала. Все ее существо являло признаки оцепенения уже кончившейся жизни, хотя в действительности ее жизнь еще и не начиналась.

Она вела хозяйство отца. Дочь занимала подле г-на Жильнормана такое же место, какое занимала подле его преосвященства отца Бьенвеню, как мы видели, его сестра. Подобные семьи, состоящие из старика и старой девы, отнюдь не редкость и всегда являют трогательное зрелище двух слабых созданий, пытающихся найти опору друг в друге.

Кроме старой девы и старика, в доме был еще ребенок, маленький мальчик, всегда трепещущий и безмолвный в присутствии г-на Жильнормана. Г-н Жильнорман говорил с ним не иначе как строгим голосом, а иногда и замахнувшись тростью: «Пожалуйте-ка сюда, сударь! Подойди поближе, бездельник, сорванец! Ну, отвечай же, негодный! Да стой так, чтоб я тебя видел, шельмец!» и т. д. и т. д. Он обожал его.

Это был его внук. Мы еще встретимся с этим ребенком.

Книга третья

Дед и внук

Глава 1

Старинный салон

Когда г-н Жильнорман жил на улице Сервандони, он был частым гостем нескольких самых избранных и аристократических салонов. Несмотря на его буржуазное происхождение, г-на Жильнормана принимали повсюду. А поскольку он был вдвойне умен, во-первых, действительным умом, а во-вторых – умом, который ему приписывали, общества его даже искали, а самого его окружали почетом. Но он бывал только там, где мог задавать тон. Есть люди, готовые любой ценой добиваться влияния, желающие во что бы то ни стало возбудить к себе интерес; если им не удастся играть роли оракулов, они переходят на роли забавников. Г-н Жильнорман не принадлежал к их числу. Он умел пользоваться весом в роялистских салонах, нисколько не в ущерб собственному достоинству. Он всюду слыл за оракула. Ему случалось выходить победителем из споров не только с г-ном Бональдом, но и самим г-ном Бенжи-Пюи-Валле.

Около 1817 года он неизменно проводил два вечера в неделю у жившей по соседству, на улице Феру, баронессы де Т., особы достойной и уважаемой, муж которой занимал в царствование Людовика XVI пост французского посла в Берлине. Барон де Т., страстно увлекавшийся при жизни животным магнетизмом, экстатическими состояниями и ясновиденьем, умер разоренным в эмиграции, оставив взамен всех богатств переплетенную в красный сафьян золотообрезную десяти томную рукопись очень любопытных воспоминаний о Месмере и его чане. Г-жа де Т. из гордости не опубликовала этих воспоминаний и существовала на маленькую ренту, каким-то чудом уцелевшую. Г-жа де Т. держалась вдали от двора, представлявшего собою, по ее словам, слишком «сборное общество», и жила в бедности, в благородном и высокомерном уединении. Несколько друзей собирались два раза в неделю у ее вдовьего камелька, что и составляло роялистский салон самой чистой воды. Здесь пили чай и, в зависимости от того, откуда дул ветер и настраивал ли он на элегический лад или на дифирамбы, то сокрушенно вздыхали, то раздражались криками возмущения по поводу современных порядков, хартии, бонапартистов, осквернения голубой орденской ленты, жалуемой буржуазии, и «якобинства» Людовика XVIII. Здесь вполголоса делились надеждами, которые подавал брат короля, будущий Карл X.

Здесь восторгались уличными песенками, в которых Наполеон назывался *Простофилей*. Герцогини, самые изящные и очаровательные светские женщины, восхищались такими куплетами по адресу «федератов»:

Эй ты, засунь в штаны рубаху!
Ведь скажут про тебя, дурак,
Что санкюлоты все со страху
Уж поднимают белый флаг!

Здесь забавлялись каламбурами, невинной игрой слов, казавшейся всем им необыкновенно меткой и язвительной. Сочиняли четверостишия или даже двустишия. Так, на умеренный кабинет министра Десоля, в который входили Деказ и Десер, были сочинены следующие

строки:

Чтоб мигом укрепить сей шаткий трон,
Деказ, Десоль, Десер, вас надо выгнать вон.

Или же переделывали списки членов палаты пэров, этой «мерзостной якобинской палаты», комбинируя и переставляя фамилии в таком порядке, что получалась, например, подобного рода фраза: «Дамá, Сабран, Гувион, Сен-Сир»^[94]; в общем, выходило смешно.

В этом мирке пытались пародировать революцию. Во что бы то ни стало хотели обратить слова ее гнева против нее самой. Распевали, с позволения сказать, собственную «Ça ira»:

Ах, дело пойдет на лад, на лад!
Буонапартистов на фонарь!

Песни напоминают гильотину. Они равнодушно рубят голову сегодня одному, завтра другому. Для них это только новый вариант.

Во время происходившего как раз в ту пору, в 1816 году, процесса Фюальдеса здесь симпатизировали Бастиду и Жозиону, потому что Фюальдес был «буонапартистом». Либералов именовали здесь «братьями и друзьями» – это рассматривалось как нечто крайне оскорбительное.

Как на иных церковных колокольнях, так и в салоне баронессы де Т. было два флюгера. Одним из них являлся г-н Жильнорман, другим – граф де Ламот-Валуа, о котором не без уважения говорили друг другу на ушко: «Вы знаете? Это тот самый Ламот, что был причастен к делу об ожерелье». Политические партии идут на подобного рода странные амнистии.

Добавим к этому, что в буржуазной среде человек теряет в глазах общества, если он слишком легко сходится с людьми. Здесь требуют осторожности в выборе знакомств; и совершенно так же, как от соседства с зябнущими происходит убыль тепла, от близости к лицам, заслуживающим презрения, происходит убыль уважения. В старину высший свет ставил себя над этим законом, как и вообще над всеми законами. Мариньи, брат Помпадур, был вхож к принцу де Субизу. Несмотря на... Нет, именно потому. Дюбарри, выведший в люди небезызвестную Вобернье, был желанным гостем у маршала Ришелье. Высший свет – тот же Олимп. Меркурий и принц де Геменэ чувствуют себя там как дома. Туда примут и вора, лишь бы он был богом.

Старый граф де Ламот, которому в 1815 году исполнилось уже семьдесят пять лет, ничем особым не отличался, если не считать молчаливости, привычки говорить нравоучительным тоном, угловатого холодного лица, изысканно учтивых манер, наглухо, до самого шейного платка, застегнутого сюртука и длинных, всегда скрещенных ног в обвислых панталонах цвета жженой глины. Одного цвета с панталонами было и его лицо.

С г-ном де Ламотом «считались» в салоне по причине его «известности» и – как ни странно, но это факт – потому, что он носил имя Валуа.

Что касается г-на Жильнормана, то он пользовался действительно самым неподдельным уважением. Слово его было законом. Несмотря на легкомыслие, он обладал, нисколько не в ущерб своей веселости, какой-то особой манерой держать себя: внушительной, благородной, добропорядочной и не лишенной некоторой примеси буржуазной спеси. К этому надо добавить его преклонный возраст. Иметь за плечами целый век чего-нибудь да стоит. Годы образуют в

конце концов вокруг головы ореол.

К тому же старик славился шуточками, напоминавшими блески старого дворянского остроумия. Вот одна из них. Когда прусский король, восстановив на престоле Людовика XVIII, посетил его под именем графа Рюпена, потомок Людовика XIV оказал ему прием, приличествовавший разве только какому-нибудь маркграфу Бранденбургскому, и проявил по отношению к нему самую утонченную пренебрежительность. Жильнорману это очень понравилось. «Все короли, кроме французского, – сказал он, – захолустные короли». Однажды кто-то спросил при нем: «К чему приговорили редактора газеты «Французский курьер?» – «К пресечению», – последовал ответ. «*Пре* в данном случае излишне», – заметил г-н Жильнорман. Подобного рода речами создается репутация.

В другой раз, во время *Te deum*^[95] в день годовщины реставрации Бурбонов, увидев проходившего мимо Талейрана, он обронил: «А вот и его превосходительство Зло».

Господин Жильнорман появлялся обыкновенно в сопровождении дочери, долговязой девицы, которой было тогда лишь немного за сорок, а на вид все пятьдесят, и хорошенького мальчика лет семи, белокурого, розового, свежего, с веселым, доверчивым взором. При появлении в салоне мальчик неизменно слышал вокруг себя ропот: «Какой хорошенький! Какая жалость! Бедное дитя!» Это был тот самый ребенок, о котором мы только что сказали несколько слов. Его называли «бедным» потому, что отцом его был «луарский разбойник».

А луарский разбойник был тем самым вышеупомянутым зятем г-на Жильнормана, которого последний именовал «позором своей семьи».

Глава 2

Один из кровавых призраков того времени

Всякий, кто посетил бы в те годы городок Вернон и кто, гуляя там по прекрасному каменному мосту, которому, несомненно, предстоит вскоре быть замененным каким-нибудь безобразным сплетением из железа и проволоки, взглянул бы через парапет, должен был заметить человека лет пятидесяти, в кожаной фуражке, в брюках и куртке из грубого серого сукна, с каким-то пришитым к ней желтым лоскутком, бывшим ранее красной орденской ленточкой, в деревянных башмаках, почти совсем седого, с обветренным и почти черным от загара лицом, с широким шрамом, пересекающим лоб и спускающимся на щеку, согнувшегося, сгорбленного, до срока состарившегося; целый день человек этот расхаживал с заступом и садовым ножом по одному из находившихся близ моста огороженных участков, словно цепью террас окаймляющих левый берег Сены, – по одному из тех очаровательных, заросших цветами уголков, которые, будь они несколько побольше, могли бы сойти за сад, а несколько поменьше – за букет. Все эти участки одним концом упираются в реку, а другим в дома. Самый маленький из этих уголков и самый убогий из этих домиков занимал около 1817 года вышеупомянутый человек в куртке и деревянных башмаках. Он жил тут одиноко и уединенно, тихо и бедно, в обществе служанки, о которой трудно было сказать – молода ли она, или стара, хороша или дурна собой, крестьянка это или мещанка. Он называл свой квадратик земли садом, и сад этот славился в городе чудесными цветами, которые он там выращивал. Цветы составляли единственное его занятие.

Трудом, упорством, тщательным уходом и обильной поливкой ему удалось вслед за творцом и самому сотворить несколько сортов тюльпанов и георгинов, о чем, по-видимому, позабыла природа. Он был изобретателен и опередил Суланжа Бодена, употребив небольшие ранее поросшие вереском земельные площадки под редкие и ценные культуры американского и

китайского кустарника. В летнюю пору, с рассветом, он появлялся на дорожках сада и принимался за подрезку, подчистку, прополку, поливку, расхаживая среди своих цветов с добрым, печальным и кротким видом. Иногда, задумавшись, он часами неподвижно простаивал, то слушая пение птиц на дереве или доносившийся из ближнего дома лепет младенца, то разглядывая росинку на кончике какой-нибудь травки, где она играла, как драгоценный камень в лучах солнца. Он довольствовался самой скромной пищей и молоко предпочитал вину. Любой ребенок мог бы командовать им; служанка разрешала себе бранить его. Он был застенчив до дикости, редко выходил из дому и ни с кем, кроме нищих, стучавшихся к нему, да своего духовника, добрейшего старого аббата Мабефа, не виделся. Впрочем, если кто-либо из местных жителей или приезжих, человек совершенно ему неизвестный, любопытствуя поглядеть на тюльпаны и розы, дергал за его звонок, он приветливо открывал двери своего домика. Это и был луарский разбойник.

И вместе с тем каждому, кто вздумал бы почитать воспоминания о военных походах, биографии военных деятелей, «Монитор» и бюллетени великой армии, должно было броситься в глаза довольно часто встречающееся там имя Жоржа Понмерси. Юношей этот Жорж Понмерси служил рядовым в Сентонжском полку. Наступила революция. Сентонжский полк вошел в состав Рейнской армии, ибо старые, существовавшие при монархии полки сохраняли присвоенные им названия провинций даже после падения монархии и были слиты в бригады лишь в 1794 году. Понмерси сражался под Шпейером, Вормсом, Нейштадтом, Тюркгеймом, Альцеем и под Майнцем, – в отряде из двухсот человек, составлявшем арьергард Гушара. Он был в числе двенадцати храбрецов, которые стойко держались за старым Андернахским крепостным валом против корпуса принца Гессенского и отступили, присоединившись к основным силам, лишь после того, как неприятельские пушки разворотили бруствер от гребня до основания. В войсках Клебера он сражался при Маршьенне и у Мон-Палиселя, где был ранен в руку картечью. Затем он отправляется на итальянскую границу; здесь мы находим его среди тридцати гренадеров, защищавших под командой Жубера Тендское ущелье. Жубер был произведен за это дело в генерал-адъютанты, а Понмерси – в подпоручики. Осыпавшийся картечью в битве при Лоди, стоял он подле Бертье, который заслужил слова Бонапарта: «Наш пострел везде поспел: он и в артиллерии, он и в кавалерии, он и в инфантерии». Понмерси видел, как с поднятой саблей и с криком: «Вперед!» – пал в сражении при Нови его бывший командир генерал Жубер. Выполняя какое-то боевое поручение, он со своей ротой отплыл на легком паруснике, шедшем из Генуи, в один из маленьких портов побережья, куда именно, уже не припомню, и попал в пренеприятное положение, очутившись между семью или восемью английскими кораблями. Капитан, родом генуэзец, хотел сбросить пушки в море, спрятать солдат в межпалубном пространстве и проскользнуть в темноте под видом торгового судна. Но Понмерси велел поднять на флагштоке национальный флаг и смело прошел под пушками английских фрегатов. Отвага его после этого так возросла, что в двадцати милях оттуда он на своем паруснике решился напасть на большой английский транспорт с войсками и захватил его. Транспорт шел в Сицилию и был до такой степени перегружен людьми и лошадьми, что сидел в воде по самые палубные крепления. В 1805 году Понмерси служил в дивизии Малера, отбившей Гюнцбург у эрцгерцога Фердинанда. При Вельтингене под градом пуль он вынес на руках смертельно раненного в сражении полковника Мопети, командира 9-го драгунского полка. Он отличился при Аустерлице во время прославленного перехода колонн под неприятельским огнем. Когда отряд русских конногвардейцев разбил батальон 4-го пехотного полка, Понмерси был в числе добившихся реванша. Император пожаловал его крестом. Понмерси был последовательно свидетелем пленения Вурмсера в Мантуе, Меласа в Александрии, Макка под Ульмом. Его часть принадлежала к 8-му корпусу доблестной армии Мортье, взявшей Гамбург.

Затем он перешел в 55-й пехотный полк, преобразованный из прежнего Фландрского полка. При Эйлау он находился на том самом кладбище, где бесстрашный капитан Луи Гюго, дядя автора настоящей книги, со своей ротой из восьмидесяти трех человек в течение двух часов сдерживал натиск неприятельской армии. Понмерси был одним из трех ушедших живыми с этого кладбища. Он принимал участие в сражении при Фридланде. Видел затем Москву, Березину, Люцен, Бауцен, Дрезден, Вахау, Лейпциг и Гельнгаузенское ущелье; затем Монмирайль, Шато-Тьери, Краон, берега Марны, берега Эны и страшные лаонские позиции. При Арне-ле-Дюке, будучи в чине капитана, он зарубил десять казаков и спас, впрочем, не своего генерала, а своего капрала. Он вышел из этого дела совершенно израненным, и у него извлекли из одной только левой руки двадцать семь осколков кости. За неделю до капитуляции Парижа он поменялся местом с товарищем и перешел в кавалерию. Он был человеком, как говорили при старом режиме, *двойной сноровки*, то есть умел в качестве солдата одинаково хорошо управляться как с саблей, так и с ружьем, а в качестве офицера – как с эскадроном, так и с батальоном. Благодаря этому качеству, усовершенствованному военной выучкой, и возникли такие особые виды войск, как, например, драгуны, являющиеся одновременно и кавалеристами, и пехотинцами. Он последовал за Наполеоном на остров Эльбу. При Ватерлоо он командовал эскадроном кирасир, входившим в бригаду Дюбуа. Это он отнял знамя у Люненбургского батальона. Он бросил знамя к ногам императора. Он был весь залит кровью. Вырывая знамя, он получил сабельный удар, рассекший ему лицо. Император, довольный, крикнул ему: «Поздравляю тебя полковником, бароном и кавалером ордена Почетного легиона!» – «Благодарю, ваше величество, за мою вдову», – ответил Понмерси. Час спустя он упал в овраг на оэнскую дорогу. А теперь скажите – кто же такой этот Жорж Понмерси? Да все тот же луарский разбойник.

Читатель уже кое-что о нем знает. После Ватерлоо, как вы помните, Понмерси вытащили из оврага на оэнской дороге, и ему удалось присоединиться к армии, а затем в лазаретных фургонах он добрался до луарского лагеря.

В годы Реставрации он был переведен на половинный оклад, а затем отправлен на жительство – другими словами, под надзор – в Вернон. Людовик XVIII, рассматривая все, имевшее место в течение Ста дней, как недействительное, не признал ни его звания кавалера ордена Почетного легиона, ни его чина полковника, ни его баронского титула. А Понмерси, со своей стороны, никогда не упускал случая подписаться: «полковник барон Понмерси». Выходя из дома, он всегда прикреплял к своему старому синему, и к тому же единственному сюртуку ленточку ордена Почетного легиона. Королевский прокурор велел предупредить его, что возбудит против него судебное преследование за «незаконное ношение этого знака отличия». Выслушав предупреждение, переданное ему через чиновника, Понмерси ответил с горькой усмешкой: «Не знаю, я ли перестал понимать по-французски, вы ли разучились говорить на французском языке, но я решительно ничего не понял». После этого целую неделю он изо дня в день появлялся в городе с орденской ленточкой. Его не посмели больше тревожить. Два-три раза военному министру и начальнику военного округа случилось направлять ему письма с надписью: «Господину майору Понмерси». Он отсылал письма обратно нераспечатанными. Подобным же образом поступал в это самое время на острове Св. Елены и Наполеон с посланиями сэра Гудсона Лоу, адресованными: «Генералу Бонапарту». Понмерси отвечал – да простят нам это выражение – плевком, как и его император.

Вот так же в Риме среди пленных карфагенских солдат попадались воины, в которых жила частичка души Ганнибала, и они отказывались приветствовать Фламиния.

В одно прекрасное утро, встретив на улице Вернона королевского прокурора, Понмерси подошел к нему и задал ему вопрос: «Скажите, господин королевский прокурор, разрешается ли мне носить шрам на лице?»

Никаких средств, кроме своего жалкого половинного оклада эскадронного командира, он не имел. Он нанимал в Верноне самый маленький домишко, который только можно было сыскать. Он жил в нем один, и мы уже познакомились с образом его жизни. При Империи он успел как-то между двумя войнами жениться на девице Жильнорман. Старый буржуа, в глубине души крайне недовольный, дал скрепя сердце согласие на брак, заявив, что и «самые знаменитые семьи бывают подчас вынуждены идти на этакое». В 1815 году г-жа Понмерси, женщина, кстати сказать, во всех отношениях превосходная, редкостных душевных качеств и вполне достойная своего мужа, умерла, оставив ребенка. Этот ребенок мог бы скрасить одинокую жизнь полковника. Но дед настоятельно потребовал внука к себе, заявив, что лишит мальчика наследства, если ему не отдадут его. Отец уступил, блюдя интересы сына, и, потеряв возможность удержать подле себя свое дитя, пристрастился к цветам.

Отказался он также от всякой политики, не бунтовал и не принимал участия в заговорах. Его мысли были сосредоточены либо на невинных делах, которым он отдавался сегодня, либо на великих делах, которые совершал ранее. Его время делилось между ожиданием цветения какой-нибудь гвоздики и воспоминаниями об Аустерлице.

Господин Жильнорман не поддерживал с зятем никаких отношений. В его глазах полковник был «бандитом», а сам он в глазах полковника «бестолочью». Г-н Жильнорман никогда не упоминал о полковнике, если не считать иронических намеков на его «баронство». Они раз навсегда договорились, что Понмерси не станет делать никаких попыток видаться или говорить с сыном, под угрозой, что мальчика возвратят ему, изгнав и лишив наследства. Понмерси представлялся Жильнорманам каким-то зачумленным. Они желали воспитать ребенка по-своему. Быть может, полковник и допустил ошибку, приняв такие условия, но он строго соблюдал их, полагая, что поступает правильно и жертвует только одним собой.

Наследство Жильнормана-отца сулило немного, зато наследство м-ль Жильнорман-старшей было весьма значительным. Эта тетушка, оставшаяся в девицах, владела крупными богатствами, полученными с материнской стороны, а сын сестры являлся прямым ее наследником.

Ребенок, которого звали Мариус, знал, что у него есть отец, и только. Никто никогда и словом не обмолвился ему о нем. Однако шушуканье, намеки, перемигивания, какими встречали его в обществе, куда водил его дед, в конце концов дошли до сознания мальчика: он начал кое-что понимать. А поскольку ему приходилось подвергаться длительному воздействию окружающей среды, он, так сказать, впитывая ее в себя, естественно, проникся взглядами и идеями, как бы насыщавшими атмосферу, которою он дышал, и постепенно привык думать об отце лишь со стыдом и сердечной болью.

И вот, пока он так рос, полковник раз в два-три месяца покидал свой дом, украдкой, как беглый арестант, приезжал в Париж и шел в церковь Сен-Сюльпис к тому часу, когда тетка Жильнорман приводила туда Мариуса к обедне. Там, дрожа от страха, как бы тетка не обернулась, он, схоронившись за колонной, не смея пошевелиться и вздохнуть, смотрел на своего сына. Наш покрытый шрамами воин боялся старой девы.

Отсюда возникла и дружба его с вернонским кюре аббатом Мабефом.

Достопочтенный кюре приходился братом церковному старосте церкви Сен-Сюльпис, а последний неоднократно обращал внимание на мужчину, погруженного в созерцание ребенка; староста заметил и шрам на его щеке и крупные слезы на его глазах. Столь мужественный на вид человек, плачущий, как женщина, произвел на него сильное впечатление. Ему запомнилось его лицо. Однажды, приехав в Вернон повидаться с братом, он встретил на мосту полковника Понмерси и узнал в нем человека, которого видел в Сен-Сюльписе. Староста рассказал о нем кюре, и под каким-то предлогом они вдвоем нанесли полковнику визит. За первым визитом

последовали и другие. Полковник, вначале очень несловоохотливый, под конец разговорился. Таким образом кюре и старосте удалось узнать всю историю его жизни и то, как он пожертвовал личным счастьем ради будущего своего ребенка. Это внушило кюре чувство уважения и нежности к полковнику, а тот тоже полюбил кюре. Впрочем, никто не сближается между собою так легко и не достигает такого взаимопонимания, как старый священник и старый солдат, если по счастливой случайности оба они искренни и добры. По сути эти люди ничем не отличаются друг от друга. Один посвящает себя служению земной отчизне, другой – небесной. Вот и вся разница.

Два раза в год, к 1 января и ко дню св. Георгия, Мариус под диктовку тетки писал отцу официальные поздравительные письма, казавшиеся списанными с какого-нибудь письмовника. Это все, что допускал г-н Жильнорман. А отец отвечал очень нежными посланиями, которые дед, не читая, засовывал себе в карман.

Глава 3

Requiescant^[96]

Салоном г-жи де Т. ограничивалось для Мариуса Понмерси познание жизни. Салон был единственным оконцем, через которое он мог глядеть в мир. Оно было тусклым, и сквозь эту отдушину проникало больше холода, нежели тепла, больше мрака, нежели света. Вступив радостным и сияющим в этот особый мирок, ребенок после недолгого пребывания там стал печальным и – что еще менее соответствовало его возрасту – серьезным. Окруженный всеми этими важными и странными фигурами, он глядел вокруг с глубоким изумлением. А все, что он видел, могло только усилить это чувство. В салоне г-жи де Т. можно было встретить старых знатных и очень почтенных дам, носящих фамилии Матан, Ноэ, Левис, произносившуюся как Леви, Камби, произносившуюся как Камбиз. Эти старые лица и эти библейские имена смешивались в голове мальчика с рассказами из Ветхого Завета, которые он учил наизусть. И когда, собравшись в кружок у потухающего камина, дамы молча восседали в полумраке лампы под зеленым абажуром, лишь изредка роняя одновременно торжественные и гневные слова, маленький Мариус испуганными глазами смотрел на их строгие профили, на седеющие и седые волосы, на их длинные, сшитые по моде прошлого века платья самых мрачных цветов. Ему казалось, что перед ним не женщины, а патриархи и волхвы, не живые существа, а призраки.

К этим призракам присоединялось еще изрядное число духовных лиц – завсегдатаев старинного салона и несколько дворян: маркиз де Сассене, личный секретарь г-жи де Берри; виконт де Валори, печатавший под псевдонимом *Шарля-Антуана* моноритмические оды; князь де Бофремон, еще достаточно молодой, но уже седеющий, обладатель хорошенькой и остроумной жены, чьи туалеты из алого бархата с золотым шнуром и глубоким декольте несколько разгоняли окружающий мрак; маркиз Кариолис д'Эспинуз, лучший во Франции знаток «меру учтивости»; граф д'Амандр, холостяк с добродушным подбородком; и кавалер де Пор де Ги, столп Луврской библиотеки, именовавшейся «королевским кабинетом». Г-н де Пор де Ги, лысый и не столько старый, сколько преждевременно состарившийся, рассказывал, что в 1793 году, шестнадцати лет от роду, он был сослан на каторгу за отказ от присяги и закован в кандалы вместе с восьмидесятилетним епископом де Мирпуа, также осужденным за отказ от присяги, с той только разницей, что тот был непокорным священником, а он – непокорным солдатом. Дело происходило в Тулоне. На их обязанности лежало убирать по ночам с эшафота головы и тела гильотинированных за день. Ввалив на спину, уносили они обезглавленные, кровоточащие туловища, отчего сзади на воротах их красных арестантских халатов

образовывалась корка запекшейся крови, к утру высыхавшая, а по вечерам снова влажная. В салоне г-жи де Т. можно было услышать множество подобного рода трагических рассказов. И в своих проклятиях Марату здесь докатывались до восхваления Трестальона. Депутаты из породы «бесподобных», г-н Тибор дю Шалар, г-н Лемаршан де Гомикур и знаменитый шутник правой г-н Корне-Депкур, играли здесь в вист. Бальи де Ферет, носивший, несмотря на худые ноги, короткие штаны, забегал иногда по дороге к Талейрану в этот салон. Он был собутыльником графа д'Артуа и, в противоположность Аристотелю, ходившему на задних лапках перед Кампаспой, заставлял ползать на четвереньках девицу Гимар, явив, таким образом, векам образец бальи, отомстившего за философа.

Что касается духовных лиц, то здесь бывали: аббат Гальма, тот самый, которому г-н Лароз, сотрудничавший в газете «Фудр», говорил: «Ба, да кому же теперь меньше пятидесяти? Разве только какому-нибудь молокососу-первокурснику!»; аббат Летурнер, королевский проповедник; аббат Фрейсину, в ту пору не бывший еще ни графом, ни епископом, ни министром, ни пэром и носивший старую сутану, на которой вечно не хватало пуговиц. Сюда же приходили: аббат Керавенан, кюре церкви Сен-Жермен-де-Пре; тогдашний папский нунций, преосвященный Макки, архиепископ Низибийский, впоследствии кардинал, отличавшийся длинным меланхолическим носом, и другой преосвященный аббат Пальмиэри, носивший звания: духовника папы, одного из семи действительных протонотариев святейшего престола, каноника знаменитой Либерийской базилики, ходатая по делам святых – *postulatore di santi*, что указывало на касательство его к делам канонизации и соответствовало примерно чину докладчика Государственного совета по райской секции. Наконец салон посещали два кардинала: г-н де ла Люзерн и г-н де Клермон-Тонер. Кардинал де ла Люзерн был писателем, и несколько лет спустя на его долю выпала честь помещать свои статьи в «Консерваторе» рядом со статьями Шатобриана. Г-н де Клермон-Тонер, тулузский архиепископ, в летнюю пору частенько приезжал вместо дачи в Париж, к своему племяннику маркизу де Тонеру, занимавшему пост морского и военного министра. Кардинал де Клермон-Тонер был маленький веселый старичок, из-под подвернутой сутаны которого виднелись красные чулки. Он избрал себе специальностью ненависть к «Энциклопедии» и страстно увлекался бильярдом. Парижане, которым случалось в описываемое время проходить вечером по улице Принцессы, где находился тогда особняк Клермон-Тонеров, невольно останавливались, привлеченные стуком шаров и резким голосом кардинала, кричавшего своему конклависту, преосвященному Котрету, епископу *in partibus*^[97] Каристскому: «Примечай, аббат, я карамболю». Кардинала де Клермон-Тонера ввел к г-же де Т. его ближайший друг г-н де Роклор, бывший епископ Сенлисский и один из сорока Бессмертных. В г-не Роклоре заслуживали внимания высокий рост и усердное посещение Академии. Через стеклянную дверь зала, смежного с библиотекой, где происходили тогда заседания Французской академии, любопытствующие могли каждый четверг лицезреть бывшего Сенлисского епископа, свеженапудренного, в фиолетовых чулках, обычно стоявшего спиной к двери, – вероятно, для того, чтобы лучше был виден его поповский воротничок. Хотя все эти духовные отцы являлись по большей части столько же служителями церкви, сколько царедворцами, они накладывали печать сугубой строгости на салон г-жи де Т., а пять пэров Франции: маркиз де Вибре, маркиз де Таларю, маркиз д'Эрбувиль, виконт Дамбре и герцог де Валентинуа еще сильнее подчеркивали его аристократизм. Герцог де Валентинуа, будучи владетельным принцем Монако, то есть владетельным иностранным принцем, составил себе тем не менее такое высокое представление о Франции и ее институте пэрства, что все сводил к последнему. Это ему принадлежали слова: «Римские кардиналы – те же пэры Франции; английские лорды – те же пэры Франции». Впрочем, поскольку в ту эпоху революция проникала повсюду, тон в этом феодальном салоне, как мы уже сказали, задавал буржуа. В нем

царил г-н Жильнорман.

Тут была эссенция и квинтэссенция парижского реакционного общества. Тут принимались карантинные меры даже против самых громких роялистских репутаций. От славы всегда несколько отдаёт анархией. Попади сюда Шатобриан, и он бы выглядел здесь «Отцом Дюшеном». Все же кое-кому из признавших в свое время республику оказывалось снисхождение, и они допускались в это правоверное общество. Граф Беньо был принят сюда с условием исправиться.

Современные «благородные» салоны совсем не походят на описываемый нами. Нынешнее Сен-Жерменское предместье заражено вольнодумством. Теперешние роялисты, не в обиду будь им сказано, – демагоги.

В салоне г-жи де Т., где собиралось наиболее избранное общество, под лоском изощренной учтивости господствовал самый утонченный и высокомерный тон. Установившиеся здесь нравы допускали великое множество всяких изысканностей, которые возникали сами по себе и возрождали доподлинный старый режим, давно погребенный, но все еще живой. Иные из принятых здесь манер вызвали недоумение, в особенности манера выражаться. Люди, в сих предметах не искушенные, легко сочли бы эти в действительности лишь устаревшие формы речи за провинциализмы. Здесь широко употреблялось, например, обращение «госпожа генеральша». Можно было услышать, хотя и реже, даже такое, как «госпожа полковница». Очаровательная г-жа Леон, вероятно из уважения к памяти герцогинь де Лонгевиль и де Шеврез, предпочитала это обращение своему княжескому титулу. Маркиза де Креки также выражала желание, чтобы ее называли «госпожой полковницей».

Именно этому маленькому аристократическому кружку и принадлежала затейливая выдумка в интимных беседах с королем в Тюильри именовать его только в третьем лице: «король», избегая титулования «ваше величество», как «оскверненного узурпатором».

Здесь судили обо всем – о делах и о людях. Насмехались над веком, что освобождало от труда понимать его. Подогревали друг друга сенсациями, спешили поделиться друг с другом всем слышанным и виденным. Здесь Мафусаил просвещал Эпименида. Глухой осведомлял слепого. Здесь объявляли не существовавшим время начиная от Кобленца. Здесь считали, что, подобно тому как Людовик XVIII достиг милостью божией двадцать пятой годовщины своего царствования, так и эмигранты милостью закона достигли двадцать пятой своей весны.

Тут все было в полной гармонии; тут жизнь чуть теплилась во всем; слова доносились едва уловимым вздохом; газета, отвечавшая вкусам салона, напоминала папирус. Здесь попадались и молодые люди, но они глядели какими-то полумертвыми. В прихожей посетителей встречали старенькие лакеи. Господам, время которых давно миновало, прислуживали такие же древние слуги. Все производило впечатление чего-то вконец отжившего, но упорно не желающего сходить в могилу. Охранять, охранение, охранитель – вот примерно и весь их лексикон. «Блюсти за тем, чтобы не запахло чужим духом», – к этому, в сущности, сводилось все. Взглядам почтенных сих группировок было действительно присуще свое особое благоухание. Их идеи распространяли запах камфары. Это был мир мумий. Господа были набальзамированы, из лакеев сделаны чучела.

Почтенная старая маркиза, разорившаяся в эмиграции и державшая только одну служанку, все еще говорила: «Мои слуги».

Чем же занимались в салоне г-жи де Т.? Там состояли в «ультра».

Быть ультра! Возможно, что явления, обозначаемые этим словом, не исчезли и по сей день, но самое слово потеряло уже всякий смысл. Постараемся объяснить его.

Быть «ультра» – это значит во всем доходить до крайности. Это значит во имя трона нападать на королевский скипетр и во имя алтаря – на митру; это значит опрокидывать

собственный свой воз, брыкаться в собственной упряжке; это значит возводить хулу на костер за то, что он недостаточно жарок для еретиков; это значит упрекать идола, что в нем мало идольского; это значит подвергать надругательству от избытка почтительности; это значит винить папу в недостатке папизма, короля – в недостатке роялизма, а ночь – в избытке света; это значит не признавать за алебастром, снегом, лебедем, лилией их белизны; это значит быть таким горячим защитником, что становишься врагом; так упорно стоять «за», что это превращается в «против».

Непримиримый дух «ультра» характеризует главным образом первую фазу Реставрации.

В истории не найдется эпохи, которая походила бы на этот краткий период, начавшийся в 1814 году и закончившийся около 1820-го – со вступлением в министерство г-на де Вилеля, исполнителя воли правой. Описываемые шесть лет представляют собой неповторимое время – и веселое, и печальное, блестящее и тусклое, как бы освещенное лучами утренней зари, но и окутанное мраком великих потрясений, все еще заволакивающим горизонт и медленно погружающимся в прошлое. И среди этого света и тьмы существовал особый маленький мирок, новый и старый, комический и грустный, юный и дряхлый, протиравший глаза; ничто не напоминает так пробуждение ото сна, как возвращение с чужбины. Существовала группа людей, смотревшая на Францию с раздражением, на что Франция отвечала иронией. Улицы были полным-полны старыми филинами-маркизами, возвратившимися из эмиграции аристократами, выходцами с того света, «бывшими людьми», с изумлением взиравшими на все окружающее; славное вельможное дворянство и радовалось, и печалилось, что оно снова во Франции, испытывая упоительное счастье оттого, что снова видит свою родину, но и глубокое отчаяние оттого, что не находит здесь своей старой монархии. Знатные отпрыски крестоносцев оплевывали знать Империи, то есть военную знать; историческая нация перестала понимать смысл истории; потомки сподвижников Карла Великого клеймили презрением сподвижников Наполеона. Как мы уже сказали, мечи скрестились, взаимно нанося оскорбления. Меч Фонтенуа подвергался насмешкам, как ржавое железо. Меч Маренго вселял отвращение и именовался солдатской шашкой. Давно прошедшее отрекалось от вчерашнего. И чувство великого, и чувство смешного были утеряны. Нашелся даже человек, назвавший Бонапарта Скапеном. Этого мира больше уже нет. Теперь от него, повторяем, ничего не осталось. Когда мы извлекаем оттуда наугад какую-нибудь фигуру, пытаясь воскресить его в воображении, он кажется нам таким же чуждым, как мир допотопных времен. Да он и на самом деле был поглощен потоком. Он исчез в двух революциях. О, сколь могуч поток освободительных идей! Сколь стремительно заливают он все, что надлежит ему разрушить и похоронить, и как быстро вырывает он глубочайшие пропасти!

Таков облик салонов тех отдаленных и простодушных времен, когда г-н Мартенвиль считался мудрее Вольтера.

У этих салонов была своя литература и своя политическая программа. Здесь веровали в Фьеве. Здесь законодательствовал г-н Ажье. Здесь занимались толкованием сочинений г-на Кольне, публициста и букиниста с набережной Малакэ. Наполеон был здесь только «корсиканским чудовищем». Позднее, в виде уступки духу времени, в историю вводится маркиз де Буонапарте, генерал-поручик королевских войск.

Салоны недолго сохраняли неприкосновенную чистоту своих воззрений. Уже с 1818 года сюда начинают проникать доктринеры, что являлось тревожным признаком. Доктринеры, будучи роялистами, держались так, словно старались оправдаться в этом. То, что составляло гордость «ультра», в них вызывало смущение. Они отличались умом; они умели молчать; они щеголяли своей в меру накрахмаленной политической догмой; успех был им обеспечен. Они несколько злоупотребляли – впрочем, не без пользы для себя – белизной галстуков и строгостью

наглухо застегнутых сюртуков. Ошибка, или несчастье, партии доктринеров заключалась в том, что они создали поколение юных старцев. Они становились в позу мудрецов. Они мечтали привить крайнему абсолютизму принципы ограниченной власти. Либерализму разрушающему они противопоставляли, и порой чрезвычайно остроумно, либерализм охранительный. От них можно было услышать такие речи: «Пощада роялизму! Ибо он оказал не одну услугу. Он восстановил традиции, культ, религию, взаимоуважение. Ему свойственны верность, храбрость, рыцарственность, любовь, преданность. Пусть сам того не желая, но он присовокупил к новому величию нации вековое величие монархии. Его вина в том, что он не понимает революции, Империи, нашей славы, свободы, новых идей, нового поколения, нашего века. Но если он виноват перед нами, то разве мы так уж неповинны перед ним? От революции, наследниками которой мы являемся, требуется понимание всего происходящего. Нападать на роялизм – значит грешить против либерализма. Это страшная ошибка, страшное ослепление! Революционная Франция отказывает в уважении исторической Франции, иначе говоря, собственной своей матери, и иначе говоря, себе самой. После 5 сентября с дворянством старой монархии стали обращаться так же, как после 8 июля обращались с дворянством Империи. Они были несправедливы к орлу, мы – к лилии. Неужели необходимо всегда иметь предмет гонения? Что пользы счищать позолоту с короны Людовика XIV или сдирать щиток с герба Генриха IV? Мы смеемся над г-ном Вобланом, стиравшим букву Н с Иенского моста. А что, собственно, такое он делал? Да то же, что и мы. Бувин, как и Маренго, принадлежит нам. Лилии, как и буквы Н, – наши. Это наше родовое наследство. К чему уменьшать его? От прошлого своей отчизны так же не следует отрекаться, как и от ее настоящего. Почему не признать всей своей истории? Почему не любить всей Франции в целом?»

Вот так-то доктринеры критиковали и защищали роялизм, вызывая своей критикой недовольство крайних роялистов, а своей защитой – их ярость.

Выступлениями «ультра» ознаменован первый период Реставрации; выступление Конгрегации знаменует второй. На смену восторженным порывам пришла пронырливая ловкость. На этом мы и прервем наш беглый очерк.

В ходе повествования автор настоящей книги натолкнулся попутно на любопытное явление современной истории. Он не мог оставить его без внимания и не запечатлеть мимоходом некоторые своеобразные черты этого ныне уже никому не ведомого общества. Однако он долго не задерживается на этом предмете и рисует его без чувства горечи и без желания посмеяться. Его связывают с этим прошлым дорогие, милые ему воспоминания, ибо они имеют отношение к его матери. Впрочем, надо признаться, что маленький этот мирок не лишен был своего рода величия. Он может вызвать улыбку, но его нельзя ни презирать, ни ненавидеть. Это – Франция минувших дней.

Как и все дети, Мариус Понмерси кое-чему учился. Выйдя из-под опеки тетушки Жильнорман, он был отдан дедом на попечение весьма достойного наставника, чистейшей классической ограниченности. Эта юная, едва начавшая раскрываться душа прямо из рук ханжи попала в руки педанта. Мариус провел несколько лет в коллеже, а затем поступил на юридический факультет. Он был роялист, фанатик и человек строгих правил. Деда он недолюбливал, его оскорбляли игривость и цинизм старика, а об отце он мрачно молчал.

В общем же это был юноша пылкий, но сдержанный, благородный, великодушный, гордый, религиозный, экзальтированный, правдивый до жестокости, целомудренный до дикости.

Глава 4

Смерть разбойника

Мариус закончил среднее образование как раз к тому времени, когда г-н Жильнорман, покинув общество, удалился на покой. Старик, распростившись с Сен-Жерменским предместьем и салоном г-жи де Т., переселился в собственный дом на улице Сестер страстей господних, в квартале Марэ. Он держал там в качестве прислуги, не считая привратника, ту самую горничную Николетту, что сменила Маньон, и того самого страдающего одышкой, задыхающегося Баска, о котором уже говорилось выше.

В 1827 году Мариусу исполнилось семнадцать лет. Вернувшись однажды вечером домой, он заметил, что дед держит в руках какое-то письмо.

– Мариус, – сказал г-н Жильнорман, – тебе надо завтра ехать в Вернон.

– Зачем? – спросил Мариус.

– Повидать отца.

Мариус вздрогнул. Ему в голову не приходило, что может наступить день, когда придется встретиться с отцом. Вряд ли нашлось бы для него что-либо более неожиданное, более изумительное и, надо признаться, более неприятное. Отец был так ему далек, что он и не желал сближения с ним. Предстоящее свидание не столько огорчало его, сколько представлялось тяжелой повинностью.

Помимо мотивов политического характера, неприязнь Мариуса к отцу основывалась и на другом. Он был убежден, что отец, этот рубака, как в хорошие минуты называл его г-н Жильнорман, его не любит. В этом не приходилось сомневаться, иначе отец не бросил бы его, не отдал бы на чужое попечение. Чувствуя себя нелюбимым, Мариус и сам отказывался любить. Так и следует, уверял он себя.

Он был настолько ошеломлен, что не задал г-ну Жильнорману ни единого вопроса. А дед продолжал:

– Он, кажется, болен. Требуется тебя. – И, помолчав, добавил: – Поезжай завтра утром. Мне помнится, что с постоянного двора Фонтен карета в Вернон отходит в шесть часов и приходит туда вечером. Отправляйся с ней. Он пишет, что нужно торопиться.

Затем старик скомкал письмо и положил его в карман. Мариус мог бы выехать в тот же вечер и быть у отца на следующее утро. В то время с улицы Булуа в Руан ходил ночной дилижанс, заезжавший в Вернон. Однако ни г-н Жильнорман, ни Мариус и не подумали справиться об этом.

На другой день, в сумерки, Мариус приехал в Вернон. В городе уже зажигались огни. Он спросил у первого встретившегося прохожего, где живет «господин Понмерси». Ибо в душе он разделял точку зрения Реставрации и не признавал отца ни бароном, ни полковником.

Ему указали дом. Он позвонил. Женщина, с маленькой лампочкой в руке, отворила ему.

– Дома ли господин Понмерси? – спросил Мариус.

Женщина не отвечала.

– Здесь живет господин Понмерси? – повторил Мариус свой вопрос.

Женщина утвердительно кивнула.

– Нельзя ли мне поговорить с ним?

Женщина отрицательно покачала головой.

– Но я его сын! – настаивал Мариус. – Он ждет меня.

– Он больше уже не ждет вас, – сказала женщина.

Тут только Мариус заметил, что она плачет.

Она указала ему пальцем на дверь, ведущую в низкую залу. Он вошел.

В зале, освещенной горевшей на камине сальной свечой, находились трое мужчин. Один стоял выпрямившись во весь рост, другой – на коленях, третий, в одной рубашке, лежал распростертый на полу. Лежавший на полу и был полковник.

Двое других были доктор и священник, читавший молитву.

Три дня назад полковник заболел горячкой. В начале болезни, предчувствуя недоброе, он написал г-ну Жильнорману, прося прислать сына. Болезнь приняла серьезный оборот. Вечером, уже в самый день приезда Мариуса, полковник начал бредить. Несмотря на попытки служанки удержать его, он с криком: «Мой сын все не едет. Пойду его встречать!» – вскочил с постели. Затем вышел из комнаты, упал в прихожей на каменный пол и тут же скончался.

Послали за доктором и кюре. Доктор пришел слишком поздно. Кюре пришел слишком поздно. Сын тоже приехал слишком поздно.

При тусклом огоньке свечи на бледной щеке недвижимо лежавшего полковника можно было различить крупную слезу, выкатившуюся из его мертвого глаза. Глаз потух, но слеза не высохла. Эта слеза означала, что сын опоздал.

Мариус смотрел на этого человека, которого видел в первый и в последний раз, на это благородное мужественное лицо, на эти открытые, но ничего не видящие глаза, на эти седые волосы, на это сильное тело, на котором то тут, то там выступали темные полосы – следы сабельных ударов и звездообразные красные пятна – следы пулевых ранений. Он смотрел на огромный шрам, знак героизма на этом лице, которое бог отметил печатью доброты. Он подумал о том, что человек этот его отец, что человек этот умер, но остался холоден.

Печаль, овладевшая им, ничем не отличалась от печали, которую он ощутил бы при виде всякого другого покойника.

А между тем горе, щемящее душу горе царило в комнате. В углу горькими слезами обливалась служанка; кюре молился, прерывая молитвы рыданиями; доктор утирал глаза; даже труп, и тот плакал.

Несмотря на всю свою скорбь, и доктор, и священник, и служанка время от времени посматривали на Мариуса, не произнося ни слова, – он был здесь чужим. Мариус, так мало тронутый смертью отца, испытывал некоторый стыд и не знал, как должен себя вести. В руках у него была шляпа. Он уронил ее на пол, чтобы подумали, будто скорбь лишила его сил держать ее.

И тут же он почувствовал нечто вроде угрызения совести и презрение к себе за этот поступок. Но был ли он виноват? Ведь он не любил отца!

Полковник не оставил никаких средств. Денег, вырученных от продажи его движимости, едва хватило на похороны. Служанка отдала Мариусу найденный ею клочок бумаги. Он был исписан рукой полковника, и на нем стояло:

«Моему сыну. Император пожаловал меня бароном на поле битвы при Ватерлоо. Реставрация не признает за мной этого титула, который я оплатил своей кровью, поэтому его примет и будет носить мой сын. Само собой разумеется, что он будет достоин его».

На обороте полковник приписал:

«В этом же сражении при Ватерлоо один сержант спас мне жизнь. Его зовут Тенардье. В последнее время, насколько мне известно, он содержал маленький деревенский трактир где-то в окрестностях Парижа, в Шеле или в Монфермейле. Если моему сыну случится встретить Тенардье, пусть он сделает для него все, что может».

Отнюдь не из благоговения к памяти отца, а лишь из смутного чувства почтения к смерти, всегда столь властного над сердцем человека, Мариус взял и спрятал записку.

Из имущества полковника ничего не сохранилось. Г-н Жильнорман распорядился продать старьевщику его шпагу и мундир. Соседи разграбили сад и растащили редкие цветы. Остальные растения одичали, заглохли и погибли.

Мариус был в Верноне только двое суток. После похорон он вернулся в Париж, засел за свои учебники, совершенно не вспоминая об отце, словно отец никогда и не жил на свете. Через

два дня полковника похоронили, а через три забыли.

Мариус носил на шляпе креп. Вот и все.

Глава 5

Чтобы стать революционером, подчас полезно ходить к обедне

Мариус сохранил религиозные привычки своего детства. Как-то в воскресенье, отправившись к обедне в церковь Сен-Сюльпис, он прошел в тот самый придел пресвятой девы, куда ребенком обычно водила его тетка. В тот день он был рассеяннее и мечтательнее, чем всегда; остановившись за колонной, он машинально стал на колени на обитую утрехтским бархатом скамейку с надписью на спинке: «Господин Мабеф, церковный староста». Служба едва началась, как незнакомый старик, со словами: «Это мое место, сударь», подошел к Мариусу.

Мариус поспешил подняться, и старик занял свою скамейку.

По окончании обедни, задумавшись, Мариус продолжал стоять в нескольких шагах от скамейки. Старик снова приблизился к нему.

– Прошу извинения, сударь, я уже побеспокоил вас и вот беспокою опять, – сказал он. – Но вы, по всей вероятности, сочли меня недобрым, мне нужно объясниться с вами.

– Это совершенно излишне, сударь, – ответил Мариус.

– Нет, нет, – возразил старик, – я не хочу, чтобы вы дурно обо мне думали. Видите ли, я очень дорожу этим местом. Отсюда и обедня кажется мне лучше. Вы спросите, почему? Извольте, я вам расскажу. На этом самом месте в течение десяти лет я наблюдал одного благородного, но несчастного отца, который, будучи по семейным обстоятельствам лишен иной возможности и иного способа видеть свое дитя, исправно приходил сюда раз в два-три месяца. Он появлялся к тому часу, когда, как ему было известно, сына приводили к обедне. Ребенок и не подозревал, что здесь рядом его отец. Возможно, он, глупенький, и не знал, что у него есть отец. А отец прятался за колонну, чтобы его не видели. Он смотрел на свое дитя и плакал. Он обожал малютку, бедняга! Мне это было ясно. Это место стало для меня как бы священным, и у меня вошло в привычку приходить сюда слушать обедню. Я предпочитаю мою скамью скамьям причта, занимать которые мог бы по праву как церковный староста. Я даже знал немножко этого несчастного человека. У него был тесть, богатая тетушка – словом, хорошенько уже не припомню, какая-то родня, грозившая лишить ребенка наследства, если отец будет видаться с ним. Он принес себя в жертву ради того, чтобы сын стал впоследствии богат и счастлив. Его разлучили с ним из-за политических убеждений. Разумеется, я уважаю политические убеждения, но есть люди, не знающие ни в чем меры. Ведь нельзя же, помилуй бог, считать человека чудовищем только потому, что он дрался при Ватерлоо! За это не разлучают ребенка с отцом. При Бонапарте он дослужился до полковника. А теперь как будто уже и умер. Он жил в Верноне, где у меня брат кюре, и звали его не то Понмари... не то Монперси... и у него был, как сейчас вижу, огромный шрам от удара саблей.

– Понмерси? – произнес Мариус, бледнея.

– Именно так. Понмерси. А разве вы его знали?

– Сударь, – ответил Мариус, – это мой отец.

Престарелый церковный староста всплеснул руками.

– Так вы тот мальчик! – воскликнул он. – Да, конечно, ведь теперь он должен быть уже взрослым мужчиной. Ну, бедное мое дитя, вы можете смело сказать, что у вас был горячо любящий отец!

Мариус взял старика под руку и проводил до дома. На следующий день он сказал г-ну

Жильнорману:

– Мы с друзьями затеяли поездку на охоту. Можно мне отлучиться на три дня?

– Хоть на четыре! – ответил дед. – Поезжай, развлекись.

И, подмигнув, шепнул дочери:

– Какая-нибудь интрижка!

Глава 6

К чему может привести встреча с церковным старостой

Куда ездил Мариус, станет ясно несколько дальше.

Мариус отсутствовал три дня; по возвращении в Париж он тотчас отправился в библиотеку юридического факультета и потребовал комплект «Монитора».

Он прочитал от корки до корки весь «Монитор», все существующие исторические сочинения о Республике и Империи, «Мемориал Святой Елены», воспоминания, дневники, бюллетени, воззвания, – он проглотил все. Встретив впервые имя отца на страницах бюллетеней великой армии, он целую неделю потом был как в лихорадке. Он побывал у генералов, под начальством которых служил Жорж Понмерси, в том числе и у графа Г. Церковный староста Мабеф, которого он вторично посетил, описал ему образ жизни полковника, существование на пенсион, рассказал о его цветах и уединении в Верноне. Мариусу удалось таким образом до конца узнать этого редкостного, возвышенной и кроткой души человека, это сочетание льва и ягненка, каким был его отец.

Между тем, погруженный в свои изыскания, поглощавшие целиком его время и мысли, он почти перестал видаться с Жильнорманами. В положенные часы он появлялся к столу, а потом его было не сыскать. Тетка ворчала, а дедушка Жильнорман посмеивался: «Ба, ба! Пришла пора девчонок!» Иногда старик прибавлял: «Я-то думал, черт побери, что это интрижка, а это, кажется, настоящая страсть».

Это и на самом деле была настоящая страсть. Мариус начинал боготворить отца.

Одновременно во взглядах его также совершался огромный переворот. Переворот этот имел множество последовательно сменявшихся фазисов. Поскольку описываемое нами является историей многих умов нашего времени, мы считаем бесполезным перечислить и шаг за шагом проследить эти фазисы.

Прошлое, в которое он заглянул, ошеломило его.

Он был прежде всего ослеплен им.

До тех пор Республика, Империя были для него лишь отвратительными словами. Республика – гильотиной, встающей из полутьмы, Империя – саблею в ночи. Бросив туда взгляд, он с каким-то беспредельным изумлением, смешанным со страхом и радостью, увидел там, где ожидал найти лишь хаос и мрак, сверкающие звезды – Мирабо, Верньо, Сен-Жюста, Робеспьера, Камилла Демулена, Дантона и восходящее солнце – Наполеона. Он не понимал, что с ним, и пылся назад, ничего не видя, ослепленный блеском. Когда первое чувство удивления прошло, он, понемногу привыкнув к столь яркому свету, стал воспринимать описываемые события, не чувствуя головокружения, и рассматривать действующих лиц без содрогания; Революция, Империя отчетливо предстали теперь перед его умственным взором. Обе эти группы событий, вместе с людьми, которые в них участвовали, свелись для него к двум фактам величайшего значения: Республика – к суверенитету прав гражданина, возвращенных народу; Империя – к суверенитету французской мысли, установленному в Европе. Он увидел за Революцией великий образ народа, а за Империей – великий образ Франции. И он признал в

душе, что все это прекрасно.

Мы не считаем нужным перечислять здесь все, что при этом первом и чрезмерно обобщенном суждении ускользнуло от ослепленного взора Мариуса. Мы хотим показать лишь ход развития его мысли. Все сразу не дается. Сделав эту оговорку, относящуюся как к сказанному выше, так и к тому, что последует ниже, продолжаем наш рассказ.

Мариус убедился тогда, что до сих пор так же мало понимал свою родину, как и отца. Он не знал ни той, ни другого, добровольно опустив на глаза какую-то темную завесу. Теперь он прозрел и, с одной стороны, испытывал чувство восхищения, с другой – обожание.

Его мучили сожаления и раскаяние, и он с горестной безнадежностью думал о том, что только могиле можно передать ныне все то, что переполняло его душу. Ах, если бы отец был еще жив, если бы он не лишился его, если бы господь в своем милосердии и своей благодати не дозволил отцу умереть, как бы он бросился, как бы кинулся к нему, как крикнул бы: «Отец, я здесь! Это я! У нас с тобой в груди бьется одно сердце! Я твой сын!» Как горячо обнял бы он его побелевшую голову, сколько слез пролил бы на его седины! Как любовался бы шрамом на его лице, как жал бы ему руки, как поклонялся бы его одежам, лбызал бы его стопы! Ах, почему отец скончался так рано, до срока, не дождавшись ни правосудия, ни любви сына! Грудь Мариуса непрестанно теснили рыдания, сердце поминутно твердило: «Увы!» А наряду с этим он становился все более – и теперь уже по-настоящему – серьезным и строгим, все более твердым в своих убеждениях и взглядах. Ум его, озаряемый лучами истины, поминутно обогащался. Какой-то процесс внутреннего роста происходил в Мариусе. Он чувствовал себя возмужавшим благодаря двум сделанным открытиям: он нашел отца и родину.

Теперь все раскрывалось перед ним, как если бы он владел ключом. Он находил объяснения тому, что ранее ненавидел; постигал то, что ранее презирал. Отныне ему стало ясно провиденциальное значение – божественное и человеческое – великих событий, проклинать которые его учили, и великих людей, в ненависти к которым его воспитали. Едва успев отказаться от своих прежних воззрений, он считал их уже устаревшими и, вспоминая о них, то возмущался, то посмеивался.

От оправдания отца он, что было естественно, перешел к оправданию Наполеона.

Надо, однако, сказать, что последнее далось ему нелегко.

С раннего детства его пичкали суждениями о Бонапарте, которых придерживалась партия 1814 года. А все предрассудки, интересы и инстинкты Реставрации стремились исказить образ Наполеона. Наполеон вселял этой партии еще больший ужас, чем Робеспьер. Она довольно ловко воспользовалась усталостью нации и ненавистью матерей. Бонапарта она превращает в какое-то почти сказочное чудовище. И чтобы сильнее поразить воображение народа, в котором, как мы уже отмечали, много ребяческого, партия 1814 года показывает Бонапарта поочередно под всевозможными страшными масками, от Тиберия – до нелепого пугала, начиная с тех, что нагоняют страх, сохраняя все-таки величественность, и кончая теми, что вызывают смех. Итак, говоря о Бонапарте, каждый был волен рыдать или хохотать, лишь бы только в основе лежала ненависть. Никаких иных мыслей по поводу «этого человека», как было принято его называть, никогда и не приходило в голову Мариусу. Он утверждался в них благодаря упорству, свойственному его натуре. В нем сидел ненавидящий Наполеона маленький упрямец.

Однако чтение исторических книг, а в особенности знакомство с историческими событиями по документам и материалам мало-помалу разорвали завесу, скрывавшую Наполеона от Мариуса. Он почувствовал, что перед ним нечто громадное, и заподозрил, что в отношении Бонапарта ошибался не менее, чем в отношении всего остального. С каждым днем он все более прозревал. На первых порах почти с неохотой, а затем с упоением, словно влекомый какими-то неотразимыми чарами, начал он медленное восхождение, поднимаясь шаг

за шагом, сперва по темным, далее по слабо освещенным и, наконец, по залитым сияющим светом ступеням энтузиазма.

Как-то раз ночью он был один в своей комнатке под кровлей. Горела свеча. Он читал, облокотившись на стол у открытого окна. Простирающаяся перед ним даль навевала мечты, и они смешивались с его думами. Как дивно твое зрелище, ночь! Слышатся глухие, неведомо откуда доносящиеся звуки, раскаленным угольком мерцает Юпитер, в двенадцать раз превышающий по величине земной шар; лазурь небес черна, звезды сверкают, необъятным кажется мир.

Он читал бюллетени великой армии – эти героические строфы, написанные на полях битв; он встречал там время от времени имя отца и постоянно – имя императора; вся великая Империя открывалась его взору. Он чувствовал, как душа его переполняется и вздымается, словно прилив; минутами ему чудилось, будто призрак отца, проносясь мимо как легкое дуновение, что-то шепчет ему на ухо. Им все сильнее овладевало какое-то странное состояние: ему слышались барабаны, пушки, трубы, размеренный шаг батальонов, глухой и отдаленный кавалерийский галоп. Временами он подымал глаза к небу и глядел на сияющие в бездонной глубине громады созвездий, потом снова опускал их на книгу, и тут перед ним вставали беспорядочно движущиеся громады иных образов. Сердце его сжималось. Он был в исступлении, весь дрожал, задыхался. Вдруг, сам не понимая, что с ним и кто им повелевает, он встал, протянул руки из окна и, устремив взгляд во мрак, в тишину, в туманную бесконечность, в беспредельный простор, воскликнул: «Да здравствует император!»

С этой минуты со старым было покончено. Корсиканское чудовище, узурпатор, тиран, нравственный урод, возлюбленный своих родных сестер, комедиант, бравший уроки у Тальма, яффский отравитель, тигр, Буонапарте – все это исчезло, уступив в его уме загадочному, всепоглощающему, ослепительному сиянию, в котором на недостижимой высоте сверкал бледный призрак мраморного Цезаря. Для его отца император был лишь любимым полководцем, которым восхищаются и которому со всей преданностью служат. Для Мариуса он представлял собой нечто большее. Он являлся избранным судьбой зодчим государства французской формации, унаследовавшего от государства римской формации владычество над миром; мастером чудодейственного разрушения, продолжателем дела Карла Великого, Людовика XI, Генриха IV, Ришелье, Людовика XIV и Комитета общественного спасения. Он имел, разумеется, свои недостатки, совершал ошибки и даже преступления, иными словами – был человеком, но царственным в своих ошибках, блистательным в своих недостатках, могущественным в своих преступлениях. Он был избранником, заставившим все народы заговорить о великой нации; больше того – олицетворением самой Франции, и, побеждая Европу своим мечом, он побеждал мир своим светом. Для Мариуса Бонапарт был лучезарным видением, которому суждено, охраняя грядущее, вечно стоять на страже границ. Он видел в нем деспота, но столько же и диктатора; деспота, выдвинутого Республикой и явившегося завершением Революции. И подобно тому как Иисус был богочеловеком, Наполеон стал для него народочеловеком.

Как всякий неофит, опьяненный новой верой, Мариус страстно стремился приобщиться к ней – и хватал через край. Это было в его натуре. Стоило только ему отдаться какому-нибудь чувству, и он уже не мог остановиться. Им овладело фанатическое увлечение наполеоновским мечом, сочетавшееся с восторженной приверженностью наполеоновской идее. Он не замечал, что, восторгаясь гением, заодно восторгается и грубой силой, – иными словами, создает двойной культ: с одной стороны, божественного, с другой – звериного начала. Он допускал и много других ошибок. Он принимал все безоговорочно. Так, в поисках истины, можно выйти и на ложную дорогу. Преисполненный какого-то безграничного доверия, он целиком соглашался со

всем. Осуждая ли преступления старого режима, оценивая ли славу Наполеона, он, однажды вступив на новый путь, уже не признавал никаких поправок.

Как бы то ни было, шаг чрезвычайной важности был сделан. Там, где раньше он видел падение монархии, он увидел возвышение Франции. Угол зрения его изменился. Теперь то, что казалось закатом, стало восходом. Он повернулся в противоположную сторону.

Родные Мариуса и не подозревали о совершившемся в нем духовном перевороте.

Когда же в процессе этой скрытой работы над собой ему удалось, наконец, окончательно сбросить с себя старую бурбонскую и ультраправую оболочку, совлечь одежды аристократа, якобита и роялиста и по-настоящему превратиться в революционера, истого демократа и почти республиканца, он отправился к граверу на набережную Орфевр и заказал сотню визитных карточек, на которых стояло: «*Барон Мариус Понмерси*».

Все это явилось лишь вполне логическим следствием произошедшей в нем перемены, всецело определявшей его тяготением к отцу. Но поскольку у Мариуса не было знакомых и он не мог оставлять свои карточки у портье, он положил их в карман.

Другим естественным результатом этой перемены явилось следующее: чем ближе делался Мариусу отец, чем дороже ему становилась память о нем и все то, за что в течение двадцати пяти лет боролся полковник, тем больше внук отдалялся от деда. Нрав г-на Жильнормана, как указывалось выше, уже давно был не по душе Мариусу. В их отношениях замечался разлад, обычный между серьезными молодыми людьми и фривольными стариками. Легкомыслие Жеронта всегда оскорбляет и раздражает меланхолию Вертера. Пока оба придерживались одинаковых политических мнений и взглядов, это служило для Мариуса своего рода мостом, переброшенным от него к г-ну Жильнорману. Стоило этому мосту рухнуть, как между ними сразу образовалась пропасть. Но помимо этого, Мариуса приводила в неопишное негодование мысль, что именно он, г-н Жильнорман, из-за каких-то глупых соображений безжалостно отнял его у полковника, лишив, таким образом, отца сына, а сына – отца.

В чувстве глубокой любви к отцу Мариус дошел почти до ненависти к деду.

Впрочем, как мы уже сказали, все это никак не проявлялось вовне. Мариус становился только все холоднее и холоднее. Бывал молчалив за столом и редко оставался дома. Когда тетка бранила его за это, он кротко ее выслушивал и ссылаясь на свою занятость, на лекции, экзамены, семинары и т. п. А дед, продолжая считать непогрешимым свой диагноз, все твердил: «Влюблен! В таких делах меня не проведешь».

Время от времени Мариус отлучался из города.

– Да куда же он ездит? – недоумевала тетка.

В одну из таких поездок, всегда очень коротких, выполняя завет своего покойного отца, он отправился в Монфермейль и попытался разыскать бывшего ватерлооского сержанта, трактирщика Тенардье. Трактир оказался закрытым. Тенардье, как выяснилось, разорился, и никто не знал, что с ним случилось. Занятый этими розысками, Мариус четыре дня не был дома.

– Ну, разумеется, куролесит, – заявил дед.

Между тем стали замечать, что на груди, под рубашкой, Мариус что-то носит на черной ленточке, надетой на шею.

Глава 7

Какая-нибудь юбка

Мы уже упоминали о некоем улане. Это был внучатный племянник г-на Жильнормана с отцовской стороны, проводивший жизнь где-то в гарнизоне, вдали от родных и семейного уюта. Поручик Теодюль Жильнорман отвечал всем требованиям так называемого душки-военного.

Талия у него была как «у барышни», саблю он волочил на какой-то особо молодецкий манер, а усы лихо закручивал кверху. В Париж он приезжал очень редко – так редко, что Мариус даже ни разу его и не видел. Кузены знали друг друга только по имени. Мы, кажется, уже говорили, что Теодюль был любимцем тетушки Жильнорман, отдававшей ему предпочтение по той причине, что ей почти не доводилось его видеть. Не видя человека, можно предполагать в нем любые совершенства.

Однажды утром м-ль Жильнорман-старшая вернулась к себе крайне возбужденная при всей невозмутимости своего характера. Мариус опять просил деда разрешить ему куда-то ненадолго уехать, добавив, что хочет отправиться вечером того же дня. «Поезжай!» – ответил дед, а про себя, многозначительно подняв брови, буркнул: «Повадился таскаться по ночам». М-ль Жильнорман поднялась в свою комнату крайне заинтригованная, бросив на лестнице в знак негодования: «Это уж чересчур!» и в знак удивления: «Но куда же в самом деле он ездит?» Она заподозрила, что здесь не без какой-нибудь предосудительной сердечной истории, что здесь не без женщины, свидания, тайны, и была не прочь сунуть сюда свой очкастый нос. Любовный секрет – не менее лакомый кусочек, чем свежеиспеченная сплетня, и святые души отнюдь не прочь его отведают. В глубоких тайниках ханжества всегда найдется некоторый запас любопытства к амурным делам.

Итак, она томилась смутным вожделением узнать романтическое происшествие.

Дабы отвлечься от этого несколько непривычно волновавшего ее чувства любопытства, она прибегла к помощи своих талантов и принялась выводить бумажными нитками по бумажной материи фестоны, вышивая один из распространенных узоров эпохи Империи и Реставрации, с многочисленными кружками вроде каретного колеса. Работа была уныла, работница – угрюма. Она провела так в своем кресле уже несколько часов, как вдруг дверь отворилась. М-ль Жильнорман подняла нос; перед ней стоял, приветствуя ее по всем правилам воинского устава, поручик Теодюль. Она вскрикнула от счастья. Можно быть старухой, недотрогой, богомолкой, тетушкой и все-таки испытывать удовольствие, видя у себя в комнате улана.

– Ты здесь, Теодюль! – воскликнула она.

– Проездом, тетенька.

– Поцелуй же меня.

– Рад стараться! – отвечивал Теодюль.

И он расцеловал ее. Тетушка Жильнорман подошла к своему секретеру и открыла его.

– Ну, уж недельку-то ты у нас погостишь?

– Уезжаю нынче же вечером, тетенька.

– Не может быть!

– Совершенно точно.

– Теодюль, дружок, прошу тебя, останься.

– Сердце говорит «да», а устав – «нет». Дело в следующем. Нас переводят в другой гарнизон. Мы стояли в Мелуне, а нас посылают в Гайон. Из старого гарнизона в новый надо ехать через Париж. Я и сказал себе: «Дай-ка повидаясь с тетенькой».

– Вот тебе за труды.

Она вложила ему в руку десять луидоров.

– За удовольствие, хотите вы сказать, дорогая тетенька.

Теодюль вторично поцеловал ее, и она испытала приятное ощущение, когда галуны его мундира слегка царапнули ей шею.

– Ты едешь с полком, на коне? – спросила она.

– Нет, тетенька. Мне хотелось во что бы то ни стало повидать вас. Я получил особое разрешение. Денщик ведет мою лошадь, а я еду дилижансом. Да, кстати, в связи с этим у меня к

вам вопрос.

– Что такое?

– Разве мой кузен Мариус Понмерси тоже куда-то уезжает?

– Откуда ты это знаешь? – воскликнула задетая за живое тетюшка, загоровшись любопытством.

– По приезде я пошел в контору дилижансов, чтобы оставить за собою место в карете.

– И что же?

– Оказалось, что один из пассажиров уже приходил и оставил себе место на империале. Я видел в списке отъезжающих имя этого пассажира.

– Кто же это?

– Мариус Понмерси.

– Дрянной мальчишка! – возмутилась тетка. – Нет, твоему кузену далеко до тебя, он совсем не паинька. Не угодно ли, что затеял – ночевать в дилижансе.

– Как и я.

– Но ты это делаешь по обязанности, а он из распутства.

– Бездельник! – бросил Теодюль.

Тут с м-ль Жильнорман-старшей случилось нечто необычайное: у нее возникла мысль. Будь она мужчиной, она, наверно, хлопнула бы себя по лбу.

– Известно ли тебе, – озадачила она вопросом Теодюля, – что твой кузен тебя не знает?

– Нет. Я-то его видел, а он ни разу не удостоил меня вниманием.

– Значит, вы поедете вместе?

– Он на империале, я – внутри кареты.

– Куда идет дилижанс?

– В Андели.

– Значит, туда и едет Мариус?

– Если только, как и я, не выйдет где-нибудь раньше по пути. Я сойду в Верноне, мне надо захватить гайонскую почту. А о маршруте Мариуса я не имею ни малейшего представления.

– Мариус! Что за противное имя. И вздумалось же назвать его Мариусом. Вот у тебя, я понимаю, имя – Теодюль!

– Я предпочел бы, чтобы меня звали Альфредом, – заметил офицер.

– Слушай, Теодюль!

– Слушаю, тетенька.

– Но слушай внимательно.

– С превеликим вниманием.

– Итак, ты слушаешь?

– Да.

– Так вот, Мариус у нас то и дело в отлучке.

– Ай-я-яй!

– Он куда-то ездит.

– О-го-го!

– Не ночует дома.

– Э-ге-ге!

– Нам хотелось бы узнать, что за этим кроется.

– Какая-нибудь юбка, – проговорил со спокойствием многоискушенного человека Теодюль. И с затаенной усмешкой, не оставляющей места никаким сомнениям, добавил: – Девчонка.

– Так оно и есть! – воскликнула тетка, которой показалось, что она слышит самого г-на Жильнормана, которой слово «девчонка», произнесенное внучатым племянником и почти

таким же тоном, каким оно произносилось двоюродным дедом, зазвучало с особой убедительностью.

– Сделай нам одолжение, последи немножко за Мариусом, – продолжала она. – Он тебя не знает, для тебя это не составит труда. А раз уж тут замешалась девчонка, постарайся ее увидеть. Ты нам про все напишешь. Это позабавит дедушку.

Хотя Теодюль не имел особой охоты заниматься подобного рода слежкой, но он был глубоко растроган десятью луидорами и питал надежду, что продолжение последует. Со словами: «К вашим услугам, тетушка», он принял поручение, а про себя добавил: «Вот я и попал в дуэньи».

Мадемуазель Жильнорман расцеловала его.

– Ты-то, Теодюль, никогда не пошел бы на такие проделки. Ты повинешься дисциплине, ты раб своих служебных обязанностей, человек чести и долга, ты не стал бы бросать семью ради свидания с какой-то тварью.

Улан скорчил довольную гримасу, словно Картуш, которого похвалили за честность.

Вечером того же дня, когда происходил описанный диалог, Мариус сел в дилижанс, несколько не подозревая, что имеет соглядатая. Что до самого соглядатая, до нашего Аргуса, то он первым делом заснул самым честным, непробудным сном и всю ночь напролет прохрапел.

«Вернон! Станция Вернон! Кто едет до Вернона?» – крикнул кондуктор дилижанса на рассвете. И поручик Теодюль проснулся.

– Превосходно, – еще полусонный, пробормотал он, – мне здесь выходить.

А когда он окончательно стряхнул с себя сон и память его начала понемногу проясняться, ему вспомнилась тетка, десять луидоров и взятое им на себя обязательство представить отчет о поведении Мариуса. Это рассмешило его.

«Мариуса, может быть, давно уже и нет в дилижансе, – подумал он, застегивая куртку своего будничного мундира. – Он мог остановиться в Пуасси, в Триэле, с одинаковым успехом сойти как в Мелане, так и в Манте, если только не сошел раньше в Рольбуазе. А то, добравшись до Паси, мог свернуть налево в Эвре или направо – в Ларош-Гийон. Попробуй-ка, тетенька, угоняйся за ним! Но что же, черт побери, напишу я милейшей старушке?»

В эту минуту в окне кареты показались спускающиеся с империала черные панталоны.

«Уж не Мариус ли это?» – промелькнуло в голове поручика.

Это был действительно Мариус.

У самого дилижанса молоденькая крестьянка, проталкиваясь между лошадьми и почтарями, предлагала пассажирам цветы.

– Купите цветов вашим дамам! – кричала она.

Мариус подошел и выбрал самые лучшие цветы из ее корзинки.

«Ну, дело принимает любопытный оборот, – подумал Теодюль, выскакивая из кареты. – Но кому, пропади он пропадом, собирается Мариус преподнести эти цветы? Такой чудесный букет заслуживает писаной красавицы. Я должен на нее поглядеть».

И подобно собакам, которые гонятся за дичью по собственному почину, он, теперь уже не по чужой указке, а удовлетворяя личное свое любопытство, стал следить за Мариусом.

Мариус не обратил на Теодюля никакого внимания. Из дилижанса выходили элегантные дамы, он не смотрел на них. Казалось, он совершенно не замечал окружающего.

«Здорово же он влюблен!» – решил Теодюль.

Мариус направился к церкви.

«Великолепно, – рассуждал сам с собой Теодюль. – Церковь! Очень хорошо. Свидания, чуточку подправленные обедней, – чего лучше! Перемигиваться за спиной у боженьки премилое дело».

Подойдя к церкви, Мариус не вошел в нее, а свернул за выступ алтарной части и тут же скрылся за углом одного из контрфорсов апсиды.

«Так, свидание происходит не внутри, а снаружи, – подумал Теодюль. – Ну-ну, поглядим на девчонку».

И он стал на цыпочках пробираться к углу, за который свернул Мариус.

Дойдя до угла, он замер от удивления.

На могиле, опустившись на колени прямо в траву и закрыв лицо руками, стоял Мариус. Букет свой он оборвал и усыпал цветами могилу. Там, где возвышение обозначало изголовье, виднелся черный деревянный крест, и на нем можно было разглядеть написанное белыми буквами имя: ПОЛКОВНИК БАРОН ПОНМЕРСИ. Слышались рыдания Мариуса.

Девчонка оказалась могилой.

Глава 8

Нашла коса на камень

Сюда-то и ездил Мариус, когда в первый раз отлучился из Парижа. Сюда же приезжал и всякий раз, когда, по выражению г-на Жильнормана, «таскался по ночам».

Поручик Теодюль совершенно растерялся, неожиданно очутившись бок о бок с гробницей. Он испытал неприятное и странное чувство, определить которое не умел и которое складывалось из почтения к смерти, смешанного с почтением к полковничьему чину. Он отступил, оставив Мариуса одного на кладбище, причем немалую роль здесь сыграла дисциплина. Смерть явилась ему в густых полковничьих эполетах, и он едва удержался, чтобы не отдать ей честь. Не зная, что написать тетушке, он решил совсем ничего не писать. И открытие, сделанное Теодюлем относительно любовных походов Мариуса, не имело бы, по всей вероятности, никаких последствий, если бы, как это часто случается, сцена в Верноне, в силу непонятного стечения обстоятельств, не получила почти тотчас же известного отклика в Париже.

Мариус вернулся из Вернона на третий день и приехал в дом деда ранним утром. Утомленный двумя бессонными ночами, проведенными в дилижансе, чувствуя потребность освежиться и поплавать с часок, он быстро поднялся к себе, не мешкая снял дорожный сюртук и черную ленточку, которую носил на шее, и отправился купаться.

Господин Жильнорман, подобно всем здоровым старикам просыпавшийся спозаранку, услышал, как он приехал, и, насколько это позволяли его старые ноги, поспешил взобраться по лестнице в помещение под крышей, где жил Мариус, чтобы расцеловать внука, а среди поцелуев заодно попытаться расспросить и разузнать, где же он был.

Но юноше понадобилось меньше времени на то, чтобы спуститься вниз, нежели восьмидесятилетнему старцу, чтобы подняться вверх. И когда дедушка Жильнорман вошел в мансарду, Мариуса там уже не было.

Постель оставалась неразобранной, а на ней безмятежно покоились сюртук и черная ленточка.

– Тем лучше, – сказал Жильнорман.

И через минуту он проследовал в гостиную, где уже восседала м-ль Жильнорман-старшая, вышивая свои экипажные колеса.

Он вошел ликуя.

Держа в одной руке сюртук, а в другой черную нашейную ленточку Мариуса, г-н Жильнорман воскликнул:

– Победа! Теперь мы откроем тайну! Проникнем в святая святых, прощупаем нашего

молчаливца, узнаем все его шашни! Мы у самых истоков романа. У меня портрет!

Действительно, на ленточке висел маленький футляр из черной шагреновой кожи, напоминавший медальон.

Старик взял футляр и несколько времени, не раскрывая, глядел на него тем сладострастным, восхищенным и гневным взглядом, каким голодный смотрит на вкусный обед, проносимый у него, бедняги, перед носом, но не для него предназначенный.

– Совершенно очевидно, что там портрет. Мне ли этого не знать? Предметы подобного рода бережно носят у самого сердца. Ну что за болваны! Наверное, какая-нибудь потаскушка, от которой в дрожь бросает! Нынче у молодежи прескверный вкус!

– Давайте взглянем, отец, – сказала старая дева. Футлярчик открывался нажатием пружины. Они не обнаружили в нем ничего, кроме тщательно сложенной бумажки.

– *От той же к тому же*, – с громким хохотом сказал г-н Жильнорман. – Я догадываюсь, что это такое. Любовная записка!

– Ну прочтите же ее! – сказала тетка.

И она надела очки. Затем она развернула бумажку и прочла следующее:

«*Моему сыну*. Император пожаловал меня бароном на поле битвы при Ватерлоо. Реставрация не признает за мной этого титула, который я оплатил своею кровью, поэтому его примет и будет носить мой сын. Само собой разумеется, что он будет достоин его».

Невозможно передать, что почувствовали при этом отец и дочь. На них точно пахнуло леденящим дыханием смерти. Они не обменялись ни словом. Г-н Жильнорман чуть слышно, как бы про себя, прошептал:

– Это почерк рубаки.

Тетка подвергла бумажку обследованию, повертела ею и так и сяк, затем положила обратно в футляр.

В ту же минуту из кармана сюртука Мариуса выпал продолговатый четырехугольный сверточек, завернутый в голубую бумагу. М-ль Жильнорман подняла его и развернула голубую бумагу. Это была сотня визитных карточек Мариуса. М-ль Жильнорман протянула одну из них отцу, и тот прочел: *Барон Мариус Понмерси*.

Старик позвонил. Вошла Николетта. Г-н Жильнорман взял ленточку, футляр и сюртук и, бросив все на пол посреди гостиной, приказал:

– Унесите этот хлам.

Добрый час прошел в глубочайшем молчании. И старик, и старая дева сидели, отвернувшись друг от друга, но каждый, по всей вероятности, думал об одном и том же. На исходе этого часа тетка Жильнорман промолвила:

– Очень мило!

Несколько минут спустя вошел Мариус. Он только что вернулся. Не успел он переступить порог гостиной, как заметил в руке у деда свою визитную карточку, а дед, завидев его и тотчас впадая в свой насмешливый, исполненный буржуазного высокомерия тон, в котором было нечто унижающее, закричал:

– Так, так, так! Оказывается, ты теперь барон. Ну, поздравляю тебя. А что это, собственно, значит?

– Это значит, – слегка покраснев, ответил Мариус, – что я сын своего отца.

Господин Жильнорман перестал смеяться и резко сказал:

– Твой отец – это я.

– Мой отец, – продолжал Мариус, опустив глаза и храня суровый вид, – был человек скромный, но героически храбрый, доблестно служивший Республике и Франции, показавший себя великим в величайших исторических делах, когда-либо совершенных людьми, проживший

четверть века на бивуаке, днем под картечью и пулями, ночью в снегу, грязи и под дождем, – человек, получивший двадцать ранений, захвативший два знамени и умерший забытым, брошенным и виновным единственно в том, что чрезмерно любил двух неблагодарных – родину и меня!

Это было уж чересчур, дольше г-н Жильнорман не мог стерпеть. При слове «республика» он встал, или, вернее, выпрямился во весь рост. Каждое слово, произносимое Мариусом, оказывало такое же действие на лицо старого роялиста, как воздушная струя кузнечных мехов на горящий уголь. Из темного оно стало красным, из красного – пунцовым, из пунцового – багровым.

– Мариус! Мерзкий мальчишка! – воскликнул он. – Я не знаю, каков был твой отец! И знать не хочу! Я о нем ничего не знаю и самого его не знаю! Но зато я хорошо знаю, что все эти люди были негодяи! Голодранцы, убийцы, каторжники, воры! Все, говорю тебе! Все без исключения! Все! Запомни это, Мариус! А ты, видишь ли, такой же барон, как моя туфля! Робеспьеру служили одни грабители! Бу-о-на-парту – одни разбойники! Одни изменники, только и знавшие, что изменять, изменять, изменять! И это законному своему королю! Одни трусы, бежавшие от пруссаков и англичан при Ватерлоо! Вот это я знаю. А ежели почтенный ваш родитель, сие мне неведомо, попал в их число, – слуга покорный, – очень жаль, тем хуже!

Теперь наступила очередь Мариуса играть роль угля, а г-на Жильнормана – мехов. Мариус весь дрожал; он не знал, что делать, голова его пылала. Он испытывал то же, что должен был бы испытывать священник, на глазах которого выкидывают вон его облатки, или факир, на глазах которого прохожий плюет на его идола. Допустимо ли, чтобы подобного рода вещи безнаказанно произносились при нем? Но как тут быть? В его присутствии подвергали отца надругательству, топтали ногами. Но кем это делалось? Дедом. Как отомстить за одного, не обидев другого? Нельзя оскорбить деда, но равным образом нельзя оставить неотомщенным отца. С одной стороны – священная могила, с другой – седины. Несколько мгновений под влиянием этих мыслей, вихрем кружившихся в его голове, он был как хмельной и не знал, на что решиться. Потом поднял глаза, пристально взглянул на деда и закричал громовым голосом:

– Долой Бурбонов! И этого жирного борова Людовика Восемнадцатого!

Людовика XVIII уже четыре года не было в живых, но Мариусу это было совершенно безразлично.

Старик из багрового сразу стал блее собственных волос. Он повернулся к стоящему на камине бюсту герцога Беррийского и с какой-то необычайной торжественностью отвесил ему низкий поклон. Затем, медленно и молча, дважды прошелся от камина к окну и от окна к камину, из конца в конец, через весь зал, тяжело, словно каменное изваяние, ступая по трещащему под его ногами паркету. Проходя во второй раз, он нагнулся к дочери, которая присутствовала при столкновении, держась оробевшей старой овцой, и сказал, улыбаясь, почти спокойно:

– Барон, каковым является милостивый государь, и буржуа, каковым являюсь я, не могут оставаться под одной кровлей.

И вдруг, выпрямившись, бледный, дрожащий от ярости, ужасный, с набухшими на лбу жилами, он простер в сторону Мариуса руку и крикнул:

– Вон!

Мариус покинул дом деда.

На другой день г-н Жильнорман сказал дочери:

– Потрудитесь посылать каждые полгода по шестьдесят пистолей этому кровопийце и при мне никогда о нем не упоминайте.

Сохранив огромный запас неизлитого гнева, не зная, куда его девать, он продолжал в

течение трех с лишним месяцев обращаться к дочери на «вы».

Мариус же удалился, кипя негодованием. Одно заслуживающее упоминания обстоятельство еще усилило его раздражение. Семейные драмы сплошь и рядом осложняются разными мелочами. И хотя по существу вины от этого нисколько не прибавляется, обида возрастает. Торопясь, по приказанию деда, отнести «хлам» Мариуса в его комнату, Николетта, должно быть, обронила на темной лестнице, ведущей в мансарду, медальон из черной шагреновой кожи с запиской полковника. Ни записка, ни медальон так и не нашлись. Мариус был уверен, что «господин Жильнорман» – с этого дня он иначе не называл его – бросил в огонь «завещание отца». Он знал наизусть немногие строки, написанные полковником, и, по сути дела, ничто не было потеряно. Но самая бумага, почерк являлись для него священной реликвией, все это составляло частицу его души. Что сделали с ними?

Мариус ушел, не сказав, куда он идет, да и сам не зная, куда пойдет. При нем было тридцать франков, часы и дорожный мешок с кое-какими пожитками. Он сел в наемный кабриолет, взяв его почасно, и отправился в Латинский квартал.

Что станет с Мариусом?

Книга четвертая

Друзья азбуки

Глава 1

Кружок, чуть было не ставший историческим

В ту эпоху, казалось бы, полного ко всему безразличия, однако, уже чувствовались первые дуновения революции. В воздухе веяло вырвавшимся из глубин дыханием 1789 и 1792 годов. Молодежь, да простят нам это выражение, начала линять. Люди менялись почти незаметно для себя самих, просто в силу движения времени. Стрелка, совершая свой путь по циферблату, совершает его и в душах. Каждый делал положенный ему шаг вперед. Роялисты становились либералами, либералы – демократами.

Это был как бы прилив, сдерживаемый тысячей отливов; отливам свойственно все смешивать; отсюда и самые неожиданные сочетания идей; одновременно преклонялись перед Наполеоном и перед свободой. Мы строго придерживаемся здесь исторических фактов, но таковы миражи того времени. Политические взгляды имеют свои стадии развития. Причудливая разновидность роялизма, вольтеррианский роялизм нашел себе не менее странную пару в бонапартистском либерализме.

Направление мыслей других групп отличалось большей серьезностью. Там доискивались первопричин, ратовали за право и справедливость. Там страстно увлекались учением об абсолютном, провидя бесчисленные возможности его проявления; абсолютное, уже в силу своей непреложности, влечет умы к лазурным высям и заставляет их витать в беспредельности. Ничто так не благоприятствует возникновению мечты, как догма, и ничто так не способствует рождению будущего, как мечта. Сегодняшняя утопия завтра облечется в плоть и кровь.

Но у передовых течений было как бы двойное дно. Уже обнаруживалась склонность к тайне, создававшая угрозу «существующему порядку», подозрительному и лицемерному. Это весьма показательный революционный признак. Скрытые помыслы власти, подводившей подкоп, столкнулись со скрытыми помыслами народа. Назревающие восстания явились ответом на замышляемый государственный переворот.

В ту пору во Франции еще не было таких крупных тайных обществ, как немецкий тагендбунд или итальянский союз карбонариев; но тут и там, разветвляясь, шла невидимая подземная работа. В Эксе уже намечалось возникновение Кугурды, а в Париже, среди прочих объединений подобного рода, существовало общество «Друзей азбуки».

Что представляли собой эти Друзья азбуки? Судя по названию, общество ставило себе целью обучение детей. В действительности же оно стремилось помочь взрослым людям распрямиться.

Члены общества объявили себя Друзьями азбуки, подразумевая под этим, что они друзья униженных и обездоленных, то есть народа^[98]. Его хотели поднять. Каламбур, отнюдь не заслуживающий насмешки. Каламбуры играют подчас заметную роль в политике: например *Castratus ad castra*^[99], благодаря которому Нарсес стал командующим армией; например *Barbari et Barberim*^[100]; например *Fueros y Fuegos*^[101]; например *Tu es Petrus et super hanc petram*^[102] и т. д. и т. п.

Друзья азбуки были немногочисленны. Они представляли собою тайное общество в зачаточном состоянии; мы сказали бы даже – котерию, будь в возможностях котерии выдвигать героев. Члены общества собирались в Париже в двух местах: близ Рынка, в кабачке под

названием «Коринф», о котором речь будет впереди, и близ Пантеона, на площади Сен-Мишель, в маленьком кафе под названием «Мюзен», ныне снесенном. До первого сборного пункта было недалеко рабочим, до второго – студентам.

Тайные собрания Друзей азбуки происходили в заднем помещении кафе «Мюзен».

В этом зале, достаточно отдаленном от самого кафе, с которым его соединял длинейший коридор, было два окна и выход по потайной лестнице на улочку Гре. Здесь курили, пили, играли в игры, смеялись. Здесь во всеуслышание говорили о всякой всячине, а шепотом о неких иных делах. К стене – обстоятельство достаточное, чтобы заставить насторожиться полицейского агента, – была прибита старая карта республиканской Франции.

Большинство Друзей азбуки составляли студенты, заключившие сердечный союз кое с кем из рабочих. Вот имена главарей. Они до некоторой степени принадлежат истории: Анжольрас, Комбефер, Жан Прувер, Фейи, Курфейрак, Баорель, Легль или л'Эгль, Жоли, Грантэр.

Молодые люди, связанные между собой дружбой, составляли как бы одну семью. Все, за исключением Легля, были южане.

Это был замечательный кружок. Он исчез в невидимых безднах, уже оставшихся позади. В начале драматических событий, к описанию которых мы подошли, пожалуй, не будет лишним бросить луч света на эти юные головы, прежде чем читатель увидит, как они погрузятся во мрак своего трагического предприятия.

Анжольрас, которого мы назвали первым, а почему именно его, станет ясно впоследствии, был единственным сыном богатых родителей.

Это был очаровательный молодой человек, способный, однако, внушать страх. Он был прекрасен, как ангел, и походил на Антиноя, но только сурового. По блеску его задумчивого взгляда можно было подумать, что в одном из предшествовавших своих существований он уже пережил апокалипсис революции. Он усвоил ее традиции как очевидец. Знал в самых малых деталях все великие ее дела. Как это ни странно для юноши, но по натуре он был первосвященник и воин. Священнодействуя и воинствуя, он являлся солдатом демократии, если рассматривать его с точки зрения нынешнего дня, и жрецом идеала – если подняться над современностью. У него были глубоко сидящие глаза со слегка красноватыми веками, рот с пухлой нижней губой, на которой часто мелькало презрительное выражение, большой лоб. Высокий лоб на лице – то же, что высокое небо на горизонте. Подобно некоторым молодым людям начала нынешнего и конца прошлого века, рано прославившимся, он весь сиял молодостью и, хотя бледность порой покрывала его щеки, был свеж, как девушка. Достигши зрелости мужчины, он все еще глядел ребенком. Ему было двадцать два года, а на вид – семнадцать. Строгий в поведении, он, казалось, не подозревал, что на свете есть существо, именуемое женщиной. Им владела одна только страсть – справедливость и одна только мысль – ниспровергнуть стоящие на пути к ней препятствия. На Авентинском холме он был бы Гракхом, в Конвенте – Сен-Жюстом. Он почти не замечал цветения роз, не знал, что такое весна, не слышал пения птиц. Обнаженная грудь Эваднеи взволновала бы его не более, чем Аристогитона. Для него, как и для Гармодия, цветы годились лишь на то, чтобы прятать в них меч. Серьезность не покидала его даже в часы веселья. Он целомудренно опускал очи перед всем, что не являлось республикой. Это был твердый, как гранит, возлюбленный свободы. Речь его дышала суровым вдохновением и звучала гимном. Ему были свойственны неожиданные взлеты мыслей. Затея завести с ним интрижку неминуемо грозил провал. Если какая-нибудь гризетка с площади Камбре или с улицы Сен-Жан-де-Бове, приняв его за вырвавшегося на волю школьника и пленившись этим обликом пажа, этими длинными золотистыми ресницами, этими голубыми глазами, этими развевающимися по ветру кудрями, этими румяными ланитами, этими нетронутыми устами, этими чудесными зубами, всем этим утром юности, вздумала бы

испробовать над Анжольрасом чары своей красоты, изумленный и грозный взгляд его мгновенно разверз бы перед ней пропасть и научил бы не смешивать грозного херувима Езекииля с галантным Керубино Бомарше.

Рядом с Анжольрасом, воплощавшим логику революции, находился Комбефер, воплощавший ее философию. Разница между логикой и философией революции состоит в том, что логика может высказаться за войну, меж тем как философия в своих выводах приводит только к миру. Комбефер дополнял и исправлял Анжольраса. Он смотрел на все с менее возвышенных позиций, но зато свободнее. Он хотел воспитывать умы в духе широких общих идей. «Революция нужна, – говорил он, – но не менее нужна и цивилизация»; и вокруг крутой горы ему раскрывался беспредельный голубой простор. Вот почему взгляды Комбефера всегда отличались известной доступностью и практичностью. Будь Комбефер во главе революции, при нем дышалось бы легче, чем при Анжольрасе. Анжольрас желал осуществить с ее помощью божественное право, а Комбефер – естественное. Первый был последователем Робеспьера, второй – сторонником Кондорсе. Комбефер больше Анжольраса жил обычной жизнью обычных людей. Если бы обоим юношам было суждено войти в историю, один оставил бы по себе память справедливого, другой – мудрого. Анжольрас был мужественнее, Комбефер – человечнее. Номо et Vir^[103], в этом, в сущности, и заключалась вся тонкость различия их характеров. Мягкость Комбефера, равно как и строгость Анжольраса, являлась следствием душевной чистоты. Комбефер любил слово «гражданин», но предпочитал ему «человек» и, наверно, охотно называл бы человека Номбре, вслед за испанцами. Он читал все, что выходило, посещал театры, публичные лекции, слушал, как объясняет Араго явления поляризации света, восхищался сообщением Жоффруа Сент-Илера о двойной функции внутренней и наружной сонной артерии, питающих одна – лицо, другая – мозг, был в курсе всей жизни, не отставал от науки, занимался сопоставлением Сен-Симона и Фурье, расшифровывал иероглифы, любил, надломив поднятый камешек, порассуждать о геологии, мог нарисовать на память бабочку шелкопряда, обнаруживал погрешности против французского языка в словаре Академии, штудировал Пюисегюра и Делеза, воздерживался от всяких утверждений и отрицаний, до чудес и привидений включительно, перелистывал комплекты «Монитера» и размышлял. Он утверждал, что будущность – в руках школьного учителя, и живо интересовался вопросами воспитания. Он требовал, чтобы общество неутомимо трудилось над поднятием своего морального и интеллектуального уровня, над превращением науки в общедоступную ценность, над распространением возвышенных идей, над духовным развитием молодежи.

Но он опасался, как бы скудость современных методов преподавания, убожество господствующих взглядов, ограничивающихся признанием двух-трех так называемых классических веков, тиранический догматизм казенных наставников, схоластика и рутина не превратили бы в конце концов наши коллежи в искусственные рассадники тупоумия. Это был ученый пурист, ясный ум, многосторонне образованный и трудолюбивый человек, склонный вместе с тем, по выражению друзей, к «несбыточным мечтаниям». Он верил в любую фантазию: и в железные дороги, и в обезболивание при хирургических операциях, и в возможность получения изображения предмета через камеру-обскуру, и в электрический телеграф, и в управляемый воздушный шар. Его отнюдь не пугали никакие крепости, повсюду воздвигнутые против человечества суеверием, деспотизмом и предрассудками. Он принадлежал к числу людей, полагающих, что наука в конечном счете должна изменить существующее положение вещей. Анжольрас был вождем, Комбефер – вожаком. С одним хорошо было бы вместе идти в бой, с другим – пуститься в странствие. Это вовсе не означает, что Комбефер не был способен к борьбе. Нет, он всегда был готов грудью встретить препятствия, дать сильный и страстный отпор. Но ему было больше по душе обучать истине, разъяснять позитивные законы и так,

постепенно, сделать человечество достойным его судьбы. Если бы он мог выбирать между двумя способами просвещения масс, он остановился бы скорее на лучах познания, нежели на огнях восстаний. Разумеется, и пламя пожара озаряет, но почему бы не дожидаться восхода солнца? Огнедышащий вулкан светит, но утренняя заря светит еще ярче. Очень возможно, что Комбеферу белизна прекрасного была милее, чем пурпур великолепного. Свет, застилаемый дымом, прогресс, купленный ценой насилия, не могли всецело удовлетворить эту нежную и глубокую душу. Стремительный, крутой переход народа к правде, повторение 1793 года страшили его. Однако еще менее приемлем был для Комбефера застой: он чувствовал в нем гниение и смерть. По сути дела он предпочитал пену бурлящей воды миазмам неподвижного болота, поток – клоаке, Ниагарский водопад – Монфоконскому озеру. Словом, он равно не признавал ни топтания на месте, ни спешки. Меж тем как его мятежные духом и рыцарски влюбленные в абсолютное друзья преклонялись перед высокими революционными подвигами и призывали к ним, Комбефер стоял за прогресс, за истинный прогресс, пусть несколько холодноватый, но зато безупречный, пусть несколько педантичный, но зато незапятнанный, пусть несколько медлительный, но зато устойчивый. Комбефер готов был коленопреклоненно молить о том, чтобы будущее наступило во всей своей нетронутой чистоте и чтобы ничто не омрачало великого и благородного поступательного движения народов. «Нужно, чтобы добро оставалось свободным от всякого зла», – неустанно повторял он. Действительно, если величие революции состоит в том, чтобы, не отрывая глаз от ослепительно сияющего идеала, стремиться к нему сквозь громы и молнии, обжигая руки в огне, обагряя их в крови, то красота прогресса – в сохранении безукоризненной чистоты: и Вашингтон, олицетворяющий последний, и Дантон, воплощающий первую, разнятся между собой, как ангелы с крылами лебедя и с крылами орла.

Жан Прувер отличался еще большей мягкостью, чем Комбефер. Повинуясь мимолетной фантазии, примешавшейся к серьезному и глубокому побуждению, породившему в нем весьма похвальный интерес к изучению Средних веков, он переименовал себя из Жана в Жеана. Жан Прувер был вечно влюблен, посвящал свои досуги возне с цветочными горшочками, игре на флейте, сочинению стихов; он любил народ, жалел женщин, оплакивал горькую участь детей, одинаково верил и в светлое будущее, и в бога и осуждал революцию только за одну павшую по вине ее царственную голову – за голову Андре Шенье. У него был мягкий голос, с неожиданными переходами в резкий. Он был начитан до учености и мог почти сойти за ориенталиста, но превыше всего был добр, а потому – что вполне понятно каждому, кто знает, насколько доброта и величие близки между собою, – в поэзии отдавал предпочтение грандиозному. Он знал итальянский, латинский, греческий и еврейский языки, но пользовался ими лишь затем, чтобы читать четырех поэтов: Данте, Ювенала, Эсхила и Исаию. Из французских авторов он ставил Корнеля выше Расина, а Агриппу д’Обинье выше Корнеля. Он любил бродить по полям, заросшим диким овсом и васильками, и облака занимали его, пожалуй, не менее дел житейских. У него был как бы двусторонний ум, одной стороной обращенный к людям, другой – к богу, и он делил свое время между изучением и созерцанием. По целым дням трудился он над социальными проблемами: заработная плата, капитал, кредит, брак, религия, свобода мысли, свобода любви, воспитание, карательная система, собственность, формы ассоциаций, производство, распределение – вот что составляло предмет его углубленных занятий. Он пытался разгадать загадку общественных низов, отбрасывающую тень на весь человеческий муравейник; а по вечерам следил громады ночных светил. Как и Анжольрас, он был единственным сыном богатых родителей. Он говорил всегда тихо, ходил опустив голову и потупя взор, улыбался смущенно, одевался плохо, казался неуклюжим, краснел по всякому поводу, был до крайности застенчив и при всем том неустрашимо храбр.

Фейи был рабочим-веерщиком и круглым сиротой. С трудом зарабатывая три франка в

день, он имел одну заветную мечту – освободить мир. Впрочем, была у него еще и другая забота – стать образованным, что на его языке означало также стать свободным. Он без всякой посторонней помощи выучился грамоте и все свои знания приобрел самоучкой. Фейи был человек большого сердца, всегда готовый широко раскрыть миру свои объятия. Будучи сам сиротой, Фейи усыновил целые народы. Лишенный матери, он обратил все свои помыслы к родине. Он хотел, чтобы на земле не оставалось ни одного человека, не имеющего отчизны. С глубокой проницательностью выходца из народа он собственным умом дошел до того, что мы зовем теперь «идеей самосознания наций». Именно затем, чтобы негодовать с полным знанием дела, он и изучал историю. В кружке этих юных утопистов, занимавшихся преимущественно Францией, он один представлял интересы чужеземных стран. Его излюбленной темой являлись Греция, Польша, Венгрия, Румыния и Италия. Он без конца, кстати и некстати, говорил о них с настойчивостью, продиктованной сознанием права на это. Захват Греции и Фессалии Турцией, Варшавы – Россией, Венеции – Австрией – все эти акты насилия приводили его в сильнейшее раздражение. Но особенно возмущал его неслыханный грабеж, совершенный в 1772 году. Искреннее негодование – лучший вид красноречия; именно такое красноречие и было ему свойственно. Снова и снова возвращался он к 1772 году, к этой позорной дате, к благородному и отважному народу, так изменнически лишенному независимости, к совместному преступлению троих, к чудовищной ловушке, ставшей прототипом и образцом всех ужасных разгромов, которым подвергся с тех пор ряд благородных наций, потерявших вследствие этого, так сказать, свое право на существование. Все наблюдаемые в наши дни покушения на государственную самостоятельность ведут начало от раздела Польши. Раздел Польши – теорема, а все современные политические злодеяния – ее выводы. В течение почти всего последнего века не было тирана и изменника, который не поспешил бы признать, подтвердить, скрепить своей подписью, парафировать *ne varietur*^[104] раздела Польши. В списке предательств новейшего времени это предательство стоит первым. Венский конгресс ознакомился с этим преступлением прежде, чем совершил свое собственное. В 1772 году трубят сбор, в 1815-м – делят добычу. Таково было содержание речей Фейи. Этот бедняк-рабочий взял на себя роль заступника справедливости, а она наградила его за это величием. В праве заложено бессмертное начало. Варшава равно не может оставаться татарской, как и Венеция – немецкой. Бороться с этим напрасный труд и потеря чести для королей. Рано или поздно страна, пущенная ко дну, всплывает и снова появляется на поверхности. Греция вновь становится Грецией, Италия – Италией. Протест права против актов насилия никогда не смолкает. Кража целого народа не прощается за давностью. Плоды таких крупных мошенничеств недолговечны. С нации нельзя спороть метку, как с носового платка.

У Курфейрака был отец, которого все звали г-н де Курфейрак. К числу многих превратных понятий, которые составила себе буржуазия эпохи Реставрации об аристократизме и благородстве происхождения, принадлежит и вера в частичку «де». Частичка эта, как известно, не имеет ровно никакого значения. Однако буржуазия времен «Минервы» так высоко расценивала это ничтожное «де», что почитала за долг отказываться от него. Г-н де Шовелен стал именоваться г-ном Шовеленом, г-н де Комартен – г-ном Комартеном, г-н де Констан де Ребек – Бенжаменом Констаном, а г-н де Лафайет – г-ном Лафайетом. Курфейрак, не желая отставать от других, также называл себя просто Курфейраком.

На этом мы могли бы, пожалуй, прервать дальнейший рассказ о Курфейраке, ограничившись в отношении всего остального ссылкой: Курфейрак – см. Толомьес.

Курфейрак и на самом деле был весь полон того молодого задора, который можно было бы назвать пылом молодости. Позднее это исчезает, как грациозность котенка, и очаровательное наше создание превращается в конечном счете: двуногое – в буржуа, а четвероногое – в кота.

Такого рода душевный склад сохраняется в студенческой среде из поколения в поколение, переходит от молодежи старого к молодежи нового призыва, и его передают из рук в руки, quasi cursores^[105], почти совсем не измененным. Вот почему, как мы уже сказали, всякий, кому довелось бы услышать Курфейрака в 1828 году, мог бы подумать, что слышит Толомьеса в 1817 году. Только Курфейрак был честным малым. Несмотря на все кажущееся внешнее сходство их характеров, между ним и Толомьесом было большое различие. То, что составляло их человеческую сущность, было у каждого совсем иным. В Толомьесе сидел прокурор, в Курфейраке таился рыцарь.

Если Анжольрас был вождем, Комбефер – вожаком, то Курфейрак представлял собой центр притяжения. Другие давали больше света, он – больше тепла, обладая действительно необходимым для центральной фигуры качеством: открытым, приветливым характером.

Баорель принимал участие в кровавых беспорядках, происходивших в июне 1822 года, в связи с похоронами юного Лалемана.

Баорель был хороший малый, славившийся дурным поведением, транжира, мот, болтун и наглец, не лишенный, однако, щедрости, красноречия и смелости, и добряк, каких мало. Он носил жилеты самых нескромных цветов и придерживался самых красных убеждений. Большой руки буян, иными словами – страстный любитель дебоша, предпочитавший его всему на свете, за исключением мятежа, которому, в свою очередь, предпочитал революцию, он всегда был готов для начала побить стекла, затем разворотить мостовую, а закончить низвержением правительства, любопытствуя, что же получится. Он одиннадцатый год числился студентом, но и не нюхал юриспруденции, не обременяя себя учением. Он избрал себе девизом: «Адвокатом не буду», а гербом – ночной столик с засунутым в него судейским беретом. Всякий раз, когда ему случалось проходить мимо здания юридического факультета, что бывало крайне редко, он наглухо застегивал свой редингот – до пальто в ту пору еще не додумались – и принимал разные гигиенические меры предосторожности. О портале здания факультета он говорил: «Ну и красавец-старик!», а о декане факультета г-не Дельвенкуре: «Ну и монумент!» Лекции, которые он посещал, служили ему темой для веселых песенок, а профессора, которых слушал, – сюжетом для карикатур. Он проживал, палец о палец не ударяя, довольно порядочный пенсioen, что-то около трех тысяч франков. Родители его были крестьяне, и ему удалось внушить им почтение к собственному сыну.

Он говорил про них: «Они у меня деревенские, не городские, а потому и умные».

Человек непостоянный, Баорель слонялся по разным кафе; другие обзаводятся привычками, у него их не было. Он вечно фланировал. Желание побродить свойственно всем людям, желание фланировать – одним парижанам. А в сущности, Баорель был гораздо более прозорливым и вдумчивым, чем казалось на вид.

Он служил связью между Друзьями азбуки и некоторыми другими, к тому времени еще не совсем сложившимися кружками, которым предстояло, однако, в дальнейшем получить более четкую форму.

В нашем конклаве молодежи имелся один лысый сочлен.

Маркиз д'Аваре, возведенный Людовиком XVIII в герцоги за то, что он подсадил короля в наемный кабриолет в день, когда тот бежал из Франции, рассказывал, что в 1814 году, по возвращении из эмиграции, не успел король вступить на берег Кале, как какой-то неизвестный подал ему прошение. «О чем вы просите?» – спросил король. «О месте смотрителя почтовой конторы, ваше величество». – «Как вас зовут?» – «Л'Эгль».

Король нахмурился, но, взглянув на стоящую на прошении подпись, увидел, что фамилия писалась не Л'Эгль, а Легль^[106]. Такое отнюдь не бонапартистское правописание приятно тронуло короля. Он улыбнулся. «Ваше величество, – продолжал проситель, – мой предок был

псарь, по прозвищу Легель, от этого прозвища произошла наша фамилия. По-настоящему я зовусь Легель, сокращенно – Легль, а искаженно – л’Эгль». Тут король перестал улыбаться. Впоследствии, намеренно или по ошибке, он дал все же просителю почтовую контору в Мо.

Лысый член кружка был сыном этого л’Эгля, или Легля, и подписывался Легль (из Мо). Товарищи звали его для краткости Боссюэ.

Боссюэ был веселым, но несчастливым парнем. Неудачником по специальности. Зато он ничего и не принимал близко к сердцу. В двадцать пять лет он успел уже облысеть. Отец его сумел в конце концов нажить и дом, и землю, а сын, впутавшись в какую-то аферу, поторопился потерять и эту землю, и этот дом. У него не осталось никаких средств. Он был и учен, и умен, но ему не везло. Ничто ему не удавалось. Что бы он ни замыслил, что бы ни затеял – все оказывалось обманом и оборачивалось против него. Если он колет дрова, то непременно поранит палец. Если обзаведется подругой, то непременно вскоре обнаружит, что обзавелся и дружкой. Неприятности подкарауливали его на каждом шагу, но он не унывал. Он говорил про себя, что ему «на голову со всех крыш валятся черепицы». Спокойно, как должное, ибо неудачи являлись для него делом привычным, встречал он удары судьбы и посмеивался над вздорными ее выходками, как человек, понимающий шутку. Денег у него не водилось, зато не переводилось веселье. Ему случалось частенько терять все до последнего су, но ни при каких обстоятельствах не терял он способности смеяться. Когда к нему заявлялась беда, он дружески приветствовал ее как старую знакомую и похлопывал невзгоды по плечу. Он так сжился с лихой своей долей, что, обращаясь к ней, называл ее уменьшительным именем и говорил: «Добро пожаловать, Горюшко!»

Преследования судьбы развили в нем изобретательность. Он был очень находчив. И хотя постоянно сидел без гроша, тем не менее всегда изыскивал способы, ежели приходила охота, производить «безумные траты». В одну прекрасную ночь он дошел до того, что проел «целых сто франков», ужиная с какой-то вертихвосткой. Это вдохновило его на следующие, произнесенные в разгаре пиршества слова: «Эй ты, сотенная девица, стащи-ка с меня сапоги».

Боссюэ не торопился овладеть адвокатской профессией. Он проходил юридические науки на манер Баореля. Постоянного жилища у него не было, а подчас не бывало и вовсе никакого. Он жил то у одного, то у другого из приятелей. Чаще же всего у Жоли. Жоли изучал медицину и был на два года моложе Боссюэ.

Жоли представлял собой законченный тип мнимого больного, но из молодых. В результате занятий медициной он не столько сделался врачом, сколько сам превратился в больного. В двадцать три года он находил у себя всевозможные болезни и по целым дням рассматривал в зеркале свой язык. Он утверждал, что человек может намагничиваться совершенно так же, как магнитная стрелка, и ставил на ночь свою кровать изголовьем на юг, а ногами на север, чтобы, под влиянием магнитных сил Земли, кровообращение его не нарушалось во сне. Во время грозы он всегда щупал себе пульс. Тем не менее это был самый веселый из всех друзей. Такие, казалось бы, несовместимые свойства, как молодость и доходящая до мании мнительность, вялость и жизнерадостность, прекрасно уживались в нем, и в итоге получалось эксцентричное, но премилое создание, которое его товарищи, щедрые на крылатые созвучия, называли «Жоллли». «Смотри, не улети на своих четырех «л», – шутил Жан Прувер^[107].

Жоли имел привычку дотрагиваться набалдашником трости до кончика носа, что всегда служит признаком проницательного ума.

Всех этих молодых людей, столь меж собою не схожих, объединяла общая вера в Прогресс, и в конечном счете они заслуживали полного уважения.

Все они были родными сынами Французской революции. Самый легкомысленный из них становился серьезным, произнося: «Восемьдесят девятый год». Их отцы по плоти могли в

прошлом, и даже в настоящем, принадлежать к фельянам, роялистам, доктринерам. Это не имело значения; им, молодежи, не было ровно никакого дела до всей неразберихи, царившей до них; в их жилах текла чистейшая кровь, облагороженная самыми высокими принципами, и они без колебаний и сомнений исповедовали религию неподкупного права и непреклонного долга.

Организовав братство посвященных, они начали втайне готовить осуществление своих идеалов.

Между этими людьми пылкого сердца и убежденного разума был и один скептик. Как попал он в их среду? Он появился как нарост на ней. Скептика этого звали Грантэром, и он имел обыкновение подписываться ребусом, ставя вместо фамилии букву Р [\[108\]](#). Это был человек, отказывавшийся во что-либо верить. Впрочем, он принадлежал к числу студентов, приобретавших за время прохождения курса в Париже обширнейшие познания. Так, он твердо усвоил, что кафе «Лемблен» славится наилучшим кофе, кафе «Вольтер» – наилучшим бильярдом, а «Эрмитаж» на бульваре Мен – прекрасными оладьями и преприятнейшими девицами, что у тетюшки Саге великолепно жарят цыплят, у Кюветной заставы подают чудесную рыбу по-флотски, а у заставы Боев можно получить недурное белое вино. Словом, он знал все хорошие местечки. Кроме того, был тонким знатоком правил ножной борьбы, опытным фехтовальщиком и умел немного танцевать, а ко всему прочему – не дурак выпить. Он был невероятно безобразен. Ирма Буаси, самая хорошенькая из сапожных мастериц того времени, негодуя на его уродство, изрекла следующую сентенцию: «Грантэр, – заявила она, – есть нечто недопустимое». Однако ничто не могло поколебать самовлюбленного Грантэра. Ни одна женщина не ускользала от его пристального и нежного взора; всем своим видом он словно говорил: «Захоти я только!» – и всячески старался уверить товарищей, что у женщин он просто нарасхват.

Такие слова, как: права народа, права человека, общественный договор, Французская революция, республика, демократия, человечество, цивилизация, религия, прогресс – представлялись Грантэру чуть ли не бессмыслицей. Он посмеивался над ними. Скептицизм, эта костоеда ума, не оставил ему ни одной нетронутой мысли. Ко всему на свете относился он иронически. Любимый афоризм его гласил: «В жизни достоверно только одно – стакан, наполненный вином». Он глумился над всякой самоотверженностью, кто бы ни являл пример ее: брат или отец, Робеспьер ли младший, или Луазероль. «Да ведь они на своей смерти немало выиграли!» – восклицал он. Распятие на его языке называлось «виселицей, которой здорово повезло». Бабник, игрок, гуляка, то и дело пьяный, он вечно напевал себе под нос: «Люблю красоток я да доброе вино» на мотив «Да здравствует Генрих IV», чем очень досаждал нашим юным мечтателям.

Впрочем, и у этого скептика имелся предмет фанатического увлечения. Им не являлась ни идея, ни догма, ни наука, ни искусство, им являлся человек, а именно – Анжольрас. Грантэр восхищался им, любил его и благоговел перед ним. К кому же в этой фаланге людей непреклонных убеждений примкнул сей во всем сомневающийся анархист? К самому непреклонному из всех. Чем же покорило его Анжольрас? Своими воззрениями? Нет. Своим характером. Подобные случаи наблюдаются часто. Тяготение скептика к верующему так же в порядке вещей, как существование закона взаимодополняемости цветов. Нас всегда влечет то, чего недостает нам самим. Никто не любит дневной свет более слепца. Рослый полковой барабанщик – кумир карлицы. У жабы глаза всегда подняты к небу. Зачем? Затем, чтобы видеть, как летают птицы. Грантэру, в котором копошились сомнения, доставляло радость видеть, как в Анжольрасе парит вера. Анжольрас был ему необходим. Он не отдавал себе в том ясного отчета и не доискивался причин, но целомудренная, здоровая, стойкая, прямая, суровая, искренняя натура Анжольраса пленяла его. Он инстинктивно восхищался им, как своей

противоположностью. В нравственной своей дряблости, неустойчивости, расхлябанности, болезненности и изломанности он цеплялся за Анжольраса, как за человека с крепким душевным костяком. Лишенный морального стержня, Грантэр искал опоры в стойкости Анжольраса. Рядом с ним и он становился некоторым образом личностью. Нужно сказать также, что сам он представлял собою сочетание двух, казалось бы, несовместимых элементов. Он был насмешлив и вместе с тем сердечен. При всем своем равнодушии он умел любить. Ум его обходился без веры, но сердце не могло обойтись без привязанности. Факт глубоко противоречивый, ибо привязанность – та же вера. Такова была его натура. Есть люди, как бы рожденные служить изнанкой, оборотной стороной другого. К ним принадлежат Поллуксы, Патроклы, Низусы, Эвдамидасы, Гефестионы, Пехмейи. Они могут жить, лишь прислонившись к кому-нибудь; их имена – только продолжение чужих имен и пишутся всегда с союзом «и» впереди; у них нет собственной жизни, она – только изнанка чужой судьбы. Грантэр был одним из таких людей. Он представлял собою оборотную сторону Анжольраса.

Можно, пожалуй, сказать, что в самих буквах алфавита заложено начало такой близости. В алфавите О и П неразрывны, и вы можете на выбор сказать: О и П или Орест и Пилад.

Грантэр, подлинный сателлит Анжольраса, дневал и ночевал в кружке молодежи. Там он жил, там только чувствовал себя хорошо и не отставал от молодых людей ни на шаг. И не было для него радости большей, чем следить, как в винном тумане перед ним мелькают их силуэты. самого же его терпели за покладистый нрав.

Верующий и трезвенник, Анжольрас презирал этого скептика и пьяницу. Он снисходительно уделял ему немного жалости. Грантэр оставался на положении непризнанного Пилада. Вечно терпя от суровости Анжольраса, грубо отталкиваемый и отвергаемый, он неизменно возвращался к нему, говоря про Анжольраса: «Что за кремень человек!»

Глава 2

Надгробное слово Боссюэ профессору Блондо

Однажды, в тот час, когда уже перевалило за полдень и, как увидят ниже, почти одновременно с описанными выше событиями, Легль из Мо стоял у кафе «Мюзен», томно прислонившись к дверному косяку. Он напоминал отдыхающую кариатиду и нес единственный груз – груз собственных мыслей. Взор его был устремлен на площадь Сен-Мишель. Стоять прислонившись к чему-нибудь – это один из способов, оставаясь на ногах, чувствовать себя развалившимся в постели. Мечтатели отнюдь этим не пренебрегают. Легль из Мо раздумывал, без всякой, впрочем, грусти, над маленькой неприятностью, приключившейся с ним два дня назад на юридическом факультете и спутавшей и без того достаточно неясные его планы на будущее.

Наши мечты не могут помешать кабриолету ехать своим путем, а нам, мечтателям, – обратить на него внимание. Легль из Мо, рассеянно поглядывая по сторонам, несмотря на полудремотное свое состояние, вдруг заметил тащившуюся по площади двуколку, еле-еле и как бы нерешительно продвигавшуюся вперед. Зачем ее сюда занесло? И почему она так медленно едет? Легль заглянул внутрь. Там, рядом с извозчиком, сидел молодой человек, а подле молодого человека лежал довольно большой дорожный мешок. К мешку была пришта карточка, и на ней бросалось в глаза написанное жирными черными буквами имя: *Мариус Понмерси*.

Это имя заставило Легля изменить позу. Он выпрямился и заорал, обращаясь к молодому человеку, сидевшему в двуколке:

– Господин Мариус Понмерси!

Двуколка остановилась на оклик.

Молодой человек, по-видимому также пребывавший в глубокой задумчивости, вскинул глаза.

– Что? – произнес он.

– Не вы ли будете господин Мариус Понмерси?

– Да, это я.

– Я вас разыскиваю, – сказал Легль из Мо.

– Как так? – удивился Мариус; ибо это был и на самом деле ехавший от деда Мариус, а стоявшего перед ним человека он видел впервые в жизни. – Я вас не знаю.

– И я вас не знаю, – отвечал Легль.

Мариус решил, что напал на шутника, которому вздумалось морочить его среди бела дня. В эту минуту ему было совсем не до шуток. Он насупил брови. Но Легль из Мо невозмутимо продолжал:

– Вас не было позавчера на лекциях.

– Возможно.

– Не возможно, а совершенно точно.

– Вы студент? – спросил Мариус.

– Как и вы, сударь. Позавчера я случайно забежал в университет. Иной раз взбредет вдруг, понимаете, такая странная фантазия. Профессор только что приступил к перекличке. Вид у него при этом, сами знаете, пренелепый. Ежели вы на трехкратный вызов не отзоветесь, вас вычеркивают из списка, и плакали ваши шестьдесят франков.

Мариус стал слушать внимательнее. А Легль рассказывал дальше:

– Перекличку делал Блондо. У него, как вам известно, очень острый и тонкий нюх. Блондо с наслаждением ищет отсутствующих. Он начал коварно с буквы П. Я не слушал, ибо не имею отношения к этой букве. Перекличка шла неплохо. Весь народ налицо, вычеркивать некого. Блондо сидел грустный, а я думал про себя: «Видно, не придется тебе, голубчик Блондо, нынче чинить расправу». Вдруг он вызывает: «Мариус Понмерси». Никто не отзывается. Блондо, окрыленный надеждой, повторяет громче: «Мариус Понмерси!» – и уже берется за перо. Поверьте, сударь, я не бездушная скотина. Я тотчас сказал себе: «Эх, славного малого хотят тут вычеркнуть. Пойдите! Кто неаккуратен, тот и есть настоящий человек. Это вам не какой-нибудь первый ученик. Не зубрила, просиживающий над книжками штаны, не желторотый мальчишка, напичканный ученостью, задирающий нос, натасканный в науках, литературе, теологии и всякой прочей премудрости, не безмозглый фат и бездарность. Это почтенный лентяй и фланер, любитель загородных прогулок, друг-приятель гризеток, волокита, быть может, в сей самый миг посиживающий у моей же возлюбленной. Его надо спасти. Смерть Блондо!» В эту минуту Блондо обмакивает в чернила свое грязное от вымарок перо, окидывает хищным взором аудиторию и повторяет в третий раз: «Мариус Понмерси!» «Здесь!» – ответил я. Вот потому-то вас и не вычеркнули.

– Позвольте, сударь... – начал было Мариус.

– А вычеркнули меня, – закончил Легль из Мо.

– Я вас не понимаю, – сказал Мариус.

– А дело очень простое, – принялся объяснять Легль. – Чтобы ответить, я подошел к кафедре, потом поспешил к двери, чтобы удрать. Профессор же уставился на меня и не спускал глаз. Вдруг Блондо, – он, видно, из той самой породы людей с верхним чутьем, о которой говорит Буало, – перескакивает на букву Л. Л – это моя буква. Родом я из Мо, а фамилия моя Легль.

– Л'Эгль. Какое прекрасное имя! – прервал его Мариус.

– Ну так вот. Блондо доходит до этого прекрасного имени и выкрикивает: «Легль!» – «Здесь!» – отвечаю я. Блондо глядит на меня с кротостью тигра и произносит улыбаясь: «Ежели вы Понмерси, стало быть, не Легль». Фраза, как будто и не совсем учитывая по отношению к вам, имела, однако, зловещий смысл только для меня. Произнеся ее, он меня вычеркнул.

– Я глубоко огорчен, сударь! – воскликнул Мариус.

– Прежде всего, – прервал его Легль, – я прошу разрешения почтить Блондо несколькими прочувствованными словами. Допустим, что он умер. От этого вряд ли бы он стал намного худее, бледнее, холоднее, неподвижнее и зловоннее. И вот я говорю: «Erudimini qui judicatis terram»^[109]. Здесь покоится Блондо, Блондо Носатый, Блондо Nasica, вол дисциплины – bos disciplinae, цепной пес списков, гений перекличек. Был он прямолинеен, туп, пунктуален, непреклонен, неподкупен и отвратителен. Господь бог вычеркнул его из числа живых, как он меня – из числа студентов.

– Я крайне опечален... – начал было снова Мариус.

– Да послужит вам это уроком, молодой человек, – сказал Легль из Мо. – Впредь будьте аккуратнее.

– Примите самые искренние мои сожаления.

– Впредь ведите себя так, чтобы ближних ваших не вычеркивали из списков.

– Я просто в отчаянии...

Легль расхохотался.

– А я просто в восторге. Я чуть было не докатился до адвокатского звания. Это исключение меня спасает. Я отказываюсь от адвокатских лавров. Мне не придется ни защищать вдовиц, ни обижать сирот. Не нужно будет мне ни облекаться в мантию, ни проходить практики. Наконец-то добился я исключения. И этим я обязан вам, господин Понмерси. А посему имею в мыслях торжественно нанести вам благодарственный визит. Где вы живете?

– В этом кабриолете, – ответил Мариус.

– Значит, вы богаты, – не моргнув глазом, подхватил Легль. – Очень рад за вас. Такая квартира должна стоять по меньшей мере девять тысяч франков в год.

В этот момент из кафе вышел Курфейрак.

Мариус печально улыбнулся:

– Я нахожусь на этой квартире два часа и не дождусь, когда с нее съеду. Но вот какая история – мне некуда деваться.

– Поедьте ко мне, сударь, – сказал Курфейрак.

– Первенство, собственно говоря, принадлежит мне, – заметил Легль, – но беда в том, что у меня у самого нет дома.

– Замолчи, Боссюэ, – оборвал его Курфейрак.

– Боссюэ? – с недоумением повторил Мариус. – А я полагал, что фамилия ваша Легль.

– Из Мо, – ответил Легль, – иносказательно же Боссюэ.

Курфейрак сел в кабриолет.

– Гостиница Порт-Сен-Жак, – приказал он извозчику.

И в тот же вечер Мариус поселился в одной из комнат гостиницы Порт-Сен-Жак, бок о бок с Курфейраком.

Глава 3

Мариус все больше изумляется

Не прошло и нескольких дней, как Мариус уже подружился с Курфейраком. Юность – пора

стремительных сближений и быстрого рубцевания ран. В обществе Курфейрака Мариусу легко дышалось – ощущение, ранее ему не знакомое. Курфейрак ни о чем его не расспрашивал. Ему это и в голову не приходило. В таком возрасте все сразу узнается по лицу. Слова излишни. Про физиономию иного юнца так и хочется сказать, что она у него сама все выкладывает. Для взаимного понимания им достаточно взглянуть друг на друга.

Тем не менее однажды утром Курфейрак вдруг неожиданно спросил Мариуса:

– Кстати, скажите, есть ли у вас какие-либо политические убеждения?

– Ну разумеется, – ответил Мариус, несколько даже обиженный вопросом.

– Кто же вы?

– Демократ-бонапартист.

– Окраска в достаточной мере серая, – заметил Курфейрак.

На следующий день Курфейрак взял Мариуса с собой в кафе «Мюзен». Там он с улыбкой шепнул ему на ухо: «Надо помочь вам вступить в революцию» – и провел Мариуса в комнату Друзей азбуки. Затем он представил его товарищам, добавив вполголоса: «Ученик». Мариус не понял, что хотел он сказать этим немудреным словом.

Очутившись здесь, Мариус попал в осиное гнездо остроумия. Впрочем, несмотря на молчаливость и серьезность, он и сам принадлежал к той же крылатой и жалоносной породе.

Мариусу, который вел до тех пор уединенный образ жизни, и в силу привычки и по натуре склонному к монологам и разговорам с самим собою, было как-то не по себе среди обступившей его толпы молодежи. Ее кипучая, брызжущая энергия одновременно и привлекала, и раздражала его. От водоворота идей, рождаемого этими вольными, неугомонно ищущими умами, мысли кружились у него в голове. И в эти минуты его душевного смятения они порой так разбегались, что он лишь с трудом собирал их. Он слышал вокруг неожиданные для него суждения о философии, литературе, искусстве, истории, религии, знакомился с самыми необычайными взглядами. А поскольку он воспринимал их вне всякой перспективы, то не был уверен, не хаос ли просто все это. Отрекшись от убеждений деда ради убеждений отца, Мариус полагал, что приобрел устойчивое мирозерцание; полный тревоги, не смея и самому себе в том признаться, начал он подозревать теперь, что это не так. Угол его зрения снова стал перемещаться. Под действием каких-то равномерно повторяющихся толчков умственный горизонт его был приведен в колебание. Это было состояние странной внутренней ломки. Оно почти причиняло ему страдание.

Для этих молодых людей, казалось, не существовало «ничего святого». По любому поводу Мариус мог услышать самые поразительные речи, смущавшие его робкий еще ум.

Вот на глаза попала театральная афиша с названием трагедии старого, так называемого классического, репертуара. «Долой трагедию, любезную сердцу буржуа!» – кричит Баорель, и Мариус уже слышит, как возражает ему Комбефер:

– Ты заблуждаешься, Баорель. Буржуазия любит трагедию, и пускай себе любит, оставим в данном случае буржуазию в покое. Трагедия, разыгрываемая в париках, имеет свое право на существование. И я не разделяю мнения тех, кто во имя Эсхила оспаривает у нее это право. В самой природе встречаются образцы топорной работы, и среди ее творений есть готовые пародии: клюв – не клюв, крылья – не крылья, плавники – не плавники, лапы – не лапы, крик жалобный, но вызывающий смех, – вот вам утка. И поскольку рядом с вольной птицей существует еще домашняя птица, я не вижу оснований, почему бы подле античной трагедии не существовать трагедии классицистов?

В другой раз, проходя случайно вместе с Анжольрасом и Курфейраком по улице Жан-Жака Руссо, Мариус стал свидетелем следующей беседы.

– Обратите внимание, – сказал Курфейрак, беря его под руку, – мы находимся на

Штукатурной улице, которая именуется ныне улицей Жан-Жака Руссо по той причине, что лет шестьдесят назад здесь проживала забавная парочка: Жан-Жак со своей Терезой. Время от времени тут рождались маленькие существа. Тереза производила на свет божий детей, а Жан-Жак – подкидышей.

Но тут Курфейрака резко оборвал Анжольрас:

– Не оскверняйте памяти Жан-Жака! Я преклоняюсь пред этим человеком. Пусть он отрекся от своих детей, но он взял в сыновья себе народ.

Никто из наших молодых людей не употреблял слова «император». Один только Жан Прувер иногда еще говорил «Наполеон», все остальные называли его Бонапартом, а Анжольрас выговаривал даже *Буонапарте*.

Все это вызывало в Мариусе смутное чувство изумления. То было: *initium sapientiae*^[110].

Глава 4

Заднее помещение кафе «Мюзен»

Один разговор между нашими молодыми людьми, при котором присутствовал Мариус и в который изредка вставлял слово, произвел на него поистине потрясающее впечатление.

Дело происходило в заднем помещении кафе «Мюзен». В тот вечер почти все Друзья азбуки были в сборе. По-праздничному горел кенкет. Говорили о том о сем шумно, но без особого увлечения. За исключением Анжольраса и Мариуса, которые хранили молчание, каждый разглагольствовал о чем придется. Товарищеские беседы принимают иногда такую форму мирной бестолковой болтовни. Это был не столько разговор, сколько игра, словесная неразбериха. Перебрасывались словами, подхватывали их на лету. Говор слышался во всех углах.

Ни одна женщина не допускалась в заднее помещение кафе, кроме Луизон, судомойки, время от времени проходившей здесь, направляясь из комнаты, где мылась посуда, в «лабораторию» кабачка.

Грантэр, сильно навеселе, забрался в угол и выкрикивал оттуда всякую чепуху, оглушая окружающих.

– Жажда томит меня, о смертные, – орал он, – мне приснился сон, будто с гейдельбергской бочкой случился удар, будто ей поставили дюжину пиявок и будто одна из них – я. Мне хочется выпить. Мне хочется забыться. Жизнь – кто ее только выдумал! – прегнусная штука. И длится она минуту, и цена ей грош. Станешь жить – непременно сломаешь себе на этом деле шею. Жизнь – только сцена с декорациями и почти без реквизита. Счастье – старая рама, выкрашенная с одной стороны. Все суета сует, говорит Екклесиаст. Я вполне разделяю мнение милейшего старца, хотя его, быть может, никогда не существовало на свете. Нуль, не желая ходить нагишом, рядится в суету. О суета! Стремление все приукрасить громкими словами. Ты превращаешь кухню в лабораторию, плясуна в учителя танцев, акробата в гимнаста, кулачного бойца в боксера, аптекаря в химика, парикмахера в художника, штукатур в архитектора, жокея в спортсмена, мокрицу в ракообразное из отряда равноногих. У суеты есть изнанка и лицо. С лица она тупа – это негр в своих побрякушках; с изнанки глупа – это философ в своем рубище. Я плачу над первым и смеюсь над вторым. То, что зовется почестями и высоким саном, и даже настоящая честь и слава – подделка под золото. Человеческое тщеславие – игрушка для царей. Калигула сделал консулом коня, Карл Второй возвел в рыцарское достоинство жаркое. А после этого в компании консула Incitatus^[111] и баронета Ростбифа не угодно ли кичиться чинами и орденами! Что же касается внутренних качеств человека, то и они немного стоят. Достаточно

послушать панегирики, какие сосед поет соседу. Белое всегда жестоко к белому. Умей лилия говорить, не поздоровилось бы от нее голубке! Ханжа, которая судит о святоше, ядовитее ехидны и гадюки. Жаль, что я невежда, а не то я привел бы вам кучу примеров, но я ничего не знаю.

Кстати, умом я никогда не был обижен. Когда я учился у Гро, то зря времени не тратил, но проводил его с пользой: картинок не мазал, а таскал яблоки. Что малевать, что воровать – все один черт! Это я о себе. Впрочем, и вам всем цена не выше. Плевать я хотел на все ваши совершенства, достоинства и качества. Любое качество может обернуться недостатком: бережливый – родня скупому, щедрый – брат моту, храбрый – друг бахвала, от смиренных речей всегда отдает лицемерием. В добродетели столько же пороков, сколько дыр в плаще Диогена. Кому дарите вы восторги? Убиенному или убийце? Цезарю или Бруту? Обычно все на стороне убийцы. Да здравствует Брут, он совершил убийство! Вот это и называется добродетелью! Добродетелью – пускай, но и столько же безумством. У великих сих мужей большие странности. Брут, убивший Цезаря, был влюблен в статую мальчика. Статуя эта была изваяна греческим скульптором Стронгилионом, резцу которого принадлежит также фигура амазонки, так называемой Эвкнемозы Прекрасноногой, которую Нерон повсюду возил с собою. От Стронгилиона остались только эти две статуи, послужившие почвой для сближения Брута и Нерона. Брут был влюблен в одну, Нерон – в другую. История – лишь нудная жвачка. Один век бесцеремонно сдирает все у другого. Битва при Маренго – точная копия битвы при Пидне; Толбиак Хлодвиг и Аустерлиц Наполеона похожи как две капли крови. Я не придаю победе никакого значения. Побеждать – глупейшее занятие. Не победить, а убедить – вот что достойно славы. А ну-ка, попробуйте хоть что-нибудь доказать! Но с вас достаточно преуспевать и покорять. Какая посредственность, какое ничтожество! Увы, куда ни глянь, повсюду тщета и низость. Все подчиняется успеху, даже грамматика. «Si volet usus»^[112], говорит Гораций. Вот за что и презираю я род человеческий. А теперь не перейти ли нам от общего к частному? Быть может, вы ждете от меня похвалы народам? С кого же начать нам, разрешите спросить? Не угодно ли с Греции? Афиняне, эти парижане древности, убили Фокиона – здесь невольно напрашивается сравнение с убийством Колиньи – и до такой степени низкопоклонствовали перед тиранами, что Анацефор говорил про Пизистрата, будто «на запах его урины слетаются пчелы». В течение полувека влиятельнейшим лицом в Греции был маленький и тщедушный грамматик Филет, которому приходилось подбивать свою обувь свинцом, чтобы его не унесло ветром. На главной площади Коринфа стояла статуя, изваянная Силанионом и описанная Плинием. Статуя изображала Эпистата. Что же такого великого совершил Эпистат? Он изобрел прием «подножку». Вот в основном и все, что можно сказать о Греции и славе. Пойдем дальше. Кому теперь вознести мне хвалу? Англии или Франции? Франции? За что, не за Париж ли? Но я уже высказал свой взгляд на Афины. Англии? За что? Не за Лондон ли? Но я ненавижу Карфаген. К тому же Лондон не только метрополия роскоши, но и столица нищеты. В одном лишь Чаринг-Кроссе ежегодно умирает от голода до ста человек. Вот он каков, Альбион! Для полноты картины добавлю, что видел однажды англичанку, танцевавшую в венке из роз и в синих очках. Так скорчим же Англии рожу! Однако не означает ли мой отказ от похвалы Джону Булю желание похвалить брата Джонатана? Никоим образом. Сей брат-рабовладелец мне совсем не внушает симпатии. Отнимите у Англии *time is money*^[113], и что останется от Англии? Отнимите у Америки *cotton is king*^[114], и что останется от Америки? У Германии характер лимфатический, у Италии – желчный. Может быть, нам следует восторгаться Россией? Вольтер рассыпал ей похвалы. Впрочем, он рассыпал их и Китаю. Я не отрицаю, что у России есть свои преимущества, и в том числе крепкая деспотическая власть. Но мне жаль деспотов. У них хрупкий организм.

Обезглавленный Алексей, заколотый Петр, один задушенный Павел, другой – затоптанный сапогами, ряд зарезанных Иванов, несколько отравленных Николаев и Василиев – все явно свидетельствует о том, что обстановка во дворце русских императоров вредна для здоровья. Одно явление, наблюдающееся среди всех цивилизованных народов, служит предметом удивления для мыслителей. Я имею в виду войну, ибо война, и война цивилизованная, применяет полностью все виды разбоя, начиная от нападения испанских трабукеров в горных ущельях Жакки и кончая грабежом индейцев-команчей. Ах, бросьте, скажете вы, Европа все-таки лучше Азии! Я не отрицаю, что Азия смехотворна. Однако я не вижу особых оснований вам, о народы Запада, потешаться над далай-ламой, – вам, которые внесли в свои моды и в свой элегантный обиход все нечистоплотные привычки царственных особ – и грязную сорочку королевы Изабеллы и стульчак дофина! Нет, дудки, господа человеки! В Брюсселе больше всего потребляют пива, в Стокгольме – водки, в Мадриде – шоколада, в Амстердаме – можжевельники, в Лондоне – вина, в Константинополе – кофе, в Париже – абсента. Вот вам и все полезные сведения. А вообще говоря, Париж всех их перещеголял. В Париже и тряпичник живет как сибарит; Диогену, наверное, доставило бы не меньшее удовольствие быть тряпичником на площади Мобер, чем философом в Пирее. Запомните также следующее: кабачки тряпичников называются погребками. Самые знаменитые из них «Кастрюля» и «Скотобойня». Итак, о трактиры и кабаки, закусовые и питейные, рестораны и харчевни, распивочные и кофейни, караван-сарай халифов и погребки тряпичников! Сим свидетельствую, что я чревоугодник и столуюсь у Ришара по сорок су за обед и желаю иметь персидские ковры, чтобы завертывать в них нагую Клеопатру. Кстати, где же она, Клеопатра? Ах, это ты, Луизон? Давай поздороваемся.

Так разглагольствовал мертвецки пьяный Грантэр в углу дальней комнаты кафе «Мюзен», задев и проходившую мимо судомойку.

Боссюэ протянул руку, пытаясь заставить его замолчать, но Грантэр еще пуще разошелся.

– Лапы прочь, орел из Мо! Твой жест Гиппократа, отвергающего презренный дар Артаксеркса, ничуть меня не трогает. Я готов избавить тебя от труда и утомиться. Между прочим, мне очень грустно. Что вам еще сказать? Человек дурен, человек безобразен. Бабочка удалась, а человек не вышел. С этим животным господь бог опростоволосился. Толпа – богатейший выбор всяческих уродств. Кого ни возьми – одна дрянь. Женщина прелестна, рифмуется с «бесчестна». Да, разумеется, я болен сплином, осложненным меланхолией и ностальгией, а в придачу ипохондрией, и я злюсь, бешусь, зеваю, скучаю, томлюсь и изнываю. И ну его господа бога к черту!

– Да замолчи же, наконец, «эр» прописное! – прервал его Боссюэ, обсуждавший в эту минуту какой-то юридический казус с воображаемым собеседником и по уши увязший в одной из фраз судейского жаргона, заключительные слова которой гласили:

«...А что до меня, то, будучи еще малоискушенным в юриспруденции и выступая в роли обвинителя не более как любитель, я все же решаюсь утверждать нижеследующее, а именно: что, согласно нормандскому обычному праву, ежегодно в Михайлов день со всех, без всяких изъятий, землевладельцев взимался в пользу сеньора, помимо прочих, еще некий налог как с земельной собственности, так и с земель, переходящих по наследству, спорных, взятых в краткосрочную или долгосрочную аренду, свободных от обложений, сданных и принятых в залог, а равно с земельных купчих и...»

– «Эхо, жалобных нимф голоса», – затянул Грантэр.

По соседству с Грантэром за столиком царила почти гробовая тишина. Лист бумаги, чернильница и перо между двумя рюмками свидетельствовали о том, что здесь сочиняется водевиль. Это серьезное дело обсуждалось вполголоса, и две склоненные в трудах головы касались друг друга.

- Прежде всего надо придумать имена. Раз есть имена, нетрудно будет придумать и сюжет.
- Это верно. Диктуй. Я записываю.
- Господин Доримон.
- Рантье?
- Разумеется.
- Его дочь Целестина...
- ...тина. Дальше?
- Полковник Сенваль.
- Сенваль слишком избито. Лучше Вальсен.

Неподалеку от начинающих водевилистов другая пара, также воспользовавшись шумом, вполголоса обсуждала условия дуэли. Умудренный годами тридцатилетний старец наставлял восемнадцатилетнего юнца, расписывая, с каким противником ему предстоит иметь дело.

– Будьте осторожны, черт побери! Это лихой дуэлист. Работает чисто. Ловко нападает и не даст противнику слукавить. Руку имеет твердую, находчив, сообразителен, удары парирует мастерски, а наносит их математически точно, будь он неладен! И вдобавок еще левша.

В противоположном от Грантэра углу Жоли и Баорель играли в домино и рассуждали о любви.

– Ты настоящий счастливчик, – говорил Жоли. – Твоя возлюбленная только и знает, что смеется.

– И напрасно, – отвечал Баорель, – это с ее стороны большая оплошность. Возлюбленной вовсе не следует вечно смеяться. Это поощряет нас к измене. Видя ее веселой, не чувствуешь раскаяния; а если она печальна, как-то становится совестно.

– Неблагодарный! Так приятно, когда женщина смеется! И никогда-то вы не ссоритесь!

– Ну, на этот счет у нас особый уговор. Заклучая священный наш союз, мы определили друг другу границы, которые никогда не преступаем. То, что на север, отошло к Во, то, что на юг, – к Жексу. Отсюда и нерушимый мир.

– Мир – это спокойно перевариваемое счастье.

– А что слышно у тебя, Жол-л-л-ли? Как твоя ссора с мамзель? Ты знаешь, кого я имею в виду?

– Да она все дуется на меня, жестоко и упорно.

– Казалось бы, такой тощий возлюбленный, как ты, уже одной своей худобой должен был ее разжалобить.

– Увы!

– На твоём месте я бы с ней распрощался.

– Это легко сказать.

– Не труднее, чем сделать. Если не ошибаюсь, ее зовут Мюзикетта?

– Да. Ах, дружище Баорель, что это за прелестная девушка, и какая начитанная! Ножка маленькая, ручка маленькая. Всегда мило одета, беленькая, пухленькая, а глазки, ну просто колдовские. Я от нее без ума!

– В таком случае надо постараться ей понравиться. Надо принарядиться. Купил бы ты себе у Штауба добротные шерстяные панталоны. Это действует.

– А надолго ли? – крикнул Грантэр.

В третьем углу шел жаркий спор о поэзии. Драка разгоралась между языческой и христианской мифологией. Вопрос касался Олимпа, защитником которого, уже в силу своих симпатий к романтизму, выступал Жан Прувер. Последний бывал застенчив только в спокойном состоянии духа. Стоило ему прийти в возбуждение, как у него развязывался язык, появлялся какой-то задор, и он становился насмешлив и одновременно лиричен.

– Не будем оскорблять богов, – взывал он. – Быть может, боги еще живы. Мне лично Юпитер вовсе не кажется мертвым. По-вашему, боги – это только мечты. Однако и теперь, когда эти мечты рассеялись, в природе по-прежнему находишь все великие мифы языческой древности. Какая-нибудь гора, ну хотя бы Виньмаль, очертаниями своими напоминающая крепость, для меня, как и встарь, – головной убор Кибелы; вы ничем мне не докажете, что Пан не приходит по ночам дуть в дуплистые стволы ив, поочередно перебирая пальцами дырочки; и я всегда был убежден, что образование водопада Писваш не обошлось без некоего участия Ио.

Наконец, в последнем углу говорили о политике. Бранили королевскую хартию. Комбефер вяло защищал ее, а Курфейрак яростно нападал на нее. На столе лежал злополучный экземпляр хартии знаменитого издания Туке. Курфейрак, схватив листок и потрясая им в воздухе, подкреплял свои аргументы шелестом бумаги.

– Во-первых, я вообще против всяких королей, – заверял он. – Уже из одних соображений экономического порядка я считаю их излишними: король всегда паразит. Короля нельзя иметь даром. Послушайте только, во что обходятся короли. После смерти Франциска Первого государственный долг Франции достигал тридцати тысяч ливров ренты; после смерти Людовика Четырнадцатого он возрос до двух миллиардов шестисот миллионов, считая стоимость марки в двадцать восемь ливров, что, по словам Демаре, равнялось бы в тысяча семьсот шестидесятом году четырем миллиардам пятистам миллионам, а в наши дни составляло бы двенадцать миллиардов. Во-вторых, не в обиду будь сказано Комбеферу, королевские хартии плохие проводники прогресса. Говорят, что конституционные фикции нужны для того, чтобы облегчить поворот к новому, сделать переход менее резким, ослабить удар, дать нации незаметно пройти путь от монархии к демократии. Эти аргументы никуда не годятся! Нет, нет и нет! Никогда не следует показывать народу факты в ложном свете. Самые лучшие принципы блекнут и вянут в ваших конституционных подвалах. Никаких половинчатых решений. Никаких компромиссов. Никаких всемиловейших, дарованных народу вольностей. Во всех таких вольностях всегда наличествует какой-нибудь параграф четырнадцатый. Одной рукой дается, другой отнимается. Нет, я решительно против вашей хартии. Хартия – маска, под которой скрывается ложь. Народ, принимающий хартию, отрекается от своих прав. Право есть право лишь до тех пор, пока оно остается целостным. Нет! Никаких хартий!

Дело происходило зимой; два полена потрескивали в камине. Соблазн был велик, и Курфейрак не устоял. Скомкав в кулаке несчастную хартию Туке, он бросил ее в огонь. Бумага запылала. Комбефер с философским спокойствием глядел, как горело лучшее детище Людовика XVIII, и ограничился одной только фразой:

– Метаморфоза совершилась – хартия превращена в пламя.

А над всем этим здесь царил то, что у французов именуется оживлением, а у англичан – юмором. Насмешки, шутки, остроты, парадоксы и пошлости, трезвые мысли и глупости, шальные ракеты вопросов и ответов, поднимаясь сразу со всех концов комнаты, создавали впечатление какой-то веселой перестрелки, которая шла поверх голов присутствующих.

Глава 5

Расширение кругозора

В столкновении юных умов чудесно то, что никогда нельзя предвидеть, блеснет ли искра, или засверкает молния. Что возникнет через минуту? Никто не знает. Трогательное может встретить взрыв смеха, а смешное – заставить серьезно задуматься. Первое попавшееся слово служит толчком. В таких беседах все капризы законны. Простая шутка открывает неожиданный простор мысли. Стремительный переход от темы к теме, внезапно меняющий всю перспективу,

составляет отличительную черту подобных разговоров. Их двигатель – случайность.

Глубокая мысль, непонятно как родившаяся среди словесной трескотни, вдруг прорвалась сквозь гущу беспорядочных речей спорящих между собою Грантэра, Баореля, Прувера, Боссюэ, Комбефера и Курфейрака.

Как появляется иная фраза в диалоге? Почему вдруг, без всякого внешнего повода, останавливает она на себе внимание слушателей? Мы уже сказали, что это никому не известно. Посреди шума и гама Боссюэ вдруг неожиданно заключил какое-то возражение Комбеферу упоминанием даты:

– Восемнадцатого июня тысяча восемьсот пятнадцатого года, Ватерлоо.

Мариус сидел за стаканом воды, облокотившись на стол; при слове «Ватерлоо» он отнял руку от подбородка и принялся внимательно следить за присутствующими.

– Меня всегда поражало, бог ее знает (выражение «черт знает» в ту пору начинало выходить из употребления), что это за странная цифра восемнадцать! – воскликнул Курфейрак. – Восемнадцать – роковое число для Бонапарта. Поставьте перед цифрой восемнадцать Людовик, а после нее – Брюмер, и вот вам вся судьба великого человека с одной лишь существенной разницей, что в данном случае конец опережает начало.

Тут Анжольрас, еще не проронивший ни звука, нарушил молчание и, обращаясь к Курфейраку, заметил:

– Ты хочешь сказать, что кара опережает преступление?

«Преступление!» – это слово переполнило чашу терпения Мариуса, уже и без того крайне взволнованного внезапным упоминанием о Ватерлоо.

Он встал, неторопливо подошел к висевшей на стене карте Франции, на которой внизу, в отдельной клетке, был нарисован остров, и, коснувшись пальцем карты, сказал:

– Это Корсика. Маленький островок, сделавший Францию такой великой.

Сразу словно пахнуло ледяным дыханием. Все смолкло. Чувствовалось, что сейчас что-то начнется.

Баорель собирался в эту минуту пустить в ход один из излюбленных своих ораторских приемов для стремительного контрудара Боссюэ. Теперь он отказался от этого и приготовился слушать.

Анжольрас, голубые глаза которого, казалось, никого не замечая, были устремлены в пустоту, ответил, не глядя на Мариуса:

– Чтобы быть великой, Франция не нуждается ни в какой Корсике. Франция велика потому, что она – Франция. *Quia minor leo*^[115].

Однако Мариус не имел ни малейшего намерения отступить. Он обернулся к Анжольрасу и заговорил громким, дрожащим от внутреннего волнения голосом:

– Боже меня упаси умалять величие Франции! Но сливать воедино Францию и Наполеона вовсе не означает умалять ее. Послушайте, поговорим откровенно. Я новичок среди вас, но, должен признаться, вы меня удивляете. Объяснимся же, приведем в ясность, с кем мы и кто мы. Кто вы, кто я? Выскажемся чистосердечно об императоре. Вы зовете его не иначе, как Буонапарт с ударением на у, словно роялисты. Надо сказать, что мой дед в этом отношении вас превзошел: он произносит – *Буонапарте*. Я считал вас людьми молодыми. Так где же и в чем он, ваш молодой энтузиазм? Уж если император не заслуживает вашего восхищения, то кто же заслуживает? Чего еще ищете вы? Уж если этот великий человек вам не угодил, то какие еще великие люди нужны вам? Ему было дано все. Он являл собою совершенство. В его мозгу все человеческие способности были представлены возведенными в куб. Подобно Юстиниану, составлял он своды законов; подобно Цезарю, предписывал их; в речах его, как у Паскаля, сверкали молнии и, как у Тацита, слышались громы; он равно и творил, и писал историю, его

бюллетени – те же песни «Илиады»; он владел искусством сочетать язык чисел Ньютона с языком метафор Магомета; на Востоке он оставлял на своем пути слова, великие, как пирамиды; в Тильзите учил императоров царственности; в Академии наук с успехом возражал Лапласу; в Государственном совете выходил победителем, споря с Мерленом; он умел вдохнуть живую душу в мертвую геометрию одних и в мелочную формалистику других; с юристами он превращался в законника и в астронома – со звездочетами; подобно Кромвелю, который из двух горящих свечей всегда задувал одну, он, чтобы подешевле купить какие-нибудь кисти для занавеси, самолично отправлялся в Тампль; он все замечал, все знал, что, однако, нисколько не мешало ему добродушно улыбаться над колыбелью своего малютки. Но вот испуганная Европа уже слышит: армии выступают в поход, с грохотом катятся артиллерийские парки, плывучие мосты протягиваются через реки, тучи конницы несутся вихрем, крики, трубные звуки, всюду колеблются троны, границы государств меняются на карте, доносится свист выхваченного из ножен меча сверхчеловеческой тяжести, и, наконец, он, император, появляется на горизонте с огнем в руках и пламенем в очах, раскинув среди громов и молний два крыла своих: великую армию и старую гвардию, – воистину архангел войны!

Все молчали, а Анжольрас потупил голову. Молчание всегда может быть до некоторой степени сочтено знаком согласия или свидетельством того, что противник прижат к стенке. Мариус, почти не переводя дыхания, продолжал с еще большим воодушевлением:

– Будем же справедливы, друзья! Империя такого императора! Какая блестящая судьба для народа, если это народ Франции и если он приобщает собственный гений к гению этого человека! Воцаряться всюду, где бы ни появился, торжествовать всюду, куда бы ни пришел, делать местом привала столицы всех государств, сажать королями своих гренадеров, росчерком пера упразднять династии, штыками перекраивать Европу, – пусть чувствуют, что, когда он угрожает, рука его на эфесе божьего меча! Какая блестящая судьба следовать за человеком, совмещающим в лице своем Ганнибала, Цезаря и Карла Великого, быть народом того, кто что ни день дарует вам благую весть успехов в ратном деле, пробуждает вас залпами пушки Дома инвалидов, бросает в пучину вечности чудесные, неугасимым пламенем горящие слова: Маренго, Арколь, Аустерлиц, Йена, Ваграм! Кто поминутно зажигает в зените веков созвездия новых побед, уподобляет Французскую империю Римской! Какая блестящая судьба быть великой нацией и создать великую армию и, подобно горе, посылающей орлов своих во все концы вселенной, дать разлететься по всей земле своим легионам, покорять, властвовать, повергать ниц, представлять собою какой-то исключительный народ в Европе, сверкающий золотом славы, оглашать историю фанфарами титанических труб, побеждать мир дважды: силой оружия и ослепительным светом! Это ли не прекрасно! И есть ли что-либо прекраснее этого?

– Быть свободным, – промолвил Комбефер.

Теперь Мариус в свою очередь потупил голову. Эти простые и сдержанные слова словно стальным клинком врезались в поток его эпических излияний, и он почувствовал, что поток этот иссякает. Когда он поднял глаза, Комбефера уже не было. Удовлетворившись, по-видимому, своей репликой на тирады Мариуса, он ушел, и все, за исключением Анжольраса, последовали за ним. Комната опустела. Анжольрас остался теперь наедине с Мариусом и не сводил с него строгого взгляда. Между тем, собравшись немного с мыслями, Мариус не признал себя побежденным; все внутри у него еще кипело, и это кипение, наверное, вылилось бы в ряд длиннейших силлогизмов, направленных против Анжольраса, если бы внезапно не послышался чей-то голос. Кто-то пел, спускаясь по лестнице. Это был Комбефер, а пел он следующее:

Когда бы Цезарь дал мне славу,

И трон, и скипетр, и державу,
И мне велел за то предать
Мою возлюбленную мать,
Я Цезарю сказал бы прямо:
«Мне твоего не надо хлама,
Я мать свою люблю, слепец!
Я мать свою люблю!»

Нежное и вместе с тем суровое выражение, с каким Комбефер пел эти слова, придавали им какой-то особый и высокий смысл. Мариус задумчиво поднял глаза и почти машинально повторил:

Я мать свою люблю...

В ту же минуту он почувствовал на своем плече руку Анжольраса.

– Гражданин, – сказал, обращаясь к нему Анжольрас, – мать – это Республика.

Глава 6

Res angusta [\[116\]](#)

Этот вечер оставил в душе Мариуса глубокий след и погрузил его в печаль и тьму. Он испытывал то же, что, возможно, испытывает земля, когда ее вскрывают, врезаясь железом, чтобы бросить семя; она чувствует в этот момент только боль от раны; трепет зарождающейся жизни и радостное ощущение зреющего плода приходят позднее.

Мрачное настроение овладело Мариусом. Он так недавно обрел веру; неужели необходимо уже отречься от нее? Он убеждал себя, что не нужно. Твердил себе, что не поддастся сомнениям, и тем не менее невольно поддавался им. Стоять на распутье между двумя религиями, еще не расставшись с одной и еще не примкнув к другой, невыносимо тяжело; лишь человеку-нетопырю милы такие потемки. Мариус же принадлежал к людям со здоровым зрением, и ему нужен был неподдельный дневной свет. Полутьма сомнений угнетала его. Вопреки желанию оставаться на старых позициях и не трогаться с места его неудержимо тянуло и влекло вперед, толкало исследовать, раздумывать, двигаться дальше. «Куда же это приведет меня?» – задавал он себе вопрос. Продолав такой длинный путь, чтобы приблизиться к отцу, он боялся, как бы теперь снова не отдалиться от него. И чем больше он размышлял, тем тяжелее становилось у него на сердце. Всюду ему виделись крутые обрывы. Ни с дедом, ни с друзьями не достиг он единомыслия: для одного он был слишком вольнодумным, для других – слишком отсталым; он чувствовал себя вдвойне одиноким, отвергнутым и старостью, и молодостью. Он перестал ходить в кафе «Мюзен».

Охваченный душевной тревогой, Мариус не думал даже о некоторых насущных сторонах существования. Но действительность не дает себя забыть. Она не преминула напомнить о себе пинком.

Однажды утром хозяин гостиницы, войдя в комнату Мариуса, заявил:

– Господин Курфейрак поручился за вас.

– Да.

– Но я хотел бы получить деньги.

– Попросите Курфейрака зайти ко мне. Мне надо переговорить с ним, – ответил Мариус.

Когда Курфейрак пришел и хозяин удалился, Мариус рассказал Курфейраку то, что до сих пор не удосужился рассказать, а именно, что теперь он одинок на свете и что родных у него больше нет.

– Как же вы будете жить? – спросил Курфейрак.

– Не знаю, – ответил Мариус.

– Что вы намерены делать?

– Не знаю.

– Есть ли у вас деньги?

– Пятнадцать франков.

– Не хотите ли занять у меня?

– Ни в коем случае.

– Есть ли у вас какое-нибудь носильное платье?

– Да вот же оно.

– А какие-нибудь ценные вещи?

– Часы.

– Серебряные?

– Нет, золотые. Вот они.

– У меня есть знакомый торговец платьем, который купит у вас редингот и панталоны.

– Превосходно.

– Значит, у вас останется тогда только одна пара панталон, жилет, шляпа и сюртук.

– И сапоги.

– В самом деле? Вам не придется ходить босиком? Какая роскошь!

– Больше мне и не требуется.

– У меня есть знакомый часовщик, который купит у вас часы.

– Очень хорошо.

– Совсем не хорошо. А что вы будете делать потом?

– Я согласен на любой труд, был бы только честный.

– Знаете ли вы английский язык?

– Нет.

– А немецкий?

– Тоже нет.

– Жаль.

– Почему?

– Да потому, что один мой приятель-книготорговец издает нечто вроде энциклопедии, для которой вы могли бы переводить статьи с немецкого или английского. Платят, правда, маловато, но жить на это все же можно.

– Я выучусь и английскому, и немецкому языку.

– А до тех пор?

– До тех пор буду проедать свое платье и часы.

Позвали торговца платьем. Он купил добро Мариуса за двадцать франков. Сходили к часовщику. Он купил часы за сорок пять франков.

– Ну что же, это неплохо, – сказал Мариус Курфейраку, возвращаясь в гостиницу, – с моими пятнадцатью получится восемьдесят франков.

– А счет за гостиницу? – напомнил Курфейрак.

– Верно. Я и позабыл, – сказал Мариус.

Хозяин представил счет, который необходимо было немедленно оплатить. Он достигал

семидесяти франков.

– У меня остается десять франков, – заметил Мариус.

– Черт возьми, – воскликнул Курфейрак, – вам придется, таким образом, питаться на пять франков, пока вы будете изучать английский язык, и еще на пять, пока будете изучать немецкий! Для этого нужно либо очень быстро поглощать языки, либо очень медленно монеты в сто су.

Между тем тетушка Жильнорман, женщина, в сущности, добрая, что особенно сказывалось в трудные минуты жизни, докопалась в конце концов, где живет Мариус. Как-то утром, вернувшись с занятий, Мариус нашел у себя письмо от нее и запечатанную шкатулку с «шестьюдесятью пистолями», то есть шестьюстами франками золотом.

Мариус отослал тетушке деньги обратно с приложением почтительного письма, в котором заявлял, что имеет средства к существованию и может впредь сам себя содержать. К тому времени у него оставалось всего три франка.

Тетушка не сообщила деду об отказе Мариуса, боясь вконец рассердить старика. Тем более что он и сам приказал при нем «никогда не упоминать об этом кровопийце!».

Мариус, не желая входить в долги, покинул гостиницу Порт-Сен-Жак.

Книга пятая

Преимущество несчастья

Глава 1

Мариус в нищете

Жизнь стала суровой для Мариуса. Проедать часы и платье – это еще полбеды. Но он отведал и такого, чего не передать, – как говорится, *хлебнул горя*. Страшная вещь – нужда; она означает дни без хлеба, ночи без сна, вечера без свечи, очаг без огня; она означает, что неделями нечего заработать и от будущего нечего ждать; она означает сюртук, протертый на локтях, и старую шляпу, возбуждающую у молодых девушек смех; дверь, которую, возвращаясь вечером к себе, находишь на замке, потому что не заплатил за квартиру; наглость портье и кухмистера, усмешечки соседей; унижение, уязвленное самолюбие, необходимость мириться с любой работой, отвращение ко всему, горечь, подавленность. Мариус научился проглатывать все это и не удивляться, что другого зачастую и глотать нечего. В ту пору жизни, когда человеку особенно необходимо сознание собственного достоинства, потому что необходима любовь, он видел себя посмешищем, потому что был плохо одет, и презираемым всеми, потому что был беден. В том возрасте, когда молодость переполняет наше сердце царственной гордыней, он не раз с краской стыда опускал глаза на дырявые свои сапоги и познал незаслуженный и мучительный позор нищеты. Чудесное и грозное испытание, из которого слабые выходят, потеряв честь, а сильные – обретя величие. Это горнило, куда судьба бросает человека всякий раз, когда ей нужен подлец или полубог.

Ибо в мелкой борьбе совершается много великих подвигов. В ней столько примеров упорного и скрытого мужества, шаг за шагом, невидимо отражающего роковой натиск лишений и низких соблазнов. В ней одерживаются благородные, но тайные победы, которых ни один глаз не видит, молва не восхваляет, трубный глас не приветствует. Жизнь, несчастье, одиночество, заброшенность, бедность – вот поле битвы, выдвигающее собственных героев, неизвестных, но иной раз превосходящих доблестью самых прославленных.

Сильные и редкие натуры именно так и создаются. Нищета, являющаяся почти всегда мачехой, иногда бывает и матерью. Скудость материальных благ рождает духовную и умственную мощь; тяжкие испытания вскармливают гордость; несчастья служат здоровой пищей для благородного характера.

В жизни Мариуса было время, когда он сам подметал площадку на своей лестнице, когда, купив у торговки на одно су сыра бри, он дожидался сумерек, чтобы войти в булочную и купить маленький хлебец, который тайком, словно краденый, уносил к себе на чердак. Зачастую можно было наблюдать молодого человека с книгами под мышкой, который, направляясь в расположенную на углу мясную лавку, неловко пробирался сквозь толпу отпускаявших грубые шутки и толкавших его кухарок. Вид у него был смущенный и дикий. Войдя в лавку, он стаскивал с головы шляпу, и на лбу его блестели капельки пота; он отвешивал низкий поклон удивленной лавочнице, затем такой же приказчику, спрашивал отбивную баранью котлетку, платил за нее шесть или семь су, заворачивал покупку в бумагу и, засунув под мышку между двух книг, уходил. То был Мариус. Этой котлеткой, которую он сам жарил, он питался три дня.

В первый день он съедал мясо, на другой – жир, а на третий обгладывал косточку.

Тетушка Жильнорман несколько раз возобновляла попытки переслать ему упомянутые шестьдесят пистолей. Мариус неизменно отсылал их назад, заявляя, что ни в чем не нуждается.

Он носил еще траур по отцу, когда с ним произошли описанные нами перемены. С тех пор

он уже не мог отказаться от своего черного платья. Зато платье само отказалось ему служить. В один прекрасный день сюртук уже нельзя было надеть, хотя панталоны еще могли кое-как сойти. Что делать? Курфейрак, которому Мариус со своей стороны оказал некоторые дружеские услуги, отдал ему старый сюртук. Какой-то портье взялся за тридцать су перелицевать его. Сюртук вышел как новенький. Но он был зеленого цвета. Тогда Мариус стал выходить из дома только с наступлением сумерек. Благодаря этому сюртук казался черным. Не желая снимать траура, Мариус облакался в темноту ночи.

Несмотря на все описанные трудности, ему удалось все же получить диплом адвоката. Считалось, что он живет в комнате Курфейрака, вполне приличной, где некоторое количество старых книг по юриспруденции, дополненное и обогащенное несколькими томами разрозненных романов, заменяло положенную по штату библиотеку юриста. Письма Мариус просил адресовать ему на квартиру Курфейрака.

Став адвокатом, Мариус уведомил об этом деда холодным, но очень вежливым и почтительным письмом. Г-н Жильнорман взял письмо дрожащими руками, прочел и, разорвав на четыре части, бросил в корзину. Два-три дня спустя м-ль Жильнорман услышала, как отец, находясь один в комнате, громко разговаривал сам с собой. Это случалось с ним всякий раз, когда он бывал чем-нибудь сильно взволнован. Она прислушалась. «Не будь ты таким дураком, – говорил старик, – ты понял бы, что нельзя быть сразу бароном и адвокатом».

Глава 2

Мариус в бедности

Все на свете образуется, нищета тоже. Мало-помалу она становится не такой уже невыносимой. Она приобретает в конце концов какой-то устоявшийся определенный уклад. Человек прозябает – иными словами, влачит жалкое существование, но все же может прокормиться. Жизнь Мариуса Понмерси наладилась, и вот каким путем.

Самое худшее для него уже миновало. Теснина впереди несколько расступилась. Трудом, мужеством, настойчивостью и выдержкой ему удавалось зарабатывать около семисот франков в год. Он выучился немецкому и английскому языку. Благодаря Курфейраку, который свел его со своим приятелем-книготорговцем, Мариус стал выполнять в книготорговле самую скромную роль *полезности*. Он составлял конспекты, переводил статьи из журналов, писал краткие отзывы о книжных новинках, биографические справки и т. п., что давало ему худо-бедно чистых семьсот франков ежегодно. На них он и жил. И жил сносно. А как именно? Это мы сейчас расскажем.

За тридцать франков в год Мариус нанимал в лачуге Горбо конуру без камина, важно именовавшуюся кабинетом; в ней по части обстановки имелось только самое необходимое. Обстановка эта являлась собственностью Мариуса. Три франка в месяц он платил старухе, главной жилище, за то, что она подметала конуру и приносила ему по утрам немного горячей воды, свежее яйцо и хлебец ценою в одно су. Хлебец и яйцо служили ему завтраком. Завтрак стоил от двух до четырех су, в зависимости от того, дорожали или дешевели яйца. В шесть часов вечера он спускался под горку на улицу Сен-Жак пообедать у Руссо, против торговца эстампами Басэ, на углу улицы Матюрен. Супа он не ел. Он брал обычно порцию мясного за шесть су, полпорции овощей за три су и десерта на три су. Хлеб стоил три су и давался вволю. А вместо вина он пил воду. Расплачиваясь у конторки, где величественно восседала в ту пору еще не утратившая полноты и свежести г-жа Руссо, он давал су гарсону и получал в награду улыбку г-жи Руссо. Затем уходил. Улыбка и обед обходились ему в шестнадцать су.

Трактир Руссо, где опорожнялось так мало винных бутылок и так много графинов с водой, можно было скорее причислить к заведению прохладительного, нежели горячительного типа. Теперь этого трактира уже нет. У хозяина было удачное прозвище, его называли «водяным Руссо».

Итак, при завтраке в четыре су и обеде в шестнадцать Мариус тратил на еду двадцать су в день, что составляло триста шестьдесят пять франков в год. Прибавьте сюда указанные тридцать франков за квартиру и тридцать шесть франков старухе, кое-какие мелкие расходы – и получится, что за четыреста пятьдесят франков Мариус имел стол, квартиру и услуги. Одежда стоила ему сто франков, белье – пятьдесят, стирка – пятьдесят, а все в совокупности не превышало шестисот пятидесяти франков. У него оставалось еще пятьдесят франков. Он был богачом. Он мог в случае надобности дать приятелю десятку-другую займы; однажды Курфейрак занял у него даже целых шестьдесят франков. Что касается топлива, то эту статью расхода, поскольку в комнате не было камина, Мариус «упразднил».

У Мариуса всегда имелось два костюма: старый, «для каждого дня», и новый – для торжественных случаев. И тот и другой черного цвета. Сорочек у него было не больше трех: одна на нем, другая в комоде, третья у прачки. Он пополнял их по мере того, как они снашивались. Но они были почти всегда изорваны, что вынуждало его застегивать сюртук до самого подбородка.

Чтобы достигнуть такого цветущего состояния, Мариусу понадобились годы. То были тяжкие годы; их нелегко было прожить и нелегко выйти победителем. Мариус ни на один день не ослаблял усилий. И если говорить о лишениях, то чего только он не испытал и за что только не брался, избегая лишь одного – брать в долг. Он мог смело сказать, что никогда не был должен никому ни единого су. Для него всякий долг означал уже начало рабства. В его представлении кредитор был даже хуже господина, ибо господская власть распространяется только на ваше физическое я, а кредитор посягает на ваше человеческое достоинство и может унижить его. Мариус предпочитал отказываться от пищи, только бы не делать долгов, и не один день случалось ему сидеть голодным. Памятуя, что крайности сходятся и упадок материальной обеспеченности, если не принять мер предосторожности, может привести к моральному упадку, он ревниво оберегал свою честь. Иные выражения и поступки, которые при других обстоятельствах он считал бы за простую вежливость, теперь расценивались им как низкопоклонство, и при одной мысли об этом он принимал гордый вид. Он держал себя в жестких рамках, чтобы не приходилось позднее бить отбой. Строгость лежала на его лице словно румянец, а в своей застенчивости он доходил до резкости.

Но во всех испытаниях его поддерживала, а порой и воодушевляла, тайная внутренняя сила. В известные минуты жизни душа приходит на помощь телу и вселяет в него бодрость. Это единственная птица, оберегающая собственную клетку.

Рядом с именем отца в сердце Мариуса крепко запечатлелось и другое имя – имя Тенардье. Со свойственной ему восторженностью и серьезностью Мариус мысленно окружил каким-то ореолом человека, которому был обязан жизнью отца, – этого неустрашимого сержанта, спасшего полковника среди ядер и пуль Ватерлоо. Он никогда не отделял память об этом человеке от памяти об отце, благоговейно объединяя обоих в своих воспоминаниях. Это был как бы культ двух степеней: большой алтарь был воздвигнут для отца, малый – для Тенардье. И Мариус испытывал еще большую благодарность и умиление, думая о Тенардье, когда узнал о случившейся с ним беде. В Монфермейле Мариусу сообщили о разорении и банкротстве злосчастного трактирщика. С тех пор он прилагал неслыханные усилия, чтобы найти след и разыскать Тенардье в мрачной бездне нищеты, где тот исчез. Мариус изъездил все окрестности, побывал в Шеле, Бонди, Гурне, Ножане, Ланьи. В течение трех лет он непрерывно отдавался

этим поискам, тратя на них все скудные свои сбережения. Никто не мог дать ему о Тенардье никаких сведений. Предполагали, что он уехал в чужие края. Не столь любовно, но не менее усердно искали Тенардье и его кредиторы. Однако и они не могли его найти. Мариус готов был винить себя в неудаче, постигшей его розыски, и даже негодовал на себя. Это был единственный долг, оставленный ему полковником, и Мариус считал делом чести уплатить его. «Как же так, – думал он, – ведь сумел же Тенардье в дыму и под картечью найти моего отца, когда тот лежал умирающим на поле битвы, и вынести его оттуда на своих плечах, а он ничем не был обязан отцу. Неужели же я, будучи стольким обязан Тенардье, не сумею найти его во тьме, где он борется со смертью, и в свою очередь вернуть к жизни? Нет, я найду его!» И действительно, чтобы найти Тенардье, он, не задумываясь, дал бы отрубить себе руку, а чтобы вырвать его из нищеты, отдал бы всю свою кровь. Увидеться с Тенардье, оказать Тенардье какую-нибудь услугу, сказать ему: «Вы меня не знаете, но я-то вас знаю! Вот я! Располагайте мною!» – было самой сладостной, самой высокой мечтой Мариуса.

Глава 3

Мариус вырос

В ту пору Мариусу исполнилось двадцать лет. Прошло три года, как он расстался с дедом. Отношения между ними оставались прежними – ни с той, ни с другой стороны не делалось никаких попыток к сближению, ни одна сторона не искала встречи. Да и к чему было искать ее? Чтобы опять начались столкновения? Кто из них согласился бы пойти на уступки? Ежели Мариус был тверд, как бронза, то г-н Жильнорман был крепок, как железо.

Нужно сказать, что Мариус ошибся в сердце деда. Он вообразил, что г-н Жильнорман никогда его не любил и что этот грубый, резкий, насмешливый старик, который вечно бранился, кричал, бушевал и замахивался тростью, в лучшем случае питал к нему не глубокую, но требовательную привязанность комедийных жеронтов. Мариус заблуждался. Встречаются отцы, которые не любят своих детей, но не бывает деда, который не боготворил бы своего внука. И, как мы уже сказали, в глубине души г-н Жильнорман обожал Мариуса. Обожал, конечно, по-своему, сопровождая свое обожание тумакami и даже затрещинами; но когда мальчика не стало, он почувствовал в сердце мрачную пустоту. Он потребовал, чтобы ему не напоминали о Мариусе, втайне сожалея, что приказание его так строго исполняется. В первое время он надеялся, что этот буонапартист, этот якобинец, этот террорист, этот сентябрист вернется. Но проходили недели, проходили месяцы, проходили годы, а кровопийца, к величайшему горю г-на Жильнормана, не показывался. «Но ведь ничего другого, как выгнать его, мне не оставалось», – убеждал себя дед. И тут же задавал себе вопрос: «А случись это сейчас, поступил бы я так же?» Его гордость, не задумываясь, отвечала: «Да», а старая голова молчаливым покачиванием печально отвечала: «Нет». Временами он совсем падал духом: ему не доставало Мариуса. Привязанность нужна старикам, как солнце; это тоже источник тепла. Несмотря на стойкий его характер, с уходом Мариуса в нем что-то переменилось. Ни за что на свете не согласился бы он сделать шаг к примирению «с этим дрянным мальчишкой», но он страдал. Он никогда не справлялся о нем, но думал о нем постоянно. Образ жизни, который он вел в Марэ, становился все более и более замкнутым. Он оставался еще веселым и вспыльчивым, но веселость его проявлялась теперь резко и судорожно, словно пересиливая горе и гнев, а вспышки всегда заканчивались каким-то тихим и сумрачным унынием. «Эх, и здоровенную же оплеуху я бы ему отвесил, пусть только бы он вернулся!» – иногда говорил он себе.

Что же касается тетки, то она неспособна была мыслить, а значит, и по-настоящему любить; Мариус превратился для нее в некую тусклую, неясную тень, и в конце концов она

стала интересоваться им гораздо меньше, нежели своей кошкой и попугаем, каковые, разумеется, у нее имелись.

Тайные муки старика Жильнормана усиливались еще и тем, что он наглухо замкнулся и ничем их не обнаруживал. Его горе походило на печи новейшего изобретения, поглощающие собственный дым. Случалось, что иной неудачливый собеседник, желая угодить ему, заводил с ним разговор о Мариусе и спрашивал: «Как поживает и что поделяет ваш милый внук?» Старый буржуа, вздыхая, если бывал в грустном расположении духа, или пощелкивая себя по манжетке, если хотел казаться веселым, отвечал: «Барон Понмерси изволит сутяжничать в какой-нибудь дыре».

Но между тем как старик терзался сожалениями, Мариус был доволен собой. Как это всегда происходит с добрыми людьми, несчастье заставило его забыть горечь обиды. Он всегда вспоминал теперь о г-не Жильнормане с теплым чувством, однако твердо решил ничего не принимать от человека, «дурно относившегося» к его отцу. Вот какую умеренную форму приняло теперь его бывшее возмущение. К тому же он был счастлив, что ему пришлось пострадать и что страдания его не прекращались. Ведь он страдал за отца. Жизнь, исполненная суровой нужды, удовлетворяла его и нравилась ему. С какой-то радостью он твердил себе, что «все это еще слишком хорошо»; что это искупление; что, не будь этого, он был бы позднее еще не так наказан за свое кощунственное равнодушие к отцу, к такому отцу! Ведь было бы несправедливо, если бы на долю отца выпали все страдания, а на его долю ничего. Да и что значат его труды и лишения по сравнению с героической жизнью полковника? И он приходил к выводу, что единственный способ стать близким отцу и походить на него – это так же мужественно бороться с нищетой, как доблестно тот боролся с врагом, и что именно это, наверное, и хотел сказать полковник словами: «Он будет его достоин». Слова эти Мариус по-прежнему хранил – правда, теперь уже не на груди, потому что записка полковника пропала, но в сердце.

Напомним, что в тот день, когда дед его выгнал, Мариус был еще ребенком, теперь он стал взрослым мужчиной. Он и сам признавал это. Нищета, повторяем, пошла ему на пользу. Бедность в дни юности, если искус ее проходит благополучно, хороша тем, что всецело направляет нашу волю к действию, а душу – к высоким стремлениям. Бедность сразу обнажает материальную изнанку жизни во всей ее неприглядности и внушает к ней отвращение; следствием же этого является неотвратимая тяга к жизни духовной. У богатого юноши имеются сотни столь же блестящих, сколь и грубых, развлечений: скачки, охота, собаки, табак, карты, вкусные яства и еще многое другое; все это удовлетворяет низменные стороны человеческой души, в ущерб возвышенным и благородным ее сторонам. Бедный же юноша трудом добывает свой хлеб насущный, он должен утолить голод, а когда утолит его, ему нечем заняться, кроме мечтаний. Ему доступны лишь бесплатные зрелища, даруемые богом: он созерцает небо, просторы, звезды, цветы, детей, человечество, среди которого томится в страданиях, мир творений, среди которого является светочем. И, созерцая, он познает через человечество душу людей, а через мир творений – бога. Отдавшись мечтам, он чувствует себя великим, но мечты уносят его дальше, и в нем пробуждается нежность. От эгоизма, который присущ страдающему человеку, он переходит к сочувствию, которое присуще человеку мыслящему. В нем проявляется чудесная способность забывать о себе и сострадать другим. При мысли о бесчисленных радостях, которыми природа щедро награждает души, открытые ей, и в которых отказывает душам, для нее закрытым, – он, обладатель миллионов духовных благ, испытывает жалость к обладателям миллионного состояния. И чем больше просвещается его ум, тем меньше ненависти остается в сердце. Да и бывает ли он на самом деле несчастен? Нет. Молодого человека нищета никогда не делает нищим. Любой мальчишка, как бы беден он ни был, своим здоровьем, силой, быстрой

походкой, блеском глаз, горячей кровью, переливающейся в жилах, темным цветом волос, румянцем щек, аlostью губ, белизною зубов, чистотою дыхания – всегда составит предмет зависти для старика, будь то сам император. И потом, каждое утро юноша берется за работу, чтобы добыть себе пропитание; и пока руки его добывают это пропитание, спина гордо выпрямляется, а ум обогащается идеями. А закончив дневной свой урок, он снова весь отдается созерцанию, неизреченным своим восторгам и радостям. Жизненный путь его скорбен, полон препятствий и терний, под ногами его камни, а иной раз и грязь, но голова всегда озарена светом. Он тверд, кроток, спокоен, тих, вдумчив, серьезен, невзыскателен, снисходителен; и он благословляет бога за то, что тот даровал ему два сокровища, не доступные многим богачам: труд, с которым он обрел свободу, и мысль, с которой он обрел достоинство.

Это именно и произошло с Мариусом. По правде говоря, он, пожалуй, был чересчур склонен к созерцанию. Добившись более или менее верного заработка, он на этом и успокоился, находя, что не так уж плохо быть бедным, и урезал время работы, чтобы иметь больше досуга для размышления. Случалось, таким образом, что он проводил целые дни в раздумии, словно зачарованный, весь погружившись в немое сладострастие внутренних восторгов и озарений. Жизненную задачу он разрешал для себя так: как можно меньше отдаваться труду ради материальных благ и как можно больше – ради духовной пользы. Иначе говоря – жертвовать повседневным нуждам лишь несколькими часами, а все остальное время отдавать вечному. Думая, что он ни в чем не нуждается, Мариус не замечал, что понята подобным образом созерцательная жизнь превращается в итоге в одну из форм лени; что он успокоился, удовлетворив лишь примитивные материальные потребности, и слишком рано вздумал отдыхать.

Совершенно очевидно, что для деятельной и благородной натуры Мариуса такое состояние могло быть лишь переходным и что при первом же столкновении с неизбежными для всякой человеческой судьбы трудностями он сбросит с себя дремоту.

А тем временем, несмотря на свое адвокатское звание и вопреки тому, что думал на этот счет старик Жильнорман, он не только не «сутяжничал», но и вовсе не занимался адвокатурой. Мечтательность внушила ему отвращение к юриспруденции. Водиться со стряпчими, торчать в судах, гоняться за практикой – какая тоска! Да и к чему это? Он не видел никаких оснований менять род занятий. Работа в упомянутой выше скромной книготорговле стала давать ему в конце концов без большой затраты труда надежный заработок, и его, как было уже нами сказано, вполне хватало Мариусу.

Один из книготорговцев, на которых он работал, – если не ошибаюсь, это был г-н Мажимель, – предложил ему поселиться у него, обещая предоставить хорошую квартиру и постоянную работу с жалованьем в полторы тысячи франков в год. Хорошая квартира! Полторы тысячи франков! Это, конечно, недурно. Но лишиться свободы! Превратиться в наемника! В своего рода литературного приказчика! По мнению Мариуса, принять предложение означало бы одновременно улучшить и ухудшить свое положение: выиграть с точки зрения материального благополучия и проиграть с точки зрения человеческого достоинства. Это означало бы променять неприкрашенную, но прекрасную бедность на уродливую и смешную зависимость. Все равно как если бы из слепого превратиться в кривого. Он отказался.

Мариус жил уединенно. В силу природной склонности держаться особняком, а также и потому, что его слишком отпугнули, он так и не вошел по-настоящему в кружок, возглавляемый Анжольрасом. Они остались приятелями, были готовы, если бы понадобилось, оказать любую взаимную услугу, но и только. У Мариуса было два друга: Курфейрак и г-н Мабеф, один был молод, другой – стар. Он больше льнул к старику. Во-первых, ему он был обязан своим внутренним переворотом, во-вторых – благодаря ему он узнал и полюбил своего отца. «Он снял

с глаз моих катаракту», – говорил Мариус.

И несомненно, церковный староста сыграл в судьбе Мариуса решающую роль.

Правда, г-н Мабеф явился лишь покорным и бесстрастным орудием провидения. Он осветил Мариусу истинное положение дел случайно и сам того не подозревая, как освещает комнату свеча, кем-нибудь внесенная в нее. И он был именно свечой, а не тем, кто ее вносит.

Что же касается перемены, происшедшей в политических воззрениях Мариуса, то г-н Мабеф был совершенно не способен ни понять, ни приветствовать ее, ни руководить ею.

Так как впоследствии нам предстоит еще встретиться с г-ном Мабефом, нелишним будет сказать о нем несколько слов.

Глава 4

Г-н Мабеф

В тот день, когда г-н Мабеф сказал Мариусу: «Разумеется, я уважаю политические убеждения», он выразил подлинные свои чувства. Все политические убеждения были для него одинаково безразличны, и он готов был уважать любые из них, лишь бы они не нарушали его покоя, – он уподоблялся в этом случае грекам, именовавшим Фурий «прекрасными, благими, прелестными», *Эвменидами*. Самому г-ну Мабефу политические воззрения заменяла страстная любовь к растениям и еще большая – к книгам. Как и у всех его современников, у него имелся ярлычок, оканчивавшийся на *ист*, без которого тогда никто не обходился. Однако г-н Мабеф не был ни роялистом, ни бонапартистом, ни хартистом, ни орлеанистом, ни анархистом, – он был букинистом.

Он не понимал, как могут люди ненавидеть друг друга из-за такой «чепухи», как хартия, демократия, легитимизм, монархия, республика и т. п., когда на свете существует такое множество всякого рода мхов, трав и кустарников, которыми можно любоваться, и такое множество всяческих книг, не только *in folio*, но и в одну тридцать вторую долю, которые можно листать. Впрочем, он желал приносить пользу. Коллекционирование книг не мешало ему читать, а занятия ботаникой – заниматься садоводством. Когда между ним и Понмерси завязалось знакомство, обнаружилось, что у них с полковником общая страсть. Опыты, которые полковник проделывал над цветами, г-н Мабеф проделывал над плодами. Ему удавалось получать семенные сорта груш, не менее сочные, чем сен-жерменские, и, по-видимому, именно его трудам обязана своим происхождением знаменитая теперь октябрьская мирабель, не уступающая по ароматности летней. Он ходил к обедне скорее по мягкости характера, нежели из набожности, а также и потому, что, любя человеческие лица и ненавидя шум толпы, лишь в церкви видел людей собравшихся, но безмолвствующих. Полагая, что необходимо иметь какое-либо общественное положение, он избрал себе должность церковного старосты. Ко всему прочему, за весь его век ему не довелось полюбить женщину сильнее луковицы тюльпана, а мужчину – сильнее эльзевира. Ему уже давно перевалило за шестьдесят, когда кто-то однажды спросил его: «Разве вы никогда не были женаты?» – «Не припоминаю», – ответил он. Если ему случалось – а с кем это не случается? – вздохнуть иногда: «Ах, будь я богат!» – то он говорил это отнюдь не как старик Жильнорман, заглядываясь на какую-нибудь красотку, а любуясь старинной книгой. Он жил один со старухой экономкой. У него была легкая подагра, и, когда он спал, его старые, скрюченные ревматизмом пальцы торчали бугорком под складками простыни. Он написал и издал книгу о «Флоре окрестностей Котерэ». Сочинение это, украшенное цветными таблицами, клише от которых хранились у него, пользовалось довольно широкой известностью, и он сам продавал его. Два-три раза в день в его квартире на улице Мезьер раздавался звонок покупателей. Он выручал таким путем около двух тысяч франков в год, чем и

ограничивался почти весь его доход. Несмотря на бедность, он сумел, терпеливо отказывая себе во всем, постепенно собрать драгоценную коллекцию всевозможных редких изданий. Он выходил из дому не иначе как с книгой под мышкой, а возвращался нередко с двумя. Единственным украшением четырех комнат в нижнем этаже, которые вместе с примыкавшим к ним садиком составляли его жилище, являлись оправленные в рамки гербарии да гравюры старых мастеров. От одного вида сабли или ружья кровь застывала у него в жилах. Ни разу в жизни он и близко не подошел к пушке, даже к той, что у Дома инвалидов. У него была совершенно седая голова, здоровый желудок, беззубый рот и такой же беззубый ум. Он весь подергивался, говорил с пикардийским акцентом, смеялся детским смехом, был очень пуглив и всем своим видом напоминал старого барана. Надо добавить к этому, что у него был брат священник и что, не считая старика Руайоля, хозяина книжной лавки у ворот Сен-Жак, он ни к кому на свете не питал ни дружбы, ни привязанности. Заветной мечтой его было акклиматизировать во Франции индиго.

Образец святой простоты являла собой и его служанка. Добрая старушка так и осталась в девицах. Кот Султан, мурлыканье которого могло бы поспорить для нее с самим «Мизерере» Аллегри в исполнении Сикстинской капеллы, заполнял все ее сердце и поглощал весь запас неистраченной нежности. О мужчинах она ни разу в жизни и не помышляла. Ни за что не решилась бы она изменить своему коту и была такой же усатой, как он. Единственную ее гордость составляла белизна чепцов. Воскресное послеобеденное время она посвящала пересчитыванию белья в сундуке или раскладыванию на кровати кусков материи, которые покупала себе на платья, но никогда не отдавала шить. Она умела читать. Г-н Мабеф прозвал ее «тетушка Плутарх».

Мариус заслужил благосклонность г-на Мабефа, ибо своей молодостью и мягкостью согревал его старость и умел щадить его робкий характер. Молодость в соединении с мягкостью оказывает на стариков такое же действие, как весеннее солнце в безветренный день. Когда Мариус начинал чувствовать пресыщение военной славой, пороховой гарью, бесчисленными походами и переходами и всеми изумительными битвами, участвуя в которых его отец то наносил, то получал страшные сабельные удары, он шел повидать г-на Мабефа, и тот повествовал ему о любви героя к цветам.

Около 1830 года умер его брат священник, и почти тотчас же весь горизонт для г-на Мабефа омрачился, словно наступила ночь. Банкротство нотариуса лишило его десяти тысяч франков, в которых заключалось все его состояние, как личное, так и доставшееся от брата. Июльская революция повлекла за собой кризис книжной торговли, а при любой заминке в делах прежде всего перестают продаваться всякие «Флоры». На «Флору окрестностей Котерэ» сразу же прекратился спрос. Недели за неделями проходили без единого покупателя. Если случалось вдруг зазвонить звонку, г-н Мабеф вздрагивал. «Это водовоз, сударь», – печально поясняла тетушка Плутарх. Короче говоря, в один прекрасный день г-н Мабеф покинул свою квартиру на улице Мезьер, сложил с себя обязанности церковного старосты, распрощался с Сен-Сюльпис, продал, не тронув книг, часть своих гравюр, так как дорожил ими меньше, и перебрался в маленький домик на бульваре Монпарнас. Впрочем, он прожил здесь только один триместр по следующим двум причинам: во-первых, нижний этаж с садом стоил триста франков, а он не имел возможности тратить на квартиру больше двухсот; во-вторых, он оказался тут по соседству с тиром «Фату», откуда непрестанно доносились пистолетные выстрелы, чего он совершенно не переносил.

Забрав свою «Флору», свои клише, гербарии, папки и книги, он покинул бульвар Монпарнас и поселился неподалеку от больницы Сальпетриер, в деревне Аустерлиц, где за пятьдесят экю в год нанимал нечто вроде хижины в три комнаты, с садом, обнесенным забором,

и колодцем. Воспользовавшись переездом, он продал почти всю свою обстановку. В день водворения на новую квартиру он был очень весел, собственноручно вбивал гвозди для своих гравюр и гербариев, а покончив с этим занятием, все остальное время до сумерек копался в саду. Вечером, заметив, что тетушка Плутарх о чем-то призадумалась и пригорюнилась, он хлопнул ее по плечу и с улыбкой сказал: «Ничего, ничего, у нас есть еще индиго!»

Лишь двум посетителям – хозяину книжной лавки, помещавшейся у ворот Сен-Жак, да Мариусу – разрешалось навещать г-на Мабефа в его аустерлицкой хижине, откровенно говоря, достаточно ему неприятной своим громким наименованием.

Впрочем, как мы уже отмечали, до рассудка людей, поглощенных какой-либо мудрой или безумной мыслью или, что нередко бывает, обеими одновременно, лишь очень медленно доходят житейские дела и заботы. Люди эти равнодушны к собственной судьбе. Сосредоточенность на одном предмете рождает пассивность, которая, не будь она бессознательной, могла бы сойти за философию. Человек начинает опускаться, катиться вниз, сходить на нет, даже разрушаться, почти незаметно для себя самого. Правда, пробуждение в конце концов наступает, но всегда слишком поздно. А до тех пор он кажется безучастным к игре, которая идет между его счастьем и несчастьем. Он – ставка в ней, а следит за партией с полным безразличием.

Вот каким образом, несмотря на сгушавшийся вокруг него мрак и угасавшие одна за другой надежды, г-ну Мабефу удалось сохранить несколько наивную, но глубокую душевную ясность. В его умственных навыках была инерция маятника. Создав себе иллюзию, он, словно заведенный, продолжал идти за ней, хотя она давно уже рассеялась. Часы не останавливаются тут же, когда от них теряют ключ.

У г-на Мабефа были свои невинные развлечения. Они не требовали расходов и всегда носили неожиданный характер; самый ничтожный повод доставлял их. Однажды тетушка Плутарх, сидя в уголке, читала роман. Она читала вслух, находя, что так понятнее. Читая вслух, как бы втолковываешь себе написанное. Громкое чтение имеет своих любителей, и вид у них такой при этом, словно они желают клятвенно убедить себя в истинности читаемого.

С такой именно выразительностью читала и тетушка Плутарх свой роман, держа книгу в руках. Г-н Мабеф слушал не вслушиваясь.

Тетушка Плутарх дошла до фразы, в которой говорилось о красавице и драгунском офицере:

«...Красавица рассердилась и сказала: «Буду». И драгуна...»

Тут тетушка Плутарх остановилась, чтобы протереть очки.

– Будду и Дракона, – повторил вполголоса г-н Мабеф. – Совершенно верно, был некогда дракон, который, укрывшись в пещере, поджигал оттуда небо, выбрасывая пламя из пасти. Уже не одна звезда сгорела от козней этого чудовища, наделенного к тому же когтями тигра. Тогда Будда вошел в пещеру его, и ему удалось укротить дракона. Вы читаете очень хорошую книгу, тетушка Плутарх. Это прекраснейшая из легенд.

И г-н Мабеф погрузился в сладостную задумчивость.

Глава 5

Бедность и нищета – добрые соседи

Мариусу нравился этот простодушный старик, медленно засасываемый нуждой и уже начинающий с удивлением, но еще без огорчения замечать это. С Курфейраком Мариус встречался, если к тому представлялся случай, общества же г-на Мабефа он искал. Впрочем, он бывал у него не часто, не более одного-двух раз в месяц.

Любимое удовольствие Мариуса составляли длинные одинокие прогулки по внешним бульварам, по Марсову полю или по наиболее безлюдным аллеям Люксембургского сада. Иногда он по полдня проводил у усадьбы какого-нибудь огородника, глядя на грядки, засаженные салатом, на кур, роющихся в навозе, на лошадь, вращающую колесо водочерпалки. Прохожие с любопытством оглядывали его. Иным его одежда внушала подозрение, а вид казался зловещим. Но то был просто-напросто бедный юноша, предававшийся беспредметным мечтам.

В одну из таких прогулок Мариус набрел на лачугу Горбо и, соблазнившись уединенностью и дешевизной, поселился здесь. Все знали его тут только под именем г-на Мариуса.

Кое-кто из старых генералов и старых товарищей отца, познакомившись с Мариусом, пригласил его бывать у них. Мариус не отказывался от этих приглашений. Они предоставляли ему возможность поговорить об отце. Итак, время от времени он появлялся то у графа Пажоля, то у генерала Белавена и Фририона, то в Доме инвалидов. Здесь занимались музыкой, танцевали. На эти вечера Мариус надевал свой новый костюм. Но он посещал их только в сильный мороз, ибо не имел средств нанять карету, а приходить в сапогах, которые не блестели бы как зеркало, не хотел.

«Уж так созданы люди», – не раз говорил он, без малейшей, впрочем, горечи. В салонах разрешается появляться всячески замаранным, но только не в замаранных сапогах. Вы можете рассчитывать на радушный прием лишь при условии безукоризненной чистоты – чего думали бы вы? Совести? Нет, сапог!

В мечтаниях рассеиваются все страсти, кроме сердечной. Политическая горячка Мариуса также нашла в них исцеление. Этому способствовала и революция 1830 года, принесшая ему удовлетворение и успокоение. Он остался прежним, сохранив, помимо гнева, все прежние чувства. Воззрений своих он не переменил, они только смягчились. Собственно говоря, воззрений у него и не осталось, а сохранились одни симпатии. Сторонником какой же партии был он? Партии человечества. Из всех представителей человечества он отдавал предпочтение французам; из всей нации – народу, а из всего народа – женщине. К женщине он питал наибольшее сострадание. Теперь он стал считать мысль важнее действия, ставя поэта выше героя, а книгу, подобную книге Иова, выше события, подобного Маренго. И когда вечером, после дня, проведенного в раздумье, он, идя вечером бульварами домой, сквозь ветви деревьев вглядывался в беспредельные небесные пространства, в мерцающие неизвестные огни, в бездну, мрак, тайну, – все человеческое казалось ему таким ничтожным.

Он думал – и, быть может, справедливо, – что открыл настоящий смысл и настоящую философию человеческой жизни, и в конце концов сосредоточился только на созерцании неба, которое одно доступно взору истины из глубины ее колодца.

Это не мешало ему строить всевозможные планы, проекты и расчеты на будущее. Если бы кому-нибудь удалось заглянуть в душу Мариуса, когда тот погружался в мечты, он был бы изумлен ее ослепительной чистотой. И в самом деле, обладая наше зрение способностью видеть внутренний мир нашего ближнего, можно было бы гораздо вернее судить о человеке по его мечтам, нежели по его мыслям. В мыслях наличествует волевое начало, в мечтах его нет. Мечты, возникающие произвольно, всегда воспроизводят и сохраняют, даже если предметом их служит нечто грандиозное и идеальное, наш собственный духовный облик. Нет ничего более непосредственно, более искренно идущего из сокровенных глубин нашей души, чем безотчетные и безудержные стремления наши к великому жребию. В этих стремлениях гораздо больше, чем в связных, продуманных, согласованных мыслях, виден подлинный характер человека. Больше всего походят на нас наши фантазии. Каждому мечта о неведомом и невозможном рисуется соответственно его натуре.

Примерно в середине 1831 года старуха, прислуживавшая Мариусу, рассказала ему, что его соседей, несчастное семейство Жондретов, гонят с квартиры. Мариус, чуть ли не по целым дням не бывавший дома, вряд ли даже знал, что у него есть соседи.

– А за что же гонят их? – спросил он.

– За то, что не платят и просрочили уже двойной срок.

– Сколько это составляет?

– Двадцать франков, – ответила старуха.

У Мариуса в ящике стола лежали про запас тридцать франков.

– Вот вам двадцать пять франков, – сказал он старухе. – Заплатите за этих бедных людей, а пять франков отдайте им. Только не говорите, что это от меня.

Глава 6

Заместитель

Неожиданно полк, в котором служил поручик Теодюль, был переведен в Париж нести гарнизонную службу. Это обстоятельство способствовало зарождению второй мысли в голове тетушки Жильнорман. В первый раз она вздумала поручить Теодюлю наблюдение за Мариусом; теперь она затеяла заместить Мариуса Теодюлем.

На всякий случай, если у деда вдруг возникнет смутное желание видеть в доме молодое лицо – лучи Авроры иногда бывают сладостны руинам, – она сочла полезным обзавестись другим Мариусом. «Ничего, что другой, – рассуждала она, – это все равно как ссылка на опечатку в книге: «Мариус – читай Теодюль».

Внучатый племянник – почти что внук; за отсутствием адвоката можно обойтись уланом.

Однажды утром, когда г-н Жильнорман был занят чтением «Ежедневника» или иной газеты того же сорта, вошла дочь и сладчайшим голосом, ибо речь шла об ее любимчике, сказала:

– Папенька, нынче утром Теодюль собирался прийти засвидетельствовать вам свое почтение.

– Это кто такой – Теодюль?

– Ваш внучатый племянник.

– А-а! – протянул дед.

Затем он снова принялся читать, совершенно выкинув из головы внучатого племянника – какого-то там Теодюля, и вскоре пришел в сильнейшее раздражение, что с ним случалось почти всякий раз, как он читал газеты. В «листке», который он держал в руках, само собою разумеется роялистского толка, без всяких околичностей сообщалось об одном незначительном и обыденном для Парижа той поры факте, а именно, что: «Завтра, в полдень, на площади Пантеона состоится совещание студентов юридического и медицинского факультетов». Дело шло об одном из злободневных тогда вопросов: об артиллерии национальной гвардии и конфликте между военным министром и «гражданской милицией» из-за установленных во дворе Лувра пушек. Вот что и должно было служить предметом «обсуждений» студенческого совещания. Этого было вполне достаточно, чтобы г-н Жильнорман вскипел.

Он вспомнил о Мариусе, который также был студентом и который, наверно, вместе с другими отправится в полдень «совещаться» на площадь Пантеона.

За этими мучительными мыслями и застал его поручик Теодюль, предусмотрительно одетый в штатское и тихохонько введенный в комнату м-ль Жильнорман. Улан рассудил, что «старый колдун, конечно, не все упрятал в пожизненную ренту, и ради этого, так уж и быть, можно себе позволить изредка наряжаться шпаком».

– Теодюль, ваш внучатый племянник, – громким голосом произнесла м-ль Жильнорман,

обращаясь к отцу.

И тут же шепнула поручику:

– Смотри, ни в чем ему не перечь.

Затем она удалилась.

Поручик, не привыкший к столь почтенному обществу, не без робости пролепетал: «Здравствуйте, дядюшка», и отвесил какой-то смешанный поклон, машинально, по привычке, начав его по-военному и закончив по-штатски.

– А, это вы! Прекрасно, садитесь, – проговорил дед. И тотчас же позабыл об улане.

Теодюль сел, а г-н Жильнорман встал.

Засунув руки в жилетные карманы и сжимая своими старыми, дрожащими пальцами часы, которые лежали в обоих карманах, он принялся ходить взад и вперед по комнате, рассуждая вслух:

– Сопливая команда! А туда же – собираться! И слыханное ли дело, не где-нибудь, а на площади Пантеона! Несчастные сосунки, вчера только от кормилиц, молоко на губах обсохло, а туда же – совещаться завтра в полдень! К чему, к чему это приведет? Совершенно очевидно, только к гибели. Вот куда завели нас эти голоштанники! Гражданская артиллерия! Совещаться о гражданской артиллерии! Выходить на улицу, горланить – полагается ли национальной гвардии палить из пушек или нет! А в какой компании они там очутятся? Полюбуйтесь на плоды якобинства! Чем угодно поручусь, миллион об заклад поставлю, что, кроме беглых да помилованных каторжников, там никого не сыщешь. Республиканец и острожник – два сапога пара. Карно спрашивал: «Куда прикажешь мне идти, изменник?» А Фуше отвечал: «Куда угодно, дурак!» Вот они и все здесь, ваши республиканцы.

– Совершенно верно, – подтвердил Теодюль.

Господин Жильнорман слегка повернул голову и, взглянув на Теодюля, продолжал:

– И подумать только, что у этого негодяя хватило низости стать карбонарием! Зачем ты покинул мой дом? Чтобы стать республиканцем! Вот выдумал! Во-первых, народ не хочет твоей республики. Она ему совсем не надобна. У него мозги на месте. Он прекрасно знает, что короли всегда были и будут; он прекрасно знает, что в конце концов народ – это только народ; его, понимаешь ли, смех берет на твою республику, глупая твоя голова! Что может быть омерзительнее этакой придури? Втюриться в «Отца Дюшена», строить глазки гильотине, распевать серенады и тренькать на гитаре под балконом девяносто третьего года! Да такая молодежь и плевка не стоит, до того она тупа! И все попадают на эту удочку. Ни один не уходит. Теперь достаточно вдохнуть воздуха улицы, и разума как не бывало! Деятнадцатый век – это яд. Глядишь, какой-нибудь шельмец-мальчишка, а уж отпустил себе козлиную бородку, вообразил, что он умнее всех, и скорей от стариков-родителей наутек. Это по-республикански, по-романтичному. А что это за штука такая – романтизм? Сделайте одолжение, объясните мне, что это за штука? Сплошное дурачество. Год назад все бегали на «Эрнани». Скажите на милость, «Эрнани»! Разные там антитезы, ужасы. И написано-то даже не по-французски! А теперь вдруг поставили пушки на Луврский двор. Вот до какого докатились разбоя!

– Вы совершенно правы, дядюшка, – сказал Теодюль.

– Пушки во дворе музея! С какой стати? К чему там пушки? – не унимался г-н Жильнорман. – Обстреливать Аполлона Бельведерского, что ли? Какое отношение имеют пушечные ядра к Венере Медицейской? Ну что за мерзавцы вся эта нынешняя молодежь! И сам их Бенжамен Констан тоже не велика фигура! А ежели и попадется среди них не подлец – значит, болван! Они всячески себя уродуют, безобразно одеваются, робеют перед женщинами и вьются подле юбок с таким видом, словно милостыню просят; девчонки, глядя на них, прыскают со смеху. Честное слово, можно подумать, что бедняги страдают любвебоязнью. А

при всей неказистости еще и глупы: им любо повторять каламбуры Тьерселена и Потье. Сюртуки сидят на них мешком, в их жилетах щеголять только конюхам, сорочки у них из грубого полотна, панталоны из грубой шерсти, сапоги из грубой кожи; а каково оперенье – таково и пенье. Их словечки разве только на их собственные подметки годятся. И у всех этих безмозглых младенцев имеются, извольте ли видеть, политические воззрения. Следовало бы строжайше запретить всякие политические воззрения. Они фабрикуют системы, перекраивают общество, разрушают монархию, топчут в грязь законы, ставят дом вверх дном, моего портье превращают в короля, потрясают до основания Европу, переделывают весь мир, а сами рады-радешеньки, ежели доведется украдкой полюбоваться икрами прачек, влезающих на свои тележки! Ах, Мариус! Ах, бездельник! Вопить на площади, спорить, доказывать, принимать меры! Боже милосердный, это называется у них мерами! Смута все больше мельчает, становится глупостью. В мое время я видывал хаос, а теперь вижу одну кутерьму. Школяры, обсуждающие судьбы национальной гвардии! Да эдакое не видано и у каких-нибудь краснокожих оджибвеев и кадодахов! Дикари, что ходят нагишом, с башкой, утыканной перьями, словно волан, и с дубиной в лапах, – и те меньшие скоты, чем эти бакалавры! Молокососы! Цена-то им грош, а корчат из себя умников, хозяев, совещаются, рассуждают! Нет, это конец света. Совершенно очевидно – конец этого презренного шара, именуемого земным. Вот-вот и Франция вместе с ним испустит последний вздох. Совещайтесь же, дурачье! И так будет продолжаться, пока они не перестанут ходить читать газеты под арки Одеона. Стоит это всего лишь одно су да здравый смысл, разум, сердце, душа и ум в придачу. Побывают там – и вон из семьи. Все газеты – чума, даже «Белое знамя»! Ведь Мортенвиль был, в сущности, якобинцем. О боже милосердный! Теперь он может хвалиться, он довел-таки своего деда до отчаянья!

– Не подлежит никакому сомнению, – согласился Теодюль.

И, воспользовавшись тем, что г-н Жильнорман на минуту замолк, чтобы перевести дух, улан нравоучительно добавил:

– Из газет следовало бы сохранить только «Монитор», а из книг – только «Военный ежегодник».

– Все они подобны Сьейесу! – снова начал г-н Жильнорман. – Из цареубийц – в сенаторы! Этим они все кончают. Сперва хлещут друг друга республиканским тыканьем, чтобы потом их величали сиятельными графами. Сиятельные сморчки, убийцы, сентябристы! Сьейес – философ! К чести своей, должен сказать, что всегда ценил философию этих философов не выше очков гримасника из сада Тиволи. Однажды я видел проходившую по набережной Малакэ процессию сенаторов в бархатных фиолетовых мантиях, усеянных пчелами, и в шляпах, как у Генриха Четвертого. Они были омерзительны. Настоящие придворные мартышки его величества тигра. Заверяю вас, граждане, что ваш прогресс – безумие, ваше человечество – мечта, ваша революция – преступление, ваша республика – уродина, ваша молодая, девственная Франция выскочила из публичного дома. Довожу это до сведения всех вас, кто бы вы ни были – журналисты, экономисты, юристы, и пусть даже бóльшие ревнители свободы, равенства и братства, чем нож гильотины! Вот что я заявляю вам, друзья любезные!

– Черт побери, – воскликнул поручик, – до чего изумительно верно!

Господин Жильнорман не закончил начатого было жеста, обернулся, посмотрел в упор на улана Теодюля и отрезал:

– Дурак.

Книга шестая

Встреча двух звезд

Глава 1

Прозвище как способ образования фамилии

В ту пору Мариус был красивым юношей, среднего роста, с густой черной шапкой волос, высоким умным лбом и нервно раздувающимися ноздрями. Он производил впечатление человека искреннего и уравновешенного, и по всему его лицу было разлито какое-то горделивое, задумчивое и невинное выражение. В округлых, но отнюдь не лишенных четкости линиях его профиля было что-то от германской мягкости, проникшей во французский облик через Эльзас и Лотарингию, и то отсутствие угловатости, которое так резко выделяло сикамбров среди римлян и отличает львиную породу от орлиной. Он вступил в тот период жизни, когда ум мыслящего человека почти в равной мере и глубок, и наивен. В сложных житейских обстоятельствах он легко мог оказаться несообразительным; однако новый поворот ключа – и он оказывался на высоте положения. В обращении он был сдержан, холоден, вежлив и замкнут. Но у него был прелестный рот, алые губы и белые зубы, и улыбка смягчала некоторую суровость его лица. В иные минуты эта чувственная улыбка представляла странный контраст с целомудренным его лбом. Глаза у него были небольшие, а взгляд открытый.

В худшие времена своей нищеты Мариус не раз замечал, что девушки оглядывались на него, когда он проходил, и, затаив в душе смертельную муку, спешил спастись бегством или спрятаться. Он думал, что они смотрят на него потому, что он одет в обноски, и смеются над ним. В действительности же они смотрели на него потому, что он был красив, и мечтали о нем.

Это безмолвное недоразумение, возникшее между встречными красотками и Мариусом, сделало его нелюдимым. Он не остановил своего выбора ни на одной из них по той простой причине, что бежал от всех. Вот так он и жил сам по себе – «по-дурацки», как говорил Курфейрак.

– Не лезь в святоши (они были на «ты», ибо в юности друзья легко переходят на «ты»), – говорил также Курфейрак. – Мой тебе совет, дружище: поменьше читай книжки и хоть изредка поглядывай на прелестниц. Плутówki не так уж плохи, поверь мне, о Мариус! А будешь бегать от них да краснеть – только отупеешь.

Иногда при встрече Курфейрак приветствовал его словами: «Добрый день, господин аббат». После подобных речей Курфейрака Мариус по меньшей мере с неделю еще усерднее избегал всех женщин, молодых и старых без исключения, а вдобавок и самого Курфейрака.

Все же нашлись на белом свете две женщины, от которых он не убегал и которых не опасался. По правде говоря, он был бы очень удивлен, если бы ему сказали, что это – женщины. Одна из них была бородатая старуха, подметавшая его комнату. Глядя на нее, Курфейрак уверял, будто «Мариус именно потому и не отпускает бороды, что ее отпустила себе его служанка». Другая – была какая-то девочка, которую он очень часто видел, но не обращал на нее внимания.

Уж более года назад Мариус заметил в одной из пустынных аллей Люксембургского сада, тянувшейся вдоль ограды Питомника, мужчину и совсем еще молоденькую девушку, сидевших бок о бок почти всегда на одной и той же скамье, в самом уединенном конце аллеи, выходявшем на Западную улицу. Всякий раз, когда случай, без вмешательства которого не обходятся прогулки людей, погруженных в свои мысли, приводил Мариуса в эту аллею – а это бывало почти ежедневно, – он находил там эту парочку. Мужчине можно было дать лет

шестьдесят; он казался печальным и серьезным, а своим крепким сложением и утомленным видом напоминал отставного военного. Будь на нем орден, Мариус подумал бы, что перед ним бывший офицер. Лицо у него было доброе, но он производил впечатление человека необщительного и ни на ком не останавливал взгляда. Он носил синие панталоны, синий редингот и широкополую шляпу, всегда новенькие на вид, словно с иголочки, черный галстук и квакерскую сорочку, то есть ослепительной белизны, но из грубого полотна. «Что за чистюля-вдовец!» – воскликнула однажды, проходя мимо, какая-то гризетка. Голова у него была совсем седая.

В первый раз, когда девочка, сопровождавшая старика, уселась подле него на скамью, которую они себе, видимо, облюбовали, она казалась тринадцати-четырнадцатилетним подростком, почти до уродливости худым, неуклюжим и ничем не примечательным. Одни только глаза ее еще подавали надежду стать красивыми, но во взгляде этих широко открытых глаз таилась какая-то неприятная невозмутимость. Одета она была по-старушечьи и вместе с тем по-детски, на манер монастырских воспитанниц, в черное плохого покроя платье из грубой мериносовой материи. Старика и девочку можно было принять за отца и дочь.

Первые два-три дня Мариус с любопытством разглядывал пожилого человека, которого еще нельзя было назвать стариком, и девочку, которую еще нельзя было назвать девушкой. Затем он совсем перестал думать о них. А те со своей стороны, видимо, даже не замечали его. Они мирно и безмятежно беседовали между собой. Девочка без умолку весело болтала. Старик говорил мало и по временам останавливал на ней взгляд, полный невыразимой отеческой нежности.

Незаметно для себя Мариус приобрел привычку гулять по этой аллее. Он всякий раз встречал их тут.

Вот как это происходило.

Чаще всего Мариус появлялся в конце аллеи, противоположном их скамье, шел через всю аллею, проходил мимо них, затем поворачивал обратно, возвращался к своему исходному пункту и начинал путь сызнова. Пять-шесть раз в течение своей прогулки мерил он шагами аллею в обоих направлениях, а прогулка эта повторялась пять-шесть раз в неделю, но ни разу ни ему, ни этим людям не пришло в голову обменяться поклоном. Старик и девушка явно избегали посторонних взглядов, но, несмотря на это, а может быть, именно поэтому, их заметили пять-шесть студентов, изредка приходивших погулять в аллею Питомника: прилежные – после занятий, а иные – после партии на бильярде. Курфейрак, принадлежавший к числу последних, некоторое время наблюдал за сидящими на скамейке, но, найдя девушку дурнушкой, вскоре стремительно ретировался. Он бежал, как парфянин, метнув в них прозвище. Запомнив единственно цвет платья девочки и цвет волос старика, он назвал дочь «девицей Черной», а отца – «господином Белым». А поскольку никто не знал, как их зовут, то, за отсутствием подлинного имени, вошло в силу прозвище. «Ага! Господин Белый уж тут как тут!» – говорили студенты. За ними и Мариус стал называть неизвестного г-ном Белым.

Мы последуем их примеру и для удобства будем также именовать его в нашем рассказе г-ном Белым.

В первый год Мариус видел отца и дочь почти ежедневно и всегда в один и тот же час. Старик нравился ему, девушку же он находил малоприятной.

Глава 2

Lux facta est^[117]

На второй год, как раз к тому времени, до которого доведено наше повествование,

случилось так, что Мариус, сам хорошенько не зная почему, прекратил привычные прогулки в Люксембургский сад и почти полгода ни разу не показывался в своей аллее. Но вот одним ясным летним утром он снова отправился туда. На душе у Мариуса было радостно, как у всех нас в солнечный день. Ему казалось, что это в его сердце на все голоса поет раздававшийся вокруг птичий хор и в его сердце голубеет вся лазурь небес, глядевшая сквозь листву деревьев.

Он направился к «своей аллее» и, дойдя до конца ее, увидел все на той же скамье знакомую пару. Поравнявшись с ними, он заметил, что старик несколько не изменился, но девушка показалась ему совсем иной. Он видел теперь перед собою высокое красивое создание, наделенное всеми женскими прелестями в ту их пору, когда они сочетаются еще с наивной грацией ребенка, – пору мимолетную и чистую, которую лучше не определишь, чем двумя словами: пятнадцать лет. Чудесные каштановые волосы с золотистым отливом, лоб словно изваянный из мрамора, щеки словно лепестки розы, бледный румянец, заалевшаяся белизна, очаровательный рот, откуда улыбка слетала, как луч, а слова – как музыка, головка рафаэлевой Мадонны, покоящаяся на шее Венеры Жана Гужона. И наконец, чтобы довершить обаяние этого восхитительного личика, вместо красивого носа – хорошенький носик: ни прямой, ни с горбинкой, ни итальянский, ни греческий нос, а парижский, то есть нечто умное, тонкое, неправильное, но чистое по очертаниям – предмет отчаяния художников и восторга поэтов.

Проходя мимо нее, Мариус не мог разглядеть ее глаз, все время остававшихся потупленными. Он увидел только длинные каштановые ресницы, в тени которых таилась стыдливость.

Это не мешало милой девочке улыбаться, слушая седого человека, что-то ей говорившего, и трудно было придумать что-либо восхитительнее этого сочетания ясной улыбки и потупленных глаз.

В первую минуту Мариус подумал, что это, должно быть, вторая дочь старика, сестра первой. Но когда неизменная привычка прогуливаться взад и вперед привела его вторично к скамейке и он внимательно взгляделся в девушку, то убедился, что это была все та же. В полгода девочка превратилась в девушку. Вот и все. Ничего особенного в этом нет. Приходит час, и в мгновение ока бутон распускается в розу. Вчера девушка еще была ребенком – дня не прошло, и все чарует в ней.

Но наша девочка не только выросла, она приобрела и одухотворенность. Как трех апрельских дней достаточно для некоторых деревьев, чтобы зацвести, так для нее оказалось достаточным полгода, чтобы облечься красотой. Пришел ее апрель.

Мы наблюдаем иногда, как бедные, скромные люди вдруг, словно стряхнув с себя сон, сразу из нищенства бросаются в роскошество, сорят деньгами, неожиданно становятся заметными, расточительными, блистательными. Это означает, что в кармане у них завелись деньги, – вчера был срок выплаты ренты. Так и тут: девушка получила свой полугодовой доход.

Ее уже больше нельзя было принять за пансионерку. Куда девалась ее плюшевая шляпка, мериновое платье, ботинки школьницы и красные руки? Вместе с красотой у нее появился вкус. Это была хорошо, с дорогой и изящной простотой и без всяких вычур одетая особа. На ней было платье из черного дама, пелеринка из того же шелка и белая креповая шляпка. Белые перчатки обтягивали тонкие пальчики, которыми она вертела ручку зонтика из китайской слоновой кости, а шелковые полусапожки обрисовывали крошечную ножку. При приближении к ней чувствовался исходивший от всего ее туалета пьянящий аромат юности.

Что касается старика, то он совсем не изменился.

Когда Мариус проходил мимо нее вторично, девушка вскинула глаза. Они у нее были небесно-голубые и глубокие, но сквозь их подернутую поволокою лазурь еще сквозил взгляд ребенка. Она посмотрела на Мариуса так же равнодушно, как посмотрела бы на мальчугана,

бегавшего под сикоморами, или на мраморную вазу, отбрасывающую тень на скамейку; Мариус продолжал прогулку, тоже размышляя о другом.

Он еще четыре-пять раз прошел мимо скамьи, на которой сидела девушка, ни разу даже не взглянув на нее.

В следующие дни Мариус по-прежнему приходил в Люксембургский сад, по-прежнему заставлял там «отца и дочь», однако не обращал больше на них внимания. Он думал об этой девушке теперь, когда она стала красавицей, не больше, чем тогда, когда она была дурнушкой. Он проходил возле самой ее скамьи только потому, что это вошло у него в привычку.

Глава 3

Действие весны

Был теплый день; Люксембургский сад стоял залитый солнцем и тенью, небо было чисто, как будто ангелы вымыли его поутру; в густой листве каштанов чирикали воробьи. Мариус раскрыл всю душу природе, он ни о чем не думал, а только жил и дышал. Он шел мимо скамьи, девушка подняла на него глаза, их взоры встретились.

Что было на сей раз во взгляде девушки? На это Мариус не мог бы ответить. В нем не было ничего – и было все. Словно неожиданно сверкнула молния.

Девушка опустила глаза, а Мариус пошел дальше.

То, что он увидел, не было бесхитростным, наивным взглядом ребенка, то была таинственная бездна, едва приоткрывшаяся и тотчас снова замкнувшаяся.

У каждой девушки бывает день, когда она так глядит. Горе тому, кто тут случится!

Этот первый взгляд еще не осознавшей себя души подобен занимающейся в небе заре. Это возникновение чего-то лучезарного и неведомого. Нельзя передать всего губительного очарования этого мерцающего света, внезапно вспыхивающего в священном мраке и сочетающего в себе всю невинность нынешнего дня и всю страстность завтрашнего. Это как бы нечаянное пробуждение робкой и полной ожидания нежности. Это сети, которые втайне от самой себя расставляет невинность и в которые, сама того не желая и того не ведая, она ловит сердца. Это девственница со взглядом женщины.

Редко случается, чтобы подобный взгляд не породил глубокой мечтательности в том, на кого он упадет. Все целомудрие, вся непорочность заключены в этом небесном и роковом луче, обладающем в большей степени, чем самые кокетливые взгляды, той магической силой, под действием которой мгновенно распускается в глубинах души мрачный цветок, полный благоухания и яда, называемый любовью.

Вечером, вернувшись к себе в каморку, Мариус поглядел на свое платье и тут только впервые понял, что с его стороны было неслыханной неряшливостью, неприличием и глупостью ходить на прогулку в Люксембургский сад в костюме «для каждого дня», иными словами – в шляпе, продавленной у шнура, в грубых извозчичьих сапогах, в черных панталонах, блестевших на коленях, и в черном сюртуке, потертом на локтях.

Глава 4

Начало серьезной болезни

На другой день Мариус достал из шкафа свой новый сюртук, новые панталоны, новую шляпу и новые ботинки, облачился во все эти доспехи, натянул – небывалая роскошь – перчатки и в обычный час отправился в Люксембургский сад.

По дороге ему встретился Курфейрак, но он сделал вид, что не замечает его. Курфейрак, вернувшись домой, заявил товарищам: «Я только что встретил новую шляпу и новый сюртук Мариуса и самого Мариуса в придачу. Он, наверно, шел на экзамен. Вид у него был самый дурацкий».

Придя в Люксембургский сад, Мариус обошел вокруг бассейна, полюбовался на лебедей, а потом долго стоял, погрузившись в созерцание, перед статуей с потемневшей от плесени головой и с отбитым бедром. У бассейна какой-то сорокалетний буржуа с брюшком, держа за руку пятилетнего мальчика, поучал ребенка: «Избегай крайностей, сын мой. Держись подальше и от деспотизма, и от анархии». Мариус выслушал рассуждения буржуа, потом еще раз обошел вокруг бассейна. Наконец медленно, словно нехотя, направился в «свою аллею». Как будто что-то одновременно и толкало его туда, и не пускало. Сам он не отдавал себе в том отчета и полагал, что ведет себя как всегда.

Войдя в аллею, он увидел на другом ее конце, на «их скамейке», г-на Белого и девушку. Он наглухо застегнул сюртук, обдернул его, чтобы не морщился, не без удовольствия отметил шелковистый отлив своих панталон и двинулся на скамью. Он напоминал человека, идущего в атаку и, конечно, уповающего на победу. Итак, я сказал: «Он двинулся на скамью», как сказал бы: «Ганнибал двинулся на Рим».

Впрочем, все это делалось совершенно бессознательно, нисколько не нарушая ни обычного течения мыслей Мариуса, ни привычной их работы. В эту самую минуту он думал только о том, какой глупейшей книгой является «Руководство к получению степени бакалавра» и какими редкостными крестинами должны были быть ее составители, раз в ней в качестве высших образцов, созданных человеческим гением, приводятся целых три трагедии Расина и только одна комедия Мольера. В ушах у него стоял пронзительный звон. Приближаясь к скамейке и на ходу обдергивая сюртук, он в то же время не спускал глаз с девушки. Ему казалось, что вокруг нее, заполняя весь конец аллеи, разливается мерцающее голубое сияние.

Но, по мере того как он приближался к скамье, шаги его все замедлялись. На некотором расстоянии от нее, далеко еще не пройдя всей аллеи, он вдруг остановился и, сам не зная, как это случилось, повернул обратно. У него и в мыслях не было, что он не дойдет до конца. Едва ли девушка могла издали разглядеть его и увидеть, как он хорош в своем новом костюме. Тем не менее он старался держаться как можно прямее, чтобы иметь бравый вид на тот случай, если бы кому-нибудь из тех, что остались позади, вздумалось взглянуть на него.

Он достиг противоположного конца аллеи, затем снова вернулся и на этот раз обнаружил больше отваги. Ему удалось даже приблизиться к скамье настолько, что до нее осталось миновать всего три дерева, но тут он вдруг почувствовал, что почему-то не может идти дальше, и заколебался. Ему показалось, что девушка повернула головку в его сторону. И все же мужественным и настойчивым усилием воли он поборол нерешительность и двинулся вперед. Несколько секунд спустя он твердой походкой проследовал мимо скамейки, выпрямившись, красный до ушей, не смея взглянуть ни направо, ни налево и засунув руку за борт сюртука, словно какой-нибудь государственный муж. В ту минуту, когда он проходил под огнем противника, сердце его страшно заколотилось. На ней было то же платье из дама и та же креповая шляпка, что накануне. До него донесся чей-то дивный голос – наверное, «ее голос». Она что-то неторопливо рассказывала. Она была прехорошенькой. Он чувствовал это, хотя не пытался взглянуть на нее. «А она, конечно, прониклась бы ко мне уважением и почтением, – думал он, – если бы узнала, что не кто иной, как я, – подлинный автор рассуждения о Маркосе Обрегоне де ла Ронда, которое господин Франсуа де Нефшато выдал за свое и поместил в качестве предисловия к своему изданию «Жиль Блаза»!»

Миновав скамью, он прошел в конец аллеи, до которого было совсем недалеко, затем

повернул обратно и еще раз прошел мимо красавицы. Но этот раз он был очень бледен. По правде говоря, он испытывал одни только неприятные ощущения. Теперь он удалялся от скамьи и от девушки, однако стоило ему очутиться к ней спиной, как он вообразил, что она смотрит на него, и начал спотыкаться.

Не пытаясь больше подойти к скамейке, он остановился посередине аллеи, затем, чего раньше никогда не делал, уселся и принялся посматривать все в ту же сторону, в глубине души думая, что вряд ли особа, чьей белой шляпкой и черным платьем он любовался, могла остаться совершенно нечувствительной к шелковистому отливу его панталон и новому сюртуку.

Через четверть часа он поднялся, как будто намереваясь снова направиться к лучезарной скамье. И вдруг застыл на месте. Впервые за пятнадцать месяцев ему пришло в голову, что, наверное, господин, ежедневно приходивший в сад, чтобы посидеть на скамейке вместе с дочерью, тоже обратил на него внимание и находит странным его постоянное присутствие здесь.

Впервые почувствовал он также, что как-то неудобно даже в мыслях называть незнакомца прозвищем г-н Белый.

Несколько минут стоял он так, опустив голову и рисуя на песке тростью, которую держал в руке.

Затем круто повернул в сторону, противоположную скамье, г-ну Белому и его дочери, и пошел домой.

В тот день Мариус забыл пообедать. Он вспомнил об этом только в восемь часов вечера, а так как идти на улицу Сен-Жак было уже слишком поздно, он сказал себе: «Не беда!» – и съел кусок хлеба.

Прежде чем лечь, он почистил и аккуратно сложил свое платье.

Глава 5

Громы небесные раздражаются над головой мамыши Бурчуны

На другой день мамаша Бурчуны – так прозвал Курфейрак старуху привратницу, главную жилицу и домоуправительницу лачуги Горбо; в действительности, как мы установили, ее звали г-жа Бюргон, но этот сорвиголова Курфейрак никого не желал признавать, – итак, мамаша Бурчуны с изумлением заметила, что г-н Мариус опять ушел из дома в новом костюме.

Он и на этот раз отправился в Люксембургский сад. Но дальше своей скамьи посередине аллеи не пошел. Усевшись здесь, как и накануне, он стал издали глядеть на белую шляпку, черное платье и голубое сияние, которое особенно хорошо различал. Он не двигался с места до тех пор, пока не стали запирасть ворота сада. Он не заметил, как ушел г-н Белый с дочерью, и заключил отсюда, что они прошли через калитку, выходившую на Западную улицу. Позднее, несколько недель спустя, перебирая все в памяти, он никак не мог припомнить, где же он обедал в тот вечер.

На другой день, это был уже третий по счету, мамашу Бурчуны снова как громом поразило: Мариус опять ушел в новом костюме.

– Три дня подряд! – воскликнула она.

Она попробовала было пойти за ним, но Мариус шел быстро, гигантскими шагами; это было равносильно попытке гиппопотама нагнать серну. Не прошло и двух минут, как она потеряла Мариуса из виду и вернулась еле живая, чуть не задохшись от своей астмы, вне себя от злости. «Наряжаться каждый день в парадное платье и заставлять людей вот так бегать за собой! Ну есть ли во всем этом хоть капля ума?» – ворчала она.

А Мариус опять пошел в Люксембургский сад.

Девушка и г-н Белый были уже там. Делая вид, будто он читает книгу, Мариус подошел к ним насколько мог близко, но все же их разделяло еще довольно большое расстояние, когда он обратился вспять. Вернувшись на свою скамейку, он просидел на ней битых четыре часа, наблюдая за воробьями, которые прыгали по аллее и словно насмехались над ним.

Так прошло две недели. Мариус ходил теперь в Люксембургский сад не для прогулок, а просто чтобы сидеть, неизвестно зачем, на одном и том же месте. Усевшись, он уже не поднимался. Каждое утро он надевал свой новый костюм, хотя никому в нем не показывался, а на другой день начинал все сызнова.

Девушка была и в самом деле изумительно хороша. И если можно было в чем-нибудь упрекнуть ее внешность, то разве только в том, что контраст между грустным взглядом и веселой улыбкой придавал ее лицу что-то загадочное, и в иные минуты это нежное личико, оставаясь все таким же прелестным, вдруг приобретало странное выражение.

Глава 6

Взят в плен

Как-то в конце второй недели Мариус сидел по обыкновению на своей скамейке, с открытой книгой в руках, в течение двух часов не перевернув ни одной страницы. Вдруг он вздрогнул. В конце аллеи случилось необыкновенное происшествие. Г-н Белый и его дочь встали со своей скамейки, дочь взяла отца под руку, и оба медленно направились к середине аллеи, к тому месту, где находился Мариус. Он захлопнул книгу, затем снова ее раскрыл и попытался читать. Он весь дрожал. Лучезарное видение шло прямо на него. «О боже, – думал он, – мне никак не успеть принять надлежащую позу!» Между тем седовласый человек и девушка подходили все ближе. Мариусу то казалось, что это длится уже целую вечность, то мнилось, что не прошло и мгновения. «Зачем они пошли этой стороной? – задавал он себе вопрос. – Неужели она пройдет здесь? Ее ножки будут ступать по этому песку, по этой аллее, в двух шагах от меня?» Он совсем растерялся, ему хотелось в эту минуту быть красавцем, иметь крест на груди. Он слышал, как приближался негромкий, размеренный шум их шагов. Ему вообразилось, будто г-н Белый бросает на него сердитый взгляд. «А вдруг этот господин заговорит со мной?» – думал он. Он опустил голову; а когда поднял ее, они были совсем рядом. Девушка прошла мимо и, проходя, взглянула на него. Взглянула так пристально, задумчиво и ласково, что Мариус весь затрепетал. Ему почудилось, будто она укоряет его за то, что он так долго не собрался подойти к ней, и говорит: «Вот я и пришла сама». Мариус был ослеплен ее лучистым и бездонным взглядом.

Он чувствовал, что мозг его пылает. Она пришла к нему, какая радость! А как она взглянула на него! Никогда еще не казалась она ему столь прекрасной. Прекрасной – той совершенной красотой, одновременно женственной и ангельской, которая заставила бы Петрарку слагать песни, а Данте – преклонить колени. Мариус чувствовал себя на вершине блаженства. Вместе с тем он страшно досадовал на то, что у него запыхались сапоги.

Он был уверен, что от ее взгляда не ускользнули и его сапоги.

Он не спускал с нее глаз, пока она не скрылась из виду, а потом, как безумный, принялся шагать по Люксембургскому саду. Не исключена возможность, что по временам он громко смеялся и разговаривал сам с собой. Он расхаживал с таким мечтательным видом среди гулявших с детьми нянюшек, что все они вообразили, будто он в них влюблен.

Затем он вышел из Люксембургского сада, надеясь встретить девушку где-нибудь на улице. Под сводами Одеона он столкнулся с Курфейраком. «Пойдем со мной обедать», –

предложил он. Они отправились вместе к Руссо и потратили шесть франков. Мариус ел за десятерых и дал шесть су гарсону. «А ты читал сегодня газету? – спросил он за десертом Курфейрака. – Какую превосходную речь произнес Одри де Пюираво!»

Он был безумно влюблен.

После обеда он предложил Курфейраку пойти в театр. «Плачу я», – заявил он. Они пошли в театр Порт-Сен-Мартен смотреть Фредерика в «Адретской гостинице». Мариус забавлялся от всей души.

А вместе с тем он стал еще застенчивее. При выходе из театра он не захотел взглянуть на подвязку модистки, перепрыгивавшей через канавку, а замечание Курфейрака: «Я был бы не прочь присоединить эту девицу к своей коллекции» – просто привело его в ужас.

На следующий день Курфейрак пригласил его завтракать в кафе «Вольтер». Мариус пришел и ел еще больше, чем накануне. Он был задумчив, но очень весел. Можно было подумать, что ему только и нужен повод, чтобы поохотаться. Он нежно обнял какого-то провинциала, с которым его познакомили. Компания студентов окружила их столик. Разговор начался с рассказов о глупостях, произносимых за казенный счет с кафедры Сорбонны, а затем перешел к ошибкам и пропускам в словарях и просодиях Кишерá. Мариус неожиданно прервал эти рассуждения, воскликнув: «А все-таки очень приятно иметь орден!»

– Это уж совсем смешно! – шепнул Курфейрак Жану Пруверу.

– Нет! – возразил Жан Прувер. – Тут не до смеха.

И действительно, тут было не до смеха. Мариус переживал то бурное и полное очарования время, которым всегда отмечено начало большой страсти.

И все это сделал один только взгляд.

Когда мина заложена, когда все подготовлено к взрыву, – ничего нет проще. Взгляд – это искра.

Свершилось. Мариус полюбил. Неведомы стали пути его судьбы.

Женский взгляд напоминает некие машины с зубчатыми колесами, с виду безобидные, а на деле страшные. Вы можете спокойно, ничего не подозревая, изо дня в день безнаказанно проходить мимо них. Наступает минута, когда вы даже забываете, что они тут. Вы приходите, уходите, думаете, разговариваете, смеетесь. Вдруг вы чувствуете себя пойманным. Все кончено. Машина не пускает вас, взгляд вас схватил. Схватил ли он вас за кончик нечаянно обнаруженной мысли, попались ли вы по рассеянности, – как и почему это случилось – неважно. Но вы погибли. Вас втянет туда всего целиком. Вас сковывают таинственные силы. Соппротивление напрасно. Никакая человеческая помощь здесь невозможна. От колеса к колесу потащит вас вместе с вашими мыслями, вашим счастьем, вашей будущностью, вашей душой, через все муки, через все пытки, и, в зависимости от того, попадете ли вы во власть существа злобного или благородного, вы можете выйти из этой ужасной машины лишь обезображенный стыдом или преображенный любовью.

Глава 7

Приключение с буквой «У» и догадки относительно этой буквы

Одиночество, оторванность от жизни, гордость, независимость, любовь к природе, свобода от каждодневного труда ради хлеба насущного, самоуглубление, тайная борьба целомудрия, искренний восторг перед миром творений – все подготовило Мариуса к состоянию той одержимости, что именуется страстью. Обожание отца постепенно превратилось у него в религию и, как всякая религия, ушло в глубь души. Требовалось еще что-то, что заполнило бы все его сердце. И вот пришла любовь.

Целый месяц, изо дня в день, ходил Мариус в Люксембургский сад. Наступал назначенный час, и ничто уже не могло удержать его. «У него дежурство», – говорил Курфейрак. А Мариус упивался блаженством. Сомнения не было – девушка смотрела на него!

Мало-помалу он осмелел и стал подходить ближе к скамейке. Однако из инстинктивной робости и осторожности, свойственной всем влюбленным, он уже не решался теперь идти мимо нее. Он считал, что лучше не привлекать «внимания отца». С глубоким макиавеллизмом рассчитывал он, за какими деревьями и пьедесталами статуй надлежит ему располагаться, чтобы как можно больше быть на виду у девушки и как можно меньше у старого господина. Иногда он по получасу неподвижно простаивал в тени какого-нибудь Леонида или Спартака, с книгой в руке, и, незаметно подняв от книги глаза, искал ими лицо девушки. А та, с едва уловимой улыбкой, также поворачивала к нему свое очаровательное личико. Самым спокойным и непринужденным образом беседуя с седовласым спутником, она посылала Мариусу полный мечтаний девственный и страстный взгляд. Прием незапамятной древности, известный еще Еве с первого дня творения и каждой женщине – с первого дня рождения! Губы ее отвечали одному, а глаза – другому.

Надо все же думать, что г-н Белый стал что-то замечать, ибо часто при появлении Мариуса он поднимался и начинал прогуливаться по аллее. Он оставил свое привычное место и выбрал другую скамью, на противоположном конце аллеи, рядом с Гладиатором, как бы желая проверить, не последует ли Мариус за ними. Мариус ничего не понял и совершил эту ошибку. «Отец» стал неаккуратно посещать сад и не каждый день брал с собой «дочь» на прогулку. Иногда он приходил один. В таких случаях Мариус не оставался в саду – вторая ошибка.

Мариус не замечал всех этих тревожных симптомов. Пережив фазу робости, он вступил – процесс естественный и неизбежный – в фазу ослепления. Любовь его все возрастала. Каждую ночь он видел Ее во сне. К тому же на его долю выпало неожиданное счастье, которое, подлив масла в огонь, еще больше затуманило ему глаза. Однажды вечером, в сумерках, он нашел на скамейке, только что покинутой «господином Белым и его дочерью», носовой платок. Самый обыкновенный, без всякой вышивки, но очень белый и тонкий носовой платок, который распространял, как ему показалось, дивный аромат. Он с восторгом схватил платок. На нем стояла метка «У. Ф.». Мариус ровно ничего не знал о милой девочке – ни ее фамилии, ни имени, ни адреса. Эти две буквы были первое, что ему удалось узнать о ней; и на этих божественных инициалах он тотчас принялся строить целое сооружение догадок. «Буква У, – думал он, – должна обозначать имя. Наверное, Урсула! Какое восхитительное имя!» Он поцеловал платок, вдохнул его запах, весь день носил на груди, у самого сердца, а ночью приложил к губам, чтобы заснуть.

– Я чувствую в нем всю ее душу! – восклицал он.

А платок принадлежал старику, который просто-напросто выронил его из кармана.

В дни, следовавшие за находкой, Мариус стал появляться в Люксембургском саду не иначе, как целуя или прижимая к сердцу платок. Девушка ничего не понимала и едва заметными знаками старалась показать ему это.

– О стыдливость! – говорил себе Мариус.

Глава 8

Даже инвалиды могут быть счастливы

Если мы уже произнесли слова «стыдливость» и если не желаем здесь ничего таить, то нужно сказать, что, несмотря на все это упоение, Мариус однажды не на шутку разгневался на

свою «Урсулу». Это случилось в один из тех дней, когда ей удалось уговорить г-на Белого покинуть скамью и пойти прогуляться по аллее. Дул сильный февральский ветер, колебавший верхушки платанов. Отец и дочь прошли под руку мимо скамьи Мариуса. Мариус тотчас же поднялся и стал пристально глядеть им вслед, как это и подобало человеку, потерявшему от любви рассудок.

Вдруг порыв ветра, более резвый, чем остальные, и которому, по всей вероятности, было поручено творить дела весны, налетел со стороны Питомника, пронесся по аллее и, закружив девушку в упоительном вихре, достойном нимф Вергилия и фавнов Теокрита, приподнял ее платье – это не менее священное, чем покрывало Изида, платье – почти до самых подвязок. Открылась прелестная ножка. Мариус увидел ее. Он пришел в страшное раздражение и ярость.

Божественным движением, полным испуга, девушка тотчас оправила платье. Но он тем не менее продолжал возмущаться. Правда, он был один в аллее. «Но ведь там, – думал он, – мог быть и еще кто-нибудь. А если бы на самом деле там кто-нибудь был! Только вообразить себе нечто подобное! То, что она натворила, – просто ужасно!» Увы, бедное дитя ровно ничего не натворило. Во всем виноват был только ветер; но Мариус, в котором смутно зашевелился Бартоло, таящийся в Керубино, был полон негодования и ревновал к собственной тени. Вот так именно пробуждается в человеческом сердце и завладевает им, даже без всякого на то права, горькое и неизъяснимое чувство плотской ревности. Впрочем, независимо от ревности, лицезрение очаровательной ножки не доставило ему никакого удовольствия; вид белого чулка первой попавшейся женщины был бы ему приятнее.

Когда «его Урсула», дойдя до конца аллеи и повернув обратно, прошла в сопровождении г-на Белого мимо скамейки, на которой снова уселся Мариус, он бросил на девушку угрюмый и свирепый взгляд. А она в ответ слегка откинула голову и удивленно приподняла брови, как бы спрашивая: «Что такое, что случилось?»

Это была их «первая ссора».

Едва Мариус перестал устраивать ей сцену глазами, как кто-то показался на аллее. Это был сгорбленный, весь в морщинах, белый как лунь инвалид в мундире времен Людовика XV; на груди у него была небольшая овальная нашивка из красного сукна с перекрещивающимися мечами – солдатский орден Людовика Святого, сверх того герой был украшен болтавшимся пустым рукавом, серебряной нижней челюстью и деревяшкой вместо ноги. По мнению Мариуса, существо это имело в высшей степени самодовольный вид. Ему показалось даже, что старый циник, проковыляв мимо него, лукаво, по-приятельски подмигнул ему, словно неожиданный случай сделал их сообщниками и дал им возможность разделить какое-то непредвиденное удовольствие. С чего они так развеселились, эти Марсовы обломки? Что же такое произошло между этой деревянной ногой и той ножкой? Ревность Мариуса достигла высшего предела. «А вдруг он был здесь! А вдруг видел!» – повторял он себе. Ему хотелось уничтожить инвалида.

Но время притупляет остроту всяких чувств. Гнев Мариуса на «Урсулу», при всей своей справедливости и законности, миновал. В конце концов Мариус простил; но это стоило ему большого труда; он дулся на нее три дня.

Однако, несмотря на все это и благодаря всему этому, страсть его усиливалась и превращалась в безумие.

Глава 9

Затмение

Мы видели, как Мариус открыл – или же вообразил, что открыл, – будто «ее» зовут

Урсулой.

Аппетит приходит с любовью. Знать, что имя ее Урсула, это, конечно, уже много; но вместе с тем и мало. Через три-четыре недели это счастье перестало утолять голод Мариуса. Ему захотелось иного. Ему захотелось узнать, где она живет.

Он допустил уже одну ошибку: не заметил ловушки со скамьей около Гладиатора. Он допустил и вторую: не оставался в Люксембургском саду, когда г-н Белый приходил туда один. Теперь он допустил третью, огромную ошибку: он решил проводить «Урсулу».

Она жила на Западной улице, в самой безлюдной ее части, в новом трехэтажном доме, скромном на вид.

С этой минуты к счастью Мариуса видеть ее в Люксембургском саду прибавилось счастье провожать ее до дома.

Но голод его все усиливался. Мариус знал, как ее зовут, во всяком случае, знал если не фамилию, то ее имя – прелестное, самое подходящее для женщины имя; он знал также, где она живет; теперь он желал знать, кто она.

Однажды вечером, проводив их до дома и едва дав им скрыться в воротах, он вошел следом за ними и решительным тоном спросил у привратника:

– Скажите, это вернулся жилец второго этажа?

– Нет, – ответил привратник, – это жилец третьего.

Еще один факт установлен. Успех окрылил Мариуса.

– Его квартира выходит на улицу?

– Ну конечно! Весь дом построен окнами на улицу, – объяснил привратник.

– А кто он такой, этот господин? – продолжал Мариус.

– Он рантье, сударь. Человек очень добрый и, хотя сам не богат, много помогает бедным.

– А как его фамилия? – задал новый вопрос Мариус.

Привратник поднял голову.

– Уж не сыщик ли вы будете, сударь? – спросил он.

Мариус ушел сконфуженный, но в полном восторге. Дела его шли на лад.

«Превосходно, – думал он. – Итак, я знаю, что ее зовут Урсулой, что она дочь рантье, что она живет в доме на Западной улице, на третьем этаже».

На другой день г-н Белый и его дочь лишь ненадолго появились в Люксембургском саду. Они ушли оттуда еще засветло. Мариус проводил их до Западной улицы, как это теперь вошло у него в привычку. Дойдя до ворот, г-н Белый пропустил дочь вперед, а сам, прежде чем переступить порог, обернулся и пристально взглянул на Мариуса.

На следующий день они не пришли в Люксембургский сад. Мариус напрасно прождал их целый день.

С наступлением темноты он отправился на Западную улицу и в окнах третьего этажа увидел свет. Он прогуливался под окнами, пока свет в них не погас. На следующий день в Люксембургском саду – никого. Мариус прождал до темноты, а потом пошел в свой ночной караул под окна. Это затянулось до десяти часов вечера. На обед он махнул рукой. Лихорадка питает больного, а любовь – влюбленного.

Так прошла неделя. Ни г-н Белый, ни его дочь больше не появлялись в Люксембургском саду. Мариус строил печальные предположения; днем он не решался караулить у ворот. Он довольствовался тем, что ходил по ночам глядеть на красноватый свет в окнах. Иногда за стеклами мелькали тени, и при виде их сердце его учащенно билось.

Когда он на восьмой день пришел под окна, огонь в них не горел. «Что бы это значило, – подумал он, – лампа еще не зажжена! А ведь совсем темно. Быть может, их нет дома!» Он ждал до десяти часов, до полуночи, до часу ночи. Свет в третьем этаже так и не зажигался, и никто не

входил в дом. Мариус ушел крайне опечаленный.

На следующий день – ибо теперь он жил только ожиданием завтрашнего дня, а сегодняшний для него, так сказать, больше уже не существовал, – на следующий день он никого не нашел в Люксембургском саду; но это его уже не удивило. В сумерках он отправился к знакомому дому. Окна не были освещены; жалюзи были спущены; весь третий этаж был погружен во мрак. Мариус постучался и вошел в ворота.

– Дома ли господин, проживающий в третьем этаже? – спросил он привратника.

– Он съехал, – ответил тот.

Мариус пошатнулся и чуть слышно спросил:

– Когда?

– Вчера.

– А где он теперь живет?

– Не знаю.

– Разве он не оставил своего нового адреса?

– Нет.

И, задрав нос, привратник узнал Мариуса.

– Ах, это вы! – сказал он. – Стало быть, вы и впрямь шпион?

Книга седьмая

Петушиный час

Глава 1

Рудники и рудокопы

Во всяком человеческом обществе есть то, что в театре носит название третьего, или нижнего, трюма. Весь социальный грунт изрыт вдоль и поперек, иногда это во благо, иногда – во зло. Места подземных разработок располагаются одно под другим. Есть шахты мелкого и глубокого залегания. Есть верх и есть низ в этом мрачном подземелье, которое порою обрушивается под тяжестью цивилизации и которое мы с таким равнодушием и беспечностью попираем ногами. В прошлом веке «Энциклопедия» представляла собою почти открытую штольню. Толщи мрака, породившего мир первобытного христианства, только и ждали случая, чтобы разверзнуться при цезарях и затопить человеческий род ослепительным светом. Ибо в священной тьме таится скрытый свет. Кратеры вулканов полны мглой, готовой обратиться в пламя. Лава вначале всегда черна, как ночь. Катакомбы, где отслужили первую обедню, были не только пещерой Рима, но и подземельем мира.

Под зданием человеческого общества, под этим сочетанием архитектурных чудес и руин, существуют подземные пустоты. Там пролегают рудники религии, рудники философии, рудники политики, рудники экономики, рудники революции. Кто прорубает себе путь идей, кто точным вычислением, кто гневом. Голоса окликают друг друга и переговариваются из одной катакомбы в другую. Утопии бредут боковыми ходами. Они разветвляются во все стороны. Иногда встречаются и братаются между собой.

Жан-Жак уступает кирку Диогену и взамен берет у него фонарь. Порою там происходят стычки. Кальвин хватается за волосы Содзини. Но ничто не задерживает и не прерывает напряженного стремления всех этих сил к цели, их бурной одновременной деятельности, – этого движения взад и вперед, вверх и вниз, происходящего во мраке и медленно преобразующего то, что наверху, тем, что внизу, и то, что извне, тем, что внутри; чудовищная, незримая суэта. Общество едва ли подозревает о процессе бурения, которое, не оставляя следа на поверхности, разворачивает все его недра. Сколько подземных ярусов, столько же различных разработок, столько же видов ископаемых. Что же добывают в этих глубоких коях? Будущее.

Чем глубже рудники, тем таинственнее рудокопы. До известного уровня, поддающегося определению социальной философии, их труд полезен, за этим пределом его польза становится сомнительной и ее можно оспаривать; еще ниже он становится губительным. На известной глубине в эти скрытые пустоты уже не проникает дух цивилизации; граница, где человек в состоянии дышать, перейдена; здесь начинается мир чудовищ.

Лестница спускается вниз причудливыми уступами, и каждая площадка соответствует новой ступени, где может обосноваться философия и где мы встречаем одного из ее тружеников, порою возвышенных духом, порою отвратительных. Ступенью ниже Яна Гуса находится Лютер; под Лютером Декарт; под Декартом Вольтер; под Вольтером Кондорсе; под Кондорсе Робеспьер; под Робеспьером Марат; под Маратом Бабеф. И так дальше. Еще ниже, на той грани, что отделяет неясное от невидимого, смутно вырисовываются другие туманные фигуры – быть может, еще не родившихся людей. Тени прошлого – это призраки; тени будущего – это личинки. Наш мысленный взор еще не ясно различает их. Эмбриональное развитие будущего – одно из видений философа.

Целый мир в завязи, в зачаточном состоянии – какие небывалые образы!

Сен-Симон, Оуэн, Фурье – они тоже там, в боковых ходах.

Хотя незримая чудесная цепь связует меж собою, неведомо для них, всех этих подземных разведчиков будущего, обычно считающих себя одиночками – что отнюдь неверно, – однако, без сомнения, труд их весьма различен, и мягкий свет, которым горят одни, составляет резкий контраст с пламенем, которым пылают другие. Есть среди них существа райски светлые, есть трагически мрачные. Впрочем, каково бы ни было это различие, у всех этих тружеников, от самого великого до самого ничтожного, от самого мудрого до самого безумного, есть одна общая черта, а именно – бескорыстие. Марат забывает о себе так же, как Иисус. Они пренебрегают собой, отстраняют себя, не думают о себе. Они видят что-то, лежащее вне их. Глаза их раскрыты, и эти глаза ищут истину. В очах у одного все сияние неба; и пусть загадочен взгляд другого, в глубине его все же мерцает отблеск бесконечности. Что бы он ни совершил, преклонитесь же перед тем, кто отмечен этим знаком – звездным взглядом.

Взгляд, полный мрака, – другой знак.

С него начинается зло. При встрече с тем, кто смотрит пустыми зрачками, призадумайтесь и трепещите. В системе общественного строя есть свои недобрые рудокопы.

Существует предел, за которым дальнейшее погружение превращается в погребение, там гаснет свет.

Под всеми перечисленными нами шахтами, под всеми этими подземными галереями, под всей этой необъятной кровеносной системой прогресса и утопии, гораздо глубже в земле, ниже Марата, ниже Бабефа, ниже, гораздо ниже и без всякого сообщения с верхними пластами, залегает последняя штольня. Ужасное место. Это и есть то, что мы называли нижним трюмом. Это могильный мрак. Это подземелье слепых. Inferi^[118].

Дальше уже начинается бездна.

Глава 2

Самое дно

Здесь наступает конец бескорыстия. Здесь смутно вырисовывается лик сатаны; здесь каждый за себя. Безглазое «я» рычит, рыщет, ощупывает и гложет. Уголино общественного строя заточен в этой пропасти.

Свирепые существа, не то звери, не то призраки, бродят по этой пещере; их не интересует всемирный прогресс, им неведомо ни такое понятие, ни такое слово, их заботит только собственная утроба. Это почти неразумные твари, и внутри у них удручающая пустота. У них две матери – и обе им мачехи – невежество и нищета. У них есть поводырь – их потребности; а взамен всех стремлений – желание насытиться. Они зверски прожорливы, то есть кровожадны, – но это кровожадность не сорокопутов, а тигров. Страдания толкают этих вампиров на преступление; таково роковое следствие, потрясающий вывод, логика тьмы. Возня тех, которые ползают в нижнем трюме, это не протест угнетаемого духа; это бунт материи. Здесь человек обращается в дракона. Томиться голодом, томиться жаждой – вот отправная точка; стать Князем тьмы – вот конечный пункт. Из такого подполья выходят Ласнеры.

Недавно, в четвертой книге, читатель познакомился с одним из отделений верхнего рудника, с его огромными шахтами политики, революции и философии. Там, как мы уже сказали, все возвышенно, чисто, достойно, честно. Бесспорно, и там возможны ошибки, и они бывают; но даже самые заблуждения там благородны, ибо они таят в себе героизм. Всем производимым там работам есть общее имя: Прогресс.

Пришло время заглянуть в иные глубины, в глубины мерзости.

Мы утверждаем, что глубоко внизу под обществом существует и будет существовать, до тех пор пока не рассеется мрак невежества, великая пещера Зла.

Это подземелье залегает глубже других и враждебно всем другим. Здесь господствует одна беспощадная ненависть. Здесь не встретишь философа. Здесь нож никогда не оттачивал пера. Здесь чернота не походит на благородную черноту чернил. Преступным пальцам, которые судорожно сжимаются под этим душным сводом, никогда не случилось перелистать книгу или развернуть газету. В глазах Картуша Бабеф – эксплуататор; для Шиндерганнеса Марат – аристократ. У этой пещеры одна цель: разрушить все.

Все. В том числе и ненавистные ей верхние рудники. Мерзкой своей суетней она подрывает не только современный общественный строй: она подрывает философию, она подрывает науку, она подрывает право, она подрывает человеческую мысль, она подкапывается под цивилизацию, революцию, прогресс. Она зовется просто-напросто воровством, проституцией, преступлением, убийством. Это тьма, и она жаждет хаоса. Ее своды опираются на невежество.

У всех верхних ярусов одна лишь цель: уничтожить нижний. К этой цели всеми силами, всеми способами – и путем улучшения существующей действительности, и путем размышления над идеалом – стремятся философия и прогресс. Разрушьте нору Невежества, и вы уничтожите крота – Преступление.

Подведем краткий итог сказанному. Единственная социальная опасность – это Мрак.

Человечество – это тождество. Все люди сотворены из той же глины. У всех – по крайней мере здесь, на земле – одна судьба. Тот же мрак до рождения, та же брэнная плоть при жизни, тот же прах после смерти. Но невежество, примешанное к человеческой глине, чернит ее. И эта невытравимая чернота проникает внутрь человека и становится там Злом.

Глава 3

Бабет, Живоглот, Звенигрош и Монпарнас

С 1830 по 1835 год «нижним трюмом» Парижа правила четверка бандитов: Звенигрош, Живоглот, Бабет и Монпарнас.

Живоглот был Геркулесом подонков. Ему служила берлогой клоака Арш-Марион. При росте в шесть футов у него была каменная грудная клетка, железные бицепсы, дыхание – как ветер из ущелья, туловище великана и птичий череп. Казалось, перед вами Геркулес Фарнезский, напяливший тиковые штаны и плисовую блузу, Живоглот, напоминавший своим сложением эту скульптуру, мог бы укрощать чудовищ; он нашел, что гораздо проще стать одним из них. Низкий лоб, широкие скулы, меньше сорока лет от роду – и уже морщины у глаз, короткие жесткие волосы, заросшие щеки, не борода, а щетина, – вот он весь перед вами. Его мускулы томились по работе, а тупой мозг отказывался от нее. Это была могучая сила, пропадавшая втуне. Он стал убийцей от безделья. Его считали креолом. Возможно, что он был причастен к убийству маршала Брюна, так как в 1815 году служил носильщиком в Авиньоне. Имея за плечами такой опыт, он стал бандитом.

Легкий бесплотный Бабет представлял полную противоположность грузному Живоглоту. Бабет был тощ и умен. Прозрачен, но непроницаем. Тело его, можно сказать, просвечивало насквозь, но зрачки не выдавали мыслей. Он называл себя химиком. Ему доводилось выступать и балаганным зазывалой у Бобеша и клоуном у Бобино. В Сен-Мигиэле он подвизался в водевилях. Это был мастер на все руки, говорун, который умел придавать выразительность своим улыбкам и значительность жестам. Он промышлял тем, что торговал на площадях гипсовыми бюстами и портретами «главы государства», и еще тем, что рвал зубы. На своем веку ему случалось показывать разных уродов на ярмарках и быть владельцем фургона с

оглушительной трубой и афишей, гласившей: «Бабет, виртуоз-зубодер, член ученых академий, производит физические опыты над металлами и металлоидами, также вырывает зубы, удаляет корни, оставленные его коллегами. Плата: один зуб – один франк пятьдесят сантимов; два зуба – два франка; три зуба – два франка пятьдесят. Пользуйтесь случаем!» (Это «пользуйтесь случаем» означало: спешите выдернуть как можно больше зубов.) Когда-то он был женат и народил детей. Но что случилось с его женой и детьми, он и понятия не имел. Он потерял их где-то, как теряют носовой платок. Редкое исключение в темном мире, его окружающем, – Бабет читал газеты. Как-то, еще в те времена, когда он кочевал с семьей в своем фургоне, ему попала заметка в «Вестнике», что некая женщина произвела на свет вполне жизнеспособного младенца с телячьей мордой! «Вот кому счастье! – воскликнул он. – Что бы догадаться моей жене родить такого ребенка!»

Впоследствии он все это забросил, чтобы «взять в оборот Париж». Его собственное выражение.

Кто такой был Звенигрош? Сама ночь. Чтобы появиться, он ждал того часа, когда тьма зачернит небо. По вечерам он вылезал из какой-нибудь норы и снова прятался туда перед рассветом. Где находилась эта дыра? Никто не знал. Даже в полной темноте, разговаривая со своими сообщниками, он становился к ним спиной. Точно ли звали его Звенигрош? Нет. «Меня зовут Никак», – говорил он. Если при нем зажигали свечу, он надевал маску. Вдобавок он был чревоушателем. Бабет говаривал: «Звенигрош – это ночная птица о двух голосах». Звенигрош был загадочен, неуловим, страшен. Никто с уверенностью не сказал бы, есть ли у него настоящее имя – Звенигрош было только кличкой; есть ли у него голос – он чаще говорил животом, чем ртом; есть ли у него даже лицо – его никогда не видали иначе, как в маске. Он исчезал, словно растворяясь в воздухе; он появлялся, словно вырастая из-под земли.

Но поистине зловещую фигуру представлял собой Монпарнас. Монпарнас был совсем мальчик; ему не исполнилось и двадцати лет, у него было смазливое лицо, губы точно вишни, прекрасные черные волосы, сияние весны в глазах; он олицетворял собой все пороки и был способен на всякое преступление. Дурное, перевариваясь, пробуждало в нем аппетит к худшему. Он начал с гамена, вырос в уличного шалопая, а из последнего превратился в грабителя. Ремеслом этого миловидного юноши, женственного, грациозного, сильного, томного и жестокого, являлся грабеж с убийством. Шляпа его была заломлена слева по моде 1829 года, чтобы видна была взбитая прядь волос. Он носил редингот, хотя и не первой свежести, но великолепного покроя. Монпарнас был ходячей модной картинкой, но картинка эта не выходила из нищеты и занималась убийством. Единственной причиной, которая толкала этого молодчика на преступления, было желание наряжаться по моде. Первая же гризетка, бросившая ему: «Какой красавчик!», наложила печать проклятия на эту душу и обратила этого Авеля в Каина. Считая себя красивым, он пожелал стать щеголем. А первое требование щегольства – праздность; но праздность бедняка – путь к преступлению. Мало кто из разбойников наводил такой ужас, как Монпарнас. В восемнадцать лет у него на совести уже было несколько трупов. Немало прохожих лежало, раскинув руки, ничком в луже крови на темном пути этого негодяя. Завитой, напомаженный, с талией в рюмочку, неизменно сопровождаемый восхищенным шепотом бульварных девок, с искусно повязанным галстуком, с кастетом в кармане и цветком в петлице, – таков был этот модник подземного мира.

Эти четверо бандитов представляли собой нечто вроде Протея, ускользающего от лап полиции и старающегося увернуться от нескромных взглядов Видока, «пламени, дерева, воды принимая обличья», заимствуя один у другого прозвища и уловки, прячась в собственной тени, служа друг другу тайником и убежищем, освобождаясь от собственной своей личности так же легко, как от накладного носа в маскараде, то уменьшаясь до такой степени, что казались одним существом, то разрастаясь так, что даже сам Коко-Лакур принимал их за целую толпу.

Эту четверку нельзя было считать четырьмя людьми: то был таинственный разбойник о четырех головах, дерзко орудовавший в Париже, чудовищный полип зла, ютящийся в склепе, вырытом под зданием человеческого общества.

Пользуясь разветвленной сетью подземных связей, Бабет, Живоглот, Звенигрош и Монпарнас взяли подряд на все злодеяния в департаменте Сены. Они расправлялись с прохожими, вдруг, как из-под земли, появляясь перед ними. Изобретатели новшеств по этой части, люди, замышлявшие черное дело, обращались к ним для его осуществления. Достаточно было представить четверем негодяям план, а постановку они уже брали на себя. Они сами разрабатывали сценарий драмы. Для них не составляло труда подыскать необходимое число и подходящий состав исполнителей для любого покушения, если нужна была подмога, а дело являлось достаточно выгодным. Когда готовилось преступление, где не хватало рук, они поставляли сообщников. Они держали труппу актеров тьмы, годных на все роли для трагедий, сочиняемых в разбойничьих трущобах.

Они собирались обычно с наступлением ночи – час их пробуждения – на одном из пустырей, прилегавших к больнице Сальпетриер. Там они держали совет. В их распоряжении было двенадцать часов темноты, и они обсуждали, как лучше их употребить.

«Петушиный час» – под таким названием было известно в подземном мире деловое товарищество четверых. На старом красочном народном языке, который с каждым днем все более и более забывается, «петушиный час» означает время перед рассветом, так же как «час, когда впору волка за собаку принять», означает сумерки. Прозвище Петушиный час происходило, вероятно, от того часа, когда кончалась ночная работа бандитов, ибо с рассветом привидения исчезают, а грабители разбегаются. Всех четверых знали под этой кличкой. Как-то председатель суда присяжных посетил в тюрьме Ласнера и допрашивал его по поводу одного преступления, в котором тот не сознавался. «Кто же это сделал?» – спросил председатель. Ласнер дал следующий ответ, загадочный для судьи, но понятный всякому полицейскому: «Может быть, Петушиный час».

Содержание пьесы можно иногда угадать по списку действующих лиц; таким же образом можно составить довольно близкое представление о шайке по перечню бандитов. Вот на какие прозвища откликались главные участники банды Петушиный час – эти имена сохранились в специальных списках:

Крючок, он же Весенний, он же Гнус.

Брюжон (существовала целая династия Брюжоных, мы еще вернемся к ним).

Башка, шоссейный рабочий, он уже встречался в нашем рассказе.

Вдова.

Финистер.

Гомер Оно, негр.

Дай-срок.

Депеша.

Фаунтлероп, он же Цветочница.

Бахвал, отбывший срок каторжник.

Шлагбаум, он же господин Дюпон.

Южный вал.

Дроздище.

Карманьольщик.

Процентщик, он же Бизарро.

Кружевник.

Вверх-тормашки.

Пол-лиарда, он же Два миллиарда.

И т. д., и т. д.

Мы опускаем их, хотя они и не уступают перечисленным. У этих имен есть свое лицо. Они обозначают не отдельные личности, а типы. Каждое такое прозвище соответствует особой разновидности отвратительных лишаев, лепящихся в подземелье цивилизации.

Эти существа, неохотно показывающиеся в своем настоящем виде, были не из тех, кого встречаешь на улицах. С наступлением дня, усталые после кровавых ночных дел, они отсыпались то в ямах для обжига извести, то в заброшенных каменоломнях Монмартра или Монружа, а то и в сточных трубах. Они зарывались в землю.

Что случилось с этими людьми? Они существуют и посейчас. Они существовали всегда. Еще Гораций говорит о них. *Ambubaiarum collegia, pharmacopolaе, mendici, mimae*» [\[119\]](#). И пока общество будет таким, каково оно теперь, они останутся такими, каковы они теперь. Они непрерывно возрождаются под мрачными сводами своего подвала из просачивающихся туда социальных нечистот. Они возвращаются, эти привидения, всегда одни и те же, только под новыми именами и в новой коже.

Пусть особи истребляются – род остается.

Им неизменно присущи одни и те же свойства. От нищего до разбойника, они блюдут чистоту породы. Они нюхом угадывают кошельки в карманах и чувствуют часы в жилетах. Они различают запах золота и серебра. Бывают прохожие настолько простоватого вида, что, кажется, грех было бы их не ограбить. Таких прохожих они терпеливо отслеживают. При встрече с иностранцем или провинциалом они вздрагивают, точно пауки.

Всякому, кто набредет на них или увидит мельком в глухую полночь на пустынном бульваре, эти люди внушают страх. Они кажутся не людьми, но ожившим туманом, принявшим человеческие формы; можно подумать, что они составляют одно целое с ночью, неотделимы от нее, не имеют иной души, чем душа тьмы, и что лишь на миг, ради нескольких минут своей ужасной жизни они оторвались от мрака.

Что же нужно, чтобы заставить этих оборотней исчезнуть? Свет. Потоки света. Ни одна летучая мышь не выносит лучей зари. Залейте же светом общественное подземелье.

Книга восьмая

Коварный бедняк

Глава 1

Мариус, разыскивая девушку в шляпке, встречает мужчину в фуражке

Прошло лето, за ним осень; наступила зима. Ни г-н Белый, ни молодая девушка больше ни разу не показывались в Люксембургском саду. Теперь Мариус был поглощен одной только мыслью – как бы снова увидеть нежное, обожаемое личико. Он все искал, искал повсюду, но никого не находил. Это был уже не прежний восторженный мечтатель Мариус, не тот решительный, пламенный и непреклонный человек, который смело бросал вызов судьбе, не ум, что строил планы за планами, не юная голова, полная замыслов, проектов, гордых мыслей, идей, желаний: он уподобился псу, потерявшему хозяина. Им овладела беспросветная печаль. Все было кончено; работа ему опротивела, прогулки утомляли, одиночество наскучило; необъятная природа, раньше полная форм, красок, звуков, мудрых советов и наставлений, манящих далей и просторов, теперь опустела для него. Ему казалось, что все исчезло.

Он по-прежнему предавался размышлениям, потому что это уже вошло у него в привычку; но размышления больше не доставляли ему радости. На все, что неустанно нашептывали ему мысли, он мрачно отвечал: «К чему?»

Он осыпал себя сотнями упреков. «Зачем вздумалось мне провожать ее? Я был так счастлив уже тем, что видел ее! Она глядела на меня; разве это не величайшее блаженство? Она, казалось, любила меня. Разве это не предел желаний? Чего же мне еще хотелось? Ведь большего и быть не могло. Я поступил нелепо. Это моя вина...» и т. д. Курфейрак, которого Мариус по свойству своего характера ни во что не посвящал, но который – что уже являлось свойством его, Курфейрака, характера – кое о чем догадывался, вначале похваливал друга за то, что тот влюбился, изумляясь, впрочем, этому обстоятельству. Однако, видя, в какую черную меланхолию впадает Мариус, он в конце концов заявил: «Все ясно, ты вел себя, как безмозглое животное. Давай-ка сходим в Шомьер».

Как-то раз, доверившись солнечному сентябрьскому дню, Мариус позволил Курфейраку, Боссюэ и Грантэру повести себя на бал в Со, надеясь – придет же такая фантазия! – что может встретить Ее там. Само собой разумеется, что он не нашел там той, кого искал. «А где же, как не здесь, находят потерянных женщин?» – бурчал себе под нос Грантэр. Мариус оставил друзей на балу и один пешком отправился домой, усталый, разгоряченный. Оглушая грохотом и осыпая пылью, обгоняли его шумные «кукушки», набитые публикой, которая, весело распевая, возвращалась с праздника, а он шел в глубоком унынии, всматриваясь беспокойным печальным взглядом в ночь и жадно вдыхая, чтобы освежиться, терпкий запах придорожного орешника.

Мариус снова стал жить одинокой и все более замкнутой жизнью. Растерянный, удрученный, весь отдавшись сердечной муке, он метался, охваченный горем, как волк, попавший в капкан, и, отупев от любви, всюду искал ту, что исчезла.

В другой раз у Мариуса произошла встреча, которая произвела на него странное впечатление. В одной из улочек, прилегающих к бульвару Инвалидов, он столкнулся с женщиной в одежде рабочего и в фуражке с длинным козырьком, из-под которой выбивались белоснежные пряди волос. Мариуса поразила красота этих седи, и он внимательно оглядел прохожего; тот шел медленно, словно погрузившись в тяжелое раздумье. Как ни странно, ему показалось, что перед ним г-н Белый. Те же волосы, тот же профиль, насколько его можно было разглядеть из-под фуражки, та же походка, только еще более усталая. Но к чему этот рабочий

наряд? Что бы все это означало? Каков смысл этого переодевания? Мариус был крайне удивлен. Когда же он опомнился, его первым побуждением было пойти за неизвестным: как знать, не напал ли он наконец на верный след? Во всяком случае, надо посмотреть на этого человека вблизи и разрешить загадку. Но мысль эта пришла ему в голову слишком поздно – человека уже не было. Он свернул в одну из боковых улочек, и Мариус не мог его найти. Эта встреча занимала Мариуса несколько дней, затем изгладилась из памяти. «По всей вероятности, – говорил он себе, – это простое сходство».

Глава 2

Находка

Мариус по-прежнему жил в лачуге Горбо. Никто не привлекал там его внимания.

Правда, к тому времени в лачуге не оставалось других жильцов, кроме него да тех самых Жондретов, за которых он как-то внес квартирную плату, ни разу, впрочем, не удосужившись поговорить ни с отцом, ни с матерью, ни с дочерьми. Остальные обитатели дома или выехали, или умерли, или были выселены за неплатеж.

Однажды, той же зимой, солнце выглянуло на минутку после полудня, и случилось это 2 февраля, в самое сретенье, коварное солнце которого, предвестник шестинедельных холодов, вдохновило Матье Ленсберга на следующее двестишье, ставшее прямо классическим:

Пусть светит солнце, пусть сияет, —
Медведь в берлогу уползает.

А Мариус только что выполз из своей берлоги. Смеркалось. Пора было идти обедать, ибо – увы, таково несовершенство самой идеальной любви! – пришлось опять начать обедать.

Он вышел из своей комнаты, у самого порога которой мамаша Бурчунья в эту минуту мела пол, произнося одновременно нижеследующий знаменательный монолог:

– Что нынче дешево? Все дорого. Дешево одно только горе. Вот его, горе-то, купишь прямо задаром!

Мариус медленно поднимался вверх по бульвару к заставе, направляясь на улицу Сен-Жак. Он шел задумавшись, понурился головой.

Вдруг он почувствовал, что кто-то толкнул его в полутьме. Он обернулся и увидел двух девушек в лохмотьях – одну высокую и худую, другую поменьше, которые, тяжело дыша, пронеслись мимо, словно от кого-то спасаясь в испуге: девушки бежали ему навстречу и, поравнявшись с ним, не заметив, задели. Несмотря на полумрак, Мариус разглядел их иссиня-бледные лица, распущенные, растрепанные волосы, уродливые чепчики, изорванные юбки, босые ноги. На бегу они разговаривали между собою. Та, что была выше ростом, приглушенным голосом рассказывала:

– Легавые пришли. Меня чуть было не зацапали.

– Я их заметила, – сказала другая. – И как припущу! Как припущу!

Из этого зловещего жаргона Мариус понял, что жандармы или полицейские едва не задержали обеих девочек и что девочкам удалось убежать.

Они скрылись под деревьями бульвара, позади Мариуса, где их фигуры, мелькнув белым пятном, через мгновение исчезли.

Мариус на минуту остановился.

Не успел он двинуться дальше, как заметил на земле у своих ног маленький пакет

сероватого цвета. Он нагнулся и поднял его. Это было что-то вроде конверта, содержавшего, по-видимому, какие-то бумаги.

«Верно, этот сверток обронули те несчастные создания», – подумал Мариус.

Он вернулся, стал звать их, но никто не откликнулся; решив, что они уже далеко, он положил пакет в карман и пошел обедать.

По дороге, в узком проходе на улице Муфтар, он увидел детский гробик под черным покрывалом, поставленный на три стула и освещенный свечой. Ему вспомнились две девушки, выросшие перед ним из полумрака.

«Бедные матери! – подумал он. – Есть нечто еще более печальное, нежели видеть смерть своих детей: это видеть их на дурном пути».

Потом эти тени, нарушившие однообразие его грустных мыслей, выскользнули у него из памяти, и он снова погрузился в привычную тоску. Он вновь предался воспоминаниям о шести месяцах любви и счастья, на вольном воздухе, под ярким солнцем, под чудесными деревьями Люксембургского сада.

– Как мрачна стала моя жизнь, – говорил он себе. – Девушки и теперь встречаются на моем пути, но только прежде это были ангелы, а теперь ведьмы.

Глава 3

Четырехликий

Вечером, раздеваясь перед сном, Мариус нащупал в кармане сюртука поднятый на бульваре пакет. Он совсем позабыл о нем. Он решил, что его следует вскрыть, – возможно, в нем окажется адрес девушек, если пакет действительно принадлежал им, и, уж во всяком случае, найдутся необходимые указания для возвращения этого свертка лицу, его потерявшему.

Мариус развернул конверт.

Он не был запечатан и содержал четыре письма, которые также не были запечатаны.

На письмах были проставлены адреса.

От всех четырех разило запахом скверного табака.

Первое письмо было адресовано: «Милостивой государыне госпоже маркизе де Грюшере на площади супротив палаты депутатов в доме №...»

Мариус подумал, что в письме могут встретиться нужные ему сведения, а поскольку оно не заклеено, не будет предосудительным и прочесть его. Оно содержало следующее:

«Милостивая государыня, маркиза!

Добрадетель милосердия и сострадания есть та добрадетель, которая крепче всякой иной спаивает общество. Исполнитесь христианского чувства и бросьте соболезный взгляд на горемычного испанца, жертву преданности и приверженности священному делу лигитимизма, за которое он заплатил своей кровью, отдал свое состояние и все прочее, чтобы защитить это дело, и теперь находится в страшной бедности. Он не сомневается, что Ваша милость не откажет ему в помощи и пожелает облегчить существование, крайни тягостное для образованного, благородного и покрытого множеством ран военного. Заранее рассчитываю на воодушевляющие Вас человеколюбие, равно как и на сочувствие, которое госпожа маркиза питает к столь нещасной нации. Наша просьба не останется щетной и наша признательность сохранит о ней самое приятное воспоминание.

*Примите уверение в искреннем почтении, с которым имею честь быть,
Милостивая государыня,*

Дон Альварес,

испанский капитан кабалерии, роялист, нашедший убежище во Франции, а в настоящее время возвращающийся на родину, но не имеющей средств продолжать путь».

Подпись не сопровождалась адресом. Мариус, надеясь найти адрес, взялся за второе письмо, на конверте которого стояло: «Милостивой государыне госпоже графине де Монверне, улица Касет, дом № 9».

Вот что прочел Мариус в этом письме:

«Милостивая государыня, графиня!

К Вам обращается несчастная мать семейства, мать шестерых детей, из коих младшему едва исполнилось восемь месяцев. С последних родов я все болею. Муж уже пять месяцев как бросил меня. Не имею никаких средств к жизни, нахожусь в ужасной нищете.

Уповаю на Ваше Сиятельство, остаюсь, милостивая государыня, с глубоким почтением

тетушка Бализар».

Мариус перешел к третьему письму; как и предыдущие, оно являлось просительным, и в нем можно было прочесть следующее:

«Г-ну Пабуржо, избирателю, владельцу оптовой торговли вязаными изделиями, что на углу улицы Сен-Дени и О-Фер.

Беру на себя смелость обратиться к Вам с настоящим письмом, с целью просить Вас ошачливить меня драгоценным своим расположением и с целью заинтересовать Вас судьбою литиратора, который недавно направил драму в театр-комедии. Сюжет ее исторический, а место действия – Овернь в эпоху Империи. Слог прост, локаничен и, мне думается, не лишен некоторых достоинств. В четырех местах в ней даются куплеты для пения. Комическое, серьезное и неожиданное сочитается в ней с разнообразием характеров и с легким романтическим налетом, окрашивающим всю интригу, которая, проделав запутанный путь развития, после ряда потрясающих перепитий и блестящих неожиданных сцен приводит к развязке.

Главной моей задачей является угадать все возрастающим требованиям современного человека, иными словами, угадать моде, этому капризному, причудливому флюгеру, который меняет положение при каждом дуновении ветра.

Несмотря на все эти достоинства, я имею основание опасаться, что вследствие зависти и себелюбия привилигированных авторов я окажусь отстраненным от театра, ибо мне ведомо, сколько огорчений выпадает на долю новичка.

Ваша заслуженная репутация просвещенного покровителя литираторов, г-н Пабуржо, внушает мне решимость послать к вам свою дочь, которая опишет Вам наше бедствинное положение, без куска хлеба и без топлива среди зимы. Обращаясь к Вам с покорнейшей просьбой разрешить мне посвятить Вам как настоящую драму, так и все будущие свои произведения, я хочу показать этим, сколь дорога мне честь находится под Вашим покровительством и украшать свои сочинения Вашим именем.

Если Вы соблаговолите почтить меня хотя бы самым скромным подношением, я тотчас примусь за сочинение стихотварения, дабы заплатить Вам дань своей признательности. Я постараюсь довести это стихотварение до наивозможного совершенства и пошлю его Вам еще до того, как оно появится напечатанным впереди драмы и будет произнесено со сцены.

Мое низжайшее почтение господину и госпоже Пабуржо.

Жанфло, литиратор.

P. S. Хотя бы 40 су.

Извините, что посылаю дочь, а не являюсь лично, но печальное состояние туалета, увы, не позволяет мне выходить...»

Наконец Мариус открыл четвертое письмо. Адрес его гласил: «Господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па». Оно содержало следующие немногие строки:

«Благодетель!

Если Вам угодно последовать за моей дочерью, Вы увидите картину бедствияного положения, а я представлю Вам свои документы.

При ознакомлении с этими бумагами Ваше благородное сердце исполнится чувства горячей симпатии, ибо всякому истинному философу ведомы сильные душевные движения.

Вы человек сострадательный, Вы поймете, что только самая жестокая нужда и необходимость хоть немного облигнуть ее могут заставить, как это ни мучительно, обращаться за подтверждением своей бедности к властям, словно нам не дозволено без этого страдать и умирать от истощения в ожидании, пока придет помощь. Судьба столь же немилослива к одним, сколь щедра и благосклонна к другим.

В ожидании Вашего посещения или вспомоществования, если Вам угодно будет оказать таковые, покорнейше прошу принять уверение в глубоком почтении, с каким имею честь быть Вашим,

муж доподлинно великадушный, низжайшим и покорнейшим слугой

П. Фабанту, драматический актер».

Прочитав эти четыре письма, Мариус ничуть не меньше прежнего оставался в неведении. Во-первых, ни один из подписавшихся не указал своего адреса.

Далее, все письма исходили как будто от четырех различных лиц – дона Альвареса, тетушки Бализар, поэта Жанфло и драматического актера Фабанту, а вместе с тем, как ни странно, все четыре были написаны одним и тем же почерком.

Какое же иное заключение напрашивалось отсюда, как не то, что все они исходят от одного лица?

В довершение – и это делало догадку еще более вероятной – все четыре были написаны на одинаковой грубой, пожелтевшей бумаге, от всех шел одинаковый табачный дух, и, несмотря на явные потуги разнообразить слог, во всех с безмятежным спокойствием повторялись одинаковые орфографические ошибки, и литератор Жанфло грешил ими ничуть не менее испанского капитана.

Трудиться над разгадкой этой тайны было бесполезно. Не окажись указанные письма неожиданной находкой, все это можно было бы принять за мистификацию. Мариус был в

слишком печальном настроении, чтобы откликнуться даже на случайную шутку и принять участие в игре, которую, как видно, хотела затеять с ним мостовая. Ему казалось, что у него завязаны глаза, а эти четыре письма играют с ним в жмурки и дразнят его.

Впрочем, ничто не указывало на то, что письма принадлежали девушкам, встреченным Мариусом на бульваре. Скорее всего, это были просто какие-то ненужные бумаги.

Мариус вложил их обратно в конверт, бросил пакет в угол и лег спать.

Около семи часов утра, не успев подняться, позавтракать и приняться за работу, как кто-то тихонько постучал к нему в дверь.

Он не имел никакого ценного имущества и лишь в очень редких случаях, когда у него бывала спешная работа, запирался на ключ. Больше того, даже уходя из дому, он оставлял ключ в замке. «Вас непременно обкрадут», – говорила мамаша Бурчунья. «А что у меня красть?» – отвечал Мариус. Тем не менее в один прекрасный день, к величайшему торжеству мамыши Бурчуньи, у него все же украли пару старых сапог.

В дверь снова постучали и опять так же тихо, как в первый раз.

– Войдите, – сказал Мариус.

Дверь отворилась.

– Что вам угодно, мамаша Бурчунья? – спросил Мариус, не отрывая глаз от книг и рукописей, лежавших перед ним на столе.

– Извините, сударь, – ответил чей-то незнакомый голос, но не голос мамыши Бурчуньи.

Это был глухой, надтреснутый, сдавленный, хриплый голос старого пьяницы, осипшего от спиртных напитков.

Мариус быстро обернулся и увидел девушку.

Глава 4

Роза в нищете

В полуотворенной двери стояла еще совсем юная девушка. Находившееся напротив двери окно каморки, за которым брезжил день, освещало ее фигуру беловатым светом. Это было худое, изможденное, жалкое создание, в одной рубашке и юбке прямо на голом теле, озябшем и дрожащем от холода, с бечевкой вместо пояса и с бечевкой в волосах. Острые плечи, резко выступавшие из-под рубашки, бледное, без признака румянца лицо, ключицы землистого цвета, красные руки, приоткрытый рот с бескровными губами, в котором уже не хватало зубов, тусклые, но дерзкие и хитрые глаза, сложение несформировавшейся девушки и взгляд развратной старухи: сочетание пятидесяти и пятнадцати лет. Словом, это было одно из тех слабых и вместе с тем страшных существ, вид которых если не внушает вам ужас, то вызывает слезы.

Мариус встал и, как остоленелый, смотрел на это существо, напоминавшее смутные образы, возникающие во сне.

Особенно тяжелое впечатление производило то, что от природы девушка вовсе не была уродливой. В раннем детстве она, наверное, была даже хорошенькой. Привлекательность юности еще и теперь боролась в ней с отвратительной преждевременной старостью, следствием разврата и нужды. Отблеск красоты угасал на этом шестнадцатилетнем лице, как на заре зимнего дня гаснет бледное солнце, обволакиваемое черными тучами.

Нельзя сказать, чтобы лицо ее было совсем незнакомо Мариусу. Ему казалось, что он где-то уже видел его.

– Что вам угодно, сударыня? – спросил он девушку.

– У меня письмо для вас, господин Мариус, – ответила она тем же голосом пьяного

каторжника.

Она назвала Мариуса по имени; у него не оставалось, таким образом, сомнения, что именно он и был ей нужен. Но кто же эта девушка? Откуда она знает, как его зовут?

Не дожидаясь приглашения, она вошла в комнату. Вошла решительно и с какой-то развязностью, от которой сжималось сердце, принялась все разглядывать в комнате, даже неубранную постель. Гостья была босая. Сквозь большие дыры в юбке виднелись ее длинные ноги с худыми коленями. Ее всю трясло от стужи.

В руке она и на самом деле держала письмо, которое протянула Мариусу.

Открывая письмо, Мариус заметил, что огромная, широкая облатка на конверте еще не высохла. Следовательно, послание не могло прийти издалека. Вот что он прочитал:

«Молодой человек, любезный мой сосед! Я узнал о вашей ко мне доброте, что полгода тому назад вы заплатили мой квартирный долг. Благословляю вас за это, молодой человек. Моя старшая дочь расскажет вам, что вот уже два дня как мы все четверо сидим без куска хлеба, а жена моя больна. Я думаю, что не заблуждаюсь, льстя себя надеждой, что ваше великадушное сердце разжалобится вследствие этого и внушит вам желание прийти мне на помощь и уделить малую толику от щедрот своих.

Остаюсь с искренним почтением, с каким и надлежит быть к благодетелям рода человеческого.

Жондрет.

P. S. Моя дочь будет ждать ваших распоряжений, дорогой г-н Мариус».

Письмо это сыграло в отношении загадочного случая, занимавшего Мариуса со вчерашнего вечера, роль свечи, зажженной в темном подвале. Все сразу прояснилось.

Письмо было одного происхождения с остальными четырьмя. Тот же почерк, тот же слог, то же правописание, та же бумага, тот же табачный запах.

Здесь имелось пять посланий, пять повествований, пять имен, пять подписей – и один отправитель. У испанского капитана дона Альвареса, у несчастной матери семейства Бализар, у драматического поэта Жанфло, у бывшего актера Фабанту – у всех четырех было одно имя: Жондрет, если только сам Жондрет действительно назывался Жондретом.

Мариус уже довольно давно жил в лачуге Горбо, но, как было сказано выше, ему очень редко случалось видеть даже мельком своих весьма жалких соседей. Его мысли были далеко, а где наши мысли – там и глаза. Вероятно, он не раз встречался с Жондретами в коридоре и на лестнице, но для него это были только тени. Он так мало уделял им внимания, что, столкнувшись накануне вечером на бульваре с дочерьми Жондрета – а это, несомненно, были они, – он не узнал их, и вошедшая девушка лишь с большим трудом пробудила в Мариусе вместе с жалостью и отвращением смутное воспоминание о том, что ему доводилось видеть ее и раньше.

Теперь все нашло свое объяснение. Мариус понял, что его сосед Жондрет, дойдя до крайней нищеты, стал злоупотреблять милосердием добрых людей, превратился в профессионала-попрошайку и, раздобывая адреса, под вымышленными именами писал письма различным лицам, которых считал богатыми и отзывчивыми, а его дочери разносили эти письма на свой страх и риск, ибо отец не останавливался перед тем, чтобы рисковать дочерьми. Он затеял игру с судьбой и ввел их в эту игру. По тому, как они убегали накануне, по их испугу, по прерывистому дыханию, по долетевшим до него словам воровского жаргона Мариус догадывался, что несчастные промышляли, видимо, еще каким-то темным ремеслом. Он понимал, что все эти обстоятельства при современном состоянии человеческого общества не

могли не привести к появлению в нем двух отверженных существ – ни девочек, ни девушек, ни женщин, – двух порожденных нищетой уродов, порочных и невинных одновременно.

То были жалкие создания, без имени, без возраста, без пола, одинаково равнодушные и к добру, и к злу, едва вышедшие из колыбели и уже утратившие все на свете: свободу, добродетель, чувство долга. Души, вчера распустившиеся, а сегодня поблекшие, подобны цветам, упавшим на мостовую и вянущим в грязи, пока их не раздавят колеса.

Между тем как Мариус стоял, устремив на девушку изумленный и печальный взгляд, та с бесцеремонностью привидения разгуливала по его мансарде. Движения девушки были порывисты, она несколько не стеснялась своей наготы. Ее незавязанная у ворота разорванная рубашка то и дело спускалась чуть ли не до пояса. Она передвигала стулья, беспорядочно переставляла на комод туалетные принадлежности, трогала одежду Мариуса, шарила по всем углам.

– Смотри-ка, да тут зеркало! – вдруг воскликнула она.

И стала напевать, словно была одна в комнате, игривые куплеты и отрывки из водевилей; исполняемые ее гортанным, хриплым голосом, они звучали заунывно. Но за всей этой наглостью ощущалась какая-то натянутость, беспокойство, робость. Бесстыдство порой скрывает стыд.

Трудно представить себе более грустное зрелище, чем эта резвящаяся и порхающая по комнате девушка, которая своими движениями приводила на память птицу, спугнутую дневным светом, или птицу с подбитым крылом. Чувствовалось, что при ином воспитании и иных условиях ее живая, непринужденная манера обращения не была бы лишена некоторой приятности и привлекательности. В мире животных существо, рожденное голубкой, никогда не превращается в орлана. Это можно наблюдать только среди людей.

Мариус, отдавшись своим мыслям, не мешал ей.

Она подошла к столу.

– Ах, книги! – сказала она.

В тусклых глазах ее блеснул огонек.

– Я тоже умею читать, – добавила она. И в тоне ее слышалась радость, что у нее тоже есть чем похвалиться, – стремление, не чуждое ни одному человеческому существу.

Она торопливо схватила со стола раскрытую книгу и довольно бегло прочла:

– «...Генерал Бодюэн получил приказ занять с пятью батальонами своей бригады замок Гугомон, расположенный посреди равнины Ватерлоо...»

Она остановилась.

– А, Ватерлоо! Это мне знакомо. Было такое сражение когда-то давно-давно. Отец в нем участвовал. Отец служил в императорской армии. Мы все отчаянные бонапартисты, знай наших! Ватерлоо – там дрались с англичанами.

Она положила книгу и, взяв перо, воскликнула:

– И писать я тоже умею!

Затем обмакнула перо в чернила и, обернувшись к Мариусу, спросила:

– Хотите взглянуть? Я напишу что-нибудь.

И прежде чем он успел ответить, она написала на лежавшем посреди стола чистом листе бумаги: «Легавые пришли».

– Ошибок нет, – бросив перо, заявила она. – Можете проверить. Нас с сестрой учили. Мы не всегда были такими, как сейчас. Нас не к тому готовили, чтобы...

Она умолкла, остановила угасший взгляд на Мариусе и, расхохотавшись, произнесла тоном, в котором слышалась заглушенная цинизмом скорбь:

– Э-эх!

И тотчас принялась напевать на мотив веселой песенки:

Голодно, папаша,
В доме хлеба нету.
Холодно, мамаша,
Мы совсем раздеты.
Дрожи,
Нанетта,
Рыдай,
Жанетта!

Едва закончив куплет, она снова заговорила:

– Вы ходите когда-нибудь в театр, господин Мариус? А я хожу. У меня есть братишка, он дружит с актерами и, случается, приносит мне билеты. Только я не люблю мест на галерее, там тесно, неудобно. Туда ходит простая публика, а иной раз и такая, от которой плохо пахнет.

Затем она пристально, с каким-то странным выражением взглянула на Мариуса и сказала:

– А знаете, господин Мариус, вы настоящий красавчик!

И в ту же минуту у обоих мелькнула одна и та же мысль, заставившая его вспыхнуть, а ее улыбнуться.

Она подошла и положила ему руку на плечо.

– Вы не обращаете на меня никакого внимания, – продолжала она, – а ведь я вас знаю, господин Мариус. Я встречала вас здесь на лестнице, потом, когда гуляла близ деревни Аустерлиц, несколько раз видела, как вы заходили к какому-то старику по имени Мабеф, что живет там. А растрепанные волосы вам очень идут.

Она старалась придать своему голосу самое нежное выражение, но ничего, кроме шепота, у нее не получалось. Часть слов пропадала на пути между гортанью и губами, как звуки на клавиатуре, где не хватает клавиш.

Мариус тихонько отодвинулся.

– У меня тут пакет, – сказал он обычным своим холодным тоном. – Я полагаю, что он принадлежит вам, барышня. Разрешите вернуть его.

И он протянул ей конверт, заключающий четыре письма.

Она захлопала в ладоши и воскликнула:

– И где мы только его не искали!

Затем быстро схватила пакет и развернула его, приговаривая:

– Господи боже мой! А мы-то с сестрой просто обыскались! Так это вы его нашли? И на бульваре, наверное? Не иначе, как на бульваре. Видите ли, он выпал, когда мы бежали. Это все по глупости моей сестренки. А когда вернулись, уже ничего не нашли. И так как мы не хотели, чтобы нас поколотили, нам это вовсе без надобности, совершенно без надобности, мы сказали домашним, что разнесли письма, но всюду получили шиш! Вот они, мои голубчики! А почему вы догадались, что они принадлежат мне? Впрочем, понятно – по почерку! Значит, это мы на вас налетели вчера, когда бежали? Ничего нельзя было разглядеть в такой темени! Я спросила сестру: «Это кто – мужчина?» А сестра говорит: «Как будто мужчина».

Тем временем она вынула из пакета слезницу, адресованную «Г-ну благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па».

– Ага, это к тому старикашке, что ходит к обедне. Очень кстати. Пойду снесу, может быть, он даст нам на завтрак.

И, снова засмеявшись, пояснила:

– Знаете, что будет означать, если мы сегодня позавтракаем? Да то, что нынче утром мы съедем позавчерашний завтрак, позавчерашний обед, вчерашний завтрак, вчерашний обед – и все в один присест! Так-то! Черт поberi! А ежели вам этого мало, так и подышайте, собаки!

Это напомнило Мариусу о цели прихода несчастной.

Он порылся в жилетном кармане, но ничего не нашел.

А девушка все не умолкала, как будто совсем позабыв о присутствии Мариуса:

– Я иной раз ухожу с вечера. Иной раз до утра не возвращаюсь. Прошлой зимой, прежде чем переселиться сюда, мы жили под мостами. Чтобы не замерзнуть, бывало, прижмемся друг к другу. Сестренка плачет. Ох уж эта вода! Какая от нее тоска! Вздумаешь утопиться и скажешь себе: «Нет, уж очень она холодная». Я хожу совсем одна, когда взбредет в голову. Иной раз ночью в канавах. Знаете, когда идешь ночью по бульвару, чудится, что деревья рогатые, как вилы, а дома черные, огромные, как башни собора Богоматери, и мерещится, будто белые стены – это река, и говоришь себе: «Гляди-ка, там вода!» Звезды, как плошки на иллюминации, – кажется, что они чадят и что ветер задувает их; а сама идешь словно одурелая, в ушах точно лошадиный храп стоит; и хотя ночь – слышатся то звуки шарманки, то шум прядильной машины, то еще невесть что. Все представляется, что в тебя бросают камнями, и бежишь без памяти, и все кружится, кружится перед глазами. Так чудно бывает, когда долго не ешь.

И она окинула его блуждающим взглядом.

Хорошенько обыскав свои карманы, Мариус наскреб в конце концов пять франков шестнадцать су. Это было все его богатство. «На обед сегодня мне, во всяком случае, хватит, – подумал он, – а завтра будет видно». И оставив себе шестнадцать су, он пять франков отдал девушке.

Она схватила монету.

– Здорово! Вот нам и засветило солнышко! – воскликнула она.

И словно это солнышко обладало свойством растоплять снежные лавины воровского жаргона в ее мозгу, она затараторила:

– Пять франков! Рыжик! Лобанчик! Да в такой дыре! Красота! А вы душка-малёк! Просто втюриться. Браво, блатари! Двое суток лопай, жри, – жареного, пареного! Ешь, пей сколько влезет!

Она натянула на плечо рубашку, отвесила Мариусу низкий поклон, дружески помахала ему рукой и направилась к двери, бросив:

– До свидания, сударь. Все равно. Пойду к своему старикашке.

Проходя мимо комода, она заметила валявшуюся там в пыли заплесневевшую корку хлеба, с жадностью схватила ее и принялась грызть, бормоча:

– Какая вкусная! Какая жесткая! Прямо все зубы ломаешь!

Потом ушла.

Глава 5

Потайное оконце, указанное провидением

В течение пяти лет Мариус жил в бедности, в лишениях и даже в нужде, но теперь он убедился, что настоящей нищеты не знал. Впервые настоящую нищету он увидел сейчас. Это ее призрак промелькнул перед ним. И на самом деле, тот, кто видел в нищете только мужчину, ничего не видел, – надо видеть в нищете женщину; тот, кто видел в нищете только женщину, ничего не видел, – надо видеть в нищете ребенка.

Дойдя до последней крайности, мужчина, уже не разбираясь, хватается за самые крайние

средства. Горе беззащитным существам, его окружающим! У него нет более ни работы, ни заработка, ни хлеба, ни топлива, ни бодрости, ни доброй воли; он сразу лишается всего. Вовне как бы гаснет дневной свет, внутри – светоч нравственный. В этой тьме мужчине попадаются двое слабых – женщина и ребенок, и он с яростью толкает их на позор.

Тогда возможны любые ужасы. Только хрупкие преграды отделяют отчаяние от порока или преступления.

Здоровье, молодость, честь, святое, суровое целомудрие еще юного тела, сердце, девственность, стыдливость – эта эпидерма души, – все безжалостно попирается здесь в поисках средств спасения, и когда таким средством оказывается бесчестье, принимают и его. Отцы, матери, дети, братья, сестры, мужчины, женщины, девушки – все они в этом сумрачном смешении полов, возрастов, родства, разврата и невинности образуют единую массу, по плотности напоминающую минерал. На корточках, спина к спине, теснятся они в какой-нибудь конуре, куда забросит их судьба, украдкой кидая друг на друга унылый взгляд. О несчастные! Как они бледны, как издрогли! Можно подумать, что они на другой планете, гораздо дальше от солнца, нежели мы.

Девушка явилась для Мариуса чем-то вроде посланницы мрака.

Она открыла ему новую, отвратительную сторону ночи.

Мариус готов был винить себя за то, что слишком много занимался мечтами и любовью, которые мешали ему до сих пор обращать внимание на соседей. А если он и заплатил за них квартирную плату, то это был безотчетный порыв, – каждый на его месте повиновался бы такому порыву; но от него, Мариуса, требовалось большее. Как! Только стена отделяла его от этих заброшенных существ, которые ощупью пробирались в ночном мраке, находясь вне человеческого общества; он жил бок о бок с ними, и он, именно он, был, так сказать, последним звеном, связующим их с остальным миром. Он слышал их дыхание, или, вернее, хрипение, рядом с собою и не замечал этого! Ежедневно, ежеминутно слышал он через стену, как они ходят, уходят, приходят, разговаривают, но оставался ко всему этому глух. В речах их звучал стон, но до него это даже не доходило. Его мысли были поглощены иным: грезами, несбыточными мечтами, недостижимой любовью, безумствами, а между тем человеческие создания, его братья во Христе, его братья в народе, умирали рядом с ним. Умирали напрасно! И он до некоторой степени являлся как бы причиной их несчастия, усугублял его. Ибо будь у них другой сосед, не такой фантазер, как он, а человек внимательный, простой и отзывчивый, – разумеется, их нищета не осталась бы незамеченной, грозящая им опасность была бы обнаружена, и, наверно, они уже давным-давно были бы призрены и спасены! Правда, они производили впечатление развращенных, безнравственных, грубых и даже омерзительных созданий, но редко бывает, чтобы, впад в нищету, человек не опустился; к тому же существует грань, за которой стирается различие между несчастными и нечестными людьми. И тех и других можно определить одним словом – роковым словом «отверженные». Кого же винить в этом? И разве милосердие не должно проявляться с особенной силой именно там, где особенно глубоко падение?

Читая себе эту мораль – ибо, как всякому подлинно честному человеку, ему случалось выступать в роли собственного наставника и бранить себя даже больше, чем он того заслуживал, – Мариус не отрывал взгляда, полного сострадания, от стенки, отделявшей его от Жондретов, словно пытаясь проникнуть взором за перегородку и согреть им этих несчастных. Стенка состояла из брусков и дранок, покрытых тонким слоем штукатурки, и, как мы уже сказали, через нее было слышно каждое слово, каждый звук. Мало было быть мечтателем Мариусом, чтобы раньше не заметить этого. Стенка не была оклеена обоями ни со стороны, выходившей к Жондретам, ни со стороны комнаты Мариуса; все грубое ее устройство было на

виду. Не давая себе в том отчета, Мариус пристально разглядывал перегородку; мечтая, можно иногда исследовать, наблюдать и изучать не хуже, чем размышляя. Вдруг он поднялся. Наверху, у самого потолка, он заметил треугольную щель между тремя дранками. Штукатурка, которою было заделано отверстие, осыпалась, и, встав на комод, можно было заглянуть сквозь эту дыру в комнату Жондретов. В известных случаях сострадание не только может, но и должно обнаруживать любопытство. Эта щель являлась как бы потайным оконцем. Нет ничего недозволенного в том, чтобы быть соглядатаем чужого несчастья, если хочешь помочь. «Надо взглянуть, что это за люди и что у них там творится», – подумал Мариус.

Он взобрался на комод, приложил глаз к скважине и стал смотреть.

Глава 6

Хищник в своем логове

В городах, как в лесах, есть трущобы, где прячется все самое коварное, все самое страшное. Но то, что прячется в городах, свирепо, гнусно и ничтожно – иначе говоря, безобразно; а то, что прячется в лесах, свирепо, дико и величаво – иначе говоря, прекрасно. И тут и там берлоги, но звериные берлоги заслуживают предпочтения перед человеческими. Пещеры лучше вертепов.

Именно вертеп и увидел Мариус.

Мариус был беден, и комната его была убога, но бедность его была благородна, под стать ей была опрятна и его мансарда. А жилье, куда проник его взгляд, было отвратительно: смрадное, запачканное, загаженное, темное, гадкое. Соломенный стул, колченогий стол, несколько битых склянок, две неописуемо грязные постели по углам – вот и вся мебель; четыре стеклышка затянутого паутиной слухового оконца – вот и все освещение. Дневных лучей через оконце проникало как раз столько, сколько нужно для того, чтобы человеческое лицо казалось лицом призрака. Стены были словно изъязвлены – все в струпьях и рубцах, как физиономия, обезображенная какой-нибудь ужасной болезнью. Сырость сочилась из них, подобно гною. Всюду виднелись намазанные углем непристойные рисунки.

В комнате, снимаемой Мариусом, был, правда, выщербленный, но все же кирпичный пол, тут же не было ни плиток, ни дощатого настила, ходили прямо по обмазанному глиной ветхому перекрытию чердака, почерневшему под ногами. На этой неровной, густо покрытой въевшейся в нее пылью поверхности, нетронутость которой щадил только веник, причудливыми созвездиями располагались старые башмаки, домашние туфли, замызганное тряпье; впрочем, в комнате был камин, поэтому-то она и сдавалась за сорок франков в год. А в камине можно было увидеть все, что угодно: жаровню, кастрюлю, сломанные доски, лохмотья, свисавшие с гвоздей, птичью клетку, золу и даже еле теплившееся пламя. Уныло чадили две головы.

Еще страшнее чердак этот выглядел оттого, что был он огромен. Всюду выступы, углы, черные провалы, стропила, какие-то заливы, мысы, ужасные, бездонные ямы в закоулках, где, казалось, должны были таиться пауки величиной с кулак, мокрицы длиной в ступню, а может быть, даже и какие-нибудь человекообразные чудовища.

Одна кровать стояла у двери, другая у окна. Обе упирались в стенки камина и находились как раз против Мариуса.

В углу, недалеко от отверстия, через которое смотрел Мариус, на стене висела раскрашенная гравюра в черной деревянной рамке, а внизу гравюры крупными буквами стояло: СОН. Гравюра изображала спящую женщину и ребенка, спящего у нее на коленях; над ними в облаках парил орел с короной в когтях, и женщина, не пробуждаясь, отстраняла корону от головы ребенка; в глубине, окруженный сиянием, стоял Наполеон; опираясь на лазоревую колонну с желтой капителью, украшенную такой надписью:

Моренго
Аустерлис
Йена
Баграм
Элоу

Под гравюрой на полу была прислонена к стене какая-то широкая доска, нечто вроде деревянного панно. Она походила на перевернутую картину, на подрамник с какой-нибудь мазней на обратной стороне, на снятое со стены зеркало, которое никак не соберутся опять повесить.

За столом, на котором Мариус заметил ручку, чернила и бумагу, сидел человек лет шестидесяти, низенький, сухопарый, угрюмый, с бескровным лицом, с хитрым, жестоким, беспокойным взглядом; на вид – отъявленный негодяй.

Лафатер, увидев такое лицо, определил бы его как помесь грифа с сутягой; пернатый хищник и человек-крючкотвор, дополняя друг друга, усиливали свое уродство, ибо черты крючкотвора придавали хищнику нечто подлое, а черты хищника крючкотвору – нечто страшное.

У человека, сидевшего за столом, была длинная седая борода. Он был в женской рубашке, обнажавшей его волосатую грудь и голые руки, заросшие седой щетиной. Из-под рубашки виднелись грязные штаны и дырявые сапоги, из которых торчали пальцы.

Во рту он держал трубку, он курил. Хлеба в берлоге уже не было, но табак еще был.

Он что-то писал – вероятно, письмо вроде тех, которые читал Мариус.

На краю стола лежала растрепанная старая книга в красноватом переплете; старинный, в двенадцатую долю листа, формат изданий библиотек для чтения указывал на то, что это роман. На обложке красовалось название, крупно напечатанное прописными буквами: «БОГ, КОРОЛЬ, ЧЕСТЬ и ДАМЫ, СОЧИНЕНИЕ ДЮКРЕДЮМИНИЛЯ. 1814 г.».

Старик писал, разговаривая сам с собой, и до Мариуса долетали его слова:

– Подумать только, что равенства нет даже после смерти! Прогуляйтесь-ка по Пер-Лашез! Вельможи, богачи покоятся на пригорке, на замощенной и обсаженной акациями аллее. Они могут прибыть туда в катафалках. Мелюзгу, голытьбу, незадачливых – чего с ними церемониться! – закапывают в низине, где грязь по колено, в яминах, в слякоти. Закапывают там, чтобы поскорее сгнили! Пока дойдешь туда к ним, сто раз в землю провалишься.

Он остановился, ударил кулаком по столу и, скрежеща зубами, прибавил:

– Так бы и перегрыз всем горло!

У камина, поджав под себя голые пятки, сидела толстая женщина, которой по виду могло быть и сорок и сто лет.

Она тоже была в одной рубашке и в вязаной юбке с заплатами из потертого сукна. Юбку наполовину прикрывал передник из грубого холста. Хотя женщина и съежилась и согнулась в три погибели, все же было видно, что она очень высокого роста. Рядом с мужем она казалась великаншей. У нее были безобразные рыжевато-соломенные с проседью волосы, в которые она то и дело запускала свои толстые лоснящиеся пальцы с плоскими ногтями.

Рядом с ней на полу валялась открытая книга такого же формата, что и лежавшая на столе, – вероятно, продолжение романа.

На одной из постелей Мариус заметил полураздетую мертвенно-бледную долговязую девочку, которая сидела, свесив ноги, и, казалось, ничего не слышала, не видела, не дышала.

Это, несомненно, была младшая сестра приходившей к нему девушки.

На первый взгляд ей можно было дать лет одиннадцать-двенадцать. Но присмотревшись, вы убеждались, что ей не меньше четырнадцати. Это была та самая девочка, которая накануне вечером говорила на бульваре:

«А я как припущу! Как припущу!»

Она принадлежала к той хилой породе, что долго отстаёт в развитии, а потом вырастает внезапно и сразу. И именно нищета – рассадник этой жалкой людской поросли. У подобных существ нет ни детства, ни отрочества. В пятнадцать лет они выглядят двенадцатилетними, в шестнадцать – двадцатилетними. Сегодня – девушка, завтра – женщина. Они как будто нарочно бегут бегом по жизни, чтобы поскорей покончить с нею.

Сейчас это создание казалось ещё ребенком.

В комнате ничто не говорило о труде: не было в ней ни станка, ни прялки, ни инструмента. В углу валялся какой-то подозрительный железный лом. Здесь царила та угрюмая лень, что является спутницей отчаяния и предвестницей смерти.

Мариус несколько минут рассматривал эту мрачную комнату, более страшную, нежели могила, ибо чувствовалось, что тут ещё содрогается человеческая душа, ещё трепещет жизнь.

Чердак, подвал, подземелье, где у самого подножия социальной пирамиды копошатся бедняки, – это ещё не усыпальница, а преддверие к ней; но, подобно богачам, стремящимся с особым великолепием убрать вход в свои чертоги, смерть, всегда стоящая рядом с нищетой, нагромождает самую беспросветную нужду у этих врат своих.

Старик умолк, женщина не произносила ни слова, девушка, казалось, не дышала. Слышался только скрип пера.

Старик проворчал, не переставая писать:

– Сволочь! Сволочь! Кругом одна сволочь!

Сей вариант Соломоновой сентенции вызвал у женщины вздох.

– Успокойся, дружок, – промолвила она. – Не огорчайся, душенька. Все эти людишки не стоят того, чтобы ты писал им, муженек.

В бедности, точно в холод, люди жмутся друг к другу, но сердца их отдаляются. По всему было видно, что женщина эта когда-то любила мужа со всею заложенной в ней способностью любви; но в повседневных взаимных попреках, под тяжестью страшных невзгод, придавивших семью, все, должно быть, угасло. Сохранился лишь пепел нежности. Однако ласкательные прозвища, как часто случается, пережили чувство. Уста говорили: «душенька, дружок, муженек» и т. д., а сердце молчало.

Старик снова принялся писать.

Глава 7

Стратегия и тактика

С тяжелым сердцем Мариус собрался уже было спуститься со своего импровизированного наблюдательного пункта, когда внимание его привлек какой-то шум; это удержало его на месте.

Дверь чердака внезапно распахнулась.

На пороге появилась старшая дочь.

Она была обута в грубые мужские башмаки, запачканные грязью, забрызгавшей ее до самых лодыжек, покрасневших от холода, и куталась в старый дырявый плащ, которого Мариус еще час тому назад на ней не видел; она, очевидно, оставила его тогда за дверью, чтобы внушить к себе большее сострадание, а потом, должно быть, снова накинула. Она вошла, хлопнула дверью, остановилась, чтобы перевести дух, потому что совсем запыхалась, и только после этого

торжествующе и радостно крикнула:

– Идет!

Отец поднял глаза, мать подняла голову, а сестра не шелохнулась.

– Кто идет? – спросил отец.

– Тот господин.

– Филантроп?

– Да.

– Из церкви Сен-Жак?

– Да.

– Тот самый старик?

– Да.

– И он придет?

– Сейчас. Следом за мной.

– Ты уверена?

– Уверена.

– На самом деле придет?

– Едет в наемной карете.

– В карете! Да это настоящий Ротшильд!

Отец встал.

– Почему ты так уверена? Если он едет в карете, то почему же ты очутилась здесь раньше?

Дала ты ему по крайней мере адрес? Сказала, что наша дверь в самом конце коридора, направо последняя? Только бы он не перепутал! Значит, ты его застала в церкви? Прочел он мое письмо? Что он тебе сказал?

– Та-та-та! Не надо пороть горячку, старина, – ответствовала дочка. – Слушай, вхожу я в церковь; благодетель на своем обычном месте; отвешиваю реверанс и подаю письмо; он читает и спрашивает: «Где вы живете, дитя мое?» – «Я провожу вас, сударь», – говорю я. А он: «Нет, дайте ваш адрес, моя дочь должна сделать кое-какие покупки, я найму карету и приеду одновременно с вами». Я ему даю адрес. Когда я назвала дом, он словно бы удивился и как будто поколебался, а потом сказал: «Все равно я приеду». Служба окончилась, я видела, как они с дочкой вышли из церкви, видела, как сели в фиакр, и я, конечно, не забыла сказать, что наша дверь последняя в конце коридора, справа.

– Откуда же ты взяла, что он приедет?

– Я сию минуточку видела фиакр, он свернул с Малой Банкирской улицы. Вот я и пустилась бегом.

– А кто тебе сказал, что это тот самый фиакр?

– Да ведь я же заметила номер!

– Ну-ка, скажи какой?

– Четыреста сорок.

– Так. Ты, девка, не дура.

Девушка дерзко взглянула на отца и, показав на свои башмаки, проговорила:

– Может быть, и не дура, да только не надену больше этих дырявых башмаков, очень они мне нужны, – во-первых, в них простудиться можно, а потом и грязища надоела. До чего противно слышать, как эти размокшие подошвы чавкают всю дорогу – чав, чав, чав! Буду уж лучше ходить босиком.

– Верно, – ответил отец кротким голосом, в противоположность грубому тону дочери, – но ведь тебя иначе не пустят в церковь. Бедняки обязаны иметь обувь. К господам богу вход босиком воспрещен, – добавил он желчно. Затем, возвращаясь к занимавшему его предмету, спросил: –

Так ты уверена, вполне уверена, что он придет, а?

– За мной по пятам едет, – сказала она.

Старик выпрямился. Лицо его словно озарилось сиянием.

– Слышишь, жена? – крикнул он. – Наш филантроп сейчас будет тут. Гаси огонь.

Мать, опешив, не двигалась с места.

Отец с ловкостью фокусника схватил стоявший на камине кувшин с отбитым горлышком и плеснул воду на головы.

Затем, обращаясь к старшей дочери, приказал:

– Тащи-ка солому из стула!

Дочь не поняла.

Тогда, схватив стул, он ударом каблука выбил соломенное сиденье. Нога прошла насквозь.

– На дворе холодно? – спросил он у дочери, вытаскивая ногу из пробитого сиденья.

– Очень холодно. Снег валит.

Он обернулся к младшей дочери, сидевшей на кровати у окна, и заорал громовым голосом:

– Живо! Слезай с кровати, лентяйка! От тебя никогда проку нет! Выбивай стекло!

Девочка, дрожа, прыгнула с кровати.

– Выбивай стекло, – повторил он.

Она застыла в изумлении.

– Слышишь, что тебе говорят? Выбей стекло! – снова крикнул отец.

Девочка с какой-то пугливой покорностью встала на цыпочки и кулаком ударила в окно.

Стекло с шумом разлетелось на мелкие осколки.

– Хорошо, – сказал отец.

Он был сосредоточен и решителен. Быстрый взгляд его обежал все закоулки чердака.

Ни дать ни взять, полководец, отдающий последние распоряжения перед битвой.

Мать, еще не произнесшая ни звука, встала и спросила таким тягучим и глухим голосом, будто слова застывали у нее в горле:

– Что это ты задумал, голубчик?

– Ложись в постель! – последовал ответ.

Тон, каким это было сказано, не допускал возражения. Жена повиновалась и грузно свалилась на кровать. В это время в углу послышался плач.

– Что там еще? – закричал отец.

Младшая дочь, не выходя из темного закутка, куда забилась, показала окровавленный кулак. Она поранила руку, разбивая стекло; тихонько всхлипывая, она подошла к кровати матери.

Тут наступил черед матери. Она вскочила с криком:

– Полюбуйся! А все твои глупости! Она из-за тебя порезалась.

– Тем лучше, это было мною предусмотрено, – сказал муж.

– Как? Тем лучше? – завопила женщина.

– Молчать! Я отменяю свободу слова, – объявил отец.

Затем, оторвав от надетой на нем женской рубашки холщовый лоскут, он наспех обмотал им кровоточившую руку девочки.

Покончив с этим, он с удовлетворением посмотрел на свою изорванную рубашку.

– Рубашка тоже в порядке. Все выглядит как нельзя лучше.

Ледяной ветер свистел в окне и врвался в комнату. С улицы вползал туман и расстилался повсюду; казалось, чьи-то невидимые пальцы незаметно затягивают комнату белесой ватой. Через разбитое окно было видно, как падает снег. Холод, который предвещало накануне солнце сретенья, и в самом деле наступил.

Старик огляделся, словно желая удостовериться, нет ли каких-либо упущений. Взяв старую лопату, он забросал золой залитые водой головни, чтобы их совсем не было видно. Затем, выпрямившись и прислонившись спиной к камину, сказал:

– Ну, теперь мы можем принять нашего филантропа.

Глава 8

Луч света в притоне

Старшая дочь подошла к отцу, взяла его за руку и сказала:

– Пощупай, как я озябла!

– Подумаешь, я озяб еще больше, – ответил отец.

Мать запальчиво крикнула:

– Ну конечно, у тебя всегда всего больше, чем у других, даже худого!

– Заткнись! – сказал муж.

Он бросил на нее такой взгляд, что она замолчала.

На минуту наступила тишина. Старшая дочь хладнокровно счищала грязь с подола плаща, младшая продолжала всхлипывать; мать обхватила руками ее голову и, покрывая поцелуями, приговаривала тихонько:

– Ну, перестань, мое сокровище, прошу тебя, это скоро заживет, не плачь, а то рассердишь отца.

– Наоборот, плачь, плачь! Так и надо! – крикнул отец.

Затем обратился к старшей:

– Вот дьявольщина, его все нет! А вдруг он и вовсе не пожалует к нам? Зря, выходит, я затушил огонь, продавил стул, разорвал рубаху и разбил окно.

– И дочурку поранил! – прошептала мать.

– Известно ли вам, – продолжал отец, – что на нашем чертовом чердаке собачий холод? Ну, а если этот субъект возьмет и не придет? Ах, вот оно что! Он заставляет себя ждать! Он думает: «Подождут! Для того и существуют!» О, как я их ненавижу! С какой радостью, ликованием, восторгом и наслаждением я передушил бы всех богачей! Всех этих богачей! Этих так называемых благотворителей, сладкоречивых ханжей, которые ходят к обедне, перенимают поповские замашки, пляшут по поповской указке, рассказывают поповские сказки и воображают, что они люди высшей породы. Они приходят унижить нас! Одарить нас одеждой! По-ихнему, эти обноски, которые не стоят и четырех су, – одежда! Одарить хлебом! Не это мне нужно, сволочи! Денег, денег давайте! Но их-то никогда и не увидишь! Потому что мы, видите ли, пропьем их, потому что мы пьянчуги и лодыри! А сами-то! Сами-то что собой представляют и кем сами прежде были? Ворами! Иначе не разбогатели бы! Не плохо было бы схватить все человеческое общество, как скатерть, за четыре угла и встряхнуть хорошенько! Все бы перебилось, наверно, зато по крайней мере ни у кого ничего не осталось бы, вот в чем барышня! Да куда же запропастился твой господин благотворитель, поганое его рыло? Может быть, адрес позабыл, скот этакий? Бьюсь об заклад, что старая образина...

Тут в дверь легонько постучались. Жондрет бросился к ней, распахнул и, низко кланяясь и подобострастно улыбаясь, воскликнул:

– Входите, сударь! Окажите честь войти, мой глубокочтимый благодетель, а также и ваша прелестная барышня.

На пороге появился мужчина зрелых лет и юная девушка.

Мариус не покидал своего наблюдательного поста. То, что он пережил в эту минуту, не в силах передать человеческий язык.

То была Она.

Тому, кто любил, понятен весь лучезарный смысл коротенького слова «Она».

Действительно, то была она. Мариус с трудом различал ее сквозь светящуюся дымку, внезапно заставшую ему глаза. Перед ним было то нежное и утерянное им создание, та звезда, что светила ему полгода. Это были ее глаза, ее лоб, ее уста, ее прелестное, скрывшееся от него личико, с исчезновением которого все погрузилось во мрак. Видение пропало и вот – появилось вновь.

Появилось во тьме, на чердаке, в гнусном вертепе, среди этого ужаса!

Мариус весь дрожал. Как! Неужели это она! От сердцебиения у него темнело в глазах. Он чувствовал, что вот-вот разрыдается. Как! Он видит ее наконец, после стольких поисков! Ему казалось, что он вновь обрел свою утраченную душу.

Девушка нисколько не переменилась, только, пожалуй, немного побледнела; фиолетовая бархатная шляпка обрамляла ее тонкое лицо, черная атласная шубка скрывала фигуру. Из-под длинной юбки виднелась ножка, затянутая в шелковый полусапожок.

Девушку, как всегда, сопровождал г-н Белый.

Она сделала несколько шагов по комнате и положила на стол довольно большой сверток.

Старшая девица Жондрет спряталась за дверью и угрюмо смотрела оттуда на бархатную шляпку, атласную шубку и очаровательное, радующее взгляд личико.

Глава 9

Жондрет чуть не плачет

В конуре было так темно, что всякий входивший с улицы испытывал такое чувство, словно очутился в погребе. Оба посетителя подвигались поэтому как-то нерешительно, еле различая смутные очертания окружавших их фигур, а обитатели чердака, привыкшие к этому сумраку, разглядывая вновь прибывших, видели их совершенно ясно.

Господин Белый подошел к Жондрету и, устремив на него свой грустный и добрый взгляд, сказал:

– Сударь, здесь в свертке вы найдете новое носильное платье, чулки и шерстяные одеяла.

– Посланец божий, благодетель наш! – воскликнул Жондрет, кланяясь до земли.

Затем, пока посетители рассматривали убогое жилье, он, нагнувшись к самому уху старшей дочери, скороговоркой прошептал:

– Ну? А что я говорил? Обноски! А денюжки где? Все эти господа на один манер! Кстати, как было подписано письмо к этому старому дуралею?

– Фабанту, – отвечала дочь.

– Драматический актер, великолепно.

Жондрет осведомился вовремя, ибо в ту же секунду г-н Белый обернулся к нему и сказал с таким видом, с каким обычно стараются припомнить фамилию собеседника:

– Вижу, что вы в плачевном положении, господин...

– Фабанту, – быстро подхватил Жондрет.

– Господин Фабанту, да, так... Вспомнил.

– Драматический актер, сударь, некогда пожинавший лавры.

Тут Жондрет, очевидно, решил, что настал самый подходящий момент для натиска на «филантропа».

– Я ученик Тальма, сударь! – воскликнул он, и в голосе его прозвучало и бахвальство ярмарочного фигляра, и самоуничижение нищего с проезжей дороги. – Ученик Тальма! И мне

улыбалась некогда фортуна. Увы! Пришел черед беде. Сами видите, благодетель мой, нет ни хлеба, ни огня. Нечем обогреть бедных моих деток. Один-единственный стул, и тот сломан! Разбитое окно, и в такую-то погоду! Супруга в постели! Больна!

– Бедняжка! – сказал г-н Белый.

– И дочурка поранилась! – добавил Жондрет.

Девочка, отвлеченная приходом чужих, засмотрелась на «барышню» и перестала всхлипывать.

– Плачь! Реви! – сказал ей тихо Жондрет и ущипнул за больную руку. Все это он проделал с проворством настоящего жулика.

Девочка громко заплакала.

Прелестная девушка, которую Мариус в душе звал «моя Урсула», подбежала к ней со словами:

– Бедная детка!

– Взгляните, любезная барышня, – продолжал Жондрет, – у нее вся кисть в крови! Несчастный случай – попала в машину, на которой она работает за шесть су в день. Возможно, придется отнять всю руку!

– Неужели? – встревоженно спросил старик.

Девочка, приняв слова отца за правду, начала всхлипывать еще сильнее.

– Увы, это так, благодетель! – ответил папаша.

Уже несколько секунд Жондрет с каким-то странным выражением всматривался в «филантропа». Не переставая говорить, он, казалось, внимательно изучал его, словно стараясь что-то вспомнить. Вдруг, воспользовавшись минутой, когда посетители участливо расспрашивали девочку о пораненной руке, он подошел к лежавшей в постели жене, лицо которой изображало тупое уныние, и торопливо шепнул:

– Вглядись-ка в него получше!

Затем, обернувшись к г-ну Белому, он снова принялся за свои плаксивые жалобы:

– Подумайте, сударь, вся моя одежда – это женина рубашка! Да к тому же рваная! В самые-то холода. Мне не в чем выйти. Был бы у меня хоть плохонький костюм, я бы навестил мадемуазель Марс, которая меня знает и очень благоволит ко мне. Ведь она, кажется, по-прежнему живет на улице Тур-де-Дам? Видите ли, сударь, мы вместе играли в провинции, я разделял с нею лавры. Селимена пришла бы мне на помощь, сударь! Эльмира подала бы милостыню Велизарию! Но ничего-то у меня нет! И в доме ни единого су! Супруга больна, и ни единого су! Дочка опасно ранена, и ни единого су! У жены моей приступы удушья. Возраст, да и нервы к тому же. Ей нужен уход и дочке тоже! Но врач! Но аптекарь! Чем же им заплатить? Нет ни лиарда! Сударь, я готов пасть на колени перед монетой в десять су!

Вот в каком упадке искусство! И да будет вам известно, прелестная барышня и великодушный покровитель мой, исполненные добродетели и милосердия, что бедная моя дочь ходит молиться в тот самый храм, чьим украшением вы являетесь, и ежедневно лицезреет вас... Ибо я воспитываю своих дочек в благочестии, сударь. Я не желал, чтобы они пошли на сцену. Смотрите у меня, бесстыдницы! Вздумайте только свихнуться! Со мной шутки плохи! Я не перестаю им долбить о чести, морали, добродетели. Спросите-ка их! Пусть идут по прямому пути. У них есть отец. Они не из тех несчастных, которые начинают жить безродными, а кончают тем, что роднятся со всем светом, и вот мамзель «Ничья» превращается в мадам «Всех-и-вся». Клянусь, этого не будет в семье Фабанту! Я надеюсь воспитать их в добродетели, чтобы они были честными, хорошими, верующими в бога, черт возьми! Итак, сударь, достопочтенный мой благодетель, знаете ли вы, что готовит мне завтрашний день? Завтра четвертое февраля, роковой день, последняя отсрочка, которую мне дал хозяин; если я ему не уплачу сегодня же

вечером, завтра моя старшая дочь, я, моя больная супруга, мое израненное дитя, мы все вчетвером будем лишены крова, выкинуты на улицу, на бульвар, под открытое небо, под дождь, под снег. Так-то, сударь! Я должен за четыре квартала, за год. То есть шестьдесят франков.

Жондрет лгал. Плата за год составляла всего сорок франков, и он не мог задолжать за четыре квартала: еще не прошло и полугода, как Мариус заплатил за два.

Господин Белый вынул из кармана пять франков и положил их на стол.

Жондрет буркнул на ухо старшей дочери: «Негодяй! На что мне сдались его пять франков? Ими не окупишь ни стул, ни оконное стекло. Решайся после этого на затраты!» В ту же минуту г-н Белый, сняв с себя широкий коричневый редингот, который он носил поверх своего синего редингота, бросил его на спинку стула.

– Господин Фабанту, – сказал он, – при мне только пять франков, но я провожу дочь домой и вернусь к вам вечером; ведь вы должны платить сегодня вечером?..

В глазах Жондрета промелькнуло какое-то странное выражение. Он поспешно ответил:

– Да, мой глубокоуважаемый покровитель. В восемь часов я должен быть у домохозяина.

– Я буду в шесть и принесу шестьдесят франков.

– Благодетель! – восторженно завопил Жондрет.

И добавил чуть слышно:

– Всмотрись в него хорошенько, жена!

Господин Белый взял снова под руку прелестную девушку и направился к двери.

– До вечера, друзья мои, – сказал он.

– В шесть часов? – переспросил Жондрет.

– Ровно в шесть.

Тут внимание старшей девицы Жондрет привлек висевший на спинке стула сюртук.

– Сударь, вы забыли ваш редингот, – сказала она.

Жондрет устремил на дочку угрожающий взгляд и гневно передернул плечами.

Господин Белый обернулся и ответил улыбаясь:

– Я не забыл, а нарочно оставил его.

– О мой покровитель, – сказал Жондрет, – мой высокочтимый благодетель, я не могу сдержать слез! Дозвольте, я провожу вас до фиакра.

– Если вы хотите выйти, то наденьте этот сюртук, – вместо ответа заметил г-н Белый. – На дворе очень холодно.

Жондрет не заставил просить себя дважды. Он быстро натянул коричневый редингот.

И они вышли втроем: Жондрет впереди, а за ним посетители.

Глава 10

Такса наемного кабриолета: два франка в час

Хотя вся эта сцена разыгралась на глазах у Мариуса, он, в сущности, почти ничего не видел. Взгляд его впился в молодую девушку, сердце его, так сказать, ухватилось за нее и словно вобрало всю целиком, едва она ступила на порог конуры Жондрета. Пока она была там, он находился в том состоянии экстаза, когда человек не воспринимает явлений внешнего мира, а сосредоточивает всю душу на чем-то одном. Он созерцал не девушку, а луч, одетый в атласную шубку и бархатную шляпку. Если бы даже сам Сириус, покинув небеса, появился в комнате, Мариус не был бы так ослеплен.

Пока молодая девушка разворачивала пакет, раскладывала вещи и одеяла, с участием расспрашивала больную мать и ласково говорила с раненой девочкой, он ловил каждое ее движение и старался услышать ее голос. Ему были знакомы ее глаза, лоб, фигура, походка, вся

ее краса, но он не знал, как звучит ее голос. Однажды в Люксембургском саду ему показалось, что до него долетело несколько сказанных ею слов, но он не был в этом вполне уверен. Он отдал бы десять лет жизни, чтобы услышать, чтобы запечатлеть в душе музыку ее голоса. Но все заглушалось жалостными причитаниями и высокопарными тирадами Жондрета. И к восхищению Мариуса примешивался гнев. Он не сводил с нее глаз. Ему не верилось, чтобы в отвратительной трущобе, среди человеческого отребья, он мог найти это божественное создание. Ему казалось, что он видит колибри среди жаб.

Когда она вышла, его охватило одно желание – следовать за ней, идти по пятам, не упускать из вида, пока не узнает, где она живет, чтобы не утратить ее вновь после того, как он чудом обрел ее! Он спрыгнул с комода и схватил шляпу. Он уже взялся за дверную ручку и хотел было выйти, но тут его остановила одна мысль. Коридор был длинный, лестница крутая, – Жондрет болтлив, г-н Белый, разумеется, еще не успел сесть в коляску; если, обернувшись в коридоре или на лестнице, он заметит здесь его, Мариуса, то, разумеется, встревожится и найдет способ снова ускользнуть, и тогда все будет кончено. Как быть? Подождать немного? Но пока будешь ждать, коляска может отъехать... Мариус был в нерешительности. Наконец он рискнул и вышел из комнаты.

В коридоре уже никого не было. Он побежал к лестнице. Никого не было и на лестнице. Он поспешно спустился и вышел на бульвар как раз в ту минуту, когда экипаж завернул за угол Малой Банкирской улицы и покатил обратно в Париж.

Мариус бросился бежать в том же направлении. Достигнув угла бульвара, он вновь увидел экипаж, который быстро ехал вниз по улице Муфтар; экипаж был уже очень далеко, нечего было и пытаться догнать его. Что делать? Бежать за ним? Невозможно. К тому же из коляски, несомненно, заметили бы человека, бегущего за нею со всех ног, и отец девушки узнал бы его. И тут – чудесная неслыханная случайность – Мариус заметил свободный наемный кабриолет, проезжавший по бульвару. Оставалось только одно решение: сесть в кабриолет и поехать следом за фиакром. Это был верный, действительный и безопасный выход.

Мариус знаком остановил экипаж и крикнул:

– Почасно!

Мариус был без галстука, в старом будничном сюртуке, на котором не хватало пуговиц, манишка на сорочке была у него в одном месте разорвана.

Кучер остановился и, подмигнув, протянул в сторону Мариуса левую руку, слегка потирая один о другой большой и указательный пальцы.

– Что такое? – спросил Мариус.

– Плата вперед, – сказал кучер.

Мариус вспомнил, что при нем было всего шестнадцать су.

– Сколько? – спросил он.

– Сорок су.

– Уплачу по приезде.

Кучер вместо ответа засвистел песенку о Ла Палисе и стегнул лошадь.

Мариус растерянно смотрел вслед удаляющемуся кабриолету. Из-за двадцати четырех су, которых ему не хватало, он терял свою радость, свое счастье, свою любовь! Он вновь погружался во мрак! Он прозрел, а теперь снова лишился зрения. По правде говоря, он с горечью и глубоким сожалением подумал о пяти франках, отданных им поутру жалкой дочери Жондрета. Имей он эти пять франков, он был бы спасен, он бы возродился, он вышел бы из чистилища, из ада, из одиночества, тоски и душевного вдовства; он снова связал бы черную нить своей судьбы с дивной золотой нитью, промелькнувшей перед его глазами и еще раз оборвавшейся. Он вернулся в свою лачугу в полном отчаянии.

Он мог бы себя утешить тем, что г-н Белый обещал вернуться вечером, и на этот раз нужно было только лучше взяться за дело и постараться не упустить его, но, поглощенный созерцанием девушки, он едва ли что-нибудь слышал.

В ту минуту, когда Мариус собирался подняться по лестнице, он заметил на другой стороне бульвара, у глухой стены, идущей вдоль улицы заставы Гобеленов, Жондрета, облаченного в редингот «благодетеля». Он разговаривал с одним из тех субъектов, лица которых вселяют беспокойство и которых принято называть «хозяевами застав»; это люди, внешность которых двусмысленна, речь подозрительна, словно на уме у них что-то дурное; спят они обычно днем, а следовательно, дают все основания думать, что работают ночью.

Собеседники, стоявшие неподвижно под хлопьями падающего снега, представляли собой группу, которая, наверно, остановила бы внимание полицейского, но взгляд Мариуса едва скользнул по ней.

Однако, как ни был он озабочен и огорчен, он невольно подумал, что этот «хозяин застав», с которым беседовал Жондрет, был похож на одного человека, по кличке Крючок, он же Весенний, он же Гнус, на которого как-то указал ему Курфейрак и который слыл в квартале весьма опасным ночным гулякой. В предыдущей книге упоминалось его имя. Крючок, он же Весенний, он же Гнус, позднее фигурировал в нескольких уголовных процессах и стяжал себе славу знаменитого мошенника. А в описываемое нами время он был еще просто ловким мошенником. Память о нем сохранилась и по сей час среди бандитов и грабителей. В конце последнего царствования он создал целую школу. И вечерами, в сумерках, в тот час, когда люди шепчутся, собравшись в кружок, о нем говорили в Львином рву тюрьмы Форс. В этой же тюрьме, как раз в том месте, где под дозорной дорожкой проходит сток нечистот, через который в 1843 году тридцать два заключенных среди бела дня совершили неслыханный побег, можно было даже прочесть над плитой, закрывающей отверстие сточной трубы, его имя *Крючок*. Он дерзко выцарапал его на стене у самой дозорной дорожки при одной из попыток к бегству. В 1832 году полиция уже следила за ним, но он еще ни в чем серьезном себя не проявил.

Глава 11

Нищета предлагает услуги горю

Мариус медленно поднялся по лестнице. Он собирался уже войти в свою каморку, когда заметил, что за ним по коридору идет старшая дочь Жондрета. Ему было очень неприятно видеть эту девушку – ведь именно к ней и перешли его пять франков, но требовать их обратно было уже поздно, кабриолет уехал, а коляски и след простыл. К тому же девушка и не вернула бы их. Так же бесполезно было бы расспрашивать ее о том, где жили их посетители, очевидно, она и сама не знала, раз письмо, подписанное Фабанту, было адресовано «господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па».

Мариус вошел в комнату и захлопнул за собой дверь.

Однако она не закрылась вплотную; он обернулся и заметил, что ее придерживает чья-то рука.

– Что такое? Кто там? – спросил он.

И увидел дочь Жондрета.

– Это вы? – почти грубо продолжал Мариус. – Опять вы? Что вам от меня нужно?

Но она, казалось, о чем-то думала и не глядела на него. В ней не было прежней самоуверенности. В комнату она не вошла, а осталась стоять в темном коридоре, и Мариус видел ее через неплотно притворенную дверь.

– Да отвечайте же! – воскликнул Мариус. – Что вам нужно от меня?

Она окинула его тусклым взглядом, в котором, казалось, смутно засветился какой-то огонек, и сказала:

– Господин Мариус, у вас такой печальный вид. Что с вами?

– Со мной?

– Да, с вами.

– Ничего.

– Что-то есть все же!

– Нет.

– А я говорю – есть.

– Оставьте меня в покое!

Мариус снова толкнул дверь, а она продолжала придерживать ее.

– Слушайте, вы это зря, – сказала она. – Вы небогаты, а какой были добрый сегодня утром. Ну станьте опять таким. Вы мне дали на пропитанье, скажите же, что с вами? Вы огорчены, это сразу видно. А мне не хочется, чтобы вы огорчались. Нельзя ли тут чем-нибудь помочь? Не могу ли я вам пригодиться? Положитесь на меня. Я не собираюсь выведывать ваши секреты, не прошу мне о них рассказывать, но как-никак я могу быть полезной. Я могу вам подсобить, ведь подсобляю же я отцу. Понадобится отнести кому письмо, обойти дома из двери в дверь, разыскать адрес, выследить кого-нибудь, – посылают меня. Так вот, можете спокойно мне все доверить, я передам кому надо. Иной раз поговоришь с кем надо, и все уладилось. Распоряжайтесь мной.

В уме Мариуса промелькнула мысль. За какую только веточку не цепляется человек, когда чувствует, что сейчас упадет!

Он приблизился к дочери Жондрета.

– Послушай... – сказал он.

Девушка прервала его, и глаза ее радостно сверкнули.

– Да, да, говорите мне «ты», мне так больше нравится.

– Хорошо, – продолжал он, – ведь это ты привела сюда старика с дочкой...

– Да.

– Ты знаешь их адрес?

– Нет.

– Узнай мне его.

Взгляд девушки, ставший из угрюмого радостным, теперь из радостного стал мрачным.

– Только это вам и надо? – спросила она.

– Да.

– Вы с ними знакомы?

– Нет.

– Иначе говоря, – живо перебила его девушка, – вы незнакомы с нею, но хотите познакомиться.

В этой замене слов «с ними» словами «с нею» чувствовалось что-то многозначительное и горькое.

– Ну, как? Сумеешь? – спросил Мариус.

– Я добуду вам адрес красивой барышни.

И тон, каким были произнесены слова: «красивой барышни», почему-то опять покорибил Мариуса. Он сказал:

– В конце концов, неважно! Адрес отца и дочери. Ну, адрес обоих.

Она пристально взглянула на него.

– Что вы мне за это дадите?

– Все, что пожелаешь.

– Все, что пожелаю?

– Да.

– Вы получите адрес.

Она опустила голову, затем порывистым движением захлопнула дверь.

Мариус остался один.

Он упал на стул, оперся локтями о кровать, обхватил руками голову и погрузился в водоворот неуловимых мыслей, испытывая состояние, близкое к обмороку. Все, что произошло с утра: появление небесного создания, его исчезновение, слова, только что услышанные им от жалкой девушки, луч надежды, блеснувший в беспредельном отчаянии, – вот что смутно проносилось в его мозгу.

Вдруг его задумчивость была грубо прервана.

Громкий и резкий голос Жондрета произнес следующие крайне заинтересовавшие Мариуса загадочные слова:

– Говорю тебе, что уверен в этом. Я узнал его.

О ком шла речь? Кого узнал Жондрет? Г-на Белого? Отца его «Урсулы»? Возможно ли! Разве Жондрет был с ним знаком? Неужели ему, Мариусу, вдруг так неожиданно откроется то, без чего жизнь его была такой беспросветной? Неужели наконец узнает, кого же он любит, узнает, кто эта девушка, кто ее отец? Неужели наступила минута, когда окутывающий этих людей густой туман рассеется, когда таинственный покров разорвется? О небо!

Он влез, вернее, вскочил на комод и занял место у своего потайного окошечка в переборке.

И снова увидел внутренность логова Жондрета.

Глава 12

На что была истрачена пятифранковая монета г-на Белого

С виду в семействе Жондрета все было по-прежнему, если не считать того, что его жена и дочери успели уже вытащить кое-что из свертка, принесенного г-ном Белым, и нарядились в шерстяные чулки и кофточки. Новые одеяла были наброшены на обе кровати.

Жондрет, по-видимому, только что пришел, так как не успел еще отдышаться. Дочки сидели на полу у камина, и старшая перевязывала руку младшей. Жена, казалось, утонула в кровати, стоявшей рядом с камином; лицо ее выражало удивление. Жондрет мерил комнату большими шагами. В его взгляде было что-то необычное.

Наконец жена, видимо глубоко изумленная и робевшая перед мужем, осмелилась произнести:

– Неужели правда? Ты уверен?

– Уверен, конечно! Прошло восемь лет. И все же я его узнал. Еще бы не узнать! Сразу же узнал! Неужто тебе ничего не бросилось в глаза?

– Нет.

– Но ведь я же тебе говорил: «Обрати внимание!» Тот же рост, то же лицо, почти не постарел, – некоторых даже и старость не берет, не знаю, как это они ухитряются, ну и голос тот же. Только одет получше, вот и все! Ага, старый проклятый притворщик, попался? Теперь держись у меня!

Он остановился и крикнул дочерям:

– Эй, вы, убирайтесь-ка отсюда! – И добавил, обращаясь к жене: – Чудно даже, что тебе не бросилось в глаза.

Дочери покорно встали.

– С больной рукой, – пробормотала мать.

– Воздух ей на пользу, – отрезал Жондрет. – Убирайтесь.

Очевидно, он был из породы людей, которым не возражают. Девушки вышли.

В ту минуту, когда они уже были в дверях, отец удержал старшую за руку и каким-то многозначительным тоном сказал:

– Будьте здесь ровно в пять. Вы обе мне понадобятся.

Это заставило Мариуса удвоить внимание.

Оставшись наедине с женой, Жондрет опять стал ходить по комнате и два-три раза молча обошел ее. Затем несколько минут заправлял и засовывал за пояс штанов подол надетой на нем женской рубашки.

Вдруг он повернулся к жене, скрестил руки и воскликнул:

– Хочешь, я скажу тебе еще кое-что? Эта девица...

– Ну, что такое? – подхватила жена. – Что девица?

У Мариуса не могло быть сомнений: конечно, разговор шел о «ней». Он слушал с мучительным волнением. Вся его жизнь сосредоточилась в слухе.

Но Жондрет наклонился к жене и о чем-то тихо заговорил. Потом выпрямился и закончил громко:

– Она и есть!

– Эта вот? – спросила жена.

– Эта вот! – подтвердил муж.

Трудно передать то выражение, с каким жена Жондрета произнесла слова: «эта вот». Удивление, ярость, ненависть, злоба – все слилось и смешалось здесь в какой-то зловещей интонации. Достаточно было нескольких фраз и, вероятно, имени, сказанного ей на ухо мужем, чтобы эта сонная толстуха оживилась и чтобы ее отталкивающее лицо стало страшным.

– Быть не может! – закричала она. – И подумать только, что мои дочери ходят разутые, что им одеться не во что! А тут! И атласная шубка, и бархатная шляпка, и полусапожки – словом, все! Больше чем на две сотни франков надето! Прямо дама! Да нет же, ты ошибся! И, во-первых, та была уродина, а эта – недурна! Совсем недурна! Не может быть, это не она!

– А я говорю тебе – она. Сама увидишь.

При столь категорическом утверждении тетка Жондрет подняла свою широкую кирпично-красную физиономию и с каким-то отвратительным выражением уставилась в потолок. В этот миг она показалась Мариусу опасней самого Жондрета. То была свинья с глазами тигрицы.

– Вот как! – прошипела она. – Значит, эта расфуфыренная барышня, которая жалостливо смотрела на моих дочек, и есть та самая нищенка! А-а, так бы все кишки ей и выпустила! Затоптала бы!

Она соскочила с постели и постояла с минуту, растрепанная, с раздувающимися ноздрями, полуоткрытым ртом, со сжатыми и занесенными словно для удара кулаками. Затем рухнула на свое неопрятное ложе. Жондрет ходил взад и вперед по комнате, не обращая никакого внимания на супругу.

После нескольких минут молчания он подошел к жене и опять остановился перед ней, скрестив руки.

– А хочешь, я скажу тебе еще кое-что?

– Ну что? – спросила она.

– Да то, что я теперь богач, – ответил он отрывисто и тихо.

Жена устремила на него взгляд, казалось, говоривший: «Уж не спятил ли ты?»

Жондрет продолжал:

– Проклятие! Давненько я состою в прихожанах прихода Коль-есть-жратва-подыхай-с-

холоду, коль-есть-дрова-подыхай-с-голоду! Довольно хлебнул нищеты! Довольно тащил свое и чужое бремя! Мне уже не до смеха, ничего забавного я больше здесь не вижу, довольно ты тешился надо мной, милосердный боже! Обойдемся без твоих шуток, отец предвечный! Я желаю есть вдоволь, пить вдосталь! Жрать! Дрыхнуть! Бездельничать! Я желаю, чтобы пришел и мой черед, – мой, вот что! Пока я не издох! Я желаю немножко пожить миллионером!

Он прошелся по своей конуре и прибавил:

– Не хуже иных прочих.

– Что ты хочешь этим сказать? – спросила жена.

Он тряхнул головой, подмигнул и, повысив голос, как бродячий лектор, приступающий к демонстрации физического опыта, начал:

– Что я хочу сказать? Слушай!

– Тес... – заворчала тетка Жондрет, – потише! Если разговор о делах, не к чему посторонним про это слушать.

– Вот еще! Кому это слушать? Соседу? Я только что видел, как он выходил из дому. Да и что он разберет, эта дурья башка? А потом, говорю тебе, он ушел.

Тем не менее Жондрет как-то инстинктивно понизил голос, не настолько, однако, чтобы его слова могли ускользнуть от слуха Мариуса. К тому же, на счастье, падал снег и заглушал шум проезжавших по бульвару экипажей, что позволило Мариусу ничего не пропустить из беседы супругов.

Вот что услышал Мариус:

– Понимаешь, он попался, богатей! Можно считать, что дело в шляпе. Все сделано. Все устроено. Я видел наших. Он придет сегодня в шесть часов. Принесет шестьдесят франков, этаким мерзавец! Чего только я ему не наплел! Ты заметила? И насчет шестидесяти франков, и насчет хозяина, и насчет четвертого февраля! А какой в этот день может быть срок? Вот олух царя небесного! Значит, он прибудет в шесть часов! В это время сосед уходит обедать. Мамаша Бюргон отправляется в город мыть посуду. В доме никого. Сосед не возвращается раньше одиннадцати. Девчонки будут на карауле. Ты нам поможешь. Он расквитается с нами.

– А вдруг не расквитается? – спросила жена.

Жондрет сделал угрожающий жест.

– Тогда мы расквитаемся с ним.

И он засмеялся.

Мариус впервые слышал его смех. Это был холодный, негромкий смех, от которого дрожь пробежала по телу.

Жондрет открыл стенной шкаф около камина, вытащил старую фуражку и надел ее на голову, предварительно почистив рукавом.

– Ну, я ухожу, – сказал он. – Мне нужно еще кое-кого повидать из добрых людей. Увидишь, как у нас пойдет дело. Я постараюсь поскорее вернуться. Игра стоящая. Стереги дом.

И, засунув руки в карманы брюк, он на минуту остановился в задумчивости, потом воскликнул:

– А знаешь, хорошо все-таки, что он-то меня не узнал! Узнай он меня, ни за что бы не вернулся! Выскользнул бы из рук! Борода меня выручила! Романтическая моя борода! Миленькая моя романтическая борода!

И снова засмеялся.

Он подошел к окошку. Снег все еще падал с серого неба.

– Что за собачья погода! – сказал он.

Потом, запахнув редингот, он добавил:

– Эта шкура немного широковата. Но ничего, сойдет, старый мошенник чертовски кстати

мне ее оставил! А то ведь мне не в чем выйти. Дело бы опять лопнуло. От какой ерунды иной раз все зависит!

И, нахлобучив фуражку, он вышел.

Едва ли он успел сделать и несколько шагов, как дверь приоткрылась и между ее створок появился его хищный и умный профиль.

– Совсем забыл, – сказал он. – Приготовь жаровню с угольями.

И кинул в передник жены пятифранковую монету, которую ему оставил «филантроп».

– Жаровню с углем? – переспросила жена.

– Да.

– Сколько мер угля купить?

– Две с верхом.

– Это обойдется в тридцать су. На остальное я куплю что-нибудь к обеду.

– К черту обед!

– Почему?

– Не вздумай растратить всю монету, все сто су.

– Почему?

– Потому что мне тоже нужно кое-что купить.

– Что же?

– Да так, кое-что.

– Сколько тебе на это потребуется?

– Где тут у нас ближняя скобяная лавка?

– На улице Муфтар.

– Ах да, на углу; знаю, где.

– Да скажи ты мне, наконец, сколько тебе потребуется на твои покупки?

– Пятьдесят су, а может, и все три франка.

– Не очень-то жирно остается на обед.

– Сегодня не до жратвы. Есть вещи поважнее.

– Как знаешь, мое сокровище.

При этих словах жены Жондрет снова закрыл дверь, и на сей раз Мариус услышал, как шум его шагов, поспешно удалявшихся по коридору, мало-помалу затих внизу лестницы.

На Сен-Медарской колокольне в этот миг пробило час.

Глава 13

Solus cum solo, in loco remoto, non cogitabuntur orare pater noster^[120]

Несмотря на то что Мариус был мечтателем, он, как мы говорили, обладал решительным и энергичным характером. Привычка к сосредоточенным размышлениям, развив в нем участие и сострадание к людям, быть может, ослабила способность возмущаться, но оставила нетронутой способность предаваться негодованию; доброжелательность брамина сочеталась у него с суровостью судьи; он пощадил бы жабу, но, не задумываясь, раздавил бы гадюку. А взор его только что проник в нору гадюк; перед его глазами было гнездо чудовищ.

«Надо уничтожить этих негодяев», – подумал он.

Вопреки его надеждам ни одна из мучивших его загадок не разъяснилась; напротив, мрак надо всем как будто еще более сгустился; ему не удалось узнать ничего нового ни о прелестной девушке из Люксембургского сада, ни о человеке, которого он звал г-ном Белым, если только не считать того, что Жондрету они были, оказывается, известны. Из туманных намеков, брошенных

Жондретом, он явственно уловил лишь то, что здесь для них готовится ловушка – какая-то непонятная, но ужасная ловушка; что над обоими нависла огромная опасность: над девушкой – возможно, а над стариком – несомненно; что нужно их спасти, что нужно расстроить гнусные замыслы Жондрета и порвать тенета, раскинутые этими пауками.

Мариус взглянул на жену Жондрета. Она вытащила из угла старую жестяную печь и рылась в железном ломе.

Он осторожно спустился с комода, постаравшись сделать это без всякого шума.

Полный страха перед тем, что подготавливалось, полный отвращения к Жондретам, Мариус все же испытывал какую-то радость при мысли, что ему, быть может, суждено оказать услугу той, которую он любит.

Но как поступить? Предупредить тех, кому угрожает опасность? А где их найти? Ведь он не знал их адреса. Они на миг появились перед его глазами и вновь погрузились в бездонные глубины Парижа. Ждать г-на Белого у дверей в шесть часов вечера и, как только он приедет, предупредить его о засаде? Но Жондрет и его помощники заметят, что он кого-то караулит; место пустынно, сила на их стороне, они найдут способ схватить и отделаться от него, и тогда тот, кого он хотел спасти, погибнет. Только что пробило час, а злодейское нападение должно совершиться в шесть. В распоряжении у Мариуса было пять часов.

Оставалось лишь одно.

Он надел свой сюртук, еще вполне приличный, повязал шею шарфом, взял шляпу и вышел так бесшумно, как будто ступал босиком по мху.

Вдобавок и тетка Жондрет продолжала гроыхать железом, копаясь в куче хлама.

Выбравшись из дома, Мариус пошел по Малой Банкирской улице.

Дойдя до середины ее, он поравнялся с отгораживавшей пустырь низенькой стеной, через которую в иных местах можно было перешагнуть. Поглощенный своими мыслями, он шел медленно, снег заглушал его шаги. Вдруг, совсем рядом, он услышал голоса. Он оглянулся, улица была пустынна, хотя дело происходило среди бела дня; нигде не было видно ни души; но он ясно слышал голоса.

Ему пришлось в голову заглянуть за ограду.

И действительно, сидя на снегу и прислонившись к стене, там тихо разговаривали двое мужчин.

Их лица были ему незнакомы. Один из них был бородатый, в блузе, а другой – лохматый, в отрепьях. На бородаче красовалась греческая шапочка, а непокрытую голову его собеседника запушил снег.

Наклонившись над стеной, Мариус мог слышать их беседу.

Длинноволосый говорил, подталкивая локтем бородача:

– Уж если дружки из Петушиного часа взялись за это дело, промашки не будет.

– Так ли? – сказал бородач, а лохматый возразил:

– Отхватим по пятьсот монет на брата, а ежели обернется худо, получим годков по пять, по шесть, – ну по десять, никак не больше!

Бородач в греческом колпаке отвечал несколько нерешительно, стуча зубами от холода:

– Уж это-то наверное. Тут никак не отвертишься.

– А я тебе говорю, что промашки не будет, – возразил лохматый. – Тележка папаши Бесфамильного стоит наготове.

Затем они стали толковать о мелодраме, которую видели накануне в театре Гетэ.

Мариус пошел дальше.

Ему казалось, что непонятная речь обоих субъектов, столь подозрительно расположившихся в укромном местечке за стеной, прямо в снегу, возможно, имела некоторое

отношение к гнусным замыслам Жондрета. Должно быть, это и было то самое дело.

Он направился к предместью Сен-Марсо и в первой же попавшейся лавке спросил, где можно найти полицейского пристава.

Ему сказали, что на улице Понтуаэ, в доме № 14.

Мариус пошел туда.

Проходя мимо булочной, он купил на два су хлеба и съел, предвидя, что пообедать не удастся.

Размышляя дорогой, он возблагодарил провидение. Ведь не дай он утром дочери Жондрета пяти франков, он поехал бы вслед за фиакром г-на Белого и, таким образом, ничего бы не знал. Никакая сила не помешала бы тогда Жондрету устроить засаду, г-н Белый погиб бы, а вместе с ним, без сомнения, и его дочь.

Глава 14, в которой полицейский дает адвокату два карманных пистолета

Подойдя к дому № 14, что на улице Понтуаэ, Мариус поднялся на второй этаж и спросил полицейского пристава.

– Господин полицейский пристав сейчас в отсуствии, – сказал один из писарей, – но его заменяет надзиратель. Может быть, поговорите с ним? У вас спешное дело?

– Да, – ответил Мариус.

Писарь ввел его в кабинет пристава. За решеткой, прислонившись к печке и приподняв заложенными назад руками полы широкого каррика о трех воротниках, стоял рослый человек. У него было квадратное лицо, тонкие, плотно сжатые губы, весьма свирепого вида густые баки с проседью и взгляд, выворачивающий вас наизнанку. Этот взгляд, можно сказать, не только пронизывал вас, но обыскивал.

С виду человек этот казался почти таким же хищным, таким же опасным, как Жондрет; встретиться с догом иногда не менее страшно, чем с волком.

– Что вам угодно? – обратился он к Мариусу, опуская обращение «сударь».

– Не вы ли будете господин полицейский пристав?

– Его нет. Я его заменяю.

– Я по весьма секретному делу.

– Ну, так говорите.

– И весьма срочному.

– Ну, так говорите скорее.

Этот спокойный и грубоватый человек пугал и в то же время ободрял. Он внушал и страх, и доверие. Мариус рассказал ему обо всем: о том, что некоего человека, которого он, Мариус, знал лишь с виду, собирались нынче вечером заманить в ловушку; что, занимая комнату по соседству с притоном, он, Мариус Понмерси, адвокат, услышал через перегородку об этом заговоре; что фамилия негодяя, придумавшего устроить западню, Жондрет; что у него есть сообщники, по всей вероятности «хозяева застав», и в их числе некий Крючок, по прозвищу Весенний, он же Гнус; что дочерям Жондрета поручено стоять на карауле; что человека, которому грозит опасность, никоим образом предупредить нельзя, поскольку даже имя его неизвестно; что, наконец, все должно произойти в шесть часов вечера, в самом глухом конце Госпитального бульвара, в доме № 50/52.

Когда Мариус назвал номер дома, надзиратель поднял голову и бесстрастно спросил:

– Комната, что в конце коридора?

– Совершенно верно, – подтвердил Мариус и добавил: – Разве вы знаете этот дом?

Полицейский надзиратель помолчал, затем ответил, подставляя каблук сапога к дверце топившейся печи, чтобы согреть ногу:

– По-видимому, так.

Он продолжал цедить сквозь зубы, не столько обращаясь к Мариусу, сколько к собственному галстуку:

– Тут без Петушиного часа не обошлось.

Его слова поразили Мариуса.

– Петушиный час, – повторил он. – В самом деле, я слышал эти слова.

И он рассказал полицейскому надзирателю о диалоге между лохмачом и бородачом, в снегу, за стеной на Малой Банкирской улице.

Надзиратель пробурчал:

– Лохматый – должно быть, Брюжон, а бородатый – Пол-Лиарда, он же Два Миллиарда.

Он снова опустил глаза и предался размышлениям.

– Ну, а насчет папаши Бесфамильного, – присовокупил он, – тоже догадываюсь. Так и есть, я подпалил свой каррик. И чего они всегда так жарко топят эти проклятые печки! Номер пятьдесят – пятьдесят два. Бывшее домовладение Горбо.

Он взглянул на Мариуса:

– Вы видели только бородача и лохмача?

– И Крючка.

– А этакого молоденького франтика?

– Нет.

– А огромного плечистого детину, похожего на слона из зоологического сада?

– Нет.

– А этакого пройдоху, с виду старого паяца?

– Нет.

– Ну, а четвертый – тот вообще невидимка, даже для своих же помощников, пособников и подручных. Нет ничего удивительного, что вы его не заметили.

– Действительно, не заметил. А что это вообще за люди? – спросил Мариус.

– Впрочем, это совсем не их час... – сказал вместо ответа надзиратель.

Он снова помолчал, потом проговорил:

– Пятьдесят – пятьдесят два. Знаю я этот сарай. Нам в нем спрятаться негде, артисты нас сразу заметят. И отделаются только тем, что отменят водевиль. Это народ очень скромный. Стесняется публики. Нет, это не годится, не годится. Я хочу услышать, как они поют, и заставлю их поплясать.

Закончив этот монолог, он повернулся к Мариусу и спросил, глядя на него в упор:

– Вы боитесь?

– Кого?

– Этих людей.

– Не больше, чем вас, – сумрачно отрезал Мариус, заметив наконец, что сыщик еще ни разу не назвал его сударем.

Полицейский надзиратель посмотрел на Мариуса еще пристальнее и произнес с какою-то нравоучительной торжественностью:

– Вы говорите, как человек смелый и как человек честный. Мужество не страшится зрелища преступления, а честность не страшится властей.

– Все это хорошо, но что вы думаете предпринять? – прервал его Мариус.

Полицейский надзиратель ограничился таким ответом:

– У всех жильцов дома пятьдесят – пятьдесят два есть ключи от наружных дверей; ими

пользуются, возвращаясь ночью к себе домой. У вас есть такой ключ?

– Да, – сказал Мариус.

– Он при вас?

– Да.

– Дайте его мне, – сказал инспектор.

Мариус вынул ключ из жилетного кармана, передал его надзирателю и прибавил:

– Послушайтесь меня, приходите с охраной.

Надзиратель метнул на Мариуса такой взгляд, каким Вольтер подарил бы провинциального академика, подсказавшего ему рифму, и, рывком погрузив обе руки, обе свои огромные лапищи, в бездонные карманы каррика, вытащил оттуда два стальных пистолетика, из тех, что называются карманными пистолетами. Протянув их Мариусу, он заговорил быстро, короткими фразами:

– Возьмите. Отправляйтесь домой. Спрячьтесь у себя в комнате. Пусть думают, что вы ушли. Они заряжены. В каждом по две пули. Наблюдайте. Вы мне говорили, в стене есть щель. Пусть соберутся. Не мешайте им сначала. Когда сочтете, что время пришло и пора кончать, стреляйте. Только не спешите. Остальное предоставьте мне. Стреляйте в воздух, в потолок – безразлично куда. Но главное – не спешите. Выждите. Пусть они приступят к делу, вы – адвокат, вы понимаете, как это важно.

Мариус взял пистолеты и положил их в боковой карман сюртука.

– Очень топорщится, сразу заметно. Уж лучше суньте их в жилетные карманы, – сказал надзиратель.

Мариус спрятал пистолеты в жилетные карманы.

– А теперь, – продолжал надзиратель, – нам нельзя терять ни минуты. Посмотрим, который час. Половина третьего. Сбор в семь?

– К шести, – ответил Мариус.

– Время у меня есть, – сказал надзиратель, – а всего остального еще нет. Не забудьте ни слова из того, что я вам сказал. Паф! Один пистолетный выстрел.

– Будьте покойны, – ответил Мариус.

И когда Мариус взялся за дверную ручку, собираясь выйти, надзиратель крикнул:

– Кстати, если я вам понадобится раньше, приходите или пришлите сюда. Спросите полицейского надзирателя Жавера.

Глава 15

Жондрет делает закупки

Немного погодя, часов около трех, Курфейрак случайно проходил по улице Муфтар вместе с Боссюэ. Снег падал все гуще и засыпал все кругом.

– Посмотришь на падающие хлопья, и кажется, что в небесах пошел мор на белых бабочек, – начал было Боссюэ, обращаясь к Курфейраку, как вдруг заметил Мариуса, который поднимался вверх по улице, к заставе, и имел какой-то совершенно необычный вид.

– Смотри-ка! Мариус! – воскликнул Боссюэ.

– Вижу, – сказал Курфейрак. – Только не стоит с ним заговаривать.

– Почему?

– Он занят.

– Чем?

– Разве ты не видишь, какое у него выражение лица?

– Какое же?

- Да такое, будто он кого-то выслеживает.
- Верно, – согласился Боссюэ.
- А какие глаза сделал, взгляни только! – заметил Курфейрак.
- Какого же черта он выслеживает?

– Какой-нибудь помпончик-бутончик-чепчик-с-цветочком! Он влюблен.

– Но я что-то не вижу на улице ни помпончика, ни бутончика, ни чепчика с цветочком, – заметил Боссюэ. – Словом, ни одной девицы.

Курфейрак посмотрел и воскликнул:

– Он выслеживает мужчину!

В самом деле, впереди Мариуса, шагах в двадцати, шел мужчина в фуражке; и хотя они видели только его спину, сбоку можно было различить его седоватую бороду.

На нем был новый, но непомерно большой для его роста редингот и ужаснейшие рваные брюки, побуревшие от грязи.

Боссюэ расхохотался.

– Это еще что за тип, а?

– Поэт, – заявил Курфейрак, – безусловно, поэт! Они с одинаковым удовольствием щеголяют и в штанах торговцев кроличьими шкурками, и в рединготах пэров Франции.

– Давай посмотрим, куда направится Мариус и куда этот человек, – предложил Боссюэ. – Выследим их, идет?

– О Боссюэ! – воскликнул Курфейрак. – Орел из Мо! Следить за тем, кто сам кого-то выслеживает! Вы просто осел!

Они повернули обратно.

И в самом деле, Мариус, увидев на улице Муфтар Жондрета, стал за ним следить.

Жондрет шел впереди, не подозревая, что уже взят на мушку.

Он свернул с улицы Муфтар, и Мариус заметил, как он вошел в один из самых дрянных домишек на улице Грасьез, пробыл там с четверть часа и вернулся на улицу Муфтар. Затем он задержался в скобяной лавке, что в ту пору помещалась на углу улицы Пьер-Ломбар, а через несколько минут Мариус увидел, как он выходит из лавки с большим, насаженным на деревянную ручку долотом, которое он тут же спрятал под своим рединготом. Дойдя до улицы Пти-Жантили, он свернул влево и быстро достиг Малой Банкирской улицы. День склонялся к вечеру, снег, на минуту было прекратившийся, пошел снова. Мариус засел в засаду на углу Малой Банкирской улицы, как всегда безлюдной, и за Жондретом не последовал. И хорошо сделал, ибо, поравнявшись с той низкой стеной, где Мариус подслушал разговор лохматого и бородатого, Жондрет обернулся и, удостоверившись, что за ним никто не идет и никто его не видит, перешагнул через стену и скрылся.

Пустырь, обнесенный этой стеной, примыкал к задворкам дома бывшего каретника, пользовавшегося дурной славой. Когда-то он отдавал внаем экипажи, а потом обанкротился, но под навесами у него все еще стояло несколько ветхих тарантасов.

Мариус подумал, что благоразумнее всего, воспользовавшись отсутствием Жондрета, вернуться домой; к тому же время шло к ночи; по вечерам мамаша Бюргон, уходя в город мыть посуду, имела обыкновение запираť входную дверь, и с наступлением сумерек она всегда бывала на замке; Мариус отдал свой ключ полицейскому надзирателю, следовательно, надо было поторапливаться.

Наступил вечер, почти совсем стемнело: и на горизонте и на всем необъятном небесном пространстве осталась лишь одна озаренная солнцем точка – то была луна.

Красный диск ее всплывал из-за низкого купола больницы Сальпетриер.

Мариус быстрым шагом направился к дому № 50/52. Когда он пришел, дверь оказалась еще

открытой. Он поднялся на цыпочках по лестнице и прокрался по стенке, через коридор, в свою комнату. По обеим сторонам коридора, как известно читателю, были расположены каморки, все они тогда были не заняты и сдавались внаем. Двери в них мамаша Бюргон обычно оставляла открытыми настежь. Когда Мариус пробирался мимо одной из этих дверей, ему показалось, что в нежилой комнате перед ним промелькнули головы четырех неподвижно стоявших мужчин, смутно освещенные угасающим дневным светом, который проникал сквозь чердачное окно. Мариус не пытался их разглядеть, не желая, чтобы его увидели. Ему удалось незаметно и бесшумно войти к себе в комнату. Он пришел вовремя. Через минуту он услышал, как вышла мамаша Бюргон и как закрылась входная дверь.

Глава 16, в которой читатель услышит песенку на английский мотив, модную в 1832 году

Мариус присел на кровать. Было, пожалуй, около половины шестого. Только полчаса отделяли его от того, что должно было свершиться. Он слышал, как пульсирует кровь в его жилах, – так в темноте слышится тиканье часов. Он думал о двойном наступлении, которое готовилось в эту минуту под прикрытием темноты: с одной стороны, приближалось злодейство, с другой – надвигалось правосудие. Страха он не испытывал, но не мог подумать без содрогания о том, что вот-вот должно произойти. Как это всегда бывает при внезапном столкновении с событием из ряда вон выходящим, ему казалось, что весь этот день – лишь сон, и только ощущая холодок двух стальных пистолетов, лежавших в жилетных карманах, он убеждался, что не является жертвой кошмара.

Снег перестал; луна, выходя из тумана, становилась все ярче, и ее сияние, смешиваясь с серебряным отблеском снега, наполняло комнату какой-то сумеречной мглой.

В лачуге Жондретов горел огонь. Через щель в перегородке пробивался багровый луч света, казавшийся Мариусу кровавым.

Было очевидно, что этот луч – не от свечи. Между тем из комнаты Жондретов не доносилось ни шороха, ни звука, ни слова, ни вздоха – там царила леденящая глухая тишина, и не будь этого света, можно было бы подумать, что рядом склеп.

Мариус тихонько снял ботинки и задвинул их под кровать.

Прошло несколько минут. Вдруг внизу скрипнула в петлях дверь, и Мариус услышал шум грузных шагов, поспешно протопавших по лестнице и пробежавших по коридору; со стуком приподнялась дверная щеколда: то вернулся Жондрет.

Сразу же раздалось несколько голосов. Семья, как оказалось, была в сборе, но в отсутствие хозяина все притихли, словно волчата в отсутствие волка.

– Вот и я, – сказал Жондрет.

– Добрый вечер, папочка! – завизжали дочери.

– Ну как? – спросила жена.

– Помаленьку, – отвечал Жондрет, – но я прозяб, как пес, ноги окоченели. Ага, ты приделась! Правильно. Надо, чтобы твой вид внушал доверие.

– Я готова, могу идти.

– Ничего не забудешь из того, что я тебе сказал? Все сделаешь, как надо?

– Будь спокоен.

– Дело в том... – сказал Жондрет. И не закончил фразу.

Мариус услышал, как он положил на стол что-то тяжелое, по всей вероятности купленное

им долото.

– Кстати, вы уже поели? – спросил Жондрет.

– Да, – ответила жена. – У меня были три больших картофелины и соль. Я их испекла – спасибо, огонь еще был.

– Отлично, – сказал Жондрет. – Завтра поведу всех вас обедать. Закажем утку и всякую всячину. Пообедаете по-королевски, не хуже Карла Десятого. Все идет как нельзя лучше!

Потом добавил, понизив голос:

– Мышеловка открыта. Коты начеку.

И еще тише:

– Сунь-ка это в огонь.

Мариус слышал, как потрескивают угли, которые помешивали каминными щипцами или каким-то железным инструментом, а Жондрет продолжал:

– Дверные петли смазала, чтобы не скрипели?

– Да, – ответила жена.

– Который теперь час?

– Скоро шесть. Недавно пробило полшестого на Сен-Медаре.

– Черт возьми! – произнес Жондрет. – Девчонкам пора идти караулить. Эй, вы, идите-ка сюда, слушайте.

Они зашушукались.

Потом снова послышался громкий голос Жондрета:

– Бюргонша ушла?

– Да, – ответила жена.

– Ты уверена, что у соседа никого нет?

– Он с утра не возвращался, и ты сам отлично знаешь, что в это время он обедает.

– Ты в этом уверена?

– Уверена.

– Все равно, – сказал Жондрет, – невредно сходить и взглянуть, нет ли его. Ну-ка, дочка, возьми свечу и прогуляйся туда.

Мариус опустился на четвереньки и бесшумно заполз под кровать.

Едва успел он там свернуться в комочек, как сквозь щели в дверях показался свет.

– Па-ап, его нет! – раздалось в коридоре.

Мариус узнал голос старшей дочери Жондрета.

– Ты входила в комнату? – спросил отец.

– Нет, – ответила дочь, – но раз ключ в дверях, значит, он ушел.

– А все-таки войди, – крикнул отец.

Дверь отворилась, и Мариус увидел старшую девицу Жондрет со свечой в руке. Она была такая же, как и утром, но при этом освещении казалась еще ужаснее.

Она направилась прямо к кровати, и Мариус пережил минуту неопишуемой тревоги. Но над кроватью висело зеркало, к нему-то она и шла. Она встала на цыпочки и погляделась в него. Из соседней комнаты доносился лязг каких-то передвигаемых железных предметов.

Она пригладила волосы ладонью и заулыбалась сама себе в зеркало, напевая своим надтреснутым, замогильным голосом:

Семь или восемь дней пылал огонь сердечный,

И, право, стоило, чтоб он и впредь не гас!

Ах, если бы любовь могла быть вечной, вечной!

Но счастье лишь блеснет и покидает нас.

Мариус дрожал от страха. Ему казалось невозможным, чтобы она не услышала его дыхания.

Она приблизилась к окошку и, окинув взглядом улицу, с обычным своим полубезумным видом громко проговорила:

– Надел Париж белую рубаху и стал уродиной!

Она снова подошла к зеркалу и снова начала гримасничать, разглядывая себя то прямо, то в профиль.

– Ну что же ты? – закричал отец. – Куда запропастилась?

– Сейчас! Смотрю под кроватью и под другой мебелью, – отвечала она, взбивая волосы. – Никого.

– Дуреха! – заревел отец. – Сейчас же сюда! Нечего время терять.

– Иду! Иду! Им вечно некогда! – сказала она и стала напевать:

Вы бросили меня, ушли дорогой славы,
Но сердцем горестным везде я там, где вы...

Кинув прощальный взгляд в зеркало, она вышла, закрыв за собою дверь.

А через минуту Мариус слышал топот босых ног по коридору и голос Жондрета, кричавшего вслед девушкам:

– Смотрите хорошенько! Одной сторожить заставу, другой – угол Малой Банкирской. Ни на минуту не терять из виду дверь дома, и как что-нибудь заметите, сейчас же сюда! Пулей! Ключ от входной двери у вас с собой.

Старшая проворчала:

– Попробуй, покарауль босиком на снегу!

– Завтра у вас будут коричневые шелковые полусапожки! – сказал отец.

Девушки спустились с лестницы, и через несколько секунд стук захлопнувшейся внизу двери оповестил о том, что они вышли.

В доме остались только Мариус и чета Жондретов да, вероятно, те таинственные личности, которых Мариус заметил в полутьме, за дверью пустующей каморки.

Глава 17

На что была истрачена пятифранковая монета Мариуса

Мариус решил, что наступило время вернуться на свой наблюдательный пост. В одно мгновение, со всем проворством, свойственным его возрасту, он очутился у щели в перегородке. Он заглянул внутрь.

Жилье Жондретов представляло необыкновенное зрелище, и Мариус нашел, наконец, объяснение проникавшему оттуда странному свету. Там горела свеча в позеленевшем медном подсвечнике, но не она освещала чердак. Вся берлога была как бы озарена огнем большой железной жаровни, поставленной в камин и полной горящих угольев, – той самой жаровни, которую раздобыла утром жена Жондрета. Угли пылали, и жаровня раскалилась докрасна; там плясало синее пламя вокруг купленного Жондретом на улице Пьер-Ломбар долота, которое было теперь воткнуто в уголья и побагровело от накала. В углу возле дверей виднелись две груды каких-то предметов, вероятно положенных здесь неспроста: одна была похожа на связку

веревки, другая на кучу железного лома. Человека, не посвященного в то, что здесь замышлялось, эта картина заставила бы колебаться между самыми зловещими и самыми безобидными предположениями. Освещенная таким образом комната напоминала скорее кузницу, чем адское пекло, зато Жондрет при таком освещении смахивал больше на дьявола, чем на кузнеца.

От углей шел такой жар, что горевшая на столе свеча таяла со стороны, обращенной к жаровне, оплывая с одного края. На камине стоял старый медный потайной фонарь, достойный Диогена, обернувшегося Картушем.

Чад от жаровни, поставленной в самый очаг между тлеющих головешек, уходил в каминную трубу, и в комнате не чувствовалось его запаха.

Проникая сквозь оконные стекла, луна посылала свои бледные лучи в это пылающее пурпуром логово, и поэтическому воображению Мариуса, который оставался мечтателем даже тогда, когда нужно было действовать, они представлялись как бы небесной грезой, залетевшей в безобразные земные сны.

Ветер, врываясь через разбитое окно, в свою очередь, рассеивал чад и помогал, таким образом, скрывать присутствие жаровни.

Берлога Жондрета, если читатель припомнит то, что мы говорили о лачуге Горбо, являлась самой прекрасной ареной для темного, кровавого дела и надежным местом для сокрытия преступления. Это была самая глухая комната в самом уединенном доме на самом безлюдном бульваре Парижа. Если бы не существовало на свете засад, то их изобрели бы там.

Вся толща стен и множество необитаемых помещений отделяло эту трущобу от бульвара, а единственное ее окно выходило на пустыри, обнесенные глухой стеной и заборами.

Жондрет разжег трубку, уселся на дырявый стул и задымил. Жена что-то говорила ему шепотом.

Если бы Мариус был Курфейраком, то есть принадлежал к той породе людей, которые смеются во всех случаях жизни, он расхохотался бы при виде супруги Жондрет. На ней была черная шляпа с перьями, весьма напоминавшая головные уборы герольдов на коронации Карла X, широченная клетчатая шаль поверх вязаной юбки и мужские башмаки – те самые, которыми утром побрезговала ее собственная дочь. По-видимому, этот наряд и заставил Жондрета воскликнуть: «Ага! Ты приоделась! Правильно. Надо, чтобы твой вид внушал доверие!»

Что касается самого Жондрета, то на нем был все тот же новый, слишком просторный редингот, подаренный г-ном Белым, и в его костюме по-прежнему поражало несоответствие между рединготом и панталонами, столь любезное, по мнению Курфейрака, сердцу поэта.

Вдруг Жондрет повысил голос:

– Кстати! Дай сообразить. Ведь по такой погоде он, пожалуй, приедет в фиакре. Бери-ка фонарь, зажги и спускайся вниз. Станешь там за дверью. Как только услышишь, что подъехала карета, живо отвори; пока он подымет, ты посветишь ему на лестнице и в коридоре, а как только проводишь сюда, опять спустись бегом, рассчитайся с кучером и отошли его.

– А деньги где? – спросила жена.

Жондрет пошарил в карманах штанов и протянул ей пять франков.

– Это еще откуда? – воскликнула она.

Жондрет степенно ответил:

– Тот лобанчик, что дал утром сосед. – Потом прибавил: – Знаешь что? Надо бы принести сюда два стула.

– Зачем?

– Чтобы было на чем сидеть.

У Мариуса пробежал по коже мороз, когда он услышал спокойный ответ тетки Жондрет:

– Ну ладно! Пойду приволоку их от соседа.

Она быстро отворила дверь и вышла в коридор. Мариусу не хватило даже времени соскочить с комода, добраться до кровати и спрятаться.

– Возьми свечу! – крикнул Жондрет вдогонку.

– Не надо, – сказала она, – только помешает, ведь мне два стула тащить. От луны и так светло.

Мариус услышал, как тяжелая рука тетки Жондрет ощупью искала в темноте ключ. Дверь распахнулась. Он застыл, словно пригвожденный к месту неожиданностью и страхом.

Тетка Жондрет вошла в комнату.

Сквозь чердачное окно пробивался узкий лунный луч, разрезавший тьму как бы на два полотнища. Одно из этих широких полотнищ тьмы целиком закрывало стену, к которой прислонился Мариус, и его не было видно.

Тетка Жондрет подняла глаза, не заметила никого, взяла оба стула, единственную мебель Мариуса, и вышла, оглушительно хлопнув дверью.

Она вернулась в свою конуру.

– Вот тебе стулья.

– А вот и фонарь, – сказал муж. – Спускайся, живо.

Она поспешно вышла, и Жондрет остался один.

Он поставил стулья по обеим сторонам стола, перевернул долото в угольях, придвинул к камину старые ширмы, загородив ими жаровню, затем направился в угол, где лежала груда веревок, и нагнулся над ней, что-то разглядывая. То, что Мариус принял было за бесформенную кучу хлама, оказалось прекрасно сложенной веревочной лестницей с деревянными перекладинами и двумя крючьями.

Ни этой лестницы, ни этих похожих на железные бруски тяжелых инструментов, добавленных к груде железного лома за дверью, не было утром в лачуге Жондрета, очевидно, он принес их днем, во время отсутствия Мариуса.

«Это кузнечные инструменты», – подумал Мариус.

Если бы Мариус немного лучше разбирался в таких вещах, то понял бы, что он принимал за кузнечную снасть особый набор для отмычки замков или взлома дверей, а также колющие и режущие инструменты – два типа зловещих орудий, известных у воров под названием «жало» и «резь».

Камин и стол с двумя стульями находились как раз напротив Мариуса. Жаровня была заставлена ширмой, и комната освещалась только свечой; от малейшего черепка, валявшегося на столе или на камине, ложились длинные тени. Кувшин с отбитым горлышком затенял полстены. Комната застыла в каком-то жутком и зловещем покое. В воздухе нависло ожидание чего-то страшного.

Жондрет дал своей трубке погаснуть – верный признак озабоченности – и снова уселся к столу. При пламени свечи отчетливо выступили острые, хищные черты его лица. По временам он хмурил брови и резко взмахивал правой рукой, как бы возражая на какие-то последние доводы мрачного внутреннего голоса. При одной из таких угрюмых реплик, обращенных к самому себе, он быстро выдвинул ящик стола, вытащил длинный кухонный нож, спрятанный там, и попробовал на ногте острие. Потом, сунув нож обратно, задвинул ящик.

Мариус в свою очередь нащупал пистолет в правом жилетном кармане, вытащил его и взвел курок. Пистолет издал при этом отчетливый сухой треск. Жондрет вздрогнул и привстал со стула.

– Кто там? – крикнул он.

Мариус затаил дыхание. Жондрет прислушивался с минуту, затем проговорил смеясь:
– Ну и болван же я! Это трещит перегородка.
Мариус зажал пистолет в руке.

Глава 18

Два стула Мариуса ставятся один против другого

Внезапно стекла задребезжали от унылого отдаленного звона. На колокольне Сен-Медар пробило шесть часов.

Жондрет отмечал каждый удар кивком головы. Когда отзвонил шестой, он снял пальцами нагар со свечи.

Затем он принялся шагать из угла в угол, выглянул в коридор, прислушался, опять зашагал, опять прислушался. «Только бы не надул!» – пробормотал он, возвращаясь на свое место.

Не успел он сесть, как дверь отворилась.

Тетка Жондрет распахнула ее и остановилась в коридоре, осклабясь отвратительной льстивой гримасой, которую подчеркивал свет, пробивавшийся снизу, сквозь одну из щелей потайного фонаря.

– Милости просим, сударь, – сказала она.

– Милости просим, благодетель вы наш, – подхватил Жондрет, поспешно вскакивая.

Появился г-н Белый.

Его лицо выражало ясное спокойствие, невольно внушающее почтение.

Он положил на стол четыре золотых.

– Господин Фабанту, – проговорил он, – вот вам на квартиру и на самые неотложные расходы. А дальше будет видно.

– Да вознаградит вас господь за вашу щедрость, благодетель! – вскричал Жондрет и, быстро подойдя к жене, тихо сказал: – Отошли фиакр.

Покуда ее муж расточал поклоны и пододвигал стул г-ну Белому, она незаметно скрылась. Вернувшись через минуту, она шепнула ему на ухо:

– Готово!

Снег шел с утра не переставая и покрыл мостовую таким толстым слоем, что никто не слышал ни как подкатил, ни как отъехал фиакр.

Тем временем г-н Белый уселся.

Жондрет пристроился на другом стуле, напротив него.

Теперь, чтобы лучше представить себе то, что сейчас последует, пусть читатель вообразит себе морозную ночь, пустыри больницы Сальпетриер, занесенные снегом и белеющие в лунном свете, словно огромные саваны; там и сям огоньки уличных фонарей, бросающие красный отсвет на хмурые бульвары, на длинные ряды черных вязов; глухое безлюдье, быть может, на четверть мили вокруг; лачугу Горбо в час глубочайшей тишины и жуткого мрака, а в этой лачуге, затерявшейся во тьме, в глуши, огромную, слабо освещенную единственной свечой берлогу Жондрета, и в этой трущобе – двух людей, сидящих за одним столом: г-на Белого, сохраняющего невозмутимый вид, и ухмыляющегося страшного Жондрета, в углу – старую волчицу Жондрет, а за перегородкой – невидимого Мариуса, не упускающего ни единого слова, ни единого движения, с настороженным взглядом, с пистолетом в руке.

Впрочем, Мариус не испытывал ни малейшего страха; им владело одно лишь отвращение. Он сжимал рукоятку пистолета и чувствовал себя уверенно. «Я арестую негодяя, как только сочту нужным», – думал он.

Он знал, что полиция где-то близко, в засаде, и ждет условного сигнала, чтобы схватить

преступника.

Помимо всего, он надеялся, что трагическое столкновение г-на Белого с Жондретом прольет хоть немного света на то, что ему так важно было узнать.

Глава 19

Остерегайтесь темных углов

Не успел г-н Белый сесть, как тотчас же, окинув взглядом убогие кровати, на которых теперь никто не лежал, спросил:

– Как себя чувствует бедное раненое дитя?

– Плохо, – отвечал Жондрет с горькой и признательной улыбкой, – очень плохо, сударь. Старшая сестра повела ее в больницу Бурб на перевязку. Вы их увидите, они сейчас вернутся.

– А госпоже Фабанту как будто лучше? – продолжал г-н Белый, рассматривая причудливый наряд тетки Жондрет, которая, стоя перед дверью, словно она уже сторожила выход, уставилась на него с угрожающим, чуть ли не воинственным видом.

– Она смертельно больна, – заявил Жондрет. – Но что поделаешь, сударь? У нее столько мужества, у бедняжки! Это просто не женщина, а бык.

Супруга Жондрета, растроганная комплиментом, воскликнула с жеманством чудовища, которому польстили:

– Ты слишком добр ко мне, голубчик Жондрет!

– Жондрет? – удивился г-н Белый. – Я полагал, что вас зовут Фабанту?

– Фабанту, а по сцене – Жондрет, – живо нашелся муж. – Псевдоним артиста.

И, взглянув на супругу, он пожал плечами, но так, чтобы не заметил г-н Белый, затем снова затыкнул слащавым, воркующим голосом:

– Мы с моей бедной женошкой всегда жили душа в душу! Что бы у нас оставалось, не будь этого утешения? Мы так несчастны, сударь. Руки есть, а работы нет. Душа горит, а заняться нечем. Я не знаю, о чем думает правительство, но, честное слово, сударь, я не якобинец, не какой-нибудь горлопан республиканец, я не против властей, но если бы посадили меня вместо министров – честное благородное слово, все пошло бы по-другому. Вот я, к примеру, послал дочек обучаться картонажному ремеслу. Вы скажете: «Как, ремеслу?» Да, ремеслу, грубому ремеслу, чтобы иметь на кусок хлеба. Видите, до чего мы докатились, мой благодетель! До какого унижения! И это после того, кем мы были! Увы, у нас ничего не осталось от прежнего благополучия. Ничего, кроме одной-единственной вещи, кроме картины; но как ни дорожу я этой картиной, а придется ее спустить, ведь жить-то надо! Что ни говори, а жить надо!

Пока Жондрет разглагольствовал с какой-то нарочитой бессвязностью, что несколько не отвечало настороженному и сосредоточенному выражению его лица, Мариус поднял глаза и увидел в углу комнаты какого-то мужчину, которого до сих пор не замечал. Человек, должно быть, недавно вошел, и так тихо, что даже не было слышно скрипа дверных петель. На нем была лиловая вязаная фуфайка, старая, заношенная, грязная, изодранная и вся зияющая прорехами, широкие плисовые штаны и грубые носки; он был без рубашки, с голой шеей, голыми татуированными руками и с лицом, вымазанным сажей. Скрестив руки, он молча уселся на ближайшей кровати, позади тетки Жондрет, и таким образом его почти не было видно.

Повинуясь какой-то внутренней магнетической силе, которая направляет наш взгляд, г-н Белый невольно посмотрел в угол почти одновременно с Мариусом. Он не мог удержаться от удивленного жеста, что сразу заметил Жондрет.

– Ага, понимаю, – с особой предупредительностью воскликнул Жондрет, застегивая на себе

пуговицы, – вы изволите глядеть на ваш редингот? Он идет мне! Ей-богу, очень идет!

– Что это за человек? – спросил г-н Белый.

– Это?.. – протянул Жондрет. – Это так, сосед. Не обращайтесь внимания.

Вид у соседа был странный. Но в предместье Сен-Марсо расположено несколько химических заводов. У многих фабричных рабочих бывают черные лица. Впрочем, вся наружность г-на Белого говорила о полном доверии, и в нем не чувствовалось и тени страха.

– Простите, о чем это вы начали говорить, господин Фабанту?

– Я говорил вам, мой дорогой покровитель, – подхватил Жондрет, облокотясь на стол и вперив в г-на Белого неподвижный и нежный взгляд, слегка напоминающий взгляд удава, – я говорил, что у меня продается картина.

Чуть скрипнула дверь. Вошел второй мужчина и уселся на постели, позади тетки Жондрет. У него, как и у первого, были голые руки и черное от сажи или чернил лицо.

Хотя этот человек в буквальном смысле слова проскользнул в комнату, г-н Белый все же заметил и его.

– Не беспокойтесь, – продолжал Жондрет, – это здешние жильцы. Итак, я говорил, что у меня сохранилась ценная картина... Вот, сударь, извольте поглядеть.

Он поднялся, подошел к стене, где стояла на полу уже упомянутая нами картина, и, повернув ее лицом, опять прислонил к стене. При слабом свете свечи это действительно казалось чем-то похожим на живопись. Однако, что изображала картина, Мариус не мог разобрать, так как Жондрет загораживал ее; он разглядел только грубую мазню и нечто вроде человеческой фигуры на переднем плане; все это было размалевано с кричащей яркостью балаганного занавеса или ширмы марионеточного театра.

– Что это такое? – спросил г-н Белый.

Жондрет воскликнул с восторгом:

– Произведение мастера, картина огромной ценности, благодетель! Я дорожу ею не меньше, чем своими дочерьми, она мне многое напоминает! Но я уже говорил вам и опять скажу: нужда заставляет, придется ее спустить.

Было ли это случайно, или потому, что он начал испытывать какое-то беспокойство, но г-н Белый, рассматривая картину, снова перевел взгляд в глубину комнаты. Там уже оказались четыре человека – трое сидели на кровати, один стоял у дверей; все четверо – с голыми руками, неподвижные, с лицами, вымазанными черным. Один из сидевших на кровати прижался к стене и закрыл глаза; могло показаться, что он спит. Это был старик, и его седые волосы над черным лицом производили страшное впечатление. Остальные двое казались молодыми. Один был бородатый, другой лохматый. Все они были разуты – кто в носках, кто босиком.

Жондрет заметил, что г-н Белый не спускает глаз с этих людей.

– Это друзья. Живут по соседству, – сказал он. – Они все чумазные, потому что копаются в саже. Эти ребята – трубочисты. Не стоит ими заниматься, благодетель, вы лучше купите у меня картину. Сжальтесь над моей нищетой. Я вам недорого уступлю. Во сколько вы ее оцените?

– Но ведь это вывеска с какого-нибудь кабачка, ей цена не больше трех франков, – проговорил г-н Белый, пристально глядя в глаза Жондрета с настороженным видом.

Жондрет ответил вкрадчиво:

– При вас ли ваш бумажник? С меня довольно будет тысячи экю.

Господин Белый встал во весь рост, прислонился к стене и быстро окинул взглядом комнату. Слева от него, между ним и окном, находился Жондрет, справа, между ним и дверью, жена Жондрета и четверо мужчин. Все четверо не шевелились и как будто даже не замечали его. Жондрет снова жалобно забубнил таким плаксивым голосом и глядел таким блуждающим взглядом, что г-н Белый мог подумать, будто нищета, которую он видел перед собой, и впрямь

помутила рассудок этого человека.

– Если вы не купите у меня картину, дорогой благодетель, – продолжал ныть Жондрет, – я совсем пропал, мне останется одно: броситься в воду. Подумать только, ведь я мечтал обучить дочек художественному картонажу, оклеиванию коробок для новогодних подарков. Не тут-то было! Оказывается, для этого нужен верстак с бортом, чтобы стекла не падали на пол, нужна печь по особому заказу, посудина с тремя отделениями для разных сортов клея: погуще – для дерева, пожиже – для бумаги или для материи; нужен резак для заготовки картона, колодка, чтобы прилаживать его, молоток – заколачивать скрепки, еще кисти и еще всякая чертовщина; почему я знаю, что еще? И все для того, чтобы заработать четыре су в день! А корпеть над ними четырнадцать часов. И каждую коробку раз по тринадцать брать в руки. Да смачивать бумагу, да нигде не насажать пятен, да разогревать клей. Проклятая работа, говорят вам! И за все – четыре су в день! Ну, разве на это проживешь?

Причитая так, Жондрет не глядел на г-на Белого, а тот пристально его рассматривал. Глаза г-на Белого были устремлены на Жондрета, а глаза Жондрета – на дверь. Мариус с напряженным вниманием следил за ними обоими. Г-н Белый, казалось, спрашивал себя: «Не умалишенный ли это?» Жондрет несколько раз и на разные лады повторил тягучим, умоляющим голосом: «Мне остается одно: броситься в воду. Я уже недавно спустился было на три ступеньки у Аустерлицкого моста!»

Вдруг его мутные глаза вспыхнули отвратительным блеском, этот низкорослый человечек выпрямился и стал страшен; он шагнул навстречу г-ну Белому и крикнул громовым голосом:

– Все это вздор, не в том дело! Узнаете вы меня?

Глава 20

Западня

Дверь логова Жондрета внезапно распахнулась, и в ней показались трое мужчин в синих холщовых блузах и черных бумажных масках. Один, очень худой, держал в руке длинную дубину, окованную железом; другой, рослый детина, нес за топором, обухом вниз, топор, какой употребляют для убоя быков; третий, широкоплечий, не такой худой, как первый, но и не такой плотный, как второй, сжимал в кулаке огромный ключ, вероятно украденный в тюрьме от какой-нибудь двери.

Жондрет, видимо, только и ждал этих людей. Между ним и человеком с дубиной тотчас завязался торопливый диалог.

– Все готово? – спросил Жондрет.

– Все, – отвечал тот.

– А где Монпарнас?

– Первый любовник остановился поболтать с твоей дочкой.

– С которой?

– Со старшей.

– Фиакр стоит внизу?

– Стоит.

– А повозка запряжена?

– Да.

– А пару заложили хорошую?

– Отличную.

– Они дожидаются, где я велел?

– Да.

– Ну хорошо, – сказал Жондрет.

Господин Белый был очень бледен. Он внимательно и спокойно осматривал все вокруг себя, с видом человека, который понимает, куда он попал, и медленно и удивленно поворачивал голову, вглядываясь по очереди в каждого из окружавших его людей. Однако ни малейшего признака испуга не было на его лице. Стоя позади стола, он воспользовался им как заграждением; этот человек, за минуту до того казавшийся лишь добродушным стариком, вдруг превратился в настоящего богатыря, и движение, которым он опустил свой могучий кулак на спинку стула, дышало угрозой и неожиданной силой.

Этот старик, так стойко и мужественно державшийся перед лицом подобной опасности, принадлежал, по-видимому, к числу тех натур, для которых быть храбрыми так же естественно и просто, как быть добрыми. Отец любимой женщины никогда не остается нам совсем чужим. Мариус испытывал гордость за незнакомца.

Между тем трое мужчин с голыми руками, про которых Жондрет сказал: «Это трубочисты», вытащили из кучи железного лома: один – громадные ножницы для резки металла, другой – тяжелый лом, третий – молоток и, не проронив ни слова, молча стали в дверях. Старик, дремавший на постели, не тронулся с места и только открыл глаза. Тетка Жондрет уселась подле него.

Мариус решил, что момент для вмешательства наступает, и, подняв правую руку с пистолетом, приготовился стрелять вверх, в сторону коридора.

Жондрет, закончив беседу с человеком, вооруженным дубиной, снова обратился к г-ну Белому и повторил прежний вопрос, сопровождая его своим коротким, негромким и в то же время зловещим смешком.

– Итак, вы меня не узнаете?

– Нет, – ответил г-н Белый, глядя ему прямо в глаза.

Тогда Жондрет подошел вплотную к столу. Наклонившись над свечой, скрестив руки и подавшись насколько можно вперед, он приблизил к спокойному лицу г-на Белого, который при этом даже не пошевелился, свои угловатые свирепые челюсти и, застыв в этой позе дикого зверя, приготовившегося укусить, крикнул:

– Я не Фабанту, не Жондрет, я – Тенардьё! Я трактирщик из Монфермейля! Слышите? Тенардьё! Теперь узнаете меня?

Легкая краска залила лицо г-на Белого, но он сохранил обычную свою невозмутимость и ответил, несколько не повышая голоса и без малейшей в нем дрожи:

– Не более, чем прежде.

Мариус не расслышал этого ответа. Если бы не темнота, можно было бы видеть, как он растерян, ошеломлен и поражен. Он весь задрожал, когда Жондрет произнес: «Я Тенардьё», и прислонился к стене с таким ощущением, будто холодный клинок шпаги пронзил его сердце. Затем его правая рука, готовая уже было дать условный выстрел, медленно опустилась, и в то мгновение, когда Жондрет повторил: «Слышите? Тенардьё!», ослабевшие пальцы Мариуса едва не выронили пистолет. Жондрет, открыв, кто он, ничуть не встревожил этим г-на Белого, но глубоко потряс Мариуса. Имя Тенардьё, по-видимому, совсем незнакомое г-ну Белому, было хорошо известно Мариусу. Вспомним, что оно означало для него. Это имя, вписанное в отцовское завещание, Мариус носил у сердца, хранил в сокровенных своих мыслях, в глубинах памяти, запечатлевшей строки священного поручения, гласившего: «Один человек, по имени Тенардьё, спас мне жизнь. Если моему сыну случится встретиться с ним, пусть он сделает для него все, что может!»

Имя это, как, вероятно, помнит читатель, являлось одной из святынь Мариуса; он боготворил его наравне с именем отца. Неужели это и есть тот самый Тенардьё, тот самый

монфермейльский трактирщик, которого он так долго и так тщетно разыскивал? Но вот, наконец, он нашел его! И что же! Спаситель отца был разбойником! Человек, которому он, Мариус, горел желанием доказать свою преданность, был чудовищем! Избавитель полковника Понмерси собирался совершить тяжкое преступление – какое именно, Мариус затруднился бы точно определить, но то, что он видел, походило на замышляющееся убийство! И кого замыслили убить, боже милосердный! Какая роковая случайность! Какая горькая насмешка судьбы! Отец из глубины могилы приказывал ему сделать для Тенардье все, что он может; в продолжение четырех лет Мариус жил одной мыслью – как бы заплатить отцовский долг; и вот, в ту самую минуту, когда он хочет помочь правосудию задержать разбойника на месте преступления, судьба кричит ему: «Это Тенардье!» Наконец-то расплатится он с этим человеком за жизнь отца, спасенную под градом пуль в героической битве при Ватерлоо. Но чем? Эшафотом! Он дал себе слово при встрече с Тенардье, если только этой встрече суждено произойти, броситься к его ногам. И вот он встретился с ним, но затем, чтобы выдать палачу! Отец говорил: «Помоги Тенардье!» А он, в ответ на призыв обожаемого, священного голоса, погубит Тенардье! Пусть отец из могилы любит, как на площади Сен-Жак будут казнить человека, с опасностью для жизни вырвавшего его у смерти, – казнить по милости его сына, того самого Мариуса, которому он завещал заботиться об этом человеке! И разве не насмешка над самим собой – так долго носить на груди последнюю волю отца, собственноручно им написанную, чтобы потом самым кощунственным образом поступить вопреки ей! Но, с другой стороны, можно ли видеть, как затевается злодеяние, и не помешать ему? Неужели нужно предать жертву и пощадить убийцу? Можно ли считать себя обязанным какой-либо признательностью к столь презренному негодяю? Этот неожиданный удар произвел, можно сказать, полный переворот в мыслях Мариуса, которыми он жил в течение четырех лет. Его охватил ужас. Все зависело теперь только от него. Он держал в руках судьбу всех этих людей, которые, ничего не подозревая, суетились тут перед ним. Если он выстрелит, то спасет г-на Белого и погубит Тенардье; если не станет стрелять, г-н Белый окажется жертвой, а Тенардье, быть может, и ускользнет. Столкнуть ли в пропасть одного, не мешать ли падению другого? Совесть восставала против обоих решений. Как же быть? На чем остановиться? Изменить ли самым властным воспоминаниям, самым глубоким обязательствам перед самим собой, самому священному долгу, самым святым письмам? Изменить ли заветам отца, или дать совершиться преступлению? Мариусу казалось, что, с одной стороны, он слышит голос «своей Урсулы», умолявшей за отца, с другой – голос полковника, поручающего ему Тенардье. Он чувствовал, что сходит с ума. У него подкашивались колени, а сцена, происходившая перед его глазами, разыгрывалась с такой бешеной стремительностью, что раздумывать было некогда. Его, словно вихрем, закружили события, которыми ранее он предполагал распоряжаться. Он почти терял сознание.

Между тем Тенардье – впредь мы уже не будем называть его иначе – в каком-то исступлении расхаживал взад и вперед у стола, предаваясь буйному ликованию.

Схватив всей пятерней подсвечник, он с такой силой опустил его на камин, что свеча едва не погасла, а сало брызнуло на стену.

Затем с угрожающим видом он повернулся к г-ну Белому и зарычал:

– Проигрались, промотались, проторговались! В лоск!

И снова принялся шагать, выкрикивая, как одержимый:

– Ага, наконец-то вы мне попались, господин филантроп! Господин нищий миллионер! Господин даритель кукол! Старый разиня! Так вы меня не узнаете? Значит, это не вы приходили ко мне в трактир в Монфермейле восемь лет тому назад, в сочельник тысяча восемьсот двадцать третьего года? Не вы увели с собой ребенка Фантины, Жаворонка? Значит, не на вас был желтый

редингот? Скажете – нет? И не у вас был в руках сверток с тряпьем, точь-в-точь как нынче утром, когда вы явились сюда? Нет, ты только послушай, жена! Видно, такая уж у него придурь – таскать по домам свертки, набитые шерстяными чулками! Тоже благодетель нашелся! Не чулочная ли у вас торговля случайно, господин миллионщик? Вы раздаете, стало быть, все запасы товара из своей лавки беднякам, святоша?! Шут вы гороховый! Так вы меня не узнаете? Зато я узнаю! Я вас сразу узнал, только вы сунули сюда свое рыло. Теперь-то, наконец, вы увидите, что не всегда проходит даром забираться в приличные дома под предлогом, что это, мол, трактир, и жалким своим платьем и нищим видом, с каким только гроши собирают, морочить порядочных людей, прикидываться щедрым, отнимать у человека его заработок да еще потом стращать в лесу. Вы увидите, что, разорив людей, от них не отделаться рединготом со своего плеча да двумя дрянными больничными одеялами! У-у, старый бродяга, похититель детей!

Он на минуту остановился, казалось, что-то бормоча про себя. Его гнев напоминал бурное течение Роны, вдруг исчезающее в какой-нибудь расщелине; затем, словно заканчивая вслух разговор с самим собой, он стукнул по столу кулаком и воскликнул:

– Да при этом еще корчить праведника!

И снова обратился к г-ну Белому:

– Когда-то вы надо мной насмеялись, провались вы пропадом! Вы причина всех моих несчастий! За полторы тысячи франков вы получили девчонку, что жила у меня, а она была, наверно, из богатого семейства. Я уже успел нажить на ней изрядные денежки и мог бы вытянуть еще столько, что хватило бы по гроб жизни! Девчонка покрыла бы все убытки от проклятого этого кабака, на котором, черта с два, попробуй заработай и на который я ухлопал, как дурак, все свое добро! Эх, от души желаю, чтобы вино, выпитое там у меня, превратилось в яд для тех, кто его пил! Ну, да не об этом речь. Признайтесь, я вам казался очень смешным, когда вы ушли от меня, забрав с собой Жаворонка! В лесу при вас была дубинка. Тогда на вашей стороне была сила. Теперь моя взяла. Теперь козыри у меня! Дело ваше дрянь, старина. Право, меня смех разбирает, на него глядя! Простофиля! Я ему наплел, будто я актер, зовусь Фабанту, будто играл в комедиях с мадемуазель Марс, – подумайте только, с самой мадемуазель Шептуньей! – будто домовладелец требует с меня завтра, четвертого февраля, за квартиру, а ему, круглому болвану, и невдомек, что срок платежа бывает восьмого января, а никак не четвертого февраля! Он тащит мне свои поганые четыре монеты, подлец! Духу не хватило даже на сто франков раскошиться! Уши развесил, слушая мою чепуху! Умора! А я про себя думал: «Врешь, не уйдешь, ворона! Не смотри, что утром я лижу тебе лапы. Наступит вечер, вгрызусь тебе в сердце!»

Тенардые умолк. Он задыхался. Его щуплая, узкая грудь ходила ходуном, раздуваясь, как кузнечные мехи. В глазах его светилось гаденькое счастье слабого, жестокого и подлого существа, радующегося, что наконец-то оно может угрожать тому, кого боялось, и оскорблять того, кому льстило, – счастье, с каким карлик попирает бы голову Голиафа, счастье, с каким шакал терзал бы больного, полумертвого быка, уже неспособного защищаться, но еще способного страдать.

Господин Белый не прерывал Тенардые. Когда же тот замолчал, он проговорил:

– Я не понимаю, что вы хотите сказать. Вы заблуждаетесь. Я человек очень бедный и какой уж там миллионер. Я вас не знаю. Вы меня принимаете за кого-то другого.

– Ага! – захрипел Тенардые. – Старая песня! Продолжаете в том же духе! Совсем заврались, старина! Ага, вы меня не помните? Не видите, кто я?

– Прошу извинения, сударь, – ответил г-н Белый вежливым тоном, прозвучавшим в такую минуту необычно и внушительно, – я вижу, что вы бандит.

Кому не доводилось замечать, что даже самые мерзкие люди по-своему самолюбивы;

чудовища не лишены чувствительности. При слове «бандит» жена Тенардье соскочила с постели, а сам он с такой силой схватил стул, словно намеревался изломать его в щепки. «Эй ты, не суйся!» – крикнул он жене и, повернувшись к г-ну Белому, разразился следующей тирадой:

– Бандит! Да, я знаю, что вы, господа богачи, так нас именуете. Ничего не скажешь, правильно! Если я разорился, скрываюсь, сижу без куска хлеба, без гроша, – значит, бандит! Вот уже три дня, как у меня во рту крошки не было. Конечно, я бандит! Зато у всех вас ноги в тепле, на вас сапожки от Саковского, рединготы, подбитые ватой, как на архиепископах; вы квартируете в бельэтажах, в домах с привратниками, кушаете трюфели, лакомитесь спаржей в январе, когда ей цена сорок франков пучок, да зеленым горошком, обжираетесь, а ежели захотите узнать, холодно ли на улице, справляетесь в газете, что показывает термометр инженера Шевалье. Ну, а наш брат – сам себе термометр! Нам нет надобности бегать на набережную к Часовой башне смотреть, сколько градусов мороза; мы чувствуем, как кровь стынет в жилах, как леденеет сердце, и говорим: «Нет бога». И вы изволите посещать наши трущобы, именно трущобы, и обзывать нас бандитами! Но мы вас съедим, проглотим, голубчиков! Так знайте же, господин миллионщик, я был человеком с положением, имел патент, был избирателем, я буржуа! А вот вы – еще неизвестно, кто вы такой!

Тут Тенардье подошел к людям, стоящим у двери, и, дрожа от гнева, добавил:

– Подумать только! Он осмелился разговаривать со мной так, точно перед ним какой-нибудь сапожник!

Затем, адресуясь к г-ну Белому, с еще большим бешенством продолжал:

– И запомните также, господин филантроп, что я не какая-нибудь подозрительная личность, не какой-нибудь безродный человек. Я не шляюсь по домам и не увожу детей! Я старый французский солдат, меня должны были представить к ордену! Я дрался при Ватерлоо, да, да! Я спас в этом сражении генерала, какого-то, сам уж не помню какого, графа. Он назвал мне свою фамилию, но голос у него чертовски ослабел, и я ее не расслышал. Я разобрал только *мерси*. Но мне важнее было его имя, чем его мерси. Оно помогло бы мне разыскать его. А знаете, кого изображает вот эта картина, написанная Давидом в Брюсселе? Меня. Давид пожелал увековечить сей воинский подвиг. Взвалив на спину генерала, я уношу его под картечью. Вот как обстояло дело. Он же ровно ничего никогда для меня не сделал, этот самый генерал, он был не лучше других! И все-таки я спас ему жизнь с риском для собственной жизни, у меня полны карманы всяких бумажек, которые подтверждают это. Я солдат Ватерлоо, тысяча чертей! А теперь, раз уж я сделал вам милость и рассказал всю эту историю, давайте кончать. Мне нужны деньги, много денег, уйма денег! А не дадите, погублю, провались я на этом месте!

Мариус уже несколько справился со своим волнением и слышал слова Тенардье. Последние основания для сомнений исчезли. Перед ним был тот самый Тенардье, о котором упоминалось в завещании. Мариус задрожал, услышав упрек в неблагодарности, брошенный по адресу отца, ведь он едва не оправдал этот упрек, и столь роковым образом. Это повергло его в еще большую тревогу. Впрочем, во всех речах Тенардье, в его тоне, жестах, во взгляде, метавшем пламя при каждом слове, в этих вспышках распоясавшейся подлой натуры, в этой смеси бахвальства и унижения, гордости и низости, злобы и тупости, в этом хаосе подлинных обид и наигранных чувств, в этой наглости злодея, который сладострастно упивался совершаемым насилием, в этой бесстыдной наготе уродливой души, в этом взрыве человеческих страданий и ненависти, слитых воедино, – во всем этом было нечто столь же отвратительное, как само зло, и столь же мучительное, как сама правда.

Читатель, вероятно, уже догадался, что произведение кисти знаменитого мастера, картина Давида, которую Тенардье предлагал г-ну Белому купить у него, было просто вывеской его

трактира, им же самым, как мы помним, нарисованной, – единственным обломком, уцелевшим от монфермейльского крушения.

Поскольку Тенардье не загораживал больше Мариусу поле зрения, последний мог теперь рассмотреть картину. Эта пачкотня действительно изображала сражение в облаках дыма и человека, несущего на себе раненого. Группа должна была представлять Тенардье и Понмерси, спасителя-сержанта и спасаемого полковника. Мариус смотрел, будто опьяненный; эта картина словно оживляла перед ним отца; он видел уже не вывеску монфермейльского кабака, а воскрешение из мертвых, полуразверстую могилу и восстающий из гроба призрак. В висках у Мариуса стучало, в ушах ревели пушки Ватерлоо, образ истекающего кровью отца, неясно выписанный на этом мрачном холсте, пугал его, и ему казалось, что бесформенный силуэт пристально глядит на него.

Между тем Тенардье, отдышавшись и уставив на г-на Белого свои налитые кровью глаза, негромко и отрывисто спросил:

– Желаешь что-нибудь сказать перед последним угощением?

Господин Белый молчал. Среди наступившей тишины кто-то надтреснутым голосом бросил из коридора следующую полную зловещего смысла остроту:

– Кому наколоть дров? Я готов!

То была шутка человека с топором.

И тотчас в дверях, с отвратительным смехом, обнажавшим не зубы, а клыки, показалась огромная, обросшая щетиной, ослабленная физиономия землистого цвета.

То была физиономия человека с топором.

– Ты зачем скинул маску? – в бешенстве заорал на него Тенардье.

– Чтобы посмеяться, – ответил человек.

Уже несколько минут, как г-н Белый внимательно следил за каждым движением Тенардье, а тот, ослепленный яростью, ничего не замечая, шагал взад и вперед по своей берлоге, с полной уверенностью, что дверь охраняется, что он, вооруженный, имеет дело с безоружным, что их девять против одного, если даже считать тетку Тенардье только за одного мужчину. Делая выговор человеку с топором, он повернулся спиной к г-ну Белому.

Господин Белый воспользовался этим мгновением, оттолкнул ногой стул, кулаком – стол, и, прежде чем Тенардье успел повернуться, он с изумительным проворством, одним прыжком, очутился у окна. Открыть окно, вскочить на подоконник и перекинуть через него ногу было делом минуты. Он был уже наполовину снаружи, когда шесть крепких ручищ схватили его и сильным рывком втащили назад в логово. Это сделали три ринувшихся на него «трубочиста». Тетка Тенардье тут же вцепилась ему в волосы.

На шум из коридора сбежались остальные бандиты. Старик, лежавший на постели и казавшийся навеселе, слез с койки, вооружился молотом каменщика и, покачиваясь, тоже подошел к ним.

Один из «трубочистов», на размалеванное лицо которого падал свет от свечи и в котором, несмотря на сажу, Мариус узнал Крючка, прозываемого также Весенним, а также Гнусом, занес над головой г-на Белого железный брусок со свинцовыми набалдашниками на обоих концах, напоминавший палицу.

Этого Мариус уже не мог выдержать: «Прости меня, отец!» – мысленно прошептал он и пальцем нащупал курок пистолета. Но выстрел еще не успел грянуть, как послышался окрик Тенардье:

– Не троньте его!

Отчаянная попытка жертвы спастись подействовала на Тенардье скорее успокаивающим, нежели раздражающим образом. Два человека жило в нем: жестокий и расчетливый. До сих

пор, в упоении победой перед поверженной и недвижимой жертвой, главенствовал жестокий; теперь же, когда добыча начала сопротивляться и обнаружила желание бороться, в нем проснулся и взял верх человек расчетливый.

– Не троньте его! – повторил он. И, сам того не подозревая, сразу же добился успеха, остановив готовый выстрелить пистолет и удержав Мариуса, который, при изменившейся обстановке, решил, что можно еще повременить. Кто знает, а вдруг счастливая случайность избавит его от мучительного выбора: дать ли погибнуть отцу Урсулы, или погубить человека, спасшего полковника.

Между тем завязалась исполинская борьба. Ударом кулака в грудь г-н Белый отбросил старика, и тот откатился на середину комнаты, потом двумя ударами наотмашь свалил двух других нападавших и прижал их коленями, под тяжестью которых негодяи хрипели, словно под жерновами; но четверо остальных схватили грозного старика за руки, обхватили за шею и пригнули его к повергнутым на землю «трубочистам». И теперь, одолев одних и одолеваемый другими, придавив нижних и задыхаясь под грузом тех, что были сверху, тщетно отбиваясь от теснивших его врагов, г-н Белый исчез под этой омерзительной кучей убийц, как вепрь под воющей сворой догов и ищеек.

Наконец им удалось опрокинуть его на кровать, стоявшую ближе к окну, где они оставили его лежать, держа под угрозой нового нападения. Но тетка Тенардье так и не выпустила из своих рук его волос.

– Тебе нечего в это путаться, – прикрикнул на нее Тенардье. – Еще шаль порвешь.

Она повиновалась с рычаньем, как волчица волку.

– Обыскать его, ребята, – приказал Тенардье.

Господин Белый решил, по-видимому, больше не оказывать сопротивления. Его обыскали. Кроме кожаного кошелька с шестью франками и носового платка, при нем ничего не оказалось.

Тенардье положил платок к себе в карман.

– Неужели нет бумажника? – спросил он.

– Ни бумажника, ни часов, – ответил кто-то из «трубочистов».

– Неважно, – пробормотал голосом чревоуещателя человек в маске, который держал в руке большой ключ. – Что и говорить, неподатливый старик!

Тенардье подошел к дверям, взял в углу связку веревок и бросил бандитам.

– Привяжите его в ногах кровати, – приказал он. И, заметив неподвижно лежащего посреди комнаты старика, сбитого ударом г-на Белого, спросил: – Что, Башка помер?

– Нет, пьян, – ответил Гнус.

– Оттащите его в угол, – распорядился Тенардье.

Двое «трубочистов» ногами подтолкнули пьяницу к куче железного лома.

– Зачем ты привел столько народу, Бабет? – тихо спросил Тенардье у человека с дубиной. – Этого не требовалось.

– Не отвязешься от них, – ответил человек с дубиной. – Все захотели участвовать. Времена плохие. Дела не делаются.

Кровать, на которую был брошен г-н Белый, представляла собой нечто вроде больничной койки на четырех грубо обтесанных деревянных ножках. Г-н Белый не сопротивлялся разбойникам. Они поставили его на землю и крепко привязали к спинке той из кроватей, что находилась дальше от окна и ближе к камину.

Когда последний узел был затянут, Тенардье взял стул и уселся почти напротив г-на Белого. Тенардье уже не походил больше на самого себя, в одно мгновение дикая ярость на его лице сменилась спокойным, кротким и лукавым выражением. Под услужливой чиновничьей улыбкой Мариус с трудом узнавал только что пенившуюся злобой звериную его пасть. Он с изумлением

следил за этой фантастической и подозрительной метаморфозой, испытывая то чувство, какое должен испытывать человек, на глазах которого насильник вдруг превратился бы в любезного ходатая по делам.

– Сударь, – начал было Тенардье.

Но тотчас остановился и сделал разбойникам, все еще не отпускаявшим г-на Белого, знак удалиться.

– Отойдите немножко. Дайте мне переговорить с господином, – сказал он.

Все отошли к дверям. Тенардье снова заговорил:

– Сударь, зря вы это вздумали прыгать в окошко. Этак можно и ноги себе сломать. А теперь, если не возражаете, потолкуем спокойно. Прежде всего я хочу поделиться с вами одним своим наблюдением: я заметил, что вы еще ни разу не крикнули.

Тенардье был прав. Это соответствовало действительности, хотя и ускользнуло от внимания взволнованного Мариуса. За все время г-н Белый едва произнес несколько слов, не возвышая голоса, и даже во время борьбы у окна с шестью бандитами хранил самое глубокое и самое странное молчание. Тенардье продолжал:

– Да разве бы я нашел это неуместным, господи боже мой, если бы вы крикнули, например: «Грабят, режут!» При известных обстоятельствах обычно кричат «караул», и, уверяю вас, я не истолковал бы это дурно. Можно ведь немножко пошуметь, когда попадаешь в общество людей, не совсем внушающих доверие. Никто не стал бы вам мешать. Даже рта бы вам не заткнули. А почему, сейчас объясню. Дело в том, что из этой комнаты очень плохо слышно. Вот единственно, что в ней есть хорошего, но уж этого от нее не отнимешь. Настоящий погреб. Взорвись здесь бомба, на соседней караульне подумали бы, что храпит пьяница. Отсюда пушечный выстрел донесся бы не более как «бум!», а гром как «трах!». Удобное помещенье. Впрочем, вы не кричали, с чем вас и поздравляю. Тем лучше. Позвольте же сообщить вам, какое именно я отсюда делаю заключение. Скажите, любезный, кто является, когда зовут на помощь? Полиция, не правда ли? А за полицией? Юстиция. Но вы не звали на помощь, значит, вам, как и нам, не такая уж охота встречаться с полицией и юстицией. Значит, вам, как я уже давно заподозрил, некоторым образом важно кое-что скрывать. Нам, со своей стороны, тоже это важно – стало быть, можно договориться.

Произнося эти слова, Тенардье не сводил глаз с г-на Белого, как будто желая проникнуть острым своим взглядом в самую глубину души пленника. Тем не менее речь его, несмотря на оттенок скрытой, сдержанной наглости, была осторожна и почти изысканна; в этом негодяе, за минуту до того бывшем всего только разбойником, чувствовался человек, который «готовился в священники».

Надо сказать, что молчание пленника – эта необычайная осмотрительность, граничившая с пренебрежением к жизни, это упорство, с каким он подавлял в себе первое, естественное желание позвать на помощь, все эти обстоятельства, теперь, когда Мариус это заметил, были ему крайне неприятны и вызывали у него мучительное чувство недоумения.

Вполне обоснованные замечания Тенардье еще больше сгустили таинственный мрак, окутывавший суровую и странную фигуру, получившую от Курфейрака прозвище г-на Белого. Впрочем, как бы то ни было, но и связанный веревками, окруженный палачами, находясь, так сказать, наполовину в могиле и с каждым мгновением все глубже туда опускаясь, испытываемый то яростью, то вкрадчивостью Тенардье, человек этот оставался невозмутимым; и Мариус не мог не восхищаться в эту минуту его лицом, хранившим выражение гордой печали.

Несомненно, это была душа, недоступная страху, не ведающая растерянности. Это был один из тех людей, которые умеют владеть собою даже в самом безвыходном положении. Как ни грозен был момент, как ни страшна и неизбежна катастрофа, здесь ничто не напоминало

агонию утопающего и тот ужас, которым полон взгляд его широко открытых под водою глаз.

Тенардые непринужденно поднялся со своего места, подошел к камину и отодвинул ширмы, прислонив их к стоявшей рядом кровати. Открылась жаровня, полная пылающих угольев, среди которых пленнику было отчетливо видно раскаленное добела долото, усеянное пурпурными искрами.

Затем Тенардые снова подсел к г-ну Белому.

– Итак, последуем дальше, – сказал он. – Мы можем договориться. Закончим дело полюбовно. Я виноват, признаюсь, я слишком погорячился, хватил через край, не знаю, где у меня только голова была, я наговорил всякого вздору. На том основании, что вы миллионер, я заявлял, например, что требую денег, много денег, уйму денег. Это неправильно. Пусть вы богаты, но у вас свои расходы; господи боже мой, у кого их нет? Я вовсе не хочу вас разорять, не обирала ведь я в самом деле какой-нибудь. Я не из тех людей, которые слишком злоупотребляют выгодами своего положения и остаются в конце концов в дураках. Послушайте, я готов приложить свое, я согласен пойти на уступки. Мне нужно только двести тысяч франков.

Господин Белый не проронил ни слова. Тенардые продолжал:

– Как видите, я лишнего не запрашиваю. Мне неизвестен размер вашего капитала, но я знаю, что деньги для вас ничто. И такому благотворителю, как вы, конечно, ничего не стоит дать двести тысяч франков несчастному отцу семейства. Впрочем, вы сами человек рассудительный и, конечно, не думаете, что я положил столько труда на это дельце и так здорово, по мнению вот этих господ, его наладил, только для того, чтобы попросить у вас на бутылочку красного да порцию жаркого и сходить разок поужинать у Денуайе. Двести тысяч франков – вот моя цена. Это сущие пустяки. А как только денежки вылетят из вашего кармана, на том, ручаюсь, все и кончится. Никто вас и пальцем не тронет. Вы можете возразить: «Помилуйте, да при мне нет двухсот тысяч франков». О, я не ставлю невыполнимых условий! Этого и не требуется. Я прошу вас только об одном, не откажите в любезности написать то, что я вам продиктую.

Тут Тенардые прервал свою речь и, помолчав немного, добавил, нарочито подчеркивая каждое слово и поглядывая с многозначительной усмешкой на жаровню:

– Предупреждаю, никаких отговорок насчет неграмотности я слушать не буду.

Сам великий инквизитор мог бы позавидовать этой усмешке.

Тенардые придвинул стол вплотную к г-ну Белому, вынул из ящика чернила, перо и лист бумаги, оставив ящик полуоткрытым; там блестело длинное лезвие ножа.

Лист он положил перед г-ном Белым.

– Пишите, – сказал он.

Тут, наконец, заговорил и пленник:

– Как же вы хотите, чтобы я писал? Я привязан.

– Совершенно верно, вы правы. Извините! – ответил Тенардые.

И, обратившись к Крючку, прозываемому также Весенним, а также Гнусом, приказал:

– Развяжите господину правую руку.

Крючок, он же Весенний, он же Гнус, выполнил приказание Тенардые. Когда правая рука пленника была освобождена, Тенардые обмакнул перо в чернила и подал ему.

– Советую хорошенько запомнить, сударь, – сказал он, – что вы в полной нашей власти, в полном нашем распоряжении, что никакая человеческая сила уже не вырвет вас отсюда и что мы будем поистине огорчены, если нас вынудят прибегнуть к крайним и неприятным мерам. Я не знаю ни вашего имени, ни адреса, но предупреждаю, что вас не развяжут до тех пор, пока не воротится особа, которой будет поручено отвезти ваше письмо. А теперь соблаговолите писать.

– Что же я должен писать? – спросил пленник.

– Я продиктую.

Господин Белый взял перо.

Тенардье стал диктовать:

– «Дочь моя...»

Пленник вздрогнул и вскинул глаза на Тенардье.

– Напишите: «Дорогая моя дочь», – продолжал Тенардье.

Г-н Белый повиновался.

– «...приезжай немедленно...»

Он приостановился:

– Ведь вы говорите ей «ты», не правда ли?

– Кому? – спросил г-н Белый.

– Ну девчонке, Жаворонку, черт побери!

– Я не понимаю, что вы хотите сказать, – ответил г-н Белый без малейших признаков волнения.

– Пишите, пишите, – оборвал его Тенардье и снова принялся диктовать: – «Приезжай немедленно. Ты мне крайне нужна. Особе, которая передаст тебе настоящую записку, поручено доставить тебя ко мне. Жду тебя. Приезжай не раздумывая».

Господин Белый написал все, что ему было продиктовано. Но Тенардье не успокоился:

– Нет, вычеркните: «приезжай не раздумывая»; она может заподозрить, что тут не все ладно и что есть основания раздумывать.

Господин Белый зачеркнул эти три слова.

– А теперь, – продолжал Тенардье, – подпишитесь. Как вас зовут?

Пленник положил перо и спросил:

– Кому предназначается это письмо?

– Вы сами прекрасно знаете. Девчонке. Вам уже это сказано.

Тенардье явно избегал называть по имени девушку, о которой шла речь. Он говорил: «Жаворонок», «девчонка», но имени ее не произносил. Это обычная предосторожность жулика, старающегося скрыть от сообщников свою тайну. Назвать имя означало бы раскрыть им все «дело» и дать возможность узнать о нем больше, чем им надлежало знать.

– Подпишитесь. Как вас зовут? – повторил он.

– Урбен Фабр, – сказал пленник.

Тенардье кошачьим движением быстро запустил руку в карман и вытащил носовой платок, отобранный у г-на Белого. Отыскав метку, он поднес платок к свече.

– У. Ф. Так, подходит. Урбен Фабр. Ну, ставьте подпись «У. Ф.».

Пленник поставил подпись.

– Одной рукой письма не сложить, – сказал Тенардье. – Давайте я сложу. Пишите адрес: «Мадемуазель Фабр», на вашу квартиру. Я знаю, что вы живете неподалеку отсюда, где-то близ церкви Сен-Жак-дю-О-Па, так как ходите туда каждый день к обедне, но на какой улице, не знаю. Я вижу, что вы поняли свое положение. А раз уж вы не скрыли настоящего своего имени, надо думать, не скроете и адреса. Напишите его сами.

Пленник на минуту задумался, затем взял перо и написал:

«Мадемуазель Фабр у г-на Урбена Фабра на улице Сен-Доминик-д'Анфер, № 17».

Тенардье с какой-то лихорадочной поспешностью схватил письмо.

– Жена! – позвал он.

Она подбежала.

– Вот письмо. Что с ним делать, ты знаешь. Фиакр ждет внизу. Сейчас же поезжай и живо назад.

И, обращаясь к человеку с топором, распорядился:

– А ты, если уж не хочешь ходить ряженым, проводишь хозяйку. Сядешь на запятки. Хорошо помнишь, где поставил повозку?

– Помню, – ответил тот.

И, поставив свой топор в угол, он последовал за теткой Тенардые.

Не успели они выйти, как Тенардые, просунув голову в полуоткрытую дверь, крикнул в коридор:

– Главное, не потеряй письма! Не забудь, что везешь двести тысяч франков.

– Не беспокойся. Оно у меня за пазухой, – отвечал сиплый голос супруги.

Не прошло и минуты, как послышалось щелканье кнута; оно становилось все тише и вскоре совсем заглохло.

– Отлично, – пробормотал Тенардые. – Здорово гонят. Таким галопом хозяйка в три четверти часа обернется.

Он придвинул стул к камину и сел, скрестив руки и приблизив к жаровне подошвы своих грязных сапог.

– Ноги у меня совсем окоченели, – сказал он.

Теперь, кроме Тенардые и пленника, в труппе оставалось лишь пятеро бандитов. Хотя лица их были скрыты под масками или под черным клеем, что, в зависимости от степени внушаемого страха, делало их похожими на угольщиков, негров или чертей, люди эти казались угрюмыми и сонными. Чувствовалось, что они совершают преступление как бы по обязанности, не спеша, без злобы, без жалости, с какой-то неохотой. Словно скот, они сгрудились в углу и притихли. Тенардые грел ноги. Пленник снова погрузился в молчание. Мрачная тишина сменила дикий шум, наполнявший несколько минут до того логово Тенардые.

Нагоревшая свеча едва освещала огромное грязное жилье, уголья в жаровне потускнели, и уродливые головы бандитов отбрасывали на стены и потолок чудовищные тени.

Слышалось только мирное посапывание спящего в углу пьяного старика.

Мариус ждал, охваченный все возрастающей тревогой. Загадка стала теперь еще непостижимее. Кто же она, «эта девчонка», которую Тенардые называл также «Жаворонком»? Уж не его ли «Урсула»? Пленник, казалось, нисколько не смутился при слове «Жаворонок» и ответил совершенно просто: «Я не понимаю, что вы хотите сказать». Наряду с этим нашли свое объяснение буквы У и Ф: они означали «Урбен Фабр», и Урсула уже перестала, таким образом, быть Урсулой. Последнее особенно отчетливо врезалось в сознание Мариуса. Словно какие-то страшные чары приковали его к месту, откуда он мог наблюдать за всей сценой. Он стоял там, почти неспособный двигаться и мыслить, как бы уничтоженный зрелищем подлости, открывшимся в такой непосредственной близости от него. Он ждал, надеясь на что-то, сам не зная на что, не в силах собраться с мыслями и принять какое-либо решение.

«Во всяком случае, – думал он, – если Жаворонок – это она, я, конечно, увижу ее, так как жена Тенардые должна привезти ее сюда. А тогда решено: если понадобится, я не пощажу ни жизни, ни своей крови, но освобожу ее! Я ни перед чем не остановлюсь».

Так прошло около получаса. Тенардые, казалось, был поглощен какими-то угрюмыми размышлениями. Пленник застыл в неподвижной позе. Между тем Мариусу уже несколько минут слышался по временам как бы легкий заглушенный звук, доносившийся оттуда, где находился пленник.

– Господин Фабр, – вдруг обратился к пленнику Тенардые. – Запомните хорошенько то, что я сейчас скажу.

Эта краткая фраза походила на начало объяснения. Мариус насторожился.

– Потерпите немного, – продолжал Тенардые. – Жена моя скоро вернется. Я думаю, что

Жаворонок – на самом деле ваша дочь, и нахожу в порядке вещей, чтобы она оставалась с вами. Только вот какое дело. Жена поехала за нею с вашим письмом. Я велел жене принарядиться так, чтобы ваша барышня без опаски отправилась с ней, вы это видели. Обе они сядут в фиакр, приятель мой станет на запятки. За заставой, в одном местечке, поджидает повозка, запряженная парой добрых коней. Туда-то и доставят вашу барышню. Там она выйдет из фиакра. Приятель посадит ее вместе с собой в повозку, а жена вернется к нам и доложит: «Все сделано». Что касается вашей барышни, то никакого зла ей не причинят, повозка отвезет ее туда, где ей будет спокойно, и как только вы выложите эти несчастные двести тысяч, вам ее вернут. Если же по вашей милости меня арестуют, приятель уберет Жаворонка. Вот и все.

Пленник не проронил ни слова. Тенардье после небольшой паузы продолжал:

– Как видите, все очень просто. Ничего дурного не случится, если вы сами этого не захотите. Я вам для того все и рассказываю. Я предупреждаю вас о том, как обстоит дело.

Он остановился, но пленник не нарушал молчания, и Тенардье снова заговорил:

– Как только супруга моя вернется и подтвердит, что Жаворонок находится в пути, мы вас отпустим, и вы можете беспрепятственно идти домой ночевать. Вы видите, что дурных намерений у нас нет.

Потрясающие картины проносились в воображении Мариуса. Как! Разве похищенную девушку не привезут сюда? Одно из этих чудовищ потащит ее куда-то в ночной мрак? Но куда?.. А вдруг это она? А что это была она, он не сомневался. Мариус чувствовал, как сердце его перестает биться в груди. Что делать? Выстрелить? Отдать в руки правосудия всех этих негодяев? Но это не помешает страшному человеку с топором, увозящему девушку, остаться вне пределов досягаемости. Мариусу вспомнились слова Тенардье, и ему приоткрылся их кровавый смысл: *«Если же по вашей милости меня арестуют, приятель уберет Жаворонка»*.

Теперь он чувствовал, что его удерживают не только заветы полковника, но и любовь, а также опасность, нависшая над любимой.

Это ужасное положение длилось уже больше часа, поминутно рисуя ему все происходившее в новом свете. Мариус имел мужество последовательно перебрать все самые страшные возможности, которыми оно грозило, стараясь отыскать выход, но так и не нашел его. Возбуждение, царившее в его мыслях, составляло резкий контраст с могильной тишиной притона.

Стук открывшейся и вновь захлопнувшейся наружной двери нарушил эту тишину.

Связанный пленник пошевелинулся.

– А вот и хозяйка, – сказал Тенардье. Не успел он договорить, как в комнату действительно ворвалась тетка Тенардье, вся красная, задыхающаяся, запыхавшаяся, с горящим взглядом и, хлопнув себя толстыми руками по бедрам, завопила:

– Фальшивый адрес!

Вслед за ней появился бандит, которого она возила с собой, и поспешил снова схватить свой топор.

– Фальшивый адрес? – повторил за ней Тенардье.

– Никого! На улице Сен-Доминик, в доме номер семнадцать, никакого господина Урбена Фабра нет! Там никто такого и не знает! – продолжала она.

Затем остановилась, чтобы перевести дыхание, и сейчас же опять заговорила:

– Эх ты, господин Тенардье! Ведь старик-то тебя околпачил! Ты, видишь ли, слишком добр! На твоём месте я прежде всего дала бы ему хорошенько по роже для острастки, а стал бы упираться – живьем бы изжарила! Надо было его заставить открыть рот, сказать, где девчонка и куда он запрятал свою кубышку! Вот как бы я, доведись это мне, повела дело! Недаром говорят, что мужчины куда глупее женщин! В доме семнадцать – никого! Это дом с большими воротами.

Никакого господина Фабра на улице Сен-Доминик нет! А я-то мчусь очертя голову, а я-то бросаю на водку кучеру и все такое! Расспрашивала я и привратника и привратницу, женщину очень толковую, они о нем и слыхом не слыхали!

Мариус облегченно вздохнул. Она, Урсула или Жаворонок, – та, имени которой он теперь не сумел бы уже назвать, – была спасена.

Между тем как жена продолжала исступленно вопить, Тенардье уселся на стол. Покачивая свисавшей правой ногой, он несколько минут молча, со свирепым и задумчивым видом, глядел на жаровню.

Наконец, обернувшись к пленнику, он медленно, с каким-то злобным клокотанием в голосе, спросил:

– Фальшивый адрес! На что же ты, собственно говоря, надеялся?

– Выиграть время! – крикнул в ответ пленник. В то же мгновение он сбросил с себя веревки; они были перерезаны. Теперь пленник оставался привязанным к постели только за одну ногу.

Прежде чем кто-либо из всех семерых успел опомниться и кинуться к нему, он нагнулся над камином, протянул руку к жаровне и снова выпрямился; Тенардье, его жена и бандиты отпрянули в глубь логова и оцепенели от ужаса, увидев, как он, почти свободный от уз, в грозной позе, поднял над головой раскаленное докрасна долото, светившееся зловещим светом.

Судебное расследование, произведенное впоследствии по делу о злоумышлении в лачуге Горбо, установило, что при полицейской облаве в мансарде была обнаружена монета в два су, особым образом разрезанная и отделанная. Эта монета являлась одной из диковинок ремесленного мастерства каторги, порождаемого ее терпением во мраке и для мрака, – одной из тех диковинок, которые представляют собой не что иное, как орудие побега. Эти отвратительные и в то же время тончайшие изделия изумительного искусства занимают в ювелирном деле такое же место, какое метафоры воровского аргю в поэзии. На каторге существуют свои Бенвенуто Челлини, совершенно так же, как в языке – Вийоны. Несчастный, жаждущий освободиться, умудряется иной раз даже без всякого инструмента, с помощью какого-нибудь ножичка или старого токарного долота, распилить су на две тонкие пластинки, выскоблить их, не повредив чекана, и сделать по ребру нарезки, чтобы можно было снова соединять пластинки. Монета по желанию заворачивается и разворачивается; это – коробочка. В нее прячут часовую пружинку, а часовая пружинка в умелых руках перепиливает цепи любой толщины и железные решетки. Глядя на этого бедного каторжника, мы полагаем, что он обладает одним только су. Ничуть не бывало, он обладает свободой. Таковую-то монету стоимостью в два су, обе отвинченные половинки которой валялись под кроватью у окна, и нашли при последующих полицейских обысках в логове Тенардье. Равным образом была обнаружена и маленькая стальная пилка голубого цвета, умещавшаяся в монете. Когда бандиты обыскивали пленника, монета, вероятно, была при нем, но ему удалось спрятать ее в руке, а как только ему освободили правую руку, он развинтил монету и воспользовался пилкой, чтобы перерезать веревки, которыми был привязан. Этим объясняются и легкий шум и едва уловимые движения, замеченные Мариусом.

Боясь нагнуться, чтобы не выдать себя, пленник не перерезал пут на левой ноге.

Между тем бандиты вскоре опомнились от первого испуга.

– Не беспокойся, – обращаясь к Тенардье, сказал Гнус, – одна нога у него еще привязана, и ему не уйти. Могу поручиться. Эту лапу я сам ему затянул.

Но тут возвысился голос пленник:

– Вы подлые люди, но жизнь моя не стоит того, чтобы так уж за нее бороться. А если вы воображаете, что меня можно заставить говорить, заставить писать то, чего я не хочу говорить и

чего не хочу писать, то...

Он засучил рукав на левой руке и прибавил:

– Вот, глядите!

С этими словами он вытянул правую руку и приложил прямо к голому телу раскаленное до свечения долото, которое держал за деревянную ручку.

Послышалось потрескивание горящего мяса, чердак наполнился запахом камеры пыток. У Мариуса, обезумевшего от ужаса, подкосились ноги; даже бандиты, и те содрогнулись. Но едва ли хоть один мускул дрогнул на лице изумительного старика. Меж тем как раскаленное железо все глубже погружалось в дымящуюся рану, невозмутимый, почти величественный, он остановил на Тенардье беззлобный прекрасный взор, в возвышенной ясности которого растворялось страдание.

У сильных, благородных натур, когда они становятся жертвой физической боли, бунт плоти и чувств побуждает их душу открыться и явить себя на челе страдальца; так солдатский мятеж заставляет выступить на сцену командира.

– Несчастные, – сказал он, – я не боюсь вас, и вы меня не бойтесь.

И резким движением вырвав долото из раны, он бросил его за окошко, оставшееся открытым. Страшный огненный инструмент, кружась, исчез в темноте ночи и, упав где-то далеко в снег, погас.

– Делайте со мной, что угодно, – продолжал пленник. Теперь он был безоружен.

– Держите его! – крикнул Тенардье.

Двое из бандитов схватили пленника за плечи, а человек в маске, говоривший голосом чревоушателя, встал перед ним, готовый при малейшем его движении раздробить ему череп ключом.

В ту же минуту внизу за перегородкой и в такой непосредственной от нее близости, что Мариус не мог видеть собеседников, он услышал тихие голоса, обменявшиеся следующими фразами:

– Остается только одно.

– Укокошить?

– Вот именно.

Это совещались супруги Тенардье.

Тенардье медленно подошел к столу, выдвинул ящик и вынул нож.

Мариус беспокойно сжимал рукоятку пистолета. Непростительная нерешительность! Вот уже целый час два голоса звучали в его душе: один призывал чтить завет отца, другой требовал оказать помощь пленнику. Непрерывно шла эта борьба голосов, причиняя ему смертельные муки. До сих пор он лелеял надежду, что найдет средство примирить оба своих долга, но никакой возможности для этого не возникало. Между тем опасность все приближалась, истекли все сроки ожидания. Тенардье, с ножом в руках, над чем-то раздумывал, стоя в нескольких шагах от пленника.

Мариус растерянно водил вокруг глазами – к этому, как последнему средству, бессознательно прибегает отчаяние.

Вдруг он вздрогнул.

Прямо у его ног, на столе, яркий луч полной луны освещал, как бы указуя на него, листок бумаги. Мариусу бросилась в глаза строчка, которую не дольше чем нынешним утром вывела крупными буквами старшая дочь Тенардье:

Легавые пришли.

Неожиданная мысль блеснула в уме Мариуса: средство, которое он искал, решение страшной, мучившей его задачи, как, пощадив убийцу, спасти жертву, было найдено. Не слезая

с комода, он опустился на колени, протянул руку, поднял листок, осторожно отломил от перегородки кусочек штукатурки, обернул его в листок и бросил через щель на середину логова Тенардье.

И как раз вовремя. Тенардье, поборов последние свои страхи и сомнения, уже направлялся к пленнику.

– Что-то упало! – закричала тетка Тенардье.

– Что такое? – спросил Тенардье.

Жена со всех ног кинулась подбирать завернутый в бумагу кусочек штукатурки. Она подала его мужу.

– Откуда он сюда попал? – удивился Тенардье.

– А откуда же, черт побери, мог он, по-твоему, попасть сюда? Из окна, конечно, – объяснила жена.

– Я видел, как он влетел, – заявил Гнус.

Тенардье поспешно развернул листок и поднес его к свече.

– Почерк Эпонины. Проклятие!

Он сделал знак жене и, когда та поспешно подошла, показал ей написанную на листе строчку. Затем глухим голосом добавил:

– Живо! Лестницу! Оставить сало в мышеловке, а самим смываться!

– Не свернув ему шею? – спросила тетка Тенардье.

– Теперь некогда этим заниматься.

– А как будем уходить? – задал вопрос Гнус.

– Через окно, – ответил Тенардье. – Раз Понина бросила камень в окно – значит, дом с этой стороны не оцеплен.

Человек в маске, говоривший голосом чревоушателя, положил на пол громадный ключ, поднял обе руки и трижды быстро сжал и разжал кулаки. Это было как бы сигналом бедствия команде корабля. Разбойники, державшие пленника, тотчас оставили его; в одно мгновение была спущена за окошко веревочная лестница и прочно прикреплена к краю подоконника двумя железными крюками.

Пленник не обращал никакого внимания на то, что происходило вокруг. Казалось, он о чем-то думал или молился.

Лишь только лестница была приложена, Тенардье крикнул:

– Хозяйка, идем! – И бросился к окошку.

Но едва он занес ногу, как Гнус грубо схватил его за шиворот.

– Нет, шалишь, старый плут! После нас!

– После нас! – зарычали бандиты.

– Бросьте ребячиться, – принялся увещевать их Тенардье, – мы теряем время. Фараоны у нас за горбом.

– Давайте тянуть жребий, кому первому вылезать, – предложил один из бандитов.

– Да что вы, рехнулись? Спятили? – завопил Тенардье. – Видали таких олухов? Терять время! Тянуть жребий! Как прикажете, на мокрый палец? На соломинку? Или, может, напишем наши имена? Сложим записочки в шапку?..

– Не пригодится ли вам моя шляпа? – крикнул с порога чей-то голос.

Все обернулись. Это был Жавер.

Держа в руке свою шляпу, он, улыбаясь, протягивал ее бандитам.

Глава 21

Надо было бы всегда начинать с ареста пострадавших

Как только стемнело, Жавер расставил своих людей, а сам спрятался за деревьями на улице Застава Гобеленов, против лачуги Горбо, по другую сторону бульвара. Он хотел прежде всего «засунуть в мешок» обеих девушек, которым было поручено сторожить подступы к логову. Но ему удалось «упрятать» одну только Азельму. Что касается Эпонины, то ее на месте не оказалось, она исчезла, и он не успел ее задержать. Покончив с этим, Жавер уже не выходил из своей засады, прислушиваясь, не раздастся ли условный сигнал. Уезжавший и вновь вернувшийся фиакр его сильно встревожил. Наконец Жавер потерял терпение; он узнал кой-кого из вошедших в дом бандитов, заключил отсюда, что «напал на гнездо», что ему «повезло», и решил подняться наверх, не дожидаясь пистолетного выстрела.

Читатель помнит, конечно, что Мариус отдал ему ключ от входной двери.

Жавер пришел в самый нужный момент.

Испуганные бандиты схватились за оружие, брошенное ими где попало при попытке бежать. Через минуту эти страшные люди, все семеро, уже стояли в оборонительной позиции, один с топором, другой с ключом, третий с дубиной, остальные – кто со щипцами, кто с клещами, кто с молотом, а Тенардьё – сжимая в руке нож. Жена его подняла большой камень, который валялся в углу у окна и служил скамейкой ее дочерям.

Жавер снова надел на голову шляпу и, скрестив руки, засунув трость под мышку, не вынимая шпаги из ножен, сделал два шага вперед.

– Стоп, ни с места! – крикнул он. – Через окно не лазить. Выходить через дверь. Так оно будет лучше. Вас семеро, нас пятнадцать. Нечего зря затевать потасовку, давайте по-хорошему.

Гнус вынул спрятанный за пазухой пистолет и вложил его в руку Тенардьё, шепнув ему на ухо:

– Это – Жавер. В этого человека я стрелять не посмею. А ты?

– Плевать я на него хотел, – ответил Тенардьё.

– Тогда стреляй.

Тенардьё взял пистолет и прицелился в Жавера.

Жавер, находившийся в трех шагах от Тенардьё, пристально взглянул на него и произнес только:

– Не стреляй. Все равно даст осечку.

Тенардьё спустил курок. Пистолет дал осечку.

– Я ведь тебе говорил, – заметил Жавер.

Гнус бросил к ногам Жавера свою дубину.

– Ты, видно, сам дьявол! Сдаюсь.

– А вы? – обратился Жавер к остальным бандитам.

– Мы тоже, – последовал ответ.

– Вот это дело, вот это правильно. Ведь я же говорил, надо по-хорошему, – спокойно добавил Жавер.

– Я попрошу только об одном, – снова заговорил Гнус, – пусть не лишают меня курева, пока буду сидеть в одиночке.

– Согласен, – ответил Жавер.

Тут он обернулся и крикнул в дверь:

– Пора, входите!

Группа постовых, с саблями наголо, и полицейских, вооруженных кастетами и короткими дубинками, ввалилась в комнату на зов Жавера. Бандитов связали. От такого скопления людей в логове Тенардьё, освещенном лишь одной свечой, стало совсем темно.

– Всем наручники! – распорядился Жавер.

– А ну-ка, подойдите! – раздался вдруг чей-то, не мужской, но отнюдь и не женский голос. Это рычала тетка Тенардые, загородившаяся в углу у окна.

Полицейские и постовые отступили.

Она сбросила с себя шаль, но осталась в шляпе. Муж, скорчившись за ее спиной, почти исчезал под упавшей шалью, а жена прикрывала его своим телом и, подняв обеими руками над головой булыжник, раскачивала им, словно великанша, собирающаяся швырнуть утес.

– Берегитесь! – крикнула она.

Все попятились к выходу. Середина чердака сразу опустела.

Тетка Тенардые взглянула на бандитов, давших себя связать, и гортанным, хриплым голосом пробормотала:

– У-у, трусы!

Жавер улыбнулся и пошел прямо в опустевшую часть комнаты, находившуюся под неусыпным наблюдением супруги Тенардые.

– Не подходи, убирайся! Не то расшибу! – завопила она.

– Экий гренадер! – сказал Жавер. – Ну, мамаша, хоть у тебя борода, как у мужчины, зато у меня когти, как у женщины.

И он продолжал идти вперед.

Растрепанная, страшная тетка Тенардые расставила ноги, откинулась назад и с бешеной силой запустила камнем в голову Жавера. Жавер наклонился. Камень перелетел через него, ударился в заднюю стену, отбив от нее громадный кусок штукатурки, затем рикошетом, от угла к углу, пересек все, к счастью, теперь почти пустое помещение, и упал, совсем уже на излете, к ногам Жавера.

В одну минуту Жавер очутился возле четы Тенардые. Одна из огромных его ручищ опустилась на плечо супруги, другая – на голову супруга.

– Наручники! – крикнул он.

Полицейские всей гурьбой вбежали назад в комнату, и через секунду приказание Жавера было выполнено.

Это сломило тетку Тенардые. Взглянув на свои закованные руки и на руки мужа, она упала на пол и, рыдая, воскликнула:

– Дочки, мои дочки!

– Они за решеткой, – заявил Жавер.

Тем временем полицейские заметили и растолкали спавшего за дверью пьяницу.

– Уже успели управиться, Жондрет? – пробормотал он спросонья.

– Да, – ответил Жавер.

Шестеро бандитов стояли теперь связанные; впрочем, они все еще походили на привидения: трое сохраняли свою черную размазку, трое других – маски.

– Масок не снимать, – распорядился Жавер.

Он окинул всю компанию взглядом, точно Фридрих II, производящий смотр на потсдамском параде, и, обращаясь к трем «трубочистам», бросил:

– Здорово, Гнус. Здорово, Башка. Здорово, Два Миллиарда!

Затем, повернувшись к трем маскам, приветствовал человека с топором:

– Здорово, Живоглот.

Человека с дубиной:

– Здорово, Бабет.

А чревоушателя:

– Здравия желаю, Звенигрош.

Тут Жавер заметил пленника, который с момента прихода полицейских не проронил ни

слова и стоял опутив голову.

– Отвяжите господина, и никому не уходить! – приказал он.

Потом, важно усевшись за стол, на котором еще стояли свеча и чернильница, он вынул из кармана лист гербовой бумаги и приступил к допросу.

Написав первые строчки, всегда состоящие из одних и тех же условных выражений, он поднял глаза.

– Подведите господина, который был связан этими господами.

Полицейские огляделись вокруг.

– В чем дело, где же он? – спросил Жавер.

Но пленник бандитов – г-н Белый, г-н Урбен Фабр, отец Урсулы или Жаворонка – исчез.

Дверь охранялась, а про окно забыли. Едва почувствовав себя свободным, он воспользовался шумом, суматохой, давкой, темнотой, минутой, когда внимание от него было отвлечено, и, пока Жавер возился с протоколом, выпрыгнул в окно.

Один из полицейских подбежал и выглянул на улицу. Там никого не было видно.

Веревочная лестница еще покачивалась.

– Экая чертовщина! – процедил сквозь зубы Жавер. – Видно, этот был почище всех.

Глава 22

Малыш, плакавший во второй части нашей книги

На другой день после описанных событий, происшедших в доме на Госпитальном бульваре, какой-то мальчик поднимался вверх по правой боковой аллее бульвара, направляясь, по-видимому, от Аустерлицкого моста к заставе Фонтенебло. Уже совсем стемнело. Это был бледный, худой ребенок, в лохмотьях, одетый, несмотря на февраль, в холщовые панталоны; он шел, распевая во все горло.

На углу Малой Банкирской улицы сгорбленная старуха при свете фонаря рылась в куче мусора. Проходя мимо, мальчик толкнул ее и тотчас же отскочил, крикнув:

– Вот тебе раз, а я-то думал, тут большущая-пребольшущая собака!

Слово «пребольшущая» он произнес, как-то особенно насмешливо его отчеканивая, что довольно близко можно передать с помощью прописных букв: большущая, ПРЕБОЛЬШУЩАЯ собака!

Взбешенная старуха выпрямилась.

– У, висельник! – заворчала она. – Мне бы прежнюю мою силу, такого бы тебе пинка дала!

Но ребенок находился уже на почтительном от нее расстоянии.

– Куси, куси! – поддразнил он. – Ну если так, то я, пожалуй, и не ошибся.

Задышавшись от возмущения, старуха выпрямилась теперь уже во весь рост, и красноватый свет фонаря упал прямо на бесцветное, костлявое, морщинистое ее лицо с сетью гусиных лапок, спускавшихся до самых углов рта. Вся она тонула в темноте, и виднелась одна только голова. Можно было подумать, что, потревоженная лучом света, из ночного мрака выглянула страшная маска самой дряхлости. Вглядевшись в нее, мальчик заметил:

– Красота ваша не в моем вкусе, сударыня.

И пошел дальше, снова принявшись распевать:

Король наш Стуконог,
Взяв порох, дробь и пули,
Пошел стрелять сорок.

Пропев эти три стиха, он замолк. В эту минуту он подошел к дому № 50/52 и, найдя дверь запертой, принялся колотить в нее ногами, причем раздававшиеся в воздухе мощные, гулкие удары обличали не столько его детские ноги, сколько обутые на них мужские сапоги.

Между тем следом за ним, вопя и неистово жестикулируя, подросла та самая старуха, которую он встретил на углу Малой Банкирской улицы.

– Что такое? Что такое? Боже милосердный! Разламывают двери! Разносят дом! – орала она.

Удары не прекращались.

– Да разве нынешние постройки на это рассчитаны? – надрывалась старуха.

И вдруг неожиданно замолкла. Она узнала гамена.

– Да ведь это же наш дьяволенок!

– Ага! Да ведь это же наша бабка! – сказал мальчик. – Здравствуйте, Бюргончик. Я пришел повидать своих предков.

Старуха скорчила сложную гримасу, великолепно симпровизированную злобой, применившей для этой цели уродство и дряхлость, но, к сожалению, пропавшую даром из-за темноты.

– Никого нет, бесстыжая твоя рожа, – ответила она.

– Вот тебе раз! – воскликнул мальчик. – А где же отец?

– В тюрьме Форс.

– Смотри-ка! А мать?

– В Сен-Лазаре.

– Так, так! А сестры?

– В Мадлонет.

Мальчик почесал за ухом, поглядел на мамашу Бюргон и вздохнул:

– Э-эх!

Затем повернулся на каблуках, и через минуту старуха, продолжавшая стоять на пороге у дверей, услышала, как он запел своим чистым, юным голосом, уходя куда-то все дальше и дальше под черные вязы, дрожащие на зимнем ветру:

Король наш Стуконог,
Взяв порох, дробь и пули,
Пошел стрелять сорок,
Взобравшись на ходули.
Кто проходил внизу,
Платил ему два су.

Часть IV

Идиллия улицы Плюме и эпопея улицы Сен-Дени

Книга первая

Несколько страниц истории

Глава 1

Хорошо скроено

Два года, 1831-й и 1832-й, непосредственно примыкающие к Июльской революции, представляют собою одну из самых поразительных и своеобразных страниц истории. Эти два года среди предшествующих и последующих лет – как два горных кряжа. От них веет революционным величием. В них можно различить пропасти. Народные массы, самые основы цивилизации, мощный пласт наслоившихся один на другой и сросшихся интересов, вековые очертания старинной французской формации то возникают, то исчезают ежеминутно под грозовыми облаками систем, страстей и теорий. Эти возникновения и исчезновения были названы противодействием и возмущением. Время от времени они озаряются сиянием истины, этим светом человеческой души.

Замечательная эта эпоха ограничена достаточно узкими пределами и достаточно от нас отдалена, чтобы сейчас уже мы могли уловить ее главные черты.

Попытаемся это сделать.

Реставрация была одним из тех промежуточных периодов, трудных для определения, где налицо усталость, смутный гул, ропот, сон, смятение, иначе говоря, была не чем иным, как остановкой великой нации на привале. Это эпохи совсем особые, и они обманывают политиков, которые хотят извлечь из них выгоду. Вначале нация требует только отдыха; все жаждут одного – мира; у всех одно притязание – умалиться. Это означает – жить спокойно. Великие события, великие случайности, великие начинания, великие люди – нет, покорно благодарим, довольно их видели, сыты по горло. Люди променяли бы Цезаря на Прузия, а Наполеона на короля Ивето: «Какой это был славный, скромный король!» Шли с самого рассвета, а теперь вечер долгого и трудного дня; первый перегон сделали с Мирабо, второй – с Робеспьером, третий – с Бонапартом; все выбились из сил, каждый требует постели.

Уставшее самопожертвование, состарившийся героизм, насытившееся честолюбие, нажитое богатство ищут, требуют, умоляют, добиваются – чего? Пристанища. Они его обретают. Они вступают в обладание миром, спокойствием, досугом. Они довольны. Однако в это же время возникают некоторые факты, которые заявляют о себе и в свою очередь стучатся в дверь. Эти факты порождены революциями и войнами, они есть, они существуют, они имеют право занять свое место в обществе, и они занимают его. Чаще всего факты – это квартирмейстеры и фурыеры, только подготовляющие квартиры для принципов.

И вот что открывается тогда перед политическим мыслителем.

Пока утомленные люди требуют покоя, совершившиеся факты требуют гарантий. Гарантия для фактов – то же, что покой для людей.

Это то, что Англия требовала от Стюартов после протектората; это то, что Франция требовала от Бурбонов после Империи.

Эти гарантии – требование времени. Волей-неволей приходится на них соглашаться. Короли их «даруют», в действительности же их дает сила обстоятельств. Истина глубокая и полезная, чего Стюарты не подозревали в 1660 году и что даже не пришло в голову Бурбонам в 1814-м.

Обреченная династия, вернувшаяся во Францию после падения Наполеона, имела роковую наивность верить, что дарует именно она и что дарованное может быть ею взято обратно; что

дом Бурбонов обладает священным правом, а Франция не обладает ничем, что политические права, пожалованные Людовиком XVIII, – всего только ветвь священного права, отломленная династией Бурбонов и милостиво дарованная народу до того дня, когда королю заблагорассудится взять ее обратно. Однако уже по тому неудовольствию, которое причинял Бурбонам этот дар, они должны были чувствовать, что он исходит не от них.

Они были угрюмы в девятнадцатом веке. Они хмурились при каждом новом подъеме нации. Бурбоны «надулись» – воспользуемся этим ходовым выражением, то есть народным и верным. Народ это видел.

Династия полагала, что она сильна, так как Империя исчезла перед нею, словно театральная декорация. Она не заметила, что сама появилась таким же способом. Она не видела, что находится в тех же руках, которые убрали прочь Наполеона.

Она полагала, что у нее есть корни, потому что за нею прошлое. Она заблуждалась: она составляла только часть прошлого, а прошлым была Франция. Корни французского общества были не в Бурбонах, а в нации. Эти скрытые и живучие корни составляли не право какой-либо одной семьи, а историю народа. Они тянулись повсюду, но только не под тронем.

Дом Бурбонов был для Франции блистательным и кровавым средоточием ее истории, но он не представлял больше важнейшего элемента ее судьбы и необходимой основы ее политики. Можно было обойтись без Бурбонов; без них и обходились двадцать два года; здесь был пробел, а они этого и не подозревали. Да и как могли они это подозревать, – они, полагавшие, что Людовик XVII царствовал 9 термидора, а Людовик XVIII – в день битвы при Маренго? Никогда, от первых дней истории, государи не были столь слепы перед лицом фактов и перед той долей божественной власти, которую эти факты содержат и возвещают. Никогда еще эти притязания брэнного мира, именующиеся правом королей, не отрицали до такой степени высшего права.

Это существеннейшая ошибка Бурбонов, приведшая их к тому, что они вновь наложили руку на гарантии, «дарованные» в 1814 году, на эти «уступки», как они их называли. Печальное явление! То, что они именовали своими «уступками», было нашими завоеваниями; то, что они называли «незаконным захватом», было нашим законным правом.

Когда, по ее мнению, час пробил, Реставрация, вообразив, что она победила Наполеона и укоренилась в стране, то есть поверив в свою силу и устойчивость, внезапно приняла решение и отважилась на удар. Однажды утром она стала лицом к лицу с Францией и, возвысив голос, начала оспаривать право народное и право личное: у нации верховное главенство, у гражданина – свободу. Другими словами, она попыталась отнять у нации то, что делало ее нацией, и у гражданина то, что делало его гражданином.

В этом сущность тех знаменитых актов, которые называются июльскими ордонансами.

Реставрация пала.

Она пала по справедливости. Тем не менее, признаем это, она не была до конца враждебной всем формам прогресса. Бок о бок с нею свершилось немало великих событий.

При Реставрации нация привыкла совмещать споры со спокойствием, чего не было при Республике, и величие – с миром, чего не было при Империя. Сильная и свободная Франция являлась ободряющим примером для других народов Европы. При Робеспьере слово взяла Революция; при Бонапарте слово взяли пушки; при Людовике XVIII и Карле X слово взяла мысль. Ветер утих, светоч зажегся снова. На безоблачных вершинах затрепетал чистый свет разума. То было великолепное, поучительное и привлекательное зрелище. В течение пятнадцати лет, при невозмутимом мире, совершенно открыто действовали великие принципы, столь старые для мыслителя, столь новые для политического деятеля: равенство перед законом, свобода совести, свобода слова, свобода печати, доступ ко всем должностям всех способных людей. Так продолжалось до 1830 года. Бурбоны были орудием цивилизации, сломавшимся в

руках провидения.

Падение Бурбонов было исполнено величия, проявленного, однако, не ими, а нацией. Они покинули трон с чинной важностью, но без всякой внушительности; они ушли во тьму, но это не было одним из тех торжественных исчезновений, которые оставляют мрачный волнующий след в истории; это не было ни потустороннее спокойствие Карла I, ни орлиный клекот Наполеона. Они просто ушли, вот и все. Они сняли корону и не сберегли ореола. Они совершили это с достоинством, но не королевским. В какой-то степени они оказались ниже величия постигшего их несчастья. Карл X по пути в Шербург распорядился сделать из круглого стола четырехугольный и, казалось, был более обеспокоен угрозой этикету, чем крушением монархии. Такая мелкость его натуры опечалила людей преданных, которые любили королевскую семью, и людей положительных, чтивших королевский род. Зато народ был достоин восхищения. Нация, атакованная однажды утром, почувствовала в себе столько силы, что даже не разгневалась на этот своего рода королевский вооруженный мятеж. Она дала отпор, но сдержалась, поставила все на место, вернула управление страной в рамки закона, Бурбонов – в изгнание и, увы, на этом остановилась. Она извлекла старого короля Карла X из-под того балдахина, что осенял Людовика XIV, и тихонько поставила его на землю. Она коснулась особ королевского дома лишь с грустью и осторожностью. Не один и не несколько людей, а Франция, вся Франция, победоносная и опьяненная своей победой, казалось, вспомнила и осуществила перед всем миром эти замечательные слова Гильома дю Вэра, сказанные им после дня баррикад: «Тем, кто привык срывать цветы милости у великих мира сего и перепрыгивать, словно птичка с ветки на ветку, от скорбящих к преуспевающим, легко быть дерзким к своему государю, когда его постигнет злая судьба; я же всегда буду чтить жребий моих королей, особенно скорбящих».

Бурбоны унесли с собой уважение Франции, но не ее сожаление. Как мы уже сказали, они оказались мельче постигшего их несчастья. Они исчезли с горизонта.

Июльская революция тотчас приобрела друзей и врагов во всем мире. Одни устремились к ней с восторгом и радостью, другие отвернулись, каждый сообразно своей природе. Государи Европы, словно совы на этой утренней заре, в первую минуту ослепленные и растерянные, зажмурились и открыли глаза только для того, чтобы перейти к угрозам. Испуг их понятен, гнев вполне объясним. Эта странная революция почти не была потрясением, она даже не оказала побежденным Бурбонам чести обойтись с ними как с врагами и пролить их кровь. В глазах деспотических правительств, всегда заинтересованных в том, чтобы свобода очернила самое себя, Июльская революция была виновна в том, что, будучи грозной, она проявила кротость. Ничего, впрочем, не было против нее замышлено или предпринято. Самые напуганные, самые недовольные, самые раздраженные приветствовали ее. Как бы мы ни были эгоистичны и злопамятны, нам внушают таинственное уважение события, в которых ощущается соучастие кого-то, действующего в области более высокой, чем это дано человеку.

Июльская революция – торжество права, повергшего во прах грубый факт. Событие, исполненное величия.

Право, повергшее во прах грубый факт! Отсюда блеск революции 1830 года, отсюда и ее снисходительность. Торжествующему праву нет нужды прибегать к насилию.

Право – это все то, что истинно и справедливо.

Неотъемлемая черта права – пребывать вечно прекрасным и чистым. Факт, даже как будто самый неизбежный, даже наилучшим образом принятый современниками, если он существует только в качестве факта и если у него на это слишком мало права или вовсе никакого, бесповоротно обречен стать со временем уродливым, омерзительным, быть может даже, чудовищным. Если кто-нибудь пожелает удостовериться в том, насколько уродливым может

оказаться факт на расстоянии веков, пусть обратит свой взор на Макиавелли. Макиавелли – это вовсе не злой дух, не демон, не презренный и жалкий писатель; он не больше чем факт. И этот факт характерен не только для Италии, но и для Европы, для всего шестнадцатого столетия. Он кажется отвратительным, он и есть таков с точки зрения нравственной идеи девятнадцатого века.

Эта борьба между правом и фактом длится со времен возникновения общества. Закончить поединок, сплавить чистую идею с реальностью человеческой жизни, заставить право мирно проникнуть в область факта и факт в область права – вот работа мудрых.

Глава 2

Дурно сшито

Но одно дело – работа людей мудрых и другое дело – работа людей ловких.

Революция 1830 года быстро закончилась.

Как только революция терпит крушение, ловкие люди растаскивают по частям корабль, севший на мель.

Ловкие люди нашего времени присваивают себе название государственных мужей; в конце концов это наименование «государственный муж» стало почти выражением аргю. В самом деле, не следует забывать, что там, где нет ничего, кроме ловкости, всегда налицо посредственность. Сказать «человек ловкий» – все равно что сказать «человек заурядный».

Точно так же сказать: «государственный муж» – иногда значит то же, что сказать «изменник».

Итак, если поверить ловким, то революции, подобные Июльской, – не что иное, как перерезанные артерии; нужно немедленно перевязать их. Право, слишком громко провозглашенное, вызывает смятение. Поэтому, раз право утверждено, следует укрепить государство. Раз свобода обеспечена, следует подумать о власти.

Пока еще мудрые не отделяют себя от ловких, но уже начинают испытывать недоверие. Власть – пусть так. Но, во-первых, что такое власть? Во-вторых, откуда она?

Ловкие как будто не слышат заглушенных возражений и продолжают свое дело.

По мнению этих политиков, хитроумно прикрывающих выгодную для них ложь маской необходимости, первая потребность народа после революции, – если этот народ составляет часть монархической Европы, – это раздобыть себе династию. Таким способом, говорят они, можно обрести после революции мир, то есть время для того, чтобы залечить свои раны и починить свой дом. Династия прикрывает строительные леса и заслоняет госпиталь.

Однако не всегда легко добыть себе династию.

В сущности, первый одаренный человек или даже первый удачливый встречный может сойти за короля. В одном случае это Бонапарт, в другом – Итурбиде.

Но первая попавшаяся фамилия не может создать династию. Необходима известная древность рода, а отметина веков не создается внезапно.

Если стать на точку зрения «государственных мужей» со всеми подразумеваемыми оговорками, то каковы же должны быть качества появляющегося после революции нового короля? Он может – и это даже полезно – быть революционером, иначе говоря, быть лично причастным к революции, приложившим к ней руку, независимо от того, набросил ли он тень на себя при этом или прославился, брался ли за ее топор или действовал шпагой.

Какими качествами должна обладать династия? Она должна быть приемлемой для нации, то есть казаться на расстоянии революционной – не по своим поступкам, но по воспринятым ею идеям. Она должна иметь прошлое и быть исторической, иметь будущее и пользоваться

расположением народа.

Все это объясняет, почему первые революции довольствуются тем, что находят человека – Кромвеля или Наполеона, и почему вторые во что бы то ни стало стремятся найти имя – династию Брауншвейгскую или Орлеанскую.

Королевские дома похожи на те фиговые деревья в Индии, каждая ветка которых, нагибаясь до самой земли, пускает корень и сама становится деревом. Любая ветвь королевского дома может стать династией, но при условии, что склонится к народу. Такова теория ловких.

Итак, вот в чем величайшее искусство: добиться, чтобы в фанфарах успеха зазвучала нота катастрофы, чтобы те, кто пользуется его плодами, в то же время трепетали перед ним; пробудить страх перед свершившимся событием, увеличить кривую перехода до степени замедления прогресса, обесцветить эту зарю, обличить и отбросить крайности энтузиазма, срезать острые углы и когти, обложить торжество победы ватой, плотно закутать право, завернуть народ-гигант во фланель и немедленно уложить его в постель, посадить на диету этот избыток здоровья, прописать Геркулесу режим выздоравливающего, растворить важное событие в мелких повседневных делах, предложить этот разбавленный лекарственной настойкой нектар умам, жаждущим идеала, принять предосторожности против слишком большого успеха, надеть на революцию абажур.

1830 год воспользовался этой теорией, уже примененной в Англии в 1688 году.

1830 год – это революция, остановившаяся на полдороге. Половина прогресса, подобие права! Но логика не признает половинчатости точно так же, как солнце не признает огонька свечи.

Кто останавливает революции на полдороге? Буржуазия.

Почему?

Потому что буржуазия – это удовлетворенное вождение. Вчера было желание поесть, сегодня это сытость, завтра настанет пресыщение.

То, что случилось в 1814 году после Наполеона, повторилось в 1830 году после Карла X.

Напрасно хотели сделать буржуазию классом. Буржуазия – это просто-напросто удовлетворенная часть народа. Буржуа – это человек, у которого теперь есть время посидеть. Кресло – это вовсе не каста.

Но, желая усесться слишком рано, можно остановить самое движение человечества вперед. Это часто бывало ошибкой буржуазии.

Допущенная ошибка не может служить причиной образования класса. Эгоизм не является одним из подразделений общественного порядка.

В конце концов, – следует быть справедливым даже к эгоизму, – состояние, на которое уповала после потрясения 1830 года часть народа, именуемая буржуазией, нельзя назвать бездействием, слагающимся из равнодушия и лени и затаившим в себе крупицу стыда; это не было и дремотой, предполагающей мимолетное забытие, доступное сну; это был привал.

Привал – слово, имеющее двойной, особенный и почти противоречивый смысл: отряд в походе, то есть движение; остановка отряда, то есть покой.

Привал – это восстановление сил, это покой настороженный и бодрствующий: это совершившийся факт, который выставил часовых и держится настороже. Привал обозначает сражение вчера и сражение завтра.

Это и есть промежуток между 1830 и 1848 годом.

То, что мы называем здесь сражением, может также называться прогрессом.

Таким образом, для буржуазии, как и для государственных мужей, нужен был человек, олицетворявший это понятие – привал. Человек, который мог бы называться Однако-Ибо. Сложная индивидуальность, означающая революцию и означающая устойчивость, другими

словами, утверждающая настоящее, являя собой наглядный пример совместимости прошлого с будущим.

Этот человек оказался тут же, под рукой. Имя его было Луи-Филипп Орлеанский.

Голоса двухсот двадцати одного сделали Луи-Филиппа королем. Лафайет взял на себя труд миропомазания. Он назвал Луи-Филиппа «лучшей из республик». Парижская ратуша заменила собор в Реймсе.

Эта замена целого трона полутроном и была «делом 1830 года».

Когда ловкие люди достигли своей цели, обнаружилась глубочайшая порочность найденного ими решения. Все это было совершенно вне абсолютного права. Абсолютное право вскричало: «Я возражаю!» Затем – грозное знамение! – оно вновь скрылось в тени.

Глава 3

Луи-Филипп

У революций тяжелая рука и верное чутье; они бьют крепко и метко. Даже у такой неполной революции, такой захудалой, подвергшейся осуждению и сведенной к положению младшей, как революция 1830 года, почти всегда остается достаточно пророческой зоркости, чтобы не оказаться несвоевременной. Затмение революцией никогда не бывает отречением.

Однако не будем слишком самоуверенными; даже революции, даже и они заблуждаются, и тогда видны крупные промахи.

Вернемся к 1830 году. Отклонившись от своего пути, 1830 год оказался удачливым. При том положении вещей, которое после куцей революции было названо порядком, монарх стоил больше, чем монархия. Луи-Филипп был редким человеком.

Сын того, за кем история, конечно, признает смягчающие обстоятельства, но в такой же мере достойный уважения, как отец – порицания, он обладал всеми добродетелями частного лица и некоторыми – общественного деятеля; заботился о своем здоровье, о своем состоянии, о своей особе, о своих делах, знал цену минуты и не всегда – цену года; воздержанный, спокойный, миролюбивый, терпеливый; добряк и добрый государь; был верен жене и держал в своем дворце лакеев, обязанных показывать буржуа его супружеское ложе, – хвастовство добропорядочной брачной жизнью стало полезным после выставлявшихся напоказ незаконных связей старшей ветви; знал все европейские языки и, что еще более редко, язык всех интересов и умел говорить на нем; был восхитительным представителем «среднего сословия», но превосходил его, будучи во всех отношениях более значительным, чем оно; отличаясь незаурядным умом и отдавая должное своей родословной, он прежде всего ценил свои внутренние качества и даже в вопросе о своем происхождении занимал весьма своеобразную позицию, объявляя себя Орлеаном, а не Бурбоном; когда он был только «светлейшим», он держался как первый принц крови, а в тот день, когда стал «величеством», превратился в настоящего буржуа; многоречивый на людях, но скупой на слова в тесном кругу близких; по общему мнению – скряга, но неуличный; в сущности, это был один из тех бережливых людей, которые становятся расточительными, когда дело идет об их прихотях или выполнении долга; начитанный, но мало чувствующий литературу; дворянин, но не рыцарь; простой, спокойный и сильный; обожаемый своей семьей и слугами; обворожительный собеседник, трезвый государственный деятель, внутренне холодный, всегда поглощенный только насущной необходимостью, всегда учитывающий только сегодняшний день, не способный ни к злопамятству, ни к благодарности, он безжалостно пользовался лицами выдающимися, оставляя в покое посредственность, и хитро умел при помощи парламентского большинства перекладывать вину на те тайные объединения, которые глухо рокочут где-то под тронами;

откровенный, порой неосторожный в своей откровенности, но в этой неосторожности удивительно ловкий; неистощимый в выборе средств, личин и масок; он пугал Францию Европой и Европу Францией; бесспорно, любил свою родину, но преимущественно свою семью; предпочитал власть авторитету и авторитет достоинству – склонность, пагубная в том смысле, что, ставя все на службу успеху, она допускает хитрость и не всегда отрицает низость, но зато в ней есть то преимущество, что она предохраняет политику от резких толчков, государство от ломки, общество от катастроф; это был человек мелочный, вежливый, бдительный, внимательный, проницательный, неутомимый, иногда противоречащий самому себе и берущий свое слово обратно; смелый по отношению к Австрии в Анконе, упрямый по отношению к Англии в Испании, он бомбардирует Антверпен и платит Притчарду; убежденно поет Марсельезу; недоступен унынию, усталости, увлечению красотой и идеалом, безрассудному великодушию, утопиям, химерам, гневу, тщеславию, боязни; он обладал всеми формами личной неустрашимости; генерал – при Вальми, солдат – при Жемапе; восемь раз его покушались убить, но он неизменно улыбался; смелый, как гренадер, неустрашимый, как мыслитель, он испытывал тревогу лишь пред возможностью потрясения основ европейских государств и был неспособен на крупные политические авантюры; всегда готовый подвергнуть опасности свою жизнь и никогда – свое дело; проявлял свою волю в форме влияния, предпочитая, чтобы ему повиновались как умному человеку, а не как королю; был одарен способностью к наблюдению, но не прозорливостью; мало интересовался духами, но был отличным знатоком людей, иначе говоря, мог судить только о том, что видел; обладал здравым смыслом, живым и проницательным практическим умом, даром слова, огромной памятью; он всегда черпал из запаса этой памяти – единственная черта сходства с Цезарем, Александром и Наполеоном; зная факты, подробности, даты, собственные имена, он не знал устремлений, страстей, духовной многоликости толпы, тайных упований, сокровенных и темных порывов душ – одним словом, всего того, что можно назвать подводными течениями сознания; признанный верхними слоями Франции, но имевший мало общего с ее низами, он выходил из затруднений с помощью хитрости; он слишком много управлял и недостаточно царствовал; был своим собственным первым министром; неподражаемо умел создавать из мелких фактов препятствия для великих идей; соединял с подлинным умением способствовать прогрессу, порядку и организации какой-то дух формализма и крючкотворства; наделенный чем-то от Карла Великого и чем-то от ходатая по делам, он был основателем династии и ее стряпчим; в целом личность значительная и своеобразная, государь, который сумел упрочить власть, вопреки тревоге Франции, и мощь, вопреки недоброжелательству Европы, Луи-Филипп будет причислен к выдающимся людям своего века; он занял бы в истории место среди самых прославленных правителей, если бы немного больше любил славу и если бы обладал чувством великого в той же степени, в какой он обладал чувством полезного.

Луи-Филипп был красив в молодости и остался привлекательным в старости; не всегда в милости у нации, он всегда пользовался расположением толпы. У него был дар нравиться. Ему не доставало величия; он не носил короны, хотя был королем, не отпускал седых волос, хотя был стариком. Манеры он усвоил при старом порядке, а привычки при новом – то была смесь дворянина и буржуа, подходящая для 1830 года; Луи-Филипп являлся, так сказать, царствующим переходным периодом; он сохранил старое произношение и старое правописание и применял их для выражения современных взглядов; он любил Польшу и Венгрию, однако писал: *polonois* и произносил: *hongrais*^[121]. Он носил мундир национальной гвардии, как Карл X, и ленту Почетного легиона, как Наполеон.

Он редко посещал обедню, не ездил на охоту и никогда не появлялся в опере. Не питал слабости к попам, псарям и танцовщицам, что являлось одной из причин его популярности

среди буржуа. У него совсем не было двора. Он выходил на улицу с дождевым зонтиком под мышкой, и этот зонтик надолго стал одним из слагаемых его славы. Он был немного масон, немного садовник, немного лекарь. Однажды он пустил кровь фореитору, упавшему с лошади; с тех пор Луи-Филипп не выходил без своего ланцета, как Генрих III – без своего кинжала. Роялисты потешались над этим смешным королем – первым королем, пролившим кровь в целях излечения.

Что касается жалоб истории на Луи-Филиппа, то здесь нужно кое-что отбросить; одни обвинения падают на монархию, другие – на царствование Луи-Филиппа, третьи – на короля; три столбца, каждый со своим итогом. Отмена прав демократии, отодвинутый на задний план прогресс, жестоко подавленные выступления масс, расстрелы восставших, мятеж, укрощенный оружием, улица Транснотен, военные суды, поглощение страны, реально существующей, страной, юридически признанной, управление на компанейских началах с тремястами тысяч привилегированных – за это должна отвечать монархия; отказ от Бельгии, с чересчур большим трудом покоренный Алжир и, как Индия англичанами, – скорее способами варваров, чем носителей цивилизации, вероломство по отношению к Абд-эль-Кадему, Блей, подкупленный Дейц, оплаченный Притчард – за это должно отвечать время царствования Луи-Филиппа; политика, более семейная, нежели национальная, – за это отвечает король.

Как видите, сделав вычет, можно уменьшить вину короля.

Его важнейшая ошибка такова: он был скромнее во имя Франции.

Где корни этой ошибки?

Скажем об этом.

В короле Луи-Филиппе слишком громко говорило отцовское чувство; высиживание семьи, из которой должна вылупиться династия, связано с боязнью перед всем и нежеланием быть потревоженным; отсюда крайняя робость, невыносимая для народа, у которого в его гражданских традициях имело место 14 июля, а в традициях военных – Аустерлиц.

Впрочем, если отвлечься от общественных обязанностей, которые должны быть на первом плане, то глубокая нежность Луи-Филиппа к своей семье была ею вполне заслужена. Его домашний круг был восхитителен. Там добродетели сочетались с дарованиями. Одна из дочерей Луи-Филиппа, Мария Орлеанская, прославила имя своего рода среди художников так же, как Шарль Орлеанский – среди поэтов. Она воплотила свою душу в мрамор, названный ею Жанной д'Арк. Двое сыновей Луи-Филиппа исторгли у Меттерниха следующую демагогическую похвалу: «Это молодые люди, каких не встретишь, и принцы, каких не бывает».

Вот, без всякого умаления, но и без преувеличения, правда о Луи-Филиппе.

Быть «принцем Равенством», носить в себе противоречие между Реставрацией и Революцией, обладать теми внушающими тревогу склонностями революционера, которые становятся успокоительными в правителе, – такова причина успеха Луи-Филиппа в 1830 году; никогда еще не бывало столь полного приспособления человека к событию; один вошел в другое, и воплощение свершилось. Луи-Филипп – это 1830 год, ставший человеком. Вдобавок за него говорило и это великое предназначение к престолу – изгнание. Он был осужден, беден и скитался. Он жил своим трудом. В Швейцарии этот наследник самых богатых королевских поместий Франции продал свою старую лошадь, чтобы пропитаться. В Рейхенау он давал уроки математики, а его сестра Аделаида занималась вязаньем и шитьем. Эти воспоминания, связанные с особой короля, приводили в восторг буржуа. Он разрушил собственными руками последнюю железную клетку в Мон-Сен-Мишеле, устроенную Людовиком XI и послужившую Людовику XV. Он был соратником Дюмурье, другом Лафайета, он был членом клуба якобинцев; Мирабо хлопывал его по плечу; Дантон обращался к нему со словами: «молодой человек». В возрасте двадцати четырех лет, в 93-м году, он, тогда еще г-н де Шартр,

присутствовал, сидя в глубине маленькой темной ложи в зале Конвента, на процессе Людовика XVI, столь удачно названного: «этот бедный тиран». Он видел все, он созерцал все эти головокружительные превращения; слепое ясновидение революции, которая сокрушила монархию в лице монарха и монарха вместе с монархией, почти не заметив человека во время этого яростного уничтожения идеи; он видел могучую бурю народного гнева в революционном трибунале, допрос Капета, не знающего, что ответить, ужасающее бессмысленное покачивание этой царственной головы под мрачным дыханием этой бури, относительную невиновность всех участников катастрофы – как тех, кто осуждал, так и того, кто был осужден; он видел века, представшие перед судом Конвента; он видел, как за спиной Людовика XVI, этого злополучного прохожего, на которого пало все бремя ответственности, вырисовывался во мраке главный обвиняемый – Монархия, и его душа исполнилась почтительного страха перед необъятным правосудием народа, почти столь же безличным, как правосудие бога.

След, оставленный в нем революцией, был неизгладим. Его память стала как бы живым отпечатком этих великих годин, минута за минутой. Однажды перед свидетелем, которому невозможно не доверять, он исправил по памяти весь список членов Учредительного собрания, фамилии которых начинались на букву «А».

Луи-Филипп был королем, царствующим при ярком дневном свете. Во время его царствования печать была свободна, трибуна свободна, слово и совесть свободны. В сентябрьских законах есть просветы. Хотя он и знал, какое разрушительное действие оказывает свет на привилегии, тем не менее он оставил свой трон освещенным. История зачтет ему эту лояльность.

Луи-Филипп, как все исторические деятели, сошедшие со сцены, сегодня подлежит суду человеческой совести. Его дело проходит теперь лишь первую инстанцию.

Час, когда история вещает свободным и внушительным голосом, еще для него не пробил; не настало еще время, когда она произнесет об этом короле окончательное суждение; строгий и прославленный историк Луи Блан сам недавно смягчил прежний приговор, который вынес ему; Луи-Филипп был избран теми двумя недоносками, которые именуются большинством двухсот двадцати одного и 1830 годом, то есть полупарламентом и полуреволюцией; и во всяком случае, с той нелицеприятной точки зрения, на которой должна стоять философия, мы могли судить его здесь, как это вытекает из сказанного нами выше, лишь с известными оговорками, во имя абсолютного демократического принципа. Пред лицом абсолютного всякое право, помимо права человека и права народа, есть незаконный захват. Но уже в настоящее время, сделав эти оговорки и взвесив все обстоятельства, мы можем сказать, что Луи-Филипп, как бы о нем ни судили, сам по себе, по своей человеческой доброте, останется, если пользоваться языком древней истории, одним из лучших государей, когда-либо занимавших престол.

Что же свидетельствует против него? Именно этот престол. Отделите Луи-Филиппа от его королевского сана, он останется человеком. И человеком добрым. Порою добрым на удивление. Часто, среди самых тяжких забот, после дня, проведенного в борьбе против дипломатии Европы, он вечером возвращался в свои покои и там, изнемогая от усталости и желания уснуть, – что делал он? Он брал судебное дело и проводил всю ночь за пересмотром какого-нибудь процесса, полагая, что давать отпор Европе – дело важное, но еще важнее вырвать человека из рук палача. Он возражал своему министру юстиции, он оспаривал шаг за шагом владения, захваченные гильотиной, у прокуроров, этих «присяжных болтунов правосудия», как он их называл. Иногда груды судебных дел заваливали его стол; он просматривал их все; ему было мучительно тяжело предоставлять эти несчастные обреченные головы их участи. Однажды он сказал тому же свидетелю, на которого мы ссылались: «Сегодня ночью я отыграл семерых». В первые годы его царствования смертная казнь была как бы отменена, и вновь воздвигнутый эшафот был

насилием над волей короля. Гревская площадь исчезла вместе со старшею ветвью, но вместо нее появилась застава Сен-Жак – Гревская площадь буржуазии; «люди деловые» чувствовали необходимость в какой-нибудь хоть с виду узаконенной гильотине; то была одна из побед Казимира Перье, представителя узкокорыстных интересов буржуазии, над Луи-Филиппом, представителем ее либеральных сторон. Луи-Филипп собственноручно делал пометки на полях книги Беккарии. После взрыва адской машины Фиески он воскликнул: «Как жаль, что я не был ранен! Я мог бы его помиловать». Другой раз, намекая на сопротивление своих министров, он написал по поводу политического осужденного, который представлял собой одну из наиболее благородных личностей нашего времени: «Помилование ему даровано, мне остается только добиться его». Луи-Филипп был мягок, как Людовик IX, и добр, как Генрих IV.

А для нас, знающих, что в истории доброта – редкая жемчужина, тот, кто добр, едва ли не стоит выше того, кто велик.

Луи-Филипп был строго осужден одними и, быть может, слишком жестоко другими, поэтому вполне понятно, что человек, знавший этого короля и сам ставший призраком сегодня, предстательствует за него перед историей; это предстательство, каково бы оно ни было, несомненно и прежде всего бескорыстно; эпитафия, написанная умершим, искренна; тени дозволено утешить другую тень; пребывание в одном и том же мраке дает право воздать хвалу; и вряд ли нужно опасаться, что когда-нибудь скажут о двух могилах изгнанников: «Обитатель одной польстил другому».

Глава 4

Трещины под основанием

К тому времени, когда драма, о которой мы повествуем в этой книге, должна проникнуть в толщу одной из мрачных туч, заволакивающих начало царствования Луи-Филиппа, нам не следовало допускать недомолвок и необходимо было дать объяснение личности короля.

Луи-Филипп взошел на престол, не применяя насилия, без прямого воздействия со своей стороны, благодаря революционному повороту, несомненно очень далекому от действительной цели революции, но в котором он, герцог Орлеанский, никакого личного почина не проявил. Он родился принцем и считал себя королем по избранию. Он не сам дал себе эти полномочия, не присваивал их; они были ему предложены, и он их принял, пусть ошибочно, но глубоко убежденный, что предложение отвечало его праву, а согласие принять – его долгу. Отсюда его уверенность в законности своей власти. Да, мы утверждаем это по чистой совести, Луи-Филипп был уверен в законности своей власти, а демократия была уверена в законности своей борьбы с нею, поэтому вина за то страшное, что порождает социальные битвы, не падает ни на короля, ни на демократию. Столкновение принципов подобно столкновению стихий. Океан защищает воду, ураган защищает воздух; король защищает королевскую власть, демократия защищает народ; относительное, то есть монархия, сопротивляется абсолютному, то есть республике; общество истекает кровью в этой борьбе, но то, что сейчас является его страданием, станет позднее спасением. Во всяком случае, не приходится порицать борющихся: одна из двух сторон явно находится в заблуждении; право не стоит, подобно колоссу Родосскому, сразу на двух берегах – одной ногой опираясь на республику, другою – на монархию; оно неделимо и целиком находится на одной стороне; но заблуждающиеся заблуждаются искренно; слепой – не преступник, как вандеец – не разбойник. Припишем же эти страшные столкновения лишь роковому стечению обстоятельств. Каковы бы ни были эти бури, люди за них не ответственны.

Закончим наше изложение.

Правительству 1830 года тотчас же пришлось туго. Вчера родившись, оно должно было

сегодня сражаться.

Едва успев утвердиться, оно сразу почувствовало смутное воздействие сил, направленных отовсюду на июльскую систему правления, столь недавно созданную и столь непрочную.

Соппротивление появилось на следующий же день; быть может даже, оно родилось накануне.

С каждым месяцем враждебность росла и из тайной стала явной.

Июльская революция, как мы отмечали, плохо встреченная королями вне Франции, была в самой Франции истолкована различно.

Бог открывает людям свою волю в событиях – это темный текст, написанный на таинственном языке. Люди тотчас же делают переводы – переводы поспешные, неправильные, полные промахов, пропусков и искажений. Очень немногие понимают язык божества. Наиболее прозорливые, спокойные, глубокие расшифровывают его медленно, и когда они приходят со своим текстом, оказывается, что работа эта давно уже сделана – на площади выставлено двадцать переводов. Из каждого перевода рождается партия, из каждого искажения – фракция; и каждая партия полагает, что только у нее правильный текст, каждая фракция полагает, что истина – лишь ее достояние.

Нередко и сама власть является фракцией.

Во всех революциях встречаются пловцы, которые плывут против течения, – это старые партии.

По мнению старых партий, признающих лишь наследственную власть божией милостью, если революции возникают по праву на восстание, то по этому же праву можно восставать и против них. Заблуждение. Ибо во время революции бунтовщиком является не народ, а король. Именно революция и является противоположностью бунта. Каждая революция, будучи естественным завершением, заключает в самой себе свою законность, которую иногда бесчестят мнимые революционеры; но даже запятнанная ими, она держится стойко, и, даже обогретенная кровью, она выживает. Революция не случайность, а необходимость. Революция – это возвращение от искусственного к естественному. Она происходит потому, что должна произойти.

Тем не менее старые легитимистские партии нападали на революцию 1830 года со всей яростью, порожденной их ложными взглядами. Заблуждения – отличные метательные снаряды. Они умело поражали эту революцию там, где она была уязвима за отсутствием брони, – за недостатком логики; они нападали на эту революцию в ее королевском обличье. Они ей кричали: «Революция, а зачем же у тебя король?» Старые партии – это слепцы, которые целят метко.

Республиканцы, в свою очередь, кричали о том же. Но с их стороны это было последовательно. То, что являлось слепотой у легитимистов, было прозорливостью у демократов. 1830 год обанкротился в глазах народа. Негодующая демократия упрекала его в этом.

Июльское установление отражало атаки прошлого и будущего. В нем как бы воплощалась минута, вступившая в бой и с монархическими веками, и с вечным правом.

Кроме того, перестав быть революцией и превратившись в монархию, 1830 год был обязан за пределами Франции идти в ногу с Европой. Сохранять мир – значило еще больше усложнить положение. Гармония, которой добиваются вопреки здравому смыслу, нередко более обременительна, чем война. Из этого глухого столкновения, всегда сдерживаемого намордником, но всегда рычащего, рождается вооруженный мир – разорительная политика цивилизации, самой себе внушающей недоверие. Какова бы ни была Июльская монархия, но она вставала на дыбы в запряжке европейских кабинетов. Меттерних охотно взял бы ее в повод.

Подгоняемая во Франции прогрессом, она, в свою очередь, подгоняла европейские монархии, этих тихоходов. Взятая на буксир, она сама тащила на буксире.

А в то же время внутри страны обнищание, пролетариат, заработная плата, воспитание, карательная система, проституция, положение женщины, богатство, бедность, производство, потребление, распределение, обмен, валюта, кредит, права капитала, права труда – все эти вопросы множились, нависая над обществом черной тучей.

Вне политических партий в собственном смысле этого слова обнаружилось и другое движение. Демократическому брожению отвечало брожение философское. Избранные умы чувствовали себя встревоженными, как и толпа; по-другому, но в такой же степени.

Мыслители размышляли, в то время как почва, – то есть народ, – изрытая революционными течениями, дрожала под ними, словно в каком-то глухом эпилептическом припадке. Эти мечтатели, некоторые в одиночестве, другие объединившись в тесные семьи, почти в сообщества, исследовали социальные вопросы мирно, но глубоко; бесстрастные рудокопы, они тихонько прокладывали свои ходы в глубинах вулкана, мало обеспокоенные отдаленными толчками и вспышками пламени.

Это спокойствие занимало не последнее место в ряду прекрасных зрелищ той бурной эпохи.

Люди эти предоставили политическим партиям вопросы права, сами же занялись вопросом человеческого счастья.

Человеческое благополучие – вот что хотели они добыть из недр общества.

Они подняли вопросы материальные, вопросы земледелия, промышленности, торговли, почти до высоты религии. В цивилизации, такой, какою она создается, – отчасти богом и, гораздо больше, людьми, – интересы переплетаются, соединяются и сплавляются так, что образуют настоящую скалу, согласно закону движения, терпеливо изучаемому экономистами, этими геологами политики.

Люди эти, объединившиеся под разными названиями, но которых можно в целом определить их родовым наименованием – социалисты, пытались просверлить скалу, чтобы забил из нее живой родник человеческого счастья.

Их труды охватывали все, начиная от смертной казни и кончая вопросом о войне. К правам человека, провозглашенным Французской революцией, они прибавили права женщины и права ребенка.

Пусть не удивляются, что мы, по разным соображениям, не обсуждаем здесь исчерпывающим образом, с точки зрения теоретической, вопросы, затронутые социалистами. Мы ограничиваемся тем, что указываем на них.

Все проблемы, выдвинутые социалистами, за исключением космогонических бредней, грез и мистицизма, могут быть сведены к двум основным проблемам.

Первая проблема: создать материальные богатства.

Вторая проблема: распределить их.

Первая проблема включает вопрос о труде.

Вторая – вопрос о плате за труд.

В первой проблеме речь идет о применении производительных сил.

Во второй – о распределении жизненных благ.

Следствием правильного применения производительных сил является общественная мощь.

Следствием правильного распределения жизненных благ является счастье личности.

Под правильным распределением следует понимать не равное распределение, а распределение справедливое. Основа равенства – справедливость.

Из соединения этих двух начал – общественной мощи вовне и личного благоденствия

внутри – следует социальное процветание.

Социальное процветание означает: счастливый человек, свободный гражданин, великая нация.

Англия разрешила первую из этих двух проблем. Она превосходно создает материальные богатства, но плохо распределяет их. Такое одностороннее решение роковым образом приводит ее к двум крайностям: чудовищному богатству и чудовищной нужде. Все жизненные блага – одним, все лишения – другим, то есть народу, причем привилегии, исключения, монополии, власть феодалов являются порождением самой формы труда. Положение ложное и опасное, ибо общественное могущество зиждется тут на нищете частных лиц, а величие государства – на страданиях отдельной личности. Это – дурно созданное величие, где сочетаются все материальные его основы и куда не вошло ни одно нравственное начало.

Коммунизм и аграрный закон предполагают разрешить вторую проблему. Они заблуждаются. Такое распределение убивает производство. Равный дележ уничтожает соревнование и, следовательно, труд. Так мясник убивает то, что он делит на части. Стало быть, невозможно остановиться на этих притязающих на правильность решениях. Уничтожить богатство – не значит его распределить.

Чтобы хорошо разрешить обе проблемы, их нужно рассматривать совместно. Оба решения следует соединить, образовав из них лишь одно.

Решите только первую из этих двух проблем, и вы станете Венецией, вы станете Англией. Как Венеция, вы будете обладать мощью, созданной искусственно, или, как Англия, – материальным могуществом; вы будете несправедливым богачом. Вы погибнете или насильственным путем, как умерла Венеция, или обанкротившись, как падет Англия. И мир предоставит вам погибнуть и пасть, потому что мир предоставляет падать и погибать всякому себялюбивому, всему тому, что не являет собой для человеческого рода какой-либо добродетели или идеи.

Само собой разумеется, что словами: Венеция, Англия мы называем здесь не народ, а определенный общественный строй – олигархии, стоящие над нациями, а не сами нации. Народы всегда пользуются нашим уважением и сочувствием. Венеция как народ возродится; Англия как аристократия падет, но Англия как народ – бессмертна. Отметив это, мы продолжаем.

Разрешите обе проблемы: поощряйте богатого и покровительствуйте бедному, уничтожьте нищету, положите конец несправедливой эксплуатации слабого сильным, наложите узду на несправедливую зависть того, кто находится в пути, к тому, кто достиг цели, по-братски и точно установите оплату за труд соответственно с работой, подарите бесплатное и обязательное обучение подрастающим детям, сделайте из знания основу зрелости; давая дело рукам, развивайте и ум, будьте одновременно могущественным народом и семьей счастливых людей, демократизируйте собственность, не отменив ее, но сделав общедоступной, чтобы каждый гражданин без исключения был собственником, а это легче, чем кажется, короче говоря, умеете создавать богатство и умеете его распределять; тогда вы будете обладать всем материальным величием и величием нравственным; тогда вы будете достойны называть себя Францией.

Вот что, пренебрегая некоторыми заблуждающимися сектами и возвышаясь над ними, утверждал социализм; вот чего он искал в фактах, вот что он подготавливал в умах.

Усилия, достойные восхищения! Святые порывы!

Эти учения, эти теории, это сопротивление, неожиданная для государственного человека необходимость считаться с философами, смутно намечавшиеся новые истины, попытки создать новую политику, согласованную со старым строем и не слишком противоречащую революционным идеалам, положение вещей, при котором приходилось пользоваться услугами

Лафайета для защиты Полиньяка, ощущение просвечивающего сквозь мятеж прогресса, палата депутатов и улица, необходимость уравнивать разгоревшиеся вокруг него страсти, вера в революцию, быть может, некое предвидение отречения в будущем, рожденное смутной покорностью высшему, неоспоримому праву, собственная честность, желание остаться верным своему роду, дух семейственности, искреннее уважение к народу – все это поглощало Луи-Филиппа почти болезненно и порой, при всей его стойкости и мужестве, угнетало его, давая чувствовать, как трудно быть королем.

Он чувствовал, что почва под ним в состоянии какого-то страшного распада, однако это не было полным разрушением, так как Франция оставалась Францией более, чем когда-либо.

Темные сгрудившиеся тучи покрывали горизонт. Странная тень, надвигавшаяся все ближе и ближе, мало-помалу распростерлась над людьми, над вещами, над идеями – тень, отбрасываемая распрями и системами. Все, что было поспешно придушено, вновь оживало и начинало бродить. Иногда совесть честного человека задерживала дыхание, столько было нездорового в воздухе, где софизмы перемешивались с истинами. В этой тревоге, овладевшей обществом, умы трепетали, как листья перед близящейся бурей. Вокруг было такое скопление электричества, что в иные мгновения первый встречный, никому не ведомый дотоле, мог вызвать вспышку света. Затем снова спускалась сумеречная тьма. Время от времени глухие отдаленные раскаты грома свидетельствовали о том, какой грозой чреваты были облака.

Едва прошло двадцать месяцев после Июльской революции, как в роковом и мрачном облике явил себя 1832 год. Народная нищета, труженики без хлеба, последний принц Конде, исчезнувший во мраке, Брюссель, изгнавший династию Нассау, как Париж – Бурбонов, Бельгия, предлагавшая себя французскому принцу и отданная английскому, ненависть русского императора Николая, позади нас два беса полуденных – Фердинанд Испанский и Мигель Португальский, землетрясение в Италии, Меттерних, протянувший руку к Болонье, Франция, оскорбившая Австрию в Анконе, на севере злоеший стук молотка, вновь заколачивающего в гроб Польшу, подстерегающие Францию раздраженные взгляды всей Европы, Англия – эта подозрительная союзница, готовая толкнуть то, что колеблется, и наброситься на то, что упадет, суд пэров, прикрывающийся Беккарией, чтобы спасти четыре головы от законного приговора, лилии, соскобленные с кареты короля, крест, сорванный с Собора Парижской богородицы, униженный Лафайет, разоренный Лафит, умерший в бедности Бенжамен Констан, потерявший все свое влияние и скончавшийся Казимир Перье; болезнь политическая и болезнь социальная, вспыхнувшие сразу в обеих столицах королевства – одна в городе мысли, другая в городе труда: в Париже война гражданская, в Лионе – война рабочих; в обоих городах один и тот же отблеск бушующего пламени; багровый свет извергающегося вулкана на челе народа; пришедший в исступление юг, возбужденный запад, герцогиня Беррийская в Вандее, заговоры, злоумышления, восстания, холера – все это прибавляло к смутному гулу идей смутную сумятицу событий.

Глава 5

Факты, порождающие историю, но ею не признаваемые

К концу апреля все осложнилось. Брожение переходило в кипение. После 1830 года там и сям вспыхивали небольшие отдельные бунты, быстро подавляемые, но возобновлявшиеся, – признак широко разлившегося, скрытого пожара. Назревало нечто страшное. Проступали еще недостаточно различимые и плохо освещенные очертания возможной революции. Франция смотрела на Париж; Париж смотрел на Сент-Антуанское предместье.

Сент-Антуанское предместье, втайне подогреваемое, начинало бурлить.

Кабачки на улице Шарон стали серьезными и грозными – как ни покажется странным применение двух этих эпитетов к кабачкам.

Правительство попросту и откровенно было там взято под сомнение. Открыто обсуждалось: *драться или сохранять спокойствие*. Кое-где в задних помещениях кабачков с рабочими брали клятву, что они выйдут на улицу при первой тревоге и «будут драться, невзирая на численность врага». Как только обязательство было принято, человек, сидевший в углу кабачка, «повышал голос» и говорил: *Ты дал согласие! Ты в этом поклялся!* Иногда поднимались на второй этаж в запертую комнату, и там происходили сцены, почти напоминавшие масонские обряды. Посвященного приводили к присяге «служить делу так же, как дети служат отцу». Такова была ее формула.

В общих залах читали «крамольные» брошюры. Они поносили правительство, как сообщает секретное донесение того времени.

Там слышались такие слова: *Мне неизвестны имена вождей. Что до нас, то мы узнаем о назначенном дне только за два часа*. Один рабочий сказал: *Нас триста человек, дадим каждый по десять су – вот вам сто пятьдесят франков на порох и пули*. Другой сказал: *Мне не нужно шести месяцев, не нужно и двух. Не минет и двух недель, как мы сравняемся с правительством*. Собрав двадцать пять тысяч человек, можно схватиться вплотную. Третий заявил: *Я почти совсем не сплю, всю ночь делаю патроны*. Время от времени появлялись люди, «хорошо одетые, по виду буржуа», «производили замешательство» и, держась «распорядителями», пожимали руки *самым главным*, потом уходили. Они никогда не оставались больше десяти минут. Понизив голос, они обменивались многозначительными словами: *Заговор созрел. Дело готово*. «Об этом твердили все, кто был там», – как выразился один из присутствовавших. Возбуждение было таково, что однажды в переполненном кабачке какой-то рабочий закричал: *У нас нет оружия!* Один из его приятелей ответил: *Оно есть у солдат!* – пародируя, сам того не зная, обращение Бонапарта к Итальянской армии. «Когда дело касалось какой-нибудь более важной тайны, – прибавляет один из рапортов, – то там они ее не сообщали друг другу». Непонятно, что еще они могли скрывать, сказав то, что ими было сказано.

Нередко такие собрания принимали вполне регулярный характер. На иных никогда не бывало больше восьми или десяти человек, всегда одних и тех же. На другие ходил всякий, кто хотел, и зал бывал так переполнен, что люди принуждены были стоять. Одни шли туда, потому что были охвачены страстным энтузиазмом, другие – потому что это им было *по пути на работу*. Как и во время революции 1789 года, эти собрания посещали женщины-патриотки, встречавшие поцелуем вновь прибывших.

Стали известны и другие красноречивые факты.

Человек входил в кабачок, выпивал и уходил со словами: *Должок мой, дядюшка, уплатит революция*.

У кабачника, что напротив улицы Шарон, намечали революционных уполномоченных. Избирательные записки собирали в фуражки.

Рабочие сходились на улице Котт, у одного фехтовальщика, который учил приемам нападения. Там имелся набор оружия, состоявший из деревянных эспадронов, тростей, палок и рапир. Настал день, когда пуговицы с рапир сняли. Один рабочий сказал: *Нас двадцать пять, но я не в счет, потому что меня считают рохлей*. Этим «рохлей» впоследствии оказался не кто иной, как Кениссе.

Некоторые замыслы мало-помалу становились каким-то непонятным образом известными. Одна женщина, подметавшая у своего дома, сказала другой: *Уже давно всю выделывают патроны*. На улицах открыто читали прокламации, обращенные к национальным гвардейцам департаментов. Одна из прокламаций была подписана: *Борто, виноторговец*.

Однажды на рынке Ленуар, возле лавочки, торговавшей водочными настойками, какой-то бородач с итальянским акцентом, взобравшись на тумбу, громко читал необычное рукописное послание, казалось, исходившее от некой таинственной власти. Вокруг него собрались кучками слушатели и рукоплескали ему. Отдельные выражения, особенно сильно возбуждавшие толпу, были собраны и записаны: «...Нашему учению ставят препятствия, наши воззвания уничтожают, наших людей выслеживают и заточают в тюрьмы». «Беспорядки, имевшие место на мануфактурах, привлекли на нашу сторону умеренных людей». «...Будущее народа создается в наших безвестных рядах». «...Выбор возможен лишь один: действие или противодействие, революция или контрреволюция. Ибо в нашу эпоху больше не верят ни бездеятельности, ни неподвижности. С народом или против народа – вот в чем вопрос. Другого не существует». «...В тот день, когда мы окажемся для вас неподходящими, замените нас, но до тех пор помогайте нам идти вперед». Все это говорилось среди бела дня.

Другие выступления, еще более дерзкие, были подозрительны народу именно по причине этой дерзости. 4 апреля 1832 года прохожий, вскочив на тумбу на углу улицы Св. Маргариты, вскричал: «Я бабувист!» Но за именем Бабефа народ учуял Жиске.

Между прочим этот прохожий говорил:

– Долой собственность! Левая оппозиция – это трусы и предатели. Когда ей надо доказать, что она в здравом уме, она проповедует революцию. Она объявляет себя демократкой, чтобы не быть побитой, и роялисткой, чтобы не драться. Республиканцы – мокрые курицы. Не доверяйте республиканцам, граждане трудящиеся!

– Молчать, гражданин шпик! – крикнул ему рабочий.

Этот окрик положил конец его речи.

Бывали и таинственные случаи.

Как-то к вечеру один рабочий встретил возле канала «хорошо одетого господина», который его спросил: «Куда идешь, гражданин?» – «Сударь, – ответил рабочий, – я не имею чести вас знать». – «Зато я тебя хорошо знаю, – сказал тот и прибавил: – Не бойся. Я уполномоченный комитета. Подозревают, что ты не очень надежен. Знай, если ты что-нибудь выболтаешь, то это будет известно, за тобою следят». Потом, пожав рабочему руку, он ушел, сказав: «Мы скоро увидимся».

Полиция, подслушивая разговоры, отмечала уже не только в кабачках, но и на улицах странные диалоги.

– Постарайся-ка получить поскорей, – говорил ткач краснодеревцу.

– Почему?

– Да придется пострелять малость.

Двое оборванных прохожих обменялись следующими примечательными словами, явно отдававшими жакерией:

– Кто нами правит?

– Господин Филипп.

– Нет, буржуазия.

Те, кто подумает, что мы употребляем слово «жакерия» в дурном смысле, ошибутся. Участники жакерии – это бедняки.

В другой раз слышали, как один прохожий говорил другому: «У нас отличный план наступления».

Из конфиденциального разговора, происходившего между четырьмя мужчинами, сидевшими во рву круглой площади возле Тронной заставы, только и удалось расслышать, что: «Сделают все возможное, чтобы он не разгуливал больше по Парижу».

Кто это «он»? Неизвестность, исполненная угрозы.

«Вожак», как их называли в предместье, держались в стороне. Полагали, что они сходятся для согласования действий в кабачке возле церкви Сент-Эташ. Некто, по прозвищу «Ог», председатель общества взаимопомощи портных на улице Мондетур, считался главным посредником между жоками и Сент-Антуанским предместьем. Тем не менее эти жоки всегда были в тени, и ни одна самая неопровержимая улика не могла поколебать замечательную сдержанность следующего ответа, данного позже одним обвиняемым на суде пэров.

– Кто ваш руководитель? – спросили его.
– Я этого не знал, да и не разузнавал, кто он.

Впрочем, пока это были только слова, прозрачные по смыслу, но неопределенные; иногда пустые предположения, слухи, пересуды. Но появлялись и другие признаки.

Плотник, обшивавший тесом забор вокруг строящегося дома на улице Рейи, нашел на этом участке клочок разорванного письма, где можно было еще разобрать следующие строки:

«...Необходимо, чтобы комитет принял меры с целью помешать набору людей в секции некоторых обществ...»

И в приписке:

«Мы узнали, что на улице Фобур-Пуасоньер № 5 (б) у оружейника во дворе имеются ружья в количестве пяти или шести тысяч. У секции совсем нет ружей».

Это привело к тому, что плотник встревожился и показал свою находку соседям, тем более что немного подальше он подобрал другую бумажку, тоже разорванную и еще более многозначительную. Мы воспроизводим ее начертание, имея в виду исторический интерес этого странного документа.

К	Ц	Д	Р	Выучите этот листок наизусть. Потом разорвите. Посвященные пусть сделают так же, после того как вы передадите им приказания. Привет и братство. Л. ю ог а ¹ фе
---	---	---	---	--

Лица, знавшие тогда об этой таинственной находке, поняли только впоследствии скрытое значение четырех прописных букв – это были *квинтурионы*, *центурионы*, *декурионы*, *разведчики*, а буквы *ю ог а¹ фе* означали дату: 15 апреля 1832 года. Под каждой прописной буквой были написаны имена, сопровождавшиеся весьма примечательными указаниями: «К – *Банерель*. 8 ружей, 83 патрона. Человек надежный. Ц – *Бубьер*. 1 пистолет, 40 патронов; Д – *Роле*. 1 рапира, 1 пистолет, 1 фунт пороха; Р – *Тейсье*. 1 сабля, 1 патронташ. Точен; *Террор*. 8 ружей. Храбрец» и т. д.

Наконец тот же плотник нашел все внутри этой же ограды третью бумагу, на которой карандашом, но вполне разборчиво был начертан следующий загадочный список.

Единство. Бланшар. Арбр-Сэк, 6.
Барра. Суаз. Счетная палата.
Костюшко. Обри-Мясник?
Ж. Ж. Р.
Кай Гракх.
Право осмотра. Дюфон. Фур.
Падение жирондистов. Дербак. Мобюэ.

Вашингтон. Зяблик. 1 лист. 86 патр.

Марсельеза.

Главенст. народа. Мишель. Кенкампуа. Сабля.

Гош.

Марсо. Платон. Арбр-Сэк.

Варшава. Тилли, продавец газеты «Попюлер».

Почтенный буржуа, в чьих руках осталась записка, распознал ее смысл. По-видимому, этот список был полным перечнем секций четвертого округа общества Прав человека с именами и адресами главарей секций. В настоящее время, когда все эти факты, оставшиеся неизвестными, принадлежат лишь истории, можно их обнародовать. Нужно прибавить, что основание общества Прав человека как будто произошло позже той даты, когда эта бумага была найдена. Возможно, то был черновой набросок.

Тем не менее за намеками, словами и письменными свидетельствами начали обнаруживаться реальные дела. На улице Попенкур при обыске у старьевщика в ящике комода нашли семь листов оберточной бумаги, одинаково сложенных пополам, а потом вчетверо; под этими листами были спрятаны двадцать шесть четвертушек такой же бумаги, свернутых для патронов, и карточка, на которой значилось:

Селитра – 12 унций.

Сера – 2 унции.

Уголь – 2 с половиной унции.

Вода – 2 унции.

Протокол обыска гласил, что ящик сильно отдавал запахом пороха.

Один каменщик, возвращаясь после рабочего дня, забыл небольшой сверток на скамье возле Аустерлицкого моста. Этот сверток отнесли на караульный пост. Его развернули и обнаружили два напечатанных диалога, подписанных *Лотьер*, песню, озаглавленную «Рабочие, соединяйтесь!», и жестяную коробку, полную патронов.

Один рабочий, выпивая со своим приятелем, в доказательство того, что ему жарко, предложил себя пощупать; тот, притронувшись к нему, обнаружил у него под курткой пистолет.

На бульваре, между Пер-Лашез и Тронной заставой, дети, игравшие в самом глухом его уголке, нашли в канаве, под кучей стружек и мусора, мешок, в котором была форма для отливки пуль, деревянная колодка для патронов, деревянная чашка с крупинками охотничьего пороха и маленький чугунный котелок с явными следами расплавленного свинца внутри.

Полицейские агенты, неожиданно явившись в пять часов утра к некоему Пардону, ставшему впоследствии членом секции Баррикада-Мерри и убитому во время восстания в апреле 1834 года, застали его стоящим возле постели, в руке он держал патроны, изготовлением которых был занят.

Во время обеденного отдыха рабочих заметили двух человек, встретившихся между заставами Пикплюс и Шарантон на узкой дорожке дозорных, между двумя стенами, возле кабачка, у входа в который обычно играют в сямские кегли. Один вытащил из-под своей блузы и передал другому пистолет. Вручая его, он заметил, что порох несколько отсырел на потной груди. Он проверил пистолет и подсыпал порошу на полку. После этого они расстались.

Некто, по имени Галле, впоследствии убитый на улице Бобур во время апрельских событий, хвастал, что у него есть семьсот патронов и двадцать четыре ружейных кремня.

Как-то раз правительство было извещено, что в предместьях роздано оружие и двести тысяч патронов. Неделью спустя было роздано еще тридцать тысяч патронов. Замечательно, что ни

один патрон не попал в руки полиции. Перехваченное письмо сообщало: «Недалек день, когда восемьдесят тысяч патриотов встанут под ружье, как только пробьет четыре часа утра».

Все это брожение происходило в открытую и, можно сказать, почти спокойно. Назревавшее восстание готовило бурю на глазах у правительства. Все особенности этого пока еще тайного, но уже ощутимого кризиса были налицо. Буржуа мирно беседовали с рабочими о том, что предстояло. Осведомлялись: «Ну как восстание?» – тем же тоном, каким спросили бы: «Как поживает ваша супруга?»

Мебельщик на улице Моро спрашивал: «Ну что ж, когда начнете?»

Другой лавочник говорил: «Дело начнется скоро, я это знаю. Месяц тому назад вас было пятнадцать тысяч, а теперь двадцать пять». Он предлагал свое ружье, а сосед – маленький пистолет, за который он хотел семь франков.

Впрочем, революционная горячка усиливалась. Ни один уголок Парижа и Франции не был исключением. Всюду ощущалось биение ее пульса. Подобно оболочкам, которые образуются в человеческом теле вокруг тканей, пораженных воспалительным процессом, сеть тайных обществ начала распространяться по всей стране. Из общества Друзей народа, открытого и тайного одновременно, возникло общество Прав человека, датировавшее одно из своих распоряжений так: *Плювиоз, год 40-й республиканской эры*, – общество, которому было суждено пережить даже постановление уголовного суда о своем роспуске и которое, не колеблясь, давало своим секциям следующие многозначительные названия:

Пики.

Набат.

Сигнальная пушка.

Фригийский колпак.

21 января.

Нищие.

Бродяги.

Робеспьер.

Нивелир.

Настанет день.

Общество Прав человека породило общество Действия. Его образовали нетерпеливые, отколовшиеся от общества и забежавшие вперед. Другие союзы пополнялись за счет единомышленников из больших основных обществ. Члены секций жаловались, что их тянут в разные стороны. Так образовался *Галльский союз* и *Организационный комитет городских самоуправлений*. Так образовались союзы: *Свобода печати*, *Свобода личности*, *Народное образование*, *Борьба с косвенными налогами*. Затем общество Рабочих – поборников равенства, делившееся на три фракции: поборников равенства, коммунистов и реформистов. Затем Армия Бастилии, род когорты, организованной по-военному: каждой четверкой командовал капрал, десятью – сержант, двадцатью – младший лейтенант, четырьмя десятками – лейтенант; в ней никогда не знали друг друга больше чем пять человек. Эта выдумка, где осторожность сочеталась со смелостью, казалось, была отмечена гением Венеции. Стоящий во главе центральный комитет имел две руки – общество Действия и Армию Бастилии. Легитимистский союз Рыцарей верности сеял смуту среди этих республиканских объединений. Он был разоблачен и изгнан.

Парижские общества разветвлялись в главных городах. В Лионе, Нанте, Лилле и Марселе были свои общества Прав человека, Карбонариев, Свободного человека. В Эксе было революционное общество под названием Кугурда. Мы уже упоминали о нем.

В Париже предместье Сен-Марсо кипело не меньше, чем предместье Сент-Антуан, и

учебные заведения волновались не меньше, чем предместья. Кафе на улице Сент-Иасент и кабачок «Семь бильярд» на улице Матюрен Сен-Жак служили местом собрания студентов. Общество Друзей азбуки, тесно связанное с обществами взаимопомощи в Анжере и Кугурды в Эксе, как известно, устраивало собрания в кафе «Мюзен». Те же самые молодые люди встречались, о чем мы уже упоминали, в кабачке «Коринф», близ улицы Мондетур. Эти собрания были тайными. Другие, насколько обстоятельства допускали, были открытыми, и об их вызывающе смелом характере можно судить по отрывку допроса в одном из последующих процессов: «Где происходило собрание? – На улице Мира. – У кого? – На улице. – Какие секции были там? – Одна. – Какая именно? – Секция Манюэль. – Кто был ее руководителем? – Я. – Вы еще слишком молоды, чтобы самостоятельно принять это опасное решение вступить в борьбу с правительством. Откуда вы получали указания? – Из Центрального комитета».

Армия была в такой же степени взбудоражена, как и народ, что подтвердилось позднее волнениями в Бельфоре, Люневиле и Эпинале. Мятежники рассчитывали на пятьдесят второй полк, пятый, восьмой, тридцать седьмой и двадцатый кавалерийский. В Бургундии и южных городах водружали дерево Свободы, то есть шест, увенчанный красным колпаком.

Таково было положение дел.

И это положение дел, как мы уже говорили в самом начале, особенно сильно и остро давало себя чувствовать в Сент-Антуанском предместье. Именно там был очаг возбуждения.

Это старинное предместье, населенное, как муравейник, работающее, смелое и сердитое, как улей, трепетало в нетерпеливом ожидании взрыва. Там все волновалось, но работа из-за этого не останавливалась. Ничто не могло бы дать представления о его живом и сумрачном облике. В этом предместье под кровлями мансард скрывалась потрясающая нищета; там же можно было найти людей пылкого и редчайшего ума. А именно нищета и ум являются особенно грозным сочетанием крайностей.

У предместья Сент-Антуан были еще и другие причины для волнений: на нем всегда отражаются торговые кризисы, банкротство, стачки, безработица, неотделимые от великих политических потрясений. Во время революции нужда – одновременно и причина, и следствие. Удар ее разящей руки отзывается и на ней самой. Население этого предместья, исполненное неустрашимого мужества, способное таить в себе величайший душевный пыл, всегда готовое взяться за оружие, легко воспламеняющееся, раздраженное, непроницаемое, подготовленное к восстанию, казалось, только ожидало искры. Каждый раз, как только на горизонте реяли эти искры, гонимые ветром событий, нельзя было не подумать о Сент-Антуанском предместье и о грозной случайности, поместившей у ворот Парижа эту пороховницу страдания и мысли.

Кабачки «предместья Антуан», уже не раз упомянутые в предшествующем очерке, отмечены исторической известностью. Во времена смут здесь опьянялись словом больше, чем вином. Здесь чувствовалось воздействие некоего пророческого духа и веяний будущего, переполнявших сердца и возвеличивавших душу. Кабачки Антуанского предместья походят на таверны Авентинского холма, построенные над пещерой Сивиллы, откуда проникали в них идущие из глубин ее священные дуновения, – на те таверны, где столы были почти подобны треножникам и где пили тот напиток, который Энний называет *сивиллиным вином*.

Сент-Антуанское предместье – это запасное хранилище народа. Революционное потрясение вызывает в нем трещины, сквозь которые пробивается верховная власть народа. Эта верховная власть может поступать дурно, у нее, как и у всякой другой, возможны ошибки; но, даже заблуждаясь, она остается великой. О ней можно сказать, как о слепом циклопе: *Ingens*^[122].

В 93-м году, в зависимости от того, хороша или дурна была идея, владевшая умами, говорили в них в этот день фанатизм или благородный энтузиазм, из Сент-Антуанского предместья

выходили легионы дикарей или отряды героев.

Дикарей. Объяснимся по поводу этого выражения. Чего хотели эти озлобленные люди, которые в дни созидającego революционного хаоса, оборванные, рычащие, свирепые, с дубинами наготове, с поднятыми пиками, неистово бросались на старый потрясенный Париж? Они хотели положить конец угнетению, конец тирании, конец войнам; они хотели работы для взрослого, грамоты для ребенка, общественной заботы для женщины, свободы, равенства, братства, хлеба для всех, превращения всего мира в рай земной, Прогресса. И доведенные до крайности, вне себя, страшные, полуголые, с дубинами в руках, с проклятиями на устах, они требовали этого святого, доброго и мирного прогресса. То были дикари, да; но дикари цивилизации.

Они с остервенением утверждали право; пусть даже путем страха и ужаса, но они хотели принудить человеческий род жить в раю. Они казались варварами, а были спасителями. Они требовали света, сами скрытые под маской тьмы.

Наряду с этими людьми, свирепыми и страшными, мы признаем это, но свирепыми и страшными во имя блага, есть и другие люди, улыбающиеся, в расшитой золотой одежде, в лентах и звездах, в шелковых чулках, белых перьях, желтых перчатках, лакированных туфлях; облокотившись на обитый бархатом столик возле мраморного камина, они кротко высказываются за сохранение и поддержку прошлого, средневековья, священного права, фанатизма, невежества, рабства, смертной казни и войны, вполголоса и учтиво прославляя меч, костер и эшафот. Что до нас, то если бы мы были вынуждены сделать выбор между варварами цивилизации и цивилизованными варварами, – мы выбрали бы первых.

Но, благодарение небу, возможен другой выбор. Нет необходимости низвергаться в бездну ни ради прошлого, ни ради будущего. Ни деспотизма, ни террора. Мы хотим идти к прогрессу пологой тропинкой.

Господь позаботится об этом. Сглаживание неровностей пути – в этом вся политика бога.

Глава 6

Анжольрас и его помощники

Незадолго до этого времени Анжольрас, предвидя возможные события, произвел нечто вроде скрытой проверки.

Все были на тайном собрании в кафе «Мюзен». Введя в свою речь несколько полузагадочных, но многозначительных метафор, Анжольрас сказал:

– Не мешает знать, чем мы располагаем и на кого можем рассчитывать. Кто хочет иметь бойцов, должен их подготовить. Должен иметь чем воевать. Повредить это не может. Когда на дороге быки, у прохожих больше вероятности попасть им на рога, чем тогда, когда их нет. Подсчитаем же примерно, каково наше стадо. Сколько нас? Не стоит откладывать это дело на завтра. Революционеры всегда должны спешить; у прогресса мало времени. Не будем доверять неожиданному. Не дадим захватить себя врасплох. Нужно пройти по всем швам, которые мы сделали, и посмотреть, прочны ли они. Доведем дело до конца, и сегодня же. Ты, Курфейрак, пойдешь взглянуть на политехников. Сегодня среда – у них день отдыха. Фейи, вы взглянете на тех, что в Гласьер, не так ли? Комбефер обещал мне побывать в Пикпюсе. Там все здорово кипит. Баорель посетит Эстрападу. Прувер, масоны охлаждаются; ты принесешь нам вести о ложе на улице Гренель-Сент-Оноре. Жоли пойдет в клинику Дюпюитрена и пощупает пульс у Медицинской школы. Боссюэ прогуляется до судебной палаты и поговорит с начинающими юристами. Сам я займусь Кугурдой.

– Вот и все в порядке, – сказал Курфейрак.

- Нет.
- Что же еще?
- Очень важное дело.
- Какое? – спросил Курфейрак.
- Менская застава, – ответил Анжольрас.

Он немного помедлил, как бы раздумывая, потом снова заговорил:

– У Менской заставы живут мраморщики, художники, ученики ваятелей. Это ребята горячие, но склонные остывать. Я не знаю, что с ними происходит с некоторого времени. Они думают о чем-то другом. Их пыл угасает. Они тратят время на домино. Совершенно необходимо поговорить с ними немного, но крепко. Они собираются у Ришфе. Там их можно застать между двенадцатью и часом. Надо бы раздуть этот уголь под пеплом. Я рассчитывал на этого беспамятного Мариуса, малого, в общем, славного, но он не появляется. Мне бы нужен был кто-нибудь для Менской заставы. Но у меня нет людей.

– А я? – сказал Грантэр. – Я-то ведь здесь.

– Ты?

– Я.

– Тебе поучать республиканцев! Тебе раздувать во имя принципов огонь в охладевших сердцах!

– Почему же нет?

– Да разве ты на что-нибудь годишься?

– Но я, некоторым образом, стремлюсь к этому.

– Ты ни во что не веришь.

– Я верю в тебя.

– Грантэр, хочешь оказать мне услугу?

– Какую угодно! Могу даже почистить тебе сапоги.

– Хорошо, в таком случае не вмешивайся в наши дела. Потягивай свой абсент.

– Анжольрас, ты неблагодарен.

– И ты скажешь, что готов пойти к Менской заставе? Ты способен на это?

– Я способен спуститься по улице Гре, пересечь площадь Сен-Мишель, пройти улицей Принца до улицы Вожирар, потом миновать Кармелитов, свернуть на улицу Ассас, добраться до улицы Шерш-Миди, оставить за собой Военный совет, пробежать Старым Тюильри, проскочить бульвар, наконец, следуя по Менскому шоссе, перейти через заставу и попасть прямо к Ришфе. Я способен на это. И мои сапоги тоже способны.

– Знаешь ли ты хоть немного товарищей у Ришфе?

– Не так чтобы очень. Однако я с ними на «ты».

– Что же ты им скажешь?

– Я поговорю с ними о Робеспьере, черт возьми! О Дантоне. О принципах.

– Ты?!

– Я. Меня не ценят. Но когда я берусь за дело, берегись! Я читал Прюдома, мне известен «Общественный договор», я знаю назубок конституцию Второго года! «Свобода одного гражданина кончается там, где начинается свобода другого». И по-твоему, я невежда? У меня в письменном столе хранится старая ассигнация. Права человека, верховная власть народа, черт меня побери! Я даже немного эбертист. Я могу с часами в руках толковать о самых изумительных вещах шесть часов подряд.

– Будь посерьезнее, – сказал Анжольрас.

– Уж куда серьезнее! – ответил Грантэр.

Анжольрас подумал немного и вскинул голову, словно человек, который принял решение.

– Грантэр, – сказал он значительно, – я согласен испытать тебя. Отправляйся к Менской заставе.

Грантэр жил в меблированных комнатах рядом с кафе «Мюзен». Он ушел и вернулся через пять минут. Он побывал дома, чтобы надеть жилет во вкусе эпохи Робеспьера.

– Красный, – сказал он, входя и пристально глядя на Анжольраса.

Потом энергично похлопал ладонью по двум пунцовым отворотам жилета у себя на груди.

Подойдя к Анжольрасу, он шепнул ему на ухо:

– Не беспокойся.

Затем решительно нахлобучил шляпу и отбыл.

Четверть часа спустя задняя комната кафе «Мюзен» была пуста. Все Друзья азбуки разошлись каждый по своему делу. Анжольрас, взявший на себя Кугурду, вышел последним.

Члены Кугурды из Экса, находившиеся в Париже, собирались тогда в долине Исси, в одной из заброшенных каменоломен, столь многочисленных по эту сторону Сены.

Анжольрас, шагая к месту встречи, обдумывал про себя положение вещей. Серьезность того, что происходило, была очевидна. Когда события, предвестники некоей скрытой общественной болезни, развертываются медленно, малейшее осложнение останавливает их и запутывает. Здесь причина развала и возрождения. Анжольрас прозревал блистательное восстание под темным покровом будущего. Кто знает? Быть может, эта минута приближается. Народ, снова завоевывающий свои права! Какое прекрасное зрелище! Революция снова величественно завладевает Францией, вещая миру: «Продолжение завтра». Анжольрас был доволен. Горнило дышало жаром. За Анжольрасом тянулась в этот самый миг длинная пороховая дорожка – его друзья, рассеянные по всему Парижу. Мысленно он соединял философское и проникновенное красноречие Комбефера с восторженностью Фейи – этого гражданина мира, с пылом Курфейрака, смехом Баореля, грустью Жана Прувера, ученостью Жоли, сарказмами Боссюэ, – все вместе производило своего рода электрическое потрескивание, повсюду и одновременно сопровождающееся искрами. Все за работой. Результат, без сомнения, будет достоин затраченных усилий. Это хорошо. И тут он вспомнил о Грантэре. «Собственно говоря, Менская застава мне почти по пути, – сказал он про себя. – Не пойти ли мне к Ришфе? Посмотрим-ка, что делает Грантэр и чего он успел добиться».

На колокольне Вожирар пробило час, когда Анжольрас добрался до курильни Ришфе. Он вошел, отпустив дверь, с размаху хлопнувшую его по спине, скрестил руки и окинул взглядом залу, заполненную столами, людьми и табачным дымом.

Чей-то голос грохотал в этом тумане, нетерпеливо прерываемый другими. То был Грантэр, споривший со своим противником.

Грантэр сидел с кем-то за столиком из крапчатого мрамора, посыпанным отрубями и усеянным созвездиями костяшек домино. Он стучал кулаком по этому мрамору, и вот что услышал Анжольрас:

– Два раза шесть.

– Четверка.

– Свинья! У меня таких нет.

– Ты пропал. Двойка.

– Шесть.

– Три.

– Очко!

– Мне ходить.

– Четыре очка.

– Неважно.

- Тебе ходить.
- Я здорово промазал.
- Ты пошел правильно.
- Пятнадцать.
- И еще семь.
- Теперь у меня двадцать два. (Задумчиво.) Двадцать два!
- Ты не ожидал двойной шестерки. Если бы я ее поставил в самом начале, вся игра пошла бы иначе.
- Та же двойка.
- Очко!
- Очко? Так вот тебе пятерка.
- У меня нет.
- Но ведь ты ее как будто выставил?
- Да.
- Пустышка.
- Ну и везет тебе! Да... Тебе повезло! (Длительное раздумье.) Два.
- Очко!
- Ни пятерки, ни очка. Не очень-то приятная штука для тебя.
- Домино!
- Черт тебя побери!

Книга вторая

Эпони́на

Глава 1

Жаворонково поле

Мариус присутствовал при неожиданной развязке событий в той западне, на след которой он навел Жавера; но лишь только Жавер покинул лачугу, увозя с собой на трех фиакрах своих пленников, как Мариус в свою очередь ускользнул из дома. Было только девять часов вечера. Мариус отправился к Курфейраку. Курфейрак больше не был старожилом Латинского квартала: «по соображениям политическим» он жил теперь на Стекольной улице; этот квартал принадлежал к числу тех, где в описываемые времена охотно находило себе прибежище восстание. Мариус сказал Курфейраку: «Я пришел к тебе ночевать». Курфейрак стащил с кровати один из двух тюфяков, разложил его на полу и ответил: «Готово».

На следующий день в семь часов утра Мариус отправился в лачугу Горбо, заплатил за квартиру и все, что причиталось тетушке Бурчунье, нагрузил на ручную тележку книги, постель, стол, комод и два стула и удалился, не оставив своего адреса, так что когда утром явился Жавер, чтобы допросить его о вчерашних событиях, то застал только тетушку Бурчунью, ответившую ему: «Съехал!»

Тетушка Бурчунья была убеждена, что Мариус в какой-то мере был сообщником воров, схваченных ночью. «Кто бы подумал! – восклицала она, болтая с соседними привратницами. – Такой скромный молодой человек, ну прямо красная девушка!»

У Мариуса было два основания для столь быстрой перемены жилья. Первое – испытываемый им теперь ужас при мысли об этом доме, где он видел так близко, во всем его расцвете, в самом отвратительном и свирепом обличье, социальное уродство, быть может, еще более страшное, чем злодей богач: он видел злодея бедняка. Второе – его нежелание участвовать в каком бы то ни было судебном процессе, который, по всей вероятности, был неизбежен, и выступать свидетелем против Тенардье.

Жавер думал, что молодой человек, имени которого он не запомнил, испугался и убежал или, быть может, даже вовсе не вернулся домой к тому времени, когда была поставлена засада; тем не менее он пытался разыскать его, но безуспешно.

Прошел месяц, затем другой. Мариус все еще жил у Курфейрака. Через знакомого начинающего адвоката, завсегдатая суда, он узнал, что Тенардье в одиночном заключении. Каждый понедельник Мариус передавал для него в канцелярию тюрьмы Форс пять франков.

Мариус, у которого денег больше не было, брал эти пять франков у Курфейрака. Впервые в жизни он занимал деньги. Эти регулярно занимаемые пять франков стали двойной загадкой: для Курфейрака, дававшего их, и для Тенардье, получавшего их. «Для кого бы это?» – раздумывал Курфейрак. «Откуда бы это?» – вопрошал себя Тенардье.

Однако Мариус глубоко страдал. Все снова как бы скрылось в подполье. Он ничего более не видел впереди; его жизнь опять погрузилась в тайну, где он бродил ощупью. Одно мгновение в этой тьме, совсем близко от него, вновь промелькнули молодая девушка, которую он любил, и старик, казавшийся ее отцом, – неведомые ему существа, составлявшие единственный смысл его жизни, единственную надежду в этом мире; и в тот миг, когда он надеялся их обрести, какое-то дуновение унесло с собой эти тени. Ни проблеска истины, ни искры уверенности не вспыхнуло в нем даже при таком страшном ударе. Никакой догадки. Больше того, теперь он не знал даже имени, а прежде думал, что знает. Несомненно одно: Урсулой она не звалась. А «Жаворонок» –

только прозвище. Что же думать о старике? Действительно ли он скрывался от полиции? Мариусу вспомнился седовласый рабочий, которого он встретил недалеко от Дома инвалидов. Теперь ему стало казаться вероятным, что этот рабочий и г-н Белый были одним и тем же лицом. Значит, он переодевался? В этом человеке было что-то героическое и что-то двусмысленное. Почему он не позвал на помощь? Почему он бежал? Был ли он или не был отцом молодой девушки? Наконец, был ли он именно тем человеком, которого Тенардье якобы признал? Разве Тенардье не мог ошибиться? Сколько неразрешимых задач! Все это, правда, ничуть не умаляло ангельского очарования молодой девушки из Люксембургского сада. Мариуса снедала мучительная тоска, страсть жгла его сердце, тьма стояла в глазах. Его отталкивало и влекло одновременно, и он не мог двинуться с места. Все исчезло, кроме любви. Но ему изменил самый инстинкт любви, исчезли ее внезапные озарения. Обычно то пламя, которое сжигает нас, вместе с тем и несколько просветляет, отбрасывая мерцающий отблеск вовне и указуя нам путь. Но Мариус уже больше не слышал этих тайных советов страсти. Никогда он не говорил себе: «Не пойти ли туда-то? Не попробовать ли это?» Та, которую он больше не мог называть Урсулой, очевидно, где-то жила, но ничто не возвещало Мариусу, где именно он должен искать. Вся его жизнь могла быть теперь изложена в нескольких словах: полная неуверенность среди непроницаемого тумана. Увидеть, увидеть ее! Он жаждал этого непрестанно, но ни на что больше не надеялся.

В довершение всего снова наступила нужда. Он чувствовал вблизи, за своей спиной, ее леденящее дыхание. Во время всех этих треволнений, и давно уже, он бросил свою работу, а нет ничего более опасного, чем прерванный труд; это исчезающая привычка. Привычка, которую легко оставить, но трудно восстановить.

Некоторая мечтательность хороша, как наркотическое средство в умеренной дозе. Она успокаивает лихорадку деятельного ума, нередко жестокою, и порождает в нем мягкий прохладный туман, смягчающий слишком резкие очертания ясной мысли, заполняет там и здесь пробелы и пустоты, связывает отдельные группы идей и затушевывает их острые углы. Но слишком большая мечтательность все затопляет и поглощает. Горе труженику ума, позволившему себе, покинув высоты мысли, всецело отдаться мечте! Он думает, что легко воспрянет, и убеждает себя, что, так или иначе, это одно и то же. Заблуждение!

Мышление – работа ума, мечтательность – его сладострастие. Заменить мысль мечтой – значит принять яд за пищу.

Как помнит читатель, Мариус с этого и начал. Неожиданно овладевшая им страсть в конце концов низвергла его в мир химер, беспредметный и бездонный. В таких случаях выходят из дому только для того, чтобы мечтать. Ленивые попытки жить! Пучина и бурная, и стоячая! Но по мере того как работа уменьшалась, нужда увеличивалась. Это закон. Человек в состоянии мечтательности, естественно, расточителен и слабovolен. Праздный ум не приспособлен к скромной, расчетливой жизни. Наряду с плохим в таком образе жизни есть и хорошее, ибо если вялость губительна, то великодушие здорово и похвально. Но человек бедный, щедрый, благородный и неработающий – погиб. Средства иссякают, потребности возрастают.

Это роковой склон, на который ступают самые честные и самые стойкие, равно как и самые слабые и самые порочные; он приводит к одной из двух ям – самоубийству или преступлению.

Если у человека завелась привычка выходить из дому, чтобы мечтать, то настанет день, когда он уйдет из дому, чтобы броситься в воду.

Избыток мечтательности создает Эскусов и Лебра.

Мариус медленно спускался по этому склону, сосредоточив взоры на той, которую он больше не видел. То, о чем мы говорим, может показаться странным, и, однако, это так. В темных глубинах сердца зажигается воспоминание об отсутствующем существе; чем

безвозвратнее оно исчезло, тем ярче светит. Душа отчаявшаяся и мрачная видит этот свет на своем горизонте – то звезда ее ночи. Она, только она и поглощала все мысли Мариуса. Он не думал ни о чем другом, он смутно чувствовал, что его старый фрак неприличен, а новый становится старым, что его рубашки износились, шляпа износилась, сапоги износились, что его жизнь изжита, и повторял про себя: «Только бы увидеть ее перед смертью!»

Лишь одна сладостная мысль оставалась у него: о том, что она его любила, что ее взоры сказали ему об этом, что пусть она не знала его имени, но зато знала его душу, что, быть может, там, где она сейчас, каково бы ни было это таинственное место, она все еще любит его. Кто знает, не думает ли она о нем так же, как он думает о ней? Иногда, в неизъяснимые, знакомые всякому любящему сердцу часы, имея основания только для скорби и все же ощущая смутный трепет радости, он твердил: «Это ее думы нашли меня!» Потом он прибавлял: «И мои думы, быть может, также находят ее».

Это была иллюзия, и мгновение спустя, опомнясь, он сам покачивал головой, но она тем не менее успевала бросить в его душу луч, порой походивший на надежду. Время от времени, особенно в вечерние часы, которые всего сильнее располагают к грусти мечтателей, он заносил в свою тетрадь, служившую только для этой цели, самую чистую, самую бесплотную, самую идеальную из грез, которыми любовь заполняла его мозг. Он называл это «писать к ней».

Но не следует думать, что его ум пришел в расстройство. Напротив. Он потерял способность работать и настойчиво идти к определенной цели, но более, чем когда бы то ни было, отличался проницательностью и прямоотой. Мариус видел в спокойном и верном, хотя и необычном освещении все, что происходило перед его глазами, даже события или людей, наиболее для него безразличных; он судил обо всем правильно, но с какой-то нескрываемой подавленностью и откровенным равнодушием. Его разум, почти утративший надежду, парил на недостижимой высоте.

При таком состоянии его ума ничто не ускользало от него, ничто не обманывало, и в каждое мгновение он прозревал сущность жизни, человечества и судьбы. Счастлив даже в тоске своей тот, кому господь даровал душу, достойную любви и несчастья! Кто не видел явлений этого мира и сердца человеческого в таком двойном освещении, не видел ничего истинного и ничего не знает.

Душа любящая и страдающая – возвышенна.

Но дни сменялись днями, а нового ничего не было. Мариусу лишь казалось, что мрачное пространство, которое ему оставалось пройти, укорачивается с каждым мгновением. Ему чудилось, что он уже отчетливо различает край этого бесконечного откоса.

– Как? – повторял он. – И я ее перед этим не увижу!

Если подняться по улице Сен-Жак, оставив в стороне заставу, и идти некоторое время вдоль прежнего внутреннего бульвара, с левой его стороны, то добираться до улицы Санте, затем до Гласьер, а далее, не доходя немного до речки Гобеленов, встречаешь нечто вроде поля, которое в длинном и однообразном поясе парижских бульваров является единственным местом, где Рейсдаль поддался бы соблазну отдохнуть.

Все там исполнено прелести, источник которой неведом; зеленый лужок, пересеченный протянутыми веревками, где сушится на ветру разное тряпье, старая, окруженная огородами ферма, построенная во времена Людовика XIII, с высокой крышей, причудливо прорезанной мансардами, полуразрушенные изгороди, вода, поблескивающая между тополями, женщины, смех, голоса; на горизонте – Пантеон, дерево, что возле Школы глухонемых, церковь Валь-де-Грас, черная, приземистая, причудливая, забавная, великолепная, а в глубине – строгие четырехугольные башни собора Богоматери.

Местечко это стоит того, чтобы на него посмотреть, поэтому-то никто и не приходит сюда.

Изредка, не чаще, чем раз за четверть часа, здесь проезжает тележка или ломовой извозчик.

Однажды уединенные прогулки Мариуса привели его на этот лужок у реки. В тот день на бульваре оказалась редкость – прохожий. Мариус, глубоко пораженный почти диким очарованием местности, спросил его: «Как называется это место?»

Прохожий ответил: «Жаворонково поле».

И прибавил: «Это здесь Ульбах убил пастушку из Иври».

Но после слова «Жаворонково» Мариус больше ничего не слышал. Порою человеком, погрузившимся в мечты, овладевает внезапное оцепенение, для этого довольно какого-либо слова. Мысль сразу сосредоточивается вокруг одного образа и не способна более ни к какому другому восприятию. «Жаворонок» – было название, которым в глубокой своей меланхолии Мариус заменил имя Урсулы. «Ах, – сказал он в каком-то беспричинном изумлении, свойственном этим таинственным беседам с самим собой, – так это ее поле. Здесь я узнаю, где она живет». Это было бессмысленно, но непреодолимо. И он каждый день стал приходить на Жаворонково поле.

Глава 2

Зародыши преступления в тюремном гнездилище

Успех Жавера в лачуге Горбо казался полным, чего, однако, не было в действительности.

Прежде всего, – и это являлось главной заботой Жавера, – ему не удалось сделать пленника бандитов собственным пленником. Если жертва убийцы скрывается, то она более подозрительна, чем сам убийца; вполне возможно, что эта личность, представлявшая столь драгоценную находку для преступников, была бы не менее хорошей добычей для властей.

Кроме того, ускользнул от Жавера и Монпарнас. Приходилось выжидать другого случая, чтобы наложить руку на этого «чертова франтика». Действительно, Монпарнас, встретив Эпонино, караулившую под деревьями бульвара, увел ее с собой, предпочитая быть Неморином с дочерью, чем Шиндерганнесом с отцом. Он избрал благую часть. Он остался на свободе. Что до Эпонины, то Жавер снова «сцапал» ее. Но это было для него слабым утешением. Эпонина присоединилась к Азельме в Мадлонет.

Наконец, во время перевозки арестованных из лачуги в тюрьму Форс один из главных преступников, Звенигрош, исчез. Никто не знал, как это случилось, агенты и сержанты «ничего здесь не понимали», он словно превратился в пар, он выскользнул из ручных кандалов, он просочился сквозь щели кареты – а щели в ней были – и убежал; прибыв к тюрьме, только и могли сказать, что Звенигроша нет. Это было или волшебство, или дело полиции. Не растаял ли Звенигрош во мраке, как тают хлопья снега в воде? Или то было соучастие не признавшихся в этом агентов? Не связан ли был этот человек с двойной загадкой – беззакония и закона? Не был ли он олицетворением как проступка, так и возмездия? Не опирался ли этот сфинкс передними лапами на преступление, а задними на власть? Жавер никак не признавал этих сочетаний и возмущался бы при мысли о такой сделке; но в его отделении были и другие надзиратели, хотя и состоявшие под его начальством, но лучше посвященные в тайны префектуры, а Звенигрош был таким злодеем, что мог оказаться очень хорошим агентом. Иметь столь близкие отношения с ночным мраком, позволяющим незаметно исчезать, выгодно для бандитов и удобно для полиции. Подобные мошенники о двух личинах существуют. Как бы то ни было, исчезнувший Звенигрош не отыскался. Жавер, казалось, был этим скорее раздражен, чем удивлен.

Что до Мариуса, «этого простофили адвоката, навверное струсившего», то Жавер, забывший его имя, не придавал ему большого значения. Кроме того, он – адвокат, значит, всегда разыщется. Но был ли он только адвокатом?

Следствие началось.

Судебный следователь нашел полезным одного из шайки Петушиного часа не сажать в одиночку, рассчитывая, что он выболтает что-нибудь. Этот человек был Брюжон, космач с Малой Банкирской улицы. Его выпустили во двор тюрьмы Шарлемань, где сторожа бдительно надзирали за ним.

Имя Брюжона – одно из памятных в тюрьме Форс. В отвратительном дворе так называемого Нового здания, который администрация именовала Сен-Бернарским двором, а воры – Львиным рвом, с левой стороны есть стена, покрытая чешуей и лишаями плесени и поднимающаяся в уровень с крышами. На этой стене, недалеко от старых заржавленных железных ворот, ведущих в прежнюю часовню герцогского дворца Форс, ставшую спальней преступников, можно было видеть еще лет двенадцать тому назад нечто вроде изображения крепости, грубо нацарапанного гвоздем на камне, и под ним надпись:

БРЮЖОН, 1811

Брюжон 1811 года был отцом Брюжона 1832 года.

Последний, которого мы видели лишь мельком в засаде Горбо, был молодой парень, очень хитрый и очень ловкий, прикидывавшийся растерянным и жалким. Именно по причине жалкого его вида судья и предоставил ему некоторую свободу, полагая, что он больше будет полезен на дворе Шарлемань, чем в одиночном заключении.

Воры не прекращают своей работы, попадая в руки правосудия. Такой пустяк их не затрудняет. Сидеть в тюрьме за уже совершенное преступление – отнюдь не помеха для подготовки другого. Так художники, выставив картину в Салоне, продолжают работать над новым творением в своей мастерской.

Брюжон, казалось, одурел в тюрьме. То он целыми часами простаивал на дворе Шарлемань перед оконцем буфетчика, как идиот, созерцая гнусный преysкурant этой тюремной лавчонки, начинавшийся: «чеснок – 62 сантима» и кончавшийся: «сигара – 5 сантимов», то весь тряся, стучал зубами и, жалуясь на лихорадку, справлялся, не освободилась ли одна из двадцати восьми кроватей в больничной палате для лихорадочных.

Вдруг во второй половине февраля 1832 года узнали, что Брюжон, этот рохля, дал трем тюремным рассыльным от имени трех своих приятелей три разных поручения, обошедшихся ему в пятьдесят су, – непомерная сумма, обратившая внимание начальника тюремной стражи.

Разузнав об этом и справившись с тарифом поручений, вывешенным в приемной тюрьмы, пришли к выводу, что пятьдесят су были распределены таким образом: из трех поручений одно было в Пантеон – десять су, другое в Валь-де-Грас – пятнадцать су, третье на Гренельскую заставу – двадцать пять су. Последнее обошлось дороже всего согласно тарифу. А вблизи Пантеона, в Валь-де-Грас и у Гренельской заставы находились пристанища трех весьма опасных ночных бродяг: Процентчика, или Бизарро, Бахвала – каторжника, отбывшего наказание, и Шлагбаума. Этот случай привлек к ним внимание полиции. Предполагалось, что они были связаны с Петушиным часом, двух главарей которого, Бабета и Живоглота, засадили в тюрьму. Заподозрили, что в посланиях Брюжона, переданных не по домашним адресам, а людям, поджидавшим на улице, содержалось сообщение относительно какого-то злодейского умысла. Для этого были еще и другие основания. Трех бродяг схватили и успокоились, решив, что козни Брюжона предупреждены.

Приблизительно через неделю после того, как приняли эти меры, ночью один из надсмотрщиков, надзиравший за нижней спальней Нового здания, уже собираясь опустить в

ящик свой жетон, – таким способом проверяют, все ли надсмотрщики точно выполнили свои обязанности, ибо каждый час в ящики, прибитые к дверям спален, опускается по жетону, – через глазок в дверях спальни увидел Брюжона, который, сидя на своей койке, что-то писал при свете ночника. Сторож вошел, Брюжона посадили на месяц в карцер, но не могли найти того, что он писал. Полиции также ничего не удалось узнать.

Достоверно только, что на следующий день через пятиэтажное здание, разделяющее два тюремных двора, из Шарлемань в Львиный ров был переброшен «почтальон».

Заклученные называют «почтальоном» артистически скатанный хлебный шарик, который посылается «в Ирландию», иными словами, через крыши тюрьмы с одного двора на другой. Смысл этого выражения: через Англию, с одного берега на другой, то есть в Ирландию. Шарик падает во двор. Поднявший раскатывает его и находит записку, адресованную кому-либо из заключенных в этом дворе. Если находка попадает в руки арестанта, то он вручает записку по назначению; если же ее поднимает сторож или один из тайно оплачиваемых заключенных, которых в тюрьмах называют «наседками», а на каторге «лисами», то записка относится в канцелярию и вручается полиции.

На этот раз «почтальон» был доставлен по адресу, хотя тот, кому он предназначался, был в это время в одиночке. Адресатом оказался не кто иной, как Бабет, один из четырех главарей шайки Петушиного часа.

«Почтальон» заключал в себе свернутую бумажку, содержащую всего две строки:

«Бабету. Можно оборудовать дельце на улице Плюме. Сад за решеткой».

Это и писал Брюжон ночью.

Несмотря на надзирателей и надзирательниц, Бабет нашел способ переправить записку из Форс в Сальпетриер, к одной своей «подружке», которая отбывала там заключение. Эта девица в свою очередь передала записку близкой своей знакомой, некоей Маньон, находившейся под наблюдением полиции, но пока еще не арестованной. Маньон, чье имя читатель уже встречал, состояла с супругами Тенардье в близких отношениях, о которых будет точнее сказано в дальнейшем, и могла, встретившись с Эпониной, послужить мостом между Сальпетриер и Мадлонет.

Как раз в это самое время, ввиду недостатка улик против дочерей Тенардье при расследовании его дела, Эпонина и Азельма были освобождены.

Когда Эпонина вышла из тюрьмы, Маньон, караулившая ее у ворот Мадлонет, вручила ей записку Брюжона к Бабету, поручив ей *осветить дельце*.

Эпонина отправилась на улицу Плюме, нашла решетку и сад, осмотрела дом, последила, покараулила и несколько дней спустя отнесла к Маньон, жившей на улице Клошперс, сухарь, который Маньон передала любовнице Бабета в Сальпетриер. Сухарь на темном символическом языке тюрем означает: *нечего делать*.

Таким образом, не прошло и недели, как Бабет и Брюжон столкнулись на дорожке дозорных тюрьмы Форс – один, идя «допрашиваться», а другой, возвращаясь с допроса. «Ну, что улица П.?» – спросил Брюжон. «Сухарь», – ответил Бабет.

Так преступление, зачатое Брюжоном в тюрьме Форс, окончилось выкидышем.

Однако это привело к некоторым последствиям, правда, совершенно чуждым планам Брюжона. Читатель узнает о них в свое время.

Нередко, думая связать одни нити, человек связывает другие.

Мариус никого больше не навещал, и только изредка ему случалось встретить дедушку Мабефа.

В то самое время, когда Мариус медленно спускался по мрачным ступеням, которые можно назвать лестницей подземелья, ведущей в беспросветную тьму, где слышишь над собой шаги счастливых, спускался туда и г-н Мабеф.

«Флора Котере» больше не находила покупателей. Опыты с индиго в маленьком, плохо расположенном Аустерлицком саду окончились неудачей. Г-ну Мабефу удалось вырастить там лишь несколько редких растений, любящих сырость и тень. Однако он не отчаивался. Он добился хорошего уголка земли в Ботаническом саду, чтобы произвести там «на свой счет» опыты с индиго. Для этого он заложил в ломбарде медные клише «Флоры». Он ограничил завтрак двумя яйцами, причем одно из них оставлял своей служанке, которой не платил жалованья уже пятнадцать месяцев. И часто этот завтрак являлся единственной его трапезой за весь день. Он уже не смеялся своим детским смехом, стал угрюм и не принимал гостей. Мариус правильно поступал, не посещая его больше. Но иногда, в часы, когда г-н Мабеф отправлялся в Ботанический сад, старик и юноша встречались на Госпитальном бульваре. Они не вступали в беседу и только грустно обменивались поклоном. Страшно подумать, что приходит минута, когда нищета разъединяет! Были приятелями, а стали друг для друга прохожими.

Книготорговец Руайоль умер. Мабеф знал теперь только со своими книгами, своим садом и своим индиго; в эти три формы облеклись для него счастье, удовольствие и надежда. Этого ему было достаточно, чтобы жить. Он говорил себе: «Когда я изготовлю синие шарики, я разбогатею, выкуплю из ломбарда медные клише, потом при помощи шумной рекламы и газетных объявлений ловко создам новый успех моей «Флоре» и куплю, уж я-то знаю где, «Искусство навигации» Пьера де Медина, с гравюрами на дереве, издания 1559 года». Пока же он целые дни работал над своей грядкой с индиго, а вечером возвращался к себе, поливал свой садик и читал книги. В это время ему было без малого восемьдесят лет.

Однажды вечером ему представилось странное видение.

Он вернулся к себе еще совсем засветло. Тетушка Плутарх, здоровье которой пошатнулось, была больна и лежала в постели. Обглодав вместо обеда косточку, на которой оставалось немного мяса, и съев кусок хлеба, найденный на кухонном столе, он уселся на опрокинутую каменную тумбу, служившую скамьей в его саду.

Возле этой скамьи стояло, как водилось прежде в плодовых садах, нечто вроде большого, сколоченного из брусьев и теса весьма ветхого ларя, нижнее отделение которого служило кроличьим садком, а верхнее – кладовой для фруктов. В садке не было больше кроликов, но в кладовой еще лежало несколько яблок. Это были остатки зимнего запаса.

Господин Мабеф, надев очки, принялся перелистывать и просматривать две книги, весьма его волновавшие и даже, что еще примечательнее в его возрасте, занимавшие до крайности. Природная робость способствовала некоторой его восприимчивости к суевериям. Первой из этих книг был знаменитый трактат президента Деланкра «О личинах демонов», вторая, in quarto, Мютор де ла Рюбодьера «О воверских дьяволах и бьеврских кобольдах». Последняя книжица интересовала его тем более, что сад его являлся местом, которое встарь посещали кобольды. Наступавшие сумерки окрасили в бледные цвета небо и в темные – землю. Читая, дедушка Мабеф поглядывал поверх книги, которую держал в руке, на свои растения и среди них на великолепный рододендрон, бывший его утешением. Вот уже четыре дня, как стояла жара, дул ветер, палило солнце и не выпало ни капли дождя; стебли растений согнулись, бутоны поникли, листья повисли – все это нуждалось в поливке. Вид рододендрона был особенно печален. Дедушка Мабеф принадлежал к числу тех людей, которые и в растениях чувствуют душу. Старик целый день проработал над своей грядкой индиго и выбился из сил; все же он

встал, положил книги на скамью и отправился неверными шагами, совсем сгорбившись, к колодцу; но, ухватившись за цепь, не мог даже дернуть ее настолько, чтобы снять с крюка. Тогда он обернулся и поднял взгляд, полный мучительной тоски, к загоравшемуся звездами небу.

В вечернем воздухе была разлита спокойная ясность, которая смягчает боль человеческой души какой-то скорбной и вечной радостью. Ночь обещала быть столь же знойной, как и день.

«Все небо в звездах! – думал старик. – Нигде ни облачка! Ни одной дождейки!»

И снова опустил поднятую было голову. Затем, опять взглянув на небо, прошептал:

– Хоть бы одна росинка! Хоть капля жалости!

Он попытался еще раз снять цепь с крюка на колодце и не смог.

Тут он услышал голос, произнесший:

– Дедушка Мабеф, хотите, я полью ваш сад?

В то же время в изгороди послышался треск, словно через нее пробирался дикий зверь; из-за кустов вышла высокая худая девушка, которая остановилась против него, смело глядя ему в глаза. Казалось, это было не человеческое существо, а видение, порожденное сумерками.

Прежде чем дедушка Мабеф, который, как мы отмечали, легко приходил в смущение и легко пугался, мог произнести хотя бы один звук, девушка, чьи движения в темноте приобрели какую-то странную порывистость, сняла с крюка цепь, спустила в колодец и, вытащив наверх ведро, наполнила лейку, а затем добрый старик увидел, как это босоное, одетое в драную юбчонку привидение стало носиться среди грядок, одаряя все вокруг себя жизнью. Шум воды, льющейся по листьям, наполнял душу дедушки Мабефа восхищением. Ему казалось, что теперь рододендрон счастлив.

Вылив одно ведро, девушка вытащила второе, затем третье. Она полила весь сад.

Когда она бегала по аллеям в развевающейся изорванной косынке, размахивая длинными костлявыми руками, черный ее силуэт чем-то напоминал летучую мышь.

Лишь только она окончила свое дело, дедушка Мабеф со слезами на глазах подошел к ней и положил ей руку на голову.

– Да благословит вас господь, – сказал он, – вы ангел, потому что вы заботитесь о цветах.

– Ну нет, – ответила она, – я дьявол, а впрочем, мне это все равно.

Старик, не ожидая ее ответа и не слыша его, воскликнул:

– Как жаль, что я так несчастен и так беден и не могу ничего сделать для вас!

– Кое-что вы можете сделать, – ответила она.

– Что же?

– Сказать мне, где живет господин Мариус.

Старик сначала не понял.

– Какой господин Мариус?

Он поднял свой тусклый взгляд, казалось, всматриваясь во что-то исчезнувшее.

– Да тот молодой человек, который прежде бывал у вас.

Тем временем г-н Мабеф усиленно рылся в памяти.

– А, да... – вскричал он, – понимаю, что вы хотите сказать. Стойте! Господин Мариус... барон Мариус Понмерси, черт возьми! Он живет... или, вернее, он там больше не живет... Ах, нет, я не знаю.

Разговаривая с нею, он наклонился, чтобы поправить веточку рододендрона.

– Подождите, – продолжал он, – теперь я вспомнил. Он очень часто проходит по бульвару в сторону Гласьер. На улицу Крульбарб. На Жаворонково поле. Идите туда. Там его легко встретить.

Когда г-н Мабеф выпрямился, уже никого не было, девушка исчезла.

Само собою разумеется, что он немного испугался.

«Право, – подумал он, – если бы мой сад не был полит, я бы решил, что это дух».

Часом позже, когда он лег спать, эта мысль к нему вернулась, и, засыпая, в тот неуловимый миг, когда мало-помалу мысль принимает форму сновидения, чтобы пронестись сквозь сон, подобно сказочной птице, превращающейся в рыбу, чтобы переплыть море, он невнятно пробормотал:

– В самом деле, это очень похоже на то, что рассказывает Рюбодьер о кобольдах. Не был ли это кобольд?

Глава 4

Видение Мариуса

Спустя несколько дней после того, как «дух» посетил дедушку Мабефа, однажды утром, в понедельник, – день, когда Мариус обычно брал займы у Курфейрака сто су для Тенардье, – Мариус опустил монету в сто су в карман и, прежде чем отнести ее в канцелярию тюрьмы, отправился «немного прогуляться», в надежде, что, возвратившись, будет лучше работать. Впрочем, это повторялось изо дня в день. Встав, он тотчас садился за стол с книгой и листом бумаги, думая состряпать какой-нибудь перевод, – как раз в это время он взялся перевести на французский язык знаменитый немецкий спор – контроверзы Ганса и Савиньи; он открывал Савиньи, открывал Ганса, прочитывал четыре строки, пытался написать хотя бы одну и не мог, он видел какую-то звезду, сиявшую между ним и бумагой, и вставал со словами: «Надо пройтись. Это меня оживит».

И шел на Жаворонково поле.

А там еще ярче сияла перед ним звезда, и еще тусклее становились Савиньи и Ганс.

Он возвращался домой, пытался снова взяться за работу, но безуспешно; ему не удавалось связать ни одной оборванной нити своих мыслей. Тогда он говорил: «Завтра я не выйду из дома. Это мешает мне работать». И выходил каждый день.

Он жил скорее на Жаворонковом поле, чем на квартире Курфейрака. Его настоящий адрес был таков: бульвар Санте, седьмое дерево от улицы Крульбарб.

В это утро он покинул свое седьмое дерево и уселся на парапете набережной речки Гобеленов. Веселые солнечные лучи пронизывали свежую, распутившуюся и блестящую листву.

Он думал о «ней». И его думы, переходя в упрек, обращались к нему самому; он с горечью размышлял о своей лени, об этом параличе души, о тьме, которая все сильнее сгущалась перед ним, так что он уже не видел и солнца.

У него даже не было сил отчаиваться. Однако сквозь эту грустную сосредоточенность, сквозь этот поток мучительных и неясных мыслей, которые не являлись даже монологом, настолько ослабела в нем способность к действию, Мариус все же воспринимал впечатления внешнего мира. Он слышал, как позади него, где-то внизу, на обоих берегах речушки, прачки колотили белье вальками, а над головой, в ветвях вяза, пели и щебетали птицы. С одной стороны – шум свободы, счастливой беззаботности, крылатого досуга; с другой – шум работы. Эти-то веселые звуки и навевали на него глубокую задумчивость, почти переходившую в размышления.

Отдавшись этому восторженно-угнетенному состоянию, он вдруг услышал знакомый голос: – А вот и он!

Он поднял голову и узнал ту несчастную девочку, которая пришла к нему однажды утром, – старшую дочь Тенардье, Эпонину: теперь ему было известно ее имя. Странно, на вид она еще больше обнищала, но похорошела – перемена, на которую она отнюдь не казалась прежде

способной. Она осуществила двойной прогресс: на пути к свету и к нужде. Она была босая и в лохмотьях, как в тот день, когда столь решительно вошла в его комнату, только теперь ее лохмотья были на два месяца старше: дыры стали шире, рубище еще омерзительнее. У нее был тот же хриплый голос, тот же поблекший и сморщенный от загара лоб, тот же бойкий, блуждающий и неуверенный взгляд. На ее физиономии еще сильнее, чем прежде, проступало то неопределенное испуганное и жалкое выражение, которое придает нищете знакомство с тюрьмой.

В волосах у нее запутались стебельки соломы и сена, но по иной причине, чем у Офелии: она не заразилась безумием от безумного Гамлета, а просто переночевала где-нибудь на сеновале.

И несмотря на все это, она была хороша. О юность, какая звезда сияет в тебе!

Она остановилась перед Мариусом, на бледном ее лице появился слабый проблеск радости и что-то напоминавшее улыбку.

Некоторое время она молчала, словно не в силах была говорить.

– Все-таки я вас нашла! – сказала она наконец. – Дедушка Мабеф правильно сказал про этот бульвар! Как я вас искала, если бы вы знали! Я была под арестом. Знаете? Две недели! Меня выпустили! Потому что никаких улик не было, да и к тому же по возрасту я не отвечаю. Мне не хватает двух месяцев. Сколько я вас искала! Целых шесть недель. Значит, теперь вы там не живете?

– Нет, – ответил Мариус.

– А! Понимаю. Из-за того дела? До чего неприятны эти полицейские налеты. Вы, значит, переехали? Послушайте, почему вы носите такую старую шляпу? Молодой человек, такой, как вы, должен хорошо одеваться. Знаете, господин Мариус, дедушка Мабеф называет вас бароном Мариусом, а дальше – не упомяну как. Но ведь вы не барон? Бароны – они старые, они гуляют в Люксембургском саду, перед дворцом, где много солнышка, они читают «Ежедневник», по су за номер. Мне один раз пришлось отнести письмо к такому вот барону. Ему было больше ста лет. Ну, скажите, где вы живете теперь?

Мариус не отвечал.

– Ах, – продолжала она, – у вас рубашка порвалась! Я вам зашью.

Она прибавила с печальным выражением:

– Вы как будто не рады меня видеть?

Мариус молчал; она тоже помолчала минутку, потом вскричала:

– А все-таки если я захочу, то вы будете очень рады!

– Как? – спросил Мариус. – Что вы этим хотите сказать?

– Ах, вы прежде говорили мне «ты»! – заметила она.

– Ну хорошо, что же ты хочешь сказать?

Она закусила губу; казалось, она колеблется, словно борясь с собой. Наконец, по-видимому, решилась.

– Тем хуже, но все равно. Вы грустите, а я хочу, чтобы вы радовались. Обещайте только, что засмеетесь. Я хочу увидеть, как вы засмеетесь и скажете: «А, вот это хорошо!» Бедный господин Мариус! Помните, вы сказали, что дадите мне все, что я захочу...

– Да, да! Говори же!

Она посмотрела Мариусу прямо в глаза и сказала:

– Я знаю адрес.

Мариус побледнел. Вся кровь хлынула ему к сердцу.

– Какой адрес?

– Адрес, который вы у меня просили!

И прибавила как бы с усилием:

– Адрес... Ну, вы ведь сами знаете...

– Да, – пролепетал Мариус.

– Той барышни!

Произнеся это слово, она глубоко вздохнула.

Мариус вскочил с парапета, на котором он сидел, и вне себя схватил ее за руку.

– О! Так проводи меня! Скажи! Проси у меня чего хочешь! Где это?

– Пойдемте со мной, – ответила она. – Я не знаю точно номера и улицы. Это совсем в другой стороне, но я хорошо помню дом, я вас провожу.

Она высвободила свою руку и сказала тоном, который глубоко тронул бы даже постороннего человека, но не опьяненного, охваченного восторгом Мариуса:

– О, как вы рады!

Лицо Мариуса омрачилось. Он схватил Эпонию за руку.

– Поклянись мне в одном!

– Поклясться? Что это значит? Ах! Вы хотите, чтобы я поклялась вам?

И она засмеялась.

– Твой отец!.. Обещай мне, Эпонина! Поклянись, что ты не скажешь этого адреса отцу!

Она обернулась к нему, ошеломленная.

– Эпонина! Откуда вы знаете, что меня зовут Эпонина?

– Обещай мне сделать то, о чем я тебя прошу!

Но она, казалось, не слышала.

– Как это мило! Вы называли меня Эпониной!

Мариус взял ее за обе руки.

– Но ответь же мне! Ради бога! Слушай внимательно, что я тебе говорю, поклянись мне, что ты не скажешь этого адреса твоему отцу!

– Моему отцу? – переспросила она. – Ах, да, моему отцу! Будьте спокойны. Он в одиночке. Очень он мне нужен, отец!

– Да, но ты мне не обещаешь! – вскричал Мариус.

– Ну, пустите же меня! – рассмеявшись, сказала она. – Как вы меня трясете! Хорошо! Хорошо! Я обещаю! Клянусь! Мне это ничего не стоит! Я не скажу адреса отцу. Ну, идет? В этом все дело?

– И никому?

– Никому.

– А теперь, – сказал Мариус, – проводи меня.

– Сейчас?

– Сейчас.

– Идем. О, как он рад! – вздохнула она.

Сделав несколько шагов, она остановилась.

– Вы идете почти рядом со мной, господин Мариус. Пустите меня вперед и идите позади, как будто вы сами по себе. Нехорошо, когда видят такого приличного молодого человека, как вы, с такой женщиной, как я.

Никакой язык не мог бы выразить того, что было заключено в слове «женщина», произнесенном этой девочкой.

Пройдя шагов десять, она снова остановилась. Мариус ее нагнал. Не оборачиваясь к нему и как бы в сторону, она проговорила:

– Кстати, вы ведь обещали мне кое-что?

Мариус порылся у себя в кармане. У него было всего-навсего пять франков,

предназначенных для Тенардые. Он вынул их и сунул в руку Эпонине.

Она разжала пальцы, уронила монету на землю и, мрачно глядя на него, сказала:

– Не нужны мне ваши деньги.

Книга третья

Дом на улице Плюме

Глава 1

Таинственный дом

В середине прошлого столетия председатель парижской судебной палаты, у которого была тайная любовница, – в ту эпоху знатные господа выставляли своих любовниц напоказ, а буржуа их прятали, – построил «загородный домик» в предместье Сен-Жермен, на пустынной улице Бломе, ныне именуемой Плюме, недалеко от того места, что некогда называлось «Бой зверей».

Этот дом представлял собой двухэтажный особняк: две залы в первом этаже, две комнаты во втором, внизу кухня, наверху будуар, под крышей чердак, перед домом сад с широкой решеткой, выходящей на улицу. Сад занимал почти арпан, – только его и могли разглядеть прохожие. Но за особняком был еще узенький дворик, а в его глубине – низкий флигель из двух комнат, с погребом, словно приготовленный на тот случай, если придется скрывать ребенка и кормилицу. Из флигеля, через потайную калитку позади него, можно было выйти в длинный, узкий коридор, вымощенный, но без свода, и извивавшийся между двух высоких стен. Скрытый с замечательным искусством и как бы затерявшийся между оградами садов и огородов, все углы и повороты которых он повторял, этот проход вел к другой потайной калитке, открывавшейся в четверти мили от сада, почти в другом квартале, в пустынном конце Вавилонской улицы.

Господин председатель пользовался именно этим входом, так что даже если бы кто-нибудь следил за ним неотступно и установил его ежедневные таинственные отлучки, то не мог бы догадаться, что идти на Вавилонскую улицу – значит отправиться на улицу Бломе. Благодаря ловко прикупленным земельным участкам изобретательный судья смог проложить потайной ход у себя, на своей собственной земле, и, стало быть, не опасаясь никакого надзора. Позднее он распродал небольшими участками, под сады и огороды, землю по обе стороны этого коридора, и собственники участков полагали, что перед ними просто пограничная стена, не подозревая даже о существовании длинной вымощенной тропинки, змеившейся между двух заборов, среди их гряд и фруктовых садов. Только одни птицы видели эту любопытную штуку. Возможно, малиновки и синички прошлого столетия немало посплетничали насчет господина председателя.

Каменный особняк, построенный во вкусе Мансара, отделанный и обставленный во вкусе Ватто – рокайль внутри, рококо снаружи, – окруженный тройной цветущей изгородью, производил впечатление какой-то скрытности, кокетливости и важности, как и подобает капризу любви и судебного ведомства.

Этот дом и проход, исчезнувшие теперь, еще были на месте пятнадцать лет тому назад. В 93-м году некий медник купил дом на слом, но так как он не мог уплатить всей суммы в срок, его объявили несостоятельным. Таким образом, дом, предназначенный на слом, сломил медника. С тех пор дом оставался необитаемым и постепенно ветшал, как всякое здание, которому присутствие человека не сообщает больше жизни. Он сохранил всю свою старую меблировку и снова продавался или сдавался внаймы; выцветшее и малоразборчивое объявление, висевшее на решетке сада с 1810 года, извещало об этом тех десять или двенадцать горожан, которые в течение года проходили по улице Плюме.

К концу Реставрации те же прохожие могли заметить, что объявление исчезло и даже открылись ставни первого этажа. Дом и в самом деле был занят. Окна его украсились занавесочками – признак того, что там жила женщина.

В октябре 1829 года явился человек солидного возраста и снял усадьбу целиком, включая, разумеется, и задний флигель, и внутренний проход, кончавшийся на Вавилонской улице. Он велел привести в прежний вид два потайных выхода этого коридора. В доме, как мы упоминали, сохранилась почти вся старая обстановка господина председателя; новый жилец приказал кое-что обновить, прибавил там и сям то, чего не хватало, перемостил кое-где двор, восстановил выпавшие из стен кирпичи, ступеньки на лестнице, бруски в паркете, стекла в окнах и, наконец, вместе с молодой девушкой и старой служанкой незаметно переехал туда, словно проскользнув, а не открыто вступив хозяином в свой дом. Соседи не болтали об этом по той причине, что соседей не было.

Этот скромный жилец был Жан Вальжан, молодая девушка – Козетта. Служанка, по имени Тусен, которую Жан Вальжан спас от больницы и нищеты, была старая дева, провинциалка и заика – три качества, повлиявшие на решение Жана Вальжана взять ее с собой. Он снял дом на имя г-на Фошлевана, рантье. На основании всего того, что было рассказано раньше, читатель, без сомнения, еще быстрее признал Жана Вальжана, чем это удалось сделать Тенардьё.

Почему Жан Вальжан покинул монастырь Малый Пикпюс? Что с ним случилось?

Ничего не случилось.

Как читатель помнит, Жан Вальжан был счастлив в монастыре, так счастлив, что в нем в конце концов заговорила совесть. Он видел Козетту каждый день, он ощущал, как растет и крепнет в нем отцовское чувство, он нежно лелеял этого ребенка, он говорил себе, что она принадлежит ему, что никто ее не отнимет и так будет длиться бесконечно, что она, наверно, сделается монахиней, ибо ее каждый день к этому мягко понуждали, что монастырь, таким образом, станет для нее, как и для него, вселенной, что он там состарится, а она вырастет, потом и она состарится, а он умрет, что – о восхитительная надежда! – они никогда не разлучатся. Размышляя об этом, он впал в сомнение. Он подверг себя допросу. Он спрашивал себя, имеет ли он право на все это счастье, не создано ли оно из чужого счастья, из присвоенного и утаенного им, стариком, счастья этого ребенка? Не было ли это кражей? Он говорил себе, что это дитя имело право узнать жизнь, прежде чем отказаться от нее; что отнять у ребенка заранее, и как бы помимо его согласия, все радости под предлогом спасения от всех испытаний, воспользоваться его неведением и одиночеством, чтобы искусственно взрастить в нем жизненное призвание, – значит изуродовать человеческое существо и солгать богу. И, кто знает, не возненавидит ли его когда-нибудь Козетта, отдав себе отчет во всем этом и сожалея о своем монашестве? Последняя мысль, менее самоотверженная, чем другие, почти эгоистическая, была для него невыносима. Он решил покинуть монастырь.

Он решился на это с отчаяньем, признав, что должен так поступить. Что касается препятствий, то их не было. Пять лет жизни, проведенных между этими четырьмя стенами со времени его исчезновения, должны были уничтожить или рассеять всякий страх. Он мог спокойно появиться среди людей. Он состарился, и все изменилось. Кто его узнает теперь? И кроме того, если предположить самое худшее, угроза опасности существовала только для него одного, и он не имел права присуждать Козетту к монастырю на том основании, что сам был присужден к каторге. Да и что такое опасность по сравнению с долгом? Наконец, ничто не мешает ему быть осмотрительным и принять меры предосторожности.

К этому времени воспитание Козетты было почти полностью закончено.

Остановившись на определенном решении, он стал ожидать случая, который не замедлил представиться. Умер старый Фошлеван.

Жан Вальжан испросил приема у достопочтенной настоятельницы и сказал ей, что, получив после смерти брата небольшое наследство, отныне позволяющее ему жить не работая, он оставляет службу в монастыре и берет с собою дочь; но так как было бы несправедливо,

чтобы девочка, не принявшая монашеского обета, бесплатно воспитывалась в обители, то он смиренно просит достопочтенную настоятельницу согласиться на возмещение в пять тысяч франков, которое он и предлагает иноческому общежитию за пять лет, проведенных Козеттой под его кровом.

Так Жан Вальжан покинул монастырь Неустанного поклонения.

Оставляя монастырь, он сам нес, не доверяя носильщику, небольшой чемодан, ключ от которого всегда имел при себе. Чемоданчик возбуждал любопытство Козетты, так как от него исходил запах бальзама.

Заметим тут же, что отныне он не расставался с этим чемоданом и всегда держал его в своей комнате. То была первая, а иногда и единственная вещь, которую он уносил во время своих переселений. Козетта смеялась над этим и называла чемодан *неразлучным*, добавляя: «Я ревную к нему».

Однако Жан Вальжан вновь вышел на волю не без глубокой тревоги.

Он снял дом на улице Плюме и укрылся там под именем Ультама Фошлевана.

В это же время он снял две другие квартиры в Париже, чтобы не слишком привлекать внимание, всегда проживая на одной улице, и иметь возможность, в случае необходимости, исчезнуть при малейшей тревоге, – словом, не быть захваченным врасплох, как в ту ночь, когда он таким чудесным образом спасся от Жавера. Эти два помещения были убогими и бедными с виду квартирками в двух кварталах, весьма отдаленных друг от друга, – одна на Западной улице, другая на улице Вооруженного человека.

Время от времени вместе с Козеттой, но без Тусен он отправлялся то на улицу Вооруженного человека, то на Западную улицу, чтобы провести там месяц, полтора. Он пользовался там услугами привратников и выдавал себя за живущего в предместье рантье, у которого было пристанище и в городе. Столь высокая добродетель имела три жилища в Париже, чтобы ускользнуть от полиции.

Глава 2

Жан Вальжан – национальный гвардеец

Впрочем, основным его жилищем был дом на улице Плюме, где он устроил свое существование следующим образом.

Козетта со служанкой занимала особняк; у нее была большая спальня с росписью в простенках, будуар с золоченым багетом на стенах, гостиная председателя с коврами и широкими креслами; Козетта была и хозяйкой сада. Жан Вальжан велел поставить в спальне Козетты кровать с балдахином из старинного трехцветного штофа и застелить пол старым прекрасным персидским ковром, купленным на улице Фигье-Сен-Поль у старухи Гоше; желая смягчить строгость великолепной старины, он подбавил к этим древностям легкую и изящную обстановку, подобающую молодой девушке: этажерку, книжный шкаф и книги с золотыми обрезками, письменные принадлежности, бювар, рабочий столик, инкрустированный перламутром, несессер золоченого серебра, туалетный прибор из японского фарфора. На окна во втором этаже были повешены длинные, подбитые красным узорчатым шелком занавеси того же трехцветного штофа, что и на постели. В первом этаже висели вышитые занавеси. Всю зиму маленький дом Козетты отапливался сверху донизу. Сам Жан Вальжан поселился во флигеле, расположенном на заднем дворе и напоминающем сторожку, где была складная кровать с тюфяком, некрашеный деревянный стол, два соломенных стула, фаянсовый кувшин для воды, несколько потрепанных книг на полке, а в углу – его драгоценный чемодан. Здесь никогда не топили. Он обедал с Козеттой, к столу ему подавали пеклеваемый хлеб. Когда Тусен

перебралась в дом, он ей сказал: «Здесь хозяйка – барышня». – «А вы, су-сударь?» – спросила озадаченная Тусен. «Я гораздо больше, чем хозяин: я – отец!»

В монастыре Козетта была подготовлена к ведению хозяйства и распоряжалась расходами, весьма, впрочем, скромными. Каждый день Жан Вальжан, взяв Козетту под руку, шел с нею на прогулку. Он водил ее в Люксембургский сад, в самую малолюдную аллею, а каждое воскресенье – к обедне, обычно в церковь Сен-Жак-дю-О-Па, именно потому, что она находилась далеко от их дома. Квартал этот был очень бедный, Жан Вальжан щедро раздавал там подавание, и в церкви вокруг него толпились нищие; последнее обстоятельство и послужило причиной послания Тенардьё, направленного «Господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па». Он охотно брал с собой Козетту навещать бедняков и больных. Чужие люди не допускались в особняк на улице Плюме. Тусен доставляла съестные припасы, а сам Жан Вальжан ходил за водой к водоразборному крану, оказавшемуся совсем близко, на бульваре. Для запасов дров и вина воспользовались подобием полуподземной, выложенной раковинами пещеры, по соседству с калиткой на Вавилонской улице и служившей когда-то гротом господину председателю: во времена «загородных домиков» и «приютов страсти нежной» не было любви без грота.

К калитке на Вавилонской улице был прибит ящик для писем и газет; но трое обитателей особняка на улице Плюме не получали ни писем, ни газет, и вся польза ящика, бывшего некогда посредником и наперсником любовных шалостей судейского любезника, теперь состояла лишь в передаче повесток сборщика налогов и извещений национальной гвардии, ибо господин Фошлеван, рантье, числился в национальной гвардии; он не мог проскользнуть через густую сеть учета 1831 года. Муниципальные списки, заведенные в эту эпоху, распространились и на монастырь Малый Пикпюс – на это своего рода непроницаемое и священное облако, выйдя из которого Жан Вальжан в глазах мэрии был особой почтенной и, следовательно, достойной вступить в ряды национальной гвардии.

Три или четыре раза в год Жан Вальжан надевал мундир и нес свою караульную службу, впрочем, весьма охотно; то было законное переодевание, которое связывало его со всеми другими людьми, оставляя в то же время обособленным. Жану Вальжану уже минуло шестьдесят лет – возраст законного освобождения от воинской службы; но ему нельзя было дать больше пятидесяти, к тому же он вовсе не хотел расставаться со званием старшего сержанта и беспокоить графа Лобо. У него не было общественного положения, он скрывал свое имя, скрывал свое подлинное лицо, скрывал свой возраст, скрывал вес и, как мы только что говорили, был национальным гвардейцем по доброй воле. Походиться на первого встречного, который выполняет свои обязанности перед государством, – в этом заключалось все его честолубие. Нравственным идеалом этого человека был ангел, но внешнею он стремился уподобиться буржуа.

Отметим, однако, одну особенность. Выходя из дома вместе с Козеттой, он одевался, как всегда, напоминая всем своим видом военного в отставке. Когда же он выходил один, а это бывало обычно вечером, то надевал куртку и штаны рабочего, а на голову картуз, скрывавший под козырьком его лицо. Что это было – предосторожность или скромность? И то и другое. Козетта привыкла к тому, что в жизни ее много загадочного, и едва замечала странности отца. Что касается Тусен, то она почитала Жана Вальжана и находила хорошим все, что он делал. Как-то раз мясник, повстречавший Жана Вальжана, сказал ей: «Это какой-то чужак». Она ответила: «Это святой».

Ни Жан Вальжан, ни Козетта, ни Тусен не уходили и не возвращались иначе, как через калитку на Вавилонской улице. Трудно было догадаться, что они живут на улице Плюме, – разве только увидев их сквозь решетку сада. Эта решетка всегда была заперта. Сад Жан Вальжан

оставил заброшенным, чтобы он не привлекал внимания.

Но в этом он, быть может, заблуждался.

Глава 3

Foliis ac frondibus^[123]

Сад, разраставшийся на свободе в продолжение полувека, стал чудесным и необыкновенным. Лет сорок тому назад прохожие останавливались на улице, засматриваясь на него и не подозревая о тайнах, которые он скрывал в своей свежей и зеленой чаще. Не один мечтатель в ту пору, и при этом не раз, пытался взором и мыслью дерзко проникнуть сквозь прутья старинной, шаткой, запертой на замок решетки, покривившейся меж двух позеленевших и замшелых столбов и причудливо увенчанной фронтоном с какими-то непонятными арабесками.

Там в уголке была каменная скамья, одна или две поросшие мхом статуи, несколько шпалер, сорванных временем и догнивавших на стене; от аллей и газонов не осталось следа; куда ни взглянешь, всюду пырей. Садовник удалился отсюда, и вновь вернулась природа. Сорные травы разрослись в изобилии, это было удивительной удачей для такого жалкого клочка земли. Там роскошно цвели левкой. Ничто в этом саду не препятствовало священному порыву сущего к жизни; там было царство окруженного почетом произрастания. Деревья нагибались к терновнику, терновник тянулся к деревьям, растение карабкалось вверх, ветка склонялась долу, то, что расстилается по земле, встречалось с тем, что расцветает в воздухе, то, что колеблет ветер, влеклось к тому, что прозябает во мху; стволы, ветки, листья, жилки, пучки, усики, побеги, колючки – все это смешалось, перепуталось, переженилось, слилось; растительность в проникновенном и тесном объятии славилась и свершала там, под благосклонным взором творца, на замкнутом клочке земли в триста квадратных футов, свое святое таинство братства – символ братства человеческого. Этот сад уже не был садом – он превратился в гигантский кустарник, то есть в нечто непроницаемое, как лес, населенное, как город, пугливое, как гнездо, мрачное, как собор, благоухающее, как букет, уединенное, как могила, живое, как толпа.

В флореале эта огромная заросль, вольная за своей решеткой и в своих четырех стенах, страстно вступала в глухую работу вселенского размножения, содрогаясь на восходе солнца почти так же, как животное, которое вдыхает веяния космической любви и чувствует, как в его жилах разливаются и кипят апрельские соки; потрясая по ветру своей чудесной зеленой гривой, она сыпала на влажную землю, на потрескавшиеся статуи, на ветхое крыльцо особняка и даже на мостовую пустынной улицы звезды цветов, жемчуга рос, плодородие, красоту, жизнь, радость, благоухание. В полдень множество белых бабочек слеталось туда, и было упоительно смотреть, как хлопьями вихрился в тени этот живой летний снег. Там, в веселых зеленых сумерках, целый хор невинных голосов нежно сообщал что-то душе, и то, что забывал сказать птичий щебет, досказывало жужжание насекомых. Вечером словно испарения грез поднимались в саду и застилали его; он был окутан пеленой тумана, божественной и спокойной печалью; пьянящий запах жимолости и повилики наплывал отовсюду, словно изысканный и тончайший яд; слышались последние призывы поползней и трясогузок, засыпавших на ветвях; там чувствовалась священная близость дерева и птицы: днем крылья оживляли листву, ночью листва охраняла эти крылья.

Зимой заросль становилась черной, мокрой, взъерошенной, дрожащей от холода; сквозь нее виднелся дом. Вместо цветов на ветвях и капелек росы на цветах длинные серебристые следы улиток тянулись по холодному и толстому ковру желтых листьев; но каков бы ни был

этот обнесенный оградой уголок, каким бы ни казался в любое время года – весной, зимой, летом, осенью, – от него всегда веяло меланхолией, созерцанием, одиночеством, свободой, отсутствием человека, присутствием бога; и старая заржавевшая решетка, казалось, говорила: «Этот сад – мой».

Пусть тут же вокруг были улицы Парижа, в двух шагах – великолепные классические особняки улицы Варенн, совсем рядом – купол Дома инвалидов, недалеко – палата депутатов; пусть по соседству, на улицах Бургундской и Сен-Доминик, катили щегольские кареты, пусть желтые, белые, коричневые и красные omnibus проезжали на ближайшем перекрестке, – улица Плюме оставалась пустынной. Довольно было смерти старых владельцев, минувшей революции, крушения былых состояний, безвестности, забвения, сорока лет заброшенности и свободы, чтобы в этом аристократическом уголке обосновались папоротники, царские скипетры, цикута, дикая гречиха, высокие травы, крупные растения с широкими, словно из бледно-зеленого сукна, узорчатыми листьями, ящерицы, жуки, суетливые и быстрые насекомые; чтобы из глубины земли возникло и снова появилось среди этих четырех стен неведомое, дикое и нелюдимое величие и чтобы природа, расстраивающая жалкие ухищрения людей и всегда до конца проявляющаяся там, где она себя проявляет, будь это муравейник или орлиное гнездо, развернулась здесь, в убогом парижском садике, с такой же необузданностью и величием, как в девственном лесу Нового Света.

На самом деле в природе нет ничего незначительного; тот, кто наделен даром глубокого проникновения в нее, знает это. И хотя полное удовлетворение не дано философии, как не дано ей точно определять причины и указывать границы следствий, все же созерцатель приходит в бесконечный восторг при виде всего этого расчленения сил, кончающегося единством. Все работает для всего.

Алгебра приложима к облакам; излучение звезды приносит пользу розе; ни один мыслитель не осмелится сказать, что аромат боярышника бесполезен созвездиям. Кто может измерить путь молекулы? Кому ведомо, не вызвано ли создание миров падением песчинок? Кто знает о взаимопроникновении бесконечно великого и бесконечно малого, об отголосках первопричин в безднах отдельного существа и в лавинах творения? И клещ – явление значительное; малое велико, великое мало; все уравнивается необходимостью; видение, устрашающее разум! Между живыми существами и мертвой материей есть чудесная связь; в этом неисчерпаемом целом, от солнца до букашки, нет презрения друг к другу; одни нуждаются в других. Свет, уносящий в лазурь земные благоухания, знает, что делает; ночь оделяет звездной эссенцией заснувшие цветы. Каждая летящая птица держит в когтях нить бесконечности. Животворящее начало усложняется – от образования метеора и до удара клювом, которым птенец ласточки, выходя из яйца, разбивает скорлупу; оно приводит равно к созданию дождевого червя и к появлению Сократа. Там, где кончается телескоп, начинается микроскоп. У кого из них поле зрения более велико? Выбирайте. Плесень – это плеяда цветов; туманность – муравейник звезд. Та же тесная близость, и еще более удивительная, между явлениями разума и состояниями материи. Стихии и законы бытия смешиваются, сочетаются, вступают в брак, размножаются одни через других – и в конечном счете приводят мир материальный и мир духовный к одной и той же ясности. Явления природы беспрерывно повторяют себя. В широких космических взаимных перемещениях жизнь вселенной движется вперед и назад в неведомых объемах, вращая все в невидимой мистерии возникновения, пользуясь всем, не теряя даже грез, даже сновидения, – здесь зарождающая инфузорию, там дробя на части звезду, колеблясь и извиваясь, творя из света силу, а из мысли стихию, рассеянная повсюду и неделимая, растворяя все, за исключением одной геометрической точки, называемой «я»; сводя все к душе – атому; раскрывая все в боге; смешивая все деятельные начала, от самых

возвышенных до самых низменных, во мраке этого головокружительного механизма, связывая полет насекомого с движением земли, подчиняя – кто знает? быть может, лишь по тождеству закона – передвижение кометы на небесном своде кружению инфузории в капле воды. Это механизм, созданный разумом. Гигантская система зубчатых колес, первый двигатель которой – мошка, а последнее колесо – зодиак.

Глава 4

После одной решетки другая

Казалось, этот сад, созданный некогда для того, чтобы скрывать тайны волокитства, преобразился и стал достойным укрывать тайны целомудрия. В нем не было больше ни беседок, ни лужаек, ни темных аллей, ни гротов; здесь воцарился великолепный сумрак, который, сгущаясь то здесь, то там, ниспадал наподобие вуали отовсюду. Пафос вновь превратился в Эдем. Словно чье-то покаяние очистило этот укромный уголок. Эта цветочница предлагала теперь свои цветы душе. Кокетливый садик, имевший в свое время весьма подозрительную репутацию, снова стал девственным и стыдливым. Председатель, с помощью некоего садовника, – один из этих чудаков вообразил себя преемником Ламуаньона, а другой – продолжателем искусства Ленотра, – исковеркал его, обкромсал, прилизал, выфрантил, приспособил для галантных походов; природа снова завладела им, наполнила тенью и приуголовила для любви.

Теперь в этом уединенном уголке очутилось и сердце, готовое любить. Осталось лишь появиться любви; для нее здесь был храм из зелени, трав, мха, птичьих стонов, мягких сумерек, колеблющихся ветвей, и была душа, созданная из нежности, веры, чистоты, надежды, порывов и иллюзий.

Козетта вышла из монастыря почти ребенком; ей едва исполнилось четырнадцать лет, и она вступила в «неблагодарный возраст»; как мы уже упоминали, если не говорить о глазах, она выглядела скорее дурнушкой, чем красивой; в ней не было, впрочем, ничего неприятного, но она казалась нескладной и худой, робкой и смелой одновременно, – словом, это был подросток.

Ее воспитание считалось законченным, то есть ей преподали закон божий и в особенности благочестие; затем «историю», то есть то, что под этим названием подразумевают в монастыре, географию, грамматику, спряжения, имена французских королей, немного музыки, научили рисовать профили и т. д., но, в общем, она не знала ничего, а в этом таится и очарование, и опасность. Душу молодой девушки не следует оставлять в потемках, – впоследствии в ней возникают миражи, слишком резкие, слишком яркие, как в темной комнате. Рассеять в ней тьму должно мягко и исподволь, скорее отблеском действительности, нежели ее прямым и жестким лучом. Этот полусвет, полезный и привлекательно строгий, разгоняет ребяческие страхи и препятствует падениям. Только материнский инстинкт – это изумительное прирожденное чувство, с которым слиты девические воспоминания и женская опытность, – знает, как, каким образом должно создавать такой полусвет. Ничто не может заменить этот инстинкт. Когда дело идет о воспитании души молодой девушки, все монахини на свете не стоят одной матери.

У Козетты не было матери. Были только матери-монахини, всего лишь множественное число от слова «мать».

Что же касается Жана Вальжана, то, хотя в нем воплощались все нежные отцовские чувства и заботливость, он был не более как старик, ничего в этом не понимавший.

Действительно, в подвиге воспитания, в этом важном деле подготовки женщины к жизни, сколько нужно знаний, чтобы бороться с тем великим неведением, которое именуется невинностью!

Ничто так не предрасполагает молодую девушку к страстям, как монастырь. Монастырь обращает мысль в сторону неизвестного. Сердце, сосредоточившееся на самом себе, страдает, потеряв возможность излиться, и замыкается, потеряв возможность расцвести. Отсюда видения, предположения, догадки, придуманные романы, жажда приключений, фантастические волшебные замки, целиком созданные во внутренней тьме разума, – сумрачные и тайные жилища, где страсти находят себе пристанище, как только оставленная позади монастырская решетка открывает им туда доступ. Монастырь – это гнет, который, чтобы восторжествовать над человеческим сердцем, должен длиться всю жизнь.

Покинув монастырь, Козетта не могла найти ничего более приятного и опасного, чем дом на улице Плюме. Это было продолжение одиночества, но и начало свободы; замкнутый сад, но яркая, богатая, сладострастная и благоуханная природа; те же сны, что и в монастыре, но и мельком увиденные молодые люди; решетка, но на улицу.

Однако, повторяем, прибыв сюда, она была еще только ребенком. Жан Вальжан предоставил ей этот запущенный сад. «Делай здесь все, что хочешь», – сказал он ей. Это забавляло Козетту; она обшарила кусты, перевернула камни, она искала там «зверушек»; она там играла, пока не пришла пора мечтать; она любила этот сад ради тех насекомых, которых находила у себя под ногами в траве, пока не пришла пора любить его ради тех звезд, которые она увидит сквозь ветви над своей головой.

И потом она любила своего отца, то есть Жана Вальжана, всею своей душой, с наивной дочерней страстью и видела в старике желанного и приятного товарища. Как помнит читатель, г-н Мадлен много читал; Жан Вальжан продолжал чтение и стал хорошим рассказчиком; он обладал скрытым богатством и красноречием подлинного пытливого и смиренного ума. В нем осталось ровно столько жесткости, сколько требовалось, чтобы оттенить его доброту; то был суровый ум и нежное сердце. В Люксембургском саду, в беседах с глазу на глаз, он давал пространные объяснения всему, черпая их из того, что читал, и из того, что пережил. Козетта слушала с мечтательным блуждающим взглядом.

Этот простой человек удовлетворял мысль Козетты так же, как этот дикий сад – ее глаза. Устав гоняться за бабочками, она, запыхавшись, прибегала к нему и восклицала: «Ах, как я набегалась!» Он целовал ее в лоб.

Козетта обожала доброго старика. Она всегда ходила за ним по пятам. Ей было хорошо всюду, где был Жан Вальжан. Так как он не жил ни в саду, ни в особняке, то и она предпочитала задний мощеный дворик своему уголку, заросшему цветами, и маленькую каморку с соломенными стульями – большой гостиной, обтянутой коврами обоями, где у стен стояли мягкие кресла. Иногда Жан Вальжан, счастливый тем, что ему докучают, говорил улыбаясь: «Ну, поди же к себе! Дай мне побыть одному».

Козетта ему отвечала очаровательной нежной воркотней, которая приобретает особенную прелесть в устах дочери, обращающейся к отцу:

- Отец, мне очень холодно у вас, почему вы не положите здесь ковер и не поставите печку?
- Дорогое дитя, на свете столько людей, лучших, чем я, а у них нет даже крыши над головой.
- Почему же в таком случае у меня тепло и есть все, что нужно?
- Потому что ты женщина и ребенок.
- Вот еще! Значит, мужчины должны мерзнуть и плохо жить?
- Некоторые мужчины.
- Очень хорошо, я буду так часто приходить сюда, что вам волей-неволей придется топить. Потом она ему говорила:
- Отец, почему вы едите такой гадкий хлеб?

– Потому... дочь моя.

– Ах так? Ну и я буду есть такой же.

Тогда, чтобы Козетта не ела черного хлеба, Жан Вальжан принимался есть белый.

Козетта очень смутно помнила детство. Утром и вечером она молилась за свою мать, которой не знала. Тенардые остались у нее в памяти, как два отвратительных существа из какого-то страшного сна. Она припоминала, что «в один прекрасный день, ночью» ходила в лес за водой. Она думала, что это было далеко-далеко от Парижа. Ей казалось, что жизнь ее началась в пропасти и что Жан Вальжан извлек ее оттуда. Собственное детство представлялось ей временем, когда вокруг себя она видела лишь сороконожек, пауков и змей. Так как у нее не было твердой уверенности в том, что она дочь Жана Вальжана и что он ее отец, то, мечтая по вечерам перед сном, она воображала, что душа ее матери переселилась в этого доброго старика и живет рядом с ней.

Когда он сидел возле нее, она прижималась щекой к его седым волосам и молчаливо роняла слезу, думая: «Быть может, это моя мать!»

Материнство – понятие совершенно непостижимое для девственности, и Козетта, как это ни странно звучит, в глубоком неведении девочки в конце концов вообразила, что у нее «почти совсем» не было матери. Она даже не знала ее имени. Всякий раз, когда ей случалось спросить об этом Жана Вальжана, тот молчал. Если она повторяла вопрос, он отвечал улыбкой. Однажды она была слишком настойчивой, тогда его улыбка сменилась слезой.

Молчание Жана Вальжана покрывало непроницаемым мраком Фантину.

Сказывалась ли в этом его осторожность? Или уважение? Или боязнь предать ее имя на волю случая, доверив его чужой памяти?

Пока Козетта была мала, Жан Вальжан охотно говорил ей о матери, но, когда она превратилась в молодую девушку, это стало для него невозможным. Ему казалось, что он больше не имеет на то права. Была ли тому причиной Козетта или Фантина, но он испытывал какой-то священный ужас при мысли, что поселит эту тень в сердце Козетты и сделает усопшую третьей участницей их судьбы. Чем более священной становилась для него эта тень, тем более грозной казалась она ему. Он думал о Фантине и чувствовал всю тяжесть молчания. Неясно различал он во мраке что-то, походившее на приложенный к устам палец. Быть может, целомудрие Фантины, которого она была насильственно лишена при жизни, вернулось после ее смерти и, негодующее и угрожающее, распростерлось над ней, чтобы бодрствовать над усопшей и охранять ее покой в могиле. Не испытывал ли Жан Вальжан, сам того не ведая, его воздействия? Мы, веруя в смерть, не принадлежим к числу тех, кто мог бы отклонить это мистическое объяснение. Потому-то он и не мог произнести имя Фантины даже перед Козеттой.

Как-то Козетта сказала ему:

– Отец, сегодня я видела маму во сне. У нее было два больших крыла. Наверно, моя мать при жизни удостоилась святости.

– Да, мученичеством, – ответил Жан Вальжан.

Тем не менее Жан Вальжан был счастлив.

Выходя с ним, Козетта опиралась на его руку, гордая и счастливая до глубины души. При всяком проявлении ее нежности, столь необыкновенной и сосредоточенной лишь на нем одном, Жан Вальжан чувствовал, что душа его тонет в блаженстве. Бедняга трепетал, проникнутый небесной радостью; он восторженно твердил себе, что так будет длиться всю жизнь; он говорил в душе, что, право, недостаточно страдал, чтобы заслужить такое лучезарное счастье, и в глубине души благодарил господу, позволившего, чтобы он, отверженный, был столь любим этим невинным существом.

Однажды Козетта случайно взглянула на себя в зеркало и изумилась. Ей почти показалось, что она хорошенькая. Она почувствовала какое-то странное волнение. До сих пор она совсем не думала о своей внешности. Она смотрелась в зеркало, но не видела себя. И кроме того, ей часто говорили, что она некрасива; только один Жан Вальжан мягко повторял: «Да нет же, нет!» Как бы там ни было, Козетта всегда считала себя дурнушкой и выросла с этой мыслью, легко, по-детски, свыкнувшись с нею. Но вот зеркало сразу сказала ей, как и Жан Вальжан: «Да нет же!» Она не спала всю ночь. «А если и вправду я хороша? – думала она. – Как это было бы забавно, если бы оказалось, что я хороша собой!» И она вспоминала своих блиставших красотой монастырских подруг и повторяла про себя: «Неужели я буду как мадемуазель такая-то!»

На следующий день она уже нарочно посмотрела на себя в зеркало и успокоилась. «Что за вздор пришел мне в голову? – подумала она. – Нет, я дурнушка». Она просто-напросто плохо спала, была бледна, с синевой под глазами. Она не очень обрадовалась накануне, поверив в свою красоту, но теперь была огорчена, разуверившись в ней. Больше она не смотрелась в зеркало и в течение двух недель старалась причесываться, повернувшись к нему спиной.

Вечером, после обеда, она обычно занималась в гостиной вышиванием по канве или какой-нибудь другой работой, которой научилась в монастыре; Жан Вальжан читал, сидя возле нее. Однажды она подняла голову, и ее очень удивило выражение беспокойства, которое она уловила в устремленном на нее взоре отца.

В другой раз, проходя по улице, она услышала, как кто-то позади сказал: «Красивая женщина! Но плохо одета». «Ну, – подумала она, – это не про меня. Я хорошо одета и некрасива». Она была в плюшевой шапочке и в старом мериновом платье.

Наконец, однажды днем, когда она была в саду, она услышала, как старая Тусен сказала: «А вы замечаете, сударь, что наша барышня хорошеет?» Козетта не слышала, что ответил ее отец, слова Тусен были для нее каким-то откровением. Она убежала из сада, поднялась в свою комнату, бросилась к зеркалу – уже три месяца, как она не смотрелась в него, – и вскрикнула. Она была ослеплена собой.

Она была хороша, она была прекрасна; она не могла не согласиться с Тусен и своим зеркалом. Ее стан сформировался, кожа побелела, волосы стали блестящими, какое-то неведомое сияние зажглось в голубых глазах. Сознание своей красоты пришло к ней мгновенно, как ярко вспыхнувший свет; но и другие заметили, что она хороша, и Тусен сказала об этом, и прохожий, по-видимому, говорил о ней, – сомнений больше не оставалось. Растерянная, ликующая, полная невыразимого восхищения, она вернулась в сад, чувствуя себя королевой, и хотя стояла зима, она слышала пение птиц, видела золотое небо, солнце, светившее сквозь ветви, цветы на кустах.

А Жан Вальжан испытывал глубокую и неизъяснимую сердечную тревогу.

Действительно, с некоторых пор он с ужасом глядел на эту красоту, которая с каждым днем все ярче расцветала на нежном личике Козетты. Возшла заря, пленительная для всех, зловещая для него.

Козетта была хороша задолго до того, как заметила это. Но омраченный взор Жана Вальжана с первого же дня был ранен медленно разгоравшимся и постепенно заливавшим молодую девушку неожиданным светом. Он почувствовал это как перемену в своей счастливой жизни, столь счастливой, что он не осмеливался шевельнуться из опасения нарушить в ней что-либо. Этот человек, прошедший через все несчастья, человек, чьи раны, нанесенные ему

судьбой, до сих пор кровоточили, бывший почти злодеем и ставший почти святым, влачивший после цепей каторжника невидимую, но тяжелую цепь скрытого бесчестия, человек, которого закон еще не освободил и который мог быть каждую минуту схвачен и выведен из темницы своей добродетели на яркий свет общественного позора, – этот человек принимал все, прощал все, оправдывал все, благословлял все, соглашался на все и молил у провидения, у людей, у законов, у общества, у природы, у вселенной только одного: любви Козетты!

Только бы Козетта продолжала его любить! Только бы господь не мешал сердцу этого ребенка стремиться к нему и принадлежать ему всегда! Любовь Козетты его исцелила, успокоила, умиротворила, удовлетворила, вознаградила, вознесла. Любимый Козеттой, он был счастлив! Он не просил большего. Если бы его спросили: «Хочешь быть счастливее?» – он бы ответил: «Нет». Если бы бог его спросил: «Хочешь райского блаженства?» – он бы отвечал: «Я прогадал бы на этом».

Все, что могло нарушить их жизнь, хотя бы даже слегка, заставляло его трепетать от ужаса, как начало перемены. Он не слишком понимал, что такое женская красота, но инстинкт говорил ему, что это нечто страшное.

Ошеломленный, глядел он из глубины своего несчастья, отверженности, угнетенности, безобразия и старости на эту красоту, расцветающую подле него, перед ним все торжественнее и величавее, на невинном, но таящем угрозу челе ребенка.

Он говорил себе: «Как она прекрасна! Что же теперь станет со мной?»

В этом и сказывалось различие между его нежностью и нежностью матери. То, что внушало ему душевную тревогу, для матери было бы радостью.

Первые признаки наступившей перемены не замедлили обнаружиться.

На следующий же день после того, как Козетта воскликнула: «Конечно, я хороша!» – она обратила внимание на свои наряды. Она вспомнила слова прохожего: «Красива, но плохо одета»; это пророческое дуновение, пронесшееся возле нее и исчезнувшее, успело заронить в ее сердце одно из двух зерен, которые позже, развившись, заполняют всю жизнь женщины, – зерно кокетства. Второе зерно – любовь.

Как только она поверила в свою красоту, в ней раскрылась вся ее женская сущность. Она почувствовала отвращение к мериносовому платью и плюшевой шляпке. Отец никогда и ни в чем ей не отказывал. Она сразу овладела искусством одеваться, тайной шляпки, платья, накидки, ботинок, манжеток, материи и цвета к лицу – тем искусством, которое делает парижанку столь очаровательной, столь загадочной и столь опасной. Выражение «пленительная женщина» было придумано для парижанки.

Не прошло и месяца, как маленькая Козетта стала в этой пустыне, именуемой Вавилонской улицей, не только одной из самых красивых женщин Парижа, – а это немало, но и одной из самых «хорошо одетых», – что гораздо больше. Ей хотелось бы встретить «того прохожего», чтобы услышать его мнение теперь и чтобы «проучить его»! Действительно, она была прелестна и превосходно отличала шляпку Жерара от шляпки Эрбо.

Жан Вальжан с тревогой смотрел на эти разорительные новшества. Он, которому дано было только ползать, самое большее – ходить, видел, как у Козетты вырастают крылья.

Но все же любая женщина, взглянув на туалет Козетты, сразу поняла бы, что у нее нет матери. Некоторые незначительные правила приличия, некоторые условности не были ею соблюдены. Например, мать сказала бы ей, что молодые девушки не носят платья из тяжелого шелка.

Выйдя из дому в первый раз в своем черном шелковом платье и накидке, в белой креповой шляпке, веселая, сияющая, розовая, гордая, блестящая, она, взяв под руку Жана Вальжана, спросила: «Ну, как вы меня находите, отец?» Жан Вальжан ответил тоном, в котором словно

сквозила горькая нотка зависти: «Восхитительной!» На прогулке он держался как обычно. Вернувшись, он спросил Козетту:

– Разве ты никогда больше не наденешь свое платье и шляпку, те, прежние?

Это происходило в комнате Козетты. Козетта обернулась к платяному шкафу, где на вешалке висело ее разжалованное монастырское одеяние.

– Этот костюм для ряженого! – воскликнула она. – На что он мне? О нет, я никогда не надену эти ужасные вещи! С этой штукой на голове я похожа на чучело!

Жан Вальжан глубоко вздохнул.

С тех пор он стал замечать, что Козетта, которая раньше всегда просила его остаться дома и говорила: «Отец, мне приятнее побыть здесь с вами», – теперь всегда просила его пойти погулять. В самом деле, зачем нужны хорошенькое личико и восхитительный наряд, если не показывать их?

Он заметил также, что Козетта уже не так любила задний дворик, как прежде. Теперь она охотнее бывала в саду, не без удовольствия прогуливаясь перед решеткой.

Жан Вальжан, замкнувшись в себе, туда не показывался. Он не покидал своего заднего дворика, словно сторожевой пес.

Козетта, поняв, что она красива, утратила прелесть неведения; прелесть утонченную, потому что красота, сочетающаяся с простодушием, – невыразима, и нет ничего милее сияющей невинности, которая шествует, держа в руке, не зная того сама, ключи от рая. Но, потеряв прелесть наивности, она приобрела очарование задумчивости и серьезности. Вся проникнутая радостью юности, невинности, красоты, она дышала блистательной грустью.

Именно в это время Мариус, после шести месяцев перерыва, снова увидел ее в Люксембургском саду.

Глава 6

Битва начинается

Козетта в своем затишье, как и Мариус в своем, готова была встретить любовь. Судьба, с присущим ей роковым и таинственным терпением, медленно сближала эти два существа, словно заряженные электричеством и истомленные зарницами надвигающейся страсти; эти души, чреватые любовью, как облака – грозой, должны были столкнуться и слиться во взгляде, как сливаются облака во вспышке молнии.

В любовных романах так злоупотребляли силой взгляда, что в конце концов вовсе перестали ей верить. Теперь едва осмеливаешься говорить, что двое полюбили друг друга, потому что их взгляды встретились. И однако именно так начинают любить, и только так. Все остальное является лишь остальным и приходит позже. Нет ничего реальней этих глубочайших потрясений, которые вызывают друг в друге две души, обменявшись такой искрой.

В тот час, когда Козетта бессознательно бросила взгляд, взволновавший Мариуса, Мариус не подозревал, что и его взгляд взволновал Козетту.

Он причинил ей то же зло и то же благо.

Уже давно она заметила его и наблюдала за ним, как замечают и наблюдают девушки, хотя и глядят в другую сторону. Мариус еще считал Козетту дурнушкой, когда Козетта уже находила Мариуса красивым. Но он не обращал на нее внимания, и она оставалась равнодушной к молодому человеку.

Все же она не могла не признаться, что у него прекрасные волосы, прекрасные глаза и зубы, приятный голос, который она слышала, когда он разговаривал с товарищами, что у него, если угодно, неловкая походка, но в ней есть своеобразное изящество, что он вовсе не кажется

глупым, что весь его облик отмечен благородством, мягкостью, простотой и гордостью, что, наконец, пускай на вид он беден, но полон достоинства.

В тот день, когда их глаза неожиданно встретились и, наконец, сказали друг другу те темные и невыразимые слова, которые невнятно передает взгляд, Козетта сначала ничего не поняла. Задумчиво она вернулась в дом на Западной улице, куда, по своему обыкновению, перебрался на полтора месяца Жан Вальжан. На следующий день, проснувшись, она подумала об этом молодом незнакомце, который так долго был равнодушен и холоден, а теперь как будто обратил на нее внимание, однако ей показалось, что это внимание нисколько не льстит ей. Скорее она немного сердилась на красивого гордеца. Что-то воинственное шевельнулось в ней. Ей казалось, что она, наконец, отомстит за себя, и при мысли об этом Козетта испытывала какую-то еще почти ребяческую радость.

Сознавая себя красивой, она чувствовала, хотя и смутно, что обладает оружием. Женщины играют своей красотой, как дети ножом. Им случается самих себя поранить.

Читатель помнит колебания Мариуса, его трепет, его страхи. Он продолжал сидеть на своей скамье и не подходил к Козетте. Это вызывало в ней досаду. Однажды она сказала Жану Вальжану: «Пойдем, отец, погуляем по этой стороне». Видя, что Мариус не идет к ней, она направилась к нему. В таких случаях каждая женщина похожа на Магомета. И затем, как это ни странно, первый признак истинной любви у молодого человека – робость, у молодой девушки – смелость. Это удивительно, и, однако, нет ничего проще. Два пола, стремясь сблизиться, заимствуют недостающие им свойства друг у друга.

В этот день взгляд Козетты свел Мариуса с ума, взгляд Мариуса заставил затрепетать Козетту. Мариус ушел с надеждой в душе, Козетта с беспокойством. С этого дня они стали обожать друг друга.

Первое, что испытала Козетта, была смутная и глубокая грусть. Ей казалось, что за один день ее душа потемнела. Она больше не узнавала себя. Чистота девичьей души, слагающаяся из холодности и веселости, похожа на снег. Она тает под солнцем любви.

Козетта не знала, что такое любовь. Она никогда не слышала этого слова, произнесенного в земном его значении. В тетрадах светской музыки, попадавших в монастырь, слово «любовь» было заменено словами: «морковь» или «свекровь». Это порождало загадки, подстрекавшие воображение старших пансионеров, например: «Ах, как приятна морковь!» или: «Жалость – не свекровь». Но Козетта вышла из монастыря слишком юной, чтобы особенно интересоваться «свекровью». И она не знала, как назвать то, что испытывала теперь. Но разве в меньшей степени болен человек оттого, что не ведает названия своей болезни?

Она любила с тем большей страстью, что любила в неведении. Она не знала, хорошо это или плохо, полезно или опасно, благотворно или смертельно, вечно или преходяще, дозволено или запрещено; она любила. Она бы очень удивилась, если бы ей сказали: «Вы не спите? Но ведь это непозволительно! Вы перестали есть? Но это очень дурно! У вас тяжесть в груди и сердцебиение? Но это никуда не годится! Вы то краснеете, то бледнеете, когда известное лицо в черном костюме появляется в конце известной зеленой аллеи? Но ведь это ужасно!» Она не поняла бы и ответила: «Как же я могу быть виновата в том, в чем я не вольна и чего не понимаю?»

Случаю было угодно, чтобы посетившая ее любовь была именно той, которая лучше всего соответствовала ее душевному состоянию. То было своего рода обожание издали, безмолвное созерцание, обоготворение незнакомца. То было явление юности – другой такой же юности, ночная греза, превратившаяся в роман и оставшаяся грезой, желанное видение, наконец воплотившееся, но еще не имеющее ни имени, ни вины за собой, ни пятна, ни требований, ни недостатков, – словом, далекий возлюбленный, обитающий в идеальном мире, мечта,

принявшая четкий облик. Всякая встреча, более определенная и на более близком расстоянии, в это первое время вспугнула бы Козетту, еще наполовину погруженную в сумрак монастырской жизни, который преувеличивал опасности мирской жизни. Все детские и монашеские страхи перепутывались в ней. Монастырский дух, которым она прониклась за пять лет и которым до сих пор веяло от нее, показывал ей все окружающее в неверном свете. И сейчас ей нужен был не возлюбленный, даже не влюбленный – ей нужно было только видение. Она начала обожать Мариуса как нечто восхитительное, светозарное и недостижимое.

Крайнее простодушие граничит с крайним кокетством, поэтому она ему улыбалась без всякого стеснения.

Каждый день она нетерпеливо ожидала часа прогулки, встречала Мариуса, чувствовала себя невыразимо счастливой и думала, что вполне чистосердечно выражает все свои мысли, говоря Жану Вальжану: «Какая прелесть этот Люксембургский сад!»

Мариус и Козетта пребывали друг для друга во тьме. Они не разговаривали, не здоровались, они не были знакомы; они виделись, подобно небесным светилам, разделенным миллионами миль, и жили созерцанием друг друга.

Так, мало-помалу Козетта становилась женщиной, прекрасной и влюбленной, сознающей свою красоту и не ведающей о своей любви. Сверх всего – кокетливой по своей невинности.

Глава 7

За одной печалью печаль еще бо́льшая

При всех обстоятельствах в человеке бодрствует особый инстинкт. Старая и вечная мать-природа глухо предупреждала Жана Вальжана о присутствии Мариуса. И Жан Вальжан содрогался в самых темных глубинах своей души. Он ничего не видел, ничего не знал, но всматривался с настойчивым вниманием в окружавший его мрак, как будто чувствуя, что где-то рядом нечто создается, нечто разрушается. Мариус, так же предупрежденный той же матерью-природой, – и в этом мудрость божественного закона, – делал все возможное, чтобы «отец» девушки его не видел. Случалось, однако, что Жан Вальжан его иногда замечал. Поведение Мариуса было не совсем естественным. Его осторожность была подозрительной, а смелость неловкой. Он уж больше не подходил так близко, как раньше; он садился поодаль и словно погружался в экстаз; он приносил с собой книгу и притворялся, будто читает. Зачем он притворялся? Раньше он приходил в своем старом фраке, теперь же всегда в новом; нельзя было утверждать с уверенностью, что он не завивался, у него были какие-то странные глаза, он стал носить перчатки. Короче говоря, Жан Вальжан от всей души ненавидел этого молодого человека.

Козетта не давала никаких поводов для догадок. Не понимая в точности, что с ней происходит, она тем не менее чувствовала в себе нечто новое, что нужно скрывать.

Между желанием наряжаться, возникшим у Козетты, и обыкновением надевать новый фрак, появившимся у этого незнакомца, существовала какая-то взаимосвязь, мысль о которой была несносна для Жана Вальжана. Быть может, вполне вероятно, даже несомненно, то была случайность, но случайность опасная.

Он никогда не говорил ни слова Козетте об этом незнакомце. Все же как-то раз он не мог удержаться и, полный того смутного отчаяния, которое побуждает человека неожиданно погрузить зонд в собственную рану, сказал ей: «Как важничает этот молодой человек!»

Годом раньше Козетта с безразличием девочки ответила бы ему: «Вовсе нет, он очень милый». Десятью годами позже, с любовью к Мариусу в сердце, она бы сказала: «Вы правы, просто противно смотреть, как он важничает!» Но теперь, в этот период своей жизни и своей

любви, она ограничилась тем, что с невозмутимым спокойствием ответила:

– Кто? Ах, этот молодой человек! – словно она его увидела в первый раз в жизни.

«Как я глуп! – подумал Жан Вальжан. – Она его и не заметила. Я сам обратил ее внимание на него».

О, простота старцев! О, мудрость детей!

Таков уж закон этих ранних лет страданий и забот, этого жаркого поединка первой любви с первыми препятствиями: девушка не попадает ни в одну ловушку, юноша попадает в каждую. Жан Вальжан начал тайную борьбу с Мариусом, а Мариус в святом неразумии, свойственном его возрасту и его страсти, даже не догадывался об этом. Жан Вальжан строил ему множество козней: он менял часы прогулок, пересаживался на другую скамью, забывал там свой платок, приходил в сад один; Мариус опрометчиво попадался во все эти тенета и на все вопросительные знаки, расставленные Жаном Вальжаном на его пути, простодушно отвечал: «Да!» Однако Козетта была настолько замкнутой в своей кажущейся беззаботности и непроницаемом спокойствии, что Жан Вальжан пришел к следующему выводу: «Этот дурачина без памяти влюблен в Козетту, а она даже не подозревает о его существовании».

И все же сердце его мучительно сжималось. Мгновение, когда Козетта полюбит, могло наступить с минуты на минуту. Не начинается ли все с равнодушия?

Один раз Козетта допустила ошибку и испугала его. Когда, просидев три часа, он поднялся со скамьи, она воскликнула: «Уже?»

Жан Вальжан не прекратил прогулок в Люксембургском саду, не желая прибегать к исключительным мерам и особенно опасаясь возбудить подозрение Козетты; но во время этих, столь сладких для влюбленных часов, когда Козетта улыбалась Мариусу, а он, опьяненный этой улыбкой, только и видел обожаемое лучезарное лицо, Жан Вальжан не сводил с него сверкающих страшных глаз. Он более не считал себя способным к какому-либо недоброму чувству, однако порой, при виде Мариуса, ему казалось, что он снова становится диким и свирепым зверем, что вновь раскрываются и восстают против этого юноши те глубины его души, где некогда было заключено столько злобы. Ему почти казалось, что в нем оживают неведомые, давно потухшие вулканы.

«Как! Он здесь, этот малый! Зачем он пришел? Он пришел повертеться, поразнюхать, поразведать, попытаться! Он думает: «Гм, почему бы и нет?» Он бродит вокруг моего счастья, чтобы схватить его и унести!»

«Да, – продолжал думать Жан Вальжан, – это так! Чего он ищет? Приключения! Чего он хочет? Любовной интрижки! Да, любовной интрижки! А я? Как! Стоило ли тогда быть самым презренным из всех людей, потом самым несчастным, шестьдесят лет своей жизни стоять на коленях, выстрадать все, что можно выстрадать, состариться, никогда не быв молодым, жить без семьи, без родных, без друзей, без жены, без детей, оставить свою кровь на всех камнях, на всех терниях, на всех дорогах, вдоль всех стен, быть мягким, хотя ко мне были жестоки, и добрым, хотя мне делали зло, и, несмотря на все, стать честным человеком, раскаяться в том, что сделал дурного, простить зло, мне причиненное, чтобы теперь, когда я вознагражден, когда все кончено, когда я достиг цели, когда получил все, чего хотел, – а это справедливо, это хорошо, я заплатил за это, я заслужил это, – чтобы теперь все пропало, все исчезло! И я потеряю Козетту и лишусь жизни, радости, души лишь только потому, что какому-то долговязому бездельнику вздумалось таскаться в Люксембургский сад!»

И тогда его глаза загорались зловещим и необычным светом. Это уж не был человек, вззирающий на другого человека; это не был враг, вззирающий на своего врага. То был сторожевой пес, увидевший вора.

Остальное известно. Мариус продолжал безумствовать. Однажды он проводил Козетту до

Западной улицы. В другой раз он вступил в разговор с привратником. Тот в свою очередь заговорил с Жаном Вальжаном. «Сударь, что это за любопытный молодой человек спрашивал о вас?» – осведомился он. На следующий день Жан Вальжан бросил на Мариуса взгляд, который тот, наконец, понял. Неделью спустя Жан Вальжан переехал. Он дал себе слово, что ноги его больше не будет ни в Люксембургском саду, ни на Западной улице. Он вернулся на улицу Плюме.

Козетта не жаловалась, ничего не говорила, не задавала вопросов, не добивалась никаких ответов; она уже достигла возраста, когда боятся быть понятыми и выдать себя. Жан Вальжан был совершенно не искушен в несчастьях подобного рода, ибо из всех несчастий только эти одни таят в себе очарование, и только этих ему не довелось испытать; вот почему он не постиг всего значения молчаливости Козетты. Он только заметил, что она стала печальной, и сам стал мрачен. С обеих сторон это свидетельствовало о неопытности в борьбе.

Однажды, желая испытать ее, он спросил:

– Хочешь пойти в Люксембургский сад?

Луч света озарил бледное личико Козетты.

– Да, – ответила она.

Они отправились туда. Уже прошло три месяца с тех пор, как они перестали его посещать. Мариус больше туда не ходил. Мариуса там не было.

На следующий день Жан Вальжан снова спросил Козетту:

– Хочешь пойти в Люксембургский сад?

– Нет, – печально и кротко ответила она.

Жан Вальжан был оскорблен этой печалью и огорчен этой кротостью. Что происходило в этом уме, столь юном и уже столь непроницаемом? Какие решения там созревали? Что делалось в душе Козетты? Иногда вместо того, чтобы лечь спать, Жан Вальжан целые ночи просиживал около своего жалкого ложа, охватив руками голову. Спрашивая себя: «Что же такое на уме у Козетты?» – он старался представить себе, о чем она могла думать.

О, какие скорбные взоры он обращал в эти минуты к монастырю, этой белоснежной вершине, этому жилищу ангелов, этому недоступному глетчеру добродетели! С каким безнадежным восхищением взирал он на монастырский сад, полный неведомых цветов и заточенных в нем девственниц, где все ароматы и все души возносятся прямо к небу! Как он любил этот навсегда закрывшийся для него рай, откуда он ушел по доброй воле, безрассудно покинув эти высоты! Как он сожалел о своем самоотречении и своем безумии, толкнувшем его на мысль вернуть Козетту в мир, – этот бедный герой, принесенный в жертву и повергнутый в прах собственной преданностью долгу! Сколько раз он повторял себе: «Что я наделал!»

Впрочем, он ничем не выдал себя Козетте. Ни дурным настроением, ни резкостью. При ней всегда у него было то же ясное и доброе лицо. Обращение его с нею было более нежным и более отцовским, чем когда-либо. Если что-нибудь и позволяло догадываться о его грусти, то лишь еще большая мягкость.

Томилась и Козетта. Она страдала, не видя Мариуса, так же сильно и не давая себе в том ясного отчета, как радовалась его присутствию. Когда Жан Вальжан перестал брать ее с собой на обычные прогулки, женское чутье невятно прошептало ей в глубине души, что не следует выказывать интерес к Люксембургскому саду и что, если бы она была к нему равнодушна, отец снова повел бы ее туда. Но проходили дни, недели и месяцы. Жан Вальжан молчаливо принял молчаливое согласие Козетты. Она пожалела об этом. Но было слишком поздно. Когда она снова пришла в Люксембургский сад, Мариуса там уже не было. Стало быть, Мариус исчез; все кончено, что делать? Найдет ли она его когда-нибудь? Она почувствовала какое-то стеснение в груди, оно не проходило, а увеличивалось с каждым днем. Она больше не знала, зима теперь

или лето, солнце или дождь, поют ли птицы, цветут георгины или маргаритки, приятнее ли Люксембургский сад, чем Тюильри, слишком или недостаточно накрахмалено белье, принесенное прачкой, дешево или дорого Тусен купила провизию; она оставалась угнетенной, ушедшей в себя, сосредоточенной на одной только мысли и глядела на все пустым и пристальным взглядом человека, всматривающегося ночью в черную глубину, где исчезло видение.

Впрочем, она также ничем, кроме бледности, не выдавала себя Жану Вальжану. Он видел то же обращенное к нему кроткое личико.

Этой бледности было более чем достаточно, чтобы встревожить его. Иногда он ее спрашивал:

– Что с тобой?

Она отвечала:

– Ничего.

И так как она понимала, что и он грустит, то, помолчав немного, добавляла:

– А вы, отец, что с вами такое?

– Со мною? Ничего, – говорил он.

Эти два существа, связанные такой редкостной и такой трогательной любовью, столь долго жившие друг для друга, теперь страдали друг возле друга, друг из-за друга, молча, не сетуя, улыбаясь.

Глава 8

Кандальники

Жан Вальжан был несчастней Козетты. Юность даже в горести сохраняет в себе какой-то свет.

В иные минуты Жан Вальжан горевал так сильно, что, казалось, превращался в ребенка. Страданию свойственно пробуждать во взрослом человеке дитя. Им владело какое-то непреодолимое чувство, ему казалось, что Козетта ускользает от него. И в нем родилось желание бороться, удержать ее, вызвать у нее восхищение чем-нибудь внешним и блестящим. Эти мысли, как мы уже говорили, ребяческие и в то же время стариковские, внушали ему, в силу самой их наивности, довольно справедливое мнение о влиянии мишуры на воображение молодых девушек. Как-то ему пришлось увидеть на улице проезжавшего верхом генерала в полной парадной форме, – то был граф Кутар, комендант Парижа. Он позавидовал этому раззолоченному человеку, подумав, какое было бы счастье надеть такой мундир, представлявший собой нечто неотразимое; если бы Козетта увидела его в нем, она была бы ослеплена, и если бы он под руку с ней прошел мимо ворот Тюильри, а караул отдал бы ему честь, этого было бы довольно, чтобы у Козетты пропало желание заглядываться на молодых людей.

К этим печальным мыслям добавилось неожиданное потрясение.

В уединенной жизни, какую они вели с тех пор, как переехали на улицу Плюме, у них появилась новая привычка. Время от времени они отправлялись посмотреть на восход солнца – тихая отрада тех, кто вступает в жизнь, и тех, кто уходит из нее.

Утренняя прогулка для любящего одиночество равноценна ночной прогулке, с тем лишь преимуществом, что утром природа веселее. Улицы пустынные, поют птицы. Козетта, сама точно птичка, охотно вставала в ранние часы. Эти утренние путешествия готовились накануне. Он предлагал, она соглашалась. Устраивалось нечто вроде заговора, выходили еще до рассвета – то были ее скромные утехы. Такие невинные чудачества нравятся юности.

Как известно, у Жана Вальжана была склонность отправляться в местности малопосещаемые, в уединенные уголки, в заброшенные места. В те времена вблизи парижских застав тянулись скудные, почти сливавшиеся с городом поля, на которых летом росла тощая пшеница и которые осенью, после сбора урожая, казались не скошенными, а выщипанными. Жан Вальжан отдавал им особенное предпочтение. Козетта там не скучала. Для него это было уединение, для нее – свобода. Там она опять превращалась в маленькую девочку, могла бегать и почти веселиться, она снимала свою шляпку, клала ее на колени Жану Вальжану и рвала цветы. Она рассматривала бабочек на цветах, но не ловила их; вместе с любовью рождаются доброта и мягкость, и молодая девушка, живущая хрупкой и трепетной мечтой, жалеет крылышко бабочки. Она плела венки из маков, надевала их на голову, и алые цветы, пронизанные и насыщенные солнцем, пылавшие, как пламя, венчали огненной короной ее свежее розовое личико.

Даже после того, как их жизнь омрачилась, они сохранили обычай утренних прогулок.

Однажды в октябрьское утро, соблазненные безмятежной ясностью осени 1831 года, они вышли из дому и к тому времени, когда начало светать, оказались возле Менской заставы. Была не заря, а рассвет – восхитительный и суровый час. Мерцавшие там и сям в бледной и глубокой лазури созвездия, совсем черная земля, совсем побелевшее небо, вздрагивающие стебельки травы, всюду таинственное трепетание сумерек. Жаворонок, словно затерявшийся среди звезд, пел где-то на неслыханной высоте, и, казалось, этот гимн бесконечно малого бесконечно великому умиротворял беспредельность. На востоке церковь Валь-де-Грас вырисовывалась темной громадой на чистом, стального цвета горизонте; ослепительная Венера восходила позади ее купола, словно душа, ускользающая из мрачной темницы.

Всюду были мир и тишина; никого на дороге; кое-где в низинах едва различимые фигуры рабочих, отправлявшихся на свою работу.

Жан Вальжан уселся в боковой аллейке на бревнах, сваленных у ворот лесного склада. Он сидел лицом к дороге, спиной к свету; он забыл о восходившем солнце; им овладело то глубокое раздумье, которое поглощает все мысли, делает невидящим взгляд и словно заключает человека в четырех стенах. Есть размышления, которые можно было бы назвать вертикальными, – они заводят в такую глубину, что требуется время для того, чтобы вернуться на землю. Жан Вальжан погрузился в одно из таких размышлений. Он думал о Козетте, о возможном счастье, если бы ничто не вставало между ними, о свете, которым она наполняла его жизнь, о том свете, которым дышала его душа. Он был почти счастлив, отдавшись этой мечте. Козетта, стоя возле него, смотрела на розовеющие облака.

Вдруг она вскричала: «Отец, вон оттуда как будто едут». Жан Вальжан поднял голову.

Она была права.

Дорога, ведущая к прежней Менской заставе, как известно, составляет продолжение Севрской улицы и перерезана под прямым углом бульваром. У поворота с бульвара на дорогу, в том месте, где они пересекаются, слышался труднообъяснимый в такое время шум и виднелась какая-то неясная громоздкая масса. Что-то бесформенное, появившееся со стороны бульвара, выбиралось на дорогу.

Все это вырастало и спокойно двигалось вперед, но казалось в то же время каким-то взъерошенным и колыхающимся; это походило на повозку, но нельзя было понять, с каким она грузом. Смутно виднелись лошади, колеса, слышались крики, раздавалось хлопанье бичей. Постепенно очертания этой массы обрисовывались, хотя еще и тонули во мгле. Действительно, то была повозка, свернувшая с бульвара на дорогу и направлявшаяся к заставе, у которой сидел Жан Вальжан; другая такая же повозка следовала за ней, потом третья, четвертая; семь телег появились одна за другой, голова каждой лошади упиралась в задок ехавшей впереди повозки.

Какие-то силуэты шевелились на этих телегах, поблескивало в сумерках что-то похожее на обнаженные шашки, слышался лязг, напоминавший звон цепей, голоса звучали все громче, это двигалось вперед и было таким же страшным, как то, что возникает лишь в пещере сновидений.

Приближаясь, все приняло определенную форму и выступило из-за деревьев с призрачностью видения; вся эта масса словно побелела; мало-помалу разгоравшийся день заливал тусклым брезжущим светом это скопище, одновременно потустороннее и живое, головы силуэтов превратились в лица мертвецов. А было это вот что.

По дороге цепочкой тянулось семь повозок. Из них первые шесть имели особое устройство. Они походили на дроги бочаров; то было нечто вроде длинных лестниц, положенных на два колеса и переходивших на переднем конце в оглобли. Каждые дроги, скажем лучше, каждую лестницу тащили четыре лошади, запряженные гуськом. Лестницы были усеяны странными гроздьями людей. При слабом свете дня различить этих людей еще нельзя было, но их присутствие угадывалось. По двадцать четыре человека на каждой повозке, по двенадцати с каждой стороны, спиной друг к другу, лицом к прохожим, со свесившимися вниз ногами, – так эти люди совершали свой путь. За спинами у них что-то позвякивало, то была цепь; на шеех что-то поблескивало, то были железные ошейники. У каждого отдельный ошейник, но цепь общая; таким образом, эти двадцать четыре человека, если бы им пришлось спуститься с дрог и пойти, неминуемо составили бы какое-то единое членистоногое существо, с цепью вместо позвоночника, извивающееся по земле почти так же, как сороконожка. На передке и на задке каждой повозки стояли два человека с ружьями, каждый придерживал ногами конец цепи. Ошейники были квадратные. Седьмая повозка, четырехколесная поместительная фура с дощатыми стенками, но без верха, была запряжена шестью лошадьми; в ней гремела куча железных котелков, чугунных горшков, жаровен и цепей и лежали, вытянувшись во весь рост, несколько связанных человек, с виду больных. Эта фура, сквозная со всех сторон, была снабжена разбитыми решетками, которые казались отслужившими свой срок орудиями старинного позорного наказания.

Повозки держались середины дороги. С обеих сторон шествовали двумя рядами гнусного вида конвойные, в складывающихся треуголках, как у солдат Директории, грязные, рваные, омерзительные, наряженные в серо-голубые и почти изодранные в клочья мундиры инвалидов и панталоны факельщиков, с красными эполетами, желтыми перевязями, с тесаками, ружьями и палками, – настоящие обозные солдаты. В этих сбирах приниженность попрошаек сочеталась с властью палачей. Тот, кто казался их начальником, держал в руке бич почтаря. Эти подробности, стусеванные сумерками, все яснее вырисовывались в свете наступавшего дня. В голове и в хвосте шествия торжественно выступали конные жандармы с саблями наголо.

Процессия была такой длинной, что, когда первая повозка достигла заставы, последняя только съезжала с бульвара.

По обеим сторонам дороги теснилась толпа зрителей, появившаяся неизвестно откуда и собравшаяся в мгновение ока, как это часто бывает в Париже. В соседних улочках слышались голоса людей, окликающих друг друга, и стук сабо огородников, бежавших взглянуть на это зрелище.

Скученные на дрогах люди молча переносили тряску. Они посинели от утреннего холода. Все были в холщовых штанах и в деревянных башмаках на босу ногу. Остальная одежда свидетельствовала о причудах нищеты. Она была отвратительно пестра; нет ничего более мрачного, чем шутовское рубище. Шляпы с проломанным дном, клеенчатые фуражки, ужасные шерстяные колпаки и рядом с блузой черный фрак с продранными локтями; на некоторых были женские шляпы, у других на головах – плетушки; виднелись волосатые груди, сквозь прорехи в одежде можно было различить татуировку: храмы любви, пылающие сердца, амуры, а рядом

лишаи и нездоровые красные пятна. Двое или трое привязали к перекладинам дрог свисавший наподобие стремени соломенный жгут, который служил опорой их ногам. Один из них держал в руке нечто похожее на черный камень и, поднося его ко рту, казалось, вгрызался в него; то был хлеб, который он ел. Глаза у всех были сухие, потухшие или светящиеся каким-то недобрым светом. Конвойные ругались; люди в цепях не издавали ни звука; время от времени слышался удар палкой по голове или по спине; некоторые из этих людей зевали; их лохмотья внушали ужас; ноги болтались, плечи колыхались; головы сталкивались, цепи звенели, глаза дико сверкали, руки сжимались в кулаки или неподвижно висели, как у мертвецов; позади обоза толпа ребятишек заливалась смехом.

Эта вереница повозок, какова она ни была, вызывала мрачные мысли. Можно было ожидать, что если не сегодня, так завтра разразится ливень, за ним еще и еще, что рваная одежонка промокнет насквозь, что, вымокнув, эти люди не обсохнут, озябнув, не согреются, что их мокрые холщовые штаны прилипнут к телу, в башмаки нальется вода, что удары бича не помешают их зубам стучать, цепь по-прежнему будет держать их за шею, ноги по-прежнему будут висеть; и нельзя было не содрогнуться, глядя на этих людей, связанных, беспомощных под холодными осенними тучами и, подобно деревьям и камням, отданных на волю дождя, студеного ветра, всех неистовств непогоды.

Палочные удары не миновали даже связанных веревками больных, неподвижно лежавших на седьмой телеге, точно сваленные туда мешки с мусором.

Внезапно взошло солнце; с востока брызнул огромный луч и как будто воспламенил все эти страшные головы. Языки развязались, полился бурный поток насмешек, проклятий и песенок. Широкая горизонтальная струя света разрезала надвое всю эту вереницу повозок, озарив головы и туловища, оставив ноги и колеса в темноте. На лицах проступили мысли; это мгновение было ужасно: то демоны глянули из-под упавших масок, то обнажили себя свирепые души. Даже освещенное, это сборище оставалось темным. Некоторые, развеселившись, вставили в рог трубочки от перьев и выдували на толпу насекомых, стараясь попасть в женщин. Заря резко подчеркивала черными тенями жалкие профили; каждый был изуродован нищетой; это было настолько чудовищно, что, казалось, солнечный свет потускнел, превратившись в мерцающий отблеск молнии. Повозка, открывшая поезд, затянула во всю мочь и загнусавила с дикой игривостью попури из прославленной в то время «Весталки» Дезожье; деревья уныло шелестели листьями; в боковой аллее буржуа слушали с идиотским блаженством эти шуточки, исполняемые призраками.

В этой процессии, как в первозданном хаосе, смешались все человеческие бедствия. Там можно было увидеть лицевой угол всех животных, там были старики, юноши, голые черепа, седые бороды, чудовищная циничность, угрюмая покорность, дикие оскалы, нелепые позы, свиные рыла под фуражками, подобия девичьих головок с выпущенными на виски завитками, детские и поэтому страшные лица, тощие лики скелетов, которым не хватало только смерти. На первой телеге сидел негр, быть может, когда-то невольник, который мог сравнить свои прежние цепи с настоящими. Страшный уравнитель низов, позор, тронул все лица; на этой ступени падения, в последних глубинах общественного дна, испытали они последнее свое превращение: невежество, перешедшее в тупость, сравнялось с разумом, перешедшим в отчаяние. Никакой выбор не был возможен среди этих людей, являвших взору как бы самые сливки грязи. Было ясно, что случайный распорядитель гнусной процессии не распределял их по группам. Эти существа были связаны и соединены наудачу, вероятно, по произволу алфавита, и, как попало, погружены на повозки. Однако ужасы, собранные вместе, в конце концов выявляют свою равнодействующую; всякое объединение несчастных дает некий итог; каждая цепь имела общую душу, каждая телега – свое лицо. Рядом с той, которая пела, была другая, на которой

вопили; на третьей выпрашивали милостыню; можно было заметить такую, на которой скрежетали зубами; на следующей стращали прохожих; на шестой богохульствовали; последняя была молчалива, как могила. Данте решил бы, что он видит семь кругов ада в движении.

Это был зловещий марш осужденных к месту наказания, но совершался он не на ужасной огненной колеснице апокалипсиса, а, что еще более мрачно, на позорных тюремных повозках.

Один из конвойных, державший палку с крючком на конце, время от времени обнаруживал намерение поворошить ею эту кучу человеческого отребья. Какая-то старуха в толпе показывала на них пальцем мальчику лет пяти, говоря при этом: «Это тебе урок, негодник!»

Так как пение и брань все усиливались, тот, кто казался командиром охраны, щелкнул бичом, и по этому сигналу ужасающие палочные удары, глухие и слепые, подобно граду, обрушились на семь повозок; люди рычали, бесновались, что удвоило веселье уличных мальчишек, налетевших на этот гнойник, подобно рою мух.

Взгляд Жана Вальжана стал страшен. То были уже не глаза; то было непроницаемое стекло, заменяющее зрачок у некоторых несчастных, не отражающее действительности, но словно горящее отсветами ужасов и катастроф. Он не замечал открывшегося перед ним зрелища; его взору предстало страшное видение. Он хотел встать, бежать, исчезнуть – и не мог двинуть пальцем. Иногда то, что видишь, как бы хватает и удерживает нас. Он застыл, пригвожденный к месту, окаменевший, остолбенелый, спрашивая себя в невыразимой смутной тревоге, что означает это преследование из-за гроба, откуда взялось это скопище демонов, обратившееся против него. Внезапно он поднял руку ко лбу – обычное движение у тех, к кому внезапно возвращается память, – он вспомнил, что таков был постоянный маршрут, что сюда обычно сворачивали, чтобы избежать встречи с королем, всегда возможной по дороге в Фонтенебло, и что тридцать пять лет тому назад он сам проезжал через эту заставу.

Козетта была испугана по-другому, но не меньше. Она ничего не понимала; у нее перехватило дыхание; то, что она видела, казалось ей невозможным. Наконец она воскликнула:

– Отец, что же там такое в этих повозках?

Жан Вальжан ответил:

– Каторжники.

– Куда же они едут?

– На каторгу.

В это время палочные удары посыпались особенно щедро и часто, к ним прибавились удары саблей плашмя, – то было какое-то неистовство бичей и палок; каторжники скорчились, наказание привело их к отвратительной покорности, все замолчали, бросая по сторонам взгляды затравленных волков.

Козетта дрожала с головы до ног; она снова спросила:

– Отец, и все это – люди?

– Некоторые из них, – ответил несчастный.

Действительно, то был этап, выступивший до рассвета из Бисетра и направлявшийся по дороге в Ман, чтобы обогнуть Фонтенебло, где тогда пребывал король. Этот объезд должен был продлить ужасный путь на три или четыре дня, но, чтобы уберечь августейшую особу от неприятного зрелища, можно, разумеется, продолжить пытку.

Жан Вальжан вернулся домой совершенно подавленным. Такая встреча равносильна удару, и память, которую она по себе оставляет, похожа на потрясение.

Однако Жан Вальжан, возвратившись с Козеттой на Вавилонскую улицу, не заметил, чтобы она еще задавала вопросы по поводу того, что им довелось увидеть; возможно, он был слишком погружен в себя и угнетен, чтобы воспринять ее слова и ответить на них. Только вечером, когда Козетта уходила спать, он услышал, как она вполголоса, словно разговаривая сама с собой,

сказала: «О господи, мне кажется, если бы я встретилась с кем-нибудь из этих людей, я умерла бы только оттого, что увидела его вблизи!»

К счастью, на следующий день после этой трагической встречи в Париже по случаю какого-то официального торжества состоялись празднества: парад на Марсовом поле, фехтование шестами лодочников на Сене, представление на Елисейских полях, фейерверки на площади Звезды, иллюминация повсюду. Жан Вальжан, вопреки своим привычкам, повел Козетту на этот праздник, чтобы рассеять воспоминания о вчерашнем дне и заслонить веселой суматохой, поднявшейся во всем Париже, отвратительную картину, промелькнувшую перед ней накануне.

Парад, бывший приправой к празднеству, естественно, вызвал круговращение мундиров; Жан Вальжан надел форму национального гвардейца, смутно испытывая чувство укрывшегося от опасности человека. Так или иначе, цель прогулки была, казалось, достигнута. Козетта, считавшая для себя законом угождать отцу, согласилась на это развлечение с легкой и непритязательной радостью, свойственной юности; впрочем, для нее всякое зрелище было внове, и она не отнеслась слишком пренебрежительно к этому общему котлу веселья, именуемому «народное гулянье»; таким образом, Жан Вальжан мог полагать, что он добился своего и что в памяти Козетты не осталось и следа от мерзкого видения.

Несколько дней спустя, утром, когда ярко светило солнце, они оба вышли на крыльцо в сад – это было новым нарушением правил, установленных для себя Жаном Вальжаном, и привычки сидеть в своей комнате, которую привила Козетте ее печаль; Козетта, в пеньюаре, восхитительно окутанная этим небрежным утренним нарядом, подобно звезде, прикрытой облачком, вся розовая после сна и озаренная светом, стоя возле старика, молча ее созерцавшего растроганным взглядом, обрывала лепестки маргаритки. Она не знала прелестного гадания: «любит – не любит» и т. д., да и кто мог ее этому научить? Она ощипывала цветок инстинктивно, невинно, не подозревая, что обрывать маргаритку – значит обнажать свое сердце. Если бы существовала четвертая Грация, именуемая Меланхолией и при этом улыбавшаяся, то она походила бы на эту Грацию. Жан Вальжан был заморожен созерцанием беленьких пальчиков, обрывавших цветок; он забыл обо всем, растворившись в сиянии, окружавшем эту девушку. Рядом, в кустарнике, щебетала малиновка. Белые облачка так весело неслись по небу, словно только что вырвались на свободу. Козетта продолжала сосредоточенно обрывать цветок; казалось, она мечтала о чем-то, и ее мечта должна была быть очаровательной. Внезапно, с изящной медлительностью лебедя, она повернула голову и спросила: «Отец, а что это такое – каторга?»

Книга четвертая

Помощь снизу может быть помощью свыше

Глава 1

Рана снаружи, исцеление внутри

Так, день за днем, омрачалась их жизнь.

У них осталось только одно развлечение, некогда бывшее счастьем, – оделять хлебом голодных и одеждой страдавших от холода. Навещаая бедняков, Жан Вальжан и Козетта, которая часто сопровождала его, чувствовали, как вновь оживает в них что-то от бывлой задушевной их близости; иногда, если случался хороший день и удавалось облегчить нужду многих страдальцев, согреть и порадовать многих малышей, Козетта вечером была несколько веселее. Именно в эту пору их жизни они и посетили конуру Жондрета.

На следующее же утро после этого посещения Жан Вальжан появился в доме спокойный, как всегда, но с широкой раной на левой руке, сильно воспаленной, злокачественной и похожей на ожог; о причине ее он сказал весьма уклончиво. Из-за этой раны его целый месяц лихорадило, и он сидел дома. Обращаться к врачу он не хотел. Когда Козетта настаивала, он отвечал: «Позови ветеринара».

Козетта перевязывала рану утром и вечером с такой божественной кротостью, с таким выражением ангельского счастья быть ему полезной, что Жан Вальжан чувствовал, как к нему возвращается прежняя радость, как рассеиваются его опасения и тревоги. И, глядя на Козетту, он твердил: «О целебная рана! О целебная болезнь!»

Пока отец был болен, Козетта покинула особняк, она снова полюбила маленький флигель и задний дворик. Почти весь день она проводила с Жаном Вальжаном и читала ему книги по его выбору, главным образом путешествия. Жан Вальжан воскресал; его счастье вновь расцветало, сияя неизъяснимым светом; Люксембургский сад, молодой неизвестный бродяга, охлаждение Козетты – все эти тучи не застилали больше его души. Он даже сказал себе: «Я выдумал все это. Я старый сумасброд».

Его счастье было так велико, что страшная и столь неожиданная встреча с семейством Тенардые в конуре Жондрета, можно сказать, почти не затронула его. Он успел ускользнуть, его след был потерян. Что ему до остального! Если он и вспоминал о ней, то лишь с чувством жалости к этим несчастным. «Теперь они в тюрьме, – думал он, – и уже не в состоянии мне вредить, но какая жалкая, несчастная семья!»

Что до отвратительного видения на Менской заставе, то Козетта больше не заговаривала об этом.

В монастыре сестра Мехтильда преподавала Козетте музыку. У Козетты был голос малиновки, наделенной душой, и порой, вечерами, в скромном жилище раненого она пела печальные песенки, радовавшие Жана Вальжана.

Наступила весна, сад в это время года был так прекрасен, что Жан Вальжан сказал Козетте: «Ты никогда не гуляешь в саду, поди прогуляйся». – «Хорошо, отец», – сказала Козетта.

И, повинувась его желанию, она снова начала гулять в саду, большею частью одна, потому что, как мы уже упоминали, Жан Вальжан, по всей вероятности боясь быть замеченным через решетку, почти никогда не ходил в сад.

Его рана дала другое направление мыслям обоих.

Козетта, увидев, что отцу стало легче, что он выздоравливает и кажется счастливым, испытывала удовлетворение, которого она даже не заметила сама, настолько естественно и

незаметно оно пришло. Кроме того, был март, дни становились длиннее, зима проходила, а она всегда уносит с собой что-то от наших горестей; потом наступил апрель – этот рассвет лета, свежий, как всякая заря, веселый, как всякое детство, иногда немного плаксивый, как всякий новорожденный. Природа в этом месяце исполнена пленительного мерцающего света, льющегося с неба, из облаков, от деревьев, лугов и цветов прямо в человеческое сердце.

Козетта была еще слишком молода, чтобы не проникнуться этой радостью апреля, который был сам похож на нее. Нечувствительно и незаметно для нее мрачные мысли исчезали. Весной в опечаленной душе становится светлее, как ярким полднем в подвале. Козетта даже и не печалилась уж так сильно. Это было очевидно, хотя она и не отдавала себе в том отчета. Утром, часов около десяти, после завтрака, когда ей удавалось увлечь отца на четверть часа в сад и погулять с ним на солнышке возле крылечка, поддерживая его больную руку, она сама не замечала, что то и дело смеялась и была счастлива.

Жан Вальжан в упоении убеждался, что она снова становилась свежей и румяной.

– О целебная рана! – тихонько повторял он.

И он был благодарен Тенардье.

Как только рана зажила, он возобновил свои одинокие вечерние прогулки.

Но было бы заблуждением думать, что можно по вечерам гулять одному по малонаселенным окраинам Парижа, не натолкнувшись на какое-нибудь приключение.

Глава 2

Тетушка Плутарх без труда объясняет некое явление

Как-то вечером маленькому Гаврошу нечего было есть; он вспомнил, что не обедал и накануне; это становилось скучным. Он решил попытаться поужинать и отправился побродить в пустынных местах за Сальпетриер; именно там и можно было рассчитывать на удачу. Где нет никого, что-нибудь да найдется. Он добрался до какого-то поселка, ему показалось, что это деревня Аустерлиц.

Однажды, разгуливая там, он заметил старый сад, где появлялись старик и старуха, и в этом саду – довольно сносную яблоню. Возле яблони находилось нечто вроде неплотно прикрытого ларя для хранения плодов, откуда можно было стащить яблоко. Яблоко – это ужин; яблоко – это жизнь. Яблоко погубило Адама, но могло спасти Гавроша. К саду примыкала пустынная немощеная улочка, за отсутствием домов окаймленная кустарником; сад от улицы отделяла изгородь.

Гаврош направился к этому саду, нашел улочку, узнал яблоню, убедился, что ларь для плодов на месте, и внимательно обследовал изгородь; а что такое изгородь? – раз-два, и перескочил. Вечерело, на улице не было ни души, время казалось подходящим. Гаврош собрался уже идти на приступ, но вдруг остановился. В саду разговаривали. Гаврош посмотрел сквозь щель в изгороди.

В двух шагах от него, по другую сторону изгороди, как раз против того места, которое он наметил, чтобы проникнуть внутрь, лежал камень, служивший скамьей; на этой скамье сидел старик, хозяин сада, а перед ним стояла старуха. Старуха брюзжала. Гаврош, не отличавшийся скромностью, прислушался.

– Господин Мабеф! – сказала старуха.

«Мабеф! – подумал Гаврош. – Да это прямо смех».

Старик не шевельнулся. Старуха повторила:

– Господин Мабеф!

Старик, не поднимая глаз, наконец ответил:

– Что скажете, тетушка Плутарх?

«Тетушка Плутарх! – подумал Гаврош. – Да это прямо умора».

Тетушка Плутарх заговорила, и старик вынужден был вступить с ней в беседу.

– Хозяин недоволен.

– Почему?

– Мы ему должны за девять месяцев.

– Через три месяца мы ему будем должны за двенадцать.

– Он говорит, что выставит нас на улицу.

– Что ж, я пойду.

– Зеленщица просит денег. И нет больше ни одной охапки поленьев. Чем вы будете отапливаться зимой? У нас совершенно нет дров.

– Зато есть солнце.

– Мясник больше не дает в долг и не хочет отпускать говядину.

– Это очень кстати. Я плохо переношу мясо. Оно для меня слишком тяжело.

– Что же подавать на обед?

– Хлеб.

– Булочник требует по счету и говорит, что, раз нет денег, не будет и хлеба.

– Хорошо.

– Что же вы будете есть?

– У нас есть яблоки.

– Но, сударь, ведь нельзя жить просто так, без денег.

– У меня их нет.

Старуха ушла, старик остался один. Он погрузился в размышления. Гаврош тоже размышлял. Уже почти совсем стемнело.

Вместо того чтобы перебраться через изгородь, Гаврош уселся под ней – таково было первое следствие его размышлений. Внизу ветки кустарника были немного реже.

«Смотри-ка, – воскликнул про себя Гаврош, – да тут настоящая спальня!» И, забравшись поглубже, свернулся в комочек. Спиной он почти прислонился к скамье дедушки Мабефа. Он слышал дыхание старика.

Затем, вместо того чтобы пообедать, он попытался заснуть.

Сон кошки – сон вполглаза. Гаврош и сквозь дремоту караулил.

Бледное сумеречное небо отбрасывало белый отсвет на землю, и улица обозначалась сизой полосой между двумя рядами темных кустов.

Внезапно на этой белесоватой ленте возникли два силуэта. Один шел впереди, другой – на некотором расстоянии сзади.

– А вон и еще двое, – пробормотал Гаврош.

Первый силуэт напоминал старого, согбенного и задумчивого буржуа, одетого более чем просто, ступавшего медленно, по-стариковски и вышедшего побродить вечером под звездным небом.

Другой был тонкий, стройный, подобранный. Он соразмерял свои шаги с шагом первого, но в преднамеренной медлительности его походки чувствовались гибкость и проворство. В нем было что-то хищное и внушавшее беспокойство, вместе с тем весь его облик выдавал «модника», по выражению того времени. У него была отличная шляпа, черный сюртук в талию, хорошо сшитый и, вероятно, из прекрасного сукна. В том, как он держал голову, сквозили сила и изящество, а под шляпой в сумерках можно было различить бледный юношеский профиль с розой во рту. Этот второй силуэт был хорошо знаком Гаврошу: то был Монпарнас.

Что же касается первого, то о нем нельзя было ничего сказать, кроме того, что это добродушный на вид старик.

Гаврош тотчас уставился на них.

Один из этих двух прохожих, по-видимому, имел какие-то намерения относительно другого. Гаврош мог отлично видеть, что произойдет дальше. Его спальня очень кстати оказалась удобным укрытием.

Монпарнас на охоте, в такой час, в таком месте – это не обещало ничего хорошего. Гаврош почувствовал, как его мальчишеская душа прониклась жалостью к старику.

Что делать? Вмешаться? Это будет помощью одного слабосильного другому! Монпарнас бы только посмеялся. Гаврош был уверен, что этот страшный восемнадцатилетний бандит справится со стариком и ребенком в два счета.

Пока Гаврош раздумывал, нападение было совершено, внезапное и отвратительное. Нападение тигра на оленя, паука на муху. Монпарнас, неожиданно бросив розу, прыгнул на старика, схватил его за ворот, сжал руками и повис на нем. Гаврош едва удержался от крика. Мгновение спустя один из этих людей лежал под другим, придавленный, хрипящий, бьющийся; каменное колено упиралось ему в грудь. Но только произошло не совсем то, чего ожидал Гаврош. Лежавший на земле был Монпарнас; победителем был старик. Все это произошло в нескольких шагах от Гавроша.

Старик устоял на ногах и на удар ответил ударом с такой страшной силой, что нападающий и его жертва мгновенно поменялись ролями.

«Ай да старик!» – подумал Гаврош.

И, не удержавшись, захлопал в ладоши. Но его рукоплескания не были услышаны. Они не донеслись до слуха занятых борьбой и прерывисто дышавших противников, оглушенных друг другом.

Воцарилась тишина. Монпарнас перестал отбиваться. Гаврош подумал: «Уж не прикончил ли он его?»

Старик не произнес ни слова, ни разу не крикнул. Потом он выпрямился, и Гаврош услышал, как он сказал Монпарнасу:

– Вставай.

Монпарнас поднялся, но старик продолжал его держать. У Монпарнаса был униженный и разъяренный вид волка, пойманного овцой.

Гаврош смотрел и слушал во все глаза и во все уши. Он забавлялся от души.

Он был вознагражден за свое добросовестное беспокойство зрителя. До него долетел следующий разговор, приобретающий в ночной тьме какой-то трагический оттенок. Старик спрашивал, Монпарнас отвечал.

– Сколько тебе лет?

– Девятнадцать.

– Ты силен и здоров. Почему ты не работаешь?

– Ну, это скучно.

– Чем же ты занимаешься?

– Бездельничаю.

– Говори серьезно. Можно ли сделать что-нибудь для тебя? Кем бы ты хотел быть?

– Вором.

Воцарилось молчание. Казалось, старик глубоко задумался. Он стоял неподвижно, не выпуская, однако, Монпарнаса.

Время от времени молодой бандит, сильный и ловкий, делал внезапные движения животного, пойманного в капкан. Он вырывался, пытался дать подножку, бешено извивался

всем телом, стараясь ускользнуть. Старик, казалось, этого не замечал, держа обе его руки в одной своей с властным спокойствием беспредельной силы.

Задумчивость старика длилась несколько минут, потом, пристально взглянув на Монпарнаса, он слегка повысил голос и среди обступившей их тьмы обратился к нему с чем-то вроде торжественной речи, которую Гаврош выслушал, не проронив ни звука:

– Дитя мое, из-за своей лени ты начинаешь самое тяжкое существование. Ты объявляешь себя бездельником? Так готовься же работать! Видел ли ты одну страшную машину? Она называется прокатным станом. Следует ее остерегаться – она кровожадна и коварна; стоит ей только схватить человека за полу платья, как он весь будет втянут в нее. Праздность подобна этой машине. Остановись, пока еще есть время, и спасайся! Иначе конец; ты не успеешь оглянуться, как попадешь в шестерню. И раз ты пойман, не надейся больше ни на что. За работу, лентяй! Отдых кончился. Железная рука неумолимого труда схватила тебя. Зарабатывать на жизнь, делать свое дело, выполнять свой долг – ты этого не хочешь? Жить как другие тебе скучно? Ну так вот! Ты будешь жить иначе. Работа – закон; кто отказывается от нее, видя в ней скуку, узнает ее как мучительное наказание. Ты не хочешь быть тружеником, так станешь рабом. Труд если и отпускает нас, то только для того, чтобы снова схватить, но уже по-иному; ты не хочешь быть его другом, так будешь его невольником. Ты не хотел честной человеческой усталости, так будешь обливаться потом грешника в преисподней! Когда другие будут петь, ты будешь хрипеть. Ты увидишь издали, снизу, как другие работают, и тебе покажется, что они отдыхают. Пахарь, жнец, матрос, кузнец явятся тебе, залитые светом, подобно блаженным в раю. Что за свет излучает наковальня! Вести плуг, вязать снопы – какое наслаждение! Барка на свободе под ветром – ведь это праздник! А ты, лентяй, работай киркой, таскай, ворочай, двигайся! Плетись в своем ярме, ты уже стал выючным животным в адской запряжке! Ничего не делать – это твоя цель? Ну так вот! Ни одной недели, ни одного дня, ни одного часа без чувства изнеможения. Поднять что-нибудь станет для тебя мукой. Каждая минута заставит трещать твои мускулы. То, что для других будет легким, как перышко, для тебя будет каменной глыбой. Вещи самые простые обернутся крутым откосом. Жизнь станет чудовищной для тебя. Ходить, двигаться, дышать – какая ужасная работа! Твои легкие будут казаться тебе стофунтовой тяжестью. Здесь ли пройти или там – станет для тебя трудноразрешимой задачей. Любой человек, желающий выйти из дому, отворяет дверь, и готово – он на улице. Для тебя же выйти из дому – значит пробуровать стену. Чтобы очутиться на улице, что обычно делают? Спускаются по лестнице; ты же разорвешь простыни, совьешь полоска за полоской веревку, потом ты вылезешь в окно и на этой нити повиснешь над пропастью, – и это будет ночью, в дождь, в бурю, в ураган; если же веревка окажется слишком короткой, у тебя останется только один способ спуститься – упасть. Упасть как придется. Или же тебе придется карабкаться в дымовой трубе, рискуя сгореть, или ползти по стокам отхожих мест, рискуя там утонуть. Я уж не говорю о дырах, которые нужно маскировать, о камнях, которые нужно вынимать и снова вставлять по двадцать раз в день, о штукатурке, которую нужно прятать в своем тюфяке. Допустим, перед тобой замок, у горожанина в кармане есть ключ, изготовленный слесарем. А ты, если захочешь обойтись без ключа, будешь обречен на изготовление страшной и диковинной вещи. Ты возьмешь монету в два су и разрежешь ее на две пластинки. При помощи каких инструментов? Ты их изобретешь. Это уж твоя забота. Потом ты выскоблишь внутри эти две пластинки, стараясь не попортить наружной их поверхности, и нарежешь их винтом так, чтобы они плотно скреплялись друг с другом, как дно и крышка. Свинченные таким образом, они ничем себя не выдадут. Для надзирателей, – ведь за тобой будут следить, – это просто монета в два су, для тебя – ящичек. Что же ты спрячешь в него? Маленький кусочек стали. Часовую пружинку, на которой ты сделаешь зубцы и которая превратится в пилочку. Этой

пилочкой, длиной с булавку и спрятанной в твою монету, ты должен будешь перепилить замочный язычок и задвижку, дужку висячего замка, перекладину в твоём окне и железное кольцо на твоей ноге. Изготовив этот изумительный, дивный инструмент, свершив все эти чудеса искусства, ловкости, сноровки, терпения, что ты получишь в награду, если обнаружат твоё изобретение? Карцер. Вот твоё будущее. Лень, удовольствие – да ведь это бездонный омут! Ничего не делать – печальное решение, знаешь ли ты об этом? Жить праздно за счёт общества! Быть бесполезным, то есть вредным! Это ведёт прямо в глубь нищеты. Горе тому, кто хочет быть тунеядцем! Он станет отвратительным червем. А, тебе не нравится работать? У тебя только одна мысль – хорошо попить, хорошо поесть, хорошо поспать? Так ты будешь пить воду, ты будешь есть чёрный хлеб, ты будешь спать на досках, в железных цепях, сковывающих твоё тело, и ночью будешь ощущать их холод. Ты разобьёшь эти цепи, ты убежишь? Отлично. Ты поползёшь на животе в кусты, и ты будешь есть траву, как звери лесные. И ты будешь пойман. И тогда ты проведёшь целые годы в подземной тюрьме, прикованный к стене, нащупывая кружку, чтобы напиться, будешь грызть ужасный тюремный хлеб, от которого отказались бы даже собаки, и будешь есть бобы, изъеденные до тебя червями. Ты станешь мокрицей, живущей в погребе. Пожалей же себя, несчастное дитя, ведь ты ещё совсем молод, не прошло и двадцати лет с тех пор, как ты лежал у груди кормилицы; наверно, и мать у тебя ещё жива! Заклинаю тебя, послушайся меня. Ты хочешь платья из тонкого чёрного сукна, лакированных туфель, завитых волос, ты хочешь умащать свои кудри душистым маслом, нравиться женщинам, быть красивым? Так ты будешь обрит наголо, одет в красную куртку и деревянные башмаки. Ты хочешь носить перстни – на тебя наденут ошейник. Если ты взглянешь на женщину – получишь удар палкой. Ты войдёшь в тюрьму двадцатилетним юношей, а выйдёшь пятидесятилетним стариком! Ты войдёшь туда молодой, румяный, свежий, у тебя сверкающие глаза, прекрасные зубы, великолепные волосы, а выйдёшь согнувшийся, разбитый, морщинистый, беззубый, страшный, седой! О бедное моё дитя, ты на ложном пути, безделье подаёт тебе дурной совет! Воровство – самая тяжёлая работа! Поверь мне, не бери на себя этот мучительный труд – лень. Быть мошенником нелегко. Гораздо легче быть честным человеком. А теперь иди и подумай о том, что я тебе сказал. Кстати, чего ты хотел от меня? Тебе нужен мой кошелек? На, бери.

И старик, выпустив Монпарнаса, положил ему в руку кошелек. Монпарнас сразу взвесил его на руке и с привычной осторожностью, как если бы он украл его, тихонько опустил в задний карман своего сюртука.

Затем старик повернулся и спокойно продолжал прогулку.

– Дуралей! – пробормотал Монпарнас.

Кто был этот добрый старик? Читатель, без сомнения, догадался.

Озадаченный Монпарнас смотрел, как он исчезал в сумерках. Эти минуты созерцания были для него роковыми.

В то время как старик удалялся, Гаврош приближался.

Бросив искоса взгляд на изгородь, Гаврош убедился, что дедушка Мабеф, по-видимому задремавший, всё ещё сидит на скамье. Тогда мальчишка вылез из кустов и потихоньку пополз к Монпарнасу, который стоял к нему спиной. Невидимый во тьме, он неслышно подкрался к нему, осторожно засунул руку в задний карман его чёрного изящного сюртука, схватил кошелек, вытащил руку и снова пополз обратно, как уж, ускользающий в темноте. Монпарнас, не имевший никаких оснований остерегаться и задумавшийся в первый раз в жизни, ничего не заметил. Гаврош, вернувшись к тому месту, где сидел дедушка Мабеф, перекинул кошелек через изгородь и пустился бежать со всех ног.

Кошелек упал на ногу дедушки Мабефа. Это его разбудило. Он наклонился и поднял кошелек. Ничего не понимая, он открыл его. То был кошелек с двумя отделениями; в одном

лежало немного мелочи, в другом – шесть золотых монет.

Господин Мабеф, совсем растерявшись, отнес находку своей домоправительнице.

– Это упало с неба, – сказала тетушка Плутарх.

Книга пятая, конец которой не сходен с началом

Глава 1 Уединенность в сочетании с казармой

Горе Козетты, такое острое, такое тяжкое четыре или пять месяцев тому назад, неведомо для нее начало утихать. Природа, весна, молодость, любовь к отцу, ликование птиц и цветов заставили мало-помалу, день за днем, капля за каплей, просочиться в эту столь юную и девственную душу нечто, походившее на забвение. Действительно ли огонь в ней погасал или же только покрывался слоем пепла? Во всяком случае, она почти не ощущала того, что прежде жгло ее и мучило.

Однажды она вдруг вспомнила Мариуса. «Как странно, – сказала она, – я больше о нем не думаю».

На той же неделе, проходя мимо садовой решетки, она заметила блестящего уланского офицера, в восхитительном мундире, с осиной талией, девическими щечками, с саблей на боку, нафабранными усами, блестящим кивером и сигарой в зубах. Вдобавок у него были белокурые волосы, голубые глаза навывкате, круглое, пустое, красивое и наглое лицо – полная противоположность Мариусу. Козетта подумала, что этот офицер, наверное, из полка, размещенного в казармах на Вавилонской улице.

На следующий день она увидела его снова. Она запомнила час.

Начиная с этого момента, – была ли это только случайность? – она видела, как он проходил мимо почти каждый день.

Приятель офицера заметили, что в этом «запущенном» саду, за этой ржавой решеткой в стиле рококо, почти всегда обретается некое довольно миловидное создание в те часы, когда мимо проходит красавец лейтенант, небезызвестный читателю Теодюль Жильнорман.

– Послушай-ка, – говорили они ему, – тут есть малютка, которая умильно на тебя поглядывает, обрати на нее внимание!

– Вот еще! Стану я обращать внимание на всех девчонок, которые на меня поглядывают! – отвечал улан.

Это было как раз в то время, когда Мариус был уже по-настоящему близок к агонии и повторял: «Только бы снова увидеть ее перед смертью!» Если бы его желание осуществилось и он увидел Козетту, поглядывавшую на улана, он, не произнеся ни слова, умер бы с горя. Кто был бы в этом виноват? Никто. Мариус принадлежал к числу людей, которые, погрузившись в печаль, в ней и пребывают; Козетта – к числу тех, которые, окунувшись в нее, выплывают вверх.

Кроме того, Козетта переживала то опасное время, то роковое состояние предоставленной самой себе мечтательной женской души, когда сердце молодой одинокой девушки походит на усики виноградной лозы, цепляющейся по прихоти случая за капитель мраморной колонны или за стойку кабачка. Это быстролетное и решающее время опасно для всякой сироты, бедна она или богата, потому что богатство не защищает от дурного выбора: вступают в неравный брак и в высшем обществе; подлинное неравенство в браке – это неравенство душ. Молодой человек, безвестный, без имени, без состояния, может оказаться мраморной колонной, поддерживающей храм великих чувств и великих идей, а какой-нибудь светский человек, богатый и самодовольный, щеголяющий начищенными сапогами и лакированными словами, если его рассмотреть не извне, а изнутри, что выпадает на долю только его жены, оказывается полным

ничтожеством, подверженным свирепым, гнусным и пьяным страстям, – настоящей кабацкой стойкой.

Что же таилось в душе Козетты? Утихшая или заснувшая страсть; витавшая ли там любовь; нечто прозрачное, сверкающее, но замутненное на некоторой глубине и темное на дне? Образ красивого офицера отражался на поверхности этой души. Было ли там, в глубине ее, какое-то воспоминание? В самой глубине? Быть может. Козетта не знала.

Вдруг произошел странный случай.

Глава 2

Страхи Козетты

В первой половине апреля Жан Вальжан куда-то уехал. Как известно, ему случалось уезжать иногда, хоть и через значительные промежутки времени. Он отсутствовал день или два, самое большее. Куда он отправлялся? Никто этого не знал, даже Козетта. Только раз, в один из этих отъездов, она провожала его в фиакре до маленького глухого переулочка, на углу которого можно было прочесть: «Дровяной тупик». Там он сошел, и фиакр отвез Козетту обратно на Вавилонскую улицу. Обычно Жан Вальжан предпринимал эти маленькие путешествия, когда в доме не оставалось денег.

Итак, Жан Вальжан был в отъезде. Уезжая, он сказал: «Я вернусь через три дня».

Вечером Козетта была одна в гостиной. Чтобы развлечься, она открыла фисгармонию и начала петь, аккомпанируя себе, «В лесу заблудились охотники...» – хор из «Эврианта», быть может, самое прекрасное из всех музыкальных произведений. Окончив, она задумалась.

Внезапно послышались чьи-то шаги в саду.

Это не мог быть ее отец, он отсутствовал. Это не могла быть Тусен, она спала. Было десять часов вечера.

Она подошла к окну гостиной, закрытому внутренней ставней, и прильнула к ней ухом.

Ей показалось, что это мужские шаги и что ходят очень осторожно.

Она быстро поднялась на второй этаж, в свою комнату, открыла прорезанную в ставне форточку и выглянула в сад. Стояло полнолуние. Было светло, как днем.

В саду никого не оказалось.

Она открыла окно. В саду было спокойно, а на улице, насколько удавалось разглядеть, – пустынно, как всегда.

Козетта подумала, что ошиблась, очевидно, ей только показалось, что она слышала шум. Это была галлюцинация, вызванная чудесным и мрачным хором Вебера, который открывает духу пугающие неведомые глубины и трепещет перед вами, подобно дремучему лесу, – хором, где слышится потрескивание сухих веток под торопливыми шагами скрывающихся в сумраке охотников. Она перестала об этом думать...

Впрочем, по натуре Козетта не была слишком робкой. В ее жилах текла кровь простолюдинки, босоногой искательницы приключений. Припомним, что она более походила на жаворонка, чем на голубку. В основе ее характера лежали нелюдимость и смелость.

На другой день вечером, но пораньше, когда еще только стало темнеть, она гуляла в саду. Среди смутных мыслей, занимавших ее, ей казалось, что время от времени она ясно различает шум, подобный вчерашнему, словно кто-то ходил в темноте под деревьями, не очень далеко от нее. Но она подумала, что ничто так не напоминает шаги человека в траве, как шорох двух качающихся веток, задевающих друг друга, и не встревожилась. Впрочем, она ничего и не видела.

Она вышла из «заросли»; ей оставалось лишь пересечь маленькую зеленую лужайку, чтобы дойти до крыльца. Когда Козетта направилась к дому, луна, всхлывшая позади, отбросила ее тень на эту лужайку.

Козетта остановилась в испуге.

Рядом с ее тенью луна отчетливо вырисовывала на траве другую тень, внушившую ей особенный страх и ужас, – тень в круглой шляпе.

Казалось, это была тень человека, стоявшего на опушке зарослей кустарника, в двух-трех шагах от Козетты.

Несколько мгновений она не могла ни заговорить, ни крикнуть, ни позвать, ни пошевелиться, ни повернуть голову.

Наконец она собралась с духом и решительно оглянулась.

Никого не было.

Она посмотрела на землю. Тень исчезла.

Она снова вернулась в заросли кустарника, смело обыскала все углы, дошла до решетки и ничего не обнаружила.

Она вся похолодела. Неужели это новая галлюцинация? Может ли быть? Два дня подряд! Одна галлюцинация – это еще куда ни шло, но две галлюцинации? Особенно тревожило ее то, что тень, безусловно, не была привидением. Привидения никогда не носят круглых шляп.

На следующий день Жан Вальжан возвратился. Козетта рассказала ему все, что ей прислышалось и привиделось. Она ожидала, что отец ее успокоит и, пожав плечами, скажет: «Ты маленькая дуручка».

Но Жан Вальжан задумался.

– Тут что-нибудь да есть, – сказал он.

Под каким-то предлогом он оставил ее и отправился в сад, и она заметила, что он очень внимательно осматривал решетку.

Ночью она проснулась; на этот раз она ясно услышала, что кто-то ходит возле крыльца под ее окном. Она подбежала к форточке и открыла ее. В саду на самом деле был какой-то человек с большой палкой в руке. Она уже собралась крикнуть, как вдруг луна осветила профиль этого человека. То был ее отец.

Она снова улеглась, подумав: «Значит, он очень встревожен!»

Жан Вальжан провел в саду эту ночь и две следующие ночи. Козетта видела его в щель ставни.

На третью ночь убывающая луна начала подниматься позже, и, возможно, был уже час ночи, когда она услышала взрыв громкого хохота и голос отца, который звал ее:

– Козетта!

Она вскочила с постели, надела капот и открыла окно.

Ее отец стоял внизу, на лужайке.

– Я разбудил тебя, чтобы ты успокоилась, – сказал он, – смотри. Вот твой призрак в круглой шляпе.

И он показал ей лежащую на траве длинную тень, обрисованную луной, действительно очень похожую на силуэт человека в круглой шляпе. Это была тень железной печной трубы с колпаком, возвышавшейся над соседней крышей.

Козетта тоже рассмеялась, все ее мрачные предположения исчезли, и на следующий день, завтракая с отцом, она потешалась над этим зловещим садом, который посещали призраки печных труб.

К Жану Вальжану вернулось его спокойствие; что же до Козетты, то она даже хорошенько не заметила, могла ли печная труба отбрасывать свою тень туда, где она ее видела или думала,

что видит, и находилась ли луна в той же точке неба. Она не задалась вопросом относительно странного поведения печной трубы, боявшейся быть захваченной с поличным и скрывшейся при взгляде на ее тень, ибо тень исчезла, как только Козетта обернулась, – Козетта была в этом уверена. Однако она успокоилась совершенно. Доказательство отца показалось ей неоспоримым, и мысль о том, что кто-то вечером или ночью мог ходить по саду, оставила ее.

Но через несколько дней случилось новое происшествие.

Глава 3, обогащенная комментариями Тусен

В саду, возле решетки, выходящей на улицу, стояла каменная скамья, скрытая от взглядов любопытных ветвями граба, тем не менее при желании прохожий мог дотянуться до нее рукой через решетку и ветви.

Как-то вечером, в том же апреле месяце, Жана Вальжана не было дома, и Козетта после заката солнца пришла посидеть на этой скамье. Свежий ветер шумел в деревьях. Козетта задумалась, беспредметная печаль мало-помалу овладела ею – та непреодолимая печаль, которую приносит вечер и которую, быть может, навевает приоткрывшая себя в этот час загробная тайна.

Как знать, не присутствовала ли здесь Фантина, скрытая в этой вечерней тьме?

Козетта встала, медленно обошла сад, ступая по росистой траве, и, несмотря на меланхолический сон наяву, в который она погрузилась, все же промолвила про себя: «Чтобы ходить по саду в это время, непременно нужны деревянные башмаки. А то можно простудиться».

Она снова направилась к скамье.

Опускаясь на нее, она заметила на том месте, где раньше сидела, довольно большой камень, которого там, несомненно, не было за несколько мгновений до этого.

Козетта смотрела на камень, спрашивая себя: что это может означать? Внезапно в ней возникла мысль, испугавшая ее, – мысль о том, что этот камень появился на скамье не сам собой, что кто-то положил его сюда, что чья-то рука дотянулась сюда сквозь прутья решетки. На этот раз страх имел основания; камень был налицо. Сомнений не оставалось; даже не прикоснувшись к нему, она убежала, боясь оглянуться, влетела в дом и тотчас закрыла на ставень, на замок и засов стеклянную входную дверь.

– Отец вернулся? – спросила она Тусен.

– Нет еще, барышня.

(Мы как-то уже указали на заикание Тусен. Да будет позволено нам больше его не отмечать. Нам претит звуковое изображение прирожденного недостатка.)

Жан Вальжан, склонный к задумчивости, любил ночные прогулки и часто возвращался довольно поздно.

– Тусен, – продолжала Козетта, – хорошо ли вы запираете ставни на болты, хотя бы в сад? Закладываете ли вы в петли железные клинышки?

– О, будьте спокойны, барышня.

Тусен делала все добросовестно, и хотя Козетта хорошо знала об этом, все же она не могла не прибавить:

– Ведь здесь так пустынно вокруг!

– Вот уж правда, барышня, – подхватила Тусен. – Убьют, и пикнуть не успеешь! А наш хозяин еще и дома не ночует. Но не бойтесь ничего, барышня, я запираю окна все равно как в крепости. Одни женщины в доме! Ну как тут не дрожать от страха! Только подумать! Вдруг

ночью к тебе в комнату ввалятся мужчины, прикажут «молчи» и начнут полосовать тебе горло... И не так уж боишься смерти, все умирают, ничего тут не поделаешь, ведь все равно когда-нибудь помрешь, но, поди, противно чувствовать, как эти люди берутся за тебя. А потом, наверно, и ножи у них тупые! О господи!

– Полно вам, – сказала Козетта. – Заприте все хорошенько.

Козетта, испуганная мелодрамой, выдуманной Тусен, а быть может, и ожившим в ней воспоминанием о привидении прошлой недели, даже не посмела сказать: «Ступайте же, посмотрите, там кто-то положил камень на скамью!» Она боялась открыть двери в сад из страха перед тем, как бы «мужчины» не вошли в дом. Она приказала тщательно запереть двери и окна, заставила Тусен обойти весь дом от погреба до чердака, заперла дверь в своей комнате, посмотрела под кроватью и легла спать, но спала плохо. Всю ночь ей мерещился камень, огромный, как гора, и весь изрытый пещерами.

Утром, когда взошло солнце, – а восходящему солнцу свойственно вызывать у нас смех над всеми ночными страхами, и смех этот тем радостнее, чем сильнее испытанный нами страх, – Козетта, проснувшись, ощутила свой ужас, как мучительный сон. «Что это мне привиделось? – сказала она себе. – Вот и на прошлой неделе померещились мне ночью шаги в саду! А потом я испугалась тени печной трубы! Неужели я стала трусихой?» Яркое солнце, пробившееся сквозь щели ставен и окрасившее пурпуром шелковые занавеси, настолько ободрило ее, что все эти ужасы померкли в ее воображении, даже камень.

«Никакого камня нет на скамейке, как не было и человека в круглой шляпе в саду, – решила она. – Мне приснился этот камень, как и все остальное».

Она оделась, спустилась в сад, подбежала к скамье и облилась холодным потом. Камень был там.

Но это длилось одно мгновение. То, что пугает ночью, днем возбуждает любопытство.

«Какой вздор! – сказала она себе. – Ну-ка посмотрим, что тут такое!»

Она приподняла камень, оказавшийся довольно тяжелым. Под ним лежало что-то похожее на письмо.

Это был конверт из белой бумаги. Козетта схватила его. На нем не было ни адреса, ни печати на обратной стороне. Тем не менее конверт, хотя и незаклеенный, не был пуст. Внутри лежали какие-то бумаги.

Козетта открыла его. Теперь ею уже владели не страх и не любопытство, а тревога.

Она вынула из конверта маленькую тетрадь, где каждая страница была пронумерована и заключала несколько строк, написанных довольно красивым, как подумала Козетта, и очень мелким почерком.

Козетта стала искать имя – его не было; подпись – ее не было. Кому это адресовано? Вероятно, ей, так как чья-то рука положила пакет на ее скамью. От кого бы это? Она почувствовала себя во власти каких-то непреодолимых чар, она попыталась отвести глаза от этих листков, трепетавших в ее руке, взглянула на небо, на улицу, на акации, залитые светом, на голубей, летавших над соседней кровлей, потом вдруг взор ее упал на рукопись, и она подумала, что должна узнать, о чем там написано. Вот что она прочла.

Глава 4

Сердце под камнем

Сосредоточение вселенной в одном существе, претворение одного существа в божество – вот любовь.

Любовь – это приветствие, которое ангелы шлют звездам.

Как печальна душа, когда она опечалена любовью!

Как пусто вокруг, когда нет рядом существа, которое одним собою заполняет весь мир! Как верно, что любимое существо становится богом! Как понятно, что бог возревновал бы, если бы он, отец всего сущего, не создал, а это очевидно, вселенную для души, а душу для любви.

Достаточно одной улыбки из-под белой креповой шляпки с лиловым бантом, чтобы душа вступила в чертог мечты.

Бог за всем, но все скрывает бога. Вещи темны, живые творения непроницаемы. Любить живое существо – значит проникнуть в его душу.

Некоторые мысли – те же молитвы. Есть мгновения, когда душа, независимо от положения тела, – на коленях.

Разлученные возлюбленные обманывают разлуку тысячью химер, которые, однако, по-своему реальны. Им не дают видеться, они не могут переписываться; тогда они находят множество таинственных средств общения. Они посылают друг другу пение птиц, аромат цветов, детский смех, солнечный свет, вздохи ветра, звездные лучи, весь мир. Почему же нет? Все творения божии созданы служить любви. Любовь достаточно могущественна, чтобы обязать всю природу передавать свои послания. О весна! Ты – письмо, которое я ей пишу.

Будущее в гораздо большей степени принадлежит сердцу, нежели уму. Любить – вот то единственное, что может завладеть вечностью и наполнить ее. Бесконечное требует неисчерпаемого.

В любви есть что-то от самой души. Она той же природы. Подобно душе, она – божественная искра, подобно душе, она неуязвима, неделима, неистребима. Это огненное средоточие, бессмертное и бесконечное, которое ничто не может ограничить и ничто не может в нас погасить. Чувствуешь его жар, пронизывающий до мозга костей, и видишь его сияние, достигающее самой глубины небес.

О любовь! Обожание! Наслаждение двух душ, понимающих друг друга, двух сердец, отдающихся друг другу, двух взглядов, проникающих друг в друга! Ведь ты придешь, не правда ли, о счастье? Одинокие прогулки вдвоем! Дни благословенные и лучезарные! Иногда мне грезилось, что время от времени от жизни ангелов отделяются мгновения и спускаются сюда на землю, чтобы пронестись сквозь человеческую судьбу.

Бог ничего не может прибавить к счастью тех, кто любит друг друга, кроме бесконечной длительности этого счастья. После жизни, полной любви, – вечность, полная любви; это действительно продление ее; но увеличить саму силу невыразимого счастья, которое любовь дает душе в этом мире, невозможно даже для бога. Бог – это полнота неба; любовь – это полнота человеческого существа.

Мы смотрим на звезду по двум причинам: потому, что она излучает свет, и потому, что она

непостижима. Но возле нас есть еще более нежное сияние и еще более великая тайна – женщина!

У всех нас, кто бы мы ни были, есть существо, которым мы дышим. Лишенные его, мы лишены воздуха, мы задыхаемся. И тогда – смерть. Умереть из-за отсутствия любви – ужасно. Это смерть от удушья.

Когда любовь соединила и слила два существа в небесное и священное единство, тайна жизни найдена ими; теперь они лишь две грани единой судьбы; теперь они лишь два крыла единого духа. Любите, парите!

В тот день, когда вам покажется, что от проходящей мимо вас женщины исходит свет, вы погибли, вы любите. Тогда вам остается только одно: думать о ней так неотступно, что она будет принуждена думать о вас.

То, что начинает любовь, может быть завершено только богом.

Истинная любовь приходит в отчаяние или в восхищение из-за потерянной перчатки или найденного носового платка и нуждается в вечности для своего самоотвержения и своих надежд. Любовь слагается одновременно из бесконечно великого и из бесконечно малого.

Если вы камень – будьте магнитом; если вы растение – будьте мимозой, если вы человек – будьте любовью.

Ничем не удовлетворяется любовь. Человек обрел счастье – он хочет рая; он обрел рай – он хочет неба.

О, любящие друг друга, все это заключает в себе любовь. Умейте лишь найти это в ней. У любви есть то же, что у неба, – созерцание, и больше, чем у неба, – наслаждение.

– Бывает ли она еще в Люксембургском саду? – Нет, сударь. – Она ходит к мессе в эту церковь, не правда ли? – Она больше в нее не ходит. – Она по-прежнему живет в этом доме? – Она переехала. – Где же она теперь живет? – Она не сказала.

Как безотрадно не знать адреса своей души!

Любви свойственна ребячливость, другим страстям – мелкость. Позор страстям, делающим человека мелким! Честь той, которая превращает его в ребенка!

Как странно! Знаете? Я – во тьме. Одно существо, уходя, унесло с собою небо.

О, лежать рядом, бок о бок, в одной гробнице и время от времени во мраке тихонько касаться пальцев друг друга – этого было бы достаточно мне на целую вечность!

Вы, страдающие, потому что любите, любите еще сильнее. Умирать от любви – значит жить ею.

Любите. Непостижимое мерцающее звездами преображение соединено с этой мукой. В

агонии есть упоение.

О, радость птиц! У них есть песни, потому что у них есть гнезда.

Любовь – божественное вдыхание воздуха рая.

Глубокие сердца, мудрые умы, берите жизнь такой, какой ее создал бог; это длительное испытание, непонятное приготовление к неведомой судьбе. Эта судьба – истинная судьба – открывается перед человеком на первой ступени, ведущей внутрь гробницы. Тогда нечто предстает ему, и он начинает различать конечное. Конечное! Вдумайтесь в это слово. Живые видят бесконечное; конечное зримо только мертвым. В ожидании любите и страдайте, надейтесь и созерцайте. Увы, горе тому, кто любил только тела, формы, видимость! Смерть отнимет у него все. Старайтесь любить души, и вы найдете их вновь.

Я встретил на улице молодого человека, очень бедного и влюбленного. Он был в поношенной шляпе, в потертой одежде; у него были дыры на локтях; вода проникала в его башмаки, а звездные лучи – в его душу.

Какое великое дело быть любимым! И еще более великое – любить! Сердце становится героическим силою страсти. Оно хранит в себе лишь то, что чисто; оно опирается лишь на то, что возвышенно и велико. Недостойная мысль уже не может в нем пустить росток, как не может прорасти крапива на льду. Душа, высокая и ясная, недоступна для грубых чувств и страстей; вознесясь над облаками и тенями земного мира, над безумствами, ложью, ненавистью, тщеславием, суетой, она живет в небесной синеве и ощущает лишь глубинные, скрытые колебания судьбы; так горные вершины ощущают подземные толчки.

Не найдись на свете хоть один любящий, солнце угасло бы.

Глава 5

Козетта после письма

Читая, Козетта мало-помалу погружалась в мечтательную задумчивость. Как раз в ту минуту, когда она подняла глаза от последней строки, красивый офицер – это было время его обычного появления – победоносно прошествовал мимо решетки. Козетта нашла его отвратительным.

Она снова принялась созерцать тетрадку. Почерк записей показался Козетте восхитительным; они были сделаны одной и той же рукой, но разными чернилами, иногда бледноватыми, иногда густо черными, как бывает, когда в чернильницу подливают чернила, – следовательно, они сделаны были в разные дни. Значит, это была мысль, изливавшаяся там, вздох за вздохом, беспорядочно, неровно, без выбора, без цели, случайно. Козетта никогда не читала ничего подобного. Эта рукопись, в которой для нее было больше сияния, чем тьмы, действовала на нее, как приоткрывшееся перед ней святилище. Ей казалось, что каждая из этих таинственных строк сверкает, заливая ее сердце странным светом. Полученное ею воспитание всегда твердило ей о душе и никогда – о любви; так можно говорить о костре, не упоминая о пламени. Эта рукопись в пятнадцать страниц внезапно и мягко открыла ей всю любовь, скорбь, судьбу, жизнь, вечность, начало, конец. Словно чья-то рука разжалась и бросила ей вдруг пригоршню лучей. Она почувствовала в этих нескольких строках страстную, пылкую,

великодушную, честную натуру, твердую волю, бесконечную скорбь и бесконечную надежду, страдающее сердце, пылкий восторг. Что собой представляла эта рукопись? Письмо. Письмо без адреса, без имени, без числа, без подписи, настойчивое и ничего не требующее, загадка, составленная из истин, весть любви, достойная быть принесенной ангелом и прочитанной девственницей, свидание, состоявшееся вне земных пределов, любовная записка от призрака к тени. Это был некто отсутствующий, изнемогший и смиренный, казалось, готовый скрыться в обитель смерти и посылавший той, которая ушла, тайну судьбы, ключ к жизни, любовь. Это было написано на краю могилы, со взором, поднятым к небу. Эти строки, оброненные одна за другой на бумагу, могли быть названы каплями души.

Но от кого могли быть эти страницы? Кто мог их написать?

Козетта не колебалась ни одного мгновения. Только один человек.

Он!

Душа ее вновь озарилась светом. Все ожило в ней. Она испытывала небывалую радость и глубокую тревогу. То был он! Он писал ей! Он был здесь! Его рука проникла сквозь решетку! Она уже стала забывать о нем, а он снова разыскал ее! Но разве она его забыла? Нет, никогда! Она сошла с ума, если могла на мгновение этому поверить. Она всегда любила его, всегда обожала. Огонь в ней подернулся пеплом и некоторое время тлел внутри, но – она ясно это видела – он успел пробраться еще глубже и теперь, вспыхнув снова, охватил ее всю целиком. Эта тетрадь была как бы искрой, упавшей из другой души в ее душу. Она чувствовала, как разгорается пожар. Она впитывала в себя каждое слово рукописи. «О да! – говорила она. – Как мне знакомо все это. Я уже раньше прочитала все в его глазах».

Когда она в третий раз кончала чтение тетради, лейтенант Теодюль снова возник перед решеткой, позванивая шпорами по мостовой. Это заставило Козетту взглянуть на него. Она нашла его бесцветным, нелепым, глупым, никчемным, пошлым, отталкивающим, наглым и очень безобразным. Офицер считал долгом улыбнуться. Она отвернулась, пристыженная и негодующая. С удовольствием швырнула бы она ему чем-нибудь в голову.

Она убежала и, войдя в дом, заперлась в своей комнате, чтобы еще раз прочитать рукопись, выучить ее наизусть и помечтать. Хорошенько перечитав тетрадь, она поцеловала ее и спрятала у себя на груди.

Итак, свершилось. Козетта снова предалась глубокой ангельски-чистой любви. Райская бездна снова открылась перед ней.

Весь день Козетта провела в каком-то чаду. Она почти не в состоянии была думать, ее мысли походили на спутанный клубок, она терялась в догадках; объятая трепетом, она таила надежду. На что? На что-то неясное. Она не осмеливалась ничего обещать себе и не хотела ни от чего отказываться. Лицо ее то и дело бледнело, по всему телу пробегала дрожь. Мгновениями ей казалось, что она начинает бредить; она спрашивала себя: «Неужели это правда?» И тогда она дотрагивалась до скрытой под платьем драгоценной тетради, прижимала ее к сердцу, чувствовала ее прикосновение к телу, и если бы Жан Вальжан видел ее в это время, он содрогнулся бы, глядя на неведомую лучезарную радость, изливавшуюся из ее глаз. «О да, – думала она, – это, наверное, он! Это он написал для меня».

И она твердила себе, что он возвращен ей благодаря вмешательству ангелов, благодаря божественной случайности.

О, превращения любви! О, мечты! Этой божественной случайностью, этим вмешательством ангелов был хлебный шарик, переброшенный одним вором другому со двора Шарлемань во Львиный ров через крыши тюрьмы Форс.

С наступлением вечера, когда Жан Вальжан ушел, Козетта нарядилась. Она причесалась к лицу и надела платье с вырезанным несколько глубже обычного корсажем, приоткрывавшим шею и плечи и поэтому, как говорили молодые девушки, «немножко неприличным». Это ни в какой мере не было неприличным, но зато как нельзя более красивым. Она сама не знала, для чего так принарядилась.

Собиралась ли она выйти из дому? Нет.

Ожидала ли чьего-нибудь посещения? Нет.

В сумерках она спустилась в сад. Тусен была занята в кухне, выходявшей окнами в задний дворик.

Она тихо бродила по аллеям, время от времени отстраняя рукой низко свисавшие ветви деревьев.

Так она дошла до скамьи.

Камень по-прежнему лежал на ней.

Она уселась и положила нежную белую руку на этот камень, точно желая его приласкать и поблагодарить.

Вдруг ею овладело то неопределимое чувство, которое испытывает человек, когда кто-нибудь, пусть даже не видимый им, стоит позади.

Она повернула голову и встала.

Это был он.

Он стоял с обнаженной головой. Он казался бледным и исхудавшим. Во тьме едва можно было различить его черную одежду. В сумерках белел его прекрасный лоб, тонули в тени глаза. Под дымкой необычайного умиротворения в нем было что-то от смерти и ночи. Свет угасавшего дня и мысль отлетавшей души озаряли его лицо.

Казалось, то был еще не призрак, но уже не человек.

Его шляпа лежала неподалеку на траве.

Козетта, готовая лишиться сознания, не вскрикнула. Она медленно отступала назад, потому что чувствовала, как ее влечет к нему. Он не шевельнулся. От него веяло чем-то неизреченным и печальным, и она чувствовала его взгляд, хотя глаз его не видела.

Отступая, Козетта встретила дерево и прислонилась к нему. Не будь этого дерева, она бы упала.

Тогда она услышала его голос, этот голос, которого она никогда еще не слыхала, чуть различимый в шелесте листьев и шептавший ей:

– Простите меня, я здесь. Сердце мое истосковалось, я не мог больше так жить, и вот я пришел сюда. Читали вы то, что я положил здесь на скамью? Узнаете ли вы меня? Не бойтесь. Помните ли тот день, когда вы на меня взглянули? С тех пор прошло так много времени. Это было в Люксембургском саду, возле статуи Гладиатора. И день, когда вы прошли мимо? То было шестнадцатого июня и второго июля. Почти год тому назад. Я не видел вас очень давно. Я спрашивал у женщины, сдающей стулья, и она мне сказала, что больше не видала вас. Вы жили в новом доме на Западной улице на третьем этаже, окнами на улицу, – видите, я знаю и это. Я провожал вас. Что же мне оставалось делать? И потом вы исчезли. Однажды, когда я читал газеты под аркадой Одеона, мне показалось, что вы прошли. Я побежал. Но нет. То была какая-то женщина в такой же шляпке, как у вас. Ночью я прихожу сюда. Не бойтесь, никто меня не видит. Я прихожу посмотреть на ваши окна вблизи. Я ступаю очень тихо, чтобы вы не слышали, потому что вы, может быть, испугались бы. Недавно вечером я стоял позади вас, но вы обернулись, и я убежал. Один раз я слышал, как вы пели. Я был счастлив. Ведь правда, вам не

могло помешать то, что я слушал, когда вы пели в комнате? В этом нет ничего дурного. Правда, нет? Видите ли, вы – мой ангел. Позвольте мне изредка приходить; мне кажется, что я скоро умру. О, если бы вы знали! Я обожаю вас! Простите меня, я не знаю, что говорю вам. Быть может, вы сердитесь на меня? Скажите, вы рассердились?

– О, матушка! – промолвила она.

И, словно умирая, начала медленно склоняться долу.

Он ее подхватил, она не держалась на ногах, он обнял ее, он крепко сжал ее в объятиях, не сознавая, что делает. Он поддерживал ее, сам шатаясь. Его голова была как в чадугу; перед глазами вспыхивали молнии, мысли исчезали куда-то; ему казалось, что он выполняет религиозный обряд и что он совершает святотатство. И все же у него не было никакого вожделения к этой пленительной женщине, которую он прижимал к груди. Он обезумел от любви.

Она взяла его руку и приложила к своему сердцу. Он почувствовал бумагу, спрятанную под платьем, и пролепетал:

– Так вы меня любите?

Она ответила так тихо, словно то был чуть слышный вздох:

– Молчи! Ты это знаешь!

И спрятала покрасневшее лицо на груди у гордого и опьяненного юноши.

Он опустился на скамью, она села возле него. Слов больше не было. В небе зажигались звезды. Как случилось, что их уста встретились? Как случается, что птица поет, что снег тает, что роза распускается, что май расцветает, что за черными деревьями на зыбкой вершине холма загорается заря?

Один поцелуй – это было все.

Оба вздрогнули и посмотрели друг на друга сиявшими в темноте глазами.

Они не чувствовали ни свежести ночи, ни холодного камня, ни влажной земли, ни мокрой травы, они глядели друг на друга, и сердца их были полны воспоминаний. Они сами не заметили, как их руки сплелись.

Она его не спрашивала, она даже не думала о том, как он вошел сюда, как проник в сад. Ей казалось таким естественным, что он здесь!

Иногда колено Мариуса касалось колена Козетты, и они оба вздрагивали.

Время от времени Козетта что-то невнятно шептала. Казалось, на устах ее трепещет душа, подобно капле росы на цветке.

Мало-помалу они разговорились. За молчанием, которое означает полноту чувств, последовали излияния. Над ними простиралась ясная, блистающая звездами ночь. Эти два существа, чистые, как духи, поведали все свои сны, свои восторги, свои упоения, мечты, тоску, поведали о том, как они обожали друг друга издали, как они стремились друг к другу, как отчаивались, когда перестали видаться. Ощущая ту идеальную близость, которую ничто уже не могло сделать полнее, они поделились всем, что было у них самого тайного, самого сокровенного. Они рассказали с чистосердечной верой в свои иллюзии все, что любовь, юность и еще не изжитое детство вложили в их мысль. Эти два сердца излились друг в друга так, что через час юноша обладал душой девушки, а девушка – душой юноши. Они постигли, очаровали, ослепили друг друга.

Когда они сказали все, она положила голову на его плечо и спросила:

– Как вас зовут?

– Мариус. А вас?

– Козетта.

Книга шестая

Маленький Гаврош

Глава 1

Злая шалость ветра

С 1823 года, пока монфермейльская харчевня приходила в упадок и погружалась мало-помалу не столько в пучину разорения, сколько в помойную яму мелких долгов, супруги Тенардые обзавелись еще двумя детьми, двумя мальчиками. Всего их теперь было пятеро: две девочки и три мальчика. Это было много.

Тетка Тенардые отделалась от двух последних, совсем еще младенцев, с особым удовольствием.

Отделалась – подходящее слово. В этой женщине осталась лишь частица человеческой природы. Подобный феномен, впрочем, встречается не так редко. Как жена маршала де ла Мот-Гуданкур, Тенардые была матерью только для своих дочерей. Ее материнского чувства хватало лишь на них. С мальчиков же начиналась ее ненависть к человеческому роду. По отношению к сыновьям ее злоба достигала предела, и ее сердце вставало перед ними зловещей крутизной. Как мы уже видели, она питала отвращение к старшему и ненависть к обоим младшим. Почему? Потому. Самый страшный повод и самый неоспоримый ответ – это «потому». «Мне не нужна такая куча пискунов», – говорила мамаша.

Объясним, каким образом супругам Тенардые удалось избавиться от двух младших детей и даже извлечь из этого пользу.

Маньон – о ней речь шла выше – была та самая девица, которой удалось предоставить попечению добряка Жильнормана своих двух детей. Она жила на набережной Целестинцев, на углу старинной улицы Малая Кабарга, которая сделала все возможное, чтобы заменить свой дурной запах доброй славой. Все помнят сильную эпидемию крупа, опустошившую тридцать пять лет тому назад прибрежные кварталы Парижа; наука широко воспользовалась ею, чтобы проверить полезность вдувания квасцов, столь целесообразно замененного теперь наружным смазыванием йодом. Во время этой эпидемии Маньон потеряла в один день – одного утром, другого вечером – своих двух мальчиков, еще совсем малюток. То был удар. Дети были очень дороги своей матери; они представляли собой восемьдесят франков ежемесячного дохода. Эти восемьдесят франков аккуратно выплачивались от имени г-на Жильнормана его управляющим г-ном Баржем, отставным судебным приставом, проживавшим на улице Сицилийского короля. Со смертью детей на доходе надо было поставить крест. Маньон искала выхода из положения. В том темном братстве зла, членом которого она состояла, все знают обо всем, взаимно хранят тайны и помогают друг другу. Маньон нужно было найти двух детей. У Тенардые они оказались – того же пола, того же возраста. Выгодное дело для одной, выгодное помещение капитала для другой. Маленькие Тенардые стали маленькими Маньон. Маньон покинула набережную Целестинцев и переехала на улицу Клошперс. В Париже при переезде с одной улицы на другую тождественность личности исчезает.

Гражданская власть, не будучи ни о чем извещена, не возражала, и подмен детей был произведен легче легкого. Но Тенардые потребовал за своих детей, отданных на подержание, десять франков в месяц, которые Маньон обещала платить и даже выплачивала. Само собой разумеется, что г-н Жильнорман продолжал выполнять свои обязательства. Каждые полгода он навещал малышей. Он не заметил никакой перемены. «Как они похожи на вас, сударь!» – твердила ему Маньон.

Тенардье, для которого превращения были делом привычным, воспользовался этим случаем, чтобы стать Жондретом. Обе его дочери и Гаврош едва имели время заметить, что у них были два маленьких брата. На известной ступени нищеты человеком овладевает какое-то равнодушие призрака, и он смотрит на живые существа, как на выходцев с того света. Самые близкие люди часто оказываются смутными формами мрака, едва различимыми на туманном фоне жизни, и легко сливаются с невидимым.

Вечером того дня, когда тетка Тенардье доставила Маньон двух своих малюток, с нескрываемым желанием отказаться от них навсегда, она испытала или притворилась, что испытывает, какие-то угрызения совести. Она сказала мужу: «Но ведь это значит покинуть своих детей!» Тенардье, самоуверенный и бесстрастный, излечил эту недомогающую совесть следующими словами: «Жан-Жак Руссо делал еще почище!» От угрызений совести мать перешла к беспокойству: «А что, если полиция возьмется за нас? Скажи, Тенардье, то, что мы сделали, это разрешается?» Тенардье ответил: «Все разрешается. Никто ни черта не узнает. А кроме того, кому охота интересоваться ребятами, у которых нет ни гроша?»

Маньон была в некотором роде модницей в преступном мире. Она любила наряжаться. У нее на квартире, обставленной убого, но с притязаниями на роскошь, проживала опытная воровка – одна офранцузившаяся англичанка. Эта англичанка, ставшая парижанкой и пользовавшаяся доверием благодаря обширным связям, имела близкое отношение к краже медалей библиотеки и бриллиантов м-ль Марс и впоследствии стала знаменитостью в судебных летописях. Ее называли «мамзель Мисс».

Двум детям, попавшим к Маньон, не на что было жаловаться. Препорученные ей восемьдесятю франками, они были ухожены, как все, что приносит выгоду, недурно одеты, неплохо накормлены, почти на положении «барчуков»; им было лучше с подставной матерью, чем с настоящей. Маньон разыгрывала «даму» и не говорила на арго в их присутствии.

Так прошло несколько лет. Тетка Тенардье увидела в этом хорошее предзнаменование. Как-то раз она даже сказала Маньон, вручавшей ей ежемесячную мзду в десять франков: «Надо, чтобы отец дал им образование».

И вдруг эти дети, до сих пор достаточно опекаемые даже своей злой судьбой, были грубо брошены в жизнь и принуждены начинать ее самостоятельно.

Арест целой шайки злодеев, как это имело место в притоне Жондрета, и неизбежно следующие за этим обыски и тюремное заключение – настоящее бедствие для этих отвратительных противообщественных тайных сил, гнездящихся под узаконенной общественной формацией; событие подобного рода влечет за собой всяческие крушения в этом темном мире. Катастрофа с Тенардье вызвала катастрофу с Маньон.

Однажды, вскоре после того как Маньон передала Эпонине записку относительно улицы Плюме, полиция произвела неожиданную облаву на улице Клошперс; Маньон была схвачена, мамзель Мисс также, и все подозрительное население дома попало в расставленные сети. Оба мальчика играли на заднем дворе и не видели полицейского налета. Когда им захотелось вернуться домой, дверь оказалась запертой, а дом пустым. Башмачник, державший лавочку напротив, позвал их и сунул им бумажку, оставленную для них «матерью». На бумажке был адрес: «Г-н Барж, управляющий, улица Сицилийского короля, № 8». «Вы больше здесь не живете, – сказал им башмачник. – Идите туда. Это совсем близко. Первая улица налево. Спрашивайте дорогу по этой бумажке».

Дети двинулись в путь; старший вел младшего, держа в руке бумажку, которая должна была указать им дорогу. Было холодно, плохо сгибавшиеся окоченелые пальчики едва удерживали бумажку. На повороте улицы Клошперс порыв ветра вырвал ее, а так как время было к ночи, ребенок не мог ее найти.

Они пустились блуждать по улицам наугад.

Глава 2, в которой маленький Гаврош извлекает выгоду из великого Наполеона

Весною в Париже довольно часто дуют пронизывающие насквозь резкие северные ветры, от которых если и не леденеешь в буквальном смысле слова, то сильно зябнешь; эти ветры, омрачавшие самые погожие дни, производят совершенно такое же действие, как те холодные дуновения, которые проникают в теплую комнату через щели окна или плохо притворенную дверь. Кажется, что мрачные ворота зимы остались приоткрытыми и оттуда вырывается ветер. Весной 1832 года – время, когда в Европе вспыхнула первая в нынешнем столетии огромная эпидемия, – ветры были жестокими и пронизывающими как никогда. Приоткрылись ворота еще более леденящие, чем ворота зимы. То были ворота гробницы. В этих северных ветрах чувствовалось дыхание холеры.

С точки зрения метеорологической особенностью этих холодных ветров было то, что они вовсе не исключали сильного скопления электричества в воздухе. И в ту весну разражались частые грозы с громом и молнией.

Однажды вечером, когда ветер дул с такой силою, как будто возвратился январь, и когда горожане снова надели теплые плащи, маленький Гаврош, веселый, как всегда, хотя и дрожащий от холода в своих лохмотьях, словно замирая от восхищения, стоял перед лавочкой парикмахера близ Орм-Сен-Жерве. Он был наряжен в женскую шерстяную неизвестно где подобранную шаль, из которой сам соорудил себе шарф на шею. Маленький Гаврош, казалось, был очарован восковой невестой в платье с открытым лифом, с венком из флердоранжа, которая вращалась в окне между двух кенкетов, улыбаясь прохожим. На самом же деле он наблюдал за лавочкой, соображая, не удастся ли ему «слямзить» с витрины кусок мыла, чтобы потом продать его за одно су парикмахеру из предместья. Ему нередко случалось позавтракать с помощью такого вот кусочка. Он называл этот род работы, к которому имел призвание, «брить брадобреев».

Созерцая невесту и все время посматривая на кусок мыла, он бормотал сквозь зубы: «Во вторник... Нет, не во вторник... Разве во вторник?.. А может, и во вторник... Да, во вторник».

Так и осталось неизвестным, к чему относился этот монолог.

Если бы он случайно имел отношение к последнему обеду Гавроша, то с тех пор прошло уже три дня, так как сейчас была пятница.

Цирюльник, бривший постоянного клиента в своей хорошо натопленной лавочке, время от времени косо поглядывал на этого врага, на этого наглого озябшего мальчишку, руки которого были засунуты в карманы, а мысли, по-видимому, бродили бог весть где.

Покамест Гаврош изучал невесту, витрину и виндзорское мыло, двое ребят, один меньше другого и оба меньше его, довольно чистенько одетые, на вид один семи лет, другой лет пяти, робко повернули дверную ручку и вошли в лавочку, попросив чего-то, может быть, милостыни, жалобным шепотом, больше похожим на стон, чем на мольбу. Они говорили оба сразу, и разобрать их слова было невозможно, потому что голос младшего прерывали рыдания, а старший стучал зубами от холода. Рассвирепевший цирюльник, не выпуская бритвы, обернулся к ним и, подталкивая старшего правой рукой, а младшего коленом, выпроводил их на улицу и запер дверь со словами:

– Только холоду зря напустили!

Дети, плача, отправились дальше. Тем временем надвинулась туча и заморосил дождь.

Гаврош догнал их и спросил:

– Что с вами стряслось, птенцы?

– Мы не знаем, где нам спать, – ответил старший.

– Только-то? – удивился Гаврош. – Подумаешь, большое дело! Стоит из-за этого реветь. Вот так глупыши!

И, сохраняя все тот же вид несколько насмешливого превосходства, принял покровительственный мягкий тон растроганного начальства:

– Пошли за мной, малявки.

– Хорошо, сударь, – сказал старший.

И двое детей послушно последовали за ним, как последовали бы за архиепископом. Они даже перестали плакать.

Гаврош поднялся с ними на улицу Сент-Антуан, по направлению к Бастилии.

На ходу он обернулся и бросил негодующий взгляд на лавку цирюльника.

– Экий бесчувственный, настоящая вобла! – разразился он. – Верно, англичанишка какой-нибудь.

Гуляющая девица, увидев трех мальчишек, идущих гуськом, с Гаврошем во главе, разразилась громким смехом. Смех указывал на отсутствие уважения к этой компании.

– Здравствуйте, мамзель Для-всех, – приветствовал ее Гаврош.

Минуту спустя, вспомнив опять парикмахера, он прибавил:

– Я ошибся насчет той скотины, это не вобла, а кобра. Эй, брадобрей, я найду слесарей, мы приладим тебе погремушку на хвост!

Парикмахер пробудил в нем воинственность. Перепрыгивая через ручей, он обратился к бородатой привратнице, стоявшей с метлой в руках и достойной встретить Фауста на Брокене:

– Сударыня, вы всегда выезжаете на собственной лошади?

И тут же забрызгал грязью лакированные сапоги какого-то прохожего.

– Шалопай! – крикнул взбешенный прохожий.

Гаврош высунул нос из своей шали.

– На кого изволите жаловаться?

– На тебя, – ответил прохожий.

– Контора закрыта, – выпалил Гаврош. – Я больше не принимаю жалоб.

Между тем, продолжая подниматься по улице, он заметил под воротами окоченевшую нищенку лет тринадцати-четырнадцати в такой короткой одежонке, что видны были ее колени. Она уже слишком выросла из своих нарядов. Рост может сыграть такую штуку. Юбка становится короткой к тому времени, когда нагота становится неприличной.

– Бедняжка! – сказал Гаврош. – У ихней братии и штанов-то нету. Замерзла небось. На-ка, держи!

Размотав на своей шее теплую шерстяную ткань, он накинул ее на худые, посиневшие плечики нищенки, и шарф снова превратился в шаль.

Девочка изумленно посмотрела на него и приняла шаль молча. На известной ступени нужды бедняк, оступев, не жалуется больше на зло и не благодарит за добро.

– Бр-р-р, – застучал зубами Гаврош, дрожа сильнее, чем святой Мартин, который сохранил по крайней мере половину своего плаща.

При этом «бр-р-р» дождь, словно еще сильнее обозлившись, полил как из ведра. Так злые небеса наказуют за добрые деяния.

– Ах, так? – воскликнул Гаврош. – Это еще что такое? Опять полилось? Господь бог, если так будет продолжаться, я отказываюсь платить за воду!

И он снова зашагал.

– Все равно, – прибавил он, взглянув на нищенку, съежившуюся под шалью, – у ней-то надежная шкурка.

И, взглянув на тучу, крикнул:

– Вот тебя и провели!

Дети старались поспевать за ним.

Когда они проходили мимо одной из витрин, забранных частой решеткой, указывающей на булочную, – ибо хлеб, подобно золоту, держат за железной решеткой, – Гаврош обернулся:

– Да, вот что, малыши, вы обедали?

– Сударь, – ответил старший, – мы не ели с самого сегодняшнего утра.

– Значит, у вас нет ни отца, ни матери? – величественно спросил Гаврош.

– Прошу извинить, сударь, у нас есть и папа, и мама, только мы не знаем, где они.

– Иной раз это лучше, чем знать, – заметил Гаврош, который был мыслителем.

– Вот уже два часа, как мы идем, – продолжал старший, – мы искали чего-нибудь около тумб, но ничего не нашли.

– Знаю, – сказал Гаврош. – Собаки подобрали, они все пожирают.

И, помолчав, прибавил:

– Так, значит, мы потеряли родителей. И мы не знаем, что нам делать. Это никуда не годится, ребята. Людям в годах просто глупо вдруг заблудиться. Да, вот что! Нужно, однако, пожевать чего-нибудь.

Больше вопросов он им не задавал. Остаться без жилья – что может быть проще?

Старший мальчуган, почти совсем вернувшись к свойственной детству беззаботности, воскликнул:

– Как смешно! Ведь мама-то говорила, что в Вербное воскресенье поведет нас за освященной вербой...

– Для порки, – закончил Гаврош.

– Моя мама, – начал снова старший, – настоящая дама, она живет с мамзель Мисс...

– Фу-ты-ну-ты-ножки-гнуты, – подхватил Гаврош.

Тут он остановился и стал рыться и шарить во всех тайниках своих лохмотьев.

Наконец он поднял голову с видом, долженствовавшим выражать лишь удовлетворение, но на самом деле торжествующим.

– Спокойствие, младенцы! Хватит на ужин всем троим.

Не дав малюткам времени изумиться, он втолкнул их обоих в булочную, швырнул свое су на прилавок и крикнул:

– Продавец, на пять сантимов хлеба!

«Продавец», оказавшийся самым хозяином, взялся за нож и хлеб.

– Три куска, продавец! – снова крикнул Гаврош.

И он прибавил с достоинством:

– Нас трое.

Заметив, что булочник, внимательно оглядев трех покупателей, взял пеклеванный хлеб, он глубоко засунул палец в нос и, втянув воздух с таким надменным видом, будто угостился понюшкой из табакерки Фридриха Великого, негодуя крикнул булочнику прямо в лицо:

– Этшкое?

Тех из наших читателей, которые имели бы поползновение счесть восклицание Гавроша русским или польским словом или тем воинственным кличем, каким перебрасываются через пустынные пространства, от реки до реки, иоваи и ботокудосы, мы предупреждаем, что слово это они (наши читатели) употребляют ежедневно и что оно заменяет фразу «Это что такое?». Булочник это прекрасно понял и ответил:

– Ну и что ж? Это хлеб очень хороший, хлеб второго сорта.

– Вы хотите сказать – железняк? – возразил Гаврош спокойно и холодно-негодуя. –

Белого хлеба, продавец! Чистяка! Я угощаю.

Булочник не мог не улыбнуться и, нарезая белого хлеба, жалостливо посматривал на них, что оскорбило Гавроша.

– Эй вы, хлебопек, – сказал он, – с чего это вы вздумали снимать с нас мерку?

Если бы их всех трех поставить друг на друга, то они вряд ли составили бы сажень.

Когда хлеб был нарезан и булочник бросил в ящик су, Гаврош обратился к детям:

– Лопайте.

Мальчики с недоумением посмотрели на него.

Гаврош рассмеялся:

– А, вот что! Верно, они этого еще не понимают, не выросли. – И затем прибавил: – Ешьте.

И протянул каждому из них по куску хлеба.

Решив, что старший, по его мнению, более достойный беседовать с ним, заслуживает особого поощрения и должен быть избавлен от всякого беспокойства при удовлетворении своего аппетита, он прибавил, сунув ему самый большой кусок:

– Залепи-ка это себе в дуло.

Один кусок был меньше других; он взял его себе.

Бедные дети изголодались, да и Гаврош тоже. Усердно уписывая хлеб, они толклись в лавочке, и булочник, которому было уплачено, теперь уже смотрел на них недружелюбно.

– Выйдем на улицу, – сказал Гаврош.

Они снова пошли по направлению к Бастилии.

Время от времени, если им случалось проходить мимо освещенных лавочных витрин, младший останавливался и смотрел на оловянные часики, висевшие у него на шее на шнурочке.

– Ну не глупыши разве? – говорил Гаврош.

Потом, задумавшись, он бормотал сквозь зубы:

– Как-никак, будь у меня малыши, я бы за ними получше смотрел.

Когда они доедали хлеб и дошли уже до угла мрачной Балетной улицы, в глубине которой виднеется низенькая и зловещая калитка тюрьмы Форс, кто-то сказал:

– Смотри-ка, это ты, Гаврош?

– Смотри-ка, это ты, Монпарнас? – отвечивал Гаврош.

К нему подошел какой-то человек, и человек этот был не кто иной, как Монпарнас; хоть он и переоделся и нацепил синие окуляры, тем не менее Гаврош узнал его.

– Вот так штука! – продолжал Гаврош. – Твоя хламида как раз такого цвета, как припарки из льняного семени, а синие очки – точь-в-точь докторские. Все как следует, одно к одному, верь старику!

– Тише, – одернул его Монпарнас, – не ори так громко!

И он быстро оттащил Гавроша подальше от освещенных лавочек.

Двое малышей машинально пошли за ними, держась за руки.

Когда они оказались под черным сводом каких-то ворот, укрытые от взглядов прохожих и от дождя, Монпарнас спросил:

– Знаешь, куда я иду?

– В монастырь Вознесение-Поневоле^[124], – ответил Гаврош.

– Шутник! – И Монпарнас продолжал: – Я хочу разыскать Бабета.

– Ах, ее зовут Бабетой! – ухмыльнулся Гаврош.

Монпарнас понизил голос:

– Не она, а он.

– Ах, так это ты насчет Бабета?

– Да, насчет Бабета.

– Я думал, он попал в конверт.

– Он его распечатал, – ответил Монпарнас.

И он быстро рассказал мальчику, что утром Бабет, которого перевели в Консьержери, бежал, взяв налево, вместо того чтобы пойти направо, в «коридор допроса».

Гаврош подивился его ловкости.

– Ну и мастак! – сказал он.

Монпарнас прибавил несколько подробностей относительно бегства Бабета и окончил так:

– О, это еще не все!

Гаврош, слушая Монпарнаса, взялся за трость, которую тот держал в руке, машинально потянул за набалдашник, и наружу вышло лезвие кинжала.

– Ого! – сказал он, быстро вдвинув кинжал обратно. – Ты захватил с собой телохранителя, одетого в штатское.

Монпарнас подмигнул.

– Черт возьми! – продолжал Гаврош. – Уж не собираешься ли ты схватиться с фараонами?

– Как знать, – с равнодушным видом ответил Монпарнас, – никогда не мешает иметь при себе булавку.

Гаврош настаивал:

– Что же ты думаешь делать сегодня ночью?

Монпарнас снова напустил на себя важность и сказал, цедя сквозь зубы:

– Так, кое-что. – И сразу, переменив разговор, воскликнул: – Да, кстати!

– Ну?

– На днях случилась история. Вообрази только. Встречаю я одного буржуа. Он преподносит мне в подарок проповедь и свой кошелек. Я кладу все это в карман. Минуту спустя я шарю рукой в кармане, а там – ничего.

– Кроме проповеди, – добавил Гаврош.

– Ну, а ты, – продолжал Монпарнас, – куда ты сейчас идешь?

Гаврош показал ему на своих подопечных и ответил:

– Иду укладывать спать этих ребят.

– Где же ты их уложишь?

– У себя.

– Где это у тебя?

– У себя.

– Значит, у тебя есть квартира?

– Есть.

– Где же это?

– В слоне, – ответил Гаврош.

Хотя Монпарнас по своей натуре и мало чему удивлялся, но невольно воскликнул:

– В слоне?

– Ну да, в слоне! – подтвердил Гаврош. – Штотуткоо?

Вот еще одно слово из того языка, на котором никто не пишет, но все говорят. «Штотуткоо» обозначает: «Что ж тут такого?»

Глубокомысленное замечание гамена вернуло Монпарнасу спокойствие и здравый смысл. По-видимому, он проникся наилучшими чувствами к квартире Гавроша.

– А в самом деле! – сказал он. – Слон так слон. А что, там удобно?

– Очень удобно, – ответил Гаврош. – Там и вправду отлично. И нет таких сквозняков, как под мостами.

– Как же ты тудаходишь?

- Так и вхожу.
- Значит, там есть лазейка? – спросил Монпарнас.
- Черт возьми! Об этом помалкивай. Между передними ногами. Шпики ее не заметили.
- И ты взбираешься наверх? Так, я понимаю.
- Простой фокус. Раз, два – и готово, тебя уж нет.

Помолчав, Гаврош прибавил:

- Для этих малышей у меня найдется лестница.

Монпарнас расхохотался:

- Где, черт тебя побери, ты раздобыл этих мальчат?

Гаврош просто ответил:

- Это мне один цирюльник подарил на память.

Вдруг Монпарнас задумался.

- Ты узнал меня слишком легко, – пробормотал он.

И, вынув из кармана две маленькие штучки, попросту две трубочки от перьев, обмотанные ватой, он всунул их по одной в каждую ноздрю. Нос сразу изменился.

– Это тебе к лицу, – сказал Гаврош, – сейчас ты уже не кажешься таким уродливым. Оставь это навсегда.

Монпарнас был красивый малый, но Гаврош был насмешник.

- Без шуток, – сказал Монпарнас, – как ты меня находишь?

И голос тоже у него стал совсем другой. В мгновение ока Монпарнас стал неузнаваем.

- Покажи-ка нам Петр-р-рушку! – воскликнул Гаврош.

Малютки, которые до сих пор ничего не слушали и были сами заняты делом, ковыряя у себя в носу, приблизились, услышав это имя, и с радостным восхищением воззрились на Монпарнаса.

К сожалению, Монпарнас был озабочен.

Он положил руку на плечо Гавроша и произнес, подчеркивая каждое слово:

– Слушай, парень, следи глазом, ежели бы я на площади гулял с моим догом, моим дагом и моим дигом, да если бы вы мне подыграли десять двойных су, а я не прочь ведь игрануть, – так и быть, гляди, глупыши! Но ведь сейчас не Масленица.

Эта странная фраза произвела на мальчика особое впечатление. Он живо обернулся, с глубоким вниманием оглядел все вокруг своими маленькими блестящими глазами и заметил в нескольких шагах полицейского, стоявшего к ним спиной. У Гавроша вырвалось: «Вон оно что!» – но он сразу сдержался и, пожав руку Монпарнасу, сказал:

– Ну, прощай, я пойду с моими малышами к слону. В случае если я тебе понадобится ночью, ты можешь меня там найти. Я живу на антресолях. Привратника у меня нет. Спросишь господина Гавроша.

- Ладно, – ответил Монпарнас.

И они расстались. Монпарнас направился к Гревской площади, а Гаврош – к Бастилии. Пятилетний мальчуган, тащившийся за своим братом, которого, в свою очередь, тащил Гаврош, несколько раз обернулся назад, чтобы поглядеть на уходившего «Петр-р-рушку».

Непонятная фраза, которою Монпарнас предупредил Гавроша о присутствии полицейского, содержала только один секрет: звуковое сочетание *диг*, повторенное раз пять или шесть различным способом. Слог *диг* не произносится отдельно, но, искусно вставленный в слова какой-нибудь фразы, обозначает: «Будем осторожны, нельзя говорить свободно». Кроме того, в фразе Монпарнаса были еще литературные красоты, ускользнувшие от Гавроша: мой дог, мой даг и мой диг – выражение на арго тюрьмы Тамплъ, обозначающее: «моя собака, мой нож и моя жена», весьма употребительное среди шутов и скоморохов того великого века, когда писал

Мольер и рисовал Калло.

Лет двадцать тому назад в юго-восточном углу площади Бастилии, близ пристани, у канала, прорытого на месте старого рва крепости-тюрьмы, виднелся причудливый монумент, теперь уже исчезнувший из памяти парижан, но достойный оставить в ней какой-нибудь след, потому что он был воплощением мысли «члена Института, главнокомандующего египетской армией».

Мы говорим «монумент», хотя это был только его макет. Но этот самый макет, этот великолепный черновой набросок, этот грандиозный труп наполеоновской идеи, развеянной двумя-тремя порывами ветра событий и отбрасываемой ими каждый раз все дальше от нас, стал историческим и приобрел нечто завершенное, противоречащее его временному назначению. Это был слон вышиной в сорок футов, сделанный из досок и камня, с башней на спине, наподобие дома; когда-то маляр выкрасил его в зеленый цвет, теперь же небо, дождь и время перекрасили его в черный. В этом пустынном и открытом углу площади широкий лоб колосса, его хобот, клыки, башня, необъятный круп, черные, подобные колоннам ноги вырисовывались ночью на звездном фоне неба страшным, фантастическим силуэтом. Что он обозначал – неизвестно. Это было нечто вроде символического изображения народной мощи. Это было мрачно, загадочно и огромно. Это было какое-то исполинское привидение, вздымавшееся у вас на глазах ввысь, рядом с невидимым призраком Бастилии.

Иностранцы редко осматривали это сооружение, прохожие вовсе не смотрели на него. Слон разрушался с каждым годом; отвалившиеся куски штукатурки оставляли на его боках после себя отвратительные язвы. «Эдилы», как выражаются на изящном аргоне салонов, забыли о нем с 1814 года. Он стоял здесь, в своем углу, угрюмый, больной, разрушающийся, окруженный сгнившей изгородью, загаженный пьяными кучерами; трещины бороздили его брюхо, из хвоста выпирал прут от каркаса, высокая трава росла между ногами. Так как уровень площади в течение тридцати лет становился вокруг него все выше благодаря тому медленному и непрерывному наслоению земли, которое незаметно поднимает почву больших городов, то он очутился во впадине, как будто земля осела под ним. Он стоял загрязненный, непризнанный, отталкивающий и надменный – безобразный на взгляд мещан, грустный на взгляд мыслителя. Он чем-то напоминал груды мусора, который скоро выметут, и одновременно нечто исполненное величия, что будет вскоре развенчано.

Как мы уже сказали, ночью его облик менялся. Ночь – это подлинная стихия всего, что сродни мраку. Как только спускались сумерки, старый слон преображался; он приобретал спокойный и страшный облик в грозной невозмутимости тьмы. Принадлежа прошлому, он принадлежал ночи; мрак был к лицу исполину.

Этот памятник, грубый, шершавый, коренастый, тяжелый, суровый, почти бесформенный, но, несомненно, величественный и отмеченный печатью какой-то великолепной и дикой важности, исчез, и теперь там безмятежно царствует что-то вроде гигантской печи, украшенной трубой и заступившей место сумрачной девятибашенной Бастилии, почти так же как буржуазный строй заступает место феодального. Совершенно естественно для печи быть символом эпохи, могущество которой таится в паровом котле. Эта эпоха пройдет, она уже прошла; начинают понимать, что если сила и может заключаться в котле, то могущество заключается лишь в мозгу; другими словами, ведут вперед и влекут за собой мир не локомотивы, а идеи. Прицепляйте локомотивы к идеям, это хорошо, но не принимайте коня за всадника.

Как бы там ни было, но, возвращаясь к площади Бастилии, скажем одно: творец слона и при помощи гипса достиг великого; творец печной трубы и из бронзы создал ничтожное.

Эта печная труба, которую окрестили звучным именем, назвав ее Июльской колонной, этот неудавшийся памятник революции-недоноска был в 1832 году еще закрыт огромной деревянной

рубашкой, об исчезновении которой мы лично сожалеем, и обширным дощатым забором, окончательно отгородившим слона.

К этому-то углу площади, едва освещенному отблеском далекого фонаря, Гаврош и направился со своими двумя «мальшами».

Да будет нам дозволено здесь прервать наш рассказ и напомнить о том, что мы не извращаем действительности и что двадцать лет тому назад суд исправительной полиции осудил ребенка, застигнутого спящим внутри того же бастильского слона, за бродяжничество и повреждение общественного памятника.

Отметив этот факт, продолжаем.

Подойдя к колоссу, Гаврош понял, какое действие может оказать бесконечно большое на бесконечно малое, и сказал:

– Птенцы, не бойтесь!

Затем он пролез через щель между досок забора, очутился внутри ограды, окружавшей слона, и помог мальшам пробраться сквозь отверстие. Дети, слегка испуганные, молча следовали за Гаврошем, доверяясь этому маленькому привидению в лохмотьях, которое дало им хлеба и обещало ночлег.

Вдоль забора здесь лежала лестница, которою днем пользовались рабочие соседнего дровяного склада. Гаврош, с неожиданной в нем силой, поднял ее и прислонил к одной из передних ног слона. Там, куда упиралась лестница, можно было заметить в брухе колосса черную дыру. Гаврош указал своим гостям на лестницу и дыру и сказал:

– Взбирайтесь и входите.

Мальчики испуганно переглянулись.

– Вы боитесь, малыши! – вскричал Гаврош. – И прибавил: – Сейчас увидите.

Он плотно обхватил шершавую ногу слона и в мгновение ока, не удостоив лестницу внимания, очутился у трещины. Он проник в нее наподобие ужа, скользнувшего в щель, и провалился внутрь, а мгновение спустя дети неясно различили его бледное лицо, появившееся, подобно беловатому, тусклому пятну, на краю дыры, затопленной мраком.

– Ну вот, – крикнул он, – лезьте же, младенцы! Увидите, как тут хорошо! Лезь ты! – крикнул он старшему. – Я подам тебе руку.

Дети подталкивали друг друга. Гаврош одновременно внушал им и страх, и доверие, а кроме того, шел сильный дождь. Старший осмелился. Младший, увидев, что его брат поднимается, оставив его совсем одного между лап этого огромного зверя, хотел разреваться, но не посмел.

Старший, пошатываясь, карабкался по перекладинам лестницы; Гаврош тем временем подбадривал его восклицаниями, словно учитель фехтования – своего ученика или погонщик – своего мула:

– Не трусь!

– Так, правильно!

– Лезь же, лезь!

– Ставь ногу сюда!

– Руку туда!

– Смелей!

И когда уже можно было дотянуться до мальчика, он вдруг крепко схватил его за руку и подтянул к себе.

– Попался! – сказал Гаврош.

Мальш проскочил в трещину.

– Теперь, – сказал Гаврош, – подожди меня. Сударь, потрудитесь присесть.

И, выйдя из трещины таким же образом, каким вошел в нее, он с проворством обезьяны скользнул вдоль ноги слона, прыгнул в траву, схватил пятилетнего мальчугана в охапку, поставил его на самую середину лестницы, потом начал подниматься позади него, крича старшему:

– Я его буду подталкивать, а ты тащи к себе.

В одно мгновение малютка был поднят, втащен, втянут, втолкнут, засунут в дыру, так что не успел опомниться, а Гаврош, вскочив вслед за ним, пинком ноги сбросил лестницу в траву, захлопал в ладоши и закричал:

– Вот мы и приехали! Да здравствует генерал Лафайет!

После этого взрыва веселья он прибавил:

– Ну, карапузы, вы у меня дома!

Гаврош на самом деле был у себя дома.

О, неожиданная полезность бесполезного! Благостыня великих творений! Доброта исполинов! Этот необъятный памятник, заключающий мысль императора, стал гнездышком гамена. Ребенок был принят под защиту великаном. Разряженные буржуа, проходившие мимо слона на площади Бастилии, презрительно меряя его выпученными глазами, самодовольно повторяли: «Для чего это нужно?» Это нужно было для того, чтобы спасти от холода, инея, града, дождя, чтобы защитить от зимнего ветра, чтобы избавить от ночлега в грязи, кончающегося лихорадкой, и от ночлега в снегу, кончающегося смертью, маленькое существо, не имевшее ни отца, ни матери, ни хлеба, ни одежды, ни пристанища. Это нужно было для того, чтобы приютить невинного, которого общество оттолкнуло от себя. Это нужно было для того, чтобы уменьшить общественную вину. Это была берлога, открытая для того, перед кем все двери были закрыты. Казалось, что жалкий, дряхлый, заброшенный мастодонт, покрытый грязью, наростами, плесенью и язвами, шатающийся, весь в червоточине, покинутый, осужденный, похожий на огромного нищего, который тщетно выпрашивал, как милостыню, доброжелательного взгляда на перекрестках, сжалился над другим нищим – над жалким пигмеем, который разгуливал без башмаков, не имел крыши над головой, согревал руки дыханием, был одет в лохмотья, питался отбросами. Вот для чего нужен был бастильский слон. Мысль Наполеона, презренная людьми, была подхвачена богом. То, что могло стать только славным, стало величественным. Императору, для того чтобы осуществить задуманное, нужны были порфир, бронза, железо, золото, мрамор; богу было достаточно старых досок, балок и гипса. У императора был замысел гения: в этом исполинском слоне, вооруженном, необыкновенном, с поднятым хоботом, с башней на спине, с брызжущими вокруг него веселыми живительными струями воды, он хотел воплотить народ. Бог сделал нечто более великое: он дал в нем пристанище ребенку.

Дыра, через которую проник Гаврош, была, как мы упомянули, едва видимой снаружи, скрытой под брюхом слона трещиной, столь узкой, что сквозь нее могли пролезть только кошки и дети.

– Начнем вот с чего, – сказал Гаврош, – скажем привратнику, что нас нет дома.

И, нырнув во тьму с уверенностью человека, знающего свое жилье, он взял доску и закрыл ею дыру.

Затем Гаврош снова нырнул во тьму. Дети слышали потрескивание спички, погружаемой в бутылочку с фосфорным составом. Химических спичек тогда еще не существовало; огниво Фюмада олицетворяло в ту эпоху прогресс.

Внезапный свет заставил их зажмурить глаза; Гаврош зажег конец фитиля, пропитанного смолой, так называемую «погребную крысу». «Погребная крыса» больше дымила, чем освещала, и едва позволяла разглядеть внутренность слона.

Гости Гавроша, оглянувшись вокруг, испытали нечто подобное тому, что испытал бы человек, запертый в большую гейдельбергскую бочку, или, еще точнее, что должен был испытать Иона во чреве библейского кита. Огромный скелет вдруг предстал пред ними и словно обхватил их. Длинная потемневшая верхняя балка, от которой на одинаковом расстоянии друг от друга отходили массивные выгнутые решетины, представляла собой хребет с ребрами; гипсовые сталактиты свешивались с них наподобие внутренностей; широкие полотнища паутины, простиравшиеся из конца в конец между боками слона, образовывали его запыленную диафрагму. Там и сям, в углах, можно было заметить большие, кажущиеся живыми, черноватые пятна, которые быстро перемещались резкими пугливыми движениями.

Обломки, упавшие сверху, со спины слона, заполнили впадину его брюха, так что там можно было ходить, словно по полу.

Младший прижался к старшему и сказал вполголоса:

– Тут темно.

Эти слова вывели Гавроша из себя. Оцепенелый вид малышей настоятельно требовал некоторой встряски.

– Что вы мне голову морочите? – воскликнул он. – Мы изволим потешаться? Мы разыгрываем привередников? Вам нужно Тюильри? Ну, не скоты ли вы после этого? Отвечайте! Предупреждаю, я не из простаков! Подумаешь, детки из позолоченной клетки!

Немного грубости при испуге не мешает. Она успокаивает. Дети подошли к Гаврошу.

Гаврош, растроганный таким доверием, перешел «от строгости к отеческой мягкости» и обратился к младшему.

– Дуралей, – сказал он, смягчая ругательство ласковым тоном, – это на дворе темно. На дворе идет дождь, а здесь нет дождя; на дворе холодно, а здесь ни ветерка; на дворе куча народа, а здесь никого; на дворе нет даже луны, а у нас свеча, черт возьми!

Дети смелее начали осматривать помещение; но Гаврош не позволил им долго заниматься созерцанием.

– Живо! – крикнул он.

И подтолкнул их к тому месту, которое мы можем, к нашему великому удовольствию, назвать существенной частью комнаты.

Там находилась его постель.

Постель у Гавроша была настоящая, с тюфяком, с одеялом, в алькове, под пологом.

Тюфяком служила соломенная циновка, одеялом – довольно широкая попона из грубой серой шерсти, очень теплая и почти новая. А вот что представлял собой альков.

Три довольно длинные жерди, воткнутые – две спереди и одна позади – в землю, то есть в гипсовый мусор, устилавший изнутри брюхо слона, и связанные веревкой на верхушке, образовывали нечто вроде пирамиды. На ней держалась сетка из латунной проволоки, которая была просто-напросто наброшена сверху, но, искусно прилаженная и привязанная железной проволокой, целиком охватывала все три жерди. Ряд больших камней вокруг этой сетки прикреплял ее к полу, так что нельзя было проникнуть внутрь. Эта сетка была не чем иным, как полотнищем проволочной решетки, которой огораживают птичьи вольеры в зверинцах. Постель Гавроша под этой сетью была словно в клетке. Все вместе походило на чум эскимоса.

Эта сетка и служила пологом.

Гаврош отодвинул немного в сторону камни, придерживающие ее спереди, и два ее полотнища, прилежавшие одно к другому, раздвинулись.

– Ну, малыши, на четвереньки! – скомандовал Гаврош.

Он осторожно ввел своих гостей в клетку, затем ползком пробрался вслед за ними, подвинул на место камни и плотно закрыл отверстие.

Все втроем растянулись на циновке.

Дети, как ни были они малы, не могли бы выпрямиться во весь рост в этом алькове. Гаврош все еще держал в руке «погребную крысу».

– Теперь, – сказал он, – дрыхните! Я сейчас потушу мой канделябр.

– Сударь, – спросил старший, показывая на сетку, – а что это такое?

– Это, – важно ответил Гаврош, – от крыс. Дрыхните!

Все же он считал нужным прибавить несколько слов в поучение этим младенцам и продолжал:

– Эти штуки из Ботанического сада. Они для диких зверей. Тамыхьесь (там их есть) целый набор. Тамтольнада (там только надо) перебраться через стену, влезть в окно и проползти под дверь. И бери этого добра сколько хочешь.

Сообщая им все эти сведения, он в то же время закрывал краем одеяла самого младшего, который пролепетал:

– Как хорошо! Как тепло!

Гаврош устремил довольный взгляд на одеяло.

– Это тоже из Ботанического сада, – сказал он. – У обезьян забрал.

И, указав старшему на циновку, на которой он лежал, очень толстую и прекрасно сплетенную, прибавил:

– А это было у жирафа.

Помолчав, он продолжал:

– Все это принадлежало зверям. Я отобрал у них. Они не обиделись. Я им сказал: «Это для слона».

Снова немного помолчав, он заметил:

– Перелезешь через стену, и плевать тебе на начальство. И дело с концом.

Мальчики изумленно, с боязливым почтением взирали на этого смелого и изобретательного человечка. Бездомный, как они, одинокий, как они, слабенький, как они, но в каком-то смысле изумительный и всемогущий, с физиономией, на которой гримасы старого паяца сменялись самой простодушной, самой очаровательной детской улыбкой, он казался им сверхъестественным существом.

– Сударь, – робко сказал старший, – а разве вы не боитесь полицейских?

Гаврош ограничился ответом:

– Мальш, не говорят: «полицейские», а говорят: «фараоны»!

Младший смотрел широко открытыми глазами, но ничего не говорил. Так как он лежал на краю циновки, а старший посредине, то Гаврош подоткнул ему одеяло, как это сделала бы мать, а циновку, где была его голова, приподнял, положив под нее старые тряпки, и устроил таким образом малышу подушку. Потом он обернулся к старшему:

– Ну как? Хорошо тут?

– Очень! – ответил старший, взглянув на Гавроша с видом спасенного ангела.

Бедные дети, промокшие насквозь, начали согреваться.

– Кстати, – снова заговорил Гаврош, – почему же это вы давеча плакали? – И, показав на младшего, продолжал: – Такой карапуз, как этот, пусть его; но взрослому, как ты, и вдруг реветь, это совсем глупо: точь-в-точь теленок.

– Ну да! – ответил тот. – Ведь у нас не было никакой квартиры, и некуда было деваться.

– Птенец! – заметил Гаврош. – Не говорят: «квартира», а говорят: «домовуха».

– А потом мы боялись остаться ночью одни.

– Не говорят: «ночь», а говорят: «потьмуха».

– Благодарю вас, сударь, – ответил ребенок.

– Послушай, – снова начал Гаврош, – никогда не нужно хныкать из-за пустяков. Я буду заботиться о вас. Ты увидишь, как нам будет весело. Летом пойдем с Наве, моим приятелем, в Гласьер, будем там купаться и бегать гольшом по плотам у Аустерлицкого моста, чтобы побесить прачек. Они кричат, злятся, если бы ты знал, какие они потешные! Потом мы пойдем посмотреть на человека-скелета. Он живой. На Елисейских полях. Он худой, как щепка, этот чудак. Пойдем в театр. Я вас поведу на Фредерика Леметра. У меня бывают билеты, я знаком с актерами. Один раз я даже играл в пьесе. Мы были тогда малышами, как вы, и бегали под холстом, получалось вроде моря. Я вас определяю в мой театр. И мы посмотрим с вами дикарей. Только это не настоящие дикари. На них розовое трико, видно, как оно морщится, а на локтях заштопано белыми нитками. После этого мы отправимся в оперу. Войдем туда вместе с клакерами. Клака в опере очень хорошо налажена. Ну, на бульвары-то я, конечно, не пошел бы с клакерами. В опере, представь себе, есть такие, которым платят по двадцать су, но это дурачье. Их называют затычками. А еще мы пойдем посмотреть, как гильотинируют. Я вам покажу палача. Он живет на улице Марэ. Господин Сансон. У него на дверях ящик для писем. Да, мы можем здорово поразвлечься!

В это время на палец Гавроша упала капля смолы, это и вернуло его к действительности.

– Ах, черт! – воскликнул он. – Фитиль-то кончается! Внимание! Я не могу тратить больше одного су в месяц на освещение. Если уж лег, так спи. У нас нет времени читать романы господина Поль де Кока. К тому же свет может пробиться наружу сквозь щель наших ворот, и фараоны его заметят.

– А потом, – робко вставил старший, один только и осмеливавшийся разговаривать с Гаврошем и отвечать ему, – уголек может упасть на солому, надо быть осторожным, чтобы не сжечь дом.

– Не говорят: «сжечь дом», – поправил Гаврош, – а говорят: «подсушить мельницу».

Ненастье усиливалось. Сквозь раскаты грома было слышно, как барабанил ливень по спине колосса.

– Обставили мы тебя, дождик! – сказал Гаврош. – Забавно слышать, как по ногам нашего дома льется вода, точно из графина. Зима дураковата; зря губит свой товар, напрасно старается, ей не удастся нас подмочить; оттого она и брюзжит, старая водоноска.

Вслед за этим дерзким намеком на грозу, все последствия которого Гаврош в качестве философа XIX века взял на себя, сверкнула молния, столь ослепительная, что отблеск ее через щель проник в брюхо слона. Почти в то же мгновение неистово загредел гром. Дети вскрикнули и вскочили так быстро, что сетка почти слетела; но Гаврош повернул к ним свою смелую мордочку и разразился громким смехом:

– Спокойно, ребята! Не толкайте так наше здание. Великолепный гром, отлично! Это тебе не тихоня-молния. Bravo, боженька! Честное слово, сработано не хуже, чем в театре Амбигю.

После этого он привел в порядок сетку, тихонько толкнул детей на постель, нажал им на колени, чтобы заставить хорошенько вытянуться, и вскричал:

– Раз боженька зажег свою свечку, я могу задуть мою. Ребятам нужно спать, молодые люди. Не спать – это очень плохо. Будет разить из дыхала, или, как говорят в хорошем обществе, вонять из пасти. Завернитесь-ка хорошенько в одеяло! Я сейчас гашу свет. Готовы?

– Да, – прошептал старший, – мне хорошо. Под головой словно пух.

– Не говорят: «голова», – крикнул Гаврош, – а говорят: «сорбонна».

Дети прижались друг к другу. Гаврош, наконец, уложил их на циновке как следует, натянул на них попону до самых ушей, потом в третий раз повторил на языке посвященных приказ:

– Дрыхните!

И погасил фитилек.

Едва потух свет, как сетка, под которой лежали мальчики, стала трястись от каких-то странных толчков. Послышалось глухое трение, сопровождавшееся металлическим звуком, точно множество когтей и зубов скребло медную проволоку. Все это сопровождалось разнообразным пронзительным писком.

Пятилетний малыш, услышав у себя над головой этот оглушительный шум и похолодев от ужаса, толкнул локтем старшего брата, но старший брат уже «дрых», как ему велел Гаврош. Тогда, не помня себя от страха, он отважился обратиться к Гаврошу, но совсем тихо, сдерживая дыхание:

– Сударь!

– Что? – спросил уже засыпавший Гаврош.

– А что это такое?

– Это крысы, – ответил Гаврош.

И снова опустил голову на циновку.

Действительно, крысы, сотнями кишевшие в остовах слона, – они-то и были теми живыми черными пятнами, о которых мы говорили, – держались на почтительном расстоянии, пока горела свеча, но как только эта пещера, представлявшая собой как бы их владения, погрузилась во тьму, они, учуяв то, что добрый сказочник Перро назвал «свежим мясом», бросились стаей на палатку Гавроша, взобрались до самой верхушки и принялись грызть проволоку, словно пытаясь прорвать этот накомарник нового типа.

Между тем мальчуган не засыпал.

– Сударь! – снова начал он.

– Ну?

– А что это такое – крысы?

– Это мыши.

Объяснение Гавроша немного успокоило ребенка. Он уже видел белых мышей и не боялся их. Однако он еще раз спросил:

– Сударь!

– Ну?

– Почему у вас нет кошки?

– У меня была кошка, – ответил Гаврош, – я ее сюда принес, но они ее съели.

Это второе объяснение уничтожило благотворное действие первого: малыш снова задрожал от страха. И разговор между ним и Гаврошем возобновился в четвертый раз.

– Сударь!

– Ну?

– А кого же это съели?

– Кошку.

– А кто съел кошку?

– Крысы.

– Мыши?

– Да, крысы.

Ребенок, изумляясь, что здешние мыши едят кошек, продолжал:

– Сударь, значит, такие мыши и нас могут съесть?

– Понятно! – ответил Гаврош.

Страх ребенка достиг предела. Но Гаврош прибавил:

– Не бойся! Они до нас не доберутся. И кроме того, я здесь! На, возьми мою руку. Молчи и дрыхни!

И Гаврош взял маленького за руку, протянув свою через голову его брата. Тот прижался к

этой руке и почувствовал себя успокоенным. Мужество и сила обладают таинственным свойством передаваться другим. Вокруг них снова воцарилась тишина, шум голосов напугал и отогнал крыс; когда через несколько минут они возвратились, то могли бесноваться вволю, – трое мальчуганов, погрузившись в сон, ничего больше не слышали.

Ночные часы текли. Тьма покрывала огромную площадь Бастилии, зимний ветер с дождем дул порывами. Дозоры обшаривали ворота, аллеи, ограды, темные углы и, в поисках ночных бродяг, молча проходили мимо слона; чудище, застыв в своей неподвижности и устремив глаза во мрак, имело мечтательный вид, словно радовалось доброму делу, которое свершало, укрывая от непогоды и от людей трех беглых спящих детишек.

Чтобы понять все нижеследующее, нелишним будет вспомнить, что в те времена полицейский пост Бастилии располагался на другом конце площади, и все происходившее возле слона не могло быть ни замечено, ни услышано часовым.

На исходе того часа, который предшествует рассвету, какой-то человек вынырнул из Сент-Антуанской улицы, бегом пересек площадь, обогнул большую ограду Июльской колонны и, проскользнув между досок забора, оказался под самым брюхом слона. Если бы хоть малейший луч света упал на этого человека, то по его насквозь промокнутому платью легко было бы догадаться, что он провел ночь под дождем. Очутившись под слоном, он издал странный крик, не имевший отношения ни к какому человеческому языку; его мог бы воспроизвести только попугай. Он повторил дважды этот крик, приблизительное понятие о котором может дать следующее начертание:

– Кирикикиу!

На второй крик из брюха слона ответил звонкий и веселый детский голос:

– Здесь!

Почти тут же дощечка, закрывавшая дыру, отодвинулась и открыла проход для ребенка, скользнувшего вниз по ноге слона и легко опустившегося подле этого человека. То был Гаврош. Человек был Монпарнас.

Что касается крика «кирикикиу», то, без сомнения, он обозначал именно то, что хотел сказать мальчик фразой: «Ты спросишь господина Гавроша».

Услышав этот крик, он сразу вскочил, выбрался из своего «алькова», слегка отодвинул сетку, которую потом опять тщательно задвинул, затем открыл люк и спустился вниз.

Мужчина и мальчик молча встретились в темноте. Монпарнас ограничился словами:

– Ты нам нужен. Поди, помоги нам.

Мальчик не потребовал дальнейших объяснений.

– Ладно, – сказал он.

И оба отправились к Сент-Антуанской улице, откуда и появился Монпарнас; быстро шагая, они пробирались сквозь длинную цепь тележек огородников, обычно спешивших в этот час на рынок.

Сидящие в своих тележках меж грудками салата и овощей полусонные огородники, закутанные из-за проливного дождя до самых глаз в плотные балахоны, даже не заметили этих странных прохожих.

Глава 3

Перипетии побега

Вот что случилось в ту же самую ночь в тюрьме Форс.

Бабет, Брюжон, Живоглот и Тенардьё, хотя последний и сидел в одиночке, договорились о побеге. Что до Бабета, то он «обработал дело» еще днем, как это явствует из сообщения

Монпарнаса Гаврошу. Монпарнас должен был помогать им всем извне.

Брюжон, проведя месяц в исправительной камере, на досуге, во-первых, ссучил веревку, во-вторых, зрело обдумал план. В прежние времена эти места строгого заключения, где тюремная дисциплина предоставляет осужденного самому себе, состояли из четырех каменных стен, каменного потолка, пола из каменных плит, походной койки, зарешеченного окошечка, обитой железом двери и назывались «карцерами»; но карцер был признан слишком гнусным учреждением; теперь же места заключения состоят из железной двери, зарешеченного окошечка, походной койки, пола из каменных плит, каменного потолка, каменных четырех стен и называются «исправительными камерами». В полдень туда проникает слабый свет. Неудобство этих камер, которые, как ясно из вышеизложенного, не суть карцеры, заключается в том, что в них позволяют размышлять тем существам, которых следовало бы заставить работать.

Итак, Брюжон поразмыслил и, выйдя из исправительной камеры, захватил с собой веревку. Его считали слишком опасным для двора Шарлемань, поэтому посадили в Новое здание. Первое, что он обрел в Новом здании, был Живоглот, второе – гвоздь; Живоглот означал преступление, гвоздь означал свободу.

Брюжон, о котором уже пора составить себе полное представление, несмотря на тщедушный свой вид и умышленную, тонко рассчитанную вялость движений, был малый себе на уме, вежливый и смывленный, а кроме того, опытный вор, с ласковым взглядом и жестокой улыбкой. Его взгляд был продиктован его волей, а улыбка – натурой. Первые опыты в своем искусстве он произвел над крышами; он далеко двинул вперед мастерство «свинцодеров», которые грабят кровли домов, срезая дождевые желоба приемом, именуемым «бычий пузырь».

Назначенный день был особенно благоприятен для попытки побега, потому что кровельщики как раз в это время перекрывали и обновляли часть шиферной крыши тюрьмы. Двор Сен-Бернар теперь уже не был совершенно обособлен от двора Шарлемань и Сен-Луи. Наверху появились строительные леса и лестницы, другими словами – мосты и ступени на пути к свободе.

Новое здание, самое потрескавшееся и обветшалое здание на свете, было слабым местом тюрьмы. Стены от сырости были до такой степени изглоданы селитрой, что в общих камерах пришлось положить деревянную обшивку на своды, потому что от них отрывались камни, падавшие прямо на койки заключенных. Несмотря на такую ветхость Нового здания, администрация, совершая оплошность, сажала туда самых беспокойных арестантов, «особо опасных», как говорится на тюремном языке.

Новое здание состояло из четырех общих камер, одна над другой, и чердачного помещения, именуемого «Вольный воздух». Широкая печная труба, вероятно из какой-нибудь прежней кухни герцогов де ла Форс, начинавшаяся внизу, пересекала все четыре этажа, разрезала надвое все камеры, где она казалась чем-то вроде сплющенного столба, и даже пробивалась сквозь крышу.

Живоглот и Брюжон жили в одной камере. Из предосторожности их поместили в нижнем этаже. Случайно изголовья их постелей упирались в печную трубу.

Тенардьё находился как раз над ними, на чердаке, на так называемом «Вольном воздухе».

Прохожий, который, минуя казарму пожарных, остановится на улице Нива св. Екатерины перед воротами бань, увидит двор, усаженный цветами и кустами в ящиках; в глубине двора развертываются два крыла небольшой белой ротонды, оживленной зелеными ставнями, – сельская греза Жан-Жака. Не больше десяти лет тому назад над ротондой поднималась черная, огромная, страшная, голая стена, к которой примыкал этот домик. За нею-то и пролегал дорожка дозорных тюрьмы Форс.

Эта стена позади ротонды напоминала Мильтона, виднеющегося позади Беркена.

Как ни была высока эта стена, над ней вставала еще выше, еще чернее кровля по другую ее сторону. То была крыша Нового здания. В ней можно было различить четыре чердачных окошечка, забранных решеткой, – то были окна «Вольного воздуха». Крышу прорезала труба – то была труба, проходившая через общие камеры.

«Вольный воздух», чердак Нового здания, был своего рода огромным сараем, разделенным на отдельные мансарды, с тройными решетками на окнах и дверьми, обитыми листовым железом, сплошь усеянным шляпками огромных гвоздей. Если туда войти с северной стороны, то четыре слуховых оконца окажутся слева, а справа – четыре квадратные камеры, довольно обширные, обособленные, разделенные узкими проходами, сложенные до подоконников из кирпича, а дальше, до самой крыши, – из железных брусьев.

Тенардье сидел в одной из этих камер с ночи 3 февраля. Так никогда и не было выяснено, каким образом, благодаря чьему соучастию ему удалось раздобыть и спрятать бутылку вина, смешанного с тем снотворным зельем, которое изобрел, как говорят, Деро, а шайка «усыпителей» прославила.

Во многих тюрьмах есть служащие-предатели, не то тюремщики, не то воры, способствующие побегам, вероломные слуги полиции, наживающиеся всякими правдами и неправдами.

Итак, в ту самую ночь, когда Гаврош подобрал двух заблудившихся детей, Брюжон и Живоглот, зная, что Бабет, бежавший утром, поджидает их на улице вместе с Монпарнасом, тихонько встали и гвоздем, найденным Брюжоном, принялись сверлить печную трубу, возле которой стояли их кровати. Мусор падал на кровать Брюжона, таким образом, не было слышно никакого стука. Сильный ливень с градом и раскаты грома сотрясали двери и весьма кстати производили ужасный шум. Проснувшиеся арестанты притворились, что снова заснули, предоставив Живоглоту и Брюжону заниматься своим делом. Брюжон был ловок, Живоглот силен. Прежде чем какой бы то ни было звук достиг слуха надзирателя, спавшего в зарешеченной камере с окошечком на камеру, стенка трубы была пробита, дымоход преодолен, железная решетка, закрывавшая верхнее отверстие трубы, взломана, и два опасных бандита оказались на кровле. Дождь и ветер усилились, крыша была скользкой.

– Хороша потьмуха для вылета! – сказал Брюжон.

Пропасть, футов шести в ширину и восьмидесяти в глубину, отделяла их от стены у дорожки дозорных. Они видели, как в глубине этой пропасти поблескивало в темноте ружье часового. Прикрепив конец веревки, сплетенной Брюжоном в одиночке, к прутьям проломленной ими решетки на верху трубы и перекинув другой конец через стену дозорных, они перескочили смелым прыжком через пропасть, уцепились за гребень стены, перевалили через нее, соскользнули друг за другом по веревке на маленькую крышу, примыкавшую к баням, подтянули веревку, спрыгнули во двор бани, перебежали его, толкнули у будки привратника форточку, подле которой висел шнур, открывавший ворота, дернули его, отворили ворота и очутились на улице.

Не прошло и часа с тех пор, как они поднялись в темноте на своих койках, с гвоздем в руке, с планом бегства в мыслях.

Несколько мгновений спустя они присоединились к Бабету и Монпарнасу, бродившим поблизости.

Подтягивая веревку к себе, они ее оборвали, и один ее конец, привязанный к трубе, остался на крыше. Итак, ничего дурного с ними не случилось, если не считать почти целиком содранной с ладоней кожи.

В эту ночь Тенардье был предупрежден, – каким образом, выяснить не удалось, – и не спал.

Около часа пополуночи, хотя ночь и была очень темна, он увидел, что по крыше, в дождь и

бурю, мимо слухового оконца против его камеры промелькнули две тени. Одна из них на миг задержалась перед оконцем. То был Брюжон. Тенардье узнал его и понял. Большого ему не требовалось.

Тенардье, попавшего в рубрику весьма опасных грабителей и заключенного по обвинению в устройстве ночной засады с вооруженным нападением, зорко охраняли. Перед его камерой взад и вперед ходил сменявшийся каждые два часа караульный с заряженным ружьем. Свеча в стенном подсвечнике освещала «Вольный воздух». На ногах заключенного были железные кандалы весом в пятьдесят фунтов. Ежедневно, в четыре часа пополудни, сторож, под охраной двух догов, – в те времена так еще делалось, – входил в камеру, клал возле его койки двухфунтовый черный хлеб, ставил кружку воды и миску с жидким супом, где плавало несколько бобов, затем осматривал кандалы и проверял рукой решетку. Этот сторож со своими догами наведывался также два раза ночью.

Тенардье добился разрешения оставить при себе нечто вроде железного шипа, чтобы «прикалывать» свой хлеб к стене, втыкая конец шипа в одну из щелей. «Это, – говорил он, – убережет его от крыс». Так как Тенардье был под непрерывным наблюдением, то ничего предосудительного в этом шипе не нашли. Однако позднее вспомнили, что один сторож сказал: «Было бы лучше оставить ему деревянный шип».

В два часа ночи часового, старого солдата, сменил новичок. Немного погодя появился сторож с собаками и ушел, ничего не заметив, разве только слишком юный возраст и «глуповатый вид» этой «пехтуры» – часового. Два часа спустя, то есть в четыре часа, когда пришли сменить новичка, он спал, свалившись, как колода, на пол, возле клетки Тенардье. Самого же Тенардье в ней уже не было. Разбитые кандалы лежали на каменном полу. В потолке клетки виднелась дыра, а над нею – другая, в крыше. Одна доска из кровати была вырвана и, несомненно, унесена, так как ее не нашли. В камере также обнаружили наполовину пустую бутылку, содержащую остаток одурманивающего вина, которым был усыплен солдат. Штык солдата исчез.

В ту минуту, когда было сделано это открытие, Тенардье считали вне пределов досягаемости. На самом же деле он хотя и был вне стен Нового здания, но далеко не в безопасности.

Добравшись до крыши Нового здания, Тенардье нашел обрывок веревки Брюжона, свисавший с решетки, закрывающей верхнее отверстие печной трубы, но этот оборванный конец был слишком короток, и он не мог перемахнуть через дорожку дозорных, подобно Брюжону и Живоглуту.

Если свернуть с Балетной улицы на улицу Сицилийского короля, то почти тотчас же направо вам встретится грязный пустырь. В прошлом столетии там находился дом, от которого осталась только задняя развалившаяся стена, достигавшая высоты третьего этажа соседних зданий. Эта развалина приметна по двум большим квадратным окнам, сохранившимся и по сей час; то, которое ближе к правому углу, перегорожено источенной червями перекладиной, напоминающей изогнутую полосу на геральдическом щите. Сквозь эти окна в прошлые времена можно было увидеть высокую мрачную стену, которая являлась частью ограды вдоль дозорной дорожки тюрьмы Форс.

Пустоту, образовавшуюся среди улицы на месте разрушенного дома, наполовину заполнял забор из сгнивших досок, подпертый пятью каменными тумбами, за ним притаилась маленькая хибарка, плотно прижавшаяся к уцелевшей стене. В заборе была калитка, несколько лет тому назад запиравшаяся только на щеколду.

На самом верху этой развалины и очутился Тенардье чуть попозже трех часов утра.

Как он добрался сюда? Этого никогда не могли ни объяснить, ни понять. Молнии должны

были одновременно и мешать ему и помогать. Пользовался ли он лестницами и мостками кровельщиков, чтобы, перебираясь с крыши на крышу, с ограды на ограду, с одного участка на другой, достигнуть строений на дворе Шарлемань, потом строений на дворе Сен-Луи, потом дорожки дозорных и отсюда уже развалины на улице Сицилийского короля? Но на этом пути были такие препятствия, что преодолеть их казалось невозможным. Положил ли он доску от своей кровати в виде мостков с крыши «Вольного воздуха» на ограду дозорной дорожки и прополз на животе по гребню этой стены вокруг всей тюрьмы до самой развалины? Но стена тюрьмы Форс шла неровной и зубчатой линией. То поднимаясь, то опускаясь, она снижалась возле казармы пожарных, вздымалась подле здания бань; ее перерезали строения; она была неодинаковой высоты как над особняком Ламуаньона, так и на всей Мощеной улице, всюду на ней были скаты и прямые углы. Кроме того, часовые должны были видеть темный силуэт беглеца. Таким образом, путь, проделанный Тенардье, остается почти необъяснимым. Одним ли способом, другим ли – все равно бегство казалось невозможным. Но, воспламененный той страшной жаждой свободы, которая превращает пропасти в канавы, железные решетки в ивовые плетенки, калеку в богатыря, подагрика в птицу, тупость в инстинкт, инстинкт в разум и разум в гениальность, Тенардье, быть может, изобрел и применил третий способ? Этого никогда не узнали.

Не всегда возможно понять, каким чудом осуществляется побег. Человек, спасающийся бегством, повторяем это, вдохновлен свыше; свет неведомых звезд и зарниц указывает путь беглецу; порыв к свободе не менее поразителен, чем взлет крыльев к небесам; и об убежавшем воре говорят: «Как ему удалось перебраться через эту крышу?» так же, как говорят о Корнеле: «Где он нашел эту строчку: «Пусть умирает он»?»

Как бы там ни было, обливаясь потом, промокнув под дождем, порвав одежду в лохмотья, ободрав руки, разбив в кровь локти, изранив колени, Тенардье добрался до того места разрушенной стены, которое дети на своем образном языке называют «ножиком»; там он растянулся во всю свою длину, и силы оставили его. Отвесная крутизна высотой в три этажа отделяла его от мостовой.

Взятая им с собой веревка была слишком коротка.

Он ожидал здесь, бледный, измученный, потерявший всякую надежду, пока еще скрытый ночью, но уже думая о приближающемся рассвете и испытывая ужас при мысли о том, что через несколько мгновений он услышит, как на соседней колокольне Сен-Поль пробьет четыре часа – время, когда придут сменять часового и найдут его заснувшим под пробитой крышей; в оцепенении смотрел он при свете фонарей на черневшую внизу, в страшной глубине, мокрую мостовую – желанную и пугающую мостовую, которая была и смертью и свободой.

Он спрашивал себя, удалось ли бежать его трем соучастникам, слышали ли они его, придут ли к нему на помощь? Он прислушивался. За исключением одного патруля, никто не прошел по улице с тех пор, как он был здесь. Почти все огородники из Монтрейля, Шарона, Венсена и Берси едут к рынку через улицу Сент-Антуан.

Пробило четыре часа. Тенардье вздрогнул. Немного спустя в тюрьме начался тот смутный и беспорядочный шум, который следует за обнаруженным побегом. До беглеца доносилось хлопанье открывавшихся и закрывавшихся дверей, скрежет решеток на петлях, шум переполоха и хриплые окрики тюремной стражи, стук ружейных прикладов о каменные плиты дворов. В зарешеченных окнах камер виднелись подымавшиеся и спускавшиеся с этажа на этаж огоньки. По чердаку Нового здания метался факел, из соседней казармы были вызваны пожарные. Их каски, освещенные факелом, блестели под дождем, мелькая там и сям вдоль крыш. В то же время Тенардье увидел со стороны Бастилии белесый отсвет, злоеще побеливший край неба.

А он лежал, вытянувшись на верху стены шириной в десять дюймов, под ливнем, меж двух

пропастей, слева и справа, боясь шевельнуться, терзаемый страхом перед возможностью падения, отчего у него кружилась голова, и ужасом перед неминуемым арестом, и мысль его, подобно языку колокола, колебалась между двумя исходами: «Смерть, если я упаду, каторга, если я здесь останусь».

Весь во власти этой мучительной тревоги, он, хотя было еще совсем темно, вдруг увидел человека, пробиравшегося вдоль стен; миновав Мощеную улицу, тот остановился у пустыря, над которым как бы повис Тенардье. К этому человеку присоединился второй, шедший с такой же осторожностью, затем третий, затем четвертый. Когда эти люди собрались, один из них поднял щеколду дверцы в заборе, и все четверо вошли в ограду, где была хибарка. Они оказались как раз под Тенардье. Очевидно, эти люди сошлись на пустыре, чтобы переговорить незаметно для прохожих и часового, охранявшего калитку тюрьмы Форс в нескольких шагах от них. Нелишним будет отметить, что дождь держал этого стража под арестом в его будке. Тенардье не мог рассмотреть лица неизвестных и стал прислушиваться к их разговору с тупым вниманием несчастного, который чувствует себя погибшим.

Перед глазами Тенардье мелькнул слабый проблеск надежды: эти люди говорили на арго.

Первый сказал тихо, но отчетливо:

– Шлепаем дальше. Чего нам тутго маячить?

Второй отвечал:

– Этот дождь заплует самое дедерово пекло. Да и легавые могут прихлить. Вон один держит свечу на взводе. Еще засыпемся туткайль.

Эти два слова *тутго* и *туткайль*, оба обозначающие «тут» – первое на арго застав, второе – Тампля, были лучами света для Тенардье. По «тутго» он узнал Брюжона, «хозяина застав», а по «туткайль» – Бабета, который, не считая других своих специальностей, побывал и перекупщиком в тюрьме Тампль.

Старое арго восемнадцатого века было в употреблении только в Тампле, и только один Бабет чисто говорил на нем. Без этого «туткайль» Тенардье не узнал бы его, так как он совсем изменил свой голос.

Тем временем в разговор вмешался третий:

– Торопиться некуда. Подождем немного. Кто сказал, что он не нуждается в нашей помощи?

По этим словам, по этой правильной французской речи Тенардье узнал Монпарнаса, который простер свое изящество до понимания всех арго, однако сам не пользовался ни одним из них.

Четвертый молчал, но его выдавали широкие плечи. Тенардье не сомневался: то был Живоглот.

Брюжон возразил запальчиво, но все так же тихо:

– Что ты там звонишь? Обойщик не мог плейтовать. Он штукарить не умеет, куда ему! Расстрочить свой балахон, подрать пеленки, скрутить шнурочек, продырявить заслонки, смастерить липу, отмычки, распилить железки, вывесить шнурочек наружу, нырнуть, подрумяниться – тут нужно быть жохом! Старикан этого не может, он не деловой парень!

Бабет все на том же классическом арго, на котором говорили Пулалье и Картуш и которое относится к наглому, новому красочному и смелому арго Брюжона так же, как язык Расина к языку Андре Шенье, добавил:

– Твой обойщик сгорел. Нужно быть мазом, а это мазурик. Его провел шпик, может быть, даже насадка, с которой он покумился. Слушай, Монпарнас, ты слышишь, как вопят в академии? Видишь огни? Он завалился, ясно! Заработал двадцать лет. Я не боюсь, не трусливого десятка, сами знаете, но пора дать винта, иначе мы у них попляшем. Не дуйся, пойдем, высушим

бутылочку старого винца.

– Друзей в беде не оставляют, – проворчал Монпарнас.

– Я тебе звоню, что у него боль, – ответил Брюжон. – Сейчас обойщика душа не стоит и гроша. Мы ничего не можем сделать. Смотаемся отсюда. Я уже чувствую, как фараон берет меня за шиворот.

Монпарнас сопротивлялся слабо; действительно, эта четверка, с той верностью друг другу в беде, которая свойственна бандитам, всю ночь бродила вокруг тюрьмы Форс, как ни было это опасно, в надежде увидеть Тенардье на верхушке какой-нибудь стены. Но эта ночь, становившаяся, пожалуй, уж чересчур удачной, – был такой ливень, что все улицы опустели, – пробиравший их холод, промокшая одежда, дырявая обувь, тревожный шум, поднявшийся в тюрьме, истекшее время, встреченные патрули, остывшая надежда, снова возникший страх – все это склоняло их к отступлению. Сам Монпарнас, который, возможно, приходился в некоторой степени зятем Тенардье, и тот сдался. Еще одна минута, и они бы ушли. Тенардье тяжело дышал на своей стене, подобно потерпевшему крушение с «Медузы», который, сидя на плоту, видит, как появившийся было корабль снова исчезает на горизонте.

Он не осмеливался их позвать: если бы его крик услышал часовой, это погубило бы все; но у него возникла мысль, последний чуть брезжащий луч надежды: он вытащил из кармана конец веревки Брюжона, которую отвязал от печной трубы Нового здания, и бросил ее за ограду.

Веревка упала к их ногам.

– Удавка! – сказал Бабет.

– Мой шнурочек! – подтвердил Брюжон.

– Трактирщик здесь, – заключил Монпарнас.

Они подняли глаза, Тенардье немного приподнял голову над стеной.

– Живо! – сказал Монпарнас. – Другой конец веревки у тебя, Брюжон?

– Да.

– Свяжи концы вместе, мы бросим ему веревку, он прикрепит ее к стене, этого хватит, чтобы спуститься.

Тенардье отважился подать голос:

– Я промерз до костей.

– Согреешься.

– Я не могу шевельнуться.

– Ты только скользнешь вниз, мы тебя подхватим.

– У меня окоченели руки.

– Привяжи только веревку к стене.

– Я не могу.

– Нужно кому-нибудь из нас подняться к нему, – сказал Монпарнас.

– На третий этаж! – заметил Брюжон.

Старый оштукатуренный дымоход, выходивший из печки, которую некогда топили в лачуге, тянулся вдоль стены и доходил почти до того места, где был Тенардье. Эта труба, в то время сильно потрескавшаяся и выщербленная, позже совсем обрушилась, но следы ее видны и сейчас. Она была очень узкой.

– Можно взобраться по ней, – сказал Монпарнас.

– По этой трубе? – вскричал Бабет. – Мужчине – никогда. Здесь нужен малек.

– Нужен малыш, – подтвердил Брюжон.

– Где бы найти ребятенка? – спросил Живоглот.

– Подождите, – сказал Монпарнас. – Я придумал.

Он тихонько приоткрыл калитку ограды, удостоверился, что на улице нет ни одного

прохожего, осторожно вышел, закрыл за собою калитку и бегом пустился к Бастилии.

Прошло семь или восемь минут – восемь тысяч веков для Тенардье; Бабет, Брюжон и Живоглот не проронили ни слова; калитка, наконец, снова открылась, и в ней показался запыхавшийся Монпарнас в сопровождении Гавроша. Улица из-за дождя была по-прежнему совершенно пустынная.

Гаврош вошел в ограду и спокойно посмотрел на эти разбойничьи физиономии. Вода капала с его волос.

– Малыш, мужчина ты или нет? – обратился к нему Живоглот.

Гаврош пожал плечами и ответил:

– Такой малыш, как я, – мужчина, а такие мужчины, как вы, – мелюзга.

– Как у малька здорово звякает звонок! – вскричал Бабет.

– Пантенский малыш – не мокрая мышь, – добавил Брюжон.

– Ну, что же вам нужно? – спросил Гаврош.

Монпарнас ответил:

– Вскарabкаться по этой трубе.

– С этой удавкой, – заметил Бабет.

– И прикрутить шнурок, – продолжал Брюжон.

– К верху стены, – снова вступил Бабет.

– К перекладине в стекляшке, – прибавил Брюжон.

– А дальше? – спросил Гаврош.

– Все! – заключил Живоглот.

Мальчуган осмотрел веревку, трубу, стену, окна и произвел губами тот непередаваемый и презрительный звук, который обозначает:

– Только и всего!

– Там наверху человек, надо его спасти, – заметил Монпарнас.

– Согласен? – спросил Брюжон.

– Дурачок! – ответил мальчик, как будто вопрос представлялся ему оскорбительным, и снял башмаки.

Живоглот подхватил Гавроша рукой, поставил его на крышу лачуги, прогнившие доски которой гнулись под его тяжестью, и передал ему веревку, связанную Брюжоном надежным узлом во время отсутствия Монпарнаса. Мальчишка направился к трубе, в которую было легко проникнуть благодаря широкой расселине у самой крыши. В ту минуту, когда он собирался влезть в трубу, Тенардье, увидев приближающееся спасение и жизнь, наклонился над стеной; слабые лучи зари осветили его потный лоб, его посиневшие скулы, заострившийся и хищный нос, всклокоченную седую бороду, и Гаврош его узнал.

– Смотри-ка, – сказал он, – да это папаша!.. Ну ладно, пускай его!

И, взяв веревку в зубы, он решительно начал подниматься. Добравшись до верхушки развалины, он сел верхом на старую стену, точно на лошадь, и крепко привязал веревку к поперечине окна.

Мгновение спустя Тенардье был на улице.

Как только он коснулся ногами мостовой, как только почувствовал себя вне опасности, он словно и не уставал вовсе, не коченел от холода, не дрожал от страха; все ужасное, от чего он избавился, рассеялось, как дым; его странный и дикий ум пробудился и, осознав свободу, воспрянул, готовый к дальнейшей деятельности.

Вот каковы были первые слова этого человека:

– Кого мы теперь будем есть?

Не стоит объяснять смысл этого слова, до ужаса ясного, обозначавшего одновременно:

убивать, мучить и грабить. Истинный смысл слова *есть* – это *пожирать*.

– Надо смываться, – сказал Брюжон. – Кончим в двух словах и разойдемся. Попалось тут хорошенькое дельце на улице Плюме, улица пустынная, дом на отшибе, сад со старой ржавой решеткой, в доме одни женщины.

– Отлично! Почему же нет? – спросил Тенардье.

– Твоя дочка Эпониная ходила туда, – ответил Бабет.

– И принесла сухарь Маньон, – прибавил Живоглот. – Делать там нечего.

– Дочка не дура, – заметил Тенардье. – А все-таки надо будет посмотреть.

– Да, да, – сказал Брюжон, – надо будет посмотреть.

Однако никто из этих людей, казалось, не обращал больше внимания на Гавроша, который во время этого разговора сидел на одном из столбиков, подпиравших забор; он подождал несколько минут, быть может, надеясь, что отец вспомнит о нем, затем надел башмаки и сказал:

– Ну все? Я вам больше не нужен, господа мужчины? Вот вы и выпутались из этой истории. Я ухожу. Мне пора поднимать своих ребят.

И он ушел.

Пять человек вышли один за другим из ограды.

Когда Гаврош скрылся из виду, свернув на Балетную улицу, Бабет отвел Тенардье в сторону.

– Ты разглядел этого малька?

– Какого малька?

– Да того, который взобрался на стену и принес тебе веревку?

– Не очень.

– Ну так вот, я не уверен, но мне кажется, что это твой сын.

– Ба, – ответил Тенардье, – ты думаешь?

Книга седьмая

Арго

Глава 1

Происхождение

Pigritia^[125] – страшное слово.

Оно породило целый мир – la régre, читайте: *воровство*; и целый ад – la régrenne, читайте: *голод*.

Таким образом, лень – это мать.

У нее сын – воровство, и дочь – голод.

Где мы теперь? В сфере арго.

Что же такое арго? Это одновременно национальность и наречие; это воровство под двумя его личинами – народа и языка.

Когда тридцать четыре года тому назад рассказчик этой мрачной и знаменательной истории ввел в одно из своих произведений^[126], написанных с такой же целью, как и это, вора, говорящего на арго, это вызвало удивление и негодующие вопли: «Как? Арго? Может ли быть! Но ведь арго – ужасно! Ведь это язык галер, каторги, тюрем, всего самого отвратительного, что только есть в обществе!» и т. д. и т. д.

Мы никогда не понимали возражений такого рода.

Потом, когда два великих романиста, один из которых являлся глубоким знатоком человеческого сердца, а другой – неустрашимым другом народа, Бальзак и Эжен Сю, заставили говорить бандитов на их естественном языке, как это сделал в 1828 году автор книги «Последний день приговоренного к смерти», снова раздались вопли. Повторяли: «Чего хотят от нас писатели с этим возмутительным наречием? Арго омерзительно! Арго приводит в содрогание!»

Кто же отрицает? Конечно, это так.

Когда речь идет о том, чтобы исследовать рану, пропасть или общество, то с каких же это пор стремление проникнуть вглубь, добраться до дна стало вызывать порицание? Мы всегда считали это проявлением мужества и, во всяком случае, делом полезным и достойным того сочувственного внимания, которого заслуживает принятый на себя и выполненный долг. Почему же не разведать все, не изучить всего, зачем останавливаться на полпути? Останавливаться – это дело зонда, а не того, в чьей руке он находится.

Конечно, отправиться на поиски в самые низы общества, туда, где кончается твердая почва и начинается грязь, рыться в этих вязких пластах, ловить, хватать и выбрасывать на поверхность совсем живым и трепещущим это вытащенное на свет божий презренное наречие, сочащееся грязью, этот гнойный словарь, где каждое слово кажется мерзким звеном какого-то кольчатого чудовища, обитателя тины и мрака, – все это задача и непривлекательная, и нелегкая. Нет ничего более удручающего, чем созерцать при свете мысли отвратительное в своей наготе кишение арго. Действительно, кажется, что пред вами предстало гнусное исчадие ночной тьмы, внезапно извлеченное из его клоаки. Вы словно видите ужасную живую и взъерошенную заросль, которая дрожит, шевелится, смотрит на вас, угрожает и требует возвращения во мрак. Вот это слово походит на коготь, другое – на потухший и кровавый глаз; вот эта фраза как будто дергается наподобие клешни краба. И все это обладает той омерзительной живучестью, которая свойственна всему зарождающемуся в разложении.

Далее, с каких это пор ужас стал исключать исследование? С каких это пор болезнь стала изгонять доктора? Можно ли представить себе естествоиспытателя, который отказался бы изучать гадюку, летучую мышь, скорпиона, сколопендру, тарантула и швырнул бы их обратно во тьму, воскликнув: «Какая гадость!» Мыслитель, отвернувшийся от аргю, походил бы на хирурга, отвернувшегося от бородавки или язвы. Он был бы подобен филологу, не решающемуся заняться каким-нибудь языковым явлением, или философу, не решающемуся вникнуть в какое-нибудь явление общественной жизни. Ибо аргю, – да будет известно тем, кто этого не знает, – одновременно и явление литературное, и следствие определенного общественного строя. Что же такое аргю в собственном смысле? Аргю – это язык нищеты.

Здесь нас могут прервать; могут обобщить приведенный факт, что иногда является средством уменьшить его значительность; могут нам сказать, что все ремесла, все профессии – к ним, пожалуй, можно было бы добавить все ступени общественной иерархии и всякую форму мышления – имеют свое аргю. Торговец, который говорит: *Монпелье наличный. Марсель хорошего качества*; биржевой маклер, говорящий: *играю на повышение, страховая премия, текущий счет*; игрок, который говорит: *хожу по всем, ника бита*; пристав на Нормандских островах, говорящий: *съемицик, на участок которого наложено запрещение, не может требовать урожая с этого участка во время заявления наследственных прав на недвижимое имущество отказчика*; водевилист, заявляющий: *пьесу освистали*; актер, сказавший: *я провалился*; философ, который сказал: *тройственность явления*; охотник, говорящий: *красная дичь, столовая дичь*; френолог, сказавший: *дружелюбие, войнолюбие, тайнолюбие*; пехотинец, именующий ружье *кларнетом*; кавалерист, который называет своего коня *индюшонком*; учитель фехтования, говорящий: *терция, кварта, выпад*; типограф, сказавший: *набор на шпоны*, – все они, типограф, учитель фехтования, кавалерист, пехотинец, френолог, охотник, философ, актер, водевилист, пристав, игрок, биржевой маклер, торговец, говорят на аргю. Живописец, который говорит: *мой мазилка*, нотариус, который говорит: *мой попрыгун*, парикмахер, который говорит: *мой подручный*; сапожник, который говорит: *мой подпомощник*, говорят на аргю. В сущности, если угодно, различные способы обозначать правую и левую стороны также принадлежат аргю: у матроса – *штирборт* и *бакборт*, у театрального декоратора – *двор* и *сад*, у причетника – *апостольская* и *евангельская*. Есть аргю модниц, как было аргю жеманниц. Особняк Рамбулье кое в чем граничит с Двором чудес. Есть аргю герцогинь – свидетельством является следующая фраза в любовной записочке одной великосветской дамы и красавицы эпохи Реставрации: «Во всех этих сплетках вы найдете тьможество оснований для того, чтобы мне вызволиться».

Дипломатические шифры также составлены на аргю: папская канцелярия, употребляющая цифру 26 вместо Рим, *grkztntgzyal* вместо *отправка* и *abfxustgrnogrku tu XI* вместо *герцог Моденский*, говорит на аргю. Средневековые врачи, которые вместо морковь, редиска и репа говорили: *oporopach, perfroschinum, reptitalmus, dracatholicum angelorum, postmegorum*, говорили на аргю. Сахарозаводчик, почтенный предприниматель, говорящий: *сахарный песок, сахарная голова, клерованный, рафинад, жжёнка, бастер, кусковой, пиленный*, изъясняется на аргю. Известное направление в критике двадцать лет тому назад, утверждавшее: *половина Шекспира состоит из игры слов и из каламбуров*, говорило на аргю. Поэт и художник, которые совершенно здраво определили бы г-на де Монморанси как «буржуа», если бы он ничего не смыслил в стихах и статуях, выразились бы на аргю. Академик-классик, называющий цветы *Флорой*, плоды *Помоной*, море *Нептуном*, любовь *огнем в крови*, красоту *прелестями*, лошадь *скакуном*, белую или трехцветную кокарду *розой Беллоны*, треуголку *треугольником Марса*, – этот академик-классик говорит на аргю. У алгебры, медицины, ботаники свое аргю. Язык, употребляемый на кораблях, этот изумительный язык моряков, столь законченный и столь живописный, на котором говорили Жан Бар, Дюкен, Сюффрен и Дюпери, язык, сливающийся со

свистом ветра в снастях, с ревом рупора, со стуком абордажных топоров, с качкой, с ураганом, шквалом, залпами пушек, – это настоящее арго, героическое и блестящее, которое перед пугливым арго нищеты – то же, что лев перед шакалом.

Это так. Но что бы там ни говорили, подобное понимание слова «арго» является расширенным его толкованием, с которым далеко не все согласятся. Что до нас, то мы сохраним за этим словом его прежнее точное значение, ограниченное и определенное, и отделим одно арго от другого. Настоящее арго, арго чистейшее, если только эти два слова соединимы, существующее с незапамятных времен и бывшее целым царством, есть не что иное, мы это повторяем, как уродливый, пугливый, скрытый, предательский, ядовитый, жестокий, двусмысленный, гнусный, глубоко укоренившийся роковой язык нищеты. У последней черты всех унижений и всех несчастий существует крайняя, вопиющая нищета, которая восстает и решается вступить в борьбу со всей совокупностью благополучия и господствующего права – в борьбу страшную, где то хитростью, то насилием, одновременно немощная и свирепая, она нападает на общественный порядок, вонзаясь в него шипами порока или обрушиваясь дубиной преступления. Для надобностей этой борьбы нищета изобрела язык битвы – арго.

Заставить всплыть из глубины и поддержать над бездной забвения пусть даже обрывок некогда живого языка, обреченного на исчезновение, то есть сохранить один из тех элементов, дурных или хороших, из которых слагается или которыми осложняется цивилизация, это значит расширить данные для наблюдения над обществом, это значит послужить самой цивилизации. Желая или не желая, Плавт оказал ей эту услугу, заставив двух карфагенских воинов говорить на финикийском языке; эту услугу оказал и Мольер, заставив говорить стольких своих персонажей на левантинском языке и всевозможных видах местных наречий. Здесь возражения снова оживают: «А, финикийский, чудесно! Левантинский, в добрый час! Даже местные наречия, пожалуйста! Это язык наций или провинций; но арго? Какая нужда сохранять арго? Зачем вытаскивать на свет божий арго?»

На все это мы ответим только одним. Действительно, если язык, на котором говорила нация или провинция, заслуживает интереса, то есть нечто еще более достойное внимания и изучения – это язык, на котором говорила нищета.

Это язык, на котором во Франции, к примеру, говорила более четырех столетий не только какая-нибудь разновидность человеческой нищеты, но нищета вообще, всяческая нищета.

И затем, мы настаиваем на этом, изучать уродливые черты и болезни общества, указывать на них для того, чтобы излечить, – это отнюдь не является работой, где дозволен отбор материала. Историк нравов и идей облечен миссией не менее трудной, чем историк событий. В распоряжении одного – поверхность цивилизации: он наблюдает борьбу династий, рождения престолонаследников, бракосочетания королей, битвы, законодательные собрания, крупных общественных деятелей, революции – все, что совершается на дневном свете, вовне. Другому достаются ее недра, ее глубь: он наблюдает народ, который работает, страдает и ждет, угнетенную женщину, умирающего ребенка, глухую борьбу человека с человеком, никому не ведомые зверства, предрассудки, несправедливости, принимаемые как должное подземные предупреждающие удары закона, тайное перерождение душ, смутное содрогание масс, голодающих, босяков, голяков, бездомных, безродных, несчастных и опозоренных – все эти призраки, бродящие во тьме. Ему должно нисходить туда с сердцем, исполненным милосердия и строгости одновременно, до самых непроницаемых казематов, где вперемежку пресмыкаются тот, кто истекает кровью, и тот, кто нападает, тот, кто плачет, и тот, кто проклинает, тот, кто голодает, и тот, кто пожирает, тот, кто претерпевает от зла, и тот, кто его творит. Облечены ли историки сердец и душ обязанностями меньшими, чем историки внешних событий? Допустимо ли думать, чтобы Данте мог сказать меньше, чем Макиавелли? Разве подземелья цивилизации,

будучи столь глубокими и мрачными, меньше значат, нежели надземная ее часть? Можно ли хорошо знать горный кряж, если не знаешь скрытой в нем пещеры?

Впрочем, заметим это мимоходом, из предшествующих кратких замечаний могут заключить, что между двумя категориями историков есть резкое различие; однако, на наш взгляд, его не существует. Никто не может быть назван хорошим историком жизни народов, внешней, зримой, бросающейся в глаза и открытой, если он в то же время в известной мере не является историком скрытой жизни его недр; и никто не может быть назван хорошим историком внутреннего бытия, если он не сумеет стать, каждый раз, когда в этом встретится необходимость, историком бытия внешнего. История нравов и идей пронизывает историю событий и сама, в свою очередь, пронизана последней. Это два порядка различных явлений, отвечающих один другому, всегда взаимно подчиненных, а нередко и порождающих друг друга. Все черты, которыми провидение отмечает лик нации, имеют свое темное, но отчетливое соответствие в ее глубинах, и все содрогания этих глубин вызывают изменения на поверхности. Подлинная история примешана ко всему, и настоящий историк должен вмешиваться во все.

Человек – это не круг с одним центром; это эллипс с двумя средоточиями. События – одно из них, идеи – другое.

Арго – не что иное, как костюмерная, где язык, намереваясь совершить какой-нибудь дурной поступок, переодевается. Там он напяливает на себя маски-слова и лохмотья-метафоры. Таким образом, он становится страшным.

Его с трудом узнают. Неужели это действительно французский язык, великий человеческий язык? Вот он готов взойти на сцену и подать реплику преступлению, пригодный для всех постановок, которые имеются в репертуаре зла. Он уже не идет, а ковыляет; он прихрамывает, опираясь на костыль Двора чудес – костыль, способный мгновенно превратиться в дубинку; он именуется профессиональным нищим; он загримирован своими костюмерами – всеми этими призраками; он то ползет по земле, то поднимается – двойственное движение пресмыкающегося. Отныне он готов ко всем ролям: поддельватель документов сделал его косым, отравитель покрыл ярью-медянкой, поджигатель начернил сажей, а убийца подрумянил кровью своих жертв.

Если подойти изнутри к наружным дверям общества, то можно уловить разговор тех, кто по ту сторону двери. Можно различить вопросы и ответы. Можно расслышать, хоть и не понимая его смысла, отвратительный говор, звучащий почти по-человечески, но более близкий к лаю, чем к речи. Это – арго. Слова его уродливы и отмечены какой-то фантастической животностью. Кажется, слышишь говорящих гидр.

Это – непонятное в сокрытом мглою. Это скрипит и шушукается, дополняя сумерки загадкою. Глубокую тьму источает несчастье, еще более глубокую – преступление; эти две сплавленные тьмы составляют арго. Мрак вокруг, мрак в поступках, мрак в голосах. Страшен этот язык-жаба, он мечется взад и вперед, подскакивает, ползет, пускает слюну и отвратительно копошится в бесконечном сером тумане, созданном из дождя, ночи, голода, порока, лжи, несправедливости, наготы, удушья и зимы, – в тумане, заменяющем ясный полдень отверженным.

Будем же снисходительны к ним. Увы! Что представляем собою мы, мы сами? Что такое я, обращающийся к вам? Кто такие вы, слушающие меня? Откуда мы? Есть ли полная уверенность в том, что мы ничего не совершили, прежде чем родились? Земля отнюдь не лишена сходства с тюремной клеткой. Кто знает, не является ли человек преступником, вторично приговоренным к наказанию божественным судом?

Взгляните на жизнь поближе. Она создана так, что всюду чувствуется кара.

На самом ли деле вы тот, кто зовется счастливецом? Ну, так вот – вы грустны всякий день.

Каждому дню своя большая печаль или своя маленькая забота. Вчера вы дрожали за здоровье того, кто вам дорог, сегодня боитесь за свое собственное, завтра вас беспокоят денежные дела, послезавтра наветы клеветника, вслед за этим – несчастье друга; потом дурная погода, потом какая-нибудь разбитая или потерянная вещь, потом удовольствие, за которое вам приходится расплачиваться муками совести и болью в позвоночнике, а иной раз – и положение государственных дел. Все это, не считая сердечных горестей. И так далее, до бесконечности. Одно облако рассеивается, другое лишь меняет очертания. На сто дней едва ли найдется один, полный неомраченной радости и солнца. А ведь вы принадлежите к небольшому числу тех, кто обладает счастьем! Что касается других людей, то ночь, беспросветная ночь над ними.

Умы, размышляющие мало, пользуются выражением: счастливы и несчастны. В этом мире, по-видимому являющемся преддверием иного, нет счастливых.

Правильное разделение людей таково: сияющие светом и пребывающие во мраке.

Уменьшить количество темных, увеличить количество просвещенных – такова цель. Вот почему мы кричим: «Обучения! Знания!» Научить читать – это зажечь огонь; каждый разобранный слог сверкает.

Впрочем, сказать: «свет» не всегда означает сказать: «радость». Страдают и залитые светом: его излишек сжигает. Пламя – враг крыльев. Пылать, не прекращая полета, – это и есть чудо, отмечающее гения.

Когда вы познаете, когда вы полюбите, вы будете страдать еще больше. День рождается в слезах. Сияющие светом плачут хотя бы над пребывающими во мраке.

Глава 2

Корни

Арго – язык пребывающих во мраке.

Это загадочное наречие, одновременно позорное и бунтарское, волнует мысль в самых ее темных глубинах и приводит социальную философию к самым скорбным размышлениям. Именно на нем явственно видна печать кары. Каждый слог отмечен ею. Слова обычного языка являются в нем как бы покоробившимися и заскоруждыми под раскаленным железом палача. Некоторые как будто дымятся еще. Иная фраза производит на вас впечатление внезапно оголенного плеча вора с выжженным клеймом. Мысль почти отказывается быть выраженной этими словами-острожниками. Метафора бывает иногда столь наглой, что чувствуется ее знакомство с позорным столбом.

Но, несмотря на все это и по причине всего этого, столь странное наречие по праву занимает свое отделение в том беспристрастном хранилище, где есть место как для позеленевшего лиара, так и для золотой медали и которое именуется литературой. У арго, – согласны с этим или не согласны, – есть свой синтаксис и своя поэзия. Это язык. Если по уродливости некоторых слов можно распознать, что его коверкал Мандрен, то по блеску некоторых метонимий чувствуется, что на нем говорил Вийон.

Стихотворная строчка, столь изысканная и столь прославленная:

Mais où sont les neiges d'antan?^[127]

написана на арго. Antan – *ante annum* – слово из арго Двора чудес, обозначающее *прошедший год* и в более широком смысле *когда-то*. Тридцать лет тому назад, в 1827 году, в эпоху отбытия огромной партии каторжников, еще можно было прочесть следующее изречение,

нацарапанное гвоздем на стене одного из казематов Бисетра королем государства Арго, осужденным на галеры: *Les dabs d'antan trimaient siempre pour la pierre du coèsre*. Иными словами: *Короли былых времен всегда отправлялись на коронацию*. Для этого «короля» каторга и была «коронацией».

Слово *décarade*, означающее отъезд тяжелой кареты галопом, приписывается Вийону, и он достоин его. Это слово, будто высекающее искры, передано мастерской ономотопеей в изумительном стихе Лафонтена:

Six forts chevaux tiraient un coche^[128].

С точки зрения чисто литературной, мало какое исследование могло быть любопытней и плодотворней, чем в области арго. Это настоящий язык в языке, род болезненного нароста, нездоровый черенок, который привился, паразитическое растение, пустившее корни в древний галльский ствол и расстилающее свою зловещую листву по одной из ветвей языкового древа. Таким оно кажется на первый взгляд, таково, можно сказать, общее впечатление от арго. Но перед теми, кто изучает язык, как следует его изучать, то есть как геолог изучает землю, арго возникает подлинным напластованием. В зависимости от того, насколько глубоко разрывают это напластование, в арго под старым французским народным языком находят провансальский, испанский, итальянский, левантинский – этот язык портов Средиземноморья, английский и немецкий, романский в его трех разновидностях – романо-французской, романо-итальянской, романо-романской, латинский, наконец, баскский и кельтский. Это глубоко залегающая и причудливая формация. Подземное здание, построенное сообща всеми отверженными. Каждое отмеченное проклятием племя отложило свой пласт, каждое страдание бросило туда свой камень, каждое сердце положило свой булыжник. Толпа преступных душ, низменных или возмущенных, пронесшихся через жизнь и исчезнувших в вечности, присутствует здесь почти целиком и словно просвечивает сквозь форму какого-нибудь чудовищного слова.

Не угодно ли испанского? Древнее готское арго кишит испанизмами. Вот *boffette* – пощечина, происшедшее от *bofeton*; *vantane* – окно (позднее – *vanterne*), от *vantana*; *gat* – кошка, от *gato*; *acite* – масло, от *aceyte*. Не угодно ли итальянского? Вот *spade* – шпага, происшедшее от *spada*; *carvel* – судно, от *caravella*. Не угодно ли английского? Вот *bichot* – епископ, происшедшее от *bishop*; *raille* – шпион, от *rascal*, *rascalion* – негодяй; *pilche* – футляр, от *pilcher* – ножны. Не угодно ли немецкого? Вот *caleur* – слуга, от *kellner*; *hers* – хозяин, от *herzog*. Не угодно ли латинского? Вот *frangir* – ломать, от *frangere*; *affurer* – воровать, от *fur*; *cadène* – цепь, от *catena*. Есть латинское слово, появлявшееся во всех европейских языках в силу какой-то загадочной верховной его власти, это слово *magnus* – великий; Шотландия сделала из него свое *mac*, обозначающее главу клана: Мак-Фарлан, Мак-Каллюмор – великий Фарлан, великий Каллюмор^[129]; арго сделало из него *meck*, а позднее *meg*, то есть бог. Не угодно ли баскского? Вот *gahisto* – дьявол, от *gaiztoa* – злой; *sorgabon* – доброй ночи, от *gabon* – добрый вечер. Не угодно ли кельтского? Вот *blavin* – носовой платок, от *blavet* – брызжущая вода; *ménesse* – женщина (в дурном смысле), от *meines* – полный камней; *barant* – ручей, от *baranton* – фонтан; *goffeur* – слесарь, от *goff* – кузнец; *guédouze* – смерть, от *guenn-du*, белое-черное. Не угодно ли, наконец, истории? Арго называет экую *мальтийка* в память монеты, имевшей хождение на галерах Мальты.

Кроме его филологической основы, на которую мы только что указали, у арго имеются и другие корни, еще более естественные и порожденные, так сказать, самим разумом человека.

Во-первых, прямое словотворчество. Вот где тайна созидания языка. Умение рисовать при

помощи слов, которые, неведомо как и почему, таят в себе образ. Они простейшая основа всякого человеческого языка – то, что можно было бы назвать его строительным гранитом.

Арго кишит словами такого рода, словами непосредственными, созданными из всякого материала, неизвестно где и кем, без этимологии, без аналогии, без производных, – словами, стоящими особняком, варварскими, иногда отвратительными, но обладающими странной силой выразительности и живыми. Палач – *кат*; лес – *оксим*; страх, бегство – *плёт*; лакей – *лакуза*; генерал, префект, министр – *ковруг*; дьявол – *дедер*. Нет ничего более странного, чем эти слова, которые и укрывают, и обнаруживают. Некоторые, например *дедер*, в то же время гротескны и страшны и производят на вас впечатление какой-то гримасы циклопа.

Во-вторых, метафора. Особенностью языка, который хочет все сказать и все скрыть, является обилие образных выражений. Метафора – загадка, за которой укрывается вор, замышляющий преступление, заключенный, обдумывающий бегство. Не существует идиомы, более метафорической, чем арго. *Отвинтить орех* – свернуть шею; *хрястать* – есть; *венчаться* – быть судимым; *крыса* – тот, кто ворует хлеб; *алебардит* – идет дождь, старая поразительная метафора, сама в известном смысле свидетельствующая о времени своего появления, уподобляющая длинные косые струи дождя плотному строю наклоненных пик ландскнехтов и уместающая в одном слове народную метонимию: *дойдит алебардами*. Иногда, по мере того как арго подвигается от первой стадии своего развития ко второй, слова, находившиеся в диком и первобытном состоянии, обретают метафорическое значение. Дьявол перестает быть *дедером* и становится *пекарем* – тем, кто сажает в печь. Это умнее, но мельче; нечто, подобное Расину после Корнеля и Еврипиду – после Эсхила. Некоторые выражения арго, относящиеся к обеим стадиям его развития, одновременно имеющие характер варварский и метафорический, походят на фантазмагии. *Потьмушники мозгуют стырить клятuru под месяцем* (бродяги ночью собираются украсть лошадь). Все это проходит перед сознанием, как группа призраков. Видишь, но что это такое – не ведаешь.

В-третьих, его изворотливость. Арго паразитирует на живом языке. Оно пользуется им, как ему вздумается, оно черпает из него наудачу и часто довольствуется, когда в этом возникает необходимость, общим грубым искажением. Нередко с помощью обычных слов, изуродованных таким образом, в сочетании со словами из чистого арго оно составляет красочные выражения, где чувствуется смесь двух упомянутых элементов – прямого словотворчества и метафоры: *Кеб брешет, сдается, пантенова тарактелка дыбает по оксиму* – собака лает, должно быть, дилижанс из Парижа проезжает по лесу. *Фраер – балбень, фраерша – клевая, а баруля фартовая* – хозяин глуп, его жена хитра, а дочь красива. Чаще всего, чтобы сбить с толку слушателя, арго ограничивается тем, что без разбора прибавляет ко всем словам гнусный хвост, окончание на *айль, орг, ерг* или *юш*. Так: *Находитайль ли выерг это жаркоюш хорошорг?* – Находите ли вы это жаркое хорошим? Эта фраза была обращена Картушем к привратнику, чтобы узнать, подошла ли ему сумма, предложенная за побег. Окончание *мар* стали прибавлять сравнительно недавно.

Арго, будучи наречием разложения, быстро разлагается и само. Кроме того, всегда стараясь скрыть свою сущность, оно, едва почувствует себя разгаданным, преобразуется. В противоположность любой иной форме произрастания здесь луч света убивает все, к чему прикасается. Так и шествует вперед арго, непрестанно распадаясь и восстанавливаясь заново; это безвестная и проворная, никогда не останавливающаяся работа. В десять лет арго проходит путь более длинный, чем язык – за десять столетий. Таким образом *larton*, хлеб, становится *lartif*; *gail*, лошадь, – *gaye*; *fertanche*, солома, – *fertille*; *momignard*, мальш, – *tomacque*; *siques*, одежда, – *frusques*; *chique*, церковь, – *érgugeoir*; *colabre*, шея, – *colas*. Дьявол сначала *хаушень*, потом *дедер*, потом *пекарь*; священник – *скребок*, потом *кабан*; кинжал – *двадцать два*, потом

перо, потом булавка; полицейские – *кочерги*, потом *жеребцы*, потом *рыжие*, потом *продавцы* *силков*, потом *легавые*, потом *фараоны*; палач – *дядя*, потом *Шарло*, потом *кат*, потом *костыльщик*. В семнадцатом веке *бить* – *угощать табаком*, а в девятнадцатом – *натабачить*. Двадцать различных выражений прошли между этими двумя. Язык Картуша на слух Ласнера казался бы древнееврейским. Все слова этого языка находятся в непрерывном бегстве, подобно людям, их произносящим.

Однако время от времени, и именно вследствие этого движения, старое аргю возрождается и опять становится новым. У него есть свои центры, где оно удерживается. Тюрьма Тамплъ сохраняла аргю семнадцатого века, Бисетр в бытность свою тюрьмой хранил аргю Тюнского царства. Там можно было услышать окончания на *анш* старых подданных этого царства. Ты *пъёаншь*? (ты пьешь?) Он *верианш* (он верит). Но вечное движение отнюдь не перестает оставаться его законом.

Если философу удастся удержать на мгновение этот беспрестанно улетающий язык, чтобы исследовать его, им овладевают горестные, но полезные мысли. Никакое другое исследование не бывает более действенным, более плодотворным и поучительным. Нет ни одной метафоры, ни одного корня в словах аргю, которые не содержали бы наглядного урока. Среди этих людей *бить* означает *прикидываться*; они *бьют* болезнь – прикидываются больными; их сила – хитрость.

Для них идея человека неотделима от идеи тьмы. Ночь – *потьмуха*; человек – *тёмник*. Человек – производное от ночи.

Они привыкли рассматривать общество как среду, убивающую их, как роковую силу, и о своей свободе они говорят так, как принято говорить о своем здоровье. Арестованный человек – *больной*; человек осужденный – *мертвый*.

Самое страшное для заключенного в четырех каменных стенах, где он погребен, это некая леденящая чистота; он называет темницу *чистая*. В этом мрачном месте жизнь на воле всегда является ему в самом радужном свете. У заключенного на ногах кандалы; быть может, вы полагаете, что, по его мнению, ноги служат для ходьбы? Нет, он думает, что для пляски; поэтому, когда ему удастся перепилить кандалы, первая его мысль – о том, что теперь он может танцевать, и он называет пилу *скрипка*. Имя – это *сердцевина*; многозначительное уподобление. У бандита две головы: та, которая обдумывает все его действия и руководит им в течение всей жизни, и та, которая ложится под нож гильотины в день его казни; голову, которая подает ему советы в преступных делах, он называет *сорбонной*, другую, которой он платится, *отрубком*. Когда у человека на теле ничего не остается, кроме лохмотьев, а в сердце – ничего, кроме пороков, когда он доходит до того двойного падения, материального и нравственного, которое характеризуется в обоих его значениях словом *gueux* – нищий, то он готов к преступлению, он подобен хорошо отточенному ножу с двумя лезвиями – нуждой и злобой; поэтому аргю не говорит *gueux*, оно говорит *réguisé* – наостренный. Что такое каторга? Костер для осужденных на вечные муки, ад. Каторжник называется *хворостьё*. Наконец, каким же словом злодей называет тюрьму? *Академия*. Целая исправительная система может быть порождена этим словом.

У вора тоже есть свое так называемое «пушечное мясо», те, кого можно обокрасть, – вы, я, любой прохожий: *pan tre*. (*Pan* – все люди.)

Хотите знать, где появилось большинство песен каторги, эти припевы, именуемые в специальных словарях *lirlonfa*?^[130] Послушайте об этом.

В парижском Шатле существовал длинный подвал. Этот подвал находился на восемь футов ниже уровня Сены. В нем не было ни окон, ни отдушин, единственным отверстием являлась дверь; люди могли туда проникнуть, но воздух не проникал. Каменный свод служил потолком, а

полом – десятидюймовый слой грязи. Подвал когда-то был вымощен, но туда просачивалась вода, и каменные плитки пола дали трещины и выкрошились. На высоте восьми футов от пола это подземелье пересекала из конца в конец длинная толстая балка; с балки, на некотором расстоянии друг от друга, свешивались цепи длиной в три фута, а к концам этих цепей были прикреплены ошейники. В подвал сажали людей, осужденных на галеры, до дня их отправки в Тулон. Их загоняли под эту балку, где каждого ожидали поблескивавшие во мраке кандалы. Цепи, будто свешивающиеся руки, и ошейники, точно открытые ладони, хватали несчастных за шею. Их заковывали и оставляли здесь. Цепь была слишком коротка и не давала им лечь. Они стояли неподвижно в этом подвале, в этой тьме, под этой перекладной, почти повешенные, вынужденные тратить неслыханные усилия, чтобы дотянуться до куска хлеба или кружки с водой под низко нависающим над головой сводом, по щиколотку в грязи, в стекающих по телу собственных нечистотах, истерзанные усталостью, с дрожащими, подкашивающимися ногами, цепляясь руками за цепь, чтобы отдохнуть, не имея возможности уснуть иначе, как стоя, и просыпаясь каждую минуту, удушаемые ошейником. Иные из них так и не просыпались больше. Чтобы поесть, они при помощи ступни одной ноги поднимали по голени другой, пока его могла достать рука, тот хлеб, который им бросали в грязь. Сколько времени находились они в таком положении? Месяц, два месяца, иногда полгода; один пробыл год. Это была прихожая каторги. Сюда бросали за убитого в королевских лесах зайца. Что делали они в этом склепе, в этой преисподней? То, что можно было делать в склепе: умирать, и то, что можно делать в преисподней: петь. Потому что там, где нет больше надежды, остается песня. В мальтийских водах при приближении галеры сначала слышали песню, а уже потом удары весел. Бедняга браконьер Сюрвенсан, прошедший через подвальную тюрьму Шатле, говорил: *Только рифмы меня и поддерживали*. Говорят о бесполезности поэзии. На что, мол, нужны рифмы? Но именно в этом подвале и родились почти все песни аргю. Именно в тюрьме Большого Шатле в Париже появился меланхолический припев галеры Монгомери: *Тималумизен, тимуламизон*. Большинство этих песен зловещи; некоторые веселы; одна – нежная:

Туткайль театр
Малютки стрелка [\[131\]](#).

Сколько ни старайтесь, вы не уничтожите бессмертных останков человеческого сердца – любовь.

В этом мире темных дел хранят тайну друг друга. Тайна – общая собственность. Тайна для этих отверженных – связь, являющаяся основой их союза. Нарушить тайну – значит вырвать у каждого члена этого дикого сообщества какую-то часть его самого. Донести на энергичном языке аргю обозначает *съесть кусок*. Словно доносчик отрывает по частице тела у всех и питается этим мясом.

Что значит дать пощечину? Обычная метафора отвечает: *засветить тридцать шесть свечей*. Здесь аргю вмешивается и добавляет: свеча – это *камуфля*. Поэтому обычный разговорный язык нашел для пощечины синоним – *камуфлет*. Таким образом, благодаря своего рода проникновению снизу вверх, пользуясь метафорой, этой траекторией, которую невозможно вычислить, аргю поднялось из пещеры до академии. Если Пулайе сказал: *Я зажигаю мою камуфлю*, то Вольтер писал: *Ланглевель Ла Бомель заслуживает ста камуфлетов*.

Раскопки в аргю – это открытие на каждом шагу. Углубленное изучение этого странного наречия приводит к таинственной точке пересечения общества добропорядочных людей с

обществом людей, заклеянных проклятием.

Арго – это слово, ставшее каторжником.

Трудно поверить, чтобы мыслящее начало человека могло пасть столь низко, чтобы оно могло дать темной тирании рока связать себя по рукам и ногам и ввергнуть в бездну, чтобы оно могло тяготеть к неведомым соблазнам этой бездны.

О, бедная мысль отверженных!

Увы! Неужели в этом мраке никто не придет на помощь душе человеческой? Неужели ее судьба в том, чтобы вечно ждать духа-освободителя, исполинского всадника, правящего пегасами и гиппогрифами, одетого в цвета зари воителя, спускающегося с лазури на крыльях, радостного рыцаря будущего? Неужели она всегда будет тщетно призывать на помощь выкованное из света копье идеала? Неужели она навеки обречена с ужасом слышать, как в непроницаемой тьме этой бездны надвигается на нее Зло, и различать все яснее и яснее под отвратительными водами голову этого дракона, эту пасть, изрыгающую пену, это змеистое колыхание его когтистых лап, его вздувающихся и опадающих колец? Неужели она должна остаться там, без проблеска света, без надежды, отданная во власть приближающегося страшного чудовища, которое смутно чует ее, эта дрожащая, с разметавшимися волосами, ломающая руки, навсегда прикованная к утесу ночи печальная Андромеда, чье нагое тело белеет во мраке?

Глава 3

Арго плачущее и арго смеющееся

Как видите, все арго целиком, как существовавшее четыре века тому назад, так и арго нынешнего дня, проникнуто тем мрачным символическим духом, который придает всем словам то жалобный, то угрожающий оттенок. В нем чувствуется древняя свирепая печаль тех нищих Двора чудес, которые употребляли для игры свои особые колоды карт; из этих игральных карт некоторые дошли до нас. Трефовая восьмерка, например, представляла собой большое дерево с восемью огромными трилистниками – род символического изображения леса. У подножия этого дерева разложен костер, на котором три зайца поджаривают воздетого на вертел охотника, а позади, на другом костре, стоит дымящийся котелок, из которого высовывается голова собаки. Нет ничего более зловещего, чем это возмездие в живописи, на игральных картах, во времена костров для поджаривания контрабандистов и кипящих котлов, куда бросали фальшивомонетчиков. Различные формы, в которые облекалась мысль в царстве арго, даже песня, даже насмешка, – все отмечены печатью бессилия и угнетенности. Все песни, напевы которых сохранились, смиренны и жалостны до слез. Вор называется *бедным вором*, и всегда он прячущийся заяц, спасающаяся мышь, улетающая птица. Арго почти не жалуется, оно ограничивается вздохами; одно из его стенаний дошло до нас: *«Je n'entrave que le dail comment meck, le daron des orgues, peut atiger ses mômes et ses momignards et les locher criblant sans être atigé lui-même»*^[132]. Отверженный всякий раз, когда у него есть время подумать, ощущает свое бессилие перед лицом закона и ничтожество перед лицом общества; он пресмыкается, он умоляет, он взывает о сострадании; чувствуется, что он сознает свою вину.

К середине прошлого столетия произошла перемена. Тюремные песни, запевы воров приобрели, так сказать, дерзкие разудалые ухватки. Жалобный припев *малюрэ* заменился *ларифля*. В восемнадцатом веке почти во всех песнях галер, каторги и ссылки обнаруживается дьявольская и загадочная веселость. Их сопровождает точно светящийся фосфорическим блеском пронзительный и подпрыгивающий припев, который кажется заброшенной в лес

песенкой дудящего в дудку блуждающего огонька:

Мирлябаби, сюрлябабо,
Мирлитон рибон рибет.
Сюрлябаби, мирлябабо,
Мирлитон рибон рибо.

Так распевали, приканчивая человека где-нибудь в погребке или в лесной глуши.

Это серьезный симптом. В восемнадцатом веке стародавняя печаль этих угрюмых слоев общества рассеивается. Они начинают смеяться. Они осмеивают и великого бога, и великого короля. В царствование Людовика XV они называют короля Франции «маркиз Плясун». Они почти веселы. Какой-то слабый свет исходит от этих отверженных, как будто совесть не тяготит их больше. Эти жалкие племена потемок отличаются не только отчаянным мужеством своих поступков, но и беззаботной дерзновенностью духа. Это служит признаком того, что они теряют чувство своей преступности и что они ощущают даже среди мыслителей и мечтателей какую-то неведомую им самим поддержку. Это служит признаком того, что грабеж и воровство начинают просачиваться даже в доктрины и софизмы, теряя при этом некоторую долю своего безобразия и щедро наделяя им доктрины и софизмы. Наконец, это служит признаком, если только не возникнет никакой помехи, пышного и близкого их расцвета.

Остановимся на мгновение. Кого мы обвиняем здесь? Восемнадцатый век? Его философию? Нет, конечно. Дело восемнадцатого века – доброе и полезное дело. Энциклопедисты, с Дидро во главе, физиократы, с Тюрго во главе, философы, с Вольтером во главе, утописты, с Руссо во главе, – это четыре священных легиона. Огромный рывок человечества вперед, к свету, – их заслуга. Это четыре передовых отряда человеческого рода, движущихся к четырем основным пунктам прогресса: Дидро к прекрасному, Тюрго к полезному, Вольтер к истинному, Руссо к справедливому. Но рядом с философами и ниже их благоденствовали софисты – ядовитая поросль, присоседившаяся к здоровым растениям, цикута в девственном лесу. В то время как палач сжигал на главной лестнице Дворца правосудия великие освободительные книги эпохи, писатели, ныне забытые, издавали с королевского разрешения бог знает какую литературу, оказывающую странное, разлагающее действие и с жадностью проглатываемую отверженными. Некоторые из этих изданий, весьма опекаемых одним принцем, – забавная подробность! – числятся в «Тайной библиотеке». Эти важные, но неизвестные факты остались не замеченными на поверхности. Порою именно сама тьма, окутывающая факт, уже говорит о его опасности. Он темен, потому что происходит в подземелье. Быть может, Ретиф де ла Бретон был из всех писателей тем, кто прорыл тогда в народных толщах самую гибельную для здоровья галерею.

Эта работа, совершавшаяся во всей Европе, произвела в Германии больше опустошения, чем где бы то ни было. В Германии в течение известного периода времени, описанного Шиллером в его знаменитой драме «Разбойники», воровство и грабеж, самовольно завладев правом протеста против собственности и труда и усвоив некоторые общеизвестные, с виду правдоподобные, но ложные по существу, кажущиеся справедливыми, но бессмысленные на самом деле идеи, облачились в них и как бы исчезли, приняв отвлеченное название и получив таким образом видимость теории; они проникали в среду трудолюбивых людей, честных и страдающих, даже без ведома неосторожных химиков, изготовивших эту микстуру, даже без ведома масс, принимавших ее. Возникновение подобного факта всякий раз означает опасность. Страдание порождает вспышки гнева, и в то время как преуспевающие классы самоослепляются

или усыпляют себя, – а в одном и другом случае глаза у них закрыты, – ненависть бедствующих классов зажигает свой факел от какого-нибудь огорченного или злобного ума, размышляющего в уединении, и начинает исследовать общество. Это исследование, проводимое ненавистью, ужасно!

Отсюда, если есть на то воля роковых времен, и вытекают ужасные потрясения, некогда названные *жакериями*, рядом с которыми чисто политические волнения – детская игра. Это уж не борьба угнетенного с угнетателем, но стихийный бунт неблагополучия против благоденствия. И тогда все рушится.

Жакерии – это вулканические толчки в недрах народа.

Именно такой опасности, неизбежной, быть может, для Европы конца восемнадцатого века, поставила предел Французская революция – этот огромный акт человеческой честности.

Французская революция, которая есть не что иное, как идеал, вооруженный мечом, встав во весь рост, одним и тем же внезапным движением закрыла ворота зла и открыла ворота добра.

Она дала свободу мысли, провозгласила истину, развеяла миазмы, оздоровила век, венчала на царство народ.

Можно сказать, что она сотворила человека во второй раз, дав ему вторую душу – право.

Девятнадцатый век унаследовал ее дело и воспользовался им, и сегодня социальная катастрофа, на которую мы только что указывали, попросту невозможна. Слепец, кто о ней предупреждает! Глупец, кто ее страшится! Революция – это прививка против жакерии.

Благодаря революции условия общественной жизни изменились. В нашей крови нет больше болезнетворных бацилл феодализма и монархии. Нет больше Средневековья в нашем государственном строе. Мы больше не живем в те времена, когда ужасающее внутреннее брожение прорывалось наружу, когда под ногами слышались глухие перекаты непонятного гула, когда на поверхности цивилизации выступали невиданные холмы, таящие в себе подземные ходы кротов, когда почва раздавалась, когда свод пещер разверзался – и вдруг из-под земли возникали чудовищные лики.

Революционное чувство – чувство нравственное. Развившись, сознание права развивает сознание долга. Всеобщий закон – это свобода, кончающаяся там, где начинается свобода другого, согласно изумительному определению Робеспьера. С 89-го года народ, весь целиком, вырастает в некую возвышенную личность; нет бедняка, который, сознавая свое право, не видел бы проблеска света; умирающий от голода чувствует в себе честность Франции; достоинство гражданина есть его внутреннее оружие; кто свободен, тот добросовестен; кто голосует – царствует. Отсюда неподкупность; отсюда неуспех нездоровых вождедений; отсюда героически опущенные перед соблазнами глаза. Революционное оздоровление таково, что в день, возвещающий о свободе, будь то 14 июля или 10 августа, нет больше черни. Первый клич просвещенных и нравственно возвеличившихся народных масс – это «Смерть вора!». Прогресс – честный малый; идеал и абсолют не шарят по карманам. Кто охранял в 1848 году фургоны с богатствами Тюильри? Тряпичники из Сент-Антуанского предместья. Лохмотья стояли на страже сокровищ. Добродетель придала блеск оборванцам. В этих фургонах, в ящиках, едва закрытых, а иных даже и полуоткрытых, среди сотни сверкающих драгоценностями ларцов была древняя корона Франции, вся в алмазах, увенчанная царственным бриллиантом «Регентом» и стоившая тридцать миллионов. И босые люди охраняли эту корону.

Итак, нет больше жакерии. И я соболезную ловким людям. С нею исчез тот давний страх, который в последний раз произвел свое действие и уже никогда больше не может быть применен в политике. Главная пружина красного призрака сломана. Теперь об этом знают все. Страшилище не устрашает больше. Птицы запросто обращаются с пугалом, чайки садятся на него, буржуа над ним смеются.

При всем этом рассеялась ли всякая социальная опасность? Нет, конечно. Жакерии не существует. Общество может быть спокойно в этом отношении, кровь не бросится ему больше в голову; но оно должно поразмыслить о том, как следует ему дышать. Апоплексии оно может не бояться, но есть еще чахотка. Социальная чахотка называется нищетой.

Подтачивающая изнутри болезнь не менее смертельна, чем удар молнии.

Будем же повторять неустанно: прежде всего должно думать о скорбящих и обездоленных, помогать им, дать им дышать свежим воздухом, просвещать, любить, расширять их горизонт, щедро предоставлять им во всех его формах воспитание, всегда подавать им пример трудолюбия, но никогда – праздности, уменьшать тяжесть отдельного, личного бремени, углубляя познание общей цели, ограничивать бедность, не ограничивая богатства, создавать обширное поле для общественной и народной деятельности, иметь, подобно Бриарею, сто рук, чтобы протянуть их во все стороны слабым и угнетенным, общими силами выполнить великий долг, открыв мастерские для всех сноровок, школы – для всех способностей и училища – для всех умов, увеличить заработок, облегчить труд, уравновесить дебет и кредит, то есть привести в соответствие затрачиваемые усилия и возмещение, потребности и удовлетворение, – одним словом, заставить социальную систему давать страдающим и невежественным больше света и больше благ. Вот в чем первая братская обязанность – пусть сочувствующие души этого не забывают; вот в чем первая политическая необходимость – пусть эгоистичные сердца знают об этом.

Отметим, однако, что все это – только начало. Подлинная задача такова: труд не может быть законом, не будучи правом.

Мы отмечаем это, но не развиваем свою мысль, ибо здесь это неуместно.

Если природа называется провидением, общество должно называться предвидением.

Интеллектуальный и нравственный рост не менее важен, чем улучшение материальных условий. Знание – это напутствие, мысль – первая необходимость, истина – пища, подобная хлебу. Разум, изголодавшийся по знанию и мудрости, скудеет. Пожалеем же равно и о желудках и об умах, лишенных пищи. Если есть что-либо более страшное, чем плоть, погибающая от недостатка хлеба, так это душа, умирающая от жажды света.

Прогресс в целом стремится разрешить этот вопрос. Настанет день, когда все будут изумлены. С возвышением человеческого рода глубинные его слои совершенно естественно выйдут из пояса бедствий. Уничтожение нищеты свершится благодаря простому подъему общего уровня.

Такое решение благословенно, и было бы ошибкой усомниться в нем.

Правда, сила прошлого еще очень велика в наше время. Оно опять воспрянуло духом. Это оживление трупа удивительно. Прошрое шествует вперед, оно все ближе. Оно кажется победителем; этот мертвец – завоеватель. Оно идет со своим воинством – суевериями, со своей шпагой – деспотизмом, со своим знаменем – невежеством; с некоторого времени оно выиграло десять сражений. Оно надвигается, оно угрожает, оно смеется, оно у наших дверей. Что до нас, то не будем отчаиваться. Продадим поле, где раскинул лагерь Ганнибал.

Мы верим, чего же нам опасаться?

Идеи не текут вспять, так же как и реки.

Но пусть те, кто не хочет будущего, поразмыслят над этим. Говоря прогрессу «нет», они осуждают отнюдь не будущее, а самих себя. Они приговаривают себя к мрачной болезни: они

прививают себе прошлое. Есть только один способ отказаться от Завтра: это умереть.

Мы же не хотим никакой смерти: для тела – как можно позже, для души – никогда.

Да, загадка раскроется, сфинкс заговорит, задача будет решена. Да, образ народа, намеченный восемнадцатым веком, будет завершен девятнадцатым. Только глупец усомнится в этом! Будущий расцвет, близкий расцвет всеобщего благоденствия – явление, предопределенное небом.

Титанические порывы целого правят человеческими делами и приводят их все в установленное время к разумному состоянию, то есть к равновесию, то есть к справедливости. Человечество порождает силу, слагающуюся из земного и небесного, и она же руководит им; эта сила способна творить чудеса, волшебные развязки для нее не более трудны, чем необычайные превращения. С помощью науки, создаваемой человеком, и событий, ниспосылаемых кем-то другим, она мало страшится тех противоречий в постановке проблем, которые посредственности кажутся непреодолимыми. Она одинаково искусно извлекает решение из сопоставляемых идей, как и поучение из сопоставляемых фактов; можно ожидать всего от этого обладающего таинственным могуществом прогресса, который однажды дал очную ставку Востоку и Западу в глубине гробницы, заставив беседовать имамов с Бонапартом внутри пирамиды.

А пока – никаких привалов, колебаний, остановок в величественном шествии умов вперед. Социальная философия по существу есть наука и мир. Как целью, так и необходимым следствием ее деятельности является успокоение бурных страстей путем изучения антагонизмов. Она исследует, она допытывается, она расчленяет; после этого она соединяет наново. Она действует путем приведения к одному знаменателю, никогда не принимая в расчет ненависть.

Мы видели не раз, как рассеивалось общество в бешеном вихре, который обрушивается на людей: история полна крушений народов и государств; в один прекрасный день налетает это неведомое, этот ураган и уносит с собой все – обычаи, законы, религии. Цивилизации Индии, Халдеи, Персии, Ассирии, Египта исчезли одна за другой. Почему? Мы этого не знаем. В чем коренятся причины этих бедствий? Не ведаем. Могли ли быть эти общества спасены? Нет ли здесь их вины? Не были ли они привержены какому-нибудь роковому пороку, который их погубил? Сколько приходится на долю самоубийства в этой страшной смерти наций и рас? Все это вопросы без ответов. Мрак покрывает обреченные цивилизации. Раз они тонут, значит, дали течь; нам больше нечего сказать; и мы с какой-то растерянностью глядим, как в глубине этого моря, которое именуется «прошлым», за этими огромными волнами – веками, гонимые страшным дыханием, вырывающимся из всех устьев тьмы, идут ко дну исполинские корабли – Вавилон, Ниневия, Тир, Фивы, Рим. Но там – мрак, а здесь – ясность. Мы не знаем болезней древних цивилизаций, зато знаем недуги нашей. Мы имеем право освещать ее всюду; мы созерцаем ее красоты и обнажаем ее уродства. Там, где налицо средоточие боли, мы пускаем в дело зонд, и, когда недомогание установлено, изучение причины приводит к открытию лекарства. Наша цивилизация, работа двадцати веков, – одновременно чудовище и чудо; ради ее спасения стоит потрудиться. И она будет спасена. Принести ей облегчение – это уже много; дать ей свет – это еще больше. Все труды новой социальной философии должны быть доведены к этой цели. Великий долг современного мыслителя – выслушать легкие и сердце цивилизации.

Мы повторяем, такое исследование придает мужество, и настойчивым призывом к мужеству мы хотим закончить эти несколько страниц – суровый антракт в скорбной драме. Под бременностью общественных формаций чувствуется человеческое бессмертие. Земной шар не умирает оттого, что там и сям на нем встречаются раны – кратеры и лишаи – серные сопки; не умирает оттого, что вскрывшийся, подобно нарыву, вулкан извергает свою лаву, болезни народа

не убивают человека.

И все же тот, кто наблюдает за социальной клиникой, порою покачивает головой. У самых сильных, самых сердечных, самых разумных иногда опускаются руки.

Настанет ли грядущее? Кажется почти естественным задать себе подобный вопрос, когда видишь такую страшную тьму. Так мрачно зрелище столкнувшихся лицом к лицу эгоистов и отверженных. У эгоистов – предрассудки, слепота, порождаемая богатством, аппетит, возрастающий вместе с опьянением, тупость и глухота в результате благоденствия, боязнь страдания, которая доходит у них до отвращения к страдающим, бесчувственная удовлетворенность, «я», столь раздувшееся, что заполняет собой всю душу; у отверженных – вожделение, зависть, ненависть при виде чужих наслаждений, неукротимые порывы человека-зверя к утолению желаний, сердца, полные мглы, печаль, нужда, обреченность, невежество, непристойное и простодушное.

Следует ли еще устремлять наш взор к небу? Не принадлежит ли различаемая нами в высоте светящаяся точка к числу тех, что должны погаснуть? Страшно видеть идеал таким затерянным в глубинах, маленьким, едва заметным, сверкающим, но одиноким среди всех этих чудовищных глыб мрака, грозно сгрудившихся вокруг него; однако он не в большей опасности, чем звезда в пасти туч.

Книга восьмая

Чары и печали

Глава 1

Яркий свет

Читатель понял, что Эпониная, узнав сквозь решетку обитательницу улицы Плюме, куда ее послала Маньон, начала с того, что отвела от улицы Плюме бандитов, потом направила туда Мариуса, а Мариус после нескольких дней, проведенных в восторженном состоянии у этой решетки, влекомый той силой, которая притягивает магнит к железу, а влюбленного – к камням, из которых сложено жилище его возлюбленной, проник, наконец, в сад Козетты, как Ромео в сад Джульетты. Ему это далось даже легче, чем Ромео: Ромео пришлось перелезть через стену, а Мариусу – лишь слегка нажать на один из прутьев ветхой решетки, который шатался в своем проржавленном гнезде, словно старческий зуб. Мариус был худощав и легко проскользнул в образовавшееся отверстие.

Обычно на улице почти никого не бывало, к тому же Мариус появлялся в саду только ночью, поэтому ему и не грозила опасность, что его увидят.

Начиная с того благословенного и святого часа, когда поцелуй обручил эти две души, Мариус приходил туда каждый вечер. Если бы Козетта в то время полюбила человека не слишком совестливого и развратного, она бы погибла, ибо есть щедрые сердца, отдающие себя целиком, и Козетта принадлежала к числу таких натур. Одно из великодушных свойств женщины – уступать. Любви на той высоте, где она совершенна, присуща некая дивная слепота стыдливости. Но каким опасностям подвергаетесь вы, благородные души! Часто вы отдаете сердце, мы же берем тело. Ваше сердце мы отвергаем, и вы с трепетом взираете на него во мраке. Любовь не знает середины: она или губит, или спасает. Вся человеческая судьба в этой дилемме. Никакой рок не ставит более неумолимо, чем любовь, эту дилемму: гибель или спасение. Любовь – жизнь, если она не смерть. Колыбель, но и гроб. Одно и то же чувство говорит «да» и «нет» в человеческом сердце. Из всего созданного богом именно человеческое сердце в наибольшей степени излучает свет, но, увы, оно же источает и наибольшую тьму.

По изволению божьему Козетта встретила любовь спасительную.

Пока длился май 1832 года, всякую ночь в этом запущенном скромном саду, под сенью этой чащи, с каждым днем все более благоуханной и густой, появлялись два существа, соединявшие в себе все сокровища целомудрия и невинности, полные небесного блаженства, более близкие ангелам, чем людям, чистые, благородные, опьяненные, лучезарные, сияющие один для другого во мраке. Козетте над головой Мариуса чудился венец, а Мариус вокруг Козетты видел сияние. Они прикасались друг к другу, смотрели друг на друга, держались за руки, прижимались один к другому; но был предел, которого они не преступали. Не потому, что уважали его; они не знали о нем. Мариус чувствовал преграду – чистоту Козетты, а Козетта чувствовала опору – честность Мариуса. Первый поцелуй был вместе с тем и последним. После него Мариус только прикасался губами к руке, косынке или локону Козетты! Козетта была для него ароматом, а не женщиной. Он вдыхал ее. Она ни в чем не отказывала, а он ничего не требовал. Козетта была счастлива, Мариус удовлетворен. Они жили в том восхитительном состоянии, которое можно назвать ослеплением души. То было первое невыразимое идеальное объятие двух девственных существ, двух лебедей, встретившихся на Юнгфрау.

В этот час любви, когда чувственность совершенно умолкает под всемогущим действием душевного упоения, Мариус, безупречный, ангельски-чистый Мариус был способен скорее

пойти к продажной женщине, чем приподнять до щиколотки платье Козетты. Однажды, лунной ночью, Козетта наклонилась, чтобы подобрать что-то с земли, и ее корсаж приоткрылся на груди. Мариус отвел взгляд в сторону.

Что же происходило между этими двумя существами? Ничего. Они обожали друг друга.

Ночью, когда они бывали в саду, он казался местом одушевленным и священным. Все цветы раскрывались вокруг них и струили им фимиам, а они раскрывали свои души и изливали их на цветы. Сладострастная и мощная растительность, полная соков, опьяненная, трепетала вокруг этих детей, и они произносили слова любви, от которых вздрагивали деревья.

Что же это были за слова? Дуновения. И только. Этих дуновений было довольно, чтобы потрясти и взволновать природу. Магическую власть их не поймешь, читая на страницах книги эти беседы, созданные для того, чтобы быть унесенными и рассеянными, подобно дыму, ветерком, колеблющим листья. Лишите шепот двух влюбленных мелодии, которая льется из души и вторит ему, подобно лире, и останется лишь тень; вы скажете: «Только и всего?» Да, да, ребячество, повторение одного и того же, смех по пустякам, глупости, вздор, но это все, что только есть в мире возвышенного и глубокого. Единственное, что стоит труда быть произнесенным и выслушанным!

Человек, который никогда не слышал таких пустяков и таких глупостей, человек, который никогда их не произносил, – тупица и дурной человек.

Козетта говорила Мариусу:

– Знаешь?..

(При всем сказанном, несмотря на божественную их невинность, и сами не зная, как это случилось, они перешли на «ты».)

– Знаешь? Меня зовут Эфрази.

– Эфрази? Да нет же, тебя зовут Козетта.

– Нет. Козетта довольно-таки противное имя, его мне дали, когда я была маленькой. А мое настоящее имя Эфрази. Тебе разве не нравится такое имя – Эфрази?

– Нравится, но Козетта вовсе не противное имя.

– Разве тебе оно больше нравится, чем Эфрази?

– Ну... да.

– В таком случае мне тоже. Правда, это красиво, Козетта... Зови меня Козеттой.

И ее улыбка превратила этот разговор в идиллию, достойную райских кущ.

В другой раз она пристально взглянула на него и воскликнула:

– Сударь, вы прекрасны, вы красивы, вы остроумны, вы умны, вы, конечно, гораздо учнее меня, но я померяюсь с вами вот в чем: «Люблю тебя!»

И Мариусу в небесном упоении казалось, что он слышит строфу, пропетую звездой.

Или еще: легонько ударив его, когда он кашлял, она сказала:

– Не кашляйте, сударь. Я не хочу, чтобы у меня кашляли без моего позволения. Очень невежливо кашлять и тревожить меня. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя хорошо, иначе я буду очень несчастной. Что мне тогда делать?

Все это было просто божественно.

Как-то Мариус сказал Козетте:

– Представь себе, одно время я думал, что тебя зовут Урсулой.

Они смеялись над этим весь вечер. В другой раз он среди разговора вдруг воскликнул:

– А в один прекрасный день, в Люксембургском саду, мне захотелось прикончить одного инвалида!

Но он сразу оборвал и не стал больше продолжать. Пришлось бы сказать Козетте о ее подвязке, что было для него невозможно. В этом чувствовалось неизведанное прикосновение

плоти, перед которой отступала с каким-то священным ужасом эта беспредельная невинная любовь.

Мариус представлял себе жизнь с Козеттой именно так, без чего бы то ни было иного: приходил каждый вечер на улицу Плюме, отодвигать старый податливый прут решетки, садиться рядом, плечом к плечу на этой самой скамейке, смотреть сквозь деревья на мерцание спускающейся на землю ночи, прикасаться коленями к пышному платью Козетты, поглаживать нюготок ее пальчика, говорить ей «ты», по очереди с нею вдыхать запах одного и того же цветка – и так всегда, бесконечно. В это время высоко над ними проплывали облака. Всякий раз, когда подует ветер, он уносит с собой больше человеческих мечтаний, чем тучек небесных.

Но все же эта почти суровая любовь не обходилась без ухаживания. «Говорить комплименты» той, которую любишь, – это первая форма ласки, робко испытывающее себя дерзновение. Комплимент – это нечто похожее на поцелуй сквозь вуаль. Затаенная чувственность прячет в нем сладостное свое острие. Перед сладострастием сердце отступает, чтобы еще сильнее любить. Выражения нежности Мариуса, овеванные мечтой, были, если можно так выразиться, небесно-голубого цвета. Птицы, когда они летают там, в вышине, близ обители ангелов, должны слышать такие слова. К ним, однако, примешивалось все то жизненное, человеческое, положительное, на что был способен Мариус. Это были те слова, что говорят в гроте, прелюдия к тому, что будет сказано в алькове; лирическое излияние, смешение сонета и гимна, милые гиперболы воркующего влюбленного, все утонченности обожания, собранные в букет и издающие нежный, божественный аромат, несказанный лепет сердца сердцу.

– О, – шептал Мариус, – как ты прекрасна! Я не смею смотреть на тебя. Я могу лишь созерцать тебя. Ты милость божия. Я не знаю, что со мной. Край твоего платья, из-под которого показывается кончик твоей туфельки, сводит меня с ума. А когда твоя мысль приоткрывается – какой волшебный свет разливает она! Ты удивительно умна. Иногда мне кажется, что ты сновидение. Говори, я слушаю, я восторгаюсь тобой. О Козетта! Как это странно и восхитительно! Я совсем обезумел. Вы очаровательны, сударыня. Я гляжу на твои ножки в микроскоп, а на твою душу – в телескоп.

И Козетта отвечала:

– Я люблю тебя немного больше, чем любила все время с сегодняшнего утра.

Ответы и вопросы чередовались как попало в этом разговоре, неизменно сводясь к любви, подобно тому как тяготеют к центру заряженные электричеством бузинные фигурки.

Все существо Козетты было воплощением наивности, простодушия, ясности, невинности, чистоты, света. О ней можно было сказать, что она прозрачна. На каждого, кто ее видел, она производила впечатление весны и утренней зари. В ее глазах словно блестела роса. Козетта была предрассветным сиянием в образе женщины.

Совершенно естественно, что Мариус, обожая ее, восхищался ею. Но, право, эта маленькая монастырка, прямо со школьной скамьи, беседовала с тончайшей проницательностью и порой говорила словами истины и красоты. Ее болтовня была настоящим разговором. Она не ошибалась ни в чем и судила здраво. Женщина чувствует и говорит, повинаясь кроткому инстинкту сердца, – вот откуда ее непогрешимость. Только женщина умеет сказать слова одновременно нежные и глубокие. Нежность и глубина – в этом вся женщина; в этом все небо.

Среди этого полного счастья у них каждое мгновение навертывались на глазах слезы. Раздавленная божья коровка, перо, выпавшее из гнезда, сломанная ветка боярышника вызывали жалость: их упоение, слегка повитое грустью, казалось, просило слез. Вернейший признак любви – это умиленность, иногда почти мучительная.

А наряду с этим, – подобные противоречия лишь игра света и теней в любви, – они охотно смеялись, и с такой восхитительной свободой, так непринужденно, что порой походили на двух

мальчишек. И все же неведомо для сердец, опьяненных целомудрием, неусыпная природа всегда возле них. Она здесь, со своей грубой и высокой целью, и как бы ни были непорочны души, в самой невинной встрече наедине есть что-то очаровательное и таинственное, отличающее чету влюбленных от двух друзей.

Они боготворили друг друга.

Непреходящее и вечно движущееся существует одновременно. Люди любят друг друга, улыбаются друг другу, смеются, делают гримасы уголками губ, сплетают пальцы, говорят на «ты», и это не мешает вечности. Двое влюбленных скрываются в вечере, в сумерках, в невидимом, вместе с птицами, с розами; в ночи они обвораживают друг друга взглядом, в который вкладывают все свое сердце, они шепчут, они лепечут, и в это самое время необъятное, равномерное движение светил полнит бесконечность.

Глава 2

Опьянение полным счастьем

Они жили в полусне, ошеломленные счастьем. Они не замечали холеры, опустошавшей Париж именно в этот месяц. Они доверили друг другу все, что только могли, но это «все» почти не заходило дальше сообщения их имен. Мариус сказал Козетте, что он сирота, что его зовут Мариус Понмерси, что он адвокат, что он живет писанием разных статей для книготорговцев, что его отец был полковник, герой, и что он, Мариус, поссорился со своим дедом, богачом. Однажды он сказал еще, что он барон, но это не произвело никакого впечатления на Козетту. Мариус барон? Она не поняла. Она не знала, что должно означать это слово. Мариус был Мариус. О себе же она рассказала, что воспитывалась в монастыре Малый Пикпюс, что у нее, как и у него, мать умерла, что ее отца зовут Фошлеван, что он очень добрый и много помогает беднякам, но сам беден и ограничивает себя во всем, не ограничивая ее, Козетту, ни в чем.

Как ни странно, но в той своего рода симфонии, в которую обратилась жизнь Мариуса с тех пор, как он увидел Козетту, прошлое, даже самое недавнее, стало таким смутным и далеким для него, что все рассказанное ему Козеттой вполне его удовлетворяло. Он даже не подумал рассказать ей о ночном приключении в лачуге, о Тенардье, об ожоге, странном поведении и непонятном бегстве ее отца. Мариус мгновенно позабыл все это; вечером он даже не помнил о том, что делал утром, где завтракал, с кем разговаривал; в его ушах звучали мелодии, делавшие его глухим ко всему остальному, он существовал только в те часы, когда видел Козетту. И тогда, обретая небо, он совершенно естественно забывал землю. Истомленные, они оба несли непостижимое бремя бесплотных наслаждений. Так живут те сомнамбулы, которых называют влюбленными.

Увы! Кто не испытал всего этого? Зачем наступает час, когда мы покидаем эти небеса, и зачем жизнь продолжается дальше?

Любовь почти целиком заступает место мысли. Любовь – пламенное забвение всего остального. Потребуйте-ка логики у страсти! В человеческом сердце так же трудно обнаружить безупречную логическую связь, как совершенную геометрическую фигуру в небесном механизме. Для Козетты и Мариуса не существовало ничего, кроме Мариуса и Козетты. Весь мир вокруг них рухнул в пустоту. Они жили золотым мгновением. Не было ничего впереди, ничего позади. Мариус лишь с трудом представлял себе, что у Козетты есть отец. Память его затмилась, что свойственно ослеплению. О чем же разговаривали влюбленные? Мы уже знаем: о цветах, о ласточках, о солнечном закате, о восходящей луне, о всяких важных вещах. Они сказали друг другу все, за исключением «остального». Для влюбленных «остальное» – ничто. А отец, действительная жизнь, трущоба, бандиты, недавнее приключение – к чему это? И так ли

уж он уверен, что тот кошмар был реальностью? Они были вдвоем, обожали друг друга, вот и все. Ничего другого и не бывало. Возможно, ад исчезает позади нас оттого, что мы достигли рая. Разве мы видели демонов? Разве они существуют? Разве мы дрожали от ужаса? Разве мы страдали? Об этом мы уже ничего не помним. Розовая дымка застилает все.

Так и жили эти два существа на недостижимых высотах, со всей той неправдоподобностью, которая встречается в природе: ни в надире, ни в зените, между человеком и серафимом, над земною грязью, под самым эфиром, в облаке; почти бесплотные, сама душа, само упоение; уже слишком вознесенные, чтобы ходить по земле, еще слишком обремененные естеством, чтобы исчезнуть в лазури, подобные атомам, которые находятся во взвешенном состоянии, перед тем как осесть; они жили, казалось, вне судьбы, не зная обычной колеи – вчера, сегодня, завтра; зачарованные, изнемогающие, парящие; порой такие легкие, что могли унести в бесконечное пространство; почти готовые к полету в вечность.

Они дремали наяву в этой баюкающем плавном качании. О дивный, сладкий сон действительности, усыпленной идеалом!

Иногда, как ни хороша была Козетта, Мариус закрывал глаза в ее присутствии. Закрывать глаза – это лучший способ видеть душу.

Мариус и Козетта не задавались вопросом, куда это их может привести. Они считали, что уже достигли конца пути. У людей странное притязание: они хотят, чтобы любовь вела их куда-нибудь.

Глава 3

Первые тени

Жан Вальжан ничего не подозревал.

Козетта, менее мечтательная, чем Мариус, была весела, и этого для Жана Вальжана было довольно, чтобы чувствовать себя счастливым. Ее мысли, ее сердечные тревоги, образ Мариуса, наполнявший ее душу, нисколько не отразились на несравненной чистоте ее прекрасного лица, невинного и улыбающегося. Она была в том возрасте, когда девушка несет свою любовь, как ангел лилию. Итак, Жан Вальжан был спокоен. Кроме того, когда между влюбленными царит согласие, все идет очень хорошо; кто-нибудь третий, кто мог бы смутить их любовь, находится в совершенном заблуждении благодаря мелким предосторожностям, всегда одинаковым у всех влюбленных. Так, Козетта никогда не возражала Жану Вальжану. Он хочет прогуляться? Прекрасно, папочка. Он хочет остаться дома? Отлично. Он хочет провести вечер с Козеттой? Она в восхищении. Обычно он уходил к себе в десять часов вечера, поэтому Мариус появлялся в саду не раньше этого часа и лишь услышав на улице, как Козетта открывает двери подъезда. Не приходится говорить, что днем Мариуса здесь никогда не видали. Жан Вальжан позабыл о существовании Мариуса. Один только раз, утром, он сказал Козетте: «Послушай, у тебя спина в чем-то белом!» Накануне вечером Мариус в порыве восторга обнял Козетту, и она нечаянно прислонилась к стене.

Старуха Тусен, рано закончив работу, сразу укладывалась в постель, помышляя лишь о сне, и точно так же, как Жан Вальжан, ничего не знала.

Мариус ни разу не заходил в дом. Когда он бывал в саду с Козеттой, то, чтобы их не услышали и не увидели с улицы, они всегда укрывались в углублении возле крыльца и сидели там; часто вместо беседы они довольствовались тем, что раз двадцать в минуту пожимали друг другу руки, глядя на ветви деревьев. Если бы в эти мгновения молния ударила в тридцати шагах от них, то они бы этого не заметили, так глубоко грезы одного погружались в грезы другого.

Невинные прозрачные души! Часы, пронизанные светом, почти всегда одинаковые. Такая любовь – это вихрь лилейных лепестков и голубиных перьев.

Между ними и улицей простирался сад. Каждый раз Мариус, приходя и уходя, тщательно вправлял прут от железной решетки на место, так что в ней не было заметно ни малейшего изъяна.

Обычно он удалялся к полночи и шел к Курфейраку. Курфейрак говаривал Баорелю:

– Можешь себе представить? Мариус начал являться домой в час ночи.

Баорель отвечал:

– Что ж такого? В тихом омуте черти водятся.

Иногда Курфейрак, принимая серьезный вид и скрестив на груди руки, говорил Мариусу:

– Молодой человек, вы сбились с пути истинного!

Курфейрак, человек деловой, неблагосклонно взирал на отблеск незримого рая на лице Мариуса; не в его обычае были неземные страсти, они выводили его из терпения, и порой он предъявлял Мариусу требование вернуться к действительности.

Однажды утром он обратился к нему со следующим увещанием:

– Дорогой мой, сейчас ты мне кажешься человеком, поселившимся на луне, в царстве грез, в округе заблуждений, в столице Мыльные пузыри. Ну, будь же добрым малым, скажи, как ее зовут!

Но ничто не могло заставить Мариуса проговориться. Он дал бы скорее вырвать себе ногти, чем произнес бы один из трех священных слогов, составлявших волшебное имя – Козетта. Истинная любовь лучиста, как заря, и безмолвна, как могила. Однако Курфейрак видел в Мариусе новое: его сияющую счастьем молчаливость.

В течение этого сладостного мая Мариус и Козетта познали великое блаженство:

Поссориться и говорить друг другу «вы» единственно затем, чтобы с большей приятностью говорить потом «ты»;

Долго рассказывать друг другу, и в самых мельчайших подробностях, о людях, до которых им не было никакого дела, – лишнее доказательство того, что в восхитительной опере, которая зовется любовью, либретто почти ничего не значит;

Для Мариуса – слушать, как Козетта говорит о нарядах;

Для Козетты – слушать, как Мариус говорит о политике;

Прислушиваться, прижавшись друг к другу, к грохоту колясок на Вавилонской улице;

Смотреть на одну и ту же звезду в небесах или на одного и того же светляка в траве;

Вместе молчать – наслаждение еще большее, чем беседовать;

И т. д. и т. д.

Между тем надвигалась гроза.

Однажды вечером Мариус, направляясь на свидание, проходил по бульвару Инвалидов; по обыкновению, он шел опустив голову; собираясь повернуть за угол улицы Плюме, он услышал, как кто-то сказал совсем близко от него:

– Добрый вечер, господин Мариус.

Он поднял голову и узнал Эпонию.

Это произвело на него необычайное впечатление. Он ни разу не вспомнил об этой девушке с того самого дня, когда она привела его на улицу Плюме; он ее больше не видел, и она совсем исчезла из его памяти. Обязанный ей своим счастьем, он мог быть только благодарен ей, и, однако, ему была тягостна эта встреча.

Ошибочно думать, что любовь, если она счастлива и чиста, приводит человека к совершенству; она его просто ведет, мы уже это установили, к забвению. В этом состоянии человек забывает о возможности быть дурным, но он также забывает и о возможности быть

хорошим. Благодарность, долг, самые значительные, самые неотвязные воспоминания исчезают. Во всякое другое время Мариус совсем иначе отнесся бы к Эпонине. Поглощенный Козеттой, он даже не совсем ясно отдавал себе отчет в том, что эта девушка называлась Эпониной Тенардье, что она носила имя, начертанное в завещании его отца, – то самое имя, для которого несколько месяцев назад он бы с такой горячностью пожертвовал собой. Мы показываем Мариуса без прикрас. Даже образ отца слегка побледнел в его душе под яркими лучами любви.

Он ответил с некоторым замешательством:

– Ах, это вы, Эпонина?

– Почему вы мне говорите «вы»? Разве я вам сделала что-нибудь дурное?

– Нет, – ответил он.

Конечно, он ничего не имел против нее. Ровно ничего. Но только он чувствовал, что теперь не мог поступить иначе: говоря «ты» Козетте, он должен был говорить «вы» Эпонине.

Он молча смотрел на нее. Она воскликнула:

– Скажите же...

Тут она запнулась. Можно было подумать, что этому созданию, такому беззаботному и дерзкому когда-то, не доставало слов. Она пыталась улыбнуться и не могла.

– Ну!.. – снова начала она.

Потом опять замолчала, потупив глаза.

– Покойной ночи, господин Мариус, – вдруг резко сказала она и ушла.

Глава 4

Кеб по-английски – то, что катится, а на арго – то, что лает

На следующий день, это было 3 июня, а 3 июня 1832 года – дата, которую следует указать по причине важных событий, нависших в ту эпоху грозowymi тучами над горизонтом Парижа, Мариус, с наступлением темноты, шел той же дорогой, что и накануне, полный тех же восторженных мыслей; вдруг между деревьями бульвара он заметил приближавшуюся к нему Эпонину. Два дня подряд – это уже было слишком. Он быстро свернул в сторону, оставил бульвар, пошел другой дорогой и направился к улице Плюме по улице Принца.

Вот почему Эпонина последовала за ним до самой улицы Плюме, чего она еще ни разу не делала. До сих пор она удовлетворялась тем, что смотрела на него, когда он проходил по бульвару, не стараясь даже встретиться с ним. И лишь накануне она попыталась с ним заговорить.

Итак, Эпонина пошла за ним, а он этого не заметил. Она увидела, как Мариус отодвинул прут решетки и проскользнул в сад.

– Смотри-ка! – сказала она про себя. – Идет к ней в дом!

Она подошла к решетке, пощупала один за другим прутья и без труда нашла тот, который отодвинул Мариус.

Вполголоса, мрачным тоном, она пробормотала:

– Ну нет, черта с два!

Она уселась на цоколе решетки, рядом с прутком, словно охраняя его. Это было в том темном уголке, где решетка соприкасалась с соседней стеной и где Эпонину разглядеть было невозможно.

Так она провела больше часа, не двигаясь, затаив дыхание, терзаясь своими мыслями.

Часов в десять вечера один из двух или трех прохожих на улице Плюме, старый запоздавший буржуа, торопившийся поскорее миновать это пустынное место, пользовавшееся дурной славой, поравнялся с решеткой сада и, подойдя к углу между решеткой и стеной,

услышал глухой и угрожающий голос:

– Можно поверить, что он приходит сюда каждый вечер!

Прохожий осмотрелся кругом, никого не увидел, не отважился посмотреть в этот черный угол и очень испугался. Он ускорил шаги.

Прохожий имел основания торопиться, потому что немного времени спустя на углу улицы Плюме показались шесть человек, шедших порознь на некотором расстоянии друг от друга у самой стены; их можно было принять за подвыпивший ночной дозор.

Первый, подойдя к решетке сада, остановился и подождал остальных; через минуту здесь сошлись все шестеро.

Эти люди начали тихо переговариваться.

– Туткайль, – сказал один из них.

– Есть ли кеб в саду? – спросил другой.

– Не знаю. На всякий случай я захватил шарик. Дадим ему сжевать.

– Есть у тебя мастика, чтобы высадить стекляшку?

– Да.

– Решетка старая, – добавил пятый, говоривший голосом чревоушателя.

– Тем лучше, – сказал второй. – Значит, не завизжит под скрипкой, и ее нетрудно будет разделать.

Шестой, до сих пор еще не открывавший рта, принялся исследовать решетку, как это делала Эпониная час тому назад, последовательно пробуя каждый прут и осторожно раскачивая его. Таким образом он дошел до прута, который был расшатан Мариусом. Лишь только он собрался схватить этот прут, чья-то рука, внезапно появившаяся из темноты, опустилась на его плечо, он почувствовал резкий толчок прямо в грудь, и хриплый голос негромко произнес:

– Здесь есть кеб.

И тут же он увидел стоявшую перед ним бледную девушку.

Он испытал то потрясение, которое свойственно вызывать неожиданности. Он словно весь ошетинился; нет ничего отвратительней и страшней зрелища потревоженного хищного зверя; один его испуганный вид уже пугает. Отступив, он пробормотал заикаясь:

– Это еще что за потаскуха?

– Ваша дочь.

Действительно, то была Эпониная, а говорила она с Тенардые.

При появлении Эпонины пять остальных, то есть Звенигрош, Живоглот, Бабет, Монпарнас и Брюжон, бесшумно приблизились, не спеша, молча, со злобной медлительностью, присущей людям ночи.

В их руках можно было различить какие-то мерзкие инструменты. Живоглот держал кривые щипцы, которые у воров называются «косынкой».

– Ты что здесь делаешь? Чего тебе от нас надо? С ума сошла, что ли? – приглушенным голосом воскликнул Тенардые. – Пришла мешать нам работать?

Эпониная расхохоталась и бросилась ему на шею.

– Я здесь, милый папочка, потому что я здесь. Разве мне запрещается посидеть на камушках? А вот вам тут нечего делать. Зачем вы сюда пришли, раз тут сухарь? Ведь я сказала Маньон: «Здесь нечего делать». Ну, поцелуйте же меня, дорогой папочка! Как я давно вас не видела! Значит, вы на воле?

Тенардые попытался высвободиться из объятий Эпонины и прорычал:

– Отлично. Ты меня поцеловала, и хватит. Да, я на воле. Уже не в неволе. А теперь ступай.

Но Эпониная не отпускала его и удвоила свою нежность:

– Папочка, как же вы это устроили? Какой вы умный, если сумели оттуда выбраться!

Расскажите мне про это! А мама? Где мама? Скажите же, что с маменькой?

Тенардые ответил:

– Она здорова, впрочем, не знаю, говорю тебе, пусти меня и проваливай.

– Ни за что не хочу уходить, – жеманничала Эпониная с видом балованного ребенка, – вы прогоняете меня, а я не видела вас четыре месяца и едва успела разок поцеловать.

И она снова обняла отца за шею.

– Ах, черт, как это глупо! – не выдержал Бабет.

– Мы теряем время! – крикнул Живоглот. – Того и гляди, появятся легавые.

Голос чревовещателя продекламировал следующее двустишие:

Для поцелуев – свой черед,
У нас теперь не Новый год.

Эпониная повернулась к пяти бандитам.

– Смотри-ка, да это господин Брюжон! Здравствуйте, господин Бабет. Здравствуйте, господин Звенигрош. Разве вы меня не узнаете, господин Живоглот? Как поживаешь, Монпарнас?

– Не беспокойся, все тебя узнали! – проворчал Тенардые. – Здравствуй и прощай, брысь отсюда! Оставь нас в покое.

– В этот час курам спать, а лисицам гулять, – сказал Монпарнас.

– Ты сама понимаешь, нам надо тутго поработать, – прибавил Бабет.

Эпониная схватила за руку Монпарнаса.

– Берегись! Обрежешься – у меня перо в руке, – предупредил тот.

– Монпарнас, миленький, – кротко ответила Эпониная, – люди должны доверять друг другу. Разве я не дочь своего отца? Господин Бабет, господин Живоглот, ведь это мне поручили выяснить дело.

Примечательно, что Эпониная не говорила больше на арго. С тех пор как она познакомилась с Мариусом, этот язык стал для нее невозможен.

Своей маленькой, слабой и костлявой рукой, похожей на руку скелета, она сжала толстые грубые пальцы Живоглота и продолжала:

– Вы же знаете, что я не дура. Мне же всегда доверяют. Я вам оказывала при случае услуги. Ну так вот, я навела справки. Видите ли, вы зря подвергаете себя опасности. Ей-богу, вам нечего делать в этом доме.

– Там одни женщины, – сказал Живоглот.

– Нет. Все выехали.

– А свечи остались! – заметил Бабет.

И он показал Эпонине на свет, мелькавший сквозь верхушки деревьев на чердаке флигеля. Это бодрствовала Тусен, развешивавшая белье для просушки.

Эпониная сделала последнюю попытку.

– Ну и что ж! – сказала она. – Там совсем бедные люди, это домишко, где не найдешь ни одного су.

– Пошла к черту! – закричал Тенардые. – Когда мы перевернем весь дом вверх дном, тогда мы тебе скажем, что там есть: рыжики, беляки или медный звон.

И он оттолкнул ее, чтобы пройти вперед.

– Господин Монпарнас, дружочек, – сказала Эпониная, – вы такой славный малый, прошу вас, не ходите туда!

– Берегись, напорешься на нож! – ответил Монпарнас.

Тенардые свойственным ему решительным тоном заявил:

– Проваливай, бесовка, и предоставь мужчинам делать свое дело.

Эпониная отпустила руку Монпарнаса, за которую она снова было уцепилась, и сказала:

– Значит, вы хотите войти в этот дом?

– Только всунуть нос! – ухмыляясь, заметил чревовещатель.

Тогда она прислонилась спиной к решетке, став лицом к вооруженным до зубов бандитам, которым ночь придавала сходство с демонами, и тихим твердым голосом сказала:

– Ну, а я не хочу.

Они остолбенели от изумления. Чревовещатель, однако, все еще посмеивался. Она заговорила снова:

– Друзья, послушайте хорошенько! Не в том дело. Теперь я вам скажу. Если вы войдете в этот сад, если дотронетесь до этой решетки, я закричу, начну стучать в ворота, подыму народ, кликну полицейских, сделаю так, что вас захватят всех шестерых.

– С нее станется, – тихо сказал Тенардые Брюжону и чревовещателю.

Она тряхнула головой и прибавила:

– Начиная с моего папеньки!

Тенардые подошел к ней.

– Подальше от меня, старикан! – предупредила она.

Он отступил, ворча сквозь зубы: «Какая муха ее укусила?» И прибавил:

– Сука!

Она рассмеялась ужасным смехом.

– Как вам угодно, а все-таки вы не войдете. Я не сука, потому что я дочь волка. Вас шестеро, но что мне до того? Вы мужчины. Ну так вот: я женщина. И я вас не боюсь, не думайте. Говорю вам, вы не войдете в этот дом, потому что мне это не нравится. Только подойдите, я залаю. Я вам объяснила уже: кеб – это я. Плевать мне на вас на всех. Идите своей дорогой, вы мне надоели! Проваливайте куда хотите, но сюда не являйтесь, я вам это запрещаю! Вы меня ножом, а я вас туфлей, мне все равно. Ну-ка, попробуйте, подойдите!

Расхохотавшись, она шагнула навстречу бандитам, вид ее был ужасен.

– Ей-ей, не боюсь! Все одно, нынче летом мне голодать, а зимою мерзнуть. Просто смех с этим дурачьем – мужчинами! Они думают, что их может бояться девка! Бояться – чего? Как бы не так! Это потому, что ваши кривляки-любовницы лезут со страху под кровать, когда вы рычите, так, что ли? А я не таковская, ничего не боюсь!

Она уставилась пристальным взглядом на Тенардые и сказала:

– Даже и вас, папаша!

Потом, окидывая бандитов горящими глазами призрака, продолжала:

– Не все ли мне равно, подберут меня завтра, зарезанной моим отцом, на мостовой Плюме, или же найдут через год в сетках Сен-Клу, а то и у Лебязьего острова среди старых сгнивших пробок и утопленных собак!

Тут она вынуждена была остановиться, припадок сухого кашля потряс ее, дыхание с хрипом вырывалось из узкой и хилой груди.

– Стоит мне только крикнуть, – продолжала она, – сюда прибегут, и – хлоп! Вас только шестеро, а за меня весь народ.

Тенардые двинулся к ней.

– Не подходить! – крикнула она.

Он остановился и кротко сказал ей:

– Ну хорошо, не надо. Я не подойду, только не кричи так громко. Дочка, значит, ты хочешь

помешать нам поработать? Ведь нужно же нам добыть на пропитание. Ты, значит, больше не любишь своего отца?

– Вы мне надоели, – ответила Эпонина.

– Нужно ведь нам как-никак жить, есть...

– Подышайте.

И она уселась на цоколь решетки, напевая:

И ручка так нежна,
И ножка так стройна,
А время пропадает...

Облокотившись на колено и подперев ладонью подбородок, она с равнодушным видом покачивала ногой. Сквозь разорванное платье виднелись худые ключицы. Ближний фонарь освещал ее профиль и позу. Трудно было представить себе что-либо более непреклонное и поразительное.

Шесть грабителей, мрачные и озадаченные этой девчонкой, державшей их в страхе, отошли в тень фонарного столба и стали совещаться, пожимая плечами, униженные и рассвирепевшие.

А она спокойно и сурово глядела на них.

– Что-то ей засело в башку, – сказал Бабет. – Есть какая-то причина. Влюблена она, что ли, в хозяина? А все же досадно упустить такой случай. Две женщины, на заднем дворе старик; на окнах неплохие занавески. Старик, должно быть, еврей. Я полагаю, что дельце тут выгодное.

– Ладно, вы все ступайте туда! – вскричал Монпарнас. – Делайте дело. С девчонкой останусь я, а если она шевельнется...

И при свете фонаря блеснул открытый нож, вытасченный из рукава.

Тенардье не говорил ни слова и, видимо, был готов на все.

Брюжон, который слыл у них оракулом и, как известно, «навел на дело», пока еще молчал. Он, казалось, задумался. У него была слава человека, который ни перед чем не останавливается, и всем было известно, что только из удачества он ограбил начисто полицейский пост. Вдобавок он сочинял стихи и песни, поэтому пользовался большим авторитетом.

Бабет спросил его:

– А ты что скажешь, Брюжон?

Брюжон с минуту помолчал, потом, повертев головой, наконец решился подать голос:

– Вот что. Сегодня утром я наткнулся на двух дравшихся воробьев, а вечером наскочил на задиристую бабу. Все это не к добру. Уйдем отсюда.

Они ушли.

По дороге Монпарнас пробормотал:

– Все равно, если б нужно было, я бы ее прикончил.

Бабет ответил:

– А я нет. Дамочек я не трогаю.

На углу улицы они остановились и, понизив голос, обменялись следующими загадочными словами:

– Где будем ночевать сегодня?

– Под Пантенном.

– Тенардье, при тебе ключ от решетки?

– А то у кого же!

Эпонина, не спускавшая с них глаз, увидела, как они отправились той же дорогой, что и

пришли. Она встала и, пробираясь вдоль заборов и домов, последовала за ними. Так она проводила их до бульвара. Там они разошлись в разные стороны, и она увидела, как эти шесть человек потонули во мраке, словно растворились в нем.

Глава 5

Что таится в ночи

После ухода бандитов улица Плюме снова приняла свой мирный ночной облик. То, что сейчас произошло на этой улице, нисколько не удивило бы лес. Высокоствольные чащи, кустарники, вересковые заросли, тесно переплетенные ветви, высокие травы ведут сумрачное существование; копошащаяся дикая жизнь улавливает здесь внезапное появление незримого; то, что ниже человека, сквозь туман различает то, что над человеком; и вещам, неведомым нам – живым, там, в ночи, дается очная ставка. Дикая и ошетилившаяся природа пугается приближения чего-то, в чем она чувствует сверхъестественное. Силы тьмы знают друг друга, и между ними существует таинственное равновесие. Зубы и когти опасаются неуловимого. Кровожадная животность, ненасытные вожделения, алчущие добычи, вооруженные когтями и зубами инстинкты, чей источник и цель – чрево, с беспокойством принимают, приглядываются к бесстрастному, призрачному, блуждающему очерку существа, облаченного в саван, которое возникает перед ними в туманном, колеблющемся своем одеянии и, чудится им, живет мертвой и страшной жизнью. Эти твари, воплощение грубой материи, смутно боятся иметь дело с необъятной тьмой, сгустком которой является неведомое существо. Черная фигура, преграждающая путь, сразу останавливает хищного зверя. Выходцы из могилы пугают и смущают выходца из берлоги; свирепое боится зловещего; волки пятятся перед оборотнем.

Глава 6

Мариус возвращается к действительности в такой мере, что дает Козетте свой адрес

В то время как эта разновидность дворняжки в человеческом облике караулила решетку и шесть грабителей отступили перед девчонкой, Мариус сидел возле Козетты.

Никогда еще небо не бывало таким звездным и прекрасным, деревья такими трепетными, запах трав таким пряным; никогда шорох птиц, засыпавших в листве, не казался таким нежным; никогда безмятежная гармония вселенной не отвечала так внутренней музыке любви; никогда Мариус не был так влюблен, так счастлив, так восхищен. Но он застал Козетту печальной. Козетта плакала.

Ее глаза покраснели.

То было первое облако над восхитительной мечтой.

– Что с тобой? – были первые слова Мариуса.

– Сейчас, – начала она и, опустившись на скамью возле крыльца, пока он, трепеща от волнения, усаживался рядом с нею, продолжала: – Сегодня утром отец велел мне быть готовой, он сказал, что у него дела и что нам, может быть, придется уехать.

Мариус задрожал с головы до ног.

В конце жизни «умереть» – означает «расстаться»; в начале ее «расстаться» – означает «умереть».

В течение полутора месяцев Мариус мало-помалу, медленно, постепенно, с каждым днем все более овладевал Козеттой. Это было чисто духовное, но совершенное обладание. Как мы уже

объяснили, в пору первой любви душой овладевают гораздо раньше, чем телом; позднее телом овладевают гораздо раньше, чем душой, иногда же о душе и вовсе забывают. «Потому что ее нет», – прибавляют Фоблазы и Прюдомы, но, к счастью, этот сарказм – простое кощунство. Итак, Мариус обладал Козеттой, как обладают духи; но он заключил ее в свою душу и ревниво владел ею, непоколебимо убежденный в своем праве на это. Он обладал ее улыбкой, ее дыханием, ее благоуханием, чистым сиянием ее голубых глаз, нежностью кожи, когда ему случалось прикоснуться к ее руке, очаровательной родинкой на ее шее, всеми ее мыслями. Они условились всякую ночь видеть друг друга во сне – и держали слово. Таким образом, он обладал и всеми снами Козетты. Он беспрестанно заглядывался на короткие завитки на ее затылке, иногда касался их своим дыханием и говорил себе, что каждый из этих завитков принадлежит ему, Мариусу. Он благоговейно созерцал все, что она носила: ленту, завязанную бантом, перчатки, рукавички, ботинки – все эти священные вещи, хозяином которых он был. Он думал, что был обладателем красивых черепаховых гребенок в ее волосах, и даже твердил про себя, – то был глухой и смутный лепет пробивающейся чувственности, – что нет ни одной тесемки на ее платье, ни одной петельки в ее чулках, ни одной складки на ее корсаже, которые бы ему не принадлежали. Рядом с Козеттой он чувствовал себя возле своего достояния, возле своей вещи, возле своей повелительницы и рабыни. Казалось, их души настолько слились, что если бы им захотелось взять их обратно, то они не могли бы признать. «Это моя». – «Нет, это моя». – «Уверяю тебя, ты ошибаешься. Это, конечно, я». – «То, что ты принимаешь за себя, – я». Мариус был какою-то частью Козетты, а Козетта – какою-то частью Мариуса. Мариус чувствовал, что Козетта живет в нем. Иметь Козетту, владеть Козеттой для него было то же самое, что дышать. И вот в эту веру, в это опьянение, в это целомудренное обладание, неслыханное, безраздельное, в это владычество вдруг ворвались слова: «Нам придется уехать», и резкий голос действительности крикнул ему: «Козетта – не твоя!»

Мариус пробудился от сна. В продолжение полутора месяцев он, как мы говорили, жил вне жизни; слово «уехать» грубо вернуло его к этой жизни.

Он не знал, что сказать. Козетта почувствовала лишь, что его рука стала холодной, как лед. И теперь уже она спросила его:

– Что с тобой?

Он ответил так тихо, что Козетта едва расслышала:

– Я не понимаю, что ты говоришь.

Она повторила:

– Сегодня утром отец велел мне собрать все мои вещи и быть готовой; он сказал, чтобы я уложила его белье в дорожный сундук, что ему надо уехать и мы уедем, что нам нужны дорожные сундуки, большой для меня и маленький для него, что все это должно быть готово через неделю и что, может быть, мы отправимся в Англию.

– Но ведь это чудовищно! – воскликнул Мариус. Несомненно, в эту минуту в представлении Мариуса ни одно злоупотребление властью, ни одно насилие, никакая гнусность самых изобретательных тиранов, никакой поступок Бюзириса, Тиберия и Генриха VIII по жестокости не могли сравниться с поступком г-на Фошлевана, намеревавшегося увезти свою дочь в Англию только потому, что у него там есть какие-то дела.

Он спросил упавшим голосом:

– И когда же ты уедешь?

– Он не сказал когда.

– И когда же ты вернешься?

– Он не сказал когда.

Мариус встал и холодно спросил:

– Козетта, вы поедете?

Козетта взглянула на него своими голубыми глазами, полными мучительной тоски, и сказала с какой-то растерянностью:

– Куда?

– В Англию? Вы поедете?

– Почему ты мне говоришь «вы»?

– Я спрашиваю вас, поедете ли вы?

– Но что же мне делать, скажи? – ответила она, умоляюще сложив руки.

– Значит, вы едете?

– А если отец поедет?

– Значит, вы едете?

Козетта молча взяла руку Мариуса и крепко сжала ее.

– Хорошо, – сказал Мариус. – Тогда и я уеду куда-нибудь.

Козетта скорее почувствовала, чем поняла смысл этих слов. Она так побледнела, что ее лицо казалось совершенно белым даже в темноте. Она пролепетала:

– Что ты хочешь сказать?

Мариус взглянул на нее, потом медленно поднял глаза к небу и ответил:

– Ничего.

Опустив глаза, он увидел, что Козетта улыбается ему. Улыбка любимой женщины сияет и во тьме.

– Какие мы глупые! Мариус, я придумала.

– Что?

– Если мы уедем, и ты уедешь! Я тебе скажу куда. Мы встретимся там, где я буду.

Теперь Мариус стал мужчиной, пробуждение было полным. Он вернулся на землю.

– Уехать с вами! – крикнул он Козетте. – Да ты с ума сошла! Ведь на это нужны деньги, а у меня их нет! Поехать в Англию? Но я сейчас должен, кажется, больше десяти луидоров Курфейраку, одному моему приятелю, которого ты не знаешь! На мне старая грошовая шляпа, на моем сюртуке спереди недостает пуговиц, рубашка вся изорвалась, локти протерлись, сапоги пропускают воду; уже полтора месяца, как я перестал думать об этом, я тебе ничего не говорил. Козетта, я нищий! Ты видишь меня только ночью и даришь мне свою любовь; если бы ты увидела меня днем, ты подарила бы мне су. Поехать в Англию! Да мне нечем заплатить за паспорт!

Едва держась на ногах, заломив руки над головой, он шагнул к дереву, прижался к нему лицом, не чувствуя ни жесткой коры, царапавшей ему лицо, ни лихорадочного жара, от которого кровь стучала в висках, и застыл, напоминая статую отчаяния.

Долго стоял он так. Подобное горе – бездна, порождающая желание остаться в ней навеки. Наконец он обернулся. Ему послышался легкий приглушенный звук, нежный и печальный.

То рыдала Козетта.

Уже больше двух часов плакала она возле погруженного в горестные думы Мариуса.

Он подошел к Козетте, упал на колени и, медленно склонившись перед нею, поцеловал кончик ее ноги, выступавший из-под платья.

Она молча позволила ему это. Бывают минуты, когда женщина принимает поклонение любви, словно мрачная и бесстрастная богиня.

– Не плачь, – сказал он.

Она прошептала:

– Ведь мне, может быть, придется уехать, а ты не можешь приехать ко мне!

– Ты любишь меня? – спросил он.

Рыдая, она ответила ему теми райскими словами, которые всего пленительнее, когда их шепчут сквозь слезы:

– Я обожаю тебя!

Голосом, звучавшим невыразимой нежностью, он продолжал:

– Не плачь. Ну, ради меня не плачь!

– А ты? Ты любишь меня? – спросила она.

Он взял ее за руку.

– Козетта, я никогда никому не давал честного слова, потому что боюсь это делать. Я чувствую рядом с собой отца. Ну так вот, я даю тебе честное слово, самое нерушимое: если ты уедешь, я умру.

В тоне, каким он произнес эти слова, слышалась скорбь, столь торжественная и спокойная, что Козетта вздрогнула. Она ощутила тот холод, который ощущаешь, когда нечто мрачное и непреложное, как судьба, проносится мимо. Испуганная, она перестала плакать.

– Теперь слушай, – сказал он. – Не жди меня завтра.

– Почему?

– Ожидай меня только послезавтра.

– Почему же?

– Потом поймешь.

– Целый день не видеть тебя! Это невозможно.

– Пожертвуем одним днем, чтобы выиграть, быть может, целую жизнь. – И Мариус вполголоса, как бы про себя, прибавил: – Этот человек никогда не изменяет своим привычкам, он принимает только вечером.

– О ком ты говоришь? – спросила Козетта.

– Я? Я ничего не сказал.

– На что же ты надеешься?

– Подожди до послезавтра.

– Ты этого хочешь?

– Да.

Она охватила его голову руками и, приподнявшись на цыпочки, чтобы стать повыше, пыталась прочесть в его глазах то, что составляло его надежду.

Мариус заговорил снова:

– Я вот о чем думаю. Тебе надо знать мой адрес, мало ли что может случиться. Я живу у моего приятеля, Курфейрака, по Стекольной улице, номер шестнадцать.

Он порылся в кармане, вытащил перочинный нож и лезвием вырезал на штукатурке стены:

Стекольная улица, № 16.

Между тем Козетта снова принялась смотреть ему в глаза.

– Скажи мне, что ты задумал, Мариус, ты о чем-то думаешь. Скажи, о чем? О, скажи мне, иначе я дурно проведу ночь!

– О чем я думаю? Вот о чем: невозможно, чтобы бог хотел нас разлучить. Жди меня послезавтра.

– Что же я буду делать до тех пор? – спросила Козетта. – Ты где-то там, приходишь, уходишь. Какие счастливицы мужчины! А я останусь совсем одна. Как мне будет грустно! Что же ты будешь делать завтра вечером? Скажи.

– Я попытаюсь кое-что предпринять.

– А я буду молиться, буду думать о тебе все время и желать тебе успеха. Я не стану тебя больше расспрашивать, раз ты этого не хочешь. Ты мой повелитель. Завтра весь вечер я буду петь из «Эврианты» то, что ты любишь и что, помнишь, однажды вечером подслушивал у моего

окна. Но послезавтра приходи пораньше. Я буду ожидать тебя к ночи, ровно в девять часов, имей это в виду. Боже мой, как грустно, что дни такие длинные! Так слышишь, ровно в девять часов я буду в саду.

– И я тоже.

И безотчетно, движимые одной и той же мыслью, увлекаемые теми электрическими токами, которые держат любовников в непрерывном общении, оба, в самой своей скорби опьяненные страстью, упали в объятия друг друга, не замечая, что уста их слились, тогда как восторженные и полные слез взоры созерцали звезды.

Когда Мариус ушел, улица была пустынна. В это время Эпониная шла следом за бандитами, провожая их до самого бульвара.

Пока Мариус, прижавшись лицом к дереву, размышлял, у него мелькнула мысль – мысль, которую – увы! – он сам считал вздорной и невозможной. Он принял отчаянное решение.

Глава 7

Старое сердце и юное сердце друг против друга

Дедушке Жильнорману уже пошел девяносто второй год. По-прежнему он жил с девицей Жильнорман на улице Сестер страстей господних, № 6, в своем старом доме. Как помнит читатель, это был один из тех стариков прежнего склада, которые ожидают смерти, держась прямо, которых и бремя лет не сгибает, и даже печаль не клонит долу.

И все же с некоторого времени его дочь стала поговаривать, что «отец начал сдавать». Он больше не отпускал оплеух служанкам, с прежней горячностью не стучал тростью на площадке лестницы, когда Баск медлил открыть ему дверь. В течение целых шести месяцев он почти не брюзжал на Июльскую революцию. Довольно спокойно он прочел в «Монитере» следующее сочетание слов: «Г-н Гюмбло-Конте, пэр Франции». Старец, несомненно, впал в уныние. Он не уступил, не сдался – это не было свойственно ни его физической, ни нравственной природе, но чувствовал душевное изнеможение. В течение четырех лет он, не отступая ни на шаг, – другими словами этого не выразить, – ждал Мариуса, убежденный, что «этот скверный мальчишка» рано или поздно постучится к нему; теперь же в иные тоскливые часы ему приходило в голову, что если только Мариус заставит себя еще ожидать, то... Не смерть была ему страшна, но мысль, что, быть может, он больше не увидит Мариуса. До сих пор эта мысль ни на одно мгновение не посещала его; теперь же она начала появляться и леденила ему кровь. Разлука, как это всегда бывает при искренних и естественных чувствах, только усилила его любовь, любовь деда к неблагодарному внуку, исчезнувшему подобным образом. Так в декабрьские ночи, в трескучий мороз, мечтают о солнце. Помимо всего, г-н Жильнорман чувствовал или убедил себя, что ему, деду, совершенно невозможно сделать первый шаг навстречу внуку. «Лучше мне околеть», – говорил он. Не считая себя ни в чем виноватым, он думал о Мариусе лишь с глубоким умилением и немым отчаянием старика, уходящего во тьму.

У него начали выпадать зубы, и это еще усилило его печаль.

Господин Жильнорман, не признаваясь самому себе, так как это взбесило бы его и устыдило, никогда ни одну любовницу не любил так, как любил Мариуса.

В своей комнате, у изголовья кровати, он приказал поставить старый портрет своей младшей дочери, покойной г-жи Понмерси, написанный с нее, когда ей было восемнадцать лет, словно желая, чтобы это было первое, что он видел, пробуждаясь ото сна. Он беспрестанно смотрел на него. Как-то, глядя на портрет, он будто невзначай сказал:

– По-моему, он похож на нее.

– На сестру? – спросила девица Жильнорман. – Ну конечно.

Старик прибавил:

– И на него тоже.

Как-то, когда он сидел в полном унынии, зябко сжав колени и почти закрыв глаза, дочь осмелилась спросить:

– Отец, неужели вы все еще сердитесь?.. – Она запнулась, не решаясь продолжать.

– На кого? – спросил он.

– На бедного Мариуса.

Он поднял свою старческую голову, стукнул костлявым и морщинистым кулаком по столу и дрожащим голосом, в величайшем раздражении, крикнул:

– Вы говорите: «бедный Мариус»! Этот господин – шалопай, сквернавец, неблагодарный хвастунишка, бессердечный, бездушный гордец, злюка!

И отвернулся, чтобы дочь не заметила слезы на его глазах.

Три дня спустя, промолчав часа четыре, он вдруг обратился к дочери:

– Я имел честь просить мамзель Жильнорман никогда мне о нем не говорить.

Тетушка Жильнорман отказалась от всяких попыток и сделала следующий глубокомысленный вывод: «Отец охладел к сестре после той глупости, которую она сделала. Видно, он терпеть не может Мариуса».

«После той глупости» означало: с тех пор как она вышла замуж за полковника.

Впрочем, как и можно было предположить, девица Жильнорман потерпела неудачу в своей попытке заменить Мариуса своим любимцем, уланским офицером. Теодюль, в роли его заместителя, не имел никакого успеха. Г-н Жильнорман не согласился на добровольное заблуждение. Сердечную пустоту не заткнешь затычкой. Да и Теодюль, хотя он здесь и чуял наследство, питал отвращение к тяжелой повинности – нравиться. Старик наскучил улану, а улан опротивел старику. Лейтенант Теодюль был, несомненно, веселым, но болтливым малым; легкомысленным, но пошловатым; любившим хорошо пожить, но плохо воспитанным; у него были любовницы – это правда, и он много о них говорил – это тоже правда, – но говорил дурно. Все его качества были с изъяном. Г-ну Жильнорману надоело слушать рассказы о всяких его удачных похождениях неподалеку от казарм на Вавилонской улице. Помимо того, лейтенант Жильнорман иногда появлялся в мундире с трехцветной кокардой. Это его делало уже просто невыносимым. В конце концов старик Жильнорман сказал дочери: «Хватит с меня этого Теодюля. В мирное время я не чувствую особенного пристрастия к военным. Принимай их сама, если хочешь. Пожалуй, я даже предпочту саблю в руках рубаки, чем на боку у гуляки. Лязг клинков на поле битвы не так противен, в конце концов, как стукотня ножен по мостовой. Да и к тому же пыжиться, изображать героя, стягивать себе талию, словно бабенка, носить корсет под кирасой – это вдвойне смешно. Настоящий мужчина одинаково далек и от бахвальства, и от жеманства. Не фанфарон и не милашка. Бери своего Теодюля себе».

Напрасно дочь повторяла ему: «Но ведь это ваш внучатный племянник». Оказалось, что г-н Жильнорман, чувствовавший себя дедом до кончика ногтей, вовсе не собирался быть двоюродным дядей.

В сущности, так как он был умен и умел сравнивать, Теодюль только заставил его еще больше сожалеть о Мариусе.

Однажды вечером, – то было 4 июня, что не помешало старику развести жаркий огонь в камине, – он отпустил дочь, занимавшуюся шитьем в соседней комнате. Один в своей спальне, расписанной сценами из пастушеской жизни, полузакрытый широкими коромандельского дерева ширмами о девяти створках, он сидел, утонув в ковровом кресле, положив ноги на каминную решетку, облокотившись на стол, где под зеленым абажуром горели две свечи, и держал в руке книгу, которую, однако, не читал. По своему обыкновению, он был одет, как

одевались щеголи времен его молодости, и был похож на старинный портрет Гарá. На улице вокруг него собралась бы толпа, если бы дочь не накидывала на него, когда он выходил из дома, нечто вроде стеганой широкой епископской мантии, скрывавшей его одеяние. У себя в комнате он надевал халат только по утрам или перед отходом ко сну. «Халат слишком старит», – говорил он.

Дедушка Жильнорман думал о Мариусе с любовью и горечью, и, как обычно, преобладала горечь. Его озлобленная нежность всегда в конце концов начинала возмущаться и превращалась в негодование. Он дошел до того состояния, когда человек готов покориться своей участи и примириться с тем, что ему причиняет боль. В настоящую минуту он доказывал себе, что больше нечего ждать Мариуса, что если бы он хотел возвратиться, то уже сделал бы это, и что надо отказаться от всякой надежды. Он пытался привыкнуть к мысли, что с этим кончено и ему предстоит умереть, не увидев «сего господина». Но все его существо восставало против этого; его упорное отцовское чувство отказывалось с этим соглашаться.

«Неужели, – говорил он, и это был его горестный ежедневный припев, – неужели он больше не вернется?» Его облысевшая голова склонилась на грудь, и он вперил в пепел камина скорбный и гневный взгляд. В минуту этой глубочайшей задумчивости вошел его старый слуга Баск и спросил:

– Угодно ли вам, сударь, принять господина Мариуса?

Старик выпрямился в кресле, мертвенно-бледный и похожий на труп, поднявшийся под действием гальванического тока. Вся кровь прихлынула ему к сердцу. Он пролепетал, заикаясь:

– Как? Господина Мариуса?

– Не знаю, – ответил Баск, испуганный и сбитый с толку видом своего хозяина, – сам я его не видел. Николетта сказала мне: «Пришел какой-то молодой человек, доложите, что это господин Мариус».

Дед Жильнорман пробормотал еле слышно:

– Проси сюда.

Он остался сидеть в той же позе, голова его тряслась, взор был пристально устремлен на дверь. Она открылась. Вошел молодой человек. То был Мариус.

Он остановился в дверях, как бы ожидая, что его попросят войти. Его почти нищенская одежда не была видна в тени, отбрасываемой абажуром. Можно было различить только его спокойное и серьезное, но странно печальное лицо.

Старый Жильнорман, отупевший от изумления и радости, несколько минут не видел ничего, кроме яркого света, как бывает, когда глазам предстает видение. Он чуть не лишился чувств; он различал Мариуса как бы сквозь ослепительную завесу. Да, действительно это был он, это был Мариус!

Наконец-то! Через четыре года! Он, если можно так выразиться, вобрал его в себя одним взглядом. Он нашел его красивым, благородным, изящным, взрослым, сложившимся мужчиной, умеющим себя держать, обаятельным. Ему хотелось открыть ему объятия, позвать его, броситься навстречу, он таял от восторга, пылкие слова переполняли его и стремились вырваться из груди; наконец, вся эта нежность нашла себе выход, подступила к устам и в силу противоречия, являвшегося основой его характера, вылилась в жестокость. Он резко спросил:

– Что вам здесь нужно?

Мариус смущенно ответил:

– Сударь...

Господин Жильнорман хотел бы, чтобы Мариус бросился в его объятия. Он был недоволен и Мариусом, и самим собой. Он чувствовал, что был резок, а Мариус холоден. Для бедного старика было невыносимой, все усиливавшейся мукой чувствовать, что в душе он изнывает от

нежности и жалости, а выказывает лишь жестокость. Горькое чувство опять овладело им. Он угрюмо перебил Мариуса:

– Зачем же вы все-таки пришли?

Это «все-таки» обозначало: «Если вы не пришли затем, чтобы обнять меня». Мариус взглянул на лицо деда, которому бледность придавала сходство с мрамором.

– Сударь...

Старик снова прервал его суровым голосом:

– Вы пришли просить у меня прощения? Вы признали свою вину?

Он полагал, что направляет Мариуса на путь истинный и что «мальчик» смягчится. Мариус вздрогнул: от него требовали, чтобы он отрекся от отца; он потупил глаза и ответил:

– Нет, сударь!

– В таком случае, – с мучительной и гневной скорбью вскричал старик, – чего же вы от меня хотите?

Мариус сжал руки, сделал шаг и ответил слабым, дрожащим голосом:

– Сударь, сжальтесь надо мной.

Эти слова вывели г-на Жильнормана из себя; будь они сказаны раньше, они бы тронули его, но теперь было слишком поздно. Дед встал; он опирался обеими руками на трость, губы его побелели, голова тряслась, но его высокая фигура казалась еще выше перед склонившим голову Мариусом.

– Сжалиться над вами! Юноша требует жалости у девяностолетнего старика! Вы вступаете в жизнь, а я покидаю ее; вы посещаете театры, балы, кафе, бильярдные, вы умны, нравитесь женщинам, вы красивый молодой человек, а я даже летом зябну у горящего камина; вы богаты единственно подлинным богатством, какое только существует, а я – всеми немощами старости, болезнью, одиночеством! У вас целы все зубы, у вас хороший желудок, живой взгляд, сила, аппетит, здоровье, веселость, копна черных волос, а у меня уже нет даже и седых, выпали зубы, не слушаются ноги, ослабела память, я постоянно путаю названия трех улиц – Шарло, Шом и Сен-Клод, вот до чего я дошел; перед вами все будущее, залитое солнцем, а я почти ничего не различаю впереди, настолько я приблизился к вечной ночи; вы влюблены, это уже само собой разумеется, меня же не любит никто на свете, и вы еще требуете у меня жалости! Черт возьми! Мольер упустил хороший сюжет. Если вы так забавно шутите и во Дворце правосудия, господа адвокаты, то я вас искренне поздравляю. Вы, я вижу, шалуны.

И старик снова спросил сердито и серьезно:

– Да, так чего же вы от меня хотите?

– Сударь, – ответил Мариус, – я знаю, что мое присутствие вам неприятно, но я пришел только для того, чтобы попросить вас кое о чем, после этого я сейчас же уйду.

– Вы глупец! – воскликнул старик. – Кто вам велит уходить?

Это был перевод следующих нежных слов, звучавших в глубине его сердца: *Ну попроси у меня прощенья! Кинься же мне на шею!* Г-н Жильнорман чувствовал, что Мариус вот-вот готов от него уйти, что этот враждебный прием его отталкивает, что эта жестокость гонит его вон, он понимал все это, и скорбь его возрастала, но так как эта скорбь тут же превращалась в гнев, то усиливалась и его суровость. Он хотел, чтобы Мариус понял его, а Мариус не понимал; это приводило старика в бешенство. Он продолжал:

– Как! Вы пренебрегли мной, вашим дедом, вы покинули мой дом, чтобы уйти неведомо куда, вы причинили огорчение вашей тетушке, вы сделали это, – догадаться нетрудно, – потому что так гораздо удобнее вести холостяцкий образ жизни, корчить щеголя, возвращаться домой когда угодно, развлекаться! Вы не подавали никаких признаков существования, наделали долгов, даже не попросив меня их заплатить, вы стали буяном и скандалистом, а потом, через

четыре года, явились сюда, и вам нечего больше сказать мне?

Этот свирепый способ склонить внука к проявлению нежности привел Мариуса только к молчанию. Г-н Жильнорман скрестил руки – этот жест был у него особенно повелительным – и с горечью обратился к Мариусу:

– Довольно. Вы, кажется, сказали, что пришли попросить меня о чем-то? Так о чем же? Что такое? Говорите.

– Сударь, – ответил Мариус, обратив на него взгляд человека, чувствующего, что он сейчас низвергнется в пропасть, – я пришел попросить у вас позволения жениться.

Господин Жильнорман позвонил. Баск приоткрыл дверь.

– Попросите сюда мою дочь.

Минуту спустя дверь снова приоткрылась, м-ль Жильнорман показалась на пороге, но в комнату не вошла. Мариус стоял молча, опустив руки, с видом преступника: г-н Жильнорман ходил взад и вперед по комнате. Обернувшись к дочери, он сказал:

– Ничего особенного. Это господин Мариус. Поздоровайтесь с ним. Этот господин хочет жениться. Вот и все. Ступайте.

Отрывистый и хриплый голос старика возвещал об особенной силе его возмущения. Тетушка с растерянным видом взглянула на Мариуса, казалось, она едва узнала его и, не сделав ни единого движения, не издав звука, исчезла по мановению руки отца быстрее, чем соломинка от дыхания урагана.

Тем временем дедушка Жильнорман, снова прислонившись к камину, разразился следующей речью:

– Жениться? В двадцать один год! И все у вас уже улажено! Вам осталось только попросить у меня позволения! Маленькая формальность. Садитесь, сударь. Ну-с, с тех пор как я не имел чести вас видеть, у вас произошла революция. Якобинцы взяли верх. Вы должны быть довольны. Уж не превратились ли вы в республиканца с той поры, как стали бароном? Вы ведь умеете примирять одно с другим. Республика – недурная приправа к баронству. Быть может, вы получили июльский орден, сударь? Может, вы немножко помогли, когда брали Лувр? Здесь совсем близко, на улице Сент-Антуан, насупротив улицы Нонендьер, видно ядро, врезавшееся в стену третьего этажа одного дома, а возле него надпись: «28 июля 1830 года». Подите посмотрите. Это производит сильное впечатление. Ах, они натворили хороших дел, ваши друзья! Кстати, не собираются ли они поставить фонтан на месте памятника господину герцогу Беррийскому? Итак, вам угодно жениться? Можно ли, не будучи нескромным, спросить, на ком?

Он остановился и, прежде чем Мариус успел ответить, с яростью прибавил:

– Ага, значит, у вас есть положение! Вы разбогатели! Сколько вы зарабатываете вашим адвокатским ремеслом?

– Ничего, – ответил Мариус с какой-то твердой и почти свирепой решимостью.

– Ничего? Стало быть, у вас на жизнь есть только те тысяча двести ливров, которые я вам даю?

Мариус ничего не ответил. Г-н Жильнорман продолжал:

– А, понимаю. Значит, девушка богата?

– Не больше, чем я.

– Что? Бесприданница?

– Да.

– Есть надежды на будущее?

– Не думаю.

– Совсем нищая? А что же такое ее отец?

- Не знаю.
- А как ее зовут?
- Мадемуазель Фошлеван.
- Фош... как?
- Фошлеван.
- Пффф! – фыркнул старик.
- Сударь! – вскричал Мариус.

Господин Жильнорман, не слушая его, продолжал тоном человека, разговаривающего с самим собой:

– Так. Двадцать один год, никакого состояния, тысяча двести ливров в год. Госпоже баронессе Понмерси придется самолично отправляться к зеленщице покупать на два су петрушки.

– Сударь, – ответил Мариус вне себя, видя, как исчезает его последняя надежда, – умоляю вас, заклинаю вас во имя неба, я простираю к вам руки, сударь, я у ваших ног, позвольте мне на ней жениться!

Старик рассмеялся пронзительным и мрачным смехом, прерываемым кашлем.

– Ха-ха-ха! Вы, верно, сказали себе: «Чем черт не шутит, пойду-ка я разыщу это старое чучело, этого непроходимого дурака! Какая досада, что мне еще не минуло двадцати пяти лет! Я бы ему показал мое полное к нему уважение! Обошелся бы я тогда и без него! Ну, да все равно, я ему скажу: «Старый осел, счастье твое, что ты еще видишь меня, мне угодно жениться, мне угодно вступить в брак с мадемуазель – все равно какой, дочерью – все равно чьей, правда, у меня нет сапог, а у нее рубашки, сойдет и так, мне угодно наплевать на свою карьеру, на свое будущее, на свою молодость, на свою жизнь, мне угодно навязать себе жену на шею и погрязнуть в нищете, вот о чем я мечтаю, а ты не чини препятствий!» И старое ископаемое не будет чинить препятствий. Валяй, мой милый, делай, как хочешь, вешай себе камень на шею, женись на своей Шпаклеван, Пеклеван... Нет, сударь, никогда, никогда!

– Отец!

– Никогда!

По тому тону, каким было произнесено это «никогда», Мариус понял, что всякая надежда потеряна. Он медленно направился к выходу, понуриив голову, пошатываясь, словно видел перед собой порог смерти, а не порог комнаты. Г-н Жильнорман провожал его взглядом, а когда дверь была уже открыта и Мариусу оставалось только выйти, он с той особенной живостью, которая свойственна вспыльчивым и избалованным старикам, подбежал к нему, схватил его за ворот, энергично втащил обратно, толкнул в кресло и сказал:

– Ну, рассказывай!

Этот переворот произвело одно лишь слово «отец», вырвавшееся у Мариуса.

Мариус растерянно взглянул на него. Подвижное лицо г-на Жильнормана выражало только грубое и неизреченное добродушие. Предок уступил место деду.

– Ну, полно, посмотрим, говори, рассказывай о своих любовных делишках, выбалтывай, скажи мне все! Черт побери, до чего глупы эти юнцы!

– Отец, – снова начал Мариус.

Все лицо старика озарилось каким-то невыразимым сиянием.

– Так, вот именно! Называй меня отцом, и дело пойдет на лад!

В этой его грубоватости сейчас сквозило такое доброе, такое нежное, такое открытое, такое отцовское чувство, что Мариус словно был оглушен и опьянен этим внезапным переходом от отчаяния к надежде. Он сидел у стола, и жалкое состояние его одежды при свете горевших свечей так бросалось в глаза, что дед Жильнорман взирал на него с изумлением.

– Итак, отец, – начал Мариус.

– Так вот оно что! – прервал его Жильнорман. – У тебя взаправду нет ни гроша? Ты одет, как воришка.

Он порылся в ящике, взял оттуда кошелек и положил его на стол.

– Возьми, тут сто луидоров, купи себе шляпу.

– Отец, – продолжал Мариус, – дорогой отец, если бы вы знали! Я люблю ее. Можете себе представить, в первый раз я увидел ее в Люксембургском саду – она приходила туда; сначала я не обращал на нее особенного внимания, а потом, не знаю сам, как это случилось, влюбился в нее. О, как я был несчастен! Словом, теперь я вижу с ней каждый день у нее дома, ее отец ничего не знает, вообразите только, они собираются уехать, мы видимся в саду по вечерам, отец хочет увезти ее в Англию, тогда я подумал: «Пойду к дедушке и расскажу ему об этом». Я ведь сойду с ума, умру, заболею, брошусь в воду. Я непременно должен жениться на ней, иначе сойду с ума. Вот вам вся правда, мне кажется, я ничего не забыл. Она живет в саду с решеткой, на улице Плюме. Это недалеко от Дома инвалидов.

Дедушка Жильнорман, сияя от удовольствия, уселся возле Мариуса. Внимательно слушая его и наслаждаясь звуком его голоса, он в то же время с наслаждением медленно втягивал в нос понюшку табаку. Услышав название улицы Плюме, он задержал дыхание и просыпал остатки табаку на колени.

– Улица Плюме? Ты говоришь, улица Плюме? Погоди-ка! Нет ли там казармы? Ну да, это та самая и есть. Твой двоюродный братец Теодюль рассказывал мне что-то. Ну, этот улан, офицер. Про девочку, мой дружок, про девочку! Черт возьми, да, на улице Плюме. На той самой, что называлась Бломе. Теперь я вспомнил. Я уже слышал об этой малютке за решеткой на улице Плюме. В саду. Настоящая Памела. Вкус у тебя недурен. Говорят, прехорошенькая. Между нами, я думаю, что этот пустельга-улан слегка ухаживал за ней. Не знаю, далеко ли там зашло. Впрочем, никакой беды в этом нет. К тому же не стоит ему верить. Он бахвал. Мариус, я считаю похвальным для молодого человека быть влюбленным! Так и надо в твоём возрасте. Я предпочитаю тебя видеть влюбленным, нежели якобинцем. Уж лучше, черт побери, быть пришитым к юбке, к двадцати юбкам, чем к господину Робеспьеру! Что до меня, то должен отдать себе справедливость: из всех этих санкюлотов я всегда признавал только женщин. Хорошенькие девчонки остаются хорошенькими девчонками, шут их возьми! Спорить тут нечего. Так, значит, малютка принимает тебя тайком от папеньки. Это в порядке вещей. У меня тоже бывали такие истории. И не одна. Знаешь, как в этом случае поступают? В раж не приходят, трагедий не разыгрывают, супружеством и визитом к мэру с его шарфом не кончают. Просто-напросто надо быть умным малым. Обладать рассудком. Шалите, смертные, но не женитесь. Надо разыскать дедушку, добряка в душе, а у него всегда найдется несколько сверточков с золотыми в ящике старого стола; ему говорят: «Дедушка, вот какое дело». Дедушка отвечает: «Да это очень просто. Смолodu перебесишься, в старости угомонишься. Я был молод, тебе быть стариком. На, мой мальчик, когда-нибудь ты вернешь этот долг твоему внуку. Здесь двести пистолей. Забавляйся, черт побери! Нет ничего лучше на свете!» Так вот дело и делается. В брак не вступают, но это не помеха. Ты меня понимаешь?

Мариус, окаменев и не в силах вымолвить ни слова, отрицательно покачал головой.

Старик разразился смехом, прищурился, хлопнул его по колену, с таинственным и сияющим видом заглянул ему в глаза и сказал, самым лукавым образом пожимая плечами:

– Дурачок! Сделай ее своей любовницей.

Мариус побледнел. Он ничего не понял из всего сказанного ему дедом. Вся эта мешанина из улицы Бломе, Памелы, казармы, улана промелькнула мимо него какой-то фантазмагорией. Это не могло касаться Козетты, чистой, как лилия. Старик бредил. Но этот бред окончился

словами, которые Мариус понял и которые были смертельным оскорблением для Козетты. Эти слова «сделай ее своей любовницей» пронзили сердце целомудренного юноши, как клинок шпаги.

Он встал, поднял с пола свою шляпу и твердым уверенным шагом направился к дверям. Там он обернулся, поклонился деду, поднял голову и промолвил:

– Пять лет тому назад вы оскорбили моего отца; сегодня вы оскорбляете мою жену. Я ни о чем вас больше не прошу, сударь. Прощайте.

Дедушка Жильнорман, остолбеневший от изумления, открыл рот, протянул руки, попробовал подняться, но, прежде чем он успел произнести хотя бы одно слово, дверь закрылась и Мариус исчез.

Несколько мгновений старик сидел неподвижно, как бы пораженный громом, не в силах ни говорить, ни дышать, словно чья-то мощная рука сжимала его за горло. Наконец он сорвался со своего кресла, со всей возможной в девяносто один год быстротой подбежал к двери, открыл ее и завопил:

– Помогите! Помогите!

Явилась дочь, затем слуги. Он снова закричал жалким, хриплым голосом:

– Бегите за ним! Догоните его! Что я ему сделал? Он сумасшедший! Он ушел! Боже мой, боже мой! Теперь он уже больше не вернется!

Он бросился к окну, выходившему на улицу, раскрыл его старческими дрожащими руками, высунулся чуть не до пояса, причем Баск и Николетта удерживали его сзади, и прокричал:

– Мариус! Мариус! Мариус! Мариус!

Но Мариус не мог услышать его; в это мгновение он уже поворачивал за угол улицы Сен-Луи.

Девяностолетний старец с выражением тягчайшей муки поднял два-три раза руки к вискам, шатаясь отошел от окна и грузно опустился в кресло, без пульса, без голоса, без слез, бессмысленно покачивая головой и шевеля губами, с пустым взглядом, с опустевшим сердцем, где осталось лишь нечто мрачное и беспросветное, как ночь.

Книга девятая

Куда они идут?

Глава 1

Жан Вальжан

В тот же самый день, в четыре часа, Жан Вальжан сидел на одном из самых пустынных откосов Марсова поля. Из осторожности ли, из желания ли сосредоточиться или просто вследствие одной из тех нечувствительных перемен в привычках, которые мало-помалу назревают в жизни каждого человека, он теперь довольно редко выходил с Козеттой. Он был в рабочей куртке и в серых холщовых штанах; картуз с длинным козырьком скрывал его лицо. В настоящее время, думая о Козетте, он был спокоен и счастлив; то, что его волновало и пугало еще недавно, рассеялось; однако недели две тому назад в нем возникло беспокойство другого рода. Однажды, гуляя по бульвару, он заметил Тенардье; Жан Вальжан был переодет, и Тенардье его не узнал; но с тех пор он видел его еще несколько раз и теперь был уверен, что Тенардье бродил неспроста в этом квартале. Этого было достаточно, чтобы принять важное решение. Тенардье здесь – значит, все опасности налицо. Кроме того, в Париже было беспокойно для всякого, кто имел основания скрывать что-либо в своей жизни; политические смуты представляли неудобство в том отношении, что полиция, ставшая весьма недоверчивой и весьма подозрительной, выслеживая какого-нибудь Пепена или Морэ, легко могла разоблачить такого человека, как Жан Вальжан. Он решил покинуть Париж, и даже Францию, и переехать в Англию. Козетту он предупредил. Он хотел отправиться в путь уже на этой неделе. Сидя на откосе Марсова поля, он глубоко задумался: его обуревали мысли о Тенардье, о полиции, о путешествии и о трудностях, связанных с получением паспорта.

Он был весьма озабочен всем этим.

Один поразивший его необъяснимый факт, под свежим впечатлением которого он находился и сейчас, особенно усиливал его тревогу. Сегодня утром, встав раньше всех и прогуливаясь в саду, когда окна Козетты еще были закрыты, он вдруг увидел надпись, нацарапанную на стене, по-видимому, гвоздем:

Стекольная улица, № 16.

Это было сделано совсем недавно; царапины казались белыми на старой потемневшей штукатурке, а кустик крапивы у стены был обсыпан мелкой известковой пылью. По всей вероятности, надпись сделали ночью. Что это означало? Чей-то адрес? Условный знак для кого-то? Предупреждение ему? Так или иначе, было ясно, что сад этот стал доступен и туда пробрались какие-то неизвестные люди. Он вспомнил о странных случаях, уже не раз всполошивших дом. Это послужило канвой для усиленной работы мысли. Он поостерегся сказать Козетте о строчке, нацарапанной на стене, боясь ее испугать.

Среди этих тревожных размышлений он заметил по тени, упавшей рядом с ним, что кто-то остановился на верхушке откоса, прямо за его спиной. Он уже хотел обернуться, но тут к нему на колени упала сложенная вчетверо бумажка, словно переброшенная чьей-то рукой через его голову. Он взял бумажку, развернул ее и прочел следующее, написанное карандашом, большими буквами, слово:

Переезжайте.

Жан Вальжан быстро поднялся, на откосе уже никого не было. Осмотревшись кругом, он заметил человека, ростом побольше ребенка и поменьше мужчины, в серой блузе и табачного цвета плисовых штанах, который, перешагнув парапет, скользнул вниз, в ров Марсова поля.

Жан Вальжан в глубоком раздумье тотчас же отправился домой.

Глава 2

Мариус

Мариус ушел от г-на Жильнормана с разбитым сердцем. Отправляясь к нему, он таил в душе надежду, а уходил в бесконечном отчаянии.

Впрочем, – те, кто изучал законы человеческого сердца, поймут это, – улан, пустельга-офицер, этот двоюродный брат Теодюль не оставил никакого следа в его сознании. Ни малейшего. По внешнему ходу событий драматург мог бы ожидать некоторых осложнений в результате разоблачения, сделанного дедом внуку. Но там, где выиграла бы драма, проиграла бы истина. Мариус был в том возрасте, когда не верят ничему дурному; позднее наступает возраст, когда верят всему. Подозрения – это те же морщины. В ранней юности их не бывает. То, что потрясает Отелло, не задевает Кандида. Подозревать Козетту! Мариусу легче было бы совершить какое угодно преступление. Он пустился бродить по улицам – обычное средство, к которому обращаются те, кто страдает. О чем он думал, он вспомнить не мог. В два часа ночи, вернувшись к Курфейраку, он, не раздеваясь, бросился на свой тюфяк. Было уже позднее утро, когда он уснул тем гнетущим, тяжелым сном, который сопровождается беспорядочной сменой образов. Проснувшись, он увидел Курфейрака, Анжольраса, Фейи и Комбефера. Все они стояли в шляпах, имели деловой вид и уже собирались уходить.

Курфейрак спросил его:

– Ты пойдешь на похороны генерала Ламарка?

Ему показалось, что Курфейрак говорит по-китайски.

Он ушел немного спустя после них. В карман он сунул пистолеты, доверенные ему Жавером во время приключения 3 февраля и оставшиеся у него. Они так и лежали заряженными до сих пор. Было бы трудно сказать, почему он взял их с собой, какая неясная мысль пришла ему в голову.

Весь день он скитался, сам не зная где; время от времени шел дождь, но Мариус его не замечал. На обед он купил в булочной хлебец за одно су, сунул его в карман и забыл о нем. Кажется, он даже выкупался в Сене, не сознавая этого. Бывают у человека такие минуты, когда у него под черепом словно пылает адская печь. Наступила такая минута и для Мариуса. Он больше ни на что не надеялся, он больше ничего не боялся; он перешагнул через все это со вчерашнего дня. В лихорадочном нетерпении он ожидал вечера, у него была только одна определенная мысль: в девять часов он увидит Козетту. В этом последнем счастье заключалось ныне все его будущее; дальше – тьма. Он шел по самым пустынным бульварам, и порою ему чудился какой-то странный шум, доносившийся из города. Тогда он выходил из своей задумчивости и задавался вопросом: «Не дерутся ли там?»

С наступлением темноты, точно в девять часов, Мариус, как и обещал Козетте, был на улице Плюме. Подойдя к решетке, он забыл обо всем. Прошло двое суток с тех пор, как он видел Козетту, сейчас он снова увидит ее; все другие мысли исчезли, он чувствовал лишь глубокую и невыразимую радость. Мгновения, в которые человек переживает века, всегда таят в себе нечто столь властительное и чудесное, что, посетив его, они целиком заполняют сердце.

Мариус раздвинул решетку и устремился в сад. Козетты не было на том месте, где она обычно его ожидала. Он пробрался сквозь заросль и прошел к углублению возле крыльца. «Она ждет меня здесь», – подумал он. Козетты там не было. Он поднял глаза и увидел, что ставни во всем доме закрыты. Он обошел сад – в саду никого не было. Тогда он вернулся к дому и,

обезумев от любви, одурманенный, испуганный, вне себя от горя и беспокойства, как хозяин, вернувшийся к себе в недобрый час, застучал в ставни. Он стучал, стучал еще и еще, рискуя увидеть, как откроется окно и в нем покажется мрачное лицо отца, который спросит: «Что вам угодно?» Все это было пустяки по сравнению с тем, что он предчувствовал. Постучав, он громко позвал Козетту. «Козетта!» – крикнул он. «Козетта!» – повелительно повторил он. Никто не откликнулся. Все было кончено. Никого в саду, никого в доме.

Мариус вперил отчаявшийся взор в этот мрачный дом, такой же черный, такой же безмолвный, как гробница, но пустой. Он взглянул на каменную скамью, где провел столько восхитительных часов возле Козетты. Потом сел на ступеньку крыльца; сердце его было полно нежности и решимости. В глубине души он благословлял эту любовь и сказал себе, что теперь, когда Козетта уехала, ему остается только умереть. Вдруг он услышал голос, казалось, доносившийся с улицы, заслоненной от него деревьями:

– Господин Мариус!

Он встал.

– Что? – спросил он.

– Господин Мариус, вы здесь?

– Да.

– Господин Мариус, – снова раздался голос, – ваши друзья ожидают вас у баррикады на улице Шанврери.

Этот голос не был ему совсем незнаком. Он напоминал хриплый и грубый голос Эпонины. Мариус подбежал к решетке, отодвинул расшатавшийся прут, просунул голову и увидел какого-то человека, с виду юношу, который, убегая, исчезал в сумерках.

Глава 3

Господин Мабеф

Кошелек Жана Вальжана не принес пользы г-ну Мабефу.

По своей благородной, но наивной строгости г-н Мабеф не принял подарка звезд; он отнюдь не мог допустить, чтобы звезда способна была рассыпаться золотыми монетами. Он не догадался, что упавшее с неба было даром Гавроша, и отнес кошелек полицейскому приставу своего квартала как утерянную вещь, которую нашедший передает в распоряжение заявивших о пропаже. Теперь кошелек был действительно утерян. Само собой разумеется, что никто его не потребовал, и г-на Мабефа он ничуть не выручил.

Господин Мабеф продолжал спускаться все ниже под гору.

Опыты с индиго в Ботаническом саду удались не лучше, чем в Аустерлицком. В прошлом году он задолжал своей служанке; теперь, как известно читателю, он задолжал домохозяину. Ломбард в конце тринадцатого месяца продал медные клише его «Флоры». Какой-нибудь медник сделал из них кастрюли. С исчезновением этих клише он не мог уже пополнить даже оставшиеся у него разрозненные экземпляры «Флоры» и уступил по дешевой цене букинисту гравюры и отпечатанный текст как *неполноценные*. У него ничего больше не осталось от труда всей его жизни. Он стал проедать деньги, полученные за проданные экземпляры. Увидев, что и этот жалкий источник иссякает, он бросил свой сад и оставил его невозделанным. Еще раньше, и давно уже, он отказался от двух яиц и куска мяса, которые съедал время от времени. Обедал он хлебом и картофелем. Он продал свою последнюю мебель, затем все, без чего он мог обойтись, из постельного белья, одежды и одеял, затем свои гербарии и эстампы; но у него еще оставались самые ценные его книги, среди которых были редчайшие, как, например, «Исторические библейские четверостишия», издание 1560 года, «Свод библий» Пьера де Бесс,

«Жемчужины Маргариты» Жана де Лаэ, с посвящением королеве Наваррской, книга «Об обязанностях и достоинстве посла» съёра де Вилье-Хотмана, «Раввинский стихослов» 1644 года, Тибулл 1567 года с великолепной надписью: «Венеция, в доме Мануция»; наконец, экземпляр Диогена Лаэртца, напечатанный в Лионе в 1644 году и включавший знаменитые варианты рукописи 411, тринадцатого века, из Ватикана, и двух венецианских рукописей 393 и 394, столь плодотворно исследованных Анри Этьеном, а также все отрывки на дорическом наречии, имеющиеся только в знаменитой рукописи двенадцатого столетия из Неаполитанской библиотеки. Г-н Мабеф никогда не разжигал камина в своей спальне и ложился с наступлением вечера, чтобы не жечь свечи. Казалось, у него не стало больше соседей, его избегали, когда он выходил; он это замечал. Нищета ребенка внушает участие любой матери, нищета молодого человека внушает участие молодой девушке, нищета старика никому не внушает участия. Из всех бедствий – это наиболее леденящее. Однако дедушка Мабеф не утратил целиком своей детской ясности. Его глаза даже становились живее, когда он устремлял их на книги, и он улыбался, созерцая редчайший экземпляр Диогена Лаэртца. Из всей обстановки, за исключением самого необходимого, только и уцелел его книжный шкаф со стеклянными дверцами.

Однажды тетушка Плутарх сказала ему:

– Мне не на что приготовить обед.

То, что она называла обедом, представляло собой хлебец и четыре или пять картофелин.

– А в долг? – спросил Мабеф.

– Вы отлично знаете, что в долг мне не дают.

Господин Мабеф открыл библиотечный шкаф, долго рассматривал свои книги одну за другой, словно отец, вынужденный отдать на заклатие одного из своих сыновей и оглядывающий их, прежде чем сделать выбор, затем быстро взял одну, сунул ее под мышку и ушел. Он вернулся два часа спустя без книги, положил тридцать су на стол и сказал:

– Вот вам на обед.

Тетушка Плутарх заметила, что с этого времени ясное лицо старика подернулось какой-то мрачной тенью, и тень эта не исчезала больше.

Но завтра, послезавтра, каждый день нужно было начинать сначала. Г-н Мабеф уходил с книгой и возвращался с серебряной монетой. Когда букинисты увидели, что он вынужден продавать, то стали покупать у него за двадцать су то, за что он заплатил двадцать франков иногда тем же книгопродавцам. Том за томом, вся библиотека ушла к ним. Иногда он говорил: «Мне все же восемьдесят лет», словно у него была какая-то затаенная надежда добраться до конца своих дней раньше конца своих книг. Он ушел из дому с Робером Этьеном, которого он продал за тридцать пять су на набережной Малакэ, а вернулся с Альдом, купленным за сорок су на улице Грэ. «Я задолжал пять су», – сказал он тетушке Плутарх, весь сияя. В этот день он совсем не обедал.

Он был членом Общества садоводства. Там знали о его нищете. Председатель этого Общества навестил его, обещал ему поговорить о нем с министром земледелия и торговли и выполнил обещание. «Ну как же! – воскликнул министр. – Конечно, надо помочь! Старый ученый! Ботаник! Безобидный человек! Нужно для него что-нибудь сделать!» На следующий день г-н Мабеф получил приглашение обедать у министра и, дрожа от радости, показал письмо тетушке Плутарх. «Мы спасены», – сказал он ей. В назначенный день он отправился к министру. Он заметил, что его измятый галстук, его старый фрак с прямыми полами и плохо начищенные старые башмаки поразили привратников. Никто к нему не обратился, не исключая самого министра. Часов в десять вечера, все еще ожидая, что с ним заговорят, он услышал, как жена министра, красивая декольтированная дама, к которой он не осмеливался подойти,

спросила кого-то: «А кто же этот старый господин?» Он вернулся домой пешком, в полночь, под проливным дождем. Он продал томик Эльзевира, чтобы оплатить фиакр, доставивший его в дом министра.

Каждый вечер перед сном он привык прочитывать несколько страничек из Диогена Лаэртца. Он достаточно знал греческий язык, чтобы насладиться красотами принадлежавшего ему подлинника. Теперь у него уже не оставалось иной радости. Прошло несколько недель. Внезапно заболела тетушка Плутарх. Существует нечто более огорчительное, чем невозможность уплатить булочнику за хлеб: это невозможность уплатить аптекарю за лекарства. Как-то вечером доктор прописал очень дорогую микстуру. Кроме того, болезнь усиливалась, нужна была сиделка. Г-н Мабеф открыл свой шкаф, там было пусто. Последний том был продан. У него остался только Диоген Лаэртций.

Он сунул этот уникальный экземпляр под мышку и вышел из дому; то было 4 июня 1832 года; он отправился к воротам Сен-Жак, к наследнику Руайоля, и возвратился с сотней франков. Он положил столбик пятифранковых монет на ночной столик старой служанки и молча ушел в свою комнату.

На следующий день с рассвета он уселся в своем саду на опрокинутую тумбу, и через забор можно было видеть, как он неподвижно сидел в продолжение всего утра, опустив голову и тупо устремив взор на запущенные грядки. Время от времени шел дождь; старик, казалось, этого не замечал. После полудня в Париже поднялся какой-то необычный шум. Этот шум был похож на ружейные выстрелы и крики толпы.

Дедушка Мабеф поднял голову. Заметив проходившего с лопатой на плече садовника, он спросил:

– Что это такое?

Садовник совершенно спокойно ответил:

– Бунт.

– Какой бунт?

– Такой. Дерутся.

– Почему дерутся?

– А бог их знает! – сказал садовник.

– Где же это? – снова спросил г-н Мабеф.

– Где-то возле Арсенала.

Дедушка Мабеф пошел к себе, взял шляпу, по привычке стал искать книгу, чтобы сунуть ее под мышку, не нашел и, сказав: «Ах да, я и позабыл!» – вышел из дому с растерянным видом.

Глава 1
Внешняя сторона вопроса

Из чего слагается мятеж? Из ничего и из всего. Из мало-помалу накопившегося электричества, из внезапно вырвавшегося пламени, из блуждающей силы, из проносящегося неведомого дуновения. Дуновению этому встречаются по пути головы, обладающие даром речи, умы, способные мечтать, души, способные страдать, пылающие страсти, рычащая нищета, и оно увлекает их за собой.

Куда?

На волю случая. Наперекор общественному строю, наперекор законам, наперекор благоденствию и наглости других.

Оскорбленные убеждения, озлобившийся энтузиазм, всколыхнувшееся чувство негодования, подавленные воинственные инстинкты, задор восторженной молодежи, великодушное ослепление, любопытство, вкус к перемене, жажда неожиданного, то чувство, которое заставляет с удовольствием читать афишу о новом спектакле и любить в театре внезапный свисток машиниста сцены; смутная ненависть, злоба, обманутые надежды, любое тщеславие, считающее себя обойденным судьбой; недовольство, несбыточные мечты, честолюбие, окруженное непреодолимыми преградами, всякий, чающий выхода из крушения; наконец, в самом низу чернь, эта воспламеняющаяся грязь, – таковы составные элементы мятежа.

Самое великое и самое ничтожное – существа, которые скитаются за пределами общества, ожидая удачи, празднующиеся, темные личности, бродяги предместий, все те, кто ночует в застроенной домами пустыне, не имея иной кровли над головой, кроме равнодушных облаков, те, которые каждый день просят хлеба у случая, а не у труда, безыменные сыны нищеты и убожества, раздетые, разутые, – все они принадлежат мятежу.

Любой, кто носит в душе тайный бунт против государственного порядка, жизни или судьбы, причастен к мятежу, и стоит ему только вспыхнуть, как человек начинает оживать, он чувствует, что его подхватывает вихрь.

Мятеж – это своего рода смерч, при некоторых температурных условиях внезапно образующийся в социальной атмосфере. Вращаясь, он поднимается, мчит, гремит, вырывает, стирает с лица земли, повергает в прах, разрушает, искореняет, увлекает за собой натуры возвышенные и жалкие, умы сильные и немощные, древесный ствол и соломинку.

Горе тому, кого он уносит с собой, и тому, кого он сталкивает с пути! Он разбивает их друг о друга.

Он сообщает неведомое могущество тем, кого он подхватывает. Он наполняет первого встречного силой событий; он все претворяет в метательный снаряд. Он обращает камешек в ядро, носильщика – в генерала.

Если поверить некоторым оракулам тайной политики, то с точки зрения власти мятеж в небольшой дозе даже не мешает. Система их воззрений такова: мятеж укрепляет те правительства, которые он не опрокидывает. Он испытывает армию; он сплачивает буржуазию; он развивает мускулы полиции; он свидетельствует о крепости социального костяка. Это гимнастика; это почти гигиена. Власть чувствует себя лучше после мятежа, как человек после растирания.

Мятеж тридцать лет тому назад рассматривался еще и с других точек зрения.

Существует всеобъемлющая теория, которая сама себя провозглашает «здравым смыслом»; Филинт против Альцеста, добровольный посредник между истинным и ложным, она предполагает объяснение, увещание, несколько высокомерную мягкость, которая, будучи смешением хулы и прощения, воображает себя мудростью, часто оказываясь одним лишь педантством. Целая политическая школа, именуемая «золотой серединой», вышла отсюда. Это партия теплой водицы – между горячей и холодной. Школа эта, с ее ложной глубиной и верхоглядством, изучает следствия, не восходя к причинам, и с высоты полужнания бранит народные волнения.

Если послушать эту школу, то окажется: «Мятежи, усложняющие переворот 1830 года, лишают в известной мере это великое событие его чистоты. Июльская революция была великолепным порывом, рожденным бурей народного гнева, внезапно сменившейся безоблачным небом. Мятежи вновь нагнали на небо тучи. Они обратили в распрю эту революцию, первоначально столь замечательную своим единодушием. В Июльской революции, как и в каждом движении вперед скачками, были скрытые места повреждений; мятеж сделал их ощутимыми. Оказалось возможным сказать: «Ага! Здесь перелом». После Июльской революции люди чувствовали только освобождение; после мятежей они почувствовали катастрофу.

Всякий мятеж закрывает лавки, понижает ценные бумаги, вызывает растерянность на бирже, приостанавливает торговлю, мешает делам, ускоряет банкротства; нет больше денег, владельцы крупных состояний обеспокоены, общественный кредит поколеблен, промышленность приходит в расстройство, капиталы припрятываются, труд обесценивается, всюду страх; во всех городах отголоски этого удара. Вот причина разверзающейся бездны. Вычислено, что первый день мятежа стоит Франции двадцать миллионов, второй – сорок, третий – шестьдесят. Трехдневный мятеж обходится в сто двадцать миллионов, – иными словами, если иметь в виду только финансовые итоги, он равнозначен громадному бедствию, кораблекрушению или проигранной битве, в которой бы погиб флот из шестидесяти линейных кораблей.

Конечно, с точки зрения исторической, мятеж отмечен своеобразной красотой; уличный бой не менее грандиозен и исполнен пафоса, чем партизанская война; в одной чувствуется душа леса, в другом чувствуется сердце города; там Жан Шуан, здесь Жанн. Мятежи озарили пусть красным, но великолепным светом все наиболее своеобразные особенности парижского характера: великодушие, самоотверженность, бурную веселость; здесь и студенчество, доказывающее, что опрометчивая смелость есть свойство просвещенного ума, и непоколебимость национальной гвардии, и сторожевые посты лавочников, и крепостцы уличных мальчишек, и презрение к смерти у прохожих. Учебные заведения сталкивались с войсками. Впрочем, между сражающимися есть только различие возрастов, – это одна и та же раса, это те же стоические люди, умирающие в возрасте двадцати лет за свои идеи, и в сорок лет – за свои семьи. Армия, всегда опечаленная во время гражданской войны, противопоставляла отваге благоразумие. Мятежи, свидетельствовавшие о народной неустрашимости, одновременно воспитывали и мужество буржуазии.

Хорошо. Но стоит ли все это пролитой крови? А к пролитой крови прибавьте омраченное будущее, запятнанный прогресс, тревогу среди лучших, отчаяние честных либералов, чужеземный абсолютизм, радующийся этим ранам, нанесенным революции ею же самой, торжество побежденных в 1830 году, твердящих: «Что же, мы все это предвидели!» Прибавьте Париж, быть может возвеличившийся, но Францию, несомненно, ослабевшую. Прибавьте – потому что следует сказать обо всем – кровопролития, слишком часто позорящие победу расвирепевшего порядка над обезумевшей свободой. В общем итоге – мятежи были гибельны».

Так утверждает эта псевдомудрость, которой буржуазия, этот псевдонарод, удовлетворяется столь охотно.

Что до нас, то мы отбрасываем слово «мятеж», слишком широкое и, следовательно, слишком удобное. Мы отличаем одно народное движение от другого. Мы не спрашиваем себя, обходится ли мятеж в такую же цену, как битва. Прежде всего, почему именно битва? Здесь возникает вопрос о войне. Разве бич войны есть меньшее бедствие, чем мятеж? И кроме того, всякий ли мятеж является бедствием? А если бы 14 июля и обошлось в сто двадцать миллионов! Возведение Филиппа V на испанский престол стоило Франции два миллиарда. Даже за равную цену мы предпочли бы 14 июля. Впрочем, мы отбрасываем эти цифры, которые кажутся доводами, а на самом деле – только слова. Предмет наших размышлений – мятеж, исследуем поэтому его сущность. В вышеизложенном доктринерском возражении речь идет только о следствии, мы же ищем причины.

Мы уточняем.

Глава 2

Суть вопроса

Есть мятеж и есть восстание; это проявление двух видов гнева – один неправый, другой правый. В демократических государствах, единственных, которые основаны на справедливости, иногда малой кучке людей удастся захватить власть; тогда поднимается весь народ, и необходимость отстоять свое право может заставить взяться за оружие. Во всех вопросах, вытекающих из державной власти коллектива, война целого против отдельной его части является восстанием, а нападение части на целое есть мятеж; в зависимости от того, кто занимает Тюильри, король или Конвент, нападение на Тюильри может быть справедливым или несправедливым. Одна и та же пушка, наведенная на толпу, виновна 10 августа и права 14 вандемьера. С виду схоже, по существу различно; швейцарцы защищали ложное, Бонапарт – истинное. То, что всеобщее голосование создало в сознании своей свободы и верховенства, не может быть разрушено улицей. Так же и во всем, что касается собственно цивилизации: инстинкт массы, вчера ясновидящий, может на следующий день изменить ей. Один и тот же порыв ярости законен против Террея и бессмыслен против Тюрго. Поломка машин, разграбление складов, порча рельс, разрушение доков, заблуждение масс, осуждение прогресса народным правосудием, Рамюс, убитый школярами, Руссо, изгнанный из Швейцарии градом камней, – это мятеж. Израиль против Моисея, Афины против Фокиона, Рим против Сципиона – это мятеж; Париж против Бастилии – это восстание. Солдаты против Александра, матросы против Христофора Колумба – это бунт, бунт нечестивый. Почему? Потому что Александр сделал для Азии с помощью меча то, что Христофор Колумб сделал для Америки с помощью компаса; Александр, как Колумб, нашел целый мир. Приобщение этих миров к цивилизации означает такое усиление света, что здесь всякое противодействие преступно. Иногда народ нарушает верность самому себе. Толпа предает народ. Встречается ли, например, что-либо более странное, чем длительное в кровавое сопротивление соляных контрабандистов, этот законный непрерывный протест, который в решительный момент, в день спасения, в час народной победы, оборачивается шуанством, объединяется с троном, и восстание «против» становится мятежом «за»! Мрачные образцы невежества! Соляной контрабандист ускользает от королевской виселицы и, еще с обрывком веревки, болтающимся у него на шее, нацепляет белую кокарду. «Смерть соляной пошлине!» порождает «Да здравствует король!». Злодеи Варфоломеевской ночи, сентябристы 1792 года, авиньонские душегубы, убийцы Колиньи, убийцы госпожи де Ламбаль, убийцы Брюна, шайки сторонников Наполеона в Испании,

зеленые лесные братья, термидорианцы, банды Жегю, кавалеры Нарукавной повязки – вот мятеж. Вандея – это огромный католический мятеж. Голос возмущенного права распознать нетрудно, но он не всегда исходит от потрясенных, взбудораженных, пришедших в движение масс; есть бессмысленное бешенство, есть треснувшие колокола, не во всяком набате звучит бронза. Колебание страстей и невежества – нечто иное, чем толчок прогресса. Восставайте, пусть, но только для того, чтобы расти! Укажите мне, куда вы идете. Восстание – это только движение вперед. Всякое другое возмущение вредно. Всякий яростный шаг назад есть мятеж; движение вспять – это насилие над человеческим родом. Восстание – это взрыв ярости, охватившей истину; уличные мостовые, взрытые восстанием, высекают искры права. Эти же мостовые предоставляют мятежу только свою грязь. Дантон против Людовика XVI – это восстание; Гебер против Дантона – это мятеж.

Отсюда следует, что если восстание, подобное упомянутым выше, может быть, как сказал Лафайет, самым священным долгом, то мятеж может быть самым роковым, преступным покушением.

Существует и некоторое различие в степени накала; нередко восстание – вулкан, а мятеж – горящая солома.

Бунт, мы уже отметили это, вспыхивает иной раз в недрах самой власти. Полиньяк – мятежник; Камилл Демулен – правитель.

Порою восстание – это возрождение.

Решение всех вопросов посредством всеобщего голосования – явление совершенно новое, поэтому каждая эпоха предшествовавшей нам истории, в течение четырех тысяч лет только и говорившей что о попоранном праве и страдании народов, несла с собой свою, возможную для нее форму протеста. При цезарях не было восстания, зато был Ювенал.

Facit indignatio^[133] заступает место Гракхов.

При цезарях был сиенский изгнанник; был, кроме него, и человек, написавший «Анналы».

Мы не говорим о великом изгнаннике Патмоса, он также обрушил свой гнев на мир реальный во имя мира идеального, создал из своего видения чудовищную сатиру и отбросил на Рим-Ниневию, на Рим-Вавилон, на Рим-Содом пылающий отблеск Апокалипсиса.

Иоанн на своей скале – это сфинкс на пьедестале; можно его не понимать, он еврей, и язык его слишком труден; но человек, написавший «Анналы», – латинянин; выразимся точнее – римлянин.

Царствование неронов напоминает мрачные гравюры, напечатанные меццо-тинто, поэтому надо и их самих изображать тем же способом. Работа одним гравировальным резцом вышла бы слишком бледной; следует влить в сделанные им борозды сгущенную, язвящую прозу.

Деспоты оказывают некоторое влияние на мыслителей. Слово, закованное в цепи, – слово страшное. Писатель удваивает и утраивает силу своего пера, когда молчание навязано народу властелином. Из этого молчания вытекает некая таинственная полнота, просачивающаяся в мысль и застывающая в ней бронзой. Гнет в истории порождает сжатость у историков. Гранитная прочность их прославленной прозы лишь следствие уплотнения ее тираном.

Тиранья вынуждает писателя к уменьшению объема, что увеличивает силу произведения. Острие цicerоновского периода, едва ощутимое для Верреса, совсем затупилось бы о Калигулу. Меньше размаха в строении фразы – больше напряженности в ударе. Тацит мыслит со всей мощью.

Честность великого сердца, превратившаяся в сгусток истины и справедливости, поражает подобно молнии.

Скажем мимоходом, примечательно, что Тацит исторически не противостоял Цезарю. Для него были приготовлены Тиберии. Цезарь и Тацит – два последовательных явления, встречу

которых таинственным образом отклонил тот, кто в постановке веков на сцене руководит входами и выходами. Цезарь велик, Тацит велик; бог пощадил эти два величия, не столкнув их между собой. Страж справедливости, нанеся удар Цезарю, мог бы ударить слишком сильно и быть несправедливым. Господь не пожелал этого. Великие войны в Африке и в Испании, уничтожение сицилийских пиратов, насаждение цивилизации в Галлии, в Британии, в Германии – вся эта слава искупает Рубикон. Здесь сказывается своего рода чуткость божественного правосудия, которое поколебалось выпустить на узурпатора грозного историка и спасло Цезаря от Тацита, признав за гением смягчающие обстоятельства.

Конечно, деспотизм остается деспотизмом даже при гениальном деспоте. И во времена прославленных тиранов процветает развращенность, но нравственная чума еще более отвратительна при тиранах бесчестных. В пору их владычества ничто не заслоняет постыдных дел, и мастера на примеры – Тацит и Ювенал – с еще большею пользой бичуют перед лицом человечества этот позор, которому нечего возразить.

Рим смердит отвратительнее при Вителлии, чем при Сулле. При Клавдии и Домициане отвратительное пресмыкательство соответствует мерзости тирана. Низость рабов – дело рук деспота; их растленная совесть, в которой отражается их повелитель, распространяет вокруг себя миазмы; власть имущие гнусны, сердца мелки, совесть немошна, души зловонны; то же при Каракалле, то же при Коммодe, то же при Гелиогабале, тогда как из римского сената времен Цезаря исходит запах помета, свойственный орлиному гнезду.

Отсюда появление, с виду запоздалое, Тацитов и Ювеналов; лишь когда очевидность становится бесспорной, приходит ее истолкователь.

Но и Ювенал, и Тацит, точно так же как Исая в библейские времена, как Данте в эпоху Средневековья, – это человек; мятеж и восстание – это народ, иногда неправый, иногда правый.

В наиболее частых случаях мятеж является следствием причин материального порядка; восстание – всегда явление нравственного порядка. Мятеж – это Мазаньелло, восстание – это Спартак. Восстание в дружбе с разумом, мятеж – с желудком. Чрево раздражается, но Чрево, конечно, не всегда виновно. В случаях голода мятеж, в Бюзансе например, имеет реальный, волнующий и справедливый повод. Тем не менее он остается мятежом. Почему? Потому что, будучи правым по существу, он неправ по форме. Свирепый, хотя и справедливый, исступленный, хотя и мощный, он поражал наугад; он шествовал, как слепой слон, все круша на пути. Он оставлял за собой трупы стариков, женщин и детей, он проливал, сам не зная почему, кровь невинных и безобидных. Накормить народ – цель хорошая, истреблять его – плохой для этого способ.

Всякий вооруженный народный протест, даже самый законный, даже 10 августа, даже 14 июля, начинается той же смутой. Перед тем как право разобьет свои оковы, поднимаются волнение и пена. Нередко начало восстания – мятеж, точно так же как исток реки – горный поток. И обычно оно впадает в океан – Революцию. Иногда, однако, рожденное на тех горных вершинах, которые возносятся над нравственным горизонтом, на высотах справедливости, мудрости, разума и права, созданное из чистейшего снега идеала, после долгого падения со скалы на скалу, отразив в своей прозрачности небо и вздувшись от сотни притоков в величественном своем триумфальном течении, восстание вдруг теряется в какой-нибудь буржуазной трясине, как Рейн в болоте.

Все это в прошлом, будущее – иное. Всеобщее голосование замечательно тем, что оно уничтожает самые принципы мятежа и, предоставляя право голоса восстанию, обезоруживает его. Исчезновение войн – как уличных войн, так и войн на границах государства – вот в чем скажется неизбежный прогресс. Каково бы ни было наше Сегодня, наше Завтра – это мир.

Впрочем, восстание, мятеж, чем бы первое ни отличалось от второго, в глазах истого

буржуа одно и то же, он мало разбирается в этих оттенках. Для него все это просто-напросто беспорядки, крамола, бунт собаки против хозяина, лай, тывканье, попытка укусить, за которую следует посадить на цепь в конуру; так он думает до того дня, когда собачья голова, внезапно увеличившись, неясно обрисовывается в полутьме, приняв львиный облик.

Тогда буржуа кричит: «Да здравствует народ!»

Чем же, после этого объяснения, является для истории июньское движение 1832 года? Мятеж это или восстание?

Это восстание.

Может статься, что в изображении грозного события нам придется иногда употребить слово «мятеж», но лишь для того, чтобы определить внешние его проявления, в то же время всегда памятуя о различии между его формой – мятежом и его сущностью – восстанием.

Движение 1832 года, в его стремительном взрыве, в его мрачном угасании, было так величаво, что даже те, кто видит в нем только мятеж, говорят о нем с уважением. Для них это как бы отзвук 1830 года. Взволнованное воображение, заявляют они, в один день не успокоить. Революция сразу не прекращается. Подобно горной цепи, спускающейся к долине, она всегда неизбежно вздымается несколько раз, прежде чем приходит к состоянию спокойствия. Без Юрского кряжа нет Альп, без Астурии нет Пиренеев.

Этот исполненный пафоса кризис современной истории, который парижане помнят как эпоху *мятежей*, без сомнения, представляет собой характерный час среди бурных часов нынешнего века.

Еще несколько слов, прежде чем приступить к рассказу.

События, подлежащие изложению, неотделимы от той живой и драматической действительности, которою историк иногда пренебрегает за отсутствием места и времени. Однако тут, и мы настаиваем на этом, – именно тут жизнь, трепет, биение человеческого сердца. Малые подробности, как мы, кажется, уже говорили, – это, так сказать, листва великих событий, и они теряются в далах истории. Эпоха, именуемая мятежной, изобилует подробностями такого рода. Судебные следствия, хоть и по иным основаниям, чем история, но также не все выявили и, быть может, не все глубоко изучили. Поэтому мы собираемся осветить, кроме известных и попавших в печать обстоятельств, то, что не ведомо никому, – факты, над которыми прошло забвение одних и смерть других. Большинство действующих лиц этих гигантских сцен исчезло, они умолкли уже назавтра; но мы можем дать заверение: мы сами видели то, о чем расскажем. Мы изменим некоторые имена, потому что история повествует, а не выдает, но изобразим то, что было на самом деле. В рамках книги, которую мы пишем, мы покажем только одну сторону событий и только один эпизод, и, наверное, наименее известный, – дни 5 и 6 июня 1832 года; но мы сделаем это таким образом, что читатель увидит под темным покрывалом, которое мы собираемся приподнять, подлинный облик этого страшного общественного дерзновения.

Глава 3

Погребение – повод к возрождению

Весной 1832 года, несмотря на то что эпидемия холеры в течение трех месяцев леденила возбужденные умы, наложив на них печать какого-то мрачного успокоения, Париж, в котором давно назревало недовольство, готов был вспыхнуть. Как мы уже отмечали, большой город похож на артиллерийское орудие: когда оно заряжено, достаточно искры, чтобы последовал залп. В июне 1832 года такой искрой оказалась смерть генерала Ламарка.

Ламарк был человек действия и доброй славы. Последовательно, при Империи и при

Реставрации, он проявил двойную доблесть, необходимую для этих двух эпох: доблесть воина и доблесть оратора. Он был так же красноречив, как ранее был отважен: его слово было подобно мечу. Как и Фуа, его предшественник, он, высоко державший знамя командования, теперь высоко держал знамя свободы. Занимая место между левой и крайней левой, он был любим народом за то, что смело смотрел в будущее, и толпой – за то, что хорошо служил императору. Вместе с графом Жераром и графом Друэ он чувствовал себя *in petto*^[134] одним из маршалов Наполеона. Трактаты 1815 года задели его как личное оскорбление. Он ненавидел Веллингтона нескрываемой ненавистью, вызывавшей сочувствие у народа, и в продолжение семнадцати лет, едва замечая происходившие в это время события, величественно хранил печаль Ватерлоо. Умирая, он в свой смертный час прижал к груди шпагу, которую ему поднесли как почетную награду офицеры Ста дней. Наполеон умер со словом *армия* на устах, Ламарк – со словом *отечество*.

Близкая его смерть страшила народ, как потеря, а правительство – как повод к волнениям. Эта смерть была трауром. Как всякая скорбь, траур может обернуться взрывом. Так именно и произошло.

В канун и утро 5 июня – день, назначенный для погребения генерала Ламарка, Сент-Антуанское предместье, мимо которого должна была проходить похоронная процессия, приняло угрожающий вид. Запутанная сеть улиц наполнилась глухим ропотом толпы. Люди вооружались, как могли. Столяры запасались распорками от своих верстаков, «чтобы взламывать двери». Один из них сделал кинжал из крючка для надевания сапог, взятого у сапожника, отломив его и заточив обломок. Другой, горя желанием «идти на приступ», три дня спал не раздеваясь. Один плотник, по имени Ломбье, встретил приятеля; тот спросил: «Куда ты идешь?» – «Да, видишь ли, у меня нет оружия». – «Ну, так что же?» – «Вот я и иду на стройку за своим циркулем». – «А на что он тебе?» – «Не знаю», – ответил Ломбье. Некто Жаклин, человек предприимчивый, ловил проходивших рабочих: «Ну-ка, поди сюда!» Потом давал им десять су на вино и спрашивал: «У тебя есть работа?» – «Нет». – «Поди к Фиспьеру, что между Монрейльской и Шаронской заставами, там найдешь работу». У Фиспьера они получали патроны и оружие. Некоторые известные главари «гоняли, точно на почтовых», то есть бегали повсюду, чтобы собрать свой народ. У Бартелеми, возле Тронной заставы, и у Капеля, в «Колпачке», посетители подходили друг к другу с серьезным видом. Слышно было, как они переговаривались: «Ты где держишь пистолет?» – «Под блузой». – «А ты?» – «Под рубашкой». На Поперечной улице, у мастерской Роланда, и во дворе Мезон-Брюле, против мастерской инструментальщика Бернье, шептались кучки людей. Неистойвой своей горячностью бросался в глаза некий Маво, который ни в одной мастерской не работал более недели – хозяева увольняли его, «потому что приходилось все время спорить с ним». Маво был убит на баррикаде на улице Менильмонтан. Прето, которому тоже суждено было умереть в схватке, вторил Маво и на вопрос: «Чего же ты хочешь?» – отвечал: «Восстания». Рабочие, собравшись на углу улицы Берси, поджидали некоего Лемарена, революционного уполномоченного предместья Сен-Марсо. Пароль передавался друг другу почти открыто.

Итак, 5 июня, в день, попеременно то солнечный, то дождливый, по улицам Парижа с официальной, военной пышностью, из предосторожности несколько преувеличенной, следовал похоронный кортеж генерала Ламарка. Гроб сопровождали два батальона с барабанами, затянутыми черным крепом, и с опущенными ружьями, десять тысяч национальных гвардейцев с саблями на боку и артиллерийские батареи национальной гвардии. Катафалк везла молодежь. За ним шли отставные офицеры с лавровыми ветвями в руках. Затем шествовало несметное множество людей, возбужденное, необычное, – члены общества Друзей народа, студенты юридического факультета, медицинского факультета, изгнанники всех национальностей;

знамена испанские, итальянские, польские, немецкие, трехцветные длинные знамена, всевозможные флаги; дети, размахивающие зелеными ветками, плотники и каменотесы, как раз бастовавшие в это время, типографщики, приметные по их бумажным колпакам, шли по двое, по трое, крича, почти все размахивая палками, а некоторые и саблями, беспорядочно и тем не менее дружно, иногда шумной толпой, иногда колонной. Отдельные группы выбирали себе предводителей; какой-то человек, вооруженный парой отчетливо проступавших под одеждой пистолетов, казалось, делал смотр плотным рядам, которые проходили перед ним. На боковых аллеях бульваров, на сучьях деревьев, на балконах, в окнах, на крышах – всюду виднелись головы мужчин, женщин, детей; все глаза были полны тревоги. Толпа вооруженная проходила, толпа смятенная глядела.

Правительство наблюдало в свою очередь. Оно наблюдало, держа руку на эфесе шпаги. На площади Людовика XV можно было заметить в боевой готовности, с полными патронташами, с заряженными ружьями и мушкетонами, четыре эскадрона карабинеров на конях, с трубачами во главе; в Латинском квартале и в Ботаническом саду – муниципальную гвардию, построенную эшелонами от улицы к улице; на Винном рынке – эскадрон драгун; на Гревской площади – половину 12-го полка легкой кавалерии, другую половину – на площади Бастилии; 6-й драгунский – у Целестинцев; двор Лувра запрудила артиллерия. Остальные войска, не считая полков парижских окрестностей, стояли в казармах, ожидая приказа. Встревоженные власти держали наготове, чтобы обрушить их на грозные толпы, двадцать четыре тысячи солдат в городе и тридцать тысяч в пригороде.

В процессии передавались всевозможные слухи. Говорили о происках легитимистов; говорили о герцоге Рейхштадтском, которого бог приговорил к смерти в ту самую минуту, когда толпа прочила его в императоры. Некто, оставшийся неизвестным, объявил, что в назначенный час два завербованных мастера откроют народу ворота оружейного завода. На лицах большинства людей, шедших с обнаженной головой, преобладало выражение восторженности и одновременно подавленности. Там и сям среди этого множества народа, находившегося во власти столь неистовых, но благородных чувств, виднелись также физиономии настоящих злодеев, виднелись гнусные рты, словно кричавшие: «Пограбим!» Существуют такого рода волнения, которые словно взбалтывают глубину болот, и тогда со дна поднимается на поверхность туча грязи. Явление это возникает не без участия «хорошо организованной» полиции.

Шествие двигалось с какой-то лихорадочной медлительностью вдоль бульваров, от дома умершего до самой Бастилии. Время от времени накрапывал дождь, но толпа не замечала его. Несколько происшествий – гроб, обнесенный вокруг Вандомской колонны, камни, брошенные в замеченного на балконе герцога Фицжама, который не обнажил головы при виде шествия, галльский петух, сорванный с одного народного знамени и втоптаный в грязь, полицейский, раненный ударом сабли у ворот Сен-Мартен, офицер 12-го легкого кавалерийского полка, громко провозгласивший: «Я республиканец», Политехническая школа, неожиданно вырвавшаяся из своего вынужденного заточения и появившаяся здесь, крики: «Да здравствует Политехническая школа! Да здравствует Республика!» – отметили путь процессии. У Бастилии длинные ряды любопытных устрашающего вида, спустившись из Сент-Антуанского предместья, присоединились к похоронному кортежу, и какое-то грозное волнение всколыхнуло толпу.

Слышали, как один человек сказал другому: «Видишь вон того, с рыжей бородкой, он-то и скажет, когда надо будет стрелять». Кажется, эта самая рыжая бородка снова появилась позднее, в той же самой роли, но во время другого выступления, в деле Кениссе.

Похоронная колесница миновала Бастилию, проследовала вдоль канала, пересекла маленький мост и достигла эспланады Аустерлицкого моста. Там она остановилась. Если бы в

это время взглянуть на толпу с высоты птичьего полета, то она показалась бы кометой, голова которой находилась у эспланады, а хвост распускался на Колокольной набережной, площади Бастилии и тянулся по бульвару до ворот Сен-Мартен. У колесницы образовался круг. Огромная толпа умолкла. Говорил Лафайет, он прощался с Ламарком. Это была умилительная и торжественная минута. Все головы обнажились, забились все сердца. Внезапно среди толпы появился всадник в черном, с красным знаменем в руках, а некоторые говорили – с пикой, увенчанной красным колпаком. Лафайет отвернулся. Эксельманс покинул процессию.

Красное знамя подняло бурю и исчезло в ней. От Колокольного бульвара до Аустерлицкого моста по толпе прокатился гул, подобный шуму морского прибоя. Раздались громогласные крики: *Ламарка в Пантеон! Лафайета в ратушу!* Молодые люди при одобрительных восклицаниях толпы впряглись в похоронную колесницу и фиакр и повлекли Ламарка через Аустерлицкий мост, а Лафайета по Морландской набережной.

В толпе, окружавшей и приветствовавшей Лафайета, люди, заметив одного немца, по имени Людвиг Шнейдер, показывали на него друг другу; этот человек, умерший впоследствии столетним стариком, тоже участвовал в войне 1776 года, дрался при Трентоне под командой Вашингтона и при Брендивайне под командой Лафайета.

Тем временем на левом берегу двинулась вперед муниципальная кавалерия и загородила мост, на правом – драгуны тронулись от Целестинцев и развернулись на Морландской набережной. Народ, сопровождавший катафалк Лафайета, внезапно заметил их на повороте набережной и закричал: «Драгуны!» Драгуны, с пистолетами в кобурах, саблями в ножнах, мушкетами в чехлах при седлах, молча двигались вперед шагом, с видом мрачного выжидания.

В двухстах шагах от маленького моста они остановились. Фиакр Лафайета достиг их, они разомкнули ряды, пропустили его и снова сомкнулись. В это время драгуны и толпа вошли в соприкосновение. Женщины в ужасе бросились бежать.

Что произошло в эту роковую минуту? Никто не сумел бы ответить. Это было смутное мгновение, когда две тучи слились в одну. Кто говорил, что со стороны Арсенала была услышана фанфара, подавшая сигнал к атаке, а другие – что какой-то мальчик ударил кинжалом драгуна, с этого и началось. Несомненно лишь одно: внезапно раздались три выстрела, первым был убит командир эскадрона Шоле, вторым – глухая старуха, закрывавшая окно на улице Контрэскарп, третий задел эполет у одного офицера; какая-то женщина закричала: «Начали слишком рано!..» – и тут же со стороны, противоположной Морландской набережной, показался остававшийся до сих пор в казармах эскадрон драгун, с саблями наголо, мчавшийся галопом по улице Бассомпьера и Колокольному бульвару, сметая все перед собой.

Теперь кончено: разражается буря, летят камни, гремят ружейные выстрелы, многие стремглав бегут вниз по скату и перебираются через малый рукав Сены, в настоящее время засыпанный; тесные дворы острова Лувье, этой обширной естественной крепости, наводнены сражающимися; здесь вырывают из оград колья, стреляют из пистолетов, воздвигается баррикада; молодые люди, оттесненные назад, проносятся бегом с похоронной колесницей по Аустерлицкому мосту и нападают на муниципальную гвардию, прибегают карабинеры, драгуны рубят саблями, толпа рассыпается в разные стороны, шум войны разносится по всем четырем концам Парижа, люди кричат: «К оружию!», люди бегут, падают, отступают, сопротивляются. Гнев раздувает мятеж, как ветер раздувает огонь.

Глава 4

Волнения былых времен

Нет ничего более изумительного, чем первые часы закипающего мятежа. Все вспыхивает

всюду и сразу. Было ли это предвидено? Да. Было ли подготовлено? Нет. Откуда это исходит? От уличных мостовых. Откуда это падает? С облаков. Здесь восстание имеет характер заговора, там – внезапного порыва гнева. Первый прохожий завладевает потоком толпы и направляет его куда хочет. Начало, исполненное ужаса, к которому примешивается какая-то зловещая веселость. Сперва раздаются крики, магазины запираются, вмиг исчезают выставки товаров; потом слышатся отдельные выстрелы; люди бегут; удары прикладов сотрясают ворота; слышно, как во дворах хохочут служанки, приговаривая: «Ну, теперь начнется потеха!»

Не прошло и четверти часа, как в двадцати различных местах Парижа почти в одно и то же время произошло следующее.

На улице Сент-Круа-де-ла-Бретоннери десятка два молодых людей, длинноволосых и бородатых, вошли в кабачок и минуту спустя вышли оттуда с трехцветным длинным знаменем, обернутым крепом, и тремя вооруженными людьми во главе – один из них держал саблю, другой ружье, третий пику.

На улице Нонендьер хорошо одетый буржуа, лысый, с брюшком, с высоким лбом, черной бородой и жесткими торчащими усами, звучным голосом открыто предлагал прохожим патроны.

На улице Сен-Пьер-Монмартр люди с засученными рукавами несли черное знамя, на нем белыми буквами начертаны были слова: *Республика или смерть!* На улицах Постников, Часовой, Монторгейль, Мандар появились кучки людей со знаменами, на которых блестели написанные золотыми буквами слова *секция* и номер. Одно из этих знамен было красное с синим и чуть заметной промежуточной белой полоской.

На бульваре Сен-Мартен разгромили оружейную мастерскую и три лавки оружейников – одну на улице Бобур, вторую на улице Мишель-ле-Конт, третью на улице Тампль. В несколько минут тысячерукая толпа расхватала и унесла двести тридцать ружей – почти все двухствольные, – шестьдесят четыре сабли, восемьдесят три пистолета. Чтобы вооружить побольше людей, один брал ружье, другой – штык.

Напротив Гревской набережной молодые люди, вооруженные карабинами, располагались для стрельбы в квартирах, где остались только женщины. У одного из них было кремневое ружье. Эти люди звонили у дверей, входили и принимались делать патроны. Одна из женщин рассказывала: «Я и не знала, что это такое – патроны, мой муж потом сказал мне».

Толпа людей на улице Вьей-Одриет взломала двери лавки редкостей и унесла оттуда ятаганы и турецкое оружие.

Труп каменщика, убитого ружейным выстрелом, валялся на Жемчужной улице.

И всюду – на левом берегу, на правом берегу, на всех набережных, на бульварах, в Латинском квартале, в квартале рынков – запыхавшиеся мужчины, рабочие, студенты, члены секций, читали прокламации и кричали: «К оружию!», били фонари, распрягали повозки, разбирали мостовые, взламывали двери домов, вырывали с корнем деревья, шарили в погребах, выкатывали бочки, громоздили бульжник, бут, мебель, доски, строили баррикады.

Они заставляли буржуа помогать им. Заходили к женщинам, требовали у них сабли и ружья отсутствующих мужей, потом испанскими белилами писали на дверях: *Оружие сдано*. Некоторые ставили «собственное имя» на расписке в получении ружья и сабли, говоря при этом: *Завтра пошлите за ними в мэрию*. На улицах разоружали часовых-одиночек и национальных гвардейцев, шедших в муниципалитет. С офицеров срывали эполеты. На улице Кладбище Сен-Никола офицеру национальной гвардии, которого преследовала толпа, вооруженная палками и рапирами, с большим трудом удалось укрыться в одном доме, откуда он мог выйти только ночью и переодетый.

В квартале Сен-Жак студенты целыми роями выходили из своих меблированных комнат и

поднимались по улице Сен-Иасент к кафе «Прогресс» или спускались вниз к кафе «Семь бильярд» на улице Матюринцев. Там молодые люди, стоя на каменных тумбах у подъездов, распределяли оружие. На улице Транснотен, чтобы построить баррикады, разнесли лесной склад. Лишь в одном только месте – на углу улиц Сент-Авуа и Симон-де-Фран – жители оказали сопротивление и сами разрушили баррикаду. И лишь в одном только месте повстанцы отступили: обстреляв отряд национальной гвардии, они оставили баррикаду, начатую на улице Тампль, и бежали по Канатной улице. Отряд подобрал на баррикаде красное знамя, пакет с патронами и триста пистолетных пуль. Гвардейцы разорвали знамя и унесли клочья на своих штыхах.

То, что мы здесь рассказываем медленно и последовательно, происходило сразу во всем городе, среди невероятной суматохи, подобно множеству молний, вспыхнувших при одном раскате грома.

Меньше чем за час двадцать семь баррикад выросли точно из-под земли в одном только квартале рынков. Средоточием их был тот знаменитый дом № 50, который служил крепостью Жанну и его ста шести соратникам; защищенный с одной стороны баррикадой Сен-Мерри, а с другой – баррикадой на улице Мобюэ, он господствовал над улицами Арси, Сен-Мартен и улицей Обри-ле-Буше, являвшейся его фронтом. Две баррикады заходили под прямым углом – одна с улицы Монторгейль на улицу Большая Бродяжная, другая – с улицы Жоффруа-Ланжевен на улицу Сент-Авуа. Это не считая бесчисленных баррикад в двадцати других кварталах Парижа, в Марэ, на горе Сент-Женевьев; не считая еще одной – на улице Менильмонтан, где виднелись ворота, сорванные с петель, и другой – возле маленького моста Отель-Дье, сооруженной из опрокинутой двуколки, в трехстах шагах от полицейской префектуры.

У баррикады на улице Гудочников какой-то хорошо одетый человек раздавал деньги ее строителям. У баррикады на улице Гренета появился всадник и вручил тому, кто казался начальником баррикады, сверток, похожий на сверток с монетами. «Вот, – сказал он, – на расходы, на вино и прочее». Молодой блондин, без галстука, переходил от баррикады к баррикаде, сообщая пароль. Другой, в синей полицейской фуражке, с обнаженной саблей, расставлял часовых. Кабачки и помещения привратников внутри, за баррикадами, были превращены в караульные посты. К тому же мятеж вел себя согласно законам искуснейшей военной тактики. Узкие, неровные, извилистые улицы, с бесчисленными углами и поворотами, были выбраны превосходно, в особенности окрестности рынков, представляющие собой сеть улиц, более запутанную и беспорядочную, чем лес. Говорили, что общество Друзей народа взяло на себя руководство восстанием в квартале Сент-Авуа. Человек, убитый на улице Понсо, как установили, обыскав его, имел при себе план Парижа.

В действительности же правила мятежом какая-то неведомая стремительная сила, носившаяся в воздухе. Восстание, мгновенно построив баррикады одною рукою, другою захватило почти все сторожевые посты гарнизона. Меньше чем в три часа, подобно вспыхнувшей пороховой дорожке, повстанцы отбили и заняли на правом берегу Арсенал, мэрию на Королевской площади, все Марэ, оружейный завод Попенкур, Галиот, Шато-д'О, все улицы возле рынков; на левом берегу – казармы Ветеранов, Сент-Пелажи, площадь Мобер, пороховой погреб Двух мельниц, все заставы. К пяти часам вечера они уже были хозяевами Бастилии, Ленжери, квартала Белые мантии; их разведчики вошли в соприкосновение с площадью Победы и угрожали Французскому банку, казарме Пти-Пер, Почтамту. Третий Париж был в руках повстанцев.

Битва завязалась всюду с гигантским размахом; разоружения, домашние обыски, быстро захваченные лавки оружейников свидетельствовали о том, что сражение, начатое градом камней, продолжалось ливнем оружейных выстрелов.

К шести часам вечера пассаж Сомон стал полем боя. Мятежники заняли один его конец, войска – другой, противоположный. Перестреливались от одной решетки к другой. Наблюдатель, мечтатель, автор этой книги, отправившись взглянуть на вулкан поближе, оказался в пассаже между двух огней. Он мог укрыться от пуль, только спрятавшись за полуколоннами, разделявшими лавки; почти полчаса он провел в этом щекотливом положении.

Тем временем пробили сбор, национальные гвардейцы торопливо одевались и вооружались, отряды выходили из мэрий, полки из казарм. Против Якорного пассажа один барабанщик получил удар кинжалом. Другой на Лебязьей улице был окружен тридцатью молодыми людьми, которые прорвали его барабан и отобрали саблю. Третий был убит на улице Гренье-Сен-Лазар. На улице Мишель-ле-Конт три офицера пали мертвыми один за другим. Много муниципальных гвардейцев, раненных на Ломбардской улице, отступили.

Перед Батавским подворьем отряд национальной гвардии обнаружил красное знамя с такой надписью: *Республиканская революция, № 127*. Была ли это революция на самом деле?

Восстание превратило центр Парижа в какую-то недоступную, в извилинах улиц, огромную цитадель.

Там находился очаг восстания; очевидно, все дело было в нем. Остальное представляло собою лишь мелкие стычки. В центре до сих пор еще не дрались, это и доказывало, что вопрос решался именно там.

В некоторых полках солдаты колебались, и это увеличивало ужасающую неизвестность исхода. Они вспоминали народное ликование, с которым была встречена в июне 1830 года нейтральность 53-го линейного полка. Два человека, бесстрашные и испытанные в больших войнах, маршал Лобо и генерал Бюжо, командовали войсками – Бюжо под начальством Лобо. Огромные патрули, состоявшие из пехотных батальонов, окруженные ротами национальной гвардии и предшествоваемые полицейскими приставами в шарфах, производили разведку занятых повстанцами улиц. А повстанцы ставили дозоры на перекрестках и дерзко высылали патрули за линию баррикад. Обе стороны наблюдали друг за другом. Правительство, располагая целой армией, все же было в нерешительности; близилась ночь, и послышался набат Сен-Мерри. Тогдашний военный министр, маршал Сульт, видевший Аустерлиц, смотрел на это мрачно.

Эти старые морские волки, привыкшие к правильным военным приемам и обладавшие в качестве источника силы и руководства только знанием тактики – этого компаса сражений, совершенно растерялись при виде необозримой бурлящей стихии, которая зовется народным гневом. Ветром революции управлять нельзя.

Национальные гвардейцы предместья прибежали второпях в беспорядке. Батальон 12-го легкого полка прибыл на рысях из Сен-Дени, 14-й линейный пришел из Курбвуа, батареи военной школы заняли позиции на площади Карусель; из Венсенского леса спустились пушки.

В Тюильри становилось пустынно, но Луи-Филипп сохранял полное спокойствие.

Глава 5

Своеобразие Парижа

Как мы уже говорили, Париж в течение двух лет видел не одно восстание. Обычно, за исключением взбунтовавшихся кварталов, ничто не отличается столь удивительным спокойствием, как облик Парижа во время мятежа. Париж очень быстро свыкается со всем – ведь это всего лишь мятеж, а у Парижа так много дел, что он не беспокоится из-за всякого пустяка. Только такие огромные города могут представлять собой подобное зрелище. Только в их бесконечных пределах совместима гражданская война с какой-то странной невозмутимостью. Каждый раз, когда в Париже начинается восстание, когда слышатся барабан,

сигналы сбора и тревоги, лавочник ограничивается тем, что говорит:

– Кажется, на улице Сен-Мартен заварилась каша.

Или:

– В предместье Сент-Антуан.

Часто он беззаботно прибавляет:

– Где-то в той стороне.

Позже, когда уже можно различить мрачную и раздирающую душу трескотню перестрелки и ружейные залпы, лавочник говорит:

– Дерутся там, что ли? Так и есть, пошла драка!

Немного спустя, если мятеж приближается и берет верх, хозяин лавки быстро закрывает ее и поспешно напяливает мундир, иначе говоря, спасает свои товары и подвергает опасности самого себя.

Пальба на перекрестке, в пассаже, в тупике. Захватывают, отдают и снова берут баррикады; течет кровь, картечь решетит фасады домов, пули убивают людей в постелях, трупы усеивают мостовые. А пройдя несколько улиц, можно услышать стук бильярдных шаров в кофейнях.

Театры открыты, там разыгрываются водевили; любопытные беседуют и смеются в двух шагах от улиц, где торжествует война. Проезжают фиакры, прохожие идут обедать в рестораны, и иногда в тот самый квартал, где сражаются. В 1831 году стрельба была приостановлена, чтобы пропустить свадебный поезд.

Во время восстания 12 мая 1839 года на улице Сен-Мартен маленький хилый старичок, тащивший увенчанную трехцветной тряпкой ручную тележку, в которой стояли графины с какой-то жидкостью, переходил от баррикады к осаждавшим ее войскам и от войск к баррикаде, услужливо предлагая стаканчик настойки то правительству, то анархии.

Нет ничего более поразительного, но такова характерная особенность парижских мятежей; ни в одной из других столиц ее не встретишь. Для этого необходимы два условия – величие Парижа и его веселость. Надо быть городом Вольтера и Наполеона.

Однако на этот раз, в вооруженном выступлении 5 июня 1832 года, великий город почувствовал нечто, быть может, более сильное, чем он сам. Он испугался. Всюду, в наиболее отдаленных и «безучастных» кварталах, виднелись запертые среди бела дня двери, окна и ставни. Храбрецы вооружались, трусы прятались. Исчез и праздный, и занятой прохожий. Многие улицы были безлюдны, словно в четыре часа утра. Передавались тревожные подробности, распространялись зловещие слухи о том, что *они* овладели Французским банком; что в одном только монастыре Сен-Мерри шестьсот человек укрепились в церкви и засели за проделанными в стенах бойницами; что пехотные войска ненадежны; что Арман Карель видел маршала Клозеля, и маршал сказал: *Сначала раздобудьте полк*; что Лафайет болен, но тем не менее заявил им: *Я ваш. Я буду с вами всюду, где только найдется место для носилок*; что нужно быть настороже; что ночью явятся люди, которые пойдут грабить уединенные дома в пустынных уголках Парижа (здесь можно узнать разыгравшееся воображение полиции, этой Анны Ратклиф в услужении у правительства); что целая батарея заняла позицию на улице Обри-ле-Буше, что Лобо и Бюжо согласовали свои действия и в полночь или, самое позднее, на рассвете четыре колонны одновременно выступят к центру восстания – первая от Бастилии, вторая от ворот Сен-Мартен, третья от Гревской площади, четвертая от рынков; что, впрочем, войска оставят Париж и отступят к Марсову полю; что вообще неизвестно, чего надо ждать, но на этот раз дело обстоит, несомненно, серьезно. Всех тревожила нерешительность маршала Сульта. Почему он не атакует немедленно? Было очевидно, что он крайне озабочен. Казалось, старый лев учуял в этом мраке какое-то неведомое чудовище.

Наступил вечер, театры не открылись, патрули, разъезжая с сердитым видом, обыскивали

прохожих, арестовывали подозрительных. К десяти часам было задержано более восьмисот человек; полицейская префектура была переполнена, тюрьма Консьержери переполнена, тюрьма Форс переполнена. В частности, в Консьержери длинное подземелье, именовавшееся «Парижской улицей», было все покрыто охапками соломы, на которых валялось множество арестованных; некто Лагранж, лионец, мужественно поддерживал их своим красноречием. Шуршание соломы под этими копошащимися на ней людьми казалось шумом ливня. В других местах задержанные спали вповалку под открытым небом, во внутренних дворах тюрем. Повсюду чувствовалась тревога и какой-то мало свойственный Парижу трепет.

В домах баррикадировались; жены и матери выражали беспокойство, только и слышалось: «Боже мой, он еще не вернулся!» Изредка доносился отдаленный грохот повозок. Стоя на порогах дверей, прислушивались к гулу голосов, крикам, суматохе, к глухому и неясному шуму, о котором говорили: «Это кавалерия» или: «Это мчатся артиллерийские повозки»; прислушивались к рожкам, барабанам, ружейной трескотне, а больше всего к надрывному набату Сен-Мерри. Ждали первого пушечного выстрела. На углах улиц вдруг появлялись люди и исчезали, крича: «Идите домой!» И все торопились запереть двери на засовы. Спрашивали друг друга: «Чем все это кончится?» С минуты на минуту, по мере того как сгущалась ночь, на Париж, казалось, все гуще ложились зловещие краски грозного зарева восстания.

Книга одиннадцатая

Атом братается с ураганом

Глава 1

Несколько разъяснений относительно корней поэзии Гавроша. Влияние некоего академика на эту поэзию

В тот миг, когда восстание, вспыхнувшее при столкновении народа и войска перед Арсеналом, вызвало движение передних рядов назад, в толпу, сопровождавшую погребальную колесницу и, так сказать, навалившуюся всей длиной бульваров на головную часть процессии, начался ужасающий отлив людей. Все это скопище дрогнуло, ряды расстроились, все бросились бежать, уходить, спасаться – одни, призывая к сопротивлению, другие, побледнев от страха. Огромная река людей, покрывавшая бульвары, мгновенно разделилась, выступила из берегов направо и налево и разлилась потоками по двумстам улицам, струясь ручьями, как из прорвавшейся плотины. В это время какой-то оборванный мальчишка, спускавшийся по улице Менильмонтан с веткой цветущего дрока, которую он сорвал на высотах предместья Бельвиль, обнаружил на лотке торговли всяким хламом старый седельный пистолет. Он бросил ветку на мостовую и, крикнув: «Мамаша, как бишь тебя звать, я забираю твою машинку!» – убежал с пистолетом.

Минуты две спустя волна перепуганных буржуа, устремившаяся по улице Амело и по Нижней, встретила мальчика, который размахивал пистолетом и напевал:

Днем видно все, зато ночами
Мы ни черта не видим с вами!
Любой забористый стишок
Для буржуа – что вилы в бок.
Эй, колпаки! Господь – свидетель,
Вы позабыли добродетель.

То был маленький Гаврош, отправлявшийся на войну.

На бульваре он заметил, что у пистолета нет собачки.

Кто сочинил этот куплет, в такт которому он шагал, и все другие песни, которые он охотно распевал при случае? Бог знает. Возможно, они были его собственные. Помимо того, Гаврош хорошо знал все ходячие народные песенки и присоединял к ним свое собственное щебетание. Проказливый гном и уличный мальчишка, он создавал попури из голосов природы и голосов Парижа. К птичьему репертуару он добавлял все песенки рабочих мастерских. Он водился с подмастерьями живописцев, этим родственным ему племенем. Кажется, он работал три месяца типографским учеником. Как-то ему даже пришлось выполнить поручение для господина Баур-Лормиана, одного из сорока Бессмертных. Гаврош был гамен, причастный к литературе.

Кстати сказать, Гаврош и не подозревал, что в ту ненастную, дождливую ночь, когда он предложил двум карапузам воспользоваться гостеприимством своего слона, он выполнил роль провидения для собственных братьев. Братья вечером, отец утром – вот какова была его ночь. Покинув на рассвете Балетную улицу, он поспешно вернулся к слону, мастерски извлек оттуда обоих малышей, разделил с ними кое-какой изобретенный им завтрак, затем ушел, доверив их той доброй матери-улице, которая, можно сказать, воспитала его самого. Расставаясь с ними, он

назначил им свидание вечером здесь же и на прощание произнес следующую речь: «Теперь драла, иначе говоря, я даю тягу, или, как выражаются при дворе, удираю. Ребята, если вы не найдете папу-маму, возвращайтесь сюда вечером. Я вам дам поужинать и уложу спать». Оба мальчика, подобранные полицейским сержантом и уведенные в участок, или украденные каким-нибудь фокусником, или просто заблудившиеся в огромной китайской головоломке Парижа, не возвратились. На дне нашего общества полно таких исчезнувших следов. Гаврош больше их не видел. Два с половиной или три месяца протекло с той ночи. Не раз Гаврош почесывал себе затылок, приговаривая: «Куда, к черту, девались мои ребята?»

Между тем он прибыл с пистолетом в руке на улицу Капустный мост. Он заметил, что на этой улице осталась открытой только одна лавчонка, и притом, что заслуживало внимания, лавчонка пирожника. Это был ниспосланный провидением случай поест еще разок яблочного пирожка, перед тем как ринуться в неизвестность. Гаврош остановился, пошарил во всех своих карманах и кармашках, вывернул их и, не найдя ничего, даже одного су, закричал: «Караул!»

Тяжело лишаться последнего в жизни пирожка!

Это не помешало, однако, Гаврошу продолжать свой путь.

Через две минуты он был на улице Сен-Луи. Переходя улицу Королевский парк, он почувствовал потребность вознаградить себя за недоступный яблочный пирожок и доставил себе глубочайшее удовлетворение, принявшись срывать среди бела дня театральные афиши.

Немного подальше, увидев группу пышущих здоровьем прохожих, показавшихся ему домовладельцами, он пожал плечами и послал им вслед плевок философской желчи:

– До чего они жирные, эти самые рантье! Знай едят. Набивают себе зобы до отказа. А спросите-ка их, что они делают со своими деньгами? Они и сами не скажут. Они их прожирают, вот что! Жрут сколько влезет в брюхо.

Глава 2

Гаврош в походе

Размахивать среди улицы пистолетом без собачки – занятие, имеющее весьма важное общественное значение, и Гаврош чувствовал, что его пыл возрастает с каждым шагом. Между обрывками распеваемой им Марсельезы он выкрикивал:

– Все идет отлично! У меня здорово болит левая лапа, я ушиб мой ревматизм, но я доволен, граждане. Держитесь, буржуа, вы у меня зачихаете от моих зажигательных песенок. Что такое шпики? Собачья порода. Нет, черт возьми, не надо оскорблять собак! Мне так нужна собачка в пистолете. Друзья мои, я шел бульваром, там варится, там закипает, там бурлит. Пора снимать пенку с горшка. Мужчины, вперед! Пусть вражья кровь поля зальет! Я за отечество умру, не видеть мне моей подружки! О да, Нини, конец, ни-ни! Но все равно, да здравствует веселье! Будем драться, черт побери! Хватит с меня деспотизма!

В эту минуту упала лошадь проезжавшего мимо улана национальной гвардии; Гаврош положил пистолет на мостовую, поднял всадника, затем помог поднять лошадь. После этого он подобрал свой пистолет и пошел дальше.

На улице Торињи все было тихо и спокойно. Это равнодушие, присущее Марэ, представляло резкий контраст с огромным возбуждением вокруг. Четыре кумушки беседовали у входа в дом. Если в Шотландии известны трио ведьм, то в Париже – квартеты кумушек, и «Ты будешь королем» столь же мрачно могло быть брошено Бонапарту на перекрестке Бодуайе, как в свое время Макбету – в вереске Армюира. Это было бы почти такое же карканье.

Но кумушки с улицы Торињи – три привратницы и одна тряпичница с корзиной и крюком – занимались только собственными делами.

Казалось, все четыре стоят у четырех углов старости – одряхления, немощи, нужды и печали.

Тряпичница была смиренной. В этом обществе, живущем на вольном воздухе, тряпичница валяется, привратница покровительствует. Причина этого коренится в куче отбросов за уличной тумбой; она бывает такой, какой создают ее привратницы, скоромной или постной, – по прихоти того, кто сгребает кучу. Случается, что метла добросердечна.

Тряпичница была благодарна поставщицам ее мусорной корзинки, она улыбалась трем привратницам, и какой улыбкой! Разговоры между ними шли примерно такие:

– А ваша кошка все такая же злюка?

– Боже мой, кошки, сами знаете, от природы враги собак. Собаки – вот кто может на них пожаловаться.

– Да и люди тоже.

– Однако кошачьи блохи не переходят на людей.

– Это пустяки, вот собаки – те опаснее. Я помню год, когда развелось столько собак, что пришлось писать об этом в газетах. Это было в те времена, когда в Тюильри большие бараны возили маленькую колясочку Римского короля. Вы помните Римского короля?

– А мне больше нравился герцог Бордоский.

– А я знала Людовика Семнадцатого. Я больше люблю Людовика Семнадцатого.

– Говядина-то как вздорожала, мамаша Патагон!

– Ах, и не говорите, мясники эти просто мерзавцы! Мерзкие мерзавцы. Одни только обрезки и получаешь.

Тут вмешалась тряпичница:

– Да, сударыни мои, с торговлей дело плохо. В отбросах ничего не найдешь. Ничего больше не выкидывают. Все поедают.

– Есть люди и победнее вас, тетушка Варгулем.

– Что правда, то правда, – угодливо согласилась тряпичница, – у меня все-таки есть профессия.

После недолгого молчания тряпичница, уступая потребности похвастаться, присущей натуре человека, прибавила:

– Как вернусь утром домой, так сразу разбираю плетенку и принимаюсь за сервировку (повидимому, она хотела сказать: сортировку). И все раскладываю по кучкам у меня в комнате. Потом я убираю тряпки в корзину, огрызки фруктов – в лохань, простые лоскутья – в шкаф, шерстяные – в комод, бумагу – в угол под окном, съедобное – в миску, осколки стаканов – в камин, стоптанные башмаки – за двери, кости – под кровать.

Гаврош, остановившись позади, слушал.

– Старушки, – спросил он, – по какому это случаю вы завели разговор о политике?

Целый залп ругательств, учетверенный силой четырех глоток, обрушился на него.

– Еще один злодей тут как тут!

– Что это он держит в своей культяпке? Пистолет?

– Скажите на милость, этакий негодный мальчишка!

– Такие не успокоятся, пока не сбросят правительство!

Гаврош, исполненный презрения, ограничился вместо всякого возмездия тем, что щедро, всей пятерней, сделал им нос.

Тряпичница крикнула:

– Ах ты, бездельник босопятый!

Та, что именовалась мамашей Патагон, яростно всплеснула руками:

– Быть беде, это уж наверняка. Есть тут по соседству один молодчик с бородашкой, он мне

попадался каждое утро с красоткой в розовом чепце под ручку, а нынче смотрю, – уж у него ружье под ручкой. Мамаша Баше мне говорила, что на прошлой неделе была революция в... в... – ну, там, где этот теленок! – в Понтуазе. А теперь посмотрите-ка на этого с пистолетом, на этого мерзкого озорника! Кажется, у Целестинцев полно пушек. Что же еще может сделать правительство с негодяями, которые сами не знают, что выдумать, лишь бы не давать людям жить, и ведь только-только начали успокаиваться после всех несчастий! Господи боже мой, я-то видела нашу бедную королеву, как ее везли на телеге! И опять из-за всего этого вздорожает табак! Это подлость! А тебя-то, разбойник, я уж наверное увижу на гильотине!

– Ты сопишь, старушенция, – ответил Гаврош. – Высморкай получше свой хобот.

И отправился дальше.

Когда он дошел до Мощеной улицы, он вспомнил о тряпичнице и разразился следующим монологом:

– Напрасно ты ругаешь революционеров, мамаша Мусорная Куча. Этот пистолет на тебя же поработает. Чтобы ты нашла побольше съедобного для своей корзинки.

Внезапно он услышал шум позади: погнавшаяся за ним привратница Патагон издали грозила ему кулаком и кричала:

– Ублюдок несчастный!

– Плевать мне на это с высокого дерева, – ответил Гаврош.

Немного погодя он прошел мимо особняка Ламуаньона. Здесь он испустил следующий клич:

– Вперед, на бой!

Но тут его охватила тоска. С упреком посмотрел он на свой пистолет, казалось, пытаясь его растрогать.

– Я иду биться, – сказал он, – а ты вот не бьешь!

Одна собачка может отвлечь внимание от другой. Мимо пробежал тощий пуделек. Гаврош разжалобился.

– Бедненький мой тьяв-тяв, – сказал он ему, – ты, верно, проглотил целый бочонок, у тебя все обручи наружу.

Затем он направился к Орм-Сен-Жерве.

Глава 3

Справедливое негодование парикмахера

Достойный парикмахер, выгнавший двух малышей, для которых Гаврош разверз гостеприимное чрево слона, в это время был занят в своем заведении бритьем старого солдата-легионера, служившего во время Империи. Между ними завязалась беседа. Разумеется, парикмахер говорил с ветераном о мятеже, затем о генерале Ламарке, а от Ламарка перешли к императору. Если бы Прюдом присутствовал при этом разговоре брадобрея с солдатом, он его приукрасил бы и назвал: «Диалог бритвы и сабли».

– Сударь, – спросил парикмахер, – а как император держался на лошади?

– Плохо. Он не умел падать. Поэтому он никогда не падал.

– А хорошие кони были у него? Должно быть, прекрасные?

– В тот день, когда он мне пожаловал крест, я разглядел его лошадь. То была рысистая кобыла, вся белая. У нее были очень широко расставленные уши, глубокая седловина, изящная голова с черной звездочкой, очень длинная шея, крепкие колени, выпуклые бока, покатые плечи, мощный круп. И немного больше пятнадцати пядей ростом.

– Славная лошадка, – сказал парикмахер.

– Да, это была верховая лошадь его величества.

Парикмахер почувствовал, что после таких значительных слов подобает немного помолчать; он сообразовался с этим, затем снова начал:

– Император был ранен только раз, не правда ли, сударь?

Старый солдат ответил спокойным и важным тоном человека, который присутствовал при этом:

– В пятку. Под Ратисбоном. Я его никогда не видел так хорошо одетым, как в тот день. Он был чистенький, как новая монетка.

– А вы, господин ветеран, надо думать, были ранены не раз?

– Я? – спросил солдат. – Пустяки! Под Маренго получил два удара саблей по затылку, под Аустерлицем – пулю в правую руку, другую – в левую ляжку под Йеной, под Фридландом – удар штыком, вот сюда, под Москвой – семь или восемь ударов пикой куда попало, под Люценом осколок бомбы раздробил мне палец... Ах да, еще в битве при Ватерлоо я получил курчечную пулю в бедро. Вот и все.

– Как прекрасно умереть на поле боя! – с пиндарическим пафосом воскликнул цирюльник. – Что касается меня, то, честное слово, вместо того чтобы подышать на дрянной постели от какой-нибудь болезни, медленно, понемногу, каждый день, с лекарствами, припарками, спринцовками и слабительными, я предпочел бы получить в живот пушечное ядро!

– У вас губа не дура, – сказал солдат.

Едва он это сказал, как оглушительный грохот потряс лавочку. Стекло витрины внезапно украсилось звездообразной трещиной.

Парикмахер побледнел как полотно.

– О боже, – воскликнул он, – это то самое!

– Что?

– Пушечное ядро.

– Вот оно, – сказал солдат.

И он поднял что-то, катившееся по полу. То был булыжник.

Парикмахер подбежал к разбитому стеклу и увидел Гавроша, убежавшего со всех ног к рынку Сен-Жан. Проходя мимо лавочки парикмахера, Гаврош, таивший в себе обиду за мальшей, не мог воспротивиться желанию приветствовать его по-своему и швырнул камнем в окно.

– Понимаете ли, – прохрипел цирюльник, у которого бледность перешла в синеву, – они делают пакости, лишь бы напакостить! Чем его обидели, этого мальчишку?

Глава 4

Ребенок удивляется старику

Между тем на рынке Сен-Жан, где уже успели разоружить пост, произошло стратегическое соединение Гавроша с кучкой людей, которую вели Анжольрас, Курфейрак, Комбефер и Фейи. Почти все были вооружены. Баорель и Жан Прувер разыскали их и увеличили собою отряд. У Анжольраса была охотничья двустволка, у Комбефера ружье национальной гвардии с номером легиона, а за поясом – два пистолета, высывавшихся из-под расстегнутого сюртука; у Жана Прувера старый кавалерийский мушкетон, у Баореля карабин; Курфейрак размахивал тростью, из которой вытащил спрятанный в ней клинок. Фейи, с обнаженной саблей в руке, шествовал впереди, крича: «Да здравствует Польша!»

Они шли с Морландской набережной, без галстуков, без шляп, запыхавшиеся, промокшие

под дождем, с горящими глазами. Гаврош спокойно подошел к ним.

– Куда мы идем?

– Иди с нами, – ответил Курфейрак.

Позади Фейи шел, или, вернее, прыгал, Баорель, чувствовавший себя среди мятежа, как рыба в воде. Он был в малиновом жилете и имел при себе запас слов, способных сокрушить все, что угодно. Его жилет потряс какого-то прохожего, который, потеряв голову от страха, закричал:

– Красные пришли!

– Красные, красные! – подхватил Баорель. – Что за нелепый страх, буржуа! Я вот, например, нисколько не боюсь алых маков, и красная шапочка не внушает мне никакого ужаса. Поверьте мне, буржуа, предоставим бояться красного только рогатому скоту.

Где-то на стене он заметил листок бумаги самого миролюбивого свойства – разрешение есть яйца; это было великопостное послание парижского архиепископа своей «пастве».

Баорель воскликнул:

– Паства! Это вежливый способ сказать: «стадо».

И он сорвал со стены послание, покорив этим сердце Гавроша. С этой минуты он стал присматриваться к Баорелю.

– Баорель, – заметил Анжольрас, – ты неправ. Тебе бы следовало оставить это разрешение в покое, не в нем дело, ты зря расходуешь гнев. Береги боевые припасы. Не следует открывать огонь в одиночку, ни ружейный, ни душевный.

– У каждого своя манера, – возразил Баорель. – Эти епископские упражнения в прозе меня оскорбляют, я хочу есть яйца без всякого разрешения. У тебя манера – кипеть под ледком, ну а я развлекаюсь. К тому же я вовсе не расходую себя, я беру разбег; а послание я разорвал, клянусь Геркулесом, только чтобы войти во вкус!

Слово «Геркулес» поразило Гавроша. Он пользовался всяким случаем чему-нибудь поучиться, а к этому срывателю объявлений он возымел почтительные чувства. Он спросил его:

– Что это значит – «Геркулес»?

Баорель ответил:

– По-латыни это обозначает: черт меня побери.

Здесь Баорель увидел в окне смотревшего на них бледного молодого человека с черной бородкой, по-видимому одного из Друзей азбуки, и крикнул ему:

– Живо патронов! Para bellum!^[135]

– Красивый мужчина! Это верно, – сказал Гаврош, теперь уже понимавший латынь.

Их сопровождала шумная толпа – студенты, художники, молодые люди, состоявшие членами Кугурды из Экса, рабочие, портовые грузчики, вооруженные дубинами и штыками, а иные и с пистолетами за поясом, как Комбефер. В этой толпе шел какой-то старик, с виду очень дряхлый. Он был без всякого оружия, но старался не отставать, хотя и казался погруженным в какие-то думы. Гаврош заметил его.

– Этшкое? – спросил он.

– Так, старичок.

То был г-н Мабеф.

Глава 5

Старик

Расскажем о том, что произошло.

Анжольрас и его друзья проходили по Колокольному бульвару, мимо казенных хлебных амбаров, когда драгуны бросились в атаку. Анжольрас, Курфейрак и Комбефер принадлежали к числу тех, кто двинулся по улице Бассомпьера с криком: «На баррикады!» На улице Ледигьера они встретили медленно шедшего старика.

Их внимание привлекло то, что старика шатало из стороны в сторону, точно пьяного. К тому же, хотя все утро моросило, да и теперь шел довольно сильный дождь, шляпу он держал в руке. Курфейрак узнал дедушку Мабефа. Он был с ним знаком, так как не раз провожал Мариуса до самого его дома. Зная мирный и более чем робкий нрав бывшего церковного старосты и любителя книг, он изумился, увидев в этой сутолоке, в двух шагах от надвигавшейся конницы старика, который разгуливал с непокрытой головой, под дождем, среди пуль, почти в самом центре перестрелки; он подошел к нему, и здесь между двадцатипятилетним бунтовщиком и восьмидесятилетним старцем произошел следующий диалог:

- Господин Мабеф, ступайте домой.
- Почему?
- Начинается суматоха.
- Отлично.
- Будут рубить саблями, стрелять из ружей, господин Мабеф.
- Отлично.
- Палить из пушек.
- Отлично. А куда вы все идете?
- Мы идем свергать правительство.
- Отлично.

И он пойдет с ними. С этого времени он не произнес ни слова. Его шаг сразу стал твердым; рабочие хотели взять его под руки, он отказался, отрицательно покачав головой. Он шел почти в первом ряду колонны, и все его движения были как у человека бодрствующего, а лицо – как у спящего.

– Что за странный старикан, – перешептывались студенты. В толпе пронесся слух, что это старый член Конвента, старый цареубийца.

Все это скопище народа вступило на Стекольную улицу. Маленький Гаврош шагал впереди, во все горло распевая песенку и как бы изображая собой живой рожок горниста. Он пел:

Вот луна поднялась в небеса.
– Не пора ли? Ложится роса, —
Молвил Жан несговорчивой Жанне.
Ту, ту, ту
На Шату.

Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош —
все мое богатство.

Чтобы клюкнуть, – не смейтесь, друзья! —
Встали дó свету два воробья
И росы накалились в тимьяне.
Зи, зи, зи
На Пасси.

Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош —
все мое богатство.

Точно пьяницы, в дым напились,
Точно два петуха подрались, —
Тигр от смеха упал на поляне.
Дон, дон, дон
На Медон.

Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош —
все мое богатство.

Чертыхались на все голоса.
– Не пора ли? Ложится роса, —
Молвил Жан несговорчивой Жанне.
Тен, тен, тен
На Пантен.

Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош —
все мое богатство.

Они направлялись к Сен-Мерри.

Глава 6

Новобранцы

Толпа увеличивалась каждое мгновение. Возле Щепной улицы к ней присоединился высокий седоватый человек; Курфейрак, Анжольрас и Комбефер заметили его вызывающую и грубую внешность, но никто из них не знал его. Гаврош шел, поглощенный пением, свистом, шумом, движением вперед, постукивал в ставни лавочек рукояткой своего увечного пистолета и вовсе не обратил внимания на этого человека.

Случилось так, что, свернув на Стекольную улицу, толпа проходила мимо подъезда Курфейрака.

– Это очень кстати, – сказал Курфейрак, – я забыл дома кошелек, и я потерял шляпу. – Он оставил толпу и быстро, шагая через четыре ступеньки, взбежал к себе наверх. Там он взял старую шляпу и кошелек, а также захватил с собой довольно объемистый квадратный ящик, который был запрятан у него в грязном белье. Когда он бегом спускался вниз, его окликнула привратница:

– Господин де Курфейрак!

– Привратница, как вас зовут? – в ответ спросил Курфейрак.

Привратница опешила.

– Но вы же хорошо знаете, что меня зовут тетушка Вевен.

– Ну так вот, если вы еще раз назовете меня господин де Курфейрак, то я вас буду звать тетушка де Вевен. А теперь говорите: в чем дело? Что такое?

– Здесь кто-то вас спрашивает.

– Кто такой?

- Не знаю.
- Где он?
- У меня, в привратнической.
- К черту! – крикнул Курфейрак.
- Но он уже больше часа ждет вас, – заметила привратница.

В это время из каморки привратницы вышел юноша, по виду молодой рабочий, худой, бледный, маленький, веснушчатый, в дырявой блузе и заплатанных плисовых панталонах, больше похожий на переряженную девушку, чем на мужчину, и обратился к Курфейраку, причем голос его, кстати сказать, несколько не походил на женский:

- Могу я повидать господина Мариуса, позвольте вас спросить?
- Его нет.
- Вернется он сегодня вечером?
- Я ничего не знаю. – И Курфейрак прибавил: – Что до меня, то я не вернусь.

Молодой человек пристально взглянул на него и спросил:

- Почему?
- Потому.
- Куда же вы идете?
- А тебе какое дело?
- Можно мне понести ваш ящик?
- Я иду на баррикаду.
- Можно мне пойти с вами?
- Как хочешь! – ответил Курфейрак. – Улица свободна, мостовые – для всех.

И он бегом бросился догонять своих друзей. Нагнав их, он поручил одному из них нести ящик. Только через четверть часа он заметил, что молодой человек действительно последовал за ними.

Толпа никогда не идет именно туда, куда хочет. Мы объяснили уже, что ее несет, словно порывом ветра. Она миновала Сен-Мерри и оказалась, сама хорошенько не зная каким образом, на улице Сен-Дени.

Книга двенадцатая

«Коринф»

Глава 1

История «Коринфа» со времени его основания

Нынешние парижане, входя на улицу Рамбюто со стороны Центрального рынка, замечают направо, против улицы Мондетур, лавку корзинщика, вывеской которому служит корзина, изображающая императора Наполеона Первого со следующей надписью:

НАПОЛЕОН ИЗ ИВЫ ЗДЕСЬ СПЛЕТЕН

Однако они нисколько не подозревают о тех страшных сценах, свидетелем которых был этот самый квартал каких-нибудь тридцать лет тому назад.

Именно здесь была улица Шанврери, которая в старину писалась Шанверери, и прославленный кабачок, именуемый «Коринфом».

Вспомним все, что говорилось о воздвигнутой в этом месте баррикаде, которую, впрочем, затмила баррикада Сен-Мерри. На эту-то замечательную баррикаду по улице Шанврери, теперь покрытую глубоким мраком забвения, мы и хотим пролить немного света.

Да будет нам дозволено для ясности рассказа прибегнуть к простому способу, уже примененному нами при описании Ватерлоо. Кто пожелал бы достаточно точно представить себе массивы домов, возвышавшихся в то время поблизости от церкви Сент-Эташ, в северо-восточном углу Центрального рынка, где сейчас начинается улица Рамбюто, должен лишь мысленно начертить букву N, взяв вершиной улицу Сен-Дени, а основанием – рынок; вертикальные ее черточки обозначали бы улицы Большую Бродяжную и Шанврери, а поперечина – улицу Малую Бродяжную. Старая улица Мондетур перерезала все три линии буквы N под самыми неожиданными углами. Таким образом, путанный лабиринт этих четырех улиц создавал на пространстве в сто квадратных туазов, между Центральным рынком и улицей Сен-Дени – с одной стороны, и улицами Лебязьей и Проповедников – с другой, семь маленьких кварталов причудливой формы, различной величины, расположенных вкривь и вкось, как бы случайно, и едва отделенных друг от друга узкими щелями, подобно каменным глыбам на стройке.

Мы говорим «узкими щелями», так как не можем дать более ясного понятия об этих темных улочках, тесных, коленчатых, окаймленных ветхими восьмиэтажными домами. Эти развалины были столь преклонного возраста, что на улицах Шанврери и Малой Бродяжной фасады подпирались рядом балок, тянувшихся от дома к дому. Улица была узкой, а сточная канава широкой, прохожие брели по вечно мокрой мостовой, пробираясь возле лавчонок, похожих на погребов, возле толстых каменных тумб с железными обручами, возле невыносимо зловонных мусорных куч и ворот с огромными вековыми решетками. Улица Рамбюто стерла все это.

Название Мондетур^[136] отлично передает извилистость всех этих улиц. Еще выразительнее говорит об этом название улицы *Пируэт*, примыкающей к улице Мондетур.

Прохожий, свернувший с улицы Сен-Дени на улицу Шанврери, видел, что она мало-помалу суживается перед ним, как если бы он вошел в удлиненную воронку. В конце этой коротенькой

улички он обнаруживал, что впереди со стороны Центрального рынка путь преграждает ряд высоких домов, и мог полагать, что попал в тупик, если бы не замечал направо и налево двух темных проходов, которыми он мог пробраться. Это и была улица Мондетур, одним концом соединявшаяся с улицей Проповедников, а другим – с улицами Лебяжьей и Малой Бродяжной. В глубине этого своего рода тупика, на углу правого прохода, стоял дом пониже остальных и выдававшийся на улицу наподобие мыса.

Именно в этом доме, только о двух этажах, бойко обосновался на целых три столетия знаменитый кабачок. Он наполнял шумным весельем то самое место, которое старик Теофиль отметил следующим двустишием:

Там качается страшный скелет,
То повесился бедный влюбленный.

Место для этого заведения было подходящее, кабатчики наследовали его от отца к сыну.

Во времена Матюрена Ренье кабачок назывался «Горшок роз», а так как тогда были в моде ребусы, то вывеску ему заменял столб, выкрашенный в розовый цвет^[137]. В прошлом столетии почтенный Натуар, один из причудливых живописцев, ныне презираемый чопорной школой, многократно напиваясь в этом кабачке за тем самым столом, где пил Ренье, из благодарности нарисовал на розовом столбе кисть коринфского винограда. Восхищенный кабатчик изменил свою вывеску и велел под этой кистью написать золотом «Коринфский виноград». Отсюда и название «Коринф». Для пьяниц нет ничего более естественного, чем пропустить слово. Пропуск слова – это извилина фразы. Название «Коринф» мало-помалу вытеснило «Горшок роз». Последний представитель династии кабатчиков, дядюшка Гюшлу, уже совершенно не зная предания, приказал выкрасить столб в синий цвет.

Зала внизу, где была стойка, зала на втором этаже, где был бильярд, узкая винтовая лестница, проходившая через потолок, вино на столах, копоть на стенах, свечи среди бела дня – вот что представлял собою кабачок. Лестница с люком в нижней зале вела в погреб. На третьем этаже жил сам Гюшлу. Туда поднимались по лестнице, скорее по лесенке, за незаметной дверью в большую залу второго этажа. Под крышей находились две чердачных каморки – приют служанок. Первый этаж делили между собой кухня и зала со стойкой.

Дядюшка Гюшлу, возможно, родился химиком, да вышел поваром; в его кабачке не только пили, но и ели. Гюшлу изобрел изумительное блюдо, которым можно было лакомиться только у него, а именно – фаршированных карпов, которых он называл *carpes au gras*^[138]. Их ели при свете сальной свечи или кенкетов времен Людовика XVI, за столами, где прибитая гвоздями клеенка заменяла скатерть. Сюда приходили издалека. В одно прекрасное утро Гюшлу счел уместным уведомить прохожих о своей «специальности»; он обмакнул кисть в горшок с черной краской, и так как у него была своя орфография, равно как и своя кухня, то он изобразил на стене следующую примечательную надпись:

Carpes ho gras.

Зиме, ливням и граду заблагорассудилось стереть букву s, которой кончалось первое слово, и g, которой начиналось третье, после чего осталось:

Carpe ho ras.

При помощи непогоды и дождя скромное гастрономическое извещение стало глубоко осмысленным советом.

Таким образом, оказалось, что, не зная французского, Гюшлу знал латинский, что кухня помогла ему создать философское изречение и, желая только затмить Карема, он сравнился с Горацием^[139]. Было поразительно и то, что сие изречение означало также: «Зайдите в мой кабачок».

Теперь от всего этого не осталось и следа. Лабиринт Мондетур был разворочен и широко открыт в 1847 году и, по всей вероятности, сейчас не существует. Улица Шанврери и «Коринф» исчезли под мостовой улицы Рамбюто.

Как мы упоминали, «Коринф» был местом встреч, если не сборным пунктом, для Курфейрака и его друзей. Открыл «Коринф» Грантэр. Он зашел туда, привлеченный надписью *Carpe ho gas*, и возвратился ради *carpes au gras*. Здесь пили, здесь ели, здесь кричали; мало ли платили, плохо ли платили, вовсе ли не платили – здесь всякого ожидал радушный прием. Дядюшка Гюшлу был добряк.

Да, Гюшлу был добряк, как мы сказали, но вместе с тем трактирщик-вояка – забавная разновидность. Казалось, он всегда пребывал в скверном настроении, он словно стремился застрашать своих клиентов, ворчал на посетителей и с виду был больше расположен затеять с ними ссору, чем подать им ужин. И тем не менее, мы подтверждаем это, здесь всякого ожидал радушный прием. Такая чудаковатость хозяина привлекала в его заведение посетителей и была приманкой для молодых людей, приглашавших туда друг друга со словами: «Ну-ка, пойдем послушаем, как дядюшка Гюшлу будет брюзжать». Когда-то он был учителем фехтования. Порою он вдруг раздражался оглушительным хохотом. У кого громкий голос, тот добрый малый. В сущности, это был шутник с мрачной внешностью; для него не было большего удовольствия, чем напугать; он напоминал табакерку в форме пистолета, выстрел из которой вызывает только чихание.

Его жена, тетушка Гюшлу, была бородатое и весьма безобразное создание.

В 1830 году Гюшлу умер. С ним исчезла тайна приготовления «скромных карпов». Его безутешная вдова продолжала вести дело. Но кухня ухудшилась и стала отвратительной; вино, которое всегда было скверным, стало ужасным. Курфейрак и его друзья продолжали, однако, ходить в «Коринф», – «из жалости», как говорил Боссюэ.

Одышка и безобразие не мешали вдове Гюшлу предаваться воспоминаниям о сельской жизни. Благодаря ее произношению они утрачивали слащавость. У нее была особенная манера выражаться, что придавало соль ее экскурсиям в свое деревенское и девическое прошлое. «В девушках слушаю, бывало, пташку-малиновку, как она заливается в кустах боярки, и ничего мне на свете больше не нужно», – рассказывала она.

Зала во втором этаже, где помещался «ресторан», представляла собой большую, длинную комнату, уставленную табуретками, скамеечками, стульями, длинными лавками и столами; в ней же стоял и старый, хромо́й бильярд. Туда поднимались по винтовой лестнице, кончавшейся в углу залы четырехугольной дырой, наподобие корабельного трапа.

Эта зала с одним-единственным узким окном освещалась всегда горевшим кенкетом и была похожа на чердак. Любая мебель, снабженная четырьмя ножками, вела себя в ней так, как будто была трехногой. Единственным украшением выбеленных известкой стен было следующее четверостишие в честь хозяйки Гюшлу:

В десяти шагах удивляет, а в двух пугает она.

В ее ноздре волосатой бородавка большая видна.
Ее встречая, дрожишь: вот-вот на тебя чихнет,
И нос ее крючковатый провалится в черный рот.

Это было написано углем на стене.

Госпожа Гюшлу, весьма сходная с портретом, изображенным в этих стихах, с утра до вечера совершенно невозмутимо ходила взад и вперед мимо них. Две служанки, Матлота и Жиблота, известные только под этими именами [\[140\]](#), помогали г-же Гюшлу ставить на столы кувшинчики с красным скверным вином и всевозможную бурду, подававшуюся голодным посетителям в глиняных мисках. Матлота, жирная, круглая, рыжая и крикливая, в свое время любимая султанша покойного Гюшлу, была безобразнее любого мифологического чудовища, но так как служанке всегда подобает уступать первое место своей хозяйке, то она и была менее безобразна, чем г-жа Гюшлу. Жиблота, долговязая, тощая, с лимфатической бледностью в лице, с синевой под глазами и всегда опущенными ресницами, изнуренная, изнемогающая, можно было бы сказать – пораженная хронической усталостью, вставала первой, ложилась последней, прислуживала всем, даже другой служанке, молча и кротко улыбаясь какой-то неопределенной усталой, сонной улыбкой.

У входа в залу кабачка взгляд посетителя останавливали на себе следующие строчки, написанные на дверях мелом рукой Курфейрака:

Коли можешь – угости,
Коли смеешь – сам поешь.

Глава 2

Чем закончилась веселая попойка

Легль из Мо, как известно, имел пребывание главным образом у Жоли. Он находил жилье так же, как птица, – на любой ветке. Оба друга жили вместе, ели вместе, спали вместе. Все у них было общим, даже отчасти Мюзикетта. Эти своеобразные близнецы никогда не расставались. Утром 5 июня они отправились завтракать в «Коринф». Жоли был простужен и гнусавил от сильного насморка, насморк начинался и у Легля. Сюртук у Легля был поношенный, Жоли был хорошо одет.

Было около девяти часов утра, когда они толкнулись в двери «Коринфа».

Они поднялись на второй этаж.

Их встретили Матлота и Жиблота.

– Устриц, сыру и ветчины, – приказал Легль.

Затем они уселись за стол.

В кабачке никого не было; они сидели только вдвоем.

Жиблота, узнав Жоли и Легля, поставила бутылку вина на стол.

Только они принялись за устриц, как чья-то голова появилась в лестничном трапе и чей-то голос произнес:

– Шел мимо. Почувствовал на улице восхитительный запах сыра бри. Зашел.

То был Грантэр.

Он взял табурет и уселся за стол.

Жиблота, увидев Грантэра, поставила две бутылки вина на стол.

Итого – три.

– Ты разве собираешься выпить обе бутылки? – спросил Легль у Грантэра.

– Тут все люди с умом, один ты недоумок, – ответил Грантэр. – Где это видано, чтобы две бутылки удивили мужчину?

Друзья начали с еды, Грантэр с вина. Полбутылки было живо опорожнено.

– Дыра у тебя в желудке, что ли? – спросил Легль.

– Дыра у тебя на локте, – ответил Грантэр. И, допив свой стакан, прибавил: – Да, да, Легль – орел надгробных речей, сюртук-то у тебя старенок.

– Надеюсь, что так, – ответствовал Легль. – У нас согласная домашняя жизнь, у моего сюртука и у меня. Он сам принял форму моего тела, нигде не жмет, прилегает к моей нескладной фигуре, снисходительно относится к моим движениям; я его чувствую только потому, что мне в нем тепло. Старое платье – что старые друзья.

– Вод эдо правда, – воскликнул Жоли, вступив в разговор, – сдарый сюрдук – все равдо что сдарый друг.

– Особенно в устах человека с насморком, – согласился Грантэр.

– Грантэр, – спросил Легль, – ты с бульвара?

– Нет.

– А мы с Жоли видели начало шествия.

– Чудесное зрелище, – сказал Жоли.

– А как спокойно на этой улице! – воскликнул Легль. – Кто бы подумал, что все в Париже вверх дном? Чувствуется и сейчас, что здесь когда-то были одни монастыри! Дю Брель и Соваль приводят их список, и аббат Лебеф также. Они тут были повсюду. Все так и кишело обутыми, разутыми, бритыми, бородатыми, серыми, черными, белыми францисканцами Франциска Ассизского, францисканцами Франциска де Поль, капуцинами, кармелитами, малыми августи́нцами, большими августи́нцами, старыми августи́нцами... Их расплодилось видимо-невидимо.

– Не будем говорить о монахах, – прервал Грантэр, – от этого хочется чесаться.

Потом он разразился:

– Брр! Я только что проглотил скверную устрицу. Гипохондри́я снова овладевает мной! Устрицы испорчены, служанки безобразны. Я ненавижу род людской. Сейчас я проходил по улице Ришелье мимо большой книжной лавки. Эта куча устричных раковин, именуемая библиотекой, отбивает у меня охоту мыслить. Сколько бумаги! Сколько чернил! Сколько мазни! И все это написано людьми! Какой же это плут сказал, что человек – двуногое без перьев? А потом я встретил одну знакомую хорошенькую девушку, прекрасную, как весна, достойную называться Флореалью, и она была в восхищении, в восторге, на седьмом небе от счастья, презренная, потому что вчера некий омерзительный банкир, рябой от оспы, удостоил пожелать ее! Увы! Женщина подстерегает и старого откупщика, и молодого щеголя; кошки охотятся и за мышами, и за птицами. Не прошло еще и двух месяцев, как эта мамзель вела благонравную жизнь в мансарде, она вставляла медные колечки в петельки корсета, или как это у них там называется. Она шила, спала на складной кровати, у нее был горшок с цветами, и она была счастлива. Теперь она банкирша. Это превращение произошло сегодня ночью. Я встретил жертву ныне утром развеселой. И всего омерзительней то, что бесстыдница сегодня была так же красива, как и вчера. Сделка с финансистом не отразилась на ее лице. Розы в том отношении лучше или хуже женщин, что следы, оставляемые на них гусеницами, заметны. Ах, нет более нравственности на земле! В свидетели я призываю мирт – символ любви, лавр – символ войны, оливу, эту глупышку, – символ мира, яблоню, которая промахнулась, не заставив Адама подавиться ее семечком, и смоковницу – эту прародительницу прекрасного пола. Вы говорите –

право? Хотите знать, что такое право? Галлы зарятся на Клузиум, Рим оказывает покровительство Клузиуму и спрашивает их, в чем же Клузиум виноват перед ними. Бренн отвечает: «В том же, в чем были виноваты перед вами Альба, Фидены, в чем виноваты эквы, вольски и сабиняне. Они были ваши соседи. Жители Клузиума – наши. Мы понимаем соседство так же, как вы. Вы захватили Альбу, мы берем Клузиум». Рим отвечает: «Вы не возьмете Клузиум».

Тогда Бренн взял Рим. После этого он вскричал: *Vae victis!* ^[141] Вот что такое право. Ах, сколько в этом мире хищных тварей! Сколько орлов! Прямо мороз по коже продирает!

Он протянул свой стакан, Жоли наполнил его, Грантэр выпил и продолжал, почти не прервав своих разглагольствований, – этот стакан вина словно и не был никем замечен, даже им самим:

– Бренн, завладевающий Римом, – орел; банкир, завладевающий гризеткой, – орел. Здесь не меньше бесстыдства, чем там. Так не будем же верить ничему. Истина – лишь в вине. Каково бы ни было наше мнение, будете ли вы за тощего петуха, вместе с кантоном Ури, или за петуха жирного, вместе с кантоном Гларис, – неважно, пейте. Вы спрашиваете меня о бульваре, шествии и прочем. Вот как! Значит, опять наклеывается революция? Меня удивляет такая скудость средств у господ бога. Ему то и дело приходится смазывать маслом пазы событий. Там цепляется, тут не идет. Живо, революцию! У господ бога руки всегда в этом скверном смазочном масле. На его месте я поступил бы проще: я бы не занимался каждую минуту починкой моей механики, я плавно вел бы человеческий род, нанизывал бы события, петля за петлей, не разрывая нити, мне бы не нужны были запасные средства, у меня не было бы экстренных постановок. То, что иные прочие называют прогрессом, преуспевает при помощи двух двигателей: людей и событий. Но как это ни печально, время от времени необходимо что-нибудь из ряда вон выходящее. Для событий, как и для людей, заурядного недостаточно: среди людей должны быть гении, а меж событий – революции. Чрезвычайные события – это закон; мировой порядок вещей не может обойтись без них; вот почему при появлении кометы нельзя удержаться от соблазнительной мысли, что само небо нуждается в актерах для своих театральных постановок. В ту минуту, когда этого меньше всего ожидают, бог вывешивает блуждающее светило на стене небесного свода. Появляется нежданно какая-то чудная звезда с огромным хвостом. И это служит причиной смерти Цезаря. Брут наносит ему удар кинжалом, а бог – кометой. Трах! – и вот северное сияние, вот – революция, вот – великий человек; девяносто третий год дается крупной прописью, с красной строки – Наполеон, наверху афиши – комета тысяча восемьсот одиннадцатого года. Ах, прекрасная голубая афиша, вся усеянная нежданными сверкающими звездами! Бум! бум! Редкое зрелище! Смотрите вверх, зеваки! Все тут в беспорядке – и светила, и пьеса. Бог мой, это чересчур, и вместе с тем этого недостаточно. Такие способы, применяемые в исключительных случаях, кричат о великолепии, но означают скудость. Друзья, провидение прибегает здесь к крайним средствам. Революция – что этим доказывается? Что господь исьяк. Он производит переворот, потому что налицо разрыв связи между настоящим и будущим и потому что он, бог, не мог связать концы с концами. Право, меня это утверждает в моих предположениях относительно материального положения Иеговы. Видя столько неблагополучия наверху и внизу, столько мелочности, скряжничества, скаредности и нужды в небесах и на земле, начиная с птицы, у которой нет ни зернышка проса, и кончая мной, у которого нет ста тысяч ливров годового дохода; видя нашу человеческую долю, даже долю королевскую, столь потертой – до самой веревочной основы, чему свидетель повесившийся принц Конде; видя зиму, являющуюся не чем иным, как прорехой в зените, откуда дует ветер; видя столько лохмотьев даже в совершенно свежем пурпуре утра, одевающим вершины холмов; видя капли росы – этот поддельный жемчуг; видя иней – этот стеклярус; видя

разлад среди человечества, и заплаты на событиях, и столько пятен на солнце, и столько трещин на луне, видя всюду столько нищеты, я подозреваю, что бог не богат. Правда, у него есть видимость богатства, но я чую тут безденежье. Под небесной позолотой я угадываю бедную вселенную. Он дает революцию, как банкир дает бал, когда у него пуста касса. Не следует судить о богах по одной видимости вещей. Все в их творениях говорит о несостоятельности. Вот почему я и недоволен. Смотрите, сегодня пятое июня, а почти темно; с самого утра я жду наступления дня, но его нет, и я держу пари, что он так и не наступит нынче. Это неаккуратность плохо оплачиваемого приказчика. Да, все скверно устроено, одно не прилажено к другому, старый мир совсем скособочился, я перехожу в оппозицию. Все идет кривь и кось; вселенная только дразнит. Все равно как детей: тем, которые чего-то хотят, ничего не дают, а тем, которые не хотят, дают. Словом, я сердит. Кроме того, меня огорчает вид этого плешивца Легля из Мо. Унизительно думать, что я в том же возрасте, как это голое колено. Впрочем, я критикую, но не оскорбляю. Мир таков, каков он есть. Я говорю без дурного умысла, а просто для очистки совести. Прими, отец предвечный, уверение в моем совершенном уважении. Ах, клянусь всеми святыми ученого Олимпа и всеми кумирами райка, я не был создан, чтобы стать парижанином, то есть чтобы всегда отскакивать, как мяч, между двух ракеток, от толпы бездельников к толпе буянов! Мне бы родиться турком, целый день созерцать глуповатых дочерей востока, исполняющих восхитительные танцы Египта, сладострастные, подобно сновидениям целомудренного человека, мне бы родиться босеронским крестьянином, или венецианским вельможей, окруженным прелестными синьоринами, или немецким князьком, поставляющим половину пехотинцев германскому союзу и посвящающим досуги сушке своих носков на плетне, то есть на границах собственных владений! Вот для чего я был предназначен! Да, я сказал, что рожден быть турком, и не отрекаюсь от этого. Не понимаю, почему обычно так плохо судят о турках; у Магомета есть кое-что и хорошее. Почет изобретателю сераля с гуриями и рая с одалисками! Не будем оскорблять магометанство – единственную религию, возвеличившую роль петуха в курятнике! Засим выпьем. Земной шар – неимоверная глупость. Похоже на правду, что они идут драться, все эти дураки, идут разбивать друг другу морды, резать друг друга, и когда же? – в разгар лета, в июне, когда можно отправиться с каким-нибудь милым созданием под руку в поле и вдохнуть полной грудью чайный запах необъятного моря скошенной травы! Нет, право, делается слишком много глупостей. Старый разбитый фонарь, который я только что заметил у торговца рухлядью, внушил мне такую мысль: пора просветить человеческий род! Увы, я снова печален! Вот что значит проглотить такую устрицу и пережить такую революцию. Я снова мрачнею. О, этот ужасный старый мир! Здесь силы напрягают, со службы увольняют, здесь унижают, здесь убивают, здесь ко всему привыкают!

После этого припадка красноречия Грантэр стал жертвой вполне им заслуженного приступа кашля.

– Кстати, о революции, – сказал Жоли, – виддо Бариус влюблед по-дастоящему.

– В кого, не знаешь? – спросил Легль.

– Дет.

– Нет?

– Я же тебе говорю – дет!

– Любовные истории Мариуса! – воскликнул Грантэр. – Я наперед знаю все. Мариус – туман, и он, наверное, нашел свое облачко. Мариус из породы поэтов. Поэт – значит безумец. *Timbroeus Apollo*^[142]. Мариус и его Мари, или его Мария, или его Мариетта, или его Марион, – должно быть, забавные влюбленные. Отлично представляю их роман. Тут такие восторги, что забывают о поцелуе. Они хранят целомудрие здесь, на земле, но соединяются в бесконечности. Это неземные души, но с земными чувствами. Они воздвигли себе ложе среди звезд.

Грантэр уже собрался приступить ко второй бутылке и, быть может, ко второй речи, как вдруг новая фигура вынырнула из квадратного отверстия люка. Появился мальчишка лет десяти, оборванный, очень маленький, желтый, с остреньким личиком, с живым взглядом, вихрастый, промокший под дождем, однако с виду вполне довольный.

Не колеблясь, он сразу сделал выбор между тремя собеседниками и, хотя не знал ни одного, обратился к Леглю из Мо.

– Не вы ли господин Боссюэ? – спросил он.

– Это мое уменьшительное имя, – ответил Легль. – Что тебе надо?

– Вот что. Какой-то высокий блондин на бульваре спросил меня: «Ты знаешь тетушку Гюшлу?» – «Да, – говорю я, – на улице Шанврери, вдова старика». Он и говорит: «Поди туда. Там ты найдешь господина Боссюэ и скажешь ему от моего имени: «Азбука». Он вас разыгрывает, что ли? Он дал мне десять су.

– Жоли, дай мне займы десять су, – сказал Легль, потом повернулся к Грантэру: – Грантэр, дай мне займы десять су.

Таким образом, составилось двадцать су, и Легль дал их мальчику.

– Благодарю вас, сударь, – сказал тот.

– Как тебя зовут? – спросил Легль.

– Наве. Я приятель Гавроша.

– Оставайся с нами, – сказал Легль.

– Позавтракай с нами, – сказал Грантэр.

– Не могу, – ответил мальчик, – я иду в процессии, ведь это я кричу: «Долой Полиньяка!»

И, скользнув одной ногой далеко назад, что является наиболее почтительным из всех возможных приветствий, он удалился.

Когда мальчик ушел, взял слово Грантэр:

– Вот это чистокровный гамен. Есть много разновидностей этой породы. Гамен-нотариус зовется попрыгуном, гамен-повар – котелком, гамен-булочник – колпачником, гамен-лакей – грумом, гамен-моряк – юнгой, гамен-солдат – барабанщиком, гамен-живописец – мазилкой, гамен-лавочник – мальчишкой на побегушках, гамен-царедворец – пажом, гамен-король – дофином, гамен-бог – младенцем.

Тем временем Легль размышлял, потом он сказал вполголоса:

– «Азбука» – иначе говоря, «Похороны Ламарка».

– А высокий блондин, – установил Грантэр, – это Анжольрас, уведомивший тебя.

– Пойдем? – спросил Боссюэ.

– Да улице дождь, – заметил Жоли. – Я поклялся идти в огодь, до де в воду. Я де хочу простудиться.

– Я остаюсь здесь, – сказал Грантэр. – Я предпочитаю завтрак похоронным дрогам.

– Короче, мы остаемся, – заключил Легль. – Отлично! Выпьем в таком случае. Тем более что можно пропустить похороны, не пропуская мятежа.

– А, батеж! Я за дего! – воскликнул Жоли.

Легль потер себе руки и сказал:

– Вот и взялись подправить революцию тысяча восемьсот тридцатого года! В самом деле, она жмет народу под мышками.

– Для меня она почти безразлична, ваша революция, – сказал Грантэр. – Я не питаю отвращения к нынешнему правительству. Это корона, украшенная ночным колпаком. Это скипетр, заканчивающийся дождевым зонтом. В самом деле, я думаю, что сегодня Луи-Филипп благодаря непогоде может воспользоваться своими королевскими атрибутами двояко: поднять скипетр против народа, а зонт – против дождя.

В зале стало темно, тяжелые тучи совсем заволокли небо. Ни в кабачке, ни на улице никого не было: все пошли «смотреть на события».

– Полдень сейчас или полночь? – вскричал Боссюэ. – Ничего решительно не видно. Жиблота, огня!

Грантэр мрачно продолжал пить.

– Анжольрас презирает меня, – бормотал он. – Анжольрас сказал: «Жоли болен, Грантэр пьян». И он послал Наве к Боссюэ, а не ко мне. А приди он за мной, я пошел бы с ним. Тем хуже для Анжольраса! Я не пойду на эти его похороны.

Приняв такое решение, Боссюэ, Жоли и Грантэр остались в кабачке. К двум часам дня стол, за которым они заседали, был уставлен пустыми бутылками. На нем горели две свечи, одна в медном, совершенно позеленевшем подсвечнике, другая в горлышке треснувшего графина. Грантэр пробудил в Жоли и Боссюэ вкус к вину; Боссюэ и Жоли помогли Грантэру вновь обрести веселое расположение духа.

Сам Грантэр после полудня уже бросил пить вино – этот незамысловатый источник мечты. У настоящих пьяниц вино пользуется только уважением, не больше. Что касается хмеля, то здесь существует черная и белая магия; вино всего лишь белая магия. Грантэр был великий охотник до зелья грез. Тьма опасного опьянения, приоткрывавшаяся ему, вместо того чтобы остановить, притягивала его. Он оставил рюмки и принялся за кружку. Кружка – это бездна. Не имея под рукой ни опиума, ни гашиша и желая затемнить сознание, он прибегнул к той ужасающей смеси водки, пива и абсента, которая вызывает страшное оцепенение. Три вида паров – пива, водки и абсента – ложатся на душу свинцовой тяжестью. Это тройной мрак; душа – этот небесный мотылек – тонет в нем; и в слоистом дыму, который, сгущаясь, принимает смутные очертания крыла летучей мыши, возникают три немые фигуры – Кошмар, Ночь, Смерть, парящие над заснувшей Психеей.

Грантэр еще не дошел до такого прискорбного состояния, отнюдь нет. Он был возмутительно весел, и Боссюэ и Жоли, чокаясь с ним, разделяли его веселье. Грантэр подчеркивал причудливость своих мыслей и слов непринужденностью движений. Важно опершись кулаком левой руки на колено и выставив вперед локоть, он сидел верхом на табурете, с развязавшимся галстуком, с полным стаканом вина в правой руке, и обращал к толстухе Матлоте следующие торжественные тирады:

– Да откроют ворота дворца! Да будут все академиками и да получают право обнимать мадам Гюшлу! Выпьем!

И, повернувшись к тетушке Гюшлу, он прибавил:

– О женщина, античная и древностью освященная, приблизься, дабы я созерцал тебя!

А Жоли кричал:

– Батлота и Жиблота, де давайте больше пить Градтэру. Од растратил субасшедшие дедьги. Од уже прожрал с сегоддяшнего утра с чудовищдой расточительдостью два фрадка девядосто пять садтибов!

А Грантэр снова вопиял:

– Кто же это без моего позволения сорвал с небосвода звезды и поставил их на стол под видом свечей?

Боссюэ, сильно упившийся, сохранял обычное спокойствие.

Он сидел на подоконнике открытого окна, подставив спину поливавшему его дождю, и взирал на своих друзей.

Внезапно он услышал позади какой-то смутный шум, быстрые шаги и крики: «К оружию!» Он обернулся и увидел на улице Сен-Дени, где кончалась улица Шанврери, Анжольраса, шедшего с карабином в руке, Гавроша с пистолетом, Фейи с саблей, Курфейрака со шпагой,

Жана Прувера с мушкетеном, Комбефера с ружьем, Баореля с ружьем и все вооруженное шумное сборище людей, следовавшее за ними.

Улица Шанврери в длину не превышала расстояния ружейного выстрела. Боссюэ, приставив ладони рупором ко рту, крикнул:

– Курфейрак, Курфейрак! Ого-го!

Курфейрак услышал призыв, заметил Боссюэ, сделал несколько шагов по улице Шанврери, и «Чего тебе надо?» Курфейрака скрестилось с «Куда ты идешь?» Боссюэ.

– Строить баррикаду, – ответил Курфейрак.

– Отлично, иди сюда! Место хорошее! Строй здесь!

– Правильно, Орел, – ответил Курфейрак.

И по знаку Курфейрака вся ватага устремилась на улицу Шанврери.

Глава 3

Ночь начинает опускаться на Грантэра

Место действительно было указано превосходно: улица с въезда была широкая, потом суживалась, превращаясь в глубине в тупик, где ее перехватывал «Коринф»; загородить улицу Мондетур справа и слева не представляло труда; таким образом, атака была возможна только с улицы Сен-Дени, то есть в лоб и по открытой местности. У пьяного Боссюэ был острый глаз трезвого Ганнибала.

При вторжении этого сборища страх охватил всю улицу. Не было ни одного прохожего, который не поспешил бы скрыться. С быстротой молнии по всей улице, направо, налево, заперлись лавочки, мастерские, подъезды, окна, жалюзи, мансарды, ставни всевозможных размеров, начиная с первого этажа до самой крыши. Какая-то перепуганная старуха, чтобы заглушить ружейную стрельбу, закрыла свое окно тюфяком, укрепив его при помощи двух жердей для сушки белья. Только кабачок оставался открытым, и по уважительной причине, ибо в него ворвалась толпа. «Боже мой! Боже мой!» – вздыхала тетушка Гюшлу.

Боссюэ сошел вниз, навстречу Курфейраку.

Жоли, высунувшись в окно, кричал:

– Курфейрак, почебу ты без зодтика, ты простудишься!

Тем временем в несколько минут из зарешеченных нижних окон кабачка было вырвано двадцать железных прутьев и разобрано десять туаз мостовой. Гаврош и Баорель остановили и опрокинули проезжавшие мимо роспуски некоего Ансо, торговца известью; на этих роспусках стояли три бочонка с известью, которые тут же были завалены гудами булыжника из развороченной мостовой. Анжольрас поднял дверцу погреба, и все пустые бочки вдовы Гюшлу отправились прикрывать с флангов эти бочонки с известью. Фейи, пальцы которого привыкли разрисовывать тонкие пластинки вееров, подпер бочки и роспуски двумя внушительными кучами щебня, появившегося внезапно, как и все остальное, и взятого неизвестно где. С фасада соседнего дома были сорваны подпиравшие его балки и положены на бочки. Когда Боссюэ и Курфейрак обернулись, половина улицы уже была перегорожена валом выше человеческого роста. Ничто не может сравниться с рукою народа, когда необходимо построить все то, что строят разрушая.

Матлота и Жиблота присоединились к работающим. Жиблота ходила взад и вперед, таская для строителей щебень. Ее равнодушная усталость пришла на помощь баррикаде. Она подавала булыжник, как подавала бы вино, – словно во сне.

В конце улицы показался омнибус, запряженный двумя белыми лошадьми.

Боссюэ перескочил через груды булыжника, побежал за ним, остановил кучера, заставил

выйти пассажиров, помог сойти «дамам», отпустил кондуктора и, взяв лошадей под уздцы, возвратился с экипажем к баррикаде.

– Омнибусы, – сказал он, – не проходят перед «Коринфом». Non licet omnibus adire Corinthum^[143].

Мгновение спустя распряженные лошади отправились куда глаза глядят по улице Мондетур, а омнибус, поваленный набок, довершил заграждение улицы.

Потрясенная тетушка Гюшлу укрылась во втором этаже.

Глаза ее блуждали, она смотрела на все невидящим взглядом и тихо подвывала. Вопль испуга словно не осмеливался вылететь из ее глотки.

– Светопреставление, – бормотала она.

Жоли запечатлел поцелуй на жирной, красной и морщинистой шее тетушки Гюшлу, сказав при этом Грантэру: «Здаешь, бой билый, жедская шея всегда была для бедя чеб-то бескодечдо изыскаддым».

Но Грантэр достиг высот дифирамбического красноречия. Он схватил за талию поднявшуюся во второй этаж Матлоту и раскатисто хохотал у открытого окна.

– Матлота безобразна! – кричал он. – Матлота – идеал безобразия. Матлота – химера. Тайна ее рождения такова: некий готический Пигмалион, делавший фигурные рыльца для водосточных труб на крышах соборов, в один прекрасный день влюбился в самое страшное из них. Он умолил Любовь одушевить его, и оно стало Матлотой. Взгляните на нее, граждане! У нее рыжие волосы, как у любовницы Тициана, и она славная девушка. Ручаюсь, что она будет драться хорошо. В каждой славной девушке сидит герой. А уж тетушка Гюшлу – та старый вояка. Посмотрите, что у нее за усы! Она их унаследовала от своего супруга. Женщина-гусар, вот она кто! Она тоже будет драться. Они вдвоем нагонят страху на все предместье. Товарищи, мы свалим правительство, это так же верно, как верно то, что существует пятнадцать промежуточных кислот между кислотой муравьиной и кислотой маргариновой. Впрочем, наплевать мне на это. Господа, отец всегда презирал меня за то, что я не понимал математику. Я понимаю только любовь и свободу. Я Грантэр – добрый малый! У меня никогда не бывает денег, я к ним не привык, а потому никогда в них и не нуждаюсь; но если бы я был богат, больше бы не осталось бедняков! Вы бы увидели! О, если бы у добрых людей была толстая мошна! Насколько все пошло бы лучше! Представляю себе Иисуса Христа с состоянием Ротшильда! Сколько бы добра он сделал! Матлота, поцелуй меня! Ты сладострастна и робка! Твои щечки жаждут сестринского поцелуя, а губки – поцелуя любовника!

– Замолчи, пивная бочка! – сказал Курфейрак.

– Я член муниципального совета Тулузы и магистр игр в честь Флоры там же! – ответил с важностью Грантэр.

Анжольрас, стоявший с ружьем в руке на гребне заграждения, поднял свое прекрасное строгое лицо. Анжольрас, как известно, был из породы спартанцев и пуритан. Он умер бы при Фермопилах вместе с Леонидом и сжег бы Дрохеду вместе с Кромвелем.

– Грантэр, – крикнул он, – пойди куда-нибудь, проспись. Здесь место опьянению, а не пьянству. Не позорь баррикаду!

Эти гневные слова произвели на Грантэра необычайное впечатление. Ему словно выплеснули стакан холодной воды в лицо. Он, казалось, сразу протрезвился, сел, облокотился на стол возле окна, с невыразимой кротостью взглянул на Анжольраса и сказал ему:

– Позволь мне поспать здесь.

– Ступай для этого в другое место! – крикнул Анжольрас.

Но Грантэр, не сводя с него нежного и мутного взгляда, ответил:

– Позволь мне тут поспать, пока я не умру.

Анжольрас презрительно взглянул на него.

– Грантэр, ты не способен ни верить, ни думать, ни хотеть, ни жить, ни умирать.

– Ты увидишь, – серьезно ответил Грантэр. Он пробормотал еще несколько невнятных слов, потом его голова тяжело упала на стол, и мгновение спустя он уже спал, что довольно обычно для второй стадии опьянения, к которой его сразу и резко подтолкнул Анжольрас.

Глава 4

Попытка утешить тетушку Гюшлу

Баорель, в восторге от баррикады, кричал:

– Вот улица и декольтирована! Любо смотреть!

Курфейрак, продолжая понемногу растаскивать кабачок, старался утешить вдову кабатчика:

– Тетушка Гюшлу, вы как будто жаловались, что полиция составила на вас протокол, когда Жиблота вытряхнула постельный коврик в окно?

– Да, да, дорогой господин Курфейрак. Ах, боже мой, неужели вы собираетесь втащить и столик на эту вашу ужасную штуку? А за коврик да за горшок с цветами, который вывалился из чердачной каморки на улицу, правительство взяло с меня сто франков штрафа. Подумайте, какая гнусность!

– Вот видите, тетушка Гюшлу, мы мстим за вас.

Но тетушка Гюшлу, кажется, не слишком понимала, какое благодеяние оказывают ей подобным возмещением убытков. Ей предлагали такое же удовлетворение, как той арабской женщине, которая, получив пощечину от мужа, пошла жаловаться своему отцу, требуя отмщения. «Отец, – сказала она, – ты должен воздать моему мужу оскорблением за оскорбление». Отец спросил: «В какую щеку он ударил тебя?» – «В левую». Отец ударил ее в правую и сказал: «Теперь ты можешь быть довольна. Поди скажи своему мужу, что если он дал пощечину моей дочери, то я дал пощечину его жене».

Дождь прекратился. Желающие драться прибывали. Рабочие принесли под блузами бочонок пороху, корзинку, наполненную бутылками с купоросом, два или три карнавальных факела и плетенку с плошками, оставшимися от праздника «тезоименитства короля», каковой состоялся совсем недавно, 1 мая. Говорили, что этими припасами снабдил их один лавочник из Сент-Антуанского предместья, некий Пепен. На улице Шанврери разбили единственный фонарь, затем стоящий против него фонарь на улице Сен-Дени и все фонари на окрестных улицах – Мондетур, Лебязьей, Проповедников, Большой и Малой Бродяжной.

Анжольрас, Комбефер и Курфейрак руководили всем. Одновременно строились две баррикады, обе опиравшиеся на «Коринф» и образовавшие прямой угол; большая замыкала улицу Шанврери, а другая – улицу Мондетур со стороны Лебязьей. Меньшая баррикада, очень узкая, была построена из одних бочек и булыжника. Здесь собралось около пятидесяти рабочих; тридцать из них были вооружены ружьями, так как по дороге они сделали внушительный «заем» в лавке оружейника.

Трудно представить себе что-либо более причудливое и пестрое, чем это сборище людей. Один был в куртке с кавалерийской саблей и двумя седельными пистолетами, другой в жилете, в круглой шляпе и с пороховницей на боку, третий был в нагруднике из девяти листов серой бумаги и вооружен шилом шорника. Был один, который кричал: «Истребим всех до последнего и умрем на острие наших штыков!» Как раз у него-то и не было штыка. У других поверх сюртука красовалась кожаная портупья и патронташ национальной гвардии, на крышке которого красной шерстью была вышита надпись: «Общественный порядок». Здесь было много

ружей с номерами легионов, мало шляп, полное отсутствие галстуков, много обнаженных рук, несколько пик. Прибавьте к этому все возрасты, все разнообразие лиц бледных подростков, загорелых портовых рабочих. Все торопились и, помогая друг другу, говорили о своей надежде на успех: о том, что к трем часам утра подойдет помощь, что можно рассчитывать на один из полков, что весь Париж поднимется. То были страшные слова, к которым примешивалось какое-то сердечное веселье. Эти люди казались братьями, но они даже не знали имен друг друга. Великая опасность прекрасна тем, что выявляет братство незнакомых.

На кухне развели огонь, и в формочке для отливки пуль плавил жбаны, ложки, вилки, все оловянное «серебро» кабачка. Тут же пили. На столах меж стаканов вина были рассыпаны капсюли и крупная дробь. В бильярдной тетушка Гюшлу, Матлота и Жиблота, по-разному изменившиеся от страха – одна отупев, другая запыхавшись, третья проснувшись, – рвали старые полотенца и щипали корпию; им помогали трое повстанцев – трое волосатых, бородатых и усаых молодцов, внушавших им ужас и раздиравших холст с ловкостью приказчиков из бельевого магазина.

Человек высокого роста, замеченный Курфейраком, Комбефером и Анжольрасом в ту минуту, когда он пристал к отряду на углу Щепной улицы, работал на малой баррикаде и оказался там полезным. Гаврош работал на большой. А молодой человек, который поджидал Курфейрака у него на дому и спрашивал про Мариуса, исчез незадолго до того, как опрокинули омнибус.

Гаврош, полный вдохновения, сияющий, взял на себя задачу пустить все дело в ход. Он сновал взад и вперед, поднимался вверх, спускался вниз, снова поднимался, шумел, сверкал радостью. Казалось, он явился сюда для того, чтобы всех подбадривать. Была ли у него для этого какая-нибудь побудительная причина? Да, конечно, – его нищета. Были ли у него крылья? Да, конечно, – его веселость. Это был какой-то вихрь. Гавроша видели непрерывно, его слышали непрестанно. Он как бы наполнял собою воздух, присутствуя одновременно всюду. То была своего рода вездесущность, почти раздражающая; он не давал передышки. Огромная баррикада чувствовала его на своем хребте. Он приставал к бездельникам, подстегивал ленивых, оживлял усталых, досаждал медлительным, веселил одних, вдохновлял других, сердил третьих, всех расшевеливал, жалил студента, язвил рабочего; он останавливался, присаживался, снова убегал, носился над всей этой суматохой и работой, прыгал от одних к другим, жужжал, звенел и изводил всю упряжку – настоящая муха, суетившаяся возле исполинской колесницы Революции.

Его маленькие руки действовали без устали, а маленькое горло неустанно исторгало крики: – Смелей! Давай еще булыжника! Еще бочек! Еще какую-нибудь штуку! Где бы ее взять? Вали сюда корзинку со щебнем, заткнем эту дыру. Она совсем маленькая, ваша баррикада. Ей надо подрасти. Бросай в нее все, швыряй в нее все, втыкай в нее все! Ломайте дом. Баррикада – это крошка из всякой крошки. Глянь-ка, вон застекленная дверь!

Один из работавших воскликнул:

– Застекленная дверь! На что она, по-твоему, нужна, пузырь?

– Подумаешь, сам богатырь! – отпарировал Гаврош. – Застекленная дверь на баррикаде – превосходная вещь! Атаковать баррикаду она не мешает, а взять помешает. Разве вам никогда не приходилось воровать яблоки и перелезать через стену, где понатыкано доньшек от бутылок? Стекланная дверь! Да она срежет все мозоли на ногах национальной гвардии, когда та полезет на баррикаду. Черт побери, со стеклом не шутите! Эх, плохо вы соображаете, приятели!

Впрочем, он был взбешен своим пистолетом без собачки. Он ходил от одного к другому и требовал: «Ружье, давайте ружье! Почему мне не дают ружья?»

– Ружье, тебе? – удивился Комбефер.

– Вот те на? – возмутился Гаврош. – А почему бы нет? Было ведь у меня ружье в тысяча

восемьсот тридцатом году, когда поспорили с Карлом Десятым.

Анжольрас пожал плечами.

– Когда ружей хватит для мужчин, тогда их дадут детям.

Гаврош гордо повернулся к нему и объявил:

– Если тебя убьют раньше меня, я возьму твое.

– Мальчишка! – крикнул Анжольрас.

– Молокосос! – не остался в долгу Гаврош. Заблудившийся щеголь, бродивший в конце улицы, отвлек его внимание. Гаврош крикнул: – Идите к нам, молодой человек! Как насчет нашей старушки родины? Неужели нет желанья ей помочь?

Щеголь поспешно скрылся.

Глава 5

Подготовка

Газеты того времени, сообщавшие, что баррикада на улице Шанврери, «сооружение почти неодолимое», достигала уровня второго этажа, заблуждались. На деле она была в среднем не выше шести-семи футов. Ее построили с таким расчетом, чтобы сражавшиеся могли по своему желанию или исчезать за нею, или показываться над заграждением и даже взбираться на верхушку его при помощи четырех рядов камней, положенных друг на друга и образующих с внутренней стороны ступени. Сложенная из куч булыжника, из бочек, укрепленных балками и досками, концы которых были просунуты в колеса роспусков Ансо и опрокинутого омнибуса, баррикада словно ошетичилась и снаружи, с фронта, казалась неприступной.

Между стеной дома и наиболее отдаленным от кабачка краем баррикады была оставлена щель, достаточная для того, чтобы сквозь нее мог пройти человек, – таким образом, возможен был выход. Дышло омнибуса поставили стоймя и привязали веревками; красное знамя, прикрепленное к этому дышлу, реяло над баррикадой.

Малая баррикада Мондетур, скрытая позади кабачка, была незаметна. Обе соединенные баррикады представляли собой настоящий редут. Анжольрас и Курфейрак не сочли нужным забаррикадировать другой конец улицы Мондетур, открывавший через улицу Проповедников выход к Центральному рынку, без сомнения желая сохранить возможность общаться с внешним миром и не слишком страшась нападения со стороны опасной и труднопроходимой улицы Проповедников.

Таким образом, если не считать этого выхода, который Фолар на своем военном языке назвал бы «коленом траншеи», а также узкой щели, оставленной на улице Шанврери, внутренность баррикады, где кабачок образовывал резко выступавший угол, представляла собой неправильный четырехугольник, закрытый со всех сторон. Между большим заграждением и высокими домами, расположенными в глубине улицы, имелся промежуток шагов в двадцать, таким образом, баррикада, можно сказать, прикрывала свой тыл этими, хотя и населенными, но запертыми сверху донизу домами.

Вся работа была произведена без помехи меньше чем за час; перед горсточкой этих смелых людей ни разу не появилась ни меховая шапка гвардейца, ни штык. Изредка попадавшиеся буржуа, которые еще отваживались пройти по улице Сен-Дени, ускоряли шаг, взглянув на улицу Шанврери и заметив баррикаду.

Как только были закончены обе баррикады и водружено знамя, из кабачка вытащили стол, на который тут же взобрался Курфейрак. Анжольрас принес квадратный ящик, и Курфейрак открыл его. Ящик был наполнен патронами. Среди самых храбрых, когда они увидели патроны, пробежал трепет, и на мгновение воцарилась тишина.

Курфейрак раздавал их, улыбаясь.

Каждый получил тридцать патронов. У многих повстанцев был порох, и они принялись изготавливать новые патроны, забивая в них отлитые пули. Что касается бочонка пороха, то он стоял в сторонке на столе возле дверей, и его не тронули, оставив про запас.

Сигналы боевой тревоги, разносившиеся по всему Парижу, все не умолкали, но, превратясь в конце концов в какой-то однообразный шум, уже более не привлекали внимания. Этот шум то отдалялся, то приближался с заунывными раскатами.

Все одновременно, не спеша, с торжественной важностью, зарядили ружья и карабины. Анжольрас расставил перед баррикадами трех часовых – одного на улице Шанврери, другого на улице Проповедников, третьего на углу Малой Бродяжной.

А когда баррикады были построены, места назначены, ружья заряжены, дозоры поставлены, тогда одни на этих страшных безлюдных улицах, одни среди безмолвных и словно мертвых домов, в которых не ощущалось никаких признаков человеческой жизни, окутанные нараставшими тенями сумерек, оторванные от всего мира, в этой тьме и в этом молчании, где чувствовалось приближение чего-то трагического и ужасающего, повстанцы, полные решимости, вооруженные, спокойные, стали ждать.

Глава 6

В ожидании

Что делали они в эти часы ожидания?

Нам следует рассказать об этом, ибо это принадлежит истории.

Пока мужчины изготавливали патроны, а женщины корпию, пока широкая кастрюля, предназначенная для отливки пуль, полная расплавленного олова и свинца, дымилась на раскаленной жаровне, пока дозорные с оружием в руках наблюдали за баррикадой, а Анжольрас, которого ничем нельзя было отвлечь, наблюдал за дозорами, Комбефер, Курфейрак, Жан Прувер, Фейи, Боссюз, Жоли, Баорель и некоторые другие отыскиали друг друга и собрались вместе, как в самые мирные дни студенческой дружбы. В уголке кабачка, превращенного в каземат, в двух шагах от воздвигнутого ими редута, прислонив заряженные и приготовленные карабины к спинкам своих стульев, эти прекрасные молодые люди на пороге смертного часа начали читать любовные стихи.

Какие стихи? Вот они:

Ты помнишь ту пленительную пору,
Когда клокочет молодостью кровь
И жизнь идет не под гору, а в гору, —
Костюм поношен, но свежа любовь?

Мы не могли начислить даже сорок,
К твоим годам прибавив возраст мой.
А как нам был уютен укромный дорог,
Где и зима казалась нам весной!

Наш Манюэль тогда был на вершине,
Париж святое правил торжество,
Фуа гремел, и я храню доныне
Булавку из корсажа твоего.

Ты всех пленяла. Адвокат без дела,
Тебя водил я в Прадо на обед.
И даже роза в цветниках бледнела,
Завистливо косясь тебе вослед.

Цветы шептались: «Боже, как прелестна!
Какой румянец! А волос волна!
Иль это ангел низошел небесный,
Иль воплотилась в девушку весна?»

И мы, бывало, под руку гуляем,
И нам в лицо глядят с улыбкой все,
Как бы дивясь, что рядом с юным маем
Апрель явился в праздничной красе.

Все было нам так сладостно, так ново!
Любовь, любовь! Запретный плод и цвет!
Бывало, молвить не успею слово,
Уже мне сердцем ты даешь ответ.

В Сорбонне был приют мой безмятежный,
Где о тебе всечасно я мечтал,
Где пленным сердцем карту Страсти нежной
Я перенес в студенческий квартал.

И каждый день заря нас пробуждала
В душистом нашем, свежем уголке.
Надев чулки, ты ножками болтала,
Звезда любви – на нищем чердаке!

В те дни я был поклонником Платона,
Мальбранш и Ламенне владели мной.
Ты, приходя с букетом, как мадонна,
Сияла мне небесной красотой.

О, наш чердак! Мы, как жрецы, умели
Друг другу в жертву приносить сердца!
Как по утрам, в сорочке встав с постели,
Ты в зеркальце гляделась без конца!

Забуду ли те клятвы, те обьятья,
Восходом озаренный небосклон,
Цветы и ленты, газовое платье,
Речей любви пленительный жаргон!

Считали садом мы горшок с тюльпаном,

Окну служила юбка вместо штор,
Но я, простым довольствуясь стаканом,
Тебе японский подносил фарфор.

И смехом все трагедии кончались:
Рукав сожженный иль пропавший плед!
Однажды мы с Шекспиром распрощались,
Продав портрет, чтоб раздобыть обед.

И каждый день мы новым счастьем пьяны,
И поцелуям новый счет я вел.
Смеясь, уничтожали мы каштаны,
Огромный Данте заменял нам стол.

Когда впервые, уловив мгновенье,
Твой поцелуй ответный я сорвал,
И, раскрасневшись, ты ушла в смятение, —
Как, побледнев, я небо призывал!

Ты помнишь эти радости, печали,
Разорванных косынок лоскуты,
Ты помнишь все, чем жили, чем дышали,
Весь этот мир, все счастье — помнишь ты?

Час, место, ожившие воспоминания юности, редкие звезды, загоравшиеся в небе, кладбищенская тишина пустынных улиц, неизбежность неумолимо надвигающихся событий — все придавало волнующее очарование этим стихам, прочитанным вполголоса в сумерках Жаном Прувером, который, — мы упоминали о нем, — был нежным поэтом.

Тем временем зажгли плошку на малой баррикаде, а на большой — один из тех восковых факелов, которые на Масленице можно увидеть впереди колясок с ряжеными, отправляющимися в Куртиль. Эти факелы, как мы знаем, доставили из Сент-Антуанского предместья.

Факел был помещен в своего рода клетку из булыжника, закрытую с трех сторон для защиты его от ветра, и установлен таким образом, что весь свет падал на знамя. Улица и баррикада оставались погруженными в тьму, и было видно только красное знамя, грозно освещенное как бы огромным потайным фонарем.

Этот свет придавал багрецу знамени какой-то зловещий кровавый отблеск.

Глава 7

Человек, завербованный на Щепной улице

Уже совсем наступила ночь, а все оставалось по-прежнему. Слышался только смутный гул, порой ружейная стрельба, но редкая, прерывистая и отдаленная. Затянувшаяся передышка свидетельствовала о том, что правительство стягивает свои силы. На баррикаде пятьдесят человек ожидали шестидесяти тысяч.

Анжольрасом овладело нетерпение, испытываемое сильными душами на пороге опасных

событий. Он пошел за Гаврошем, который занялся изготовлением патронов в нижней зале при неверном свете двух свечей, поставленных из предосторожности на прилавок, так как на столах был рассыпан порох. На улицу от этих двух свечей не проникало ни одного луча света. Повстанцы позаботились также о том, чтобы не зажигали огня в верхних этажах.

В эту минуту Гаврош был очень занят, и отнюдь не одними своими патронами. Только что в нижнюю залу вошел человек со Щепной улицы и уселся за наименее освещенный стол. На снаряжение ему досталось солдатское ружье крупного калибра, которое он поставил между колен. До сих пор Гаврош, отвлеченный множеством «занятных» вещей, даже не замечал этого человека.

Когда он вошел, Гаврош, восхитившись его ружьем, машинально проводил его взглядом, потом, когда человек сел, мальчишка вновь вскочил со своего места. Тот, кто проследил бы за ним до этого мгновения, заметил бы, что человек со Щепной улицы внимательно наблюдал решительно за всем происходившим на баррикаде и в отряде повстанцев; но, едва войдя в залу, он погрузился в какую-то сосредоточенную задумчивость и, казалось, перестал замечать окружающее. Мальчик подошел к этому задумавшемуся человеку и начал вертеться вокруг него на цыпочках, как это делают, когда боятся кого-нибудь разбудить. В то же время на его детском лице, одновременно дерзком и рассудительном, легкомысленном и серьезном, веселом и скорбном, замелькали одна за другой все те выразительные стариковские гримасы, которые обозначают: «Вздор! Не может быть! Мне померещилось! Разве это не... Нет, не он! Конечно, он! Да нет же!» и т. д. Гаврош раскачивался на пятках, сжимал кулаки в карманах, вытягивал шею, как птица, и выпячивал нижнюю губу – свидетельство того, что он пустил в ход всю свою проницательность. Он был озадачен, нерешителен, неуверен, убежден, восхищен. Ужимками своими он напоминал начальника евнухов, отыскавшего на невольничьем рынке среди дебелых бабищ Венеру, или знатока, распознавшего среди бездарной мазни картину Рафаэля. Все в нем пришло в движение: инстинкт его что-то учуял, ум его что-то сопоставлял. Было очевидно, что Гаврош натолкнулся на важное открытие.

В самый разгар его усиленных размышлений к нему и подошел Анжольрас.

– Ты маленький, – сказал Анжольрас, – тебя не заметят. Выйди за баррикаду, прошмыгни вдоль домов, пошатайся немножко по улицам, потом вернешься и расскажешь мне, что там происходит.

Гаврош выпрямился.

– Значит, и маленькие на что-нибудь годятся! Очень приятно! Иду. А покамест доверяйте маленьким и не доверяйте большим... – Затем, подняв голову и понизив голос, Гаврош прибавил, показав на человека со Щепной улицы: – Вы хорошо видите этого верзилу?

– Ну и что же?

– Это сыщик.

– Ты уверен?

– Не прошло и двух недель, как он стащил меня за ухо с карниза Королевского моста, где я уселся подышать свежим воздухом.

Анжольрас быстро отошел от мальчика и тихо прошептал несколько слов оказавшемуся здесь портовому рабочему. Тот вышел из залы и почти тотчас вернулся обратно в сопровождении трех товарищей. Четверо мужчин, четыре широкоплечих грузчика, незаметно встали позади стола, на который облокотился человек со Щепной улицы, явно готовые броситься на него.

Тогда Анжольрас подошел к нему и спросил:

– Кто вы такой?

При этом неожиданном вопросе человек вздрогнул. Пристально взглянув в ясные глаза

Анжольраса, он в их глубине, казалось, прочел его мысль. Он улыбнулся самой презрительной, самой смелой и решительной улыбкой, какую только можно вообразить, и ответил с высокомерной важностью:

- Я вижу, что... Ну да!
- Вы сыщик?
- Я представитель власти.
- Ваше имя?
- Жавер.

Анжольрас сделал знак четверем рабочим. В мгновение ока, прежде чем Жавер успел обернуться, он был схвачен за шиворот, опрокинут на землю, связан, обыскан.

У него нашли маленькую круглую карточку, вделанную между двух стекол, с гербом Франции и оттиснутой вокруг надписью: «Надзор и Бдительность» на одной стороне, а на другой – «ЖАВЕР, полицейский надзиратель, пятидесяти двух лет» и подпись тогдашнего префекта полиции Жиске.

Кроме того, у него были обнаружены часы и кошелек с несколькими золотыми монетами. Кошелек и часы ему оставили. Под часами, в глубине жилетного кармана, нащупали и извлекли вложенный в конверт листок бумаги. Развернув его, Анжольрас прочел пять строк, написанных рукой того же префекта полиции:

«Выполнив свою политическую задачу, полицейский надзиратель Жавер должен удостовериться особым розыском, действительно ли замечены следы злоумышленников на откосе правого берега Сены, возле Иенского моста».

Окончив обыск, Жавера поставили на ноги и, скрутив ему руки за спиной, привязали к тому знаменитому столбу, стоящему посредине нижней залы, который некогда дал название кабачку.

Гаврош, присутствовавший при этой сцене, вынес всему свое молчаливое одобрение кивком головы, потом подошел к Жаверу и сказал ему:

- Вот мышь и поймала кота.

Все было выполнено столь быстро, что, когда об этом узнали люди, толпившиеся возле кабачка, дело было кончено. Жавер ни разу не крикнул. Услышав, что Жавер привязан к столбу, Курфейрак, Боссюэ, Жоли, Комбедер и повстанцы с обеих баррикад сбежались в нижнюю залу.

Жавер, стоявший у столба и так оплетенный веревками, что не мог пошевелинуться, поднял голову с неустрашимым спокойствием никогда не лгавшего человека.

– Это сыщик, – сказал Анжольрас. – И, обернувшись к Жаверу, добавил: – Вас расстреляют за десять минут до того, как баррикада будет взята.

В ответ Жавер высокомерным тоном спросил:

- Почему же не сейчас?
- Мы бережем порох.
- В таком случае прикончите меня ударом ножа.
- Шпион, – ответил красавец Анжольрас, – мы судьи, а не убийцы.

Затем он позвал Гавроша:

- Ну, а ты отправляйся по своим делам! Выполни, что я тебе сказал.
- Иду, – крикнул Гаврош.

И уже на пороге, на минутку задержавшись, сказал:

– Кстати, вы мне отдадите его ружье! – И прибавил: – Я оставляю вам музыканта, но хочу получить кларнет.

Мальчик отдал честь по-военному и весело проскользнул в проход большой баррикады.

Глава 8

Несколько вопросительных знаков по поводу некоего Кабюка, который, быть может, и не именовался Кабюком

Трагическое описание, предпринятое нами, не было бы полным, и читатель не увидел бы во всей их строгой и жизненной выразительности эти великие часы рождения революции, часы высоких социальных усилий, сопряженных с мучительными судорогами, если бы мы опустили в начатом здесь наброске исполненный эпического и дикого ужаса случай, последовавший тотчас после ухода Гавроша.

Скопища людей, как известно, подобны снежному кому; катясь вперед, они обрастают шумной человеческой массой, в которой не спрашивают, кто откуда пришел. Среди прохожих, присоединившихся к сборищу, руководимому Анжольрасом, Комбефером и Курфейраком, находился некто, одетый в потертую на спине куртку грузчика; он размахивал руками, вопил и был похож на буйного пьяницу. Этот человек, именовавшийся или принявший имя Кабюк, по сути совершенно неизвестный тем, которые утверждали, будто его знают, сильно подвыпивший или притворявшийся пьяным, сидел с несколькими повстанцами за столом, который они вытащили из кабачка. Этот Кабюк, приставая с угощением к тем, кто отказывался пить, казалось, в то же время внимательно оглядывал большой дом в глубине баррикады, пять этажей которого возвышались над всей улицей и глядели в сторону Сен-Дени. Внезапно он вскричал:

– Товарищи, знаете что? Вон из какого дома нам следует стрелять. Если мы там засядем за окнами, тогда – черта с два! – никто не пройдет по улице!

– Да, но дом заперт, – сказал один из его собутыльников.

– А мы постучимся.

– Не откроют.

– Высадим дверь!

Тут Кабюк бежит к двери, возле которой висит весьма увесистый молоток, и стучится. Дверь не открывают. Он стучит во второй раз. Никто не отвечает. Третий раз. То же молчание.

– Есть тут кто-нибудь? – кричит Кабюк.

Никаких признаков жизни.

Тогда он хватает ружье и начинает бить в дверь прикладом. Дверь была старинная, сводчатая, низкая, узкая, крепкая, из цельного дуба, обитая изнутри листовым железом, с железной оковкой, – настоящая потайная дверь крепости. Дом задрожал от ударов, но дверь не поддавалась.

Тем не менее жильцы дома, вероятно, встревожились: на третьем этаже осветилось и открылось, наконец, слуховое квадратное оконце. В оконце показалась свеча и благообразное испуганное лицо седовласого старика привратника.

Кабюк перестал стучать.

– Что вам угодно, господа? – спросил привратник.

– Отворяй! – потребовал Кабюк.

– Господа, это невозможно.

– Отворяй сейчас же.

– Нельзя, господа!

Кабюк взял ружье и прицелился в привратника, но так как он стоял внизу и было очень темно, то привратник этого не видел.

– Ты отворишь? Да или нет?

– Нет, господа!

– Ты говоришь – нет?

– Я говорю – нет, милостивые...

Привратник не договорил. Раздался выстрел; пуля ударила ему под подбородок и вышла сквозь затылок, пронизав шейную вену. Старик свалился без единого стога. Свеча упала и потухла, и ничего больше нельзя было различить, кроме неподвижной головы, лежавшей на краю оконца, и беловатого дыма, поднимавшегося к крыше.

– Так! – сказал Кабюк, опустив ружье прикладом на мостовую.

Едва он произнес это слово, как почувствовал чью-то руку, взявшую его за плечо со всей мощью орлиной хватки, и услышал голос:

– На колени.

Убийца обернулся и увидел перед собой бледное и холодное лицо Анжольраса. Анжольрас держал в руке пистолет.

Он пришел на звук выстрела.

Левой рукой он схватил ворот блузы, рубаху и подтяжки Кабюка.

– На колени, – повторил он.

И властным движением согнув, как тростинку, коренастого, здоровенного крючника, хрупкий двадцатилетний юноша поставил его на колени в грязь. Кабюк пытался сопротивляться, но, казалось, был схвачен рукой сверхчеловеческой силы.

Бледный, с обнаженной шеей и разметавшимися волосами, Анжольрас женственным своим лицом напоминал в эту минуту античную Фемиду. Раздувавшиеся ноздри и опущенные глаза придавали его строгому греческому профилю то выражение неумолимого гнева и чистоты, которое, в представлении Древнего мира, подобает правосудию.

Сбежавшиеся с баррикады люди стали поодаль, чувствуя невозможность произнести хотя бы слово перед тем, что им предстояло увидеть.

Побежденный Кабюк не пытался больше отбиваться и дрожал всем телом. Анжольрас отпустил его и вынул часы.

– Соберись с силами, – сказал он. – Молись или размышляй. У тебя осталась одна минута.

– Пощадите! – пролепетал убийца; потом он опустил голову и пробормотал несколько невнятных ругательств.

Анжольрас не сводил глаз с часовой стрелки; выждав минуту, он сунул часы в карман. Потом, схватив за волосы Кабюка, который, скорчившись и завывая, жался к его коленям, он приблизил к его уху дуло пистолета. Многие из этих отважных людей, так спокойно отправившихся на самое рискованное и страшное предприятие, отвернулись.

Раздался выстрел, убийца упал ничком на мостовую, Анжольрас выпрямился и оглядел всех уверенным и строгим взглядом.

Потом он толкнул ногою труп и сказал:

– Выбросьте это вон.

Три человека подняли тело негодяя, еще дергавшееся в последних произвольных судорогах уходящей жизни, и перебросили его через малую баррикаду на улицу Мондетур.

Анжольрас стоял задумавшись. Выражение какого-то мрачного величия медленно проступало на его грозном и спокойном челе. Вдруг он заговорил. Все затихли.

– Граждане, – сказал Анжольрас, – то, что сделал этот человек, гнусно, а то, что сделал я, – ужасно. Он убил, и вот почему я убил его. Я обязан был так поступить, ибо у восстания должна быть своя дисциплина. Убийство здесь – большее преступление, чем где бы то ни было: на нас взирает революция, мы жрецы Республики, мы священные жертвы долга, и не следует давать другим повод оклеветать нашу борьбу. Поэтому я осудил этого человека и приговорил его к смерти. Принужденный сделать то, что я сделал, хотя и чувствовал к этому отвращение, я

осудил также и себя, и вы скоро увидите, к чему я себя приговорил.

Слушавшие содрогнулись.

– Мы разделим твою участь! – крикнул Комбефер.

– Пусть так, – ответил Анжольрас. – Еще одно слово. Казнив этого человека, я повиновался необходимости, но необходимость – чудовище старого мира; там необходимость называлась Роком. Закон же прогресса в том, что чудовища рассеиваются перед лицом ангелов и Рок исчезает перед лицом Братства. Сейчас не время для слова «любовь». И все же я его произношу, и я прославляю его. Любовь – тебе будущее! Смерть, я прибегнул к тебе, но я тебя ненавижу! Граждане, в грядущем не будет ни мрака, ни неожиданных потрясений, ни свирепого невежества, ни кровавого возмездия. Так же как не будет больше Сатаны, не будет больше и Михаила Архангела. В грядущем никто не станет никого убивать, земля будет сиять, род человеческий – любить. Граждане, он придет, тот день, когда все станет согласием, гармонией, светом, радостью и жизнью, он придет! И вот, для того чтобы он пришел, мы идем на смерть.

Анжольрас умолк. Его целомудренные уста сомкнулись; неподвижно, точно мраморное изваяние, стоял он на том самом месте, где пролил кровь. Его застывший взгляд принуждал окружающих говорить вполголоса.

Жан Прувер и Комбефер молча сжимали друг другу руки и, прислонившись один к другому в углу баррикады, с восторгом, к которому примешивалось сострадание, смотрели на строгое лицо этого юноши, палача и жреца, светлого, как кристалл, и твердого, как скала.

Скажем тут же, что позднее, после боя, когда трупы были доставлены в морг и обысканы, у Кабюка нашли карточку полицейского агента. Автор этой книги располагал в 1848 году особым рапортом, представленным по этому поводу префекту полиции в 1832 году.

Добавим также, что, если верить странному, но, вероятно, обоснованному полицейскому преданию, Кабюк был не кто иной, как Звенигрош. Во всяком случае, после смерти Кабюка больше никто не слышал о Звенигроше. Исчезнув, Звенигрош не оставил за собой никакого следа; казалось, он слился с невидимым. Его жизнь была мраком, его конец – тьмою.

Весь повстанческий отряд был еще под впечатлением этого трагического судебного дела, столь быстро расследованного и быстро законченного, когда Курфейрак снова увидел на баррикаде невысокого молодого человека, который утром спрашивал у него про Мариуса.

Этот юноша, смелый и беззаботный на вид, с наступлением ночи вернулся, чтобы вновь присоединиться к повстанцам.

Книга тринадцатая

Мариус уходит во мрак

Глава 1

От улицы Плюме до квартала Сен-Дени

Голос в сумерках, позвавший Мариуса на баррикаду улицы Шанврери, показался ему голосом рока. Он хотел умереть, и ему представился к этому случай; он стучался в ворота гробницы, и рука во тьме протягивала ему ключ от них. Зловещий выход, открывающийся во мраке отчаянию, всегда полон соблазна. Мариус раздвинул прутья решетки, столько раз пропускавшей его, вышел из сада и сказал: «Пойдем!»

Обезумев от горя, не в силах принять какое-либо твердое решение, неспособный отныне согласиться ни с чем, что предложила бы ему судьба после этих двух месяцев опьянения молодостью и любовью, одолеваемый самыми мрачными мыслями, какие только может внушить отчаяние, он хотел лишь одного – скорее покончить с жизнью.

Он пошел быстрым шагом. У него были при себе пистолеты Жавера, таким образом, он оказался вооруженным.

Молодой человек, которого он мельком увидел, скрылся из виду где-то на повороте улицы.

Мариус, выйдя с улицы Плюме бульваром, пересек эспланаду и мост Инвалидов, Елисейские поля, площадь Людовика XV и очутился на улице Риволи. Здесь магазины были открыты, под аркадами горел газ, женщины делали покупки в лавках; в кафе «Летер» ели мороженое, а в английской кондитерской – пирожки. Лишь несколько почтовых карет пронеслись галопом, выехав из гостиниц «Пренс» и «Мерис».

Через пассаж Делорм Мариус вышел на улицу Сент-Оноре. Здесь лавки были заперты, торговцы переговаривались у полуотворенных дверей, по тротуарам сновали прохожие, фонари были зажжены, все окна, начиная со второго этажа, были освещены, как обычно. На площади Пале-Рояль стояла кавалерия.

Мариус пошел по улице Сент-Оноре. По мере того как он удалялся от площади Пале-Рояль, освещенных окон попадалось все меньше, лавки были наглухо закрыты, на порогах домов никто не переговаривался, улица становилась все темнее, а толпа людей все гуще, ибо прохожие теперь собирались толпой. В этой толпе никто как будто не произносил ни слова, и, однако, оттуда доносилось глухое, низкое гудение.

По дороге к фонтану Арбр-Сэк попадались «сборища» – неподвижные и мрачные группы людей, которые среди прохожих напоминали камни в потоке воды.

У въезда на улицу Прувер толпа больше не двигалась. То была стойкая, внушительная, крепкая, плотная, почти непроницаемая глыба из тесно сгрудившихся людей, которые тихонько толковали между собой. Тут почти не было сюртуков или круглых шляп – всюду рабочие балахоны, блузы, фуражки, взъерошенные волосы и землистые лица. Все это скопище смутно колыхалось в ночном тумане. В глухом говоре толпы был хриплый отзвук закипающих страстей. Хотя никто не двигался, слышно было, как переступают ноги в грязи. По ту сторону этой толщи людей, на улицах Руль, Прувер и в конце улицы Сент-Оноре, не было ни одного окна, в котором горел бы огонек свечи. Виднелись только убегающие вдаль и меркнувшие в глубине улиц цепочки фонарей. Фонари того времени напоминали подвешенные на веревках большие красные звезды, отбрасывавшие на мостовую тень, похожую на громадного паука. Улицы не были пустынные. Там можно было различить ружья в козлах, покачивавшиеся штыки и стоявшие биваком войска. Ни один любопытный не переходил этот рубеж. Там движение

прекращалось. Там кончалась толпа и начиналась армия.

Мариус стремился туда с настойчивостью человека, потерявшего надежду. Его позвали, значит, нужно было идти. Ему удалось пробиться сквозь толпу, сквозь биваки отрядов, он ускользнул от патрулей и избежал часовых. Сделав крюк, он вышел на улицу Бетизи и направился к рынку. На углу улицы Бурдоне фонарей больше не было.

Миновав зону толпы, он перешел границу войск и очутился среди чего-то страшного. Ни одного прохожего, ни одного солдата, ни проблеска света, никого; безлюдье, молчание, ночь; неведомый, пронизывающий холод. Войти в такую улицу все равно что войти в погреб.

Он продолжал двигаться вперед.

Он сделал несколько шагов. Кто-то бегом промчался мимо. Кто это был? Мужчина? Женщина? Было ли их несколько? Он не мог этого сказать. Тень мелькнула и исчезла.

Окольными путями он вышел в переулок, решив, что это Гончарная улица; в середине этой улицы он натолкнулся на препятствие. Он протянул руки вперед. То была опрокинутая тележка; он чувствовал под ногами лужи, выбоины, разбросанный и наваленный булыжник. Здесь была начатая и покинутая баррикада. Перебравшись через кучи булыжника, он очутился по другую сторону заграждения. Он шел у самых уличных тумб и находил дорогу по стенам домов. Ему показалось, будто немного поодаль от баррикады промелькнуло что-то белое. Он приблизился, и это белое приняло определенную форму. То были две белые лошади – те, которых Боссюэ утром выпряг из омнибуса. Они брели весь день наугад, из улицы в улицу и в конце концов остановились здесь с тупым терпением животных, которые в такой же степени постигают действия человека, в какой человек – пути провидения.

Мариус прошел мимо них. Когда он подходил к улице, показавшейся ему улицей Общественного договора, откуда-то грянул ружейный выстрел, и просвистевшая совсем близко от него пуля, наугад прорезая мрак, пробила над его головой медный таз для бритья, висевший над дверью цирюльника. Еще в 1846 году на улице Общественного договора в углу рыночной колоннады можно было увидеть этот продырявленный таз для бритья.

Ружейный выстрел был все же проявлением жизни. Но с этой минуты больше ничего не случилось.

Весь его путь походил на спуск по черным ступеням.

И все же Мариус шел вперед.

Глава 2

Париж – глазами совы

Существо, наделенное крыльями летучей мыши или совы, которое парило бы в это время над Парижем, увидело бы мрачную картину.

Весь старый квартал Центрального рынка, пересеченный улицами Сен-Дени и Сен-Мартен, образующий как бы город в городе, являющийся местом скрещения тысячи переулков и превращенный повстанцами в свой оплот и укрепление, предстал бы перед этим крылатым существом какой-то громадной темной ямой, вырытой в самом сердце Парижа. Здесь взгляд погружался в пропасть. Разбитые фонари, закрытые окна – это исчезновение всякого света, всякой жизни, всякого шума, всякого движения. Невидимый дозор мятежа бодрствовал повсюду и поддерживал порядок, то есть ночной мрак. Погрузить малое количество людей во всеобъемлющую тьму, так сказать, умножить число бойцов с помощью всех тех средств, которыми эта темнота располагает, – вот необходимая тактика восстания. На исходе дня каждое окно, где зажигали свечу, разбивалось пулей. Свет потухал, а иногда лишался жизни и

обитатель. Поэтому все замерло там. В домах царили только страх, печаль и оцепенение; на улицах – какой-то священный ужас. Нельзя было различить ни длинных рядов окон и этажей, ни зубчатых выступов труб и крыш, ни тех смутных бликов, которыми отсвечивает грязная и влажная мостовая. Око, взиравшее с высоты на этот сгусток тьмы, быть может, уловило бы там и сям мерцавший свет, подобный огонькам, блуждающим среди развалин; этот свет выхватывал из мрака ломаные и причудливые линии, очертания странных сооружений: там были баррикады. Остальное представлялось озером темноты, туманным, гнетущим, унылым. Над ним вставали неподвижные и зловещие силуэты: башня Сен-Жак, церковь Сен-Мерри и два или три других громадных здания, которые человек создает гигантами, а ночь превращает в призраки.

Всюду, вокруг этого пустынного и внушавшего тревогу лабиринта, в кварталах, где парижская суматоха не стихла окончательно и где горело несколько редких фонарей, воздушный наблюдатель мог бы различить металлическое поблескивание сабель и штыков, глухой грохот артиллерии и движение молчаливых батальонов, возраставшее с каждой минутой; он увидел бы страшный пояс, который стягивался и медленно смыкался вокруг восставших.

Обложенный войсками квартал был теперь чем-то вроде чудовищной пещеры; там все казалось уснувшим или неподвижным, и, как мы видели, каждая улица, в которую удавалось пробраться, встречала человека только мраком.

Мраком первобытным, полным ловушек, чреватых неведомыми и опасными столкновениями, куда страшно было проникнуть и где жутко было остаться; входящие трепетали перед теми, кто поджидал их, ожидавшие дрожали перед теми, кто приближался. За каждым поворотом улиц – невидимые бойцы в засадах, грозящие смертью западни, скрытые в толщах мрака. Тут был конец всему. Никакой надежды отныне на иной свет, кроме вспышки ружейного выстрела, на иную встречу, кроме внезапного и короткого знакомства со смертью. Где? Как? Когда? Никто не знал. Но это было бесспорно и неизбежно. Здесь, в этом месте, избранном для борьбы, правительство и восстание, национальная гвардия и народ, буржуазия и мятежники собирались схватиться врукопашную ощупью, наугад. Для одних и для других необходимость этого была одинаковой. Отныне оставался лишь один исход – выйти отсюда победителями или сойти в могилу. Положение было настолько напряженным, тьма настолько непроницаемой, что самые робкие проникались решимостью, а самые смелые – ужасом.

Впрочем, обе стороны не уступали друг другу в ярости, ожесточении и решимости. Для одних идти вперед – значило умереть, и никто не думал отступать, для других остаться – значило умереть, но никто не думал бежать.

Необходимость требовала, чтобы завтра все закончилось, чтобы победу одержала та или другая сторона, чтобы восстание стало революцией или оказалось лишь неудавшимся дерзким предприятием. Правительство это понимало так же, как и повстанцы; ничтожнейший буржуа чувствовал это. Отсюда и мучительное беспокойство, усугубляемое беспросветным мраком этого квартала, где все должно было решиться, отсюда и нарастающая тревога вокруг этого молчания, которому предстояло разразиться катастрофой. Здесь был слышен только один звук, раздирающий сердце, как хрипение, угрожающий, как проклятие: набат Сен-Мерри. Нельзя было представить ничего более леденящего душу, чем растерянный, полный отчаяния вопль этого колокола, жалостно сетующего во мгле.

Как это часто бывает, природа, казалось, дала согласие на то, что люди готовились делать. Ничто не нарушало горестной гармонии целого. Звезды исчезли, тяжелые облака затянули весь горизонт своими угрюмыми складками. Над мертвыми улицами распростерлось черное небо, точно исполинский саван над исполинской могилой.

Пока битва, еще всецело политическая битва, подготавливалась на том самом месте, которое уже видело столько революционных событий, пока юношество, тайные общества, школы – во

имя принципов, а средний класс – во имя корысти приближались друг к другу, чтобы столкнуться и повергнуть друг друга в прах, пока каждый торопил и призывал последний и решительный час, – вдали и вне рокового квартала, в глубочайших бездонных низинах того старого отверженного Парижа, который теряется в блеске Парижа счастливого и пышущего изобилием, слышалось глухое рокотание сурового голоса народа.

Голоса, устрашающего и священного, который слагается из рычания зверя и из слова божьего, который ужасает слабых и предупреждает мудрых, который звучит одновременно снизу, как львиный рык, и с высоты, как глас громовый.

Глава 3

Последний рубеж

Мариус дошел до Центрального рынка.

Здесь все было еще безмолвнее, еще мрачнее и неподвижнее, чем на соседних улицах. Казалось, ледящий покой гробницы изошел от земли и распростерся под небом.

Какое-то красноватое зарево, однако, вырисовывало на этом черном фоне высокие кровли домов, заграждавших улицу Шанврери со стороны церкви Сент-Эсташ. То был отблеск факела, горевшего на баррикаде «Коринфа». Мариус двинулся по направлению к этому зареву. Оно привело его к Свекольному рынку, и Мариус разглядел мрачное устье улицы Проповедников. Он вошел туда. Сторожевой пост повстанцев, карауливший на другом конце, не заметил его. Он чувствовал близость того, что искал, и шел, легко и бесшумно ступая. Так он добрался до крутого поворота улочки Мондетур, короткий отрезок которой, как помнит читатель, служил единственным средством сообщения с внешним миром, которое сохранил Анжольрас. Выглянув из-за угла последнего дома с левой стороны, Мариус осмотрел отрезок переулка Мондетур.

Немного подальше от черного угла этого переулка и улицы Шанврери, отбрасывающего широкое полотнище тени туда, где он схоронился, он увидел тусклый блик на мостовой, смутно различил кабачок, а за ним мигавшую площадку, которая стояла на какой-то бесформенной стене, и людей, прикорнувших с ружьями на коленях. Все это находилось туазах в десяти от него. То была внутренняя часть баррикады.

Дома, окаймлявшие улочку справа, скрывали от него остальную часть кабачка, большую баррикаду и знамя.

Мариусу оставалось сделать только один шаг.

Тогда несчастный юноша присел на тумбу, скрестил руки и стал думать о своем отце.

Он думал о героическом полковнике Понмерси, об отважном солдате, который при Республике охранял границы Франции, а при императоре достиг границ Азии, который видел Геную, Александрию, Милан, Турин, Мадрид, Вену, Дрезден, Берлин, Москву, который проливал свою кровь на всех бранных полях Европы – ту же кровь, что текла в жилах Мариуса, – и поседел раньше времени, подчиняясь сам и подчиняя других жесткой дисциплине; который прожил жизнь в мундире, с застегнутой портупеей, с густой, свисающей на грудь бахромой эполет, с почерневшей от пороха кокардой, с каской, давящей на лоб, в полевых бараках, в лагерях, на биваках, в госпиталях и который после двадцати лет великих войн вернулся с рубцами на лице, улыбающийся, простой, спокойный, ясный и чистый, как дитя, все сделав для Франции и ничего против нее.

Мариус говорил себе, что и его день настал, и его час, наконец, пробил, что по примеру отца он также должен быть смелым, неустрашимым, отважным, должен идти навстречу пулям, подставлять свою грудь под штыки, проливать свою кровь, искать врага, искать смерти, что и он, в свою очередь, будет воевать и выйдет на поле битвы, что это поле битвы – улица, а эта

война – гражданская война.

Он увидел гражданскую войну, разверзшуюся перед ним, подобно пропасти, и в эту пропасть ему предстояло ринуться.

Тогда он содрогнулся.

Он вспомнил отцовскую шпагу, которую его дед продал старьевщику и о которой он так горько сожалел. Он говорил себе, что она правильно поступила, эта доблестная и незапятнанная шпага, ускользнув от него и гневно уйдя во мрак; что, если она так бежала, значит, она была одарена разумом и предвидела будущее, значит, она предчувствовала мятеж, войну в сточных канавах, уличную войну, стрельбу через отдушины погребов, удары, наносимые и получаемые в спину; что она, эта шпага, вернувшись с полей Маренго и Фридланда, не хотела идти на улицу Шанврери и после подвигов, свершенных с отцом, иного свершать с сыном не желала! Он говорил себе, что если бы эта шпага была с ним, если бы, приняв ее у изголовья умершего отца, он осмелился бы взять ее и принести с собой на это ночное сражение французов с французами на уличном перекрестке, она, наверное, обожгла бы ему руки и запылала перед ним, как меч архангела! Какое счастье, говорил он себе, что она исчезла. Как это хорошо, как справедливо! Какое счастье, что дед его оказался подлинным хранителем славы отца: ведь лучше шпаге полковника быть проданной с молотка, достаться старьевщику, быть брошенной в железный лом, чем обгаживать сегодня кровью грудь отечества.

И он горько заплакал.

Это было ужасно. Но что же делать? Жить без Козетты он не мог. Раз она уехала, остается только умереть. Ведь он поклялся ей, что умрет! Она уехала, зная об этом, значит, она хочет, чтобы он умер. Ясно, что она его больше не любит, если исчезла, даже не уведомив его, не сказав ни слова, не послав письма, хотя знала его адрес! Ради чего и зачем теперь жить? И потом, как же это? Прийти сюда и отступить! Приблизиться к опасности и бежать! Увидеть баррикаду и улизнуть! Улизнуть, дрожа от страха и думая про себя: «Довольно, с меня хватит, я видел, и этого достаточно; это гражданская война, я ухожу!» Покинуть друзей, которые его ожидают, которые, быть может, в нем нуждаются! Эту горсточку, противостоявшую целой армии! Изменить всему сразу: любви, дружбе, слову! Оправдать свою трусость патриотизмом! Но это было невозможно. Если бы призрак отца появился здесь, во мраке, и увидел, что сын отступил, то отстегал бы его ножнами шпаги и крикнул бы ему: «Иди же, трус!»

Раздираемый противоречивыми мыслями, Мариус опустил голову.

Но вдруг он снова поднял ее. Нечто вроде торжественного просветления свершилось в его уме. Близость могилы расширяет горизонт мысли; когда стоишь перед лицом смерти, глазам открывается истина. Видение битвы, в которую он чувствовал себя готовым вступить, предстало перед ним, но уже не жалким, а величественным. Благодаря какой-то неведомой внутренней работе души уличная война внезапно преобразилась перед его умственным взором. Все неразрешимые вопросы, осаждавшие его во время раздумья, снова вернулись к нему беспорядочной толпой, но не смущали его более. На каждый из них был теперь ответ.

Рассудим, почему отец мог возмутиться? Разве не бывает случаев, когда восстание возвышается до степени исполняемого долга? В какой же мере для сына полковника Понмерси могло быть унижительным завязывающееся сражение? Это не Монмирайль, ни Шампобер, это нечто другое. Борьба идет не за священную землю отчизны, но за святую идею. Родина скорбит, пусть так; зато человечество приветствует восстание. Впрочем, действительно ли родина скорбит? Франция истекает кровью, но свобода радуется; а если свобода радуется, Франция забывает о своей ране. И затем, если смотреть на вещи шире, то что можно сказать о гражданской войне?

Гражданская война! Что это значит? Разве есть война с иноземцами? Разве всякая война

между людьми – не война между братьями? Война определяется лишь ее целью. Нет ни войн с иноземцами, ни войн гражданских; есть только война несправедливая и война справедливая. До того дня, когда будет заключено великое человеческое соглашение, война, по крайней мере та, которая является порывом спешащего будущего против мешкотного прошлого, может быть необходимой. В чем могут упрекнуть такую войну? Война становится постыдной, а шпага становится кинжалом убийцы только тогда, когда она наносит смертельный удар праву, прогрессу, разуму, цивилизации, истине. В этом случае война, – будь она гражданской или против иноземцев, – равно несправедлива, и имя ее – преступление. Помимо этого священного условия – справедливости, по какому праву одна форма войны будет презирать другую? По какому праву шпага Вашингтона может служить отрицанием пики Камилла Демулена? Леонид против иноземца, Тимолеон против тирана, – который из них более велик? Один защитник, другой освободитель. Возможно ли клеймить позором всякое вооруженное выступление внутри государства, не задаваясь вопросом о его цели? В таком случае наложите печать бесчестия на Брута, Марсея, Арну де Бланкенгейма, Колиньи. Партизанская война? Уличная война? Почему же нет? Ведь такова война Амбиорикса, Артевелде, Марникса, Пелагия. Но Амбиорикс боролся против Рима, Артевелде – против Франции, Марникс – против Испании, Пелагий – против мавров; все – против внешнего врага. Так вот, монархия – это и есть внешний враг; угнетение – внешний враг; «священное право» – внешний враг. Деспотизм нарушает моральные границы, подобно тому как вторжение врага нарушает границы географические. Изгнать тирана или изгнать англичан – это в обоих случаях значит: освободить свою территорию. Наступает час, когда недостаточно только возражать; за философией должно следовать действие; живая сила заканчивает то, что наметила идея. «Скованный Прометей» начинает, Аристогитон заканчивает. «Энциклопедия» просвещает души, 10 августа их воспламеняет. После Эсхила – Фразибул; после Дидро – Дантон. Народ стремится найти руководителя. В массе он сбрасывает с себя апатию. Толпу легко сплотить в повиновении. Людей нужно расшевеливать, расталкивать, не давать покоя ради самого блага их освобождения, нужно колоть им глаза правдой, метать в них грозный свет полными пригоршнями. Нужно, чтобы они сами были слегка поражены собственным спасением; этот ослепительный свет пробуждает их. Отсюда необходимость набатов и битв. Нужно подняться великим воинам, озарить народы дерзновением и встряхнуть это несчастное человечество, над которым нависает мрак священного права, цезаристской славы, грубой силы, фанатизма, безответственной власти и самодержавных величеств; встряхнуть это скопище, тупо созерцающее мрачное торжество ночи во всем его сумеречном великолепии. Долой тирана! Как? О ком вы говорите? Вы называете Луи-Филиппа тираном? Нет, не больше, чем Людовика XVI. Оба они из тех, кого история обычно называет «добрыми королями»; но принципы не дробятся, логика истины прямолинейна, а свойство истины не оказывать снисхождения; стало быть, никаких уступок; всякое нарушение человеческих прав должно быть пресечено, Людовик XVI воплощает «священное право», Луи-Филипп тоже, *потому что он Бурбон*; оба в известной мере олицетворяют захват права, и, чтобы устранить всемирно распространенную узурпацию права, должно с ними сразиться; так нужно, потому что всегда начинала именно Франция. Когда во Франции ниспровергается властелин, он ниспровергается всюду. Словом, вновь утвердить социальную правду, вернуть свободе ее престол, вернуть народ народу, вернуть человеку верховную власть, вновь возложить красный убор на голову Франции, восстановить разум и справедливость во всей их полноте, подавить всякий зародыш враждебности, возвратив каждого самому себе, уничтожить препятствие, которое королевская власть ставит всеобщему величайшему согласию, вновь поднять человечество на один уровень с правом, – какое дело может быть более справедливым и, следовательно, какая война более великой? Такие войны создают мир. Огромная крепость

предрассудков, привилегий, суеверий, лжи, лихоимства, злоупотреблений, насилий, несправедливостей и мрака все еще возвышается над миром со своими башнями ненависти. Нужно ее ниспровергнуть. Нужно обрушить эту чудовищную громаду. Победить при Аустерлице – великий подвиг; взять Бастилию – величайший.

Нет человека, который не заметил бы по собственному опыту, что душа – и в этом чудо ее единства, сопряженного с вездесущностью, – обладает странной способностью рассуждать почти хладнокровно при самых крайних обстоятельствах, и нередко безутешное любовное горе, глубочайшее отчаяние в самых мучительных, в самых мрачных своих монологах обсуждают и оспаривают те или иные положения. К буре чувств примешивается логика, и нить силлогизма вьется, не разрываясь, в скорбном неистовстве мысли. Именно в таком состоянии и находился Мариус.

Размышляя подобным образом, изнеможенный, то полный решимости, то колеблясь и в конечном счете трепеща перед тем, что он собирался сделать, Мариус окидывал блуждающим взором внутреннюю часть баррикады. Там вполголоса разговаривали не покидавшие своих мест повстанцы, и чувствовалось то обманчивое спокойствие, которое знаменует собою последнюю фазу ожидания. Над ними, в слуховом окне третьего этажа, Мариус различал какого-то зрителя или наблюдателя, казавшегося ему как-то по-особому внимательным. То был убитый Кабюком привратник. В отблесках факела, скрытого в груди булыжника, снизу едва можно было разглядеть его голову. Ничто не могло быть более необычным, чем это озаряемое колеблющимся мрачным светом иссиня-бледное, неподвижное, удивленное лицо под вставшими дыбом волосами, с открытыми и застывшими глазами и разинутым ртом, словно из любопытства наклонившееся над улицей. Можно было подумать, что тот, кто умер, всматривается в тех, кому предстоит умереть. От оконца красноватыми струйками спускалась вниз длинная кровавая дорожка, обрываясь на втором этаже.

Книга четырнадцатая

Величие отчаяния

Глава 1

Знамя. Действие первое

Все еще никто не появлялся. На Сен-Мерри пробило десять часов. Анжольрас и Комбефер усадились с карабинами в руках возле прохода, оставленного в большой баррикаде. Они сидели молча и прислушивались, стараясь уловить хотя бы даже самый глухой, самый отдаленный шум шагов.

Внезапно в этой зловещей тишине раздался звонкий молодой, веселый голос, казалось доносившийся с улицы Сен-Дени, и отчетливо, на мотив старой народной песенки «При свете луны», зазвучали стишки, кончавшиеся возгласом, подобным крику петуха:

Друг Бюго, не спишь ли?
Я от слез опух.
Ты жандармов вышли
Поддержать мой дух.

В голубой шинели,
Кивер на боку.
Пули засвистели!
Ку-кукурику!

Они сжали друг другу руки.

– Это Гаврош, – сказал Анжольрас.

– Он нас предупреждает, – добавил Комбефер.

Стремительный бег нарушил тишину пустынной улицы, какое-то существо, более проворное, чем клоун, перелезло через омнибус, и запыхавшийся Гаврош спрыгнул внутрь баррикады, воскликнув:

– Где мое ружье? Они идут!

Электрический ток пробежал по всей баррикаде, послышался шорох рук, нащупывающих ружья.

– Хочешь взять мой карабин? – спросил мальчика Анжольрас.

– Я хочу большое ружье, – ответил Гаврош.

И он взял ружье Жавера.

Двое часовых оставили свои посты и вернулись на баррикаду почти одновременно с Гаврошем. Один – стоявший на посту в конце улицы, другой – дозорный с Малой Бродяжной. Дозорный из переулка Проповедников остался на своем месте, – очевидно, со стороны мостов и рынков никто не появлялся.

Пролет улицы Шанврери, где при отблесках света, падавшего на знамя, лишь кое-где с трудом можно было различить булыжник мостовой, казался повстанцам какими-то огромными черными воротами, смутно зиявшими в тумане.

Каждый занял свое боевое место.

Сорок три повстанца, среди них Анжольрас, Комбефер, Курфейрак, Боссюэ, Жоли, Баорель

и Гаврош, стояли на коленях внутри большой баррикады, держа головы на уровне ее гребня, с ружьями и карабинами, наведенными на мостовую словно из бойниц, настороженные, безмолвные, готовые открыть огонь. Шесть повстанцев под командой Фейи, с ружьями на прицеле, стояли в окнах обоих этажей «Коринфа».

Прошло еще несколько мгновений, затем гул размеренных, грузных шагов ясно послышался со стороны Сен-Ле. Этот гул, сначала слабый, затем более отчетливый, затем тяжелый и звучный, медленно приближался, нарастая безостановочно, непрерывно, с каким-то грозным спокойствием. Ничего, кроме этого шума, не было слышно. То было и молчание, и гул движущейся статуи Командора, но этот каменный шаг заключал в себе что-то огромное и множественное, вызывающее представление о какой-то толпе и в то же время о призраке. Можно было подумать, что это шаг страшной статуи, чье имя Легион. Шаги приближались; они приблизились еще и остановились. Казалось, с конца улицы доносится дыхание большого скопища людей. Однако там ничего нельзя было рассмотреть, только в самой глубине этой густой тьмы мерцало множество металлических нитей, тонких, как иглы, и почти незаметных, мелькавших наподобие тех фосфорических, не поддающихся описанию сетчатых сплетений, которые возникают в дремоте, под сомкнутыми веками, в первом тумане сна. То были стволы и штыки ружей, неясно освещенные далеким отблеском факела.

Опять настало молчание, точно обе стороны чего-то выжидали. Внезапно из глубины мрака чей-то голос, особенно зловещий потому, что никого не было видно, – казалось, заговорила сама тьма, – крикнул:

– Кто идет?

В то же время послышалось звяканье опускаемых ружей.

– Французская революция, – взволнованно и гордо ответил Анжольрас.

– Огонь! – скомандовал голос.

Вспышка молнии озарила багровым светом все фасады домов, как если бы вдруг растворилась и сразу захлопнулась дверца пылавшей печи.

Ужасающий грохот пронесся над баррикадой. Красное знамя упало. Залп был такой неистовый и такой плотный, что срезал древко, то есть верхушку поставленного стоймя дышла омнибуса. Пули, отскочившие от карнизов домов, попали внутрь баррикады и ранили нескольких человек. Этот первый залп произвел жуткое впечатление. Атака оказалась жестокой и заставила задуматься самых бесстрашных. Было очевидно, что повстанцы имеют дело по меньшей мере с целым полком.

– Товарищи, – крикнул Курфейрак, – не будем зря тратить порох. Подождем отвечать, пока они не продвинутся дальше по улице.

– И прежде всего, – сказал Анжольрас, – поднимем снова знамя!

Он подобрал знамя, упавшее прямо к его ногам. За баррикадой слышался стук шомполов в стволах; отряд снова заряжал ружья.

– У кого из вас хватит отваги? – продолжал Анжольрас. – Кто водрузит знамя над баррикадой?

Никто не ответил. Взойти на баррикаду, когда вся она, без сомнения, опять была взята на прицел, – попросту значило умереть. Самому мужественному человеку трудно решиться вынести себе смертный приговор. Даже Анжольрас содрогнулся. Он повторил:

– Никто не возьмется?

Глава 2

Знамя. Действие второе

Стех пор как повстанцы дошли до «Коринфа» и начали строить баррикаду, никто больше не обращал внимания на дедушку Мабефа. Однако г-н Мабеф не покинул отряда. Он вошел в первый этаж кабачка и уселся позади стойки. Там он как бы целиком погрузился в самого себя. Казалось, он ни на что не смотрит, ни о чем не думает. Курфейрак и другие несколько раз подходили к нему, предупреждая об опасности и предлагая ему удалиться, но, по-видимому, он их не слышал. Когда его оставляли в покое, его губы шевелились, словно он беседовал с кем-то, но стоило заговорить с ним, как его губы смыкались, а глаза потухали. За несколько часов до того, как баррикада была атакована, он принял позу, которую ни разу с тех пор не изменил. Его сжатые в кулаки руки лежали на коленях, голова наклонилась вперед, словно он заглядывал в пропасть. Ничто не могло вывести его из этого положения; казалось, мысль его витает далеко от баррикады. Когда каждый отправился к своему боевому посту, в нижней зале не осталось никого, кроме привязанного к столбу Жавера, караулившего его повстанца с обнаженной саблей и Мабефа. Во время атаки, при залпе, он почувствовал сотрясение воздуха, и это как бы пробудило его; он вдруг поднялся, прошел через залу, и как раз в то мгновение, когда Анжольрас повторил свой вопрос: «Никто не возьмется?» – старик появился на пороге кабачка.

Его появление глубоко взволновало повстанцев. Послышались крики:

– Это тот, кто голосовал за казнь короля! Член Конвента! Представитель народа!

Возможно, г-н Мабеф не слышал этого.

Он направился прямо к Анжольрасу, – повстанцы расступились перед ним с каким-то благоговейным страхом, – вырвал знамя у Анжольраса, который, попятившись назад, окаменел от изумления, затем этот восьмидесятилетний старец, с трясущейся головой, начал твердым шагом медленно всходить по лесенке из булыжника, устроенной на баррикаде; никто не осмелился ни остановить его, ни предложить ему помощь. Это было столь мрачно и столь величественно, что все вокруг вскричали: «Шапки долой!» То было страшное зрелище! С каждой следующей ступенькой эти седые волосы, старческое лицо, огромный облысевший и морщинистый лоб, эти впалые глаза, полуоткрытый от удивления рот, дряхлая рука, поднимавшая красный стяг, выступали из тьмы, вырастая в кровавом свете факелов, и чудилось, что призрак Девяносто третьего года вышел из-под земли со знаменем террора в руках.

Когда он достиг верхней ступеньки, когда это дрожащее и грозное привидение, стоя на груди обломков против тысячи двухсот невидимых ружей, выпрямилось перед лицом смерти, словно было сильнее ее, вся баррикада приняла во мраке сверхъестественный, грандиозный вид.

Наступило молчание, какое бывает только при лицезрении чуда.

Среди этого молчания старик взмахнул красным знаменем и крикнул:

– Да здравствует Революция! Да здравствует Республика! Братство! Равенство! И смерть!

На баррикаде услышали быстрый и тихий говорок, похожий на шепот торопящегося закончить молитву священника. Вероятно, то был полицейский пристав, который с другого конца улицы предъявлял именем закона требование «разойтись».

Затем тот же громкий голос, что спрашивал: «Кто идет?» – крикнул:

– Уходите прочь!

Господин Мабеф, мертвенно-бледный, исступленный, со зловещими огоньками безумия в глазах, поднял знамя над головой и повторил:

– Да здравствует Республика!

– Огонь! – скомандовал голос.

Второй залп, подобный урагану картечи, обрушился на баррикаду.

У старика подогнулись колени, затем он снова выпрямился, уронил знамя и упал, как доска, навзничь, на мостовую, вытянувшись во весь рост и раскинув руки.

Ручейки крови побежали из-под него. Старческое бледное и печальное лицо было обращено

к небу.

Одно из тех чувств, над которыми не властен человек и которые заставляют забыть даже об опасности, охватило повстанцев, и они с почтительным страхом приблизились к труп.

– Что за люди эти цареубийцы! – воскликнул Анжольрас.

Курфейрак прошептал ему на ухо:

– Скажу только одному тебе, я не хочу охлаждать восторг. Да он меньше всего цареубийца. Я был с ним знаком. Его звали дедушка Мабеф. Не знаю, что с ним случилось сегодня, но этот скудоумный оказался храбрецом. Ты только взгляни на его лицо.

– Голова скудоумного, а сердце Брута, – ответил Анжольрас.

Затем он повысил голос:

– Граждане! Вот пример, который старики подадут молодым. Мы колебались, а он решился. Мы отступили перед опасностью, а он пошел ей навстречу! Вот чему те, кто трясется от старости, учат тех, кто трясется от страха! Этот старец исполнен величия перед лицом родины. Он долго жил и со славой умер! А теперь укроем в доме этот труп, пусть каждый из нас защищает этого мертвого старика, как защищал бы своего живого отца, и пусть его присутствие среди нас сделает баррикаду непобедимой!

Гул угрюмых и решительных голосов, выражающий согласие, последовал за этими словами.

Анжольрас наклонился, приподнял голову старика и, по-прежнему суровый, поцеловал его в лоб, затем, отведя назад его руки и с нежной осторожностью касаясь мертвеца, словно боясь причинить ему боль, он снял с него сюртук, показал всем окровавленные дыры и сказал:

– Отныне вот наше знамя.

Глава 3

Гаврош сделал бы лучше, если бы согласился взять карабин Анжольраса

Дедушку Мабефа покрыли длинной черной шалью вдовы Гюшлу. Шесть человек сделали из своих ружей носилки, положили на них тело и, обнажив головы, ступая с торжественной медлительностью, отнесли его на большой стол в нижней зале.

Эти люди, целиком занятые тем священным и важным, что они делали, больше не думали о грозившей им опасности.

Когда труп проносили мимо Жавера, хранившего свою невозмутимость, Анжольрас сказал шпиону:

– Скоро и тебя!

В это время Гаврошу, единственному, кто не покинул своего поста и остался в дозоре, показалось, что какие-то люди тихонько подкрадываются к баррикаде. Он тотчас закричал:

– Берегись!

Курфейрак, Анжольрас, Жан Прувер, Комбефер, Жоли, Баорель, Боссюэ беспорядочной гурьбой выбежали из кабачка. Уже почти не оставалось времени. Они увидели густое поблескивание штыков, колыхавшихся над баррикадой. Рослые солдаты муниципальной гвардии, одни, перелезая через омнибус, другие, воспользовавшись проходом, пробрались внутрь, оттесняя мальчика, который хотя и отступал назад, но не бежал.

Мгновение было решительным. То была первая опасная минута наводнения, когда река поднимается в уровень с насыпью и вода начинает просачиваться сквозь щели в плотине. Еще секунда, и баррикада была бы взята.

Баорель бросился на первого появившегося гвардейца и убил его выстрелом в упор; второй заколол Баореля ударом штыка. Третий уже опрокинул наземь Курфейрака, кричавшего: «Ко

мне!» Самый высокий из всех, настоящий великан, шел на Гавроша, выставив вперед штык. Мальчуган поднял своими ручонками огромное ружье Жавера, решительно нацелился в гиганта и спустил курок. Выстрела не последовало. Жавер не зарядил ружья. Гвардеец расхохотался и занес над ребенком штык.

Прежде чем штык коснулся Гавроша, ружье вывалилось из рук солдата: чья-то пуля ударила его прямо в лоб, и он упал на спину. Вторая пуля ударила в самую грудь гвардейца, напавшего на Курфейрака, и свалила его на мостовую.

То был Мариус, только что появившийся на баррикаде.

Глава 4

Бочонок с порохом

Скрываясь за поворотом улицы Мондетур, Мариус, охваченный трепетом и сомнением, присутствовал при начале боя. Однако он не мог долго противиться тому таинственному и неодолимому безумию, которое можно было бы назвать призывом бездны. Безмерная опасность, смерть г-на Мабефа – эта скорбная загадка, убитый Баорель, крик Курфейрака: «Ко мне!», ребенок на краю гибели, друзья, взывавшие о помощи или отмщении, – все это сразу рассеяло его нерешительность, и он с пистолетами в руках бросился в свалку. Первым выстрелом он спас Гавроша, вторым освободил Курфейрака.

Под грохот выстрелов и крики раненых гвардейцев осаждающие взобрались на укрепление, на гребне которого теперь по пояс виднелись фигуры смешавшихся в одну толпу муниципальных гвардейцев, кадровых солдат и национальных гвардейцев предместья, с ружьями наготове. Они занимали уже более двух третей заграждения, но не прыгали внутрь баррикады, точно колебались, боясь какой-то ловушки. Они смотрели вниз в темноту, словно в львиное логово. Свет факела озарял только их штыки, меховые шапки и беспокойные, раздраженные лица.

У Мариуса не было больше оружия, он бросил свои разряженные пистолеты, но в нижней зале, возле дверей, он заметил бочонок с порохом.

Когда, полуобернувшись, он смотрел в ту сторону, какой-то солдат стал в него целиться. Солдат уже взял его на мушку, как вдруг чья-то рука схватила конец дула и закрыла его. Это был бросившийся вперед молодой рабочий в плисовых штанах. Раздался выстрел, пуля пробила руку и, быть может, грудь рабочего, потому что он упал, – но не задела Мариуса. Все это, казалось, скорее могло померещиться в дыму, чем произойти в действительности. Мариус, входивший в нижнюю залу, едва заметил это. Однако он смутно видел направленный на него ствол ружья, руку, закрывшую дуло, и слышал выстрел. Но в такие минуты все, что видит человек, мелькает перед ним, несется, и он ни на чем не останавливает внимания. Он лишь неясно чувствует, что этот вихрь увлекает его к еще большему мраку и все вокруг него в тумане.

Повстанцы, захваченные врасплох, но не уstraшенные, вновь стянули свои силы. Анжольрас крикнул: «Подождите! Не стреляйте наугад!» Действительно, в первые минуты замешательства они могли ранить друга друга. Большинство повстанцев поднялось во второй этаж и в чердачные помещения, оттуда они могли из окон обстреливать осаждающих. Самые решительные, в их числе Анжольрас, Курфейрак, Жан Прувер и Комбефер, открыто отошли к домам, поднимавшимся позади кабачка, и гордо встали лицом к лицу с солдатами и гвардейцами, занявшими гребень баррикады.

Все это было сделано неторопливо, с той особенной грозной серьезностью, которая предшествует рукопашной схватке. Противники целились друг в друга в упор на таком близком

расстоянии, что могли переговариваться. Достаточно было одной искры, чтобы вспыхнуло пламя. Офицер, в металлическом нагруднике и густых эполетах, протянул шпагу вперед и крикнул:

– Сдавайтесь!

– Огонь! – ответил Анжольрас.

Оба залпа раздались одновременно, и все исчезло в дыму.

Дым был едкий и удушливый, и в нем, слабо и глухо стелаясь, ползли раненые и умирающие.

Когда дым рассеялся, стало видно, как поредели ряды противников по обе стороны баррикады, но, оставаясь на своих местах, они молча заряжали ружья.

Внезапно послышался громовой голос:

– Убирайтесь прочь, или я взорву баррикаду!

Все обернулись в ту сторону, откуда раздавался голос. Мариус, войдя в нижнюю залу, взял там бочонок пороха, затем, воспользовавшись дымом и туманной мглой, застилавшими все огражденное пространство, проскользнул вдоль баррикады до той каменной клетки, где был укреплен факел. Вырвать факел, поставить на его место бочонок с порохом, подтолкнуть под него кучу булыжника, причем дно бочонка с какой-то страшной податливостью тотчас же продавилось, – все это отняло у Мариуса столько времени, сколько требуется для того, чтобы наклониться и снова выпрямиться; и теперь все – национальные гвардейцы, гвардейцы муниципальные, офицеры, солдаты, столпившиеся на другом конце баррикады, остолбенев от ужаса, смотрели, как он, встав на булыжники с факелом в руке, гордый, одушевленный роковым своим решением, наклонял пламя факела к этой страшной груде, где виднелся разбитый бочонок с порохом, и грозно воскликнул:

– Убирайтесь прочь, или я взорву баррикаду!

Мариус, заступивший на этой баррикаде место восьмидесятилетнего старца, казался видением юной революции после призрака старой.

– Взорвешь баррикаду? – воскликнул какой-то сержант. – Значит, и себя вместе с ней!

Мариус ответил:

– И себя вместе с ней!

И он приблизил факел к бочонку с порохом.

Но на баррикаде уже никого не было. Нападавшие, бросив своих убитых и раненых, отхлынули беспорядочной толпой к другому концу улицы и снова исчезли в ночи. Это было настоящее паническое бегство.

Баррикада была освобождена.

Глава 5

Конец стихам Жана Прувера

Все окружили Мариуса. Курфейрак бросился ему на шею.

– Ты здесь?

– Какое счастье! – воскликнул Комбефер.

– Ты пришел кстати! – сказал Боссюэ.

– Без тебя меня бы уже не было на свете! – вставил Курфейрак.

– Без вас меня бы ухлопали! – прибавил Гаврош.

Мариус спросил:

– Кто тут начальник?

– Ты, – ответил Анжольрас.

Весь этот день мозг Мариуса был подобен пылающему горнилу, теперь же его мысли

превратились в вихрь. Этот вихрь, заключенный в нем самом, казалось ему, бушует вокруг и уносит его с собой. Ему представлялось, что он уже отдалился от жизни на бесконечное расстояние. Два светлых месяца радости и любви, внезапно оборвавшиеся у этой ужасной пропасти, потерянная для него Козетта, эта баррикада, г-н Мабеф, принявший смерть за Республику, он сам во главе повстанцев – все это казалось ему чудовищным кошмаром. Он должен был напрячь весь свой разум и память, чтобы все, происходившее вокруг, стало для него действительностью. Мариус слишком мало жил, он еще не познал, что нет ничего неотвратимее, чем невозможное, и что должно всегда предвидеть непредвиденное. Словно непонятная для зрителя пьеса, пред ним разворачивалась драма его собственной жизни.

В тумане, заволакивавшем его мысль, он не узнал привязанного к столбу Жавера, который не повернул головы во время штурма баррикады и смотрел на разгоравшееся вокруг него восстание с покорностью жертвы и величием судьи. Мариус даже не заметил его.

Между тем нападавшие больше не появлялись; слышно было, как они топчутся и копошатся в конце улицы, однако они не отваживались снова обрушиться на этот неприступный редут, ожидая, быть может, приказа, быть может, подкрепления. Повстанцы выставили часовых; некоторые, студенты медицинского факультета, принялись перевязывать раненых.

Из кабачка выставили все столы, за исключением двух, оставленных для корпии и патронов, и стола, на котором лежал дедушка Мабеф; вынесенные столы добавили к баррикаде, а в нижней зале заменили их тюфяками вдовы Гюшлу и служанок. На эти тюфяки положили раненых. Что касается трех бедных созданий, живших в «Коринфе», то было неизвестно, что с ними случилось. Однако впоследствии их нашли спрятавшимися в погребе.

Горестное событие омрачило радость освобожденной баррикады.

Когда сделали перекличку, одного из повстанцев не оказалось. И кого же? Одного из самых любимых, самых мужественных – Жана Прувера. Поискали среди раненых – его не было. Поискали среди убитых – его не было. Очевидно, он попал в плен.

Комбефер сказал Анжольрасу:

– Они взяли в плен нашего друга; зато у нас их агент. Тебе очень нужна смерть этого сыщика?

– Да, – ответил Анжольрас, – но меньше, чем жизнь Жана Прувера.

Все это происходило в нижней зале возле столба Жавера.

– Отлично, – ответил Комбефер, – я привяжу носовой платок к моей трости и пойду в качестве парламентаря предложить им обмен пленными.

– Слушай, – сказал Анжольрас, положив руку на плечо Комбефера.

В конце улицы раздалось многозначительное бряцание оружия.

Послышался мужественный голос, крикнувший:

– Да здравствует Франция! Да здравствует будущее!

То был голос Прувера. Мелькнула молния, и грянул залп. Снова наступила тишина.

– Они его убили! – воскликнул Комбефер.

Анжольрас взглянул на Жавера и сказал:

– Твои друзья сами тебя расстреляли.

Глава 6

Томление смерти после томления жизни

Особенность войны этого рода в том, что баррикады почти всегда атакуются в лоб, и нападающие, как правило, воздерживаются от обхода, быть может опасаясь засады или боясь

углубляться далеко в извилистые улицы. Поэтому-то все внимание повстанцев было направлено на большую баррикаду, которая, очевидно, являлась наиболее угрожаемым местом, где неминуемо должна была снова начаться схватка. Мариус все же подумал о маленькой баррикаде и пошел туда. Она была пустынна и охранялась только плошкой, мигавшей среди булыжников. Впрочем, в переулке Мондетур и на перекрестках Малой Бродяжной и Лебяжьей улиц было совершенно спокойно.

Когда Мариус, произведя осмотр, возвращался обратно, он услышал, как в темноте кто-то тихо позвал его:

– Господин Мариус!

Он вздрогнул, узнав голос, окликнувший его два часа тому назад сквозь решетку на улице Плюме.

Но теперь этот голос казался лишь вздохом.

Он оглянулся и никого не заметил.

Мариус решил, что ослышался, что это был обман чувств, добавленный воображением к тем необыкновенным событиям, которые совершались вокруг. И он сделал еще шаг, желая выйти из того закоулка, где находилась баррикада.

– Господин Мариус! – повторил голос.

На этот раз сомнения не было, Мариус ясно слышал голос; он снова осмотрелся и никого не увидел.

– Я здесь, у ваших ног, – сказал голос.

Он нагнулся и увидел во мраке очертания какого-то живого существа. Оно тянулось к нему. Оно ползло по мостовой. Именно оно и обращалось к нему.

Свет плошки позволял разглядеть блузу, порванные панталоны из грубого плиса, босые ноги и что-то похожее на лужу крови. Мариус различил бледное, поднятое к нему лицо и услышал слова:

– Вы меня не узнаете?

– Нет.

– Эпониная.

Мариус быстро наклонился. Действительно, перед ним была эта несчастная девочка. Она была одета в мужское платье.

– Как вы очутились здесь? Что вы тут делаете?

– Я умираю, – сказала она.

Есть слова и события, пробуждающие людей, подавленных горем. Мариус воскликнул, как бы внезапно проснувшись:

– Вы ранены! Подождите, я отнесу вас в дом. Там вас перевяжут. Вас тяжело ранили? Как мне поднять вас, чтобы не сделать вам больно? Где у вас болит? Боже мой! Помогите! И зачем вы сюда пришли?

Он попытался подсунуть под нее руку, чтобы поднять ее с земли.

При этом он задел ее кисть.

Эпониная слабо вскрикнула.

– Я сделал вам больно? – спросил Мариус.

– Чуть-чуть.

– Но я дотронулся только до вашей руки.

Она подняла руку, и Мариус увидел посреди ладони темное отверстие.

– Что с вашей рукой? – спросил он.

– Она пробита!

– Пробита?

- Да.
- Чем?
- Пулей.
- Каким образом?
- Вы видели наведенное на вас ружье?
- Да, и руку, закрывшую дуло.
- То была моя рука.

Мариус содрогнулся.

– Какое безумие! Бедное дитя! Но тем лучше, если так; это пустяки. Дайте мне отнести вас на постель. Вам сделают перевязку, от простреленной руки не умирают.

Она прошептала:

– Пуля прострелила руку, но вышла через спину. Не стоит брать меня отсюда! Я скажу вам сейчас, как мне помочь намного лучше, чем это сделает доктор. Сядьте возле меня на этот камень.

Он повиновался; она положила голову к нему на колени и, не глядя на него, сказала:

– О, как хорошо! Как мне приятно! Вот и небольно! – Помолчав с минуту, она с усилием подняла голову и взглянула на Мариуса: – Знаете, господин Мариус? Меня злило, что вы ходите в тот сад, – это глупо, потому что я сама показала вам дом, и, кроме того, я должна была понимать, что такой молодой человек, как вы...

Она остановилась и, отгоняя какие-то мрачные мысли, видимо промелькнувшие в ее уме, снова заговорила с раздирающей душу улыбкой:

– Я казалась вам некрасивой, правда? Вот что, – продолжала она, – вы погибли! Теперь никому не уйти с баррикады. Ведь это я привела вас сюда. Вы скоро умрете; я на это и рассчитывала. И все-таки, когда я увидела, что в вас целятся, я закрыла рукой дуло ружья. Как чудно! А это потому, что я хотела умереть раньше вас. Когда в меня попала пуля, я притачилась сюда, меня не видели, не подобрали. Я ожидала вас, я думала: «Неужели он не придет?» Ах, если бы вы знали! Я от боли рвала зубами блузу, я так страдала! А теперь мне хорошо. Помните тот день, когда я вошла в вашу комнату и когда я смотрелась в ваше зеркало, и тот день, когда я вас встретила на бульваре возле прачек? Как распевали там птицы! Это было совсем недавно. Вы мне дали сто су, я вам сказала: «Не нужны мне ваши деньги». Подняли вы по крайней мере монету? Вы ведь небогаты. Я не догадалась сказать вам, чтобы вы ее подняли. Солнце ярко светило, было тепло. Помните, господин Мариус? О, как я счастлива! Все, все скоро умрут.

У нее было безумное и серьезное выражение лица, раздирающее душу. Сквозь разорванную блузу виднелась ее обнаженная грудь. Разговаривая, она прижимала к ней простреленную руку, – там, где было другое отверстие, из которого порой выбивалась струйка крови, как вино из бочки с вынутой втулкой.

Мариус с глубоким состраданием смотрел на эту несчастную девушку.

– Ох, – внезапно простонала она, – опять! Я задыхаюсь!

Она вцепилась зубами в блузу, и ноги ее вытянулись на мостовой.

В этот момент на баррикаде раздался резкий петушиный голос маленького Гавроша. Мальчик, собираясь зарядить ружье, влез на стол и весело распевал популярную в то время песенку:

Увидев Лафайета,
Жандарм невзвидел света:
Бежим! Бежим! Бежим!

Эпониная приподнялась, прислушалась, потом прошептала:

– Это он. – И, повернувшись к Мариусу, добавила: – Там мой брат. Не надо, чтобы он меня видел. Он будет меня ругать.

– Ваш брат? – спросил Мариус, с горечью и болью в сердце думая о своем долге семейству Тенардье, который завещал ему отец. – Кто ваш брат?

– Этот мальчик.

– Тот, который поет?

– Да.

Мариус хотел встать.

– Не уходите! – сказала она. – Теперь уж недолго ждать!

Она почти сидела, но ее голос был едва слышен и прерывался икотой. Временами его заглушало хрипение. Эпониная приблизила, насколько могла, свое лицо к лицу Мариуса и прибавила с каким-то странным выражением:

– Слушайте, я не хочу разыгрывать с вами комедию. В кармане у меня лежит письмо для вас. Со вчерашнего дня. Мне поручили отправить его почтой. А я его оставила у себя. Мне не хотелось, чтобы оно дошло до вас. Но, быть может, вы за это будете сердиться на меня там, где мы вскоре опять свидимся. Ведь там встречаются, правда? Возьмите письмо.

Она судорожно схватила руку Мариуса своей простреленной рукой, – казалось, она уже не чувствовала боли. Затем сунула его руку в карман своей блузы. Мариус в самом деле нащупал там какую-то бумагу.

– Возьмите, – сказала она.

Мариус взял письмо.

Она одобрительно и удовлетворенно кивнула головой.

– Теперь обещайте мне за мой труд...

И она запнулась.

– Что? – спросил Мариус.

– Обещайте мне!

– Обещаю.

– Обещайте поцеловать меня в лоб, когда я умру. Я почувствую.

Она бессильно опустила голову на колени Мариуса, и ее веки сомкнулись. Он подумал, что эта бедная душа отлетела. Эпониная не шевелилась; внезапно, когда уже Мариус решил, что она навеки уснула, она медленно открыла глаза, в которых стала проступать мрачная глубина смерти, и сказала ему с нежностью, казалось, идущей уже из другого мира:

– А ведь знаете, господин Мариус, я думаю, что была немного влюблена в вас.

Она попыталась еще раз улыбнуться и умерла.

Глава 7

Гаврош глубокомысленно вычисляет расстояния

Мариус сдержал слово. Он запечатлел поцелуй на мертвенном лбу, покрытом капельками холодного пота. То не была измена Козетте; то было задумчивое и нежное прощание с несчастной душой.

Он не без внутреннего трепета взял письмо, переданное ему Эпониной. Он сразу почувствовал, что в нем сообщается о чем-то важном. Ему не терпелось прочитать его. Так уж создано мужское сердце: едва бедное дитя закрыло глаза, как Мариус подумал о письме. Он тихонько опустил Эпонину на землю и отошел от нее. Какое-то чувство ему говорило, что он не должен читать это письмо возле умершей.

Он подошел к свече в нижней зале. То была маленькая записка, изящно сложенная и запечатанная с женской заботливостью. Адрес, написанный женской рукой, был следующий:

«Господину Мариусу Понмерси, кв. 2-на Курфейрака, Стекольная улица, № 16».

Он сломал печать и прочел:

«Мой любимый! Увы, отец требует, чтобы мы уехали немедленно. Сегодня вечером мы будем на улице Вооруженного человека, № 7. Через неделю мы будем в Англии.

Козетта. 4 июня».

Чистота их любви была такова, что Мариус даже не знал почерка Козетты.

То, что произошло, может быть рассказано в нескольких словах. Все это устроила Эпонина. После вечера 3 июня она приняла двойное решение: расстроить замыслы отца и бандитов относительно дома на улице Плюме и разлучить Мариуса с Козеттой. Она обменялась своими лохмотьями с первым встречным молодым шалопаем, которому показалось забавным переодеться в женское платье, отдав Эпонине мужское. Это она на Марсовом поле сделала Жану Вальжану многозначительное предупреждение: *Переезжайте*. Жан Вальжан, вернувшись домой, действительно сказал Козетте: «Сегодня вечером мы уезжаем на улицу Вооруженного человека вместе с Тусен. Через неделю мы будем в Лондоне». Козетта, сраженная этим неожиданным ударом, спешно написала несколько строк Мариусу. Но как отнести письмо на почту? Она не выходила одна из дому, а Тусен, непривычная к таким поручениям, непременно и тотчас же показала бы письмо Фошлевану. Терзаясь беспокойством, Козетта вдруг увидела сквозь решетку переодетую в мужское платье Эпонину, все время бродившую вокруг сада. Козетта подозвала «этого молодого рабочего», дала ему пять франков и письмо, сказав: «Отнесите сейчас же это письмо по адресу». Эпонина положила письмо в карман. Утром, пятого июня, она отправилась к Курфейраку на поиски Мариуса, но не для того, чтобы отдать ему письмо, а чтобы «увидеть его», – это поймет каждая ревнивая и любящая душа. Там она поджидала Мариуса или хотя бы Курфейрака – все для того же, чтобы «увидеть его». Когда Курфейрак сказал ей: «Мы идем на баррикады», ее вдруг озарила мысль броситься навстречу этой смерти, как она бросилась бы навстречу всякой другой, и толкнуть туда Мариуса. Она последовала за Курфейраком и удостоверилась, в каком месте строится баррикада. Мариуса никто не предупреждал, письмо она перехватила; глубоко убежденная, что с наступлением ночи он, как обычно вечером, придет на свидание, она подождала его на улице Плюме и от имени друзей обратилась к нему с тем призывом, который, как она надеялась, должен был привести его на баррикаду. Она рассчитывала на отчаяние Мариуса, потерявшего Козетту, и не ошиблась. После этого она вернулась на улицу Шанврери. Мы уже видели, что она там свершила. Она умерла с мрачной радостью, свойственной ревнивым сердцам, которые увлекают за собой в могилу любимое существо, твердя: «Пусть никому не достанется!»

Мариус покрыл поцелуями письмо Козетты. Значит, она его любит! На мгновение у него мелькнула мысль, что теперь ему не надо умирать. Потом он сказал себе: «Она уезжает. Отец увозит ее в Англию, а мой дед не хочет, чтобы я на ней женился. Ничто не изменилось в злой моей участи». Мечтателям, подобным Мариусу, свойственны минуты крайнего упадка духа, отсюда и вытекают отчаянные решения. Бремя жизни невыносимо, смерть – лучший выход. И тогда он подумал, что ему осталось выполнить два долга: уведомить Козетту о своей смерти,

послав ей последнее «прости», и спасти Гавроша от неминуемой гибели, которую приуготовил себе бедный мальчуган, брат Эпонины и сын Тенардые.

У него был при себе тот самый бумажник, в котором хранилась тетрадка, куда он вписал для Козетты столько мыслей о любви. Он вырвал из тетрадки одну страничку и карандашом набросал следующие строки:

«Наш брак невозможен. Я просил позволения у моего деда, он отказал; у меня нет средств, и у тебя тоже. Я спешил к тебе, но уже не застал тебя. Ты знаешь, какое слово я тебе дал, я его сдержу. Я умираю. Когда ты будешь читать это, моя душа будет уже подле тебя, она улыбнется тебе».

Мариусу нечем было запечатать это письмо, он просто сложил его вчетверо и написал адрес:

«Мадемуазель Козетте Фошлеван, кв. 2-на Фошлевана, улица Вооруженного человека, № 7».

Сложив письмо, он немного подумал, снова взял бумажник, открыл его и тем же карандашом написал на первой странице тетради три строки:

«Меня зовут Мариус Понмерси. Прошу доставить мой труп к моему деду 2-ну Жильнорману, улица Сестер страстей господних, № 6, в Марэ».

Сунув бумажник в карман сюртука, он позвал Гавроша. На голос Мариуса тотчас появилась веселая и выражающая преданность рожица мальчугана.

– Хочешь сделать кое-что для меня?

– Все, что угодно, – ответил Гаврош. – Господи боже мой! Да без вас, ей-ей, мне была бы уже крышка.

– Видишь это письмо?

– Да.

– Возьми его. Уходи сейчас же с баррикады (Гаврош, забеспокоившись, стал почесывать у себя за ухом) и завтра утром вручи его по адресу, мадемуазель Козетте, проживающей у господина Фошлевана на улице Вооруженного человека, номер седьмой.

Маленький герой ответил:

– Ну хорошо, но... за это время могут взять баррикаду, а меня здесь не будет!

– По всем признакам, баррикаду не атакуют раньше чем на рассвете и не возьмут раньше чем завтра к полудню.

Новая передышка, которую нападающие дали баррикаде, действительно затянулась. То был один из тех нередких во время ночного боя перерывов, после которого противник атакует с удвоенным ожесточением.

– Слушайте, а если я отнесу ваше письмо завтра утром? – спросил Гаврош.

– Будет слишком поздно. Баррикаду, вероятно, окружат, на всех улицах поставят дозоры, и тогда тебе отсюда не выйти. Ступай сейчас же.

Гаврош не нашелся что ответить и стоял в нерешительности, печально почесывая за ухом. Вдруг, по обыкновению вострепешившись, как птица, он взял письмо.

– Ладно, – сказал он.

И пустился бегом по переулку Мондетур.

Его осенила мысль, о которой он умолчал, боясь, как бы Мариус не нашел какого-либо возражения.

Вот она, эта мысль:

«Еще нет и двенадцати часов, улица Вооруженного человека недалеко, я успею отнести письмо и вовремя вернуться».

Книга пятнадцатая

Улица Вооруженного человека

Глава 1

Бювар-болтун

Что значит бурное волнение целого города в сравнении с душевной бурей? Человек – глубина еще более бездонная, чем народ. Жан Вальжан был во власти ужасного возбуждения. Все бездны снова разверзлись в нем. Он содрогался так же, как Париж, на пороге грозного и неведомого переворота. Для этого оказалось достаточно нескольких часов. Его жизнь и его совесть внезапно омрачились. О нем можно было сказать так же, как и о Париже: «Вот две силы. Дух света и дух тьмы схватились на мосту, над бездной. Который из двух низвергнет другого? Кто кого одолеет?»

Вечером, накануне дня 5 июня, Жан Вальжан в сопровождении Козетты и Тусен перебрался на улицу Вооруженного человека. Там его ждала внезапная перемена судьбы.

Козетта не без сопротивления покинула улицу Плюме. В первый раз с тех пор, как они жили вместе, желание Козетты и желание Жана Вальжана не совпали и если не вступили в борьбу, то все же противостояли друг другу. Возражения одной стороны встречали непреклонность другой. Неожиданный совет: переезжайте, брошенный незнакомцем Жану Вальжану, встревожил его до такой степени, что он потребовал от Козетты беспрекословного повиновения. Он был уверен, что его выследили и преследуют. Козетте пришлось уступить.

Оба прибыли на улицу Вооруженного человека, молчаливые, не сказав друг другу ни слова, каждого обуревали собственные заботы. Жан Вальжан был так обеспокоен, что не замечал печали Козетты; Козетта была так печальна, что не замечала беспокойства Жана Вальжана.

Жан Вальжан взял с собой Тусен, чего никогда не делал в прежние отлучки. Он предвидел, что, быть может, не вернется больше на улицу Плюме, и не мог ни оставить там Тусен, ни открыть ей тайну. К тому же он считал ее преданным и надежным человеком. Измена слуги хозяину начинается с любопытства. Но Тусен, словно ей от века предназначено было служить у Жана Вальжана, не знала любопытства. Заикаясь, она повторяла, вызывая смех своим говором барневильской крестьянки: «Какая уродилась, такая пригодилась; свое дело сполняю; достальное меня не касается».

Уезжая с улицы Плюме, причем отъезд этот был скорее похож на бегство, Жан Вальжан захватил с собой только маленький благоухающий чемоданчик, который Козетта окрестила «неразлучным». Тяжелые сундуки потребовали бы носильщиков, а носильщики – это свидетели. Позвали фиакр к калитке, выходящей на Вавилонскую улицу, и уехали.

Тусен лишь с большим трудом добилась позволения уложить немного белья, одежды и кое-какие туалетные принадлежности. А Козетта взяла с собой только шкатулку со всем, что нужно для письма, и бювар.

Чтобы их исчезновение прошло еще незаметнее и спокойнее, Жан Вальжан распорядился отъездом с улицы Плюме не раньше вечера, что дало возможность Козетте написать записку Мариусу. На улицу Вооруженного человека они прибыли, когда уже было совсем темно.

Спать улеглись молча.

Квартира на улице Вооруженного человека выходила окнами на задний двор, была расположена на третьем этаже и состояла из двух спальных комнат, столовой и прилегавшей к столовой кухни с антресолями, где стояла складная кровать, поступившая в распоряжение Тусен. Столовая, разделявшая спальни, служила в то же время прихожей. В жилище этом

имелась вся необходимая домашняя утварь.

Люди поддаются успокоению почти так же безрассудно, как и тревоге, – такова человеческая природа.

Едва Жан Вальжан очутился на улице Вооруженного человека, как его беспокойство стихло и постепенно рассеялось. Есть места, которые умиротворяюще действуют на нашу душу. То была безвестная улица с мирными обитателями, и Жан Вальжан почувствовал, что словно заражается безмятежным покоем этой улочки старого Парижа, такой узкой, что она закрыта для проезда положенным на два столба поперечным брусом, безмолвной и глухой посреди шумного города, сумрачной среди белого дня и, если можно так выразиться, защищенной от волнений двумя рядами своих высоких столетних домов, молчаливых, как и подобает старикам. На этой улице застыло забвение. Жан Вальжан свободно вздохнул. Как его могли бы отыскать здесь?

Его первой заботой было поставить «неразлучный» возле своей постели.

Он спал хорошо. Утро вечера мудренее, можно прибавить: утро вечера веселее. Жан Вальжан проснулся почти счастливым. Ему показалась прелестной отвратительная столовая, в которой стояли старый круглый стол, низкий буфет с наклоненным над ним зеркалом, дряхлое кресло и несколько стульев, заваленных свертками Тусен. Из одного свертка выглядывал мундир национальной гвардии Жана Вальжана.

Что касается Козетты, то она велела Тусен принести ей в комнату бульону и не выходила до самого вечера.

К пяти часам Тусен, хлопотавшая над несложным устройством их новой квартиры, подала на стол в столовой холодных жареных цыплят, которых Козетта, чтобы не огорчать отца, согласилась отведать.

Затем, сославшись на сильную головную боль, она пожелала Жану Вальжану спокойной ночи и заперлась в своей спальне. Жан Вальжан с аппетитом съел крылышко цыпленка и, облокотившись на стол, постепенно успокоившись, снова стал чувствовать себя в безопасности.

Во время этого скромного обеда он два или три раза смутно слышал, как Тусен, заикаясь, говорила: «Сударь, крик-шум кругом, дерутся в Париже». Но, поглощенный множеством своих соображений, он не обратил внимания на эти слова. Говоря по правде, он их толком и не разобрал.

Он встал и принялся расхаживать от окна к двери и от двери к окну, испытывая все большую умиротворенность.

Лишь только он успокоился, Козетта, его единственная забота, вновь завладела его мыслями. И не потому, что он был встревожен ее головной болью, этим небольшим нервным расстройством, девичьим капризом, мимолетным облачком, – все это минует через день или два; но он думал о будущем, и, как обычно, думал о нем с нежностью. Что бы там ни было, он не видел никаких препятствий к тому, чтобы снова вошла в свою колею их счастливая жизнь. В иную минуту все кажется невозможным, в другую – все представляется легким; у Жана Вальжана была такая счастливая минута. Она обычно приходит после дурной, как день после ночи, по тому закону чередования противоположностей, которое составляет самую сущность природы и умами поверхностными именуется антитезой. В мирной улице, где Жан Вальжан нашел убежище для себя и Козетты, он освободился от всего, что его беспокоило с некоторого времени. Именно потому, что он долго видел перед собой мрак, он начинал различать в нем просветы. Выбраться из улицы Плюме без осложнений и каких бы то ни было происшествий было уже хорошим началом. Пожалуй, разумнее всего покинуть Францию хотя бы на несколько месяцев и отправиться в Лондон. Да, надо уехать. Не все ли равно, жить во Франции или в Англии, раз возле него Козетта! Козетта была его отечеством, Козетты было довольно для его счастья; мысль же о том, что самого его, быть может, недостаточно для счастья Козетты, – эта

мысль, раньше вызывавшая у него озноб и бессонницу, теперь даже не приходила ему в голову. Все его прежние горести потускнели, и он был полон надежд. Ему казалось, что если Козетта подле него, значит, она принадлежит ему; то был оптический обман, действие которого всем знакомо. Мысленно он устраивал, и со всеми возможными удобствами, отъезд с Козеттой в Англию и уже видел, как где-то там, в далеких просторах мечты, возрождается его счастье.

Медленно расхаживая взад и вперед, он неожиданно заметил нечто странное.

Прямо напротив, в зеркале, наклонно висевшем над низким буфетом, он увидел и ясно прочел следующие четыре строки:

«Мой любимый! Увы, отец требует, чтобы мы уехали немедленно. Сегодня вечером мы будем на улице Вооруженного человека, № 7. Через неделю мы будем в Англии.

Козетта. 4 июня».

Жан Вальжан остановился, ничего не понимая.

Приехав, Козетта положила свой бювар на буфет под зеркалом и, томясь мучительной тревогой, позабыла его там. Она даже не заметила, что оставила его открытым именно на той странице, где просушила четыре строчки своего письма, которое она передала молодому рабочему, проходившему по улице Плюме. Строчки эти отпечатались на пропускной бумаге бювара.

Зеркало отражало написанное.

Здесь имело место то, что в геометрии называется симметричным изображением; строки, опрокинутые в обратном порядке на пропускной бумаге, приняли в зеркале правильное положение, и слова обрели свой настоящий смысл; перед глазами Жана Вальжана предстало письмо, написанное накануне Козеттой Мариусу.

Это было просто и оглушительно.

Жан Вальжан подошел к зеркалу. Он перечел четыре строчки, но не поверил глазам. Ему казалось, что они возникли в блеске молнии. Это была галлюцинация. Это было невозможно. Этого не было.

Мало-помалу его восприятие стало более точным; он взглянул на бювар Козетты, и чувство действительности вернулось к нему. Он взял бювар и сказал: «Это отсюда». С лихорадочным возбуждением он стал всматриваться в четыре строчки, отпечатавшиеся на бюваре; опрокинутые отпечатки букв образовывали какую-то причудливую вязь, лишенную, казалось, всякого смысла. Тогда он подумал: «Но ведь это ничего не означает, здесь ничего не написано» – и с невыразимым облегчением вздохнул полной грудью. Кто не испытывал этой глупой радости в страшные минуты? Душа не предается отчаянию, не исчерпав всех иллюзий.

Он держал бювар в руке и смотрел на него в бессмысленном восторге, почти готовый рассмеяться над одурачившей его галлюцинацией. Внезапно он снова взглянул в зеркало, и повторилось то же явление. Четыре строчки обозначались там с неумолимой четкостью. Теперь это не было миражем. Повторившееся явление – уже реальность; это было очевидно, это было письмо, правильно восстановленное зеркалом. Он понял.

Жан Вальжан, пошатнувшись, выронил бювар и тяжело опустился в старое кресло, стоявшее возле буфета; голова его поникла, взгляд остекленел, рассудок его мутился. Он сказал себе, что все это было правдой, что свет навсегда померк для него, что это было написано Козеттой кому-то. Тогда он услышал, как его вновь озлобившаяся душа испускает во мраке глухое рычание. Попробуйте взять у льва из клетки мясо!

Как это ни было странно и печально, но Мариус еще не получил письмо Козетты; случай предательски преподнес его Жану Вальжану раньше, чем вручить Мариусу.

До этого дня Жан Вальжан не был побежден испытаниями судьбы. Он подвергался тяжким искусам; ни одно из насилий, совершаемых над человеком злой его участью, не миновало его; свирепый рок, вооруженный всеми средствами кары и всеми предрассудками общества, избрал его своей мишенью и яростно преследовал его. Он же не отступал и не склонялся ни перед чем. Когда требовалось, он принимал самые отчаянные решения; он поступился своей вновь завоеванной неприкосновенностью личности, отдал свою свободу, рисковал своей головой, всего лишился, все выстрадал и остался бескорыстным и стоическим до такой степени, что порою его, подобно мученику, можно было считать отрешившимся от самого себя. Его совесть, закаленная в борьбе со всевозможными бедствиями, могла казаться навеки неодолимой. Но если бы теперь кто-нибудь заглянул в глубь его души, то был бы вынужден признать, что она ослабеваает.

Из всех мук, которые он перенес в долгой пытке, уготованной ему судьбой, эта мука была самой страшной. Хватки этих раскаленных клещей он до сих пор не знал. Он ощутил таинственное оживление всех дремавших в нем чувств. Он ощутил укол в неведомый ему нерв. Увы, величайшее испытание, скажем лучше, единственное испытание – это утрата любимого существа!

Бедный старый Жан Вальжан, конечно, любил Козетту только как отец; однако, мы уже отметили выше, самое сиротство его жизни включило в это отцовское чувство все виды любви: он любил Козетту как дочь, любил ее как мать и любил ее как сестру. Но у него никогда не было ни любовницы, ни жены, а природа – это кредитор, не принимающий опротестованного векселя, поэтому чувство любви к женщине, наиболее стойкое из всех, смутное, слепое и чистое чистотой ослепления, безотчетное, небесное, ангельское, божественное, примешивалось ко всем другим. Оно было даже скорее инстинктом, чем чувством, скорее влечением, чем инстинктом, неосязаемое и невидимое, но реальное; и в его огромной нежности к Козетте любовь в собственном смысле была подобна золотой жиле, неведомой и нетронутой в недрах горы.

Пусть теперь читатель припомнит, чем было полно его сердце; выше мы упоминали об этом. Никакой брак не был возможен между ними, даже брак духовный; и тем не менее их судьбы тесно переплелись. За исключением Козетты, то есть за исключением ребенка, Жан Вальжан за всю свою долгую жизнь не знал ничего, что можно было любить. Страсти и любовные увлечения, сменяющие друг друга, не оставили в его сердце следов, тех сменяющих друг друга оттенков зелени – светло-зеленых и темно-зеленых, – какие можно заметить на перезимовавшей листве и на людях, переваливших за пятый десяток. В итоге, – как мы уже не раз упоминали, – все это внутреннее слияние чувств, все это целое, равнодействующей которого явилась высокая добродетель, привело к тому, что Жан Вальжан стал отцом Козетты. Это был странный отец, сочетавший в себе деда, сына, брата и мужа; отец, в котором чувствовалась и мать; отец, любивший и боготворивший Козетту, ибо она стала для него светом, пристанищем, семьей, родиной, раем.

И когда он понял, что это кончилось безвозвратно, что она от него убегает, выскальзывает из его рук, неуловимая, подобно облаку или воде, когда ему предстала эта убийственная истина и он подумал: «К кому-то другому стремится ее сердце, в ком-то другом вся ее жизнь, у нее есть возлюбленный, а я – только отец, я больше не существую»; когда у него не осталось больше сомнений, когда он сказал себе: «Она уходит от меня!» – скорбь, испытанная им, перешла черту возможного. Сделать все, что он сделал, – и вот итог! Как же так? Оказывается, он – ничто? Тогда, как мы уже говорили, он задрожал от возмущения. Каждой частицей своего существа он ощутил бурное пробуждение себялюбия, и «я» зарычало в безднах души этого человека.

Бывают внутренние катастрофы. Уверенность, приводящая к отчаянию, не может проникнуть в человеческую душу, не разбив и не разметав некие глубочайшие ее основы,

которые составляют нередко самое существо человека. Скорбь, дошедшая до такого предела, означает поражение и бегство всех сил, какими располагает совесть. Это опасные, роковые минуты. Немногие из нас переживают их, оставшись верными самим себе и непреклонными в выполнении долга. Когда чаша страданий переполнена, добродетель, даже самая непоколебимая, приходит в смятение. Жан Вальжан снова взял бювар и снова убедился в страшной истине; не сводя с него глаз, он застыл, согнувшись и как бы окаменев над четырьмя неопровержимыми строчками; можно было подумать, что все, чем полна эта душа, рушится, – такой мрачной печалью веяло от него.

Он вникал в это открытие, преувеличивая его размеры в болезненном своем воображении, и внешнее его спокойствие пугало – ибо страшно, когда спокойствие человека превращается в безжизненность статуи.

Он измерял ужасный шаг, сделанный его судьбой без его ведома, он вспоминал опасения прошлого лета, столь легкомысленно им отстраненные; он вновь увидел пропасть – все ту же пропасть; только теперь Жан Вальжан находился не на краю ее, а в самой глубине.

Случилось нечто неслыханное и мучительное: он свалился туда, не заметив этого. Свет его жизни померк, а он воображал, что всегда будет видеть солнце.

Однако инстинкт указал ему верный путь. Жан Вальжан сблизил некоторые обстоятельства, некоторые числа, припомнил, в каких случаях Козетта вспыхивала румянцем, в каких бледнела, и сказал себе: «Это он». Прозорливость отчаяния – это своего рода таинственный лук, стрелы которого всегда попадают в цель. С первых же догадок он напал на след Мариуса: он не знал имени, но тотчас нашел его носителя. В глубине неумолимо возникавших воспоминаний он отчетливо увидел неизвестного, что бродил в Люксембургском саду, этого жалкого искателя любовных приключений, праздного героя сентиментальных романов, дурака и подлеца, – ведь это подлость строить глазки девушке в присутствии отца, который так ее любит.

Твердо установив, что главный виновник того, что случилось, – этот юноша и что он – источник всего, Жан Вальжан, нравственно возродившийся человек, который столько боролся со злом в своей душе и приложил столько усилий, чтобы вся его жизнь, все бедствия и несчастья обратились в любовь, всмотрелся в самого себя и увидел призрак – Ненависть.

Великая скорбь подавляет. Она разочаровывает в жизни. Человек, познавший скорбь, чувствует, как что-то уходит от него. В юные годы ее прикосновение бывает мрачным, позже – зловещим. Увы! Даже и тогда, когда кровь горяча, волосы темны, голова держится прямо, как пламя факела, когда свиток судьбы еще почти не развернут, когда биениям сердца, полного чистой любви, еще отвечает другое, когда есть время исправить ошибки, когда все женщины, все улыбки, все будущее и вся даль – впереди, когда вы полны жизненной силы, – даже и тогда отчаяние страшно. Но каково же оно в старости, когда годы, все более и более тускнея, ускоряют бег навстречу тому сумрачному часу, достигнув которого начинаешь различать перед собой звезды могильного мрака!

Пока он размышлял, в комнату вошла Тусен. Жан Вальжан встал и спросил ее:

– Где это происходит? Вы не знаете?

Озадаченная Тусен только и могла спросить:

– Что вам угодно?

Жан Вальжан спросил снова:

– Ведь вы мне, кажется, говорили, что где-то дерутся?

– Ах да, сударь! – ответила Тусен. – В стороне Сен-Мерри.

Нам свойственны бессознательные побуждения, вызванные без нашего ведома самой затаенной нашей мыслью. Вероятно, под влиянием такого побуждения, которое едва ли

сознавал он сам, Жан Вальжан через пять минут очутился на улице.

С обнаженной головой он сидел на тумбе у своего дома. Казалось, он к чему-то прислушивался.

Наступила ночь.

Глава 2

Гаврош – враг освещения

Сколько времени он провел так? Каковы были приливы и отливы его мрачного раздумья? Воспрянул ли он? Лежал ли поверженный во прах? Пал ли духом до такой степени, что оказался сломленным? Мог ли он снова воспрянуть и найти в своей душе какую-нибудь твердую точку опоры? По всей вероятности, он и сам не мог бы ответить.

Улица была пустынна. Несколько встревоженных горожан, поспешно возвращавшихся к себе домой, вряд ли его заметили. В опасные времена каждому только до себя. Фонарщик, как обычно, пришел зажечь фонарь, висевший против ворот дома № 7, и удалился. Если бы кто-нибудь различил Жана Вальжана в этом мраке, то не подумал бы, что это живой человек. Он сидел на тумбе у ворот, неподвижный, словно превратившийся в ледяную статую призрак. Одно из свойств отчаяния – замораживать. Слышался набат и отдаленный гневный ропот толпы. Перекрывая гул торопливых беспорядочных ударов колокола, сливавшихся с шумом мятежа, башенные часы Сен-Поль, торжественно и не торопясь, пробили одиннадцать; ибо набат – дело рук человеческих, время – дело божье. Бой часов не произвел никакого впечатления на Жана Вальжана; он не шелохнулся. Но почти сейчас же раздался ружейный залп со стороны Центрального рынка, и затем снова, еще более оглушительный; вероятно, то началась атака баррикады на улице Шанврери, которую, как мы только что видели, отбил Мариус. При этом двойном залпе, ярость которого, казалось, возрастала в безмолвии ночи, Жан Вальжан вздрогнул. Встав, он обернулся в ту сторону, откуда донесся грохот, потом опять опустился на тумбу, скрестив руки, и голова его вновь медленно склонилась на грудь.

Он возобновил мрачную беседу с самим собою. Вдруг он поднял глаза, – по улице кто-то шел, неподалеку от него слышались шаги; он взглянул и при свете фонаря у здания Архива, где кончается улица, увидел бледное, юное и веселое лицо.

На улицу Вооруженного человека пришел Гаврош.

Он поглядывал вверх и, казалось, что-то разыскивал. Он отлично видел Жана Вальжана, но не обращал на него внимания.

Поглядев вверх, Гаврош стал смотреть вниз; поднявшись на цыпочки, он осматривал двери и окна первых этажей; все они были закрыты, заперты на замки и засовы. Проверив пять или шесть входов в дома, забаррикадированные таким образом, гамен пожал плечами и определил положение вещей следующим восклицанием:

– Черт побери!

Потом снова начал смотреть вверх.

Жан Вальжан, который за минуту до того при душевном своем состоянии ни к кому сам не обратился бы и даже не ответил бы на вопрос, почувствовал непреодолимое желание заговорить с этим мальчиком.

– Малыш, – сказал он, – что тебе надо?

– Мне надо поесть, – откровенно ответил Гаврош. И прибавил: – Сами вы малыш.

Жан Вальжан порылся в кармане и достал пятифранковую монету.

Но Гаврош, принадлежавший к породе трясогузок и быстро перескакивавший с одного на другое, уже поднимал камень. Он увидел фонарь.

– Смотрите-ка, – сказал он, – у вас тут еще есть фонари! Вы не подчиняетесь правилам, друзья. Это непорядок. А ну-ка разобьем это светило.

И он бросил камнем в фонарь; стекло разлетелось с таким треском, что обыватели, засевшие за своими укрытиями в доме напротив, закричали: «Вот и начинается девяносто третий год!»

Фонарь, сильно качнувшись, потух. На улице сразу стало темно.

– Так, так, старушка-улица, – одобрил Гаврош, – надевай свой ночной колпак. – И, повернувшись к Жану Вальжану, спросил: – Как называется этот большущий сарай, что торчит тут у вас в конце улицы? Архив, что ли? Пообломать бы эти толстые дурацкие колонны и соорудить баррикаду, вот было бы славно!

Жан Вальжан подошел к Гаврошу.

– Бедняжка, – пробормотал он про себя, – он хочет есть.

И сунул ему в руку пятифранковую монету.

Гаврош задрал нос, удивленный величиной этого «су»; он смотрел на него в темноте, и поблескивание большой монеты ослепило его. Понаслышке он знал о пятифранковых монетах; их слава была ему приятна, и он пришел в восхищение, видя одну из них так близко. Он сказал: «Поглядим-ка на этого тигра».

Несколько мгновений он восторженно созерцал ее, потом, повернувшись к Жану Вальжану, протянул ему монету и величественно сказал:

– Буржуа, я предпочитаю бить фонари. Возьмите себе вашего дикого зверя. Меня не подкупишь. Он о пяти когтях, но меня не оцарапает.

– Есть у тебя мать? – спросил Жан Вальжаи.

– Уж скорей, чем у вас, – не задумываясь, ответил ему Гаврош.

– Тогда возьми эти деньги для твоей матери, – продолжал Жан Вальжан.

Гавроша это тронуло. Кроме того, он заметил, что говоривший с ним человек был без шляпы. Это внушило ему доверие.

– Вправду? – спросил он. – Это не для того, чтобы я не бил фонари?

– Бей, сколько хочешь.

– Вы славный малый, – заметил Гаврош.

И опустил пятифранковую монету в карман. Доверие его возросло, и он прибавил:

– Вы живете на этой улице?

– Да, а что?

– Можете вы мне показать дом номер семь?

– Зачем тебе дом номер семь?

Мальчик запнулся, побоявшись, что сказал слишком много, и, яростно запустив всю пятерню в волосы, ограничился восклицанием:

– Да так!

У Жана Вальжана мелькнула догадка. Душе, объятай тревогой, свойственны такие озарения.

– Может быть, ты принес мне письмо, которого я ожидаю? – спросил он.

– Вам? – сказал Гаврош. – Вы не женщина.

– Письмо адресовано мадемуазель Козетте, не так ли?

– Козетте? – проворчал Гаврош. – Как будто там так и написано. Смешное имя!

– Ну так вот, – ответил Жан Вальжан, – я-то и должен передать ей письмо. Давай его сюда.

– В таком случае вы, конечно, знаете, что я послан с баррикады?

– Конечно, знаю.

Гаврош сунул руку в другой свой карман и вытащил сложенную вчетверо бумагу.

Затем он сделал под козырек.

– Почет депеше, – сказал он. – Она от временного правительства.

– Давай, – сказал Жан Вальжан.

Гаврош держал бумажку, подняв ее над головой.

– Не думайте, что это любовная цидулка. Она написана женщине, но во имя народа. Мы, мужчины, воюем, но уважаем слабый пол. У нас не так, как в высшем свете, где франтики посылают секретки всяким дурищам.

– Давай.

– Право, вы, кажется, славный малый, – продолжал Гаврош.

– Давай скорей.

– Натё.

Он вручил бумажку Жану Вальжану.

– И поторапливайтесь, господин Икс, а то мамзель Иксета ждет не дождется.

Гаврош был весьма доволен своей остротой.

– Куда отнести ответ? – спросил Жан Вальжан. – К Сен-Мерри?

– Ну и ошибетесь немножко, – воскликнул Гаврош, – как говорится, пирожок – не лепешка.

Это письмо с баррикады на улице Шанврери, и я возвращаюсь туда. Покойной ночи, гражданин.

С этими словами Гаврош ушел, или, лучше сказать, упорхнул, как вырвавшаяся на свободу птица, туда, откуда прилетел. Он вновь погрузился в темноту, словно просверливая в ней дыру, с неослабевающей быстротой метательного снаряда; улица Вооруженного человека опять стала безмолвной и пустынной; в мгновение ока этот странный ребенок, в котором было нечто от тени и сновидения, утонул во мгле между рядами черных домов, потерявшись там, как дымок во мраке. Можно было подумать, что он растаял и исчез, если бы через несколько минут громкий треск разбитого стекла и раскатистый грохот фонаря, обрушившегося на мостовую, вдруг снова не разбудил негодующих обывателей. То орудовал Гаврош, пробегая по улице Шом.

Глава 3

Пока Козетта и Тусен спят...

Жан Вальжан вернулся к себе с письмом Мариуса. Довольный темнотой, как сова, которая несет в гнездо добычу, он ощупью поднялся по лестнице, тихонько отворил и закрыл дверь своей комнаты, прислушался, нет ли какого-нибудь шума, и установил, что, по всей видимости, Козетта и Тусен спят. Ему пришлось обмакнуть в пузырек со смесью Фюмада три или четыре спички, прежде чем он зажег одну, так сильно дрожала его рука; то, что он сейчас делал, было похоже на воровство. Наконец свеча была зажжена, он облокотился на стол, развернул записку и стал читать.

Когда человек глубоко взволнован, он не читает, а, можно сказать, набрасывается на бумагу, сжимает ее, словно жертву, мнет ее, вонзает в нее когти ненависти или ликования; он перебегает к концу, перескакивает к началу. Внимание его лихорадочно возбуждено; оно схватывает в общих чертах, приблизительно лишь самое существенное; оно останавливается на чем-нибудь одном, все остальное исчезает. В записке Мариуса Жан Вальжан увидел лишь следующие слова:

«...Я умираю. Когда ты будешь читать это, моя душа будет уже подле тебя».

Глядя на эти две строчки, он ощутил чудовищную радость; была минута, когда стремительная смена чувств словно раздавила его, и он смотрел на записку Мариуса с каким-то пьяным изумлением; ему представилось великолепное зрелище – смерть ненавистного существа.

В душе он испустил дикий вопль восторга. Итак, все это кончилось. Развязка наступила скорей, чем он смел надеяться. Существо, ставшее на его пути, исчезнет. Этот Мариус уходит из жизни сам, без принуждения, по доброй воле. Без его, Жана Вальжана, участия, без какой бы то ни было вины с его стороны, «этот человек» скоро умрет. А может быть, уже умер. Тут, в лихорадочном своем возбуждения, он стал прикидывать в уме. Нет. Он еще не умер. Письмо было, по-видимому, послано с расчетом на то, чтобы Козетта прочла его завтра утром; после двух залпов, раздавшихся между одиннадцатью часами и полночью, ничего не произошло; баррикаду по-настоящему атакуют только на рассвете; но все равно, с той минуты, как «этот человек» вовлечен в восстание, можно считать его погибшим, он попал между зубчатых колес. Жан Вальжан почувствовал, что пришло его освобождение. Итак, он опять будет вдвоем с Козеттой. Конец соперничеству, вновь открывалось перед ним будущее. Для этого надо лишь спрятать в карман записку. Козетта никогда не узнает, что случилось с «этим человеком». «Остается только не препятствовать тому, чему суждено свершиться, – думал он. – Этот человек не может спастись. Если он еще не умер, то, несомненно, умрет. Какое счастье!»

Сказав себе все это, он стал мрачен.

Затем он спустился вниз и разбудил привратника.

Приблизительно час спустя Жан Вальжан вышел из дома, с оружием, в полной форме национального гвардейца. Привратник без труда раздобыл для него у соседей недостающие части снаряжения. У него было заряженное ружье и сумка, полная патронов. Он направился в сторону Центрального рынка.

Глава 4

Излишний пыл Гавроша

Тем временем с Гаврошем произошло приключение. Добросовестно разбив камнем фонарь на улице Шом, он вышел на улицу Вьейль-Одриет и, не встретив там «даже собаки», нашел случай подходящим, чтобы затянуть одну из тех песенок, которые он знал. Пение не замедлило его шагов, наоборот, ускорило. Вдоль заснувших или напуганных домов посыпались следующие зажигательные куплеты:

Злословил дрозд в тени дубравы:

«Недавно с девушкой одной

Какой-то русский под сосной...»

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

Дружок Пьерро, ну что за нравы,

Ты, что ни день, всегда с другой!

К чему калейдоскоп такой?

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

Подчас любовь страшней отравы!

За горло нежной взят рукой,

Терял я разум и покой.

Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

О, где минувших дней забавы!
Лизон играть хотела мной,
Раз, два... и обожглась игрой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Когда Сюжетта – боже правый! —
Метнет, бывало, взгляд живой,
Я весь дрожу, я сам не свой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Я перелистываю главы,
Мадлен со мной в тиши ночной,
И что мне черти с сатаной!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Но как причудницы лукавы!
Приманят ножки наготой —
И упорхнут... Адель, постой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Бледнели звезды в блеске славы,
Когда с кадрили, ангел мой,
Со мною Стелла шла домой.
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Распевая, Гаврош усиленно жестикулировал. Жест – точка опоры для припева. Он корчил причудливые рожи, и его физиономия, неисчерпаемая сокровищница гримас, передергивалась, точно прорехи рваного белья, которое сушится на сильном ветру. К сожалению, он был один, дело происходило ночью, и этого никто не мог увидеть и не увидел. Так пропадают даром таланты.

Внезапно он остановился.

– Прервем романс, – сказал он.

Его кошачьи глаза только что разглядели в темноте, в углублении ворот, то, что в живописи называется «ансамблем», иначе говоря, некое существо и некую вещь; вещь была ручной тележкой, а существо – спавшим на ней овернцем.

Ручки тележки упирались в мостовую, а голова овернца упиралась в передок тележки. Он лежал, съезжившись на этой наклонной плоскости, касаясь ногами земли.

Гаврош, искушенный в житейских делах, сразу признал пьяницу. Это был какой-то уличный возчик, крепко выпивший и крепко спавший.

«Вот на что годятся летние ночи, – подумал Гаврош. – Овернец засыпает в своей тележке,

после чего тележку берут для Республики, а овернца оставляют монархии».

Его ум только что осенила следующая блестящая идея: «Тележка отлично подойдет для нашей баррикады».

Овернец храпел.

Гаврош тихонько потянул тележку за передок, а овернца, как говорится, за нижние конечности, то есть за ноги, и минуту спустя пьяница как ни в чем не бывало покоился, растянувшись на мостовой.

Тележка была свободна.

Гаврош, привыкший во всеоружии встречать неожиданности, носил при себе все свое имущество. Он порылся в карманах и извлек оттуда клочок бумажки и огрызок красного карандаша, подтибранный у какого-то плотника.

Он написал:

«Французская республика.
Тележка получена».

И подписался:

«Гаврош».

Затем он засунул записку в карман плисового жилета продолжавшего храпеть овернца, взялся обеими руками за оглобли и, толкая перед собой грохочущую тележку, пустился во всю прыть в сторону Центрального рынка, торжествуя свою победу.

Это грозило опасностью. Возле королевской типографии находилась караульня. Гаврош не подумал об этом. Ее занимал отряд национальных гвардейцев предместья. Встревоженный отряд начал шевелиться, и головы то и дело поднимались на походных койках. Два фонаря, разбитые один за другим, песенка, распеваемая во все горло, – всего этого было слишком много для улиц-трусих, для улиц, где с самого заката тянет ко сну и где так рано надеваются на свечи гасильники. А уже с час уличный мальчишка бесновался в этой мирной округе, подобно забившейся в бутылку мухе. Сержант околотка прислушался. Он выжидал. Это был человек осторожный.

Отчаянный грохот тележки переполнил меру терпения и вынудил сержанта к попытке произвести расследование.

– Они здесь, целой шайкой! – воскликнул он. – Пойдем посмотрим потихоньку.

Было ясно, что гидра анархии вылезла из своего логова и бесчинствует в квартале.

И сержант, бесшумно ступая, отважился выйти из караульни.

Внезапно, как раз у выхода с улицы Вьейль-Одриет, Гаврош и его тележка столкнулись вплотную с мундиром, кивером, плюмажем и ружьем.

Он разом остановился вторично.

– Смотри-ка, – удивился Гаврош, – он тут как тут. Добрый вечер, господин общественный порядок.

Удивление Гавроша всегда длилось очень недолго.

– Ты куда идешь, оборванец? – закричал сержант.

– Гражданин, – ответил Гаврош, – я вас еще не назвал буржуа. Почему же вы меня оскорбляете?

– Ты куда идешь, шалопай?

– Сударь, – ответил Гаврош, – может быть, вчера вы и были умным человеком, но сегодня

утром вас лишили этого звания.

– Я тебя спрашиваю, куда ты идешь, негодяй?

– Вы разговариваете очень мило. Право, вам нельзя дать ваши годы. Почему бы вам не продать свою шевелюру по сто франков за волосок? Вы выручили бы целых пятьсот франков.

– Куда ты идешь? Куда идешь? Куда? Говори, бандит!

– Какие скверные слова, – заметил Гаврош. – В следующее кормление, перед тем как дать грудь, пусть вам получше вытрут рот.

Сержант выставил штык.

– Ты скажешь, наконец, куда ты идешь, злодей?

– Господин генерал, – ответил Гаврош, – я ищу доктора для моей супруги, она родит.

– К оружию! – закричал сержант.

Спасти при помощи того, что вам угрожало гибелью, – вот верх искусства сильных людей; Гаврош сразу оценил положение вещей. Раз тележка его подвела, значит, тележка должна и выручить.

В тот миг, когда сержант готов был ринуться на Гавроша, тележка, превратившись в метательный снаряд, пущенный изо всей мочи, бешено покатила на него, и сержант, получив удар в самое брюхо, кувырком полетел в канаву, причем ружье его тут же разрядилось в воздух.

На крик сержанта гурьбой высыпали солдаты; ружейный выстрел повлек за собой общий беспорядочный залп, затем караульные перезарядили ружья и снова начали стрелять.

Эта пальба наугад продолжалась добрых четверть часа, и пули поразили насмерть несколько оконных стекол.

Тем временем Гаврош, без памяти бросившийся назад, остановился за пять или шесть улиц от места происшествия и, запыхавшись, уселся за тумбу, отмечающую угол улицы Красных сирот.

Он внимательно прислушался.

Отдышавшись, он обернулся в ту сторону, откуда доносилась неистовая стрельба, и три раза подряд левой рукой сделал нос, одновременно хлопая себя правой по затылку. Сей выразительнейший жест, в который парижские гамены вложили всю французскую иронию, по-видимому, живуч, так как он держится уже с полвека.

Но веселое настроение Гавроша вдруг омрачилось горестной мыслью.

«Так, – подумал он, – я хихикаю, помираю со смеху, нахохотался всласть, но я потерял дорогу. Хочешь не хочешь, а придется дать крюк. Только бы вовремя вернуться на баррикаду!»

Вслед за этим он продолжал свой путь.

«Ах да, на чем же это я остановился?» – стал он вспоминать на бегу.

И он снова запел свою песенку, быстро ныряя из улицы в улицу, а в темноте, постепенно затихая, звучало:

Скосило время вас, как травы,
Но тверд иных бастилий строй.
Друзья, долой режим гнилой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Сразимся в кегли для забавы!
Где шар? Один удар лихой —
И трон Бурбонов стал трухой.
Мои красавицы, куда вы

Умчались пестрой чередой?

Бледнея, в Лувре ждут расправы,
Народ, монархию долой!
Мети железною метлой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Решетки не задержат лавы!
Ах, Карл Десятый, срам какой,
Летит за дверь – и в грязь башкой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Вооруженное выступление караула не оказалось безрезультатным. Тележка была захвачена, пьяница взят в плен. Тележка была отправлена под арест, а пьяница впоследствии слегка наказан военным судом как соучастник. Этот случай свидетельствует о неутомимом рвении прокуратуры тех времен в деле охраны общественного порядка.

Приключение Гавроша, сохранившееся в преданиях квартала Тампль, является одним из самых страшных воспоминаний старых буржуа Марэ и запечатлено в их памяти нижеследующим образом: «Ночная атака на караульное помещение Королевской типографии».

Книга первая

Война в четырех стенах

Глава 1

Харибда предместья Сент-Антуан и Сцилла предместья Тампль

Две наиболее памятные баррикады, которые может отметить исследователь социальных болезней, не принадлежат к тому времени, когда происходят события этой книги. Обе эти баррикады, являющиеся каждая в своем роде символом грозной эпохи, выросли из земли во время рокового июньского восстания 1848 года – величайшей из всех уличных войн, какие только видела история.

Случается иногда, что чернь, великая бунтовщица, восстает даже против высоких принципов, против свободы, равенства и братства, против избирательного права, против верховной власти народа, восстает из бездны своего отчаяния, своих скорбей, разочарований, тревог, лишений, смрада, невежества, темноты; случается, что простонародье объявляет войну народу.

Оборванцы нападают на общественное право; охлократия ополчается против демоса.

Это мрачные дни, ибо даже в такой безумии всегда есть известная доля справедливости, такая дуэль похожа на самоубийство, а слова якобы оскорбительные – оборванцы, чернь, охлократия, простонародье – доказывают, увы, скорее вину тех, кто господствует, чем тех, кто страдает: скорее вину привилегированных, чем вину обездоленных.

Что до меня, я произношу эти слова с болью и уважением, ибо если философия углубится в явления, которым эти слова соответствуют, она нередко найдет там великое наряду с ничтожным. В Афинах была охлократия, гезы создали Голландию, плебеи много раз спасали Рим, а чернь следовала за Иисусом.

Кто из мыслителей порою не задумывался над величиим социального дна!

Именно об этой черни, о всех этих бедняках, бродягах, отверженных, из которых вышли апостолы и мученики, думал, вероятно, блаженный Иероним, когда произнес свое загадочное изречение: *Fex urbis, lex orbis*^[144].

Возмущение этой толпы, страдающей и обливаемой кровью, ее бессмысленный бунт против жизненно необходимых для нее же принципов, ее беззакония являются попытками государственного переворота и должны быть подавлены. Честный человек идет на это и именно из любви к толпе вступает с ней в борьбу. Но как он сочувствует ей, хоть и сопротивляется! Как уважает ее, хоть и дает ей отпор! Здесь один из редких случаев, когда, поступая справедливо, мы испытываем смущение и словно не решаемся довести дело до конца; мы упорствуем – это необходимо, но удовлетворенная совесть печальна; мы выполняем свой долг, а сердце щемит в груди.

Поспешим оговориться – июнь 1848 года был событием исключительным, почти не поддающимся классификации в философии истории. Все слова, сказанные нами выше, надо взять обратно там, где речь идет об этом неслыханном мятеже, в котором сказалась священная ярость труда, взывающего о своих правах. Пришлось подавить мятеж, того требовал долг, так как мятеж угрожал Республике. Но что же в сущности представлял собою июнь 1848 года? Восстание народа против самого себя.

То, что относится к основному сюжету, нельзя считать отступлением; поэтому да будет нам дозволено ненадолго остановить внимание читателя на двух единственных в своем роде

баррикадах, о которых мы только что упоминали и которые особенно характерны для этого вооруженного восстания.

Одна заграждала заставу предместья Сент-Антуан, другая защищала подступы к предместью Тампль; те, кому довелось увидеть эти выросшие под ясным голубым июньским небом грозные творения гражданской войны, никогда их не забудут.

Сент-антуанская баррикада была чудовищных размеров – высотой с трехэтажный дом и шириной в семьсот футов. Она загоразживала от угла до угла широкое устье предместья, то есть сразу три улицы; изрытая, иссеченная, зубчатая, изрубленная, с громадным проломом, как бы образующим бойницу, подпираемая горами камней, превращенными в бастионы, там и сям выдаваясь вперед неровными выступами, надежно прикрывая свой тыл двумя высокими мысами домов предместья, она вздымалась, как гигантская плотина, в глубине страшной площади, некогда видевшей 14 июля. Девятнадцать баррикад громоздились уступами, уходя в глубь улиц, позади этой баррикады-прародительницы. Достаточно было увидеть ее издали, чтобы почувствовать ужасные предсмертные страдания городских окраин, достигшие того предела, когда нужда превращается в катастрофу. Из чего была построена баррикада? Как говорили одни, из развалин трех шестиэтажных домов, нарочно для этого разрушенных. По словам других, ее сотворило чудо народного гнева. Эти развалины наводили тоску, как все порождения ненависти. Можно было спросить: кто это построил? Можно было спросить также: кто это разрушил? То было создано вдохновенным порывом клочущей ярости. Стой! вот дверь! вот решетка! вот навес! вот рама! вот сломанная жаровня! треснувший горшок! Давай все, швыряй все! Толкай, тащи, выворачивай, выламывай, сшибай, разрушай все! В одну кучу дружно валились булыжники, щебень, бревна, железные брусья, тряпье, битое стекло, ободранные стулья, капустные кочерыжки, лохмотья, мусор, проклятия. Это было величественно и ничтожно. Пародия на первозданный хаос, мгновенно созданная нищетой. Массы и атомы вперемешку; кусок стены рядом с дырявой миской – грозное братство всевозможных обломков; Сизиф бросил сюда свою каменную глыбу, а Иов – свой черепок. Все в целом внушало ужас. Это был Акрополь голытьбы. По всему скату торчали опрокинутые тележки; огромная повозка, перевернутая колесами вверх, казалась шрамом на этом мятежном лице; распряженный омнибус, который со смехом втащили на руках на самую верхушку, как будто строители варварского сооружения хотели соединить трагическое с забавным, вытягивал свое дышло навстречу каким-то неведомым небесным коням. Эта гигантская насыпь, намытая волнами мятежа, вызывала в памяти нагромождение Осы на Пелион во всех революциях; 93-й год на 89-й, 9 термидора на 10 августа, 18 брюмера на 21 января, вандемьер на прериаль, 1848-й год на 1830-й. Площадь того стоила, и баррикада имела право возникнуть на том самом месте, где исчезла Бастилия. Если бы океан строил плотины, он воздвиг бы именно такую. Ярость прилива наложила печать на эту бесформенную запруду. Какого прилива? Толпы. Казалось, вы видите окаменелый вопль. Казалось, вы слышите, как жужжат над баррикадой, словно над ульем, огромные невиданные пчелы бурного прогресса. Была ли то непроходимая чаща? Или следы пьяной оргии? Или крепость? Чудилось, будто безумие создало это взмахом крыла. Было что-то омерзительное в этом укреплении и нечто олимпийское в этом хаосе. Там и сям в отчаянном сумбуре торчали стропила крыш, оклеенные обоями углы мансард, оконные рамы с целыми стеклами, стоящие среди щебня в ожидании пушечного выстрела, сорванные с кровель трубы, шкафы, столы, скамейки, в бессмысленном кричащем беспорядке, всевозможный убогий скарб, отвергнутый даже нищими и носящий отпечаток ярости и разрушения. Можно было бы сказать, что это лохмотья народа: лохмотья из дерева, из железа, меди, камня, и что предместье Сент-Антуан вышвырнуло все это за дверь могучим взмахом метлы, создав баррикаду из своей нищеты. Обрубки, напоминавшие плаху, разорванные цепи, брусья с перекладиной в виде

виселиц, колеса, валяющиеся среди щебня, населяли это жилище анархии мрачными видениями всех древних пыток, каким некогда подвергался народ. Сент-Антуанская баррикада обращала в оружие все; все, чем гражданская война может запустить в голову обществу, вылетало оттуда; то было не сражение, а припадок бешенства. Карабины, которые защищали этот редут, в том числе и несколько мушкетонов, палили осколками, костяшками, пуговицами, даже колесиками из-под ночных столиков, представлявшими собой весьма опасные снаряды, так как они были из меди. Баррикада бесновалась. Она оглашала небо неистовыми воплями; время от времени, как бы дразня осаждавших, она покрывалась бушующей толпой, венчала себя морем горячих голов; она вся кишела людьми, щетинилась колючим гребнем ружей, сабель, палок, топоров, пик и штыков; огромное красное знамя плескалось по ветру. С баррикады доносились крики команды, боевые песни, дробь барабанов, женский плач и жуткий смех умирающих с голоду. Она была необъятна и полна жизни, она вспыхивала искрами, как спина электрического ската. Дух революции клубился облаком над этой вершиной, откуда гремел глас народа, подобный гласу божию; эта гигантская груда мусора казалась исполненной странного величия. То была куча отбросов, и то был Синай.

Как мы говорили выше, баррикада сражалась во имя Революции. С кем? С самой Революцией. Эта баррикада, порождение беспорядка, смятения, случайности, недоразумения, неведения, стояла лицом к лицу с Учредительным собранием, с верховной властью народа, со всеобщим избирательным правом, с нацией, с Республикой; Карманьола вызывала на бой Марсельезу.

Вызов безрассудный, но героический, ибо этот старый пригород сам был героем.

Предмесье и его редут поддерживали друг друга. Предмесье опиралось на редут, редут прислонялся к предмесью. Громадная баррикада высилась, как скала, о которую разбивалась стратегия генералов, прославленных в африканских походах. Все ее впадины, наросты, шишки, горбы казались в клубах дыма ее гримасами, озорной ее усмешкой. Картечь застревала в ее бесформенной массе, снаряды вязли там, поглощались, исчезали, ядра только дырявили дыры; какой смысл бомбардировать хаос? И войска, привыкшие к самым страшным картинам войны, с тревогой глядели на этот редут-чудовище, щетинистый, как вепрь, и огромный, как гора.

В четверти мили оттуда, если бы кто отважился заглянуть за острый выступ, образуемый витриной магазина Далемань, на углу улицы Тамплъ, выходящей на бульвар близ Шато-д'О, то можно было увидеть вдалеке, по ту сторону канала, на верхнем конце улицы, поднимающейся лесенкой по предмесью Бельвиль, какую-то странную стену в два этажа высотой. Она соединяла прямой чертой дома правой стороны с левой, как будто улица сама отвела назад свою самую высокую стену, чтобы выставить надежный заслон. Это была стена из тесаного камня. Прямая, гладкая, холодная, крутая, она была выверена наугольником, выложена по шнурку, проверена по отвесу. Разумеется, ее не цементировали, но, как и в иных римских стенах, это не нарушало строгой ее архитектуры. По высоте можно было догадаться о ее толщине. Карниз был математически точно параллелен основанию. На серой поверхности, через известные промежутки, можно было различить едва заметные отверстия бойниц, подобные черным линиям. Бойницы были расположены на равных расстояниях друг от друга. Улица была пустынна из конца в конец; все окна и двери заперты, а в глубине возвышалась эта застава – неподвижная и безмолвная стена, превращавшая улицу в тупик. На стене никого не было видно, ничего не было слышно: ни крика, ни шума, ни дыхания. Она казалась гробницей.

Ослепительное июньское солнце заливало светом это грозное сооружение.

То была баррикада предмесья Тамплъ.

Подойдя к этому месту и увидев ее, даже самые смелые призадумывались, пораженные загадочным видением. Все здесь было строго, прямолинейно, тщательно прилажено, плотно

пригнано, симметрично и зловеще. Здесь наука сочеталась с магией. Казалось, создателем такой баррикады мог быть геометр или призрак. Глядя на нее, невольно понижали голос.

Время от времени, как только солдат, офицер или представитель власти решался пересечь пустынную улицу, раздавался тонкий свистящий звук, и прохожий падал раненый или убитый. Если же ему удавалось перебежать, пуля вонзалась в закрытую ставню, застревала между кирпичами или в стенной штукатурке. А иногда вылетала и картечь. Бойцы баррикады сделали из двух обломков чугунных газовых труб, заткнутых с одного конца паклей и глиной, две небольшие пушки. Пороха зря не тратили: почти каждый выстрел попадал в цель. Здесь и там валялись трупы, лужи крови стояли на мостовой. Мне запомнился белый мотылек, порхавший посреди улицы. Лето остается летом.

Все подворотни окрестных домов были забиты ранеными.

Каждый чувствовал себя под прицелом невидимого врага и понимал, что улица пристреляна во всю длину.

Солдаты, построенные для атаки у Тампльской заставы, за горбатым мостом канала, хмуро и сосредоточенно разглядывали этот мрачный редут, неподвижный, бесстрастный, рассылающий смерть. Некоторые добирались ползком до середины выгнутого дугой моста, стараясь не выставлять кивера.

Бравый полковник Монтейнар любовался баррикадой не без внутреннего трепета. «А как построено! – сказал он, обращаясь к одному из депутатов. – Ни один камень не выдается. Точно из фарфора!» В этот миг пуля пробила орден на его груди, и он упал.

«Труссы! – кричали солдаты. – Да покажитесь же! Дайте на вас посмотреть! Они не смеют! Они прячутся!» Баррикада предместья Тамплъ, которую защищали восемьдесят человек против десяти тысяч, продержалась три дня. На четвертый, как в битве при Зааче и при Константине, атакующие ворвались в дома, прошли по крышам, и баррикада была взята. Ни один из восьмидесяти «трусов» и не подумал бежать, все были убиты, кроме начальника Бартелеми, о котором мы скажем позже.

Баррикада Сент-Антуан поражала раскатами громов, баррикада Тамплъ – молчанием. Между двумя редутами была та же разница, что между страшным и зловещим. Одна казалась мордой зверя, другая – маской.

Если в грандиозном и мрачном июньском восстании сочетались гнев и загадка, то за первой баррикадой чудился дракон, за второй – сфинкс.

Две эти крепости были созданы двумя людьми, по имени Курне и Бартелеми. Курне воздвиг баррикаду Сент-Антуан, Бартелеми – баррикаду Тамплъ. Каждая отражала черты того, кто ее построил.

Курне был человек высокого роста, широкоплечий, полнокровный, с могучими кулаками, смелым сердцем, чистой душой, с открытым и грозным взглядом. Отважный, решительный, вспыльчивый, буйный, он был самым добродушным из людей и самым опасным из бойцов. Война, борьба, схватка были его родной стихией и радовали его. Он служил когда-то офицером флота; по его движениям и голосу можно было угадать, что он дитя океана, порождение бури; он врывался в битву как ураган. У Курне было нечто общее с Дантоном, но не было гениальности, как у Дантона было нечто общее с Геркулесом, но не было божественного происхождения.

Худенький, невзрачный, бледный, молчаливый Бартелеми напоминал гамена, но с трагической судьбой; получив как-то пощечину от полицейского, он его выследил, подстерег, убил и, семнадцати лет от роду, был сослан на каторгу. Выйдя оттуда, он построил баррикаду.

Волею рока, в Лондоне, где позже оба они жили в изгнании, Бартелеми убил Курне. Злосчастная дуэль! Некоторое время спустя, запутанный в одну из тех загадочных историй, где

замешана страсть, в одну из тех катастроф, где французское правосудие видит смягчающие обстоятельства, а английское правосудие – только убийство, Бартелеми был повешен. Наш общественный строй так мрачен, что этот несчастный, который, несомненно, был одарен незаурядным, а может быть, и выдающимся умом, в силу материальных лишений и низкого морального уровня начал каторгой во Франции и кончил виселицей в Англии. Во всех случаях Бартелеми водружал одно только знамя – черное.

Глава 2

Что делать в бездне, если не беседовать?

Шестнадцать лет – немалый срок для тайной подготовки к восстанию, и июнь 1848 года научился многому в сравнении с июнем 1832 года. Поэтому баррикада на улице Шанврери была только наброском, только зародышем по сравнению с двумя гигантскими баррикадами, описанными выше; но для своего времени она была страшной.

Под наблюдением Анжольраса повстанцы употребили с пользой ночные часы; Мариус уже ни на что не обращал внимания. Баррикада не только была восстановлена, но и достроена. Ее подняли на два фута выше. Железные брусья, воткнутые в мостовую, напоминали пики, взятые наперевес. Всевозможный хлам, собранный отовсюду и наваленный с внешней стороны баррикады, довершал ее хаотический вид. Искусно построенный редут представлял собой изнутри гладкую стену, а снаружи непроходимую чащу.

Лестницу из булыжников починили, так что на редут можно было всходить, как на крепостную стену.

На баррикаде навели порядок: очистили от мусора нижнюю залу, обратили кухню в перевязочную, перебинтовали раненых, собрали рассыпанный на полу и по столам порох, отлили пули, набили патроны, нащипали корпии, роздали валявшееся на земле оружие, прибрали редут внутри, вытащили обломки, вынесли трупы.

Убитых сложили грудой на улице Мондетур, которая все еще была в руках повстанцев. Мостовая на этом месте долго оставалась красной от крови. В числе мертвых были четыре национальных гвардейца пригородных войск. Их мундиры Анжольрас велел сохранить.

Анжольрас посоветовал всем заснуть часа на два. Совет Анжольраса был равносителен приказу. Однако ему последовали лишь трое или четверо. Фейи употребил эти два часа, чтобы изобразить на стене противоположного дома такую надпись:

ДА ЗДРАВСТВУЮТ НАРОДЫ!

Эти три слова, вырезанные на камне гвоздем, еще можно было прочесть в 1848 году.

Три женщины воспользовались ночной передышкой и окончательно исчезли: вероятно, им удалось скрыться где-нибудь в соседнем доме. Повстанцы облегченно вздохнули.

Большинство раненых еще могли и хотели участвовать в бою. В кухне, которая стала перевязочной, на тюфяках и соломенных подстилках лежало пятеро тяжело раненных, в том числе два солдата муниципальной гвардии. Солдат перевязали в первую очередь.

В нижней зале остались только Мабеф, накрытый черным покрывалом, и Жавер, привязанный к столбу.

– Здесь будет мертвецкая, – сказал Анжольрас.

В комнате, едва освещенной свечой, в самой глубине, где за столбом, наподобие перекладины, виднелся стол с покойником, смутно вырисовывались очертания громадного

креста, образуемого фигурой стоящего во весь рост Жавера и лежащим Мабефом.

Дышло омнибуса, хоть и обломанное при обстреле, еще достаточно хорошо держалось, чтобы укрепить на нем знамя.

Анжольрас, отличавшийся свойством настоящего командира – всегда претворять слово в дело, привязал к этому древку пробитую пулями и залитую кровью одежду убитого старика.

Накормить людей было уже нечем. Не осталось ни хлеба, ни мяса. За шестнадцать часов, проведенных на баррикаде, пятьдесят человек уничтожили скудные запасы кабачка. Рано или поздно любая сражающаяся баррикада неизбежно становится плотом «Медузы». Пришлось примириться с голодом. Наступили первые часы того спартански сурового дня 6 июня, когда на баррикаде Сен-Мерри Жанн, которого обступили повстанцы с криками: «Хлеба! Дайте есть!» – отвечал: «К чему? Теперь три часа. В четыре мы будем убиты».

Так как есть было нечего, Анжольрас не разрешил и пить. Он запретил вино и разделил водку на порции.

В погребе было обнаружено пятнадцать полных, плотно закупоренных бутылок. Анжольрас и Комбефер обследовали их. Поднявшись наверх, Комбефер заявил: «Это из старых запасов дядюшки Гюшлу, он начал с бакалейной торговли». – «Вино, должно быть, отменное, – заметил Боссюэ, – хорошо, что Грантэр спит. Будь он на ногах, попробуй-ка уберечь от него бутылки». Несмотря на ропот, Анжольрас наложил запрет на эти пятнадцать бутылок и, чтобы никто не посягнул на них, велел положить их под стол, на котором покоился старый Мабеф.

Около двух часов ночи сделали переключку. На баррикаде еще оставалось тридцать семь человек.

Начинало светать. Только что потушили факел, воткнутый на старое место, в щель между булыжниками. Баррикада, походившая внутри на небольшой огороженный дворик посреди улицы, была погружена в темноту и сверху, в неверных предрассветных сумерках, напоминала палубу разбитого корабля. Бойцы баррикады, бродившие взад и вперед, казались зыбкими тенями. Над этим зловещим гнездом мрака вырастали сизые очертания молчаливых домов, в вышине смутно белели трубы. Небо приняло тот очаровательный неопределенный оттенок, который кажется то белым, то голубым. В вышине с радостным щебетанием носились птицы. На крыше высокого дома, обращенного на восток и служившего опорой баррикаде, появился розовый отблеск. В слуховом оконце третьего этажа утренний ветер шевелил седые волосы на голове убитого человека.

– Я рад, что потушил факел, – сказал Курфейрак, обращаясь к Фейи, – меня раздражал этот огонь, трепещущий на ветру, будто от страха. Пламя факела подобно мудрости трусов: оно плохо освещает, потому что дрожит.

Заря пробуждает умы, как пробуждает птиц: все заговорили.

Увидев кошку, пробирающуюся по желобу на крыше, Жоли нашел в ней повод для философских размышлений.

– Что такое кошка? – воскликнул он. – Это поправка. Господь бог, сотворив мышь, сказал: «Стой-ка, я сделал глупость». И сотворил кошку. Кошка – это исправленная опечатка мыши. Мышь, потом кошка – это проверенный и исправленный пробный оттиск творения.

Комбефер, окруженный студентами и рабочими, говорил о погибших, о Жане Прувере, о Баореле, о Мабефе, даже о Кабюке и о суровой печали Анжольраса. Он сказал:

– Гармодий и Аристокитон, Брут, Хереас, Стефанус, Кромвель, Шарлотта Корде, Занд – все они, нанеся удар, испытали сердечную муку. Сердце наше так чувствительно, а жизнь человеческая такая великая тайна, что даже при политическом убийстве, при убийстве освободительном, если оно совершено, раскаяние в убийстве человека сильнее, чем радость служения человечеству.

И минуто спустя – так причудливы повороты мысли в беседе – от стихов Жана Прувера Комбефер уже перешел к сравнению переводчиков «Георгик»: Ро – с Курнаном, Курнана – с Делилем, отмечая отдельные отрывки, переведенные Мальфилатром, в особенности чудесные строки о смерти Цезаря; при упоминании о Цезаре разговор снова вернулся к Бруту.

– Убийство Цезаря справедливо, – сказал Комбефер. – Цицерон был суров к Цезарю, и был прав. Такая суровость – не злостная хула. Когда Зоил оскорбляет Гомера, Мевий оскорбляет Вергилия, Визе – Мольера, Поп – Шекспира, Фрерон – Вольтера, тут действует старый закон зависти и ненависти: гении всегда подвергаются преследованию, великих людей всегда так или иначе травят. Но Зоил одно, а Цицерон – другое. Цицерон карает мыслью так же, как Брут карает мечом. Лично я порицаю этот последний вид правосудия, но в древности его допускали. Цезарь, который переступил Рубикон, раздавал от своего имени высшие должности, на что имел право лишь народ, и не вставал с места при появлении сената, поступал, по словам Евтропия, как царь, даже больше – как тиран: *regia ac rene tyrannica*^[145]. Он был великий человек; тем хуже, или, вернее, лучше: тем убедительнее пример. Его двадцать три раны трогают меня куда меньше, чем плевков на челе Иисуса Христа. Цезаря закололи сенаторы, Христа били по щекам рабы. По степени оскорбления узнают бога.

Боссюэ, стоя на груди камней с карабином в руках и возвышаясь над всеми, восклицал:

– О Кидатеней, о Миррин, о Пробалинф, о прекрасный Эантид! О, кто бы даровал мне счастье произносить стихи Гомера, подобно греку из Лаврия или из Эдаптеона!

Глава 3

Чем, светлее, тем мрачнее

Анжольрас отправился на разведку. Он вышел незаметно через переулок Мондетур, проскользнув вдоль стен.

Повстанцы, надо сказать, были полны надежд. Удачно отразив ночную атаку, они заранее относились с пренебрежением к новой атаке на рассвете. Они ждали ее, посмеиваясь. Они так же верили в успех, как и в правоту своего дела. Кроме того, к ним, бесспорно, должны прийти подкрепления. На это они твердо рассчитывали. С тою легкой уверенностью в победе, которая составляет одно из преимуществ французского воина, они разделяли наступающий день на три определенные фазы: в шесть утра «соответствующим образом подготовленный» полк перейдет на их сторону, в полдень – восстание всего Парижа, на закате – революция.

Они слышали набатный колокол Сен-Мерри, не замолкавший ни на минуту со вчерашнего дня; это доказывало, что другая баррикада, большая баррикада Жанна, все еще держалась.

Все эти чаяния и слухи передавались от группы к группе веселым и грозным шепотом, напоминавшим воинственное жужжание пчелиного улья.

Появился Анжольрас. Он возвратился из своей отважной разведки в угрюмой окрестной тьме. С минуто он молча прислушивался к оживленному говору, скрестив руки на груди. Потом, свежий и румяный в лучах разгоравшегося рассвета, он сказал:

– Вся армия Парижа в боевой готовности. Треть этой армии угрожает нашей баррикаде. Кроме того, там национальная гвардия. Я разглядел кивера пятого линейного и значки шестого легиона. Через час нас атакуют. Что касается народа, он бунтовал вчера, а нынче утром не тронется с места. Ждать нам нечего, надеяться не на что. Ни на одно предместье, ни на один полк. Мы покинуты всеми.

Эти слова прервали гул голосов и произвели такое же впечатление, как первые капли дождя на пчелиный рой перед началом грозы. Все онемели. На миг наступила невыразимая тишина;

в ней, казалось, слышался полет смерти.

Но этот миг был краток.

Из дальней группы, стоявшей в самом темном углу, чей-то голос крикнул Анжольрасу:

– Будь что будет! Подыдем баррикаду на двадцать футов выше и останемся здесь все до одного. Граждане, поклянемся клятвой мертвецов. Докажем, что если народ предаст республиканцев, то республиканцы не предадут народ!

Слова эти освободили сознание людей от гнетущего тумана личных тревог и страхов и были встречены восторженными криками.

Никто так и не узнал имени человека, произнесшего эти слова. То был безвестный рабочий, никому не ведомый, забытый, незаметный герой, тот великий незнакомец, который всегда появляется при исторических кризисах и зарождении нового общественного строя, чтобы в нужную минуту властным голосом произнести решающее слово и вновь исчезнуть во мраке, воплотив в себе на краткий миг, при блеске молнии, дух народа и божества.

Это непреклонное решение было настолько в духе 6 июня 1832 года, что почти одновременно на баррикаде Сен-Мерри прозвучал возглас, который вошел в историю и упоминался на судебном процессе: «Придут к нам на помощь или не придут, не все ли равно! Погибнем здесь все до последнего!»

Очевидно, обе баррикады, хотя и разобщенные внешне, были объединены духовно.

Глава 4

Пятью меньше, одним больше

После того как выступил незнакомец, провозгласивший «клятву мертвецов», и выразил в этой формуле общее душевное состояние, из всех уст вырвался радостный и грозный крик, зловеющий по смыслу, но звучащий торжеством.

– Да здравствует смерть! Останемся здесь все до одного!

– Почему же все? – спросил Анжольрас.

– Все! Все!

Анжольрас возразил:

– Позиция у нас выгодная, баррикада превосходная. Вполне достаточно тридцати человек. Зачем же приносить в жертву сорок?

– Потому что никто не захочет уйти, – отвечали ему.

– Граждане! – крикнул Анжольрас, и в голосе его послышалась дрожь раздражения. – Республика не настолько богата людьми, чтобы тратить их понапрасну. Такое тщеславие – просто мотовство. Если некоторым из вас долг повелевает уйти, они обязаны выполнить его, как всякий другой долг.

Анжольрас, воплощенный принцип, пользовался среди своих единомышленников безграничной властью, которой обладает все, что непогрешимо. Но как ни велика была сила его влияния, поднялся ропот.

Командир до мозга костей, Анжольрас, услышав ропот, стал настаивать. Он заявил властным тоном:

– Пусть те, кого пугает, что нас останется только тридцать, скажут об этом. – Ропот усилился.

– Если на то пошло, легко сказать: «Уйдите», – послышался голос из какой-то группы, – ведь баррикада оцеплена.

– Только не со стороны рынка, – возразил Анжольрас. – Улица Мондетур свободна, и улицей Проповедников можно добраться до рынка Инносан.

– Вот там-то и схватят, – раздался другой голос. – Как раз напорешься на караульный отряд национальных гвардейцев или гвардейцев предместья. Они-то уж заметят человека в блузе и фуражке. «Эй, откуда ты? Уж не с баррикады ли? – и поглядят на руки. – Ага, от тебя пахнет порохом. К расстрелу!»

Вместо ответа Анжольрас тронул за плечо Комбефера, и оба вошли в нижнюю залу.

Минуту спустя они вернулись. Анжольрас держал на вытянутых руках четыре мундира, сохраненных по его приказанию. Комбефер шел за ним, неся амуницию и кивера.

– В таком мундире, – сказал Анжольрас, – легко затеряться в рядах и скрыться. Во всяком случае, на четверых здесь хватит.

И он бросил мундиры на землю.

Это не поколебало стоической решимости его слушателей. Тогда заговорил Комбефер.

– Полноте, – сказал он, – будьте же сострадательны. Знаете, в чем тут все дело? Дело в женщинах. Скажите, есть у вас жены? Да или нет? Есть дети? Да или нет? Есть матери, качающие колыбель и окруженные кучей малышей? Кто никогда не видел грудь кормилицы, подымите руку. Ах, вы хотите быть убитыми! Я сам, поверьте, хочу того же, но я не желаю видеть вокруг себя тени женщин, ломающих руки. Умирайте, если хотите, но не губите других. Самоубийство, которое здесь произойдет, возвышенно, но ведь самоубийство – действие, строго ограниченное и не выходящее за известные пределы. Как только оно коснется ваших близких, оно назовется убийством. Вспомните о белокурых детских головках, вспомните о сединах стариков. Слушайте, Анжольрас рассказал мне сейчас, что видел на углу Лебяжьей улицы освещенное свечой узкое оконце пятого этажа и на стекле дрожащую тень старушки, которая, верно, всю ночь не смыкала глаз и кого-то ждала. Быть может, это мать одного из вас. Так вот, пусть он уйдет, пусть поспешит сказать своей матери: «Матушка, вот и я!» Ему нечего беспокоиться, мы завершим дело и без него. Тот, кто содержит близких своим трудом, не имеет права жертвовать собой. Это значит бросить семью на произвол судьбы. А вы, у кого остались дочери, у кого остались сестры? Вы подумали о них? Вы идете на смерть, вас убьют – прекрасно! А завтра? Ужасно, когда девушке нечего есть! Мужчина просит милостыню, женщина продает себя. О прелестные создания, ласковые и нежные, с цветком в волосах! Они поют, болтают, озаряют ваш дом невинностью и свежим благоуханием, они доказывают своей девственной чистотой на земле существование ангелов на небесах! Подумайте о Жанне, о Лизе, о Мими, о пленительных благородных существах, которые являются гордостью и благословением вашей семьи, – и они, о боже! – они будут голодать! Что я могу сказать вам? Есть рынок, где торгуют человеческим телом; и если они пойдут туда, разве ваши тени, витающие вокруг, удержат их своими бесплотными руками? Вспомните об улице, о тротуарах, заполненных прохожими, о магазинах, перед которыми слоняются по грязи полуобнаженные женщины. Эти женщины тоже были когда-то невинными. Вспомните о ваших сестрах, у многих из вас они есть. Нищета, проституция, полиция, больница Сен-Лазар – вот что суждено этим нежным красавицам, хрупким чудесным созданиям, стыдливым, грациозным и прелестным, свежим, как майская сирень. Ах, вот как, вы дали себя убить? Вас уже нет на свете! Отлично, нечего сказать! Вы стремитесь спасти народ от королевской власти, а дочерей своих бросаете в полицейский участок. Полноте, друзья, будьте милосердны. Бедные, бедные женщины, мы так мало о них думаем! Мы полагаемся на то, что женщины не так образованны, как мы, им мешают читать, мешают мыслить, запрещают заниматься политикой; но разве вы можете запретить им пойти нынче вечером в морг и опознать там ваши трупы? Слушайте, вы, у кого осталась семья, не упрямитесь, пожмите нам руки и уходите, мы и одни здесь справимся. Я прекрасно понимаю: чтобы уйти, нужно мужество; это трудно. Но чем труднее, тем больше заслуга. Вы говорите: у меня ружье, я на баррикаде, будь что будет, я остаюсь. Будь что будет –

не слишком ли сгоряча сказано? Будет, друзья мои, завтрашний день; вы не доживете до завтра, но семьи ваши доживут, и сколько страданий их ожидает! Представьте себе славного здорового ребенка с румяными, как яблоко, щеками, который болтает, щебечет, тараторит, смеется, который так вкусно пахнет, когда его целуешь. Знаете ли вы, что с ним станет, когда его покинут? Я видел одного, совсем крошечного, вот такого роста. Его отец умер. Бедные люди приютили его из милости, но им самим не хватало хлеба. Ребенок всегда был голоден. Стояла зима. Он не плакал. Он все бродил около печки, в которой никогда не было огня, а труба у нее была обмазана желтой глиной. Он отковыривал пальчиками кусочки глины и ел ее. У него было хриплое дыхание, бледное личико, слабые ножки, вздутый живот. Он ничего не говорил и не отвечал на вопросы. Он умер. А умирать его принесли в больницу Некер, где я его и видел. Я проходил там как интерн врачебную практику. Так вот, если есть среди вас отцы, которым доставляет радость гулять по воскресеньям, держа ручку ребенка в своей большой сильной руке, пусть каждый отец представит себе, что это его ребенок. Я помню этого несчастного малыша, я как сейчас вижу его голое тельце на анатомическом столе, ребра выступали под кожей, словно могилки под кладбищенской травой. В желудке у него нашли какую-то грязь, в зубах застряла зола. Давайте же заглянем к себе в сердце, спросим совета у совести. Как установлено статистикой, смертность среди осиротевших детей достигает пятидесяти пяти процентов. Повторяю, речь идет о женщинах, о матерях, о девушках, речь идет о малышах. Кто говорит о вас самих? Мы знаем, кто вы такие, знаем, что все вы храбрецы, черт возьми! Прекрасно знаем, что вы с радостью, с гордостью готовы отдать жизнь за великое дело, что вы чувствуете себя призванными умереть с пользой и славой, что всякий из вас дорожит своей долей в общем торжестве. В добрый час! Но вы же не одни на свете. Есть другие существа, о которых вы должны подумать. Не будьте эгоистами!

Все угрюмо насупились.

Какие удивительные противоречия вскрываются в человеческом сердце в эти торжественные мгновения! Комбефер, произносивший эти слова, вовсе не был сиротой. Он помнил о чужих матерях и забыл о своей. Он шел на смерть. Он-то и был «эгоистом».

Изнуренный голодом и лихорадкой, Мариус, потеряв одну за другой все свои надежды, пережив самое страшное из крушений – упадок духа, истерзанный бурными волнениями и чувствуя близость конца, все больше впадал в странное оцепенение, которое предшествует роковому часу добровольной смерти.

Физиолог мог бы изучать на нем нарастающие симптомы того болезненного самоуглубления, изученного и классифицированного наукой, которое так же относится к страданию, как страсть – к наслаждению. У отчаяния также есть свои минуты экстаза. Мариус переживал такую минуту. Ему казалось, что он вне всего происходящего; как мы уже говорили, он видел все как бы издали, воспринимал целое, но не различал подробностей. Люди двигались словно отделенные от него огненной завесой, голоса доносились откуда-то из бездны.

Однако речь Комбефера растрогала всех. Было в этой сцене что-то острое и мучительное, что пронзило его и пробудило из забытья. Им владела только одна мысль – умереть, и он не желал ничем отвлекаться, однако в своем зловещем полусне подумал, что, губя себя, не запрещается спасать других.

Он возвысил голос:

– Анжольрас и Комбефер правы, – сказал он, – не нужно бесцельных жертв. Я согласен с ними; но надо спешить. То, что сказал Комбефер, неопровержимо. У кого из вас есть семьи, матери, сестры, жены, дети, пусть выйдут вперед.

Никто не тронулся с места.

– Кто женат, кто опора семьи, выходите вперед! – повторил Мариус.

Его влияние было велико. Вождем баррикады, правда, являлся Анжольрас, но Мариус был ее спасителем.

– Я приказываю! – крикнул Анжольрас.

– Я вас прошу, – сказал Мариус.

Тогда храбрецы, потрясенные речью Комбефера, поколебленные приказом Анжольраса, тронутые просьбой Мариуса, начали указывать друг на друга. «Это верно, – говорил молодой пожилому, – ты отец семейства, уходи». – «Уж лучше ты, – отвечал тот, – у тебя две сестры на руках». И разгорелся неслыханный спор. Каждый противился тому, чтобы его вытащили из могилы.

– Торопитесь, – сказал Комбефер, – через четверть часа будет поздно.

– Граждане, – настаивал Анжольрас, – у нас здесь республика, все решается голосованием. Выбирайте сами, кто должен уйти.

Ему повиновались. Несколько минут спустя пять человек были выбраны единогласно и вышли из рядов.

– Их пятеро! – воскликнул Мариус.

Мундиров было только четыре.

– Ну что же, одному придется остаться, – ответили пятеро.

И снова каждый стремился остаться и убеждал других уйти. Борьба великодушия возобновилась.

– У тебя любящая жена. – У тебя старая мать. – А у тебя ни отца, ни матери, что станет с твоими тремя братишками? – У тебя пятеро детей. – Ты должен жить, в семнадцать лет слишком рано умирать.

На великих революционных баррикадах соревновались в героизме. Невероятное там становилось обычным. Никто из этих людей не удивлялся друг другу.

– Скорее, скорее, – твердил Курфейрак.

Из толпы закричали Мариусу:

– Назначьте вы, кому остаться.

– Правильно, – сказали все пятеро, – выбирайте. Мы подчинимся.

Мариус не думал, что еще способен испытать подобное волнение. Однако при мысли, что он должен выбрать и послать человека на смерть, вся кровь прилила ему к сердцу. Он бы побледнел еще больше, если бы это было возможно.

Он подошел к пятерым; они улыбались ему, глаза их горели тем же священным пламенем, каким светились в глубокой древности глаза защитников Фермопил, и каждый кричал:

– Меня, меня, меня!

Мариус растерянно пересчитал их; по-прежнему их было пятеро. Затем он перевел глаза на четыре мундира.

В этот миг на четыре мундира как будто с неба упал пятый.

Пятый человек был спасен.

Мариус поднял глаза и узнал г-на Фошлевана.

Жан Вальжан только что появился на баррикаде.

Не то разведав об этом пути, не то по внутреннему чутью, не то просто случайно, но он проник туда со стороны улицы Мондетур. Благодаря форме национальной гвардии он прошел благополучно.

Дозор, выставленный мятежниками на улице Мондетур, не стал поднимать тревогу из-за одного национального гвардейца. Решив, что это, вероятно, кто-нибудь из пополнения или, в худшем случае, пленный, его пропустили. Момент был слишком опасен, караульные не могли отвлечься от своих обязанностей и покинуть наблюдательный пост.

Появления Жана Вальжана на редуте никто не заметил, так как все глаза были устремлены на пятерых избранных и на четыре мундира. Но Жан Вальжан видел и слышал все: он молча снял с себя мундир и бросил его поверх прочих.

Трудно описать всеобщее волнение.

– Кто этот человек? – спросил Боссюэ.

– Тот, кто спасает других, – ответил Комбефер.

– Я знаю его, – прибавил Мариус серьезно.

Его поручительства было достаточно. Анжольрас обратился к Жану Вальжану:

– Добро пожаловать, гражданин. – И добавил: – Вы знаете, что нам придется умереть?

Вместо ответа Жан Вальжан стал помогать спасенному им повстанцу переодеться в свой мундир.

Глава 5

Какой горизонт открывается с высоты баррикады

Душевное состояние всех в роковой этот час, в этом месте, откуда не было исхода, нашло свое высшее выражение в глубокой печали Анжольраса.

Анжольрас являлся воплощением революции, но была в нем некоторая узость, насколько это возможно для абсолютного: он слишком походил на Сен-Жюста и недостаточно на Анахарсиса Клотца. Однако в обществе Друзей азбуки его ум в конце концов воспринял до известной степени идеи Комбефера; с некоторых пор, высвобождаясь мало-помалу из тесных рамок догматичности и поддаваясь расширяющему кругозор влиянию прогресса, он пришел к мысли, что великолепным завершением эволюции явится преобразование Великой Французской республики в огромную всемирную республику. Если же говорить о методах действия, то в данных обстоятельствах он стоял за насилие против насилия. В этом он не изменился и остался верен той грозной эпической школе, которая определяется словами: Девяносто третий год.

Анжольрас стоял на каменных ступенях, опершись на ствол своего карабина. Он был погружен в раздумье, он вздрагивал, словно на него налетали порывы ветра; в местах, где веет смерть, порою веет и пророческий дух. Глаза его, приняв выражение глубокой сосредоточенности, излучали мерцающий свет. Вдруг он поднял голову, его светлые кудри откинулись назад, окружая ее сияющим ореолом, словно волосы ангела, летящего на звездной колеснице ночи, словно разметающаяся львиная грива, и Анжольрас воскликнул:

– Граждане, вы представляете себе будущее? Улицы городов, затопленные светом, зеленые ветви у порога домов, братство народов! Люди справедливы, старики благословляют детей, прошедшее в согласии с настоящим; мыслителям – полная свобода, верующим – полное равенство, вместо религии – небеса. Первосвященник – сам бог, вместо алтаря – совесть человека; нет больше ненависти на свете, в школах и мастерских – братство; наградой и наказанием служит гласность; труд для всех, право для всех, мир надо всеми; нет больше кровопролития, нет больше войн, матери счастливы! Покорить материю – первый шаг; осуществить идеал – это второй. Подумайте, как многого уже достиг прогресс! Некогда первобытные племена взирали в ужасе на гидру, вздымающую океанские воды, на дракона, изрыгающего огонь, на страшного владыку воздуха грифона с крыльями орла и когтями тигра, – на чудовищных тварей, которые превосходили человека могуществом. Однако человек расставил западни, священные западни мысли, и в конце концов изловил чудовищ. Мы укротили гидру, и она зовется пароходом; мы укротили дракона, и он зовется локомотивом; мы вот-вот укротим грифона, мы уже поймали его, и он называется воздушным шаром. В тот день, когда завершится этот прометеев подвиг, когда воля человека окончательно обуздает трехликую

Химеру древности – гидру, дракона и грифона, он станет властелином воды, огня и воздуха, он будет тем же для остальных одушевленных существ, чем древние боги были некогда для него. Итак, смелее вперед! Граждане, куда мы идем? К государству, которым руководит наука, к силе реальности, которая станет единственной общественной силой, к естественному закону, содержащему в себе самое право признания и осуждения и утверждающему себя своей очевидностью, к восходу истины, подобному восходу зари. Мы идем к единению народов, мы идем к единению человечества. Не будет ложных истин, не останется паразитов. Реальность, управляемая истиной, – вот наша цель. Цивилизация будет заседать в сердце Европы, а позднее – в центре материка, в великом парламенте разума. Нечто подобное бывало и прежде. Собрания амфикионов происходили дважды в год: раз в Дельфах, обиталище богов, другой раз в Фермопилах, усыпальнице героев. Будут амфикионы Европы, будут амфикионы земного шара. Франция носит в своем чреве это величественное будущее. Вот чем беременно девятнадцатое столетие; Франция достойна завершить то, что зачато Грецией. Слушай меня, Фейи, честный рабочий, сын народа, сын народов. Я уважаю тебя! О да, ты прозреваешь грядущее, о да, ты прав. У тебя нет ни отца, ни матери, Фейи, и ты избрал вместо матери человечество, вместо отца – право. Тебе суждено здесь умереть, то есть восторжествовать. Граждане, что бы с нами ни случилось нынче, ждет ли нас поражение или победа, – все равно, мы творим революцию. Подобно тому как пожары озаряют весь город, революции озаряют все человечество. Во имя чего мы творим революцию, спросите вы? Я только что сказал: во имя Истины. С точки зрения политической существует один лишь принцип: верховная власть человека над самим собой. Моя власть над моим «я» называется Свободой. Там, где объединяются две таких верховных власти или более, возникает государство. Однако в этом союзе нет никакого самоотречения. Тут верховная власть добровольно уступает известную долю самой себя, чтобы образовать общественное право. Доля эта одинакова для всех. Равноценность уступок, которые каждый делает обществу, называется Равенством. Общественное право – не что иное, как защита всеми прав каждого в отдельности. Такая защита всеми прав каждого называется Братством. Точка пересечения всех этих видов верховной власти, собранных вместе, называется Обществом. Так как пересечение есть соединение, то такая точка есть узел. Отсюда возникает то, что называют социальной связью. Иные именуют это общественным договором, что, собственно, то же самое: этимологически слово «договор» образовалось из понятия связи. Условимся, как понимать равенство. Если свобода – вершина, то равенство – основание. Но равенство, граждане, вовсе не стрижка под одну гребенку всего, что способно расти и развиваться, не сборище высоких трав и низкорослых дубов, не соседство зависти и недоброжелательства, которые взаимно обеспокоивают друг друга; в гражданском отношении – это открытая дорога для всех способностей, в политическом – равноправие всех голосов при голосовании, в религиозном – одинаковая свобода совести для каждого. У равенства есть могучее орудие – бесплатное и обязательное обучение. Право на грамоту – вот с чего надо начать. Начальная школа обязательна для всех, средняя школа доступна всем – вот основной закон. Следствием одинакового образования является общественное равенство. Да, просвещение! Свет! Свет! Все исходит из света и к нему возвращается. Граждане, девятнадцатый век велик, но двадцатый будет счастливым веком. Не будет тогда ничего похожего на прежнюю историю. Не придется опасаться, как теперь, завоеваний, захватов, вторжений, соперничества вооруженных наций, прерыва в развитии цивилизации, зависящего от брака в царской фамилии, от рождения наследника в династии тиранов; не будет раздела народов конгрессом, расчленения, вызванного крушением династии, борьбы двух религий, столкнувшихся лбами, будто два адских козла на мостике бесконечности. Не будет больше голода, угнетения, проституции от нужды, нищеты от безработицы, ни эшафота, ни кинжала, ни

сражений, ни случайного разбоя в чаще происшествий. Я мог бы сказать, пожалуй: не будет и самих происшествий. Настанет всеобщее счастье. Человечество выполнит свое назначение, как земной шар выполняет свое; между душой и небесными светилами установится гармония; дух будет тяготеть к истине, как планеты, вращаясь, тяготеют к солнцу. Друзья, мы живем в мрачную годину, и я говорю с вами в мрачный час, но этой страшной ценой мы платим за будущее. Революция – это наш выкуп. О, человечество будет освобождено, возвеличено и утешено! Мы заверяем его в том с нашей баррикады. Откуда может раздаться голос любви, если не с высот самопожертвования? Братья, вот здесь, на этом месте, объединяются те, кто мыслит, с теми, кто страдает. Не из камней, не из балок, не из железного лома построена наша баррикада; она сложена из великих идей и великих страданий. Здесь несчастье соединяется с идеалом. День сливается с ночью и говорит ей: «Я умру с тобой, а ты возродишься со мною». Из слияния всех скорбей рождается вера. Страдания несут сюда свои предсмертные муки, а идеи – свое бессмертие. Эта агония и это бессмертие, соединившись воедино, станут нашей смертью. Братья, кто умрет здесь, умрет в сиянии будущего, и мы сойдем в могилу, всю пронизанную лучами зари.

Анжольрас закончил свою речь – вернее, прервал ее; его губы беззвучно шевелились, как будто он продолжал говорить сам с собой. Все смотрели на него, затаив дыхание, словно стараясь расслышать его слова. Рукоплесканий не было, но долго еще переговаривались шепотом. Слово подобно дуновению ветра; вызываемое им волнение умов похоже на волнение листвы под ветром.

Глава 6

Мариус угрюм, Жавер лаконичен

Поговорим о том, что происходило в мыслях Мариуса. Припомним состояние его души. Как мы недавно отметили, все представлялось ему только видением. Он смутно воспринимал окружающее. Над Мариусом словно нависла тень громадных зловещих крыльев, распростертых над умирающими. Ему чудилось, что он сошел в могилу, он чувствовал себя как бы по ту сторону бытия и видел лица живых глазами мертвеца.

Как очутился здесь г-н Фошлеван? Зачем он пришел? Что ему здесь делать? Мариус вовсе не задавался такими вопросами. К тому же отчаянию свойственно вселять в нас уверенность, что другие также охвачены им, поэтому Мариусу казалось естественным, что все идут на смерть.

Сердце его сжималось только при мысли о Козетте.

Впрочем, г-н Фошлеван не говорил с ним, не смотрел на него и даже как будто не слышал слов Мариуса: «Я знаю его».

Но такое поведение Фошлевана успокаивало Мариуса, мы сказали бы даже, радовало, если бы это слово подходило к его переживаниям. Ему всегда представлялось немислимым заговорить с этим загадочным человеком, который казался ему одновременно и подозрительным, и внушающим уважение. Кроме того, он очень давно не встречался с ним, что еще больше осложняло дело для такой робкой и скрытной натуры, как Мариус.

Пятеро избранных ушли с баррикады по переулку Мондетур; с виду они ничем не отличались от национальных гвардейцев. Один из них плакал, уходя. На прощание они обнялись с теми, кто оставался.

Когда ушли пятеро возвращенных к жизни, Анжольрас вспомнил о приговоренном к смерти. Он вошел в нижнюю залу. Жавер, привязанный к столбу, стоял задумавшись.

– Тебе ничего не нужно? – спросил Анжольрас.

Жавер спросил:

– Когда вы убьете меня?

– Подождешь. Теперь у нас все патроны на счету.

– Тогда дайте мне пить, – сказал Жавер.

Анжольрас сам подал ему стакан и, так как Жавер был связан, помог напиться.

– Это все? – снова спросил Анжольрас.

– Я устал стоять у столба, – отвечал Жавер. – Не очень-то вежливо с вашей стороны оставить меня так на всю ночь. Связывайте меня как угодно, но почему не положить меня на стол, как вот этого?

И кивком головы он указал на труп г-на Мабефа.

Припомним, что в глубине залы стоял большой длинный стол, на котором отливали пули и готовили патроны. Теперь, когда патроны были набиты и весь порох истрачен, стол освободился.

По приказу Анжольраса четыре повстанца отвязали Жавера от столба. Пока его развязывали, пятый держал штык у его груди. Руки его оставили связанными за спиной, а ноги спутали тонким, но прочным ремнем, позволяющим делать шаги в пятнадцать дюймов, – так поступают с теми, кого отправляют на эшафот; затем Жавера подвели к столу в глубине залы и уложили на нем, крепко перехватив веревкой поперек тела.

Хотя такая система пут исключала всякую возможность бегства, для пущей безопасности его связали еще способом, называемым в тюрьмах «мартингалом», то есть укрепили на шее веревку, которая, спускаясь от затылка, раздваивается у пояса и, пройдя между ног, скручивает кисти рук.

Пока Жавера связывали, какой-то человек, стоя в дверях, смотрел на него с необыкновенным вниманием. Тень, падавшая от него, заставила Жавера повернуть голову. Он поднял глаза и узнал Жана Вальжана. Он даже не вздрогнул, но закрыл глаза с высокомерным видом и промолвил только:

– Этого следовало ожидать.

Глава 7

Положение осложняется

Быстро рассветало. Но ни одно окно не отворялось, ни одна дверь не приоткрывалась: это была заря, но не пробуждение. Солдат, занимавших конец улицы Шанврери, против баррикады, отвели назад; улица казалась безлюдной и простиралась перед прохожими в зловещем покое. Улица Сен-Дени была безмолвна, словно аллея сфинксов в Фивах. На перекрестках, белевших в лучах зари, не было ни одного живого существа. Нет ничего печальнее утренней прозрачности пустынных улиц.

Ничего не было видно, но что-то доносилось до слуха. Где-то неподалеку происходило таинственное движение. Все говорило о том, что близилась страшная минута. Как и накануне вечером, дозорных отозвали обратно, на этот раз всех до одного.

Баррикада была укреплена сильнее, чем при первой атаке. После ухода пяти повстанцев ее надстроили еще выше.

Опасаясь неожиданного нападения с тыла, Анжольрас, по совету дозорных, обследовавших район рынка, принял важное решение: он велел загородить узкий проход переулка Мондетур, который до сих пор оставался свободным. Для этого вдоль нескольких домов разобрали мостовую еще дальше. Таким образом, баррикада, перегородившая три улицы каменной стеной

– спереди улицу Шанврери, слева Лебязью и Малую Бродяжную, справа улицу Мондетур, – стала действительно почти неприступной; правда, защитники ее оказались наглухо запертыми. У нее было три фронта, но не осталось ни одного выхода. «Не то крепость, не то мышеловка», – сказал, смеясь, Курфейрак.

У входа в кабачок Анжольрас велел сложить в кучу штук тридцать оставшихся булыжников, «вывороченных зря», как выразился Боссюэ.

В той стороне, откуда должна была начаться атака, стояла такая глубокая тишина, что Анжольрас приказал всем занять боевые посты.

Каждому выдали порцию водки.

Ничего нет необычнее баррикады, которая готовится выдержать нападение. Каждый устраивается поудобнее, точно на спектакле. Кто прислоняется к стене, кто облокотится, кто обопрется плечом. Некоторые сооружают себе скамью из булыжников. Здесь мешает угол стены – от него отходят подальше; там выступ – надо укрыться под его защиту. Левши в большой цене: они занимают места, неудобные для других. Многие устраиваются так, чтобы вести бой сидя. Всем хочется найти положение, в котором удобно убивать и покойно умирать. Во время роковой июньской битвы 1848 года один повстанец, одаренный необычайной меткостью и стрелявший с площадки на крыше, велел принести себе туда вольтеровское кресло; там его и поразил залп картечи.

Как только командир приказал приготовиться к бою, беспорядочная суeta на баррикаде тотчас прекратилась: перестали перекидываться словами, собираться в кружки, перешептываться по углам, разбиваться на группы. Все, что бродило в мыслях, сосредоточилось на одном и превратилось в ожидание атаки. Баррикада перед нападением – воплощенный хаос; в грозный час – воплощенная дисциплина. Опасность порождает порядок.

Лишь только Анжольрас взял свой дуствольный карабин и занял выбранный им пост перед отверстием наподобие бойницы, все замолчали. Вдоль стены, сложенной из булыжников, раздалось легкое сухое потрескивание. Это заряжали ружья.

Несмотря ни на что, все держались более гордо и более уверенно, чем когда-либо: предельное самоотвержение есть самоутверждение; надежды ни у кого не оставалось, но оставалось отчаяние. Отчаяние – последнее оружие, иногда приводящее к победе, как сказал Вергилий. Крайняя решимость идет на крайние средства. Порою броситься в пучину смерти – это способ избежать крушения, и крышка гроба становится тогда спасительной доской.

Как и накануне вечером, внимание всех было обращено, можно сказать, приковано, к перекрестку улицы, уже освещенной зарей и ясно различимой.

Ждать пришлось недолго. Со стороны Сен-Ле явственно послышалось какое-то движение, но оно не было похоже на шум вчерашней атаки. Лязг цепей, беспокойная тряска движущейся громады, звон меди по мостовой, какой-то торжественный грохот – все возвещало приближение грозной железной машины. Сотрясалось самое нутро старых тихих улиц, проложенных и застроенных для мирного плодотворного общения людских интересов и идей, – улиц, не приспособленных для чудовищных перекатов колес войны.

Пристальный взгляд бойцов, устремленный на перекресток, стал еще напряженней.

И вот показалась пушка.

Артиллеристы катили орудие, приготовленное для стрельбы и снятое с передка; двое поддерживали лафет, четверо толкали колеса, другие везли позади зарядный ящик. Видно было, как дымится зажженный фитиль.

– Огонь! – крикнул Анжольрас.

С баррикады дали залп, раздался ужасающий грохот; туча дыма скрыла и заволокла людей и орудие; через несколько секунд облако рассеялось, и пушка с людьми показалась снова.

Капониры устанавливали орудие против баррикады, медленно, аккуратно, не торопясь. Ни один из них не был ранен. Затем наводчик налег на казенную часть, чтобы поднять прицел, и начал наводить пушку с серьезностью астронома, направляющего подзорную трубу.

– Bravo, артиллеристы! – вскричал Боссюэ.

И вся баррикада разразилась рукоплесканиями.

Минуту спустя, прочно утвердившись на самой середине улицы, оседлав канаву, орудие приготовилось к бою. Оно разевало на баррикаду свою страшную пасть.

– А ну-ка, валяй! – проговорил Курфейрак. – Вот так зверюга! Сперва в щелчки, а потом в кулаки. Армия протягивает к нам свою лапищу. Баррикаду здорово встряхнет. Ружьем нащупывают, пушкой бьют.

– Это восьмидюймовое орудие нового образца, из бронзы, – добавил Комбефер. – Такие орудия при малейшем нарушении пропорции – на сто частей меди десять частей олова – могут взорваться. Излишек олова делает их ломкими. В стволе могут получиться пустоты и раковины. Чтобы избежать этой опасности и увеличить заряд, пожалуй, следовало бы вернуться к набивке обручей, как в четырнадцатом веке, и насадить на дуло, от казенной части до цапфы, ряд стальных колец. А до тех пор стараются помочь горю, чем могут: с помощью трещотки удастся определить, где появились трещины и раковины в стволе орудия. Но есть лучший способ, это движущаяся искра Грибоваля.

– В шестнадцатом веке пушки были нарезные, – заметил Боссюэ.

– Да, – подтвердил Комбефер, – это увеличивает силу удара, но уменьшает его точность. Кроме того, при стрельбе на короткую дистанцию траектория не имеет нужного угла, парабола ее чрезмерно увеличивается, снаряд летит недостаточно прямолинейно и не в состоянии поразить то, что встретит на своем пути. А в сражении это необходимо и тем важнее, чем ближе неприятель и чем чаще должна стрелять пушка. Этот недостаток натяжения кривой снаряда в нарезных пушках шестнадцатого века зависел от слабости заряда, а слабые заряды в подобных орудиях отвечали требованиям баллистики и способствовали сохранности лафетов. В общем, такой деспот, как пушка, не волен делать все, что захочет; ее сила в сущности – большая слабость. Скорость пушечного ядра только шестьсот миль в час, тогда как скорость света – семьдесят тысяч миль в секунду. Таково превосходство Иисуса Христа над Наполеоном.

– Зарядите ружья, – приказал Анжольрас.

Способно ли укрепление выдержать пушечное ядро? Пробьет ли его выстрелом? Вот в чем вопрос. Пока повстанцы перезаряжали ружья, артиллеристы заряжали пушку.

Защитники редута застыли в тревожном ожидании.

Грянул выстрел, раздался грохот.

– Есть! – крикнул веселый голос.

И в ту же секунду, как ядро попало в баррикаду, внутрь ее скатился Гаврош.

Он пробрался с Лебязьей улицы и легко перелез через добавочную баррикаду, отгородившую запутанные переулки Малой Бродяжной.

Гаврош произвел куда большее впечатление на баррикаде, чем ядро.

Оно застряло в груде хлама, разбив всего-навсего одно из колес омнибуса и доконав старые сломанные роспуски Ансо. Увидев это, вся баррикада разразилась хохотом.

– Валяйте дальше! – крикнул Боссюэ артиллеристам.

Глава 8

Артиллеристы дают понять, что с ними шутки плохи

Гавроша окружили.

Но он не успел ничего рассказать. Мариус отвел его в сторону, весь дрожа.

– Зачем ты сюда пришел?

– Вот те на! – воскликнул мальчик. – А вы-то сами? – И он смерил Мариуса пристальным, спокойно-дерзким взглядом. Его глаза казались больше от сиявшей в них гордости.

Мариус продолжал строгим тоном:

– Кто тебе велел возвращаться? Передал ты по крайней мере письмо по адресу?

По правде сказать, Гавроша немного мучила совесть. Торопясь вернуться на баррикаду, он скорее отделался от письма, чем передал его. Он принужден был сознаться самому себе, что несколько легкомысленно доверился незнакомцу, даже не разглядев его лица в темноте. Что верно, то верно, человек был без шляпы, но это не меняет дела. Словом, в душе он поругивал себя и боялся упреков Мариуса. Чтобы выйти из положения, он избрал самый простой способ – начал бессовестно врать.

– Гражданин, я передал письмо привратнику. Барышня спала. Она получит письмо, как только проснется.

Отправляя письмо, Мариус преследовал двойную цель – проститься с Козеттой и спасти Гавроша. Ему пришлось удовольствоваться лишь половиной задуманного.

Он вдруг усмотрел какую-то связь между посылкой письма и присутствием г-на Фошлевана на баррикаде. Указав Гаврошу на г-на Фошлевана, он спросил:

– Ты знаешь этого человека?

– Нет, – ответил Гаврош.

Как мы уже говорили, Гаврош и в самом деле видел Жана Вальжана только в ту ночь.

Смутные и болезненные подозрения, зародившиеся было в мозгу Мариуса, рассеялись. Разве он знал убеждения г-на Фошлевана? Может быть, г-н Фошлеван республиканец. Тогда его участие в этом бою совершенно понятно.

Между тем Гаврош, уже успев удрать на другой конец баррикады, кричал: «Где мое ружье?»

Курфейрак приказал отдать ему оружие.

Гаврош предупредил «товарищей», как он называл повстанцев, что баррикада оцеплена. Ему удалось добраться сюда с большим трудом. Со стороны Лебяжьей дороги держал под наблюдением линейный батальон, составив ружья в козлы на Малой Бродяжной; с противоположной стороны улицу Проповедников занимала муниципальная гвардия. Прямо против баррикады были сосредоточены основные силы.

Сообщив эти сведения, Гаврош прибавил:

– Разрешаю вам всыпать им как следует.

Между тем Анжольрас, стоя у своей бойницы, с напряженным вниманием следил за противником.

Осаждавшие, видимо, не слишком довольные результатом выстрела, стрельбы не возобновляли.

Подошел пехотный отряд и занял конец улицы, позади орудия. Солдаты разобрали мостовую и соорудили из булыжников, прямо против баррикады, небольшую низкую стену, нечто вроде защитного вала, дюймов восемнадцати высотой. За левым углом вала виднелась головная колонна пригородного батальона, сосредоточенного на улице Сен-Дени.

Анжольрасу в его засаде послышался тот особенный шум, какой бывает, когда достают из зарядных ящиков жестянки с картечью, и он увидел, как наводчик перевел прицел и слегка наклонил влево дуло пушки. Затем канониры принялись заряжать орудие. Наводчик сам схватил фитиль и поднес к запалу.

– Нагните головы, прижмитесь к стене! – крикнул Анжольрас. – Станьте на колени вдоль

баррикады!

Повстанцы, толпившиеся у кабачка или покинувшие боевой пост при появлении Гавроша, стремглав бросились к баррикаде, но прежде чем они успели исполнить приказ Анжольраса, раздался выстрел и страшное шипение картечи. Это был оглушительный залп.

Снаряд был направлен в отсек баррикады. Отскочив от стены, осколки рикошетом убили двоих и ранили троих.

Было ясно, что, если так будет продолжаться, баррикада не устоит: пули пробивали ее.

Послышались тревожные возгласы.

– Попробуем-ка помешать второму выстрелу! – сказал Анжольрас.

И, опустив ниже ствол карабина, он прицелился в наводчика, который в эту минуту, нагнувшись над орудием, проверял и окончательно устанавливал прицел.

Наводчик был красивый сержант артиллерии, молодой, белокурый, с тонким лицом и умным выражением, характерным для войск этого грозного рода оружия, которое призвано, совершенствуясь в ужасном истреблении, убить в конце концов самую войну.

Комбефер, стоя рядом с Анжольрасом, глядел на юношу.

– Как жаль! – сказал он. – Какая отвратительная вещь бойня! Право, когда не будет королей, не будет и войн. Ты целишься в сержанта, Анжольрас, и даже не глядишь на него. Представь себе, быть может, это прекрасный юноша, отважный, умный, ведь молодые артиллеристы – народ образованный; у него отец, мать, семья, он, вероятно, влюблен, ему самое большее – двадцать пять лет, он мог бы быть твоим братом.

– Он и есть мой брат, – произнес Анжольрас.

– Ну да, и мой тоже, – продолжал Комбефер. – Послушай, давай пощадим его.

– Оставь. Так надо.

И по бледной, как мрамор, щеке Анжольраса медленно скатилась слеза.

В ту же минуту он спустил курок. Блеснул огонь. Вытянув руки вперед и закинув голову, словно стараясь вдохнуть воздух, артиллерист два раза перевернулся на месте, затем повалился боком на пушку и остался недвижим. Видно было, как по спине его, между лопатками, текла струя крови. Пуля пробила ему грудь навывлет. Он был мертв.

Пришлось унести его и заменить другим. На этом баррикада выгадала несколько минут.

Глава 9

На что могут пригодиться старый талант браконьера и меткость в стрельбе, повлиявшие на приговор 1796 года

На баррикаде стали совещаться. Скоро снова начнут палить из пушки. Под картечью им не протянуть и четверти часа. Необходимо было ослабить силу удара. Анжольрас отдал приказание:

– Туда надо положить тюфяк.

– У нас их нет, – возразил Комбефер, – на них лежат раненые.

Жан Вальжан, сидевший на тумбе поодаль, на углу кабачка, поставив ружье между колен, до этой минуты не принимал никакого участия в происходящем. Казалось, он не слышал, как бойцы ворчали вокруг него: «Эх, досада, ружье пропадает зря».

Услыхав приказ Анжольраса, он поднялся. Припомним, что, как только на улице Шанврери появились повстанцы, какая-то старуха, предвидя стрельбу, загородила свое окно тюфяком. Это было чердачное окошко на крыше шестиэтажного дома, стоявшего немного в стороне от баррикады. Тюфяк, растянутый поперек окна, снизу подпирали два шеста для сушки белья, а

вверху его удерживали две веревки, казавшиеся издали шнурками и привязанные к гвоздям, вбитым в оконные наличники. Эти веревки, тонкие, как волосы, ясно выделялись на фоне неба.

– Не может ли кто-нибудь дать мне двуствольный карабин? – спросил Жан Вальжан.

Анжольрас, только что перезарядивший ружье, протянул ему свое.

Жан Вальжан прицелился в мансарду и выстрелил.

Одна из веревок, поддерживавших тюфяк, оборвалась.

Тюфяк держался теперь только на одной.

Жан Вальжан выпустил второй заряд. Вторая веревка хлестнула по окошку мансарды. Тюфяк скользнул меж шестами и упал на мостовую.

Баррикада заплодировала.

Все кричали в один голос:

– Вот и тюфяк!

– Так-то так, – заметил Комбефер, – но кто пойдет за ним?

В самом деле, тюфяк упал впереди баррикады, между нападавшими и осажденными. Мало того, несколько минут назад солдаты, взбешенные гибелью сержанта-наводчика, залегли за устроенным ими валом из бульжников и открыли огонь по баррикаде, чтобы заменить затихшую поневоле пушку, молчавшую в ожидании пополнения оружейного расчета. Повстанцы не отвечали на пальбу, чтобы не тратить боевых припасов. Для баррикады ружья были не страшны, но улица, засыпаемая пулями, грозила гибелью.

Жан Вальжан пролез через оставленный в баррикаде проход, вышел на улицу, под градом пуль добрался до тюфяка, поднял его, взвалил на спину и вернулся на баррикаду.

Он сам загородил тюфяком опасное место и так приладил его к стене, что артиллеристы не могли его видеть. Покончив с этим, стали ждать залпа.

И он раздался.

Пушка с ревом изрыгнула заряд картечью. Но рикошета не получилось. Картечь застряла в тюфяке. Задуманный эффект удался. Баррикада была хорошо защищена.

– Гражданин, – обратился Анжольрас к Жану Вальжану. – Республика благодарит вас.

Боссюэ хохотал от восторга. Он восклицал:

– Просто неприлично, что тюфяк обладает таким могуществом. Жалкая подстилка торжествует над громовержцем! Все равно, слава тюфяку, победившему пушку!

Глава 10

Заря

В эту самую минуту Козетта проснулась.

У нее была узкая, чистенькая, скромная комнатка с высоким окном, выходившая на задний двор, на восток.

Козетта ничего не знала о том, что происходило в Париже. Накануне она нигде не была и уже ушла в свою комнату, когда Тусен сказала: «Сдается мне, в городе неспокойно».

Козетта спала недолго, но крепко. Ей снились сладкие сны, может быть, потому, что ее постелька была совсем белая. Ей пригрезился кто-то похожий на Мариуса, озаренный сиянием. Солнце светило ей прямо в глаза, когда она проснулась, и ей почудилось сначала, что сон продолжается.

В первую минуту ее мысли, навеянные сном, были полны радости. Козетта чувствовала себя совершенно успокоенной. Как незадолго перед тем Жан Вальжан, она отогнала все тревоги и не хотела верить в несчастье. Она стала надеяться всеми силами души, сама не зная почему. Затем у нее вдруг сжалось сердце. Она не видела Мариуса уже целых три дня. Но она убедила

себя, что он, несомненно, получил ее письмо и знает теперь, где она; он ведь так умен, он придумает способ с ней повидаться. И он непременно придет сегодня, может быть, в это самое утро. Было уже совсем светло, но лучи солнца еще падали горизонтально; вероятно, еще рано, однако пора вставать, чтобы успеть встретить Мариуса.

Она чувствовала, что не может жить без Мариуса и что одного этого довольно, чтобы Мариус пришел. Никаких возражений не допускалось. Ведь все это было бесспорно. И то уже нестерпимо, что ей пришлось страдать целых три дня. Три дня не видеть Мариуса – как только господь бог допустил это! Теперь эта жестокая шутка судьбы, это испытание было позади. Мариус придет и принесет добрые вести. Такова юность, она быстро осушает слезы, она считает страдание ненужным и не приемлет его. Юность – улыбка будущего, обращенная к неведомому, то есть к самому себе. Быть счастливой – естественно для юности, самое дыхание ее как будто напоено надеждой.

К тому же Козетта никак не могла припомнить, что говорил ей Мариус о возможном своем отсутствии – самое большее на один день – и чем он объяснял его. Все мы замечали, как ловко прячется монета, если ее уронишь на землю, с каким искусством превращается она в невидимку. Бывает, что и мысли проделывают с нами ту же штуку: они забиваются куда-то в уголок мозга – и кончено, они потеряны, припомнить их невозможно. Козетта немножко подсадовала на бесплодные усилия своей памяти. Она сказала себе, что очень совестно и нехорошо с ее стороны позабыть слова, сказанные Мариусом.

Она встала с постели и совершила двойное омовение – души и тела, молитву и умывание.

Можно лишь в крайнем случае ввести читателя в спальню новобрачных, но никак не в девичью спальню. Даже стихи едва осмеливаются на это, а прозе вход туда запрещен.

Это чашечка нераспустившегося цветка, белизна во мраке, бутон нераскрывшейся лилии, куда не должен заглядывать человек, пока в нее не заглянуло солнце. Женщина, еще нерасцветшая, священна. Полуоткрытая девическая постель, прелестная нагота, боящаяся самой себя, белая ножка, прячущаяся в туфле, грудь, которую прикрывают перед зеркалом, словно у зеркала есть глаза, сорочка, которую поспешно натягивают на обнаженное плечо, если скрипнет стул или проедет мимо коляска, завязанные ленты, застегнутые крючки, затянутые шнурки, это смущение, эта легкая дрожь от холода и стыдливости, изящная робость движений, трепет испуга там, где нечего бояться, последовательные смены одежд, очаровательных, как предрассветные облака, – рассказывать об этом не следует, упоминать об этом – и то уже дерзость.

Глаз человека должен взирать на пробуждение юной девушки с еще большим благоговением, чем на восход звезды. Беззащитность должна внушать особенное уважение. Пушок персика, пепельный налет сливы, звездочки снежинок, бархатистые крылья бабочки – все это грубо в сравнении с целомудрием, которое даже не ведает, что оно целомудренно. Молодая девушка – это неясная греза, но еще не воплощение любви. Ее альков скрыт в темной глубине идеала. Нескромный взор – грубое оскорбление для этого смутного полумрака. Здесь даже созерцать – значит осквернять.

Поэтому мы совсем не будем описывать милую утреннюю суетню Козетты.

В одной восточной сказке говорится, что бог создал розу белой, но Адам взглянул на нее, когда она распускалась, и она застыдилась и заалела. Мы принадлежим к тем, кто смущается перед молодыми девушками и цветами, мы почтительно преклоняемся перед ними.

Козетта быстро оделась, причесалась, убрала волосы, что было очень просто в те времена, когда женщины не взбивали еще кудрей, подсовывая снизу подушечки и валики, и не носили накладных буклей. Потом она растворила окно и осмотрелась кругом, в надежде разглядеть хоть часть улицы, угол дома, кусочек мостовой, чтобы не пропустить появления Мариуса. Но из окна

ничего нельзя было увидеть. Внутренний дворик окружали довольно высокие стены, и в просветах меж ними виднелись только какие-то сады. Козетта нашла, что сады эти отвратительны; первый раз в жизни цветы показались ей безобразными. Любой кусочек канавы на перекрестке понравился бы ей гораздо больше. Тогда она стала смотреть в небо, словно думая, что и оттуда может явиться Мариус.

Вдруг она расплакалась. Это было вызвано не переменчивостью ее настроений, но упадком духа от несбывшихся надежд. Она смутно почувствовала что-то страшное. Вести и впрямь иногда доносятся по воздуху. Она говорила себе, что не уверена ни в чем, что потерять друг друга из виду – значит погибнуть, и мысль, что Мариус мог бы явиться ей с неба, показалась ей уже не пленительной, а мрачной.

Потом набежавшие тучки рассеялись, вернулись покой и надежда, и невольная улыбка, полная веры в бога, вновь появилась на ее губах.

В доме все еще спали. Там царила безмятежная тишина. Ни одна ставня не отворялась. Каморка привратника была заперта, Тусен еще не вставала, и Козетта решила, вполне естественно, что и отец ее спит. Видно, много пришлось ей выстрадать и страдать еще до сих пор, если она пришла к мысли, что отец ее жесток; но она полагалась на Мариуса. Затмение такого светила казалось ей совершенно невозможным. Время от времени она слышала вдалеке какие-то глухие удары и говорила себе: «Как странно, что в такой ранний час хлопают воротами». То были пушечные залпы, громившие баррикаду.

Под окном Козетты, на несколько футов ниже, на старом почерневшем стенном карнизе прилепилось гнездо стрижа; край гнезда слегка выдавался за карниз, и сверху можно было заглянуть в этот маленький рай. Мать сидела в гнезде, распустив крылья веером над птенцами, отец порхал вокруг, взад и вперед, принося в клюве корм и поцелуи. Восходящее солнце золотило это счастливое семейство; здесь царил в веселье и торжестве великий закон размножения, и нежная тайна расцветала в сиянии утра. С солнцем в волосах, с грезами в душе, освещенная зарей и светящаяся любовью, Козетта невольно наклонилась и, едва осмеливаясь признаться, что думает при этом о Мариусе, залюбовалась птичьим семейством, самцом и самочкой, матерью и птенцами, охваченная тем глубоким волнением, какое вызывает в чистой девушке вид гнезда.

Глава 11

Ружье, которое бьет без промаха, но никого не убивает

Осаждавшие продолжали вести огонь. Ружейные выстрелы чередовались с картечью, правда, не производя особых повреждений. Пострадала только верхняя часть фасада «Коринфа»; окна второго этажа и мансарды под крышей, пробитые пулями и картечью, постепенно разрушались. Бойцам, занимавшим этот пост, пришлось его покинуть. Впрочем, в том и состоит тактика штурма баррикад: стрелять как можно дольше, чтобы истощить боевые запасы повстанцев, если те по неосторожности вздумают отвечать. Как только по более слабому ответному огню становится заметно, что патроны и порох на исходе, дается приказ идти на приступ. Анжольрас не попался в эту ловушку: баррикада не отвечала.

При каждом залпе Гаврош оттопыривал щеку языком в знак глубочайшего презрения.

– Ладно, – говорил он, – рвите тряпье, нам как раз нужна корпия.

Курфейрак громко требовал объяснений, почему картечь не попадает в цель, и кричал пушке:

– Эй, тетушка, ты что-то заболталась!

В бою стараются интриговать друг друга, как на балу. Вероятно, молчание редута начало

беспокоить осаждавших и заставило их опасаться какой-нибудь неожиданности; необходимо было заглянуть через груды булыжников и разведать, что творилось за этой бесстрастной стеной, которая стояла под огнем, не отвечая на него. Вдруг повстанцы увидели на крыше соседнего дома блиставшую на солнце каску. Прислонясь к высокой печной трубе, там стоял пожарный, неподвижно, словно на часах. Взгляд его был устремлен прямо вниз, внутрь баррикады.

– Этот соглядатай нам вовсе ни к чему, – сказал Анжольрас.

Жан Вальжан вернул карабин Анжольрасу, но у него оставалось ружье.

Не говоря ни слова, он прицелился в пожарного, и в ту же секунду сбитая пулей каска со звоном полетела на мостовую. Испуганный солдат поспешно скрылся.

На его посту появился другой наблюдатель. Это уже был офицер. Жан Вальжан, перезарядив ружье, прицелился во вновь пришедшего и отправил каску офицера вдогонку за солдатской каской. Офицер не стал упорствовать и мгновенно ретировался. На этот раз намек был принят к сведению. Больше никто не появлялся на крыше; слежка за баррикадой прекратилась.

– Почему вы не убили его? – спросил Боссюэ у Жана Вальжана.

Жан Вальжан не ответил.

Глава 12

Беспорядок на службе порядка

– Он не ответил на мой вопрос, – шепнул Боссюэ на ухо Комбеферу.

– Этот человек расточает благодеяния при помощи ружейных выстрелов, – ответил Комбефер.

Те, кто хоть немного помнит эти давно прошедшие события, знают, что национальная гвардия предместий храбро боролась с восстаниями. Особенно яростной и упорной она показала себя в июньские дни 1832 года. Какой-нибудь безобидный кабатчик из «Плясуна», «Добродетели» или «Канавки», чье заведение бастовало по случаю мятежа, дрался, как лев, видя, что его танцевальная зала пустует, и шел на смерть за порядок, олицетворением которого считал свой трактир. В ту эпоху, одновременно буржуазную и героическую, рыцари идеи стояли лицом к лицу с паладинами наживы. Прозаичность побуждений нисколько не умаляла храбрости поступков. Убыль золотых запасов заставляла банкиров распевать Марсельезу. Буржуа восторженно проливали кровь ради торгового прилавка и со спартанским энтузиазмом защищали свою лавчонку – этот микрокосм родины.

В сущности, все это было очень серьезно. В борьбу вступали новые социальные силы в ожидании того дня, когда наступит равновесие.

Другим характерным признаком того времени было сочетание анархии с «правительственностью» (варварское наименование партии благомыслящих). Стояли за порядок, но без дисциплины. То барабан внезапно бил сбор по прихоти такого-то полковника капитальной гвардии; то какой-то капитан шел в огонь по вдохновению, а такой-то национальный гвардеец дрался «за идею» на свой страх и риск. В опасные минуты, в решительные дни действовали не столько по приказам командиров, сколько по внушению инстинкта. В армии, которая защищала порядок, встречались настоящие смельчаки, разившие мечом, вроде Фаннико, или пером, как Анри Фонфред.

Цивилизация, к несчастью, представленная в ту эпоху скорее объединением интересов, чем союзом принципов, была, или считала себя, в опасности; она взывала о помощи, и каждый,

воображая себя ее оплотом, охранял ее, защищал и выручал, как умел; первый встречный брал на себя задачу спасения общества.

Усердие становилось иногда губительным. Какой-нибудь взвод национальных гвардейцев собственной властью учреждал военный совет и в пять минут выносил и приводил в исполнение приговор над пленным повстанцем. Жан Прувер пал жертвой именно такого суда. Это был свирепый закон Линча, который ни одна партия не имеет права ставить в упрек другой, так как он одинаково применяется и в республиканской Америке, и в монархической Европе. Но суду Линча легко было впасть в ошибку. Как-то в дни восстания на Королевской площади национальные гвардейцы погнались было со штыками наперевес за молодым поэтом по имени Поль-Эме Гарнье, и он спасся только потому, что спрятался в подворотне дома № 6. Ему кричали: «Вот еще один сенсимонист!» – и чуть не убили. Он и в самом деле нес под мышкой томик мемуаров герцога Сен-Симона. Какой-то национальный гвардеец прочел на обложке слово «Сен-Симон» и завопил: «Смерть ему!»

6 июня 1832 года отряд национальных гвардейцев предместья под командой вышеупомянутого капитана Фаннико по собственной прихоти и капризу обрек себя на уничтожение на улице Шанврери. Этот факт, как он ни странен, был установлен судебным следствием, назначенным после восстания 1832 года. Капитан Фаннико, нечто вроде кондотьера порядка, нетерпеливый и дерзкий буржуа, из тех, кого мы только что охарактеризовали, фанатический и своенравный привереженец «правительственности», не мог устоять перед искушением открыть огонь до назначенного срока, домогаясь чести овладеть баррикадой в одиночку, то есть силами одного своего отряда. Взбешенный появлением на баррикаде красного флага, а вслед за ним старого сюртука, принятого им за черный флаг, он начал громко ругать генералов и корпусных командиров, которые изволят где-то там совещаться, не видя, что настал час решительной атаки, и, по знаменитому выражению одного из них, «предоставляют восстанию вариться в собственном соку». Сам же он находил, что баррикада вполне созрела для атаки и, как всякий зрелый плод, должна пасть; поэтому он отважился на штурм.

Его люди были такие же смельчаки, как он сам, – «бесноватые», как выразился один свидетель. Рота его, та самая, что расстреляла поэта Жана Прувера, была головным отрядом батальона, построенного на углу улицы. В ту минуту, когда этого меньше всего ожидали, капитан повел своих солдат в атаку на баррикаду. Это нападение, в котором было больше пыла, чем военного искусства, дорого обошлось отряду Фаннико. Не успели они пробежать и двух третей всего расстояния до баррикады, как их встретили дружным залпом. Четверо смельчаков, бежавших впереди, были убиты выстрелами в упор у самого подножия редута, и отважная кучка национальных гвардейцев, людей храбрых, но без всякой военной выдержки, после некоторого колебания принуждена была отступить, оставив на мостовой пятнадцать трупов. Минута замешательства дала повстанцам время перезарядить ружья, и нападавших настиг новый смертоносный залп прежде, чем они успели отойти за угол улицы, служивший им прикрытием. На миг отряд оказался между двух огней и попал под картечь своего же артиллерийского орудия, которое, не получив приказа, продолжало стрельбу. Бесстрашный и неосторожный Фаннико стал одной из жертв этой картечи. Он был убит пушкой, то есть самым порядком.

Эта атака, скорее отчаянная, чем опасная, возмутила Анжольраса.

– Глупцы! – воскликнул он. – Они губят своих людей, и мы только попусту тратим снаряды.

Анжольрас говорил как истый генерал восстания, да он и был им. Отряды повстанцев и карательные отряды сражаются неравным оружием. Повстанцы, быстро истощая свои запасы, не могут тратить лишние снаряды и жертвовать лишними людьми. Им нечем заменить ни пустой патронной сумки, ни убитого человека. Каратели, напротив, располагая армией, не дорожат

людьми и, располагая арсеналом Венсена, не жалеют патронов. У карателей столько же полков, сколько бойцов на баррикаде, и столько же арсеналов, сколько на баррикаде патронташей. Вот почему эта неравная борьба одного против ста всегда кончается разгромом баррикад, если только внезапно не вспыхнет революция и не бросит на чашу весов свой пылающий меч архангела. Бывает и так. Тогда все приходит в движение, улицы бурлят, народные баррикады растут как грибы. Париж содрогается до самых глубин, ощущается присутствие *quid divinum* ^[146], веет духом 10 августа, веет духом 29 июля, вспыхивает дивное зарево, грубая сила пятится, как зверь с разинутой пастью, – и перед войском, этим львом, спокойно, с величием пророка, встает Франция.

Глава 13

Проблески надежды гаснут

В хаосе чувств и страстей, стоящих на защите баррикады, есть всего понемногу: тут и смелость, и молодость, и гордость, энтузиазм, идеалы, убежденность, горячность, азарт и в особенности мерцающие лучи надежды.

Один из таких проблесков, одна из таких вспышек смутной надежды внезапно озарила в самый неожиданный миг баррикаду Шанврери.

– Слушайте! – крикнул вдруг Анжольрас, не покидавший своего наблюдательного поста. – Кажется, Париж просыпается.

И действительно, утром 6 июня, в течение часа или двух, могло показаться, что мятеж разрастается. Упорный звон набата Сен-Мерри раздул кое-где тлеющий огонь. На улице Пуарье, на улице Гравилье выросли баррикады. У Сен-Мартенских ворот какой-то юноша с карабином напал один на целый эскадрон кавалерии. Открыто, прямо посреди бульвара, он встал на одно колено, вскинул ружье, выстрелом убил эскадронного командира и, обернувшись к толпе, воскликнул: «Вот и еще одним врагом меньше!» Его зарубили саблями. На улице Сен-Дени какая-то женщина стреляла в муниципальных гвардейцев, скрывшись за жалюзи. Видно было, что при каждом выстреле вздрагивали планки жалюзи. На улице Виноградных лоз задержали подростка лет четырнадцати с полными карманами патронов. На многие посты были произведены нападения. На углу улицы Бертен-Пуаре полк кирасир во главе с генералом Кавеньяком де Баранем неожиданно подвергся ожесточенному обстрелу. На улице Планш-Мибре в войска швыряли с крыш битой посудой и кухонной утварью – это был дурной знак. Когда маршалу Сульту доложили об этом, старый наполеоновский воин призадумался, вспомнив слова Сюше при Сарагосе: «Когда старухи начнут выливать нам на голову ночные горшки, мы пропали».

Эти признаки, появившиеся в то время, когда считалось, что распространение бунта уже приостановлено, нарастающее гневное возбуждение толпы, искры, вспыхивающие здесь и там в глубоких залежах горячего, которые называют предместьями Парижа, – все это вместе взятое сильно встревожило военных начальников. Они спешили потушить очаги начинающегося пожара. До тех пор пока не были подавлены отдельные вспышки, отложили штурм баррикад Мобюз, Шанврери и Сен-Мерри, чтобы потом бросить против них все силы и покончить все одним ударом. На улицы, охваченные восстанием, были направлены колонны войск; они разгоняли толпу на широких проспектах и обыскивали переулки, направо, налево, то осторожно и медленно, то стремительным маршем. Отряды вышибали двери в домах, из которых стреляли; в то же время кавалерийские разъезды рассеивали сборища на бульварах. Эти меры не обошлись без громкого ропота и беспорядочного шума, обычного при столкновениях народа с войсками.

Именно этот шум и слышал Анжольрас в промежутках между канонадой и ружейной перестрелкой. Кроме того, он видел, как на конце улицы проносили раненых на носилках, и говорил Курфейраку: «Эти раненые не с нашей стороны».

Однако надежда длилась недолго, луч ее быстро померк. Меньше чем в полчаса все, что витало в воздухе, рассеялось; казалось, сверкнула молния, но грозы не последовало, и повстанцы вновь почувствовали, как опускается над ними свинцовый свод, которым придавило их равнодушие народа, покинувшего упрямцев на произвол судьбы.

Всеобщее движение, как будто смутно намечавшееся, совершенно заглохло; отныне внимание военного министра и стратегия генералов могли целиком сосредоточиться на трех или четырех баррикадах, которые еще держались.

Солнце поднималось все выше.

Один из повстанцев обратился к Анжольрасу:

– Мы голодны. Да неужто же мы так и умрем, не поевши?

Анжольрас, все еще стоя у своей бойницы и не спуская глаз с конца улицы, утвердительно кивнул головой.

Глава 14, из которой читатель узнает имя возлюбленной Анжольраса

Сидя на камне рядом с Анжольрасом, Курфейрак продолжал издеваться над пушкой, и всякий раз, как проносилось с отвратительным шипением темное облако пуль, называемое картечью, он встречал его взрывом насмешек.

– Ты совсем осипла, бедная старушенция, мне тебя жалко. Зря ты надсаживаешься. Разве это гром? Это просто кашель.

И все вокруг хохотали.

Курфейрак и Боссюэ, отвага и жизнерадостность которых возрастали вместе с опасностью, заменяли, по примеру г-жи Скаррон, пищу шутками, а вместо вина угощали всех весельем.

– Я восторгаюсь Анжольрасом, – говорил Боссюэ. – Его невозмутимая отвага восхищает меня. Он живет одиноко и потому, вероятно, всегда немного печален; сетует на свое величие, обрекающее его на вдовство. У нас, грешных, почти у всех есть любовницы, которые, сводя нас с ума, превращают в храбрецов. Когда ты влюблен, как тигр, совсем нетрудно драться, как лев. Это лучший способ отомстить нашим господам гризеткам за все их проделки. Роланд погиб, чтобы насолить Анжелике; всеми нашими героическими подвигами мы обязаны женщинам. Мужчина без женщины – это пистолет без курка; только женщина приводит его в действие. А вот у Анжольраса нет возлюбленной. Он ни в кого не влюблен и тем не менее бесстрашен. Быть холодным, как лед, и пылким, как огонь, – это просто неслыханно.

Анжольрас, казалось, не слушал Боссюэ, но если бы кто стоял рядом с ним, то уловил бы, как он проговорил вполголоса: Patria^[147].

Боссюэ продолжал шутить, как вдруг Курфейрак воскликнул:

– А вот еще одна!

А затем, передразнивая дворецкого, докладывающего о прибытии гостя, прибавил:

– Ее превосходительство Восьмидюймовка.

И в самом деле, новое действующее лицо появилось на сцене – второе пушечное жерло.

Артиллеристы, поспешно сняв с передков второе орудие, установили его рядом с первым.

Это приближало развязку.

Несколько минут спустя оба орудия, быстро заряженные, стреляли по редуту прямой

наводкой; взводы пехоты и гвардейцев предместья поддерживали огонь артиллерии ружейными выстрелами.

Где-то неподалеку также слышалась орудийная пальба. Пока обе пушки с остервенением били по редуту улицы Шанврери, два других огненных жерла, нацеленных одно с улицы Сен-Дени, другое – с улицы Обри-ле-Буше, решетили баррикаду Сен-Мерри. Четыре орудия перекликались, словно зловещее эхо.

Лай этих злобных псов войны звучал согласно.

Из двух пушек, стрелявших по баррикаде улицы Шанврери, одна палила картечью, другая ядрами.

Пушка, стрелявшая ядрами, была несколько приподнята, и ее прицел наведен с тем расчетом, чтобы ядро било по самому краю острого гребня баррикады, разрушало его и засыпало повстанцев осколками камней, точно картечью.

Такой способ стрельбы преследовал цель согнать бойцов со стены и принудить их укрыться внутри, другими словами, это предвещало штурм.

Как только удастся ядрами прогнать бойцов баррикады с гребня стены и картечью – от окон кабачка, колонны осаждающих немедленно хлынут на улицу, уже не боясь, что их увидят и обстреляют, с ходу пойдут на приступ, как накануне вечером, и – кто знает? – быть может, даже, захватив повстанцев врасплох, овладеют редутом.

– Нужно во что бы то ни стало обезвредить эти пушки, – сказал Анжольрас и громко скомандовал: – Огонь по артиллеристам!

Все были наготове. Баррикада, так долго молчавшая, разразилась бешеным огнем, один за другим раздались шесть или семь залпов, звучащих яростью и торжеством; улицу заволочло густым дымом, и через несколько минут сквозь этот туман, пронизанный огнем, можно было смутно разглядеть, что две трети артиллеристов полегли под колесами пушек. Те, кто выстоял, продолжали заряжать орудия с тем же суровым спокойствием, однако выстрелы стали реже.

– Вот здорово, – сказал Боссюэ Анжольрасу. – Это успех.

Анжольрас ответил, покачав головой:

– Еще четверть часа такого успеха, и на баррикаде не останется даже десяти патронов. – Вероятно, Гаврош слышал эти слова.

Глава 15

Вылазка Гавроша

Вдруг Курфейрак заметил внизу баррикады, на улице, под самыми пулями, какую-то тень. Захватив в кабачке корзинку из-под бутылок, Гаврош вылез через отсек и как ни в чем не бывало принялся опустошать набитые патронами сумки национальных гвардейцев, убитых у подножия редута.

– Что ты там делаешь? – закричал Курфейрак.

Гаврош задрал нос кверху:

– Наполняю свою корзинку, гражданин.

– Да ты не видишь картечи, что ли?!

– Эка невидаль, – отвечал Гаврош. – Дождь идет. А что дальше?

– Ступай обратно! – крикнул Курфейрак.

– Сию минуту, – ответил Гаврош.

И одним прыжком он очутился посреди улицы.

Как мы помним, отряд Фаннико, отступая, оставил за собой длинный ряд трупов.

Не менее двадцати убитых лежало на мостовой на всем протяжении улицы. Это означало

двадцать патронташей для Гавроша и немалый запас патронов – для баррикады.

Дым застилал улицу, как туман. Кто видел облака в горном ущелье меж двух крутых откосов, может представить себе эту густую пелену дыма, как бы уплотненную двумя темными рядами высоких домов. Она медленно поднималась кверху, непрерывно появляясь снова; от этого все постепенно заволакивалось мутию, и даже дневной свет меркнул. Сражавшиеся лишь с трудом могли различить друг друга с противоположных концов улицы, правда, довольно короткой.

Такая мгла, выгодная для осаждавших и, вероятно, предусмотренная их командирами, которые должны были руководить штурмом баррикады, оказалась на руку и Гаврошу.

Под покровом этой дымовой завесы и благодаря своему маленькому росту он довольно далеко пробрался по улице, оставаясь незамеченным. Без особого риска он опустошил уже семь или восемь патронных сумок.

Он полз на животе, бегал на четвереньках, держа корзинку в зубах, вертелся, скользил, извивался, переползал от одного мертвеца к другому и опорожнял сумки и патронташи с проворством мартышки, щелкающей орехи.

С баррикады, от которой он отошел не так уж далеко, его не решались громко окликнуть, боясь привлечь к нему внимание врагов.

На одном из убитых, в мундире капрала, Гаврош нашел пороховницу.

– Пригодится вина напиться, – сказал он, пряча ее в карман.

Продвигаясь вперед, он достиг места, где пороховой дым стал реже, и тут стрелки линейного полка, залегшие в засаде за бруствером из бульжников, и стрелки национальной гвардии, выстроившиеся на углу улицы, сразу указали друг другу на существо, которое копошилось в тумане.

В ту минуту, как Гаврош освобождал от патронов труп сержанта, лежащего у тумбы, в мертвеца ударила пуля.

– Что за черт! – фыркнул Гаврош. – Они убивают моих покойников.

Вторая пуля высекала искру на мостовой, рядом с ним. Третья опрокинула его корзинку.

Гаврош оглянулся и увидел, что стреляет гвардия предместья.

Тогда он встал во весь рост и, подбоченясь, с развевающимися на ветру волосами, глядя в упор на стрелявших в него национальных гвардейцев, запел:

Все обитатели Нантера
Уроды по вине Вольтера.
Все старожилы Палессо
Болваны по вине Руссо.

Затем подобрал корзинку, уложил в нее рассыпанные патроны, не потеряв ни одного, и, двигаясь навстречу пулям, отправился опустошать следующую патронную сумку. Четвертая пуля снова пролетела мимо. Гаврош распевал:

Не удалась моя карьера,
И это по вине Вольтера.
Судьбы сломалось колесо,
И в этом виноват Руссо.

Пятой пуле удалось только вдохновить его на третий куплет:

Я не беру с ханжей примера,
И это по вине Вольтера,
А бедность мною, как в серсо,
Играет по вине Руссо.

Так продолжалось довольно долго.

Это было страшное и трогательное зрелище. Гаврош под обстрелом как бы поддразнивал стрелков. Казалось, ему было очень весело. Воробей задирает охотников. На каждый залп он отвечал новым куплетом. В него целились непрерывно и всякий раз давали промах. Беря его на мушку, солдаты и национальные гвардейцы смеялись. Он то ложился, то вставал, прятался за дверным косяком, выскакивал опять, исчезал, появлялся снова, убегал, возвращался, дразнил картечь, показывая ей длинный нос, и в то же время не переставал искать патроны, опустошать патронташи и наполнять свою корзинку. Повстанцы следили за ним с замиранием сердца. На баррикаде трепетали за него, а он – он распевал песенки. Казалось, это не ребенок, не человек, а какой-то маленький чародей. Какой-то сказочный карлик, неуязвимый в бою. Пули гонялись за ним, но он был проворнее их. Он как бы затеял страшную игру в прятки со смертью; всякий раз, как курносый призрак приближался к нему, мальчишка встречал его щелчком по носу.

Но одна пуля, более меткая или более предательская, чем другие, в конце концов настигла этот блуждающий огонек. Все увидели, как Гаврош пошатнулся и потом упал наземь. На баррикаде все вскрикнули в один голос; но в этом пигмее таился Антей; коснуться мостовой для гамена значит то же, что для великана коснуться земли; не успел Гаврош упасть, как поднялся снова. Он сидел на земле, струйка крови стекала по его лицу; протянув обе руки кверху, он обернулся в ту сторону, откуда раздался выстрел, и запел:

Я пташка малого размера,
И это по вине Вольтера.
Но могут на меня лассо
Накинуть по вине...

Он не кончил песни. Вторая пуля того же стрелка оборвала ее навеки. На этот раз он упал лицом на мостовую и больше не шевельнулся. Эта детская и великая душа отлетела.

Глава 16

Как брат может стать отцом

В это самое время по Люксембургскому саду – ведь мы ничего не должны упускать из виду в этой драме – шли двое детей, держась за руки. Одному можно было дать лет семь, другому лет пять. Промокшие под дождем, они брели по солнечной стороне аллеи, старший вел младшего; бледные, одетые в лохмотья, они напоминали серых птичек. «Мне ужасно хочется есть», – говорил младший.

Старший с покровительственным видом вел брата левой рукой, а в правой держал прутик.

Они были совсем одни в саду. Там было пусто, так как полиция распорядилась запереть садовые ворота по случаю восстания. Отряды войск, стоявшие там биваком, ушли сражаться.

Как попали сюда эти дети? Быть может, они убежали из незапертой караульной будки, быть может, удрали из какого-нибудь уличного балагана, который находился поблизости – у Адской заставы, или на площади перед Обсерваторией, или на соседнем перекрестке, где возвышается фронтон с надписью: *Invenerunt parvulum pannis involutum*^[148], а может быть, накануне вечером, в час закрытия парка, они обманули бдительность сторожей и спрятались на ночь в одном из павильонов для чтения газет. Как бы то ни было, они бродили где вздумается и, казалось, пользовались полной свободой. Если ребенок бродит где вздумается и пользуется полной свободой – значит, он заблудился. Бедные малыши и в самом деле заблудились.

Это были те самые дети, о которых, как припомнит читатель, так заботился Гаврош. Дети Тенардые, приписываемые г-ну Жильнорману и проживавшие у Маньон, которые теперь, словно опавшие листья, оторвались от всех этих сломанных веток и катились по земле, гонимые ветром.

Их одежда, такая опрятная во времена Маньон, что служило ей рекомендацией в глазах г-на Жильнормана, обратилась в рубище.

Отныне эти существа переходили в рубрику «покинутых детей», которых статистика учитывает, а полиция подбирает, теряет и вновь находит на парижской мостовой.

Лишь в такой тревожный день бедняжки и могли забраться в сад: если бы сторожа их заметили, они прогнали бы вон этих оборвышей. Маленьких нищих не пускают в общественные парки; между тем следовало бы подумать, что они, как и прочие дети, имеют право любоваться цветами.

Эти двое проникли сюда только благодаря запертым решеткам. Они нарушили правила. Они прокрались в сад и остались там. Запертые ворота не дают сторожам права отлучиться, надзор якобы продолжается, но ослаблен; сторожа, сами захваченные всеобщим волнением и больше заинтересованные тем, что происходило на улице, чем в саду, уже не наблюдали за ним и проглядели двух маленьких преступников.

Накануне шел дождь, да и утром тоже накрапывало. Но июньские ливни не идут в счет. Спустя час после грозы едва можно заметить, что этот ясный чудесный день был залит слезами. Летом земля высыхает от слез так же быстро, как щечка ребенка.

Во время летнего солнцестояния яркий полуденный свет, если можно так выразиться, пронзает вас насквозь. Он завладевает всем. Он приникает и льнет к земле, как будто сосет ее. Можно подумать, что солнце мучит жажда. Оно осушает ливень, как стакан воды, и выпивает дождь одним глотком. Еще утром везде струились ручьи, после полудня все покрыто пылью.

Нет ничего пленительнее зелени, омытой дождем и осушенной лучами солнца; это свежесть, пронизанная теплом. Сады и луга, где корни утопают в воде, а цветы – в солнечных лучах, курятся, словно сосуды с благовониями, и источают все ароматы земли. Все смеется, поет и тянется вам навстречу. Вы испытываете сладостное опьянение. Весна – преддверие рая; солнце помогает человеку терпеть и ждать.

Существуют люди, которые и не требуют большего; есть смертные, которые говорят, любуясь небесной лазурью: «Вот все, что нам нужно!» Есть мечтатели, погруженные в мир чудес, черпающие в обожании природы безразличие к добру и злу, созерцатели вселенной, беспечно равнодушные к человеку, которые не понимают, зачем беспокоиться о каких-то там голодных, о каких-то жаждущих, о наготе бедняка в зимнюю стужу, об искривленном болезнью детском позвоночнике, об одре больного, о чердаке, о тюремной камере, о лохмотьях девушки, дрожащей от холода, – зачем расстраивать себя, когда можно мечтать, лежа под деревьями. Эти уравновешенные и внушающие ужас умы не знают жалости и всем довольны. Странная вещь, им довольно бесконечности. Великое стремление человека к конечному, которым можно овладеть, неведомо им. Конечное, предполагающее прогресс, возвышенный труд, не занимает

их мыслей. Все то, что возникает из сочетания человеческого и божественного, бесконечного и конечного, ускользает от них. Лишь бы им стоять лицом к лицу с беспредельностью – и они блаженствуют. Они не знают радости, им ведом лишь восторг. Созерцание – вот их жизнь. История человечества для них всего лишь одна из страниц книги мироздания. Она не вмещает Целого; великое Целое остается вовне, – стоит ли заниматься такой мелочью, как человек? Человек страдает, что ж из этого? А вы поглядите, как восходит Альдебаран! У матери нет больше молока, новорожденный умирает, какое мне дело? Полюбуйтесь лучше, какую изумительную розетку образует под микроскопом кружок сосновой заболони! Разве может сравниться с этим самое тонкое кружево? Такие мыслители забывают о любви. Зодиак настолько поглощает их внимание, что мешает им видеть плачущего ребенка. Божество помрачает в них душу. Это племя отвлеченных умов, одновременно и великих и малых. Таким был Гораций, таким был Гете, может быть, даже Лафонтен; это великолепные эгоисты бесконечности, равнодушные зрители людских страданий. Они не замечают Нерона, если погода хороша; солнце затмевает для них костер, даже в зрелище смертной казни они ищут световых эффектов; они не слышат ни криков, ни рыданий, ни предсмертного хрипа, ни набата, они все находят прекрасным, если на дворе месяц май, всем довольны, если над их головой плывут пурпурные и золотистые облака; они твердо решили быть счастливыми, пока не погаснет сияние звезд и не умолкнут птицы.

Это злополучные счастливы. Они не подозревают, что достойны сострадания, а между тем это так. Кто не плачет, тот ничего не видит. Они вызывают удивление и жалость, как вызвало бы жалость и удивление некое существо, сочетающее в себе ночь и день, безглазое, но со звездой посреди лба.

По мнению некоторых мыслителей, в бесстрастии и заключается высшая философия. Пусть так, но в их превосходстве таится тяжкий недуг. Можно быть бессмертным и вместе с тем хромым; тому свидетельство Вулкан. Можно подняться выше человека и опуститься ниже его. Природе свойственно безграничное несовершенство. Кто знает, не слепо ли само солнце?

Но как же быть тогда, кому верить? *Solem quis dicere falsum audeat?* ^[149] Неужели же иные гении, иные богочеловеки, люди-светила, могут заблуждаться? Значит, и то, что вверху, надо всем, на предельной высоте, в зените, то, что посылает земле столько света, может видеть плохо, видеть мало, не видеть вовсе? Разве это не должно привести в отчаяние? Нет, не должно. Но что же выше солнца? Божество.

6 июня 1832 года, в одиннадцать часов утра, опустевший и уединенный Люксембургский сад был восхитителен. Залитые ярким светом, рассаженные в шахматном порядке деревья обменивались с цветами упоительным благоуханием и ослепительными красками. Опьянев от полуденного солнца, тянулись друг к другу ветки, словно искали объятий. В кленовой листве слышалось щебетание пеночек, ликовали воробьи, дятлы лазали по стволам каштанов, постукивая клювами по трещинам коры. На длинных цветочных грядках по праву царили горделивые лилии; нет аромата божественнее, чем аромат белизны. Разносился пряный запах гвоздики. Старые вороны времен Марии Медичи любезничали на верхушках густых деревьев. Солнце золотило и зажигало пурпуром тюльпаны – эти языки пламени, обращенные в цветы. Вокруг куртин с тюльпанами, словно искры от этих огненных цветов, кружились пчелы. Все было полно отрады и веселья, даже нависшие тучки; в этой угрозе нового дождя, столь желанного для ландышей и жимолости, не было ничего страшного; низко летающие ласточки были милыми его предвестницами. Всякому, кто находился в саду, дышалось привольно; жизнь благоухала; вся природа источала кротость, сочувствие, готовность помочь, отеческую заботу, ласку, свежесть зари. Мысли, внушенные небом, были нежны, как детская ручка, которую целуешь.

Белые нагие статуи под деревьями были одеты тенью, прорванной светом; солнце словно истерзало в клочья одеяния этих богинь; с их торсов свисали лохмотья лучей. Земля вокруг большого бассейна уже высохла настолько, что казалась выжженной. Слабый ветерок вздымал кое-где легкие клубы пыли. Несколько желтых листьев, уцелевших с прошлой осени, весело гонялись друг за другом, как бы играя.

В изобилии света таилось что-то успокоительное. Все было полно жизни, благоухания, тепла, испарений; под покровом природы вы угадывали бездонный животворный родник; во всех этих дуновениях, напоенных любовью, в этой игре отблесков и отсветов, в неслыханной щедрости лучей, в нескончаемом потоке струящегося золота вы чувствовали расточительность неистощимого и прозревали за этим великолепием, словно за огненной завесой, – звездного миллионера, бога.

Песок впитал всю грязь до последнего пятнышка, дождь не оставил ни одной пылинки. Цветы только что умылись; все оттенки бархата, шелка, лазури, золота, выходящие из земли под видом цветов, были безупречны. Эта роскошь сияла чистотой. В саду царила великая тишина умиротворенной природы. Небесная тишина, созвучная тысячам мелодий, воркованию птиц, жужжанию пчелиных роев, дуновениям ветерка. Все гармонии весенней поры сливались в пленительном хоре; голоса весны и лета вступали и умолкали в стройном порядке; когда кончалась сирень, расцветал жасмин; иные цветы запоздали, иные насекомые появились слишком рано; авангарды красных июньских бабочек братались с арьергардами белых бабочек мая. Платаны обновляли кору. От легкого ветра зыбились роскошные кроны каштанов. Это было великолепное зрелище. Ветеран из соседней казармы, любовавшийся садом через решетку, говорил: «Вот и весна встала под ружье, да еще в полной парадной форме».

Вся природа завтракала, все живое было приглашено к столу; в установленный час на небе была разостлана огромная голубая скатерть, а на земле громадная зеленая скатерть; солнце светило а giorno^[150]. Бог угощал всю вселенную. Всякое создание получало свой корм, свою пищу. Дикие голуби – конопляное семя, зяблики – просо, щеглы – курослеп, малиновки – червей, пчелы – цветы, мухи – инфузорий, дубоносы – мух. Правда, они пожирали друг друга, в чем и заключается великая тайна добра и зла; но ни одна тварь не оставалась голодной.

Двое покинутых малышей очутились возле большого бассейна и, немного оробев от всего этого блеска, поспешили спрятаться, повинувшись инстинкту слабого и бедного перед всяким великолепием, даже неодушевленным; они укрылись за дощатым домиком для лебедей.

Время от времени, когда поднимался ветер, с разных сторон смутно доносились крики, гул голосов, шумный треск ружейной пальбы и тяжкое уханье пушечных выстрелов. Над крышами со стороны рынка тянулся дым. Вдалеке, как будто призывая на помощь, звонил колокол.

Дети, казалось, не замечали этого шума. Младший то и дело тихонько повторял: «Есть хочется».

Почти в ту же минуту, что и дети, к бассейну приблизилась другая пара. Какой-то толстяк лет пятидесяти вел за руку толстячка лет шести. Вероятно, отец с сыном. Шестилетний карапуз держал в руке большую сдобную булку.

В те годы многие домовладельцы со смежных улиц – Принцессы и Адской – имели ключи от Люксембургского сада, и в часы, когда ворота были заперты, пользовались этой льготой, впоследствии отмененной. Отец с сыном, по всей вероятности, жили в одном из таких домов.

Двое маленьких оборвышей заметили приближение «важного господина» и постарались получше спрятаться.

Это был какой-то буржуа. Быть может, тот самый, который здесь, у большого бассейна, как слышал однажды Мариус в своем любовном бреде, советовал сыну «избегать излишеств». У него был благовоспитанный чванный вид и большой рот, вечно раздвинутый в улыбку, потому

что не мог закрыться. Такая застывшая улыбка, вызванная слишком развитой челюстью, на которую словно не хватило кожи, обнажает только зубы, а не душу.

У ребенка, зажавшего в руке надкусанную плюшку, был откормленный вид. Ребенок был наряжен национальным гвардейцем по случаю мятежа, а папаша оставался в гражданском платье – из осторожности.

Оба остановились у бассейна, где плескались двое лебедей. Буржуа, казалось, питал к лебедям особое пристрастие. Он был похож на них в том отношении, что тоже ходил вперевалку.

Лебеди плавали – в этом и проявляется их высокое искусство; они были восхитительны.

Если бы двое маленьких нищих прислушались и если бы доросли до понимания подобных истин, они могли бы запомнить поучения этого рассудительного человека. Отец говорил сыну:

– Мудрец довольствуется малым. Бери пример с меня, сынок. Я не люблю роскоши. Я никогда не украшал своего платья ни золотом, ни дорогими побрякушками; я предоставляю этот фальшивый блеск людям низкого умственного уровня.

Неясные крики, доносившиеся со стороны рынка, вдруг усилились; им вторили удары колокола и гул толпы.

– Что это такое? – спросил мальчик.

– Это сатурналии, – отвечал отец.

Тут он заметил двух маленьких оборванцев, укрывшихся за зеленым домиком для лебедей.

– Ну вот, начинается! – проворчал он.

И добавил, помолчав:

– Анархия проникла даже в этот сад.

Сын между тем откусил кусочек плюшки, выплюнул и сразу заревел.

– О чем ты плачешь? – спросил отец.

– Мне больше не хочется есть, – ответил ребенок.

Отец еще шире оскалил зубы:

– Вовсе не надо быть голодным, чтобы скушать булочку.

– Мне надоела булка. Она черствая.

– Ты больше не хочешь?

– Не хочу.

Отец показал ему на лебедей.

– Брось ее этим перепончатопалым.

Ребенок заколебался. Если не хочется булочки, это еще не резон отдавать ее другим.

– Будь же гуманным. Надо жалеть животных.

И, взяв у сына плюшку, он бросил ее в бассейн. Плюшка упала довольно близко от берега. Лебеди плавали далеко, на середине бассейна, и искали в воде добычу. Поглощенные этим, они не замечали ни буржуа, ни сдобной булки.

Видя, что плюшка вот-вот потонет, и беспокоясь, что даром пропадет добро, буржуа принялся отчаянно жестикулировать, чем привлек в конце концов внимание лебедей.

Они заметили, что на поверхности воды что-то плавает, повернулись другим бортом, точно настоящие корабли, и медленно направились к плюшке с добродетельным и величавым видом, который так подходит к белоснежному оперению этих птиц.

– Увидали морские сигналы и поплыли на всех парусах, – сказал буржуа, очень довольный собой.

В эту минуту отдаленный городской шум внезапно усилился. На этот раз он стал угрожающим. Случается, что порыв ветра доносит звуки особенно явственно. Ветер, который подул теперь, донес дробь барабана, вопли, ружейные залпы, которым угрюмо вторили

набатный колокол и пушки. Это совпало с появлением темной тучи, неожиданно закрывшей солнце.

Лебеди еще не успели доплыть до плюшки.

– Идем домой, – сказал отец, – там атакуют Тюильри.

Он снова схватил сына за руку.

– От Тюильри до Люксембурга, – продолжал он, – расстояние не больше, чем от короля до пэра; это недалеко. Скоро выстрелы посылаются градом.

Он взглянул на небо.

– А может, и туча разразится градом; само небо вмешалось в борьбу, младшая ветвь Бурбонов обречена на гибель. Идем скорей.

– Мне хочется посмотреть, как лебеди будут есть булочку, – захныкал ребенок.

– Нет, – возразил отец, – это было бы неблагоприятно.

И он увел маленького буржуа.

Неохотно покидая лебедей, сын оглядывался на бассейн до тех пор, пока не скрылся за поворотом аллеи, обсаженной деревьями.

Между тем двое маленьких бродяг, одновременно с лебедями, приблизились к плюшке, которая колыхалась на воде. Младший смотрел на булочку, старший следил за удаляющимся буржуа.

Отец с сыном вступили в лабиринт аллей, ведущих к большой лестнице в роще, возле улицы Принцессы.

Как только они скрылись из виду, старший быстро лег животом на закругленный край бассейна, уцепившись за него левой рукой, свесился над водой и, рискуя упасть, потянулся правой рукой с прутиком за булкой. Увидев неприятеля, лебеди поплыли быстрее, разрезая грудью воду, что оказалось на руку маленькому ловцу; вода под лебедями всколыхнулась, и одна из мягких концентрических волн подтолкнула плюшку прямо к прутику. Не успели лебеди подплыть, как прут дотянулся до булки. Мальчик быстро хлестнул прутиком, распугал лебедей, зацепил плюшку, схватил ее и встал. Плюшка вся размокла, но дети были голодны и хотели пить. Старший разделил булку на две части, побольше и поменьше, сам взял меньшую, протянул большую своему братишке и сказал:

– На, залепи себе в дуло.

Глава 17

Mortuus pater filium moriturum expectat [\[151\]](#)

Мариус, не раздумывая, соскочил с баррикады на улицу. Комбефер бросился за ним. Но было уже поздно. Гаврош был мертв. Комбефер принес на баррикаду корзинку с патронами, Мариус принес ребенка.

«Увы, – думал он, – я для сына сделал то же, что его отец сделал для моего отца: я возвращаю ему мой долг. Но Тенардье вынес моего отца с поля битвы живым, а я принес его мальчика мертвым».

Когда Мариус взошел в редут с Гаврошем на руках, его лицо было залито кровью, как и лицо ребенка.

Пуля оцарапала ему голову в ту минуту, как он нагибался, чтобы поднять Гавроша, но он даже не заметил этого.

Курфейрак сорвал с себя галстук и перевязал Мариусу лоб.

Гавроша положили на стол рядом с Мабефом и накрыли оба трупа черной шалью. Ее

хватило и на старика и на ребенка.

Комбефер разделил между всеми патроны из принесенной им корзинки.

На каждого пришлось по пятнадцати зарядов.

Жан Вальжан по-прежнему неподвижно сидел на тумбе. Когда Комбефер протянул ему пятнадцать патронов, он покачал головой.

– Вот так чудак! – шепнул Комбефер Анжольрасу. – Быть на баррикаде и не сражаться!

– Что не мешает ему защищать баррикаду, – возразил Анжольрас.

– Среди героев тоже попадаются оригиналы, – заметил Комбефер.

– Этот совсем в другом роде, чем старик Мабеф, – прибавил Курфейрак, услышав их разговор.

Необходимо отметить, что обстрел баррикады не вызывал особого волнения среди ее защитников. Кто сам не побывал в водовороте уличных боев, не может даже представить себе, как странно чередуются там минуты затишья с бурей. Внутри баррикады люди бродят взад и вперед, разговаривают, шутят. Один мой знакомый сам слышал от бойца баррикады в самый разгар картечных залпов: «Мы здесь точно на холостой пирушке». Повторяем, редут на улице Шанврери казался внутри довольно спокойным. Все перипетии и все фазы испытания были уже или скоро должны были быть позади. Из критического их положение стало угрожающим, а из угрожающего, по всей вероятности, безнадежным. По мере того как горизонт омрачался, ореол героизма все ярче озарял баррикаду. Суровый Анжольрас возвышался над ней, стоя в позе юного спартамца, посвятившего свой меч мрачному гению Эпидота.

Комбефер, надев фартук, перевязывал раненых; Боссюэ и Фейи набивали патроны при помощи пороховницы, найденной Гаврошем на трупе капрала, и Боссюэ говорил Фейи: «Скоро нам придется нанять дилижанс для переезда на другую планету». Курфейрак с аккуратностью молодой девушки, приводящей в порядок свои безделушки, раскладывал на нескольких булыжниках, облюбованных им возле Анжольраса, весь свой арсенал: трость со шпагой, ружье, два седельных пистолета и маленький карманный. Жан Вальжан молча смотрел прямо перед собой. Один из рабочих укреплял на голове при помощи шнурка большую соломенную шляпу тетушки Гюшлу. «Чтобы не хватил солнечный удар», – объяснял он. Юноши из Кугурды города Экс весело болтали меж собой, как будто торопились вдоволь наговориться напоследок на своем родном наречии. Жоли, сняв со стены зеркало вдовы Гюшлу, разглядывал свой язык. Несколько повстанцев с жадностью грызли найденные в шкафу заплесневелые корки. А Мариус был озабочен тем, что скажет ему отец, встретясь с ним в ином мире.

Глава 18

Хищник становится жертвой

Остановимся на одном психологическом явлении, имеющем место на баррикадах. Не следует упускать ничего, что характерно для этой необычайной уличной войны.

Несмотря на удивительное спокойствие повстанцев, которое мы только что отметили, баррикада кажется призрачным видением тем, кто находится внутри.

В гражданской войне есть что-то апокалипсическое; густой туман неведомого заволакивает яростные вспышки пламени; народные восстания загадочны, как сфинкс, и тому, кто сражался на баррикаде, она вспоминается, как сон.

Мы обрисовали на примере Мариуса то, что переживают люди в эти часы, и мы увидим последствия такого состояния, – это ярче и вместе с тем бледнее, чем реальная жизнь. Уйдя с баррикады, человек не помнит того, что он там видел. Он был страшен – и сам не сознавал этого. Вокруг него сражались идеи в человеческом облике, его голову озаряло сияние будущего.

Там недвижно лежали трупы и стояли во весь рост призраки. Часы тянулись нескончаемо долго и казались часами вечности. Он как будто пережил смерть. Мимо него скользили тени. Что это было? Там он видел руки, обгаренные кровью, там стоял оглушительный грохот и вместе с тем жуткая тишина; там были раскрытые рты, что-то кричавшие, и были раскрытые рты, умолкшие навсегда; его окружало облако дыма или, быть может, ночная тьма. Ему мерещилось, что он коснулся зловещей влаги, просочившейся из неведомых глубин; он разглядывал какие-то красные пятна на пальцах. Он ничего не помнил более.

Вернемся к улице Шанврери.

Вдруг, в промежутке между двумя залпами, послышался отдаленный бой часов.

– Полдень! – сказал Комбефер.

Часы не успели пробить двенадцать ударов, как Анжольрас выпрямился во весь рост наверху баррикады и крикнул громовым голосом:

– Тащите булыжники в дом. Завалите подоконники внизу и на чердаке. Половине людей – готовиться к бою, остальным – носить камни. Нельзя терять ни минуты.

На конце улицы показался взвод саперов-пожарников, в боевом порядке, с топорами на плечах.

Это мог быть только головной отряд колонны. Какой колонны? Несомненно, штурмовой, так как за саперами, посланными разрушить баррикаду, обычно следуют солдаты, которые должны взять ее приступом.

Очевидно, приближалось мгновение, когда им «затянут петлю на шее», как выразился в 1822 году г-н Клермон-Тоннер.

Приказ Анжольраса был выполнен с точностью и быстротой, свойственной бойцам на кораблях и баррикадах – этих двух полях битвы, откуда отступление невозможно. Меньше чем в минуту две трети камней, сложенных грудой по распоряжению Анжольраса перед входом в «Коринф», были перенесены во второй этаж и на чердак, и не истекла еще вторая минута, как этими камнями, искусно прилаженными один к другому, были заделаны до половины высоты окна второго этажа и чердачные оконца. По указанию главного строителя Фейи между камнями были предусмотрительно оставлены промежутки для ружейных стволов. Укрепить окна удалось тем легче, что картечь стихла. Оба орудия стреляли теперь ядрами по самому центру баррикады, чтобы сделать в ней пробоину или, если удастся, пролом для атаки.

Когда было готово заграждение из булыжников, предназначенное для обороны последнего оплота, Анжольрас велел перенести во второй этаж бутылки из-под стола, на котором лежал Мабеф.

– Кто же их выпьет? – спросил Боссюэ.

– Они, – ответил Анжольрас.

После этого повстанцы забаррикадировали нижнее окно, держа наготове железные бруссы, которыми закладывали на ночь дверь кабачка изнутри.

Теперь это была настоящая крепость. Баррикада служила ей валом, кабачок – главной башней.

Оставшимися булыжниками завалили единственный проход в баррикаде.

Защитники баррикады всегда принуждены беречь боевые припасы, и противнику это известно, поэтому осаждающие проводят все приготовления с раздражающей медлительностью, выдвигаются раньше времени за линию огня осажденных, впрочем, больше для виду, чем на самом деле, и устраиваются поудобнее. Подготовка к атаке производится всегда с неторопливой методичностью, после чего вдруг разражается гроза.

Эта медлительность позволила Анжольрасу все проверить и, где возможно, улучшить. Он решил, что уж если таким людям суждено умереть, их смерть должна стать непревзойденным

примером мужества.

Он сказал Мариусу:

– Мы оба здесь командиры. Я пойду в дом отдать последнее распоряжение. А ты оставайся снаружи и наблюдай.

Мариус занял наблюдательный пост на гребне баррикады.

Анжольрас велел заколотить дверь кухни, обращенной, как мы помним, в лазарет.

– Чтобы в раненых не попали осколки, – заметил он. Он отдавал последние распоряжения в нижней зале отрывистым, но совершенно спокойным голосом; Фейи выслушивал и отвечал ему от имени всех.

– Держите наготове топоры во втором этаже, чтобы обрубить лестницу. Топоры есть?

– Есть, – отвечал Фейи.

– Сколько штук?

– Два топора и колун.

– Хорошо. У нас в строю двадцать шесть бойцов. Сколько ружей?

– Тридцать четыре.

– Значит, восемь лишних. Держите их под рукой и зарядите, как и прочие. Пристегните сабли и заложите за пояс пистолеты. Двадцать человек на баррикаду. Шестеро – на чердак и к окну второго этажа; стрелять в нападающих сквозь бойницы между камней. Никому без дела не сидеть. Как только барабаны начнут бить атаку, вы, все двадцать, бегите на баррикаду. Те, кто прибегут первыми, займут лучшие места.

Расставив всех на посты, он повернулся к Жаверу и сказал:

– Я о тебе не забыл.

И, положив на стол пистолет, добавил:

– Кто выйдет отсюда последним, размозжит голову шпиону.

– Здесь? – спросил чей-то голос.

– Нет, его труп недостойн лежать рядом с нашими. Можно перебраться на улицу Мондетур через малую баррикаду. В ней только четыре фута высоты. Шпион крепко связан. Уведите его туда и пристрелите.

Один человек в эту минуту казался еще более бесстрастным, чем Анжольрас: то был Жавер. В эту минуту появился Жан Вальжан.

Он стоял в группе повстанцев. Тут он выступил вперед и обратился к Анжольрасу:

– Вы начальник?

– Да.

– Вы благодарили меня недавно.

– Да, от имени Республики. Баррикаду спасли два человека: Мариус Понмерси и вы.

– Считаете ли вы, что я заслужил награду?

– Разумеется.

– Так вот, я прошу награды.

– Какой?

– Я хочу сам пустить пулю в лоб этому человеку.

Жавер поднял голову, увидел Жана Вальжана и произнес, сделав еле уловимое движение:

– Это справедливо.

Анжольрас, перезарядив свой карабин, обвел всех глазами:

– Возражений нет?

И повернулся к Жану Вальжану:

– Забирайте шпиона.

Жан Вальжан присел на край стола, где лежал Жавер, тем самым как бы заявив на него свои

права. Он схватил пистолет и, судя по слабому треску, зарядил его.

Почти в ту же секунду раздался рожок горниста.

– К оружию! – крикнул Мариус с вершины баррикады.

Жавер засмеялся свойственным ему беззвучным смехом и, пристально глядя на повстанцев, сказал:

– А ведь вам придется не лучше моего.

– Все на баррикаду! – скомандовал Анжольрас.

Повстанцы в беспорядке бросились к выходу и, выбегая, получили прямо в спину – да простят нам это выражение – следующее напутствие Жавера:

– До скорого свидания!

Глава 19

Жан Вальжан мстит

Оставшись наедине с Жавером, Жан Вальжан развязал стягивающую пленника поперек туловища веревку, узел которой находился под столом. После этого он знаком велел ему встать.

Жавер повиновался с той не поддающейся описанию улыбкой, в которой выражается все превосходство власти, даже если она в оковах.

Жан Вальжан взял Жавера за мартингал, точно вьючное животное за повод, и, медленно ведя его за собой, так как Жавер, спутанный по ногам, мог делать только маленькие шаги, вывел его из кабачка.

Жан Вальжан шел, зажав в руке пистолет.

Так они пересекли площадку внутри баррикады, имевшую форму трапеции. Повстанцы, поглощенные ожиданием неминуемой атаки, стояли к ним спиной.

Один Мариус, стоявший в стороне, в левом углу укрепления, заметил, как они проходили. Эти две фигуры – палача и осужденного – он увидел в озарении того же мертвенного света, который заливал его душу.

Жан Вальжан, хотя это было и нелегко, заставил связанного Жавера, не выпуская его из рук ни на миг, перелезть через низенький вал в переулок Мондетур.

Перебравшись через заграждение, они очутились одни в пустынном переулке. Никто не мог их видеть. От повстанцев их скрывал угловой дом. В нескольких шагах лежала страшная груда трупов, вынесенных с баррикады.

Среди мертвых тел выделялось синеватое лицо, обрамленное распущенными волосами, простреленная рука и полуобнаженная женская грудь. Это была Эпонина.

Жавер, искоса взглянув на мертвую женщину, заметил вполголоса, с полнейшим спокойствием:

– Мне кажется, я знаю эту девку.

Затем он повернулся к Жану Вальжану. Жан Вальжан переложил пистолет под мышку и устремил на Жавера пристальный взгляд, говоривший без слов: «Это я, Жавер».

– Твоя взяла, – ответил Жавер.

Жан Вальжан вытащил из жилетного кармана нож и раскрыл его.

– Ага, перо! – воскликнул Жавер. – Правильно. Тебе это больше подходит.

Жан Вальжан разрезал мартингал на шее Жавера, разрезал веревки на кистях рук, затем, нагнувшись, перерезал ему путы на ногах и, выпрямившись, сказал:

– Вы свободны.

Жавера трудно было удивить. Однако при всем его самообладании он был невольно потрясен. Он застыл на месте от удивления.

Жан Вальжан продолжал:

– Я не думаю, что выйду отсюда живым, но, если случайно мне удалось бы спастись, запомните: я живу под именем Фошлевана на улице Вооруженного человека, номер семь.

Жавер оскалился, как тигр, и, скривив рот, процедил сквозь зубы:

– Берегись.

– Уходите, – сказал Жан Вальжан.

Жавер переспросил:

– Ты сказал Фошлеван, улица Вооруженного человека?

– Номер семь.

– Номер семь, – повторил Жавер вполголоса. Он снова застегнул свой сюртук, распрямил плечи по-военному, сделал пол-оборота, скрестил руки и, подперев одной из них подбородок, зашагал в сторону рынка. Жан Вальжан провожал его взглядом. Пройдя несколько шагов, Жавер обернулся и крикнул Жану Вальжану:

– Вы мне надоели! Лучше убейте меня!

Сам того не замечая, Жавер перестал говорить «ты» Жану Вальжану.

– Уходите прочь! – крикнул тот.

Жавер удалялся медленным шагом. Минуту спустя он завернул за угол улицы Проповедников.

Как только Жавер скрылся из виду, Жан Вальжан разрядил пистолет в воздух.

После этого он возвратился на баррикаду и сказал:

– Дело сделано.

А в его отсутствие произошло следующее.

Мариус, занятый больше тем, что делалось на улице, чем в доме, не удосужился до этого времени поглядеть на шпиона, лежащего связанным в темном углу нижней залы.

Увидев его при дневном свете, когда он перелезал через баррикаду, идя на расстрел, Мариус узнал его. Внезапно в его мозгу мелькнуло воспоминание. Он припомнил, как встретился с полицейским надзирателем на улице Понтуаэ и как тот дал ему два пистолета, те самые, чтогодились ему здесь, на баррикаде; он припомнил не только лицо, но и имя.

Однако это воспоминание было туманным и смутным, как и все его мысли. То была не уверенность, а скорее вопрос, который он задавал самому себе: «Не тот ли это полицейский надзиратель, который называл себя Жавером?»

Быть может, он еще успеет вступить за этого человека. Но надо сначала удостовериться, действительно ли это тот самый Жавер.

Мариус окликнул Анжольраса, занявшего пост на противоположном конце баррикады.

– Анжольрас!

– Что?

– Как зовут этого человека?

– Какого?

– Полицейского агента. Ты знаешь его имя?

– Конечно. Он нам сказал.

– Как же его зовут?

– Жавер.

Мариус вздрогнул.

В этот миг послышался пистолетный выстрел.

Появился Жан Вальжан и крикнул: «Дело сделано».

Смертный холод сковал сердце Мариуса.

На баррикаде наступала агония.

Все объединилось, чтобы оттенить трагическое величие этих последних минут. Множество таинственных звуков, носившихся в воздухе, дыхание невидимых вооруженных толп, движущихся по городу, прерывистый галоп конницы, тяжелое гроыхание артиллерии, перекрестная ружейная и орудийная пальба в лабиринте парижских улиц, пороховой дым, поднимающийся над крышами золотыми клубами, неясные и гневные крики, доносящиеся откуда-то издалека, грозные зарницы со всех сторон, звон набата Сен-Мерри, заунывный, как рыдание, мягкая летняя пора, великолепие неба, пронизанного солнечным сиянием и полного облаков, чудная погода и устрашающее безмолвие домов.

Ибо со вчерашнего дня два ряда домов по улице Шанврери обратились в две стены – в две неприступные стены: двери были заперты, окна захлопнуты, ставни затворены.

В те времена, столь отличные от наших, в час, когда народ решался покончить с отжившим старым порядком, с дарованной хартией или с действующими законами, когда воздух был насыщен гневом, когда город сам разрушал свои мостовые, когда восстание шептало на ухо благосклонно улыбающейся буржуазии свой пароль, – тогда мирные жители, охваченные мятежным духом, становились как бы союзниками повстанцев и дом брался с выросшей словно из-под земли крепостью и служил ей опорой. Но если время еще не созрело, если восстание не получало одобрения народа, если он отрекался от него, то повстанцы обречены были на гибель. Город вокруг них обращался в пустыню, все души ожесточались, все убежища запирались, и улицы открывали путь войскам, помогая овладеть баррикадой.

Нельзя насильно заставить народ шагать быстрее, чем он хочет. Горе тому, кто пытается понукать его! Народ не терпит принуждения. Тогда он бросает восставших на произвол судьбы. Повстанцы попадают в положение зачумленных. Дом становится неприступной кручей, дверь – преградой, фасад – глухой стеной. Стена эта все видит, все слышит, но не хочет прийти на помощь. Она могла бы приотвориться и спасти вас. Но нет! Эта стена – судьба. Она глядит на вас и выносит вам приговор. Какой угрюмый вид у запертых домов! Они кажутся вымершими, хотя на самом деле продолжают жить. Жизнь, как будто остановившаяся, течет там своим чередом. Никто не выходил оттуда целые сутки, хотя все налицо. Внутри такой скалы ходят, разговаривают, ложатся спать, встают, сидят в кругу семьи, едят и пьют, дрожат от страха, – вот что ужасно! Страх может извинить эту неумолимую жестокость; вызванная им растерянность – смягчающее обстоятельство. Порою – даже и такие случаи бывают – страх становится одержимостью; испуг может обратиться в ярость, так же, как осторожность – в бешенство; вот откуда взялось полное глубокого смысла выражение «бешеные из умеренных». Случается, что вспышки панического ужаса порождают злобу, подобную мрачному облаку дыма. «Чего еще надо этим смутьянам? Вечно они недовольны. Только сбивают с пути мирных горожан. Как будто и без того мало всех этих революций! Зачем их принесло сюда? Пусть проваливаются! Поделом им. Сами виноваты. Пускай получают по заслугам. Нам-то какое дело! Всю нашу бедную улицу они изрешетили пулями. Это шайка негодяев. Главное, не отворяйте дверей!» И дом преображается в гробницу. Повстанец мучается в агонии перед запертой дверью, вот его настигает картечь, вот над ним заносят обнаженные сабли. Он знает, что, сколько ни кричи, помощь не придет, хотя его и слышат. Там есть стены, которые могли бы укрыть его, там есть люди, которые могли бы спасти его, – и у этих стен есть уши, но у людей сердца из камня.

Кто тут виноват?

Никто и каждый из нас.

Виновно то несовершенно время, в какое мы живем.

Утопия всегда действует на свой страх и риск, выливаясь в восстание, обращаясь из философской борьбы в борьбу вооруженную, из Минервы – в Палладу. Если утопия, потеряв терпение, становится мятежом, она знает, что ее ждет; почти всегда она приходит преждевременно. Тогда она смиряется и взамен триумфа стоически приемлет катастрофу. Она служит тем, кто отвергает ее, не жалуясь и даже оправдывая их; благородство ее в том, что она согласна быть всеми покинутой. Она непреклонна перед лицом препятствий и снисходительна к неблагоприятным.

Впрочем, неблагодарность ли это?

С точки зрения человечества – да.

С точки зрения отдельной личности – нет.

Прогресс – это форма человеческого существования. Прогрессом зовется жизнь человечества в целом; прогрессом зовется поступательное движение человечества. Прогресс шагает вперед; это великое земное странствие человека к небесному и божественному. У него бывают остановки в пути, где он собирает отставших; бывают привалы, где он размышляет, созерцая некую чудесную землю Ханаанскую, вдруг открывшую перед ним свои просторы; бывают ночи, когда он спит; и нет для мыслителя более мучительной тревоги, чем видеть душу человечества, окутанную мраком, чем ощупью искать во тьме уснувший прогресс и не иметь силы разбудить его.

«Уж не умер ли бог?» – сказал однажды пишущему эти строки Жерар де Нерваль, путая прогресс с богом и принимая перерыв в движении за смерть высшего существа.

Те, кто отчаивается, не правы. Прогресс неизменно пробуждается, и в сущности, можно было бы сказать, что и во сне он продолжал свой путь, так как вырос за это время. Увидев его снова, вы убедитесь, что он стал выше ростом. Пребывать в покое так же невозможно для прогресса, как для потока; не ставьте ему преград, не бросайте каменных глыб в его русло; препятствия заставляют воду пениться, а человечество бурлить. Вот причина волнений и смут; но после каждого волнения оказывается, что вы продвинулись вперед. Пока не будет установлен порядок, – а порядок не что иное, как всеобщий мир, – пока не воцарятся на земле гармония и единство, до тех пор этапами прогресса будут служить революции.

Что же такое прогресс? Мы уже сказали. Непрерывное движение, жизнь народов.

Однако случается иногда, что преходящая жизнь отдельных личностей сопротивляется вечной жизни человеческого рода.

Признаемся без горечи: у каждого есть свои личные интересы, и вовсе не преступно отстаивать и защищать их; настоящему отпущена вполне законная доля эгоизма; преходящая жизнь имеет свои права и не обязана непрерывно жертвовать собою ради будущего. Нынешнее поколение, свершающее свой земной путь, не обязано сокращать его ради будущих, в сущности, подобных ему самому поколений, чей черед придет позже. «Я существую, – шепчет некто, именуемый Все. – Я молод и влюблен, я стар и хочу отдохнуть, я отец семейства, я тружусь, я преуспеваю, мои дела идут прекрасно, мои дома сдаются внаем, у меня есть сбережения, я счастлив, у меня жена и дети, я люблю их, я хочу жить, оставьте меня в покое». Вот почему благородные передовые отряды человечества встречают в известные периоды такое глубокое равнодушие.

К тому же надо признать, что, начиная войну, утопия сходит со своих лучезарных высот. Она, эта истина грядущего дня, вступая в войну, заимствует методы у вчерашней лжи. Она, наше будущее, поступает не лучше прошедшего. Чистая идея становится насилием. Она омрачает героизм этим насилием, за которое, по справедливости, должна отвечать; насилием

грубым и неразборчивым в средствах, которое противоречит нравственным правилам, за что она роковым образом несет кару. Утопия-восстание сражается с древним военным кодексом в руках; она расстреливает шпионов, казнит предателей, уничтожает живых людей и бросает их в неведомую тьму. Она прибегает к помощи смерти – это тяжкий проступок. Можно подумать, будто утопия не верит больше в сияние истины, в ее несокрушимую и нетленную силу. Она разит мечом. Но меч не так прост. Всякий клинок – оружие обоюдоострое. Кто ранит другого, будет ранен и сам.

Сделав эту оговорку, – и со всею должной суровостью, – мы не можем, однако, не восхищаться славными борцами за будущее, жрецами утопии, безразлично – достигнут ли они своей цели, или нет. Они достойны преклонения, даже когда их дело срывается, и, может быть, именно в неудачах особенно сказывается их величие. Победа, если она содействует прогрессу, заслуживает всенародных рукоплесканий; но героическое поражение должно растрогать сердца. Победа блистательна, поражение величественно. Мы предпочитаем мученичество успеху, и для нас Джон Браун – выше Вашингтона, а Пизакане – выше Гарибальди.

Надо же, чтобы хоть кто-нибудь держал сторону побежденных.

Мы несправедливы к великим разведчикам будущего, когда они терпят крушение.

Революционеров обвиняют в том, что они сеют ужас. Всякая баррикада кажется покушением на общество. Революционерам вменяют в вину их теории, не доверяют их целям, опасаются каких-то задних мыслей, подвергают сомнению их честность. Их обвиняют в том, что против существующего социального строя они поднимают, нагромождают и воздвигают горы нужды, скорби, несправедливости, жалоб, отчаяния, извлекают с самого дна человеческого общества черные глыбы мрака, чтобы взобраться на их вершину и вступить в бой. Им кричат: «Вы разворотили мостовую ада!» Они могли бы ответить: «Вот почему наша баррикада вымощена благими намерениями».

Бесспорно, самое лучшее – мирно разрешать проблемы. Словом, что ни говори, когда смотришь на бульжник, вспоминаешь медведя из басни, а такая добрая воля больше всего тревожит общество. Но ведь спасение общества в его собственных руках; так пусть же оно само и проявит добрую волю. Тогда отпадет необходимость в крутых мерах. Изучить зло беспристрастно, признать, что оно существует, затем излечить от него. Вот к чему мы призываем общество.

Как бы там ни было, все те, кто, устремив глаза на Францию, сражается во всех концах вселенной за великое дело, опираясь на непреклонную логику идеала, – полны величия, даже поверженные, в особенности поверженные; они бескорыстно жертвуют жизнью за прогресс, они выполняют волю провидения, они творят священное дело. В назначенный срок, по ходу действия божественной драмы, они сходят в могилу с бесстрашием актера, подающего очередную реплику. Они обрекают себя на безнадежную борьбу, на стоическую гибель ради блистательного расцвета и неудержимого распространения во всем мире великого народного движения, которое началось 14 июля 1789 года. Эти солдаты – священнослужители. Французская революция – веление божества.

Впрочем, существует одно важное различие, и его необходимо добавить к другим, уже отмеченным в прежних главах: бывают вооруженные восстания, одобренные и поддержанные народом, – их зовут революцией, и восстания отвергнутые – их зовут мятежом.

Вспыхнувшее восстание – это идея, которая держит ответ перед народом. Если народ кладет черный шар, значит, идея бесплодна, восстание обречено на неудачу.

Народы не вступают в борьбу по первому зову, всякий раз, как того желает утопия. Нации не могут всегда и непрерывно проявлять душевную силу героев и мучеников.

Народ рассудителен. Восстание ему неуютно а priori; во-первых, потому, что часто

приводит к катастрофе, во-вторых, потому, что всегда исходит из отвлеченной теории.

Но именно то и прекрасно, что всегда приносят себя в жертву те, кто способен жертвовать собой ради идеала, ради одного только идеала. Восстание порождается энтузиазмом. Энтузиазм может прийти в ярость, тогда он берется за оружие. Кроме того, всякое восстание, взяв на прицел правительство или государственный строй, метит выше. Так, например, вожди восстания 1832 года и, в частности, юные энтузиасты с улицы Шанврери сражались – мы настаиваем на этом – не против Луи-Филиппа как такового. В откровенной беседе большинство из них признавало достоинства этого умеренного короля, представлявшего не то монархию, не то революцию. Никто не питал к нему ненависти. Но они восставали против младшей ветви помазанников божьих в лице Луи-Филиппа, как прежде восставали против старшей ветви в лице Карла X; и, свергая монархию во Франции, они стремились, как мы уже говорили, ниспровергнуть во всем мире противозаконную власть человека над человеком и привилегий над правом. Сегодня Париж без короля, завтра – мир без деспотов. Примерно так они рассуждали. Цель их была, конечно, отдаленной, неясной, может быть, и недостижимой для них, но великой.

Таков порядок вещей. Люди жертвуют собой во имя этой призрачной мечты, которая оказывается почти всегда иллюзией для посвященного, но иллюзией, подкрепленной самой твердой уверенностью, какая доступна человеку. Повстанец видит мятеж в поэтическом озарении. Он идет навстречу своей трагической участи, опьяненный грезами о будущем. Кто знает? Быть может, они добьются своего. Правда, их слишком мало, против них целая армия; но они защищают право, естественный закон, верховную власть каждого над самим собой, от которой невозможно отречься добровольно, справедливость, истину и готовы умереть за это, если понадобится, как триста древних спартанцев. Они помнят не о Дон Кихоте, но о Леониде. И они идут вперед и, раз вступив на этот путь, не отступают, а стремятся все дальше очертя голову, видя впереди неслыханную победу, завершение революции, прогресс, увенчанный свободой, возвеличение человечества, всеобщее освобождение или в худшем случае Фермопилы.

Такие схватки за дело прогресса часто терпят неудачу, и мы уже объяснили почему. Паладину трудно увлечь за собой неподатливые толпы. Тяжеловесные, несметные, ненадежные именно в силу своей неповоротливости, они боятся риска, а достижение идеала всегда сопряжено с риском.

Не надо забывать к тому же, что здесь замешаны личные интересы, которые плохо вяжутся с идеалами и чувствами. Желудок подчас парализует сердце.

Величие и красота Франции именно в том, что она меньше зависит от брюха, чем другие народы; она охотно затягивает пояс потуже. Она первая пробуждается и последняя засыпает. Она стремится вперед. Она – искательница новых путей.

Это объясняется ее художественной натурой.

Идеал – не что иное, как кульминационный пункт логики, подобно тому, как красота – не что иное, как вершина истины. Народы-художники являются вместе с тем и народами-преемниками. Любить красоту – значит стремиться к свету. Именно поэтому светоч Европы, то есть цивилизацию, несла вначале Греция, которая передала его Италии, а та вручила его Франции. Великие народы-просветители! *Vitae lampada tradunt*^[152].

Удивительная вещь! – поэзия народа является необходимым звеном его развития. Степень цивилизации измеряется силой воображения. Однако народ-просветитель непременно должен оставаться мужественным народом. Коринф, но не Сибарис. Кто поддается изнеженности, вырождается. Не надо быть ни дилетантом, ни виртуозом; надо быть художником. Не нужно стремиться к изысканности, нужно стремиться к совершенству. При этом условии вы даруете

человечеству образец идеала.

У современного идеала свой тип в искусстве и свой метод в науке. Только с помощью науки можно воплотить возвышенную мечту поэтов: красоту общественного строя. Эдем будет восстановлен при помощи А + В. На той ступени, какой достигла цивилизация, точность – необходимый элемент прекрасного, и научная мысль не только помогает художественному чутью, но и дополняет его; мечта должна уметь вычислять. Искусству-завоевателю должна служить опорой наука, как боевой конь. Очень важно, чтобы эта опора была надежной. Современный разум – это гений Греции, колесницей которому служит гений Индии; Александр, восседающий на слоне.

Нации, застывшие в мертвых догмах или развращенные наживой, непригодны к тому, чтобы двигать вперед цивилизацию. Преклонение перед золотым или иным кумиром ведет к атрофии живых мускулов и действенной воли. Увлечение вопросами религии и торгашескими интересами омрачает славу народа, понижает духовный уровень, ограничивая его горизонт, и лишает присущей народам-миссионерам способности, божественной и человеческой одновременно, постигать общие для всего рода людского цели. У Вавилона нет идеала; у Карфагена нет идеала. Афины и Рим сохранили и пронесли сквозь крошечную тьму веков сияние цивилизации.

Народ Франции обладает теми же свойствами, что народы Греции и Италии. Франция – афинянка по красоте и римлянка по величию. Кроме того, у нее доброе сердце. Она готова все отдать. Она чаще, чем другие народы, способна на преданность и самопожертвование. Правда, она изменчива и непостоянна, в этом и состоит основная опасность для тех, кто мчится бегом, когда она хочет идти, или идет, когда ей вздумалось остановиться. У Франции бывают приступы грубого материализма, и ее высокий разум по временам засоряют идеи, которые недостойны французского величия и годятся разве для какого-нибудь штата Миссури или Южной Каролины. Что поделаешь? Великанше угодно притворяться карлицей; у огромной Франции бывают мелочные капризы. Вот и все.

Тут нечего возразить. Народы, как и светила, имеют право на затмение. Это еще не беда, лишь бы свет вернулся, лишь бы затмение не превратилось в вечную ночь. Заря и возрождение – синонимы. Новый восход светила соответствует неизменному обновлению человеческого «я».

Установим факты беспристрастно. Смерть на баррикаде или могила в изгнании являются для самопожертвования приемлемым и предвиденным концом. Настоящее имя самопожертвования – бескорыстие. Пусть всеми покинутые остаются покинутыми, пусть изгнанники идут в изгнание; ограничимся тем, что обратимся с мольбой к великим народам – не слишком далеко отступать, когда они отступают. Под предлогом возврата к здравому смыслу не следует опускаться слишком низко.

Существуют, бесспорно, и материя, и нужды дня, и личные интересы, и желудок, но нельзя допустить, чтобы требования желудка становились единственным законом. У преходящей жизни есть права, мы их признаем, но есть свои права и у вечной жизни. Увы, можно подняться на большую высоту, а затем вдруг упасть. Мы видим в истории такие случаи чаще, чем хотели бы. Какая-нибудь прославленная нация, приблизившаяся к идеалу, вдруг начинает копать в грязи и находит в этом вкус; если ее спросят, по какой причине она покидает Сократа ради Фальстафа, она отвечает: «Потому что я люблю государственных мужей».

Еще одно слово, прежде чем вернуться к сражению на баррикаде.

Битвы, вроде той, о которой мы здесь повествуем, не что иное, как исступленный порыв к идеалу. Прогресс в оковах подвержен болезням и страдает этими трагическими припадками эпилепсии. Мы неизбежно должны были встретить на своем пути исконную болезнь прогресса – междоусобную войну. Здесь один из роковых этапов, одновременно и акт, и антракт нашей

драмы, главным действующим лицом которой является человек, проклятый обществом, и истинное название которой «Прогресс».

Прогресс!

В этом возгласе, который часто вырывается у нас, воплощены все наши чаяния; и так как заключенной в них идее в дальнейшем развитии этой драмы предстоит пережить еще немало испытаний, да будет нам позволено здесь если не приподнять над ней покрывало, то по крайней мере хоть показать сквозь завесу яркое ее сияние.

Книга, лежащая перед глазами читателя, представляет собою от начала до конца, в целом и в частности, – каковы бы ни были отклонения, исключения и отдельные срывы, – путь от зла к добру, от неправого к справедливому, от лжи к истине, от ночи к дню, от вожделений к совести, от тлена к жизни, от зверских инстинктов к понятию долга, от ада к небесам, от небытия к богу. Исходная точка – материя, конечный пункт – душа. В начале – чудовище, в конце – ангел.

Глава 21

Герои

Вдруг барабан забил атаку.

Штурм разразился как ураган. Накануне, во мраке ночи, противник подползал к баррикаде бесшумно, как удав. Теперь же, среди бела дня, нападение врасплох на открытом пространстве было неосуществимо, потому что живые силы атакующих оказались на виду; раздался рев пушки, и войско ринулось на приступ. В яростном стремительном порыве мощная колонна регулярной пехоты, подкреплённая через равные промежутки национальной и муниципальной гвардией в пешем строю, опираясь на шумные, хотя и невидимые толпы, выступила на улицу беглым шагом, с барабанным боем, при звуках трубы, с саперами во главе, и, держа штыки наперевес, не сгибаясь под градом пуль, пошла прямо на баррикаду, с силой медного тарана, бьющего в стену.

Стена выдержала.

Повстанцы открыли бешеный огонь. Весь гребень осажённой баррикады засверкал вспышками выстрелов. Штурм был настолько яростным, что на минуту вся баррикада оказалась наводнённой атакующими; но, стряхнув с себя солдат, как лев стряхивает собак, и лишь на миг покрывшись нападающими, словно скала морской пеной, она восстала вновь такая же крутая, черная и грозная.

Колонна, вынужденная отступить, осталась на улице в сомкнутом строю, страшная даже на открытой позиции, и ответила на огонь редута ожесточённой ружейной стрельбой. Те, кому приходилось видеть фейерверк, припомнят огненные снопы скрещённых молний, называемые букетом. Пусть они представят себе такой букет не в вертикальном, а в горизонтальном положении, мечущий пули, дробь и картечь с концов своих огненных стрел и сеющий смерть гроздьями громовержущих молний. Баррикада попала под этот град.

Обе стороны горели одинаковой решимостью. Храбрость доходила до дикого безрассудства и усугублялась каким-то свирепым героизмом, жертвующим в первую очередь жизнью самого героя. В ту эпоху солдаты национальной гвардии дрались, как зуавы. Войска стремились закончить битву, повстанцы – продолжать ее. Затягивать агонию в расцвете юности и здоровья – это уже не бесстрашие, а безумство. Для каждого участника этой схватки смертный час длился бесконечно. Вся улица покрылась трупами.

На одном конце баррикады находился Анжольрас, на другом Мариус. Анжольрас, державший в голове весь план обороны, берег себя и стоял в укрытии; три солдата, один за другим, упали мертвыми под его бойницей, даже не заметив его. Мариус сражался без

прикрытия. Он стоял, как живая мишень, возвышаясь над стеной редута больше чем по пояс. Нет более буйного расточителя, чем скряга, если ему вздумается кутить, и никто так не страшен в сражении, как мечтатель. Мариус был грозен и задумчив. Он чувствовал себя в бою словно во сне. Он казался призраком с ружьем в руках.

Патроны у осажденных подходили к концу, но их шутки были неистощимы. В смертном вихре, закружившем их, они продолжали смеяться.

Курфейрак стоял с обнаженной головой.

– Куда же ты девал свою шляпу? – спросил Боссюэ.

– Они ухитрились в конце концов сбить ее пушечными ядрами, – отвечал Курфейрак.

Их насмешки чередовались с презрением.

– Кто может понять этих людей? – с горечью восклицал Фейи, перечисляя имена известных и даже знаменитых лиц, в том числе кое-кого из старой армии. – Они обещали примкнуть к нам, обязались нам помочь, поклялись в этом честью, они наши командиры – и они же нас предали!

Комбефер ответил с суровой усмешкой:

– Некоторые люди знакомы с правилами чести, как астрономы – со звездами: только издалека.

Баррикада была так густо засыпана разорванными гильзами от патронов, что можно было подумать, будто выпал снег.

У осаждавших было численное превосходство, у повстанцев – позиционное преимущество. Они расположились на вершине стены и в упор расстреливали солдат, которые, спотыкаясь среди раненых и убитых, застревали на крутом ее откосе. Баррикада, построенная подобным образом и отлично укрепленная подпорами изнутри, действительно представляла одну из тех позиций, откуда горстка людей может держать под угрозой целое войско. Тем не менее атакующая колонна, непрерывно пополняясь и увеличиваясь под градом пуль, неотвратимо приближалась; мало-помалу, шаг за шагом, медленно, но неуклонно армия зажимала баррикаду в тиски.

Атаки следовали одна за другой. Опасность нарастала.

И тогда на этой груде камней, на улице Шанврери, разразилась битва, достойная стен Трои. Изможденные, оборванные, изнуренные люди, которые больше суток ничего не ели и не смыкали глаз, которые могли выпустить всего лишь несколько зарядов и напрасно ощупывали пустые карманы, ища патронов, почти все раненные, кто в голову, кто в руку, забинтованные порыжелыми и почерневшими тряпками, – в изодранной и залитой кровью одежде, вооруженные негодными ружьями и старыми зазубренными саблями, преобразились в титанов. Баррикаду атаковали раз десять, одолевали ее высоту, проникали внутрь, но ни разу не могли взять.

Чтобы составить представление об этой борьбе, вообразите огонь, подложенный под костер из этих охваченных яростью сердец и посмотрите на разбушевавшийся пожар. То было не сражение, а жерло раскаленной печи; уста извергали пламя, лица были искажены. Казалось, то были уже не люди; бойцы пламенели яростью, и страшно было смотреть на этих саламандр войны, которые метались взад и вперед в багровом дыму. Мы отказываемся от описания всех сцен этой грандиозной сечи, и в целом и в их последовательности. Одной лишь эпопее дозволено заполнить двенадцать тысяч стихов изображением битвы.

Это напоминало ад брахманизма, самую ужасную из семнадцати бездн преисподней, называемую в Ведах «Лесом мечей».

Дрались врукопашную, грудь с грудью, пистолетами, саблями, кулаками; стреляли издалека и в упор, сверху, снизу, со всех сторон, с крыш домов, из окон кабачка, из отдушин подвала, куда забрались некоторые из повстанцев. Они сражались один против шестидесяти.

Полуразрушенный фасад «Коринфа» был страшен. Татуированное картечью окно, с выбитыми стеклами и рамами, превратилось в бесформенную дыру, кое-как заваленную булыжниками. Боссюэ был убит; Фейи убит; Курфейрак убит; Жоли убит; Комбефер, пораженный в грудь тремя штыковыми ударами в тот миг, когда он наклонился, чтобы поднять раненого солдата, успел только взглянуть на небо и испустил дух.

Мариус все еще сражался, но был столько раз ранен, большей частью в голову, что лицо его исчезло под заливавшей его кровью, – казалось, оно закрыто было красным платком.

Один Анжольрас оставался невредимым. Когда ему не хватало оружия, он, не глядя, протягивал руку вправо или влево, и кто-нибудь из повстанцев подавал ему первый попавшийся клинок. Теперь у него остался лишь обломок от четырех шпак; у Франциска I в битве при Мариньяне было шпагой меньше.

Гомер говорит: «Диомед убил Аксила, сына Тевфрания, обитавшего в счастливой Аризбе; Эвриал, сын Мекистея, лишил жизни Дреса, Офелтия, Эсепу и Педаса, зачатого наядой Абарбареей от беспорочного Буколиона; Уллис поразил Пидита Перкосийского; Антилох – Аблера, Полипет – Астиала, Полидамант – Ота Килленейского, Тевкр – Аретаона; Мегантий гибнет от копья Эврипила. Царь героев Агамемнон повергает во прах Элата, уроженца высоко стоящего города, омываемого звонкоструйной рекой Сатнионом». В наших старинных эпических поэмах вооруженный огненной секирой Эспландиан нападает на великана маркиза Свантибора, который, защищаясь, швыряет в рыцаря башни, вырванные им из земли. На наших древних стенных фресках изображены два герцога, Бретонский и Бурбонский, на конях, в боевых доспехах, в шлемах и с гербами на щитах; они мчатся друг на друга с бердышами в руке, опустив железные забрала, в железных сапогах, в железных перчатках, один в горностаевой мантии, другой в лазурном плаще; Бретонский герцог – с изображением льва между двух зубцов короны, герцог Бурбонский – с огромной лилией перед забралом. Но чтобы блистать великолепием, вовсе не надо носить герцогский шишак, как Ивон, или держать в руке живое пламя, как Эспландиан, или, подобно Филесу, отцу Полидаманта, привезти из Эпира прекрасные боевые доспехи, дар Япета, владыки мужей; достаточно отдать свою жизнь за свои убеждения или за верность присяге. Вот простоватый солдатик, вчерашний крестьянин из Боса или из Лимузена, с тесаком на боку, который околачивается возле нянек с детьми в Люксембургском саду; вот бледный молодой студент, склонившийся над анатомическим препаратом или над книгой, белокурый юнец, бреющий бородку ножницами, – возьмите их обоих, вдохните в них чувство долга, поставьте друг против друга на перекрестке Бушра или в тупике Планш-Мибре, заставьте одного сражаться за свое знамя, а другого за свой идеал, и пусть оба воображают, что они сражаются за родину. Начнется грандиозная битва, и тени, отброшенные этим пехотинцем и этим медицинским студентиком во время поединка на великую эпическую арену, где борется человечество, сравняются с тенью Мегариона, царя Ликий, родины тигров, сдавившего в железном объятии могучего Аякса богоравного.

Глава 22

Шаг за шагом

Когда не осталось в живых никого из вожаков, кроме Анжольраса и Мариуса на противоположных концах баррикады, центр ее, так долго державшийся благодаря Курфейраку, Жоли, Боссюэ, Фейи и Комбеферу, наконец дрогнул. Пушка, не проломив бреши, годной для прохода, выбила в середине редута довольно широкий полукруглый выем; разрушенный ядрами гребень стены в этом месте обвалился, и из обломков, грудой сыпавшихся внутрь и наружу, образовалось как бы два откоса по обе стороны заграждения, внутренней и внешней. Внешний

откос представлял собою наклонную плоскость, удобную для нападения.

Тут осаждавшие предприняли решительную атаку, и эта атака удалась. Сомкнутым строем, оцетинясь штыками, пехота беглым шагом неудержимо бросилась вперед, и на вершине укрепления в пороховом дыму показался мощный авангард штурмовой колонны. На этот раз все было кончено. Защищавшая центр группа повстанцев отступила в беспорядке.

И тогда в некоторых из них внезапно проснулась смутная жажда жизни. Очутившись под прицелом этого леса ружей, они не захотели умирать. Пришла та минута, когда в нас начинает глухо рычать инстинкт самосохранения и когда в человеке пробуждается зверь. Их оттеснили к высокому шестиэтажному дому, служившему опорой баррикаде. В этом доме они могли бы найти спасение. Дом был заперт наглухо и как бы замурован сверху донизу. Прежде чем отряд пехоты проник внутрь редута, дверь дома успела бы отвориться и мгновенно затвориться; эта вдруг приоткрывшаяся и тотчас захлопнутая дверь для отчаявшихся людей означала бы жизнь. Позади дома был выход на улицу, возможность бегства, простор. Они стучали в дверь ружейными прикладами и ногами, взывали о помощи, кричали, умоляли, простирали руки. Никто не отпер им. Голова мертвеца смотрела на них из слухового оконца третьего этажа.

Но Анжольрас и Мариус с кучкой в семь или восемь человек бросились к ним на помощь. «Ни шагу дальше!» – крикнул Анжольрас солдатам; когда какой-то офицер послушался его, он убил офицера. Он стоял во внутреннем дворике редута, у стены «Коринфа», со шпагой в одной руке, с карабином в другой, держа открытой дверь кабачка и загораживая ее от атакующих. Тем, кто пал духом, он крикнул: «Осталась только одна дверь на волю, вот эта!» И, заслоня их своим телом, один против целого батальона, он прикрывал их отход. Все бросились в дверь. Орудя своим карабином, как палкой, применяя прием, называемый на языке фехтовальщиков «мельницей», Анжольрас отбил от штыков, направленных в него со всех сторон, и вошел в дверь последним; тут наступила страшная минута, когда солдаты пытались ворваться, а повстанцы старались запереть дверь. Дверь захлопнулась с такой силой, входя в дверную раму, что к ней прилипли отрезанные и раздавленные пальцы какого-то солдата, вцепившегося в наличник.

Мариус остался снаружи. Выстрелом ему раздробило ключицу; он почувствовал, что теряет сознание и падает. В этот миг, уже закрыв глаза, он ощутил, как его схватила чья-то могучая рука, и в его угасающем сознании, сливаясь с последним воспоминанием о Козетте, промелькнула мысль: «Я в плену. Меня расстреляют».

Не видя Мариуса среди бойцов, укрывшихся в кабачке, Анжольрас предположил то же самое. Но в такое мгновение каждый успевает подумать только о собственной смерти. Анжольрас наложил засов, опустил задвижку, защелкнул замок и, дважды повернув ключ, запер дверь, в то время как снаружи в нее неистово колотили прикладами и топорами солдаты и саперы. Атакующие столпились теперь перед этой дверью. Начинался штурм кабачка.

Надо отметить, что к этому времени солдаты остервенели.

Их привела в ярость гибель сержанта артиллерии, а кроме того, – еще более роковое обстоятельство, – за несколько часов до атаки среди них пустили слух, что повстанцы истязают пленных и что в кабачке находится обезглавленный труп солдата. Подобные опасные измышления обычно сопутствуют междоусобным войнам, и позднее клевета такого рода вызвала катастрофу на улице Транснонен.

Когда дверь была забаррикадирована, Анжольрас сказал товарищам:

– Продадим нашу жизнь подороже!

Затем он подошел к столу, на котором покоились Мабеф и Гаврош. Под черным покрывалом угадывались два неподвижных окоченелых тела, большое и маленькое, и два лица смутно обрисовывались под холодными складками савана. Со стола свешивалась рука,

высунувшаяся из-под покрова. То была рука старика.

Анжольрас нагнулся и поцеловал его благородную руку с тем же почтением, с каким накануне целовал его в лоб.

Эти два поцелуя были единственными в жизни Анжольраса.

Сократим наш рассказ. Баррикада защищалась, словно ворота древних Фив; кабачок боролся, точно дом в Сарагосе. Оборонялись с угрюмым упорством. Никакой пощады. Никаких переговоров. Люди согласны умереть, только бы убивать. Когда Сюше говорит: «Сдавайтесь!» – Палафокс отвечает: «Нет! Палили из пушек, перейдем на ножи». При штурме кабачка Гюшлу можно было увидеть все: булыжники, которые градом сыпались на осаждавших из окон и с крыши и доводили солдат до неистовства, нанося им страшные увечья, выстрелы из подвалов и чердаков, ярость атаки, отчаяние сопротивления, и наконец, – когда удалось вышибить дверь, – бешеную, исступленную резню. Ворвавшись в кабачок, спотыкаясь о разбросанные по полу филенки выломанной двери, атакующие не нашли там ни одного бойца. Посреди нижней залы валялась винтовая лестница, обрубленная топором, да несколько раненых при последнем издыхании; все, кто не был убит, поднялись на второй этаж и открыли ожесточенный огонь из отверстия в потолке, откуда прежде спускалась лестница. На это ушли их последние патроны. Когда все было израсходовано, когда у этих обреченных, но все еще опасных противников не осталось ни пуль, ни пороха, каждый из них вооружился двумя бутылками из запаса, сохраненного, как мы помним, Анжольрасом, и принялся отбиваться от осаждавших этими грозными и хрупкими булавами. В бутылках была азотная кислота. Мы рассказываем мрачные подробности этой бойни, нигде ничего не утаивая. Увы, осажденные сражаются всем, что есть под рукой! Греческий огонь не обесчестил Архимеда, кипящая смола не обесчестила Баярда. На войне все ужасно, тут не из чего выбирать. Выстрелы атакующих, при всем неудобстве целиться снизу вверх, были убийственны. Края люка вскоре покрылись мертвыми головами, из которых сочились длинные струйки красной дымящейся крови. В воздухе стоял невообразимый грохот; густой, обжигающий дым заволакивал мглой кровавую битву. Не хватает слов, чтобы описать весь ужас этой минуты. Участники адской схватки потеряли человеческий образ. То уже не гиганты бились с великанами: картина напоминала скорее Мильтона и Данте, чем Гомера. Нападали дьяволы, защищались призраки.

Это был героизм, принявший чудовищный облик.

Глава 23

Голодный Орест и пьяный Пилад

Наконец при помощи остатков лестницы, влезая друг другу на плечи, карабкаясь по стенам, цепляясь за перекрытия, рубя саблями у самого края люка последних, кто еще сопротивлялся, десятка два осаждавших – солдаты, национальные и муниципальные гвардейцы, вперемешку, почти все изуродованные при этом опасном штурме ранами в лицо, ослепленные кровью, разъяренные, озверелые, – пробились в залу второго этажа. Лишь один человек еще стоял на ногах – Анжольрас. У него уже не было ни патронов, ни сабли, в руках он держал только ствол от карабина, – приклад он разбил о головы солдат. Загородившись от нападающих бильярдным столом, он отступил в угол залы; и даже теперь гордый его взгляд, высоко поднятая голова, рука, сжимавшая обломок оружия, внушали такой страх, что вокруг него образовалась пустота. Послышались крики:

– Вот их вожак. Он-то и убил артиллериста. Он сам забрался туда, тем лучше для нас. Пусть там и остается. Расстреляем его на месте.

– Стреляйте, – сказал Анжольрас.

И, отбросив обломок карабина, скрестив руки, он подставил грудь пулям.

Отвага перед лицом смерти всегда покоряет людей. Как только Анжольрас скрестил руки на груди, готовый принять смерть, в зале стих оглушительный гул схватки, и хаос внезапно сменился торжественной могильной тишиной. Казалось, грозное величие безоружного и неподвижного Анжольраса укротило шум, казалось, этот юноша, единственный, кто не был ни разу ранен, надменный, прекрасный, залитый кровью, невозмутимый, словно он был уверен в своей неуязвимости, одним лишь властным, спокойным взглядом внушал уважение этой свирепой толпе, готовящейся убить его. Гордая осанка придавала его красоте в эту минуту особый, ослепительный блеск; по истечении страшных суток он оставался все таким же румяным и свежим, как будто его не брали ни пуля, ни усталость. Вероятно, именно про него говорил впоследствии кто-то из свидетелей, выступая перед военным судом: «Там был один бунтовщик, которого, я слышал, называли Аполлоном». Один из национальных гвардейцев, целившихся в Анжольраса, опустил ружье со словами:

«Мне кажется, будто я стреляю в цветок».

Двенадцать солдат построились взводом в другом углу залы, против Анжольраса, и молча вскинули ружья.

Послышалась команда сержанта:

– На прицел!

Вдруг вмешался офицер:

– Погодите.

И обратился к Анжольрасу:

– Завязать вам глаза?

– Нет.

– Это вы убили сержанта артиллерии?

– Да.

В это время проснулся Грантэр.

Как мы помним, Грантэр со вчерашнего вечера спал в верхней зале кабачка, сидя на стуле и уронив голову на стол.

Он в полном смысле олицетворял собой старинное выражение: мертвецки пьяный. Чудовищная смесь полынной настойки, портера и спирта погрузила его в летаргический сон. Его стол был так мал, что не годился для баррикады, и его не трогали. Он сидел все в той же позе, навалившись на стол, положив голову на руки, окруженный стаканами, кружками и бутылками. Он спал беспробудным сном, точно медведь в спячке или насосавшаяся пиявка. Ничто на него не действовало – ни стрельба, ни ядра, ни картечь, залетающая в окна залы, ни оглушительный грохот штурма. Лишь время от времени храп его вторил пушечной пальбе. Казалось, он ждал, что шальная пуля избавит его от необходимости просыпаться. Вокруг него лежало много трупов, и он ничем не отличался на первый взгляд от тех, кто уснул навеки.

Шум не пробуждает пьяницу; его будит тишина. На эту странность не раз обращали внимание. Все рушилось кругом, а он еще глубже погружался в оцепенение; грохот убаюкивал его. Но неожиданное безмолвие, воцарившееся вокруг Анжольраса, послужило толчком, который пробудил Грантэра от этого тяжелого сна. Так бывает, когда кони вдруг остановятся на всем скаку. Уснувшие в коляске тотчас же просыпаются. Грантэр вскочил как востропанный, потянулся, протер глаза, зевнул, огляделся и все понял.

Внезапное отрезвление напоминает разорвавшуюся завесу. Вы видите сразу, с первого взгляда, все, что за нею скрывалось. Все сразу воскресает в памяти, и пьяница, не знавший, что произошло за минувшие сутки, не успеет очнуться, как уже во всем разобрался. Мысли его приобретают необычайную ясность, пьяное забытие рассеивается, как туман, затемнявший

рассудок, и уступает место ясному и четкому восприятию действительности.

Солдаты, устремив все внимание на Анжольраса, даже не заметили забравшегося в угол и загороженного бильярдом Грантэра, и сержант уже готовился повторить приказ: «На прицел», как вдруг рядом чей-то могучий голос воскликнул:

– Да здравствует Республика! Я с ними заодно!

Грантэр встал.

Яркое зарево битвы, которую он пропустил и в которой не участвовал, горело в сверкающем взгляде пьяницы; он как будто преобразился.

– Да здравствует Республика! – крикнул он снова, пересек залу уверенным шагом и стал рядом с Анжольрасом, прямо против ружейных стволов.

– Прикончите нас обоих разом, – сказал он. И, обернувшись к Анжольрасу, спросил тихонько: – Ты позволишь?

Анжольрас с улыбкой пожал ему руку.

Улыбка еще не сбежала с его губ, как грянул залп. Пронзенный навывлет восемью пулями, Анжольрас продолжал стоять, прислонившись к стене, словно пригвожденный к ней пулями. Только голова его поникла на грудь. Грантэр, убитый наповал, рухнул к его ногам. Несколько минут спустя солдаты уже выбивали из верхнего этажа последних укрывшихся там повстанцев. Они перестреливались сквозь деревянные решетчатые двери чердака. Бой шел под самой крышей. Из окон выкидывали тела прямо на мостовую, в некоторых еще теплилась жизнь. Двух пехотинцев, которые пытались поднять сломанный омнибус, подстрелили с чердака из карабина. А оттуда сбросили какого-то блузника, проколотого штыком в живот, и он хрипел, корчась на мостовой. Солдат и повстанец, вцепившись один в другого, вместе скользили по скату черепичной крыши, упрямо не выпуская друг друга, и вместе катились вниз, не размыкая свирепого объятия. Такая же борьба велась в подвалах. Выстрелы, топот, дикие вопли. Потом наступила тишина. Баррикада была взята.

Солдаты принялись обыскивать окрестные дома и вылавливать беглецов.

Глава 24

Пленник

Мариус действительно был пленником. Пленником Жана Вальжана.

Рука, которая подхватила его сзади, когда он падал, и силу которой он почувствовал, теряя сознание, была рука Жана Вальжана.

Жан Вальжан не принимал участия в битве, но и не уклонялся от опасности. Не будь его, некому было бы позаботиться о раненых в эти последние предсмертные часы. Благодаря ему, вездесущему среди этого побоища, как провидение, все, кто падал, были подняты, перенесены в нижнюю залу и перевязаны. В промежутках он заделывал бреши в стене баррикады. Но его рука не поднималась ни для чего, что напоминало бы удар, нападение или даже самозащиту. Он молча спасал других. При этом он отделался всего несколькими царапинами. Пули как будто избегали его. Если предположить, что его привела в этот склеп жажда самоубийства, то цели он не достиг. Однако маловероятно, чтобы он задумал самоубийство, противное законам религии.

Жан Вальжан, казалось, не замечал Мариуса в густом дыму сражения; на самом же деле он не спускал с него глаз. Когда выстрел сбил Мариуса с ног, Жан Вальжан бросился к нему с быстротой молнии, схватил его, как тигр хватается добычу, и унес.

В этот миг, в вихре атаки, всеобщее внимание было настолько приковано к Анжольрасу и к двери кабачка, что никто не заметил, как Жан Вальжан, неся на руках бесчувственного Мариуса, пересек по развороченной мостовой дворик баррикады и скрылся за углом дома,

занимаемого «Коринфом».

Читатель помнит этот угол, образующий как бы выступ на повороте улицы; он защищал от пуль, от картечи, а также от любопытных взглядов площадку в несколько квадратных метров. Так иногда среди пожара одна какая-нибудь комната остается невредимой и даже в самых бурных морях, за высоким мысом или в бухте между рифами, можно найти тихую заводь. В этом-то закоулке дворика баррикады, имевшего форму трапеции, и умирала Эпонина.

Там Жан Вальжан остановился, опустил Мариуса на землю и, прислонившись к стене, огляделся кругом.

Положение было отчаянное.

На время, минуты на две, на три, стена могла послужить прикрытием, но как спастись из этого побоища? Ему припомнился тревожный момент, пережитый им восемь лет назад на улице Полонсо, и способ, каким ему удалось скрыться оттуда; тогда это было трудно, теперь – невозможно. Перед ним возвышался тот угрюмый, наглухо запертый пятиэтажный дом, где, казалось, не было других обитателей, кроме мертвеца, склонившегося головой на подоконник. Справа от него находилась низенькая баррикада, замыкавшая Малую Бродяжную улицу; преодолеть это препятствие ничего не стоило, но над гребнем ее щетинились ряды штыков. Там была линейная пехота, стоявшая в засаде по ту сторону редута. Было несомненно, что перелезть через баррикаду значило попасть под обстрел целого взвода, и высунувшаяся из-за стены голова послужила бы мишенью для залпа шестидесяти ружей. Налево от него шел бой. За углом подстерегала смерть.

Что делать?

Одной только птице удалось бы спастись отсюда.

Надо было немедленно принять решение. Изыскать способ, найти выход. В нескольких шагах от него продолжалось сражение; по счастью, вся ярость атакующих сосредоточилась на одной цели: двери кабачка; но если какому-нибудь солдату, одному-единственному, вздумалось бы завернуть за угол или предпринять атаку с фланга, все было бы кончено.

Жан Вальжан взглянул на высокий дом перед собой, на баррикаду направо, затем с отчаянием, как человек в последней крайности, впился глазами в землю, точно хотел просверлить ее взглядом.

Чем пристальнее он смотрел, тем яснее у его ног начало вырисовываться и принимать очертания нечто едва уловимое сквозь туман смертной муки, словно взгляду дана власть воплощать желаемое. В нескольких шагах от себя, у подножия невысокой баррикады, которую осаждали и стерегли снаружи неумолимые враги, он заметил плоскую железную решетку вровень с землей, наполовину скрытую под грудой булыжников. Эта решетка из толстых поперечных брусьев занимала пространство около двух квадратных футов. Укреплявшая ее рамка булыжников была разворочена, и решетка словно отделилась от мостовой. Сквозь прутья виднелось темное отверстие, что-то вроде каминного дымохода или круглого водоема. Жан Вальжан бросился к решетке. Воспоминание о его прежнем искусстве устраивать побеги вдруг молнией озарило его мозг. Он расшвырял камни, откинул решетку, взвалил на плечи неподвижного, как труп, Мариуса, спустился с ношей на спине, упираясь локтями и коленями, в этот, к счастью, неглубокий колодец, захлопнул над головой тяжелую железную заслонку, которую снова засыпали сдвинутые им камни, и наконец встал ногами на вымощенное плитами дно на глубине трех метров под землей, – все это было сделано им как в бреду, с силой великана и быстротой орла, и на все хватило нескольких минут.

Жан Вальжан с бездыханным Мариусом на руках очутился в каком-то длинном подземном коридоре.

Там был глубокий покой, мертвая тишина, ночь.

Им вновь овладело чувство, испытанное в тот далекий час, когда он прямо с улицы попал за ограду монастыря. Только на этот раз он нес на руках не Козетту; он нес Мариуса.

До него едва доносился теперь смутным гулом, где-то над головой, грозный грохот штурма кабачка.

Книга вторая

Утроба левиафана

Глава 1

Земля, истощенная морем

Париж ежегодно швыряет в воду двадцать пять миллионов. И это отнюдь не метафора. Когда, каким образом? Днем и ночью. С какой целью? Без всякой цели. По какой причине? Без всякой причины. Для чего? Просто так. При помощи чего? При помощи своего кишечника. Что же такое кишечник Парижа? Это его сточные трубы.

Двадцать пять миллионов – еще наиболее умеренная из цифр, полученных специалистами в результате вычислений.

Наука, долго бродившая ощупью, установила теперь, что наиболее действительным и полезным удобрением являются человеческие фекалии. К стыду нашему, китайцы знали об этом задолго до нас. По словам Экеберга, ни один китайский крестьянин не возвращается из города иначе, как неся на концах своего бамбукового коромысла два полных ведра так называемых нечистот. Благодаря удобрению фекалиями земля в Китае все так же тучна, как и во времена Авраама. Китайский маис приносит урожай сам сто двадцать. Никакое гуано не сравнится по плодородию своему с отбросами столицы. Большой город – превосходная навозная куча. Использование города для удобрения полей принесло бы несомненный успех. Пусть наше золото – навоз, зато наш навоз – чистое золото.

Что же делают с этим навозом? Его сметают в пропасть.

С одной стороны, затрачивая большие средства, снаряжают целые караваны судов на Южный полюс за пометом пингвинов и буревестников, с другой – топят в море несметные богатства, находящиеся тут же под рукой. Если вернуть земле, вместо того чтобы бросать в воду, запас удобрений, производимый человеком и животными, можно было бы прокормить весь мир.

Кучи нечистот в углах за тумбами, повозки с отбросами, трясущиеся ночью по улицам, омерзительные бочки золотарей, подземные стоки зловонной жижи, скрытые от ваших глаз камнями мостовой, – знаете ли, что это такое? Это цветущий луг, это зеленая мурава, богородицына травка, тимьян и шалфей, это дичь, домашний скот, сытое мычание огромных быков по вечерам, это душистое сено, золотистая нива, это хлеб на столе, горячая кровь в жилах, здоровье, радость, жизнь. Таков таинственный творческий процесс – превращение на земле, преображение на небесах.

Верните это обратно в великое горнило: оно оплатит вам вашим благоденствием. От питания полей зависит пища человека.

В вашей воле бросить на ветер богатство да еще счесть меня чудачком в придачу. Но это будет верхом невежества с вашей стороны.

Статистика установила, что одна только Франция выбрасывает ежегодно в Атлантический океан через устья своих рек не менее полумиллиарда франков. Заметьте, что при помощи этих пятисот миллионов можно было бы покрыть четвертую часть государственных расходов. Но человек до такой степени туп, что предпочитает избавиться от этих пятисот миллионов и швыряет их в канаву. Ведь это уплывает народное достояние, то сочась капля за каплей, то вырываясь потоками, то слабой струей водостоков – в реки, то мощным извержением рек – в океан. Каждая отрыжка наших клоак стоит нам тысячу франков. Отсюда два следствия: истощенная земля и зараженная вода. Нивы угрожают голодом, река – болезнями.

Установлено, например, что Темза в настоящее время отравляет Лондон.

Что касается Парижа, то в последние годы там пришлось перенести большую часть выводных отверстий клоаки вниз по реке, за самый последний мост.

Между тем, чтобы провести в наши города чистые воды полей и оросить наши поля городской водой, богатой удобрениями, было бы вполне достаточно установки двойных труб, установки, снабженной клапанами и водоотводными шлюзами, всасывающими и нагнетающими воду, – этой элементарной системы дренажа, простой, как человеческие легкие, и уже широко распространенной во многих округах Англии; таким легким способом обмена, самым простым на свете, мы сохранили бы пятьсот миллионов, брошенных на ветер. Но мы и не думаем об этом.

Нынешним способом, стремясь сделать добро, приносят вред. Намерение благое, но результат плачевный. Хотят очистить город, а жители чахнут. Устройство водостоков основано на недоразумении. Когда дренаж, имеющий двойное назначение – возвращать то, что он берет, заменит наконец повсюду сточные трубы, просто-напросто промывающие и истощающие почву, – тогда на основе новой социальной экономики урожай увеличится вдесятеро и с нищетой будет значительно легче бороться. Добавьте к этому уничтожение сорняков, и проблема окажется разрешенной.

В ожидании этого времени народные богатства уходят в реку. Происходит непрерывная утечка. Утечка – вот самое подходящее слово. Европа разоряется путем истощения.

Что касается Франции, то мы только что привели цифры. А так как в Париже сосредоточена двадцать пятая часть всего населения Франции и к тому же парижское гуано – самое ценное, то мы даже преуменьшим цифру, исчисляя в двадцать пять миллионов долю потерь Парижа в том полумиллиарде, от которого ежегодно отрекается Франция. Истраченные на помощь бедноте и на украшение города, эти двадцать пять миллионов удвоили бы блеск и великолепие Парижа. Однако город спускает их в сточные канавы. Можно сказать поэтому, что баснословная расточительность Парижа, его блестящие празднества, его кумир Божон, разгульные оргии, струящееся потоками золото, его пышность, роскошь, великолепие – это и есть его клоака.

Таким образом, по вине недальновидной экономической политики народное достояние просто бросают в воду, где, подхваченное течением, оно поглощается пучиной. В интересах общественного блага здесьгодились бы сетки Сен-Клу.

С точки зрения экономики можно сделать вывод, что Париж – дырявое решето.

Париж – образцовый город, глава благоустроенных столиц, пример для подражания всем народам, метрополия идей, священная родина дерзаний, стремлений и опытов, центр и обиталище великих умов, город-нация, улей будущего, чудесное сочетание Вавилона и Коринфа; однако же Париж с той точки зрения, с какой мы только что его показали, заставил бы пожать плечами любого крестьянина из Фо-Кьяна.

Попробуйте подражать Парижу – и вы разоритесь.

Но в этом безрассудном, делящемся с незапамятных времен мотовстве Париж сам оказывается подражателем.

Такая поразительная глупость не нова, это вовсе не ошибка юности. Древние народы поступали так же, как и мы. «Клоака Рима, – по словам Либиха, – поглотила все благосостояние римских крестьян». После того как римские водостоки разорили окрестные деревни, Рим обесплодил Италию, а бросив Италию в свои клоаки, он отправил туда Сицилию, затем Сардинию, затем Африку. Сточные трубы Рима пожрали мир. Клоака разинула ненасытную пасть на город и на вселенную. *Urbi et orbi*. Вечный город, бездонная клоака.

В этом отношении, как и в остальных, Рим подал пример.

Париж следует этому примеру с нелепым упорством, свойственным городам, являющимся средоточиями духовной жизни.

Для осуществления упомянутого процесса под Парижем существует второй Париж – Париж водостоков, со своими улицами, перекрестками, площадями, тупиками, магистралями и даже своим уличным движением – потоками грязи вместо людского потока.

Никому не следует льстить, даже великому народу; там, где есть все, наряду с величием имеется и позор; и если Париж включает в себе Афины – город просвещения, Тир – город могущества, Спарту – город доблести, Ниневию – город чудес, он включает в себе также и Лютецию – город грязи.

Впрочем, на этом также лежит отпечаток его могущества; в грандиозных подземных трущобах Парижа, как и в других его памятниках, воплощается тот странный идеал, какой в истории человечества воплощают собою люди, подобные Макьявелли, Бэкону и Мирабо, – величие гнусности.

Эти подвалы Парижа, если бы взгляд мог проникнуть сквозь толщу его поверхности, представились бы нам в виде колоссального звездчатого коралла. В морской губке гораздо меньше отверстий и разветвлений, чем в той земляной глыбе шести миль в окружности, на которой покоится великий древний город. Не говоря уже о катакомбах, образующих особое подземелье, не говоря о запутанных тенетах газопроводов, не считая широко развитой системы труб, подводящих питьевую воду к фонтанам, – водостоки сами по себе образуют под обоими берегами Сены причудливую, скрытую во мраке сеть; путеводной нитью в этом лабиринте служит уклон почвы.

Здесь во мгле и сырости водятся крысы, которые кажутся как бы порождением этого второго Парижа.

Глава 2

Древняя история клоаки

Если вообразить себе, что Париж снимается, как крышка, то подземная сеть сточных труб по обеим сторонам реки покажется нам с высоты птичьего полета чем-то вроде толстого сука, как бы привитого к реке. Окружной канал на правом берегу будет стволом этого сука, боковые отводы – ветвями, а тупики – побегами.

Это сравнение передает лишь общий вид и далеко не точно, так как прямой угол, обычный для подобных подземных разветвлений, очень редко встречается в растительном мире.

Вы получите более правильное представление об этом необычном геометриальном плане, если вообразите себе перепутанные и густо разбросанные на темном фоне затейливые письмена некоего восточного алфавита, связанные друг с другом в кажущемся беспорядке, то углами, то концами, словно наугад.

Подземелья и сточные ямы играли важную роль в Средние века, в Византии и на Древнем Востоке. Там зарождалась чума, там умирали деспоты. Народы смотрели с каким-то священным ужасом на это ложе гнили, на эту чудовищную колыбель смерти. Кишащая червями сточная яма Бенареса вызывает такое же головокружение, как львиный ров Вавилона. Теглат-Фаласар, как повествуют книги раввинов, клялся свалками Ниневии. Из клоаки Мюнстера вызывал Иоганн Лейденский свою ложную луну, а его восточный двойник, загадочный хорасанский пророк Моканна, вызывал ложное солнце из сточного колодца в Кекшебе.

В истории клоак рождается история человечества. Гемонии раскрыли тайны Рима. Водостоки Парижа были страшны в старину. Они служили могилой, и они служили убежищем. Преступление, вольнодумство, социальный бунт, свобода совести, мысль, грабеж, все, что

преследуют или преследовали когда-то человеческие законы, пряталось в этой дыре: шайки майотенов в четырнадцатом веке, уличные грабители в пятнадцатом, гугеноты в шестнадцатом, иллюминаты Морена в семнадцатом, банды поджаривателей в девятнадцатом. Сто лет тому назад оттуда выходил ночной убийца, туда прятался от погони вор; в лесу были пещеры, в Париже – водостоки. Нищая братия, галльское подобие *ricareria* ^[153], свирепая и хитрая, считала водостоки филиалом Двора чудес, и по вечерам спускалась в отверстие сточного колодца на улице Мобюэ, как в собственную спальню.

Вполне естественно, что те, кто обычно промышлял в глухом тупике Карманников или на улице Головорезов, искали ночного убежища под мостиком Зеленой дороги или в закоулке Гюрпуа. Там вас окружает целый рой воспоминаний. В этих бесконечных коридорах появляются всевозможные призраки, повсюду слякоть и зловоние; там и сям встречаются отдушины, сквозь которые некогда Вийон из недр водостока беседовал с Рабле, стоявшим наверху.

Клоака старого Парижа была местом встречи всех неудач и всех дерзаний. Политическая экономия видит в ней свалку отходов, социальная философия видит в ней осадочный пласт.

Клоака – это совесть города. Все стекается сюда, всему дается здесь очная ставка. В этом призрачном месте много мрака, но тайн больше нет. Всякая вещь принимает свой настоящий облик или по крайней мере свой окончательный вид. Куча отходов имеет то достоинство, что не лжет. Здесь нашла пристанище полная откровенность. Здесь валяется маска Базилио, но вы видите ее картон и тесемки, ее лицо и изнанку, откровенно вымазанные в грязи. К ней присоседился фальшивый нос Скапена. Весь мерзкий хлам цивилизации, выброшенный за ненадобностью, падает в эту бездну правды, куда обрушивается огромный социальный оползень. Все поглощается ею и раскладывается напоказ. Эта беспорядочная свалка становится исповедальной. Тут невозможна обманчивая личина, тут смываются все прикрасы, тут гнусность сбрасывает свой покров, тут полная нагота, разоблачение всех иллюзий, тут нет ничего, кроме подлинных вещей, являющих зловещий вид разрушения и конца. Бытие и смерть. Здесь доньшко бутылки указывает на пьянство, ручка корзины рассказывает о прислуге; там набалдашник от сломанной трости, некогда кичившийся литературными вкусами, снова становится простым набалдашником; королевский лик на монете в одно су откровенно покрывается медной ржавчиной; плевок Кайафы сливается с блевотиной Фальстафа, золотая монета из игорного дома натывается на гвоздь с обрывком веревки самоубийцы, посинелый недоносок валяется, обернутый в юбку с блестками, в которой плясали на балу в Опере на прошлой масленице; судейский берет вязнет в грязи рядом с полуистлевшим подолом шлюхи. Это больше, чем братство, это – панибратство. Все, что подкрашивалось, здесь умывается грязью. Последняя завеса сорвана. Клоака – циник. Она говорит все.

Это простодушие гнусности нравится нам, оно облегчает душу. После того как на земле нам пришлось столько времени терпеливо лицезреть, какой важный вид напускают на себя государственные соображения, нерушимость клятвы, политическая мудрость, человеческое правосудие, профессиональная честность, чопорность, предписываемая высоким положением, неподкупность чиновников, – нам доставляет утешение спуститься в клоаку и увидеть обыкновенную грязь, которая там вполне уместна.

К тому же это и поучительно. Как мы уже говорили, вся история проходит через клоаку. Варфоломеевские ночи сочатся туда капля за каплей сквозь камни мостовой. Все великие массовые убийства, всякая политическая и религиозная резня – все проносится через это подземелье цивилизации, сбрасывая туда трупы. В воображении мечтателя все убийцы, известные в истории, стоят там на коленях в отвратительном полумраке, подвязав обрывки савана вместо передника, и уныло смывают следы своих деяний. Там и Людовик XI с

Тристаном, Франциск I с Дюпра, Карл IX со своей матерью, Ришелье с Людовиком XIII, там и Лувуа, и Летелье, Гебер и Майяр, – все они стараются соскоблить с камней пятна и уничтожить улики своих преступлений. Вы слышите под сводами шум метлы этих призраков. Вы вдыхаете неопишное зловоние социальных катастроф. Вы видите багровые отблески по углам. Там течет та ужасная вода, в которой омывали окровавленные руки.

Исследователю социальных явлений необходимо войти под эти темные своды. Они являются частью его лаборатории. Философия – микроскоп мысли. Все стремится избежать ее внимания, но ничто от нее не ускользает. Всякие увертки бесполезны. Что вы обнаруживаете, увертываясь от нее? Собственный позор. Философия своим неподкупным взглядом преследует зло и не позволяет ему исчезнуть бесследно. По вещам, обезличенным из-за распада или как бы истаявшим от разрушения, она угадывает все. Она восстанавливает пурпурное одеяние по обрывку лохмотьев и женщину по ее тряпкам. По клоаке она судит о городе, по грязи судит о нравах. По черепку она воспроизводит амфору или кувшин. По отпечатку ногтя на пергаменте она устанавливает разницу между евреями Юденгассе и евреями гетто. По тому, что осталось, она определяет то, что было: добро, зло, ложь, истину, кровавое пятно во дворце, чернильную кляксу в притоне, каплю свечного сала в лупанаре, преодоленные испытания, призываемые искушения, омерзительные оргии, черты опустившегося человека, печать бесчестия на душах, склонных к грубой чувственности, и на одежде римского носильщика она узнает след от локтя Мессалины.

Глава 3

Брюнзо

В Средние века о парижских водостоках ходили легенды. В шестнадцатом веке Генрих II предпринял их исследование, но оно ни к чему не привело. Всего сто лет тому назад, по свидетельству Мерсье, клоака еще была предоставлена самой себе и растекалась, как хотела.

Таков был старый Париж, раздираемый смутами, сомнениями и метаниями. Долгое время он вел себя довольно глупо. Позднее 89-й год показал, как город может вдруг взяться за ум. Но в доброе старое время столице не хватало рассудка, она плохо устраивала свои дела как в материальном, так и в моральном отношении и умела выметать мусор нисколько не лучше, чем злоупотребления. Все служило препятствием, все представлялось неразрешимой задачей. Клоака, например, не подчинялась никаким путеводителям. Установить направление в этой свалке отбросов было так же трудно, как разобраться в переулках самого города; на земле – непостижимое, под землей – непроходимое; вверху – смешение языков, внизу – путаница подземелий; под вавилонским столпотворением лабиринт Дедала.

По временам сточные воды Парижа имели дерзость выступать из берегов, как будто этот непризнанный Нил вдруг приходил в ярость. Тогда происходило нечто омерзительное – наводнение города нечистотами. Время от времени желудок цивилизации начинал плохо переваривать, содержимое клоаки подступало к горлу Парижа, и город мучился отрыжкой своих отбросов. В этом ощущалось сходство с угрызениями совести, что было бесполезным; это были предостережения, встречаемые, впрочем, с большим недовольством. Город возмущался наглостью своих помойных ям и не желал допустить, чтобы грязь снова вылезала наружу. Гнать ее беспощадно!

Наводнение 1802 года – одно из незабываемых воспоминаний в жизни парижан, достигших восьмидесятилетнего возраста. Грязь разлилась крест-накрест по площади Победы, где возвышается статуя Людовика XIV; она затопила улицу Сент-Оноре из двух выходных отверстий клоаки на Елисейских полях, улицу Сен-Флорантен из отверстия на Сен-Флорантен;

улицу Пьер-а-Пуассон из отверстия на улице Колокольного звона, улицу Попенкур из отверстия под мостиком Зеленой дороги, Горчичную улицу из отверстия на улице Лапп; она заполнила сточный желоб улицы Елисейских полей до уровня тридцати пяти сантиметров. В южных кварталах через водоотвод Сены, гнавший ее в обратном направлении, она прорвалась на улицу Мазарини, улицу Эшоде и улицу Марэ, где растеклась на сто девять метров и остановилась за несколько шагов от дома, где жил Расин, выказав таким образом уже в восемнадцатом веке больше уважения к поэту, чем к королю. Наводнение достигло наибольшего уровня на улице Сен-Пьер, где грязь поднялась на три фута выше плит, прикрывающих водосточные трубы, а наибольшего протяжения – на улице Сен-Сабен, где она разлилась на двести тридцать восемь метров в длину.

В начале нынешнего века клоака Парижа все еще оставалась таинственным местом. Грязь никогда особенно не восхваляли, но здесь ее дурная слава вызывала ужас. Париж знал кое-что о мрачном подземелье, которое под ним таилось. Его сравнивали с чудовищным болотом древних Фив, где кишели сколопендры пятнадцати футов длиной и куда мог бы окунуться бегемот. Грубые сапоги чистильщиков сточных труб никогда не отваживались ступить дальше определенных знакомых мест. Недалеко было еще то время, когда телеги мусорщиков, с высоты которых Сент-Фуа братался с маркизом де Креки, выгружались просто-напросто в сточные канавы. Что же касается очистки труб, то эту обязанность возлагали на ливни, которые скорее засоряли их, чем промывали. Рим еще окружал свою клоаку известной поэтичностью и называл ее Гемониями; Париж поносил свою и обзывал ее Вонючей дырой. Она внушала одинаковый ужас и науке, и суеверию. Гигиена относилась к Вонючей дыре с таким же отвращением, как и народные предания. Призрак Черного Монаха впервые появился под сводами зловонного стока Муфтар; трупы мармузетов сбрасывали в сточную яму Бочарной улицы; эпидемию злокачественной лихорадки 1685 года Фагон приписывал водостоку Марэ, широкое отверстие которого продолжало зиять вплоть до 1833 года на улице Сен-Луи, почти напротив вывески «Галантного вестника». Про отдушину водостока на Камнедробильной улице ходила слава, что оттуда распространялась чумная зараза; загороженная железной решеткой с острыми концами, торчащими как ряд клыков, она словно разевала на этой роковой улице пасть дракона, изрыгающего на людей адский смрад. Народная фантазия примешала к легендам об этих страшных каменных воронках парижской клоаки какое-то отталкивающее, путаное представление о бесконечности. Клоака не имеет дна. Клоака – бездонный адский колодец. Полиции даже не приходило в голову обследовать эти пораженные проказой недра. Кто осмелился бы измерить неведомое, исследовать глубины мрака, отправиться на разведку в бездну? Это внушало ужас. Тем не менее нашелся человек, который вызвался это сделать. У клоаки появился свой Христофор Колумб.

Как-то раз, в 1805 году, во время одного из редких наездов императора в Париж, министр внутренних дел, не то Декре, не то Крете, явился на утренний прием повелителя. На площади Карусели слышалось бряцание волочащихся по земле сабель легендарных солдат великой Республики и великой Империи; у дверей Наполеона толпились герои Рейна, Эско, Адидже и Нила; соратники Жубера, Десе, Марсо, Гоша, Клебера; воздухоплаватели Флерюса, гренадеры Майнца, понтонеры Генуи, гусары, на которых смотрели пирамиды, артиллеристы, осыпанные осколками ядер Жюно, кирасиры, взявшие приступом флот, стоявший на якоре в заливе Зюдерзее. Одни из них сопровождали Наполеона на Лодийский мост; другие следовали за Мюратом в траншеи Мантуи; третьи обгоняли Ланна по дороге на Монтебелло. Вся армия того времени, представленная где отрядом, где взводом, собралась здесь, во дворе Тюильри, охраняя покой императора: это происходило в ту блистательную эпоху великой армии, когда позади было Маренго, а впереди – Аустерлиц.

- Государь, – сказал Наполеону министр внутренних дел, – вчера я видел самого бесстрашного человека во владениях Вашего величества.
- Кто же это? – резко спросил император. – И что он сделал?
- Он кое-что задумал, государь.
- Что именно?
- Осмотреть водостоки Парижа.

Глава 4

Подробности, доселе неизвестные

Осмотр состоялся. Это был тяжелый поход; ночной бой с заразой и удушливыми испарениями. Вместе с тем то было путешествие, богатое открытиями. Один из участников разведки, очень толковый рабочий, в ту пору совсем юноша, рассказывал еще несколько лет назад кое-какие любопытные подробности, которые Брюнзо в донесении префекту полиции считал уместным пропустить как недостойные административного стиля. Способы обеззараживания были в те времена весьма примитивны. Едва успел Брюнзо миновать первые разветвления сети подземных каналов, как восемь из двадцати его рабочих отказались идти дальше. Предприятие было сложным, осмотр влек за собой и очистку; следовательно, приходилось одновременно и расчищать, и производить измерения, отмечать входные отверстия стоков, считать решетки и смотровые колодцы, устанавливать места разветвлений, указывать точки присоединения новых каналов, обозначать на плане очертания различных подземных водоемов, измерять глубину мелких притоков главного канала, высчитывать высоту каждого бокового канала до замка свода и его ширину как у начала закругления свода, так и у основания стен, наконец, определять уровень всякого притока воды, откуда бы она ни поступала в главный водосток – из боковых ли каналов, или с поверхности земли. Продвигаться вперед было трудно. Нередко случалось, что спущенные вниз лестницы погружались в топкий ил на глубину трех футов. Фонари едва мерцали в ядовитых испарениях. То и дело приходилось уносить потерявших сознание рабочих. В некоторых местах неожиданно открывались пропасти. Грунт там расселся, каменный настил дна обрушился, водосток обратился в бездонный колодец, ноге не на что было опереться; кто-то из спутников Брюнзо вдруг провалился, его вытащили лишь с большим трудом. В местах, достаточно обезвреженных, по совету химика Фуркруа, зажигали, от перехода к переходу, большие клетки с просмоленной паклей. Местами стены были покрыты безобразными грибами, похожими на опухоли; самые камни казались больными в этом месте, где нечем было дышать.

Брюнзо в своих изысканиях обследовал всю клоаку от верховья до устья. В месте, где Большой Ворчун разделяется на два водостока, он разобрал на каменном выступе дату 1550: этот камень указывал границу, где остановился Филибер Делорм, которому Генрих II поручил произвести осмотр подземных свалок Парижа. То была печать шестнадцатого века на клоаке; работу семнадцатого века Брюнзо узнал в кладке водостока Понсо и водостока Старой Тампльской улицы, крытых сводами между 1600 и 1650 годами, а работу восемнадцатого – в западной секции канала-коллектора, проложенной и покрытой сводом в 1740 году. Оба эти свода, в особенности менее древний, построенный в 1740 году, гораздо сильнее потрескались и обвалились, чем каменная кладка окружного водостока, проложенного в 1412 году. Это был год, когда ручей родниковой воды из Менильмонтана возвели в достоинство Главной клоаки Парижа, – так мог бы повыситься в чине простой крестьянин, став камердинером короля, или, скажем, Жан-дурак, превратившись в Левеля.

В нескольких местах, в особенности под Дворцом правосудия, было обнаружено нечто

вроде старинных темниц, вырытых в самом водостоке. Это были ужасные in pace! В одной из таких келий висел железный ошейник. Все они были тотчас же замурованы. Среди находок попадались и очень странные, в их числе скелет орангутанга, убежавшего в 1800 году из Зоологического сада; его исчезновение, вероятно, находилось в связи с пресловутым чертом, которого многие видели на улице Бернардинцев в последнем году девятнадцатого столетия. Бедняга черт кончил тем, что утопился в клоаке.

Под длинным сводчатым коридором, примыкавшим к Арш-Марион, была найдена так прекрасно сохранившаяся корзина тряпичника, что это вызвало удивление знатоков. В топкой грязи, которую рабочие отважно принялись ворошить, всюду попадалось множество ценных вещей, золотых и серебряных украшений, драгоценных камней и монет. Если какому-нибудь великану вздумалось бы процедить эту клоаку, в его сите оказались бы сокровища многих веков. В месте слияния стоков с Тампльской улицы и улицы Сент-Авуа была подобрана любопытная медная медаль гугенотов с изображением на одной стороне свиньи в кардинальской шапке, а на другой – волка в папской тиаре.

Самая поразительная находка была сделана у входа в Главную клоаку. В прежние времена вход был загорожен решеткой. Ныне сохранились лишь крюки, на которых она держалась. На одном из крюков, вероятно занесенный потоком, висел, зацепившись за него, безобразный, испачканный кровью лоскут, совершенно истлевший. Брюнзо поднес фонарь, чтобы рассмотреть эту тряпку. Она оказалась из тончайшего батиста, и на одном уголке, изодранном меньше других, можно было различить вышитую геральдическую корону над следующими шестью буквами: ЛОБЕСП... Корона была короной маркиза, а шесть букв означали Лобеспин. Оказалось, что у них перед глазами находился лоскут от савана Марата. В юности у Марата бывали любовные приключения. Они относились к тому времени, когда он служил при дворе графа д'Артуа в качестве лекаря при конюшнях. От исторически доказанной любовной связи с одной знатной дамой у него осталась эта простыня, возможно, случайно забытая, возможно, подаренная на память. Это было единственное тонкое белье, которое нашлось в доме Марата после его смерти, и его похоронили в этой простыне. Старухи завернули сурового Друга народа в пелены сладострастия, превратив их в погребальные. Брюнзо прошел мимо. Изорванный лоскут оставили на месте, не тронув его. Из презрения или в знак уважения? Марат заслуживал того и другого. Впрочем, печать судьбы была здесь слишком явственна, чтобы осмелиться на нее посягнуть. К тому же могильные останки следует оставлять в том месте, какое они сами себе избрали. Все же это была необычайная реликвия. На ней спала маркиза, в ней истлел Марат; она прошла через Пантеон, чтобы достаться крысам клоаки. Обрывок альковной ткани, все складки которой с таким веселым изяществом изобразил бы некогда Ватто, кончил тем, что стал достойным пристального взгляда Данте.

Тщательный осмотр всех подземных свалок нечистот Парижа продолжался целых семь лет, с 1805 по 1812 год. Продвигаясь вперед, Брюнзо вместе с тем намечал, производил и завершал важные земляные работы: в 1808 году он понизил дно водостока Понсо и в 1809-м, прокладывая всюду новые линии, продолжил сточный канал под улицей Сен-Дени, вплоть до фонтана Инносан; в 1810-м он прорыл водосток под улицами Фруаманто и Сальпетриер; в 1811-м – под Новой Мало-Августинской улицей, улицей Майль, улицей Эшарп, под Королевской площадью; в 1812-м – под улицей Мира и Шоссе д'Антен. В то же время он руководил дезинфекцией и очисткой всей сети. На втором году работ Брюнзо взял себе в помощники своего зятя Нарго.

Вот каким образом в начале нынешнего столетия общество выгребало свое двойное дно и приводило в порядок свои клоаки. Так или иначе, но грязь была вычищена.

Извилистая, растрескавшаяся, развороченная, облупившаяся, изрытая ямами, вся в причудливых поворотах, с беспорядочными подъемами и спусками, зловонная, дикая, угрюмая,

затопленная мраком, со шрамами на каменных плитах дна и с рубцами на стенах, страшная, – такова была, если оглянуться а прошлое, древняя клоака Парижа. Развилины во все стороны, перекрестки коридоров, разветвления – то в виде гусиных лапок, то звездообразные – словно в подкопах, тупики, похожие на отросток слепой кишки, пропитанные селитрой своды, смрадные отстойники, мокрые лишай на стенах, капли, падающие с потолка, крошечная тьма. Ничто не могло сравниться по ужасу с этим древним склепом-очистителем, с этим пищеварительным аппаратом Вавилона, пещерой, ямой, пересеченной улицами бездной, необъятной кротовой норой, где вам чудится, будто во мраке, среди мерзких отбросов прежнего великолепия, бродит огромный слепой крот – прошедшее.

Такова, повторяем, была клоака былых времен.

Глава 5

Прогресс в настоящем

В наше время клоака опрятна, строга, выпрямлена, благопристойна. Она почти олицетворяет идеал, обозначаемый в Англии словом «респектабельный». У нее приличный вид, она сероватого цвета, вытянута в струнку и, если можно так выразиться, одета с иголочки. Она похожа на человека, который из купцов вдруг вышел в тайные советники. Там почти совсем светло. Там даже грязь держится чинно. На первый взгляд клоаку легко принять за один из подземных ходов, столь распространенных встарь и столь удобных для бегства разных монархов и принцев в доброе старое время, «когда народ так обожал своих государей». Нынешняя клоака, пожалуй, даже красива: там царит чистота стиля. Классический прямолинейный александрийский стиль, изгнанный из поэзии и как будто нашедший прибежище в архитектуре, чувствуется там в каждом камне длинного мрачного белесоватого свода; каждый сточный канал кажется аркадой – архитектура улицы Риволи распространяет свое влияние даже на недра клоаки. К тому же, если геометрические линии где-нибудь и уместны, то именно в каналах, выводящих нечистоты большого города. Там все должно быть подчинено соображениям кратчайшего расстояния. Клоака наших дней приобрела некий официальный вид. Даже в полицейских отчетах, где она зачастую упоминается, о ней говорится с оттенком уважения. Относящимся к ней словам административный язык придал благородство и достоинство. То, что называлось когда-то кишкой, именуется галереей, что называлось дырой – зовется смотровым колодцем. Вийон не узнал бы своего бывшего ночного пристанища. Правда, эта запутанная сеть подземелий по-прежнему и более чем когда-либо заселена грызунами, кишащими там с незапамятных времен; и теперь еще иной раз почтенная усатая крыса, отважившись высунуть голову в отдушину клоаки, разглядывает парижан; но даже эти гады мало-помалу становятся ручными, настолько они довольны своим подземным дворцом. Клоака совершенно потеряла первобытный дикий облик былых времен. Дождь, который некогда только загрязнял водостоки, теперь промывает их. Не слишком доверяйте им, однако. Не забывайте о вредных испарениях. Клоака скорее лицемер, чем праведник. Напрасно стараются префектура полиции и санитарные комиссии. Вопреки всем ухищрениям ассенизации клоака издает какой-то подозрительный запах, точно Тартюф после исповеди.

Из всего этого следует, что, выметая сор, клоака оказывает услугу цивилизации, а так как, с этой точки зрения, совесть Тартюфа – большой прогресс в сравнении с авгиевыми конюшнями, то нельзя не признать, что клоака Парижа, несомненно, усовершенствовалась.

Это больше, чем прогресс: это превращение древней клоаки в клоаку нашего времени. В ее истории произошел переворот. Кто же произвел этот переворот?

Человек, которого все позабыли и которого мы только что назвали: Брюнзо.

Глава 6

Прогресс в будущем

Прорыть водостоки Парижа было далеко не легкой задачей. Десяти векам вплоть до наших дней не удалось закончить эту работу, так же, как не удалось достроить Париж. В самом деле, ведь на клоаке отражаются все этапы роста Парижа. Это как бы мрачный подземный полип с тысячью щупалец, который растет в глубине, одновременно с городом, растущим наверху. Всякий раз, как город прокладывает новую улицу, клоака вытягивает новую лапу. При старой династии было проложено всего лишь двадцать три тысячи триста метров – так обстояло дело в Париже к 1 января 1806 года. Начиная с этой эпохи, к которой мы еще вернемся, работы возобновились и продолжались энергично и успешно. Наполеон – цифры эти крайне любопытны – провел четыре тысячи восемьсот четыре метра водосточных труб; Людовик XVIII – пять тысяч семьсот девять; Карл X – десять тысяч восемьсот тридцать шесть; Луи-Филипп – восемьдесят девять тысяч двадцать; Республика 1848 года – двадцать три тысячи триста восемьдесят один; нынешнее правительство – семьдесят тысяч пятьсот. В итоге до настоящего времени проложено двести двадцать шесть тысяч шестьсот десять метров, другими словами, шестьдесят миль сточных труб – так необъятна утроба Парижа. Невидимая ветвистая поросль, непрерывно увеличивающаяся; гигантское никому неведомое сооружение.

Как видим, в наши дни подземный лабиринт Парижа разросся больше чем вдесятеро против того, каким он был в начале столетия. Нам даже трудно представить себе, сколько настойчивости и усилий потребовалось, чтобы довести клоаку до того относительного совершенства, какого она достигла. Прежние королевские городские ведомства, а последнее десятилетие восемнадцатого века и революционная мэрия, лишь с большим трудом завершили бурение тех пяти миль водостока, который существовал до 1806 года. Это предприятие тормозили всевозможные трудности: одни были связаны с особенностями грунта, другие – со старыми предрассудками, укоренившимися среди рабочего люда Парижа. Париж построен на земле, до странности неподатливой для заступа и мотыги, земляного бура и человеческой руки. Нет ничего труднее, чем пробить и просверлить ту геологическую формацию, на которой покоится великолепная историческая формация, называемая Парижем; как только человек задумает каким-либо образом углубиться и проникнуть в эти наносные пласты, перед ним тотчас же возникают бесчисленные, скрытые в земле препятствия. То это жидкий глинозем, то подземные родники, то твердая горная порода, то вязкий и топкий ил, именуемый на профессиональном языке «горчицей». Кирка с трудом пробивается сквозь известняки, чередующиеся с тончайшими жилками глины, сквозь пласты сланца, в толщу которых вкраплены окаменелые раковины улиток, современниц доисторических океанов. Иногда сквозь недостроенный свод вдруг прорывается ручей и затопляет рабочих, иногда осыпь рухляка пробивает себе дорогу и обрушивается вниз с яростью водопада, дробя, как стекло, самые массивные балки креплений. Совсем еще недавно, когда понадобилось провести в Вильете водосток под каналом Сен-Мартен, не прерывая навигации и не осушая канала, в ложе канала внезапно образовалась трещина, и вода хлынула в подземную шахту с такой силой, что водоотливные насосы оказались беспомощны; пришлось посылать на поиски водолаза, который обнаружил в устье канала трещину и лишь с большим трудом заделал ее. Помимо этого, как по берегам Сены, так и довольно далеко от реки, например, в Бельвиле, под Большой улицей и пассажем Люньер, встречаются зыбучие пески, которые могут засосать и поглотить человека на ваших глазах. Добавьте к этому вредные испарения, вызывающие удушье, оползни,

погребающие заживо, внезапные обвалы. Добавьте также гнилую лихорадку, которой рано или поздно заболевают все работающие в подземных стоках. Не так давно руководил этой работой Монно. После того как он прорыл подземный ход Клиши с лотками для приема вод главного трубопровода Урк, производя работы в траншее на глубине десяти метров; после того как, борясь с оползнями при помощи разведок, зачастую в гнилых грунтах, и установки подпорных стенок, он покрыл сводом русло Бьевры от Госпитального бульвара до самой Сены; после того как для отведения от Парижа потоков воды с Монмартра и спуска проточной лужи площадью в девять гектаров, у заставы Мучеников, он, повторяем, проложил длинную линию водосток от Белой заставы до дороги на Обервилье, работая в течение четырех месяцев, днем и ночью, на глубине одиннадцати метров; после того как – вещь до сей поры неслыханная – он соорудил без открытых траншей, на глубине шести метров под землей, водосток улицы Бардю-Бек, – Монно умер. Вслед за ним, покрыв сводом три тысячи метров водостока во всех районах города, от улицы Траверсьер-Сент-Антуан до улицы Урсин, спустив через боковой канал под Самострельной улицей дождевые воды, затопляющие перекресток Податной улицы и улицы Муфтар, построив далее в зыбучих песках на подводном фундаменте из камня и бетона водосток Сен-Жорж, проведя затем опасные работы, связанные с понижением дна в ответвлении под улицей Назаретской богоматери, – умер инженер Дюло. У нас не публикуют сообщений о смелых подвигах подобного рода, хотя они приносят больше пользы, чем бессмысленная резня на полях сражений.

В 1832 году парижская клоака была далеко не такова, как теперь. Брюнзо дал делу первый толчок, но надо было появиться холере, чтобы городские власти предприняли коренное переустройство водосток, которое и осуществляется с той поры вплоть до наших дней. Как это ни удивительно, но в 1821 году, например, часть окружного водостока, так называемого Большого канала, полного гниющей жидкости, пролежала еще по улице Гурд под открытым небом, точно в Венеции. И лишь в 1823 году город Париж раскошелился на двести шестьдесят шесть тысяч восемьдесят франков шесть сантимов, необходимых для того, чтобы прикрыть этот срам. Три поглощающих колодца на улицах Битвы, Кюветной и Сен-Мандэ, снабженных сточными желобами, вытяжными трубами, отстойниками с их очистными разветвлениями, сооружены только в 1836 году. Кишечный тракт Парижа был заново переустроен и, как мы уже говорили, на протяжении четверти века разросся более чем вдесятеро.

Тридцать лет тому назад, в дни вооруженного восстания 5 и 6 июня, клоака еще во многих местах сохраняла свой прежний вид. Весьма значительное число улиц имело тогда на месте нынешних выпуклых мостовых вогнутые булыжные мостовые. В самой низкой точке, куда приводил уклон улицы или перекрестка, часто можно было видеть широкие квадратные решетки с толстыми железными прутьями, до блеска отполированные ногами прохожих, скользкие и опасные для экипажей, так как лошади спотыкались на них и падали. На официальном языке дорожного ведомства этим низким точкам и решеткам было присвоено выразительное название *cassis*^[154]. Еще в 1832 году на множестве улиц – как, например, на улице Звезды, Сен-Луи, Тампльской, Старой Тампльской, Назаретской богоматери, Фоли-Мерикур, на Цветочной набережной, на улице Малая Кабарга, Нормандской, Олений мост, Марэ, в предместье Сен-Мартен, на улице Богоматери-победительницы, в предместье Монмартр, на улице Гранж-Бательер, в Елисейских полях, на улице Жакоб, на улице Турнон – старая средневековая клоака цинично разевала свою пасть. Это были громадные зияющие дыры, обложенные необтесанным камнем и кое-где с величественным бесстыдством огороженные кругом тумбами.

Парижские водостоки 1806 года еще почти не превышали в длину установленной в мае 1663 года цифры: пяти тысяч трехсот двадцати восьми туаэ. На 1 января 1832 года, после

Брюнзо, они достигли сорока тысяч трехсот метров. С 1806 по 1831 год ежегодно прокладывали в среднем семьсот пятьдесят метров сточных труб; с тех пор каждый год сооружали от восьми до десяти тысяч метров подземных туннелей из мелкого гравия, скрепленного известковым гидравлическим раствором, на бетонном основании. Считая по двести франков на метр, шестьдесят миль сточных труб современного Парижа обошлись ему в сорок восемь миллионов.

Помимо отмеченного нами в самом начале экономического прогресса, с серьезной проблемой парижской клоаки связаны также и важные вопросы общественной гигиены.

Париж лежит меж двумя пеленами: пеленой воды и пеленой воздуха. Водная пелена, хоть и простертая довольно глубоко под землей, но уже дважды исследованная бурением, покоится на слое зеленого песчаника, залегающего между меловыми пластами и известняком юрского периода. Этот слой можно изобразить в виде диска радиусом в двадцать пять миль; туда просачивается множество рек и ручьев; из стакана воды, взятой в колодце Гренель, вы пьете воду Сены, Марны, Ионны, Уазы, Эны, Шера, Вьены и Луары. Водная пелена целебна, она образуется сначала в небе, потом в недрах земли; воздушная пелена вредоносна, она прилегает к сточным водам. Все миазмы клоаки смешиваются с воздухом, которым дышит город; потому-то у него такое нездоровое дыхание. Воздух, взятый на пробу над навозной кучей, – это доказано наукой, – гораздо чище, чем воздух над Парижем. Настанет время, когда благодаря успехам прогресса, усовершенствованной технике и свету знания водная пелена поможет очистить пелену воздушную – иными словами, поможет промыть водостоки. Как известно, под промывкой водостоков мы подразумеваем отведение нечистот в землю, унаваживание почвы и удобрение полей. Это простое мероприятие повлечет за собой облегчение нужды и приток здоровья для всего города. А ныне болезни Парижа распространяются на пятьдесят миль в окружности, если принять Лувр за ступицу этого чумного колеса.

Мы могли бы сказать, что клоака вот уже десять веков является язвой Парижа. Сточные воды – это отравя, которая засела в крови города. Народное чутье никогда не обманывалось на этот счет. Ремесло золотаря в прежние времена считалось в народе столь же опасным и почти столь же омерзительным, как ремесло живодера, которое так долго внушало отвращение и предоставлялось палачу. Только ради высокой оплаты каменщик соглашался спуститься в этот зловонный ров; землекоп едва решался погрузить туда свою лестницу; поговорка гласила: «В сточную яму сойти, что в могилу войти». Как мы уже говорили, всевозможные отвратительные, вселявшие ужас легенды окружали эту бездонную канаву, эту опасную подземную трущобу, хранящую отпечаток как геологических, так и исторических переворотов, хранящую следы всех катаклизмов, начиная от раковины времен потопа и кончая лоскутом от савана Марата.

Книга третья

Грязь, побежденная силой души

Глава 1

Клоака и ее неожиданности

В этой самой парижской клоаке и очутился Жан Вальжан.

Еще одна черта сходства между Парижем и морем. Там человек может исчезнуть бесследно, словно пловец в океанских глубинах.

Переход был ошеломляющим. В самом центре города Жан Вальжан скрылся из города и в мгновение ока, лишь приподняв и захлопнув крышку, перешел от дневного света к непроглядному мраку, от полудня к полуночи, от шума к тишине, от вихря и грома к покою гробницы и, благодаря еще более чудесному повороту судьбы, чем на улице Полонсо, – от неминуемой гибели к полной безопасности.

Вдруг провалиться в подземелье, исчезнуть в каменном тайнике Парижа, сменить улицу, где повсюду рыскала смерть, на склеп, где теплилась жизнь, – это была необыкновенная минута. Некоторое время он стоял, словно оглушенный, и с изумлением прислушивался. Под его ногами внезапно разверзлась спасительная западня. Небесное милосердие укрыло его, так сказать, обманным путем. Благословенная ловушка, уготованная провидением!

Между тем раненый оставался недвижим, и Жан Вальжан не знал, живого или мертвеца унес он с собой в эту могилу.

Первым его ощущением была полная слепота. Он вдруг перестал видеть. Ему показалось также, что он сразу оглох. Он ничего не слышал. Яростный смерч побоища, бушевавший в нескольких футах над его головой, доносился до него сквозь отделявшую его толщу земли глухо и неясно, как смутный гул. Он ощущал под ногами твердую почву – вот и все, но этого было достаточно. Он протянул одну руку, затем другую, с обеих сторон наткнулся на стену и понял, что находится в узком коридоре; он поскользнулся и понял, что каменный пол залит водой. Он осторожно ступил вперед одной ногой, опасаясь какого-нибудь провала, колодца, бездонной ямы, и убедился, что каменный настил тянется и дальше. На него пахнуло зловонием, и он догадался, где он.

Через несколько секунд он уже не был слепым. Сквозь отдушину смотрового колодца, в который он спустился, проникало немного света, и его глаза скоро привыкли к этим сумеркам. Он начинал различать кое-что вокруг. Подземный ход, где он похоронил себя, – никаким словом не обрисуешь лучше его положение, – был замурован позади него и являлся одним из тупиков, называемых на профессиональном языке «тупиковой веткой». Впереди ему преграждала путь другая стена – стена ночного мрака. Луч, падавший из отдушины, угасал в десяти – двенадцати шагах от Жана Вальжана, озаряя тусклым белесоватым светом всего лишь несколько метров мокрой стены водостока. Дальше стояла сплошная тьма; вступить в нее казалось страшным, чудилось, что она поглотит вас навеки. Однако пробиться сквозь эту стену густой мглы было возможно и даже необходимо. Мало того, надо было спешить. Жану Вальжану пришло в голову, что, если он заметил решетку под булыжниками, ее могли заметить и солдаты, и что все зависело от этой случайности. Солдаты также могут спуститься в колодец и обыскать его. Нельзя терять ни минуты. Опустив было Мариуса наземь, он снова поднял его, взвалил себе на плечи и пустился в путь. Он смело шагнул в темноту.

На самом деле они были совсем не так близки к спасению, как думал Жан Вальжан. Их подстерегали опасности другого рода, и, быть может, не меньшие. Вместо пылающего вихря

битвы – пещера, полная миазмов и ловушек; вместо хаоса – клоака. Из одного круга ада Жан Вальжан попал в другой.

Пройдя полсотни шагов, он принужден был остановиться. Перед ним возник вопрос. Подземный коридор упирался в другой, пересекавший его поперек. Отсюда расходились два пути. Который же избрать? Свернуть ли налево, или направо? Как разобраться в черном лабиринте? У этого лабиринта, как мы отметили выше, была одна путеводная нить – его естественный уклон. Следовать уклону значило спускаться к реке.

Жан Вальжан понял это сразу.

Он решил, что находится, вероятно, в водостоке Центрального рынка; что, выбрав левый путь и следуя уклону, он может меньше чем в четверть часа добраться до одного из отверстий, выходящих к Сене между мостами Менял и Новым, иными словами, он рискует очутиться среди бела дня в самом многолюдном районе Парижа. Возможно также, что этот путь приведет его к смотровому колодцу на каком-нибудь перекрестке. Он представил себе испуг прохожих при виде двух окровавленных людей, выходящих прямо из земли у них под ногами. Прибегут полицейские, вооруженная стража из ближайшей караульной. И их схватят прежде, чем они успеют выйти на свет. Лучше уж углубиться в дебри лабиринта, довериться темноте, а в остальном положиться на волю providения.

Он стал подниматься вверх и пошел направо.

Как только он повернул за угол галереи, слабый отдаленный свет из отдушины исчез, над ним опустилась завеса тьмы, и он опять ослеп. Это не мешало ему продвигаться вперед так быстро, как только он мог. Руки Мариуса были перекинуты вперед, по обеим сторонам его шеи, а ноги висели за спиной. Одной рукой он сжимал руки юноши, а другой ощупывал стену. Щека Мариуса касалась его щеки и прилипала к ней, так как была вся в крови. Он чувствовал, как текли по нему и пропитывали его одежду теплые струйки крови, бежавшей из ран Мариуса. Однако ощущаемая им у самого уха влажная теплота, которой веяло от уст раненого, указывала, что Мариус дышит и, следовательно, еще жив. Коридор, куда свернул Жан Вальжан, был шире предыдущего. Идти становилось довольно тяжело. Оставшаяся там от вчерашнего ливня вода образовала небольшой ручей, бежавший посреди водостока, так что Жан Вальжан принужден был держаться у самой стены, чтобы не ступать по воде. Угрюмо брел он вперед. Он напоминал те порожденные ночью существа, что движутся ощупью в невидимом, затерянные в подземных шахтах мрака.

Между тем мало-помалу, потому ли, что из дальних отдушин пробивался в густую мглу слабый мерцающий свет, потому ли, что глаза Жана Вальжана привыкли к темноте, но зрение отчасти вернулось к нему, и он снова начал смутно различать то стену, которую задевал плечом, то свод, под которым проходил. Зрачок расширяется в темноте и в конце концов видит в ней свет, подобно тому как душа вырастает в страданиях и познает в них бога.

Выбирать дорогу становилось все труднее.

Направление сточных труб как бы отражает направление улиц, над ними расположенных. Париж того времени насчитывал две тысячи двести улиц. Попробуйте представить себе под ними темную чащу переплетенных ветвей, называемую клоакой. Существовавшая в те годы система водостоков, если вытянуть ее в длину, достигла бы одиннадцати миль. Мы уже говорили, что благодаря усиленному строительству последнего тридцатилетия теперь эта сеть – не менее шестидесяти миль длиной.

Жан Вальжан ошибся в самом начале. Он думал, что находится под улицей Сен-Дени, но, к сожалению, это было не так. Под улицей Сен-Дени залегает древний каменный водосток времен Людовика XIII, который ведет прямо к каналу-коллектору, называемому Главной клоакой, с единственным поворотом направо, на уровне прежнего Двора чудес, и единственным

разветвлением под улицей Сен-Мартен, где пересекаются крест-накрест четыре линии стоков. Что же касается трубы Малой Бродяжной, со входным отверстием возле кабачка «Коринф», то она никогда не сообщалась с подземельем улицы Сен-Дени, а впадала в клоаку Монмартра; там-то и очутился Жан Вальжан. Здесь было очень легко заблудиться: клоака Монмартра – одно из самых сложных переплетений старой сети. По счастью, Жан Вальжан миновал стороной водостоки рынков, напоминавшие своими очертаниями на плане целый лес перепутавшихся корабельных мачт; однако ему предстояло еще немало неприятных случайностей и немало уличных перекрестков, – ибо это те же улицы, – вырвавшихся перед ним во мгле вопросительным знаком. Во-первых, налево лежала обширная клоака Платриер, настоящая китайская головоломка, простирающая свою хаотическую путаницу стоков в виде букв Т и Z под Почтовым управлением и под ротондой Хлебного рынка, до самой Сены, где она заканчивается в форме буквы Y. Во-вторых, направо – изогнутый туннель Часовой улицы с тремя тупиками, похожими на зубцы. В-третьих, опять-таки налево, – ответвление под улицей Майль, которое, почти сразу расходясь какой-то развилиной, спускаясь зигзагами, впадает в большое подземелье-отстойник под Лувром, изрезанное и разветвленное во всех направлениях. Наконец, за последним поворотом направо – глухой тупик улицы Постников, еще не считая мелких закоулков, то и дело попадающихся на пути к окружному каналу, который один только и мог привести его к выходу в какое-либо отдаленное и, стало быть, безопасное место.

Если бы Жан Вальжан имел хоть малейшее понятие обо всем этом, он сразу догадался бы, проведя рукой по стене, что он отнюдь не в подземной галерее улицы Сен-Дени. Вместо старого тесаного камня, вместо древней архитектуры, сохраняющей даже в клоаке горделивое величие, с полом и стенами крепчайшей продольной кладки из гранита, цементированного известковым раствором, ценой в восемьсот ливров за одну туазу, он ощутил бы под пальцами современную дешевку, экономный строительный материал буржуа, короче говоря, «труху», то есть ноздреватый известняк на гидравлическом растворе, на бетонном основании, ценой всего двести франков за метр. Но Жан Вальжан ничего этого не знал.

Он шел прямо вперед, твердо, но с тревогой в душе, ничего не видя, ничего не зная, положившись на случай, иначе говоря, вверив свою судьбу провидению.

Надо сознаться, что мало-помалу им овладевал ужас. Нависший над ним мрак проникал и в его мозг. Он брел наугад среди неведомого. Сеть клоаки вероломна; она полна головокружительных переплетений. Горе тому, кто попал в эту преисподнюю Парижа. Жану Вальжану приходилось отыскивать и даже изобретать дорогу, не видя ее. В этой неизвестности каждый шаг, на который он отваживался, мог стать его последним шагом. Как ему выбраться отсюда? Найдет ли он выход и успеет ли найти его вовремя? Позволит ли эта колоссальная подземная губка, вся в каменных ячейках, проникнуть в себя и пробиться наружу? Не подстерегает ли его во тьме какая-нибудь неожиданность, какое-нибудь непреодолимое препятствие? Неужели Мариусу грозит смерть от потери крови, а ему от голода? Неужели им обоим суждено погибнуть здесь, и от них останутся только два скелета где-нибудь в закоулке, среди этой вечной ночи? Кто знает! Он задавал себе эти вопросы и не находил ответа. Утроба Парижа – бездонная пропасть. Подобно древнему пророку, он находился во чреве чудовища.

И вдруг его поразила одна странность. Шагая напрямик, все вперед и вперед, он внезапно почувствовал, что больше не поднимается вверх; течением ручья его било по ногам сзади, вместо того чтобы заливать носки его башмаков. Теперь водосток спускался под гору. Почему? Неужели он выйдет сейчас к берегам Сены? Это грозило большой опасностью, но возвращаться назад было еще опаснее. Он продолжал идти вперед.

Однако путь его вел совсем не к Сене. С двускатного бугра правобережного Парижа сточные воды сбрасываются по обоим его уклонам – в Сену и в Главную клоаку. Гребень этого

бугра, составляющего водораздел, изгибается самым прихотливым образом. Высшая точка, откуда разбегаются водостоки, находится в клоаке Сент-Авуа, за улицей Мишель-ле-Конт, в клоаке Лувра, около бульваров, и в клоаке Монмартра, возле Центрального рынка. Эту высшую точку гребня и миновал Жан Вальжан. Он спускался теперь к окружному каналу; он был на правильном пути. Но ничего этого не подозревал.

Достигнув поворота, он всякий раз ощупывал углы, и если обнаруживал, что новый проход более узок, чем прежний коридор, он не сворачивал туда, а продолжал идти прямо, справедливо рассуждая, что каждый узкий ход неминуемо заведет его в тупик и только отдалит от цели, то есть от выхода на свет. Таким образом, ему четыре раза удалось избежать западни, расставленной для него во тьме в виде четырех перечисленных нами лабиринтов.

В какой-то миг он вдруг почувствовал, что уже миновал кварталы Парижа, где все замерло от страха перед восстанием, где баррикады преградили уличное движение, и что он вступает под улицы обычного, живого Парижа. Над его головой раздавался немолчный гул, как бы отдаленные раскаты грома. Это катились колеса экипажей.

По собственному его расчету, он шел уже около получаса, но даже и не думал об отдыхе; он только переменял руку, которой поддерживал Мариуса. Мрак все сгущался, но именно это и успокаивало его.

Вдруг прямо перед ним легла его тень. Она вырисовывалась на каменных плитах пола; слабый, едва различимый багровый отблеск, смутно окрасивший камень у него под ногами и своды над головой, дрожал справа и слева по осклизлым стенам туннеля. Он обернулся пораженный.

Позади него, в конце коридора, на огромном, как ему казалось, расстоянии, пронизывая густую мглу, пылала зловещая звезда, точно устремленный на него глаз.

Это было полицейское око – мрачное светило подземных трущоб.

За этой звездой смутно колыхались восемь или десять черных теней, длинных, зыбких, угрожающих.

Глава 2

Пояснение

Днем 6 июня в водостоках было приказано произвести облаву. Из опасения, как бы они не послужили убежищем для побежденных, префекту полиции Жиске поручили обыскать Париж подземный, пока генерал Бюжо очищал Париж наземный; эта двойная согласованная операция требовала двойной стратегии от государственной власти, представленной наверху войсками, внизу – полицией. Три отряда агентов и рабочих клоаки обследовали вдоль и поперек подземную свалку Парижа, один – вдоль правого берега Сены, другой – вдоль левого, третий – в центральной части города.

Полицейских агентов вооружили карабинами, дубинками, саблями и кинжалами.

Луч света, направленный в этот миг на Жана Вальжана, исходил из фонаря полицейского дозора, проверявшего правый берег.

Дозор только что обошел кривую галерею с тремя тупиками, расположенными под Часовой улицей. Пока они обшаривали с фонарем все закоулки этих тупиков, Жан Вальжан набрел на вход в галерею, обнаружил, что она гораздо уже главного коридора, и не свернул в нее. Он прошел мимо. На обратном пути из галереи под Часовой улицей полицейским почудился звук шагов, удалявшихся в сторону окружного канала. Это и были шаги Жана Вальжана. Сержант, начальник дозора, поднял фонарь, и весь отряд начал всматриваться в туман, в направлении, откуда слышался шум.

Для Жана Вальжана это была невыразимо страшная минута.

По счастью, если он хорошо видел фонарь, то фонарь освещал его плохо. Фонарь был светом, Жан Вальжан тенью. Он был очень далеко, сливаясь с окружающей чернотой. Он прижался к стене и застыл на месте.

Впрочем, он не вполне отдавал себе отчет в том, что за тени движутся там, позади. От бессонницы, недостатка пищи, волнения он был как бы в бреду. Ему мерещилось пламя и вокруг этого пламени какие-то привидения. Что это было? Он не понимал.

Когда Жан Вальжан остановился, шум затих.

Дозорные прислушивались, но ничего не слышали, они всматривались, но ничего не видели. Они стали совещаться.

В ту пору в водостоке Монмартра на этом месте находился так называемый «служебный перекресток», уничтоженный впоследствии из-за небольшого озера, образуемого стремительным потоком дождевой воды, скоплавшейся там во время сильных ливней. Весь отряд мог разместиться на этой площадке.

Жан Вальжан увидел, что призраки собрались в круг. Их головы, напоминавшие бульдожьих морды, придвинулись ближе друг к другу и начали шептаться.

Совещание этих сторожевых псов вынесло решение, что они ошиблись, что шум только почудился им, что там не было ни души и что нет смысла идти по окружающему каналу, ибо это будет лишь напрасной тратой времени; напротив того, надо спешить в сторону Сен-Мерри, так как если найдется какое-нибудь дело, если удастся выследить какого-нибудь «смутьяна», то именно в этом квартале.

Время от времени партии прибывают новые подметки к изношенным бранным кличкам своих противников. В 1832 году слово «смутьян» заменило затертое тогда слово «якобинец», предшествуя прозвищу «демагог», тогда еще почти неупотребительному, но превосходно сослужившему службу впоследствии.

Сержант скомандовал свернуть налево, вниз к Сене. Если бы им пришло в голову разделить на две группы и пойти по двум направлениям, то Жан Вальжан был бы неминуемо схвачен. Его судьба висела на волоске. Однако вполне вероятно, что, предвидя возможность стычек и большую численность повстанцев, префектура полиции в своих инструкциях запретила дозорам разбиваться на группы. Итак, дозор пустился в путь, оставив Жана Вальжана у себя в тылу. Из всего происшедшего до Вальжана дошло лишь то, что фонарь, круто повернутый в сторону, вдруг померк.

Для очистки своей полицейской совести сержант перед уходом разрядил карабин в сторону, оставленную без проверки, то есть туда, где находился Жан Вальжан. Грохот выстрела многократным эхом раскатился по пещерам; казалось, забурчала вся эта необъятная утроба. Кусок штукатурки обвалился в ручей и расплескал воду в нескольких шагах от Жана Вальжана; он понял, что пуля ударила в свод над его головой.

Мерные, медленные шаги еще некоторое время гулко раздавались на каменных плитах и, постепенно удаляясь, затихли; группа черных теней углубилась во тьму; мерцающий свет фонаря, колеблясь и дрожа, отбрасывал на своды красноватый полукруг, который все уменьшался и наконец совсем погас. Снова наступила глубокая тишина, снова спустилась непроницаемая тьма, снова воцарилась слепая и глухая ночь. А Жан Вальжан долго еще стоял, прислонясь к стене, не смея пошевелиться, настороженный, с расширенными зрачками, глядя, как исчезал вдалеке этот патруль привидений.

Надо отдать справедливость полиции того времени: даже в самой сложной политической обстановке она неуклонно выполняла свои обязанности надзора и слежки. В ее глазах восстание вовсе не давало повода предоставить преступникам свободу действий и бросить общество на произвол судьбы только потому, что правительство находится в опасности. Повседневная работа полиции шла своим чередом наряду с особыми заданиями, нисколько не нарушая свой ход. В самый разгар развернувшихся политических событий, последствия которых трудно было предугадать, но которые могли привести к революции, полицейский агент, не отвлекаясь ни восстанием, ни баррикадами, продолжал вести слежку.

Нечто в этом роде и происходило 6 июня после полудня возле откоса набережной на правом берегу Сены, по ту сторону моста Инвалидов.

В настоящее время там уже нет берегового откоса. Вид местности сильно изменился.

Два человека шли вдоль откоса, поодаль один от другого, казалось, избегая и вместе с тем украдкой наблюдая друг за другом. Тот, кто шел впереди, старался скрыться, а идущий позади старался нагнать его.

Это напоминало шахматную партию, которую игроки ведут молча и на далеком расстоянии. Казалось, ни один из них не спешил: оба шли медленно, точно каждый опасался, что, заторопившись, вынудит другого прибавить шагу.

Можно было подумать, будто хищник преследует добычу, ловко скрывая свои намерения. Но добыча не вдавалась в обман и держалась настороже.

Необходимое соотношение сил между загнанной куницей и гончей собакой здесь было соблюдено. Тот, кто убегал, был тщедушен и жалок с виду, тот, кто преследовал, – высокий и здоровый мужчина, – был очень силен и, должно быть, жесток в схватке.

Первый, чувствуя себя слабее, очевидно, старался уйти от второго, но уходил он в бессильной ярости; наблюдая за ним, вы могли бы заметить в его взгляде мрачную злобу затравленного зверя, и угрозу, и страх.

Берег был безлюден: не попадалось ни прохожих, ни лодочников, ни даже грузчиков на пришвартованных к причалу баржах.

Обоих пешеходов можно было разглядеть как следует только с самой набережной, и всякому, кто следил бы за ними на таком расстоянии, первый показался бы обтрепанным, подозрительным оборванцем, испуганным и дрожащим от холода в своей дырявой блузе, а второй – почтенным должностным лицом в наглухо застегнутом форменном сюртуке.

Читатель, может быть, и узнал бы этих двух людей, если бы увидел их поближе.

Какова была цель второго?

По всей вероятности, одеть потеплее первого.

Когда человек в казенном мундире преследует человека в лохмотьях, обычно он стремится и его тоже облачить в казенную одежду. Весь вопрос в цвете. Быть одетым в синее – почетно, быть одетым в красное – неприятно.

Существует пурпур общественного дна.

Именно от такой неприятности и от пурпура такого рода, вероятно, и стремился ускользнуть первый прохожий.

То, что второй беспрепятственно пускал его идти вперед и до сих пор не схватил, объяснялось, по всей видимости, надеждой выследить какое-нибудь важное свидание или накрыть целую шайку сообщников. Такая щекотливая работа и называется слежкой.

Эту догадку вполне подтверждает то обстоятельство, что человек в застегнутом сюртуке, заметив с берега порожний экипаж, проезжавший наверху по набережной, подал знак

извозчику; извозчик понял, очевидно сразу сообразив, с кем имеет дело, круто повернул и поехал шагом по набережной, следом за двумя пешеходами. Подозрительный оборванец, шедший впереди, не заметил этого.

Фиакр катился под деревьями Елисейских полей. Над парпетом мелькали голова и плечи извозчика с кнутом в руке.

В секретном предписании полицейским агентам имеется следующий параграф: «Всегда иметь под рукой наемный экипаж на всякий случай».

Два человека, маневрируя каждый по всем правилам стратегии, приблизились к пологому скату набережной, благодаря которому извозчики в те времена могли по дороге из Пасси спускаться к реке и поить лошадей. Впоследствии этот удобный спуск был уничтожен ради симметрии: пусть лошади дохнут от жажды, зато пейзаж услаждает взоры.

Было похоже на то, что человек в блузе собирается подняться вверх по скату и скрыться в Елисейских полях, где, правда, много деревьев, но зато немало и полицейских, и где преследователь мог рассчитывать на подмогу.

Набережная здесь отстоит совсем недалеко от знаменитого дома, перевезенного в 1824 году из Морэ в Париж полковником Браком, – так называемого дома Франциска I. А там и караульня рядом.

К большому удивлению преследователя, его поднадзорный и не подумал свернуть к откосу. Он по-прежнему шел вперед вдоль набережной.

Его положение явно становилось отчаянным.

Что ему оставалось делать? Только броситься в Сену.

Здесь он упустил последнюю возможность подняться на набережную: дальше не было ни спуска, ни лестницы. Совсем близко виднелся поворот, образуемый изгибом Сены возле Иенского моста, где берег, постепенно суживаясь, обращался в тоненькую полоску земли и терялся под водой. Там он неизбежно окажется зажатым со всех сторон: справа ему отрезет путь отвесная стена, слева и спереди – река, с тыла – представитель власти.

Правда, конец береговой полосы загораживала от глаз куча щебня шести или семи футов в высоту, оставшаяся от какого-то снесенного строения. Но неужели бедняга рассчитывал надежно укрыться за кучей мусора, которую так легко обойти кругом? Такая попытка была бы ребячеством. Вряд ли он надеялся на это. Наивность преступников не простирается до таких пределов.

Груда щебня, образуя на берегу нечто вроде пригорка, тянулась высоким мысом до самой стены набережной.

Преследуемый достиг этого холмика и, обогнув его, скрылся от глаз преследователя.

Потеряв его из виду и думая, что не виден сам, преследователь решил отбросить всякое притворство и ускорил шаг. В одну минуту он добежал до кучи щебня и обошел ее кругом. Тут он остановился, пораженный. Человека, за которым он охотился, там не оказалось.

Оборванец исчез бесследно.

Берег тянулся за грудой щебня не далее как на тридцать шагов, после чего уходил в воду, плескавшуюся о стену набережной.

Беглец не мог ни броситься в реку, ни перелезть через стену, не будучи замечен своим преследователем. Куда же он девался?

Человек в застегнутом сюртуке дошел до конца береговой косы и остановился на минуту в раздумье, стиснув кулаки и внимательно осматриваясь кругом. Внезапно он хлопнул себя по лбу. В том месте, где кончалась полоска берега и начиналась вода, он вдруг заметил под каменным сводом широкую и низкую железную решетку на трех массивных петлях, с тяжелым замком. Эта решетка, представлявшая собою нечто вроде двери, пробитой в подножии стены

набережной, выходила частью на реку, частью на берег. Из-под решетки вытекал мутный ручей. Этот ручей впадал в Сену.

За толстыми ржавыми прутьями можно было различить что-то вроде темного сводчатого коридора.

Человек скрестил руки и посмотрел на решетку с упреком.

Не добившись ничего взглядом, он принялся толкать и трясти ее, но она держалась крепко. Вполне возможно, что ее недавно отворяли, хотя казалось странным, чтобы такая ржавая решетка не издала никакого скрипа; во всяком случае, несомненно, что ее опять заперли. Это доказывало, что тот, перед кем отворилась дверь, имел при себе не отмычку, а настоящий ключ.

Очевидность этого факта сразу предстала перед человеком, который пытался расшатать решетку. Он с возмущением воскликнул:

– Это уж чересчур! У него казенный ключ!

Затем он сразу успокоился и выразил нахлынувшие на него мысли в целом залпе односложных восклицаний, звучавших почти насмешливо:

– Так, так, так!

После этого, неизвестно на что рассчитывая – то ли увидеть, как человек выйдет обратно, то ли, как туда войдут другие, – он притаился в засаде за кучей щебня с терпением ищейки.

Фиакр, который соразмерял свой ход со всеми его движениями, тоже остановился наверху, у парапета набережной. Предвидя долгую стоянку, кучер слез и подвязал под морды лошадей мешки с овсом, слегка намоченные снизу, – мешки, столь знакомые парижанам, которым, заметим в скобках, правительство частенько затыкает рот таким же способом. Редкие прохожие на Иенском мосту оборачивались на мгновение, чтобы взглянуть на эти две неподвижные подробности пейзажа – человека на берегу и фиакр на набережной.

Глава 4

Он тоже несет свой крест

Жан Вальжан снова пустился в путь и больше уже не останавливался.

Идти становилось все тяжелее и тяжелее. Высота сводов то и дело менялась; в среднем она достигала приблизительно пяти футов шести дюймов и была рассчитана на человека среднего роста. Жан Вальжан был принужден идти согнувшись, чтобы не ушибить Мариуса о камни свода; каждую минуту ему приходилось то нагибаться, то выпрямляться и все время ощупывать стену. Мокрые камни и скользкие плиты служили плохой точкой опоры как для ног, так и для рук. Он брел, спотыкаясь, в омерзительных нечистотах города. Неверные отсветы дня, проникающие сюда сквозь редкие отдушины, были такими тусклыми, что солнечный луч казался лунным. Все остальное было туман, миазмы, темень, ночь. Жана Вальжана мучили голод и жажда, особенно жажда; между тем здесь, точно в море, его окружала вода, а пить было нельзя. Даже его сила, необычайная, как мы знаем, и почти не ослабевшая с годами благодаря строгой и воздержанной жизни, все же начинала сдавать. Им овладевала усталость, и по мере того как уходили силы, возрастала тяжесть его ноши. Тело Мариуса, быть может, бездыханное, повисло на нем со всей тяжестью мертвого груза. Жан Вальжан старался держать его так, чтобы не давить ему на грудь и не стеснять дыхания. Он чувствовал, как у него под ногами проворно шмыгают крысы. Одна из них чуть не укусила его с перепугу. Изредка через входные отверстия сточных труб до него долетало дуновение свежего воздуха, и ему становилось легче.

Было, вероятно, часа три пополудни, когда он дошел до окружного канала.

Прежде всего его удивил неожиданный простор. Он вдруг очутился в большой галерее, где мог вытянуть обе руки, не наткнувшись на стены, и где его голова не задевала свода. Главный

водосток действительно имеет восемь футов в ширину и семь футов в высоту.

В том месте, где в Главный водосток впадает водосток Монмартра, скрещиваются еще две подземные галереи: Провансальской улицы и Скотобойной. Всякий менее проницательный человек растерялся бы здесь, на перекрестке четырех дорог. Жан Вальжан выбрал самый широкий путь, то есть окружной канал. Но тут снова возникал вопрос: спускаться вниз или подниматься в гору? Он подумал, что положение вещей вынуждало его спешить и что теперь следовало во что бы то ни стало дойти до Сены. Другими словами, спускаться вниз. Он повернул налево.

И хорошо сделал. Было бы заблуждением думать, будто окружной канал имеет два выхода, один на Берси, другой на Пасси, и будто, оправдывая свое название, он окружает подземный Париж на правом берегу реки. Главный водосток, представлявший собою, как мы должны припомнить, не что иное, как взятый в трубу ручей Менильмонтан, если подниматься вверх по течению, приведет к тупику, то есть к самому своему истоку – роднику у подошвы холма Менильмонтан. Он не сообщается непосредственно с боковым каналом, который вбирает сточные воды Парижа, начиная с квартала Попенкур, и впадает в Сену через трубы Амло, несколько выше старого острова Лувье. Этот боковой канал, дополняющий канал-коллектор, отделен от него, как раз под улицей Менильмонтан, каменным валом, являющимся водоразделом верховья и низовья. Если бы Жан Вальжан направился вверх по галерее, то после бесконечных усилий, изнемогая от усталости, полумертвый, он в конце концов наткнулся бы во мраке на глухую стену. И это был бы конец.

В лучшем случае, вернувшись немного назад и углубившись в туннель улицы Сестер страстей господних, не задерживаясь у подземной развилины под перекрестком Бушра и следуя дальше коридором Сен-Луи, затем, свернув налево, проходом Сен-Жиль, повернув потом направо и миновав галерею Сен-Себастьян, – он мог бы достичь водостока Амло, если бы только не заблудился в сети стоков, напоминающих букву F и залегающих под Бастилией, а оттуда уже добраться до выхода на Сену, возле Арсенала. Но для этого необходимо было хорошо знать все разветвления и все отверстия громадного звездчатого коралла парижской клоаки. Между тем, повторяем, он совершенно не разбирался в этой ужасной сети дорог, по которой плутал, и если бы спросить его, где он находится, он ответил бы: «В сердце ночи».

Внутреннее чутье не обмануло его. Спускаться вниз – действительно означало возможность спасения.

Справа от него остались два коридора, которые расходятся кривыми когтями под улицами Лафит и Сен-Жорж, а также длинный раздвоенный канал под Шоссе д'Антен.

Миновав небольшой боковой проход, вероятно ответвление под улицей Мадлен, он остановился передохнуть. Он страшно устал. Сквозь достаточно широкую отдушину, по-видимому смотровой колодец улицы Анжу, пробивался дневной свет. Жан Вальжан нежным и осторожным движением, словно брат раненого брата, опустил Мариуса на приступок у стены. Окровавленное лицо Мариуса, озаренное бледным светом, проникавшим через отдушину, казалось лицом мертвеца на дне могилы. Глаза его были закрыты, волосы прилипли к вискам красными склеенными прядями, безжизненные, застывшие руки висели, как плети, в углах губ запеклась кровь. В узле галстука виднелся сгусток крови, складки рубашки запали в открытые раны, сукно сюртука бередило свежие порезы на теле. Осторожно раздвинув кончиками пальцев края одежды, Жан Вальжан приложил руку к его груди; сердце еще билось. Жан Вальжан разорвал свою рубашку, перевязал раны, как только мог лучше, и тем остановил кровотечение; затем, склонившись в сумеречном полусвете над бесчувственным и почти бездыханным Мариусом, он устремил на него взгляд, полный смертельной ненависти.

Перевязывая Мариуса, он нашел в его карманах две вещи: забытый со вчерашнего дня кусок

хлеба и записную книжку. Он съел хлеб и раскрыл книжку. На первой странице он нашел написанные почерком Мариуса три строчки, о которых помнит читатель:

«Меня зовут Мариус Понмерси. Прошу доставить мой труп деду моему, г-ну Жильнорману, улица Сестер страстей господних, № 6, в Марэ».

Жан Вальжан прочел эти три строчки при свете, проникавшем из отдушины, и замер на миг, сосредоточенно повторяя вполголоса: «Улица Сестер страстей господних, № 6, г-н Жильнорман». Потом он вложил записную книжку обратно в карман Мариуса. Он поел, и силы возвратились к нему; снова взвалив Мариуса на спину, он заботливо уложил его голову на своем правом плече и стал спускаться вниз по водостоку.

Главный водосток, проложенный в ложине по руслу Менильмонтана, простирается в длину почти на две мили. Дно его на значительном протяжении вымощено камнем.

У Жана Вальжана не было того факела, каким пользуемся мы, чтобы осветить читателю его подземное странствие, – он не знал названий улиц. Ничто не указывало ему, какой район города он пересекал или какое расстояние преодолел. Лишь по световым пятнам, которые встречались время от времени на его пути и становились все бледнее, он мог судить, что солнце уже не освещает мостовой и что день склоняется к вечеру; а по шуму колес над головой, который из непрерывного обратился в прерывистый и наконец почти затих, он заключил, что уже вышел за пределы центральных кварталов и приближается к пустынным окраинам, возле внешних бульваров или отдаленной набережной. Где меньше домов и улиц, там меньше в клоаке и отдушин. Вокруг Жана Вальжана сгущалась тьма. Это не мешало ему идти вперед, пробираясь ощупью во мраке.

Внезапно этот мрак стал ужасен.

Глава 5

Лесок коварен, как женщина: чем он приманчивей, тем опасней

Он почувствовал, что входит в воду и что под ногами его уже не каменные плиты, а ил.

На побережье Бретани или Шотландии случается иногда, что какой-нибудь путник или рыбак, отойдя во время отлива по песчаной отмели далеко от берега, вдруг замечает, что уже несколько минут ступает с некоторым трудом. Земля под его ногами словно превращается в смолу, подошвы прилипают к ней; это уже не песок, а клей. Отмель как будто суха, но при каждом шаге, едва переставишь ноги, след заполняется водой. А между тем глаз не видит перемены: бесконечно тянется берег, он ровен, однообразен, песок повсюду кажется одинаковым, ничто не отличает твердой почвы от зыбкой, буйный рой водяных блох по-прежнему весело скачет у ног прохожего. Человек продолжает свой путь, идет вперед, направляется к суше, старается держаться ближе к береговому откосу. Он несколько не обеспокоен. О чем ему беспокоиться? Ему кажется только, что с каждым шагом тяжесть в ногах почему-то возрастает. Вдруг он чувствует, что вязнет. Он увяз на два или три дюйма. Положительно, он сбился с дороги; он останавливается, чтобы определить направление. И тут он смотрит себе на ноги. Ног не видно. Их покрывает песок. Он вытаскивает ноги из песка, хочет вернуться, поворачивает назад – и увязает еще глубже. Песок доходит ему до щиколоток; он вырывается и бросается влево, песок доходит до икр; он кидается вправо, песок достигает колен. Тогда, в невыразимом ужасе, он понимает, что попал в зыбучие пески, что под его ногами та страшная стихия, где человеку так же невозможно ходить, как рыбе плавать. Он швыряет прочь свою ношу, если у него она есть, он освобождается от груза, словно корабль, терпящий бедствие; слишком поздно: он уже провалился выше колен.

Он зовет на помощь, размахивает шапкой или платком, песок засасывает его все глубже и

глубже; если берег безлюден, если жилье далеко, если песчаная отмель пользуется дурной славой, если не сыщется поблизости какого-нибудь героя – тогда все кончено: его засосал песок. Он обречен на ту ужасную медленную смерть, неминуемую, беспощадную, которую нельзя ни отсрочить, ни ускорить, которая длится часами, нескончаемо долго; она настигает вас здоровым, свободным, полным сил, хватает вас за ноги и при каждом вашем крике, при каждой попытке вырваться тащит вас все глубже, словно желая наказать за сопротивление еще более мучительным объятием; она медленно увлекает человека в землю, дав ему время налюбоваться горизонтом, деревьями, зелеными полями, дымом хижин в долине, парусами кораблей в море, порхающими и поющими кругом птицами, солнцем, небесами. Зыбучие пески – это могила, обернувшаяся приливом и поднимающаяся из недр земли за живой добычей. Каждый миг – это безжалостный могильщик. Несчастный пытается сесть, лечь, ползти, но всякое движение хоронит его все глубже; он выпрямляется – и погружается еще больше; он чувствует, что тонет; он кричит, умоляет, взывает к небесам, ломает руки, впадает в отчаяние. Вот уже песок ему по пояс, на поверхности только грудь и голова. Он простирает руки, испускает яростные вопли, вонзает ногти в песок, пытаясь ухватиться за сыпучий прах, опирается на локти, чтобы вырваться из этого мягкого футляра, иступленно рыдает; песок поднимается все выше. Песок доходит до плеч, до подбородка; теперь видно одно только лицо. Рот еще кричит, песок заполняет рот; настает молчание. Глаза еще смотрят, песок засыпает глаза; наступает мрак. Постепенно исчезает лоб, только развеваются над песком пряди волос; высовывается рука, пробивая песчаную гладь, судорожно двигается, сжимается и пропадает. Зловещее исчезновение человека.

Иногда пески засасывают всадника вместе с лошастью, иногда возницу вместе с повозкой; трясина все поглощает. Потонуть в ней совсем не то, что потонуть в море. Здесь затопляет человека земля. Земля, пропитанная океаном, становится западней. Она простирается перед вами, точно равнина, и разверзается под ногами, точно волна. Пучине свойственно такое коварство.

Подобное роковое происшествие, всегда возможное на некоторых морских побережьях, лет тридцать тому назад могло случиться также и в парижской клоаке.

До 1833 года, когда наконец были предприняты важные усовершенствования, в подземной сточной сети Парижа нередко происходили внезапные обвалы.

Кое-где в подпочву, особенно в рыхлые породы, просачивалась вода; тогда настил, будь он мощный камнем, как в старинных водостоках, или бетонный на известковом растворе, как в новых галереях, потеряв опору, начинал прогибаться. Прогиб такого настила ведет к трещине, а трещина – к обвалу. Настил обрушивался на значительном протяжении. Эта расселина, эта щель, открывающая пучину грязи, на профессиональном языке называлась провалом, а самая грязь – пльвуном. Что такое пльвуны? Это зыбучие пески морского побережья, неожиданно оказавшиеся под землей; это песчаный грунт горы Сен-Мишель, перенесенный в клоаку. Разжиженная почва кажется расплавленной; в жидкой среде все ее частицы находятся во взвешенном состоянии; это уже не земля и не вода. Иногда такая топь достигает значительной глубины. Нет ничего опаснее встречи с нею. Если преобладает вода, вам грозит мгновенная смерть – вас затопит; если преобладает земля, вам грозит медленная смерть – вас засосет.

Представляете ли вы себе такую смерть? Она страшна на морском берегу, какова же она в клоаке? Вместо свежего воздуха, яркого света, ясного дня, чистого горизонта, шума волн, вместо вольных облаков, изливающих животворный дождь, вместо белеющих вдалеке лодок, вместо неугасающей до последней минуты надежды, надежды на случайного прохожего, на возможное спасение, вместо всего этого – глухая тишина, слепой мрак, черные своды, готовая зияющая могила, смерть в трясине под гробовой крышкой! Медленная гибель от недостатка

воздуха среди мерзких отбросов, каменный мешок, где в грязной жиже раскрывает когти удушье и хватает вас за горло, предсмертный хрип среди зловония, тина вместо песка, сероводород вместо ветра, нечистоты вместо океана! Звать на помощь, скрипеть зубами, корчиться, биться и погибать, когда над самой вашей головой шумит огромный город и ничего о вас не знает!

Невыразимо страшно умереть таким образом! Смерть искупает иногда свою жестокость неким грозным величием. На костре или при кораблекрушении можно проявить доблесть, в пламени, так же, как в морской пене, – сохранить достоинство; такая гибель преобразует человека. Здесь же этого нет. Здесь смерть нечистоплотна. Здесь испустить дух унижительно. Даже предсмертные видения, проносящиеся мимо, и те внушают отвращение. Грязь – синоним позора. Все тут ничтожно, гнусно, презренно. Утонуть в бочке с мальвазией, подобно Кларенсу, – еще куда ни шло; но захлебнуться в выгребной яме, как д'Эскубло, – ужасно. Барахтаться там омерзительно: там бьются в предсмертных судорогах, увязая в грязи. Там такой мрак, что можно счесть его адом, такая тина, что можно счесть ее просто болотом, и умирающий не знает, станет ли он бесплотным призраком или обратится в жабу.

Могила повсюду мрачна; здесь же она безобразна. Глубина пловунов изменялась так же, как их протяженность и плотность, в зависимости от состояния подпочвы. Иногда провал достигал глубины трех-четырех футов, иногда восьми или десяти, иногда же в нем не могли найти дна. В одном месте ил казался почти твердым, в другом – почти жидким. В пловуне Люньер человек тонул бы в течение целого дня, тогда как топь Фелипо поглотила бы его в пять минут. Трясина выдерживает человека дольше или меньше, в зависимости от большей или меньшей своей плотности. Ребенок может спастись там, где проваливается взрослый. Первое условие спасения – это избавиться от всякого груза. Сбросить с себя мешок с инструментами, или корзинку, или творило с известкой – вот с чего начинал всякий рабочий в клоаке, когда чувствовал, что почва под ним начинает оседать.

Провалы вызывались различными причинами: рыхлостью грунта, случайным оползнем на недоступной исследованию глубине, бурными летними ливнями, непрерывными зимними осадками, осенними морозящими дождями. Иногда тяжесть окружающих домов, построенных на мергелевой или песчаной почве, прогибала своды подземных галерей и заставляла их покоситься, а порой, не выдержав давления, трескался и раскалывался фундамент. Лет сто тому назад осевшее здание Пантеона завалило таким образом часть подземелий в горе Сент-Женевьев. Когда под тяжестью домов происходил обвал в клоаке, это разрушение в некоторых случаях обнаруживало себя наверху в виде рассеявшихся булыжников мостовой, ощерившихся, точно зубья пилы; такая щель вилась по всей линии треснувшего свода, и тогда, видя повреждение, можно было принять срочные меры. Нередко случалось, однако, что внутреннее повреждение не обозначалось на поверхности никакими рубцами. В таких случаях несдобровать было рабочим клоаки! Войдя без предосторожностей в обвалившийся водосток, они легко могли погибнуть. В старинных реестрах упоминается немало рабочих, погребенных таким образом в пловунах. Там перечислено много имен; среди прочих имя некоего Блеза Путрена, провалившегося при обвале водостока под улицей Заговенья; Блез Путрен приходился братом последнему могильщику кладбища, так называемого Костехранилища Инносан, Никола Путрену, который работал там вплоть до 1785 года, когда это кладбище перестало существовать.

В те же реестры попал и упомянутый нами юный, прелестный виконт д'Эскубло, один из героев осады Лерида, которые шли на приступ в шелковых чулках, с оркестром скрипачей во главе. Застигнутый ночью у своей кухни, герцогини де Сурди, д'Эскубло утонул в трясине Ботрельи, куда укрылся, чтобы спастись от герцога. Когда г-же де Сурди сообщили о его гибели, она потребовала флакон с солями и так долго нюхала его, что забыла о слезах. В подобных случаях никакая любовь не устоит, клоака потушит ее. Геро откажется обмыть труп Леандра,

Фисба заткнет нос при виде Пирама и скажет: «Фи!»

Глава 6

Провал

Перед Жаном Вальжаном был провал.

Подобного рода разрушения в то время часто происходили в подпочве Елисейских полей, где грунт неудобен для гидравлических работ и недостаточно прочен для подземных сооружений из-за необычайной своей плавучести. Этот грунт превосходит плавучестью даже рыхлые пески квартала Сен-Жорж, с которыми удалось справиться лишь при помощи бетонного фундамента, даже пропитанные газом глинистые пласты квартала Мучеников, которые настолько разжижены, что подземную галерею под улицей Мучеников пришлось заключить в чугунную трубу. Когда в 1836 году под предместьем Сент-Оноре разрушили для перестройки древний каменный водосток, куда сейчас углубился Жан Вальжан, то зыбучие пески – основная подпочва Елисейских полей до самой Сены – явились таким серьезным препятствием, что работы затянулись почти на полгода, к величайшему огорчению прибрежных жителей, в особенности владельцев особняков и роскошных карет. Земляные работы были там не только трудными: они были опасными. Правда, надо учесть, что в том году дожди лили непрерывно четыре с половиной месяца и Сена три раза выступала из берегов.

Провал, который встретился на пути Жана Вальжана, был вызван вчерашним ливнем. Вследствие оседания каменного настила, плохо укрепленного на песчаной подпочве, там образовалось большое скопление дождевых вод. Вода просочилась под настил, вслед за чем произошел обвал. Прогнувшийся фундамент опустился в трясину. На каком протяжении? Невозможно установить. Мрак в этом месте был непрогляднее, чем где бы то ни было. Это был омут грязи в пещере ночи.

Жан Вальжан почувствовал, что мостовая ускользает у него из-под ног. Он ступил в яму. На поверхности была вода, на дне – тина. Все равно надо было пройти. Возвращаться назад невыносимо. Мариус казался при последнем издыхании, и сам он изнемогал. Да и куда ему идти? Жан Вальжан двинулся вперед. К тому же на первых порах яма показалась ему неглубокой. Но чем дальше он продвигался, тем глубже увязали ноги. Вскоре тина дошла ему до икр, а вода выше колен. Он шагал, поднимая Мариуса обеими руками как можно выше над водой. Тина доходила ему теперь уже до колен, а вода до пояса. Он уже не мог вернуться назад. Его затягивало все глубже и глубже. Ил, достаточно плотный, чтобы выдержать тяжесть одного человека, не мог, очевидно, выдержать двоих. Мариусу и Жану Вальжану удалось бы выбраться только поодиночке. Но Жан Вальжан продолжал идти вперед, неся на себе умирающего, а может быть, – кто знает? – мертвеца.

Вода доходила ему до подмышек, он чувствовал, что тонет; он едва-едва передвигал ноги в этой глубокой тине. Толща грязи, служившая опорой, являлась в то же время и препятствием. Он по-прежнему приподнимал Мариуса над поверхностью и с нечеловеческим напряжением сил двигался вперед, но погружался все глубже. Над водой оставались только голова и две руки, держащие Мариуса. Где-то на старинной картине, изображающей Всемирный потоп, нарисована мать, которая вот так поднимает над головой своего ребенка.

Он погрузился еще глубже, он запрокинул голову назад, чтобы не захлебнуться; тот, кто увидел бы это лицо во тьме, принял бы его за маску, плывущую по мраку. Жан Вальжан смутно различал над собой свесившуюся голову и посинелое лицо Мариуса. Он сделал последнее отчаянное усилие и шагнул вперед; и вдруг нога его наткнулась на что-то твердое, нашла точку опоры. Еще миг, и было бы поздно!

Он выпрямился, рванулся вперед в каком-то исступлении и словно прирос к этой точке опоры. Она показалась ему первой ступенькой лестницы, ведущей к жизни.

Опора, обретенная им в трясине в последний смертный миг, оказалась началом выходящего из-под воды каменного настила, который не обрушился, а только осел и прогнулся под водой целиком, подобно доске. Хорошо выложенный настил в таких случаях выгибается дугой и держится прочно. Эта часть мощеного дна водостока, наполовину затопленная, но устойчивая, представляла собою своего рода лестницу, и, попав на эту лестницу, человек был спасен. Жан Вальжан поднялся по наклонной плоскости и достиг другого края провала.

Выходя из воды, он споткнулся о камень и упал на колени. Приняв это как должное, он так и остался коленопреклоненным, от всей души вознося безмолвную молитву богу.

Потом он встал, весь дрожа, зачочнев от холода, задыхаясь от смрада, сгибаясь под тяжестью раненого, которого тащил на себе; с него струились потоки грязи, но душа была полна неизъяснимым светом.

Глава 7

Порою терпят крушение там, где надеются пристать к берегу

И он снова пустился в путь.

Но если в трясине он не лишился жизни, то, казалось, лишился там всех своих сил. Напряжение последних минут доконало его. Усталость дошла до такого предела, что через каждые три-четыре шага он принужден был делать передышку и прислоняться к стене. Однажды, когда ему пришлось присесть на выступ у стены, чтобы переложить Мариуса поудобнее, он почувствовал, что там и останется. Но если телесные его силы иссякли, то воля не была сломлена. И он встал.

Он пошел вперед с отчаянием, почти бегом, сделал так шагов сто, не поднимая головы, не переводя духа, и вдруг стукнулся об стену. Он достиг угла, где водосток сворачивает в сторону, и так как он шел с низко опущенной головой, то на повороте наткнулся на стену. Он поднял глаза и вдруг, в конце подземелья, где-то впереди, далеко-далеко – увидел свет. На этот раз он не казался угрозующим, это был приветливый белый свет. Там был день.

Жан Вальжан видел впереди дверь на волю.

Если бы среди адского пекла душа грешника увидела вдруг выход из геенны огненной, она испытала бы то же, что испытал Жан Вальжан. В безумном порыве, на своих искалеченных обгорелых крыльях она устремила бы к лучезарным вратам. Жан Вальжан уже не чувствовал усталости, не ощущал тяжести Мариуса, стальные мышцы его снова напряглись. Он уже не шел, а бежал. И все яснее и яснее обозначался просвет. Это была полукруглая арка, расположенная ниже постепенно опускающегося свода и более узкая, чем галерея, суживающаяся по мере того, как понижался свод. Конец туннеля напоминал собою внутренность воронки, с узким, неудобным выходом, вроде калитки смиренного дома, подходящей для тюрьмы, но никак не для клоаки; впоследствии эта несообразность была исправлена.

Жан Вальжан подошел к отверстию.

Там он остановился.

Это действительно был выход, но выйти было нельзя.

Арка была загорожена толстой решеткой, а решетка, которая, по всей видимости, редко поворачивалась на проржавленных петлях, плотно прилегала к каменному наличнику, запертая на массивный замок, красный от ржавчины и похожий на громадный кирпич. Были видны замочная скважина и тяжелый замочный язык, глубоко задвинутый в железную скобу. Замок,

по-видимому, был заперт на два поворота и казался одним из тех тюремных замков, на какие не скупился в те времена старый Париж.

По ту сторону решетки – свежий воздух, река, дневной свет, береговая коса, узкая, но не настолько, чтобы нельзя было пройти по ней, отдаленные набережные Парижа – этой бездны, где так легко скрыться, широкий горизонт, свобода. Направо, вниз по реке, виднелся Иенский мост, налево, вверх по течению, – мост Инвалидов: самое подходящее место, чтобы дожидаться темноты и незаметно ускользнуть. Это был один из самых безлюдных уголков Парижа, набережная против Большого Камня. Сквозь железные прутья решетки влетали и вылетали мухи.

Было, вероятно, около половины девятого вечера. Начинало смеркаться.

Жан Вальжан положил Мариуса у стены, на сухую часть каменного пола, и, подойдя к решетке, судорожно впился в прутья обеими руками; толчок был бешеный, результата никакого. Решетка не дрогнула. Жан Вальжан рванул каждый прут по очереди, надеясь, что удастся выломать наименее прочный и, орудуя им как рычагом, приподнять дверь или сбить замок. Ни один прут не подался. Даже у тигра зубы в деснах не сидят так прочно. Ни рычага, ничего тяжелого под рукой. Препятствие было непреодолимо. Отворить дверь невозможно.

Неужели их ждал тут конец? Что делать? Как быть? Вернуться назад, начать сызнова страшное путешествие, уже раз им проделанное, он был не в силах. К тому же, как снова перебраться через топь, откуда они выбрались только чудом? Да и помимо топи, разве не было там полицейского патруля, от которого, конечно, не удалось бы скрыться во второй раз? Кроме того, куда идти? Какое направление избрать? Спускаться по уклону вовсе не значило дойти до цели. Даже если найдется другой выход, он тоже окажется замурованным или загороженным решеткой. Очевидно, все выходы запирались таким образом. Решетка, через которую они проникли, лишь случайно оказалась неисправной, остальные же отверстия клоаки, несомненно, все были закрыты. Они спаслись лишь для того, чтобы попасть в темницу.

Это был конец. Все, что совершил Жан Вальжан, оказалось бесполезным. Силы иссякли, надежды рухнули.

Они запутались оба в необъятной темной паутине смерти, и Жан Вальжан чувствовал, как, раскачивая черные нити, ползет к ним во мраке чудовищный паук.

Он повернулся спиной к решетке и опустил, вернее, рухнул, на каменные плиты, возле все еще недвижимого Мариуса; голова его низко склонилась к коленям. Выхода нет! Это была последняя капля в чаше отчаяния.

О чем думал он в смертельной тоске? Не о себе и не о Мариусе. Он думал о Козетте.

Глава 8

Лоскут от разорванной сюртука

Вдруг чья-то рука, тронув его за плечо, вывела из забытья, и чей-то голос проговорил шепотом:

– Добычу пополам!

Что это? Здесь кто-то есть. Ничто так не напоминает бреда, как отчаяние. Жан Вальжан подумал, что бредит. Он не слышал шагов. Возможно ли это? Он поднял глаза.

Перед ним стоял какой-то человек.

Человек был одет в блузу; он стоял босиком, держа башмаки в левой руке; очевидно, он снял их, чтобы неслышно подкрасться к Жану Вальжану.

Как ни неожиданна была встреча, Жан Вальжан не сомневался ни минуты; он сразу узнал человека. Это был Тенардьё.

Жан Вальжан привык к опасностям и умел быстро отражать внезапное нападение; даже захваченный врасплох, он сразу овладел собой. Кроме того, его положение не могло стать хуже, чем было: отчаяние, достигшее крайних пределов, уже ничем нельзя усугубить, и даже сам Тенардьё не способен был сгустить мрак этой ночи.

С минуту они оба выжидали.

Приложив правую ладонь козырьком ко лбу, Тенардьё нахмурил брови и прищурился, слегка сжав губы, как человек, с пристальным вниманием старающийся распознать другого. Ему это не удалось. Жан Вальжан, как мы уже сказали, сидел спиной к свету и вдобавок был так обезображен, так залит кровью и запачкан грязью, что даже в яркий день его невозможно было бы узнать. Напротив, освещенный спереди, со стороны решетки, белесоватым, но при всей его мертвенности отчетливым светом подземелья, Тенардьё, согласно избитому, но меткому выражению, «сразу бросился в глаза» Жану Вальжану. Этого неравенства условий оказалось достаточно, чтобы Жан Вальжан получил некоторое преимущество в той таинственной дуэли, которая должна была завязаться между двумя людьми в разных положениях. Жан Вальжан выступал на поединке с закрытым лицом, а Тенардьё – без маски.

Жан Вальжан тотчас же заметил, что Тенардьё не узнал его.

Несколько мгновений они разглядывали друг друга в тусклом полусвете, как бы примеряясь один к другому. Первым нарушил молчание Тенардьё:

– Как ты думаешь выбраться отсюда?

Жан Вальжан не ответил.

Тенардьё продолжал:

– Отмычка здесь не поможет. А выйти тебе отсюда надо.

– Это правда, – сказал Жан Вальжан.

– Так вот, добычу пополам.

– Что ты хочешь сказать?

– Ты пришел человека. Дело твое. Но ключ-то у меня.

И Тенардьё указал пальцем на Мариуса.

– Я тебя не знаю, – продолжал он, – но хочу тебе помочь. Ты, я вижу, свой парень.

Жан Вальжан начал догадываться: Тенардьё принимал его за убийцу.

Тенардьё заговорил снова:

– Слушай, приятель. Коли ты прикончил молодца, так уж, верно, обшарил его карманы. Давай мне мою половину. А я отомкну тебе дверь.

И, вытащив наполовину из-под своей дырявой блузы тяжелый ключ, он добавил:

– Хочешь поглядеть, каков из себя ключ от воли? Вот он, полюбуйся.

Жан Вальжан был до такой степени «ошарашен», пользуясь словом старика Корнеля, что не верил собственным глазам. Неужели само провидение явилось ему в столь отвратительном обличье, неужели светлый ангел вырос из-под земли под видом Тенардьё?

Тенардьё засунул руку за пазуху, вытащил из объемистого внутреннего кармана веревку и протянул Жану Вальжану.

– Держи-ка, – сказал он, – вот тебе еще веревка в придачу.

– Зачем мне веревка?

– Надо бы еще и камень, да ты найдешь его снаружи. Там целая куча щебня.

– Зачем мне камень?

– Вот болван! Тебе же придется бросить в реку эту пададь, стало быть, нужны и веревка, и камень. А то всплывет наверх.

Жан Вальжан взял веревку. В иные минуты человек машинально соглашается на все.

Тенардьё прищелкнул пальцами, как будто его поразила внезапная мысль:

– Скажи-ка, приятель, как это ты ухитрился выбраться из трясины? Я не мог на это решиться... Фу, нельзя сказать, чтобы от тебя хорошо пахло.

Помолчав, он прибавил:

– Я задаю тебе вопросы, но ты правильно делаешь, что не отвечаешь. Готовишься к допросу у следователя? Поганая минутка! Конечно, если вовсе не говорить, не рискуешь проговориться. А все-таки, хоть я тебя не вижу и по имени не знаю, ты напрасно думаешь, будто мне непонятно, кто ты и чего тебе надо. Видали таких. Ты легонько подшиб этого молодца и теперь хочешь его сплавить. Тебе нужна река, – чтобы концы в воду. Так и быть, я помогу тебе выпутаться. Выручить славного малого из беды – это по моей части.

Хваля Жана Вальжана за молчание, он тем не менее явно старался вызвать его на разговор. Он хватил его по плечу, пытаясь разглядеть лицо сбоку, и воскликнул, не особенно, впрочем, повышая голос:

– Кстати, насчет трясины. Экий ты дурак! Почему ты не сбросил его туда?

Жан Вальжан хранил молчание.

Тенардье, жестом положительного, солидного человека подтянув к самому кадыку тряпку, заменяющую ему галстук, продолжал:

– А впрочем, ты, пожалуй, поступил неглупо. Завтра рабочие пришли бы затыкать дыру и уж, верно, нашли бы там этого подкидыша; а тогда шаг за шагом, потихоньку-помаленьку напали бы на твой след и добрались бы до тебя самого. Ага, скажут, кто-то ходил по клоаке! Кто такой? Откуда он вышел? Не видал ли кто, когда он выходил? Легавым ума не занимать стать. Водосток – доносчик, непременно выдаст. Ведь такая находка тут – редкость, она привлекает внимание; в клоаку мало кто заходит по делу, а река – для всех. Река – что могила. Ну, пускай через месяц выудят утопленника из сеток Сен-Клу. А на черта он годится? Падаль, и больше ничего. Кто убил человека? Париж. Суд даже и следствия не начнет. Ты хорошо сделал.

Чем больше болтал Тенардье, тем упорнее молчал Жан Вальжан. Тенардье снова тряхнул его за плечо.

– А теперь давай по рукам. Поделимся. Я показал тебе ключ, покажи свои деньги.

Вид у Тенардье был беспокойный, дикий, недоверчивый, слегка угрожающий и вместе с тем дружелюбный.

Странное дело, в повадках Тенардье чувствовалось что-то неестественное, ему словно было не по себе; хоть он и не напускал на себя таинственности, однако говорил тихо и время от времени, приложив палец к губам, шептал: «Тсс!» Трудно было угадать, почему. Кроме них двоих, там никого не было. Жану Вальжану пришло в голову, что где-нибудь неподалеку, в закоулке, скрываются другие бродяги и у Тенардье нет особой охоты делиться с ними добычей.

Тенардье опять заговорил:

– Давай кончать. Сколько ты наскреб в ширманах у этого разини?

Жан Вальжан порылся у себя в карманах.

Как мы помним, у него была привычка всегда иметь при себе деньги. В мрачной, полной опасностей жизни, на которую он был обречен, это стало для него законом. На сей раз, однако, он был застигнут врасплох. Накануне вечером, находясь в подавленном, мрачном состоянии, он забыл, переодеваясь в мундир национальной гвардии, захватить с собой бумажник. Только в жилетном кармане у него нашлось несколько монет. Он вывернул пропитанные грязью карманы и выложил на выступ стены один золотой, две пятифранковых монеты и пять или шесть медяков по два су.

Тенардье выпятил нижнюю губу, выразительно покрутив головой.

– Да ты же его убил задаром, – сказал он.

С полной бесцеремонностью он принялся обшаривать карманы Жана Вальжана и карманы

Мариуса. Жан Вальжан не мешал ему, стараясь, однако, не поворачиваться лицом к свету. Ощупывая одежду Мариуса, Тенардьё, с ловкостью опытного карманника, ухитрился оторвать лоскут от его сюртука и незаметно спрятать за пазуху, вероятно рассчитывая, что этот кусок материи может пригодиться ему впоследствии, чтобы опознать убитого или выследить убийцу. Но, кроме упомянутых тридцати франков, он не нашел ничего.

– Что верно, то верно, – пробормотал он, – один на другом верхом, и у обоих ни шиша.

И, позабыв свое условие «добычу пополам», он забрал себе все.

Глядя на медяки, он было заколебался, но, подумав, тоже сгреб их в ладонь, ворча:

– Все равно! Можно сказать, без пользы пришел человека.

После этого он опять вытащил из-под блузы ключ.

– А теперь, приятель, выходи. Здесь, как на ярмарке, плату берут при выходе. Заплатил, можешь уходить.

Может ли быть, чтобы, выручая незнакомца при помощи ключа и выпуская на волю вместо себя другого, он руководился чистым и бескорыстным намерением спасти убийцу? В этом мы позволим себе усомниться.

Тенардьё помог Жану Вальжану снова взвалить Мариуса на плечи, затем на цыпочках подкрался к решетке и, подав Жану Вальжану знак следовать за ним, выглянул наружу, приложил палец к губам и застыл на мгновение, как бы выжидая; наконец, осмотревшись по сторонам, он вложил ключ в замок. Язычок замка скользнул в сторону, и дверь отворилась. Не было слышно ни скрипа, ни стука. Все произошло в полной тишине. Было ясно, что и решетка, и дверные петли заботливо смазывались маслом и отворялись гораздо чаще, чем можно было подумать. Эта тишина казалась зловещей; за ней чудились тайные появления и исчезновения, молчаливый приход и уход людей ночного промысла, волчий неслышный шаг преступления. Клоака, очевидно, была заодно с какой-то таинственной шайкой. Безмолвная решетка являлась их сообщницей.

Тенардьё приотворил дверцу ровно настолько, чтобы пропустить Жана Вальжана, запер решетку, дважды повернул ключ в замке и погрузился в сумрак. Будто прошел на бархатных лапах тигр. Минуту спустя это провидение в отвратительном обличье сгнуло среди непроницаемой тьмы.

Жан Вальжан очутился на воле.

Глава 9

Человек, знающий толк в таких делах, принимает Мариуса за мертвеца

Жан Вальжан опустил Мариуса на берег.

Они были на воле!

Миазмы, темнота, ужас остались позади. Он свободно дышал здоровым, чистым, целебным воздухом, который хлынул на него живительным потоком. Повсюду кругом стояла тишина, отрадная тишина ясного безоблачного вечера. Сгущались сумерки, надвигалась ночь, великая избавительница, верная подруга всем, кому нужен покров мрака, чтобы отогнать мучительную тревогу. Со всех сторон необъятное небо струило на него бесконечное успокоение. Легкий плеск реки у его ног напоминал звук поцелуя. С высоких вязов Елисейских полей доносились воздушные диалоги птичьих семейств, перекликавшихся перед сном. Кое-где на светло-голубом небосклоне выступили звезды; бледные, словно в грезах, они мерцали в беспредельной глубине едва заметными искорками. Вечер изливал на Жана Вальжана все очарование бесконечности.

Стоял тот неверный и дивный час, который нельзя назвать ни днем, ни ночью. Было уже достаточно темно, чтобы потеряться на расстоянии, и еще достаточно светло, чтобы узнать друг

друга вблизи.

Жан Вальжан на несколько секунд поддался неотразимому обаянию этого ласкового и торжественного покоя; бывают минуты забвения, когда страдания и тревоги перестают терзать несчастного; мысль затуманивается, благодатный мир, словно ночь, обволакивает мечтателя, и душа в этих лучистых сумерках, подобно загоревшемуся небу, также озаряется звездами. Жан Вальжан невольно отдался созерцанию этой необъятной светящейся мглы над своей головой; задумавшись, он погрузился в торжественную тишину вечного неба, словно в очистительную купель самозабвения и молитвы. Потом, спохватившись, как будто вспомнив о долге, он нагнулся над Мариусом и, зачерпнув в ладонь воды, брызнул ему несколько капель в лицо. Веки Мариуса не разомкнулись, но его полуоткрытый рот еще дышал.

Жан Вальжан собирался зачерпнуть еще воды, но вдруг почувствовал какое-то неясное беспокойство – так бывает, когда кто-то не замеченный вами стоит у вас за спиной.

Нам уже приходилось в другом месте описывать это ощущение, знакомое всякому человеку.

Он обернулся.

Как и в прошлый раз, кто-то действительно был за его спиной.

Человек высокого роста, в длинном сюртуке, скрестив руки и зажав в правом кулаке дубинку со свинцовым набалдашником, стоял в нескольких шагах позади Жана Вальжана, склонившегося над Мариусом.

Сгустившийся сумрак придавал ему облик привидения. Человек суеверный испугался бы его из-за темноты, человек разумный – из-за его дубинки.

Жан Вальжан узнал Жавера.

Читатель, разумеется, уже догадался, что преследователем Тенардье был не кто иной, как Жавер. Неожиданно выйдя целым и невредимым с баррикады, Жавер тут же отправился в полицейскую префектуру, лично, в короткой аудиенции, доложил обо всем префекту и тотчас вернулся к исполнению своих обязанностей, в которые входило, как мы помним из найденного при нем листка, особое наблюдение за правым берегом Сены, вдоль Елисейских полей, привлекавшим с некоторых пор внимание полиции. Там он заметил Тенардье и пошел за ним следом. Остальное мы уже знаем.

Нам понятно также, что решетка, столь предупредительно отворенная перед Жаном Вальжаном, была хитрой уловкой со стороны Тенардье. Тенардье чуял, что Жавер все еще здесь; человек, которого преследуют, наделен безошибочным нюхом; необходимо было бросить кость этой ищейке. Убийца, какая находка! Это был жертвенный дар, на который всякий польстится. Выпуская на волю Жана Вальжана вместо себя, Тенардье науськивал полицейского на новую добычу, сбивал его со следа, отвлекая внимание на более крупного зверя, вознаграждал Жавера за долгое ожидание, что всегда лестно для шпиона, а сам, заработав вдобавок тридцать франков, твердо рассчитывал ускользнуть при помощи этого маневра.

Жан Вальжан попал из огня да в полымя.

Перенести две такие встречи одну за другой – попасть от Тенардье к Жаверу – было тяжким ударом.

Жавер не узнал Жана Вальжана, который, как мы говорили, стал сам на себя не похож. Не меняя позы и лишь крепче сжав неуловимым движением дубинку в руке, он сказал отрывисто и спокойно:

– Кто вы такой?

– Я.

– Кто это вы?

– Жан Вальжан.

Жавер взял дубинку в зубы, наклонился, слегка присев, положил свои могучие руки на плечи Жану Вальжану, сдавив их, словно тисками, внимательно взгляделся и узнал его. Их лица почти соприкасались. Взгляд Жавера был страшен.

Жан Вальжан словно не почувствовал хватки Жавера; так лев не обратил бы внимания на когти рыси.

– Надзиратель Жавер, – сказал он, – я в вашей власти. К тому же с нынешнего утра я считаю себя вашим пленником. Я не для того дал вам свой адрес, чтобы скрываться от вас. Берите меня. Прошу вас только об одном.

Жавер, казалось, не слышал его слов. Он впился в Жана Вальжана своим пронзительным взглядом. Стиснутые челюсти и поджатые почти к самому носу губы служили признаком свирепого его раздумья. Наконец он отпустил Жана Вальжана, выпрямился во весь рост, снова взял в руки дубинку и, точно в забытьи, скорее пробормотал, чем проговорил:

– Что вы здесь делаете? И что это за человек?

Он продолжал обращаться на «вы» к Жану Вальжану. Жан Вальжан ответил, и звук его голоса как будто пробудил Жавера:

– О нем-то я как раз и хотел говорить с вами. Поступайте со мною, как вам угодно, но помогите мне сначала доставить его домой. Только об этом я и прошу.

Лицо Жавера скривилось, как бывало всякий раз, когда он боялся, что его сочтут способным на уступку. Однако он не отказал.

Он опять нагнулся, вытащил из кармана платок и, намочив его в воде, вытер окровавленный лоб Мариуса.

– Этот человек был на баррикаде, – сказал он вполголоса, как бы про себя. – Это тот, кого называли Мариусом.

Первоклассный шпион все подсмотрел, все подслушал, все расслышал и все запомнил, ожидая смерти; он выслеживал даже в агонии и, стоя одной ногой в могиле, продолжал брать все на заметку.

Он схватил руку Мариуса, нащупывая пульс.

– Он ранен, – сказал Жан Вальжан.

– Он умер, – сказал Жавер.

Жан Вальжан возразил:

– Нет. Пока еще жив.

– Значит, вы принесли его сюда с баррикады? – заметил Жавер.

Видно, он был сильно озабочен, если не настаивал на выяснении этого подозрительного бегства через подземелья клоаки и даже не заметил, что Жан Вальжан промолчал на его вопрос.

Да и Жана Вальжана занимала, казалось, одна-единственная мысль. Он снова заговорил:

– Он живет в Марэ, на улице Сестер страстей господних, у своего деда... Я забыл его имя.

Жан Вальжан пошарил в карманах Мариуса, вынул его записную книжку, раскрыл исписанную карандашом страницу и протянул Жаверу.

В вечернем небе брезжило еще достаточно света, и можно было читать. К тому же глаза Жавера фосфоресцировали, как глаза хищных ночных птиц. Он разобрал написанные Мариусом строчки и проворчал сквозь зубы: «Жильнорман, улица Сестер страстей господних, номер шесть».

Потом он крикнул: «Извозчик!»

Читатель помнит о фиакре, стоявшем в ожидании на всякий случай.

Записную книжку Мариуса Жавер оставил у себя.

Через минуту карета съехала на берег по спуску к водопою, Мариуса перенесли на заднее сиденье, а Жавер уселся рядом с Жаном Вальжаном на передней скамейке.

Дверца захлопнулась, и фиакр быстро покатиł вдоль набережной, по направлению к Бастилии.

Свернув с набережной, они поехали по улицам. Извозчик, возвышаясь на козлах черным силуэтом, подхлестывал тощих лошадей. В карете царило ледяное молчание. Недвижимое тело Мариуса в углу кареты, с поникшей головой, с безжизненно висящими руками и вытянутыми ногами, как будто ждало, чтобы его положили в гроб; Жан Вальжан казался сотканным из мрака, а Жавер изваянным из камня. В этой темной карете, которая, словно неверной вспышкой молнии, по временам озарялась внутри мертвенным, синеватым светом уличного фонаря, случай зловещим образом свел и сопоставил три воплощения трагической неподвижности – труп, призрак, статую.

Глава 10

Возвращение блудного сына

При каждом толчке экипажа с волос Мариуса падали капли крови.

Уже совсем стемнело, когда фиакр подъехал к дому номер 6 на улице Сестер страстей господних.

Жавер вышел из кареты первым, бегло взглянул на номер над воротами и, приподняв тяжелый кованый молоток, украшенный по старинной моде изображением столкнувшихся лбами козла и сатира, громко постучал. Дверь приоткрылась. Жавер распахнул ее. Из-за двери, зевая, выглянул заспанный привратник со свечой в руке.

Весь дом спал. В Марэ ложатся засветло, особенно в дни уличных волнений. Этот мирный старый квартал, перепуганный революцией, искал спасения в сне; так дети, в страхе перед букой, поспешно прячут голову под одеяло.

Жан Вальжан с помощью извозчика вынес Мариуса из кареты; Жан Вальжан держал его под мышки, а извозчик за ноги.

Неся его таким образом, Жан Вальжан просунул руку под его разорванное платье и удостоверился, что сердце еще бьется. Оно билось даже немного сильнее, словно движение экипажа вызвало у раненого приток жизненных сил.

Жавер спросил привратника резким тоном, как и подобало представителю власти обращаться со слугою бунтовщика:

– Живет тут кто-нибудь по имени Жильнорман?

– Живет. Что вам угодно?

– Мы привезли его сына.

– Сына? – тупо переспросил привратник.

– Он умер.

Показавшийся за спиной Жавера оборванный и грязный Жан Вальжан, на которого привратник уставился с ужасом, сделал ему знак, что это неправда.

Привратник, казалось, не понял ни слов Жавера, ни знаков Жана Вальжана.

Жавер продолжал:

– Он пошел на баррикаду – и вот, доигрался.

– На баррикаду?! – вскричал привратник.

– Его там убили. Поди разбуди отца.

Привратник не трогался с места.

– Ступай же! – повторил Жавер. И добавил: – Завтра тут будут похороны.

Для Жавера все события общественной жизни были распределены по категориям, с этого начинаются попечение и надзор; любой случайности было отведено определенное место;

возможные события хранились, так сказать, в особых ящиках, откуда появлялись вместе или порознь, судя по обстоятельствам; на улицах, например, могли происходить нарушения тишины, бунты, карнавалы и похороны.

Привратник ограничился тем, что разбудил Баска. Баск разбудил Николетту, Николетта разбудила тетушку Жильнорман. Но деда не тревожили, решив, что чем позже он узнает новость, тем лучше.

Мариуса внесли во второй этаж, впрочем, так осторожно, что в другой половине дома никто этого не заметил, и уложили на старый диван в прихожей г-на Жильнормана. Когда Баск отправился за доктором, а Николетта стала рыться в белье в шкафах, Жан Вальжан почувствовал, что Жавер трогает его за плечо. Он понял и спустился вниз, слыша позади шаги Жавера, который шел за ним по пятам.

Привратник глядел им вслед с тем же сонным испуганным видом, с каким встретил их появление.

Они снова сели в фиакр, а извозчик взобрался на козлы.

– Надзиратель Жавер, – сказал Жан Вальжан, – окажите мне еще одну милость.

– Какую? – сурово спросил Жавер.

– Позвольте мне зайти на минуту домой. А там делайте со мной что хотите.

Жавер помолчал несколько мгновений, уткнув подбородок в воротник сюртука, затем опустил переднее окошко кареты.

– Извозчик, – сказал он, – на улицу Вооруженного человека, номер семь.

Глава 11

Потрясение незыблемых основ

За все время пути они больше не раскрывали рта.

Что хотел сделать Жан Вальжан? Довести до конца начатое дело: предупредить Козетту, сообщить ей, где находится Мариус, дать ей, быть может, другие полезные указания, сделать, если успеет, последние распоряжения. Что же до него, до его собственной судьбы, то все было кончено, он попал в руки Жавера и не сопротивлялся. Другой человек в таком положении подумал бы, вероятно, о веревке, полученной от Тенардье, и о перекладинах решетки в первой же тюремной камере, куда он попадет; но со времени встречи с епископом всякое покушение, даже на собственную жизнь, мы подчеркиваем это, вызывало в Жане Вальжане глубокий религиозный протест.

Самоубийство, это таинственное насилие над неведомым, быть может, в какой-то мере убивающее душу, казалось невозможным Жану Вальжану.

В самом начале улицы Вооруженного человека фиакр остановился, так как она была слишком узка для проезда экипажей. Жавер и Жан Вальжан сошли на мостовую.

Извозчик смиренно просил господина надзирателя обратить внимание, что утрехтский бархат внутри кареты был весь в пятнах от крови убитого и от грязной одежды убийцы. Только это и дошло до него. Он добавил, что следовало бы возместить убытки. Тут же, вытащив из кармана свою контрольную книжку, он просил господина надзирателя сделать ему милость и написать там «какую ни на есть аттестацию, хоть самую пустячную».

Жавер оттолкнул книжку, которую протягивал ему извозчик, и спросил:

– Сколько тебе следует, считая за проезд и простой?

– Теперь уж четверть восьмого, – отвечал кучер, – да и бархат мой был новехонький. Восемьдесят франков, господин инспектор.

Жавер вынул из кармана четыре наполеондора и отпустил фиакр.

Жан Вальжан подумал, что Жавер собирается пешком отвести его на караульный пост улицы Белых мантий или Архива, находившихся совсем рядом.

Они пошли по улице. Она, как всегда, была безлюдна. Жавер следовал за Жаном Вальжаном. Они поравнялись с домом номер 7. Жан Вальжан постучался. Дверь отворилась.

– Хорошо, – сказал Жавер. – Входите.

Он прибавил с каким-то странным выражением, точно делая над собой усилие, произнося эти слова:

– Я подожду вас здесь.

Жан Вальжан взглянул на него. Подобный образ действия был далеко не в привычках Жавера. Однако презрительное доверие, оказываемое ему Жавером, доверие кошки, которая отпускает мышь ровно настолько, чтобы вонзить в нее затем когти, не могло особенно удивить его, ибо он сам решил отдаться в руки правосудия и на этом все покончить. Он толкнул дверь, вошел в дом, окликнул заспанного привратника, который дернул шнурок, не вставая с постели. Потом поднялся по лестнице.

Дойдя до второго этажа, он остановился. На всяком крестном пути есть свои передышки. Подъемное окно на площадке было открыто. Как во многих старинных домах, лестница была светлая, окно это выходило на улицу. От уличного фонаря, стоявшего как раз напротив, на лестничные ступеньки падали лучи, что избавляло от расходов на освещение.

Жан Вальжан, то ли чтобы подышать свежим воздухом, то ли просто безотчетно, высунул голову в окно. Он выглянул на улицу. Она была совсем коротенькая, и фонарь освещал ее всю целиком. Жан Вальжан остолбенел от изумления: на улице никого не было.

Жавер ушел.

Глава 12

Дед

Баск и привратник перенесли в гостиную диван, на котором Мариус по-прежнему лежал без движения. Сразу послали за доктором, и он тут же явился. Встала и тетушка Жильнорман.

Испуганная тетушка ходила взад и вперед, ломая руки, и только бормотала: «Боже милостивый, возможно ли?» Иногда она прибавляла: «Все будет перепачкано кровью!» Когда первое потрясение улеглось, мозг ее оказался способным в некотором роде философски осмыслить создавшееся положение, что выразилось в следующем возгласе: «Этим и должно было кончиться!» Правда, она не дошла до формулы: «Я давно это предсказывала!», обычно изрекаемой в подобных случаях.

По приказанию врача рядом с диваном поставили складную кровать. Доктор осмотрел Мариуса и, удостоверившись, что пульс бьется, что на груди нет ни одной глубокой раны и что кровь, запекаясь в углах рта, текла из носовой полости, велел положить его на койку плашмя, без подушки, – голову на одном уровне с туловищем, даже несколько ниже, – и обнажить грудь, чтобы облегчить дыхание. Девица Жильнорман, увидев, что Мариуса раздевают, поспешно удалилась к себе в комнату, где принялась усердно молиться, перебирая четки.

У Мариуса не обнаружилось особых внутренних повреждений; скользнув по записной книжке, пуля отклонилась в сторону и прошла вдоль ребер, образовав рваную рану, ужасную с виду, но неглубокую и, следовательно, неопасную. Долгое подземное путешествие завершило вывих перебитой ключицы, и лишь это повреждение оказалось серьезным. Руки были изрублены сабельными ударами; ни один шрам не обезобразил лица, но голова была вся словно исполосована. Какие последствия повлекут эти ранения в голову? Затронули они только

кожный покров? Или повредили череп? Пока еще определить было невозможно. Опасным симптомом являлось то, что они вызвали обморок, а от подобных обмороков не всегда приходят в чувство. Кроме того, раненый обессилел от потери крови. Нижняя половина тела не пострадала, так как Мариус был до пояса защищен баррикадой.

Баск и Николетта разрывали белье и готовили бинты; Николетта сшивала их. Баск скатывал. Корпии под рукой не было, и доктор останавливал кровотечение, затыкая раны тампонами из ваты. Возле кровати на столе, где был разложен целый набор хирургических инструментов, горели три свечи. Врач обмыл лицо и волосы Мариуса холодной водой. Привратник светил ему, держа в руке свечу. Полное ведро в один миг окрасилось кровью.

Доктор казался погруженным в печальные размышления. По временам он отрицательно покачивал головой, словно отвечая на вопросы, которые сам себе задавал. Дурной знак для больного – эти таинственные диалоги врача с самим собой!

В ту минуту, когда доктор обтирал лицо раненого, тихонько касаясь пальцами все еще закрытых век, в глубине гостиной отворилась дверь, и появилась высокая белая фигура.

Это был дед.

Последние два дня мятеж сильно волновал, возмущал и тревожил г-на Жильнормана. Прошлую ночь он не смыкал глаз, и весь день его лихорадило. Вечером он улегся спать очень рано, приказав накрепко запереть весь дом, и от усталости наконец задремал.

Сон у стариков чуткий; спальня г-на Жильнормана была рядом с гостиной, и, несмотря на все предосторожности, шум разбудил его. Удивленный светом, проникавшим сквозь дверную щель, он встал с постели и ощупью добрался до двери.

Он остановился на пороге в изумлении, держась одной рукой за ручку полуоткрытой двери, слегка наклонив вперед трясущуюся голову; на нем был белый облегающий тело халат, прямой и гладкий, точно саван; казалось, призрак заглядывает в могилу.

Он увидел ярко освещенную кровать и распростертого на ней окровавленного молодого человека, бледного как воск, с закрытыми глазами, полуоткрытым ртом и бескровными губами, обнаженного по пояс, в багровых ранах, недвижимого.

Старик задрожал с головы до ног; глаза его с желтыми от старости белками затуманились и остекленели, лицо осунулось и уподобилось черепу, покрывшись землистыми тенями, руки безжизненно повисли, точно в них сломалась пружина, раздвинутые пальцы старческих рук судорожно вздрагивали, колени подогнулись, и распахнувшийся халат открыл худые голые ноги, заросшие седыми волосами; он прошептал:

– Мариус!

– Сударь, – сказал Баск, – господина Мариуса только что принесли. Он пошел на баррикаду, и там...

– Он умер! – воскликнул старик страшным голосом. – Ах, разбойник!

И вдруг, словно после загробного преображения, этот столетний старец выпрямился во весь рост, как юноша.

– Сударь, – сказал он, – вы врач. Прежде всего скажите мне одно: он умер, не правда ли?

Доктор, встревоженный до последней степени, хранил молчание.

Заломив руки, г-н Жильнорман разразился ужасным смехом:

– Он умер! Он умер! Он дал себя убить на баррикаде! Из ненависти ко мне! Он сделал это мне назло! А, кровопийца! Вот как он вернулся ко мне! Горе мне, он умер!

Он подошел к окну, распахнул его настежь, как будто ему не хватало воздуха, и, стоя лицом к лицу с тьмой, заговорил в ночь, оглашая воплями спящую улицу:

– Исклот, изрублен, зарезан, искромсан, загублен, рассечен на куски! Посмотрите на него – каков негодяй! Он прекрасно знал, что я жду его, что я велел приготовить для него комнату,

что я повесил у изголовья моей постели его детский портрет! Он отлично знал, что ему стоило только вернуться, что я призывал его долгие годы, что целыми вечерами я просиживал у камелька, сложив руки на коленях дурак дураком и не понимая, что делать! Ты хорошо знал, что тебе стоит только вернуться и сказать: «Вот и я!» – и ты станешь полным хозяином, и я буду повиноваться тебе, и ты будешь делать все, что тебе вздумается с твоим старым растяпой-дедом! Ты это знал и все-таки решил: «Нет, он роялист, я не пойду к нему!» И ты побежал на баррикаду и дал убить себя из одного окаянства, нарочно, чтобы отомстить за мои слова о его светлости герцоге Беррийском! Это подло. Ложитесь после этого в постель и попробуйте-ка спать спокойно! Он умер. Вот оно, мое пробуждение.

Доктор, который начал тревожиться уже за обоих, покинул на минуту Мариуса, подошел к г-ну Жильнорману и взял его за руку. Старик обернулся, посмотрел на него расширенными, налившимися кровью глазами и медленно произнес:

– Благодарю вас, сударь. Я спокоен, я мужчина, я видел кончину Людовика Шестнадцатого, я умею переносить испытания. Но вот что особенно ужасно – это мысль, что все зло наделали ваши газеты. Пускай у вас будут писаки, краснобаи, адвокаты, ораторы, трибуны, словопрения, прогресс, просвещение, права человека, свобода печати, – но вот в каком виде принесут вам домой ваших детей! Ах, Мариус, это чудовищно! Убит! Умер раньше меня! На баррикаде! Ах, бандит! Доктор, вы, кажется, живете в нашем квартале? О, я хорошо вас знаю. Я часто вижу из окна, как вы проезжаете мимо в кабриолете. Я вам все скажу. Вы напрасно думаете, что я сержусь. На мертвых не сердятся. Это было бы нелепо. Но ведь я вырастил этого ребенка. Я был уже стар, когда он был еще малюткой. Он играл в парке Тюильри с лопаткой и тележкой, и, чтобы сторожа не ворчали, я терпеливо заравнивал тростью все ямки, которые он выкапывал в песке своей лопаточкой. И вот однажды он крикнул: «Долой Людовика Восемнадцатого!» – и ушел из дому. Это не моя вина. Он был такой розовый, такой белокурый. Мать его умерла. Вы заметили, что маленькие дети все белокурые? Отчего это бывает? Он сын одного из этих луарских разбойников, но ведь дети не отвечают за преступления отцов. Я помню его, когда он был вот такого роста. Ему никак не удавалось выговорить букву Д. Он щебетал так нежно и так непонятно, точно птенчик. Помню, как однажды, возле статуи Геркулеса Фарнезского, все обступили этого ребенка, любуясь и восхищаясь им, до того он был хорош! Только на картинах увидишь такие очаровательные головки. Напрасно я говорил сердитым голосом, грозил ему тростью, но он отлично понимал, что это не всерьез. Когда по утрам он вбегал ко мне в спальню, я ворчал, но мне казалось, что взошло солнце. Невозможно устоять против таких малышей. Они завладевают нами, держат и не выпускают. По правде сказать, не было ничего на свете прелестней этого ребенка. После этого что вы мне можете сказать о всех ваших Лафайетах, Бенжаменах Констанах, о Тиркюи де Корселях, о всех тех, кто отнял его у меня? Это вам даром не пройдет!

Он приблизился к мертвенно-бледному, безжизненному Мариусу, возле которого хлопотал врач, и снова принялся ломать руки. Бескровные губы его шевелились как бы произвольно, и из них вырывались, словно слабые вздохи среди предсмертного хрипа, почти неуловимые, бессвязные слова:

– Ах, бессердечный! Ах, якобинец! Ах, злодей! Ах, разбойник!

Умиравший еле слышным голосом упрекал мертвеца. Внутренние потрясения в конце концов неизбежно проявляются вовне, и речь деда мало-помалу снова стала связной, но у того уже не хватало сил произносить слова; голос звучал так глухо и слабо, как будто доносился с другого края пропасти.

– Мне все равно, я и сам скоро умру. Подумать только, разве сыщется в Париже такая чудачка, что не была бы рада составить счастье этого негодника! Бессовестный, вместо того

чтобы веселиться и наслаждаться жизнью, он пошел драться и дал изрешетить себя пулями как дурак! И было бы за что! За Республику! Вместо того чтобы танцевать на балу в Шомьер, как надлежит молодым людям! Ведь ему только двадцать лет! Республика, что за чертова чепуха! Бедные матери, рожайте после этого красивых мальчиков! Говорят вам, он умер. Значит, из наших ворот выйдут одна за другой две похоронные процессии. Итак, ты отколол такую штуку ради прекрасных глаз генерала Ламарка? Чем ты ему обязан, этому генералу Ламарку? Этому рубаке, этому болтуну? Пошел на смерть ради покойника! Есть от чего с ума сойти! Поймите! Двадцать лет от роду! И даже не оглянулся на то, что осталось позади! И вот теперь бедному старику приходится умирать в одиночестве. Подымай в своем углу, старый филин! Ну что ж, пожалуй, так лучше, именно этого я и хотел, это убьет меня сразу. Я слишком стар, мне сто лет, мне сто тысяч лет, я уже давным-давно имею право умереть. Этот удар и dokonает меня. Значит, все кончено. Какое счастье! Зачем давать ему нюхать нашатырь и пить всякую дрянь? Вы напрасно теряете время, безмозглый вы лекарь! Будет вам, он же умер, умер по-настоящему. Уж я-то понимаю в этом толк, я тоже мертвец. Он довел дело до конца. Подлое, подлое, подлое время! Вот что я думаю о вас, о ваших идеях, ваших системах, ваших главарях, оракулах, врачах, негодяях-писателях, прощельгах-философах, о всех этих революциях, которые целых шестьдесят лет только распугивают ворон в Тюильри! И если ты был настолько безжалостен, что погубил себя таким образом, то и поделом, я и горевать о тебе не стану, слышишь ли ты, убийца!

В эту минуту веки Мариуса медленно раскрылись, и его взгляд, еще затуманенный летаргией, с удивлением остановился на г-не Жильнормане.

– Мариус! – вскричал старик. – Мариус, мой мальчик! Дитя мое! Дорогой мой сын! Ты открыл глаза, ты смотришь на меня, ты жив, благодарю тебя!

И он упал без чувств.

Книга четвертая

Жавер сбился с пути

Медленным шагом Жавер удалился с улицы Вооруженного человека.

Впервые в жизни он шел, опустив голову, и также впервые в жизни – заложив руки за спину.

До этого дня из двух поз Наполеона Жавер заимствовал только ту, что выражает уверенность, – руки, скрещенные на груди; поза, выражающая нерешительность – руки за спиной, – была ему незнакома. Но теперь произошел перелом; вся его медлительная и угрюмая фигура носила отпечаток душевной тревоги.

Он углубился во тьму уснувших улиц.

Однако его путь лежал в определенном направлении.

Свернув кратчайшей дорогой к Сене, он вышел на набережную Вязов, пошел вдоль берега, миновал Гревскую площадь и остановился на углу моста Богоматери, не доходя караульного поста на площади Шатле. В этом месте, огороженная мостами Богоматери и Менял, а с боков набережными Сыромятной и Цветочной, Сена образует нечто вроде квадратного озера с быстриной посередине.

Лодочники избегают этого участка Сены. Ничего нет опаснее ее быстрины, которая в те времена еще была зажата здесь с боков и гневно бурлила между сваями мельницы, выстроенной на мосту и впоследствии разрушенной. Два моста, расположенные на таком близком расстоянии, еще увеличивают опасность, так как вода со страшной силой устремляется под их арки. Она катится туда широкими бурными потоками, клокочет и вздымается; волны яростно набрасываются на мостовые быки, словно стараясь вырвать их с корнем мощными водяными канатами. Упавший туда человек уже не всплывет на поверхность, даже лучшие пловцы здесь тонут.

Жавер облокотился на парапет, подперев обеими руками подбородок, и задумался, машинально запустив пальцы в свои густые бакенбарды.

В его душе произошел перелом, переворот, катастрофа, ему было о чем подумать.

Вот уже несколько часов, как он перестал себя понимать. Он был в смятении; ум его, столь ясный в своей слепоте, потерял присущую ему прозрачность; чистый кристалл замутился. Жавер чувствовал, что понятие долга раздвоилось в его сознании, и не мог скрыть этого от себя. Когда он так неожиданно встретил на берегу Сены Жана Вальжана, в нем проснулся инстинкт волка, наконец схватившего добычу, и вместе с тем инстинкт собаки, которая вновь нашла своего хозяина.

Он видел перед собою два пути, одинаково прямых, но их было два; это ужасало его, так как всю жизнь он следовал только по одной прямой линии. И, что особенно мучительно, оба пути были противоположны. Каждая из этих прямых линий исключала другую. Которая же из двух правильна?

Положение его было невыразимо трудным.

Быть обязанным жизнью преступнику, признать этот долг и возратить его; наперекор себе самому стать на одну доску с закоренелым злодеем, отплатить ему услугой за услугу; дойти до того, чтобы сказать себе: «Уходи!», а ему: «Ты свободен!»; пожертвовать долгом, этой общей для всех обязанностью, ради побуждений личных, и вместе с тем чувствовать за этими личными побуждениями некий столь же общеобязательный, а может быть, и высший закон; предать общество, чтобы остаться верным своей совести! Надо же, чтобы все эти нелепости произошли на самом деле и свалились именно на него! Вот что его доконало.

Случилось нечто неслыханное, удивившее его: Жан Вальжан его пощадил; но случилось и другое, что окончательно его сразило: он сам, Жавер, пощадил Жана Вальжана.

До чего же он дошел? Он старался понять и не узнавал самого себя.

Что теперь делать? Выдать Жана Вальжана было дурно; оставить Жана Вальжана на свободе тоже было дурно. В первом случае представитель власти падал ниже последнего каторжника; во втором – колодник возвышался над законом и попираал его ногами. В обоих случаях обесчещенным оказывался он, Жавер. Что бы он ни решил, исход один – конец. В судьбе человека встречаются отвесные кручи, откуда не спастись, откуда вся жизнь кажется глубокой пропастью. Жавер стоял на краю такого обрыва.

Особенно угнетала его необходимость размышлять. Жестокая борьба противоречивых чувств принуждала его к этому. Мыслить было для него непривычно и необыкновенно мучительно.

В мыслях всегда кроется известная доля тайной крамолы, и его раздражало, что он не уберется от этого.

Любая мысль, выходящая за пределы узкого круга его обязанностей, при всех обстоятельствах представилась бы ему бесполезной и утомительной; но думать о событиях истекшего дня казалось ему пыткой. Однако после стольких потрясений было необходимо заглянуть в свою совесть и отдать себе отчет о самом себе.

Он трепетал перед тем, что сделал. Он, Жавер, вопреки всем полицейским правилам, всем политическим и юридическим установлениям, вопреки всему кодексу законов, счел возможным отпустить преступника на свободу; так ему заблагорассудилось; он подменил своими личными интересами интересы общества. Ведь это неслыханно! Всякий раз, возвращаясь к этому не имеющему названия поступку, он содрогался с головы до ног. На что решиться? Ему оставалось одно: не теряя времени вернуться на улицу Вооруженного человека и взять под стражу Жана Вальжана. Конечно, следовало поступить только так. Но он не мог.

Что-то преграждало ему путь в ту сторону.

Но что же? Что именно? Разве существует на свете что-нибудь, кроме судов, судебных приставов, полиции и властей? Жавер был потрясен.

Каторжник, личность которого неприкосновенна! Арестант, неуловимый для полиции! И все это благодаря Жаверу!

Разве не ужасно то, что Жавер и Жан Вальжан, два человека, целиком принадлежащие закону и созданные один, чтобы карать, другой, чтобы терпеть кару, вдруг оба дошли до того, что попрали закон?

Как же так? Неужели могут произойти столь чудовищные вещи и никто не будет наказан? Неужели Жан Вальжан оказался сильнее всего общественного порядка и останется на свободе, а он, Жавер, будет по-прежнему получать жалованье от казны?

Его раздумье становилось все более мрачным.

Он мог бы среди всех этих размышлений упрекнуть себя еще и за бунтовщика, которого доставил на улицу Сестер страстей господних; но он даже не думал о нем. Мелкий проступок затмевала более тяжкая вина. Кроме того, бунтовщик, несомненно, был мертв, а со смертью, согласно закону, прекращается и преследование.

Жан Вальжан – вот тяжкий груз, давивший на его мозг.

Жан Вальжан сбивал его с толку. Все правила, служившие ему опорой на протяжении всей жизни, рушились перед лицом этого человека. Великодушные Жана Вальжана по отношению к нему, Жаверу, подавляло его. Другие поступки Жана Вальжана, которые прежде он считал лживыми и безрассудными, теперь являлись ему в истинном свете. За Жаном Вальжаном вставал образ господина Мадлена, и оба эти лица, наплывая друг на друга, сливались в одно,

светлое и благородное. Жавер чувствовал, как в душу его закрадывается нечто отвратительное – преклонение перед каторжником. Уважение к острожнику, мыслимо ли это? Он дрожал от волнения, но не мог справиться с собой. Как он ни противился этому, ему приходилось признать в глубине души нравственное благородство отверженного. Это было нестерпимо.

Милосердный злодей, сострадательный каторжник, кроткий, великодушный, который помогает в беде, воздаст добром за зло, прощает своим ненавистникам, предпочитает жалость мести, который готов скорее погибнуть, чем погубить врага, и спасает того, кто оскорбил его, – преступник, коленопреклоненный на высотах добродетели, более близкий к ангелу, чем к человеку! Жавер вынужден был признать, что подобное диво существует на свете.

Дальше так продолжаться не могло.

Правда, и мы настаиваем на этом, Жавер не без борьбы отдался во власть чудовищу, нечестивому ангелу, презренному герою, который вызывал в нем почти в равной мере и негодование, и восхищение. Когда он ехал в карете один на один с Жаном Вальжаном, сколько раз в нем возмущался и рычал тигр законности! Сколько раз его одолевало желание броситься на Жана Вальжана, схватить его и растерзать, иными словами, арестовать! В самом деле, что могло быть проще? Крикнуть, поравнявшись с первым же караульным постом: «Вот беглый каторжник, укрывающийся от правосудия!» Позвать жандармов и заявить: «Он ваш!» Потом уйти, оставить им проклятого злодея и больше ничего не знать, ни во что не вмешиваться. Ведь этот человек – пожизненный пленник закона; пусть закон и распоряжается им, как пожелает. Что может быть справедливее? Все это Жавер говорил себе; более того, он хотел действовать, хотел собственноручно схватить свою жертву, но и тогда и теперь был не в силах это сделать; всякий раз, как его рука судорожно протягивалась к вороту Жана Вальжана, она падала, словно была налита свинцом, а в глубине его сознания звучал голос, странный голос, кричавший ему: «Хорошо. Предай своего спасителя. А затем, как Понтий Пилат, вели принести сосуд с водой и умой свои когти».

Потом его мысли обращались на него самого, и рядом с величавым образом Жана Вальжана он видел себя, Жавера, жалким и униженным.

Его благодетелем был каторжник!

В сущности, с какой стати он разрешил этому человеку подарить ему жизнь? Он имел право быть убитым на баррикаде. Ему следовало воспользоваться этим правом. Он должен был позвать других повстанцев на помощь и насильно заставить их расстрелять себя.

Мучительнее всего была утрата веры в себя. Он потерял почву под ногами. От жезла закона в его руке остались одни лишь обломки. Неведомые раньше сомнения одолевали его. В нем происходил нравственный перелом, некое откровение, глубоко отличное от того правосознания, какое до сей поры служило единственным мерилom его поступков. Оставаться в рамках прежней честности казалось ему недостаточным. Целый рой неожиданных событий обступил его и поработил. Новый мир открылся его душе: благодеяние, принятое и вознагражденное, самоотверженность, милосердие, терпимость, победа жалости над суровостью, доброжелательство, отмена приговора, пощада осужденному, слезы в очах правосудия, некая непостижимая божественная справедливость, противоположная справедливости человеческой. Он видел во мраке грозный восход неведомого духовного солнца; оно ужасало и ослепляло его. Филин был вынужден смотреть глазами орла.

Он говорил себе: значит, правда, что бывают исключения, что власть может заблуждаться, что перед некоторыми явлениями правило становится в тупик, что не все уместается в своде законов, что приходится покоряться непредвиденному, что добродетель каторжника может расставить сети для добродетели чиновника, что чудовищное может обернуться божественным, что жизнь таит в себе подобные западни, и думал с отчаянием, что он и сам был захвачен

врасплох.

Он вынужден был признать, что добро существует. Каторжник оказался добрым. И сам он – неслыханное дело! – только что проявил доброту. Значит, он обесчестил себя.

Он считал себя подлецом. Он внушал ужас самому себе.

Идеал для Жавера заключался не в том, чтобы быть человечным, великодушным, возвышенным, а в том, чтобы быть безупречным. И вот он совершил проступок.

Как он дошел до этого? Как все это случилось? Он и сам не мог бы сказать. Он сжимал голову обеими руками, но сколько ни думал, ничего не мог объяснить.

Несомненно, он все время имел намерение передать Жана Вальжана в руки правосудия, чьим пленником был Жан Вальжан и чьим рабом был он, Жавер. Ни на миг не признавался он себе, пока Жан Вальжан находился в его власти, что втайне решил отпустить его. Словно без его ведома, рука его сама собой разжалась и выпустила пленника.

Множество жгучих, мучительных загадок предстало перед ним. Он задавал себе вопросы и отвечал на них, но эти ответы пугали его. Он спрашивал себя: «Когда я попался в лапы этому каторжнику, тому безумцу, которого я безжалостно преследовал, и он мог отомстить мне и даже должен был отомстить, не только из злопамятства, но и ради собственной безопасности, – что же он сделал, даровав мне жизнь и пощадив меня? Исполнил свой долг? Нет. Нечто большее. А я, когда пощадил его, в свою очередь, что я сделал? Выполнил свой долг? Нет. Нечто большее. Следовательно, существует нечто большее, чем выполнение долга?» Здесь он терялся, душевное его равновесие нарушалось; одна чаша весов падала в пропасть, другая взлетала к небу, и та, что была наверху, устрашала Жавера не меньше, чем та, что была внизу. Он вовсе не был ни вольтерьянцем, ни философом, ни неверующим – напротив, чувствовал инстинктивное почтение к официальной религии; тем не менее он рассматривал ее как возвышенный, но несущественный элемент социального целого; установленный порядок был его единственным догматом и вполне его удовлетворял; с тех пор как он стал зрелым человеком и чиновником, он обратил почти все свое религиозное чувство на полицию и был сыщиком, – мы говорим это без малейшей насмешки, но с полной серьезностью, – был, повторяем, сыщиком, как бывают священником. Он знал своего начальника, г-на Жиске, и до сей поры он ни разу не подумал о другом начальнике – о господе боге.

Внезапно осознав этого нового хозяина, бога, он пришел в замешательство.

Неожиданно оказавшись перед лицом бога, он растерялся; он не знал, как вести себя с таким начальством; ему было известно, что подчиненный всегда обязан слепо повиноваться, не имея права ни послушаться, ни порицать, ни оспаривать, и что в случае слишком странного приказа у подначального остается один выход – подать в отставку.

Но каким образом просить бога об отставке?

Что бы там ни было, он вечно возвращался к тому же факту, который заслонял для него все остальное, – он только что совершил тяжкое преступление. Он не задержал закоренелого злодея, беглого каторжника. Он выпустил острожника на волю. Он украл у представителей закона человека, принадлежавшего им по праву. Он действительно совершил это. Он перестал понимать себя. Он не узнавал себя. Самые причины такого поступка ускользали от него, даже от одной мысли об этом у него кружилась голова. До этой минуты он жил слепой верой, порождающей суровую честность. Теперь он потерял веру, а с нею и честность. Все, чему он поклонялся, разлетелось в прах. Ненавистные истины преследовали его неотвязно. С этих пор надо было стать другим человеком. Он испытывал странные муки, словно с его сознания внезапно сняли катаракту. Он прозрел и увидел то, чего видеть не желал. Он чувствовал себя опустошенным, бесполезным, вырванным из прошлого, уволенным с должности, уничтоженным. В нем умер представитель власти. Его жизнь потеряла всякий смысл.

Какое ужасное состояние – быть растроганным! Быть гранитом и усомниться! Быть изваянием кары, отлитым из одного куска по установленному законом образцу, и вдруг ощутить в бронзовой груди что-то непокорное и безрассудное, почти похожее на сердце! Дойти до того, чтобы отплатить добром за добро, хотя всю жизнь до этого дня внушал себе, что подобное добро есть зло! Быть сторожевым псом – и ластиться к чужому! Быть льдом – и растаять! Быть клещами – и обратиться в живую руку! Почувствовать вдруг, как пальцы разжимаются! Выпустить пойманную добычу – какое страшное падение! Человек-снаряд вдруг сбился с пути и летит вспять! Приходилось признаться самому себе в том, что непогрешимость не безгрешна, что в догмат может вкрасться ошибка, что в своде законов сказано не все, общественный строй несовершенен, власть подвержена колебаниям, нерушимое может разрушиться, судьи такие же люди, как все, закон может обмануться, трибуналы могут ошибиться! На громадном синем стекле небесной тверди зияла трещина.

То, что происходило в душе Жавера, в его прямолинейной совести, можно было сравнить с крушением в Фампу: душа его словно сошла с рельсов, честность, неудержимо мчавшаяся по прямому пути, оказалась разбитой вдребезги, столкнувшись с богом. Разумеется, казалось невероятным, чтобы машинист общественного порядка, кочегар власти, оседлавший слепого железного коня, способного мчаться лишь в одном определенном направлении, мог быть выбит из седла лучом света! Чтобы неизменное, прямое, точное, геометрически правильное, покорное, безукоризненное могло изменить себе! Неужели и для локомотива существует путь в Дамаск?

Бог в человеке, его истинная совесть, которая отвергает совесть ложную, запрещает искре гаснуть, повелевает лучу помнить о солнце, приказывает душе отличать настоящую истину от столкнувшейся с нею мнимой истины, – этот родник человечности, неумолчный голос сердца, это изумительное чудо, самое прекрасное, быть может, из наших внутренних сокровищ, – понимал ли его Жавер? Постигал ли его Жавер? Отдавал ли себе отчет? Очевидно, нет. Но он чувствовал, что череп его готов расколоться под гнетом непостижимой непреложности.

Он не столько был обращен этим чудом, сколько являлся его жертвой. Он покорился с отчаянием. Он видел во всем этом лишь невыносимую тяжесть жизни. Ему казалось, что отныне дыхание его стеснено навеки.

Чувствовать над собой неведомое было ему непривычно.

Все, что до той поры стояло выше его, представлялось его взору гладкой поверхностью, простой, ровной, прозрачной; в ней не было ничего непонятного, ничего темного; ничего, кроме точного, упорядоченного, согласованного, ясного, отчетливого, определенного, ограниченного, законченного; решительно все было предусмотрено; власть расстилалась перед ним ровной плоскостью, без круч и обрывов; она не вызывала головокружения. Жаверу случалось видеть неведомое только внизу, на дне. Беззаконное, непредвиденное, беспорядочное, провал в хаос, возможность соскользнуть в пропасть – все это являлось уделом низших слоев, бунтовщиков, злодеев, отверженных. Теперь же, упав навзничь, Жавер вдруг пришел в ужас от небывалого зрелища: бездна разверзлась над ним, в вышине.

Что же это такое? Все перевернулось вверх дном; он был окончательно сбит с толку. На что же положиться? Все, во что он верил, рушилось!

Что же случилось? Какой-то отверженный с великодушным сердцем сумел найти в общественном строе уязвимое место? Как же так? Честный служитель закона вдруг оказался принужденным выбирать между двумя преступлениями: отпустить человека – преступление, арестовать его тоже преступление! Значит, в уставе, данном государством чиновнику, не все предусмотрено? Значит, на путях долга могли встретиться тупики? Что же это такое? Неужели так оно и есть? Неужели прежний бандит, согбенный под тяжестью обвинений, мог расправить плечи? Неужели правда на его стороне? Возможно ли этому поверить? Неужели бывают случаи,

когда закон, бормоча извинения, должен отступить перед преображенным преступником?

Да, такое чудо произошло! И Жавер сам его видел! И Жавер осязал его! Он не только не мог отрицать его, но сам в нем участвовал. Оно было реальностью. Ужасно, что реальные факты могли дойти до такого уродства.

Если бы факты выполняли свое назначение, они служили бы лишь подтверждением закону; ведь факты посылаются богом. Неужто в наше время и анархия нисходит свыше?

Так, в тоске, в тревожном недоумении, порождающем как бы зрительный обман души, меркло все, что могло бы смягчить и улучшить его состояние, и с этой минуты общество, человечество, вселенная представлялись его глазам в простых и страшных очертаниях. Стало быть, система наказаний, вынесенное решение, непререкаемая сила закона, приговор верховного суда, магистратура, правительство, следствие и карательные меры, официальная мудрость, непогрешимость закона, основы власти, все догматы, на которых зиждется политическая и гражданская безопасность, верховная власть, правосудие, логика закона, устой общества, общепризнанные истины – все это только мусор, груда обломков, хаос! И сам он, Жавер, – блюститель порядка, неподкупный слуга полиции, провидение в образе ищейки на страже общества, – испепелен и повержен наземь. А над этими развалинами возвышается человек в арестантском колпаке и с сиянием вокруг чела. Вот до какого потрясения основ он дошел; вот какое страшное видение угнетало его душу.

Можно ли это вынести? Нет.

Если все это так, у него отчаянное положение. Остается лишь два выхода. Один – вернуться немедленно к Жану Вальжану и заточить беглого каторжника в тюрьму. Другой выход...

Жавер сошел с моста и твердым шагом, на этот раз с высоко поднятой головой, направился к полицейскому посту под фонарем, на углу площади Шатле.

Подойдя, он увидел в окно дежурного сержанта и вошел внутрь. Полицейские узнают друг друга сразу, хотя бы по манере толкнуть дверь в караульное помещение. Жавер назвал себя, показал сержанту свой билет и уселся за столом, где горела свеча. На столе стояла свинцовая чернильница, лежали перья и бумага на случай протоколов или для письменных распоряжений ночным караулам.

Такой стол, с неизменным соломенным стулом возле него, по заведенному обычаю, есть на всех полицейских постах; его непременно украшает блюдо самшитового дерева, полное опилок, и картонная коробочка с красными облатками для запечатывания писем; этот стол – низшая ступень судопроизводства. Именно здесь и зарождается судебная литература.

Жавер взял перо и листок бумаги и принялся писать. Вот что он написал:

«Несколько заметок для пользы полицейской службы.

Во-первых: я прошу господина префекта прочесть то, что следует ниже.

Во-вторых: арестанты после допроса разуваяются и стоят на полу босиком, пока их обыскивают. Многие, вернувшись в тюрьму, начинают кашлять. Это влечет за собой расходы на больницу.

В-третьих: наблюдение, со сменой агентов на определенных участках, поставлено хорошо; но в особо важных случаях следовало бы, чтобы по крайней мере два агента не теряли друг друга из виду; если один из них почему-либо ослабит бдительность, другой следит за ним и заступает на его место.

В-четвертых: непонятно, почему в тюрьме Мадлонет особым распоряжением запрещено заключенным иметь стулья, даже за плату.

В-пятых: в тюрьме Мадлонет закусовая отгорожена только двумя перекладинами, что позволяет арестантам касаться руки буфетчицы.

В-шестых: арестанты, именуемые «выкликалами» и вызывающие других арестантов в приемную, требуют по два су с заключенного, чтобы выкрикивать их имена поотчетливее. Это воровство.

В-седьмых: в ткацкой мастерской за каждую спущенную нитку вычитают по десять су с заключенного, что является злоупотреблением со стороны подрядчика, так как холст от этого нисколько не хуже.

В-восьмых: недопустимо, что посетители тюрьмы Форс, направляясь в приемную приюта Св. Марии Египетской, проходят через двор малолетних преступников.

В-девятых: замечено, что жандармы каждый день рассказывают во дворе префектуры о допросах обвиняемых. Неуместно жандарму, который должен быть безупречным, разбалтывать то, что он слышал в кабинете следователя, – это важный проступок.

В-десятых: госпожа Анри – честная женщина и содержит свою закусочную очень чисто; но женщине не годится быть привратницей возле одиночных камер. Это недостойно тюрьмы Консьержери, как образцового учреждения».

Жавер вывел эти строки обычным своим ровным и аккуратным почерком, не пропустив ни одной запятой и громко скрипя пером по бумаге. Внизу, под последней строкой, он подписал: «Жавер. Надзиратель 1-го класса. Полицейский пост на площади Шатле.

7 июня 1832 года, около часу пополудни».

Жавер просушил свежие чернила на бумаге, сложил ее в виде письма, запечатал, надписал на обороте: «Донесение для администрации», положил на стол и вышел из комнаты. Застекленная, забранная решеткой дверь захлопнулась за ним.

Он снова пересек по диагонали площадь Шатле, достиг набережной и, возвратившись с точностью автомата на то самое место, какое покинул четверть часа назад, облокотился на ту же плиту парапета, совершенно в той же позе, как прежде. Могло показаться, что он и не трогался с места.

Было совсем темно. Наступил тот час могильной тишины, какой бывает после полуночи. Завеса облаков скрывала звезды. Небо застилала густая зловещая мгла. Ни один огонек не светился в домах квартала Ситэ; прохожих не было, все ближние улицы и набережные казались пустынными; собор Парижской Богоматери и башни Дворца правосудия казались очертаниями самой ночи. Фонарь освещал края перил красноватым светом. Силуэты мостов, возникавшие вдали один позади другого, расплывались в тумане. Река вздулась от дождей.

Место, где облокотился на перила Жавер, как помнит читатель, находилось над самой быстриной Сены, как раз над страшной спиралью водоворота, которая скручивалась и раскручивалась, точно бесконечный винт.

Жавер наклонил голову и заглянул вниз. Все было черно. Ничего нельзя было различить. Слышалось, как бурлила вода, но реки не было видно. По временам в головокружительной глубине вспыхивал, извиваясь, блуждающий огонек, так как даже в самую темную ночь вода обладает способностью ловить свет неизвестно откуда и отражать его искрящимися змейками. Но огонек потухал, и все снова тонуло во мгле. Чудилось, там разверзалась сама бесконечность. Внизу была не вода, а бездна. Отвесная темная стена набережной, сливаясь с туманом и пропадая во тьме, представлялась крутым обрывом в эту бесконечность.

Ничего не было видно, но тянуло студеным холодом воды и слабым запахом сырых камней. В глубине слышалось грозное дыхание бездны. Вздвухшаяся река, которую скорее можно было угадать, чем увидеть, трагический рокот волн, унылая громада мостовых арок, манящая глубь

черной пустоты, – весь этот мрак наводил ужас.

Несколько мгновений Жавер стоял неподвижно, устремив глаза в эти отверстые врата ночи; он вглядывался в невидимое пристально, с упорным вниманием. Шумела вода. Вдруг он снял шляпу и положил ее на перила. Минуту спустя высокая черная тень, которую запоздалый прохожий мог бы издали принять за привидение, поднялась во весь рост на парапете, наклонилась над Сеной, затем выпрямилась и упала прямо во тьму; раздался глухой всплеск, и одна только ночь видела, как билась в судорогах эта темная фигура, исчезая под водой.

Некоторое время спустя после описанных нами событий достойному Башке пришлось испытать сильное волнение.

Достойный Башка – тот самый шоссейный рабочий из Монфермейля, который нам уже встречался в наиболее мрачных главах этой повести.

Как помнит читатель, Башка занимался разнообразными делами, в том числе и темными. Он разбивал камни и грабил путешественников на большой дороге. Этого камнебойца и вора обурежала одна мечта: он бредил сокровищами, зарытыми в Монфермейльском лесу. Он надеялся в один прекрасный день где-нибудь под деревом найти в земле клад; в ожидании этого он не прочь был пошарить в карманах прохожих.

Однако теперь он держался осторожно. Ему только что удалось выйти сухим из воды. Как мы знаем, он был захвачен вместе с другими бандитами в лачуге Жондрета. Иногда порок может пригодиться: Башку спасло то, что он был пьяницей. Никто так и не мог разобраться, грабитель он или ограбленный. На основании вполне доказанной его невменяемости в вечер грабежа дело было прекращено, и его отпустили. Он опять вырвался на волю. Возвратившись на тот же дорожный участок, между Ганьи и Ланьи, он снова принялся бить щебень для казны, под наблюдением администрации, понурый, озабоченный, слегка охладев к воровскому ремеслу, которое едва его не сгубило, но зато еще более пристрастившись к вину, которое вызволило его из беды.

Что же так сильно взволновало Башку после его возвращения под дерновую кровлю своей землянки? А вот что.

Однажды утром, незадолго до рассвета, выйдя, как обычно, на место своей работы, возможно, служившее ему и местом засады, Башка заметил в кустарниках человека, который, хотя был виден только со спины, показался ему, несмотря на расстояние и предрассветный сумрак, не совсем незнакомым. Башка, правда, пил горькую, однако обладал точной и ясной памятью, необходимым защитным оружием всякого, кто не очень-то ладит с правопорядком.

– Где, черт возьми, я видел этого человека? – спрашивал он себя.

И ничего не мог ответить, кроме того, что фигура эта напоминала кого-то, кто оставил неясный след в его памяти.

Тогда Башка, оставив в стороне сходство, которое ему никак не удавалось установить, принялся соображать и сопоставлять. Человек этот был явно нездешний. Он откуда-то прибыл. Очевидно, пешком. Ни один дилижанс не проезжает через Монфермейль в такие часы. Значит, он шел целую ночь. Откуда он явился? Не издалека, так как у него не было с собой ни котомки, ни узла. Наверно, из Парижа. Почему он забрался в лес? Да еще в такую раннюю пору? Чего ему тут нужно?

Башка подумал о кладе. Порывшись в памяти, он смутно припомнил, что много лет назад его охватило такое же беспокойство при виде одного человека. А вдруг это тот же самый!

Раздумывая таким образом, он опустил голову под грузом размышлений, что было естественно, но не слишком предусмотрительно. Когда он снова поднял голову, никого уже не было. Незнакомец исчез в чаще, в предрассветном тумане.

– Черт меня подери, если я его провороню! – воскликнул Башка. – Уж я разыщу молельню

этого ханжи. Неспроста он вышел на прогулку ни свет ни заря, уж я-то узнаю, в чем тут загвоздка. В моем лесу не бывало еще тайны, которой бы я не распутал.

И он схватил свою острую кирку.

– Пригодится, – проворчал он, – и в земле поковырять, и человека ковырнуть.

И как бы связав нить с нитью, он, стараясь как можно лучше угадать предполагаемый путь незнакомца, начал пробираться сквозь заросли.

Не успел он сделать и сотни шагов, как разговарившийся рассвет пришел ему на помощь. Там и сям виднелись отпечатки подошв на песке, примятая трава, растоптанный вереск, согнутые молодые ветки кустарника, распрямлявшиеся с медлительной грацией красавицы, которая потягивается, просыпаясь, – все это были верные приметы. Он долго шел по следу, потом потерял его. Время уходило. Он углубился дальше в лес и вышел на какой-то пригорок. Охотник, проходивший на заре по дальней тропинке, насвистывая песенку Гильери, навел его на мысль взобраться на дерево. Несмотря на свои годы, он был очень ловок. Поблизости стоял высокий бук, достойный Титира и Башки. Башка вскарабкался на дерево, как только мог выше.

Это была превосходная мысль. Оглядывая лесную глушь, в той стороне, где деревья превращаются в непроходимую чащу, Башка вдруг опять увидел человека.

Едва он успел его заметить, как снова потерял из виду.

Незнакомец вышел, или, вернее, проскользнул, на довольно отдаленную прогалину, скрытую густыми деревьями, которую Башка очень хорошо знал, так как заметил там, возле большой кучи известняка, большое каштановое дерево с цинковым кольцом на пораженном стволе, прибитым гвоздями прямо к коре. Это та самая полянка, что в старину называли «прогалиной Бларю». Груда камней, неизвестно для чего предназначенная и лежавшая там еще лет тридцать тому назад, верно, и теперь на том же месте. Ничто не может сравниться по долговечности с кучей камней, кроме разве деревянного забора. Возникают они на время – лучший предлог, чтобы остаться надолго!

С радостной поспешностью Башка слез с дерева, вернее, скатился. Логово было открыто, оставалось изловить зверя. Вероятно, там же был и пресловутый клад, о котором он так долго мечтал.

Добраться до полянки было вовсе не легким делом. По протоптанным стежкам, которые извивались, делая тысячу досадных поворотов, пришлось бы идти добрых четверть часа. Если же продираться напрямик сквозь густые заросли, чрезвычайно колючие и цепкие в этих местах, надо было потратить целых полчаса. Вот чего Башка не сумел сообразить. Он доверился прямой линии – это вполне допустимый обман зрения, однако он губит многих людей. Чаща, как ни была она непроходима, показалась ему хорошей дорогой.

– Махнем по волчьему проспекту Риволи, – сказал он себе.

Привыкнув ходить окольными путями, Башка на сей раз ошибся, пойдя напрямик.

Он решительно ринулся в драку с кустарником.

Ему пришлось схватиться с диким терновником, с крапивой, боярышником, шиповником, чертополохом, с сердитой ежевикой. Он был весь исцарапан.

На дне овражка оказалась вода, которую пришлось переходить вброд.

Наконец минут через сорок он добрался до прогалины Бларю, весь в поту, мокрый, запыхавшийся, исцарапанный, рассвирепевший.

На прогалине никого не было.

Башка бросился к груде камней. Она лежала на прежнем месте. Никто ее не уносил.

Что же до человека, то он исчез в лесу. Он сбежал. Куда? В какую сторону? В какой чаще он скрылся? Угадать было невозможно.

И что поразило его в самое сердце, за кучей камней, у подножия дерева с цинковым

кольцом, он увидел свежевырытую землю, забытый или брошенный заступ и глубокую яму. Яма была пуста.

– Вор проклятый! – закричал Башка, грозя кулаком в пространство, сам не зная кому.

Глава 2

После войны гражданской Мариус готовится к войне домашней

Мариус долгое время находился между жизнью и смертью. В течение нескольких недель у него продолжались лихорадка с бредом и довольно серьезные мозговые явления, вызванные скорее сотрясением от ран в голову, чем самими ранами.

Целые ночи напролет он твердил имя Козетты с мрачной настойчивостью горячечного больного, со зловещим упорством умирающего. Величина некоторых ран угрожала очень серьезной опасностью, ибо нагноение широкой раны легко может распространиться и под влиянием известных атмосферных условий привести к смертельным последствиям. Поэтому малейшая перемена погоды, всякая гроза сильно беспокоили доктора. «Главное, чтобы раненый ни в коем случае не волновался», – повторял он. Перевязки были сложным и трудным делом – в то время еще не изобрели способа скреплять липким пластырем повязки и бинты. Николетта изорвала на корпию целую простыню «шириной с потолок», как она выражалась. И лишь с большим трудом, при помощи примочек из хлористого раствора и прижигания ляписом, удалось справиться с гангреной. Пока Мариусу угрожала опасность, убитый горем г-н Жильнорман не отходил от изголовья внука и, подобно Мариусу, был ни жив ни мертв.

Каждый день, а то и по два раза в день почтенный седовласый господин, очень прилично одетый, по описанию привратника, приходил справляться о самочувствии раненого и оставлял толстый пакет корпии для перевязок.

Наконец, 7 сентября, день в день, ровно через четыре месяца после той ужасной ночи, когда умирающего принесли в дом деда, врач объявил, что теперь отвечает за его жизнь. Началось выздоровление. Однако Мариусу предстояло еще месяца два провести полулежа на кушетке из-за осложнений, вызванных переломом ключицы. В подобных случаях обычно остается одна последняя рана, которая не хочет заживать, что бесконечно затягивает перевязки, к великому огорчению больного.

Впрочем, долгая болезнь и медленное выздоровление спасли Мариуса от преследования. Во Франции всякий гнев, даже гнев народный, остывает по прошествии полугода. При тогдашнем настроении умов участие в мятежах было явлением до такой степени широко распространенным, что на это поневоле приходилось закрывать глаза.

Добавим, что беспримерный приказ префекта Жиске, предписывавший врачам выдавать раненых полиции, возмутил не только общественное мнение, но в первую очередь самого короля, и для раненых это всеобщее негодование послужило лучшей защитой и охраной; поэтому, за исключением тех, кто был захвачен на поле боя, военные трибуналы не осмелились никого привлекать к ответственности. Таким образом, Мариуса оставили в покое.

Господин Жильнорман прошел через все стадии отчаяния, а затем восторженной радости. Его с большим трудом отговорили проводить возле раненого все ночи напролет; он велел поставить свое большое кресло рядом с постелью Мариуса; он требовал, чтобы дочь употребила на компрессы и бинты самое лучшее белье, какое было в доме. Мадемуазель Жильнорман, как особа рассудительная и умудренная годами, нашла способ припрятать тонкое белье, оставив старика в убеждении, что его приказание исполнено. Г-н Жильнорман и слышать не хотел, будто грубый холст пригоднее для корпии, чем батист, и изношенное полотно лучше нового. Он неизменно присутствовал при перевязках, во время которых девица Жильнорман стыдливо

удалялась. «Ай! Ай!» – вскрикивал он, когда при нем отрезали ножницами омертвелую ткань. Трогательно было видеть, как он протягивал раненому чашку с лекарственным питьем своей дрожащей старческой рукой. Он забрасывал доктора вопросами, не замечая того, что постоянно задает одни и те же.

В тот день, когда врач объявил, что Мариус вне опасности, старик совсем обезумел от счастья. На радостях он подарил привратнику три луидора. Вечером в своей спальне он протанцевал гавот, прищелкивая пальцами вместо кастаньет и напевая такую песенку:

Жанна родом из Бордо,
Всех пастушек там гнездо.
Если Жанну видел раз,
Ты увяз.

Плут Амур в нее вселился,
В глазках Жанны притаился,
Там раскинул сеть хитрец
Для сердец.

Как Диану, я пою
Жанну резвую мою.
С Жанной век свой коротать —
Благодать.

После этого г-н Жильнорман преклонил колени на скамеечке, и Баску, который следил за ним через полуоткрытую дверь, ясно послышалось, будто он молится.

До этих пор он никогда не верил в бога.

При каждом новом признаке выздоровления, все более и более несомненного, старец становился все сумасброднее. Он совершал множество беспричинных поступков, ища выхода для своей бурной радости, бегал вверх и вниз по лестницам, сам не зная зачем. Одна из соседок, правда, прехорошенькая, как-то утром была совершенно поражена, получив огромный букет цветов; его прислал г-н Жильнорман. Муж устроил ей сцену ревности. Г-н Жильнорман даже порывался сажать к себе на колени Николетту. Он называл Мариуса «господином бароном». Он кричал: «Да здравствует Республика!»

Каждую минуту он приставал к доктору с вопросом:

«Не правда ли, опасность миновала?» Он смотрел на Мариуса с нежностью бабушки. Он боялсядохнуть, когда того кормили. Он не помнил себя, не считался с собой. Хозяином дома был Мариус; радость старика была похожа на самоотречение, он стал внуком своего внука.

При всей своей ревности это было самое благонравное дитя на свете. Боясь утомить или наскучить выздоравливающему, он становился позади него и молча ему улыбался. Он был доволен, весел, счастлив, обворожителен, он помолодел. Седые волосы придавали его сияющему лицу кроткое величие. Когда радость озаряет лицо, изборожденное морщинами, она достойна преклонения. В улыбке старости есть какой-то отсвет утренней зари.

А Мариус, не противясь перевязкам, равнодушно принимал заботы о себе и был поглощен одной лишь мыслью – о Козетте.

С тех пор как бред и лихорадка прекратились, он больше не произносил ее имени, и могло показаться, будто он перестал о ней думать. На самом же деле он молчал именно потому, что

душа его была с нею.

Он не знал, что случилось с Козеттой; все происшедшее на улице Шанврери представлялось ему как в тумане; в его памяти всплывали неясные тени – Эпонины, Гаврош, Мабеф, семья Тенардые, все его товарищи, окутанные зловещим дымом баррикады; странное появление г-на Фошлевана в этой кровавой сече казалось ему загадкой, промелькнувшей сквозь бурю; не понимал он также, почему сам остался в живых, не знал, кто спас его и каким образом, и ничего не мог добиться от окружающих; ему сообщили только, что ночью его привезли в карете на улицу Сестер страстей господних; прошедшее, настоящее, будущее – все превратилось лишь в смутное туманное воспоминание, но среди этой мглы была одна незыблемая точка, четкий и определенный план, нечто твердое, как гранит, одно решение, одно желание – найти Козетту. Мысль о жизни и мысль о Козетте были неотделимы в его сознании. Он положил в своем сердце, что не примет одну без другой, и от всякого, кто пытался бы заставить его жить, – будь то его дед, судьба или самый ад, – он бесповоротно решил требовать возвращения потерянного рая.

Что же до препятствий, то он не скрывал их от себя.

Отметим одно обстоятельство: заботы и ласки деда нисколько не смягчили Мариуса и даже мало растрогали. Во-первых, он знал далеко не все; кроме того, в своем болезненном, быть может, еще лихорадочном, состоянии, он не доверял этим нежностям, как чему-то странному и новому, имеющему цель подкупить его. Он держался холодно. Дед понапрасну расточал ему жалкие старческие улыбки. Мариус внушал себе, что все идет мирно только до поры до времени, пока он молчит и подчиняется; но стоит ему заговорить о Козетте, как дед покажет свое настоящее лицо и сбросит маску. Тогда разразится жестокая буря; снова встанет вопрос о ее семье, о неравенстве общественного положения, посыплется целый град насмешек и упреков, «Фошлеван», «Кашлеван», богатство, бедность, нищета, камень на шее, будущность. Яростное сопротивление, и в итоге – отказ. Мариус заранее готовился к отпору.

И затем, по мере того как жизнь возвращалась к нему, в его памяти всплывали прежние обиды, раскрывались старые раны, вспоминалось прошлое, и между внуком и дедом снова становился полковник Понмерси; Мариус говорил себе, что нечего ждать настоящей доброты от человека, который был так жесток и несправедлив к его отцу. И вместе с выздоровлением в нем росла какая-то неприязнь к деду. Старик терпел это с кроткой покорностью.

Господин Жильнорман отметил про себя, что Мариус, с тех пор как его принесли к нему в дом и он пришел в сознание, еще ни разу не назвал его отцом. Правда, он не именовал его также и «сударь», но строил фразы таким образом, что ухитрялся избегать всякого обращения.

Несомненно, назревал кризис.

Как обычно бывает в таких случаях, прежде чем вступить в бой, Мариус испытал себя в мелких стычках. На войне это называется разведкой. Однажды утром г-ну Жильнорману, по поводу попавшейся ему под руку газеты, вздумалось отозваться с пренебрежением о Конвенте и изречь какую-то роялистскую сентенцию насчет Дантона, Сен-Жюста и Робеспьера.

– Люди девяносто третьего года были титанами, – сурово отрезал Мариус.

Старик умолк и до самого вечера не проронил ни слова.

Мариус, который всегда помнил непреклонного деда своих детских лет, счел это молчание за глубокий сдержанный гнев и, предвидя ожесточенную борьбу, тем упорнее начал мысленно готовиться к предстоящему сражению.

Он твердо решил, что в случае отказа сорвет все повязки, чем повредит сломанной ключице, обнажит и разбередит не совсем еще зажившие раны и откажется от всякой пищи. Его раны были его оружием. Завоевать Козетту или умереть.

Он стал выжидать благоприятной минуты с угрюмым терпением больного.

Эта минута наступила.

Глава 3

Мариус идет на приступ

Однажды г-н Жильнорман, пока его дочь приводила в порядок склянки и пузырьки на мраморной доске комода, наклонился к Мариусу и сказал ему самым ласковым своим тоном:

– Знаешь, мой мальчик, на твоём месте я больше налегал бы теперь на мясо, чем на рыбу. Жареная камбала отличная еда при начале выздоровления, но, чтобы поставить больного на ноги, нужна хорошая котлета.

Мариус, силы которого почти совсем восстановились, собрался с духом, сел на своём ложе, оперся стиснутыми кулаками на постель, взглянул деду прямо в глаза и заявил с угрожающим видом:

– По этому поводу я должен вам кое-что сказать.

– Что же такое?

– Дело в том, что я намерен жениться.

– Это уже предусмотрено, – отвечал дедушка, разражаясь хохотом.

– Как предусмотрено?

– Так, предусмотрено. Девчурка будет твоей.

Мариус задрожал от радости. Господин Жильнорман продолжал:

– Ну да, бери её, свою прелестную милую девочку. Она приходит каждый день под видом старого господина справляться о твоём здоровье. С тех пор как тебя ранили, она только и делает, что плачет и щиплет корпию. Я наводил справки. Она живет на улице Вооруженного человека, номер семь. Ага, вот мы и договорились! Ты хочешь жениться на ней? Отлично, женись. Попался, голубчик! Ты задумал целый заговор, ты говорил себе: «Я все объявлю напрямик деду, этой мумии времен Регентства и Директории, этому бывшему красавцу, этому Доранту, обратившемуся в Жеронта; и у него были когда-то свои интрижки и страстишки, свои гризетки, свои Козетты; и он пощеголял в свое время, и он парил в небесах, и он вкусил от плодов весны; хочет не хочет, а придется ему вспомнить об этом. Увидим тогда. Дадим бой!» Ах, ты решил взять быка за рога! Хорошо же. Я предлагаю тебе котлетку, а ты отвечаешь: «Да, кстати, я хочу жениться». Ну и переход! Ага, ты ожидал перепалки? Ты и не знал, что я старый плут. Что ты на это скажешь? Ты взбешен. Ты никак не ожидал, что твой дедушка еще легкомысленнее тебя. Твоя блестящая, заранее заготовленная речь пропала даром, господин адвокат, как досадно! Тем лучше, бесись на здоровье. Я делаю все по-твоему, и это затыкает тебе рот, глупец. Послушай. Я наводил справки, ведь я тоже себе на уме; она очаровательна, она благонравна, про улана – все враки; она нащипала целую кучу корпии, это настоящее сокровище, и она обожает тебя. Если бы ты умер, нас хоронили бы всех троих, её гроб несли бы вслед за моим. С тех пор как тебе стало лучше, мне даже приходила мысль попросту пристроить её у твоего изголовья; но ведь только в романах девиц так вот, без церемоний, приводят к постели раненых красавцев, которые им нравятся. В жизни так не бывает. Что бы сказала твоя тетушка? Ты ведь почти все время лежал совсем голый, дружище. Спроси у Николетты, она не оставляла тебя ни на минуту, можно ли было пускать сюда женщин? Да и что сказал бы доктор? Красивая девица – уж никак не лекарство от лихорадки. Ладно, все равно, не будем больше говорить об этом: все сказано, сделано, кончено, бери её. Вот какой я изверг! Я чувствовал, видишь ли, что ты меня невзлюбил, и я сказал себе: «Что бы мне такое сделать, чтобы эта скотина полюбила меня снова?» И подумал: «Стой-ка, у меня ведь есть под рукой крошка Козетта, подарю-ка ему её, авось он полюбит меня тогда или хоть скажет, в чем я провинился».

Ах, ты решил, что старик будет рвать и метать, бесноваться, топтать ногами, замахиваться палкой на эту алую зарю? Ничуть не бывало. Козетта – согласен; любовь – пожалуйста! Ничего лучшего мне не надо. Женитесь, сударь, сделайте милость. Будь счастлив, милое мое дитя!

С этими словами старик расплакался.

Обхватив голову Мариуса, он прижал ее обеими руками к своей старческой груди, и оба разразились рыданиями. В этом находит иногда свое выражение высшее счастье.

– Отец! – воскликнул Мариус.

– Ах, значит, ты любишь меня! – прошептал старик.

Это были незабываемые мгновения. Оба задыхались от слез и не могли говорить.

– Ну вот, – пролепетал наконец старик, – разродился-таки! Сказал мне: «отец»!

Мариус высвободил свою голову из объятий деда и тихонько спросил:

– Отец, но ведь теперь я совсем здоров, я думаю, мне можно с ней повидаться?

– Это тоже предусмотрено, ты увидишь ее завтра.

– Отец!

– Ну что?

– Почему не сегодня?

– Ну что же, не возражаю. Пускай сегодня! Три раза подряд ты назвал меня отцом, это ведь чего-нибудь да стоит. Сейчас я распоряжусь. Тебе ее приведут. Все предусмотрено, говорят тебе. Вся эта история уже была когда-то воспета в стихах. В развязке элегии «Больной юноша» Андре Шенье, того Андре Шенье, которого зарезали эти разб... то есть эти гиганты девяносто третьего года.

Господину Жильнорману показалось, будто Мариус слегка нахмурился, хотя, по правде сказать, Мариус, витая в облаках, совсем не слушал его и думал гораздо больше о Козетте, чем о девяносто третьем годе. Трепеща от страха, что так некстати упомянул Андре Шенье, дедушка тотчас спохватился:

– Зарезали – не то слово. Дело в том, что великие гении революции, которые, бесспорно, никакие не злодеи, а, честное мое слово, истинные герои... нашли, что Андре Шенье немного мешает им и решили его гильотин... Вернее сказать, эти великие люди, в интересах общественного блага, седьмого термидора предложили Андре Шенье отправиться ко всем...

Поперхнувшись собственными словами, г-н Жильнорман запнулся, не умея ни закончить фразы, ни взять ее обратно, и, пока его дочь поправляла за спиной Мариуса подушки, растерянный, взволнованный старик выбежал из спальни со всей быстротой, на какую был способен в свои годы, захлопнул за собою дверь, и, весь красный, взбешенный, задыхающийся, с выпученными глазами, налетел прямо на Баска, который мирно чистил сапоги в прихожей. Он схватил Баска за шиворот и яростно крикнул ему в лицо:

– Тысяча чертей, эти разбойники уколошили его?

– Кого, сударь?

– Андре Шенье.

– Так точно, сударь, – ответил перепуганный Баск.

Глава 4

Мадемуазель Жильнорман в конце концов примиряется с тем, что Фошлеван вошел с пакетом под мышкой

Козетта и Мариус наконец свиделись.

Какова была эта встреча, мы не в силах описать. Есть многое, чего не стоит и пытаться

изобразить, в том числе солнце.

В ту минуту, когда вошла Козетта, в спальне Мариуса собралось все семейство, включая Баска с Николеттой.

Она появилась на пороге; казалось, ее окружало сияние.

Как раз в это время дедушка собирался сморкаться; он замер, уткнув нос в платок и глядя на Козетту исподлобья.

– Обворожительна! – воскликнул он.

И оглушительно высморкался.

Козетта была полна восхищения, упоения, трепета, блаженства. Она оробела, как только можно оробеть от счастья. Она что-то лепетала, то бледнея, то краснея, готова была броситься в объятия Мариуса и не решалась. Она стыдилась выразить свою любовь при всех. Мы безжалостны к счастливым влюбленным: мы торчим рядом, когда им больше всего хочется остаться наедине. Ведь, в сущности, им никого не нужно.

Вместе с Козеттой, держась позади нее, в комнату вошел серьезный седовласый господин, улыбавшийся какой-то странной, горькой улыбкой. То был «господин Фошлеван», то был Жан Вальжан.

Он был «очень прилично одет», как и говорил привратник, – во все черное, во все новое, с белым галстуком на шее.

Привратнику и в голову бы не пришло опознать в этом почтенном буржуа, вероятно нотариусе, страшного носильщика трупов, который в ночь на 7 июня появился перед его дверью, оборванный, черный, ужасный, дикий, с лицом, испачканным кровью и грязью, поддерживая бездыханного Мариуса; тем не менее что-то в нем пробудило его профессиональный нюх. Увидев Фошлевана с Козеттой, привратник не мог удержаться, чтобы тихонько не поделиться с женой: «Не знаю почему, мне все мерещится, будто я где-то уже видел это лицо».

В спальне Мариуса г-н Фошлеван стоял в сторонке, у двери. Он держал под мышкой какой-то пакет, похожий на том в восьмую долю листа, обернутый в бумагу. Обертка была зеленоватого цвета и казалась покрытой плесенью.

– Этот господин всегда таскает книги под мышкой? – шепотом спросила у Николетты девица Жильнорман, которая терпеть не могла книг.

– Что ж тут такого? – возразил г-н Жильнорман тоже шепотом. – Это ученый. Ну и что же? Чем он виноват? Господин Булар, которого я знавал, тоже никогда не выходил из дому без книги и вечно прижимал к сердцу какой-нибудь фолиант.

И, приветствуя гостя, проговорил уже громко:

– Господин Кашлеван...

Старый Жильнорман сделал это ненарочно, просто ему была свойственна аристократическая манера путать фамилии.

– Господин Кашлеван, имею честь просить у вас руки мадемуазель для моего внука, барона Мариуса Понмерси.

«Господин Кашлеван» поклонился.

– По рукам, – заключил дед.

И, повернувшись к Мариусу и Козетте, он воздел обе руки для благословения и воскликнул:

– Отныне можете обожать друг друга.

Они не заставили повторять себе это дважды. Пеняйте на себя! Началось воркованье. Они разговаривали вполголоса – Мариус, полулежа на своей кушетке, Козетта, стоя около него.

– О господи, – шептала Козетта, – наконец-то я вас вижу. Это ты! Это вы! Подумать только, идти туда сражаться! Зачем же? Это ужасно. Целых четыре месяца я умирала со страху. О, как

жестоко было с вашей стороны пойти в бой! Что я вам сделала? Я прощаю вам, но больше так не поступайте. Когда пришли, чтобы пригласить нас сюда, я опять чуть не умерла, только уже от радости. Я так тосковала! Я даже не успела приодеться, должно быть, у меня ужасный вид. Что скажут ваши родные, увидев мой смятый воротничок? Да говорите же! Все время говорю только я одна. Мы по-прежнему живем на улице Вооруженного человека. С вашим плечом, кажется, было ужас что такое? Мне говорили, что в рану можно было засунуть целый кулак. А потом, кажется, вам резали тело ножницами. Как страшно! Я так плакала, я все глаза выплакала. Даже смешно, что можно столько вынести. У вашего дедушки очень доброе лицо. Не двигайтесь так, не опирайтесь на локоть, осторожнее, вам будет больно. О, как я счастлива! Наконец-то кончились наши страдания. Я стала совсем дурочкой. Я хотела столько вам сказать и все перезабыла. Вы меня любите? По-прежнему? Мы живем на улице Вооруженного человека. Там нет сада. Я все время щипала корпию. Взгляните-ка, сударь, я натерла мозоль на пальце, это по вашей вине.

– Ангел! – прошептал Мариус.

«Ангел» – единственное слово, которое не может поблекнуть. Никакое другое слово не выдержало бы тех безжалостных повторений, к каким прибегают влюбленные.

Затем, смущенные присутствием посторонних, они замолкли и, не произнося больше ни слова, только тихонько пожимали друг другу руки.

Повернувшись ко всем находящимся в комнате, г-н Жильнорман крикнул:

– Да говорите же громче, эй вы, публика! Шумите, изображайте гром за сценой. Ну же, погалдите немножко, черт возьми, дайте же детям поболтать всласть!

И, подойдя к Мариусу с Козеттой, он сказал им тихонько:

– Говорите друг другу «ты». Не стесняйтесь.

Тетушка Жильнорман растеряннo взирала на этот луч света, внезапно вторгшийся в ее тусклый старушечий мирок. В удивлении ее не было ничего враждебного, ничего общего с негодующим и завистливым взглядом совы, устремленным на двух голубков. То был глуповатый взор бедной пятидесятилетней старой девы; то неудавшаяся жизнь созерцала торжествующий расцвет любви.

– Девица Жильнорман-старшая, – сказал ей отец, – я давно тебе предсказывал, что ты до этого доживешь.

Он помолчал с минуту и добавил:

– Любуйся теперь чужим счастьем.

Потом он повернулся к Козетте:

– До чего же она красива! До чего красива! Настоящий Грез! И все это достанется тебе одному, повеса! Ах, мошенник, ты дешево отделался от меня, тебе повезло! Будь я на пятнадцать лет моложе, мы бились бы с тобой на шпагах, и неизвестно, кому бы она еще досталась. Слушайте, я просто влюблен в вас, мадемуазель! В этом нет ничего удивительного. Ваше право пленять сердца. Ах, какая прелестная, чудная, веселая свадьба у нас будет! Наш приход – это Сен-Дени, но я выхлопочу вам разрешение венчаться в приходе Сен-Поль. Там церковь лучше. Она построена иезуитами. Она гораздо наряднее. Это против фонтана кардинала Бирага. Лучший образец архитектуры иезуитов находится в Намюре и называется Сен-Лу. Вам непременно нужно туда съездить, когда вы обвенчаетесь. Туда стоит прокатиться. Я всецело на вашей стороне, мадемуазель, я хочу, чтобы девушки выходили замуж, для того они и созданы. Пусть все юные девы идут по стопам праматери Евы – вот мое пожелание. Остаться в девицах весьма похвально, но жить холодно! В Библии сказано: «Размножайтесь». Чтобы спасти народы, нужна Жанна д'Арк, но чтобы плодить народы, нужна матушка Жигонь. Итак, выходите замуж, красавицы! Право, не понимаю, зачем оставаться в девушках? Я знаю, у них

отдельные молельни в церквах и они утешаются сознанием своей принадлежности к общинам Святой Девы; но, черт побери, все-таки красивый муж, славный парень, а через год толстенный белокурый малыш с аппетитными складочками на пухлых ножках, который весело сосет грудь, теревит ее своими розовыми лапками и улыбается, как светлая заря, – это гораздо лучше, чем торчать у вечерни с церковной свечой и распевать *Turris eburnea*.

Дедушка сделал пируэт на своих девяностолетних ногах и зачастил с быстротой развертывающейся пружины:

Твоих мечтаний круг я замыкаю так:

Алкипп, поистине ты скоро вступишь в брак!

– Да, кстати!

– Что, отец?

– У тебя был, кажется, закадычный друг?

– Да, Курфейрак.

– Что с ним случилось?

– Он умер.

– Это хорошо.

Он уселся рядом с влюбленными, усадил Козетту и соединил их руки в своих морщинистых старческих руках.

– Она восхитительна, прелестна. Она просто совершенство, эта самая Козетта! Настоящий ребенок и настоящая знатная дама. Жаль, что она будет всего только баронессой, это недостойно ее: она рождена маркизой. Одни ресницы чего стоят! Дети мои, зарубите себе на носу, что вы на правильном пути. Любите друг друга. Глупейте от любви. Любовь – это глупость человеческая и мудрость божия. Обожайте друг друга. Но какое несчастье! – добавил он, вдруг помрачнев. – Я вот о чем думаю. Ведь большая часть моего состояния в ренте; пока я жив, на нас хватит, но после моей смерти, лет эдак через двадцать, у вас не будет ни гроша, бедные детки. Вашим прелестным беленьким зубкам, госпожа баронесса, придется оказать честь сухой корочке.

В эту минуту раздался чей-то спокойный, серьезный голос:

– У мадемуазель Эфрази Фошлеван имеется шестьсот тысяч франков.

Это был голос Жана Вальжана.

До сих пор он не произнес ни слова; никто, казалось, даже не замечал его присутствия, и он стоял молча и неподвижно, держась поодаль от всех этих счастливых людей.

– О какой это мадемуазель Эфрави идет речь? – спросил озадаченный дед.

– Это я, – сказала Козетта.

– Шестьсот тысяч франков? – переспросил г-н Жильнорман.

– На четырнадцать или пятнадцать тысяч меньше, быть может, – уточнил Жан Вальжан.

И он выложил на стол пакет, который тетушка Жильнорман приняла было за книгу.

Жан Вальжан собственноручно вскрыл пакет. Это была пачка банковых билетов. Их просмотрели и пересчитали. Там было пятьсот билетов по тысяче франков и сто шестьдесят восемь по пятьсот. Итого пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков.

– Ай да книга! – воскликнул г-н Жильнорман.

– Пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков! – прошептала тетушка.

– Это улаживает многие затруднения, не так ли, мадемуазель Жильнорман-старшая? – заговорил дед. – Этот чертов плут Мариус изловил на древе мечтаний пташку-миллионершу!

Верьте после этого любовным увлечениям молодых людей! Студенты находят возлюбленных с приданым в шестьсот тысяч франков. Керубино работает лучше Ротшильда.

— Пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков! — бормотала вполголоса мадемуазель Жильнорман. — Пятьсот восемьдесят четыре! Почти что шестьсот тысяч, каково!

А Мариус и Козетта в это время глядели друг на друга и едва обратили внимание на такую мелочь.

Глава 5

Лучше поместить капитал в любом лесу, чем у любого нотариуса

Читатель, разумеется, догадался, и нам нет нужды пускаться в пространные объяснения, что Жану Вальжану, бежавшему после дела Шанматье, за несколько дней удалось добраться до Парижа и вовремя вынуть из банкирского дома Лафита капитал, нажитый им под именем господина Мадлена в Монрейле Приморском, и что затем, боясь быть пойманным, — а это действительно и случилось вскоре, — он спрятал и закопал эти деньги в Монфермейльском лесу, на так называемой прогалине Бларю. Вся сумма — шестьсот тридцать тысяч франков, целиком в банковых билетах, — была невелика по объему и легко умещалась в шкатулке; однако, чтобы предохранить шкатулку от сырости, он заключил ее в дубовый сундучок, наполненный древесными стружками. В том же сундучке он спрятал и другое свое сокровище — подсвечники епископа! Как мы помним, он захватил с собой подсвечники, совершая побег из Монрейля Приморского. Человек, которого как-то вечером впервые заметил Башка, был Жан Вальжан. Позднее, всякий раз как Жану Вальжану требовались деньги, он отправлялся за ними на прогалину Бларю. Этим объяснялись его отлучки, о которых мы уже упоминали. У него хранился там заступ, спрятанный где-то в зарослях вереска, в одном ему известном тайнике. Видя, что Мариус выздоравливает, и чувствуя, что приближается час, когда деньги могут понадобиться, он отправился за ними; и это опять-таки его видел в лесу Башка, но на сей раз не вечером, а под утро. Башке достался в наследство один заступ.

На самом деле сумма составляла пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот франков. Жан Вальжан отложил пятьсот франков для себя. «Там видно будет», — подумал он.

Разница между этой суммой и шестьюстами тридцатью тысячами франков, вынутыми из банка Лафит, объяснялась расходами за десять лет, с 1823 по 1833 год. За пятилетнее пребывание в монастыре было истрачено только пять тысяч франков.

Жан Вальжан поставил серебряные подсвечники на камин, где они ярко заблестели, к величайшему восхищению Тусен.

Заметим, кстати, что Жан Вальжан в то время уже знал, что навсегда избавился от преследований Жавера. Кто-то рассказал при нем, и он нашел тому подтверждение в газете «Монитор», опубликовавшей это происшествие, что полицейский надзиратель по имени Жавер был найден утонувшим под плотом прачек между мостами Менял и Новым и что записка, которую оставил этот человек, до тех пор безукоризненный и весьма уважаемый начальством служака, заставляла предположить припадок умопомешательства и самоубийство. «В самом деле, — подумал Жан Вальжан, — если могло случиться, что, поймав меня, он отпустил меня на волю, то, надо полагать, он уже был не в своем уме».

Глава 6

Оба старика, каждый на свой лад, прилагают все старания, чтобы Козетта была счастлива

Все было приготовлено для свадьбы. По мнению врача, с которым посоветовались, она могла состояться в феврале. Стоял декабрь. Протекло несколько восхитительных недель безмятежного счастья.

Дедушка был едва ли не самым счастливым из всех. Целые часы он проводил, любуясь Козеттой.

– Очаровательница! Красотка! – восклицал он. – И такая нежная, такая кроткая! Спору нет, клянусь честью, это самая прелестная девушка, какую я видел в жизни. В этой благоуханной фиалочке таятся все женские добродетели. Это сама Грация, право! С таким созданием надо жить по-княжески. Мариус, мой мальчик, ты барон, ты богат, умоляю тебя, брось сутяжничать!

Козетта и Мариус вдруг попали из могилы прямо в рай. Переход был слишком внезапным и потряс бы их, если бы они не были опьянены счастьем.

– Ты что-нибудь тут понимаешь? – спрашивал Мариус у Козетты.

– Нет, – отвечала Козетта. – Но мне кажется, что сам господь смотрит на нас с высоты.

Жан Вальжан все сделал, все уладил, обо всем договорился, устранил все препятствия. Он торопился навстречу счастью Козетты с тем же нетерпением и, казалось, с тою же радостью, как сама Козетта.

Как бывший мэр, он сумел разрешить один щекотливый вопрос, тайна которого была известна ему одному, – вопрос о гражданском состоянии Козетты. Открыть правду о ее происхождении? Как знать, это могло бы расстроить свадьбу. Он избавил Козетту от всех трудностей. Он изобрел ей родню из покойников – верный способ избежать всяких разоблачений. Козетта оказалась последним отпрыском угасшего рода; Козетта не его дочь, а дочь другого Фошлевана, его брата. Оба Фошлевана служили садовниками в монастыре Малый Пикпюс. Съездили в этот монастырь; оттуда были получены наилучшие сведения и множество самых лестных рекомендаций. Добрые монахини, мало смыслящие и мало склонные разбираться в вопросах отцовства, не подозревали обмана; они никогда хорошенько не знали, кому именно из двух Фошлеванов приходилась дочерью маленькая Козетта. Они подтвердили, и очень охотно, то, что от них требовалось. Был составлен нотариальный акт. Козетта стала законно называться мадемуазель Эфрази Фошлеван. Она была объявлена круглой сиротой. Жан Вальжан устроил так, что под именем Фошлевана стал опекуном Козетты, а г-н Жильнорман был назначен ее вторым опекуном.

Что касается пятисот восьмидесяти четырех тысяч франков, они были якобы отказаны Козетте по завещанию лицом, которое пожелало остаться неизвестным. Первоначально наследство составляло пятьсот девяносто четыре тысячи франков; но десять тысяч франков были истрачены на воспитание мадемуазель Эфрази, из коих пять тысяч франков уплачены в упомянутый монастырь. Это наследство, врученное третьему лицу, должно было быть передано Козетте по достижении совершеннолетия или при вступлении в брак. Все в целом было, как мы видим, вполне приемлемо, в особенности учитывая приложение в виде полумиллиона с лишком. Правда, здесь имелись кое-какие странности, но на них никто не обратил внимания; одному из заинтересованных лиц застилала глаза любовь, другим – шестьсот тысяч франков.

Козетта узнала, что она неродная дочь старику, которого так долго называла отцом. Это только родственник, а настоящий ее отец – другой Фошлеван. Во всякое другое время это открытие причинило бы ей глубокое горе, но в те несказанно счастливые минуты оно лишь ненадолго, мимолетной тенью омрачило ее душу; вокруг было столько радости, что это облачко скоро рассеялось. У нее был Мариус. Приходит юноша, и старика забывают, – такова жизнь.

Кроме того, Козетта привыкла с давних лет к окружавшим ее загадкам; всякое существо, чье детство окутано тайной, всегда в известной мере готово к разочарованиям.

Однако она по-прежнему называла Жана Вальжана отцом. Козетта, на седьмом небе от

счастья, была в восторге от старого Жильнормана. И действительно, тот осыпал ее подарками и мадригалами. Пока Жан Вальжан старался создать Козетте прочное общественное положение и закрепить за ней ее состояние, г-н Жильнорман хлопотал о ее свадебной корзинке. Ничто так не забавляло старика, как одарять ее щедрой рукой. Он подарил Козетте платье из бельгийского гипюра, доставшееся ему еще от его собственной бабки. «Моды возрождаются, – говорил он, – теперь все помешаны на старинных вещах, и я вижу на старости лет, что молодые дамы одеваются так же, как одевались старушки во времена моего детства».

Он опустошал почтенные толстобокие комоды лакированного коромандельского дерева, которые не отпирались много лет. «Ну-ка, поисповедуем этих вдовушек, – приговаривал он, – посмотрим-ка, чем они полны». Он с треском выдвигал пузатые ящики, набитые нарядами всех его жен, всех его любовниц и бабушек. Китайские шелка, штофы, камка, цветной муар, платья из тяжелого сверкающего турецкого шелка, индийские платки, вышитые золотом, не тускнеющим от стирки, штуки шерстяной ткани, одинаковые и с лица, и с изнанки, генуэзские и алансонские кружева, старинные золотые уборы, бонбоньерки слоновой кости, украшенные изображением батальных сцен тончайшей работы, наряды, ленты – всем этим он задаривал Козетту. Восхищенная Козетта, в упоении любви к Мариусу, растроганная и смущенная щедростью старого Жильнормана, грезилась о безграничном счастье среди бархата и атласа. Козетте чудилось, что свадебную корзинку подносят ей серафимы. Душа ее воспаряла в небеса на крыльях из тончайших кружев.

Как мы сказали, блаженство влюбленных могло сравниться только с ликованием деда. Казалось, на улице Сестер страстей господних неумолчно звенели трубы.

Каждое утро дедушка подносил Козетте старинные безделушки. Всевозможные украшения сыпались на нее, как из рога изобилия.

Однажды Мариус, который и в эти счастливые дни охотно вел серьезные беседы, сказал по какому-то поводу:

– Деятели революции настолько велики, что уже в наши дни овеяны обаянием древности, подобно Катону или Фокиону; они приводят на память мемуары античных времен.

– Мемуары антич... Муар-антик! – воскликнул дедушка. – Вот спасибо, Мариус, надоумил; это как раз то, что мне нужно.

И наутро к свадебным подаркам Козетты прибавилось роскошное муаровое платье цвета чайной розы.

Дед извлекал из своих тряпок целую философию:

– Любовь – само собой, но нужно еще что-то. Для счастья нужно и бесполезное. Просто счастье – это лишь самое необходимое. Сдобрите же его излишним не скупясь. С милым рай и во дворце. Мне нужно ее сердце и Лувр вдобавок. Ее сердце и фонтаны Версаля. Дайте мне мою пастушку, но, если можно, обратите ее в герцогиню. Приведите ко мне Филиду в васильковом венке и с рентой в сто тысяч франков в придачу. Предложите мне пастушеский шалаш, с мраморной колоннадой до горизонта. Я согласен на шалаш, я не прочь и от волшебных палат из мрамора и золота. Счастье всухомятку похоже на черствый хлеб. Им можно закусить, но нельзя пообедать. Я жажду избытка, жажду бесполезного, безрассудного, чрезмерного, всего, что ни на что не нужно. Помню, мне довелось видеть на Страсбургском соборе башенные часы вышиной с трехэтажный дом, которые отбивали время, вернее, достаивали обозначать время, но казались созданными совсем не для этого; отзвонив полдень или полночь, полдень – час солнца, полночь – час любви, или любой другой час суток на выбор, они показывали вам месяц и звезды, море и сушу, рыб и птиц, Феба и Фебу, и уйму разных разностей, которые появлялись из ниши; тут были и двенадцать апостолов, и император Карл Пятый, и Эпонина, и Сабин, а сверх всего прочего целая орава золоченых человечков, игравших на трубах. Я уже не говорю о чудесном

перезвоне, которым то и дело они оглашали воздух неизвестно по какому поводу. Можно ли сравнить с ними жалкий голый циферблат, который просто-напросто отсчитывает минуты? Я стою за огромные стразбургские часы, я предпочитаю их швейцарским часам.

Господин Жильнорман особенно любил разглагольствовать по поводу самой свадьбы, и в его славословиях возникали, словно в зеркале, все тени восемнадцатого века вперемешку.

– Вы и понятия не имеете об искусстве устраивать празднества! – восклицал он. – Теперь и повеселиться-то не умеют в день торжества. Ваш девятнадцатый век какой-то дохлый. Ему недостает размаха. Ему недоступна роскошь, недоступно благородство. Он все стрижет под гребенку. Ваше любезное третье сословие безвкусно, бесцветно, безуханно, безобразно. Вот они, мечты ваших буржуазок, когда они, по их выражению, «пристраиваются»: хорошенький будуар, заново обставленный, палисандровая мебель и коленкор. Дорогу им, дорогу! Достопочтенный Скарред женится на девице Сквальге. Блеск и великолепие! К свечке прилепили настоящую золотую монету! Вот так эпоха! Я охотно удрал бы от нее к сарматам. Ах, уже в тысяча семьсот восемьдесят седьмом году я предсказывал, что все погибло, в тот самый день как увидел, что герцог Роган, принц Леонский, герцог Шабо, герцог Монбазон, маркиз Субиз, виконт Туарский, пэр Франции, ехал на скачки в Лоншан в двуколке! И это принесло свои плоды. В нынешнем веке люди ведут крупные дела, играют на бирже, наживают деньги – и все до одного скряги. Они холят, и лелеют себя, и наводят на себя блеск: они одеты с иголочки, вымыты, выстираны, выскоблены, выбриты, причесаны, вылощены, прилизаны, навощены, начищены, безукоризненны, отполированы, как камешек, такие разумники, такие чистюли, и в то же время, – ей-же-ей! – в глубине их совести такой навоз, такая клоака, что от них шарахнется любая коровница, сморкающаяся в руку. «Нечистоплотная опрятность» – вот какой девиз я жалую вашей эпохе. Не сердись, Мариус, позволь мне отвести душу; как видишь, о народе я не сказал ничего дурного, хоть и сыт им по горло, но разреши мне задать трепку буржуазии. Я и сам из этой породы. Кого люблю, того и бью. Засим скажем прямо: хоть нынче и женятся, но жениться-то не умеют. Ах, право же, я грущу о милых старых нравах! Я грущу обо всем. Ах, где прежнее изящество, рыцарство, это милое учтивое обхождение, всем доступная, веселящая душу роскошь, эта музыка – непременно участница всякой свадьбы: оркестр у знати, трескотня барабанов у народа, – танцы, веселые лица за столом, изысканные мадригалы, песенки, потешные огни, чистосердечный смех, дым коромыслом, пышные банты из лент? Я грущу о подвязке новобрачной. Подвязка новобрачной – двоюродная сестра пояса Венеры. Из-за чего разыгралась Троянская война? Из-за подвязки Елены, черт возьми! Почему идет бой, почему Диомед богоравный раскокал на голове Мериюнея громадный медный шлем о десяти остриях, почему Ахилл и Гектор угощают друг друга могучими ударами копья? Потому что Елена дала свою подвязку Парису. Гомер бы создал целую «Илиаду» из подвязки Козетты. Он воспел бы в поэме старого болтуна вроде меня и назвал бы его Нестором. Друзья мои, в старое время, в наше доброе старое время люди женились с толком: сначала заключали контракт по всей форме, потом закатывали пир на весь мир. Как только удалялся Кюжас, на сцену выступал Камачо. Какого черта! Желудок, славная скотина, требует своего, он тоже хочет покутить на свадьбе! Пировали на славу, и у каждого за столом была прелестная соседка, без всяких там шемизеток, с весьма умеренно прикрытой грудью! Ах, как громко смеялись, ах, как веселились в старину! Молодежь казалась букетом цветов, каждый юноша украшал себя веткой сирени или пучком роз; будь он даже храбрым воякой, он все равно глядел пастушком, и если, скажем, это был драгунский капитан, он ухитрялся носить имя Флориана. Всем хотелось быть красивыми. Наряжались в вышитое платье, в яркие материи. Буржуа походил на цветок, маркиз походил на драгоценный камень. Тогда не носили ни штрипок, ни сапог. Молодые люди были щегольски одеты, блестящи, вылощены, ослепительны, воздушны, грациозны, кокетливы – и это не

мешало им носить шпагу на боку. Настоящие колибри с коготками и клювом. То была эпоха «Галантной Индии». Одной из черт нашего века было изящество, другой – великолепие; ну и забавлялись же мы, разрази меня бог! Зато нынче вы чопорны до невозможности. Буржуа скуп, буржуазка жеманна. Экий злосчастный век! Сейчас изгнали бы самих Граций за то, что они слишком декольтированы. Увы! теперь скрывают красоту, словно какое-то уродство. После революции все обзавелись панталончиками, даже танцовщицы; любая уличная плясунья корчит недотрогу; ваши танцы скучны, как проповеди. Вы желаете быть величественными. Вам было бы не по себе, если бы ваш подбородок не утопал в галстук. Всякий двадцатилетний молокосос, который женится, мечтает, женись, походить на господина Руайе-Коллара. А знаете, к чему приводит вас такого рода величие? К ничтожеству. Запомните – радость не только радостное, но и великое чувство. Да веселитесь же, если вы влюблены, черт вас дери! Коли жениться, так уж жениться очертя голову, в упоении счастья, с треском и блеском! Храните серьезность в церкви – согласен. Но как только месса кончилась, пусть все летит к чертям! Надо закружить новобрачную в волшебном вихре. Свадьба должна быть царственной и сказочной. Пусть тянется свадебный поезд от Реймского собора до пагоды Шантлу. Мне противны будничные свадьбы. Клянусь дьяволом, вознеситесь на Олимп, ну хоть на один-то день! Будьте как боги. Ах, вы могли бы быть сильфами, гениями Игр и Смеха, аргираспидами, а вы просто сопляки! Друзья мои, каждый новобрачный должен стать принцем Альдобрандини. Воспользуйтесь этой единственной в жизни минутой, чтобы унести на седьмое небо вместе с лебедями и орлами, хотя бы наутро вам пришлось шлепнуться в мещанское лягушечье болото. Не скаречничайте на празднике Гименея, не подрезайте его роскошных крыльев, не крохоборствуйте в этот лучезарный день. Расходы на свадьбу – это ведь не расходы на хозяйство. О, если бы я мог устроить все по своему вкусу, как это было бы изысканно!.. Среди деревьев звенели бы скрипки. Лазурь и серебро – вот моя программа. Я созвал бы на праздник сельские божества, я кликнул бы дриад и нереид. Свадьба Амфитриты, розовая дымка, изящно причесанные и совершенно обнаженные нимфы, ученый академик, подносящий богине четверостишие, морские чудовища, впряженные в колесницу.

Тритон, трубя в тромбон, на раковине мчался,
И каждый был пленен, и каждый восхищался!

Вот это программа празднества! Ай да программа, или я ни черта не понимаю, провалиться мне на этом месте!

Пока дед, изливаясь в лирическом вдохновении, заслушивался сам себя, Козетта и Мариус упивались счастьем, любуясь друг другом без помехи.

Тетушка Жильнорман наблюдала все это с присущим ей невозмутимым спокойствием. За последние пять-шесть месяцев на ее долю пришлось немало волнений: Мариус вернулся, Мариуса принесли окровавленным, Мариуса принесли с баррикады, Мариус умер, нет, жив, Мариус примирился с дедом, Мариус помолвлен, Мариус женится на бесприданнице, Мариус женится на миллионерше. Шестьсот тысяч франков доконали ее. После этого к ней вернулось вялое безразличие времен ее первого причастия. Она аккуратно посещала богослужения, перебирала четки, шептала Ave ^[155] в одном углу дома, в то время как в другом углу шептали I love you ^[156], и Мариус с Козеттой казались ей какими-то смутными тенями. На самом же деле тенью была она сама.

Существует особый род бездеятельного аскетизма, когда, за исключением землетрясений и прочих катастроф, душа, застывшая и оцепенелая, чуждая всему, что можно назвать жизненной

деятельностью, не воспринимает никаких впечатлений, ни радостных, ни горестных. «Такое благочестие, – говаривал дочери старый Жильнорман, – все равно что насморк. Ты не чувствуешь запаха жизни. Ни ее зловония, ни аромата».

Впрочем, шестьсот тысяч франков положили конец давнишним колебаниям старой девы. Отец ее так мало привык с нею считаться, что даже не посоветовался с ней, давая согласие на брак Мариуса. По своему обыкновению, он весь отдался порыву и, став из деспота рабом, руководился одной только мыслью: угодить Мариусу. И он даже не вспомнил ни о существовании тетки, ни о том, что у нее может быть свое мнение; несмотря на всю овечью покорность, она была этим задета. Внешне равнодушная, но возмущенная в глубине души, она сказала себе: «Отец решает вопрос о браке без меня; ну что ж, зато я разрешу вопрос о наследстве без него». В самом деле, она была богата, а отец нет. И свое решение на этот счет она хранила про себя. Вполне возможно, что, если бы жених и невеста были бедны, она так и оставила бы их в бедности. Мой любезный племянник изволит жениться на нищей – тем хуже для него! Пусть остается нищим. Но полмиллиона Козетты понравились тетке и изменили ее позицию по отношению к влюбленной паре. Шестьсот тысяч франков бесспорно заслуживают уважения, и ей стало ясно, что она не может не оставить свое состояние молодым людям именно потому, что они в нем больше не нуждались.

Было решено, что юная чета поселится у деда. Г-н Жильнорман непременно хотел уступить им свою спальню, лучшую комнату в доме. «Я стану от этого моложе, – заявил он. – Это мое давнишнее намерение. Я всегда мечтал сыграть свадьбу в моей комнате». Он убрал эту спальню множеством старинных изящных безделушек. Он велел расписать потолок и обить стены изумительной материей, штуку которой давно хранил у себя и считал утрехтской, с бархатистыми первоцветами по золотому атласному полю. «Этой самой материей, – говорил он, – была задрапирована кровать герцогини Анвильской во дворце Ларош-Гийон». На камине он поставил статуэтку саксонского фарфора – женскую фигурку, прикрывающую муфтой свою наготу.

Библиотека г-на Жильнормана была обращена в приемный кабинет, необходимый Мариусу; чтобы вступить в адвокатское сословие, требовался, как мы помним, приемный кабинет.

Глава 7

Обрывки страшных снов впереमेжку со счастливой явью

Влюбленные встречались ежедневно. Козетта приходила в сопровождении г-на Фошлевана. «Где это видано, – ворчала девица Жильнорман, – чтобы нареченная сама являлась в дом жениха и сама напрашивалась на ухаживание?» Но обычай этот, вызванный медленным выздоровлением Мариуса, укоренился окончательно еще и потому, что кресла в доме на улице Сестер страстей господних были гораздо удобнее для бесед с глазу на глаз, чем соломенные стулья на улице Вооруженного человека. Мариус и Фошлеван виделись, но друг с другом не разговаривали. Казалось, так было между ними условлено. Каждая девушка нуждается в провожатом. Козетта не могла бы приходить без г-на Фошлевана. Для Мариуса присутствие г-на Фошлевана являлось необходимым условием свиданий с Козеттой. И он мирился с ним. Рассуждая об улучшении жизни всего человечества и затрагивая в разговоре, слегка и в общих чертах, политические вопросы, им случалось перекинуться несколькими словами, помимо обычных «да» и «нет». Однажды по поводу народного образования, которое Мариус мыслил бесплатным и обязательным, широко распространенным, щедро предоставленным всем, как воздух и солнце, словом, доступным для всего народа, они сошлись во мнениях и почти

разговорились. Мариус заметил при этом, что г-н Фошлеван выражает свои мысли хорошо и даже несколько высоким слогом. Однако чего-то ему не хватало. В чем-то г-н Фошлеван стоял ниже светского человека, а в чем-то выше его.

В глубине души Мариус обращал множество немых вопросов к этому г-ну Фошлевану, который был к нему достаточно благожелателен, но холоден. Порою он сомневался в собственных воспоминаниях. В его памяти образовался провал, черное пятно, пропасть, вырытая четырехмесячной агонией. Многое кануло туда безвозвратно. Доходило до того, что он спрашивал себя, мог ли он действительно видеть г-на Фошлевана, такого серьезного и спокойного человека, на баррикаде.

Это была, впрочем, не единственная загадка, которую видения прошлого, появляясь и исчезая, оставили в его памяти. Не следует думать, что он был избавлен от тех навязчивых воспоминаний, которые принуждают нас, даже среди счастья и благополучия, с печалью оглядываться назад. Тот, кто никогда не обращает взора к исчезнувшим горизонтам минувшего, не способен ни мыслить, ни любить. По временам Мариус закрывал лицо руками, и смутные тревожные призраки былого прорезали сумеречный туман, окутавший его мозг. Он снова видел, как падает мертвым Мабеф, он слышал, как распевает Гаврош под градом картечи, он ощущал на губах смертный холод лба Эпонины. Анжольрас, Курфейрак, Жан Прувер, Комбефер, Боссюэ, Грантэр, все его друзья вставали перед ним, как живые, и затем исчезали. Только ли сон все эти дорогие его сердцу существа, страдающие, мужественные, трогательные или трагические? Или они существовали в действительности? Прошлое заволокло дымом мятежа. Грозные потрясения вызывают грозные сны. Он спрашивал себя, проверял себя; голова его кружилась от сознания, что эти жизни угасли бесследно. Где же они? Правда ли, что все это умерло? Обвал все увлек за собой в черную тьму, кроме него одного. Все, казалось, исчезло, словно за театральным занавесом. Порою над жизнью опускаются подобные завесы. И бог переходит к следующему акту.

Да и сам он, Мариус, остался ли прежним? Он, бедняк, стал богатым; он, одинокий, обрел семью; он, отчаявшийся во всем, женится на Козетте. Ему казалось, что он прошел через могилу, что он опустился туда осужденным, а вышел на свет оправданным. Другие же остались там, в глубине могилы. В иные минуты все эти тени прошлого, возвращаясь и оживая, обступали его кругом и омрачали его дух; тогда он думал о Козетте и снова успокаивался; только это высочайшее счастье и могло изгладить следы катастрофы.

Господин Фошлеван занимал какое-то место в ряду этих погибших. Мариус не решался верить, что Фошлеван с баррикады был тем же Фошлеваном из плоти и крови, который так спокойно сидел рядом с Козеттой. Тот был, вероятно, одним из кошмарных образов, возникавших и таявших в часы бреда. Помимо всего оба они были необщительны по природе; поэтому Мариус не мог и подумать обратиться к г-ну Фошлевану с каким-нибудь вопросом. Ему и в голову это не приходило. Мы уже отмечали раньше эту черту его характера.

Два человека, связанные общей тайной, которые, как бы по молчаливому соглашению, не перемолвятся о ней ни словом, совсем не такая редкость, как может показаться.

Только однажды Мариус решился сделать попытку. Он навел разговор на улицу Шанврери и, повернувшись к г-ну Фошлевану, спросил его:

– Ведь вы хорошо знаете эту улицу?

– Какую?

– Улицу Шанврери.

– Не имею понятия о таком названии, – отвечал Фошлеван самым естественным тоном.

Ответ, который относился, собственно, к названию улицы, а не к самой улице, показался Мариусу более убедительным, чем был на самом деле.

«Положительно, мне это приснилось, – подумал он. – У меня была галлюцинация. Это просто кто-нибудь похожий на него. Господина Фошлевана там не было».

Глава 8

Два человека, которых невозможно разыскать

Как ни сильны были любовные чары, они не могли изгладить из мыслей Мариуса все его заботы.

Пока шли приготовления к свадьбе, он, в ожидании назначенного срока, предпринял трудные и тщательные розыски, посвященные прошлому.

Он обязан был двойной признательностью: прежде всего – за отца, затем – за самого себя.

Был где-то Тенардье; был где-то незнакомец, который принес его, Мариуса, в дом г-на Жильнормана.

Мариусу во что бы то ни стало надо было найти этих двух людей. Он не допускал и мысли, что, наслаждаясь счастьем, может забыть о них, и боялся, как бы этот неоплаченный долг чести не омрачил его жизни, отныне такой лучезарной. Он не мог откладывать платеж по этим давним обязательствам и, прежде чем ступить в радостное будущее, хотел расквитаться с прошедшим.

Пускай Тенардье был негодяем, это нисколько не умаляло того факта, что он спас полковника Понмерси. Тенардье мог быть бандитом в глазах всего света, но не в глазах Мариуса.

Не зная о том, что произошло в действительности на поле битвы при Ватерлоо, Мариус не знал, какие странные обстоятельства связывали с Тенардье его отца, который был обязан мародеру жизнью, но не благодарностью.

Ни одному из многочисленных агентов, нанятых Мариусом, не удалось напасть на след Тенардье. С этой стороны, казалось, все было утеряно безвозвратно. Жена Тенардье умерла в тюрьме во время следствия. Сам Тенардье и его дочь Азельма, последние, кто остался от злополучной семьи, снова канули во тьму. Пучина социального Неведомого беззвучно сомкнулась над этими существами. Не осталось на поверхности ни зыби, ни ряби, ни темных концентрических кругов, которые указывали бы, что туда что-то упало и что можно опустить туда лот.

Жена Тенардье умерла, Башка был признан непричастным к делу, Звенигрош исчез, главные обвиняемые бежали из тюрьмы, и громкий судебный процесс о засаде в лачуге Горбо почти ни к чему не привел. Дело так и осталось довольно темным. Суд присяжных вынужден был удовольствоваться двумя второстепенными обвиняемыми: один из них был Крючок, он же Весенний, он же Гнус, другой – Пол-Лиарда, он же Два Миллиарда; обоих приговорили к десяти годам галер. Их скрывшиеся сообщники были заочно присуждены к пожизненным каторжным работам. Тенардье как зачинщику и вожаку был вынесен, также заочно, смертный приговор. Приговор – вот единственное, что оставалось от Тенардье и бросало зловещий свет на это исчезнувшее имя, подобно свече, горящей у гроба.

Однако это осуждение, заставляя Тенардье, из страха быть пойманным, отступать все дальше, на самое дно, еще сильнее сгущало мрак, который окутывал этого человека.

Розыски же второго незнакомца, того, что спас Мариуса, дали сперва кое-какие результаты, но затем зашли в тупик. Удалось найти фиакр, который привез Мариуса вечером 6 июня на улицу Сестер страстей господних. Извозчик показал, что 6 июня по приказу полицейского агента он «проторчал» с трех часов пополудни до темноты на набережной Елисейских полей, над отверстием Главного водостока; что часам к девяти вечера решетка клоаки, выходящая на берег реки, отворилась; что оттуда показался человек, неся на плечах другого, по всей

видимости, мертвого; что полицейский, который караулил это место, арестовал живого и захватил мертвеца; что по приказу агента он, извозчик, погрузил «всю эту публику» в свой фиакр; что они направились сперва на улицу Сестер страстей господних и высадили там покойника; что этот покойник и есть господин Мариус и что он, извозчик, отлично узнает его, хотя «нынче, спору нет, барин живехонек»; что после этого седоки снова влезли в карету, а он погнал лошадей дальше; что, немного не доезжая ворот Архива, они велели ему остановиться; что там, прямо на улице, с ним расплатились и ушли и что полицейский увел с собой второго человека; а больше он, извозчик, ничего не знает, к тому же ночь была очень темная.

Сам Мариус, как мы уже говорили, ничего не мог восстановить в памяти. Он помнил только, что сильная рука подхватила его сзади в ту минуту, как он падал навзничь на баррикаде; после этого все угасло в его сознании. Он пришел в себя только в доме г-на Жильнормана.

Он терялся в догадках.

Не мог же он сомневаться в своем собственном тождестве. Как могло случиться, однако, что, упав без чувств на улице Шанврери, он был подобран полицейским на берегу Сены, возле моста Инвалидов? Кто-то, очевидно, донес его от квартала Центрального рынка до самых Елисейских полей. Каким путем? Через водосток. Неслыханное самопожертвование!

Кто это был? Кто же он?

Тот, кого разыскивал Мариус.

От этого человека, от его спасителя, не осталось ровно ничего – никакого следа, ни малейших примет.

Хотя Мариус вынужден был действовать здесь особенно осторожно, все же он дошел в своих попытках вплоть до полицейской префектуры. Но там, как и повсюду, наведенные справки не привели ни к какому прояснению. Префектура знала еще меньше, чем извозчик. Ни о каком аресте, произведенном 6 июня у решетки Главного водостока, сведений не поступало; не было никакого полицейского донесения об этом факте, который в префектуре склонны были считать за басню. Авторство такой басни приписывали извозчику. Чтобы получить на водку, извозчик способен на все, даже на игру воображения. Однако факт был неоспорим, и, повторяем, Мариус не мог в нем сомневаться, иначе как усомнившись в своем собственном тождестве.

Все казалось необъяснимым в этой странной загадке.

Куда делся неизвестный, тот таинственный человек, который вышел, по словам кучера, открыв решетку Главного водостока, неся на спине бездыханного Мариуса, и был арестован караулившим его полицейским на месте преступления, когда он спасал бунтовщика? И что случилось с самим полицейским? Почему он молчал? Может быть, незнакомцу удалось бежать? Или он подкупил полицейского? Почему этот человек не давал ничего знать о себе Мариусу, который был ему всем обязан? Его бескорыстие казалось не менее поразительным, чем его самоотверженность. Почему он не появлялся? Пусть он не нуждается в вознаграждении, но кто же отвергнет признательность? Не умер ли он? Что это был за человек? Каков он был с виду? Никто не мог сказать точно. Извозчик говорил: «Ночь была темная». А перепуганные Баск и Николетта только и смотрели, что на своего молодого барина, залитого кровью. Один лишь привратник, чей фонарь освещал трагическое прибытие Мариуса, заметил выше означенного человека, и вот что он сказал: «Страшно было глядеть на него».

В надежде, что это поможет при поисках, Мариус велел сохранить окровавленную одежду, в которой его привезли к деду. Осматривая сюртук, кто-то заметил, что одна пола была как-то странно разорвана. В ней недоставало куска.

Однажды вечером, в присутствии Козетты и Жана Вальжана, Мариус рассказывал об этом странном происшествии, о бесчисленных наведенных им справках и о бесплодности своих

усилий. Каменное лицо «господина Фошлевана» вывело его из терпения. И с горячностью, в которой чувствовался сдерживаемый гнев, он воскликнул:

– О да, кто бы он ни был, это человек высокого благородства! Знаете ли вы, сударь, что он сделал? Он явился мне на помощь, словно архангел с неба. Ему пришлось броситься в самую гущу битвы, унести меня, открыть вход в водосток, втащить меня туда и нести на себе! Ему пришлось пройти более полутора лье по ужасным подземным коридорам, согнувшись, сгорбившись, во тьме, в трясине клоаки, больше полутора лье, сударь, с мертвецом на спине! И с какой целью? С единственной целью спасти мертвеца! А этим мертвецом был я. Он говорил себе: «Здесь, может быть, еще теплится огонек жизни; я рискну своею собственной жизнью ради этой слабой искорки». И он рисковал жизнью не один раз, а двадцать раз! И каждый шаг грозил ему гибелью. Доказательством служит то, что при выходе из клоаки он был арестован. Знаете ли вы, милостивый государь, что тот человек действительно все это сделал? И притом, не ожидая никакого вознаграждения. Кем я был? Повстанцем. Кем я был? Побежденным. О, если бы шестьсот тысяч франков Козетты принадлежали мне...

– Они ваши, – перебил его Жан Вальжан.

– Так вот, – продолжал Мариус, – я отдал бы их все, чтобы разыскать этого человека!

Жан Вальжан не промолвил ни слова.

Книга шестая

Бессонная ночь

Глава 1

16 февраля 1833 года

Ночь с 16 на 17 февраля 1833 года была благословенной ночью. Над ее мраком сияло небо рая. То была брачная ночь Мариуса и Козетты.

День прошел восхитительно.

Это был не тот лазурный праздник, о каком мечтал дедушка, не волшебная феерия, с херувимами и купидонами, порхающими попеременно над головами новобрачных, не свадебный пир, достойный быть запечатленным в росписи над дверью, но все же это был радостный и пленительный день.

Свадебные обычаи 1833 года отличались от нынешних. В то время французы еще не заимствовали у Англии в высшей степени утонченной моды похищать свою жену, бежать с ней, едва выйдя из церкви, прятаться, как бы стыдясь своего счастья, и сочетать уловки скрывающегося банкрота с восторгами «Песни песней». В наше время считается почему-то целомудренным, изысканным и благопристойным трясти свой рай по ухабам в почтовой карете, прерывать таинство щелканьем кнута, нанимать для брачного ложа кровать в трактире и оставлять за собой в этой пошлой спальне, сдающейся за столько-то в ночь, самое священное воспоминание своей жизни, вместе с воспоминанием о шашнях трактирной служанки с кучером дилижанса.

Во второй половине девятнадцатого века, где мы обретаемся, нам уже недостаточно мэра с его шарфом, священника с его епитрахилью, закона и бога; нам необходимо дополнить их кучером из Лонжюмо, его синей курткой с красными отворотами и пуговицами в виде бубенчиков, бляхой на рукаве, кожаными зелеными штанами, его покрикиванием на нормандских лошадок с завязанными узлом хвостами, его фальшивыми галунами, лоснящейся шляпой, пыльными космами, огромным кнутом и ботфортами. Франция еще не достигла той степени изящества, чтобы, подобно английской знати, осыпать карету новобрачных целым градом стоптанных туфель и рваных башмаков, в память о Черчилле, впоследствии герцоге Мальборо, – Мальбруке тож, который подвергся в день свадьбы нападению разгневанной тетки, что якобы принесло ему счастье. Туфли и башмаки не являются еще у нас непременным условием свадебного празднества; но наберитесь терпения, хороший тон продолжает распространяться, скоро мы дойдем и до этого.

В 1833 году, как и сто лет назад, не было в обычае венчаться галопом.

В те времена люди воображали, как это ни странно, что венчание – праздник семейный и общественный, что патриархальный пир несколько не испортит домашнего торжества, что веселье, пускай даже чрезмерное, зато искреннее, не причинит счастья никакого вреда, что, наконец, добропорядочно и достойно, чтобы слияние двух судеб, дающее начало семье, произошло под домашним кровом и чтобы супруги не имели отныне иных свидетелей своей жизни, кроме собственной спальни.

Словом, люди имели бесстыдство жениться дома.

Итак, согласно этому уже устарелому обычаю, свадьбу отпраздновали в доме г-на Жильнормана.

Как ни естественно и обычно такое событие, как брак, все же оглашение, подписание брачного контракта, мэрия и церковь всегда связаны с известными хлопотами. Со всем этим

удалось управиться только к 16 февраля.

Между тем случилось так, – мы отмечаем это обстоятельство из чистого пристрастия к точности, – что 16-е число пришлось на последний день Масленицы. Это вызвало разные сомнения и колебания, главным образом со стороны тетушки Жильнорман.

– Прощеный день, тем лучше! – воскликнул дед. – Ведь есть даже поговорка:

На масленице брак затей —
Послушных народишь детей.

Станем выше предрассудков. Назначим на шестнадцатое! Разве ты согласен ждать, скажика, Мариус?

– Разумеется, нет, – отвечал влюбленный.

– Стало быть, повенчаемся! – заключил дед.

Итак, свадьба состоялась 16-го, несмотря на уличное гулянье. В этот день шел дождь, но в небе всегда найдется кусочек лазури, которого довольно для счастья влюбленных, – он виден им одним даже тогда, когда все прочие смертные прячутся под зонтом.

Накануне Жан Вальжан, в присутствии г-на Жильнормана, передал Мариусу пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков.

Брачный договор предполагал общность имущества, и потому не требовалось никаких формальностей.

Тусен с этого дня уже не нужна была Жану Вальжану, и Козетта, получив ее в наследство, возвела в ранг горничной.

Что касается Жана Вальжана, то в доме Жильнорманов была выделена и обставлена для него прекрасная комната; Козетта с такой очаровательной настойчивостью сказала ему: «Отец, я прошу вас», что он почти обещал переселиться туда.

Незадолго до дня свадьбы с Жаном Вальжаном случилась небольшая неприятность: он порезал себе большой палец на правой руке. В этом не было ничего серьезного; он никому не позволил ухаживать за собой – ни перевязать, ни осмотреть свою рану, даже Козетте. Однако это заставило его забинтовать руку и держать ее на перевязи, а также мешало ему что-либо подписывать. Г-н Жильнорман в качестве второго опекуна исполнил за него эту обязанность.

Мы не поведем читателей ни в мэрию, ни в церковь. Влюбленных не принято сопровождать так далеко; обычно к любовной драме поворачиваются спиной, как только на сцене появляется букет новобрачной. Мы ограничимся тем, что укажем на одно происшествие, кстати сказать, не замеченное никем из свадебного кортежа, случившееся на пути от улицы Сестер страстей господних к церкви Сен-Поль.

В те дни заново мостили камнем северный конец улицы Сен-Луи, и, начиная от улицы Королевский парк, она была загорожена для проезда. Ввиду этого свадебные кареты не могли следовать к церкви Сен-Поль прямым путем. Приходилось изменить маршрут, и проще всего было объехать бульваром. Один из приглашенных заметил, что в канун поста там, несомненно, будет большое скопление экипажей. «Почему?» – спросил г-н Жильнорман. «Из-за масок». – «Чудесно, – заявил дед, – поедem по бульвару! Наши молодые люди женятся, они вступают в серьезную эпоху жизни. Пусть напоследок полюбуются на маскарад».

Поехали бульваром. В первой свадебной карете сидели: Козетта с тетушкой Жильнорман и г-н Жильнорман с Жаном Вальжаном. Мариус, согласно обычаю еще разлученный со своей невестой, ехал в следующей. Свадебный поезд, свернув с улицы Сестер страстей господних, включился в длинную вереницу экипажей, тянувшихся нескончаемой цепью от улицы Мадлен к

Бастилии и от Бастилии к улице Мадлен.

Ряженные наводняли бульвар. Время от времени начинал моросить дождь, но паяцы, арлекины и шуты не унывали. В эту зиму 1833 года всеми владело веселое настроение, и Париж перерядился в Венецию. В наши дни уже не увидишь такой Масленицы. Вся жизнь превратилась в карнавал, потому-то и нет больше настоящего карнавала.

Боковые аллеи были переполнены прохожими, а окна – любопытными. На площадках, венчавших колоннады театров, теснились зрители. Помимо масок, внимание привлекал обычный в канун поста, как и в день бегов в Лоншане, церемониальный марш всевозможных экипажей. Тут были коляски, крытые повозки, одноколки, кабриолеты, следовавшие по распоряжению полиции в строгом порядке, гуськом друг за дружкой, словно катясь по рельсам. Тот, кто едет в таком экипаже, – одновременно и зритель, и зрелище. Полицейские направляли по обеим сторонам бульвара две бесконечные параллельные вереницы, движущиеся навстречу друг другу, и следили, чтобы ничто не нарушало этого двойного течения, этого двойного потока экипажей, стремящихся одни вверх, другие вниз, – одни к Шоссе д'Антен, другие к Сент-Антуанскому предместью. Украшенные гербами экипажи пэров Франции и иностранных послов занимали середину проезда, свободно передвигаясь в обоих направлениях. Некоторые великолепные и шумные процессии, в особенности Масленичного Быка, пользовались тем же преимуществом. Среди всенародного парижского веселья проследовала, пощелкивая кнутом, и Англия: с оглушительным грохотом прокатила почтовая карета лорда Сеймура, осыпаемая язвительными насмешками толпы.

В двойной цепи экипажей, вдоль которой, точно овчарки, скакали конные стражники, из дверец солидных семейных рыдванов, набитых тетушками и бабушками, то и дело высывались свежие личики ряженных детей, семилетних Пьерро, шестилетних Пьеретт, очаровательных малышек, гордившихся, что и они принимают участие во всеобщем ликовании, преисполненных сознания важности этой шутовской игры и степенных, как чиновники.

Время от времени где-нибудь в процессии экипажей происходил затор, и тогда та или другая из параллельных цепей останавливалась, пока узел не распутывался; достаточно было замешкаться одной коляске, чтобы задержать всю вереницу. Затем движение восстанавливалось.

Свадебный поезд двигался в потоке, направлявшемся к Бастилии, вдоль правой стороны бульвара. Напротив улицы Капустный мост произошла небольшая задержка. Почти в ту же минуту остановился и второй поток, с другой стороны бульвара, направляющийся к улице Мадлен. Свадебная карета очутилась как раз напротив коляски с ряженными.

Такие коляски, или, лучше сказать, телеги с масками, хорошо знакомы парижанам. Если бы во вторник на масленой или в четверг в середине поста их не оказалось, в этом заподозрили бы неладное и пошли бы толки: «Тут что-то нечисто. Верно, ожидается смена министерства». Целая орава Кассандр, Арлекинов, Коломбин, колыхающихся над головами прохожих, всевозможные смешные фигуры, начиная с турка и кончая дикарем, маркизы в обнимку с Геркулесами, рыночные торговки, которые заставили бы заткнуть уши самого Рабле, как некогда менады заставляли опускать глаза Аристофана, парики из пакли, розовые трико, франтовские шляпы, шутовские очки, дурацкие колпаки с прицепленной бабочкой, задорная перебранка с пешеходами, руки в боки, вызывающие позы, голые плечи, лица в масках, разнузданная непристойность, разгул бесстыдства на колесах, с кучером в цветочном венке, – вот что такое телега с ряженными.

Греции нужна была повозка Феспиды. Франции нужен фургон Вадэ.

Все можно пародировать, даже пародию. Сатурналия, эта озорная гримаса античной красоты, все более искажаясь и грубея, обратилась в масленичное гулянье; а вакханалия, некогда увенчанная гроздьями винограда, залитая солнцем, смело открывавшая мраморную

грудь в божественной своей полунагоде, у нас, под суровым дыханием севера, поникнув в мокрых лохмотьях, стала называться в конце концов карнавальная харей.

Обычай возить ряженных по городу восходит к древнейшим временам монархии. В приходо-расходных книгах Людовика XI значилось, что дворцовому казначею было отпущено «двадцать су турецкой чеканки на три машкерадных рыдвана для простонародья». В наши дни эти шумные ватаги тащатся всегда в каком-нибудь древнем дилижансе, громоздясь на империале, или же вваливаются скопом в казенное ландо с откинутым верхом. В один шестиместный экипаж их набивается человек двадцать. Они пристраиваются на сиденьях, на откидных скамейках, на краях откинутого верха, на дышле. Некоторые даже сидят верхом на экипажных фонарях. Едут стоя, лежа, сидя, согнувшись в три погибели, свесив ноги. Женщины сидят на коленях у мужчин. Эти живые пирамиды из беснующихся людей видны издалека над колыхающимся морем голов. Битком набитые повозки возвышаются среди общей толчеи, точно горы, струящие веселье. Оттуда сыплются словечки Коле, Панара и Пирона, обогащенные уличным жаргоном. Оттуда изрыгают на толпу площадной катехизис. У перегруженного и несуразно разросшегося экипажа вид самый победоносный. Впереди шум и гам, позади – дым коромыслом. Там вопят, поют, галдят, гогочут, корчатся от хохота; там грохочет веселье, искрятся насмешки, пышет румянцем благодущие; две клячи тащат этот шутовской фарс, развернувшийся в апофеоз; это триумфальная колесница Смеха.

Но смеха слишком циничного, чтобы быть искренним. И в самом деле, смех звучит здесь подозрительно. У него есть своя цель. На него возложена обязанность доказать парижанам, что карнавал состоялся.

Эти разудалые коляски, в глубине которых чудятся бог весть какие мрачные тайны, наводят философа на размышления. За этим притаилась правящая власть. Вы живо ощущаете таинственную связь между уличными агентами и уличными девками.

Разумеется, очень прискорбно, что мерзость, выставляемая напоказ, способна вызывать безудержное веселье, что нагромождение бесчестия и позора может разлакомить толпу, что полицейский сыск, служа проституции пьедесталом, забавляет улицу, оскорбляя ее, что улице любо глазеть, как тащится на четырех колесах чудовищная груда живых тел, в мишуре и лохмотьях, в грязи и блеске, горланя и распевая, что зеваки рукоплещут этому торжеству всех пороков, что для простонародья праздник не в праздник, если в толпе не прогуливаются эти выпущенные полицией двадцатиглавые гидры веселья. Но что поделаешь? Эти телеги с человеческим отребьем, в лентах и в цветах, осуждены и помилованы всенародным смехом. Всеобщий смех – соучастник всеобщего падения нравов. Иные нездоровые увеселения разлагают народ и превращают его в чернь, а черни, как и тиранам, необходимы шуты. У короля есть Роклор, а у народа Паяц. Париж – город великих безумств, кроме тех случаев, когда он бывает столицей великих идей. Там карнавал неразрывно связан с политикой. Надо признать, что Париж охотно смотрит комедию, которую разыгрывает перед ним гнусность. Он требует от своих властителей – когда у него есть властители – только одного: «Размалуйте мне грязь». Рим отличался тем же нравом. Рим любил Нерона. А Нерон был великий скоморох.

Как мы уже сказали, случилось, что одна из таких огромных колясок, тащившая безобразную ораву замаскированных женщин и мужчин, остановилась по левую сторону бульвара в то самое время, когда свадебный кортеж остановился по правую. Ряженные в коляске увидели на той стороне бульвара, как раз напротив, коляску с невестой.

– Гляди-ка, – воскликнула одна из масок, – свадьба!

– Похороны, а не свадьба, – возразила другая маска. – Вот у нас так настоящая свадьба.

И, лишённые удовольствия на таком далеком расстоянии подразнить свадебный поезд, опасаясь к тому же полицейского окрика, обе маски отвернулись в другую сторону.

Впрочем, через минуту у всех ряженных, набившихся в коляску, оказалось дела по горло, так как толпа принялась задира́ть их и зубоскалить, выражая этим, как принято на карнавале, свое одобрение; обе маски, завязавшие разговор, принуждены были наравне с товарищами смело вступить в битву со всей улицей, и им едва хватало боевых снарядов из их площадного репертуара, чтобы отражать град непристойных шуток черни. Между масками и толпой завязалась отчаянная перебранка чудовищными метафорами.

Тем временем двое других ряженных из той же коляски – старообразного вида испанец с непомерно длинным носом и громадными черными усами и тощая, совсем молоденькая рыночная торговка в полумаске – тоже заметили свадебный поезд и, пока их спутники переругивались с прохожими, начали меж собой тихую беседу.

Их перешептывание заглушалось общим гвалтом и тонуло в нем. Открытая коляска с ряженными вся вымокла под дождем; февральский ветер неласков; сильно декольтированная девица, с усмешкой отвечая испанцу, стучала зубами от холода и кашляла.

Вот их диалог:

– Слушай-ка!

– Что, папаша?

– Видишь того старика?

– Какого старика?

– Вон там, в передней свадебной тарактелке, с нашей стороны.

– У которого рука болтается на черной тряпке?

– Да.

– Вижу, ну и что?

– Мне сдается, я его знаю.

– Ну и что ж?

– Пускай мне наденут на шею удавку, пускай у меня язык отсохнет, коли я не знаю этого парижского плясуна.

– Нынче весь Париж плясун.

– Можешь ты увидеть невесту, если нагнешься?

– Нет.

– А жениха?

– В этой тарактелке нет жениха.

– Да ну?

– Разве только второй старикан.

– Нагнись хорошенько и постарайся все-таки разглядеть невесту.

– Не могу.

– Ладно, все равно, а этого старика с обмотанной клешней я знаю, разрази меня гром!

– А на кой тебе его знать?

– Мало ли что! Иной раз пригодится.

– Ну, а мне наплевать на стариков.

– Я его знаю!

– Ну и знай себе на здоровье.

– Какого дьявола он попал на свадьбу?

– Да мы-то ведь попали?

– Откуда едет эта свадьба?

– А я почему знаю?

– Слушай-ка.

– Чего еще?

– Тебе бы надо обделать одно дельце.
– Чего еще?
– Соскочи на мостовую да последи за этой свадьбой.
– Это зачем?
– Чтобы узнать, куда они едут и что это за птицы. Ну, прыгай живее, беги, дочка, ты у меня шустрая.

– Я не могу сойти с коляски.
– Почему?
– Меня наняли.
– Тьфу, пропасть!
– Нынче мне весь день работать на полицию в этом самом наряде.
– Что правда, то правда!
– Сойди я с коляски, меня первый же легавый застукает. Сам знаешь.
– Как не знать!
– На сегодня меня сторговали фараоны.
– Мне все равно, кто тебя сторговал. Мне надоел этот старик.
– Тебе надоели старики? Полно, ты же не девчонка!
– Он едет в первой коляске.
– Ну и что же?
– В тарахтелке невесты.
– А дальше?
– Стало быть, это отец.
– А мне какое дело?
– Говорят тебе, это отец.
– Отец так отец, эка невидаль!
– Слушай.
– Ну что?

– Я могу выходить только в маске. Так я хорошо укрыт, никто не знает, что я здесь. Но завтра уже не будет масок. Завтра покаянная среда. Я могу засыпаться. Придется уползти в свою дыру. А ты свободна.

– Не так, чтобы очень.
– Все же больше, чем я.
– Ладно, ну а дальше?
– Постарайся узнать, куда поехала эта свадьба.
– Куда она поехала?
– Да.
– Я и так знаю.
– Куда же она едет?
– На улицу Синий циферблат.
– Во-первых, она вовсе не в той стороне.
– Ну тогда к Винной пристани.
– А может, и еще куда?
– Это их дело. Свадьбы едут, куда хотят.

– Не в том суть. Говорят тебе, постарайся узнать, что это за свадьба со стариком в пристяжке и где они живут.

– Как бы не так! Вот потеха! Поди попробуй через неделю найти свадьбу, которая проехала по Парижу во вторник на Масленой. Ищи иголку в сене. Да разве это возможно?

– Мало ли что, надо постараться. Слышишь, Азельма?

В эту минуту обе вереницы экипажей по обеим сторонам бульвара тронулись в путь в противоположных направлениях, и карета с масками потеряла из виду «тарактелку» с новобрачной.

Глава 2

У Жана Вальжана рука все еще на перевязи

Осуществить свою мечту! Кому дано такое счастье? Должно быть, в небесах намечают и избирают достойных; мы все, без нашего ведома, являемся кандидатами; ангелы подают голоса. Козетта и Мариус попали в число избранных.

В мэрии и в церкви Козетта была ослепительно хороша и трогательна. Ее наряжала Тусен с помощью Николетты.

Поверх чехла из белой тафты на ней было надето платье бельгийского гипюра, фата из английских кружев, жемчужное ожерелье, венок из померанцевых цветов; все было белое, и в этой белизне она блистала, как заря. Ее тонкая прелесть, излучаясь, преображалась в сияние; чудилось, будто земная дева на ваших глазах превращается в богиню.

Прекрасные волосы Мариуса были напомажены и надушены; кое-где под густыми кудрями виднелись бледные шрамы – это были рубцы от ран, полученных на баррикаде.

Дед, более чем когда-либо воплощая в своем наряде и манерах все изящество и щегольство времен Барраса, величественно, с гордо поднятой головой, вел Козетту к венцу. Он заменял Жана Вальжана, который из-за перевязанной руки не мог сам вести новобрачную.

Жан Вальжан, весь в черном, следовал за ними и улыбался.

– Ах, господин Фошлеван, – говорил дед, – не правда ли, какой чудесный день? Я голосую за отмену всех огорчений и скорбей. Надо, чтобы нигде отныне не было места печали. Я предписываю всеобщее веселье, черт возьми! Зло не имеет права на существование. Неужели есть еще на свете несчастные люди? Честное слово, это позор для голубых небес. Зло не исходит от человека, человек по существу добр. Главный центр управления всех людских бедствий находится в преисподней, иными словами, в тюильрийской резиденции самого сатаны. Скажите на милость, я заговорил, как заправский демагог! Что ж, у меня нет больше политических убеждений; пускай все люди будут богаты, пускай радуются жизни – вот и все, чего я хочу.

Когда по выполнении всех церемоний, – произнес перед лицом мэра и перед лицом священника все полагающиеся «да», подписав свое имя под брачным контрактом в муниципалитете и в ризнице, обменявшись кольцами, постояв рядом на коленях под белым муаровым венчальным покровом в облаках кадильного дыма, – новобрачные, Мариус весь в черном, Козетта вся в белом, предшествуемые швейцаром в полковничьих эполетах, который громко стучал по плитам своей алебардой, прошли рука об руку, вызывая всеобщее восхищение и зависть, меж двумя рядами умиленных зрителей, к церковным дверям, распахнутым настежь, и направились к карете, даже тогда Козетта не поверила, что все уже кончено. Она смотрела на Мариуса, смотрела на толпу, смотрела на небо; она словно боялась пробудиться от сна. Ее изумленный, неуверенный вид придавал ей какое-то особенное очарование. На обратном пути они сели в одну карету, Мариус рядом с Козеттой; г-н Жильнорман и Жан Вальжан поместились против них. Тетушка Жильнорман отступила на задний план и ехала в следующей карете. «Ну вот, дети мои, – говорил дед, – теперь вы господин барон и госпожа баронесса и у вас тридцать тысяч франков ренты». Близко наклонившись к Мариусу, Козетта нежно прошептала ему на ухо своим ангельским голосом: «Значит, это правда? Я ношу твое имя. Я – госпожа Ты».

Эти юные существа сияли радостью. Для них наступило неповторимое, невозвратимое мгновение: они достигли вершины, где их расцветшая юность обрела всю полноту счастья. Как говорилось в стихах Жана Прувера, обоим вместе им не было и сорока лет. То был чистейший союз: эти двое детей напоминали две лилии. Они не видели, а созерцали друг друга. Мариус являлся Козетте в нимбе; Козетта являлась Мариусу на пьедестале. И на этом пьедестале, и в этом нимбе, как в двойном апофеозе, где-то в непостижимой дали, для Козетты – в неясной дымке, для Мариуса – в блеске и пламени, брезжило нечто идеальное, нечто реальное, место свидания грезы и поцелуя – брачное ложе.

Они с умилением вспоминали о своих муках. Им казалось, что страдания, бессонные ночи, слезы, тревоги, ужас, отчаяние, обернувшись лаской и светом, усиливали очарование грядущего блаженного часа и что их горести были лишь служанками, которые убирали к венцу их лучезарную радость. Выстрадать столько – как это хорошо! Былое горе окружало их счастье ореолом. Долгая агония любви вознесла их на небеса.

Эти юные души были в одинаковом упоении, с оттенком страсти у Мариуса и стыдливости у Козетты. Они говорили шепотом: «Мы снова наведем наш садик на улице Плюме». Складки платья Козетты лежали на коленях Мариуса.

Этот день – неизъяснимое сплетение мечты и уверенности, обладания и грезы. Еще есть время, чтобы угадывать будущее. Какое невыразимое чувство – в сиянии полдня мечтать о полуночи. Блаженство двух сердец передавалось толпе и вызывало в прохожих радостное чувство.

Люди останавливались на Сент-Антуанской улице, против церкви Сен-Поль, чтобы сквозь стекла экипажа полюбоваться померанцевыми цветами, трепетавшими на головке Козетты.

Наконец они вернулись к себе, на улицу Сестер страстей господних. Рука об руку с Козеттой, торжествующий и счастливый, Мариус взошел по той самой лестнице, по которой его несли умирающим. Бедняки, столпившиеся у дверей, деля меж собою щедрое подаяние, благословляли молодых. Всюду были цветы. Дом благоухал не меньше, чем церковь; после ладана – аромат роз. Влюбленным слышались голоса, поющие в бесконечной вышине, в их сердцах пребывал бог, будущее представлялось им небесным сводом, полным звезд, они видели над головой сияние восходящего солнца. Вдруг раздался бой часов. Мариус взглянул на прелестную обнаженную руку Козетты, на плечи, розовевшие сквозь кружева корсажа, и Козетта, уловив его взгляд, покраснела до корней волос.

На свадьбу было приглашено много старых друзей семейства Жильнорман; все теснились вокруг Козетты, наперебой осыпая ее любезностями; каждый оспаривал честь первым назвать ее госпожой баронессой.

Офицер Теодюль Жильнорман, уже в чине капитана, прибыл из Шартра, где стоял его эскадрон, чтобы присутствовать на венчании кузена Понмерси. Козетта не узнала его.

Да и он, избалованный успехом у женщин, запомнил Козетту не больше, чем любую другую.

– Как я был прав, что не поверил этой сплетне про улана, – сказал себе старый Жильнорман.

Никогда еще Козетта не была так нежна с Жаном Вальжаном. Она вторила дедушке Жильнорману: в то время как тот изливал свою радость в афоризмах и изречениях, она источала любовь и ласку, как благоухание. Счастливый желает счастья всему миру.

В ее голосе звучали для Жана Вальжана давние детские интонации. Ее улыбка ласкала его. Свадебный стол был накрыт в столовой.

Яркое освещение – необходимая приправа к большому празднику. Мгла и сумрак не по сердцу счастливым. Они отвергают черный цвет. Ночь привлекает их, тьма – никогда. Если нет

солнца, надо создать его.

Столовая весело играла огнями. Посредине, над столом, покрытым белой ослепительной скатертью, висела венецианская люстра с серебряными подвесками и разноцветными птичками, синими, фиолетовыми, красными, зелеными, сидевшими между свечей; на столе – жирандоли, по стенам – трехсвечные и пятисвечные бра; стекло, хрусталь, бокалы, всевозможная посуда, фарфор, фаянс, глазурь, золото, серебро – все сверкало и веселило глаз. Промежутки между канделябрами были заполнены букетами, – там, где не было огней, пестрели цветы.

Три скрипки и флейта играли в прихожей под сурдинку квартеты Гайдна.

Жан Вальжан сидел на стуле в гостиной, у самой двери, так что ее широкая створка почти закрывала его. За несколько минут до того, как пойти к столу, Козетта, словно по наитию, подбежала к нему и, с глубоким реверансом расправляя обеими руками подвенечное платье, спросила с шаловливой нежностью:

– Отец, вы рады?

– Да, – отвечал Жан Вальжан, – я рад.

– Если так, то улыбнитесь.

Жан Вальжан улыбнулся.

Через несколько секунд Баск доложил, что обед подан.

Вслед за г-ном Жильнорманом, который вел под руку Козетту, приглашенные проследовали в столовую и разместились вокруг стола согласно установленному порядку.

По правую и по левую руку новобрачной стояли два больших кресла: одно – для г-на Жильнормана, другое – для Жана Вальжана. Г-н Жильнорман занял свое место. Второе кресло осталось пустым.

Все искали глазами «господина Фошлевана».

Его не было.

Господин Жильнорман обратился к Баску:

– Ты знаешь, где господин Фошлеван?

– Так точно, сударь, – отвечал Баск. – Господин Фошлеван велел мне передать вашей милости, что у него разболелась рука и он не может отобедать с господином бароном и госпожой баронессой. Он просил извинить его и сказал, что придет завтра утром. Он только сию минуту вышел.

Пустое кресло на миг омрачило веселье свадебного пира. Но если здесь не хватало г-на Фошлевана, зато г-н Жильнорман был налицо, и дед сиял за двоих. Он объявил, что, вероятно, г-ну Фошлевану нездоровится и он поступает благоразумно, ложась спать пораньше, но что рана у него пустячная. Все были успокоены таким объяснением. Да и что значил один темный уголок в таком море веселья? Козетта и Мариус переживали одну из тех блаженных эгоистических минут, когда человек не способен испытывать ничего, кроме счастья. К тому же г-на Жильнормана осенила блестящая мысль. «Черт возьми, зачем креслу пустовать? Пересядь сюда, Мариус. Твоя тетушка разрешит тебе это, хоть и имеет на тебя право. Это кресло как раз для тебя. Это вполне законно и очень мило. Счастливец рядом со счастливицей». Весь стол разразился рукоплесканиями. Мариус занял место Жана Вальжана, рядом с новобрачной, и дело обернулось так, что Козетта, опечаленная было уходом Жана Вальжана, в конце концов оказалась довольна. Козетта не пожалела бы о самом госпде боге, если бы его место занял Мариус. Она поставила свою хорошенькую ножку в белой атласной туфельке на ногу Мариуса.

Лишь только кресло было занято, все позабыли о г-не Фошлеване; его отсутствия уже никто не замечал. Не прошло и пяти минут, как весь стол шумел и смеялся, позабыв обо всем.

За десертом г-н Жильнорман встал и, подняв бокал шампанского, который он налил до половины, чтобы не расплескать его своими дрожащими старческими руками, провозгласил

тост за здоровье молодых.

– Вам не отвертеться нынче от двух проповедей! – воскликнул он. – Утром вы слушали священника, вечером вам придется выслушать старого деда. Внимание! Я хочу дать вам совет: обожайте друг друга. Я не стану ходить вокруг да около, я перейду прямо к цели – будьте счастливы. Нет в природе никого мудрее, чем влюбленные голубки. Философы учат: «Будьте умеренны в удовольствиях». А я говорю: «Дайте себе волю, бросьте поводья!» Влюбляйтесь, как черти. Будьте безумцами. Философы порют чушь. Я бы заткнул им обратно в глотку всю их философию. Разве может быть в жизни слишком много благоухания, слишком много распустившихся роз, соловьиного пения, зеленых листьев, алой зари? Разве можно любить чрезмерно? Разве можно нравиться друг другу чересчур? Берегись, Эстелла, ты слишком прелестна; берегись, Неморин, ты слишком красив! Что за чепуха! Разве можно знать меру восторгам, очарованиям, ласкам? Разве можно быть слишком живым? Разве можно быть слишком счастливым? «Будьте умеренны в удовольствиях». Благодарю покорно! Долой философов! Ликовать – вот в чем мудрость. Ликуйте же, возликуем же! Счастливы ли мы оттого, что добры, или добры оттого, что счастливы? Почему знаменитый брильянт называется Санси – потому ли, что принадлежал Арле де Санси, или потому, что весит сто шесть каратов?^[157] Почему я знаю? Жизнь полным-полна таких проблем; самое важное – это владеть Санси и наслаждаться счастьем. Будем же счастливы, не мудрствуя лукаво. Будем же слепо повиноваться солнцу. Что такое солнце? Это любовь. Кто говорит «любовь», говорит «женщина». Ага, вы хотите знать, что такое всемогущество? Извольте – это женщина. Спросите у нашего демагога Мариуса, не стал ли он рабом маленькой тиранки Козетты. И ведь по собственной охоте, трус эдакий! О женщина! Ни одному Робеспьеру не удержать власти, а женщина царит от века. Я роялист, но признаю отныне только эту королеву. Что такое Адам? Это царство, которым управляла Ева. Для Евы не существует никакого восемьдесят девятого года. Был королевский скипетр, увенчанный лилией, была императорская держава, был железный скипетр Карла Великого, был золотой скипетр Людовика Великого; и революция всех их согнула меж пальцев, как грошовую безделушку; с ними покончено, они сломаны, они валяются на полу, нет больше скипетров. Но попробуйте устроить революцию против кружевного платочка, надушенного пачулями! Хотел бы я посмотреть на это. Ну-ка попробуйте. Почему он так прочен? Потому что это просто тряпочка. Ах, вы из девятнадцатого века? Ну что ж, а мы из восемнадцатого! И мы были не глупее вас. Не воображайте, будто вы перевернули вселенную, если стали называть наше моровое поветрие холерой, а наш танец бурре – качучей. Что бы там ни было, во все времена придется любить женщин. Бьюсь об заклад, что и вам не уйти от них. Эти бесовки для нас – ангелы. Да, любовь, женщина, поцелуй – это заколдованный круг, откуда, держу пари, не выбраться и вам; что касается меня, я охотно бы туда вернулся. Кто из вас видел, как, смиряя все бури, глядясь в волны, подобно женщине, подымается в бесконечную высь звезда Венера, великая кокетка небесной бездны, Селимена океана? Океан – это суровый Альцест. Ну что же, пусть он брюзжит, сколько хочет, – когда восходит Венера, ему приходится улыбаться. Эта грубая скотина покоряется. Все мы таковы. Гнев, буря, гром и молнии, брызги пены до облаков. Но стоит женщине появиться, стоит звезде взойти – падайте ниц! Полгода назад Мариус сражался; теперь он женится. И хорошо делает. Да, Мариус, да, Козетта, вы правы. Смело живите друг для друга, целуйтесь, милуйтесь, пускай все мы лопнем от зависти, глядя на вас, боготворите друг друга. Подбирайте клювом все соломинки счастья, какие только есть на земле, и свейте из них себе гнездышко на всю жизнь. Любить, быть любимым – ей-ей, это не диво, когда вы молоды! Не воображайте, пожалуйста, будто вы первые все это выдумали. И я тоже грезил, мечтал, вздыхал; и мою душу заливал лунный свет. Любовь – это младенец, которому от роду шесть тысяч лет. Любовь вполне имеет

право на длинную седую бороду. Мафусаил молокосос в сравнении с Купидоном. Вот уже шестьдесят веков, как мужчина и женщина выпутываются из беды, любя друг друга. Дьявол лукав, он возненавидел человека; человек еще лукавее – он возлюбил женщину. Это принесло ему больше добра, чем дьявол причинил ему зла. Такая хитрость изобретена еще во времена земного рая. Друзья мои, это старая выдумка, но она вечно нова. Воспользуйтесь ею. Будьте Дафнисом и Хлоей, пока не придет пора стать Филемоном и Бавкидой. Живите так, чтобы, когда вы вдвоем, вам ничего бы не требовалось больше, чтобы Козетта была солнцем для Мариуса, чтобы Мариус был вселенной для Козетты. Козетта, пусть улыбка мужа станет для вас ясным днем; Мариус, пусть ненастьем для тебя станут слезы жены. И пускай никогда в вашей жизни не будет непогоды. Вы ухитрились выудить в жизненной лотерее счастливый билет – любовь, увенчанную браком; вам достался главный выигрыш, берегите же его, как зеницу ока, запирайте его на ключ, не транжирьте его, обожайте друг друга и – пошлите к черту все остальное! Верьте моим словам. Это вещает сам здравый смысл. Здравый смысл не может лгать. Молитесь друг на друга. Каждый по-своему поклоняется богу. Разрази меня гром, если не лучший способ чтить бога – это любить свою жену! Я люблю тебя – вот мой катехизис. Кто любит, тот благочестив. В своем любимом ругательстве Генрих Четвертый сочетает святость с кутежом и пьянством. «Свято-пьяное-брюхо!» Я не поклонник такой религии. Здесь забыта женщина. От кого угодно, а уж от Генриха Четвертого я этого не ожидал. Друзья мои, да здравствует женщина! Я старик, если верить людям; но вот что удивительно, я чувствую, что молодею. Я охотно гулял бы по лесам и слушал пастушью свирель. Красота и счастье этих детей опьяняют меня. Я и сам бы не прочь жениться, если бы кто-нибудь пошел за меня. Немыслимо представить себе, что бог сотворил нас для чего-нибудь другого; обожать, наряжаться, ворковать голубком, петить петухом, целоваться и обниматься с утра до ночи, охорашиваться перед своей женой, гордиться, ликовать, распускать хвост – вот цель жизни. Угодно вам или нет, а вот что мы думали в наше время, когда были молоды. Ух ты, сколько было восхитительных женщин в старину, сколько прелестниц, сколько чудесниц! Я немало произвел опустошений в их сердцах. Итак, любите друг друга. Если не любить друг друга, то я, право, не понимаю, зачем, собственно, наступала бы весна; ну, а что до меня, то я просил бы всемогущего бога забрать назад и запереть в кладовую все прекрасные творения, которыми он нас дразнит: и цветы, и птичек, и хорошеньких девушек. Дети мои, примите благословение старика.

Вечер прошел оживленно, весело, очаровательно. Превосходное настроение деда задавало тон всему празднику; каждый невольно заражался этим почти столетним благодушием. Немножко танцевали, много смеялись; это была благодатная свадьба. На нее смело можно было пригласить Доброе старое время. Впрочем, оно и так присутствовало здесь в лице г-на Жильнормана.

После шума наступила тишина.

Новобрачные скрылись.

Вскоре после полуночи дом Жильнормана обратился в храм.

Здесь мы остановимся. У порога брачной ночи стоит ангел, он улыбается, приложив палец к губам.

Душа предается размышлениям перед святилищем, где свершается торжественное таинство любви.

Над такими домами должно появляться сияние. Сокрытое в них счастье должно проникать сквозь камни стен в виде слабых лучей и пронизывать ночной мрак. Не может быть, чтобы это священное, предопределенное судьбою празднество не излучало бы в бесконечность дивного света. Любовь – это божественный горн, где происходит слияние мужчины и женщины; единое, тройственное, совершенное существо, человеческое триединство выходит из этого горна.

Рождение единой души из двух должно вызывать волнение в неведомом. Любовник – это жрец; непорочную деву объемлет сладостный страх. Какая-то доля этой радости воспаряет к богу. Где истинный брак, где любовь, там свет идеала. Брачное ложе во тьме – как луч зари. Если бы смертному взору было дано лицезреть чудесные и грозные видения горнего мира, мы увидели бы, вероятно, как сонмы ночных духов, крылатых незнакомцев, голубых пришельцев из невидимых сфер склоняются над этим светлым домом, умиленные, благословляющие, с отблеском земного блаженства на божественных ликах, указывая один другому на робкую и смущенную девственную супругу. Если бы в этот несравненный час упоенные страстью новобрачные, уверенные, что они наедине, прислушались, они различили бы смутный шелест крыл в своей опочивальне. Истинному блаженству сопричастны ангелы. Вся ширь небес служит сводом этому маленькому темному алькову. Когда уста, освященные любовью, сближаются в животворящем лобзании, не может быть, чтобы этот неизъяснимый поцелуй не отозвался трепетом там, высоко, в таинственных звездных пространствах.

Только такое блаженство истинно. Нет других радостей, кроме этих. Любовь – вот единственное счастье на земле. Все остальное – юдоль слез.

Любить, испытать любовь – этого достаточно. Не требуйте ничего больше. Вам не найти другой жемчужины в темных тайниках жизни. Любовь – это свершение.

Глава 3

Неразлучный

Куда исчез Жан Вальжан?

Вскоре после того, как он, по ласковому настоянию Козетты, заставил себя улыбнуться, Жан Вальжан поднялся с места и, пользуясь тем, что никто не обращал на него внимания, незаметно вышел в прихожую. Это была та самая комната, в которой он появился восемь месяцев тому назад, весь черный от грязи, крови и пороха, когда принес деду его внука. Старинные стенные панели были увешаны гирляндами листьев и цветов; на диване, куда в тот вечер положили Мариуса, сидели теперь музыканты. Разряженный Баск, во фраке, в коротких штанах, в белых чулках и белых перчатках, украшал каждое блюдо, перед тем как нести к столу, венками из роз. Жан Вальжан, показав ему на свою перевязанную руку, поручил объяснить причину своего ухода и покинул дом.

Несколько минут Жан Вальжан стоял неподвижно в темноте под ярко освещенными окнами столовой, выходившими на улицу. Он прислушивался. До него доносился приглушенный шум свадебного пира. Он различал громкую уверенную речь деда, звуки скрипок, звон тарелок и бокалов, взрывы смеха и среди всего этого веселого гула – нежный, радостный голосок Козетты.

Покинув улицу Сестер страстей господних, он вернулся к себе, на улицу Вооруженного человека.

Он шел туда окольным путем, через улицы Сен-Луи Нива св. Екатерины и Белых мантий; ему пришлось сделать довольно большой крюк, но этой самой дорогой ежедневно, вот уже три месяца, чтобы миновать грязную и многолюдную Старую Тампльскую улицу, он провожал Козетту с улицы Вооруженного человека на улицу Сестер страстей господних.

Этой дорогой ходила Козетта, другого пути он не хотел для себя.

Жан Вальжан возвратился домой. Он зажег свечу и поднялся к себе. Квартира опустела. Там даже не было Тусен. Шаги Жана Вальжана гулко раздавались в пустых комнатах. Все шкафы были распахнуты настежь. Он прошел в спальню Козетты. На кровати не было простынь. Тиковая подушка, без наволочки и кружев, лежала на куче свернутых одеял в ногах ничем не

накрытого тюфяка, на котором некому уже было спать. Все милые женские безделушки, которыми так дорожила Козетта, были унесены; оставались лишь тяжелая мебель да голые стены. С кровати Тусен все было снято. Только одна кровать была застлана и, казалось, ждала кого-то: кровать Жана Вальжана.

Жан Вальжан окинул взглядом стены, затворил дверцы шкафов, обошел пустые комнаты.

Наконец он очутился в своей спальне и поставил свечу на стол.

Он давно уже сбросил повязку и свободно двигал правой рукой, как будто она вовсе не болела.

Он подошел к кровати, и глаза его, случайно или намеренно, остановились на «неразлучном», давно вызывавшем ревность Козетты, на маленьком сундучке, который всюду ему сопутствовал. Четвертого июня, переехав на улицу Вооруженного человека, он поставил его на столик у изголовья кровати. Приблизившись к нему с какой-то странной поспешностью, он нащупал в кармане ключ и отпер сундучок.

Медленно стал он вынимать оттуда детские вещи Козетты, в которых десять лет тому назад она уходила из Монфермейля: сначала черное платье, потом черную косынку, затем славные неуклюжие детские башмачки, которые, пожалуй, и теперь пришли бы впору Козетте, так мала была ее ножка, потом лифчик из плотной бумазеи, затем вязаную юбку, фартук с кармашками и шерстяные чулки. Чулки, еще хранящие очертания стройной детской ножки, были ничуть не длиннее ладони Жана Вальжана. Все было черного цвета. Он сам принес для нее в Монфермейль эти вещицы. Вынимая из сундучка, он их раскладывал одну за другой на постели. Он думал, он припоминал. Это происходило зимой, в декабре месяце, в жестокую стужу; она озябла и вся дрожала, едва прикрытая лохмотьями, ее бедные ножки в деревянных башмаках покраснели от холода. Он, Жан Вальжан, заставил малютку сбросить рубище и заменить его этим траурным платьем. Ее мать, должно быть, радовалась в могиле, что дочка носит по ней траур и, главное, что она одета, что ей тепло. Он вспомнил Монфермейльский лес; они прошли по нему вместе, Козетта и он; он вспомнил зимнюю непогоду, деревья без листьев, рощи без птиц, небеса без солнца – все равно это было чудесно. Он разложил на кровати эти детские одежды, косынку около юбки, чулки возле башмачков, лифчик рядом с платьем и разглядывал их по очереди. Она была тогда вот такого роста, она прижимала к груди свою большую куклу, она спрятала дареную золотую монету в карман этого самого фартучка, она смеялась; они шли вдвоем, держась за руки, кроме него, у нее не было никого на свете.

И вдруг его седая голова склонилась на постель, старое мужественное сердце дрогнуло, он зарылся лицом в платье Козетты, и если бы кто-нибудь проходил по лестнице в эту минуту, он услышал бы ужасные рыдания.

Глава 4

Immortale jecur^[158]

Давнишняя жестокая борьба, которую мы уже наблюдали на различных этапах, возобновилась.

Иаков сражался с ангелом одну только ночь. Увы, сколько раз видели мы Жана Вальжана во мраке, один на один против своей совести, изнемогающего в отчаянной борьбе!

Неслыханное единоборство! В иные минуты у него скользила нога, в иные – под ним рушилась земля. Сколько раз в своем ожесточенном стремлении к добру совесть душила его и повергала наземь! Сколько раз безжалостная истина становилась ему коленом на грудь! Сколько раз, сраженный светом познания, он молил о пощаде! Сколько раз этот неумолимый

свет, зажженный епископом в нем и вокруг него, озарял его против воли, когда он жаждал остаться слепым! Сколько раз в этом бою он выпрямлялся, удерживаясь за скалу, хватаясь за софизм, попирая ногами свою совесть, сколько раз влачился во прахе, сам поверженный ею наземь! Сколько раз, после какой-нибудь хитрой уловки, после вероломного и лицемерного довода, подсказанного эгоизмом, он слышал над ухом голос разгневанной совести: «Это нечестный прием, негодяй!» Сколько раз его непокорная мысль хрипела в судорогах под пятой непререкаемого долга! То было сопротивление богу! То был предсмертный пот! Как много тайных ран, известных ему одному, все еще кровоточило! Как много шрамов и рубцов в его страдальческой жизни! Как часто поднимался он, весь окровавленный, изнемогающий, разбитый и просветленный, с отчаянием в сердце, но с ясным духом. И, побежденный, он признавал себя победителем. Свалив его с ног, растерзав и сломив, стоявшая над ним совесть, грозная, лучезарная, удовлетворенная, говорила: «Теперь иди с миром!»

Но увы! Какой унылый мир наступал после такой смертельной борьбы!

Жан Вальжан чувствовал, однако, что этой ночью ему предстоит выдержать последний бой. Перед ним вставал мучительный вопрос.

Предопределения судьбы не всегда ведут человека прямой дорогой; они не простираются ровной, никуда не отклоняющейся стезей перед тем, кому предназначены; там встречаются тупики, закоулки, темные повороты, зловещие перекрестки, откуда разбегается много тропинок. Жан Вальжан стоял теперь на самом опасном из этих перекрестков.

Он стоял у последнего рубежа, у пересечения путей добра и зла. Его глазам открывалось роковое перепутье. И вновь, как уже бывало с ним при иных тягостных обстоятельствах, впереди расстилались две дороги: одна искушала его, другая пугала. Какую же избрать?

На ту, что пугала, посылал его таинственный указующий перст, который является нам всякий раз, когда мы устремляем глаза в неведомое.

Жану Вальжану снова предстоял выбор между страшной гаванью и манящей ловушкой.

Значит, это правда: исцелить душу можно, изменить судьбу – никогда. Ужасная вещь – неотвратимость судьбы!

Вопрос, возникший перед ним, заключался в следующем:

Как отнесется он, Жан Вальжан, к счастью Козетты и Мариуса? Он сам хотел для них этого счастья, он сам его добился; он сам добровольно пронзил себе сердце этим счастьем и теперь, созерцая дело рук своих, мог испытывать некое удовлетворение, подобно оружейнику, который узнал бы свое клеймо на кинжале, вынимая его, еще дымящимся кровью, из своей груди.

У Козетты был Мариус, Мариус обладал Козеттой. У них было все, даже богатство. И все это создано им одним.

Но что делать с этим счастьем ему, Жану Вальжану, теперь, когда оно достигнуто, когда оно осуществилось? Наложит ли он руку на это счастье? Распорядится ли им, как своею собственностью? Разумеется, Козетта принадлежала другому; но удержит ли за собой он, Жан Вальжан, все, что мог бы удержать? Останется ли он чем-то вроде отца, посещаемого изредка, но чтимого, каким он был до сих пор? Или он спокойно поселится в доме у Козетты? Сложит ли он молча свое прошлое к ногам их будущего? Войдет ли он туда как имеющий на это право и осмелится ли сесть, не снимая маски, у их яркого очага? Будет ли сжимать, улыбаясь, их невинные руки в своих руках обреченного? Поставит ли на решетку у огня в мирной гостиной Жильнормана свои ноги, за которыми тянется позорная тень кандалов? Разделит ли он счастливую судьбу Мариуса и Козетты? Не сгустится ли мрак над его челом, не нависнет ли тень над их головами? Добавит ли он, как третью часть к их счастливой доле, свой горький удел? Станет ли молчать, как прежде? Словом, будет ли играть возле этих счастливых зловещую, немую роль судьбы?

Надо привыкнуть к злему року, к его превратностям, чтобы не потупить глаза, когда иные вопросы являются нам в своей страшной наготе. Добро или зло скрывается за суровым вопросительным знаком? «Как ты поступишь?» – спрашивает сфинкс.

Такой привычкой к испытаниям Жан Вальжан обладал. Он смотрел сфинксу прямо в глаза. Он изучал со всех сторон неразрешимую загадку.

Козетта, это прелестное существо, была спасательным кругом для потерпевшего крушение. Что делать? Ухватиться за него или выпустить из рук?

Ухватившись, он избежал бы гибели, он всплыл бы из пучины вверх, к солнцу, с его одежды и с волос стекла бы горькая морская вода. Он был бы спасен, он остался бы жить.

Выпустить из рук?

Тогда – бездна.

Так, в страданиях и муках, держал он совет со своей совестью. Вернее сказать, боролся сам с собой; он яростно ополчался то на свою волю к жизни, то на свои убеждения.

Для Жана Вальжана было счастьем, что он мог плакать. Это, быть может, прояснило его душу. Однако начало было нечеловечески трудным. Буря, гораздо свирепее той, что когда-то гнала его к Аррасу, разразилась в нем. Рядом с настоящим вставало прошлое; он сравнивал и горько плакал. Дав волю слезам и отчаянию, он изнемогал от рыданий.

Он чувствовал, что дошел до предела.

Увы, в смертельной схватке между эгоизмом и долгом, когда мы отступаем шаг за шагом перед нашим нерушимым идеалом, растерянные, ожесточенные, с бешенством сдавая позиции, отстаивая каждый клочок земли, надеясь на возможность бегства, ища выхода, – какой внезапной и зловещей преградой вырастает позади нас стена!

Чувствовать, что вам отрезала отступление священная тень!

Нечто невидимое, но неумолимое – какое наваждение!

Итак, совесть не усмирить. Решайся же, Брут! Решайся, Катон! Она бездонна, ибо она – бог. Мы бросаем в этот колодезь труды целой жизни, бросаем карьеру, богатство, славу, бросаем свободу или родину, бросаем здоровье, бросаем покой, бросаем счастье. Еще, еще, еще! Выливайте сосуд! Наклоняйте урну! В конце концов мы кидаем туда свое сердце.

Где-то во мгле древней преисподней существует такая же бездонная бочка.

Разве не простительно отказаться, наконец, от жертв? Разве неисчерпаемое может предъявлять права? Разве неизбывное бремя не превышает сил человеческих? Кто осмелится осудить Сизифа и Жана Вальжана, если они скажут: «Довольно!»

Покорность материи ограничена трением; неужели покорность души не имеет границ? Если невозможно вечное движение, разве можно требовать вечного самоотвержения?

Сделать первый шаг ничего не стоит: лишь последний шаг труден. Что значило дело Шанматье в сравнении с замужеством Козетты и с тем, что оно влекло за собой? Что значила угроза идти на каторгу в сравнении с нынешней – уйти в небытие?

О первая ступень, ведущая вниз, – какая серая мгла! О вторая ступень – какой черный мрак! Как не отпрянуть назад?

Мученичество возвышает душу, разъедая ее. Это пытка, это помазание на царство. Человек может согласиться на нее в первую минуту; он восходит на трон каленого железа, он надевает венец каленого железа, принимает державу каленого железа, берет в руки скипетр каленого железа, но ему предстоит еще облачиться в огненную мантию, – и неужели в этот миг не взбунтуется немощная плоть и он не отречется от мученического венца?

Наконец Жан Вальжан обрел покой крайнего изнеможения.

Он взвесил, обсудил, обдумал все возможности равновесия на таинственных весах света и тени.

Возложить бремя каторжника на плечи этих двух цветущих детей или завершить самому свою неминуемую гибель? В одном случае он принесет в жертву Козетту, в другом – самого себя.

На каком решении он остановился? К какому выводу пришел? Каков был его внутренний окончательный ответ на беспристрастном допросе судьбы? Какую дверь он решился отворить? Какую половину своей жизни отвергнуть и запереть за ключ? На какой из обступавших его головокружительных круч он остановил свой выбор? Какую крайность избрал? Перед которой из этих бездн склонил голову?

Его мучительное раздумье продолжалось всю ночь.

Он оставался так до утра, в том же положении, на коленях, упав ничком на кровать, сломленный непомерной тяжестью судьбы, – увы, раздавленный, быть может! – судорожно сжав кулаки, широко раскинув руки, точно распятый, которого сняли с креста и бросили наземь лицом вниз. Двенадцать часов, двенадцать часов долгой зимней ночи пролежал он, окоченевший, не подымая головы, не произнося ни слова. Он был недвижим, словно труп, пока его мысль то змеей влачилась по земле, то взлетала в небо, подобно орлу. Видя это неподвижное тело, можно было принять его за мертвого; но вдруг по нему пробежала дрожь, и, припав к платяцам Козетты, он начинал покрывать их поцелуями; тогда было видно, что он жив.

Кто это видел? Кто? Если Жан Вальжан оставался один в комнате и рядом никого не было?

Тот, кто не дремлет во мраке.

Книга седьмая

Последний глоток из чаши страданий

Глава 1

Седьмой круг и восьмое небо

День, следующий за свадьбой, овая тишиной. Люди уважают покой упоенных друг другом счастливых так же, как позднее их пробуждение. Шумные поздравления и визиты начинаются позже. Было уже за полдень, когда Баск, в утро 17 февраля, с пыльной тряпкой и метелкой под мышкой, занятый тем, что «убирался в своей прихожей», вдруг услышал тихий стук в дверь. Звонком, видимо, воспользоваться не пожелали, и эта скромность была вполне уместной в подобный день. Баск отпер дверь и увидел г-на Фошлевана. Он проводил его в гостиную, где еще царил беспорядок и все было вверх дном; она казалась полем битвы вчерашних радостей и веселья.

– Сами понимаете, сударь, мы нынче проснулись поздно, – заметил Баск.

– Ваш хозяин уже встал? – спросил Жан Вальжан.

– Как ваша рука, сударь? – вместо ответа спросил Баск.

– Лучше. Ваш хозяин встал?

– Который? Старый или молодой?

– Господин Понмерси.

– Господин барон? – переспросил Баск, приосанившись.

Титул барона имеет особенный вес в глазах его слуг. От него словно что-то перепадает и им; философ сказал бы: «брызги его величия», и это им лестно. Заметим мимоходом, что Мариус, воинствующий республиканец, как он это доказал на деле, теперь против своей воли стал бароном. Этот титул послужил причиной небольшой революции в доме. Именно г-н Жильнорман настаивал теперь на титуле, и не кто иной, как Мариус, отказывался от него. Но полковник Понмерси написал: «Мой сын наследует мой титул». И Мариус повиновался. Кроме того, Козетта, в которой начала пробуждаться женщина, была в восторге от того, что стала баронессой.

– Господин барон? – повторил Баск. – Я сейчас посмотрю. Я скажу, что господин Фошлеван желает видеть его.

– Нет, не говорите ему, что это я. Скажите, что кто-то хочет поговорить с ним с глазу на глаз, но не называйте имени.

– А! – протянул Баск.

– Я хочу сделать ему сюрприз.

– А! – повторил Баск, произнеся это второе «а!» так, словно объявил самому себе первое.

И он вышел.

Жан Вальжан остался один.

В гостиной, как мы только что упомянули, был страшный беспорядок. Казалось, если внимательно прислушаться, еще можно было уловить смутный шум свадебного праздника. На паркете валялись всевозможные цветы, выпавшие из гирлянд и дамских причесок. Догоревшие почти до конца свечи разукрасили сталактитами оплывшего воска подвески люстр. Ни один стул не стоял на своем месте. По углам, сдвинутые в кружок, три-четыре кресла словно продолжали непринужденную беседу. Все здесь дышало весельем. В отшумевшем празднике еще сохраняется какое-то очарование. Здесь гостило счастье. На этих стульях, разбросанных как попало, среди увядающих цветов, среди угасших огней думали только о радости. Солнце

заступило место люстры и заливало гостиную веселым светом.

Прошло несколько минут. Жан Вальжан стоял неподвижно на том же месте, где его оставил Баск. Он был очень бледен. Его потускневшие глаза так глубоко запали от бессонницы, что почти исчезали в орбитах. Складки измятого черного сюртука указывали на то, что его не снимали на ночь. Локти побелели от пушка, который оставляет на сукне прикосновение полотна. Жан Вальжан смотрел на лежавший у его ног рисунок окна, отброшенный солнцем.

У дверей послышался шум; он поднял глаза.

Вошел гордый, улыбающийся Мариус, с радостным лицом, озаренным сиянием, с торжествующим взором. Он тоже не спал эту ночь.

– Ах, это вы, отец! – воскликнул он, увидев Жана Вальжана. – А дурачина Баск напустил на себя такой таинственный вид! Но вы пришли слишком рано. Сейчас только половина первого. Козетта спит.

Слово «отец», обращенное Мариусом к г-ну Фошлевану, обозначало высочайшее блаженство. Между ними, как известно, всегда стояла стеной какая-то холодность и принужденность; этот лед надо было или сломать, или растопить. Мариус был до такой степени опьянен счастьем, что стена между ними рухнула сама собой, лед растаял, и г-н Фошлеван стал ему таким же отцом, как Козетте.

Он снова заговорил; слова хлынули потоком из его уст, как это свойственно человеку, охваченному божественным порывом радости.

– Как я рад вас видеть! Если бы знали, как нам недоставало вас вчера! Добрый день, отец! Как ваша рука? Лучше, не правда ли?

И, удовлетворившись своим благоприятным ответом на свой же вопрос, он продолжал:

– Как много мы с Козеттой о вас говорили. Козетта так любит вас! Не забудьте, что вам приготовлена комната. Мы больше знать не хотим об улице Вооруженного человека. Мы и слышать о ней не желаем. Как могли вы поселиться на этой улице, она такая неприветливая, некрасивая, холодная, вредная для здоровья, вся загороженная, туда и не пройдешь. Переезжайте к нам. И сегодня же. Иначе вам придется иметь дело с Козеттой. Она намерена командовать всеми нами, предупреждаю вас. Вы уже видели вашу комнату, она почти рядом с нашей, и ее окна выходят в сад; дверной замок там починили, постель приготовили, вам остается только перебраться. Козетта поставила возле вашей кровати большое старинное кресло, обитое утрехтским бархатом, и приказала этому креслу: «Раскрой ему объятия». В чащу акаций, против ваших окон, каждую весну прилетает соловей. Через два месяца вы его услышите. Его гнездышко будет налево от вас, а наше – направо. Ночью будет петь соловей, а днем будет щебетать Козетта. Ваша комната выходит прямо на юг. Козетта расставит в ней ваши книги, путешествия капитана Кука и путешествия Ванкувера, все ваши вещи. Есть у вас, кажется, маленький сундучок, которым вы особенно дорожите, я наметил там для него почетное место. Вы покорили моего деда, вы очень ему подходите. Мы будем жить все вместе. Вы умеете играть в вист? Если умеете, вы доставите моему деду огромное удовольствие. Вы будете гулять с Козеттой в дни моих судебных заседаний, будете водить ее под руку, как в былое время в Люксембургском саду, помните? Мы твердо решили быть очень счастливыми. И вы тоже, отец, будете счастливы нашим счастьем. Да, ведь вы завтракаете с нами сегодня?

– Сударь, – сказал Жан Вальжан, – мне надо сообщить вам кое-что. Я – бывший каторжник.

Для звуков существует предел резкости, за которым их не воспринимает не только слух, но и разум. Эти слова: «Я – бывший каторжник», слетевшие с губ г-на Фошлевана и коснувшиеся уха Мариуса, выходили за границы возможного. Мариус не расслышал их. Ему показалось, будто ему что-то сказали, но что именно, он не знал. Он был в сильнейшем недоумении.

Тут только он увидел, что говоривший с ним человек был страшен. Поглощенный своим

счастьем, он до этой минуты не замечал его ужасающей бледности.

Жан Вальжан снял черную повязку с правого локтя, размотал полотняный лоскут, обернутый вокруг руки, высвободил большой палец и показал его Мариусу.

– С моей рукой ничего не случилось, – сказал он.

Мариус взглянул на его палец.

– И никогда не случалось, – добавил Жан Вальжан. Действительно, на пальце не было ни малейшей царапины.

Жан Вальжан продолжал:

– Мне не следовало присутствовать на вашей свадьбе. Я, как сумел, постарался избежать этого. Я выдумал эту рану, чтобы не быть вынужденным совершить подлог, чтобы не дать повода объявить недействительным свадебный контракт, чтобы его не подписывать.

Мариус спросил запинаясь:

– Что это значит?

– Это значит, – ответил Жан Вальжан, – что я был на каторге.

– Вы сводите меня с ума! – в испуге вскричал Мариус.

– Господин Понмерси, – сказал Жан Вальжан, – я провел на каторге девятнадцать лет. За воровство. Затем я был приговорен к ней пожизненно. За повторное воровство. В настоящее время я укрываюсь от полиции.

Напрасно Мариус пытался отступить перед действительностью, не поверить факту, воспротивиться очевидности, – он вынужден был сложить оружие. Он начал понимать, и, как всегда бывает в подобных случаях, он понял и то, чего сказано не было. Он вздрогнул от внезапно озарившей его страшной догадки; его мозг пронзила мысль, заставившая его содрогнуться. Он словно проник взором в будущее и узрел там свою безотрадную участь.

– Говорите все! Говорите все! – крикнул он. – Вы отец Козетты?

И, полный невыразимого ужаса, он отшатнулся.

Жан Вальжан выпрямился с таким величественным видом, что, казалось, стал выше на голову.

– Необходимо, чтобы вы мне поверили, сударь; и хотя нашу клятву, – клятву таких, как я, – правосудие не признает...

Он помолчал, потом добавил медленно, с какою-то властной мрачной силой, подчеркивая каждый слог:

– ...Вы мне поверите. Я не отец Козетты! Видит бог, нет! Господин Понмерси, я крестьянин из Фавероля. Я зарабатывал на жизнь подрезкой деревьев. Меня зовут не Фошлеван, а Жан Вальжан. Я для Козетты – никто. Успокойтесь.

Мариус пробормотал:

– Кто мне докажет?

– Я. Мое слово.

Мариус взглянул на этого человека. Тот был мрачен и спокоен. Подобное спокойствие не совместимо ни с какой ложью. То, что обратилось в лед, – правдиво. В этом могильном холоде чувствовалась истина.

– Я вам верю, – сказал Мариус.

Жан Вальжан наклонил голову, как бы принимая это к сведению, и продолжал:

– Что я для Козетты? Прохожий. Десять лет тому назад я не знал, что она живет на свете. Я люблю ее, это верно. Как не любить дитя, которое знал с малых его лет, в годы, когда сам уже был стариком? Когда стар, чувствуешь себя дедушкой всех малышей. Мне думается, вы можете допустить, что есть и у меня что-то похожее на сердце. Она была сироткой. Без отца, без матери. Она нуждалась во мне. Вот почему я полюбил ее. Они так беспомощны, маленькие

дети, что первый встречный, даже такой человек, как я, может стать их покровителем. И я взял на себя эту обязанность в отношении Козетты. Не думаю, чтобы такую малость можно было всерьез назвать добрым делом, но если это действительно доброе дело, так и быть, считайте, что я его совершил. Отметьте это как смягчающее обстоятельство. Сегодня Козетта уходит из моей жизни; наши пути разошлись. Отныне я бессилен что-либо для нее сделать. Она – баронесса Понмерси. У нее теперь другой ангел-хранитель. И Козетта выиграла от этой перемены. Все к лучшему. А эти шестьсот тысяч франков, – хоть вы не говорите о них, но я предвижу ваш вопрос, – были мне отданы только на хранение. Каким образом очутились они в моих руках, спросите вы? Не все ли равно? Я отдаю то, что было мне поручено сохранить. А больше не о чем меня спрашивать. Я выполнил свой долг до конца, открыв вам мое настоящее имя. Но это уже касается лишь меня одного. Мне очень важно, чтобы вы знали, кто я такой.

И Жан Вальжан взглянул прямо в лицо Мариусу. Чувства, испытываемые Мариусом, были смутны и беспорядочны.

Удары судьбы, подобно порывам ветра, вздымающим водяные валы, порождают в нашей душе бурное волнение.

У каждого из нас бывают минуты глубокой тревоги, когда нами владеет полная растерянность; мы говорим первое, что приходит на ум, и часто совсем не то, что нужно сказать. Существуют внезапные откровения, невыносимые для человека и одурманивающие, словно отравленное вино. Мариус настолько был ошеломлен, что стал говорить с Жаном Вальжаном так, будто был раздосадован его признанием.

– Не понимаю, – воскликнул он, – зачем вы мне говорите все это? Кто вас принуждает? Вы могли бы хранить вашу тайну. Вас никто не выдает, не преследует, не травит. Чтобы добровольно сделать такое признание, у вас должна быть причина. Говорите до конца. Здесь кроется что-то другое. С какой целью вы разоблачаете себя? По какой причине?

– По какой причине? – проговорил Жан Вальжан таким тихим и глухим голосом, словно обращался к самому себе, а не к Мариусу. – В самом деле, по какой причине каторжнику вздумалось вдруг сказать: «Я каторжник»? Так и быть, отвечу. Да, причина есть, и странная. Я сделал это из честности. Послушайте, вот в чем несчастье: я на прочном поводе у своего сердца. Когда человек стар, эти узы особенно крепки. Все живое вокруг разрушается, а они не поддаются. Если бы я мог разорвать их, уничтожить, развязать этот узел или разрезать его и уйти далеко-далеко, я был бы спасен, мне оставалось бы только уехать, – в любом дилижансе с улицы Блуа; вы счастливы, и я могу уйти. Но я пытался оборвать эти узы, я тянул как только мог; они держались крепко, они не поддавались, вместе с ними я вырвал бы свое сердце. Тогда я сказал себе: «Я не могу жить в ином месте. Я должен остаться здесь». Вы правы, конечно. Да, я глупец. Почему бы мне не остаться просто так, без объяснений? Вы предлагаете мне комнату в вашем доме, госпожа Понмерси очень меня любит, она даже сказала тому креслу: «Раскрой ему объятия», ваш дед охотно примет меня, мое общество подходит ему, мы будем жить все вместе, обедать вместе, я буду водить под руку Козетту... госпожу Понмерси, – простите, я оговорился по привычке, – мы будем жить под одной кровлей, сидеть за одним столом, под одной лампой, греться у одного камина зимой, гулять вместе летом. Это такая радость, такое счастье, выше всего! Мы жили бы семьей. Одной семьей!

При этих словах Жан Вальжан стал страшен. Скрестив на груди руки, он устремил глаза вниз с таким видом, словно желал вырыть у своих ног бездну; голос его стал вдруг громовым.

– Одной семьей! – вскричал он. – Нет! У меня нет никакой семьи. Я не принадлежу и к вашей. Ни к одной человеческой семье. В домах, где живут люди, близкие меж собой, я лишний. Есть на свете семьи, но не для меня. Я несчастлив, я выброшен за борт. Были у меня отец и мать? Я почти сомневаюсь в этом. В тот день, когда я выдал замуж эту девочку, для меня все

было кончено. Я видел, что она счастлива, что она с человеком, которого любит, что есть при них добрый дед, есть дом, полный радости, приют двух ангелов, что все хорошо. И я сказал себе: «Не смей входить туда». Я мог солгать, это верно, я мог обмануть всех вас и остаться господином Фошлеваном. Пока это нужно было для нее, я лгал; но сейчас, ради самого себя, я не должен этого делать. Правда, мне достаточно было лишь промолчать, и все шло бы по-прежнему. Вы спрашиваете, что же принуждает меня говорить? Сушая безделица – моя совесть. Ведь промолчать было бы так просто. Я всю ночь старался убедить себя в этом; вы требуете от меня исповеди, и вы имеете на это право, настолько необычно то, что я сказал вам сейчас; ну да, я всю ночь приводил себе всякие доводы, самые веские доводы; поистине я сделал все, что было в моих силах. Но вот чего я преодолеть не мог: я не сумел разорвать ту нить, которая держит мое сердце привязанным, прикованным, припаянным к этому месту, и я не мог заставить молчать того, кто тихо беседует со мною, когда я один. Вот почему сегодня утром я пришел к вам сознаться во всем. Во всем или почти во всем. О том, что касается лишь одного меня, говорить не стоит: это я оставляю про себя. Основное вы знаете. Так вот, я взял свою тайну и принес ее вам. Я вскрыл ее на ваших глазах. Нелегко было принять это решение. Я боролся всю ночь. Ах, вы думаете, я не убеждал себя, что здесь положение другое, чем в деле Шанматье, что теперь, скрывая свое имя, я никому не приношу зла, что имя Фошлевана дано было мне самим Фошлеваном в благодарность за оказанную услугу, и я вполне мог бы оставить его за собой, что я буду счастлив в комнатке, которую вы мне предлагаете, что я никого не стесню, что буду жить в своем уголке и что, хотя Козетта и принадлежит вам, мне все же будет утешением жить в одном доме с нею. У каждого из нас была бы своя доля счастья. По-прежнему называться господином Фошлеваном – и все было бы в порядке. Все, но не моя душа. Отовсюду на меня изливалась бы радость, а в глубине моей души царила бы черная ночь. Недостаточно быть счастливым, надо быть в мире с самим собой. Теперь вообразите, что я остался господином Фошлеваном, стало быть, скрыл истинное свое лицо, стало быть, рядом с вашим расцветшим счастьем я хранил бы тайну, среди бела дня носил бы в себе тьму; стало быть, не предупреждая вас, я просто-напросто привел бы каторгу к вашему очагу и уселся за ваш стол с мыслью, что, знай вы, кто я такой, вы прогнали бы меня прочь; я позволил бы прислуживать себе вашим людям, которые, знай они все, вскрикнули бы: «Какой ужас!» Мне случилось бы коснуться вас локтем, что по праву должно вызвать в вас брезгливость, я воровал бы ваши рукопожатия! В вашем доме пришлось бы делить уважение между почтенными седидами и седидами опозоренными; в часы, когда все сердца, казалось бы, открыты друг для друга, в часы сердечной близости, когда мы будем вместе все четверо, ваш дед, вы, Козетта и я, – здесь бы присутствовал неизвестный! И единственной моей заботой в этой жизни бок о бок с вами было бы не давать никогда сдвинуться крышке этого страшного колодца. Так я, мертвец, навязал бы себя вам, живым. А ее, Козетту, приковал бы к себе навеки. Вы, она и я представляли бы собою три головы под зеленым колпаком каторжника! И вы не содрогаетесь? Сейчас я только несчастнейший из людей, а тогда был бы самым гнусным из них. И это преступление я совершал бы всякий день! И эту ложь я повторял бы всякий день! И этой черной маской скрывал бы мое лицо всякий день! И я делал бы вас участниками моего позора всякий день! Всякий день! Вас, моих любимых, вас, моих детей, моих невинных ангелов! Молчать легко? Таиться просто? Нет, не просто. Есть молчание, которое лжет. И мою ложь, и мой обман, низость, трусость, вероломство, преступление я испил бы каплю за каплей, я выплюнул бы их и снова пил, кончал бы в полночь и вновь начинал в полдень, и я лгал бы, говоря: «С добрым утром», и говоря: «Спокойной ночи», и этой ложью я накрывался бы вместо одеяла, ложась спать, и ел бы с нею свой хлеб, и смотрел бы Козетте в лицо, и отвечал бы улыбкой дьявола на улыбку ангела, – я был бы низким негодяем! И ради чего? Чтобы быть счастливым. Мне быть

счастливым! Разве имею я право на это? Я выброшен из жизни, сударь!

Жан Вальжан остановился. Мариус молчал. Подобные излияния, где мысли дышат сердечной мукой, прервать невозможно. Жан Вальжан снова понизил голос, но он звучал теперь уже не глухо, а зловеще.

– Вы спрашиваете, зачем я говорю? Меня никто не выдает, не преследует, не травит, сказали вы. Напротив! Меня выдают, меня преследуют, меня травят! Кто? Я сам. Я сам преграждаю себе дорогу, я сам тащу себя, толкаю, арестую, казню; а когда попадешь самому себе в руки, из них нелегко вырваться.

И, крепко схватив себя за воротник, он продолжал, обернувшись к Мариусу:

– Поглядите-ка на этот кулак. Не находите ли вы, что он держит воротник так крепко, как будто впился в него навеки? Ну вот, у совести такая же мертвая хватка. Если желаете быть счастливым, сударь, никогда не пытайтесь уразуметь, что такое долг, ибо стоит лишь понять это, как он становится неумолимым. Он словно карает вас за то, что вы постигли его. Но нет, он же и вознаграждает вас, ибо в аду, куда он вас ввергает, вы чувствуете рядом с собой бога. Пока не истерзаешь всю свою душу, не будешь в мире с самим собой.

И с мучительным, скорбным выражением он добавил:

– Господин Понмерси, хотя это и противоречит здравому смыслу, но я – честный человек. Именно потому, что я падаю в ваших глазах, я возвышаюсь в своих собственных. Это случилось уже со мною однажды, но тогда мне не было так больно; тогда это были пустяки. Да, я честный человек. Я не был бы им, если бы по моей вине вы продолжали меня уважать; теперь же, когда вы презираете меня, я остаюсь честным. Надо мной тяготеет рок: я могу пользоваться лишь незаконно присвоенным уважением, которое меня внутренне унижает и тяготит, а для того чтобы я мог уважать себя, надо, чтобы другие презирали меня. Тогда я держу голову высоко. Я – каторжник, но я повинуюсь своей совести. Я отлично знаю, что это кажется мало правдоподобным. Но что поделать, если это так? Я заключил с собою договор, и я выполняю его. Есть встречи, которые ко многому обязывают, есть случайности, которые призывают нас к исполнению долга. Видите ли, господин Понмерси, мне многое пришлось испытать в жизни.

Жан Вальжан снова помолчал и, с усилием проглотив слюну, словно в ней оставался горький привкус его слов, продолжал:

– Если человек отмечен клеймом позора, он не вправе принуждать других делить его с ним без их ведома, он не вправе заражать их чумой, он не вправе незаметно увлекать их в пропасть, куда упал сам, он не вправе накидывать на них свою арестантскую куртку, он не вправе омрачать счастье ближнего своим несчастьем. Приблизиться к тем, кто цветет здоровьем, коснуться их во мраке тайной своей язвой – это гнусно. Пусть Фошлеван ссудил меня своим именем, я не имею права им воспользоваться; он мог мне его дать, но я не смею носить его. Имя – это человеческое «я». Видите ли, сударь, хоть я и крестьянин, я кое о чем размышлял, кое-что читал; как видите, я умею приличным образом выражать свои мысли. Я отдаю себе отчет во всем. Я сам воспитал себя. Так вот, похитить имя и укрыться под ним – бесчестно. Ведь буквы алфавита могут быть присвоены таким же мошенническим способом, как кошелек или часы. Быть подложной подписью из плоти и крови, быть отмычкой к дверям честных людей, обманом войти в их жизнь, не смотреть прямо в лицо, вечно отводить глаза в сторону, чувствовать себя подлецом, нет, нет, нет, нет! Лучше страдать, истекать кровью, рыдать, раздирать лицо ногтями, по ночам не находить себе места в смертельной тоске, терзать свое тело и душу! Вот почему я рассказал вам все это. Добровольно, как выразились вы.

Он тяжело вздохнул и закончил:

– Когда-то, чтобы жить, я украл хлеб; теперь, чтобы жить, я не желаю красть имя.

– Чтобы жить? – прервал Мариус. – Вам не нужно это имя, чтобы жить.

– Ах, я знаю, что говорю! – ответил Жан Вальжан, медленно покачивая головой.

Наступила тишина. Оба молчали, погружившись каждый в глубокое, тяжелое раздумье. Мариус сидел у стола, подперев голову рукой и приложив согнутый палец к уголку рта. Жан Вальжан ходил по комнате. Задержавшись перед зеркалом, он постоял неподвижно, затем, как бы отвечая на собственное безмолвное возражение, сказал, вперив в зеркало невидящий взгляд:

– Зато теперь я облегчил свое сердце!

Он снова стал ходить и направился в другой конец комнаты. В ту минуту, как он поворачивал обратно, он заметил, что Мариус провожает его взглядом. Тогда он произнес с каким-то особенным выражением:

– Я немного волочу ногу. Теперь вам понятно почему.

И, обернувшись лицом к Мариусу, продолжал:

– А теперь, сударь, вообразите себе вот что: я ничего не сказал, я остался господином Фошлеваном, я занял место среди вас, стал своим, я живу в моей комнате, выхожу к завтраку в домашних туфлях, вечером мы втроем идем в театр, я провожаю госпожу Понмерси в Тюильри или в сквер на Королевской площади, мы постоянно вместе, вы считаете меня человеком вашего круга; и в один прекрасный день мы беседуем, мы смеемся, я здесь, вы – вон там, и вдруг вы слышите голос, громко произносящий: «Жан Вальжан!» И вот тянется из мрака страшная рука, рука полиции, и внезапно срывает с меня маску.

Он снова замолчал. Мариус, вздрогнув от ужаса, поднялся с места. Жан Вальжан спросил:

– Что вы на это скажете?

Молчание Мариуса было ответом. Жан Вальжан продолжал:

– Вы отлично видите, что я прав, не пожелав молчать. Послушайте, будьте счастливы, возноситесь в небеса, будьте ангелом-хранителем для другого ангела, купайтесь в солнечном сиянии и довольствуйтесь этим. Что вам до того, каким именно способом бедный грешник вскрывает себе грудь, чтобы выполнить свой долг; пред вами несчастный человек, сударь.

Мариус медленно пересек гостиную и, очутившись возле Жана Вальжана, протянул ему руку.

Но Мариусу пришлось самому взять его руку – она не поднялась ему навстречу. Жан Вальжан не противился, и Мариусу показалось, что он пожал каменную десницу.

– У моего деда есть друзья, – сказал Мариус, – я добьюсь для вас помилования.

– Поздно, – возразил Жан Вальжан. – Меня считают умершим, этого достаточно. Мертвецы не подвластны полицейскому надзору. Им предоставляют мирно гнить в могиле. Смерть – это то же, что помилование.

И, высвободив свою руку из пальцев Мариуса, он присовокупил с каким-то непоколебимым достоинством:

– К тому же и у меня есть друг, к чьей помощи я прибегаю, – это выполнение долга; и лишь в одном помиловании я нуждаюсь, – в том, какое может даровать мне моя совесть.

В это время на другом конце гостиной тихонько приотворилась дверь, и между ее полуоткрытых створок показалась головка Козетты. Видно было только ее милое лицо; волосы ее рассыпались в очаровательном беспорядке, веки слегка припухли от сна. Словно птичка, высунувшая головку из гнезда, она окинула взглядом мужа, потом Жана Вальжана и крикнула, смеясь, – казалось, роза расцвела улыбкой:

– Держу пари, что вы говорите о политике. Как глупо этим заниматься, вместо того чтобы быть со мной!

Жан Вальжан вздрогнул.

– Козетта!.. – пролепетал Мариус. И замолк.

Могло показаться, что оба они в чем-то виноваты. Козетта, сияя от удовольствия,

продолжала глядеть на обоих. В глазах ее словно играли отсветы рая.

– Я поймала вас на месте преступления, – заявила Козетта. – Я только что слышала за дверью, как отец мой Фошлеван говорил: «Совесть... Выполнить свой долг», – это о политике, ведь так? Я не хочу. Нельзя говорить о политике сразу, на другой же день. Это несправедливо.

– Ты ошибаешься, Козетта, – возразил Мариус. – У нас деловой разговор. Мы говорим о том, как выгоднее поместить твои шестьсот тысяч франков...

– Не в этом дело, – перебила его Козетта. – Я пришла. Хотят меня здесь видеть?

И, решительно шагнув вперед, она вошла в гостиную. На ней был широкий белый пеньюар с длинными рукавами, спадающий множеством складок от шеи до пят. На золотых небесах старинных средневековых картин можно увидеть эти восхитительные хламиды, окутывающие ангелов.

Она оглядела себя с головы до ног в большом зеркале и воскликнула в порыве невыразимого восторга:

– Жили на свете король и королева! О, как я рада! – Вслед за тем она сделала реверанс Мариусу и Жану Вальжану.

– Ну вот, – сказала она, – теперь я пристроюсь возле вас в кресле, завтрак через полчаса, вы будете разговаривать о чем хотите; я ведь знаю, мужчинам надо поговорить, и я буду сидеть смирно.

Мариус взял ее за руку и сказал влюбленным голосом:

– У нас деловой разговор.

– Знаете, – заметила Козетта, – я растворила окно, сейчас в наш сад налетела туча смешных крикунов. Не карнавальных, а просто воробьев. Сегодня уже покаянная среда, а у них все еще Масленица.

– Говорю тебе, малютка моя, Козетта, что мы беседуем о делах, оставь нас ненадолго. Мы говорим о цифрах. Тебе это наскучит.

– Ты сегодня надел прелестный галстук, Мариус. Вы большой франт, милостивый государь. Нет, мне это не наскучит.

– Уверю тебя, что ты соскучишься.

– Нет. Потому что это вы. Я не пойму вас, но я буду вас слушать. Когда слышишь любимые голоса, нет нужды понимать слова. Быть здесь, с вами – мне больше ничего не надо. Я остаюсь, вот и все.

– Козетта, любимая моя, это невозможно.

– Невозможно?

– Да.

– Ну что ж, – сказала Козетта. – А я было хотела рассказать вам, что дедушка еще спит, что тетушка ушла к обеду, что в комнате отца моего, Фошлевана, дымит камин, что Николетта позвала трубочиста, что Тусен и Николетта уже успели повздорить, что Николетта насмехается над заиканием Тусен. Так и быть, вы ничего не узнаете. Ага, это невозможно? Ну погодите, придет и мой черед, вот увидите, сударь, я тоже скажу: «Это невозможно». Кто тогда останется с носом? Мариус, миленький, прошу тебя, позволь мне посидеть с вами.

– Клянусь тебе, нам надо поговорить без посторонних.

– Ну, а разве я посторонняя?

Жан Вальжан не произносил ни слова. Козетта обернулась к нему:

– А вы, отец? Прежде всего я хочу, чтобы вы меня поцеловали. А потом, на что это похоже – не говорить ни слова, вместо того чтобы вступить за меня? Кто ж это наградил меня таким отцом? Вы отлично видите, как я несчастна в семейной жизни. Мой муж меня бьет. Говорят вам, поцелуйте меня сию же минуту.

Жан Вальжан приблизился к ней.

Козетта обернулась к Мариусу:

– А вам гримаса, – вот получайте.

Потом подставила лоб Жану Вальжану. Он сделал шаг ей навстречу. Козетта отшатнулась:

– Как вы бледны, отец. У вас так сильно болит рука?

– Она прошла, – сказал Жан Вальжан.

– Вы плохо спали?

– Нет.

– Вам грустно?

– Нет.

– Тогда поцелуйте меня. Если вы здоровы, если вы спали хорошо, если вы довольны, я не буду вас бранить.

И она снова подставила ему лоб.

Жан Вальжан запечатлел поцелуй на ее сиявшем небесной чистотой челе.

– Улыбнитесь.

Жан Вальжан повиновался. Это была улыбка призрака.

– А теперь защитите меня от моего мужа.

– Козетта!.. – начал Мариус.

– Выберите его, отец. Скажите ему, что мне необходимо остаться. Можно отлично разговаривать и при мне. Вы, видно, считаете меня совсем дурочкой. Разве то, что вы говорите, так уж удивительно? Дела, поместить деньги в банке, – подумаешь, какая важность! Мужчины вечно напускают на себя таинственность по пустякам. Я хочу остаться. Я сегодня очень хорошенькая. Посмотри на меня, Мариус.

Она повела плечами и, очаровательно надув губки, подняла глаза на Мариуса. Словно молния сверкнула между этими двумя существами. То, что здесь присутствовало третье лицо, не имело значения.

– Люблю тебя! – сказал Мариус.

– Обожаю тебя! – сказала Козетта.

И, повинувшись неодолимой силе, они упали друг к другу в объятия.

– А теперь, – снова заговорила Козетта, с забавным, торжествующим видом оправляя складки своего пеньюара, – я остаюсь.

– Нет, нельзя, – сказал Мариус умоляющим тоном. – Нам надо кое-что закончить.

– Опять нет?

Мариус постарался придать голосу строгое выражение:

– Уверю тебя, Козетта, что это невозможно.

– А, вы заговорили голосом властелина, сударь! Хорошо же. Мы уйдем. А вы, отец, так и не заступились за меня. Господин супруг мой, господин отец мой, вы – тираны. Сейчас я все расскажу дедушке. Если вы думаете, что я вернусь и стану просить, унижаться, вы ошибаетесь. Я горда. Теперь я подожду, пока вы сами придете. Вы увидите, как вам будет скучно без меня. Я ухожу, так вам и надо.

И она вышла из комнаты.

Через секунду дверь снова отворилась, снова меж двух створок показалось ее свежее, румяное личико, и она крикнула:

– Я очень сердита!

Дверь затворилась, и вновь наступил мрак.

Словно заблудившийся солнечный луч, неведомо для себя, неожиданно прорезал тьму и скрылся. Мариус проверил, плотно ли затворена дверь.

– Бедная Козетта! – прошептал он. – Когда она узнает...

При этих словах Жан Вальжан весь задрожал. Устремив на Мариуса растерянный взгляд, он заговорил:

– Козетта! Да, правда, вы все скажете Козетте. Это справедливо. Ах, я не подумал об этом. На одно у человека хватает сил, на другое нет. Сударь, заклинаю вас, молю вас, сударь, поклянитесь мне всем святым, что не скажете ей ничего. Разве не достаточно того, что вы сами знаете все? Я мог бы, никем не принуждаемый, по собственной воле сказать об этом кому угодно, целой вселенной, мне это все равно. Но она, она не должна знать, что это такое. Это ужаснет ее. Каторжник, подумайте! Пришлось бы объяснить ей, сказать: «Это человек, который был на галерах». Она видела однажды, как проходила партия каторжников. Боже мой, боже!

Он тяжело опустился в кресло и спрятал лицо в ладонях. Не слышно было ни звука, но плечи его вздрагивали, и видно было, что он плакал. Безмолвные слезы – страшные слезы.

Сильные рыдания вызывают у человека удушье. По телу Жана Вальжана словно пробежала судорога, он откинулся назад, на спинку кресла, как бы для того, чтобы перевести дыхание, руки его повисли, и Мариус увидел его залитое слезами лицо, услышал шепот, такой тихий, что казалось, он исходил из бездонной глубины: «О, если б умереть».

– Успокойтесь, – сказал Мариус, – я буду свято хранить вашу тайну.

Мариус, возможно, был менее растроган, чем следовало. Ему трудно было за этот час свыкнуться с ужасной новостью, постепенно поверить в эту истину, видеть, как мало-помалу каторжник заслоняет от него г-на Фошлевана, и наконец прийти к сознанию пропасти, которая внезапно разверзлась между ним и этим человеком. Но он добавил:

– Я должен сказать хотя бы несколько слов по поводу вверенного вам имущества, которое вы так честно и в такой неприкосновенности возвратили. Это свидетельствует о высокой порядочности. Было бы вполне справедливо, чтобы за это вы получили вознаграждение. Назначьте сами нужную сумму, она будет вам выплачена. Не бойтесь, что она покажется слишком высокой.

– Благодарю вас, сударь, – кротко ответил Жан Вальжан.

Он задумался на мгновение, машинально поглаживая кончиком указательного пальца ноготь большого, затем, повысив голос, произнес:

– Все почти сказано. Остается последнее...

– Что именно?

Жаном Вальжаном, казалось, овладела величайшая нерешительность, и беззвучно, почти не дыша, он сказал, вернее, пролепетал:

– Теперь, когда вам известно все, не считаете ли вы, сударь, – вы, муж Козетты, – что я больше не должен ее видеть?

– Я считаю, что так было бы лучше, – холодно ответил Мариус.

– Я не увижу ее больше, – прошептал Жан Вальжан.

И он направился к выходу.

Он тронул дверную ручку, она повернулась, дверь полуоткрылась. Жан Вальжан распахнул ее шире, чтобы пройти, постоял неподвижно с минуту, потом снова затворил дверь и обернулся к Мариусу.

Лицо его уже не было бледным, оно приняло свинцовый оттенок. Глаза были сухи, и в них пылал какой-то скорбный огонь. Голос его стал до странности спокоен:

– Послушайте, сударь, если вы позволите, я буду навещать ее. Уверяю вас, мне это необходимо. Если бы для меня не было так важно видеть Козетту, я не сделал бы вам того признания, которое вы слышали, я просто уехал бы. Но я хотел остаться там, где Козетта, хотел ее видеть, вот почему я должен был честно вам все рассказать. Вы следите за моей мыслью? Это

ведь так понятно. Видите ли, уже девять лет, как она со мною. Сначала мы жили в той лачуге на бульваре, потом в монастыре, потом возле Люксембургского сада. Там, где вы увидели ее впервые. Помните ее синюю бархатную шляпку? Затем мы переехали в квартал Инвалидов, на улицу Плюме, у нас был сад за решеткой. Я жил на заднем дворике, откуда мне слышно было ее фортепьяно. Вот и вся моя жизнь. Мы никогда не разлучались. Это длилось девять лет и несколько месяцев. Я заменял ей отца, она была мое дитя. Не знаю, понимаете ли вы меня, господин Понмерси, но уйти сейчас, не видеть ее больше, не говорить с нею больше, лишиться всего – это было бы слишком тяжело. Если вы не найдете в том ничего дурного, я буду приходить иногда к Козетте. Я не приходил бы часто. Не оставался бы надолго. Вы распорядились бы, чтобы меня принимали в маленькой нижней зале. В первом этаже. Я входил бы, конечно, с черного крыльца, которым ходят ваши слуги, хотя, быть может, это вызвало бы толки. Лучше, пожалуй, проходить через парадное. Право же, сударь, мне очень хотелось бы время от времени видиться с Козеттой. Так редко, как только вы пожелаете. Вообразите себя на моем месте, кроме нее, у меня ничего нет в жизни. А потом, надо быть осторожным. Если бы я перестал приходить совсем, это произвело бы дурное впечатление, это сочли бы странным. Вот что: я мог бы, например, приходить по вечерам, когда совсем стемнеет.

– Вы будете приходить каждый вечер, – сказал Мариус, – и Козетта будет вас ждать.

– Вы очень добры, сударь, – проговорил Жан Вальжан.

Мариус поклонился Жану Вальжану, счастливец проводил несчастного до дверей, и эти два человека расстались.

Глава 2

Какие неясности могут таиться в разоблачении

Мариус был потрясен.

Странное чувство отчуждения, всегда испытываемое им к человеку, возле которого он видел Козетту, отныне стало ему понятным. В этой личности было нечто загадочное, о чем давно предупреждал его инстинкт. Загадка эта оказалась последней ступенью позора – каторгой. Господин Фошлеван оказался каторжником Жаном Вальжаном.

Открыть внезапно такую тайну в самом расцвете своего счастья – все равно что обнаружить скорпиона в гнезде горлицы.

Было ли счастье Мариуса и Козетты обречено отныне на такое соседство? Считать ли это свершившимся фактом? Был ли обязан Мариус, вступив в брак, признать этого человека? Неужели тут ничего нельзя поделать?

Неужели Мариус связал свою жизнь с каторжником?

Пусть венок, сплетенный из света и веселья, венчает голову счастливца, пусть наслаждается он великим, блаженнейшим часом своей жизни – разделенной любовью, такой удар заставил бы содрогнуться даже архангела, погруженного в экстаз, даже героя в ореоле его славы.

Как всегда бывает с тем, у кого на глазах происходят подобные превращения, Мариус стал раздумывать – не следует ли ему упрекнуть в этом себя самого? Не изменило ли ему внутреннее чутье? Не проявил ли он невольного легкомыслия? До некоторой степени, пожалуй. Не пустился ли он слишком опрометчиво в это любовное приключение, закончившееся браком с Козеттой, даже не наведя справок о ее родных? Именно таким путем, заставляя нас последовательно уяснять наши же поступки, жизнь мало-помалу исправляет нас. Он видел теперь склонную к мечтательности и фантазиям сторону своего характера, подобную скрытому от глаз облаку, которое у многих натур, при пароксизмах страсти и боли, меняет температуру души, сгущается и, заполняя человека целиком, помрачает его сознание. Мы не раз уже

указывали на эту характерную особенность личности Мариуса. Он вспоминал, что на улице Плюме, в течение упоительных шести или семи недель, опьяненный любовью, он даже ни разу не говорил Козетте о драме в лачуге Горбо и о странном поведении потерпевшего, который упорно молчал во время борьбы и тотчас бежал по ее окончании. Как случилось, что он ничего не рассказал Козетте? Это ведь произошло так недавно и было так ужасно! Как случилось, что он даже не упомянул о семье Тенардье, в особенности в тот день, когда встретил Эпонину? Сейчас он лишь с трудом мог объяснить себе свое тогдашнее молчание. Тем не менее он отдавал себе в этом отчет. Он вспоминал себя, свое безумие, свое опьянение Козеттой, всепоглощающую любовь – это вознесение влюбленных на высоты идеала; и быть может, как неприметную крупницу рассудка в том бурном и восхитительном порыве души, он припоминал также смутную и затаенную мысль скрыть и изгладить из памяти опасное приключение, которого он боялся касаться, где не желал играть никакой роли, от которого бежал и где не мог быть ни рассказчиком, ни свидетелем, не будучи в то же время обвинителем. К тому же эти несколько недель промелькнули, словно молния; не хватало времени ни на что другое, как только любить друг друга. Наконец, если бы даже, все взвесив, все пересмотрев, все обсудив, он и рассказал Козетте о засаде в лачуге Горбо, если бы и назвал Тенардье, – какое это могло иметь значение? Даже если бы он открыл, что Жан Вальжан – каторжник, изменило бы это что-нибудь в нем, в Мариусе? Изменило бы это что-нибудь в ней, в Козетте? Разве он отступил бы от нее? Разве перестал бы обожать? Разве отказался бы взять в жены? Нет. Изменило бы это хоть сколько-нибудь то, что совершилось? Нет. Значит, не о чем жалеть, не в чем упрекать себя. Все было хорошо. Есть еще бог в небесах и для этих пьяниц, которые зовутся влюбленными. Слепой Мариус следовал тем же путем, который избрал бы зрячим. Любовь завязала ему глаза, чтобы повести его – куда? В рай.

Но этот рай отныне омрачало соседство с адом.

Давнее нерасположение Мариуса к этому человеку, к Фошлевану, превратившемуся в Жана Вальжана, сменилось теперь ужасом.

Заметим, однако, что в этом ужасе была доля жалости и даже некоторого восхищения.

Этот вор, вор неисправимый, вернул отданную ему на хранение сумму. И какую! Шестьсот тысяч франков. Он один знал тайну этих денег. Он мог все оставить себе и, однако, все возвратил.

Кроме того, он сам выдал свое истинное общественное положение. Ничто его к тому не принуждало. Если и открылось, кто он такой, то лишь благодаря ему самому. Его признание означало нечто большее, чем готовность к унижению, – оно означало готовность к опасности. Для осужденного маска – это не маска, а прибежище. Он отказался от этого прибежища. Чужое имя для него – безопасность; он отверг это чужое имя. Он, каторжник, мог навсегда укрыться в достойной семье, и он устоял перед таким искушением. По какой же причине? Этого требовала его совесть. Он сам объяснил это с неотразимой убедительностью истины. Словом, каков бы ни был этот Жан Вальжан, неоспоримо одно – в нем пробуждалась совесть. В нем чувствовалось начало некоего таинственного возрождения; по всей видимости, душевное беспокойство уже с давних лет владело этим человеком. Подобное стремление к добру и справедливости несвойственно натурам заурядным. Пробуждение совести – признак величия души.

Жан Вальжан говорил искренне. Судя хотя бы по той боли, какую причиняла ему эта искренность, видимая, осязаемая, неопровержимая, подлинная, она делала ненужными иные доказательства и придавала значительность словам этого человека. Положение дел для Мариуса странным образом изменилось. Какое чувство внушал к себе господин Фошлеван? Недоверие. Что вызывал в нем Жан Вальжан? Доверие.

Мысленно оценивая поступки Жана Вальжана, Мариус устанавливал актив и пассив и

старался свести баланс. Но вокруг него и в нем самом словно бушевала буря. Пытаясь составить себе ясное представление об этом человеке, вызывая образ Жана Вальжана из самых глубин своей памяти, он то терял, то вновь обретал его в каком-то роковом тумане.

Честно возвращенная сумма денег, которую доверили ему, правдивость признания – все это хорошо. Это напоминало просвет в туче, но потом туча снова становилась черной.

Как ни смутны были воспоминания Мариуса, но и они говорили о тайне.

Что же, собственно, происходило на чердаке Жондрета? Почему при появлении полиции этот человек, вместо того чтобы обратиться к ней за помощью, исчез? Здесь ответ стал ясен для Мариуса. Потому, что человек этот бежал из места заключения и скрывался от полиции.

Другой вопрос: почему этот человек появился на баррикаде? Ибо сейчас перед Мариусом, в его взволнованной душе, вновь отчетливо всплыло это воспоминание, подобно симпатическим чернилам, которые выступают под действием огня. Этот человек был на баррикаде. Но он не сражался. Зачем же он туда пришел? Перед этим вопросом вставал призрак и отвечал на него: то был Жавер. Мариус теперь ясно вспоминал злое появление Жана Вальжана, увлекающего за собой с баррикады связанного Жавера, и ему еще слышался страшный звук пистолетного выстрела, донесшийся из-за угла переулочка Мондетур. Между шпионом и каторжником, надо полагать, существовала давнишняя вражда. Они мешали друг другу. Жан Вальжан явился на баррикаду, чтобы отомстить. И пришел позднее других. По-видимому, он знал, что Жавер был захвачен в плен. Корсиканская вендетта, проникнув в низшие слои общества, стала там законом; она так вошла в обычай, что не удивляет даже тех, кто наполовину обратился к добру; эти натуры таковы, что злодея, вступившего на путь раскаяния, может смутить мысль о воровстве, но не мысль о мести. Жан Вальжан убил Жавера. По крайней мере это казалось Мариусу бесспорным.

Наконец последний вопрос. Но на него ответа не было. И этот вопрос терзал Мариуса, словно раскаленные клещи. Как могло случиться, чтобы жизнь Жана Вальжана так долго шла бок о бок с жизнью Козетты? Что означала темная игра провидения, столкнувшего ребенка с этим человеком? Значит, и там, наверху, существуют оковы, значит, и богу бывает угодно сковать одной цепью ангела с демоном? Значит, грех и невинность могут оказаться товарищами по камере на таинственной каторге бедствий? И в этом шествии осужденных, что зовется судьбой человеческой, могут очутиться рядом два чела – одно ясное и чистое, другое страшное, одно озаренное сиянием утра, другое навеки опаленное молнией божьего гнева. Кто мог предопределить столь необъяснимый союз? Каким образом, каким чудом могла слиться судьба небесного юного создания с судьбой закоренелого грешника? Кто мог соединить ягненка с волком и – нечто еще более непостижимое – привязать волка к ягненку? Ибо волк любил ягненка, ибо свирепое существо боготворило существо слабое, ибо целых девять лет исчадие ада служило поддержкой ангелу. Детство и юность Козетты, ее девственный расцвет – этот порыв навстречу жизни и познанию преданно охранялись этим чудовищем. Здесь вопросы как бы распадалась на бесчисленные загадки, в глубине одной пропасти разверзалась другая, и Мариус, думая о Жане Вальжане, испытывал головокружение. Кто же был этот человек-бездна?

Древние символы Книги Бытия вечны: человеческое общество, такое, как оно есть, пока не преобразит его более высокое откровение, всегда порождало и будет порождать два типа людей: человека возвышенного и человека низкого; того, кто исповедует добро, – Авеля, и того, кто исповедует зло, – Каина. Кто же был этот Каин с нежным сердцем? Кто же был этот разбойник, который, как перед святыней, преклонялся перед девственницей, охранял ее, растил, оберегал, укреплял в добродетели и, сам порочный, окружал ее ореолом непорочности? Что же это за грешник, который благоговел перед невинностью и не запятнал ее ничем? Кто же был этот Жан Вальжан, воспитавший Козетту? Что представлял собою этот выходец из мрака, поглощенный

одной-единственной заботой – предохранить от малейшей тени, от малейшего облачка восход звезды?

Это было тайной Жана Вальжана; это было и божьей тайной.

Маркус отступал перед двойной этой тайной. Одна из них до известной степени успокаивала его относительно другой. Во всем этом столь же явно, как и Жан Вальжан, присутствовал бог. У бога свои орудия. Он пользуется тем средством, каким пожелает. Он не обязан давать отчет человеку. Ведомо ли нам, как господь вершит свои деяния? Жану Вальжану стоило больших трудов воспитать Козетту. До некоторой степени он был создателем ее души. Это неоспоримо. Ну и что же? Работник был ужасающе безобразен, но работа его оказалась восхитительной. Бог волен творить чудеса, как хочет. Он создал очаровательную Козетту, а воспитателем приставил к ней Жана Вальжана. Ему угодно было избрать себе такого странного помощника. Какой счет мы можем предъявить ему? Разве впервые навоз помогает весне взрастить розу?

Мариус сам отвечал на свои вопросы и убеждал себя, что ответы правильны. Допрашивать Жана Вальжана по поводу всех указанных нами сомнений он не осмеливался, сам себе в том не сознаваясь. Он обожал Козетту, он обладал Козеттой, Козетта сияла невинностью. Этого было ему довольно. В каких разъяснениях нуждался он еще? Его возлюбленная была светом. Нуждается ли свет в разъяснении? У него было все; чего еще мог он желать? Все – разве этого не достаточно? Что ему до личных дел Жана Вальжана! И, наклоняясь мысленно над роковой тенью, он цеплялся за торжественное заявление, сделанное этим отверженным: «Я – никто для Козетты. Десять лет тому назад я не знал о ее существовании».

Жан Вальжан был случайным прохожим. Он сам это сказал. Ну вот, он и прошел мимо. Кто бы он ни был, его роль окончена. Отныне оставался Мариус, чтобы заступить место провидения Козетты. В лазурной вышине Козетта разыскала существо себе подобное, возлюбленного, мужа, посланного небом супруга. Улетая ввысь, Козетта, окрыленная и преображенная, подобно бабочке, вышедшей из куколки, оставляла на земле свою пустую и отвратительную оболочку – Жана Вальжана.

Какие бы мысли ни кружились в голове Мариуса, он снова и снова испытывал некий ужас перед Жаном Вальжаном. Ужас священный, быть может, ибо, как мы только что отметили, он чувствовал *quid divinum* в этом человеке. Но что бы он ни делал, какие бы смягчающие обстоятельства ни отыскивал, неизбежно приходилось возвращаться к одному: это был каторжник, иначе говоря, существо, которое даже не имело места на общественной лестнице, опустившись ниже последней ее ступеньки. За самым последним из людей идет каторжник. Каторжник, собственно говоря, уже не принадлежит к числу живых. Закон лишил его всего человеческого – всего, что только он в силах отнять у человека. Хотя Мариус и был демократом, он тем не менее в вопросах, касающихся судебных наказаний, все еще стоял за систему беспощадной кары и всех тех, кого карал закон, рассматривал с точки зрения этого закона. Заметим, что духовное развитие Мариуса еще не было завершено. Он еще не умел отличить то, что начертано человеком, от того, что начертано богом, отличить закон от права. Он еще не обдумал и не взвесил присвоенного себе человеком права распоряжаться тем, что невосвратимо и непоправимо. Его не возмущало слово *vindicta*^[159]. Он считал справедливым, чтобы некоторые посягательства на писанный закон имели последствием пожизненное наказание, и признавал социальное проклятие как способ воздействия, найденный цивилизацией. Он еще стоял на этой ступени, но с тем, чтобы позже неминуемо подняться выше, так как по натуре был добр и бессознательно вступил уже на путь прогресса.

В свете таких идей Жан Вальжан казался ему существом уродливым и отталкивающим. Это был отверженный. Это был каторжник. Последнее слово звучало в его ушах трубным гласом

правосудия, и после долгого размышления над Жаном Вальжаном он кончил тем, что отвратился от него. Vade retro^[160].

Следует отметить и даже подчеркнуть, что, расспрашивая Жана Вальжана, – тот даже сказал ему: «Вы исповедуете меня», – Мариус, однако, не задал ему двух-трех вопросов, имеющих решающее значение. И не потому, чтобы они не вставали перед ним, – он боялся их. Чердак Жондрета? Баррикада? Жавер? Кто знает, к чему привели бы эти разоблачения? Жан Вальжан не казался человеком, способным отступить, и, кто знает, не пожелал ли бы Мариус, толкнув его на признание, сам остановить его? Не случилось ли нам всем, мучаясь страшными подозрениями, задать вопрос и тут же затыкать уши, чтобы не слышать ответа? Особенно тем, кто любит, свойственно подобное малодушие. Неблагодарно исследовать до дна обстоятельства, таящие угрозу против нас самих да еще связанные роковым образом с тем, что неотторжимо от собственной нашей жизни. Кто знает, какой ужасный свет могли пролить на всё безрассудные признания Жана Вальжана, кто знает, не может ли дотянуться этот омерзительный луч и до Козетты? Кто знает, не останется ли на челе этого ангела мерцающий отсвет адского пламени? И самая короткая вспышка молнии сопровождается громовым ударом. Воля рока такова, что даже сама невинность обречена нести на себе клеймо греха, став жертвой таинственного закона отражения. Случается, что на самых чистых созданиях навеки остается след отвратительного соседства. Справедливо или нет, но Мариус боялся этого. Он и так слишком много узнал. Ему скорее хотелось все забыть, нежели все понять. Полный смятения, он словно спешил унести Козетту в своих объятиях, отвращая глаза от Жана Вальжана.

Тот человек был сродни ночи, ночи одушевленной и страшной. Как отважиться углубиться в нее? Нет ничего ужаснее, чем допрашивать тьму. Кто знает, что она ответит? Заря могла быть омраченной навеки.

В таком душевном состоянии Мариус не мог думать без мучительного беспокойства, что этот человек и дальше будет иметь какое-то отношение к Козетте. Он почти упрекал себя за то, что отступил, что не задал тех роковых вопросов, за которыми могло последовать неумолимое, бесповоротное решение. Он считал, что был слишком добр, слишком мягок и, скажем прямо, слишком слаб. Эта слабость толкнула его на неосторожную уступку. Он позволил себе растрогаться. И напрасно. Он должен был просто-напросто оттолкнуть Жана Вальжана. Жан Вальжан был искупительной жертвой; следовало принести эту жертву и избавить свой дом от этого человека. Он досадовал на себя, он негодовал против внезапно налетевшего бурного вихря, который оглушил, ослепил и увлек его против его желания. Он был недоволен собой.

Что делать теперь? Мысль о том, что Жан Вальжан будет навещать Козетту, вызывала в нем глубочайшее отвращение. Зачем ему этот человек? Что делать? Здесь он становился в тупик, он не хотел доискиваться, не хотел углубляться, не хотел разбираться в самом себе. Он обещал, – он позволил себе увлечься до такой степени, что дал обещание; и Жан Вальжан это обещание получил; а слово, данное даже каторжнику, в особенности каторжнику, следует держать. Тем не менее он обязан был прежде всего подумать о Козетте. Словом, сильнейшее отвращение вытесняло в нем все другие чувства.

Мариус перебирал в уме этот клубок путаных мыслей, бросаясь от одной к другой и терзаясь всеми вместе. Его охватила глубокая тревога. Скрыть эту тревогу от Козетты было нелегко, но любовь – великий талант, и Мариус справился с собой.

Впрочем, не обнаруживая истинной своей цели, он задал несколько вопросов ни о чем не подозревавшей Козетте, невинной, как белая голубка; слушая ее рассказы о детстве ее и юности, он все больше убеждался, что отношение этого каторжника к Козетте было исполнено такой доброты, отеческой заботы и достоинства, на какие только способен человек. То, что Мариус чувствовал и предполагал, оказалось правдой. Этот зловещий чертополох любил и оберегал эту

ЛИЛИЮ.

Книга восьмая

Сумерки сгущаются

Глава 1

Комната в нижнем этаже

На другой день, с наступлением сумерек, Жан Вальжан постучался в ворота дома Жильнормана. Его встретил Баск. Баск находился во дворе в назначенное время, словно выполняя чье-то распоряжение. Бывает иногда, что слуге говорят: «Посторожи, когда придет господин такой-то».

Не дожидаясь, чтобы Жан Вальжан подошел ближе, Баск обратился к нему первый:

– Господин барон поручил мне спросить у вашей милости, угодно ли вам подняться наверх или остаться внизу.

– Я останусь внизу, – отвечал Жан Вальжан.

Баск, храня свой безукоризненно почтительный вид, растворил двери залы в нижнем этаже и сказал:

– Пойду доложить молодой хозяйке.

Комната, куда вошел Жан Вальжан, была сводчатая и сырая, с красным кафельным полом, служившая по мере надобности кладовой; она выходила на улицу и слабо освещалась единственным окном с железной решеткой.

Это помещение было не из тех, куда часто заглядывают метелка, веник и щетка. Пыль лежала здесь нетронутой. Борьбы с пауками здесь не вели. Пышная, черная, украшенная мертвыми мухами паутина огромным веером раскинулась по одной из створок окна. Единственным убранством этой небольшой низкой комнаты служили пустые бутылки, наваленные грудой в углу. Окрашенная желтой охрой штукатурка облупилась со стен широкими пластами. В глубине был камин с узенькой каминной доской, крашенный под черное дерево. В камине горел огонь; это означало, что тут заранее рассчитывали на ответ Жана Вальжана: «Я останусь внизу».

У камина стояли два кресла. Между креслами был постелен вместо ковра потертый половик, в котором осталось больше веревок, чем шерсти.

Комната освещалась лишь огнем камина и тусклым светом из окна.

Жан Вальжан был утомлен. Уже несколько дней он не ел и не спал. Он тяжело опустился в кресло.

Баск вернулся, поставил на камин зажженную свечу и вышел. Жан Вальжан забылся, склонив голову на грудь, и не заметил ни Баска, ни свечи.

Вдруг он выпрямился, как будто его внезапно разбудили. За его спиной стояла Козетта.

Он не видел, но почувствовал, как она вошла.

Он обернулся, посмотрел на нее. Она была обворожительно хороша. Но его глубокий взгляд искал в ней не красоту ее, а душу.

– Ну, отец, – вскричала Козетта, – я знала, что вы странный человек, но такой причуды уж никак не ожидала! Что за дикая фантазия! Мариус сказал, будто вы сами захотели, чтобы я принимала вас здесь.

– Да, я сам.

– Я так и знала. Ну, теперь держитесь! Предупреждаю, что сейчас устрою вам сцену. Начнем с самого начала. Поцелуйте меня, отец.

И она подставила ему щеку.

Жан Вальжан хранил неподвижность.

– Вы даже не шевельнулись. Отметим это. Вы ведете себя как виноватый. Но все равно, я прощаю вам. Иисус Христос сказал: «Подставьте другую щеку». Вот она.

И она подставила другую.

Жан Вальжан не тронулся с места. Казалось, ноги его были пригвождены к полу.

– Дело становится серьезным, – сказала Козетта. – В чем я провинилась? Объявляю, что я с вами в ссоре. Вы должны заслужить прощение. Вы пообедаете с нами.

– Я уже обедал.

– Это неправда. Я попрошу господина Жильнормана пожурить вас хорошенько. Деды созданы для того, чтобы допекать отцов. Ну! Идемте со мной в гостиную. Сию же минуту.

– Это невозможно.

Тут Козетта немного растерялась. Она перестала приказывать и перешла к расспросам.

– Но почему же? И зачем вы выбрали для нашей встречи самую ужасную комнату во всем доме? Здесь отвратительно.

– Ты ведь знаешь...

Жан Вальжан поправился:

– Вы ведь знаете, баронесса, что я чужак, у меня свои прихоти.

Козетта всплеснула маленькими ручками:

– Баронесса?.. Вы?.. Вот новости! Что все это значит?

Жан Вальжан посмотрел на нее с той раздирающей душу вымученной улыбкой, которая иногда появлялась у него на губах.

– Вы сами пожелали быть баронессой. И стали ею.

– Но не для вас же, отец.

– Не называйте меня больше отцом.

– Что?

– Зовите меня господин Жан. Просто Жан, если хотите.

– Вы мне больше не отец? Я больше не Козетта? Господин Жан? Да что же это такое? Но ведь это настоящий переворот! Что случилось? Посмотрите-ка мне в лицо. И вы не хотите с нами жить! И вы отказываетесь от своей комнаты! Что я вам сделала? Что я вам сделала? Значит, что-нибудь произошло?

– Ничего.

– Тогда в чем же дело?

– Все осталось по-прежнему.

– Почему вы меняете имя?

– Вы ведь тоже переменили свое.

Он снова улыбнулся той же улыбкой и прибавил:

– Раз вы стали госпожой Понмерси, почему бы мне не стать господином Жаном?

– Я решительно ничего не понимаю. Все это нелепо. Погодите, я еще спрошу у мужа разрешения называть вас господином Жаном. Надеюсь, что он не согласится. Вы меня страшно огорчаете. Можно иметь причуды, но нельзя так обижать свою маленькую Козетту. Это очень плохо. Вы не смеее быть злым, ведь вы такой добрый.

Он не отвечал.

Она живо схватила его за обе руки и, подняв их к своему лицу, в неудержимом порыве прижала их к шее под подбородком, с выражением глубочайшей нежности.

– О, – проговорила она, – будьте добрым, как прежде!

И продолжала:

– Вот что я называю быть добрым: быть милым, переехать к нам – здесь тоже есть птички,

как на улице Плюме, – жить с нами вместе, бросить эту ужасную дыру на улице Вооруженного человека; не загадывать нам головоломки, быть как все, обедать с нами, завтракать с нами, словом, быть моим дорогим отцом.

Он высвободил свои руки.

– Вам не нужен отец, у вас теперь есть муж.

Козетта вспылила:

– Мне не нужен отец? Когда слышишь такую бессмыслицу, право, не знаешь, что и сказать.

– Если бы тут была Тусен, – продолжал Жан Вальжан, как человек, ищущий опоры в авторитетах и цепляющийся за любую веточку, – она первая подтвердила бы, что такой уж у меня нрав. В этом нет ничего нового. Я всегда любил свой темный угол.

– Но здесь же холодно. Здесь плохо видно. И что за гадкая выдумка называться господином Жаном. Я не желаю, чтобы вы говорили мне «вы»!

– Нынче, по дороге сюда, – перевел разговор Жан Вальжан, – я видел на улице Сен-Луи одну вещицу. У столяра-краснодеревщика. Будь я хорошенькой женщиной, я приобрел бы это. Очень милый туалет в современном вкусе. У вас это называется, кажется, розовым деревом. С инкрустацией. С довольно большим зеркалом. И с ящичками. Очень красивая вещица.

– У! Противный медведь! – отвечала Козетта. И с очаровательной гримаской она фыркнула на Жана Вальжана сквозь сжатые зубы. То была сама Грация, изображавшая сердитую кошечку.

– Я просто в бешенстве, – заявила она. – Со вчерашнего дня все вы меня изводите. Я очень сердита. Я ничего не понимаю. Вы не защищаете меня от Мариуса. Мариус не хочет поддержать меня против вас. Я совсем одна. Я так славно убрала вашу комнату. Если бы я могла достать луну с неба, я бы там ее повесила. И что же? Что теперь прикажете делать с этой комнатой? Мой жилец оставляет меня с носом. Я заказываю Никоlette превкусный обед. «Ваш обед никому не нужен, сударыня!» И мой отец Фошлеван требует ни с того ни с сего, чтобы я называла его господином Жаном и принимала бы его в старом, дрянном, безобразном, затхлом погребе, где стены обросли бородой, где вместо хрусталя валяются пустые бутылки, а вместо занавесок – паутина! Вы человек с причудами, согласна, все это в вашем духе, но надо же дать передышку людям, которые женятся. Вы не имели права сразу же братья за прежние причуды. Неужели вам так хорошо на этой отвратительной улице Вооруженного человека? А я была там очень несчастна. Что я вам сделала? Вы ужасно меня огорчаете! Фи!

И вдруг, пристально взглянув на Жана Вальжана, она добавила серьезным тоном:

– Вы сердитесь на меня за то, что я счастлива?

Наивность, сама того не зная, бывает порою очень проницательна. Этот вопрос, такой простой для Козетты, имел для Жана Вальжана глубокий смысл, Козетта хотела царапнуть его, а ранила до крови.

Жан Вальжан побледнел. С минуту он ничего не отвечал, потом с неизъяснимым выражением, словно обращаясь к самому себе, прошептал:

– Ее счастье – вот что было целью моей жизни. Теперь господь может отпустить меня с миром. Козетта, ты счастлива; мое время истекло.

– Ах! Вы сказали мне «ты»! – воскликнула Козетта. И кинулась ему на шею.

Жан Вальжан, забывшись, порывисто прижал ее к груди. Он почти поверил, что снова вернул ее себе.

– Спасибо, отец! – шепнула ему Козетта.

Поддавшись этому порыву, Жан Вальжан испытывал мучительное чувство. Он тихонько высвободился из объятий Козетты и взялся за шляпу.

– Что такое? – спросила Козетта.

Жан Вальжан отвечал:

– Я ухажу, сударыня, вас ждут.

И, стоя уже в дверях, прибавил:

– Я назвал вас на «ты». Скажите вашему мужу, что больше этого не случится. Простите меня.

И Жан Вальжан вышел, оставив Козетту ошеломленной этим загадочным прощанием.

Глава 2

Еще несколько шагов назад

Жан Вальжан пришел на следующий день, в тот же час.

Козетта уже не задавала ему вопросов, не удивлялась, не жаловалась на холод, не приглашала больше в гостиную; она равно избегала называть его отцом и господином Жаном. Она позволяла говорить себе «вы». Позволяла называть себя сударыней. В ней только несколько убавилось веселости. Ее можно было бы счесть грустной, если б она способна была грустить.

Должно быть, у нее с Мариусом произошел один из тех разговоров, когда любимый человек говорит все, что вздумается, ничего не объясняет и все же умеет успокоить любимую женщину. Любопытство влюбленных не простирается за пределы их любви.

Нижнюю залу несколько привели в порядок. Баск убрал бутылки, а Николетта смела паутину.

Во все последующие дни Жан Вальжан являлся неизменно в тот же час. Он приходил ежедневно, не имея сил принудить себя понять слова Мариуса иначе, как буквально. Мариус устраивался так, чтобы уходить из дому в те часы, когда приходил Жан Вальжан. Домашние скоро привыкли к новым порядкам, которые завел г-н Фошлеван. Тусен помогла этому. «Хозяин всегда был таким», – твердила она. Дед вынес следующий приговор: «Он просто оригинал». Этим все было сказано. По правде говоря, в девяносто лет уже тяжелы новые связи; все кажется лишним бременем, новый знакомец только стесняет, для него нет уже места в привычном укладе жизни. Звался ли он Фошлеваном или Шпаклеваном, – для старика Жильнормана было облегчением избавиться от «этого господина». Он пояснил: «Нет ничего обыкновеннее подобных оригиналов. Они выкидывают всевозможные чудачества. Так просто, без всяких причин. Маркиз де Канабль был еще хуже. Он купил дворец, а жил там на чердаке. Напускают же на себя люди такую блажь».

Никто не подозревал мрачной подоплеки этой «блажи». Кто же, впрочем, мог бы угадать причину? В Индии встречаются такие болота: вода в них кажется необычной, непонятной; вдруг она всколыхнется без ветра, вдруг забурлит там, где должна быть спокойной. Мы замечаем на поверхности беспричинную зыбь и не видим змеи, которая ползет по дну.

Так и у многих людей есть тайное чудовище, скрытая мука, которую они вскармливают, дракон, который терзает их, отчаяние, которым исполнены их ночи. Такой человек на вид не отличается от других, он ходит, двигается. Никто не знает, что он носит в себе страшный разрушительный недуг, который живет в этом несчастном и как червь гложет его, причиняя тысячи мук. Никто не знает, что такой человек – омут. Стоячий, но глубокий омут. Время от времени на поверхности начинается какое-то волнение, ни для кого не понятное. Пробегают загадочная рябь, потом исчезает, потом появляется снова: всплывает пузырь и лопається. Это почти что ничего, и вместе с тем это ужасно. То дыхание неведомого зверя.

Иные странные привычки – являться в часы, когда другие уходят, держаться в тени, когда другие выставляют себя напоказ, надевать во всех случаях, так сказать, плащ защитной окраски, избирать пустынные аллеи, предпочитать безлюдные улицы, не вмешиваться в разговор,

избегать толпы и многолюдных праздников, казаться человеком с достатком и жить в бедности, носить, при всем своем богатстве, в кармане ключ от своего жилища и оставлять свечу у привратника, входить через заднее крыльцо, подниматься по черной лестнице, – все эти небольшие странности, эти волны, пузыри, мимолетная рябь на поверхности, исходят нередко из ужасающих глубин.

Так протекло несколько недель. Козетту мало-помалу захватила новая жизнь: новые отношения, создаваемые замужеством, визиты, домашние заботы, развлечения – все это были важные дела. Развлечения Козетты стоили недорого: они заключались в одном – быть с Мариусом. Выходить вместе с ним, сидеть с ним дома, – в этом заключалось главное содержание ее жизни. Для них было вечно новой радостью гулять под руку, среди бела дня, по людной улице, не прячась, перед всем народом, вдвоем и наедине среди толпы. У Козетты бывали и огорчения: Тусен не поладила с Николеттой, и, так как обе старые девы не могли ужиться вместе, ей пришлось уйти. Дед чувствовал себя прекрасно. Мариус время от времени защищал какое-нибудь дело в суде; тетка Жильнорман продолжала мирно влачить свое унылое существование бок о бок с молодой четой, что ее вполне удовлетворяло. Жан Вальжан приходил каждый день.

Замена обращения на «ты» официальным «вы», «сударыня», «господин Жан» – все это изменило его в глазах Козетты. Старания, приложенные им, чтобы отучить ее от себя, увенчались успехом. Она становилась все более веселой и все менее ласковой с ним. Однако она все еще очень любила его, и он это чувствовал. Как-то раз она вдруг сказала: «Вы были мне отцом, и вы уже больше не отец; были мне дядей, и больше уже не дядя; были господином Фошлеваном и стали просто Жаном. Кто же вы такой? Не нравится мне все это. Если бы я не знала, какой вы добрый, я боялась бы вас».

Он по-прежнему оставался на улице Вооруженного человека, не решаясь покинуть квартал, где когда-то жила Козетта.

На первых порах он проводил с Козеттой лишь несколько минут, потом уходил.

Но постепенно он принял обыкновение затягивать свои визиты. Казалось, он находил себе оправдание в том, что дни становились длиннее; он являлся раньше и уходил позже.

Однажды Козетта, обмолвившись, сказала ему: «отец». Луч радости озарил старое угрюмое лицо Жана Вальжана. Он поправил ее: «Говорите Жан». – «Да, правда, – отвечала она, рассмеявшись, – господин Жан». – «Вот так», – сказал он. И отвернулся, чтобы она не заметила, как он вытирает слезы.

Глава 3

Они вспоминают сад на улице Плюме

Больше этого не случалось. То был последний луч света; все угасло окончательно. Не было прежней близости, не было поцелуя при встрече, никогда уж не звучало больше полное нежности слово «отец!». По собственному настоянию и при собственном содействии Жан Вальжан был последовательно лишен всех своих радостей; его постигло то несчастье, что, потеряв Козетту сразу в один день, ему пришлось сызнова терять ее постепенно.

Глаза привыкают в конце концов к тусклому свету подземелья. В сущности, видеть Козетту, хотя бы раз в день, казалось ему уже достаточным. Вся его жизнь сосредоточилась на этих часах. Он садился возле нее, глядел на нее молча или же говорил с ней о былых годах, о ее детстве, о монастыре, о ее прежних подружках.

Однажды после полудня – это был один из первых апрельских дней, уже весенний, но еще

прохладный, в час, когда солнце весело сияло, когда сады, видневшиеся из окон Мариуса и Козетты, трепетали, пробуждаясь ото сна, когда вот-вот должен был распуститься боярышник, когда желтофиоли раскидывались нарядным узором по старым стенам, цветочки львиного зева розовели в расщелинах камней, в траве пробивались прелестные лютики и маргаритки, в небе начинали порхать первенцы весны – белые бабочки, а ветер, бессменный музыкант на свадебном торжестве природы, запевал в ветвях деревьев первые ноты великой утренней симфонии, которую древние поэты называли возрождением весны, – Мариус сказал Козетте: «Помнишь, мы условились, что сходим навестить наш сад на улице Плюме. Пойдем туда. Не надо быть неблагодарными». И они умчались, точно две ласточки, навстречу весне. Сад на улице Плюме казался им утренней зарей. В их жизни уже было какое-то прошлое, нечто вроде ранней весны их любви. Дом на улице Плюме, взятый в аренду, все еще принадлежал Козетте. Они посетили этот сад и этот дом. Они отдались минувшему, они забыли о настоящем. Вечером в урочный час Жан Вальжан явился на улицу Сестер страстей господних. «Госпожа баронесса вышли с господином бароном и еще не возвращались», – сказал ему Баск. Он молча уселся и прождал целый час. Козетта так и не вернулась. Он поник головой и ушел.

Козетта была в таком упоении от прогулки по «их саду» и так была рада «прожить целый день в минувшем», что на следующий вечер ни о чем другом не говорила. Она даже не вспомнила, что не видала накануне Жана Вальжана.

– Как вы добрались туда? – спросил ее Жан Вальжан.

– Пешком.

– А как вернулись?

– В наемной карете.

С некоторых пор Жан Вальжан замечал, что юная чета ведет очень скромный образ жизни. Это огорчало его. Мариус соблюдал строгую экономию, и Жан Вальжан видел в этом особый скрытый смысл. Он осмелился задать вопрос:

– Почему у вас нет собственного экипажа? Красивая двухместная карета стоила бы вам всего-навсего пятьсот франков в месяц. Ведь вы богаты.

– Не знаю, – отвечала Козетта.

– Вот и Тусен тоже, – продолжал Жан Вальжан. – Она ушла. А на ее место никого не наняли. Отчего?

– Нам достаточно и Николетты.

– Но вам, баронесса, нужна камеристка.

– А разве у меня нет Мариуса?

– Вам бы следовало иметь собственный дом, завести отдельную прислугу, иметь карету, ложу в театре. Нет ничего, что было бы слишком хорошо для вас. Почему вы не пользуетесь своим богатством? Богатство многое прибавляет к счастью.

Козетта ничего не ответила.

Посещения Жана Вальжана отнюдь не становились короче. Совсем напротив. Когда сердце скользит вниз, трудно остановиться на склоне.

Если Жану Вальжану хотелось затянуть свидание и заставить Козетту забыть о времени, он принимался расточать похвалы Мариусу: он находил его красивым, благородным, смелым, умным, красноречивым, добрым. Козетта поддакивала ему. Жан Вальжан начинал сызнава. Оба они были неистощимы. Тема «Мариус» казалась неисчерпаемой; в шести буквах его имени заключались целые томы. Таким способом Жану Вальжану удавалось задержаться подольше. Видеть Козетту, забывая обо всем возле нее – было так сладостно! Это словно врачевало его рану. Нередко случалось, что Баск раза по два являлся доложить: «Господин Жильнорман велел напомнить баронессе, что кушать подано».

В такие дни Жан Вальжан возвращался домой в глубокой задумчивости.

Была ли доля правды в том сравнении с куколкой бабочки, какое пришло в голову Мариусу? Не был ли действительно Жан Вальжан коконом, который упрямо продолжал навещать вылетевшую из него бабочку?

Однажды он задержался еще дольше обыкновенного. На следующий день он заметил, что в камине не развели огня. «Вот как! – подумал он. – Огня нет». И успокоил сам себя таким объяснением: «Вполне понятно. На дворе апрель месяц. Холода кончились».

– Бог ты мой, как здесь холодно! – воскликнула Козетта входя.

– Да нет, нисколько, – возразил Жан Вальжан.

– Значит, это вы запретили Баску развести огонь?

– Да. Ведь уж месяц май.

– Но печи топят до июня месяца. А этот погреб надо отапливать круглый год.

– Я подумал, что не к чему разжигать камин.

– Это опять одна из ваших выдумок! – возмутилась Козетта.

На другой день камин затопили. Но оба кресла были переставлены на другой конец залы, к самым дверям.

«Что это означает?» – подумал Жан Вальжан.

Он пошел за креслами и передвинул их на обычное место у камина.

Но зажженный огонь успокоил его. Он затянул беседу еще дольше обыкновенного. Когда он поднялся, собираясь уходить, Козетта проговорила:

– Вчера мой муж сказал мне одну странную вещь.

– Что же такое?

– Он сказал: «Козетта, у нас тридцать тысяч ренты. Двадцать семь принадлежит тебе, и три я получаю от деда». Я ответила: «Это составляет тридцать». А он говорит: «Хватило бы у тебя мужества жить только на три тысячи?» – «Конечно, – сказала я, – пускай и вовсе без ренты, лишь бы с тобой». И потом спросила его: «Зачем ты мне это говоришь?» А он ответил: «На всякий случай».

Жан Вальжан не проронил ни слова. Козетта, вероятно, ждала от него каких-нибудь объяснений; но он выслушал ее в угрюмом молчании. Он возвратился на улицу Вооруженного человека в такой глубокой задумчивости, что ошибся дверью, и вместо того чтобы взойти к себе, попал в соседний дом. Только поднявшись почти до третьего этажа, он обнаружил свою ошибку и спустился вниз.

Его обуревали мучительные мысли. Было очевидно, что Мариус сомневался в происхождении шестисот тысяч франков, опасаясь, не исходят ли они из какого-нибудь нечистого источника. Как знать, может быть, он даже открыл, что деньги принадлежат самому Жану Вальжану, и колебался принять это подозрительное состояние, брезговал вступить во владение им, предпочитая жить с Козеттой в бедности, чем пользоваться этим темным наследством.

Кроме того, Жан Вальжан начинал смутно чувствовать, что его выживают из дому.

На следующий день, при входе в залу нижнего этажа, он вздрогнул от неожиданности. Кресла исчезли. В комнате не было даже стула.

– Вот как! – вскричала Козетта входя. – Кресел нет! Куда же девались кресла?

– Их больше нет, – отвечал Жан Вальжан.

– Ну, это уж чересчур!

Жан Вальжан пробормотал:

– Это я велел Баску убрать их.

– Но почему же?

- Сегодня я останусь всего на несколько минут.
- Прийти на время – не значит все время стоять.
- Баску как будто понадобились кресла для гостиной.
- Зачем?
- Вероятно, вы ждете гостей нынче вечером.
- Мы никого не ждем.

Жан Вальжан не мог вымолвить больше ни слова.

Козетта пожала плечами.

– Велеть вынести кресла! Прошлый раз вы велели погасить огонь. До чего же вы странный!

– Прощайте! – прошептал Жан Вальжан.

Он не сказал: «Прощай, Козетта», но и не в силах был сказать: «Прощайте, сударыня».

Он вышел подавленный.

На этот раз он понял.

На другой день он не явился. Козетта вспомнила о нем только вечером.

– Что это? – сказала она. – Господин Жан не пришел сегодня?

Сердце у нее сжалось, но это было мимолетно, так как Мариус отвлек ее поцелуем.

Жан Вальжан не пришел и назавтра.

Козетта не обратила на это внимания, провела вечер как обычно, спала хорошо и подумала о нем, только проснувшись. Она была так счастлива! Она тотчас послала Николетту к г-ну Жану справиться, не заболел ли он и почему не приходил накануне. Николетта принесла ответ от г-на Жана. Он не болен. Он просто был занят. Он скоро придет. При первой же возможности. Впрочем, он собирается совершить небольшое путешествие. Г-жа Понмерси, вероятно, помнит, что он уезжал ненадолго время от времени. Пусть о нем не беспокоятся. Пусть о нем не думают.

Явившись к г-ну Жану, Николетта в точности передала ему слова своей госпожи: «Барыня посылает узнать, почему господин Жан не пришел накануне». – «Я не приходил целых два дня», – кротко поправил ее Жан Вальжан.

Но Николетта пропустила мимо ушей это замечание и ничего не сказала Козетте.

Глава 4

Притяжение и отталкивание

В конце весны и в начале лета 1833 года редкие прохожие квартала Марэ, лавочники и ротозеи, слоняющиеся у ворот, заметили какого-то старика в черном, чисто одетого, который день за днем, неизменно в тот же час, с наступлением сумерек выходил с улицы Вооруженного человека, со стороны Сент-Круа-де-ла-Бретонри, миновав улицу Белых мантий, пересекал Ниву св. Екатерины и, выйдя на улицу Эшарп, поворачивал налево, на улицу Сен-Луи.

Там он замедлял шаги и брел, вытянув голову вперед, ничего не видя и не слыша, упорно устремив взгляд всегда в одну точку, которая казалась ему путеводной звездой и была не чем иным, как поворотом на улицу Сестер страстей господних. Чем ближе он подходил к этому углу, тем живее становился его взгляд; зрачки его загорались радостью, будто озаренные внутренним светом, лицо становилось восхищенным и растроганным, губы беззвучно шевелились, словно он говорил с кем-то невидимым; он улыбался какой-то бледной улыбкой и двигался вперед так медленно, как только мог. Можно было подумать, что он стремился к некоей цели и вместе с тем боялся минуты, когда окажется слишком близко от нее. Когда до улицы, которая чем-то влекла его, оставалось всего несколько домов, он замедлял шаг до такой степени, что порою могло показаться, будто он стоит на месте. Качающаяся его голова и пристальный взгляд вызвали представление о стрелке компаса, ищущей полюс. Как ни медлил

он и как ни оттягивал своего приближения к цели, но волей-неволей все же достигал ее: он доходил до улицы Сестер страстей господних; там он останавливался, весь дрожа, с какой-то непонятной робостью высовывал голову из-за угла последнего дома и смотрел на эту улицу; и было в его трагическом взгляде что-то похожее на благоговение перед недостижимым и на отсвет потерянного рая. И тут крупные слезы, постепенно скопившиеся в уголках глаз, катились по его щекам, иногда задерживаясь у рта. Старик чувствовал тогда их горький вкус. Он стоял так несколько минут, словно окаменев; затем уходил домой тем же путем и тем же шагом, и по мере того как он удалялся, взор его угасал.

Мало-помалу старик перестал доходить до угла улицы Сестер страстей господних; он останавливался на полдороге, на улице Сен-Луи; иногда немного дальше, иногда чуть-чуть поближе. Как-то раз он остался на углу улицы Нива св. Екатерины и смотрел только издали на перекресток улицы Сестер страстей господних. Потом, молча покачав головой справа налево, как бы отказываясь от чего-то, он повернул обратно.

Вскоре он перестал доходить даже и до улицы Сен-Луи. Он достигал поворота на Мощеную улицу, качал головой и возвращался; некоторое время спустя он не шел дальше улицы Трех флагов; потом не выходил уже и за пределы улицы Белых мантий. Он напоминал маятник давно заведенных часов, колебания которого делаются все короче, перед тем как остановиться.

Каждый день он выходил из дому в один и тот же час, отправлялся тем же путем, но не доходил уже до конца и, может быть, сам того не сознавая, сокращал его все больше и больше. Лицо его выражало одну-единственную мысль: «К чему?» Зрачки потухли и никогда уже не загорались. Слезы иссыкли, задумчивые глаза были сухи. Голова старика все еще тянулась вперед, подбородок по временам начинал дрожать; жалко было смотреть на его худую, морщинистую шею. Порою, в ненастную погоду, он держал под мышкой зонтик, но никогда не раскрывал его. Кумушки окрестных кварталов говорили: «Он не в своем уме». Ребятишки бежали следом и смеялись над ним.

Книга девятая

Непроглядный мрак, ослепительная заря

Глава 1

Будьте милосердны к несчастным, будьте снисходительны к счастливым!

Как страшно быть счастливым! Как охотно человек довольствуется этим! Как он уверен, что ему нечего больше желать! Как легко забывает он, достигнув счастья, – этой ложной жизненной цели, – о цели истинной – долге!

Заметим, однако, что было бы несправедливо осуждать Мариуса.

Мы уже говорили, что до своего брака Мариус не задавал вопросов г-ну Фошлевану, а после брака опасался расспрашивать Жана Вальжана. Он сожалел о своем обещании, которое позволил вырвать у себя так опрометчиво. Он не раз говорил себе, что напрасно сделал эту уступку его отчаянию. Однако он ограничился тем, что мало-помалу старался отдалить Жана Вальжана от дома и по возможности изгладить его образ из памяти Козетты. Он как бы становился всегда между Козеттой и Жаном Вальжаном, уверенный в том, что, перестав видеть старика, она отвыкнет и думать о нем. Это было уже больше, чем исчезновение из памяти, – это было полное ее затмение.

Мариус поступал так, как считал необходимым и справедливым. Он полагал, что, без излишней жестокости, но и не проявляя слабости, надо удалить Жана Вальжана; на это у него были серьезные причины, о которых читатель уже знает, а кроме них, и другие, о которых он узнает позже. Ведя один судебный процесс, он случайно столкнулся со старым служащим дома Лафит и получил от него некие таинственные сведения, хотя и не искал их. Говоря правду, он не мог пополнить их уже из одного уважения к тайне, которую дал слово хранить, а также из сочувствия к опасному положению Жана Вальжана. В настоящее время он считал, что должен выполнить весьма важную обязанность, а именно: вернуть шестьсот тысяч франков неизвестному владельцу, которого разыскивал со всею возможной осторожностью. Трогать же эти деньги он пока воздерживался.

Козетта не подозревала ни об одной из этих тайн. Но и обвинять ее было бы жестоко.

Между нею и Мариусом существовал могучий магнетический ток, заставлявший ее невольно, почти бессознательно, поступать во всем согласно желанию Мариуса. В том, что относилось к «господину Жану», она чувствовала волю Мариуса и подчинялась ей. Муж ничего не должен был говорить Козетте: она испытывала смутное, но осязаемое воздействие его скрытых намерений и слепо им повиновалась. Не вспоминать о том, что вычеркивал из ее памяти Мариус, – в этом сейчас и выражалось ее повиновение. Это не стоило ей никаких усилий. Без ее ведома и без ее вины душа ее слилась с душой мужа, и все то, на что Мариус набрасывал мысленно покров забвения, тускло и в памяти Козетты.

Не будем все же преувеличивать: в отношении Жана Вальжана это равнодушие, это исчезновение из памяти было лишь кажущимся. Козетта скорее была легкомысленна, чем забывчива. В сущности, она горячо любила того, кого так долго называла отцом. Но еще нежнее любила она мужа. Вот что нарушало равновесие ее сердца, клонившегося в одну сторону.

Случалось иногда, что Козетта заговаривала о Жане Вальжане и удивлялась его отсутствию. «Я думаю, его нет в Париже, – успокаивал ее Мариус. – Ведь он сам сказал, что должен куда-то поехать». «Это правда, – думала Козетта. – У него всегда была привычка вдруг пропадать. Но не так надолго». Два или три раза она посылала Николетту на улицу Вооруженного человека узнать, не вернулся ли г-н Жан из поездки. Жан Вальжан просил отвечать, что еще не вернулся.

Козетта успокаивалась на этом, так как единственным человеком, без кого она в этом мире обойтись не могла, был Мариус.

Заметим к тому же, что Мариус и Козетта сами были в отсутствии некоторое время. Они ездили в Вернон. Мариус возил Козетту на могилу своего отца.

Мало-помалу он отвлек мысли Козетты от Жана Вальжана. И Козетта не противилась этому.

В конце концов то, что в известных случаях слишком сурово именуется неблагодарностью детей, не всегда в такой степени достойно порицания, как полагают. Это неблагодарность природы. Природа, как говорили мы в другом месте, «смотрит вперед». Она делит живые существа на приходящие и уходящие. Уходящие обращены к мраку, вновь прибывающие – к свету. Отсюда отчуждение, роковое для стариков и невольное для молодых. Это отчуждение, вначале неощутимое, медленно увеличивается, как при всяком росте ветвей. Ветви, оставаясь на стволе, удаляются от него. И это не их вина. Молодость спешит туда, где радость, где праздник, к ярким огням, к любви. Старость шествует к концу жизни. Они не теряют друг друга из виду, но объятия их разомкнулись. Молодые проникаются равнодушием жизни, старики – равнодушием могилы. Не станем обвинять этих бедных детей.

Глава 2

Последние вспышки светильника, в котором иссякло масло

Однажды Жан Вальжан спустился с лестницы, сделал несколько шагов по улице и, посидев недолго на той же самой тумбе, где в ночь с 5 на 6 июня его застал Гаврош погруженным в задумчивость, снова поднялся к себе. Это было последнее колебание маятника. Наутро он не вышел из комнаты. На следующий день он не встал с постели.

Привратница, которая готовила ему скудный его завтрак, – немного капусты или несколько картофелин, приправленных салом, – заглянула в его глиняную тарелку и воскликнула:

– Да вы не ели вчера, голубчик!

– Я поел, – возразил Жан Вальжан.

– Тарелка-то ведь совсем полна!

– Взгляните на кружку с водой. Она пуста.

– Это значит, что вы пили, но не значит, что вы ели.

– Но что же делать, если мне хотелось только воды, – отвечал Жан Вальжан.

– Это называется жаждой, а если при этом не хочется есть, это называется лихорадкой.

– Я поем завтра.

– А может, в Троицын день? Почему же не сегодня? Разве говорят: «Я поем завтра»? Подумать только, оставить моюстряпню нетронутой! Такая вкусная лапша!

Жан Вальжан, взяв старуху за руку, сказал ей ласково:

– Обещаю вам ее отведать.

– Я вами недовольна, – отвечала привратница.

Кроме этой доброй женщины, Жан Вальжан не видел ни одной живой души. Есть улицы в Париже, где никто не проходит, и дома, где никто не бывает. На одной из таких улиц, в одном из таких домов жил Жан Вальжан.

В то время когда он еще выходил из дому, он купил за несколько су у торговца медными изделиями маленькое распятие и повесил его на гвозде против своей кровати. Вот крест, который всегда отрадно видеть перед собой.

Прошла неделя, а Жан Вальжан не сделал ни шагу по комнате. Он все еще не покидал

постели.

– Старичок, что наверху, больше не встает, ничего не ест, он долго не протянет, – говорила привратница своему мужу. – Верно, у него кручина какая-нибудь. Никто у меня из головы не выбьет, что его дочка неудачно вышла замуж.

Привратник ответил с полным сознанием своего мужского превосходства:

– Коли он богат, пускай позовет врача. Коли беден, пусть так обойдется. Коли не позовет врача, то помрет.

– А если позовет?

– Тоже помрет, – изрек муж.

Привратница принялась ржавым ножом выскребать траву, проросшую между каменными плитами, которые она называла «мой тротуар».

– Экая жалость. Такой аккуратный старичок. Беленький, как цыпленок, – бормотала она, выдергивая траву.

В конце улицы она вдруг заметила врача, пользующего жителей этого квартала, и решила сама попросить его подняться к больному.

– Это на третьем этаже, – сказала она. – Можете прямо войти к нему. Ключ всегда в двери, старичок больше не встает с постели.

Врач навестил Жана Вальжана и поговорил с ним.

Когда он спустился вниз, привратница начала свой допрос:

– Ну как, доктор?

– Ваш больной очень плох.

– А что у него?

– Все и ничего. Этот человек, по всей видимости, потерял дорогое ему существо. От этого умирают.

– Что ж он вам сказал?

– Он сказал, что чувствует себя хорошо.

– Вы еще вернетесь, доктор?

– Да, – сказал врач, – но надо, чтобы к нему вернулся не я, а кто-то другой.

Глава 3

Перо кажется слишком тяжелым тому, кто поднимал телегу Фошлевана

Как-то вечером Жан Вальжан почувствовал, что ему трудно приподняться на локте; он тронул свое запястье и не нащупал пульса; дыхание было неровное, прерывистое; он ощутил большую слабость, чем когда-либо раньше. Тогда, по-видимому, чем-то сильно обеспокоенный, он с трудом спустил ноги с кровати и оделся. Он натянул на себя свою старую одежду рабочего. Не выходя больше из дому, он предпочитал ее всякой другой. Одеваясь, он много раз останавливался; продеть руки в рукава куртки ему стоило такого труда, что на лбу у него выступил пот.

С тех пор как Жан Вальжан остался один, он поставил свою кровать в прихожую, чтобы как можно реже бывать в опустевших комнатах.

Он открыл чемодан и вынул из него детское приданое Козетты.

Он разложил его на постели.

На камине, на обычном месте, стояли подсвечники епископа. Он достал из ящика две восковые свечи и вставил их в подсвечники. Потом, хотя было еще совсем светло, так как стояло лето, зажег их. Такие зажженные среди бела дня огни можно иногда видеть в домах, где есть покойник.

Каждый шаг, который он делал, передвигаясь по комнате, отнимал у него все силы, и ему приходилось отдыхать. Это не была обычная усталость после затраты сил, которые затем восстанавливаются; то были последние, еще доступные ему движения; то угасала жизнь, иссякая капля за каплей, в тягчайших усилиях, которым не дано возобновиться.

Стул, на который он тяжело опустился, стоял перед зеркалом, роковым для него и таким спасительным для Мариуса, – здесь он прочел перевернутый отпечаток письма на бюваре Козетты. Он увидел себя в зеркале и не узнал. Ему было восемьдесят лет; до женитьбы Мариуса ему едва давали пятьдесят; один год состарил его на тридцать лет. Морщины на его лбу не были уже приметой старости, но таинственной печатью смерти. В этих бороздах чувствовались следы ее неумолимых когтей. Его щеки отвисли, кожа на лице приобрела такой оттенок, словно ее уже покрывала земля, углы рта опустились, как на масках, высекаемых в древности на гробницах. Глаза смотрели в пустоту с немым укором. Его можно было принять за героя трагедии – жертву несправедливого рока.

Он дошел до того состояния, до той последней степени изнеможения, когда скорбь уже не ищет выхода, она словно застывает; в душе как бы образуется сгусток отчаяния.

Настала ночь. С трудом он передвинул к камину стол и старое кресло. Поставил на стол чернильницу, положил перо и бумагу.

После этого он потерял сознание. Придя в себя, он ощутил жажду. Слишком ослабевший, чтобы поднять кувшин с водой, он с усилием наклонил его ко рту и отпил глоток.

Потом, не покидая кресла, так как подняться уже не мог, он повернулся к постели и стал глядеть на черное платье, на все эти бесценные сокровища.

Такое созерцание может длиться часами, которые кажутся минутами. Вдруг он вздрогнул, почувствовав, что его охватывает холод; тогда, облокотившись на стол, где горели светильники епископа, он взялся за перо.

Пером и чернилами давно никто не пользовался, кончик пера погнулся, а чернила высохли; он вынужден был встать, чтобы налить в чернильницу несколько капель воды; при этом он останавливался и присаживался два или три раза, а писать ему пришлось обратной стороной пера. Время от времени он стирал со лба пот.

Рука его дрожала. Медленно написал он несколько строк. Вот они:

«Козетта, благословляю тебя. Я все тебе объясню. Твой муж был прав, когда дал мне понять, что я должен уйти; хотя он немного ошибся в своих предположениях, но все равно, он прав. Он превосходный человек. Люби его крепко и после моей смерти. Господин Понмерси, всегда любите мое возлюбленное дитя. Козетта, здесь найдут это письмо, и вот что я хочу тебе сказать, ты узнаешь все цифры, если у меня хватит сил их вспомнить; слушай внимательно, эти деньги действительно твои. Вот в чем дело: белый гагат привозят из Норвегии, черный гагат привозят из Англии, черный стекларус ввозят из Германии. Гагат легче, ценнее, дороже. Во Франции можно так же легко изготавливать искусственный гагат, как и в Германии. Для этого нужна маленькая, в два квадратных дюйма, наковальня и спиртовая лампа, чтобы плавить воск. Когда-то воск делался из смолы и сажки и стоил четыре франка фунт. Я изобрел состав из камеди и скипидара. Это намного лучше и стоит только тридцать су. Серьги делаются из фиолетового стекла, которое прикрепляют этим воском к тонкой черной металлической оправе. Стекло должно быть фиолетовым для металлических украшений и черным – для золотых, Испания их покупает очень охотно. Там любят гагат...»

Здесь он остановился, перо выпало у него из рук, короткое, полное отчаяния рыдание вырвалось из самых глубин его существа. Несчастный обхватил голову руками и задумался.

«О! – вскричал он мысленно (и это была жалоба, услышанная одним только богом), – все кончено. Я больше не увижу ее. Она словно улыбка, на мгновение озарившая мою жизнь. Я уйду

в вечную ночь, даже не поглядев на Козетту в последний раз. О, только бы на минуту, на миг услышать ее голос, коснуться ее платья, поглядеть на нее, на моего ангела, и потом умереть! Умереть легко, но как ужасно умереть, не повидав ее! Она улыбнулась бы мне, сказала бы словечко. Разве это может причинить кому-нибудь вред? Но нет, все кончено, навсегда. Я совсем один. Боже мой, боже мой, я не увижу ее больше!»

В эту минуту в дверь постучались.

Глава 4

Ушат грязи, который мог лишь обелить

В этот самый день, точнее, в этот самый вечер, когда Мариус, встав из-за стола, направился к себе в кабинет, чтобы заняться изучением какого-то судебного дела, Баск вручил ему письмо со словами: «Господин, который принес это письмо, ожидает в передней».

Козетта в это время под руку с дедом прогуливалась по саду.

Письмо, как и человек, может иметь непривлекательный вид. При одном только взгляде на грубую бумагу, на неуклюже сложенные страницы некоторых посланий сразу чувствуешь неприязнь. Письмо, принесенное Баском, было именно такого рода.

Мариус взял его в руки. Оно пахло табаком. Ничто так не оживляет память, как запах. И Мариус вспомнил этот запах. Он взглянул на адрес, написанный на конверте, и прочел: «Господину барону Понмерси. Собственный дом». Вспомнив запах табака, он вспомнил и почерк. Можно было бы сказать, что удивлению присуща догадка, подобная вспышке света. И одна из таких догадок осенила Мариуса.

Обоняние, этот таинственный помощник памяти, оживил в нем целый мир. Конечно, это была та же бумага, та же манера складывать письмо, синеватый цвет чернил, знакомый почерк, но, главное – это был тот же табак. Перед ним внезапно предстало логово Жондрета.

Итак – странный каприз судьбы! – один след из двух, так долго разыскиваемых, именно тот безнадежно потерянный след, ради которого еще недавно он потратил столько усилий, сам давался ему в руки.

Нетерпеливо распечатав конверт, он прочел:

«Господин барон,

Если бы Всевышний Бог одарил меня талантами, я мог бы стать бароном Тенар, членом Института (академия наук), но я не барон. Я только его однафомилец, и я буду щаслив, если воспоминание о нем обратит на меня высокое ваше расположение. Услуга, коей вы меня удостоите, будет взаимной. Я владею тайной, касающейся одной особы. Эта особа имеет отношение к вам. Эту тайну я предоставляю в ваше распоряжение, ибо желаю иметь честь быть полезным вашей милости. Я дам вам простое средство прагнать из вашего уважаемого симерейства эту личность, которая втерлась к вам без всякого права, потому как сама госпожа баронесса высокого происхождения. Святая святых добродетели не может долгие сожительствовать с приступлением, иначе она падет.

Я ажидаю в пиредней приказаний господина барона.

С почтением».

Письмо было подписано: «Тенар».

Подпись не была вымышленной. Она просто была несколько укорочена.

Помимо всего, беспорядочная болтливость и самая орфография способствовали

разоблачению. Авторство здесь устанавливалось неоспоримо. Сомнений быть не могло.

Мариус был глубоко взволнован. Его изумление сменилось чувством радости. Только бы найти ему теперь второго из разыскиваемых им лиц, – того, кто спас его, Мариуса, и ему ничего больше не оставалось бы желать.

Он выдвинул ящик письменного стола, вынул оттуда несколько банковых билетов, положил их в карман, запер стол и позвонил. Баск приотворил дверь.

– Попросите войти, – сказал Мариус.

Баск доложил:

– Господин Тенар.

В комнату вошел человек.

Новая неожиданность для Мариуса: вошедший был ему совершенно незнаком.

У этого человека, впрочем, тоже пожилого, были толстый нос, утонувший в галстук подбородок, зеленые очки под двойным козырьком из зеленой тафты, прямые, приглаженные, с проседью волосы, закрывающие лоб до самых бровей, подобно парикку кучера из аристократического английского дома. Он был в черном, сильно поношенном, но опрятном костюме; целая связка брелоков, свисавшая из жилетного кармана, указывала, что там лежали часы. В руках он держал старую шляпу. Он горбился, и чем ниже был его поклон, тем круглее становилась спина.

Но особенно бросалось в глаза, что костюм этого человека, слишком просторный, хотя и тщательно застегнутый, был явно с чужого плеча. Здесь необходимо краткое отступление.

В те времена в Париже, в старом, мрачном доме на улице Ботрельи, возле Арсенала, проживал один оборотистый еврей, промышлявший тем, что придавал любому негодяю вид порядочного человека; ненадолго, само собою разумеется, – в противном случае это оказалось бы стеснительным для негодяя. Превращение производилось тут же, на день или на два, за тридцать су в день, при помощи костюма, который соответствовал, насколько возможно, благопристойности, предписываемой обществом. Человек, дававший напрокат одежду, звался Менялой; этим именем окрестили его парижские жулики и никакого другого за ним не знали. В его распоряжении была обширная гардеробная. Старье, в которое он обряжал людей, было подобрано по возможности на все вкусы. Оно отражало различные профессии и социальные категории; на каждом гвозде его кладовой висело, поношенное и измятое, чье-нибудь общественное положение. Здесь мантия судьи, там ряса священника, тут сюртук банкира, в уголке – мундир отставного военного, дальше – костюм писателя или крупного государственного деятеля. Этот старьевщик являлся костюмером нескончаемой драмы, разыгрываемой в Париже силами воровской братии. Его конура служила кулисами, откуда выходило на сцену воровство и куда скрывалось мошенничество. Оборванный плут, зайдя в эту гардеробную, выкладывал тридцать су, выбирал себе для роли, какую намеревался в тот день сыграть, подходящий костюм и спускался с лестницы уже не громиллой, а мирным буржуа. Наутро эти обноски честно приносились обратно, и Меняла, оказывая полное доверие вору, никогда не бывал обворован. Эти одеяния имели одно только неудобство: они «плохо сидели», так как были сшиты не на тех, кто их носил. Они оказывались тесными для одних, болтались на других и никому не приходились впору. Любой мазурик, ростом выше или ниже среднего, чувствовал себя неудобно в костюмах Менялы. Они не годились ни для слишком толстых, ни для слишком тощих. Меняла имел в виду лишь средних по росту и по объему людей. Он снял мерку с первого забредшего к нему оборванца, ни тучного, ни худого, ни высокого, ни маленького. Отсюда необходимость приспособливаться, временами трудная, с которой клиенты Менялы справлялись, как умели. Тем хуже для исключений из нормы! Одевание государственного деятеля, например, – черное снизу доверху и, следовательно, вполне

пристойное, – было бы чересчур широко для Питта и чересчур узко для Кастельсикала. Костюм «государственного деятеля» описывался в каталоге Менялы нижеследующим образом; приводим это место: «Черный суконный сюртук, черные шерстяные панталоны, шелковый жилет, сапоги и белье». Сбоку, на полях каталога, имелась надпись: «Бывший посол» и заметка, которую мы также приводим: «В отдельной картонке аккуратно расчесанный парик, зеленые очки, брелоки и две трубочки из птичьего пера длиною в дюйм, обернутые ватой». Все это предназначалось для государственного мужа, бывшего посланника. Костюм этот, если можно так выразиться, держался на честном слове; швы побелели, на одном локте виднелось что-то вроде прорехи; вдобавок спереди на сюртуке не хватало пуговицы. Впрочем, последнее не имело особого значения, так как рука государственного мужа, которой полагается быть заложенной за борт сюртука, могла служить прикрытием недостающей пуговице.

Если б Мариус был знаком с тайными заведениями Парижа, он тотчас бы узнал на посетителе, которого впустил к нему Баск, платье «государственного деятеля», позаимствованное в притоне Менялы.

Разочарование Мариуса при виде человека, обманувшего его ожидания, перешло в неприязнь к нему. Внимательно оглядев с головы до ног посетителя, пока тот отвечивал ему преувеличенно низкий поклон, Мариус спросил коротко:

– Что вам угодно?

Человек отвечал с любезной гримасой, о которой могла бы дать кое-какое представление лишь ласковая улыбка крокодила:

– Мне кажется просто невероятным, чтобы я до сих пор не имел чести видеть господина барона в свете. Я уверен, что встречал вас несколько лет тому назад в доме княгини Багратион и в салоне виконта Дамбре, пэра Франции.

Притвориться, что узнаешь человека, которого вовсе не знаешь, – излюбленный прием мошенников.

Мариус внимательно прислушивался к речи этого человека, следил за его произношением, за мимикой. Однако разочарование все возрастало: у посетителя был гнусавый голос, несколько не похожий на тот резкий жесткий голос, который он ожидал услышать. Он был совершенно сбит с толку.

– Я не знаком ни с госпожой Багратион, ни с господином Дамбре, – сказал он. – Ни разу в жизни я не бывал ни в одном из этих домов.

Ответ был груб, однако незнакомец продолжал тем же вкрадчивым тоном:

– В таком случае, сударь, я, должно быть, видел вас у Шатобриана. Я с ним близко знаком. Он очень мил и частенько говорит мне: «Тенар, дружище... не пропустить ли нам по стаканчику?»

Выражение лица Мариуса становилось все более суровым.

– Никогда не имел чести быть принятым у господина Шатобриана. Ближе к делу. Что вам угодно?

На строгий тон Мариуса незнакомец ответил еще более низким поклоном.

– Господин барон, соблаговолите меня выслушать. В Америке, неподалеку от Панамы, есть селение Жуайя. Это селение состоит из одного-единственного дома. Большого квадратного трехэтажного дома из обожженных солнцем кирпичей. Каждая сторона квадрата равна в длину пятистам футам, каждый этаж отступает от нижнего на двенадцать футов в глубину, образуя перед собой площадку, которая идет вокруг всего здания; в центре его – внутренний двор, где хранятся проводольствие и боевые припасы. Окон нет – только бойницы, дверей нет – только лестницы; для подъема на первую площадку – приставная лестница, то же и с первой на вторую и со второй на третью; чтобы спуститься во внутренний двор – лестницы; вместо дверей в

комнатах – люки, вместо обыкновенных лестниц – приставные. Ночью люки запирают, лестницы убирают, в бойницах прилаживают пицали и мушкеты. Войти внутрь никакой возможности; днем это дом, ночью – крепость; а всего там восемьсот жителей; вот каково это селение. А зачем столько предосторожностей? Потому что это опасное место: там полно людоедов. А зачем в таком случае ехать туда? Потому что это чудесный край: там много золота.

– К чему вы клоните? – прервал его Мариус, разочарование которого сменилось нетерпением.

– Вот к чему, господин барон. Я бывший дипломат, я устал от жизни. Старая цивилизация набила мне оскомину. Я хочу пожить среди дикарей.

– Дальше что?

– Господин барон, миром управляет эгоизм. Батрачка, работающая на чужом поле, обернется поглазеть на проезжий дилижанс, а крестьянка, работающая на своем поле, – не обернется. Собака бедняка лает на богача, собака богача лает на бедняка. Всяк за себя. Выгода – вот конечная цель людей. Золото – вот магнит.

– Дальше что? Договаривайте.

– Я хотел бы обосноваться в Жуайе. Нас трое. При мне моя супруга и моя дочь, весьма красивая девица. Это путешествие долгое и дорого стоит. Мне нужно немного денег.

– Какое мне дело до этого? – спросил Мариус.

Незнакомец вытянул шею над галстуком, точно ястреб, и возразил с удвоенной любезностью:

– Разве господин барон не прочел моего письма?

Это предположение было недалеко от истины. Действительно, смысл письма лишь слегка коснулся сознания Мариуса. Он не столько читал его, сколько разглядывал почерк. Он почти не помнил, о чем там шла речь. Минуту назад в нем родилась новая догадка. В словах посетителя он отметил следующую подробность: «моя супруга и моя дочь». Он устремил на незнакомца пронизательный взгляд, которому позавидовал бы сам судебный следователь. Он словно нащупывал этого человека. В ответ он сказал только:

– Говорите яснее.

Незнакомец, заложив пальцы в жилетные карманы, поднял голову, не разгибая, однако, спины, и, тоже сверля Мариуса взглядом сквозь зеленые очки, сказал:

– Пусть так, господин барон. Я выражусь яснее. Я хочу продать вам одну тайну.

– Тайну?

– Да.

– Она касается меня?

– Да, отчасти.

– Что это за тайна?

Слушая этого человека, Мариус все внимательнее к нему приглядывался.

– Вступление я сделаю бесплатно, – сказал неизвестный. – Оно вас заинтересует, вот увидите.

– Говорите.

– Господин барон, у вас в доме живет вор и убийца.

Мариус вздрогнул.

– В моем доме? Нет, – сказал он.

Незнакомец, слегка почистив локтем свою шляпу, продолжал невозмутимо:

– Убийца и вор. Прошу заметить, господин барон, я не говорю здесь про старые, минувшие, забытые грехи, искупленные перед законом давностью лет, а перед богом – раскаянием. Я говорю о преступлениях совсем недавних, о делах, до сих пор еще неизвестных правосудию.

Продолжаю. Этот человек вкрался в ваше доверие, почти втерся в вашу семью под чужим именем. Сейчас я скажу вам его настоящее имя. И скажу совершенно бесплатно.

– Я слушаю.

– Его зовут Жан Вальжан.

– Я это знаю.

– Я скажу вам, и тоже бесплатно, кто он такой.

– Говорите.

– Он бывший каторжник.

– Я это знаю.

– Вы это знаете лишь с той минуты, как я имел честь вам это сообщить.

– Нет. Я знал об этом раньше.

Холодный тон Мариуса, дважды произнесенное «я это знаю», суровый лаконизм его ответов всколыхнули в незнакомце глухой гнев. Он украдкой метнул в Мариуса бешеный взгляд, тут же притушив его. Как ни молниеносен был этот взгляд, он не ускользнул от Мариуса; такой взгляд, однажды увидев, невозможно забыть. Подобное пламя может разгореться лишь в низких душах; им вспыхивают зрачки – эти оконца мысли; за очками ничего не скроешь, – попробуйте загородить стеклом преисподнюю.

Неизвестный возразил, улыбаясь:

– Не смею противоречить, господин барон. Во всяком случае, вам должно быть ясно, что я хорошо осведомлен. А то, что я хочу сообщить вам теперь, известно мне одному. Это касается состояния госпожи баронессы. Это жуткая тайна. Она продается. Я ее предлагаю вам первому. Очень дешево. За двадцать тысяч франков.

– Мне известна эта тайна так же, как и другие, – сказал Мариус.

Незнакомец почувствовал, что должен немного сбавить цену.

– Господин барон, выложите десять тысяч франков, и я ее открою.

– Повторяю, что вам нечего мне сообщить. Я знаю, что вы хотите сказать.

В глазах человека снова загорелся огонь. Он вскричал:

– Но мне необходимо пообедать нынче! Это жуткая тайна, уверяю вас. Господин барон, я скажу. Я уже говорю. Дайте мне двадцать франков.

Мариус пристально посмотрел на него.

– Я знаю вашу «жуткую» тайну так же, как знал имя Жана Вальжана, как знаю и ваше имя.

– Мое имя?

– Да.

– Это нетрудно, господин барон. Я имел честь подписать свою фамилию и назвать ее. Я Тенар.

– ...дье.

– Как?

– Тенардье.

– Это кто такой?

В минуту опасности дикобраз топорщит свои иглы, жук-скарабей притворяется мертвым, старая гвардия строится в каре; а этот человек разразился смехом.

Вслед за тем он счистил щелчком пылинку с рукава своего сюртука.

Мариус продолжал:

– Вы также и рабочий Жондрет, и комический актер Фабанту, поэт Жанфло, испанец дон Альварес и, наконец, тетушка Бализар.

– Тетушка? Что такое?

– И у вас была харчевня в Монфермейле.

– Харчевня? Никогда.

– Говорю вам, что вы Тенардье.

– Я отрицаю это.

– И что вы негодей. Берите!

И Мариус, вынув из кармана банковый билет, швырнул его в лицо незнакомцу.

– Благодарю! Извините! Пятьсот франков! Господин барон!

Пораженный, продолжая кланяться, человек подхватил билет и осмотрел его.

– Пятьсот франков! – повторил он, не веря своим глазам, и, заикаясь, пробормотал: – Солидный куш! Ладно, была не была, – воскликнул он внезапно. – Ну-ка, вздохнем посвободней!

С проворством обезьяны откинув волосы со лба, сорвав очки, вытащив из носа и тут же упрятав куда-то две трубочки из перьев, о которых мы упоминали, – читатель уже ознакомился с ними на другой странице нашей книги, – этот человек снял с себя личину так же просто, как снимают шляпу.

Глаза его заблестели, шишковатый, изрытый отвратительными морщинами лоб разгладился, нос вытянулся и стал острым, как клюв; снова выступил свирепый, хитрый профиль хищника.

– Господин барон весьма проницателен, – сказал он резким без малейшего следа гнусавости голосом. – Я Тенардье.

И он выпрямил свою сгорбленную спину.

Тенардье, ибо, конечно, это был он, не мог оправиться от изумления; он даже смутился бы, если был бы способен на это. Он пришел удивить, а был удивлен сам. За это унижение ему заплатили пятьсот франков, и он их принял охотно, что, однако, несколько не уменьшило его растерянности.

Впервые в жизни он видел этого барона Понмерси, а барон Понмерси узнал его, несмотря на переодевание, и знал про него всю подноготную. И барон был не только в курсе дел Тенардье, но, казалось, и в курсе дел Жана Вальжана. Кто же этот человек, такой молодой, почти юнец, такой суровый и такой великодушный, который, ведая имена людей, – даже все их клички, – вместе с тем щедро открывает им свой кошелек, изобличает мошенников, как судья, и платит им, как простофиля?

Читатель помнит, что хотя Тенардье и был одно время соседом Мариуса, однако никогда его не видел, что нередко случается в Париже; он только слышал краем уха, как дочери упоминали об очень бедном молодом человеке, по имени Мариус, жившем в их доме. Он написал ему известное читателю письмо, не зная его в лицо. В мыслях Тенардье не могло возникнуть никакой связи между тем Мариусом и г-ном бароном Понмерси.

Что же до имени Понмерси, то на поле битвы при Ватерлоо он расслышал лишь два его последних слога – «мерси», к которым всегда испытывал законное презрение, как к ничего не стоящей благодарности.

Впрочем, при помощи своей дочери Азельмы, следившей по его приказу за новобрачными со дня свадьбы, и путем расследований, произведенных им самим, ему удалось кое-что разузнать; сам оставаясь в тени, он добился того, что распутал немало таинственных нитей. Благодаря своей ловкости он открыл, или, попросту, идя от заключения к заключению, догадался, кто был человек, встреченный им однажды в Главном водостоке. От человека он без труда добрался и до имени. Он узнал, что баронесса Понмерси и есть Козетта. Но здесь он решил действовать осмотрительно. Кто такая Козетта? В точности он и сам не знал. Он предполагал, конечно, что она незаконнорожденная, – история Фантины всегда казалась ему подозрительной. Но какая ему корысть говорить об этом? Чтобы ему уплатили за молчание? Он

полагал, что мог продать кое-что и получше этого. Вдобавок, судя по всему, явиться к барону Понмерси, не имея доказательств, с разоблачением, вроде: «Ваша жена незаконнорожденная», значило бы лишь привести в тесное соприкосновение поясницу разоблачителя с сапогом мужа.

С точки зрения Тенардье, разговор его с Мариусом еще и не начинался. Правда, ему приходилось отступать, менять стратегию, оставлять позиции, перемещать фронт; однако ничто существенное еще не было выдано, а пятьсот франков уже лежали в кармане. Кроме того, он собирался сообщить нечто совершенно бесспорное и чувствовал свою силу даже перед этим бароном Понмерси, так хорошо осведомленным и так хорошо вооруженным. Для натур, подобных Тенардье, всякий разговор – сражение. Какую выбрать позицию в том бою, который он решился завязать? Он не знал, с кем говорит, но знал, о чем говорит. Молниеносно произвел он этот внутренний смотр своим силам и после слов: «Я Тенардье» выжидающе замолчал.

Мариус стоял в раздумье. Итак, он нашел наконец Тенардье. Человек, которого он так страстно желал отыскать, был здесь. Он может, следовательно, выполнить наказ полковника Понмерси. Его унижало сознание, что герой был чем-то обязан бандиту и что вексель, переданный отцом ему, Мариусу, из глубины могилы, до сих пор еще не погашен. При его сложном и противоречивом отношении к Тенардье ему представлялось также, что тем самым он оплатит за отца, имевшего несчастье быть спасенным таким мерзавцем. Как бы там ни было, он чувствовал удовлетворение. Наконец-то он мог освободить тень полковника от столь недостойного кредитора; ему казалось, будто он выводит из долговой тюрьмы память о своем отце.

Кроме этой обязанности, на нем лежала и другая: пролить свет, если удастся, на источник богатства Козетты. Такой случай как будто представлялся. Возможно, Тенардье было что-нибудь известно об этом. Узнать, что таится у него в душе, могло оказаться полезным. С этого и начал Мариус.

Тенардье упрятал «солидный куш» в свой жилетный карман и вперил в Мариуса ласковый, почти нежный взгляд.

– Тенардье, я сказал вам ваше имя. Теперь насчет тайны, которую вы собирались мне сообщить. Хотите, я скажу вам ее? У меня тоже есть сведения. Вы сейчас убедитесь, что я знаю больше вашего. Жан Вальжан, как вы сказали, убийца и вор. Вор потому, что он ограбил богатого фабриканта, господина Мадлена, совершенно его разорив. Убийца потому, что убил полицейского агента Жавера.

– Что-то не пойму, господин барон, – сказал Тенардье.

– Сейчас поймете. Слушайте. В округе Па-де-Кале, около тысяча восемьсот двадцать второго года, жил человек, который в прошлом был не в ладах с правосудием и который, под именем господина Мадлена, исправился и восстановил свое доброе имя. Человек этот стал в полном смысле слова праведником. Основав промышленное заведение, фабрику мелких изделий из черного стекла, он поднял благосостояние целого города. Он и сам приобрел состояние, но во вторую очередь и, так сказать, случайно. Он был благодетелем и кормильцем бедноты. Он основывал больницы, открывал школы, навещал больных, давал приданое девушкам, оказывал помощь вдовам, усыновлял сирот; он стал как бы опекуном этого города. Он отказался от ордена Почетного легиона; его избрали мэром. Один отбывший срок каторжник знал о совершенном некогда и неискупленном преступлении этого человека. Он донес на него и, добившись его ареста, воспользовался этим, чтобы самому отправиться в Париж и получить в банкирском доме Лафита – я знаю это со слов кассира – по чеку с подложной подписью сумму, превышающую полмиллиона франков, которая принадлежала господину Мадлену. Каторжник, обокравший господина Мадлена, и есть Жан Вальжан. Теперь насчет второго дела. О нем вы тоже не сообщите мне ничего нового. Жан Вальжан убил полицейского агента Жавера; убил его

выстрелом из пистолета. Я сам при этом присутствовал.

Тенардье бросил на Мариуса торжествующий взгляд побежденного, который вновь держит в руках исход битвы и в один миг может отвоевать все потерянные позиции. Однако тут же угодливо улыбнулся; низшему надлежит сохранять смирение даже в победе, и Тенардье ограничился тем, что сказал Мариусу:

– Вы на ложном пути, господин барон.

И подчеркнул эту фразу, выразительно побренчав связкой брелоков.

– Как? – возразил Мариус. – Вы станете это оспаривать? Но это факты.

– Это чистая фантазия. Доверие, которым почтил меня господин барон, обязывает меня сказать ему это. Истина и справедливость прежде всего. Я не люблю, когда людей обвиняют несправедливо. Господин барон, Жан Вальжан вовсе не обкрадывал господина Мадлена, и Жан Вальжан вовсе не убивал Жавера.

– Вот это сильно сказано! Как же так?

– На это есть две причины.

– Какие же? Говорите!

– Вот первая: он не обокрал господина Мадлена, потому что сам Жан Вальжан и есть господин Мадлен.

– Что за вздор вы мелете?

– А вот и вторая: он не убивал Жавера, потому что убил Жавера сам Жавер.

– Что вы хотите сказать?

– Что Жавер покончил самоубийством.

– Докажите! Докажите! – вскричал Мариус вне себя.

Тенардье, скандируя фразу на манер античного александрийского стиха, продолжал:

– Жавер-агент-полиции-найден-утонувшим-под баркой-у моста-Менял.

– Докажите же это!

Тенардье вынул из бокового кармана широкий конверт из серой бумаги, где лежали сложенные листки самого различного формата.

– Вот мои документы, – сказал он спокойно.

И добавил:

– Господин барон, в ваших интересах я постарался разузнать о Жане Вальжане все досконально. Я утверждаю, что Жан Вальжан и Мадлен – одно и то же лицо, и я утверждаю, что Жавера никто не убивал, кроме самого Жавера. А раз утверждаю, значит, имею доказательства. И доказательства не рукописные, так как письмо не внушает доверия, его можно легко подделать – мои доказательства напечатаны.

С этими словами Тенардье извлек из конверта два пожелтевших номера газеты, выцветших и пропахших табаком.

Одна из этих газет, совершенно протертая на сгибах и распавшаяся на квадратные обрывки, казалась более старой, чем другая.

– Два дела, два доказательства, – заметил Тенардье и протянул Мариусу обе развернутые газеты.

Читателю знакомы эти газеты. Одна, более давняя, номер «Белого знамени» от 25 июля 1823 года, выдержки из которой можно прочесть во второй части этого романа, устанавливала тождество господина Мадлена и Жана Вальжана. Другая, «Монитор» от 15 июня 1832 года, удостоверяла самоубийство Жавера, присовокупляя, что, как явствует из устного доклада, сделанного Жавером префекту, он, будучи захвачен в плен на баррикаде на улице Шанврери, был обязан своим спасением великодушию одного из мятежников, который, взяв его на прицел, выстрелил в воздух, вместо того чтобы пустить ему пулю в лоб.

Мариус прочел. Перед ним были точные даты, неоспоримые, неопровержимые доказательства; не могли же оба эти номера газеты быть напечатаны нарочно, для подтверждения рассказней Тенардье; заметка, опубликованная в «Монитере», являлась официальным сообщением полицейской префектуры. У Мариуса не оставалось сомнений. Сведения кассира оказались неверными, а сам он был введен в заблуждение. Образ Жана Вальжана, внезапно выросший, словно выходил из мрака. Мариус не мог сдержать радостного крика:

– Но, значит, этот несчастный – превосходный человек! Значит, все это богатство действительно принадлежит ему! Это Мадлен – провидение целого края! Это Жан Вальжан – спаситель Жавера! Это герой! Это святой!

– Он не святой и не герой, – сказал Тенардье. – Он убийца и вор.

И тоном человека, который начинает чувствовать свой авторитет, прибавил:

– Спокойствие!

Мариус снова услышал эти слова: «вор, убийца», с которыми, казалось, было уже покончено; его как будто окатили ледяной водой.

– Опять! – воскликнул он.

– Да, опять, – отвечал Тенардье. – Жан Вальжан не обокрал Мадлена, но он вор, не убил Жавера, но он убийца.

– Вы говорите о той ничтожной краже, совершенной сорок лет назад, которая искуплена, как явствует из ваших же газет, целой жизнью, полной раскаяния, самоотвержения и добродетели?

– Я говорю об убийстве и воровстве, господин барон. И, повторяю, говорю о совсем недавних событиях. То, что я хочу вам открыть, никому еще не известно. Это нигде не напечатано. Быть может, здесь-то вы и найдете источник богатств, которые Жан Вальжан ловко подсунил госпоже баронессе. Я говорю «ловко», потому что втереться при помощи такого подношения в почтенное семейство, делить с ним довольство, утаить тем самым свое преступление, пользоваться плодами кражи, скрыть свое имя и приобрести себе родню – это, что ни говори, ловкая штука.

– Я мог бы прервать вас здесь, – заметил Мариус, – однако продолжайте.

– Господин барон, я выложу все и предоставлю вам вознаградить меня, как подскажет ваше великодушие. Эту тайну надо ценить на вес золота. «Почему же ты не обратился к Жану Вальжану?» – спросите вы. Да по самой простой причине: я знаю, что он отказался от всего, и отказался в вашу пользу. Я нахожу, что это хитро придумано. Но больше у него нет ни гроша, он мне вывернет пустые карманы. А так как мне нужны деньги для поездки в Жуайю, я предпочитаю обратиться к вам: у вас есть все, у него ничего нет. Я немного устал, разрешите мне сесть.

Мариус сел сам и подал ему знак сесть. Тенардье, опустившись на мягкий стул, взял обе газеты, вложил их снова в конверт и пробормотал, постукивая пальцем по «Белому знамени»: «Не так-то легко было заполучить эту бумажонку». Потом, заложив ногу за ногу и откинувшись на спинку стула – поза, свойственная людям, уверенным в себе, – он с важностью начал, подчеркивая отдельные слова:

– Господин барон, шестого июня тысяча восемьсот тридцать второго года, примерно год тому назад, в самый день мятежа, один человек находился в Главном водостоке парижской клоаки, с той стороны, где водосток выходит на Сену, между мостом Инвалидов и Иенским мостом.

Мариус внезапно придвинул свой стул ближе к Тенардье. Тот заметил это движение и продолжал с медлительностью оратора, который овладел вниманием слушателя и чувствует, как

трепещет сердце противника под ударами его слов:

– Человек этот, вынужденный скрываться по причинам, впрочем, совершенно чуждым политике, избрал клоаку своим жилищем и имел от нее ключ. Повторяю, это случилось шестого июня, вероятно, около восьми часов вечера. Человек услышал шум в водостоке. Очень удивленный, он прижался к стене и стал прислушиваться. Это был шум шагов; кто-то пробирался в темноте, кто-то шел в его сторону. Странное дело, в водостоке, кроме него, оказался еще человек. Решетка выходного отверстия находилась неподалеку. Слабый свет, проникавший через нее, позволил ему узнать этого человека и увидеть, что он что-то нес на спине и шел согнувшись. Тот, кто шел согнувшись, был беглый каторжник, а то, что он тащил на плечах, был труп. Убийца, захваченный с поличным, если здесь имело место убийство. Что же до ограбления, оно само собой разумеется. Задаром человека не убивают. Каторжник собирался бросить труп в реку. И вот что стоит отметить: чтобы добраться до выходной решетки, каторжник, пройдя через всю клоаку, не мог миновать на пути ужасную трясину, куда, казалось бы, мог сбросить труп. Но чистильщики клоаки на другой же день нашли бы убитого, а это не входило в расчет убийцы. Он предпочел перейти через топь со своей тяжелой ношей, хотя это стоило ему, должно быть, страшных усилий; большего риска для жизни невозможно себе представить. Не могу понять, как он выбрался оттуда живым.

Мариус придвинул стул еще ближе. Тенардьё воспользовался этим, чтобы перевести дух. Затем он продолжал:

– Господин барон, клоака – не Марсово поле. Там всего в обрез, даже места. Если двое людей попадают туда, они неизбежно должны встретиться. Так оно и произошло. Старожил этих мест и прохожий, к крайнему своему неудовольствию, должны были столкнуться. Прохожий сказал старожилу: «Ты видишь, что у меня на спине, мне надо отсюда выйти; у тебя есть ключ, дай его мне». Этот каторжник – человек непомерной силы. Отказывать ему нечего было и думать. Тем не менее обладатель ключа вступил с ним в переговоры, единственно затем, чтобы выиграть время. Он оглядел мертвеца, но мог определить только, что тот молод, хорошо одет, с виду богат и весь залит кровью. Во время разговора он ухитрился незаметно для убийцы оторвать сзади лоскут от платья убитого. Вещественное доказательство, знаете ли, – средство напасть на след и заставить преступника сознаться в преступлении. Это вещественное доказательство человек спрятал в карман. Затем он отпер решетку, выпустил прохожего с его ношей за спиной, снова запер решетку и скрылся, вовсе не желая быть замешанным в это происшествие и в особенности не желая оказаться свидетелем того, как убийца будет бросать убитого в реку. Понятно вам теперь? Тот, кто нес труп, был Жан Вальжан; хозяин ключа беседует с вами в эту минуту; а лоскут от платья...

Не закончив фразы, Тенардьё достал из кармана и поднял до уровня глаз зажатый между большими и указательными пальцами изорванный, весь в темных пятнах, обрывок черного сукна.

Устремив глаза на этот лоскут, с трудом переводя дыхание, весь бледный, Мариус поднялся и, не произнося ни слова, не спуская глаз с этой тряпки, отступил к стене; протянув назад правую руку, он стал шарить по стене возле камина, нащупывая ключ в замочной скважине стенного шкафа. Он нашел ключ, открыл шкаф и, не глядя, сунул туда руку; его растерянный взгляд не отрывался от лоскута в руках Тенардьё.

Между тем Тенардьё продолжал:

– Господин барон, у меня есть веское основание думать, что убитый молодой человек был богатым иностранцем, который имел при себе громадную сумму денег, и что Жан Вальжан заманил его в ловушку.

– Этот молодой человек был я, а вот и сюртук! – вскричал Мариус, бросив на пол старый

окровавленный черный сюртук.

Потом, выхватив из рук Тенардье лоскут, он нагнулся и приложил к оборванной поле сюртука этот кусочек сукна. Он точно пришелся к месту, и теперь пола казалась целой.

Тенардье остолебенел от неожиданности. Он успел только подумать: «Эх, сорвалось!»

Мариус выпрямился, весь дрожа, охваченный и отчаянием, и радостью.

Он порывлся у себя в кармане, в бешенстве шагнул к Тенардье и поднес к самому его лицу кулак с зажатыми в нем пятисотфранковым и тысячефранковым билетами.

– Вы подлец! Вы лгун, клеветник, злодей! Вы хотели обвинить этого человека, но вы его оправдали; хотели его погубить, но добились только того, что его возвеличили. Это вы вор! И это вы убийца! Я вас видел, Тенардье-Жондрет, в том самом логове на Госпитальном бульваре. Я знаю достаточно, чтобы упечь вас на каторгу, а если бы пожелал, то и дальше. Нате, вот вам тысяча, мерзавец вы этакий!

И он швырнул Тенардье тысячефранковый билет.

– Ага, Жондрет-Тенардье, подлый плут, пусть это послужит вам уроком, продавец чужих секретов, торговец тайнами, исследователь потемок, презренный негодяй! Берите еще пятьсот франков и убирайтесь вон! Вас спасает Ватерлоо.

– Ватерлоо? – проворчал пораженный Тенардье, распахивая по карманам билеты в пятьсот и тысячу франков.

– Да, бандит! Вы спасли там жизнь полковнику...

– Генералу, – поправил Тенардье, вздернув голову.

– Полковнику! – с горячностью крикнул Мариус. – За генерала я не дал бы вам ни гроша. И вы еще посмели прийти сюда бесчестить других! Говорю вам, что нет преступления, какого бы вы не совершили. Идите прочь! Скройте с моих глаз! И будьте счастливы – вот все, чего я вам желаю. А, изверг! Вот вам еще три тысячи франков. Держите. Завтра же вы уедете в Америку, вдвоем с вашей дочерью, так как жена ваша умерла, чудовищный враль! Я прослежу за вашим отъездом, разбойник, и перед тем, как вы уедете, отсчитаю вам еще двадцать тысяч франков. Отправляйтесь, пусть вас повесят где-нибудь в другом месте!

– Господин барон, – отвечал Жондрет, поклонившись до земли, – век буду вам благодарен.

И вышел вон, ничего не соображая, изумленный и восхищенный, раздавленный сладостным грузом свалившегося на него богатства и этой нежданной грозой, разразившейся над его головой банковыми билетами.

Правда, он был повержен наземь, но вместе с тем ликовал; было бы досадно, если бы при нем оказался громоотвод против подобных гроз.

Покончим тут же с этим человеком. Через два дня после описанных здесь событий он, с помощью Мариуса, выехал под чужим именем в Америку вместе с дочерью Азельмой, увозя в кармане переводной вексель на двадцать тысяч франков, адресованный банкирскому дому в Нью-Йорке. Нравственная низость этого неудавшегося буржуа Тенардье была неизлечимой; в Америке, как и в Европе, он остался верен себе. Достаточно дурному человеку иметь касательство к доброму делу, чтобы погубить его, обратив добро во зло. На деньги Мариуса Тенардье стал работоторговцем.

Не успел Тенардье выйти из дому, как Мариус побежал в сад, где все еще гуляла Козетта.

– Козетта! Козетта! – закричал он. – Идем, идем скорее! Едем. Баск, фиакр! Идем, Козетта. Ах, боже мой! Ведь это он спас мне жизнь! Нельзя терять ни минуты! Накинь свою шаль.

Козетта подумала, что он сошел с ума, но повиновалась.

Он задышался, он прижимал руки к сердцу, чтобы сдержать его биение. Он ходил взад и вперед большими шагами, он обнимал Козетту. «Ах, Козетта! Какой я негодяй!» – твердил он.

Мариус совершенно потерял голову. Он начинал прозревать в Жане Вальжане человека

возвышенной, неразгаданной души. Перед ним предстал образ беспримерной добродетели, высокой и кроткой, смиренной при всем ее величии. Каторжник преобразился в святого. Мариус был ослеплен этим чудесным превращением. Он не давал себе полного отчета в том, что увидел, – он знал только, что увидел нечто великое.

Через минуту фиакр был у дверей. Мариус помог сесть Козетте и быстро уселся сам.

– Живей, – сказал он кучеру, – улица Вооруженного человека, дом семь.

Фиакр покатился.

– Ах, какое счастье! – воскликнула Козетта. – Улица Вооруженного человека. Я не смела тебе о ней говорить. Мы едем к господину Жану.

– К твоему отцу! Он теперь больше, чем всегда, твой отец, Козетта! Козетта, я догадываюсь. Ты говорила, что так и не получила моего письма, посланного с Гаврошем. Должно быть, оно попало ему в руки, Козетта, и он пошел на баррикаду, чтобы меня спасти. Его призвание – быть ангелом-хранителем, поэтому он мимоходом спасал и других; он спас Жавера. Он извлек меня из пропасти, чтобы отдать тебе. Он нес меня на спине по этому ужасному водостоку. Ах, я неблагодарное чудовище! Козетта, он был твоим провидением, а потом стал моим. Вообрази только, что там, в клоаке, была страшная яма, где можно было сто раз утонуть; слышишь, Козетта, утонуть в грязи! И он перенес меня через нее. Я был в обмороке, я ничего не видел, не слышал, ничего не знал о том, что приключилось со мною. Мы его сейчас увезем, заберем с собою, и, хочет не хочет, он не разлучится с нами больше. Только бы он был дома! Только бы нам застать его! Я буду молиться на него до конца дней моих. Да, Козетта, видишь ли, именно так и было. Это ему передал Гаврош мое письмо. Теперь все объяснилось. Понимаешь?

Козетта ничего не понимала.

– Ты прав, – сказала она.

Тем временем экипаж катился вперед.

Глава 5

Ночь, за которой брезжит день

Услышав стук в дверь, Жан Вальжан обернулся.

– Войдите, – сказал он слабым голосом.

Дверь распахнулась. На пороге появились Козетта и Мариус.

Козетта бросилась в комнату.

Мариус остался на пороге, прислонившись к косяку двери.

– Козетта! – произнес Жан Вальжан и, протянув ей навстречу дрожащие руки, выпрямился в кресле, взволнованный, мертвенно-бледный, с выражением беспредельной радости во взоре.

Задышавшись от волнения, Козетта припала к груди Жана Вальжана.

– Отец! – сказала она.

Жан Вальжан, потрясенный, повторял невнятным голосом:

– Козетта! Она! Вы, сударыня! Это ты! О господи! – И, ощутив объятия Козетты, вскричал: – Это ты! Ты здесь! Значит, ты меня прощаешь!

Мариус, полузакрыв глаза, чтобы сдержать слезы, сделал шаг вперед и прошептал, подавляя рыдания:

– Отец мой!

– И вы, и вы тоже прощаете меня! – сказал Жан Вальжан.

Мариус не мог вымолвить ни слова, и Жан Вальжан добавил:

– Благодарю вас.

Козетта сорвала с себя шаль и бросила на кровать свою шляпку.

– Мне это мешает, – сказала она.

Усевшись на колени к старику, она очаровательным движением откинула назад его седые волосы и поцеловала в лоб.

Жан Вальжан, совершенно растерянный, не противился.

Понимая лишь очень смутно, что происходит, Козетта удвоила свои ласки, как бы желая уплатить долг Мариуса.

Жан Вальжан шептал:

– Как человек глуп! Ведь я воображал, что не увижу ее больше. Представьте себе, господин Понмерси, что в ту минуту, когда вы входили, я говорил себе: «Все кончено. Вот ее детское платьице, а я, несчастный, никогда уже не увижу Козетту». Я говорил это в ту самую минуту, когда вы поднимались по лестнице. Ну не глупец ли я был? Вот как слепы люди! Они не принимают в расчет милосердия божьего. А милосердный господь говорит: «Ты думаешь, что все тебя покинули, бедняга? Нет. Да не будет так! Я знаю, что тут есть бедный старик, которому нужен ангел-утешитель». И ангел приходит, и человек получает свою Козетту. Он снова видит свою маленькую Козетту! Ах, как я был несчастен!

Он замолк на мгновение, будучи не в силах говорить, потом продолжал:

– Мне, право же, необходимо было видеть Козетту время от времени, хоть на один миг. Видите ли, сердцу тоже надо поглотить какую-нибудь косточку. И вместе с тем я чувствовал, что я лишний. Я убеждал себя: «Ты им не нужен, оставайся в своем углу, ты не имеешь права надоедать им вечно». Ах, слава богу, я снова вижу ее. Ты знаешь, Козетта, какой у тебя красивый муж? Что за славный вышитый воротничок на тебе, носи его на здоровье! Мне нравится этот рисунок. Это твой муж выбирал, правда? Но тебе нужны кашемировые шали. Господин Понмерси, позвольте мне говорить ей «ты». Это ненадолго.

А Козетта журила его:

– Как дурно с вашей стороны покидать нас таким образом! Куда же вы уезжали? Почему так надолго? Прежде ваши поездки продолжались не больше трех или четырех дней. Я посылала Николетту, а ей всегда отвечали: «Его нет». Когда вы вернулись? Почему не известили нас об этом? А знаете, вы ведь очень изменились. Как вам не стыдно, отец! Вы были больны, а мы и не знали об этом! Посмотри-ка, Мариус, тронь его руку, какая она холодная!

– И вы тоже здесь! Значит, вы меня прощаете, господин Понмерси? – повторял Жан Вальжан.

При этих словах, сказанных Жаном Вальжаном уже во второй раз, все, что переполняло сердце Мариуса, вырвалось наружу, он вскричал:

– Слышишь, Козетта? Он опять о том же, все просит у меня прощения! А знаешь, какое зло он мне причинил, Козетта? Он спас мне жизнь. Он сделал больше: дал мне тебя. А после того как он спас меня и дал мне тебя, знаешь, что он сделал с самим собой? Он принес себя в жертву. Вот что это за человек. И мне, неблагодарному, мне, забывчивому, мне, бессердечному, мне, виноватому, он говорит: «Благодарю вас». Козетта, провести всю мою жизнь у ног этого человека – и то было бы мало. Все, и баррикаду, и водосток, эту огненную печь, эту клоаку, – через все он прошел ради меня, ради тебя, Козетта! Он пронес меня сквозь тысячу смертей, отстраняя их от меня и подставляя им собственную грудь. Все, что есть на свете мужественного, добродетельного, героического, святого, – все в нем! Козетта, он ангел!

– Тише, тише! – прошептал Жан Вальжан. – К чему говорить все это?

– Ну, а вы! – вскричал Мариус и гневно и вместе с тем почтительно. – Почему вы сами ничего не говорили? В этом и ваша вина. Вы спасаете людям жизнь и скрываете это от них. Более того, под предлогом разоблачения вы клеветеете сами на себя. Это ужасно!

– Я сказал правду, – ответил Жан Вальжан.

– Нет, – возразил Мариус, – правда – это правда до конца, а вы всего не сказали. Вы были господином Мадленом, почему вы не сказали этого? Вы спасли Жавера, почему вы не сказали этого? Я вам обязан жизнью, почему вы не сказали этого?

– Потому что я думал, как и вы. Я находил, что вы правы. Я должен был уйти. Если бы вы знали насчет клоаки, вы заставили бы меня остаться с вами. Значит, я должен был молчать. Если бы я сказал, это стеснило бы всех.

– Чем стеснило? Кого стеснило? – возмутился Мариус. – Не воображаете ли вы, что останетесь здесь? Мы вас увозим. О боже! Подумать только, что обо всем я узнал случайно! Мы вас увозим. Вы и мы – одно целое, неразделимое. Вы ее отец, и мой также. Ни единого дня вы не останетесь больше в этом ужасном доме. И не думайте, будто завтра вы еще будете здесь.

– Завтра, – сказал Жан Вальжан, – меня не будет здесь, но меня не будет и у вас.

– Что вы хотите этим сказать? – спросил Мариус. – Ну нет, мы не разрешим вам уехать. Вы не расстанетесь с нами больше. Вы принадлежите нам. Мы вас не отпустим.

– На этот раз уж мы не шутим, – добавила Козетта. – У нас внизу экипаж. Я вас похищаю. И если понадобится, применю силу.

И, смеясь, она сделала вид, будто поднимает старика.

– Ваша комната все еще ожидает вас, – продолжала она. – Если бы вы знали, как красиво сейчас в саду! Азалии так чудесно цветут. Все аллеи посыпаны речным песком, и в нем попадаются лиловые ракушки. Вы отведаете моей клубники. Я сама ее поливаю. И чтобы не было больше ни «сударыни», ни «господина Жана», мы живем в Республике, все говорят друг другу «ты», правда, Мариус? Политическая программа изменилась. Какое горе у меня стряслось, отец, если бы вы знали! В трещине, на стене, свил себе гнездышко реполов, а противная кошка съела его. Бедная моя хорошенькая птичка, она высовывала головку из гнезда и глядела на меня. Я так плакала о ней. Я просто убила бы эту кошку! Но сейчас никто больше не плачет. Все смеются, все счастливы. Вы поедете с нами. Как будет доволен дедушка! Мы отведем вам особую грядку в саду, вы возделаете ее, и тогда посмотрим, будет ли ваша клубника вкуснее моей. Я обещаю делать все, что вы хотите, только и вы должны меня слушаться.

Жан Вальжан слушал ее и не слышал. Он слушал музыку ее голоса, но не понимал смысла ее слов; крупные слезы – таинственные жемчужины души – медленно наворачивались на его глаза. Он прошептал:

– Вот оно, доказательство, что господь милосерд: она здесь.

– Отец! – сказала Козетта.

Жан Вальжан продолжал:

– Правда, как было бы прекрасно жить вместе. На деревьях там полно птиц. Я гулял бы с Козеттой. Так радостно принадлежать к числу живых, здороваться друг с другом, перекликаться в саду. Быть вместе с самого утра. Каждый бы возделывал свой уголок в саду. Она угощала бы меня своей клубникой, я давал бы ей срывать мои розы. Это было бы восхитительно. Только...

Он остановился и тихонько сказал:

– Как жаль.

Жан Вальжан удержал слезу и улыбнулся.

Козетта сжала руки старика в своих руках.

– Боже мой! – воскликнула она. – Ваши руки стали еще холоднее! Вы нездоровы? Вам больно?

– Я? Нет, – ответил Жан Вальжан, – мне очень хорошо. Только... – Он замолчал.

– Только что?

– Я сейчас умру.

Козетта и Мариус содрогнулись.

– Умрете? – вскричал Мариус.

– Да, но это ничего не значит, – сказал Жан Вальжан.

Он вздохнул, улыбнулся и заговорил снова:

– Козетта, ты мне рассказывала, продолжай, говори еще. Стало быть, маленькая птичка умерла, говори, я хочу слышать твой голос!

Мариус глядел на старика, словно окаменев. Козетта испустила душераздирающий вопль:

– Отец! Отец мой! Вы будете жить! Вы должны жить! Я хочу, чтобы вы жили, слышите?

Жан Вальжан, подняв голову, с обожанием глядел на Козетту.

– О да, запрети мне умирать. Кто знает? Я, быть может, послушаюсь тебя. Я уже умирал, когда вы пришли. Это меня остановило, мне показалось, что я оживаю.

– Вы полны жизни и сил! – воскликнул Мариус. – Неужели вы думаете, что люди умирают вот так, сразу? У вас было горе, оно прошло, больше его не будет. Это я должен просить у вас прощения, прошу его на коленях! Вы будете жить, жить с нами, жить долго. Мы вас берем с собой. У нас обоих будет отныне одно лишь помышление – о вашем счастье!

– Ну вот, вы видите сами, – сказала Козетта вся в слезах, – Мариус тоже говорит, что вы не умрете.

Жан Вальжан все улыбался.

– Если вы и возьмете меня к себе, господин Понмерси, разве я перестану быть тем, что я есть? Нет. Господь размыслил, как я и вы, и он не меняет решений; надо, чтобы я ушел. Смерть – прекрасный выход из положения. Бог лучше нас знает, что нам надобно. Пусть господин Понмерси будет счастлив с Козеттой, пусть молодость соединится с ясным утром, пусть радуют вас, дети мои, сирень и соловьи, пусть жизнь ваша будет залита солнцем, как цветущий луг, пусть все блаженство небес снизойдет в ваши души, а я ни на что больше не нужен, пусть я умру; так надо, и это хорошо. Поймите, будем благоразумны, ничего нельзя уже поделать, я чувствую, что все кончено. Час тому назад у меня был обморок. А сегодня ночью я выпил весь этот кувшин воды. Какой добрый у тебя муж, Козетта! Тебе с ним гораздо лучше, чем со мной.

У дверей послышался шум. Вошел доктор.

– Здравствуйте и прощайте, доктор, – сказал Жан Вальжан. – Вот мои бедные дети.

Мариус подошел к врачу. Он обратился к нему с одним словом: «Сударь...», но в тоне, каким оно было произнесено, заключался безмолвный вопрос.

На этот вопрос доктор ответил лишь выразительным взглядом.

– Если нам что-либо не по душе, – молвил Жан Вальжан, – это не дает еще права роптать на бога.

Наступило молчание. У всех сжалось сердце.

Жан Вальжан обернулся к Козетте. Он стал смотреть на нее так сосредоточенно, словно хотел унести ее образ в вечность. На той глубине тьмы, куда он уже спустился, ему все еще доступно было чувство восхищения при виде Козетты. На бледном его челе словно лежало светлое отражение ее нежного личика. И у могилы есть свои радости.

Доктор пощупал ему пульс.

– А, так это по вас он тосковал! – проговорил он, глядя на Козетту и Мариуса. И, наклонившись к уху Мариуса, он добавил совсем тихо: – Слишком поздно.

Жан Вальжан, на миг оторвавшись от Козетты, окинул ясным взглядом Мариуса и доктора. Из уст его чуть слышно донеслось:

– Умереть – это ничего; ужасно – не жить.

Вдруг он встал. Такой прилив сил нередко является признаком начавшейся агонии. Уверенным шагом он подошел к стене, отстранил Мариуса и врача, желавших ему помочь, снял со стены маленькое медное распятие и, легко передвигаясь, точно здоровый человек, снова сел в

кресло, положил распятие на стол и внятным голосом произнес:

– Вот великий страдалец!

Потом плечи его поникли, голова склонилась, словно опьяненная смертным хмелем, и сложенные на коленях руки стали царапать ногтями по материи.

Козетта, поддерживая его за плечи, и плакала, и пыталась говорить с ним, но безуспешно. Среди скорбных рыданий можно было уловить лишь отдельные слова: «Отец! Не покидайте нас! Неужели мы нашли вас только для того, чтобы снова потерять?»

Агония как бы ведет умирающего извилистой тропой: вперед, назад, то ближе к могиле, то обратно к жизни. Он движется навстречу смерти точно ощупью.

После этого полузабытья Жан Вальжан несколько оправился, встряхнул головой, точно сбрасывая нависшие над ним тени, к нему почти вернулось ясное сознание. Приподняв край рукава Козетты, он поцеловал его.

– Он оживает! Доктор, он оживает! – вскричал Мариус.

– Вы оба так добры! – сказал Жан Вальжан. – Я скажу вам, что меня огорчало. Меня огорчало то, господин Понмерси, что вы не захотели трогать эти деньги. Они вправду принадлежат вашей жене. Я сейчас объясню вам все, дети мои, именно потому я так рад вас видеть. Черный гагат привозят из Англии, белый гагат – из Норвегии. Об этом сказано в той вон бумаге, вы ее прочтете. Я придумал заменить на браслетах кованные застёжки литыми. Это красивее, лучше и дешевле. Вы понимаете, как много денег можно на этом заработать? Стало быть, богатство Козетты принадлежит ей по праву. Я рассказываю вам эти подробности, чтобы вы были спокойны.

Поднявшаяся наверх привратница заглянула в приоткрытую дверь. Хотя врач и велел ей уйти, но не мог помешать заботливой старухе крикнуть умирающему перед уходом:

– Не позвать ли священника?

– У меня он есть, – ответил Жан Вальжан.

И он поднял палец вверх, словно указывая на кого-то над своей головой, видимого только ему одному.

Быть может, и в самом деле епископ присутствовал при этом расставании с жизнью.

Козетта осторожно подложила ему за спину подушку.

Жан Вальжан заговорил снова:

– Господин Понмерси, заклинаю вас, не тревожьтесь. Эти шестьсот тысяч франков действительно принадлежат Козетте. Если бы вы отказались от них, вся моя жизнь пропала бы даром! Мы достигли большого совершенства в этих стеклянных изделиях. Они могли соперничать с так называемыми «берлинскими драгоценностями». Ну можно ли равнять их с черным немецким стеклярусом? Целый гросс нашего, содержащий двенадцать дюжин отличных граненых бусин, стоит всего три франка.

Когда умирает дорогое нам существо, мы смотрим на него, стараясь как бы приковать его, как бы удержать его взглядом. Козетта и Мариус, взявшись за руки, стояли перед Жаном Вальжаном, онемев от горя, дрожащие, охваченные отчаянием, не зная, как спорить со смертью.

Жан Вальжан слабел с каждой минутой. Он угасал, он клонился все ниже к закату. Дыхание стало неровным и изредка прерывалось хрипом. Ему было трудно пошевелить рукой, ноги оцепенели; но по мере того как возрастали его слабость и бессилие, все яснее и отчетливее проступало на его челе величие души. Отблеск нездешнего мира уже мерцал в его глазах.

Улыбающееся его лицо бледнело все больше. В нем замерла жизнь, но засветилось нечто другое. Дыхание все слабело, взгляд становился все глубже. Это был мертвец, за спиной которого угадывались крылья.

Он знаком подозвал Козетту, потом Мариуса. Наступали, видимо, последние минуты

последнего часа его жизни, и он заговорил слабым голосом, словно доносящимся издалека, – казалось, с этих пор между ними воздвиглась стена.

– Подойди, подойдите оба. Я очень вас люблю. Как хорошо так умирать! Ты тоже любишь меня, моя Козетта. Я знал, что ты всегда была привязана к твоему старику. Какая ты милая, положила мне за спину подушку! Ведь ты поплачешь обо мне немножко? Только не слишком долго. Я не хочу, чтобы ты горевала по-настоящему. Вам надо побольше развлекаться, дети мои. Я позабыл вам сказать, что на пряжках без шпеньков можно было больше заработать, чем на всем остальном. Гросс, двенадцать дюжин пряжек, обходился в десять франков, а продавался за шестьдесят. Право же, это было выгодное дело. Поэтому вас не должны удивлять эти шестьсот тысяч франков, господин Понмерси. Ведь это честно нажитые деньги. Вы можете со спокойной совестью быть богатыми. Вам надо завести карету, брать иногда ложу в театр, тебе нужны красивые бальные наряды, моя Козетта, вы должны угощать вкусными обедами ваших друзей и жить счастливо. Я сейчас писал об этом Козетте. Она найдет мое письмо. Ей я завещаю и два подсвечника, что на камине. Они серебряные, но для меня они из чистого золота, из брильянтов; простые свечи, вставленные в них, превращаются в алтарные. Не знаю, доволен ли мною там, наверху, тот, кто дал мне их. Я сделал все, что мог. Дети мои, не позабудьте, что я бедняк, похороните меня где-нибудь в сторонке и положите на могилу камень, чтобы обозначить место. Такова моя воля. Не надо никакого имени на камне. Если Козетте захочется иногда навестить меня, мне будет приятно. Это и к вам относится, господин Понмерси. Должен признаться вам, что я не всегда вас любил; простите меня за это. Теперь же она и вы для меня – одно. Я очень благодарен вам. Я чувствую, что вы дадите счастье Козетте. Если бы вы знали, господин Понмерси, как радовали меня ее милые румяные щечки; я огорчился, когда она хоть чуточку становилась бледнее. В ящике комода лежит пятисотфранковый билет. Я его не трогал. Это для бедных. Козетта, видишь свое платьице вон там, на постели? Ты узнаешь его? А с тех пор прошло только десять лет. Как быстро летит время! Мы были так счастливы. Кончено. Не плачьте, дети, я уйду не так уж далеко, я вас увижу оттуда. А ночью, вы только взгляните в темноту, и вы увидите, как я вам улыбаюсь. Козетта, а ты помнишь Монфермейль? Ты была в лесу, и ты очень боялась; помнишь, как я поднял за дужку ведро с водой? Тогда я в первый раз дотронулся до бедной твоей ручонки. Она была такая холодная! Ах, барышня, какие красные ручки были у вас тогда и какие беленькие теперь! А большая кукла, помнишь ее? Ты назвала ее Катериной. Ты так жалела, что не могла взять ее с собой в монастырь. Как часто ты смешила меня, милый мой ангел! После дождя ты пускала по воде соломинки и смотрела, как они уплывают. Однажды я подарил тебе ракетку из ивовых прутьев и волан с желтыми, синими и зелеными перышками. Ты, верно, позабыла это. Маленькой ты была такая резвушка! Ты любила играть. Ты привешивала к ушам вишни. И все это кануло в прошлое. И леса, где я проходил со своей девочкой, и деревья, под которыми мы гуляли, и монастырь, где мы скрывались, и игры, и веселый детский смех – все стало тенью. А я воображал, что все это принадлежит мне. Вот в чем сказалась моя глупость. Тенардые были злые люди. Надо им простить. Козетта, пришло время сказать тебе имя твоей матери. Ее звали Фантина. Запомни это имя: Фантина. Опускайся на колени всякий раз, как будешь произносить его. Она много страдала. Она горячо тебя любила. Она была настолько же несчастна, насколько ты счастлива. Так положил господь бог. Он там, в вышине, среди светил, он всех нас видит и знает, что творит. Так вот, дети мои, я уйду. Любите друг друга всегда. Любить друг друга – нет ничего на свете выше этого. Думайте иногда о бедном старике, который умер здесь. О моя Козетта, полно, я не виноват, что все это время не видел тебя, это разбивало мне сердце; я доходил только до угла улицы, люди, должно быть, считали меня чудаком, я был похож на помешанного, один раз я даже вышел из дому без шапки. Дети мои, я уже начинаю плохо видеть, мне надо было еще многое сказать вам, но все равно.

Вспоминайте обо мне иногда. Да будет на вас благословение божие. Не знаю, что со мной, я вижу свет. Подойдите ближе. Я умираю счастливым. Дорогие, любимые, дайте возложить руки на ваши головы.

Козетта и Мариус, полные отчаяния, задыхаясь от слез, опустились на колени и припали к его рукам. Но эти святые руки были уже недвижимы.

Он откинулся назад, его озарял свет двух подсвечников; бледное лицо глядело в небо, он не мешал Козетте и Мариусу покрывать его руки поцелуями; он был мертв.

Беззвездной, непроницаемо темной была ночь. Наверное, в этом мраке стоял некий ангел с широко распростертыми крыльями, готовый принять отлетевшую душу.

Глава 6

Трава скрывает, дождь смывает

На кладбище Пер-Лашез, неподалеку от общей могилы и в стороне от нарядного квартала этого города усыпальниц, вдалеке от причудливых надгробных памятников, выставяющих перед лицом вечности отвратительные моды смерти, в уединенном уголке, у подножия старой стены, под высоким тисом, обвитым выюнком, среди сорных трав и мхов лежит камень. Камень этот не меньше других поражен проказой времени: он покрыт плесенью, лишаями и птичьим пометом. Он позеленел от дождя и почернел от воздуха. Возле него нет ни одной тропинки; в эту сторону заходить не любят, так как трава здесь высока и можно промочить ноги. Лишь только проглянет солнце, сюда собираются ящерицы. Кругом шелестят стебли дикого овса. Весной на дереве распевают малиновки.

Это совсем голый камень. Его высекли таким, какой нужен для могилы, и лишь о том позаботились, чтобы он был достаточной длины и ширины и мог покрыть человека.

На нем не стоит никакого имени.

Только, вот уже много лет назад, чья-то рука написала на камне эти четыре строчки, которые с каждым днем становилось все труднее разобрать из-за дождя и пыли и которые теперь, вероятно, уже стерлись:

Он спит. Хоть был судьбой жестокою гоним,
Он жил. Но ангелом покинутый своим,
Он умер. Смерть пришла так просто в свой черед,
Как наступает ночь, едва лишь день уйдет.

1862

notes

Примечания

Бьенвеню (bienvenu) – желанный; желанный гость (*фр.*).

Наказание (лат.).

Если Господь не охраняет дом, тщетно сторожат охраняющие его (лат.).

Да будет свет (лат.).

Правда и неправда (лат.).

За стаканом вина (лат.).

Внезапно, без предисловий (лат.).

Пустите детей (лат.).

Я червь (лат.).

«Тебе бога хвалим» (*лат.*) – католическая молитва.

«Верую в Бога-Отца» (лат.) – католическая молитва.

За многолюбие (лат.).

Ничто и Сущее (*лат.*) – термины средневековой философии.

Вот Жан.

Bara.

Игра слов, построенная на двойном смысле: Champ-de-Mai – Майское собрание (буквально – Майское поле) и Champ-de-Mars – Марсово поле (буквально – Мартовское поле).

Шатобриан.

Воскресший (лат.).

Перед уходом оправляйте одежду (*англ.*).

Я из Бадахоса.
Любовь меня зовет.
Вся душа моя
В моих глазах,
Когда ты показываешь
Свои ножки.

(испан.)

Во всем должна быть мера (*лат.*). – **Гораций**, Сатиры.

Конец (лат.).

Ныне пою тебя, Вакх! *(лат.)*

Повод к войне (лат.).

Нет ничего нового под солнцем *(лат.)*.

Любовь у всех одна и та же (*лат.*) – Вергилий, Георгики.

Христос наш спаситель (лат.).

Эти скобки поставлены рукой Жана Вальжана.

П. К. Р. – пожизненные каторжные работы.

Энкинес (исп.).

Граф де Рио Майор (исп.).

Маркиз и маркиза де Альмагро (Гаванна) (*исп.*).

Вальтер Скотт, Ламартин, Волабель, Шарас, Кине, Тьер. *(Прим. автора)*

Нечто темное, неизвестное (лат.).

Нечто темное, нечто божественное (*лат.*).

Смеется Цезарь, Помпей заплачет (*лат.*).

Молниевержца (лат.).

Вот эта надпись:

«Превеликий, преблагый господь бог с тобою. Здесь волей несчастного случая был раздавлен телегой господин Бернар Дебри, торговец из Брюсселя (неразборчиво) февраля 1637».

Splendid! – подлинное его выражение. (*Прим. автора*)

Так было суждено (*лат.*).

Какая цена полководцу? (лат.)

«Оконченный бой, завершённый день, исправление ошибочных мер, огромный успех, обеспеченный завтра, – все было потеряно из-за мгновения панического страха» (**Наполеон**. Мемуары, продиктованные на острове Св. Елены).

Существующее положение вещей, застой (*лат.*).

Превыше всего (*лат.*) – девиз «Короля Солнца», Людовика XIV.

Sainte Alliance – Священный союз; «Belle Alliance» («Бель Альянс») – «Прекрасный союз» – название постоянного двора и холма, места третьей стоянки Наполеона в битве при Ватерлоо.

«Так вы не для себя» (*лат.*) – начало стиха, который приписывался Вергилию.

Он копает яму и прячет в этот тайник сокровища: деньги, монеты, камни, трупы, призраки и ничто (*лат.*).

Безрубашечники (*исп.*).

Единственно достойный король (*исп.*) – формула испанского абсолютизма.

По-французски ворона – le corbeau (корбо); лисица – le renard (ренар).

По-французски пренар (prenard) означает: взяточник, лихоимец.

«Радуйся, Мария» (*лат.*) – начальные слова католической молитвы.

«Благодатная» (*лат.*) – буквально: «исполненная благодати, прелести» (продолжение той же молитвы).

Сей (лат.).

Вечерня (лат.).

«Никто не будет сообщать наших правил или установлений посторонним» (*лат.*).

Знатных дам (лат.).

Неравные по заслугам, висят на крестах три тела: Дисмас и Гесмас, а посредине божественный владыка; ввысь стремится Дисмас, а несчастный Гесмас – вниз. Нас и наше имущество да сохранит всевышний. Говори эти стихи, чтобы у тебя не украли твоего добра (лат.).

После сердец – о камнях (*лат.*).

Улетели (лат.).

«Здесь я покоюсь. Прожила я двадцать три года» (*лат.*).

Подземная темница пожизненного заключения (*лат.*).

Набеленный мелом бык (*лат.*) **Ювенал** (Сатира 10).

Заранее; независимо от опыта (*лат.*).

Богу вознес молитву Вольтер *(лат.)*.

«Из глубины взываю» (*лат.*) – начало заупокойного псалма.

«Вот это приношение» (*лат.*) – слова из католической мессы.

«Крест стоит, пока вращается вселенная» *(лат.)*.

«Спящие во прахе земли пробудятся: одни на вечную жизнь, а другие на вечное мучение; пусть всегда это помнят» (*лат.*).

«Из глубины» (лат.).

«Вечный покой даруй ему, Господи» (лат.).

«И да светит ему вечный свет» (лат.).

«Да почиет в мире» (лат.).

Аминь (лат.).

«Иллюстрированные лондонские новости» (англ.).

Дитя (лат.).

Человечек (лат.).

Рабочий подросток парижских предместий.

Вертится колесо (лат.).

Любитель столицы (лат.).

Любитель села (лат.).

«Фуску, любителю Рима, привет с пожеланьем здоровья
Шлю я – любитель села...»

(Гораций, Послания, I.)

Се Париж, се человек (лат.).

Грек (презрительно) *(лат.)*.

Щеголь (исп.).

Носильщик (арабск.).

«Спешу я. Кто за плащ хватает?» (*лат.*). Комедия Плавта «Эпидик».

«Против Гракхов у нас есть Тибр. Пить из Тибра – то есть забывать о мятеже» (*лат.*).

Да будет свет (лат.).

Подонки столицы (лат.).

Чернь (англ.).

Леса достойны консула (лат.).

Католические молитвы.

Созвучие этих фамилий дает по-французски следующую игру слов: «Дамасский меч, который рубит сен-сирский болт».

Тебя Бога (хвалим) (*лат.*) – начало благодарственной католической молитвы.

Да почиют (лат.).

В иновёрческой стране (лат.).

По-французски слово «азбука» (A B C) звучит как *abaisse* – униженный, обездоленный.

Кастрат у лагерного костра *(лат.)*.

Варвары и Барберини (лат.).

На страже закона – восстание (*исп.*).

Ты Петр – камень и на сем камне (*лат.*).

Человек и муж (лат.).

Неизменность (лат.).

Как состязающиеся в беге (*лат.*). **Лукреций**. О природе вещей.

Л'Эгль (l'aigle) – по-французски – орел. Орел был эмблемой в наполеоновском гербе.

По-французски согласная «л» произносится «эль», так же, как слово «эль» (aile) – крыло. Отсюда каламбур: «Не улети на четырех своих «л», то есть: «Не улети на четырех своих крыльях».

Прописная буква Р по-французски – грант эр (grand R).

Учитесь, судьи земли *(лат.)*.

Начало познания (лат.).

Быстро бегущий (*лат.*).

Если потребует обычай (лат.).

Время – деньги (*англ.*).

Хлопок – король (англ.).

Ибо ношу имя льва (лат.).

Тяготы жизни (*лат.*).

И стал свет (*лат.*).

Преисподняя (лат.).

Флейтщицы, нищие, мимы, шуты, лекаря площадные (*лат.*). **Гораций**. Сатиры.

Если двое встречаются с глазу на глаз в пустынном месте, вряд ли они будут читать «Отче наш» (*лат.*).

В новом правописании: polonais (поляки) и hongrois (венгры).

Могучий (лат.).

Листья и ветви (лат.).

Эшафот (*Прим. автора.*).

Лень (*лат.*).

«Последний день приговоренного к смерти». (Прим. автора.)

Но где снега минувших лет? (*фр.*)

Шесть крепких лошадей тащили экипаж (*фр.*).

Однако следует заметить, что тас – по-кельтски обозначает сын. (*Прим. автора.*)

Lirlonfa – свободно импровизируемый и лишенный смысла припев к куплетам песни.

Купидона. (Прим. автора.)

Я не понимаю, как господь, отец людей, может мучить своих детей и внуков и слушать их вопли, не мучаясь сам. (*Прим. автора.*)

Стих, порожденный возмущением (*лат.*). **Ювенал.** Сатира, 1.

В душе (*итал.*).

Para bellum – готовься к войне (*лат.*). Произношение bellum (*лат.*) – война сходно с bel homme (*фр.*) – красивый мужчина.

Mondétour (*фр.*) – извилистая гора.

Pot aux Roses (горшок роз) произносится так же, как Poteau rose (розовый столб).

Скоромные карпы (*фр.*).

Carpe horas (*лат.*) – лови часы – напоминает известную строчку Горация Carpe diem – лови день.

Matelote (матлот) – рыбное блюдо; gibelotte (жиблот) – фрикасе из кролика.

Горе побежденным! (лат.)

Тимбрейский Аполлон (лат.).

Не всем дано достигнуть Коринфа (*лат.*) – античная поговорка.

Скверна Рима – закон мира (*лат.*).

По-царски и почти тиранически (*лат.*).

Нечто божественное (лат.).

Родина (лат.).

Нашли младенца, завернутого в пеленки (*лат.*).

Кто осмелится назвать солнце лживым? (*лат.*) – **Вергилий**, Георгики.

Ярко (*итал.*).

Умерший отец ждет идущего на смерть сына (*лат.*).

Передают светильники жизни (*лат.*). – **Лукреций**, кн. II.

Плуты, жулье (*исп.*).

Ловушки (лат).

Католическая молитва.

Люблю тебя (англ.).

Игра слов: cent six (сан си) – сто шесть.

Бессмертная печень (*лат.*) – печень скованного Прометея, которую терзал орел и которая вновь срасталась.

Кара (лат.).

Изыди (Сатана) *(лат.)*.